This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD·VNIVERSITY·LIBRA

Heinrich Heine

ПОЛНОЕ СОБРАНІ СОЧИНЕНІЙ

ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.

Heine, H.

ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ.

Подъ редакціею и съ біографическимъ очеркомъ

Петра Вейнберга.

Съ приложеніемъ двухъ портретовъ Гейне.

1—2

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива" на 1904 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1904.

831.7
H46lve
ed. 2
v. 1

Арт. зав. А. Ф. МАРКСА, Измайл. пр., № 29.

ЖИЗНЬ
ГЕНРИХА ГЕЙНЕ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

Гейне въ шутку, безъ которой онъ такъ рѣдко могъ обойтись, называлъ себя первымъ человѣкомъ девятнадцатаго столѣтія, увѣряя иногда, что онъ родился 1-го января 1801 г. На самомъ же дѣлѣ, какъ доказано позднѣйшими изслѣдованіями, будущій великій поэтъ родился 13 декабря 1797 г.—въ Дюссельдорфѣ на Рейнѣ.

Гейне по происхожденію еврей, и предки его не могли похвалиться особенною знатностью своего родословнаго дерева. По матери нашъ поэтъ былъ «знатнѣе»: она принадлежала къ фамиліи Гельдернъ, пользовавшейся большимъ почетомъ при дворѣ и обществѣ, но за Самсона Гейне вышла уже бѣдною дѣвушкой послѣ разоренія ея отца, и мужъ ея завелъ въ Дюссельдорфѣ торговлю англійскими мануфактурными товарами, однако, шедшую плохо.

Біографы Генриха Гейне въ исторіи его развитія приписываютъ видную роль вліянію его матери; внимательно всматриваясь въ обстоятельства дѣтства и юношества нашего поэта, мы не можемъ, однако, вполнѣ согласиться съ этимъ мнѣніемъ. Правда, Бетти Гейне (имя матери поэта) была женщина очень образованная; правда, она была жаркою послѣдовательницею Ж. Ж. Руссо, и ея религіозныя убѣжденія были построены на почвѣ строгаго деизма; правда, наконецъ, что всѣ заботы о воспитаніи дѣтей лежали исключительно на ней, и она была вся поглощена этими заботами. Неоспоримо все это, но другіе, гораздо болѣе вѣскіе факты представляютъ дѣло въ совсѣмъ иномъ

свѣтѣ. Уже одно то обстоятельство, что эта женщина, какъ истая дочь раціоналистическаго XVIII вѣка, ставила на первомъ планѣ разумъ и наиболѣе тревожилась мыслью о томъ, что ея Генрихъ, пожалуй, сдѣлается когда-нибудь поэтомъ—уже одно это обстоятельство, думаемъ, достаточно говоритъ въ пользу того, что своимъ собственно поэтическимъ развитіемъ Гейне обязанъ отнюдь не матери. «Въ насъ самихъ заключаются звѣзды нашего счастья», замѣчаетъ онъ въ своихъ Мемуарахъ, сообщая тутъ же, что мать «боялась поэзіи, вырывала изъ рукъ сына всякій романъ, какой находила въ нихъ; запрещала ему ходить въ театръ, отстраняла отъ всякаго участія въ народныхъ играхъ, наблюдала за его знакомствами, бранила прислугу, которая въ его присутствіи разсказывала о привидѣніяхъ,—дѣлала, однимъ словомъ, все возможное, чтобы отдалить отъ него суевѣріе и поэзію». Не отъ нея, по его собственному заявленію, унаслѣдовалъ онъ «наклонность къ фантастическому и романтическому», т. е. къ тому, что̀ вошло самымъ существеннымъ элементомъ въ первоначальное творчество поэта; а если къ вышеприведенному прибавимъ еще одно заявленіе сына, что «на господство надъ дѣйствительнымъ направленіемъ его мысли она никогда не покушалась, и относительно его была олицетвореніемъ деликатности и любви»—то, кажется, имѣемъ достаточное основаніе утверждать, что собственно на поэтическое развитіе Гейне мать не только не оказала благопріятнаго вліянія, но даже противодѣйствовала ему.

Съ послѣднимъ заявленіемъ объ отсутствіи «покушенія на господство надъ дѣйствительнымъ направленіемъ мысли» сына находятся, однако, въ противорѣчіи тѣ свѣдѣнія о системѣ воспитанія Генриха, которыя находимъ въ его Мемуарахъ, и которыя являются для насъ доказательствомъ, что и житейскій путь, по которому пошелъ нашъ поэтъ и съ котораго онъ не сходилъ до конца своей жизни, былъ проложенъ ему отнюдь не матерью. Всю свою систему воспитанія она сообразовала съ тѣми «широкими и блистательными планами», которые строила для своего «Гарри», усматривая въ его умственныхъ способностяхъ великолѣпные задатки для осуществленія плановъ. То она,

ослѣпленная блескомъ первой французской имперіи, подчинившей себѣ въ эту пору Германію, и видя, напримѣръ, какъ одна изъ ея подругъ, дочь желѣзнаго фабриканта, сдѣлалась женой герцога и извѣстнаго генерала — начинаетъ тоже грезить для своего Генриха «о самыхъ золотыхъ эполетахъ или о самыхъ почетныхъ должностяхъ при дворѣ Наполеона» и сообразно этому, заставляетъ его учиться разнымъ военнымъ наукамъ. То съ паденіемъ имперіи она отказывается отъ этихъ стремленій и, будучи свидѣтельницей сказочнаго возвышенія дома Ротшильдовъ, рѣшаетъ, что и сынъ ея можетъ и долженъ «сдѣлаться денежной державой», вслѣдствіе чего—какъ увидимъ ниже—знакомитъ его съ вексельнымъ дѣломъ, съ торговлею, чрезъ посредство учителей набиваетъ его голову всевозможными предметами, имѣющими отношеніе къ сухопутной и морской торговлѣ, къ промышленности и т. п. То, когда вокругъ ея начинаютъ лопаться одно торговое предпріятіе за другимъ, она начинаетъ придумывать для сына новую карьеру и, замѣтивъ общее процвѣтаніе юридическаго, собственно адвокатскаго, сословія, рѣшаетъ, что Генриху непремѣнно надо сдѣлаться адвокатомъ—и отправляетъ его въ университетъ, слушать лекціи по юридическому факультету. Мало того: мы имѣемъ даже указаніе, что она, сперва энергически отклонившая предложеніе одного изъ учителей Генриха — окрестить этого послѣдняго въ католическую вѣру и посвятить его духовному званію, впослѣдствіи раскаявалась, что не сдѣлала этого... И только «послѣ столькихъ фіаско,—говоритъ сынъ, безпрекословно повиновавшійся ея распоряженіямъ,—она отказалась отъ верховнаго руководительства моею жизнью»,—и прибавляетъ, что «именно она была виновата въ безплодности большинства моихъ попытокъ и стремленій на общественномъ поприщѣ, такъ какъ ни одна изъ представлявшихся мнѣ должностей не соотвѣтствовала моей натурѣ». Это не мѣшало, однако, поэту всю жизнь питать къ матери глубочайшую, до благоговѣнія доходившую, любовь, которую онъ выразилъ и въ нѣсколькихъ изъ задушевнѣйшихъ своихъ стихотвореній. Да она и заслуживала этой любви, потому что только и жила мыслью и заботами о своихъ дѣтяхъ, и если Генрихъ

Гейне, какъ поэтъ, нисколько не обязанъ ея вліянію, то въ его умственномъ и нравственномъ развитіи вообще она все-таки не осталась безъ довольно видной роли.

Очень любилъ Гейне и своего отца; но то, что намъ извѣстно объ этомъ человѣкѣ по разсказамъ самого сына, представляетъ намъ его — несмотря на нѣжность, которою проникнуты эти разсказы—въ свѣтѣ далеко не привлекательномъ, и по крайней мѣрѣ въ такомъ, при которомъ уже ни о малѣйшемъ нравственно благотворномъ, а ужъ подавно умственномъ, образовательномъ вліяніи не можетъ быть и рѣчи. Это человѣкъ добрый, помогающій бѣднымъ, насколько позволяютъ его средства, общительный, но весьма пустой, суетный, въ душѣ котораго, по очень мѣткому и образному выраженію сына, «было вѣчно-ярмарочное увеселеніе».

Но между ближайшими родственниками будущаго поэта нашелся одинъ, въ общеніи съ которымъ мальчикъ Гарри находилъ почву для разработки своихъ чисто-поэтическихъ задатковъ и своихъ склонностей къ умственной работѣ вообще. Это былъ его дядя по матери, Симонъ Гельдернъ, большой чудакъ во внѣшнихъ проявленіяхъ, съ наружностью, вызывавшею даже непочтительный смѣхъ, но съ прекраснѣйшимъ и благороднѣйшимъ сердцемъ. Бывшій воспитанникъ коллегіи іезуитовъ, гдѣ онъ окончилъ курсъ такъ-называемыхъ гуманитарныхъ наукъ, страстный библіоманъ, плохой авторъ политическихъ статей, живо интересующійся всѣми современными вопросами, этотъ человѣкъ старался сообщать племяннику свои знанія и прививать свои вкусы, дарилъ ему прекрасныя книги, отдавалъ въ его распоряженіе свою библіотеку, богатую классическими сочиненіями и лучшими современными брошюрами, и всѣмъ этимъ, какъ прямо заявлялъ впослѣдствіи Гейне, оказывалъ большое вліяніе на его развитіе.

Симонъ Гельдернъ жилъ въ старомъ домѣ, доставшемся ему отъ отца, и чердакъ котораго представлялъ собою складъ всевозможнаго домашняго хлама, разныхъ глобусовъ, колбъ и ретортъ, свидѣтельствовавшихъ объ астрологическихъ и алхимическихъ [illegible]хъ *прежняго домовладѣльца*, книгъ медицинскаго, фило-

софскаго и каббалистическаго содержанія. Здѣсь проводилъ цѣлые часы будущій романтикъ, въ этой обстановкѣ все «представлялось ему облитымъ фантастическими лучами», и въ далекія, невѣдомыя пространства устремлялось его богатое воображеніе, когда въ этой таинственной пыли находилъ онъ такія вещи, какъ, напримѣръ, записная книжка одного изъ его предковъ по матери—весьма загадочнаго человѣка, странствовавшаго по всему свѣту, преимущественно по Востоку, бывшаго и набожнымъ пилигримомъ, и предводителемъ бедуинскаго племени, и чѣмъ-то въ родѣ чернокнижника. Гейне, характеризуя его въ Мемуарахъ, какъ «полу-фантазера, занимавшагося пропагандою космополитическихъ, осчастливливающихъ міръ, утопій, и полуавантюриста, который, въ сознаніи своей индивидуальной силы, разрушаетъ или переступаетъ гнилые предѣлы гнилого общества» — свидѣтельствуетъ о сильномъ вліяніи, которое производили на его дѣтское, впечатлительное воображеніе и то, что онъ могъ понять въ этой уцѣлѣвшей записной книжкѣ, и сохранившіеся въ семьѣ разсказы и традиціи объ этой таинственной личности.

Записная книжка этого дяди, какъ выше замѣчено, не могла давать мальчику значительный матеріалъ собственно для чтенія, уже потому, что большая часть ея была написана арабскими, сирійскими и коптскими буквами. За то не однимъ сокровищемъ обогатился его умъ въ вышеупомянутой библіотекѣ дяди—судя потому, что первыми книгами, которыя онъ прочелъ здѣсь, послѣ вступленія своего въ пору разумнаго дѣтства, были «Донъ Кихотъ» и «Путешествіе Гулливера». Неподражаемо поэтически описалъ онъ самъ въ «Путевыхъ Картинахъ» впечатлѣніе, производившееся на него безсмертнымъ твореніемъ Сервантеса. Общеніе съ «Донъ Кихотомъ» не ограничилось у Гейне дѣтскимъ возрастомъ; книгу эту неоднократно читалъ онъ [illegible] различные возрасты своей жизни, и на всѣхъ путяхъ этой [illegible]тѣдней «преслѣдовали меня,—писалъ онъ гораздо позже,—фи[illegible] худощаваго рыцаря и его жирнаго оруженосца, въ особен[illegible] когда я достигалъ рокового перепутья... Можетъ-быть, я [illegible] никто *иной, какъ донъ* Кихотъ». Что касается «Путе-

шествія Гулливера», то чтенію его маленькимъ Гейне, конечно, нельзя не придать большого значенія въ жизни того, кому тоже суждено было сдѣлаться однимъ изъ геніальнѣйшихъ сатириковъ. Въ твореніи Свифта двѣнадцатилѣтняго Генриха, главнымъ образомъ, занимали судьбы великана, присутствіе котораго внушало столько страха и опасеній карликамъ-лиллипутамъ, и, если вѣрить Гейне, въ этихъ судьбахъ онъ усматривалъ сходство съ отношеніями, Европы къ Наполеону I, отношеніями, разыгрывавшимися на глазахъ нашего поэта въ пору его ранней молодости. Говоримъ—«если вѣрить», потому что врядъ ли въ этомъ возрастѣ онъ способенъ былъ уже проводить такія аналогіи.

Не подъ такими только вліяніями и впечатлѣніями росъ будущій авторъ «Путевыхъ Картинъ» и «Алманзора». Между тѣмъ какъ, съ одной стороны, его романтическая по своей натурѣ, можно даже сказать, восточная фантазія и чисто поэтическое чувство находили себѣ богатую пищу какъ въ томъ, о чемъ мы только - что разсказали, такъ и въ его любовныхъ увлеченіяхъ уже въ самые ранніе годы — съ другой стороны уже теперь развивались въ немъ сѣмена того скептицизма, внутренняго разлада, тѣхъ, однимъ словомъ, элементовъ «міровой скорби», которые впослѣдствіи наложили такую яркую печать на поэтическое творчество Гейне. Какъ ни странно можетъ казаться это, но въ его голову, уже почти въ дѣтствѣ, начинаютъ западать философскія идеи, и притомъ такого свойства, которыми умъ наводится именно на путь пытливаго мышленія, а слѣдовательно и скептическаго отношенія ко многимъ вопросамъ, освященнымъ вѣковыми традиціями. Въ дюссельдорфскомъ лицеѣ, гдѣ Гейне получилъ свое первое образованіе, читались между прочимъ для старшихъ классовъ лекціи философіи, и профессоръ Шалмейеръ, хотя почтенный католическій священникъ, излагалъ, однако, своимъ юнымъ слушателямъ всѣ системы самыхъ свободныхъ греческихъ мыслителей. Гейне уже кончилъ курсъ въ этомъ заведеніи пятнадцати лѣтъ; вотъ, стало-быть, въ какомъ возрастѣ началъ онъ знакомиться съ этими ученіями. «Это обстоятельство—говоритъ онъ,—конечно очень важно *для меня; еще мальчикомъ* я долженъ былъ привыкать къ фи-

лософскимъ лекціямъ... Такимъ образомъ здѣсь (т. е. слушая лекціи Шалмейера) я рано увидѣлъ, какъ, при отсутствіи лицемѣрія, религія и сомнѣнія шли спокойно рядомъ, и чрезъ это во мнѣ родилось не только невѣріе, но и самое толерантное равнодушіе».

Не менѣе важности придаетъ онъ и тому обстоятельству, что родился въ концѣ скептическаго восемнадцатаго столѣтія и въ томъ городѣ, гдѣ въ пору его дѣтства господствовали не только французы, т. е. Наполеонъ, но и французскій духъ — и въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій опять называетъ себя «отчасти сыномъ французской философіи...» До какой степени эти лекціи вліяли на умъ мальчика Гейне, видно изъ одного весьма интереснаго факта, относящагося именно къ этой порѣ. Въ лицеѣ Генрихъ близко сошелся съ молодымъ сыномъ одного хлѣбнаго торговца, который выгналъ юношу изъ дому за его «вольнодумство», бывшее результатомъ чтенія разныхъ философскихъ трактатовъ. Нашъ поэтъ украдкой видался съ нимъ, и они вмѣстѣ читали философскія сочиненія—даже Спинозу—и пускались въ оживленныя пренія по вопросамъ, на которые наталкивали ихъ эти страницы. Само собой разумѣется, что этого рода вещи дѣйствовали на мальчика, даже почти юношу, больше, если можно такъ выразиться, инстинктивно, что никакое отчетливое, вполнѣ сознательное представленіе по такимъ вопросамъ въ этой молодой головѣ составиться не могло,—но сѣмена во всякомъ случаѣ кидались на такую благодарную почву, что рано или поздно должны были принести свои плоды.

Этому «насажденію» философски-скептическихъ сѣмянъ въ очень значительной степени благопріятствовалъ тотъ религіозный индиферентизмъ, который находилъ себѣ мѣсто въ домѣ родителей нашего поэта. Правда, внѣшніе еврейскіе обряды исполнялись здѣсь въ точности; но это происходило отъ той же
причины, которая заставляла Генриха Гейне, до его пе-
въ христіанство—да въ душѣ и послѣ того—чтить эту
юю сторону, не разрывать связи съ нею: отъ семейнаго,
аго чувства, отъ извѣстнаго рода благочестія относи-
вѣковыхъ традицій, которое еще усиливалось несчастною

судьбою его единовѣрцевъ. Но дѣло ограничивалось именно только внѣшнею стороною. Отъ матери поэта, какъ послѣдовательницы Руссо, какъ строгой деистки, нельзя было и ожидать внутренней преданности еврейству, какъ одной изъ положительныхъ религій; что касается до отца, то въ Мемуарахъ поэта находимъ одну очень характеристическую на этотъ счетъ подробность. Самсону Гейне передали, что его Гарри насмѣхается надъ религіею, что онъ отрицаетъ Бога и т. п. По этому случаю старикъ прочелъ сыну длинную проповѣдь, въ которой между прочимъ сказалъ: «Твоя мать посылаетъ тебя учиться философіи у ректора Шалмейера. Это ея дѣло. Я съ моей стороны не люблю философіи, потому что въ ней все—суевѣріе; а я купецъ и мнѣ нужна моя голова для веденія моихъ дѣлъ. Ты можешь быть философомъ, сколько тебѣ угодно, но прошу тебя— не говори публично, что ты думаешь, потому что мои дѣла пошли бы дурно, если бы мои кліенты узнали, что я имѣю сына, не вѣрующаго въ Бога; особенно евреи перестали бы покупать у меня бархатъ, а они честные люди и платятъ аккуратно, и имѣютъ право и основаніе держаться религіи»... Не мудрено, что окруженный такими воззрѣніями, а въ значительной степени конечно и благодаря собственной натурѣ, направленію и свойству собственнаго ума, Гейне-мальчикъ, соблюдая внѣшнія обряды еврейской религіи, относился, однако, къ нимъ и ко всѣмъ талмудическимъ утонченностямъ скептически, даже насмѣшливо...

Рано также начали шевелиться въ Гейне идеи политическаго свойства, слагаться его политическое міросозерцаніе—и это благодаря тѣмъ обстоятельствамъ, среди которыхъ приходилось расти мальчику и которыя если отразились на послѣдующей литературной дѣятельности поэта только отчасти, то во всякомъ случаѣ дали ей обильный матеріалъ. Періодъ дѣтства и первыхъ годовъ юношества Гейне былъ періодомъ полнѣйшаго позора и политическаго паденія Германіи. Вмѣстѣ съ большею частью Европы и она, въ лицѣ «рейнскаго союза», безсильно отдалась желѣзной власти Наполеона; маленькое герцогство юлихъ-бергское, гдѣ главнымъ городомъ былъ Дюссельдорфъ,

тоже не избѣжало этой участи. Въ двухъ формахъ являлось господство французовъ соотечественникамъ и согражданамъ Гейне: съ одной стороны тяжело ложились на нихъ, какъ и на всѣ народы, склонившіеся подъ властью Наполеона, подати, налоги, деспотическое управленіе и т. п., съ другой—испытывали они на себѣ благодѣтельныя проявленія того гражданскаго равенства, которымъ Наполеонъ вознаграждалъ подчинявшіяся ему страны за потерю ихъ національной свободы и независимости — проявленія въ видѣ уничтоженія крѣпостного права, отмѣны запрещенія дворянамъ вступать въ бракъ съ лицами крестьянскаго и мѣщанскаго сословія, реформъ судопроизводства по французскому образцу и т. п. Для единовѣрцевъ Гейне Наполеоновское господство имѣло еще спеціально благотворное значеніе, такъ какъ имъ былъ сдѣланъ—благодаря установленію равноправности для евреевъ съ другими національностями относительно рекрутчины—по крайней мѣрѣ первый шагъ на пути освобожденія ихъ отъ тысячелѣтняго рабства, которое въ эту именно пору было сильнѣе, чѣмъ когда либо...

Въ такой политической атмосферѣ росъ маленькій Гейне, не видя при этомъ съ другой стороны, какъ противовѣса французскому вліянію, ничего похожаго на истинный патріотизмъ. Да этому чувству и не могло быть мѣста въ нѣмецкомъ населеніи—какъ и повсюду въ Германіи—при воспоминаніи о томъ, чѣмъ была въ послѣднее время «священная римская имперія», этотъ политическій трупъ съ чисто формальнымъ, мишурнымъ значеніемъ.

Еще меньше смысла могъ имѣть нѣмецкіи патріотизмъ въ населеніи еврейскомъ, испытывавшемъ на себѣ страшный гнетъ со стороны Германіи..

Французское вліяніе — по справедливому замѣчанію біографа Гейне, Штродтмана, — необходимо принимать во вниманіе для ɔаведливой оцѣнки развитія нашего поэта и позднѣйшей пи-чтельской дѣятельности его; несомнѣнно, что раннее и тѣсное ценіе съ подвижными и смѣлыми элементами французской ціональности сообщило ему ту подвижную смѣлость и увѣ-ость, которою запечатлѣна большая часть произведеній на-

шего поэта; какъ несомнѣнно съ другой стороны, что эти же вліянія поселили въ душѣ ребенка первыя сѣмена той измѣнчивости характера, которая впослѣдствіи часто выставляла въ двусмысленномъ свѣтѣ серьезность его убѣжденій.

Мы отмѣтили всѣ положительныя и отрицательныя вліянія, дѣйствовавшія на Гейне въ его дѣтствѣ. Къ отрицательнымъ надо отнести и то, что дала ему школа, т. е., какъ мы видѣли, дюссельдорфскій лицей. Дала она ему очень немного, если не считать вышеупомянутыхъ лекцій Шалмейера по исторіи философіи, хотя имъ, принимая въ соображеніе крайне молодой возрастъ ученика, мы не можемъ придавать положительное значеніе. Съ необыкновенно мѣткимъ, чисто Гейневскимъ остроуміемъ изобразилъ намъ самъ поэтъ свое первоначальное обученіе; въ брызжущей поразительнымъ юморомъ панорамѣ проходятъ здѣсь передъ нами эти римскіе короли, хронологія, имена существительныя на *im*, неправильные глаголы, «отличающіеся отъ правильныхъ тѣмъ, что за нихъ больше сѣкутъ», греческій языкъ, это «изобрѣтеніе дьявола», доставлявшее поэту такія муки, «которыя извѣстны только Богу», еврейскій языкъ, нѣмецкая грамматика, «тоже не дѣтская игрушка, потому что бѣднымъ нѣмцамъ, достаточно уже мучимымъ разными военными постоями, повинностями, личными налогами и всевозможными податями, приходится еще возиться съ учебникомъ Аделунга и хлопотать о винительномъ и дательномъ падежахъ», географія, которой очень трудно было учиться, потому что «въ то время французы перекраивали всѣ границы», миѳологія, не стоившая юному Гарри большого труда, ибо онъ «ужасно любилъ этихъ голыхъ боговъ, которые такъ весело управляли вселенною», — все то, однимъ словомъ, чѣмъ набивали голову этого необычайно развитого и необычайно впечатлительнаго мальчика, на ряду съ сотнями другихъ дѣтскихъ головъ. Но между тѣмъ, какъ большая часть послѣднихъ покорно усваивала всю эту премудрость, съ маленькимъ Гарри нелегко было справиться; слова его: «если бы я сдѣлался знаменитымъ писателемъ, такъ это стоило порядочнаго труда моей бѣдной матери!» относятся одинаково и къ ней, и къ остальнымъ руководителямъ будущаго поэта, на-

мекая на чувство независимости, доходившее до строптивости, гордое сознаніе собственнаго достоинства, насмѣшливое отношеніе къ окружающей посредственности, уже въ ту раннюю пору бывшія въ числѣ отличительныхъ свойствъ его натуры. Проявлялись въ немъ въ эти годы и многія другія врожденныя особенности его, изъ которыхъ иныя впослѣдствіи получили большое развитіе и которыми онъ роднится въ очень значительной степени съ двумя другими великими поэтами одинаковаго съ нимъ пошиба: Байрономъ и нашимъ Лермонтовымъ. Это — отсутствіе сообщительности и уходъ въ себя даже относительно ближайшихъ друзей, скрываніе истинныхъ чувствъ своего сердца, при гуманномъ добродушіи и чрезвычайной мягкости, нѣчто заставляющее его почти стыдиться врожденной чувствительности, стараніе съ упрямою гордостью скрывать эту чувствительность подъ рѣзкими, часто даже отталкивающими формами, молчаливость и т. п.

Очень естественно, что въ душѣ съ такими задатками — и притомъ душѣ истиннаго великаго поэта — очень рано должно было развиться и чувство любви, вѣрнѣе — влюбчивости, какъ это бывало тоже со многими выдающимися поэтами. И здѣсь мы коснулись того чувства, которое по количественности своихъ проявленій (говорю «количественности», потому что по качеству своему эти проявленія никогда не были особенно глубоки и долговременны)—играло въ жизни Гейне весьма видную роль и нашло себѣ въ немъ величайшаго и разностороннѣйшаго истолкователя, какого только можно найти въ исторіи эротической поэзіи. Началось это, какъ только-что сказано, очень рано. Въ «Путевыхъ Картинахъ» поэтъ упоминаетъ о какой-то маленькой дѣвочкѣ Вероникѣ, которую онъ любилъ, какъ видно, еще въ совсѣмъ дѣтскіе годы, и этой маленькой — полуреальной и полуфантастической — Вероникѣ мы обязаны нѣсколькими удивительными поэтическими строками, которыя имѣютъ притомъ историко-литературное значеніе, свидѣтельствуя о явномъ присутствіи романтическаго элемента въ поэзіи Гейне въ ту пору. Еще сильнѣе отзывается «романтизмомъ» вторая любовь — уже пятнадцатилѣтняго—по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ,

въ какомъ онъ изобразилъ ее впослѣдствіи въ своихъ Мемуарахъ. Предметъ этой любви—дочь палача Іозефа или «красная Зефхенъ», какъ звали ее, потому что волосы ея были «красные, какъ кровь красные», удивительная, судя по описанію Гейне, красавица, «у которой каждое движеніе обнаруживаетъ ритмы ея тѣла, даже музыку души». Зефхенъ знала много народныхъ пѣсенъ и, по заявленію Гейне, поселила въ немъ, можетъ-быть, склонность къ этому роду поэзіи, т. е. къ тому роду, въ которомъ онъ съ первыхъ же шаговъ своихъ на литературномъ поприщѣ заявилъ себя такимъ великимъ мастеромъ. Да и вообще эта дѣвушка, какъ свидѣтельствуетъ онъ же, имѣла «величайшее вліяніе» на пробужденіе его поэтическаго дарованія, «вслѣдствіе чего — говоритъ онъ — мои первыя стихотворенія, «Traumbilder», написанныя вскорѣ послѣ того, отличаются мрачнымъ и жестокимъ колоритомъ, подобно обстоятельствамъ, накидывавшимъ въ ту пору свои багровыя тѣни на мою молодую жизнь и мыслительную дѣятельность». Мы охотно вѣримъ этому, хотя, конечно, далеко не одна Зефхенъ обусловила мрачно романтическій характеръ первыхъ стихотвореній Гейне, о чемъ впрочемъ будетъ еще у насъ рѣчь ниже—точно такъ же какъ съ другой стороны признаемъ сдѣланнымъ только для «краснаго слова» заявленіе, что нашъ поэтъ цѣловалъ эту дѣвушку «не только по нѣжной склонности, но также вслѣдствіе насмѣшливаго отношенія къ старому обществу и всѣмъ его темнымъ предразсудкамъ»; достаточною натяжкою и искусственностью звучатъ слова его о томъ, что эти поцѣлуи впервые зажгли въ немъ «пламя тѣхъ двухъ страстей, которымъ осталась посвященною вся послѣдующая жизнь его: любовь къ красивымъ женщинамъ и любовь къ французской революціи». Насчетъ красивыхъ женщинъ нисколько не споримъ; относительно второго—сомнѣваемся, ибо, когда рѣчь идетъ о презрѣніи, съ которымъ относятся къ гнусному ремеслу палача и, невольно, всему—хотя бы и невинному (какъ Зефхенъ),—что находится съ нимъ въ соприкосновеніи, то причемъ тутъ «старое общество и всѣ его темные предразсудки?»

Мы останавливаемся на этихъ эпизодахъ въ жизни Гейне,

конечно, не ради ихъ, такъ сказать, житейскаго значенія, ибо таковаго они отнюдь не имѣютъ, и если впослѣдствіи поэтъ неоднократно обращался къ нимъ мыслью, то все это было ничто иное, какъ только чисто поэтическое воспоминаніе. Въ этомъ именно, и только въ этомъ, заключается ихъ важность; тѣмъ именно и дороги они біографу, что онъ видитъ въ нихъ первые стимулы для творчества поэта, ибо, какъ замѣтилъ уже Байронъ (тоже полюбившій, когда ему было 8 лѣтъ)—«для того, чтобы человѣкъ сдѣлался поэтомъ, нужно, чтобы онъ или влюбился, или жилъ въ бѣдствіи». То же было и съ Гейне; рано начавши влюбляться, онъ очень рано сталъ и писать стихи, о достоинствѣ которыхъ, однако, мы судить не можемъ, такъ какъ ни одно изъ первыхъ произведеній не дошло до насъ. Но не одна любовь вызывала эти первыя поэтическія изліянія. Несомнѣнно, что въ данномъ случаѣ сыграли важную роль и мѣстныя условія того края, гдѣ прошли первые дѣтскіе годы Гейне, этихъ цвѣтущихъ береговъ Рейна, этой, по его словамъ, «прелестной страны, полной любви и солнечнаго свѣта», въ которой при этомъ совмѣщается много такого, что́ безъ труда можетъ дѣйствовать на развитіе поэтическихъ задатковъ, особенно въ романтическомъ направленіи. Сидя ребенкомъ на берегахъ этой «голубой рѣки, въ зеркалѣ которой отражаются гористые берега со своими развалинами замковъ, лѣсами и древними городами», будущій поэтъ слушалъ разсказы какой-то «прекрасной Іоганны», которая знала «самыя прелестныя сказки»,—«и когда она,—читаемъ мы въ «Путевыхъ Картинахъ»,—указывала бѣлою рукою черезъ окошко на горы, гдѣ происходило все, о чемъ она разсказывала, то со мной самимъ совершалось что-то волшебное: старые рыцари явственно вставали изъ развалинъ замковъ и били другъ друга въ желѣзную броню; Лорелея снова стояла на вершинѣ горы и пѣла свою милую, губительную пѣсню; Рейнъ шумѣлъ такъ умно-успокоительно и въ то же время обдавая такою чудною дрожью»...

Подготовленный такимъ образомъ внутренно, поставленый въ такую обстановку во внѣшнемъ отношеніи, Гарри Гейне оставъ лицейскую скамью и вступилъ въ жизнь.

II.

Вступилъ онъ въ жизнь очень рано, всего пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ, и она сразу представилась ему съ очень непривлекательныхъ сторонъ, дававшихъ обильную пищу тому сатирическому и пессимистическому воззрѣнію на людей, которое глубоко лежало уже въ самой натурѣ его. Въ 1815 г. отецъ повезъ своего Гарри во Франкфуртъ, чтобы тамъ, въ центрѣ всѣхъ коммерческихъ предпріятій, сдѣлокъ и комбинацій, посвятить его торговлѣ. Мы видѣли выше, какъ мать нашего поэта, въ разгарѣ господства Наполеона, мечтала для своего Генриха о военной карьерѣ съ «самыми золотыми эполетами» и какъ съ паденіемъ Наполеона рушились эти планы, замѣнившись мечтами о превращеніи неудавшагося будущаго полководца въ «денежную державу». Но для этого нужна была подготовка, нужно было пройти какъ теоретическій, такъ и практическій курсъ—эту-то цѣль и имѣло отправленіе будущаго поэта во Франкфуртъ, гдѣ, немедленно по прибытіи, мы видимъ его служащимъ въ конторѣ банкира Риндкопфа, за изученіемъ вексельнаго дѣла, и потомъ стоящимъ за прилавкомъ въ бакалейномъ складѣ одного изъ крупныхъ торговцевъ, для усвоенія тайнъ этого рода операцій.

Все это продолжалось однако, только, два мѣсяца — больше поэтъ не могъ выдержать; но и изъ нихъ далеко не все время посвящалъ своенравный и строптивый юноша занятіямъ, на которыя обрекла его родительская воля. Очень часто убѣгалъ онъ изъ своей конторы, изъ своего бакалейнаго склада, и цѣлые дни ходилъ по городу, знакомясь съ жизнью Франкфурта, съ ея отличительными явленіями, и раздражаясь все больше и больше. Съ одной стороны, жестоко оскорбляя его поэтическое чувство, предъ нимъ раскрывался во всемъ блескѣ торгашескій духъ франкфуртцевъ, для которыхъ все, не связанное съ денежными интересами и спекуляціями, не имѣло ровно никакого значенія, или имѣло значеніе чисто отрицательное; съ другой стороны, страдало его соціальное и гуманное чувство при видѣ позорнаго гнета, подъ которымъ жили въ то время его единовѣрцы.

Положеніе евреевъ во Франкфуртѣ естественно представлялось ему съ этихъ двухъ точекъ зрѣнія возмутительнымъ. Если, съ одной стороны, онъ видѣлъ всѣ недостатки своихъ единовѣрцевъ, если съ этихъ поръ уже сталъ клеймить въ нихъ то, на что впослѣдствіи съ особенною силою и язвительностью обрушивалась его сатира, напр., торгашество, мелкую изворотливость, нетерпимо враждебное отношеніе ко всякой другой религіи, всякой другой національности и т. п., то, съ другой стороны—на каждомъ шагу видѣлъ онъ доказательства того, что относительно ихъ христіанами попирались самыя элементарныя права, какъ человѣческія, такъ и юридическія. Еврейское происхожденіе Гейне было для него, какъ замѣчаетъ Штродтманъ, «неизсякаемымъ источникомъ любви и ненависти, смотря по тому, что́ имѣлъ онъ въ виду: героическое мученичество и двадцативѣковую исторію страшныхъ страданій, или ту упорную ограниченность, съ которою его соплеменники-израильтяне твердо держались устарѣлыхъ формъ и сопротивлялись успѣхамъ цивилизаціи».

И вотъ, въ одно прекрасное утро, нашъ приказчикъ бакалейнаго склада «сбѣжалъ»—и очутился въ домѣ своихъ родителей. Но мать далеко еще не отреклась отъ мысли увидѣть своего Гарри «великою денежною державой»; вотъ почему очень скоро послѣ бѣгства его изъ Франкфурта, мы находимъ его въ той же торговой сферѣ—въ Гамбургѣ. Тамъ въ эту пору занималъ видное мѣсто въ банкирскомъ мірѣ его дядя, Соломонъ Гейне, нѣсколько времени спустя—милліонеръ, одинъ изъ самыхъ крупныхъ финансовыхъ дѣятелей. Генриху Гейне приходилось, какъ увидимъ, еще нѣсколько разъ въ жизни становиться въ отношенія—почти исключительно матеріальнаго свойства—съ этимъ дядей, и притомъ отношенія, часто оканчивавшіяся не совсѣмъ пріятно для племянника, хотя во многихъ случаяхъ и не безъ вины со стороны этого послѣдняго. Но если о значительной части своихъ родственниковъ нашъ поэтъ почти всю свою жизнь не могъ говорить безъ желчи и злобы, если нѣкоторыхъ изъ нихъ онъ прямо называлъ главными виновниками своей гибели, то къ Соломону Гейне, несмотря на происходившія между *ними разногласія, онъ* всегда относился съ симпатическимъ

уваженіемъ, даже любовью, за многія его выдающіяся свойства, между которыми поэтъ находитъ и родственныя съ его собственными.

Этотъ-то Соломонъ Гейне, исполняя желаніе родителей Генриха—указать ему путь, какъ сдѣлаться денежной державой, доставилъ юношѣ что-то въ родѣ коммерческой агентуры, а въ 1818 г.—необычайно комическая иронія судьбы!—мы видимъ будущаго автора «Путевыхъ Картинъ» во главѣ собственной комиссіонерской конторы подъ фирмою Гарри Гейне и К°!.. Излишне говорить, что дѣла «фирмы» шли крайне безобразно, и нисколько не удивительно, что менѣе, чѣмъ черезъ годъ, состоялась уже ликвидація этого предпріятія; но за то этимъ якобы коммерческимъ занятіямъ нашего поэта, его постоянному общенію съ міромъ торгашей, спекулянтовъ, банкировъ и т. п. мы обязаны нѣсколькими страницами прозы и стиховъ, принадлежащими къ остроумнѣйшимъ произведеніямъ сатирическаго пера Гейне. Сѣмена, брошенныя въ этомъ отношеніи въ его умъ и душу еще во Франкфуртѣ, здѣсь находили для своего произрастанія почву еще благодарнѣе, тѣмъ болѣе, что наблюдатель сдѣлался старше на цѣлыхъ два-три года... Не найдемъ ли мы послѣ всего этого вполнѣ естественнымъ, что Гейне въ эту пору сравнивалъ себя съ тѣми лебедями, которые въ Гамбургѣ проводятъ зиму въ томъ же замерзнувшемъ бассейнѣ рѣки Альстера, гдѣ они плаваютъ и лѣтомъ, услаждая своимъ видомъ гуляющую публику—лебедями, о которыхъ маркеръ бассейнаго ресторана говорилъ нашему поэту, что «имъ среди этого льда очень хорошо, что холодъ для нихъ очень здоровъ»?..

Но не только эта гамбургская атмосфера вліяла такъ неблагопріятно на молодого Генриха. Было еще одно чувство, волновавшее его—только въ другомъ направленіи: новая, и притомъ несчастная любовь. И если мы только-что видѣли его въ обстановкѣ, развивавшей будущаго сатирика, то здѣсь появляются на сцену обстоятельства, дающія дальнѣйшій толчокъ ему, какъ поэту лирическому. Муза его вновь пробудилась теперь для того, чтобы, какъ выражается одинъ біографъ, «только воспѣвать несчастную любовь, только славить дѣвушку, которая пренебрегла

его любовью», долго дѣлала бѣднаго Генриха самымъ жалкимъ человѣкомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ была «первымъ существомъ, создавшимъ изъ него истиннаго поэта, вызвала у него чистѣйшія, нѣжнѣйшія, сладостнѣйшія чувства и мысли, но въ то же время и рѣзкія, дикія проявленія ироніи, насмѣшки, отчаянія, и которую онъ обезсмертилъ своими пѣснями». Эта счастливица—ибо развѣ не счастіе стяжать себѣ безсмертіе въ пѣсняхъ такого поэта, какъ Гейне?—была Амалія Гейне, дочь богатаго дяди Соломона. Подробныхъ фактическихъ свѣдѣній объ этой любви мы не имѣемъ, знаемъ только, что, повидимому, Амалія не раздѣляла страсти своего шестнадцатилѣтняго кузена и что нѣсколько лѣтъ спустя она вышла за купца Фридлендера.

Для насъ любовь Гейне къ Амаліи важна только какъ крючокъ, если можно такъ выразиться, на который влюбленный поэтъ вѣшаетъ свои сердечныя впечатлѣнія, только какъ могущественный внѣшній поводъ къ пробужденію его поэтическаго чутья, его необычайнаго дара проникать въ самыя разнообразныя и самыя сокровенныя тайны чувства любви; въ стихотвореніяхъ Гейне, относящихся собственно къ этимъ годамъ его жизни, для насъ важно не то, *какъ* любилъ шестнадцатилѣтній мальчикъ, важна не фактическая сторона этихъ стиховъ, а то, какъ умѣлъ понимать и выражать любовь уже въ такую раннюю пору тотъ, кому было суждено скоро сдѣлаться однимъ изъ величайшихъ «пѣвцовъ» любви и «міровой скорби». То же самое должны мы сказать и о письмахъ, писанныхъ въ это же время и составляющихъ драгоцѣнный біографическій матеріалъ. Они указываютъ намъ на раннее развитіе поэтическаго дарованія Гейне и вмѣстѣ съ тѣмъ ясно опредѣляютъ уже теперь существенные оттѣнки въ характерѣ этого дарованія. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ будущій Гейне, въ нѣкоторыхъ главныхъ сторонахъ его творчества, особенно въ первый періодъ, Гейне, какъ романтикъ и «байронистъ», не проявляется весьма явственно въ слѣдующемъ, напримѣръ, отрывкѣ изъ письма къ другу Христіану:

«Хотя я имѣю самыя неоспоримыя, самыя неопровержимыя доказательства тому, что она рѣшительно не любитъ меня—доказательства, которыя даже ректоръ Шалмейеръ призналъ бы

строго логическими и нимало не поколебался бы поставить въ основаніе своей собственной системы,—но мое бѣдное любящее сердце все-таки никакъ не хочетъ произнести concedo (уступаю) и продолжаетъ говорить: «Какое мнѣ дѣло до твоей логики? У меня своя собственная логика!» Я снова увидѣлъ ее...

Dem Teufel meine Seele,
Dem Henker sei der Leib!
Doch ich allein erwähle
Für mich das schöne Weib!

«У! Ты вздрогнулъ, Христіанъ! Дрожи, дрожи — я тоже дрожу... Сожги мое письмо. Да смилуется Богъ надъ моею грѣшною душой! Не я написалъ эти слова: ихъ написалъ блѣдный человѣкъ, сидящій на моемъ стулѣ. Это происходитъ оттого, что теперь полночь... О, Господи! Безуміе не грѣшитъ... Ты, ты!.. Не дыши такъ сильно, я только-что построилъ себѣ прелестный карточный домикъ, и стою на самомъ верху его, и держу ее въ моихъ объятіяхъ!.. Я сумасшедшій шахматный игрокъ. Уже при первомъ ходѣ я проигралъ королеву, но все-таки продолжаю играть и играю изъ-за королевы. Слѣдуетъ ли мнѣ продолжать?

Когда все потеряно и нѣтъ болѣе надежды,
Тогда жизнь становится позоромъ, а смерть—долгомъ.

«Молчи, проклятый богохульствующій французъ, постыдись своего малодушнаго, хнычущаго отчаянія! Тебѣ, видно, незнакома нѣмецкая любовь? Она стоитъ смѣло и прочно на двухъ вѣчно незыблемыхъ столбахъ: благородномъ мужествѣ и вѣрѣ»...

Въ такомъ родѣ и всѣ остальныя письма, посвященныя любви къ Амаліи, и мы полагаемъ, что принимая въ соображеніе возрастъ Гейне въ ту пору, когда писались такія вещи, отнюдь нельзя придавать имъ серьезное значеніе въ смыслѣ сочувствія къ страданіямъ поэта, въ смыслѣ усматриванія, на основаніи ихъ, рѣшающаго вліянія этой любви на всю послѣдующую жизнь ихъ автора; точно такъ же, какъ нельзя не находить въ ихъ тонѣ очень значительной доли напускного отраженія романтическихъ вѣяній и кокетничанья своею скорбью въ чисто байроническомъ духѣ...

Во всякомъ случаѣ, этотъ эпизодъ въ жизни Гейне важенъ, какъ новая ступень его поэтическаго развитія, ибо именно въ Гамбургѣ, и именно въ эту пору, была написана большая часть тѣхъ стихотвореній, которыя вошли въ появившійся довольно скоро послѣ того первый сборникъ его произведеній, и между которыми, однако,—фактъ, по нашему мнѣнію, далеко не лишенный значенія для оцѣнки общаго хода поэтическаго творчества Гейне—были и такія, которыя собственно съ любовью не имѣли ничего общаго. Блистательнѣйшимъ примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить знаменитое до сихъ поръ стихотвореніе «Два Гренадера»—откликъ того поэтическаго поклоненія Наполеону, которое создалось еще въ мальчикѣ Гарри среди уже изложенныхъ нами обстоятельствъ его дѣтства и еще довольно долго жило въ немъ, судя по нѣсколькимъ вдохновеннымъ страницамъ въ «Путевыхъ Картинахъ» — стихотвореніе, которое, выйдя изъ-подъ пера восемнадцатилѣтняго поэта, уже одно выдавало ему, такъ сказать, патентъ на званіе будущаго великаго дѣятеля въ этой области.

Но само собою разумѣется, что чѣмъ болѣе работала его муза, тѣмъ сильнѣе становилось отвращеніе въ немъ отъ купеческой дѣятельности—и родители его увидѣли, что надо имъ отказаться отъ мечтаній о своемъ Гарри, какъ будущемъ Ротшильдѣ. Къ этому присоединились «крахи» разныхъ торговыхъ предпріятій, и вотъ, въ головѣ матери создается новый планъ: сдѣлать изъ своего сына юриста и этимъ создать для него блестящую дорогу, ибо въ это время адвокатское сословіе въ Германіи процвѣтаетъ и благоденствуетъ болѣе другихъ. Обратились за совѣтомъ къ богатому дядѣ Соломону Гейне, и тотъ, убѣдившись въ полной неспособности племянника къ коммерческимъ дѣламъ, вполнѣ призналъ раціональность материнскаго плана, мало того, согласился въ теченіе трехъ лѣтъ давать средства на обученіе будущаго свѣтила юриспруденціи и адвокатуры въ университетѣ. А поддержка эта была необходима, потому что дѣла отца Гейне были въ ту пору въ очень плачевномъ состояніи, и мать, находя, что сумма, назначенная Соломономъ Гейне, была недостаточна, чтобы обезпечить ея сыну сносное существованіе въ первые

студенческіе годы, продала еще для этой цѣли свои брилліанты. Оказать содѣйствіе и покровительство развитію собственно поэтическаго дарованія племянника — это и въ голову не приходило нашему милліонеру.

Правда, съ вопросомъ о посвященіи молодого Генриха юридическому поприщу связывался вопросъ о перемѣнѣ религіи, такъ какъ евреямъ въ то время была открыта только одна карьера— медицинская; но ни Соломонъ Гейне, ни родители нашего поэта не придавали этому условію никакого значенія, относились къ нему съ отличавшимъ ихъ религіознымъ индиферентизмомъ; притомъ же слушать лекціи по всѣмъ факультетамъ дозволялось и евреямъ, а въ три года, пока длился университетскій курсъ, могла совершиться и реформа въ законодательствѣ по этому предмету!.. Такимъ образомъ вопросъ о превращеніи молодого купца въ студента-юриста былъ рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ.

Мѣстомъ образованія будущаго доктора юридическихъ наукъ былъ избранъ университетъ въ Боннѣ—въ ту пору одинъ изъ лучшихъ университетовъ Германіи, гдѣ въ числѣ профессоровъ юридическаго факультета были такіе ученые, какъ Макельдей, Миттермайеръ, Велькеръ, исторію литературы читалъ Августъ Шлегель, исторію искусства — Гундесагенъ и т. п. Въ ноябрѣ 1819 г. Генрихъ Гейне оставилъ Гамбургъ, чтобы вступить въ новый путь въ своей «карьерѣ». Каково было его душевное настроеніе въ эту пору вслѣдствіе уже извѣстныхъ намъ обстоятельствъ, видно, между прочимъ, изъ одного письма его, писаннаго уже въ 1823 г., гдѣ онъ вспоминалъ время перваго поступленія своего въ университетъ. «Моя внутренняя жизнь,— читаемъ въ этомъ письмѣ,—была печально-задумчивымъ погруженіемъ въ мрачныя дебри міра грезъ, только по временамъ освѣщавшіяся фантастическими молніями; моя внѣшняя жизнь проходила безумно, дико, цинично, отвратительно; однимъ словомъ, я дѣлалъ ее вопіющею противоположностью моей внутренней жизни, для того, чтобы эта послѣдняя не раздавила меня своею большею тяжестью».

воря о своемъ «безумномъ, дикомъ» и т. п. образѣ жизни,

Гейне намекалъ на тѣ кутежи и оргіи, которымъ онъ предавался въ гамбургскій періодъ, съ цѣлью заглушить страданія, причинявшіяся ему несчастной любовью къ Амаліи. Такъ по крайней мѣрѣ казалось ему самому, и съ этимъ объясненіемъ соглашаются тѣ біографы, которые не понимаютъ, что подобный дикій, циничный образъ жизни совершенно невозможенъ, когда человѣкъ любитъ истинно, серьезно и глубоко, и долженъ быть прежде всего приписанъ просто чувственнымъ наклонностямъ человѣка, каковыя у нашего поэта были развиты въ очень сильной степени. Какъ бы то ни было, но пребываніе въ Гамбургѣ нельзя не считать замѣтнымъ фазисомъ въ жизни Гейне, и въ этомъ отношеніи есть значительная доля правды въ словахъ біографа Прельса, когда онъ говоритъ: «Безпутная жизнь, въ которую кинулся поэтъ въ Гамбургѣ, не могла не остаться безъ вліянія на его сердечную и умственную жизнь, которой она дала опасное направленіе. Его скептицизмъ обрѣлъ здѣсь новую для себя пищу, и склонность къ ироніи и насмѣшкѣ получила фривольный характеръ. Если и правда, какъ говорилъ о немъ его другъ Руссо, что Гейне по временамъ выставлялъ себя худшимъ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ, чтобы изъ ложнаго стыда скрывать благородныя движенія своей души, то это происходило все-таки чаще отъ того, что ему доставляло удовольствіе не только суетно любоваться самимъ собой, но и осмѣивать самого себя; чаще же всего, къ сожалѣнію, эти темныя изображенія собственной личности слишкомъ близко согласовались съ тѣмъ, что̀ было на самомъ дѣлѣ».

Въ такомъ состояніи переступилъ онъ порогъ университета, принятый туда не безъ затрудненія, ибо на пріемномъ экзаменѣ познанія его въ такихъ, напримѣръ, предметахъ, какъ математика, латинскій и греческій языки и т. п., оказались далеко неудовлетворительными, но за то достаточно подготовленный въ исторіи, а главное — близко знакомый съ лучшими произведеніями литературы какъ отечественной, такъ и иностранной, и хорошо владѣющій новыми языками—англійскимъ, французскимъ, итальянскимъ. Этими предметами онъ особенно усердно
я и здѣсь, какъ и слѣдовало ожидать; что касается до

наукъ юридическихъ, то онѣ — тоже, какъ и слѣдовало ожидать — не могли привлекать его, несмотря на вышеупомянутыя громкія имена профессоровъ, тѣмъ болѣе, что на-ряду съ этими двумя-тремя, стояло много тупыхъ бездарностей. Съ отвращеніемъ вспоминаетъ онъ и долго впослѣдствіи о своемъ пребываніи среди этихъ кладезей юридической премудрости; съ отвращеніемъ говоритъ, что «изъ семи лѣтъ, проведенныхъ мною въ нѣмецкихъ университетахъ три прекрасныхъ, цвѣтущихъ года потрачены на изученіе нѣмецкой казуистики».

Тѣмъ сочувственнѣе относился Гейне къ лекціямъ исторіи, исторіи литературы и эстетики. Профессора этихъ предметовъ смотрѣли на него такими же сочувственными глазами, — по крайней мѣрѣ тѣ, для которыхъ въ наукѣ важна была только ея живая душа, а отнюдь не мертвая буква, и которые понимали, что именно этой живой душѣ могъ и хотѣлъ служить нашъ молодой студентъ, часто лѣнивый, часто на цѣлые дни убѣгавшій изъ аудиторіи на веселую пирушку, въ кипучую жизнь, часто до дикости оригинальный въ своихъ выходкахъ но всегда свѣжій, впечатлительный, необычайно умный и высокодаровитый. Между этими профессорами Гейне особенно любилъ и уважалъ Августа Шлегеля, одного изъ вождей такъ-называемой романтической школы, большого знатока отечественной и иностранныхъ литературъ, даровитаго переводчика Шекспира, Кальдерона и другихъ поэтовъ, съ которыми была совсѣмъ незнакома нѣмецкая публика. Для молодого Гейне Шлегель представлялся «первымъ великимъ человѣкомъ», какого онъ видѣлъ послѣ Наполеона. Стоя передъ его кафедрой и слушая его лекціи, будущій авторъ «Романтической Школы» ощущалъ «священный трепетъ, пробѣгавшій по его душѣ»; и если впослѣдствіи, по чисто-личной мстительности, онъ обрушился на бывшаго учителя съ несправедливою рѣзкостью, даже циническимъ неприличіемъ, то въ пору боннскаго студенчества только-что приведенныя выраженія его относительно знаменитаго профессора, были совершенно искренни.

Двумя причинами обусловливались чувства Гейне къ Шлегелю: *во-первыхъ, несомнѣнными* достоинствами этого послѣдняго, какъ

ученаго и, главное, какъ лектора, умѣвшаго поселять въ своихъ слушателяхъ истинную, живую любовь къ предмету; во-вторыхъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что Шлегель былъ однимъ изъ главныхъ представителей нѣмецкаго романтизма, а романтическій элементъ былъ такъ силенъ въ нашемъ поэтѣ, что очень явные слѣды его, очень яркія отраженія сохранились въ произведеніяхъ Гейне и въ то позднѣйшее время, когда онъ пошелъ въ области поэзіи по совсѣмъ иному пути; не даромъ вѣдь говорилъ онъ уже гораздо позже самъ о себѣ: «несмотря на мои истребительные походы противъ романтики, я однако всегда оставался самъ романтикомъ»... Въ развитіи этого врожденнаго романтизма Шлегель несомнѣнно игралъ очень важную роль, и, быть-можетъ, правъ извѣстный критикъ Готшаль, замѣчая, что безъ Шлегеля нашъ поэтъ едва ли обратился бы съ такимъ сочувствіемъ къ другимъ романтикамъ, едва ли бы также внесъ въ первыя свои пѣсни тотъ восточный колоритъ, который придаетъ имъ такую поэтическую прелесть и который, прибавимъ, былъ навѣянъ автору «Лирическаго Intermezzo» тѣмъ, что именно въ эту пору Шлегель страстно занимался изученіемъ Востока и старался привить эту страсть и своимъ слушателямъ. Кромѣ вліянія Шлегеля въ этомъ отношеніи, оно проявилось еще въ томъ, что онъ въ значительной степени уяснилъ своему геніальному студенту значеніе Шекспира и ближе познакомилъ его съ Байрономъ. А какое впечатлѣніе производилъ авторъ «Гамлета» на молодого Генриха, видно изъ слѣдующихъ полушутливыхъ словъ его, относящихся къ нѣсколько болѣе позднему времени: «Съ Шекспиромъ я никакъ не могу чувствовать себя легко: я слишкомъ чувствую, что онъ—всесильный министръ, а я—простой столоначальникъ, и мнѣ все чудится, что вотъ-вотъ онъ отставитъ меня отъ должности». Что касается Байрона, то знакомство съ нимъ началось у Гейне, по всей вѣроятности, еще раньше, судя по «байроновскому» характеру многихъ изъ его первыхъ произведеній и писемъ по поводу несчастной любви къ Амаліи, характеру, который мы, признавая позднѣйшую полную самостоятельность Гейне, какъ поэта «міровой скорби», въ эту раннюю пору не *можемъ не приписать* вліянію именно творца «Канна».

Да и самъ Гейне чувствовалъ и понималъ, что онъ покамѣстъ идетъ по дорогѣ, проложенной Байрономъ, когда говорилъ, что у него «есть съ англійскимъ поэтомъ нѣчто сходное въ характерѣ», или, когда позже, при полученіи извѣстія о смерти Байрона, писалъ: «Это былъ единственный человѣкъ, съ которымъ я чувствовалъ себя въ родствѣ—и мы во многомъ были похожи другъ на друга». Правда, странная боязнь быть принятымъ за простого подражателя Байрона заставляла нашего поэта по временамъ какъ бы отрекаться отъ этого родства и вызывала у него странныя объясненія въ родѣ слѣдующихъ: «Право, въ эту минуту у меня очень живое сознаніе, что я не иду по стопамъ Байрона, кровь моя не такъ сплинно-черна, какъ его кровь, моя горечь исходитъ только изъ орѣшковъ моихъ чернилъ, и если есть во мнѣ ядъ, то онъ вѣдь только противоядіе—противоядіе отъ тѣхъ змѣй, которыя съ такою опасностью для моей жизни подстерегаютъ меня въ мусорѣ старыхъ соборовъ и замковъ. Изъ всѣхъ великихъ писателей Байронъ именно тотъ, чтеніе котораго дѣйствовало на меня непріятно-болѣзненнымъ образомъ». Но это заявленіе принадлежитъ къ числу плодовъ тѣхъ минутныхъ настроеній, которыя часто смѣняются у Гейне одно за другимъ съ калейдоскопическою быстротою и пестротою, и являются причиною того, что этотъ поэтъ и человѣкъ менѣе кого бы то ни было поддается общимъ, положительнымъ выводамъ о его характерѣ, частностяхъ его міровоззрѣнія и т. п. Возвращаясь къ роли Шлегеля въ сближеніи Гейне съ Байрономъ, по сохранившимся извѣстіямъ, усматриваемъ ее въ томъ, что, по совѣту профессора, студентъ одно время проводилъ дни и ночи за переводами на нѣмецкій языкъ произведеній англійскаго поэта, и именно его «Манфреда», хотя самъ Гейне увѣряетъ, что занимался этимъ только «изъ тщеславія»: Шлегель будто бы доказывалъ своему молодому пріятелю, что Байронъ непереводимъ, и тотъ, для опроверженія этого мнѣнія, принялся за работу. Что касается до достоинства ея, то Шлегель, по словамъ переводчика, не нашелъ въ ней никакой разницы съ подлинникомъ—и кто прочтетъ теперь эти переводы, если и найдетъ *сужденіе Шлегеля* нѣсколько преувеличеннымъ, то все-таки

признаетъ въ нѣмецкомъ воспроизведеніи большія достоинства и сразу увидитъ, что это переводилъ поэтъ, совершенно родственный по духу съ авторомъ.

Сблизившись съ нѣмецкими профессорами, Гейне нашелъ и между студентами нѣсколько человѣкъ одинаковаго съ нимъ образа мыслей, одушевленныхъ одинаковыми интересами, т. е. литературными и художественными, и изъ нихъ особенно сблизился съ Ж. Б. Руссо. Другой его товарищъ, Штейнманъ, оставилъ намъ не лишенное интереса описаніе внѣшности молодого поэта. Зимою одѣтый въ бѣлый фланелевый костюмъ, а лѣтомъ— въ желтую нанку, съ надвинутой совсѣмъ на затылокъ ярко красною шапкой, съ засунутыми въ карманы руками, бродилъ онъ по улицамъ Бонна, всматриваясь пристально во все окружающее и находя именно въ этихъ наблюденіяхъ обильную пищу для сатирической стороны своего ума. Черты лица его были тонкія, цвѣтъ лица бѣлый съ легкимъ румянцемъ, маленькіе усики и постоянное ироническое выраженіе на губахъ, уголки которыхъ особенно сильно вытягивались, когда ему приходилось сострить. Изъ другихъ свидѣтельствъ знаемъ мы, что уже въ эту пору развивалось въ немъ то своего рода кокетничанье отрицательнымъ отношеніемъ къ окружающей дѣйствительности, которое впослѣдствіи, какъ это было и съ Байрономъ, приняло болѣе значительные размѣры: какъ Байронъ былъ, напримѣръ, недоволенъ знаменитымъ скульпторомъ Торвальдсеномъ за то, что тотъ не придалъ ему въ бюстѣ достаточно мизантропическаго и разочарованнаго выраженія, такъ боннскій студентъ Гейне проситъ живописца, рисовавшаго его портретъ, не упустить изъ виду сатирическаго выраженія его губъ!..

Составить такой кружокъ, какой собралъ около себя Гейне, сдѣлавшійся тотчасъ же и самымъ выдающимся членомъ его, было трудно. Въ эту пору почти уже окончился тотъ періодъ нѣмецкой университетской жизни, когда студенчество было одушевлено нравственно чистыми и научными стремленіями, когда въ сердцахъ большей части молодыхъ людей, находившихся въ нѣмецкихъ университетахъ, еще пылалъ огонь патріотическаго *ушевленія, который* пробудили, послѣ паденія Наполеона, войны

за освобожденіе. На смѣну этого фазиса университетской жизни явился теперь другой, когда мѣсто идеальныхъ стремленій заступила грубая страсть къ попойкамъ, дракамъ, кутежамъ; когда студенчество, въ лучшемъ и благороднѣйшемъ значеніи этого слова, смѣнилось узкою, мелкою и большею частью узкою корпоративностью. Тутъ же было во всемъ ходу то шовинистское проявленіе «квасного» патріотизма, которое у нѣмцевъ называлось и называется нѣмечничествомъ и тевтонствомъ и къ которому Гейне, конечно, не могъ относиться иначе, какъ съ антипатіей; по крайней мѣрѣ, мы имѣемъ его заявленіе, что ненависть его къ «тевтонамъ» зародилась въ немъ уже въ ту пору. Прибавимъ къ этому то отвращеніе, которое Гейне, по аристократичности своего *духа*, свойственной всякому генію, питалъ ко всему грубому, ко всему, въ чемъ слышалась лишенная всякаго эстетическаго чувства «чернь», ко всему, что, по его словамъ, «слишкомъ уже воняло скверпымъ сыромъ, водкой и табакомъ»; прибавимъ и такія частныя привычки, какъ некуреніе табаку и воздержаніе отъ спиртныхъ напитковъ — и мы легко поймемъ, почему съ огромнымъ большинствомъ боннской университетской молодежи онъ не имѣлъ ничего общаго. Тѣмъ тѣснѣе была его дружба — а чувство дружбы было сильно развито въ немъ — съ тѣми людьми, съ которыми сошелся онъ здѣсь. Конечно, и тутъ далеко не обходилось безъ «жуировки», на которую былъ такъ падокъ чувственный Гейне и въ которой главную роль играли женщины; но она нисколько не мѣшала членамъ этого кружка сходиться для обсужденія всяческихъ вопросовъ литературныхъ, научныхъ, общественныхъ, для чтенія другъ другу своихъ произведеній, вообще для умственной работы.

Гейне относился къ этимъ занятіямъ самымъ серьезнымъ образомъ, точно такъ же, какъ все серьезнѣе становилось его отношеніе къ собственной поэтической производительности; отнынѣ неизмѣннымъ правиломъ его, среди присущихъ всякому истинному дарованію мучительныхъ сомнѣній въ глубинѣ своего творчества, сдѣлалось: «будь строгъ къ самому себѣ»; и примѣненіе этого правила на дѣлѣ, въ продолженіе всей жизни поэта, мы можемъ видѣть въ многочисленныхъ, оставшихся послѣ него автографахъ

его стихотворенiй, гдѣ чуть не каждая строчка перемарана и передѣлана по нѣсколько разъ; въ этомъ случаѣ онъ тоже многимъ обязанъ Шлегелю, который перечитывалъ съ нимъ его стихи и, указывая на тѣ или другiя несовершенства формы, побуждалъ молодого поэта работать надъ этимъ до тѣхъ поръ, пока всѣ недостатки не оказывались устраненными.

Собственная поэтическая производительность Гейне, о которой мы только-что упомянули, находила для себя въ эту боннскую пору матерiалъ въ острыхъ воспоминанiяхъ о недавней любви, въ мiрѣ средневѣковыхъ преданiй и восточной поэзiи, съ которыми знакомилъ его все тотъ же Шлегель, въ чудесной рейнской обстановкѣ съ ея цвѣтущими берегами и такими же цвѣтущими дѣвушками, наконецъ, въ тѣхъ «вопросахъ», которые все сильнѣе и сильнѣе шевелились въ головѣ и терзали сердце будущаго поэта «мiровой скорби», находя себѣ уже теперь видное мѣсто въ его произведенiяхъ. Подъ этими влiянiями и впечатлѣнiями было написано въ Боннѣ не мало «пѣсенъ», этихъ истинныхъ жемчужинъ чистѣйшей лирики, балладъ и романсовъ съ ихъ рѣзко романтическимъ характеромъ, сонетовъ, гдѣ самостоятельность и своеобразность творчества автора начала уже обнаруживаться въ полномъ блескѣ; здѣсь же была начата трагедiя «Алманзоръ» — все произведенiя, къ которымъ намъ еще придется вернуться.

Но Гейне въ своей производительности не ограничивался только сочиненiемъ стиховъ; поэтъ работалъ и на критическомъ поприщѣ — томъ, на которомъ впослѣдствiи онъ заявилъ себя такъ блистательно, несмотря на видимую легкость и поверхностность его замѣчанiй, принесенiе иногда въ жертву остроумiю справедливости и безпристрастiя, парадоксальность и т. п. Первымъ плодомъ критической работы была написанная въ Боннѣ, т. е. когда автору было всего двадцать лѣтъ, статья о романтической школѣ, служащая какъ бы прологомъ къ его большому, появившемуся уже значительно позже, сочиненiю »мантическая Школа», и въ которой критическое пониманiе »а, а вмѣстѣ и его самостоятельность, сказались въ томъ, нъ, оставаясь еще ревностнымъ приверженцемъ романт

въ то же время здраво и мѣтко указывалъ на недостатки и заблужденія школы.

Въ боннскомъ университетѣ оставался Гейне недолго. 4 октября 1820 г., т. е. меньше чѣмъ черезъ годъ послѣ поступленія сюда, мы уже видимъ его студентомъ университета геттингенскаго. Что́ было причиною этого перехода—неизвѣстно; хотя въ одномъ изъ писемъ своихъ онъ выставляетъ причиною волю «быка» (такъ звалъ онъ въ минуты раздраженія своего дядю, Соломона Гейне), но гораздо основательнѣе, думаемъ, считать побудительнымъ въ этомъ случаѣ обстоятельствомъ надежды нашего поэта—обрѣсти болѣе обильную пищу для своей научной и литературной любознательности въ Геттингенѣ, университетъ котораго еще недавно пользовался блестящей репутаціей. Надежды эти, однако, далеко не оправдались, онѣ остались даже совсѣмъ неосуществленными. «На ловца и звѣрь бѣжитъ»: та обстановка, въ которую попалъ будущій авторъ «Путевыхъ Картинъ» въ Геттингенѣ, могла дать только новый матеріалъ его сатирической наблюдательности, расширить еще болѣе его пессимистическое отношеніе къ жизни. И общество, среди котораго вращался нашъ поэтъ, и аудиторіи, которыя поневолѣ приходилось посѣщать ему, ибо «быкъ» настаивалъ на превращеніи молодого стихотворца въ доктора юриспруденціи, — все точно соединилось для содѣйствія мрачному настроенію, которое, нѣсколько лѣтъ спустя, нашло себѣ литературное выраженіе въ десяткѣ страницъ, навѣки обезсмертившихъ Геттингенъ и его alma mater. Самъ городъ, т. е. общество, представился поэту «до полна начиненнымъ присяжными, педелями, диссертаціями, прачками, компендіями, жареными голубями, гвельфскими орденами, гофратами, юстицратами и другими различными «ратами»; жителей его онъ раздѣлилъ на четыре класса, которые, впрочемъ немногимъ различались между собой: студентовъ, профессоровъ, филистеровъ и скотовъ; «классъ скотовъ самый значительный», а филистеровъ «такъ много, какъ песку, или, лучше сказать, какъ грязи въ морѣ»...

Но гораздо важнѣе то впечатлѣніе, которое оставляло въ Гейне *студенческое общество*, окружавшее его. Большинство молодыхъ

людей принадлежало къ гановерскому дворянству (Геттингенъ входилъ въ составъ гановерскаго королевства), дворянству той страны, «гдѣ,— писалъ Гейне въ 1826 г.,—только и видишь, что родословныя деревья, къ которымъ привязаны лошади, причемъ отъ великаго множества деревьевъ страна остается во мракѣ и, несмотря на всѣхъ своихъ лошадей, не можетъ двинуться впередъ». Въ Геттингенъ — это «милое юношество» посылали учиться, но тутъ они «сидѣли на корточкахъ въ своемъ кружкѣ и бесѣдовали только о своихъ собакахъ, лошадяхъ и предкахъ, и мало занимались новою исторіею (т. е. тою, которая могла бы послужить имъ во многихъ отношеніяхъ въ назиданіе), а если порою и слушали ее, то въ это время мысли ихъ были поглощены созерцаніемъ такъ-называемаго графскаго стола, который—характеристическое отличіе Геттингена — былъ предназначенъ только для высокородныхъ студентовъ». Съ презрѣніемъ и негодованіемъ смотрѣлъ Гейне на этихъ молодыхъ людей, думавшихъ, что «они—цвѣтъ міра, а мы остальные—лишь трава», стремившихся «прикрыть заслугами предковъ свое собственное ничтожество», но большинство которыхъ врядъ ли могло бы достовѣрно сказать, что́ совершили ихъ предки, и показывало только, что имя ихъ упоминается въ «Книгѣ о Турнирахъ» Рюкснера. Глубокіе корни пускались въ душѣ нашего поэта такими, напр. эпизодами, какъ описанный въ «Путевыхъ Картинахъ» эпизодъ съ дававшимъ въ Геттингенѣ представленіе скороходомъ.

Само собой разумѣется, что молодежи такого сорта было мало дѣла до науки, тѣмъ болѣе науки живой, въ родѣ политической исторіи, исторіи культуры... Впрочемъ, судя по свидѣтельству самого же Гейне, геттингенскія кафедры представляли собой весьма мало привлекательнаго, и надъ всѣмъ господствовалъ бездушный педантизмъ. Изъ всѣхъ профессоровъ, всходившихъ на эти кафедры, авторъ «Путевыхъ Картинъ» съ уваженіемъ вспоминалъ лишь о двоихъ: о Бенекс и старикѣ Сарторіусѣ, бенно о послѣднемъ.

Правда, что слова Гейне мы не должны принимать въ на-
ъ случаѣ за *вполнѣ* наличную монету, тѣмъ болѣе знав,

что въ геттингенскомъ университетѣ, при дѣйствительно незавидномъ состояніи его въ эту пору, были все-таки профессора, занимавшіе въ наукѣ почетное мѣсто: мы должны постоянно помнить, что это отзывы *поэта* въ крайне неблагопріятной для него, именно какъ поэта, обстановкѣ, когда онъ, по его собственнымъ словамъ, «не выходилъ изъ римскихъ Пандектовъ», когда «римскіе казуисты опутали его умъ будто сѣрою паутиною, сердце точно прищемилось желѣзными параграфами эгоистической системы права, въ ушахъ то и дѣло звучало: Трибоніанъ, Юстиніанъ, Гермогеніанъ и Думерьянъ...» Но въ этомъ-то именно отношеніи и дороги намъ эти отзывы, ибо для насъ въ настоящемъ случаѣ важна, конечно, не фактическая вѣрность исторіи геттингенскаго университета, а то, какъ дѣйствовала эта атмосфера на поэта, другими словами—каковы были его настоящія, задушевныя стремленія среди такой обстановки.

Понятно поэтому, какъ обрадовался нашъ поэтъ, когда черезъ четырнадцать мѣсяцевъ послѣ поступленія въ геттингенскій университетъ онъ уже выходилъ оттуда, еще далеко не кончивъ курса. На этотъ разъ причиною выхода было совсѣмъ особое обстоятельство—затѣявшаяся между нимъ и однимъ студентомъ изъ-за пустяка дуэль, которая, однако, не состоялась, такъ какъ университетское начальство заблаговременно узнало о ней; но послѣдствіемъ ея было тѣмъ не менѣе постановленіе совѣта объ увольненіи Гейне изъ числа студентовъ на полгода. Онъ, однако, не сталъ дожидаться истеченія этого срока, и по желанію и назначенію своихъ родныхъ, которое и ему самому пришлось по сердцу, въ концѣ февраля 1821 г. уѣхалъ въ Берлинъ для поступленія въ тамошній университетъ. Здѣсь начинается новый періодъ во внѣшней и—еще болѣе—внутренней жизни поэта.

III.

Берлинскіе дни были во многихъ отношеніяхъ свѣтлыми и благотворными днями въ существованіи Гейне; политическая реакція, лежавшая въ эту пору на всей Германіи вообще, рѣзко и нисколько не стѣсняясь проявляла себя и въ Берлинѣ, по*степенно разрушая надежды* на болѣе свободное сформированіе

государственнаго организма. Съ негодованіемъ говорилъ (уже нѣсколько позже) нашъ поэтъ о томъ, что на разныхъ конгрессахъ, конференціяхъ и т. п. судьбами этого народа распоряжались совершенно самовольно, что государства продавали одно другому своихъ подданныхъ, или мѣнялись ими, какъ товаромъ, что въ то время, когда негодующіе нѣмцы «укутывались пурпурнымъ плащемъ германскаго героизма» и пытались величественно выступать въ немъ впередъ,—выскакивалъ на сцену «какой-нибудь политическій фигляръ» и на голову этихъ патріотовъ-героевъ «надвигалъ дурацкую шапку съ погремушками»... Естественно, что такой порядокъ вещей очень неблаготворно отражался на печати: какъ на нее, такъ и на находящуюся съ ней въ близкой связи книжную торговлю обрушивались самыя строгія полицейскія мѣры, вслѣдствіе чего литература ограничивалась областью «изящной словесности» въ самомъ печальномъ значеніи этого слова, именно романа, дюжиннаго, «бульварнаго» за немногими только исключеніями; а журналистика по неволѣ воздерживалась отъ обсужденія какихъ бы то ни было политическихъ вопросовъ и посвящала чуть не всѣ свои столбцы водянистымъ эстетическимъ разсужденіямъ, литературнымъ сплетнямъ, театральнымъ рецензіямъ, маленькимъ скандальчикамъ, «такъ что,—какъ жаловался позже Гейне,—кому попадались въ руки наши газеты, тотъ могъ бы подумать, что нѣмецкій народъ состоитъ исключительно изъ болтающихъ всякій вздоръ пяпюшекъ и театральныхъ рецензентовъ». За то, какъ это почти всегда бываетъ, развилась въ широкихъ размѣрахъ общественная жизнь въ иномъ направленіи.

Въ Берлинѣ дѣлалось все возможное для процвѣтанія «искусства» и «веселости».—«Опера, театръ, концерты, ассамблеи, балы, частные вечера, маленькіе маскарады, спектакли любителей и т. д. — вотъ наши главнѣйшія развлеченія во время зимы» — писалъ Гейне. Самъ онъ на первыхъ порахъ тоже кинулся въ этотъ водоворотъ съ живымъ увлеченіемъ, кинулся какъ по своей страсти къ шумной, кипучей жизни, которая постоянно [illegible]едовалась въ немъ съ настроеніемъ совершенно противопо[illegible]ымъ, *такъ и по весьма* естественному любопытству про-

винціала, попавшаго изъ скромныхъ городковъ, гдѣ до сихъ поръ протекала его жизнь, въ великолѣпную и оживленную столицу. Правда, его веселье, его увлеченіе этой жизнью имѣетъ свой особенный, спеціально Гейневскій характеръ: изъ многихъ мѣстъ его «Берлинскихъ Писемъ» видно, что среди увлеченія шумною жизнью Берлина поэта не оставляло сатирическое отношеніе къ дѣйствительности. На первыхъ порахъ оно было еще довольно слабо, подавляясь въ значительной степени чисто внѣшними впечатлѣніями; но чѣмъ болѣе охладѣвала первая горячка, чѣмъ болѣе стушевывался наивный и увлекающійся провинціалъ и выплывалъ наружу Генрихъ Гейне, тѣмъ сильнѣе пробуждался въ немъ насмѣшливо-критическій духъ, находившій въ окружающей дѣйствительности обильную пищу. Эту пищу даетъ ему и самъ городъ съ внѣшней стороны — городъ, «хотя выстроенный въ новомъ вкусѣ, очень красиво и правильно, но все-таки производящій какое-то скучное впечатлѣніе», городъ съ его «длинными однообразными домами, длинными и широкими улицами, вытянутыми и построенными по шнурку и большею частью по безусловной волѣ одного человѣка, вслѣдствіе чего нельзя изъ нихъ вывести никакого заключенія объ образѣ мыслей массы», городъ такой, что «если вы захотите увидѣть въ немъ хоть что-нибудь кромѣ мертвыхъ домовъ и берлинцевъ, то вамъ придется запастись для этого нѣсколькими бутылками поэзіи».

И тѣмъ не менѣе, пребываніе Гейне въ Берлинѣ имѣло для него несомнѣнно благотворное значеніе. «Изъ кладовой мертвой учености—замѣчаетъ Штродтманъ,—вступилъ онъ въ средоточіе міровыхъ философскихъ идей, изъ студенчески-замкнутыхъ кружковъ и комнатки мечтающаго поэта попалъ въ общественную жизнь столицы и вошелъ въ сношенія съ лучшими представителями интеллигенціи; изъ фантастическихъ туманныхъ грезъ романтики очутился въ ярко освѣщенномъ мірѣ дѣйствительности». Важную роль въ этомъ отношеніи сыграли какъ кружки, представлявшіе собой точно оазисы въ общей умственной и нравственной пустынѣ, потому что въ нихъ на первомъ мѣстѣ стояли интересы литературы, науки, культуры, прогресса,

такъ и то, что́ нашелъ Гейне въ аудиторіяхъ берлинскаго университета.

Что касается до кружковъ, то во главѣ ихъ—какъ это было и съ «салонами» XVIII в.—стояли большею частью женщины, между которыми главнымъ образомъ выдавались Рахиль Варнгагенъ фонъ-Энзе и Элиза Гогенгаузенъ—особенно первая. Рахиль Левинъ, дочь богатаго еврейскаго купца, впослѣдствіи вышедшая за извѣстнаго писателя и критика Варнгагена фонъ-Энзе, была въ высшей степени даровитая, можно сказать даже, геніальная натура, въ которой притомъ умственныя превосходства соединялись съ высокими нравственными достоинствами. Въ ея гостиной сходились и первоклассные дѣятели, и начинающіе таланты—и вотъ между ними въ первые же мѣсяцы своего пребыванія въ Берлинѣ появился Генрихъ Гейне съ рекомендательнымъ письмомъ отъ одного изъ друзей хозяина. Никто почти не обратилъ вначалѣ особеннаго вниманія на новаго посѣтителя, блѣднаго и болѣзненнаго молодого человѣка, съ виду совсѣмъ невзрачнаго, съ очень пріятнымъ, но тихимъ и однообразнымъ голосомъ, довольно робкаго и неповоротливаго, въ далеко не щегольскомъ костюмѣ провинціала. Но немногимъ мѣсяцамъ надо было пройти для того, чтобы авторъ стихотвореній, скоро долженствовавшихъ впервые появиться въ печати и покамѣстъ только декламировавшихся въ этой гостиной, занялъ здѣсь одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ и снискалъ особое покровительство хозяйки, въ то время уже почти сорокапятилѣтней женщины. Рахиль и Гейне были двѣ, во многихъ отношеніяхъ родственныя натуры, которыя сближало между собой еще одно частное обстоятельство — общность происхожденія и одинаковое воззрѣніе на еврейскій «вопросъ»: она, какъ и онъ, видя, съ одной стороны, позорное въ политическомъ и общественномъ отношеніи положеніе евреевъ, съ другой—ихъ узкій фанатизмъ, племенную ненависть къ христіанамъ, торгашескія наклонности и дѣйствія, считала великимъ для себя несчастіемъ, что родилась еврейкой, и свое еврейское происхожденіе называла кинжаломъ, который какое-то сверхъестественное существо вонзило въ грудь, *въ первую же минуту* ея появленія на свѣтъ. Но

висимо отъ этихъ обстоятельствъ, дарованіе Гейне само по себѣ было причиною, что и Рахиль и ея мужъ скоро стали высоко цѣнить и пропагандировать во мнѣніи другихъ произведенія молодого поэта, особенно подкупавшія ихъ тѣмъ, что въ нихъ—собственно тѣхъ, которыя были написаны въ народномъ духѣ—обнаруживалось родство съ манерою Гете въ формальномъ отношеніи. А культъ Гете стоялъ на первомъ планѣ въ Варнгагеновской гостиной, которая, какъ и нѣсколько другихъ подобныхъ кружковъ, составляла противовѣсъ тѣмъ нападеніямъ на великаго писателя, которыя шли изъ партіи противоположной. Подъ вліяніемъ Рахили и ея кружка—по крайней мѣрѣ въ значительной степени—установился и въ Гейне правильный взглядъ на автора «Фауста». Важность вліянія въ этомъ случаѣ Рахили и ея мужа не подлежитъ сомнѣнію, какъ несомнѣнно также, что эти двѣ личности вообще подѣйствовали очень благотворно на поэтическое развитіе своего молодого друга, на установленіе въ немъ правильнаго эстетическаго критеріума, еще болѣе строгаго отношенія къ себѣ и т. п. И не только умственно совершенствовался Гейне въ этой обстановкѣ; онъ отдыхалъ здѣсь и сердцемъ, находилъ успокоеніе своему внутреннему разладу, непрестанному напряженію своихъ нервовъ.

Въ гостиной баронессы Гогенгаузенъ господствовалъ культъ другого знаменитаго поэта — Байрона, и хозяйка, познакомившись съ произведеніями Гейне, съ своеобразностями его натуры, не замедлила провозгласить его прямымъ преемникомъ автора «Чайльдъ-Гарольда» въ Германіи, и вмѣстѣ съ Рахилью Варнгагенъ быстро распространяла его извѣстность. Кружокъ баронессы, которая была и сама писательница, также состоялъ изъ выдающихся дѣятелей литературы, науки, искусства, такъ что благотворное вліяніе, оказывавшееся на Гейне Варнгагеновскимъ кружкомъ, находило себѣ дополненіе и здѣсь. Ко всему этому присоединились умственныя вѣянія другого рода, исходившія, какъ уже упомянуто выше, изъ берлинскаго университета. Каково было положеніе этого послѣдняго въ ту пору, когда Гейне сидѣлъ на скамьяхъ его, видно изъ того, что нѣсколько кафедръ были заняты такими свѣтилами

науки, какъ философъ Гегель, юристъ Гансъ, санскритологъ Боппъ, эстетикъ Вольфъ. Во главѣ всего, образовавъ особенную школу, стоялъ Гегель. Гейне тотчасъ же сдѣлался горячимъ приверженцемъ освободительнаго ученія знаменитаго философа. Правда, впослѣдствіи онъ посмѣивался надъ этой философіей, надъ ея отвлеченностью и туманностью, надъ тѣмъ, что она превращала живыхъ людей въ идеи и т. п. Но въ этомъ полуотреченіи отъ Гегеля, независимо отъ проявленія здѣсь одной изъ основныхъ склонностей Гейне — смѣяться надъ всѣмъ на свѣтѣ, даже самымъ дорогимъ для него, играли роль и спеціальныя обстоятельства, напримѣръ, желаніе оправдаться въ взводившемся на него какъ разъ въ это время обвиненіи, что онъ отъ атеизма вернулся къ прежнему деизму. На самомъ же дѣлѣ Гегелевская философія глубоко внѣдрилась въ умѣ поэта. Къ лекціямъ Гегеля и бесѣдамъ его (Гейне находился и въ личныхъ сношеніяхъ съ знаменитымъ философомъ) присоединимъ лекціи Боппа, Ганса, Вольфа—и мы увидимъ, что пребываніе Гейне въ берлинскомъ университетѣ оказывалось для него несомнѣнно очень благотворнымъ. Расширенію его умственнаго кругозора, направленію и упроченію его политическихъ и соціальныхъ воззрѣній въ томъ духѣ, въ какомъ они являлись въ его послѣдующихъ произведеніяхъ, соотвѣтствуя такъ сказать, и его органическимъ, врожденнымъ воззрѣніямъ, способствовало также въ значительной степени общеніе его съ нѣсколькими родственными ему по духу и стремленію молодыми людьми, занявшими потомъ видное мѣсто въ литературной и культурной жизни Германіи (напримѣръ, поэтъ Иммерманъ), и которые если подчинялись сами вліянію будущаго автора «Путевыхъ Картинъ», сознавая присутствіе въ немъ высшей, «отмѣченной божьимъ перстомъ» натуры, то безспорно оказывали и на него значительное дѣйствіе въ интеллектульномъ отношеніи. Съ нѣсколькими изъ этихъ людей связывали нашего поэта, кромѣ интересовъ общихъ, и интересы спеціальные; это именно—съ членами образовавшагося въ то время въ Берлинѣ «Общества культуры и науки еврейства» которое, дѣйствуя въ духѣ знаменитаго реформатора нѣмецкихъ евреевъ философа Мендельсона (друга Лессинга), поставило себѣ

объяснялъ Гейне, цѣлью посредничество «между историческимъ іудействомъ и новѣйшею наукой, о которой предполагали, что она съ теченіемъ времени должна будетъ стать во главѣ управленія всѣмъ міромъ». Гейне примкнулъ къ этому кружку настолько же горячо, насколько презрительно и съ негодованіемъ избѣгалъ всякихъ сношеній съ тѣмъ берлинскимъ еврействомъ, которое или фанатически держалось своихъ традиціонныхъ предразсудковъ, или ставило на первомъ планѣ торгашескіе интересы; онъ не пропускалъ почти ни одного засѣданія, одно время исполнялъ даже обязанности секретаря, и такъ какъ вопросъ спеціально-еврейскій обсуждался здѣсь въ неразрывной связи съ вопросами общими и нравственными, политическими и соціальными, то понятно, что общеніе съ этими людьми надо причислить къ благотворнымъ сторонамъ пребыванія нашего поэта въ Берлинѣ.

Но не въ такой только обстановкѣ проходила здѣсь его жизнь. Чувственныя наклонности, жажда шумной, часто безпутной, цинической жизни, постоянно чередовавшаяся у Гейне съ мизантропическимъ затворничествомъ, уходомъ въ высшіе интересы, въ свой внутренній міръ, увлекали его въ другіе кружки: людей умныхъ, даровитыхъ, но совершенно безалаберныхъ, лишенныхъ нравственнаго устоя, погибавшихъ или въ сумасшествіи, или отъ другихъ тому подобныхъ причинъ, жертвами собственной несчастной натуры и несчастныхъ житейскихъ обстоятельствъ. Въ такой компаніи, этомъ прототипѣ нашей современной литературной «богемы», интересы литературы занимали видное мѣсто, но занятіе ими шло среди безпрерывныхъ кутежей и оргій—и Гейне принималъ въ этомъ немалое участіе, при чемъ у него, никогда ничего не пившаго, главную роль играли женщины.

Этотъ образъ жизни, продолжавшій весьма пагубно дѣйствовать на здоровье поэта, усиливавшій то, что мы видѣли уже значительно развившимся при подобной же обстановкѣ въ Гамбургѣ, принялъ въ Берлинѣ еще болѣе широкіе размѣры, когда получилось извѣстіе о выходѣ замужъ Амаліи; по крайней мѣрѣ такъ объясняютъ это обстоятельство иные біографы, такъ объясняетъ это и самъ Гейне. При той, можно сказать, безпредѣльной

субъективности, которою отличалось поэтическое творчество Гейне, превращеніе дѣвицы Амаліи въ почтенную мадамъ Фридлендеръ вызвало у нашего поэта цѣлый рядъ стихотвореній, гдѣ глубокое чувство, разъѣдающая иронія, звонъ бубенчиковъ дурацкаго колпака, рядомъ съ восхитительнѣйшими звуками лучшаго инструмента, все то, однимъ словомъ, чѣмъ отличаются пѣсни любви Гейне отъ пѣсенъ всѣхъ другихъ поэтовъ, появилось уже во всемъ своемъ блескѣ. Укажемъ для примѣра хотя на извѣстное каждому стихотвореніе «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» съ его знаменитымъ окончаніемъ:

Das ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu, и т. д.

Часть этихъ стихотвореній, вмѣстѣ съ другими, прежде написанными, появилась въ печати въ началѣ 1821 года, а въ концѣ этого года, съ нѣсколькими дополненіями, они вышли въ свѣтъ отдѣльной книжкой, доставивъ автору отъ издателя, книгопродавца Маурера, сорокъ даровыхъ экземпляровъ въ видѣ гонорара. Но могло ли огорчать молодого поэта это комически-скудное вознагражденіе послѣ того, какъ другой издатель, знаменитый Брокгаузъ, совсѣмъ отказался взять на свой рискъ печатаніе сердечныхъ изліяній невѣдомаго писателя, какого-то юноши Гейне, и въ особенности когда грандіознымъ дополненіемъ къ этому гонорару явился блистательный успѣхъ? На публику эти стихотворенія, въ которыхъ покамѣстъ еще не было никакого сатирическаго, политическаго и соціальнаго элемента и гдѣ авторъ выступалъ только романтикомъ, пѣвцомъ любви и поэтомъ въ народномъ духѣ—на публику они произвели громадное дѣйствіе потому, что она впервые увидѣла здѣсь въ такой удивительной формѣ то, «чего именно не доставало этому вялому, апатическому, унылому времени»—силу порывистой, живой, даже иногда дикой страсти. Критика, въ лицѣ лучшихъ представителей своихъ, радостно привѣтствовала этотъ могучій талантъ, это «новое слово» въ поэзіи: Варнгагенъ указываетъ на полную самостоятельность этихъ созданій, на необычайное умѣнье проникать въ тайны народнаго тв

и т. п.; Иммерманъ обращалъ вниманіе на «міровую скорбь» въ стихотвореніяхъ молодого поэта и объяснялъ ее возмущеніемъ, негодованіемъ автора противъ сухости, безцвѣтности, пошлости и тупости того, что̀ окружало его; анонимный критикъ одного изъ лучшихъ журналовъ проводилъ параллель, между нимъ и Байрономъ, выставлялъ на видъ несомнѣнную оригинальность нѣмецкаго поэта, при видимой подражательности англійскому, и усмотрѣлъ въ произведеніяхъ Гейне, при ихъ видимомъ романтизмѣ, отсутствіе всего того, что̀ составляло основной элементъ этого послѣдняго, и, напротивъ, присутствіе элемента противоположнаго—чисто-человѣческаго и гражданскаго.

Поощренный такимъ успѣхомъ—при чемъ, конечно, не было недостатка и въ нападеніяхъ узкой ограниченности—поэтъ съ этихъ поръ безостановочно пошелъ по новому пути: въ апрѣлѣ 1823 г. появились въ печати двѣ его трагедіи «Алманзоръ» и «Ратклифъ» и, въ приложеніи къ нимъ, сборникъ стихотвореній подъ заглавіемъ «Lyrisches Intermezzo». Первая изъ этихъ трагедій была начата, какъ мы видѣли, уже въ Геттингенѣ, вторая написана въ Берлинѣ, и, по свидѣтельству автора, окончена въ три дня. Какъ произведенія драматическія, да и во многихъ другихъ отношеніяхъ, обѣ эти пьесы плохи; но онѣ изобилуютъ лирическими красотами; главное же достоинство, главный интересъ ихъ заключается въ совершенной субъективности той и другой, въ тѣсной связи ихъ съ внутреннею и внѣшнею жизнью Гейне.

Но сердечное или головное, купленное дѣйствительнымъ опытомъ или сочиненное, настроеніе это имѣетъ для насъ большую важность, какъ дающее цѣнный матеріалъ для характеристики тогдашняго Гейне съ его внутренней стороны, важность значительнѣе той, которую эти трагедіи имѣютъ въ нашихъ глазахъ по связи ихъ съ внѣшнею жизнью поэта, и именно съ его несчастною любовью къ кузинѣ Амаліи. Въ «Алманзорѣ» къ этому автобіографическому основанію присоединился еще другой мотивъ—все тотъ же еврейскій мотивъ; по всей трагедіи проходитъ красною нитью «великая еврейская скорбь», и опять съ тѣхъ же двухъ сторонъ, съ какихъ смотрѣлъ Гейне на это

дѣло: тутъ, подъ видомъ мусульманъ, мы встрѣчаемъ и сатиру на евреевъ, особенно на тѣхъ, которые, какъ это видѣлъ Гейне въ Берлинѣ, изъ-за личныхъ выгодъ переходили въ христіанство, и сочувствіе къ еврейскому племени, какъ угнетенному, а слѣдовательно и ненависть къ притѣснителямъ, изображеннымъ здѣсь, конечно ради цензуры, въ лицѣ Фердинанда и Изабеллы...

Несравненно выше по поэтическому достоинству напечатанное вмѣстѣ съ трагедіями «Lyrisches Intermezzo»—сборникъ пѣсенъ, полныхъ удивительной гармоніи, всевозможныхъ оттѣнковъ, обаятельной прелести, пѣсенъ, въ которыхъ чистый лирикъ явился уже во всей зрѣлости, несмотря на столь молодые годы его, и которыя, составивъ его громкую славу, теперь закрѣпили ее на все будущее время: имя Генриха Гейне, еще за нѣсколько мѣсяцевъ почти никому невѣдомое, отнынѣ вписалось неизгладимыми буквами на страницы исторіи нѣмецкой поэзіи, и этотъ юноша могъ услышать, какъ вдругъ вся Германія запѣла его пѣсни, и какъ множество поэтовъ и поэтиковъ пустились наперерывъ подражать этимъ совершенно новымъ, неслыханнымъ дотолѣ въ нѣмецкой лирикѣ звукамъ. Въ то же самое время онъ заявилъ себя съ хорошей стороны—конечно въ гораздо меньшей степени, чѣмъ въ области чистой поэзіи—и какъ писатель вообще, статьями критическими, гдѣ уже теперь обнаруживались отличительныя свойства его дѣятельности на этомъ поприщѣ, и картинами общественной жизни («Письма изъ Берлина»), въ которыхъ, при ихъ слабости вообще, нельзя не видѣть особенностей чисто Гейневскаго стиля, покамѣстъ еще какъ бы пробующаго себя въ этомъ новомъ родѣ и долженствовавшаго скоро явиться въ своей неподражаемой, можно сказать, геніальной оригинальности и прелести въ «Путевыхъ Картинахъ».

Но среди этихъ литературныхъ успѣховъ, окончательно опредѣлившихъ будущую профессію нашего поэта, хотя онъ продолжалъ готовиться къ юридической карьерѣ, среди такой обста-
вки въ этомъ отношеніи, которая должна была вліять н
троеніе, на его отношеніе къ жизни самымъ благо
омъ — эта же самая, столь блистательно начата

винціала, попавшаго изъ скромныхъ городковъ, гдѣ до сихъ поръ протекала его жизнь, въ великолѣпную и оживленную столицу. Правда, его веселье, его увлеченіе этой жизнью имѣетъ свой особенный, спеціально Гейневскій характеръ: изъ многихъ мѣстъ его «Берлинскихъ Писемъ» видно, что среди увлеченія шумною жизнью Берлина поэта не оставляло сатирическое отношеніе къ дѣйствительности. На первыхъ порахъ оно было еще довольно слабо, подавляясь въ значительной степени чисто внѣшними впечатлѣніями; но чѣмъ болѣе охладѣвала первая горячка, чѣмъ болѣе стушевывался наивный и увлекающійся провинціалъ и выплывалъ наружу Генрихъ Гейне, тѣмъ сильнѣе пробуждался въ немъ насмѣшливо-критическій духъ, находившій въ окружающей дѣйствительности обильную пищу. Эту пищу даетъ ему и самъ городъ съ внѣшней стороны — городъ, «хотя выстроенный въ новомъ вкусѣ, очень красиво и правильно, но все-таки производящій какое-то скучное впечатлѣніе», городъ съ его «длинными однообразными домами, длинными и широкими улицами, вытянутыми и построенными по шнурку и большею частью по безусловной волѣ одного человѣка, вслѣдствіе чего нельзя изъ нихъ вывести никакого заключенія объ образѣ мыслей массы», городъ такой, что «если вы захотите увидѣть въ немъ хоть что-нибудь кромѣ мертвыхъ домовъ и берлинцевъ, то вамъ придется запастись для этого нѣсколькими бутылками поэзіи».

И тѣмъ не менѣе, пребываніе Гейне въ Берлинѣ имѣло для него несомнѣнно благотворное значеніе. «Изъ кладовой мертвой учености—замѣчаетъ Штродтманъ,—вступилъ онъ въ средоточіе міровыхъ философскихъ идей, изъ студенчески-замкнутыхъ кружковъ и комнатки мечтающаго поэта попалъ въ общественную жизнь столицы и вошелъ въ сношенія съ лучшими представителями интеллигенціи; изъ фантастическихъ туманныхъ грезъ романтики очутился въ ярко освѣщенномъ мірѣ дѣйствительности». Важную роль въ этомъ отношеніи сыграли какъ кружки, представлявшіе собой точно оазисы въ общей умственной и нравственной пустынѣ, потому что въ нихъ на первомъ плапѣ стояли интересы литературы, науки, культуры, прогресса,

такъ и то, что нашелъ Гейне въ аудиторіяхъ берлинскаго университета.

Что касается до кружковъ, то во главѣ ихъ—какъ это было и съ «салонами» XVIII в.—стояли большею частью женщины, между которыми главнымъ образомъ выдавались Рахиль Варнгагенъ фонъ-Энзе и Элиза Гогенгаузенъ—особенно первая. Рахиль Левинъ, дочь богатаго еврейскаго купца, впослѣдствіи вышедшая за извѣстнаго писателя и критика Варнгагена фонъ-Энзе, была въ высшей степени даровитая, можно сказать даже, геніальная натура, въ которой притомъ умственныя превосходства соединялись съ высокими нравственными достоинствами. Въ ея гостиной сходились и первоклассные дѣятели, и начинающіе таланты—и вотъ между ними въ первые же мѣсяцы своего пребыванія въ Берлинѣ появился Генрихъ Гейне съ рекомендательнымъ письмомъ отъ одного изъ друзей хозяина. Никто почти не обратилъ вначалѣ особеннаго вниманія на новаго посѣтителя, блѣднаго и болѣзненнаго молодого человѣка, съ виду совсѣмъ невзрачнаго, съ очень пріятнымъ, но тихимъ и однообразнымъ голосомъ, довольно робкаго и неповоротливаго, въ далеко не щегольскомъ костюмѣ провинціала. Но немногимъ мѣсяцамъ надо было пройти для того, чтобы авторъ стихотвореній, скоро долженствовавшихъ впервые появиться въ печати и покамѣстъ только декламировавшихся въ этой гостиной, занялъ здѣсь одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ и снискалъ особое покровительство хозяйки, въ то время уже почти сорокапятилѣтней женщины. Рахиль и Гейне были двѣ, во многихъ отношеніяхъ родственныя натуры, которыя сближало между собой еще одно частное обстоятельство — общность происхожденія и одинаковое воззрѣніе на еврейскій «вопросъ»: она, какъ и онъ, видя, съ одной стороны, позорное въ политическомъ и общественномъ отношеніи положеніе евреевъ, съ другой—ихъ узкій фанатизмъ, неменную ненависть къ христіанамъ, торгашескія наклонности дѣйствія, считала великимъ для себя несчастіемъ, что родилась еврейкой, и свое еврейское происхожденіе называла кинжалъ, который какое-то сверхъестественное существо вонзило грудь, *въ первую же минуту* ея появленія на свѣтъ. Но неза-

висимо отъ этихъ обстоятельствъ, дарованіе Гейне само по себѣ было причиною, что и Рахиль и ея мужъ скоро стали высоко цѣнить и пропагандировать во мнѣніи другихъ произведенія молодого поэта, особенно подкупавшія ихъ тѣмъ, что въ нихъ—собственно тѣхъ, которыя были написаны въ народномъ духѣ—обнаруживалось родство съ манерою Гете въ формальномъ отношеніи. А культъ Гете стоялъ на первомъ планѣ въ Варнгагеновской гостиной, которая, какъ и нѣсколько другихъ подобныхъ кружковъ, составляла противовѣсъ тѣмъ нападеніямъ на великаго писателя, которыя шли изъ партіи противоположной. Подъ вліяніемъ Рахили и ея кружка—по крайней мѣрѣ въ значительной степени—установился и въ Гейне правильный взглядъ на автора «Фауста». Важность вліянія въ этомъ случаѣ Рахили и ея мужа не подлежитъ сомнѣнію, какъ несомнѣнно также, что эти двѣ личности вообще подѣйствовали очень благотворно на поэтическое развитіе своего молодого друга, на установленіе въ немъ правильнаго эстетическаго критеріума, еще болѣе строгаго отношенія къ себѣ и т. п. И не только умственно совершенствовался Гейне въ этой обстановкѣ; онъ отдыхалъ здѣсь и сердцемъ, находилъ успокоеніе своему внутреннему разладу, непрестанному напряженію своихъ нервовъ.

Въ гостиной баронессы Гогенгаузенъ господствовалъ культъ другого знаменитаго поэта — Байрона, и хозяйка, познакомившись съ произведеніями Гейне, съ своеобразностями его натуры, не замедлила провозгласить его прямымъ преемникомъ автора «Чайльдъ-Гарольда» въ Германіи, и вмѣстѣ съ Рахилью Варнгагенъ быстро распространяла его извѣстность. Кружокъ баронессы, которая была и сама писательница, также состоялъ изъ выдающихся дѣятелей литературы, науки, искусства, такъ что благотворное вліяніе, оказывавшееся на Гейне Варнгагеновскимъ кружкомъ, находило себѣ дополненіе и здѣсь. Ко всему этому присоединились умственныя вѣянія другого рода, исходившія, какъ уже упомянуто выше, изъ берлинскаго университета. Каково было положеніе этого послѣдняго въ ту пору, когда Гейне сидѣлъ на скамьяхъ его, видно изъ *того, что нѣсколько кафедръ* были заняты такими свѣтилами

науки, какъ философъ Гегель, юристъ Гансъ, санскритологъ Боппъ, эстетикъ Вольфъ. Во главѣ всего, образовавъ особенную школу, стоялъ Гегель. Гейне тотчасъ же сдѣлался горячимъ приверженцемъ освободительнаго ученія знаменитаго философа. Правда, впослѣдствіи онъ посмѣивался надъ этой философіей, надъ ея отвлеченностью и туманностью, надъ тѣмъ, что она превращала живыхъ людей въ идеи и т. п. Но въ этомъ полуотреченіи отъ Гегеля, независимо отъ проявленія здѣсь одной изъ основныхъ склонностей Гейне — смѣяться надъ всѣмъ на свѣтѣ, даже самымъ дорогимъ для него, играли роль и спеціальныя обстоятельства, напримѣръ, желаніе оправдаться въ взводившемся на него какъ разъ въ это время обвиненіи, что онъ отъ атеизма вернулся къ прежнему деизму. На самомъ же дѣлѣ Гегелевская философія глубоко внѣдрилась въ умѣ поэта. Къ лекціямъ Гегеля и бесѣдамъ его (Гейне находился и въ личныхъ сношеніяхъ съ знаменитымъ философомъ) присоединимъ лекціи Боппа, Ганса, Вольфа—и мы увидимъ, что пребываніе Гейне въ берлинскомъ университетѣ оказывалось для него несомнѣнно очень благотворнымъ. Расширенію его умственнаго кругозора, направленію и упроченію его политическихъ и соціальныхъ воззрѣній въ томъ духѣ, въ какомъ они являлись въ его послѣдующихъ произведеніяхъ, соотвѣтствуя такъ сказать, и его органическимъ, врожденнымъ воззрѣніямъ, способствовало также въ значительной степени общеніе его съ нѣсколькими родственными ему по духу и стремленію молодыми людьми, занявшими потомъ видное мѣсто въ литературной и культурной жизни Германіи (напримѣръ, поэтъ Иммерманъ), и которые если подчинялись сами вліянію будущаго автора «Путевыхъ Картинъ», сознавая присутствіе въ немъ высшей, «отмѣченной божьимъ перстомъ» натуры, то безспорно оказывали и на него значительное дѣйствіе въ интеллектульномъ отношеніи. Съ нѣсколькими изъ этихъ людей связывали нашего поэта, кромѣ интересовъ общихъ, и интересы спеціальные; это именно—съ членами образовавшагося въ то время въ Берлинѣ «Общества культуры и науки еврейства» которое, дѣйствуя въ духѣ знаменитаго реформатора нѣмецкихъ евреевъ и философа Мендельсона (друга Лессинга), поставило себѣ, какъ

объяснялъ Гейне, цѣлью посредничество «между историческимъ іудействомъ и новѣйшею наукой, о которой предполагали, что она съ теченіемъ времени должна будетъ стать во главѣ управленія всѣмъ міромъ». Гейне примкнулъ къ этому кружку настолько же горячо, насколько презрительно и съ негодованіемъ избѣгалъ всякихъ сношеній съ тѣмъ берлинскимъ еврействомъ, которое или фанатически держалось своихъ традиціонныхъ предразсудковъ, или ставило на первомъ планѣ торгашескіе интересы; онъ не пропускалъ почти ни одного засѣданія, одно время исполнялъ даже обязанности секретаря, и такъ какъ вопросъ спеціально-еврейскій обсуждался здѣсь въ неразрывной связи съ вопросами общими и нравственными, политическими и соціальными, то понятно, что общеніе съ этими людьми надо причислить къ благотворнымъ сторонамъ пребыванія нашего поэта въ Берлинѣ.

Но не въ такой только обстановкѣ проходила здѣсь его жизнь. Чувственныя наклонности, жажда шумной, часто безпутной, циническої жизни, постоянно чередовавшаяся у Гейне съ мизантропическимъ затворничествомъ, уходомъ въ высшіе интересы, въ свой внутренній міръ, увлекали его въ другіе кружки: людей умныхъ, даровитыхъ, но совершенно безалаберныхъ, лишенныхъ нравственнаго устоя, погибавшихъ или въ сумасшествіи, или отъ другихъ тому подобныхъ причинъ, жертвами собственной несчастной натуры и несчастныхъ житейскихъ обстоятельствъ. Въ такой компаніи, этомъ прототипѣ нашей современной литературной «богемы», интересы литературы занимали видное мѣсто, но занятіе ими шло среди безпрерывныхъ кутежей и оргій—и Гейне принималъ въ этомъ немалое участіе, при чемъ у него, никогда ничего не пившаго, главную роль играли женщины.

Этотъ образъ жизни, продолжавшій весьма пагубно дѣйствовать на здоровье поэта, усиливавшій то, что мы видѣли уже значительно развившимся при подобной же обстановкѣ въ Гамбургѣ, принялъ въ Берлинѣ еще болѣе широкіе размѣры, когда получилось извѣстіе о выходѣ замужъ Амаліи; по крайней мѣрѣ такъ объясняютъ это обстоятельство иные біографы, такъ объясняетъ это и самъ Гейне. При той, можно сказать, безпредѣльной

субъективности, которою отличалось поэтическое творчество Гейне, превращеніе дѣвицы Амаліи въ почтенную мадамъ Фридлендеръ вызвало у нашего поэта цѣлый рядъ стихотвореній, гдѣ глубокое чувство, разъѣдающая иронія, звонъ бубенчиковъ дурацкаго колпака, рядомъ съ восхитительнѣйшими звуками лучшаго инструмента, все то, однимъ словомъ, чѣмъ отличаются пѣсни любви Гейне отъ пѣсенъ всѣхъ другихъ поэтовъ, появилось уже во всемъ своемъ блескѣ. Укажемъ для примѣра хотя на извѣстное каждому стихотвореніе «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» съ его знаменитымъ окончаніемъ:

Das ist eine alte Geschichte,
Doch bleibt sie immer neu, и т. д.

Часть этихъ стихотвореній, вмѣстѣ съ другими, прежде написанными, появилась въ печати въ началѣ 1821 года, а въ концѣ этого года, съ нѣсколькими дополненіями, они вышли въ свѣтъ отдѣльной книжкой, доставивъ автору отъ издателя, книгопродавца Маурера, сорокъ даровыхъ экземпляровъ въ видѣ гонорара. Но могло ли огорчать молодого поэта это комически-скудное вознагражденіе послѣ того, какъ другой издатель, знаменитый Брокгаузъ, совсѣмъ отказался взять на свой рискъ печатаніе сердечныхъ изліяній невѣдомаго писателя, какого-то юноши Гейне, и въ особенности когда грандіознымъ дополненіемъ къ этому гонорару явился блистательный успѣхъ? На публику эти стихотворенія, въ которыхъ покамѣстъ еще не было никакого сатирическаго, политическаго и соціальнаго элемента и гдѣ авторъ выступалъ только романтикомъ, пѣвцомъ любви и поэтомъ въ народномъ духѣ—на публику они произвели громадное дѣйствіе потому, что она впервые увидѣла здѣсь въ такой удивительной формѣ то, «чего именно не доставало этому вялому, апатическому, унылому времени»—силу порывистой, живой, даже иногда дикой страсти. Критика, въ лицѣ лучшихъ представителей своихъ, радостно привѣтствовала этотъ могучій талантъ, это «новое слово» въ поэзіи: Варнгагенъ указываетъ на полную самостоятельность этихъ созданій, на необычайное умѣнье проникать въ тайны народнаго творчества

и т. п.; Иммерманъ обращалъ вниманіе на «міровую скорбь» въ стихотвореніяхъ молодого поэта и объяснялъ ее возмущеніемъ, негодованіемъ автора противъ сухости, безцвѣтности, пошлости и гнусности того, что̀ окружало его; анонимный критикъ одного изъ лучшихъ журналовъ проводилъ параллель, между нимъ и Байрономъ, выставлялъ на видъ несомнѣнную оригинальность нѣмецкаго поэта, при видимой подражательности англійскому, и усмотрѣлъ въ произведеніяхъ Гейне, при ихъ видимомъ романтизмѣ, отсутствіе всего того, что̀ составляло основной элементъ этого послѣдняго, и, напротивъ, присутствіе элемента противоположнаго—чисто-человѣческаго и гражданскаго.

Поощренный такимъ успѣхомъ—при чемъ, конечно, не было недостатка и въ нападеніяхъ узкой ограниченности—поэтъ съ этихъ поръ безостановочно пошелъ по новому пути: въ апрѣлѣ 1823 г. появились въ печати двѣ его трагедіи «Алманзоръ» и «Ратклифъ» и, въ приложеніи къ нимъ, сборникъ стихотвореній подъ заглавіемъ «Lyrisches Intermezzo». Первая изъ этихъ трагедій была начата, какъ мы видѣли, уже въ Геттингенѣ, вторая написана въ Берлинѣ, и, по свидѣтельству автора, окончена въ три дня. Какъ произведенія драматическія, да и во многихъ другихъ отношеніяхъ, обѣ эти пьесы плохи; но онѣ изобилуютъ лирическими красотами; главное же достоинство, главный интересъ ихъ заключается въ совершенной субъективности той и другой, въ тѣсной связи ихъ съ внутреннею и внѣшнею жизнью Гейне.

Но сердечное или головное, купленное дѣйствительнымъ опытомъ или сочиненное, настроеніе это имѣетъ для насъ большую важность, какъ дающее цѣнный матеріалъ для характеристики тогдашняго Гейне съ его внутренней стороны, важность значительнѣе той, которую эти трагедіи имѣютъ въ нашихъ глазахъ по связи ихъ съ внѣшнею жизнью поэта, и именно съ его несчастною любовью къ кузинѣ Амаліи. Въ «Алманзорѣ» къ этому автобіографическому основанію присоединился еще другой мотивъ—все тотъ же еврейскій мотивъ; по всей трагедіи проходитъ красною нитью «великая еврейская скорбь», и опять *съ тѣхъ же двухъ* сторонъ, съ какихъ смотрѣлъ Гейне на это

дѣло: тутъ, подъ видомъ мусульманъ, мы встрѣчаемъ и сатиру на евреевъ, особенно на тѣхъ, которые, какъ это видѣлъ Гейне въ Берлинѣ, изъ-за личныхъ выгодъ переходили въ христіанство, и сочувствіе къ еврейскому племени, какъ угнетенному, а слѣдовательно и ненависть къ притѣснителямъ, изображеннымъ здѣсь, конечно ради цензуры, въ лицѣ Фердинанда и Изабеллы...

Несравненно выше по поэтическому достоинству напечатанное вмѣстѣ съ трагедіями «Lyrisches Intermezzo»—сборникъ пѣсенъ, полныхъ удивительной гармоніи, всевозможныхъ оттѣнковъ, обаятельной прелести, пѣсенъ, въ которыхъ чистый лирикъ явился уже во всей зрѣлости, несмотря на столь молодые годы его, и которыя, составивъ его громкую славу, теперь закрѣпили ее на все будущее время: имя Генриха Гейне, еще за нѣсколько мѣсяцевъ почти никому невѣдомое, отнынѣ вписалось неизгладимыми буквами на страницы исторіи нѣмецкой поэзіи, и этотъ юноша могъ услышать, какъ вдругъ вся Германія запѣла его пѣсни, и какъ множество поэтовъ и поэтиковъ пустились наперерывъ подражать этимъ совершенно новымъ, неслыханнымъ дотолѣ въ нѣмецкой лирикѣ звукамъ. Въ то же самое время онъ заявилъ себя съ хорошей стороны—конечно въ гораздо меньшей степени, чѣмъ въ области чистой поэзіи—и какъ писатель вообще, статьями критическими, гдѣ уже теперь обнаруживались отличительныя свойства его дѣятельности на этомъ поприщѣ, и картинами общественной жизни («Письма изъ Берлина»), въ которыхъ, при ихъ слабости вообще, нельзя не видѣть особенностей чисто Гейневскаго стиля, покамѣстъ еще какъ бы пробующаго себя въ этомъ новомъ родѣ и долженствовавшаго скоро явиться въ своей неподражаемой, можно сказать, геніальной оригинальности и прелести въ «Путевыхъ Картинахъ».

Но среди этихъ литературныхъ успѣховъ, окончательно опредѣлившихъ будущую профессію нашего поэта, хотя онъ продолжалъ готовиться къ юридической карьерѣ, среди такой обстановки въ этомъ отношеніи, которая должна была вліять на его настроеніе, на его отношеніе къ жизни самымъ благопріятнымъ образомъ — эта *же самая*, столь блистательно начатая карьера

не замедлила обнаружить и свои терніи, дѣйствовавшіе очень раздражительно на человѣка, у котораго, уже по складу его натуры, разливалась вся желчь въ тѣхъ случаяхъ, когда другой оставался бы если не равнодушнымъ, то болѣе или менѣе спокойнымъ. Терніи эти состояли въ рѣзкихъ порицаніяхъ извѣстной части печати и публики оппозиціонному, необычайно смѣлому, даже дерзкому отношенію Гейне ко многимъ традиціоннымъ вопросамъ религіи, морали и нравовъ. Раздраженіе и негодованіе того, на кого обрушивались эти нападенія, вѣроятно, не приняло бы особенно большихъ размѣровъ, если бы этимъ дѣло и ограничилось. Но къ нимъ присоединились клеветы, инсинуаціи и т. п. пріемы, отъ которыхъ Гейне пришлось потомъ страдать почти до самой смерти. Въ настоящемъ случаѣ онѣ исходили, съ одной стороны, отъ евреевъ старой партіи, которые не могли простить поэту его эпиграммъ и насмѣшекъ и обвиняли его въ антиеврейскомъ настроеніи и направленіи; съ другой стороны, ханжествующая и лицемѣрно-пуританская часть нѣмецкой печати, усматривая въ «Алманзорѣ» антихристіанскія тенденціи, дѣлала противъ автора этой трагедіи самыя неприличныя, часто даже гнусныя выходки. «Меня здѣсь раздражаютъ и оскорбляютъ, — писалъ онъ одному изъ своихъ друзей, — я крѣпко золъ на пошлую сволочь, эксплоатирующую въ свою пользу дѣло, которому я уже до сихъ поръ принесъ столько великихъ жертвъ и за которое до конца моей жизни не перестану проливать кровь моего мозга».

Эти клеветы и сплетни тѣмъ сильнѣе вліяли на поэта, что онѣ тяжело отзывались и на его житейскихъ обстоятельствахъ: какъ намъ уже извѣстно, въ матеріальномъ отношеніи судьба его зависѣла исключительно отъ богатаго дяди Соломона, а недоброжелатели и враги поэта въ староеврейской партіи, куда присоединялись и нѣкоторые изъ родственниковъ его, старались выставить Гейне въ неблагопріятномъ свѣтѣ именно передъ этимъ милліонеромъ—выставить какъ человѣка легкомысленнаго, распутнаго, отъ котораго нельзя ждать ничего лучшаго. Дядя и безъ того смотрѣлъ въ это время на Генриха довольно недоброжелательно, начиная убѣждаться, что изъ пребыванія молодого

человѣка въ университетѣ не выйдетъ ровно ничего относительно его юридической карьеры, и что слѣдовательно даваемыя солиднымъ банкиромъ деньги на приготовленіе къ этой карьерѣ бросаются на вѣтеръ. Инсинуаціи добрыхъ родственниковъ и знакомыхъ вливались только лишними каплями въ чашу неудовольствій старика Соломона, и было время, когда поддержка съ его стороны грозила рушиться, тѣмъ болѣе, что и нашъ поэтъ далеко не всегда оказывался почтительнымъ племянникомъ: въ минуты раздраженія онъ говорилъ ему весьма рѣзкія и нелестныя вещи, напримѣръ: «знаешь, дядя, въ тебѣ самое лучшее то, что ты носишь мое имя»,—съ тѣмъ, однако, чтобы потомъ снова возвращаться къ почтительному и ласковому тону, часто даже къ заискиванію прямыми и окольными путями. Это происходило оттого, что денежный вопросъ былъ всегда «проклятымъ вопросомъ» для Гейне, и слѣдящій за исторіею его жизни можетъ, кажется, безошибочно утверждать, что не было въ ней почти ни одного дня, когда поэтъ не терпѣлъ бы матеріальной нужды и не изыскивалъ поневолѣ тѣхъ или другихъ способовъ, чтобы выйти изъ затрудненій. Причина такого положенія заключалась, однако, не только въ скудости средствъ, которыми всегда пользовался Гейне, но и въ крайнемъ, чисто поэтическомъ неумѣньи распоряжаться деньгами, при киданіи ихъ направо и налѣво безъ всякой мысли о завтрашнемъ днѣ, при употребленіи проходившихъ сквозь его руки талеровъ то совершенно безалаберно, то для помощи другимъ нуждающимся. Въ ту берлинскую пору, о которой мы разсказываемъ, денежные ресурсы поэта, еще ничего не получавшаго за свой литературный трудъ, состояли въ 400 талерахъ, ежегодно выплачивавшихся ему дядею, съ добавленіемъ, отъ времени до времени, другихъ небольшихъ субсидій, и были, слѣдовательно, таковы, что экономный и разсудительный студентъ могъ бы безъ нужды жить на нихъ, но для Гейне, при только-что упомянутой и вполнѣ естественной непрактичности его, къ которой присоединилась и ненасытимая жажда житейскихъ наслажденій—для Гейне эти субсидіи оказывались далеко недостаточными, вслѣдствіе чего ему приходилось то и *дѣло обращаться* за помощью къ своимъ друзьямъ.

«Но, — замѣчаетъ профессоръ Гюферъ, — какъ ни велика была легкость, съ которою Гейне дѣлалъ набѣги на пріятельскіе кошельки, эти долги онъ платилъ, если не всегда аккуратно въ срокъ, то всегда добросовѣстно, и постоянно доказывалъ на дѣлѣ свою готовность помогать, въ ущербъ самому себѣ, нуждающимся знакомымъ и даже первымъ встрѣчнымъ». Къ денежнымъ затрудненіямъ присоединилось, какъ причина мизантропическаго состоянія, часто овладѣвавшаго поэтомъ, усиленіе нервной болѣзни, которая, выражаясь острыми головными болями и общею раздражительностью, началась, какъ мы видѣли, уже раньше, а теперь, благодаря въ значительной степени образу жизни, развивалась все больше и больше.

Одно время поэтъ дѣйствительно думалъ уѣхать не только изъ Берлина, но и вообще изъ Германіи, и переселиться не въ пустынную Аравію, къ верблюдамъ, а въ шумный, давно уже притягивавшій его къ себѣ Парижъ, гдѣ «по крайней мѣрѣ,— говорилъ онъ,—мнѣ не будутъ колоть глаза тѣмъ, что я еврей», и гдѣ, какъ онъ надѣялся, еврейство не будетъ мѣшать его «карьерѣ»; стало-быть, и это обстоятельство входило въ число причинъ его мрачнаго настроенія. Но широкіе планы разрѣшились покамѣстъ только кратковременною поѣздкой въ приморское мѣстечко Куксгавенъ, съ цѣлью поправленія здоровья— поѣздкой, важной въ томъ отношеніи, что здѣсь поэтъ впервые увидѣлъ море, то море, которое онъ, по его словамъ, «любилъ, какъ свою душу», и въ которомъ, какъ въ теперешнее свое первое знакомство съ нимъ, такъ и въ послѣдующія, онъ нашелъ матеріалъ для столькихъ удивительныхъ стихотвореній. Нѣкоторыя изъ нихъ были написаны имъ уже въ Куксгавенѣ, и съ этимъ запасомъ, равно какъ и съ нѣсколькими другими литературными планами, онъ отправился въ Гамбургъ, побывавъ въ это же время на короткій срокъ въ Люнебургѣ, куда переселилась его семья. Въ Люнебургѣ онъ имѣлъ удовольствіе увидѣть, что мать отнеслась къ первой книжкѣ его стихотвореній совсѣмъ неодобрительно, а отецъ и совсѣмъ не читалъ ея; въ Гамбургѣ, куда онъ ѣздилъ повидаться съ дядей Соломономъ, чтобы зондировать эту важную для него почву и, быть-можетъ, умягчить

ее, пришлось ему убѣдиться, что поэтическая дѣятельность его оцѣнена еще меньше, чѣмъ въ Люнебургѣ, и что если хочетъ онъ и теперь, и въ будущемъ пользоваться поддержкою милліонера, то надо ему прежде всего подумать о практической, «хлѣбной» профессіи. Неудивительно поэтому, что въ Гамбургѣ мы видимъ его еще мрачнѣе настроеннымъ; и если, говоря въ одномъ изъ писемъ отсюда о «какомъ-то жестокомъ безуміи, которое овладѣваетъ его существомъ», о томъ, что «мрачный гнѣвъ лежитъ, какъ раскаленный ледяной покровъ на его душѣ», о томъ, что онъ «жаждетъ вѣчной ночи»—если такія ощущенія онъ приписываетъ тому, что видъ Гамбурга воскресилъ въ немъ воспоминаніе о недавней несчастной любви къ Амаліи, то причина эта далеко не единственная, даже второстепенная, притегнутая только къ другимъ, болѣе существеннымъ; дѣлаемъ такой выводъ потому, что въ это же время, въ самомъ разгарѣ мизантропіи, поэтъ нашелъ возможнымъ увлечься какою-то новой «таинственной незнакомкой»... Дѣлать, однако, было нечего. Пока не наступило время, когда поэту можно было бы въ матеріальномъ отношеніи стоять на собственныхъ ногахъ только съ помощью своей литературной дѣятельности, надо было подчиняться той волѣ, отъ которой получались средства къ существованію; и вотъ почему, по возвращеніи изъ Гамбурга, Гейне довольно дѣятельно сталъ готовиться къ выпускному экзамену, поневолѣ рѣшившись, какъ онъ выражался, оставить стихи на лучшее время. Но само собою разумѣется, оставаться безъ поэтической производительности онъ не могъ, и если не печаталъ то продолжалъ писать.

По неизвѣстнымъ причинамъ, для окончательнаго приготовленія къ выпускному экзамену и сдачи его, Гейне отправился изъ Берлина въ ненавистный ему Геттингенъ; думаемъ, что источникъ этого страннаго поступка слѣдуетъ искать въ прихотливости многихъ поступковъ нашего поэта вообще, въ трудности для него долго оставаться на одномъ и томъ же мѣстѣ и постоянной жаждѣ перемѣнъ, какъ слѣдствіи постояннаго внутренняго томленія и тревожнаго безпокойства. Въ Геттингенъ ъ пріѣхалъ въ январѣ 1824 г., и жизнь его попрежне

раздѣлилась между умственными занятіями — вольными и невольными—и житейскими наслажденіями. Но наряду съ этимъ онъ является предъ нами во всемъ разгарѣ своей мизантропіи, скорби, унынія, и чтобы освѣжиться, дать успокоеніе своимъ нервамъ, поэтъ въ сентябрѣ 1824 г., воспользовавшись каникулами, отправился въ путешествіе на Гарцъ и по Тюрингіи.

Почти пѣшкомъ прошелъ онъ чудесныя мѣста и на возвратномъ пути заходилъ въ разные города—Іену, Веймаръ, Эрфуртъ, Готу и др. Очень любопытнымъ эпизодомъ этого путешествія представляется посѣщеніе нашимъ поэтомъ старика Гете въ Веймарѣ. Пріѣхавъ въ этотъ городъ, онъ отправилъ къ автору «Фауста» слѣдующую записку, въ которой, сквозь большую долю искренности, мы, зная Гейне, не можемъ, однако, не усматривать нѣкоторой ироніи въ связи съ сознаніемъ собственнаго достоинства: «Прошу ваше превосходительство доставить мнѣ счастье постоять нѣсколько минутъ передъ вами. Не хочу обременять васъ своимъ присутствіемъ, желаю только поцѣловать вашу руку и затѣмъ уйти. Меня зовутъ Генрихъ Гейне, я рейнскій уроженецъ, недавно поселился въ Геттингенѣ, а до того жилъ нѣсколько лѣтъ въ Берлинѣ, гдѣ былъ знакомъ съ многими изъ вашихъ старыхъ знакомыхъ и почитателей и научился съ каждымъ днемъ все больше любить васъ. Я тоже поэтъ и имѣлъ смѣлость три года назадъ послать вамъ мои «Gedichte», а полтора года назадъ—«Трагедіи» съ добавленіемъ «Lyrisches Intermezzo». Кромѣ того, я боленъ, для поправленія здоровья совершилъ путешествіе на Гарцъ, и тамъ на Брокенѣ охватило меня желаніе—сходить въ Веймаръ на поклоненіе Гете. Я явился сюда, какъ пилигримъ въ полномъ смыслѣ этого слова—именно пѣшкомъ и въ изношенной одеждѣ, и ожидаю исполненія моей просьбы. Остаюсь съ пламеннымъ сочувствіемъ и преданностью—Генрихъ Гейне».

Гете принялъ молодого писателя — что̀ онъ дѣлалъ весьма рѣдко; но судя по тому, что непосредственно послѣ этого посѣщенія Гейне въ своихъ письмахъ или ничего не говорилъ о немъ, или упоминалъ въ двухъ-трехъ словахъ, или, говоря о Гете вообще по поводу этого визита, отзывался о немъ, какъ

о поэтѣ, не особенно благосклонно, — судя по этому, надо думать, что «олимпіецъ» принялъ геттингенскаго студента со свойственною ему и естественною въ немъ величественностью, хотя, признаться, такой пріемъ удивляетъ насъ, когда мы примемъ въ соображеніе, что у Гете въ это время уже давно были въ рукахъ такія стихотворенія нашего поэта, какъ «Lyrisches Intermezzo». Правда, что онъ, по словамъ Гейне, въ одномъ письмѣ, «сказалъ ему много привѣтливаго и снисходительнаго», но во-первыхъ, полагаемъ, это-то «снисходительное» отношеніе и сердило автора «Intermezzo», а во-вторыхъ, если бы было сказано дѣйствительно «много привѣтливаго», то Гейне, при его самолюбіи, при его гордости собой, конечно передалъ бы весь разговоръ съ мельчайшими подробностями. Онъ же изъ этого разговора передаетъ— и съ видимою горечью—только одно: что онъ собирался сказать Гете много «возвышеннаго и глубокомысленнаго», и нашелся сказать только одно, что «на дорогѣ между Іеною и Веймаромъ сливы очень вкусны». Очевидно, что это въ разсказѣ Гейне выдумка ради остроты, но очевидно также, что тутъ скрывается и непріятная для нашего поэта дѣйствительность. Правда, въ запискахъ брата Гейне, Максимиліана, находимъ такой разсказъ о свиданіи двухъ поэтовъ, который, если вѣрить ему—а повѣрить не трудно—объясняетъ причину не особенно лестнаго пріема со стороны Гете. «Чѣмъ вы занимаетесь въ настоящее время?»— спросилъ будто бы Гете. «Фаустомъ»,—отвѣчалъ Гейне, у котораго дѣйствительно въ это время былъ въ головѣ планъ трагедіи о Фаустѣ. Понятно, что такой смѣлый отвѣтъ могъ показаться автору настоящаго, безсмертнаго «Фауста» даже дерзкимъ. «Гете,—разсказываетъ братъ нашего поэта:—былъ пораженъ и острымъ тономъ спросилъ: «Другихъ дѣлъ у васъ въ Веймарѣ нѣтъ, господинъ Гейне?» Гейне же отвѣтилъ: «Переступивъ порогъ вашего превосходительства, я покончилъ въ Веймарѣ всѣ свои дѣла»—и удалился. Мы имѣемъ, однако, и другого рода свидѣтельство о впечатлѣніи, произведенномъ Гете на его молодого гостя, и свидѣтельство это исходитъ отъ того же самаго Генриха Гейне, котораго мы только-что видѣли такимъ ироническимъ. *Восемь лѣтъ спустя*, вспоминая объ этомъ веймарскомъ

свиданіи, онъ писалъ: «Его наружность была такъ же значительна, какъ слово, живущее въ его произведеніяхъ, и фигура его была такъ же гармонична, свѣтла, радостна, благородна, пропорціональна, и на немъ, какъ на античной статуѣ, можно было изучать греческое искусство. Глаза его были спокойны, какъ глаза божества... Время покрыло, правда, и его голову снѣгомъ, но не могло склонить ее. Онъ продолжалъ носить ее гордо и высоко, и когда онъ говорилъ, то казалось, что ему дана возможность пальцемъ указывать звѣздамъ на небѣ путь, которымъ онѣ должны слѣдовать. На его губахъ иные находятъ холодныя черты эгоизма; но и этотъ эгоизмъ свойственъ вѣчнымъ богамъ, и даже отцу боговъ, великому Юпитеру. Право, когда я посѣтилъ его въ Веймарѣ и стоялъ передъ нимъ, то невольно смотрѣлъ въ бокъ — не увижу ли подлѣ него орла съ молніями въ клювѣ. Я былъ готовъ даже заговорить съ нимъ по-гречески»... *).

Путешествіе это, которому мы обязаны лучшими страницами въ «Путевыхъ Картинахъ», т. е. лучшимъ, что вышло изъ-подъ пера Гейне въ прозѣ — самъ поэтъ называлъ очень спасительнымъ для себя, сильно укрѣпившимъ его, хотя тутъ же замѣчалъ, что испытывавшіяся имъ наслажденія отравлялись слѣдовавшею за нимъ въ видѣ призрака юриспруденціею и все тѣми же денежными заботами и затрудненіями. Но въ томъ же письмѣ къ другу, гдѣ говоритъ онъ объ этихъ впечатлѣніяхъ, находимъ

) Считаемъ не лишнимъ привести здѣсь кстати мнѣніе Гете о Гейне, высказывавшееся имъ въ разговорахъ съ Эккерманомъ, т. е. въ позднѣйшіе годы жизни, когда авторъ «Intermezzo» былъ уже въ расцвѣтѣ своего таланта: «Нельзя отрицать, что Гейне обладаетъ многими блистательными качествами, но ему не достаетъ любви. Онъ такъ же мало любитъ своихъ читателей, какъ своихъ сопоэтовъ (Mitpoeten), и больше любитъ себя; такимъ образомъ, къ нему можно примѣнить слова апостола: «И если бы я говорилъ человѣческими и ангельскими языками и не имѣлъ ихъ любви, то былъ бы я металломъ звенящимъ»... Еще на этихъ дняхъ читалъ я его стихотворенія, и богатое дарованіе его несомнѣнно, но, повторяю, ему не достаетъ любви, и поэтому онъ никогда не будетъ вліять такъ, какъ долженъ бы вліять. Его будутъ бояться, и онъ будетъ богомъ тѣхъ, которые охотно являлись бы такими же отрицателями, какъ онъ, но не имѣютъ на то дарованія».

и такія слова: «Кромѣ того (т. е. кромѣ матеріальныхъ заботъ, въ настоящую минуту я не возбуждаю особеннаго энтузіазма; я не настолько глупъ, чтобы скрывать это отъ себя, и очень хорошо понимаю причины разныхъ пожатій плечъ, покачиваній головы. Словомъ, меня считаютъ обанкрутившимся, и я не обвиняю ни одного разумнаго купца, который не дѣлаетъ мнѣ кредита»... Мы не знаемъ, на какомъ основаніи говорилось все это, ибо въ ту пору литературное положеніе Гейне въ лучшей части критики и публики было блистательное; вѣроятно, тутъ играло роль общее раздраженіе, при которомъ молодому поэту казалось, что его недостаточно цѣнятъ — тѣмъ болѣе, что онъ самъ признавалъ себя далеко не «обанкрутившимся» въ умственномъ и поэтическомъ отношеніи. «Не знаю, — писалъ онъ Мозеру, — имѣютъ ли право наши эстетики видѣть во мнѣ уже угасшую свѣчу... Болѣе, чѣмъ когда-либо, ощущаю я въ себѣ присутствіе божества...» И онъ имѣлъ фактическое право говорить это, потому, что, кромѣ значительнаго числа прекраснѣйшихъ стихотвореній, лежавшихъ еще въ его портфелѣ и писанныхъ послѣ «Intermezzo», создавались имъ и другія, болѣе крупныя вещи; такъ, къ этому именно времени относится начало его романа «Бахарахскій Раввинъ», которое, къ сожалѣнію, такъ и осталось только началомъ.

Но все это дѣлалось въ тѣ часы, которые поэтъ могъ урывать у себя отъ обязательныхъ юридическихъ занятій. Время экзамена приближалось. Весною 1825 г. это важное событіе совершилось, экзаменъ былъ съ грѣхомъ пополамъ выдержанъ, и 20 іюля, послѣ защиты диссертаціи, авторъ «Алманзора» и «Ратклиффа» былъ возведенъ геттингенскимъ университетскимъ совѣтомъ въ степень доктора юридическихъ наукъ (третьяго разряда). Но ровно за мѣсяцъ до этого произошло другое событіе — гораздо болѣе важное, одно изъ тѣхъ въ жизни Гейне, редъ которымъ съ глубокимъ изумленіемъ, и притомъ изумлемъ не особенно пріятнаго характера, останавливается біо- —одно изъ тѣхъ, гдѣ противорѣчивость въ натурѣ и ха- ѣ Гейне, странная шаткость многихъ мнѣній его и взгля- является въ полномъ блескѣ, если умѣстно здѣсь

блескъ. Мы говоримъ о переходѣ его въ христіанство, и именно въ лютеранское исповѣданіе, совершившемся 28 іюня 1825 г. Тотъ самый человѣкъ, который еще недавно и письменно, и словесно, и въ печатныхъ произведеніяхъ («Алманзоръ») громилъ евреевъ, перемѣнявшихъ изъ-за личныхъ выгодъ религію; который за годъ до того писалъ своему другу Мозеру: «я считалъ бы ниже своего достоинства и пятномъ для своей чести, если бы позволилъ себѣ выкреститься только для того, чтобы получить должность въ Пруссіи» — этотъ самый человѣкъ крестился исключительно съ этою практическою цѣлью, потому что видѣлъ невозможность добиться чего-нибудь «служебнаго», т. е. болѣе или менѣе прочно обезпечивающаго существованіе, безъ перехода въ христіанство. Слабыми, не выдерживающими строгой моральной и логической критики, представляются намъ ссылки поэта въ этомъ случаѣ на то, что «метрическое свидѣтельство о крещеніи представляетъ собою билетъ для входа въ европейскую культуру», т. е. другими словами, что крестится онъ для того, чтобы вступить въ эту, закрытую для его единовѣрцевъ, культурную область; несостоятельнымъ находимъ мы и объясненіе, что нѣтъ у него достаточно силъ для того, чтобы слушать, какъ его называютъ и будутъ называть жидомъ, и т. п.; натянутымъ кажется намъ и замѣчаніе одного изъ его біографовъ, что «независимо отъ личной выгоды, которую надѣялся пріобрѣсти Гейне переходомъ въ христіанство, онъ сдѣлалъ этотъ шагъ еще потому, что позналъ, будто культура и литература его времени—христіанскія, и притомъ протестантски-христіанскія, и чувствовалъ себя сыномъ и апостоломъ ихъ». Такая личность, какъ Гейне, не нуждалась ни въ какомъ «билетѣ для входа» въ ту культуру, гдѣ ему самому суждено было сдѣлаться не простымъ участникомъ общаго движенія, а мощнымъ руководителемъ его, сознаніе чего притомъ было сильно въ немъ уже въ эти ранніе годы; такой личности, какъ Гейне, который, сверхъ того, постоянно заявлялъ о своемъ презрѣніи къ «черни», къ массѣ, нечего было и бояться вздорныхъ насмѣшекъ надъ его «жидовствомъ», которыя исходили бы только отъ невѣжественнаго. обскурантнаго меньшинства, и ужъ нисколько

не мѣшали бы ему быть «сыномъ и апостоломъ» христіанской культуры, какъ выразился о немъ—и совершенно справедливо—только-что упомянутый біографъ. Гораздо проще и искреннѣе, къ сожалѣнію, то объясненіе, которое давалъ выкрестившійся Гейне, когда писалъ своему другу Мозеру: «Я очень хорошо понимаю слова псалмопѣвца: «Господи! Давай мнѣ насущный хлѣбъ, дабы я не позорилъ Твое святое Имя»! Весьма фатально, что во мнѣ весь человѣкъ управляется бюджетомъ! На мои принципы отсутствіе или изобиліе денегъ не имѣетъ ни малѣйшаго вліянія, но на мои поступки оно вліяетъ тѣмъ сильнѣе. Да, великій Мозеръ, Генрихъ Гейне очень малъ... Это не шутка, это мое серьезнѣйшее, исполненное самаго сильнаго негодованія, убѣжденіе. Не могу достаточно часто повторять тебѣ это, чтобы ты не мѣрялъ меня масштабомъ твоей собственной великой души. Моя душа—гуммиластиковая, она часто растягивается до безконечности, и часто стягивается до крошечныхъ размѣровъ»..

Столько же искренняго и горькаго самобичеванія въ юмористическихъ словахъ другого письма тому же Мозеру: «Мнѣ было бы очень прискорбно, если бы мое свидѣтельство о крещеніи могло представиться тебѣ въ благопріятномъ свѣтѣ. Увѣряю тебя, что будь законами дозволено красть серебряныя ложки, я бы не выкрестился»... Правда, у насъ есть несомнѣнныя доказательства — и со стороны самаго поэта, и со стороны другихъ, — что этотъ шагъ былъ сдѣланъ имъ послѣ долговременной и тяжелой внутренней борьбы; но тѣмъ не менѣе, онъ былъ сдѣланъ — и это безъ малѣйшаго внутренняго убѣжденія или духовнаго побужденія (при существованіи которыхъ мы, конечно, не стали бы обвинять его), а исключительно въ соображеніяхъ практическаго свойства. Но и тутъ возникаетъ вопросъ: да для чего же было Гейне, съ тѣми литературными сокровищами, которыя онъ носилъ въ себѣ, задумываться о пріобрѣтеніи себѣ прочнаго служебнаго положенія? Какъ могъ онъ, едва только вступившій на литературную дорогу и вступившій на нее такъ настательно, уже теперь предвидѣть, что она не дастъ ему достаточныхъ средствъ къ существованію, и предусмотрительно стараться замѣнить ихъ другими?

Такъ или иначе, а первое вступленіе нашего поэта на житейскій путь уже самостоятельнымъ человѣкомъ сопровождалось такъ называемымъ фальшивымъ шагомъ, въ которомъ ему, впрочемъ, какъ и слѣдовало ожидать, пришлось скоро раскаяться— раскаяться и по тяжелымъ внутреннимъ ощущеніямъ, вызваннымъ въ немъ этимъ поступкомъ, и въ виду непрактичности его. Что касается до первыхъ, то онъ, конечно, былъ вполнѣ искрененъ, когда писалъ, что въ душѣ его «вновь возгорѣлась междуусобная война, всѣ чувства возмущены—за меня, противъ меня, противъ всего свѣта...» А въ непрактичности своего поступка — по крайней мѣрѣ, покамѣстъ, — начиналъ онъ убѣждаться уже теперь, судя по такимъ, напримѣръ, словамъ въ одномъ изъ его писемъ: «Не глупо ли? Едва я выкрестился, меня ругаютъ, какъ еврея... Я ненавидимъ теперь одинаково евреями и христіанами. Очень раскаиваюсь, что выкрестился: мнѣ отъ этого не только не стало лучше жить, но напротивъ того, съ тѣхъ поръ нѣтъ у меня ничего, кромѣ непріятностей и несчастія». И это убѣжденіе въ томъ, что и съ практической стороны онъ ошибся, еще болѣе раздражало его.

IV.

Черезъ мѣсяцъ по окончаніи курса мы находимъ Гейне въ Нордернеѣ, куда онъ, благодаря поддержкѣ дяди, поѣхалъ для укрѣпленія здоровья, и если мы упоминаемъ объ этой поѣздкѣ, нисколько не важной въ фактическомъ отношеніи, то потому, что она еще болѣе сблизила поэта съ моремъ и дала ему новый матеріалъ для поэтическаго творчества. Здѣсь волны, «журча, разсказывали поэту много чудныхъ повѣстей, лепетали много словъ, съ которыми связаны дорогія воспоминанія, много именъ, отзывающихся сладостнымъ предчувствіемъ въ сердцѣ»; здѣсь слышалъ онъ разныя морскія преданья и легенды, которыми потомъ чудесно воспользовался въ своихъ стихахъ; отсюда писалъ онъ такія, напримѣръ, строки: «часто мнѣ думается, что море—сама душа моя; и какъ въ морѣ есть скрытыя водяныя растенія, которыя лишь въ минуту расцвѣтанья всплываютъ на его поверхность и въ минуту отцвѣтанья опять погружаются на

дно, такъ порой и изъ глубины души моей всплываютъ чудные цвѣты, и благоухаютъ, и блещутъ, и снова исчезаютъ»; тутъ создавались и восторженные гимны морю, и необычайно-сильныя картины бури, и пѣсни любви, въ которыхъ говорилъ поэтъ о сходствѣ между его сердцемъ и этимъ необъятнымъ моремъ съ раскинувшимся надъ нимъ необъятнымъ небомъ, и звуки міровой скорби юноши, который, стоя на пустынномъ берегу, съ тревогой въ груди, съ сомнѣньемъ въ голосѣ, мрачно говоритъ волнамъ: «О, разрѣшите мнѣ, волны, загадку жизни— древнюю, полную муки загадку!.....» И многое еще, или находившееся въ непосредственной связи съ окружавшею поэта природою, или выражавшее другія впечатлѣнія, другія чувства, другія мысли — только все на фонѣ этого моря, этого неба, этой грандіозной пустыни...

Пребываніе поэта въ такой обстановкѣ было, однако, недолговременное; она очень скоро смѣнилась ненавистнымъ для него Гамбургомъ. Сюда поѣхалъ онъ, чтобы вступить на «практическую» житейскую дорогу, которая все продолжала ему казаться необходимою для его существованія, здѣсь проводилъ онъ день за днемъ, мѣсяцъ за мѣсяцемъ; несмотря на ненавистную ему гамбургскую обстановку вообще и на непріятности, которыя, судя по крайней мѣрѣ по его же письмамъ, окружали его лично со всѣхъ сторонъ и состояли все въ томъ же «проклятомъ» денежномъ вопросѣ. Благодаря этому-то послѣднему, онъ и сидѣлъ въ гамбургской грязи — вслѣдствіе чего мы относимся довольно холодно къ тѣмъ жалобамъ и іеремiадамъ, которыми наполнены относящіяся именно къ этому времени письма его: нельзя намъ скорбѣть, когда такой человѣкъ, какъ Гейне, въ самомъ расцвѣтѣ своего таланта, переноситъ разныя униженія, играетъ плачевную роль нуждающагося просителя, несмотря на выказываемую гордость, сердится и стонетъ — вмѣсто того, чтобы съ дѣйствительною гордостью, ...ствительнымъ, а не словеснымъ только и письменнымъ пре-...вніемъ кинуть все это и уйти, и жить хоть кое-какъ, хоть ...уждѣ, но собственными ресурсами, ресурсами своего ума, ...о геніальнаго таланта, своихъ знаній. Если скорбимъ мы

въ этомъ случаѣ, то отъ другой причины: оттого, что здѣсь предъ нами примѣръ, далеко не первый и далеко не послѣдній— присутствія странныхъ, непостижимо мелочныхъ и печальныхъ чертъ на ряду съ самыми высокими проявленіями человѣческаго духа. Непріятности, о которыхъ идетъ рѣчь, состояли въ противодѣйствіяхъ, оказывавшихся враждебными ему по разнымъ причинамъ людьми, его стараніямъ добыть себѣ возможно большее обезпеченіе со стороны богатаго дяди — что̀ и составляло главную цѣль его пребыванія въ Гамбургѣ. Если вѣрить его собственнымъ показаніямъ, эти люди, между которыми были и близкіе его родственники, всячески клеветали на него теперь, какъ и прежде, предъ старымъ милліонеромъ, выставляли его въ глазахъ Соломона не только лѣнтяемъ, но и пьяницей, игрокомъ, развратникомъ, для чего, впрочемъ, они находили себѣ основаніе въ тѣхъ далеко не нравственныхъ наслажденіяхъ, которымъ не переставалъ предаваться чувственный поэтъ. И, повидимому, наущенія ихъ не отталкивались съ презрѣніемъ и недовѣріемъ, а напротивъ того: «въ домѣ моего дяди, — писалъ Гейне,—самые заклятые враги моей славы пользовались всегда радушнымъ пріемомъ; тутъ искони господствовала aria cattiva, отравлявшая мое доброе имя, и всякую тварь, которая грызла это имя, встрѣчали здѣсь какъ нельзя болѣе ласково»...

Какъ всегда, однако, Гейне искупалъ, стушевывалъ болѣе или менѣе неблаговидныя, мелочныя стороны въ своемъ личномъ характерѣ и образѣ дѣйствій тоже болѣе или менѣе великими— поэтическими подвигами. Такъ было и теперь. Въ томъ самомъ 1826 г., когда мы видимъ его въ такомъ странномъ и незавидномъ свѣтѣ въ Гамбургѣ, выпускаетъ онъ первый томъ своихъ «Путевыхъ Картинъ», заключавшій въ себѣ «Путешествіе на Гарцъ», циклъ стихотвореній «Возвращеніе на родину» (Die Heimkehr), первую часть цикла «Сѣверное Море» и нѣсколько отдѣльныхъ стихотвореній. Почти все это уже появлялось въ журналахъ, но теперь многое вышло совсѣмъ въ переработанномъ видѣ. Невеликъ былъ гонораръ, полученный авторомъ отъ издателя Кампе—издателя еще самаго образованнаго и щедраго въ ту пору: всего 50 луидоровъ за первое и всѣ послѣдующія

изданія! Но тѣмъ сильнѣе было дѣйствіе, произведенное на читателя новою книгою, особенно «Путешествіемъ на Гарцъ». Такой высокой поэзіи въ формѣ прозы, такого блестящаго и оригинальнаго стиля, такого соединенія вдохновенной лирики, вызывающаго неудержимый смѣхъ юмора, безпощадной сатиры на лица и вещи, сатиры, сила которой увеличивалась истинно необычайнымъ остроуміемъ, такого слитія во едино ума и сердца, фантазіи и реализма въ самомъ буквальномъ значеніи этого слова, жизнерадостнаго чувства и міровой скорби — всего этого еще никогда не видѣла нѣмецкая читающая публика, да не только она—скажемъ смѣло—но и вообще европейская. А на ряду съ этими страницами стояли чудныя картины «Сѣвернаго Моря», байронически-гейневскіе звуки такихъ стихотвореній, какъ «Сумерки Боговъ», или «Ратклиффъ», сокровища чистѣйшей лирики въ циклѣ «Возвращеніе на родину»... И если самые серьезные критики-эстетики, находя, правда, въ многихъ изъ этихъ произведеній рѣзкое нарушеніе чисто эстетическихъ законовъ, тоже невольно поддавались обаянію этой поэтической оригинальности и новизны, то какое же дѣйствіе должна была производить эта книга на массу читателей, особенно на молодое поколѣніе? Независимо отъ достоинствъ чисто поэтическихъ, пульсъ современной жизни, пульсъ девятнадцатаго вѣка такъ сильно бился въ каждомъ словѣ молодого поэта, что нисколько не удивительно, если онъ сразу сдѣлался знаменосцемъ и герольдомъ новаго поколѣнія и если будущая «Молодая Германія» уже теперь начинала примыкать къ нему. Но именно поэтому, въ соединеніи съ личною и общественною сатирою «Путевыхъ Картинъ», книга заставила забить тревогу въ противоположномъ лагерѣ. Прежде всѣхъ откликнулся жестоко заклейменный здѣсь, снискавшій этимъ себѣ безсмертіе Геттингенъ: «Путевыя Картины» были запрещены въ немъ, за нимъ послѣдовали и многіе другорода Германіи, ибо сатира задѣвала далеко не однихъ гетенцевъ. Не было недостатка и въ частныхъ преслѣдованіяхъ нападеніяхъ, со стороны какъ литературныхъ завистниковъ ограниченно близорукихъ критиковъ, такъ и людей, кото- знавали себя—основательно или неосновательно — въ нѣ-

которыхъ личностяхъ, выведенныхъ авторомъ. При подозрительности, которою всегда страдалъ Гейне, благодаря своей всегда раздраженной, всегда впечатлительной фантазіи; при его уже теперь значительной, а потомъ принявшей сильные размѣры, склонности видѣть всюду тамъ, гдѣ ихъ не было, враговъ, тайныя козни преслѣдователей, и т. п. — при всѣхъ этихъ условіяхъ неудивительно, что все мало-мальски враждебное въ настоящемъ случаѣ, т. е. послѣ появленія его книги, дѣйствовало на него раздражающимъ, волнующимъ, даже пугающимъ образомъ. Уже извѣстное намъ свойство его — обращать узко личныя и часто мелкія невзгоды въ поводы къ взрыву тяжелыхъ чувствъ и ощущеній болѣе глубокаго свойства,—было причиною того, что и въ настоящемъ случаѣ онъ опять пришелъ къ рѣшенію оставить отечество, стараясь увѣрить себя и другихъ, что въ этомъ рѣшеніи играли главную роль «не только страсть къ блужданію по свѣту, сколько мучительныя личныя обстоятельства, напримѣръ ничѣмъ, не смываемое еврейство»... Ѣхать онъ хотѣлъ и теперь туда, куда постоянно тянуло его, т. е. въ Парижъ, причемъ цѣлью его было, по крайней мѣрѣ въ настоящую минуту, «въ Парижѣ ходить въ библіотеки, видѣть свѣтъ и людей и собирать матеріалы для книги, которая будетъ европейской книгой». Правда, что это не мѣшало ему почти въ то же время продолжать искать службы въ томъ же «нѣмецкомъ отечествѣ», хотя, какъ смягчающее обстоятельство, надо принять во вниманіе то, что добивался онъ профессуры въ берлинскомъ университетѣ и даже надѣялся на осуществленіе своихъ хлопотъ въ то же самое время, какъ совершалъ новый литературный «подвигъ»—и притомъ такой, который закрывалъ для него, еще больше, чѣмъ прежде, всякіе служебные пути. Мы говоримъ о второмъ томѣ «Путевыхъ Картинъ», цѣль изданія котораго авторъ такъ объяснялъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ Варнгагену: «Въ это вялое, рабское время надо было чему-нибудь совершиться. Я съ своей стороны сдѣлалъ свое—и стыжу тѣхъ жестокосердечныхъ друзей моихъ, которые хотѣли сдѣлать такъ много и теперь молчатъ. Когда войско въ полномъ сборѣ, тогда и самые трусливые рекруты очень бодры и храбры; но

истинную отвагу обнаруживаетъ тотъ, кто стоитъ на полѣ битвы одинъ». А въ предисловіи къ французскому переводу «Путевыхъ Картинъ», уже въ 1834 г., находимъ такія объяснительныя строки: «Эта книга, за исключеніемъ нѣсколькихъ страницъ, написана до іюльской революціи. Въ то время политическій гнетъ сковалъ всю Германію безмолвіемъ; умы впали въ летаргію отъ отчаянія, и если кто отваживался тогда говорить, то долженъ былъ выражаться тѣмъ страстнѣе, чѣмъ сильнѣе онъ отчаявался въ побѣдѣ свободы и чѣмъ озлобленнѣе выступала противъ него враждебная партія»... Второй томъ заключалъ въ себѣ остальныя части цикла «Сѣверное Море» и «Книгу Ле-Гранъ»; и имѣя главнымъ образомъ въ виду эту послѣднюю, авторъ уже до появленія ея заявлялъ, что въ ней высказывались великіе міровые интересы. «Ты увидишь, — писалъ онъ другу,—le petit homme vit encore. Наполеонъ и французская революція стоятъ тамъ во весь ростъ»... Этими словами дѣйствительно почти исчерпывалось политическое содержаніе и значеніе «Книги Ле-Гранъ», находя себѣ неподражаемое въ поэтическомъ отношеніи дополненіе въ остальныхъ ея страницахъ.

Этотъ второй томъ «Путевыхъ Картинъ»—какъ проза, такъ и стихи—произвелъ на читающую публику и на критику еще болѣе сильное дѣйствіе, чѣмъ первый, и, само собой разумѣется, въ двухъ видахъ: между тѣмъ какъ одни прославляли «необыкновенную смѣлость, даже геройскую отвагу», которую проявилъ здѣсь авторъ, выступившій противъ испорченнаго дворянства, клерикаловъ и общаго лицемѣрія этой эпохи, другіе или изливали свое негодованіе по поводу попиранія авторомъ всѣхъ традиціонныхъ законовъ эстетики, или обвиняли его въ отсутствіи патріотизма и національнаго чувства, сказавшемся какъ въ сатирѣ на нѣмцевъ, такъ и въ возвеличеніи Наполеона (истинный смыслъ чего ускользалъ отъ этихъ близорукихъ людей) и фран-
кой революціи.

вно уже, при мертвенности и затхлости современной нѣ-
ой литературы, книга не вызывала такого волненія во
лагеряхъ. «Много, много шуму производитъ ваша книга,—
Варнгагенъ къ Гейне, — но читатели въ недоумѣніи и

колебаніи: они не знаютъ, не слѣдуетъ ли имъ держать ощущаемое ими удовольствіе втайнѣ, а гласно отрицать его; даже друзья ваши страшно-добродѣтельно притворяются жаждущими порядка и миролюбивыми учеными и гражданами; однимъ словомъ, страха ради рабскаго все предается порицанію». Этотъ «рабскій страхъ» былъ вызванъ положеніемъ, которое приняло нѣмецкое правительство относительно второго тома «Путевыхъ Картинъ»: теперь дѣло не ограничилось уже Геттингеномъ и нѣсколькими другими нѣмецкими городами: книга подвергнулась запрещенію въ Гановерѣ, Пруссіи, Австріи, Мекленбургѣ и большинствѣ мелкихъ государствъ; да и самая личность поэта была, повидимому, признана въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ не безопасною для государственнаго порядка (!).

Въ виду такого необычайнаго дѣйствія книги, Гейне, какъ по убѣжденію, такъ и по тщеславному славолюбію, т. е. по тѣмъ стимуламъ, которые были одинаково сильны въ немъ, почувствовалъ себя призваннымъ къ роли не поэта, для котораго дороги также и интересы чистаго искусства, а писателя политическаго. «Этимъ сочиненіемъ—писалъ онъ другу,—я пріобрѣлъ себѣ въ Германіи множество приверженцевъ и громадную популярность; если буду здоровъ, то могу теперь сдѣлать много; у меня теперь далеко разносящійся голосъ. Ты еще часто услышишь его гремящимъ противъ палачей мысли и попирателей священнѣйшихъ правъ. Я получу совершенно экстраординарную профессуру въ университетѣ высокихъ умовъ»..

Но въ то же время личная безопасность благоразумно требовала принятія мѣръ предосторожности, и поэтому Гейне, тотчасъ по выпускѣ второго тома, поѣхалъ на время въ Лондонъ, чтобы тамъ выждать, какіе фактическіе результаты повлечетъ за собою это изданіе. «Не боязнь заставила меня уѣхать,—писалъ онъ,—а просто законъ благоразумія, совѣтующій каждому ничѣмъ не рисковать тамъ, гдѣ нельзя ничего выиграть». Но въ Англію влекло его еще другое существенное обстоятельство, ему хотѣлось лично ознакомиться съ государственною жизнью, имѣющею вполнѣ парламентскій характеръ, съ свободными, въ полномъ смыслѣ этого слова, политическими учрежденіями, съ

такими великими на этомъ поприщѣ дѣятелями, какъ Георгъ Каннингъ, со всѣмъ тѣмъ, однимъ словомъ, чего не находилъ онъ въ Германіи. И если, какъ видно изъ его «Отрывковъ объ Англіи», Англія вселяла ему отвращеніе, какъ поэту, то вызывала его глубокое, иногда даже восторженное сочувствіе въ другомъ, политическомъ и соціальномъ отношеніи.

Изъ Англіи, послѣ кратковременнаго пребыванія въ Нордернеѣ, поэтъ вернулся опять въ Гамбургъ. Тутъ онъ выпустилъ въ свѣтъ полное собраніе написанныхъ имъ до тѣхъ поръ и въ значительномъ числѣ уже бывшихъ въ печати стихотвореній подъ общимъ заглавіемъ «Книга Пѣсенъ», и за это изданіе, въ количествѣ десяти тысячъ экземпляровъ, да сверхъ того еще съ уступкой права на всѣ послѣдующія, авторъ имѣлъ удовольствіе получить всего пятьдесятъ луидоровъ!.. При такихъ денежныхъ ресурсахъ, къ которымъ, правда, присоединялись и скудныя субсидіи дяди, естественно, что нашъ поэтъ принялъ сдѣланное ему извѣстнымъ издателемъ, барономъ Котта, предложеніе переѣхать въ Мюнхенъ и тамъ принять на себя редактированіе газеты «Politische Annalen», т. е. дѣло, для котораго онъ пригоденъ былъ менѣе, чѣмъ для чего-либо. Кромѣ чисто денежныхъ соображеній, въ согласіи поэта и въ настоящемъ случаѣ играло роль еще одно обстоятельство такого же матеріальнаго свойства—именно, продолжавшееся несуществленіе все еще налетавшаго отъ времени до времени желанія поступить на прусскую государственную службу; но къ этому присоединилась причина и болѣе, такъ сказать, внутренняя: перспектива увидѣть себя въ той роли либеральнаго публициста, народнаго трибуна, герольда общественнаго мнѣнія, въ которую онъ уже отчасти вошелъ, благодаря нѣсколькимъ страницамъ «Книги Ле-Гранъ», и блистательный успѣхъ которой побуждалъ его смѣнить сю роль поэта-художника. Въ октябрѣ 1827 г. отправился чъ въ Мюнхенъ, и за все полугодовое время своего редактор-ва и одновременнаго съ этимъ участія въ двухъ другихъ пе-ческихъ изданіяхъ того же Котты, написалъ здѣсь только «Отрывковъ объ Англіи», одну критическую статью и атральную рецензію, причемъ тутъ же сказалась це-

пригодность его для такого дѣла, какъ редактированіе политической газеты—непригодность, въ которой сознавался и самъ Гейне въ это время, ссылаясь на отсутствіе у него политическихъ познаній, на свою стилистическую манеру, не соотвѣтствующую требованіямъ чисто политической газетной статьи и т. п. Слѣдовало ему сослаться и на причину болѣе существенную: шаткость его политическихъ взглядовъ, и на свою крайнюю субъективность, въ настоящемъ случаѣ совсѣмъ неумѣстную; наконецъ, не мѣшало бы ему сознаться и въ томъ нелестномъ для него обстоятельствѣ, что въ то самое время, когда онъ, опредѣляя *направленіе* своей газеты, писалъ Варнгагену: «я еще молодъ, у меня нѣтъ еще голодающихъ жены и дѣтей, поэтому я еще буду говорить свободно»—въ то же самое время онъ не переставалъ заботиться и хлопотать о полученіи мѣста въ государственной службѣ, хорошо зная, что ужъ тогда говорить «свободно», т. е. свободно по-гейневски, будетъ немыслимо. Правда, что предметомъ этихъ искательствъ была попрежнему университетская кафедра, но это «смягчающее обстоятельство» уничтожалось страннымъ и даже неблаговиднымъ образомъ дѣйствій: потерявъ надежду на полученіе должности въ Пруссіи, онъ направилъ свои искательства въ сторону баварскаго правительства, повелъ газету въ умѣренномъ тонѣ, сталъ избѣгать почти всѣхъ мало-мальски важныхъ и щекотливыхъ вопросовъ внутренней политики и просилъ барона Котту, когда тотъ увидится съ баварскимъ королемъ, «обратить вниманіе его величества на то, что авторъ «Путевыхъ Картинъ» сдѣлался теперь гораздо кротче, лучше и, можетъ-быть, даже совсѣмъ иной, чѣмъ въ своихъ прежнихъ произведеніяхъ». «Я надѣюсь, — говоритъ онъ въ томъ же письмѣ,—что король достаточно мудръ для того, чтобы судить о клинкѣ меча по его остротѣ въ данную минуту, а не по тому хорошему или дурному употребленію, которое дѣлали изъ него въ прошедшее время»...

Когда читаешь такія вещи и вспоминаешь, что всего за годъ до этого тотъ же самый Гейне выпустилъ въ свѣтъ второй томъ своихъ «Путевыхъ Картинъ» и уже носилъ въ головѣ *многое изъ того, что должно* было скоро составить содержаніе

третьяго тома, гораздо болѣе «зажигательнаго», чѣмъ предыдущій—когда стоишь въ виду такихъ непостижимо противорѣчивыхъ обстоятельствъ, то, кромѣ многихъ другихъ вопросовъ, задаешь себѣ и такой: не происходило ли все это, какъ у Байрона, просто отъ желанія мистифицировать, дурачить людей вслѣдствіе презрѣнія къ нимъ, или не игралъ ли Гейне въ этихъ случаяхъ комедію, чтобы, притворившись раскаявшимся и до извѣстной степени благонамѣреннымъ, добиться, наконецъ, этимъ путемъ доступа въ университетъ, а ужъ тамъ, съ каѳедры начать бы говорить то, что считалъ онъ своимъ долгомъ пропагандировать въ публикѣ. Но во-первыхъ, печатное слово доставляло ему аудиторію гораздо многочисленнѣе той, которую онъ нашелъ бы, взойдя на университетскую каѳедру; и во-вторыхъ, не могъ же онъ не понимать, что всякое нѣмецкое правительство видѣло его насквозь и не поддалось бы на его удочку, а если бы и поддалось, то очень скоро удостовѣрилось бы въ своей ошибкѣ и поспѣшило бы освободиться отъ неудобнаго профессора. И вотъ въ виду такихъ возраженій самому себѣ, въ виду также и трудности приписать эти служебныя искательства впечатлѣнію минуты, временному капризу, такъ какъ они обратились уже въ нѣчто постоянное, послѣдовательное, въ виду всего вышеизложеннаго приходится объяснять эти, не въ пользу Гейне, какъ человѣка, говорящія обстоятельства, или непостижимымъ совмѣщеніемъ въ его натурѣ самыхъ вопіющихъ противорѣчій и противоположностей, или просто обыкновеннымъ, свойственнымъ всякому ординарному смертному желаніемъ получше и посолиднѣе устроить свое житейское положеніе. Хочется остановиться на первомъ объясненіи; оно, правда, построено болѣе на теоретическомъ основаніи, но за то въ опору его являются многія вѣскія обстоятельства.

Дѣятельность Гейне на поприщѣ политической публицистики [illegible]жалась на этотъ разъ очень недолго, какъ мы уже упо[illegible], всего полгода; но что публицистическая дѣятельность [illegible]лялась ему и теперь весьма важною и необходимою для [illegible], это видно изъ слѣдующихъ словъ его письма къ [illegible]да, *скоро послѣ* отъѣзда своего изъ Мюнхена, онъ

услышалъ, что баронъ Котта задумалъ новое періодическое изданіе на широкихъ основаніяхъ: «Мое единственное желаніе,— говоритъ онъ,—заключается только въ томъ, чтобы существовала газета для либеральнаго образа мыслей, который въ Германіи имѣетъ мало пригодныхъ органовъ... Настоящее время—время идейной борьбы, и газеты—наши крѣпости. Я обыкновенно лѣнивъ и безпеченъ, но гдѣ, какъ въ настоящемъ случаѣ, дѣло касается содѣйствія общимъ интересамъ, тамъ никогда не найдутъ меня отсутствующимъ»...

Редактированіе «Politische Annalen», которое не прибавило ровно ничего ни къ славѣ, ни къ ущербу Гейне, онъ оставилъ одновременно съ прекращеніемъ этой газеты, и такъ какъ, само собой разумѣется, изъ его хлопотъ о поступленіи на баварскую службу ничего не вышло, то почти немедленно послѣ того онъ отправился въ составлявшее давнишній предметъ его желаній путешествіе по Италіи, посѣтилъ Верону, Бресшію, Миланъ, Ливорно, Лукку и Венецію, всюду конечно наслаждался памятниками искусства, наблюдалъ печальное существованіе бѣдной Италіи, стонавшей въ то время подъ чужеземнымъ игомъ, и въ то же самое время усердно занимался—прекрасными итальянками. Но отъ чувственныхъ и духовныхъ наслажденій, отъ наблюденій надъ политическою и общественною жизнью Италіи оторвало Гейне семейное событіе—смерть отца его. Получивъ въ Италіи извѣстіе о тяжелой болѣзни старика, онъ поспѣшилъ въ Гамбургъ, но не засталъ уже его въ живыхъ; здѣсь пробылъ онъ короткое время съ грустившею и находившеюся также матеріально въ плачевномъ положеніи матерью, оплакивая вмѣстѣ съ нею потерю дорогого для нихъ человѣка, а затѣмъ, сильно разстроенный, раздраженный, озлобленный, какъ это бывало съ нимъ даже при малѣйшей непріятности, пріѣхалъ въ Берлинъ. Скоро послѣ того вышелъ въ свѣтъ третій томъ «Путевыхъ Картинъ», заключавшій въ себѣ «Путешествіе отъ Мюнхена до Генуи» и «Луккскія Воды». Уже въ Италіи работалъ онъ надъ этимъ сочиненіемъ и, сообщая изъ Лукки Мозеру о предстоящемъ появленіи его въ печати, писалъ: «Въ Мюнхенѣ думаютъ, что я не буду уже больше выступать противъ

дворянства, потому что живу здѣсь въ фойе знати и люблю прелестнѣйшихъ аристократокъ, равно какъ и любимъ ими. Но они ошибаются. Моя любовь къ человѣческому равенству, моя ненависть къ клерикализму никогда не была сильнѣе, чѣмъ въ настоящее время, и чрезъ это я становлюсь почти одностороннимъ. Но вѣдь именно когда человѣкъ хочетъ дѣйствовать, онъ долженъ быть одностороненъ»...

Насколько оправдались эти слова въ третьемъ томѣ «Путевыхъ Картинъ», доказывается тѣмъ обстоятельствомъ, что книга, немедленно послѣ появленія ея, была запрещена въ Пруссіи, и авторъ считалъ свою собственную личность въ такой мѣрѣ не безопасною, что не рѣшился оставаться въ Берлинѣ, а на время уѣхалъ въ Гамбургъ. Сатира политическая въ этомъ сочиненіи опять, какъ и прежде, появилась, отчасти по цензурнымъ соображеніямъ, отчасти по общей манерѣ Гейне, на фонѣ или въ рамкѣ юмористическихъ и сатирическихъ изображеній чисто частнаго характера, причемъ несравненное остроуміе поэта представилось въ новомъ блескѣ при созданіи такихъ, напримѣръ, безсмертныхъ типовъ, какъ маркизъ Гумпелино и его слуга Гіацинтъ. Но и здѣсь читатели встрѣтились и съ новою особенностью автора «Путевыхъ Картинъ», не особенно рекомендующею его съ хорошей стороны, именно, переходившею всякія границы мстительностью въ тѣхъ случаяхъ, когда его лично слишкомъ сильно задѣвали за живое; мы говоримъ о его выходкѣ противъ гр. Платена, выходкѣ гдѣ литературное нападеніе обратилось въ настоящій пасквиль, утративъ, понятно, вслѣдствіе этого значительную часть своего дѣйствія въ глазахъ серьезныхъ и порядочныхъ людей.

Выше сказано, что боязнь за личную безопасность не позволяла автору третьяго тома «Путевыхъ Картинъ» оставаться въ Берлинѣ, и что онъ поэтому на время поселился въ Гамбургѣ, гдѣ жила и овдовѣвшая мать его. Для поправленія здоровья, приходившаго въ удовлетворительное состояніе, ѣздилъ ять на Гельголандъ, тамъ отдыхалъ и физически и нрав- на берегу своего милаго моря и писалъ отсюда: «Море ая мнѣ стихія, и уже одинъ видъ его производитъ на

меня цѣлительное дѣйствіе... Я желалъ бы, чтобъ ты видѣлъ море; быть-можетъ, тогда тебѣ стало бы понятно то сладострастное, упоительное чувство, которое порождаетъ во мнѣ всякая волна. Я рыба съ горячею кровью и говорливымъ ртомъ; на сушѣ я себя чувствую, какъ рыба на сушѣ»...

Пребываніе его въ Гельголандѣ совпало со взрывомъ іюльской революціи 1830 г. въ Парижѣ. Полученное имъ здѣсь извѣстіе объ этомъ событіи подѣйствовало на него также сильно и обаятельно, какъ на всѣхъ единомышленниковъ его и въ Германіи, и въ другихъ странахъ Европы. Оно представилось ему среди «царствовавшаго всюду глухого спокойствія», «пронзившею небо молніею съ громовыми раскатами и такимъ страшнымъ трескомъ, какъ будто наступалъ конецъ свѣта»,—и его письма съ Гельголанда (напечатанныя отчасти въ «Книгѣ о Берне», отчасти въ собраніи его писемъ) суть ничто иное, какъ восторженные лирическіе гимны «сына революціи», какимъ онъ называлъ здѣсь себя, требуя «цвѣтовъ! цвѣтовъ!» чтобы увѣнчать ими голову, и «лиру, чтобы запѣть боевую пѣснь!». Возвращеніе въ Гамбургъ и столкновеніе съ современною нѣмецкою дѣйствительностью, съ такими явленіями, напримѣръ, какъ совершившійся въ это время въ Гамбургѣ еврейскій «погромъ» отрезвили поэта, но тѣмъ сильнѣе раздражили сатирика-публициста, и въ этомъ настроеніи онъ выпустилъ въ свѣтъ свою новую книгу «Дополненія къ Путевымъ Картинамъ» (Nachträge zu den Reisebildern), часть которой была написана уже нѣсколько раньше. Здѣсь развивались тѣ же идеи, что̀ и въ прежнихъ сочиненіяхъ,—только теперь, по справедливому замѣчанью Штродтмана, «тонъ книги показалъ, что, подобно самой этой эпохѣ, Гейне, стремившійся понять ея жизнь въ самомъ глубокомъ значеніи, сдѣлался, благодаря іюльской революціи, серьезнѣе и сталъ внимательнѣе заниматься великими современными вопросами, которыхъ онъ въ прежнихъ своихъ сочиненіяхъ большею частью касался только поверхностно и со смѣлымъ любопытствомъ». Почти къ тому же времени относится очень рѣзкая и энергическая брошюра его «Кальдорфъ о дворянствѣ», и такимъ образомъ политическій интересъ все болѣе и болѣе вторгался въ

творчество поэта, отодвигая на задній планъ собственно поэтическую производительность, а одно время и почти совсѣмъ прекративши ее. Но что чисто поэтическій родникъ далеко не изсякъ въ сердцѣ Гейне, что въ немъ оставались живы во всей ихъ неприкосновенности тѣ самыя струны, съ которыхъ слетали звуки «Лирическаго Интермеццо»—это ясно доказалъ напечатанный въ 1830 г. сборникъ прелестныхъ стихотвореній подъ заглавіемъ «Новая Весна» (Neuer Frühling), гдѣ любовь, теплая вѣра, глубокая задушевность, тихій юморъ съ проблесками тутъ и тамъ міровой скорби снова нашли себѣ въ нашемъ поэтѣ геніальнаго выразителя. Но за этими стихотвореніями должно было послѣдовать долгое молчаніе Гейне, какъ поэта вообще, и совершенное исчезновеніе его съ поприща такой именно поэзіи, какая явилась передъ читателемъ въ «Новой Веснѣ». Эти стихи очень хорошо сравнилъ одинъ критикъ съ послѣднимъ нѣжнымъ прощаньемъ поэта съ музою его юности, въ испугѣ убѣгавшею отъ боевого шума современной жизни, убѣгавшею теперь, когда періодъ чистаго искусства отживалъ свое время, революція вступала въ умы и сердца писателей новой эпохи, и какъ эти писатели, такъ и ихъ публика стали питать отвращеніе къ строго замкнутой художественной формѣ стихотворной рѣчи... Политическое и соціальное дѣло въ Германіи продолжало, однако, совершенно вопреки надеждамъ, возбужденнымъ іюльскою революціею, находиться въ такомъ положеніи, что могло только увеличивать мизантропію, раздраженіе Гейне; и это тѣмъ болѣе, что личныя невзгоды, лишенія, непріятности и т. п. оставались съ нимъ неразлучны, все по тѣмъ же, извѣстнымъ намъ причинамъ. Постепенно усиливалось въ немъ давнишнее желаніе оставить отечество и переселиться въ Парижъ, это средоточіе свободы въ то время, какъ онъ называлъ его; непріязнь къ нѣмецкимъ порядкамъ, судя по его письмъ, усиливалась въ немъ съ каждымъ днемъ. «Противъ Пруссіи,— лъ онъ въ это время,—я тоже очень озлобленъ вслѣдствіе цствующей всюду лжи, столица которой Берлинъ. Тамошніе альные Тартюфы мнѣ отвратительны. Много негодованія во мнѣ»... Но тутъ опять предъ нами фактъ, сбивающій

съ толку и того, кто бесусловно вѣритъ всѣмъ объясненіямъ поэта, фактъ именно тотъ, что почти въ это же самое время, и немедленно послѣ выпуска такой радикальной брошюры, какъ «Кальдорфъ о дворянствѣ», авторъ ея, этотъ человѣкъ, проклинавшій и Пруссію, и всѣ нѣмецкія государства, усердно добивался полученія въ Гамбургѣ должности—синдика думы! Мы готовы были бы принять это просто за остроумную выходку въ гейневскомъ духѣ, чтобы помистифицировать ненавистныхъ его сердцу гамбургцевъ и потомъ посмѣяться надъ ними, если бы не имѣли вѣскаго тому опроверженія въ письмѣ поэта къ такому серьезному и уважаемому имъ человѣку, какъ Варнгагенъ, письмѣ, гдѣ Гейне проситъ своего друга и покровителя напечатать въ газетахъ статью въ пользу автора «Путевыхъ Картинъ», какъ будущаго думскаго синдика, статью такую, которая «вызвала бы впечатлѣніе, что избраніе Гейне въ эту должность было бы дѣло цѣлесообразное, важное и для публики пріятное». Но больше важности для біографіи представляетъ заявленіе въ другомъ письмѣ, тоже къ Варнгагену, гдѣ поэтъ писалъ: «Я стремлюсь во что бы то ни стало добыть себѣ прочное положеніе (т. е. служебное); не имѣя его, я вѣдь не могу ничего дѣлать. Если не удастся мнѣ это въ непродолжительномъ времени въ Германіи, то я отправлюсь въ Парижъ, гдѣ, къ сожалѣнію, пришлось бы мнѣ играть такую роль, при которой всѣ мои художническіе ресурсы погибли бы, и гдѣ былъ бы санкціонированъ мой разрывъ съ туземными властителями»...

Какъ ни влекло Гейне въ Парижъ, ѣхалъ онъ туда все-таки съ печальнымъ сердцемъ, предчувствуя, что ему не вернуться на родину, въ Германію. А именно разлука съ нею и была главною причиною его грусти, къ которой присоединилась также скорбь о разлукѣ съ матерью, любимою сестрою и отчасти братьями. Да, какъ это бываетъ со всѣми тѣми, которыхъ близорукіе люди и глупые шовинисты упрекаютъ въ отсутствіи любви къ отечеству только потому, что они гласно клеймятъ всѣ отечественныя язвы,—Гейне, такъ безпощадно обрушивав-
Германію своей сатирой, вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко
и именно въ этой любви заключался источникъ его

озлобленія. И съ такими разнообразными чувствами двинулся онъ въ путь послѣ того, какъ изъ его хлопотъ о думскомъ синдикатѣ и вообще о поступленіи на службу, само собою разумѣется, ничего не вышло. Средства для этого переселенія во Францію были даны дядею Соломономъ, но даны послѣ долгаго сопротивленія и, какъ думаетъ одинъ біографъ, только потому, что банкира безпокоило враждебное отношеніе къ его племяннику нѣмецкихъ правительствъ, которое, пожалуй, могло и его самого вовлечь въ разныя непріятности; не лишено справедливости замѣчаніе другого біографа по поводу этой денежной и вынужденной поддержки со стороны богатаго дяди: «Поэтъ не могъ не быть благодарнымъ гамбургскому милліонеру за тѣ средства, которыя открыли ему дорогу отъ комиссіонерской конторы къ боннскому и геттингенскому университетамъ. Но если юношѣ нисколько не позорно зависѣть отъ чужой поддержки, то для взрослаго человѣка она рѣдко можетъ оставаться безъ ущерба для него. Уже по этой причинѣ надо смотрѣть на переселеніе Гейне въ Парижъ, какъ на несчастіе, ибо оно навсегда отняло у него возможность стоять на собственныхъ ногахъ». Почему и какъ—увидимъ ниже.

V.

Въ Парижъ Гейне пріѣхалъ въ маѣ 1831 г. Первыя впечатлѣнія Парижа были таковы, что ими естественно изглаживались всякія тяжелыя чувства, всякія грустныя воспоминанія и соображенія. Веселость и живость населенія, обходительность мужчинъ, грація женщинъ, все это обаятельно дѣйствуетъ на нѣмецкаго поэта; онъ находитъ, что «этотъ парижскій воздухъ исцѣляетъ всякія раны быстрѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было», что въ высшей степени благотворно вліяетъ этотъ «сладостный ананасный ароматъ вѣжливости» на его душу, больную душу, ...рая въ Германіи глотала столько табачнаго дыма, запаха ... капусты и грубости»; первые мѣсяцы его пребыванія ...ижѣ мы видимъ его усердно посѣщающимъ театры, ...тельныя заведенія, женщинъ полусвѣта, и какое удоволь... ...авлялъ ему этотъ образъ жизни, видно между прочимъ

изъ словъ одного его письма: «Если кто-нибудь спроситъ васъ, какъ мнѣ здѣсь живется, скажите, какъ рыбѣ въ водѣ, или, вѣрнѣе, скажите, что когда въ морѣ одна рыба спрашиваетъ другую, какъ она поживаетъ, та отвѣчаетъ: какъ Гейне въ Парижѣ». Въ то же самое время онъ вращался и въ другого рода обществѣ: благодаря рекомендательнымъ письмамъ дяди, онъ сдѣлался вхожъ въ домъ Ротшильда, и въ салонахъ знаменитаго милліонера, равно какъ и на вечерахъ другихъ парижскихъ свѣтилъ, познакомился и болѣе или менѣе близко сошелся съ такими людьми, какъ Россини, Берліозъ, Шопенъ, Листъ, Александръ Гумбольдтъ, вожаки партіи сенъ-симонистовъ, и между ними особенно Анфантенъ, и многіе другіе... Уже изъ факта общенія съ подобными личностями видно, да это конечно и совершенно естественно, что чисто житейскіе, не духовные интересы, далеко не были исключительнымъ предметомъ увлеченія и вниманія нашего поэта. Если онъ съ такимъ наслажденіемъ вдыхалъ «сладостный ананасный ароматъ» парижской общественности, то не менѣе отрадно дышалось ему въ политической атмосферѣ іюльской монархіи, когда «лучи іюльскаго солнца (т. е. революціи предшествовавшаго года) сверкали еще тутъ и тамъ, щеки прекрасной Лютеціи были еще румяны отъ пламенныхъ поцѣлуевъ этого солнца, и на ея груди еще не совсѣмъ завялъ букетъ невѣсты»... И если Парижъ плѣнялъ его и втягивалъ въ себя, какъ средоточіе шумной веселости, пользованія всяческими матеріальными благами, то въ то же самое время въ этомъ городѣ онъ видѣлъ «столицу не только Франціи, но и всего цивилизованнаго міра», гдѣ «собрано все, что велико любовью или ненавистью, чувствомъ или мышленіемъ, удачею или способностями, будущимъ или прошедшимъ».

Немного освоившись съ парижской жизнью, очнувшись отъ нахлынувшихъ волною первыхъ и самыхъ разнообразныхъ впечатлѣній, Гейне принялся за работу. Уже задолго до переселенія въ столицу Франціи, еще только думая объ этомъ и лелѣя эту мечту, онъ, въ числѣ другихъ причудливыхъ плановъ, намѣревался посвятить себя здѣсь дипломатической карьерѣ. Помышлялъ онъ осуществить это намѣреніе и теперь, но скоро оста-

вилъ его, вѣроятно, понявъ и самъ всю комическую чудовищность появленія такой личности, какъ Гейне, въ роли осторожнаго, ловкаго, примѣняющагося ко всякимъ положеніямъ дипломата. Въ литературныхъ работахъ своихъ онъ, однако, и здѣсь пошелъ по той дорогѣ, которая такъ заманчиво улыбнулась ему въ Германіи; только теперь онѣ приняли уже чисто спеціальный характеръ статей почти исключительно политическаго содержанія, и притомъ по опредѣленнымъ современнымъ вопросамъ. За эту работу онъ взялся, впрочемъ, тогда, когда хорошо прозондировалъ политическую почву Франціи, ознакомился близко и подробно съ ходомъ вещей, партіями, отдѣльными личностями. До тѣхъ поръ литературная дѣятельность его вращалась нѣкоторое время въ области чистаго искусства: онъ писалъ въ газету Котты «Morgenblatt» корреспонденціи о художественной выставкѣ того года, корреспонденціи, въ которыхъ, при отсутствіи у автора всякихъ техническихъ свѣдѣній, обнаруживалось, однако, глубокое эстетическое чутье, и которыя не ограничивались обсужденіемъ достоинства выставленныхъ картинъ, а захватывали предметъ гораздо глубже, касаясь такихъ, напримѣръ, вопросовъ, какъ вліяніе соціальнаго положенія страны на развитіе искусства. Этого рода занятіе продолжалось недолго. Когда редакція очень распространенной и наиболѣе либеральной нѣмецкой газеты «Allgemeine Zeitung» предложила автору «Путевыхъ Картинъ» присылать ей изъ Парижа корреспонденціи политическаго характера, онъ съ радостью согласился и, смотря теперь на себя, какъ на избраннаго судьбою посредника между Германіей и Франціей, поставилъ себѣ задачею то, что онъ считалъ выпавшею на его долю особою миссіею—содѣйствовать литературнымъ путемъ великому дѣлу братскаго объединенія двухъ этихъ странъ, уничтоженію взаимныхъ національныхъ предразсудковъ. Эту задачу началъ онъ исполнять, стоя на почвѣ современной французской дѣйствительности, съ постоянными указаніями и намеками на Германію; цѣлью было «уяснить пониманіе настоящаго», и онъ желалъ а оставаться достойнымъ ненависти своихъ враговъ». Съ поръ, и довольно продолжительное время, мы имѣемъ ъ Гейне только какъ съ писателемъ политическимъ,

публицистомъ. Корреспонденціи эти, обнимавшія все мало-мальски выдававшееся въ политической жизни Франціи, обращали на себя общее вниманіе, производили одинаково сильное впечатлѣніе на всѣ политическія партіи. Въ то же самое время, однако, благодаря тому, что Гейне-публицистъ, оставаясь неизмѣнно вѣренъ своимъ основнымъ принципамъ, въ обсужденіи частностей слишкомъ поддавался впечатлѣніямъ данной минуты, слишкомъ подчинялся собственной субъективности и давалъ этимъ безпрестанные поводы обвинять его въ шаткости политическихъ убѣжденій, благодаря этому, положеніе его относительно политическихъ различныхъ партій было очень странное: сегодня орлеанисты обвиняли его въ нападкахъ на кабинетъ и правленіе Людовика Филиппа, завтра они привѣтствовали его, какъ защитника ихъ лагеря; сегодня умѣренные либералы находили, что онъ хорошо служитъ ихъ дѣлу, завтра они открывали въ немъ сочувствіе къ ультра-революціоннымъ принципамъ и негодовали противъ него; а ультра-революціонная партія съ своей стороны, считая его сегодня совсѣмъ своимъ человѣкомъ, завтра вдругъ замѣчала въ той или другой статьѣ его, томъ или другомъ словѣ умѣренно-либеральное воззрѣніе и старалась склонить его къ полному разладу съ этою партіею. Къ французамъ присоединились и нѣмцы: скопившіеся въ это время въ Парижѣ нѣмецкіе эмигранты, большинство которыхъ состояло изъ ремесленниковъ и людей самаго якобинскаго пошиба, требовали устами своихъ вожаковъ, чтобы этотъ Гейне, отъ времени до времени появлявшійся въ печати настоящимъ революціонеромъ, былъ таковымъ и на дѣлѣ, т. е. братался съ ними, участвовалъ на ихъ сходкахъ и т. д., рискуя въ противномъ случаѣ, что въ немъ заподозрятъ тайнаго agent provocateur австрійскаго правительства и заставятъ отказаться отъ роли народнаго трибуна! Все это, при извѣстной уже намъ мнительности и боязливой подозрительности Гейне, истекавшей также и изъ слишкомъ преувеличеннаго мнѣнія его о революціонномъ значеніи своихъ произведеній, поддерживало поэта въ постоянно тревожномъ состояніи по отношенію къ этимъ партіямъ, особенно къ нѣмецкому и французскому правительствамъ: безпрерывно видѣлъ онъ себя окруженнымъ шпіонами,

безпрерывно боялся, что его или арестуютъ, какъ это дѣлалось со многими политическими бѣглецами, или вышлютъ изъ Франціи по требованію французскаго посольства, и въ подобныхъ страхахъ доходилъ до такого комизма, что квартира его была извѣстна только двумъ-тремъ ближайшимъ друзьямъ... Правительства, впрочемъ дѣйствительно не дремали, особенно австрійское, въ лицѣ Меттерниха и Генца, несмотря на относительно умѣренный— по цензурнымъ соображеніямъ—тонъ корреспонденцій Гейне. Выступить прямо и открыто противъ этого, казавшагося имъ опаснымъ, врага оно не желало, и потому начало дѣйствовать тайнымъ образомъ—но не на автора корреспонденцій, зная, что съ нимъ не справиться, а на издателя газеты. И старанія руководителей австрійской политики не остались безплодными: Котта, котораго Генцъ титуловалъ своимъ «благороднымъ другомъ», скоро прекратилъ печатаніе «дерзкихъ и злобныхъ, ядовитыхъ и разнузданныхъ» писемъ Гейне. Но авторъ ихъ былъ не такой человѣкъ, чтобы покорно и скромно ретироваться: всѣ свои корреспонденціи онъ собралъ въ отдѣльную книгу («Французскія Дѣла»), включая сюда и все то, что̀ въ газетѣ было исключено, и главное, снабдивъ ее такимъ рѣзкимъ предисловіемъ, которое уже навсегда уничтожило для него возможность возвращаться въ отечество. Была тутъ, какъ большею частью у Гейне, причина и частная, личная: предисловіемъ этимъ хотѣлъ онъ доказать нелѣпость той клеветы его враговъ, которая, пользуясь измѣнчивостью въ его частныхъ политическихъ воззрѣніяхъ, клеймила его, какъ «продажнаго негодяя».

Дѣйствительно, надо было страдать полнымъ отсутствіемъ здраваго смысла и малѣйшей добросовѣстности, чтобы и послѣ появленія этой книги позволять себѣ усматривать въ литературныхъ дѣйствіяхъ Гейне что-либо, хоть издалека похожее на отступничество отъ своихъ основныхъ убѣжденій, тѣмъ болѣе изъ-за ого-нибудь матеріальнаго интереса. Но автору пришлось ытать теперь самымъ печальнымъ и тяжелымъ для него ъ то, что̀ мы видѣли уже въ значительной степени вы- імъ на его долю и въ началѣ его публицистической ости: разнообразіе вызывавшихся этою дѣятельностью

впечатлѣній, вслѣдствіе отсутствія въ немъ, какъ въ поэтѣ par excellence, чисто-публицистической стойкости и послѣдовательности. Въ то самое время, какъ его послѣднее сочиненіе подвергнулось строгому запрещенію почти во всѣхъ нѣмецкихъ государствахъ, на него обрушивались нападенія изъ лагеря совершенно противоположнаго: радикализмъ въ лицѣ Берне рѣзко обвинялъ поэта-публициста въ шаткости и двусмысленности образа дѣйствій, въ томъ, что онъ не хотѣлъ окончательно поссориться ни съ правительствомъ и аристократами, ни съ ультрареспубликанскою партіею разрушенія. Видя странность и непріятность своего положенія, сжатый со всѣхъ сторонъ, убѣдившись, что онъ, какъ поэтъ и художникъ, не можетъ совершенно и безповоротно принадлежать къ той или другой *партіи*, тогда какъ все теперь было дѣломъ именно партій, Гейне рѣшился отказаться покамѣстъ отъ политическаго писательства. Къ счастью для литературы, этотъ родъ дѣятельности замѣнилъ онъ такимъ, который гораздо болѣе соотвѣтствовалъ его способностямъ, его натурѣ, его знаніямъ: продолжая исполнять свою «миссію» посредника между Германіей и Франціей, онъ только перенесъ эту работу въ другую область—литературную, философскую и соціальную, въ широкомъ значеніи этого слова, занялся истолкованіемъ во Франціи сущности и особенностей нѣмецкаго «духа». Такъ какъ, понятно, Гейне при этомъ имѣлъ въ виду исключительно читателей французскихъ, то статьи свои онъ писалъ по-французски. Всѣ онѣ переводились потомъ авторомъ и на нѣмецкій языкъ.

Такимъ образомъ возникли, сопровождаясь постояннымъ и очень виднымъ успѣхомъ во французской публикѣ и критикѣ, сочиненія: «Романтическая Школа», «Къ исторіи религіи и философіи въ Германіи», «De l'Allemagne» и др. Всѣ эти страницы представляютъ автора въ видѣ умнаго, остраго, высокоталантливаго дилетанта; но подъ этою легкой формой, при обиліи самыхъ смѣлыхъ парадоксовъ, софизмовъ и т. п., наконецъ, даже при встрѣчающемся не разъ принесеніи правды въ жертву неодолимаго желанія сказать острое слово—несмотря на все это, здѣсь сплошь и рядомъ обнаруживается такое проникновеніе въ самую

суть вещей, такое глубокое пониманіе предмета не съ внѣшней, а съ духовной его стороны, какихъ можно пожелать любому изслѣдователю-спеціалисту, и все выражено въ такой простой, увлекательно-ясной формѣ, что самыя мудреныя вещи становятся совершенно понятными для непосвященнаго читателя. Никто, напримѣръ, изъ предшествовавшихъ и послѣдующихъ критиковъ и историковъ литературы не превзошелъ Гейне въ изслѣдованіи той «Романтической Школы», которой онъ и самъ былъ геніальнымъ представителемъ и побѣдоноснымъ сокрушителемъ; у другихъ изслѣдователей мы найдемъ превосходство стороны фактической, уясненіе многихъ частностей, гораздо болѣе научную подкладку, но ни одинъ изъ нихъ не сдѣлалъ того, что нашъ поэтъ, для уясненія сущности нѣмецкаго романтизма и отличительныхъ чертъ поэтическаго творчества главныхъ его представителей. Большими достоинствами, при тѣхъ же вышеупомянутыхъ недостаткахъ, отличается и сочиненіе «Къ исторіи религіи и философіи», посвященное Анфантену, главному дѣятелю сенъ-симонизма, изъ чего уже отчасти можно заключить о направленіи и характерѣ книги. Смѣна одного религіознаго воззрѣнія другимъ (деизмъ, пантеизмъ, христіанство), возникновеніе нѣмецкой философіи изъ протестанства, дѣятельность Лютера, Лессинга, Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля—все это представлено съ удивительной ясностью, свѣжестью и оригинальностью, и все свидѣтельствуетъ о полномъ, даже глубокомъ знакомствѣ автора съ предметомъ, хотя конечно и здѣсь строго-научный изслѣдователь, особенно если онъ проникнутъ кабинетнымъ педантизмомъ, найдетъ многое, что покажется ему поверхностнымъ, больше остроумнымъ, чѣмъ солиднымъ, больше парадоксальнымъ, чѣмъ категорически неопровержимымъ. Само собой разумѣется, что такой писатель, какъ Гейне, тѣсно связываетъ философію съ жизнью, въ развитіи философскихъ идей видитъ и развитіе дѣла практическаго прогресса, и изъ этой точки зрѣнія выходитъ его восторженное сочувствіе къ Лютеру и Лессингу, какъ «освободителямъ» отечества; въ этомъ смыслѣ онъ называетъ Канта «Робеспьеромъ въ царствѣ мысли», въ этомъ смыслѣ и обращается къ французамъ со словами предостереженія: «Освобожден-

ной Германіи вамъ слѣдуетъ бояться больше, чѣмъ всего Священнаго Союза со всѣми кроатами и казаками». Эти статьи, появлявшіяся сначала въ журналѣ, были потомъ включены вмѣстѣ съ «Романтической Школой» въ книгу подъ заглавіемъ «De l'Allemagne», которую Гейне написалъ, какъ своего рода возраженіе противъ сочиненія мадамъ Сталь подъ тѣмъ же заглавіемъ, съ цѣлью исправить многія ея ошибки и пристрастныя сужденія. Здѣсь мы опять встрѣчаемся съ тѣми же религіозными и соціальными воззрѣніями, какія высказывалъ авторъ въ предшествующихъ трудахъ, и выраженными въ такой формѣ, что эта книга подверглась запрещенію почти во всѣхъ нѣмецкихъ государствахъ; а когда былъ сдѣланъ нѣмецкій переводъ ея, то цензура обезобразила текстъ самымъ безжалостнымъ образомъ и вызвала этимъ новый рѣзкій протестъ со стороны автора. Къ упомянутымъ нами тремъ капитальнымъ трудамъ присоединились другіе (тоже въ прозѣ), болѣе или менѣе выдающіеся, каковы: «Флорентинскія Ночи», высоко-поэтическій отрывокъ съ отчасти автобіографическимъ характеромъ, другой отрывокъ въ юмористическомъ родѣ «Записки фонъ-Шнабельвопскаго», представляющій тоже нѣкоторый біографическій матеріалъ, статьи о французской сценѣ и пр. Что касается до производительности въ стихотворной формѣ, то она проявлялась очень слабо и въ количественномъ и въ качественномъ отношеніи: почти единственнымъ плодомъ ея за этотъ періодъ были «Pariser Frauenbilder» (Парижскія Женщины), отличительный характеръ которыхъ—циническая чувственность, и которыя, имѣя совершенно субъективную окраску, давали врагамъ поэта очень благодарный и въ большинствѣ случаевъ основательный матеріалъ для обвиненія его въ слишкомъ усердномъ и неразборчивомъ служеніи богинѣ Афродитѣ самаго низшаго разбора.

Сдѣлавшись писателемъ французскимъ, выпуская въ свѣтъ свои произведенія большею частью на французскомъ языкѣ, Гейне, конечно, не переставалъ быть прежде всего и въ коренной сущности своей писателемъ нѣмецкимъ. Дѣйствуя на этомъ поприщѣ, какъ духовный посредникъ между Франціей и Германіей, стараясь знакомить Францію съ интеллектуальною и поли-

тическою жизнью своего отечества, онъ, однако, постоянно имѣлъ въ виду главнымъ образомъ это послѣднее, и потому все, писавшееся имъ по-французски, немедленно переводилось имъ же на нѣмецкій языкъ. Но мы уже не разъ видѣли, съ какими цензурными препятствіями приходилось ему бороться, въ какомъ обезображенномъ видѣ появлялись предъ нѣмецкими читателями его сочиненія въ тѣхъ случаяхъ, когда вообще могли они появляться, т. е. когда не подвергались совсѣмъ запрещенію. Сколько, однако, ни пришлось вынести нашему поэту въ этомъ отношеніи, но ему предстояли еще болѣе сильныя, болѣе мучительныя испытанія. Скоро послѣ іюльской революціи и подъ непосредственнымъ вліяніемъ ея въ Германіи начала образовываться, а затѣмъ и получила быстрое развитіе, литературная партія, извѣстная подъ именемъ «Молодой Германіи». Столпами своими она избрала Берне и Гейне, этого послѣдняго не какъ художника вообще, тѣмъ менѣе какъ поэта, а какъ писателя политическаго; идеаломъ преобразованія государства, мечтательно задуманнаго «молодыми германцами», сдѣлалась Франція подъ іюльскою монархіею; главною идеею во всѣхъ ихъ начинаніяхъ и стремленіяхъ стало новое французское государство по французскому образцу, а такъ какъ Берне и Гейне были краснорѣчивыми и энергичнѣйшими проводниками этихъ идей, то естественно, что именно за ними, по проложенному ими пути, пошли эти новые дѣятели.

Въ настоящее время большинство изъ того, что писалось «молодыми германцами», представляется намъ въ цензурномъ отношеніи достаточно невиннымъ, тѣмъ болѣе, что было тутъ много очевидно утопическаго, крайне неяснаго, шаткаго, какъ всегда бываетъ въ подобныя минуты «броженія» свѣжихъ, далеко еще не созрѣвшихъ жизненныхъ силъ. Но не такъ взглянули нѣмецкія правительства послѣ того, какъ противъ «Молодой [illegible]маніи» выступилъ съ гнуснѣйшими печатными доносами [illegible]ѣстный писатель Менцель. Мало-по-малу нападенія его при[illegible] характеръ чисто-полицейскихъ доносовъ: онъ обращалъ [illegible]іе нѣмецкихъ правительствъ на войну, которую «молодые [illegible]ы» вели съ христіанствомъ, моралью, бракомъ, какъ на

такую, которая должна была оказаться въ высшей степени пагубною для *народа*; онъ не стѣснялся при этомъ дѣлать самыя мерзкія инсинуаціи, чтобы пугать и безъ того трусливое правительство; онъ выставлялъ тѣхъ университетскихъ профессоровъ, которые участвовали въ журналѣ Гуцкова, поддерживающими связи съ «новымъ грязнымъ Маратомъ», хотя «вѣдь университеты содержатся на счетъ правительства», неистовствующими противъ христіанства, нравственности, брака, семейства, чувства стыда, Бога и безсмертія, нѣмецкой національности и т. д., и т. д.; онъ, наконецъ, игралъ на струнѣ юдофобства, тогда какъ во всей этой литературной партіи были только два еврея—Гейне и Берне, да и то какіе евреи!.. Берне отвѣчалъ доносчику безпощадною статьею «Менцель-французоѣдъ». Гейне жестоко заклеймилъ его въ статьѣ «О доносчикѣ» (предисловіе ко второй части «Салона»); но доносы Менцеля отъ этого нисколько не утратили своего дѣйствія тѣмъ болѣе, что онъ нашелъ себѣ и другихъ достойныхъ сподвижниковъ.

Первою мѣрою правительства относительно «Молодой Германіи» былъ процессъ противъ Гуцкова, котораго посадили въ тюрьму, и хотя признали по суду оправданнымъ по обвиненію въ богохульствѣ и безнравственности и виновнымъ только въ «нападеніи на признанныя правительствомъ баденскія религіозныя общины», но присудили къ тюремному заключенію и денежному штрафу. Это произошло въ 1833 г., а 10 декабря 1835 г. состоялось постановленіе германскаго бундестага, по которому новая литературная школа была офиціально признана «стремящеюся самымъ дерзкимъ образомъ нападать на христіанскую религію, уничтожать существующій соціальный порядокъ и разрушать всякую нравственность»; на этомъ основаніи къ ней были во всѣхъ нѣмецкихъ государствахъ примѣнены во всей строгости уголовные и полицейскіе законы, именно запрещено распространять сочиненія всѣхъ этихъ писателей (въ томъ числѣ, конечно, и Гейне, его даже болѣе, чѣмъ остальныхъ) какимъ бы то ни было путемъ, съ предупрежденіемъ, что книгопродавцы, которые ослушаются этого распоряженія, подвергнутся строжайшему наказанію. Постановленіе бундестага по-

влекло за собой въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ правительствахъ совершенно нелѣпыя мѣры; такъ, напримѣръ, многіе профессора, ничѣмъ неповинные, были уволены въ отставку; въ объявленіяхъ объ изданіяхъ новыхъ журналовъ имена «молодыхъ германцевъ», если они значились въ числѣ сотрудниковъ, старательно вычеркивались; наконецъ, дошли даже до того, что запрещеніе печатанія и продажи сочиненій этихъ писателей было распространено не только на находившіеся уже въ обращеніи, но и на *будущіе* труды ихъ!

Понятно, какое дѣйствіе должно было произвести все это на Гейне. Сначала онъ не хотѣлъ вѣрить полученнымъ въ Парижѣ извѣстіямъ о неслыханномъ постановленіи; когда они подтвердились, онъ высказалъ такое же изумленіе свое этой мѣрѣ въ прошеніи, съ которымъ, собственно по отношенію къ себѣ, обратился въ бундестагъ, и которое, конечно, было оставлено безъ всякихъ послѣдствій. Уже въ 1842 г. было снято запрещеніе, наложенное на сочиненія нашего поэта, а покамѣстъ дѣло дошло даже до того, что прусское правительство погрозило редакціи «Revue des deux Mondes» запрещеніемъ впуска этого журнала въ свои владѣнія, если въ немъ будетъ продолжаться печатаніе статей Гейне во враждебномъ Пруссіи духѣ. Строгость относительно Гейне усиливалась, благодаря преслѣдованіямъ и нападеніямъ на него съ разныхъ сторонъ, такихъ даже, гдѣ они являлись ему полнымъ сюрпризомъ. Съ одной стороны, напримѣръ, Менцель, уже послѣ постановленія бундестага, писалъ: что «Гейне, прежде всего увлекаемый еврейскими антипатіями, сдѣлалъ благодарными темами, на которыхъ потомъ начала разыгрывать всевозможныя варіаціи молодая Германія, осмѣяніе христіанства и морали, нѣмецкой національности и нравовъ, требованіе эманципаціи плоти, развратъ молодой Франціи, кокетничанье съ республикою» и т. п. Съ другой стороны бывшіе зья поэта, теперь перешедшіе во враждебный лагерь, шли по мъ знаменитаго доносчика, и между ними, напримѣръ, Ф. Руссо кричалъ на столбцахъ газетъ, что авторъ «Романской Школы» превзошелъ въ этомъ сочиненіи даже Вольязью, *гримасничаньемъ* и т. п., что главною тенденціею

его здѣсь было унижать и оскорблять христіанскую религію и т. д., все въ такомъ же родѣ. Подъ гнетомъ постояннаго и естественнаго раздраженія, озлобленія, скорбнаго чувства, испытывая разныя чисто-житейскія непріятности и невзгоды отчасти по своей винѣ, отчасти по чужой, подъ вліяніемъ нѣсколькихъ тяжелыхъ утратъ въ послѣдніе годы (смерть г-жи Варнгагенъ, истребленіе пожаромъ оставшихся въ Гамбургѣ рукописей его)— Гейне часто чувствовалъ упадокъ силъ и энергіи. Друзья совѣтовали ему возвратиться въ Германію; онъ отказывался на томъ основаніи, что при этомъ возвращеніи ему «пришлось бы принять положеніе, которое могло бы подвергнуть его всевозможнымъ превратнымъ толкованіямъ». А между тѣмъ и во Франціи ему съ каждымъ днемъ жилось все хуже и хуже. Въ очень значительной степени отравляли ему жизнь отношенія къ нѣмецкимъ демагогамъ и заговорщикамъ, скопившимся въ это время въ Парижѣ въ довольно большомъ количествѣ и негодовавшимъ на поэта за то, что онъ, защищая въ печати народное дѣло, лично остался въ сторонѣ отъ этихъ представителей народа, оскорблявшихъ его аристократическое, въ духовномъ смыслѣ, чувство своимъ образомъ жизни, привычками и т. п. Нападенія и обвиненія съ этой стороны, въ соединеніи часто съ клеветами, заставили поэта, наконецъ, затворить свою дверь почти для всѣхъ своихъ соотечественниковъ.

Но если съ негодованіемъ отворачивался онъ отъ тѣхъ, въ которыхъ подъ личиною патріотизма усматривалъ совсѣмъ иное, то зрѣлище истинныхъ страданій соотечественниковъ наполняло его сердце глубочайшею скорбью и сочувствіемъ. Тоска по родинѣ продолжала жить въ немъ очень глубоко, усиливаясь по мѣрѣ того, какъ усиливался разрывъ его съ нею. Но одновременно съ этимъ скрѣплялись все больше и больше узы, связывавшія его съ Франціею. Нашъ поэтъ сдѣлался «своимъ» среди всего, что̀ было въ Парижѣ наиболѣе выдающагося въ области литературы, искусства, интеллигенціи вообще; его ближайшіе знакомые и друзья—Дюма, Готье, Алф. Виньи, Ж. Сандъ, Минье, Тьерри, Тьеръ, Беранже, Шопенъ, Мейерберъ, Берліозъ, Листъ; пріѣзжающіе въ Парижъ передовые люди другихъ національно-

стей тоже завязываютъ съ нимъ интимныя отношенія, и по его собственнымъ словамъ, слава его въ это время—«слава европейская».

Къ этому же времени относится событіе въ его частной жизни, которому біографы его почему-то придаютъ большое значеніе. Это—связь поэта съ Евгеніею (извѣстною подъ именемъ Матильды) Мира, связь, первоначально имѣвшая форму простого сожительства, а потомъ, въ 1841 г., завершившаяся законнымъ бракомъ. Когда знакомишься съ этою исторіею, то вспоминаешь множество подобныхъ фактовъ: долговременную и прочную связь человѣка, вполнѣ выдающагося, съ женщиною, стоящею несравненно ниже его по развитію и образованію. Матильда—будемъ такъ называть ее—незаконная дочь богатаго человѣка, кинутая своимъ отцомъ, до пятнадцати лѣтъ росшая въ деревнѣ между крестьянами, а потомъ переѣхавшая въ Парижъ къ своей теткѣ-башмачницѣ, гдѣ и встрѣтилъ ее нашъ поэтъ, была женщина совсѣмъ необразованная, едва грамотная, до такой степени чуждая высшимъ умственнымъ интересамъ, что почти ни одна строка изъ написаннаго ея мужемъ не была прочитана ею, хотя, почти все было переведено на французскій языкъ; «люди говорятъ,—замѣтила она однажды,—что Henri умный человѣкъ и написалъ много чудесныхъ книгъ; я же этого ничего не замѣчаю и должна вѣрить этому на слово». Независимо отъ отсутствія образованія, которое Гейне думалъ восполнить очень комическимъ образомъ, помѣстивъ свою возлюбленную на время въ пансіонъ для дѣвицъ, независимо отъ этого, весьма невелико было и умственное развитіе Матильды вообще: попугай, кошка, наряды, танцы, театръ, когда на сценѣ давались чувствительныя мелодрамы или балаганные водевили—вотъ что исключительно занимало эту женщину, вотъ что наполняло всю ея жизнь. Но за то сторона сердечная была развита въ ней очень широко: доброта, мягкость при бурной вспыльчивости, изъ-за которой Гейне называлъ ее «своимъ домашнимъ Везувіемъ», нѣжная и безусловная преданность любимому человѣку шли рядомъ съ простотой, естественностью, черпаемой веселостью, т. е. тѣми качествами, которыя

всего выше цѣнилъ въ женщинѣ нашъ поэтъ. Они-то, въ соединеніи съ красотою Матильды и ея врожденнымъ изяществомъ, граціею и подкупили его; молодая двадцатилѣтняя дѣвушка, по свидѣтельству извѣстнаго романиста Мейснера, приковала къ себѣ поэта «своею наивною болтовнею, измѣнчивымъ, но всегда веселымъ и безмятежнымъ нравомъ и превосходнымъ сердцемъ»; да и самъ Гейне во многихъ своихъ письмахъ и устныхъ бесѣдахъ подтверждалъ то же самое. На первыхъ порахъ—это было въ 1835 г.—поэтъ увлекся Матильдою съ тою чувственною пылкостью, которая всегда отличала его въ подобныхъ случаяхъ. Черезъ годъ, однако, у него уже начинаетъ появляться мысль о разлукѣ: сообщая другу, что они съ Матильдой живутъ «счастливо середина на половину», онъ, однако, высказываетъ опасеніе, что «эта связь будетъ имѣть печальную развязку», и такого же рода намеки находимъ мы и въ другихъ письмахъ его. Но постоянная живость и веселость Матильды, ея кипучій нравъ, ея умѣнье, хотя и не умышленное, а врожденное, поддерживать въ своемъ Henri почти постоянное поэтическое настроеніе отсутствіемъ всего мѣщански-прозаическаго, будничнаго, наконецъ, ея нѣжная преданность ему—все это больше и больше скрѣпляло ихъ связь; а когда наступила тяжкая болѣзнь поэта, не оставлявшая его уже до смерти, и когда эта веселая, жадная къ свѣтскимъ удовольствіямъ Матильда сдѣлалась неусыпною и нѣжной сидѣлкой при несчастномъ страдальцѣ, тогда, конечно, о разлукѣ не могло быть и рѣчи, тѣмъ болѣе, что незаконная связь была закрѣплена уже законнымъ бракомъ. Что на любовь и преданность Матильды, оставшіяся неизмѣнными съ первой до послѣдней минуты сожительства, Гейне отвѣчалъ также очень нѣжными чувствами (не мѣшавшими ему, конечно, отъ времени до времени измѣнять ей)—на это есть очень много свидѣтельствъ и доказательствъ, и такимъ образомъ годы, прожитые поэтомъ со своею «Нонноттою», своимъ «милымъ толстенькимъ ребенкомъ», представляются намъ, собственно по отношенію къ его домашней обстановкѣ, счастливыми, безмятежными годами. Но тѣмъ не менѣе, связи этой мы не можемъ, подобно нѣсколькимъ біографамъ, прида-

вать важное значеніе въ жизни Гейне вообще: разъединеніе высшихъ умственныхъ и нравственныхъ интересовъ было здѣсь слишкомъ велико для того, чтобы эта женщина могла сыграть рѣшающую роль въ судьбѣ такого человѣка, и такъ какъ на *этой* дорогѣ они всегда шли совершенно розными, совершенно чуждыми одна другой тропинками, такъ какъ о духовномъ общеніи здѣсь не было и помину, то на исторію отношеній Гейне къ Матильдѣ слѣдуетъ, по нашему мнѣнію, смотрѣть, какъ на второстепенную, интересную для біографа преимущественно тѣмъ, что въ ней находила себѣ любопытныя проявленія чувственная натура нашего поэта...

Только-что назвали мы прожитые Гейне съ Матильдой годы счастливыми и безмятежными по отношенію къ домашней обстановкѣ; надо было прибавить къ этому—если не считать матеріальныхъ невзгодъ. Къ неумѣнью поэта распоряжаться своими денежными средствами, которыя притомъ, были очень скудны, прибавилась полнѣйшая практическая безтолковость его жены. Семи тысячъ франковъ, получавшихся имъ въ годъ (четыре отъ дяди и около трехъ за литературныя работы), не хватало на самое необходимое, и онъ вошелъ въ долги, составившіе въ это время сумму въ 20 тысячъ франковъ; причиною тутъ было отчасти и поручительство его за одного пріятеля въ нѣсколькихъ тысячахъ франковъ, но не малую роль играли и несчастныя биржевыя спекуляціи, въ которыя, подъ вліяніемъ знакомства съ Ротшильдомъ, отъ времени до времени пускался нашъ поэтъ, пріобрѣвшій вообще эту страсть, какъ думаетъ одинъ біографъ, еще во время своего пребыванія въ гамбургской банкирской конторѣ. Ухудшенію критическаго положенія способствовало то обстоятельство, что по какимъ-то причинамъ Гейне поссорился съ дядей, и тотъ прекратилъ выдачу ему ежегодной субсидіи; для возвращенія ея поэтъ сталъ прибѣгать
такому унизительному для него образу дѣйствій, который
водитъ на знакомящагося съ этими фактами крайне тя-
впечатлѣніе. Такъ, напримѣръ, въ одномъ журналѣ по-
ся энергическая замѣтка Гуцкова о тяжеломъ матеріаль-
положеніи, въ которомъ находится знаменитый автор

«Путевыхъ Картинъ» и столькихъ другихъ, составляющихъ честь и гордость нѣмецкой литературы, произведеній; Гейне самъ называетъ, въ письмѣ къ Детмольду, эту замѣтку «хотя написанною съ добрымъ намѣреніемъ, но возмутительною въ своей грубой откровенности»—и однако, тутъ же проситъ Детмольда послать ее въ Гамбургъ къ находившемуся тамъ въ это время брату его Максимиліану: «Не подавайте ему и вида, что вы получили эту статью отъ меня,—пишетъ онъ,—и замѣтьте отъ себя, что, быть-можетъ, для меня было бы полезно, если бы мой дядя прочелъ ее, и она побудила бы его исполнить отъ себя то, чего требуетъ для меня общественное мнѣніе—назначить мнѣ, именно теперь гласное (?) ежегодное содержаніе... Во всякомъ случаѣ, ради Бога скройте отъ Макса, что я писалъ вамъ о такихъ противныхъ вещахъ; пусть онъ думаетъ, что только изъ третьихъ рукъ узнали вы объ усиленіи моихъ лишеній и бѣдствій».

Въ другихъ письмахъ встрѣчаемся съ еще болѣе странными и двусмысленными маневрами, все съ тою же цѣлью; и такъ хитритъ, идетъ окольными путями, унижается изъ-за какихъ-нибудь четырехъ тысячъ франковъ человѣкъ, который еще весьма незадолго до того писалъ: «съ моимъ дядей Саломономъ Гейне я нахожусь въ самыхъ скверныхъ отношеніяхъ; онъ въ прошедшемъ году нанесъ мнѣ такое тяжелое оскорбленіе, какое въ зрѣлые годы переносишь гораздо тяжелѣе, чѣмъ въ безпечную пору молодости»... Старанія поэта, благодаря разнымъ ходатайствамъ, увѣнчались успѣхомъ: дядя сталъ снова давать ему ежегодную субсидію, а четыре года спустя, послѣ женитьбы племянника (въ 1841 г.), прибавилъ къ 4 тыс. фр. еще 800, съ обѣщаніемъ послѣ смерти поэта выплачивать половину этой пенсіи Матильдѣ. Почти въ то самое время, когда состоялось это примиреніе, Гейне получилъ еще отъ Кампе 20 тыс. франковъ, уступивъ ему за эту ничтожную сумму право изданія *всѣхъ* своихъ сочиненій въ теченіе одиннадцати лѣтъ; но все это далеко не выпутывало его изъ тисковъ. И тутъ, все съ тою же неразборчивостью, когда дѣло шло о «бюджетѣ», онъ рѣшился на шагъ, который его противникамъ легко было истолковать въ

самую дурную сторону: принялъ отъ французскаго правительства ежегодное пособіе въ 4.800 фр. изъ того фонда, который отпускался эмигрантамъ, нашедшимъ себѣ, по политическимъ причинамъ, убѣжище во Франціи. Эту субсидію онъ получалъ съ 1838 по 1848 годъ и никогда не скрывалъ этого, говоря, что видитъ въ этомъ отношеніи къ нему свидѣтельство того, какъ Франція умѣетъ чтить даже иностранцевъ съ тѣми или другими заслугами, въ противоположность Германіи, гдѣ ея собственные «сыны», какъ бы они велики ни были, часто умираютъ съ голоду; но враги поэта, каковыхъ у него между нѣмцами становилось все больше и больше, не переставали трубить, что онъ продалъ себя французскому правительству. Правда, что это обвиненіе представляется совершенно нелѣпымъ, когда читаешь написанныя Гейне въ этотъ десятилѣтній періодъ статьи и корреспонденціи, въ которыхъ онъ не стѣсняется высказывать осужденіе многимъ дѣйствіямъ этого самаго, помогающаго ему правительства; правда, что изъ того же «фонда», который оказывалъ ему поддержку, получали ее и люди самой безукоризненной честности, съ самой незапятнанной репутаціей; но правда и то, что по вполнѣ естественному чувству деликатной благодарности, *тонъ* этихъ статей, быть-можетъ и помимо воли автора, сдѣлался сдержаннѣе, чѣмъ и могло вызываться, при малѣйшей недоброжелательности, подозрѣніе въ подкупѣ, и во всякомъ случаѣ, какъ справедливо замѣчаетъ Прельсъ, съ положеніемъ публициста несовмѣстимо принимать пособіе отъ того государства, о которомъ пишешь. Но вѣдь Гейне, какъ мы уже видѣли, самъ сознавалъ, что въ немъ «весь человѣкъ (относительно не убѣжденій, принциповъ, а поступковъ) управляется бюджетомъ»; то же повторилось и теперь... Къ денежнымъ невзгодамъ присоединились, однако, и другія, болѣе серьезныя: ухудшеніе здоровья. Тѣ припадки и симптомы, которымъ нѣсколько лѣтъ спустя предстояло разразиться такимъ страшно-трагическимъ образомъ, повторялись все чаще и чаще. Въ іюлѣ 1837 г. онъ писалъ, что «лѣвая рука его съ каждымъ днемъ ...овится худѣе и видимо отнимается», а скоро послѣ того на-...ла или, вѣрнѣе, усилилась старая болѣзнь глазъ, принял-

шая теперь такіе размѣры, что поэтъ одно время боялся ослѣпнуть.

О литературной дѣятельности Гейне въ разсматриваемый нами періодъ мы уже говорили. Послѣ появленія вышеупомянутыхъ сочиненій она не прекращалась; только то, что выходило изъ-подъ его пера, принимало все болѣе и болѣе желчную окраску. Причина этого заключалась, съ одной стороны, въ личныхъ обстоятельствахъ жизни поэта, съ другой—въ положеніи дѣлъ общественныхъ и политическихъ, въ томъ, что іюльская революція не принесла ни Германіи, ни Франціи ожидавшихся плодовъ; всюду утрачивалась вѣра въ воскрешеніе человѣчества, и у Гейне, при его пессимистически-реалистической натурѣ, это отчаяніе могло развиться сильнѣе и опредѣлительнѣе, чѣмъ въ какомъ-нибудь другомъ. Подъ вліяніемъ личнаго раздраженія въ значительной степени создалось сочиненіе «О Берне», нѣсколько страницъ котораго легли неизгладимымъ пятномъ на Гейне, какъ человѣка; озлобленному же негодованію «рыцаря духа», какимъ называлъ себя поэтъ, обязаны своимъ возникновеніемъ поэма «Атта-Тролль» (1842 г.), «Новыя Стихотворенія» (1844 г.) и особенно «Германія, Зимняя Сказка» (тоже въ 1844 г.).

Для того, чтобы составить себѣ ясное понятіе о памфлетѣ на Берне, чтобы сдѣлать ему вполнѣ безпристрастную оцѣнку, нужно знать во всей подробности исторію отношеній между этими двумя знаменитыми дѣятелями, нужно вникнуть въ коренную сущность этихъ двухъ натуръ—вопросъ, на которомъ мы не можемъ здѣсь остановиться. А что касается до тѣхъ, упомянутыхъ выше произведеній, въ которыхъ нашли себѣ новое выраженіе политическія и соціальныя разочарованія Гейне, то они, будучи написаны въ стихахъ, доказали, какъ ошибался авторъ, если онъ только говорилъ искренно, когда въ 1839 г. писалъ: «Я вообще имѣю мало довѣрія къ моей поэзіи, собственно стихотворству; мой возрастъ, а можетъ-быть и все наше время, уже не благопріятствуетъ стихамъ, а требуетъ прозы». Поэма «Атта-Тролль», рѣзко осмѣивавшая одностороннія крайности тогдашней нѣмецкой политической поэзіи, и этимъ даже вызвавшая со стороны противниковъ и враговъ автора упрекъ,

что онъ явился здѣсь отступникомъ отъ тѣхъ идей равенства, братства и т. п., за которыя до сихъ поръ самъ ратовалъ, это полуфантастическое, полуромантическое произведеніе изобилуетъ высокопоэтическими, въ смыслѣ даже чистаго искусства, красотами. Въ «Новыхъ Стихотвореніяхъ» Гейне вступилъ на путь сатирической лирики, съ мрачнымъ пессимизмомъ, проявившимся въ чисто-сатанинскомъ хохотѣ отчаянія и безвѣрія надъ окружавшими его въ политической и соціальной жизни Германіи явленіями, и обозначилъ этотъ новый фазисъ своего поэтическаго творчества произведеніями, въ которыхъ, по очень образной характеристикѣ Штродтмана, «все желчь, горькая желчь, въ красиво отшлифованныхъ сосудахъ, проклятья осужденныхъ на вѣчныя муки, язвительная насмѣшка демоновъ тьмы надъ бѣдствіями и скорбями обреченнаго на смерть, зараженнаго внутреннимъ гніеніемъ и ложью міра!» Лучшимъ же выраженіемъ этого сатирическаго направленія, «брильянтомъ нѣмецкой сатирической литературы вообще» по характеристикѣ Готшаля, явилась «Зимняя Сказка», нѣчто въ родѣ поэмы, гдѣ автору болѣе, чѣмъ гдѣ либо, посчастливилось дать поэтическое выраженіе своему реалистическому воззрѣнію на политическій и соціальный строй того времени. «Зимняя Сказка» была написана послѣ поѣздки поэта въ Гамбургъ на короткое время, въ концѣ 1837 г., для свиданія съ матерью и родными и для устройства своихъ денежныхъ дѣлъ съ издателемъ его сочиненій, Кампе; а судя по написанному въ это время стихотворенію «Прощаніе съ Парижемъ», надо думать, что его влекла въ Германію и тоска по родинѣ. Хотѣлось ему, кромѣ Гамбурга, побывать и въ Берлинѣ, но друзья дали ему знать, что безопаснѣй для него держаться подальше отъ столицы Пруссіи; и конечно это обстоятельство, въ соединеніи съ тѣмъ, что̀ пришлось ему увидѣть и узнать воочію, а не по разсказамъ и газетамъ только, о дѣлахъ отечества, немало способствовало усиленію озлобленнаго, ядовитаго тона «Зимней Сказки». Дѣйствіе оказалось такимъ, какимъ и слѣдовало ожидать: во всѣхъ дахъ Пруссіи она была немедленно подвергнута строгому щенію, причемъ во всѣ пограничные города послѣдовало

распоряженіе арестовать автора, какъ только онъ тамъ появится; кромѣ того, въ значительной степени оправдалось то, что предсказывалъ Гейне въ письмѣ къ другу, за недѣлю до выпуска этой книги: «Вслѣдствіе того, что сочиненіе мое,— говоритъ онъ,—не только радикально, революціонно, но и антинаціонально, противъ меня натурально возстанетъ *вся* пресса, такъ какъ она находится въ рукахъ или правительства, или націоналовъ, и можетъ быть эксплоатируема во вредъ мнѣ не политическими врагами, а чисто литературными негодяями». Что касается до денежныхъ дѣлъ, то они устроились довольно благопріятно, хотя конечно, не будь въ то время литературный гонораръ такъ скуденъ даже относительно такихъ писателей, какъ Гейне, результатъ переговоровъ поэта съ Кампе могъ бы и долженъ бы выйти гораздо лучше для перваго: контрактъ, заключенный, какъ мы видѣли выше, на одиннадцать лѣтъ, теперь былъ продленъ на вѣчныя времена на томъ условіи, что за право изданія сочиненій Гейне (до того времени написанныхъ) Кампе будетъ выплачивать ему, начиная съ 1848 г., т. е. со времени истеченія одиннадцатилѣтняго контракта, по 2.400 фр. въ годъ, а по смерти его, если бъ она случилась и раньше 1848 г., продолжать выдавать эту же сумму его вдовѣ, во все продолженіе ея жизни. Такъ какъ полученныя прежде 20 т. фр. помогли поэту погасить лежавшій на немъ долгъ, да и отъ дяди продолжалъ онъ получать около 5 т. франковъ въ годъ, то положеніе его представлялось ему достаточно обезпеченнымъ относительно и его самого, и будущности Матильды, о чемъ онъ не переставалъ думать съ самою нѣжною заботливостью. Но его ожидалъ жестокій ударъ.

Скоро, послѣ второго возвращенія его изъ Гамбурга въ Парижъ, получилъ онъ извѣстіе о смерти Саломона Гейне. Несмотря на постоянныя разногласія и даже ссоры съ милліонеромъ-банкиромъ, поэтъ имѣлъ данныя разсчитывать, что онъ не будетъ забытъ въ духовномъ завѣщаніи, и на эту посмертную щедрость какъ онъ самъ, такъ и жена его возлагали большія надежды. И вдругъ какъ громъ ошеломляетъ его сообщеніе, что изъ оставшихся послѣ дяди многихъ милліоновъ ему, на-

равнѣ съ остальными его братьями, завѣщано всего 8 тысячъ франковъ! Но мало того: въ завѣщаніи этомъ ни однимъ словомъ не упоминалось о той пенсіи, которую словесно обязался покойный дядя выдавать поэту во все продолженіе его жизни, а женѣ его въ половинномъ размѣрѣ послѣ его смерти,—и пользуясь этимъ умолчаніемъ, сынъ и единственный наслѣдникъ старика, Карлъ, отъ выплачиванія пенсіи отказался. Гейне пришелъ въ страшное негодованіе и раздраженіе: съ одной стороны ужасала его, столь чувствительнаго къ потерямъ этого рода, перспектива значительнаго уменьшенія матеріальныхъ средствъ; съ другой—возмущался онъ до глубины души грубою скаредностью умершаго дяди, а главное—недобросовѣстностью этого Карла, который, не говоря уже о всякихъ другихъ соображеніяхъ, былъ съ поэтомъ въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ и пользовался его заботливымъ уходомъ въ то время, когда, пріѣхавъ въ Парижъ, заболѣлъ тамъ холерой.

Но чувствами и ощущеніями, вызванными этимъ инцидентомъ, Гейне не ограничился: онъ рѣшился во что бы то ни стало возвратить свои права на пенсію, хотя и не имѣлъ на то никакихъ юридическихъ доказательствъ; и тутъ начался между обѣими сторонами споръ, конечно въ высшей степени позорный для богатыхъ родственниковъ человѣка, покрывшаго такою яркою славою имя Гейне, но далеко не лестный и для него самого. Крайне тяжелое впечатлѣніе производятъ письма поэта, относящіяся къ этому дѣлу, и другія свѣдѣнія о немъ. Вмѣсто того, чтобы отвѣтить гордымъ презрѣніемъ на совершенную съ нимъ гнусность, онъ съ какимъ-то остервенѣніемъ старается вырвать изъ рукъ милліонера-кузена то, что въ сущности составляетъ ничто иное, какъ милостивую подачку, и въ средствахъ къ достиженію этой цѣли не обнаруживаетъ никакой разборчивости: онъ хочетъ дѣйствовать посредствомъ газетныхъ «обличій», проситъ своихъ друзей принять на себя роль этихъ ичителей, замѣчая, что «первые комья грязи, кинутые въ Гейне, непремѣнно окажутъ свое дѣйствіе», стараясь общество въ эти домашнія дрязги, съ надеждой, что гвенное мнѣніе легко пріобрѣсть въ пользу поэта про-

тивъ милліонера»; онъ сегодня грозитъ величайшими скандалами, произноситъ слова, полныя сознанія собственнаго достоинства, и объявляетъ, что не пойдетъ ни на какія уступки, не приметъ никакихъ предложенныхъ ему компромиссовъ и условій—а завтра униженно принимаетъ эти условія, состоящія въ томъ, что назначенная ему дядею пенсія будетъ попрежнему выдаваться, если онъ обяжется, и приметъ это обязательство также за своихъ наслѣдниковъ, никогда не выпуститъ въ печать ни одной строчки, мало-мальски оскорбительной для семейства Карла Гейне и родственниковъ его жены. Причина, почему Карлъ отказался выдавать пенсію, дѣйствительно заключалась въ томъ, что до него дошло извѣстіе о приготовленіи поэтомъ своихъ Мемуаровъ, въ которыхъ и Саломону Гейне, и всей его роднѣ предстояло явиться въ очень незавидномъ свѣтѣ; притомъ онъ гнѣвался на кузена и за то, что тотъ въ своихъ статьяхъ и корреспонденціяхъ иногда жестоко издѣвался надъ знаменитыми банкирами Фульдами, на племянницѣ которыхъ Карлъ былъ женатъ и которые возстановляли его противъ ненавистнаго имъ корреспондента «Allgemeine Zeitung» и французскихъ журналовъ. И какъ поэтъ, такъ и милліонеръ добились своей цѣли: первый получилъ, наконецъ, обязательство, что пенсія будетъ ему выплачиваться на прежнихъ основаніяхъ, но зато у второго очутилась въ рукахъ письменная расписка Генриха Гейне, что вышеупомянутое условіе будетъ строго исполняться. И тутъ опять передъ нами фактъ непостижимаго противорѣчія въ натурѣ нашего поэта: въ одномъ письмѣ онъ—и совершенно основательно—называетъ возвращеніе ему пенсіи совсѣмъ «не колосальнымъ великодушіемъ» со стороны Карла и заявляетъ, что больше ужъ никогда не обратится къ нему за помощью, несмотря на все его богатство и какъ бы дружески ни относился онъ къ нему; въ другомъ письмѣ, разсказывая о состоявшемся между ними примиреніи и о томъ, что Карлъ далъ слово выплачивать и Матильдѣ *половину* пенсіи ея мужа послѣ его смерти, онъ вдругъ умиляется, точно Богъ вѣсть какое благодѣяніе оказано ему, и «когда Карлъ,—пишетъ онъ,—для запечатлѣнія своего обѣщанія протянулъ мнѣ руку, то я

прижалъ ее къ губамъ своимъ, до такой степени глубоко потрясъ меня этотъ поступокъ»...

Единственное смягчающее обстоятельство для нашего поэта во всей этой исторіи заключается въ томъ, что болѣзнь его въ это время все увеличивалась, и въ той перспективѣ безпомощнаго состоянія, которая естественно являлась предъ нимъ среди увеличивавшихся физическихъ страданій, потеря каждаго франка могла казаться ему большимъ несчастіемъ, тѣмъ болѣе, что тутъ дѣло шло и объ участи Матильды послѣ его смерти. Какъ бы то ни было, но самый важный и плачевный результатъ этого столкновенія тотъ, что оно оказало пагубнѣйшее дѣйствіе на больного поэта въ физическомъ отношеніи и уже вполнѣ открыло собою ужасную трагедію послѣднихъ одиннадцати лѣтъ его жизни. Если онъ преувеличивалъ, говоря въ одномъ изъ позднѣйшихъ писемъ своихъ, что именно поступокъ его брата «разбилъ кости въ его сердцѣ» и что онъ «умираетъ отъ этого»; если ту же самую мысль онъ высказалъ въ нѣсколькихъ, полныхъ ядовитой желчи, стихотвореніяхъ, написанныхъ уже почти на смертномъ одрѣ; если преувеличиваетъ и другъ его Лаубе, утверждая, что «сотни битвъ въ литературѣ и политикѣ не сдѣлали ни малѣйшаго вреда этому страшному воину, но единственный ударъ, нанесенный семьею, разбилъ его»; если, однимъ словомъ, постыдныя дѣйствія семьи не были причиною наступившаго скоро послѣ того разрушенія, ибо оно началось уже раньше, то несомнѣнно, что ими данъ былъ этому разрушенію роковой и могущественный толчокъ...

Такимъ образомъ мы подошли къ послѣднему и страшному періоду въ жизни нашего поэта, періоду, предъ явленіями котораго смолкаютъ всѣ чувства, кромѣ глубочайшаго состраданія и удивленія...

VI.

страницахъ настоящаго очерка намъ неоднократно уже прихо-
встрѣчаться съ проявленіями болѣзни Гейне, проявленіями въ
сильныхъ головныхъ болей, общаго нервнаго разстройства,
ія глазъ почти до слѣпоты, парализаціи руки и т. п. Такъ

какъ нѣкоторые изъ этихъ симптомовъ начали обнаруживаться уже въ раннеи молодости поэта, то безспорно, что болѣзнь лежала въ самомъ организмѣ его. Но мы видѣли, какъ, тоже въ молодости, помогалъ онъ самъ ея развитію непомѣрнымъ потворствомъ своей чувственности; и такъ какъ оно продолжалось почти въ такой же степени и далеко за предѣлами молодыхъ лѣтъ, то нисколько не удивительно, что рядомъ съ нимъ шло и развитіе болѣзни. Уже очень незадолго до ссоры съ двоюроднымъ братомъ писалъ онъ одному изъ друзей, что лѣвый глазъ у него совсѣмъ закрылся, а въ правомъ зрѣніе тоже помутилось; сильное потрясеніе, произведенное этою несчастною исторіею о наслѣдствѣ, двинуло болѣзнь впередъ исполинскими шагами. Недовольный парижскими докторами, хотя одинъ изъ нихъ, Гюби, много сдѣлалъ для облегченія его мученій, онъ думалъ ѣхать въ Берлинъ, чтобы посовѣтоваться съ знаменитымъ Диффенбахомъ, но не будучи увѣренъ, что личной безопасности его не предстоитъ ничего «непріятнаго» со стороны прусской полиціи, обратился за посредничествомъ къ одному изъ своихъ доброжелателей, великому натуралисту Александру Гумбольдту, который въ ту пору былъ въ большой милости у прусскаго короля; отвѣтъ получился отрицательный: Гумбольдту, несмотря на его усиленное ходатайство, отказали, и отказали такъ рѣшительно (не король, а высшая полиція, предъ которою и государь оказался безсиленъ), что, писалъ онъ поэту, «я считаю долгомъ просить васъ не вступать на прусскую землю». Между тѣмъ болѣзнь усиливалась; пальцы и правая нога утратили чувствительность, вслѣдствіе чего затруднилась способность движенія. Доктора послали больного на воды въ Барежъ; ему стало еще хуже. «Мои органы,—писалъ онъ снова, — такъ ослабѣли, что я не могу писать; вотъ уже четыре мѣсяца, какъ не ѣмъ ничего, потому что трудно жевать и нѣтъ никакого ощущенія вкуса. Я тоже ужасно исхудалъ, бѣдный животъ мой плачевно уничтожился и,—прибавлялъ онъ, находя и въ это время возможность шутить и острить, — я сдѣлался похожъ на тощаго одноглазаго Аннибала...»

Но не только смѣяться могъ онъ среди невыносимыхъ стра-

даній: чувство жизни, жажда наслаждаться ею были такъ велики, что уже одно воспоминаніе о недавнемъ удовлетвореніи этой жажды доставляло ему отраду: «сладкое сознанье, — говорилъ онъ въ томъ же самомъ письмѣ, — что я велъ до сихъ поръ прекрасную жизнь, наполняетъ мою душу даже въ это печальное время и вѣроятно не оставитъ меня въ самые послѣдніе часы»... Мало того: такъ сильны были въ немъ чисто чувственныя склонности, что и теперь, совершенно разбитый, онъ сожалѣлъ, что хотя цѣлуетъ свою Матильду, но вслѣдствіе паралича губъ «не чувствуетъ ничего», и даже нѣсколько лѣтъ спустя, когда физическія муки его достигли апогея, выражалъ сѣтованіе и скорбь, что не существуетъ уже «для него прекрасныхъ горныхъ вершинъ, на которыя онъ могъ бы взбираться, и прекрасныхъ женскихъ губокъ, которыя онъ могъ бы цѣловать»... Но само собой разумѣется, что такія минуты, такія ощущенія бывали рѣдки: страшныя физическія боли господствовали надо всѣмъ, и, какъ нашъ Некрасовъ, находившійся почти въ такомъ же положеніи, писалъ: «хорошо умереть — тяжело умирать», точно такъ же, буквально такъ же, Гейне находилъ ужаснымъ «не смерть (если вообще она существуетъ, — прибавлялъ онъ), а умираніе»... Навѣстившій его въ началѣ 1847 г. Лаубе нашелъ друга страшно измѣнившимся, высохшимъ какъ скелетъ, обросшимъ сѣдой бородой, потому что нервная раздражительность не позволяла бритвѣ дотрагиваться до лица (до тѣхъ поръ Гейне очень гладко брился), съ сухими, въ безпорядкѣ спускавшимися на лобъ волосами, съ судорожно двигавшимися губами, съ напряженно поднятою вверхъ головою, такъ какъ зрачокъ праваго, единственно уцѣлѣвшаго, глаза могъ видѣть только сквозь открытую узкую щель между вѣками. Ожиданіе смерти среди такихъ страданій не мѣшало сохраненію необычайной бодрости духа, только по временамъ уступавшей мѣсто грачному отчаянію, и ненарушимой ясности ума въ соединеніи съ прежнимъ живымъ интересомъ относительно политическаго соціальнаго хода вещей. Это проявилось очень наглядно въ февральской революціи 1848 г., вспыхнувшей въ то время, болѣзнь поэта приняла еще болѣе острый и мучитель

ный поворотъ. Правда, что сочувственное отношеніе къ «великимъ февральскимъ днямъ», какъ онъ называлъ ихъ, скоро смѣнилось у него скептическимъ, пессимистическимъ воззрѣніемъ при созерцаніи дѣйствій «временнаго правительства», въ средѣ котораго онъ находилъ многихъ «жалкихъ комедьянтовъ», замѣчая, что никогда еще «народъ, великій сирота, не вынималъ изъ революціонной урны пустыхъ билетовъ, болѣе ничтожныхъ, чѣмъ эти временные правители»; но это не уничтожало въ немъ,—котораго, по замѣчанію Штродтмана, даже страшная болѣзнь не могла сдѣлать консервативнымъ,—не уничтожало стремленія слѣдить за всѣмъ происходившимъ и глубокаго сожалѣнія о томъ, что переживать такое событіе, какъ февральскій переворотъ, ему приходилось въ такомъ печальномъ, безпомощномъ положеніи; «мнѣ слѣдовало бы,—писалъ онъ,—быть въ это время мертвымъ или здоровымъ». Главный интересъ его возбуждали не французскія дѣла, а тѣ результаты, которые они вызывали въ Германіи; «но,—писалъ онъ,—я не могу заниматься ими много, потому что получаемыя мною изъ отечества печальныя извѣстія дѣйствуютъ на меня такъ раздражительно, что мое здоровье только ухудшается каждый разъ, какъ дойдетъ до меня такая вѣсть»... Близкое приниманіе къ сердцу этихъ событій выразилось у него въ формѣ нѣсколькихъ корреспонденцій въ ту же «Allgemeine Zeitung» и нѣсколькихъ стихотвореній ѣдко-сатирическаго характера; но за перо публициста взялся онъ теперь уже въ послѣдній разъ, потому что этотъ 1848 годъ былъ и самымъ роковымъ въ ходѣ болѣзни поэта. Въ маѣ этого года вышелъ онъ изъ дома на прогулку, полуслѣпой, полухромой, и то была послѣдняя прогулка его: онъ вернулся домой для того, чтобы никогда уже не выйти на улицу, чтобы остаться прикованнымъ къ постели до самой смерти. Есть своего рода глубокій трагизмъ въ томъ обстоятельствѣ, что мѣсто, куда онъ зашелъ на этотъ разъ и откуда привезли его полуживого на квартиру, было то отдѣленіе Луврской галлереи, гдѣ хранятся произведенія античной скульптуры. Здѣсь, какъ разсказываетъ Мейснеръ—и при этомъ мы невольно вспоминаемъ «Флорентинскія Ночи» нашего поэта, гдѣ онъ, ребенокъ, является влю-

бленнымъ въ статую—здѣсь онъ остановился предъ статуею Венеры Милосской, долго упивался созерцаніемъ ея и, наконецъ, горько, горько заплакалъ. «А прекрасныя губы богини улыбались, какъ всегда, и предъ нею рыдала ея несчастная жертва»!..

Какъ ни сильны были до сихъ поръ физическія страданія поэта, теперь они еще увеличились: болѣзнь была такого рода, что могла идти только прогрессируя, но въ то же время медленно приближаясь къ развязкѣ. «Вотъ уже три мѣсяца,—писалъ онъ въ это время,—какъ я терплю такія муки, какихъ не могла выдумать даже испанская инквизиція. Эта живая смерть, эта не-жизнь совершенно невыносима, когда къ ней присоединяются боли»... И все не переставая тутъ же шутить и острить надъ собою, онъ сообщалъ публикѣ, чрезъ посредство нѣмецкой газеты, что иногда въ минуты слишкомъ ужъ сильныхъ судорогъ въ спинномъ мозгу, на него «находило сомнѣніе, дѣйствительно ли человѣкъ, двуногій богъ, какъ увѣрялъ его профессоръ Гегель въ Берлинѣ». «Ахъ,—прибавлялъ онъ,—я уже не божественное двуногое... я уже не наслаждающійся жизнью, довольно толстый эллинъ, нѣкогда улыбавшійся печальнымъ назарянамъ; я въ настоящее время только жалкій, умирающій еврей, я высохшій образъ скорби»!..

Для того, чтобы больной могъ хоть нѣсколько забываться, ему давали ежедневные пріемы опія; слѣпота его усилилась, такъ что когда хотѣлъ онъ взглянуть на кого-нибудь, входившаго въ его комнату, то долженъ былъ съ усиліемъ приподымать верхнее вѣко праваго глаза; ноги изсохли и сдѣлались мягкія, какъ хлопчатая бумага; позвоночный столбъ сталъ все больше и больше искривляться, и для уменьшенія этого мѣстнаго страданія приходилось прибѣгать къ прижиганіямъ. И въ это время черты лица его, разсказываетъ бывшій у него писатель Левинъ Шюкингъ, «какъ-то просвѣтлѣли, одухотворились: ыла голова безконечной красоты, настоящая голова Христа, ыбкой Мефистофеля, по временамъ пробѣгавшей по этимъ мъ высохшимъ губамъ». Нисколько не удивительно пото если въ это самое время поэтъ писалъ: «жизнь для ки потеряна, а я вѣдь люблю жизнь такъ горяче

такъ страстно», если и въ нѣсколькихъ, относящихся къ этой порѣ, стихотвореніяхъ, высказывалось то же чувство — то все-таки, говоримъ, нисколько не удивительно, что не разъ приходила ему мысль о самоубійствѣ, и судя по его собственнымъ словамъ, его руку (въ распоряженіи которой всегда находились опіумъ и карманный кинжалъ) удерживала только мысль о любимой женѣ и о многихъ произведеніяхъ, которыя ему нужно было кончить; правда, что къ женѣ онъ прибавлялъ и попугая: «не будь у меня жены и попугая, я—Господи прости мнѣ этотъ грѣхъ! — покончилъ бы съ собою, какъ римлянинъ!» Доктора, и особенно д-ръ Гюби, дѣлали все возможное, чтобы умѣрить его страданія; не видя радикально благопріятныхъ результатовъ, которые были и невозможны, больной принялся самъ читать разныя медицинскія сочиненія, чтобы узнать ближе свойство своей болѣзни; но и тутъ иронизировалъ надъ собой, какъ иронизировалъ надъ всѣмъ: «мои медицинскія занятія,— говорилъ онъ,—принесутъ мнѣ мало пользы; самое большое, что я пріобрѣлъ, это возможность читать на небѣ лекціи, чтобы доказать моимъ слушателямъ, какъ дурно лѣчатъ врачи на землѣ размягченіе спинного мозга». А когда одинъ изъ докторовъ предложилъ ему еще новое успокоительное средство, то больной сдѣлалъ возраженіе, которое, думаемъ, заключаетъ въ себѣ хорошее объясненіе сущности его болѣзни вообще, съ самаго начала ея возникновенія. «Положимъ,—сказалъ онъ,—ваше средство успокоитъ мой бѣшенный подвздошный нервъ, но зато начнутъ неистовствовать другіе... Мои нервы совсѣмъ особенные—это удивительные, несчастные нервы; если бы ихъ отправить на всемірную выставку, имъ бы непремѣнно присудили большую золотую медаль за способность причинять всевозможныя боли и страданія»...

При той общительности, которая была такъ сильно развита въ поэтѣ, когда общеніе приходилось ему имѣть съ симпатичными людьми, большое развлеченіе и утѣшеніе во время болѣзни доставляли ему визиты близкихъ знакомыхъ и друзей, особенно дамъ, «великой націи», какъ онъ называлъ женщинъ, въ компаніи которыхъ онъ и теперь веселѣлъ, даже молодѣлъ. Въ

числѣ ихъ бывали такія личности, какъ Жоржъ Сандъ, мадамъ Жирарденъ и др.; изъ обыкновенныхъ смертныхъ прекраснаго пола, доставлявшихъ въ это время больному много свѣтлыхъ минутъ и окружавшихъ его самыми нѣжными заботами и баловствомъ, которое теперь было необходимо ему, какъ ребенку, надо упомянуть съ особенною благодарностью о мадамъ Жоберъ, женѣ члена парижскаго кассаціоннаго суда, державшей въ Парижѣ «салонъ», гдѣ сходились выдающіеся дѣятели литературы, науки и искусства и гдѣ постоянно бывалъ у нея и Гейне; теперь, во время болѣзни поэта, присутствіе ея было такъ благотворно для него, что даже Матильда, женщина очень ревнивая и даже въ эту пору не долюбливавшая всѣхъ этихъ усердныхъ посѣтительницъ, прозвала мадамъ Жоберъ «маленькой феей» и находилась съ ней въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Изъ мужчинъ навѣщали страдальца болѣе или менѣе часто Дюма, Жераръ де-Нерваль, Теофиль Готье, Беранже, Лассаль, а когда пріѣзжали въ Парижъ тѣ изъ соотечественниковъ Гейне, съ которыми онъ не переставалъ поддерживать дружескія связи, то они бывали постоянными гостями его; такъ, нерѣдко видѣлъ онъ у себя Лаубе, Мейснера, Адольфа Штара, Геббеля и др., по временамъ приносившихъ ему съ родины отрадныя для его литературнаго самолюбія вѣсти, напримѣръ, что множество его «пѣсенъ», клавшихся на музыку лучшими композиторами, распѣвались по всей Германіи, что онѣ сдѣлались такимъ образомъ достояніемъ народной массы.

Но при всѣхъ страданіяхъ, больной сохранялъ удивительную мощь духа, необычайную ясность и крѣпость мышленія; можно даже сказать, что его умственное и духовное здоровье усиливалось по мѣрѣ того, какъ все больше и больше разрушался физическій организмъ. Это обнаруживалось не только въ его бесѣдахъ, которыя, когда больной могъ говорить, сверкали остротою, свѣжестью, глубиною, разнообразіемъ, но и въ литера-
й производительности, которая не прекращалась до самой
и. «Мое тѣло,—писалъ онъ,—терпитъ великія муки, но
спокойна, какъ зеркало, и по временамъ имѣетъ еще свои
е восходы и закаты солнца». Кромѣ произведеній пол-

занческихъ, каковы «Боги въ изгнаніи», «Стихійные Духи», «Признанія» и нѣсколькихъ другихъ статей, на этомъ одрѣ страданій, въ этой «матрацной могилѣ» (Matratzengruft), какъ называлъ поэтъ со своимъ ужаснымъ юморомъ тѣ двѣнадцать матрацовъ, на которыхъ онъ лежалъ—возникли удивительныя, то потрясающія по своему трагизму, то чарующія своей задушевной прелестью, то мрачно отчаянныя, то тихо задумчивыя и скорбныя стихотворенія, составившія циклы «Романцеро», «Лазарь», «Послѣднія Стихотворенія», и по примѣненію къ которымъ онъ имѣлъ полное право сказать: «Какъ ослѣпленная ласточка, я буду пѣть тѣмъ прекраснѣе»... Понятно, что преобладающій тонъ во всемъ, несмотря на разнообразіе звуковъ и мотивовъ, былъ тонъ безнадежнаго пессимизма, и никто не охарактеризовалъ сущности этихъ произведеній лучше самого автора, когда на замѣчаніе Мейспера: «Какіе стихи! какіе звуки! еще никогда не писали вы ничего подобнаго, и никогда ничего подобнаго не слыхалъ я!»—поэтъ отвѣчалъ: «Не правда ли? Да, я самъ знаю—это прекрасно, ужасающе прекрасно! Это жалоба, выходящая какъ бы изъ гроба, тутъ кричитъ во тьмѣ заживо погребенный. Да, да, такихъ звуковъ еще не слышала нѣмецкая лирика, да и не могла ихъ слышать, потому что до сихъ поръ ни одинъ поэтъ не находился въ такомъ положеніи».

Къ этому же времени относится работа, которую мы уже неоднократно цитировали, но о которой умышленно до сихъ поръ не говорили—именно «Мемуары». Вся исторія съ этимъ трудомъ, отъ котораго общимъ достояніемъ осталось очень небольшое число страницъ, имѣющихъ дѣло только съ дѣтскими годами автора—исторія очень странная и темная. Сущность ея въ короткихъ словахъ слѣдующая. Писаніемъ мемуаровъ Гейне занимался давно, и въ 1840 г. у него было приготовлено уже матеріала на цѣлыхъ четыре тома. Затѣмъ, вслѣдствіе извѣстнаго намъ обязательства поэта предъ Карломъ Гейне, а также, какъ онъ самъ объясняетъ, перемѣны въ его религіозныхъ убѣжденіяхъ, которыя въ этой первой редакціи мемуаровъ представлялись съ совершенно атеистическимъ характеромъ, трудъ подвергся радикальной переработкѣ и сокращеніямъ почти

наполовину, и въ 1854 г., сообщая объ этомъ своему издателю Кампе, авторъ выражалъ надежду уже въ этомъ году окончить бо́льшую часть и немедленно выпустить ихъ въ свѣтъ. Но это не осуществилось, и еще въ 1855 г., даже за нѣсколько дней до смерти, мы видимъ поэта усердно пишущимъ все тѣ же записки. Рукопись (объемъ ея, по словамъ Мейснера, видѣвшаго ее уже послѣ смерти автора, но именно только видѣвшаго, а не читавшаго, даже не просматривавшаго, такъ что, можетъ-быть, тутъ было много и другого «посмертнаго», составлялъ около 600 писанныхъ листовъ) рукопись осталась во владѣніи вдовы. Почему она не приступала къ печатанію «Мемуаровъ», хотя бы съ исключеніемъ всего того, что̀ касалось родственниковъ (вѣдь не объ однихъ же нихъ говорилось, конечно, въ запискахъ), для насъ неизвѣстно и непонятно уже потому, что опубликованіе такого труда доставило бы ей значительную матеріальную выгоду; но что еще въ 1867 г., т. е. черезъ одиннадцать лѣтъ послѣ смерти поэта, Мемуары были въ рукахъ Матильды, видно изъ ея собственнаго заявленія, что въ этомъ году Максимиліанъ Гейне (врачъ русской службы), пріѣхавъ въ Парижъ, былъ у нея, читалъ Мемуары и тутъ же самовольно уничтожилъ значительную часть ихъ; это же подтверждается свидѣтельствомъ одного изъ родственниковъ поэта, что Матильдѣ едва удалось вырвать изъ рукъ Максимиліана нѣсколько листовъ, которые впослѣдствіи были напечатаны. Прельсъ дѣлаетъ по этому поводу слѣдующее замѣчаніе:

«Подобное насильственное посягательство на цѣнную собственность женщины, которая заводила уже два процесса изъ-за литературнаго наслѣдства своего мужа, и притомъ еще въ чужомъ государствѣ, было слишкомъ опасно, чтобы можно было рѣшиться на него. Я скорѣе убѣжденъ, что Максимиліанъ Гейне получилъ большую часть Мемуаровъ только съ согласія вдовы, [illegible]вѣстное вознагражденіе — и что онъ или дѣйствительно [illegible]тожилъ ихъ, или оставилъ у себя на сохраненіи. Въ пользу [illegible]дняго предположенія говоритъ то обстоятельство, что въ [illegible]инаніяхъ» Максимиліана, написанныхъ уже послѣ по[illegible]мъ Матильды, онъ говоритъ о «находящихся еще въ

рукописи Мемуарахъ». Быть-можетъ, эта выдача Мемуаровъ Максимиліану находилась въ связи съ духовнымъ завѣщаніемъ умершаго въ 1865 г. Карла Гейне, гдѣ былъ пунктъ объ удвоеніи пенсіи Матильды. Что Максимиліанъ Гейне предоставилъ ей для напечатанія небольшую часть записокъ, объясняется по нашему мнѣнію тѣмъ, что въ этой части блестящимъ образомъ была опровергнута укизительная характеристика отца поэта, сдѣланная Штродтманомъ въ его біографіи. Матильда же не напечатала и эту часть при своей жизни, потому что уже прежде обязалась Карлу Гейне вообще не печатать ни одной строки Мемуаровъ до тѣхъ поръ, пока ей аккуратно будетъ выплачиваться пенсія»...

Только послѣ ея смерти, перешедшая въ собственность бывшаго секретаря Гейне, г. Юлія, часть Мемуаровъ была продана за 16.000 фр. издателю журнала «Gartenlaube», гдѣ она вскорѣ послѣ того и появилась, но съ сокращеніями и измѣненіями, соотвѣтственно характеру журнала; въ исправленномъ видѣ она появилась въ 1884 г. отдѣльнымъ изданіемъ.—Читатель видитъ такимъ образомъ, что многое въ этой исторіи остается неразъясненнымъ, между прочимъ и вопросъ—почему, если рукопись Мемуаровъ дѣйствительно существуетъ, собственники ея держатъ ее взаперти, а не выпускаютъ въ свѣтъ, съ исключеніемъ всего того, что можетъ быть такъ или иначе оскорбительно для ихъ семейной чести?.. Какъ бы то ни было, но въ пользованіи публики остается покамѣстъ только ничтожная часть этого труда—ничтожная въ количественномъ и не особенно важная въ качественномъ отношеніи. Что касается до тона, въ которомъ были написаны всѣ уничтоженныя теперь, или хранящіяся въ чьихъ-нибудь шкапахъ страницы, то о немъ можно судить по тому, что, уже дописывая послѣднія строки, Гейне съ жестокимъ смѣхомъ сказалъ присутствовавшей при этомъ женщинѣ: «Теперь они (т. е. тѣ, о которыхъ шла рѣчь въ Мемуарахъ) въ моихъ рукахъ. Мертвыми или живыми—я уже не выпущу ихъ. Берегись всякій, кто будетъ читать эти строки, если онъ осмѣливался когда-либо нападать на меня! Гейне не умираетъ, ъ первый встрѣчный, и когти тигра переживаютъ тигра»...

Женщина, о которой мы только-что упомянули, была та, которая могла въ этомъ, уже совершенно разрушенномъ организмѣ, весьма незадолго до его смерти, вызвать страстную, даже—какъ это ни удивительно—чувственную любовь, ибо только въ такомъ состояніи можно было писать: «я мертвецъ, томящійся жаждой по самымъ огненнымъ наслажденіямъ, какія доставляетъ жизнь... это ужасно»... Въ стихотвореніяхъ, вызванныхъ этою послѣднею страстью, предметъ ея обезсмертенъ подъ именемъ «мушки» (la mouche); имя ея—Камилла Сельденъ — сдѣлалось извѣстно послѣ изданія ею воспоминаній о послѣднихъ дняхъ жизни поэта. Не останавливаясь здѣсь на касающихся ея біографическихъ подробностяхъ, замѣтимъ только, что она была нѣмецкаго происхожденія, съ самыхъ молодыхъ лѣтъ сдѣлалась горячею поклонницею нашего поэта и, пріѣхавъ въ 1855 г. въ Парижъ (ей было въ то время около тридцати лѣтъ), тотчасъ же явилась къ больному съ порученіемъ отъ одного знакомаго изъ Вѣны, явилась въ ту пору, когда физическія страданія несчастнаго достигли высшей степени, когда онъ чувствовалъ себя очень одинокимъ и когда онъ писалъ: «я боленъ, какъ собака, и борюсь со смертью и болями, какъ кошка; кошки, къ сожалѣнію, живучи»... Мейснеръ свидѣтельствуетъ о красотѣ этой женщины, о соединеніи въ ней самымъ прелестнымъ образомъ французскаго ума и остроумія съ нѣмецкой теплотою и задушевностью, и т. п., и мы не сомнѣваемся въ справедливости этихъ свѣдѣній, потому что нужны были большія физическія и умственныя достоинства, чтобы въ такомъ положеніи, въ какомъ находился поэтъ, вызвать въ немъ такую сильную привязанность: безъ своей «мушки» онъ не могъ теперь прожить ни одного дня, писалъ ей самыя нѣжныя и страстныя записки, слагалъ въ ея честь чудесныя пѣсни, диктовалъ ей свои произведенія, разсказывалъ свои воспоминанія... Любовь
ушкѣ» нисколько, однако, не мѣшала поэту сохранять глу-
нѣжность относительно своей Матильды; надо упомянуть
что почти одновременно съ этимъ своимъ послѣднимъ
мъ Гейне находилъ утѣшеніе—лишенное впрочемъ, уже
трастнаго характера — въ обществѣ другой женщины,

съ которой онъ познакомился лѣтъ за двадцать до этого времени, въ Булони, когда ей было всего лѣтъ двѣнадцать, и которую поэтъ тѣшилъ тогда сказками и разсказами, выдумывавшимися имъ собственно для нея. Съ тѣхъ поръ они не видѣлись; но пріѣзжая въ Парижъ въ послѣдніе годы жизни Гейне, она (фамилія ея осталась неизвѣстною, имя—Люси) поспѣшила навѣстить его и была принята самымъ привѣтливымъ образомъ. Въ годъ, предшествовавшій смерти Гейне, она снова пріѣхала въ Парижъ, по желанію больного, бывала у него почти каждый день, вела съ нимъ бесѣды о предметахъ политическихъ, религіозныхъ, литературныхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ получала отъ него шутливыя прозвища въ родѣ «высокочтимое великобританское божество» (она была нѣмка и жила въ Англіи), причемъ себя называлъ «вѣрноподданнѣйшимъ и преданнѣйшимъ обожателемъ ея», слышала отъ него такія слова: «я теперь примирился со всѣмъ міромъ и пересталъ, наконецъ, роптать на Бога, Который посылаетъ мнѣ тебя, какъ прекраснаго ангела смерти; я безъ всякаго сомнѣнія скоро умру»...

И трудно было ему сомнѣваться въ близкомъ окончаніи страданій: они дѣлались совершенно невыносимыми, и только его безпримѣрная сила духа позволяла ему не только стоически относиться къ нимъ и предстоявшей скоро развязкѣ, но и теперь оставаться неисправимымъ юмористомъ. «Pouvez vous siffler?» спрашиваетъ его докторъ (т. е. «можете ли вы свистѣть?») и получаетъ въ отвѣтъ: «Hélas, non, pas même les pièces de monsieur Scribe» (т. е. «не могу даже освистывать пьесы Скриба», такъ какъ по-французски siffler значитъ свистать и освистывать). Или онъ грозитъ принести обществу покровительства животныхъ жалобу на жестокое обращеніе съ нимъ неба. Или, за нѣсколько дней до своей смерти, на вопросъ посѣтителя: «примирился ли онъ съ небомъ», отвѣчаетъ: «не безпокойтесь — Dieu me pardonnera, c'est son métier»... Въ первыхъ числахъ февраля 1856 г. съ нимъ начали все чаще и чаще дѣлаться обмороки, судороги, рвота. Но онъ не переставалъ работать и еще 13 числа писалъ шесть часовъ сряду; на увѣщанія, что такія усиленныя занятія очень вредны для него,

онъ, писавшій теперь Мемуары, отвѣчалъ, что для окончанія ихъ ему нужно всего еще дня четыре—(доказательство, что Мемуары были доведены имъ почти до конца). 16-го, послѣ обѣда, онъ сказалъ: «бумаги и карандашъ!»—Но то были послѣднія слова его. Карандашъ выпалъ изъ рукъ, началась мучительная агонія, и 17 февраля, въ три четверти четвертаго утромъ, великій поэтъ и великій страдалецъ успокоился навѣки. «Меня ввели,—разсказываетъ Камилла Сельденъ,—въ безмолвную комнату, гдѣ, подобное статуѣ на гробницѣ, тѣло лежало въ торжественной неподвижности смерти. Ничего уже человѣческаго въ этихъ холодныхъ останкахъ, ничего уже напоминающаго того, кто любилъ, ненавидѣлъ, страдалъ: только античная маска, на которую послѣднее успокоеніе наложило ледяную печать надменнаго равнодушія; блѣдное, точно изваянное изъ мрамора, лицо, правильныя черты, такъ сказать, обожествленныя, наводили на мысль о какой-нибудь великолѣпной аллегоріи»...

За пять лѣтъ до смерти, въ одномъ изъ своихъ завѣщаній, (онъ написалъ ихъ нѣсколько), поэтъ, торжественно заявляя, что онъ умираетъ въ вѣрѣ въ единаго Бога, Творца міра, Котораго молитъ о состраданіи къ его безсмертной душѣ, и что по метрическому свидѣтельству онъ принадлежитъ къ лютеранской религіи, выражалъ, однако, волю, чтобы похоронили его безъ всякой церковной церемоніи и безъ участія духовенства, чтобъ не вскрывали его трупа и на могилѣ не произносили никакихъ рѣчей. Все это было исполнено въ точности, точно такъ же какъ и прежнее распоряженіе его — похоронить на Монмартрскомъ кладбищѣ. Въ холодное и сырое утро небольшой кружокъ друзей, между которыми были: Дюма, Теофиль Готье, Поль Сенъ-Викторъ, историкъ Минье и нѣсколько нѣмецкихъ журналистовъ, опустилъ многострадальнаго поэта въ могилу,—и нѣсколько времени спустя, иждивеніемъ Матильды, воздвигся здѣсь скромный мятникъ, съ вырѣзанными на плитѣ его двумя простыми, но огознаменательными словами: «Henri Heine»... Въ 1900 г. ъ былъ замѣненъ новымъ, сдѣланнымъ въ Римѣ по заказу трійской императрицы, супруги Франца-Іосифа, погибшей такъ чески отъ руки убійцы. Императрица была восторженной

поклонницей нашего поэта и на островѣ Корфу давно уже почтила его память великолѣпнымъ мавзолеемъ съ художественными изваяніями его фигуры и нѣсколькихъ дѣйствующихъ лицъ его произведеній. Зато въ Германіи, въ отчизнѣ поэта, нигдѣ не найдете вы даже чего-нибудь похожаго на памятникъ тому, чье имя должно служить украшеньемъ и гордостью этой страны. Мало того—тамъ до сихъ поръ, въ разныхъ кругахъ общества, раздается гнусное и глупое шипѣніе умственнаго и нравственнаго потомства тѣхъ, которыхъ такъ безпощадно карала сатира великаго поэта. Такъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда небольшой кружокъ изъ тѣхъ нѣмцевъ, которые понимаютъ великое значеніе Гейне, какъ поэта и какъ гражданина всего міра и своего собственнаго отечества, нашелъ, что Германія не исполняетъ одного изъ своихъ настоятельнѣйшихъ и благороднѣйшихъ долговъ, не ставя до сихъ поръ памятника автору «Путевыхъ Картинъ», «Сѣвернаго моря», «Книги Пѣсенъ», и когда составился комитетъ для сбора пожертвованій, — то начались протесты, столько же высоко-комичные, сколько глубоко-печальные. Такъ, муниципальный совѣтъ того города, гдѣ поэтъ родился и который онъ обезсмертилъ навсегда увлекательнѣйшими поэтическими страницами своего «Путешествія на Гарцъ», энергически воспротивился сооруженію памятника въ Дюссельдорфѣ, на томъ основаніи, что этотъ «безнравственный» человѣкъ и поэтъ принадлежалъ, въ добавокъ, къ еврейскому племени! Такъ, когда затѣмъ выборъ членовъ Комитета палъ на Майнцъ, то «Майнцкая Газета», главный органъ противной и господствующей партіи, разразилась протестующей тирадой, въ которой принимались въ соображеніе «извѣстная всѣмъ фривольность этого писателя, его ненависть къ религіи, презрѣніе къ нѣметчинѣ» и т. д. и т. д. Но, несмотря на комичность и гнусность этой оппозиціи, она однако все-таки привела къ тому, что дѣло было положено «подъ сукно», и Богъ вѣсть, когда выйдетъ оттуда,—какъ остается до сихъ поръ «подъ сукномъ» мысль о сооруженіи въ Англіи памятника другому страшному грѣшнику—Байрону... «Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu...»

Петръ Вейнбергъ.

ДОБАВЛЕНІЕ.

Автобіографическій очеркъ.

(Письмо Гейне къ Филарету Шалю).

Парижъ, 11 января 1835 г.

Я только-что имѣлъ честь получить ваше письмо и спѣшу дать вамъ желаемыя вами свѣдѣнія.

Я родился въ 1800 г.*) въ Дюссельдорфѣ, городѣ на Рейнѣ, который съ 1806 по 1814 г. былъ занятъ французами, такъ что я въ дѣтствѣ дышалъ воздухомъ Франціи. Первое воспитаніе я получилъ въ дюссельдорфскомъ францисканскомъ монастырѣ. Затѣмъ я поступилъ въ гимназію этого города, которая тогда была переименована въ лицей. Тамъ я прошелъ всѣ тѣ классы, гдѣ преподавались humaniora, и особенно хорошо учился въ старшемъ классѣ, гдѣ ректоръ Шальмейеръ преподавалъ философію, профессоръ Крамеръ — классическую поэзію, профессоръ Бреверъ—математику и аббатъ Допуа—французскую реторику и поэтику. Эти люди еще живы, за исключеніемъ перваго, католическаго священника, который особенно заботился обо мнѣ, вслѣдствіе, кажется, того, что онъ былъ университетскимъ пріятелемъ брата моей матери, совѣтника Гельдерна, и потому, какъ я думаю, что мой дѣдушка, докторъ де-Гельдернъ, знаменитый [illegible] спасъ ему жизнь. Мой отецъ былъ негоціантъ, и до-[illegible]атъ. Моя мать, почтенная женщина, еще живетъ, уда-

*) [illegible]іографію вначалѣ. *Ред.*

лясь отъ большого свѣта. У меня есть сестра, Шарлотта де-Эмбденъ, и два брата, изъ которыхъ одинъ, Густавъ де-Гельдернъ (онъ принялъ фамилію моей матери) драгунскій офицеръ въ арміи е. в. императора австрійскаго, а другой, докторъ Максимиліанъ Гейне — врачъ въ русской арміи, съ которою онъ перешелъ Балканы. Мои учебныя занятія, прерванныя романическими прихотями, попытками устроиться, любовью и другими болѣзнями, были возобновлены въ 1819 г. въ Боннѣ и потомъ продолжались въ Геттингенѣ и Берлинѣ. Три съ половиною года я пробылъ въ Берлинѣ, гдѣ жилъ въ близкихъ сношеніяхъ съ самыми выдающимися въ наукахъ людьми и гдѣ страдалъ отъ разныхъ невзгодъ, между прочимъ отъ удара шпагою, нанесеннаго мнѣ нѣкимъ Шиллеромъ изъ Данцига, имя котораго я не забуду, потому что это единственный человѣкъ, сумѣвшій меня ранить самымъ чувствительнымъ образомъ. Я учился семь лѣтъ въ вышепоименованныхъ университетахъ, и въ Геттингенѣ, куда я возвратился изъ Берлина, была получена мною степень доктора правъ, послѣ экзамена и публичнаго диспута, на которомъ знаменитый Гуго, въ ту пору деканъ юридическаго факультета, не пощадилъ меня ни отъ одной схоластической формальности. Хотя этотъ послѣдній фактъ можетъ вамъ показаться довольно пустымъ, но я прошу васъ замѣтить его, потому что въ одной, недавно напечатанной противъ меня книгѣ, утверждаютъ, что мой университетскій дипломъ я купилъ. Изъ всѣхъ неправдъ, которыя печатались насчетъ моей частной жизни, эта—единственная, которую я желалъ бы видѣть опровергнутою. Какова гордость ученаго! Пусть говорятъ обо мнѣ, что я незаконнорожденный, сынъ палача, грабитель на большихъ дорогахъ, безбожникъ, плохой поэтъ—мнѣ все это смѣшно; но я терзаюсь, когда вижу, что осмѣиваютъ мое докторское достоинство (между нами будь сказано, я хоть и докторъ правъ, но юриспруденція именно та наука, которую я знаю гораздо меньше, чѣмъ другія). Въ шестнадцать лѣтъ я уже началъ писать стихи. Мои первыя стихотворенія были напечатаны въ Берлинѣ въ 1821 г. Два года спустя, появились новыя стихотворенія съ двумя трагедіями. Одна изъ трагедій была сыграна и освистана въ Брауншвейгѣ,

столицѣ герцогства этого имени. Въ 1825 г. появился первый томъ «Reisebilder». Три послѣдующихъ тома ихъ были напечатаны нѣсколько лѣтъ спустя у гг. Гофманъ и Кампе, которые и теперь издатели моихъ сочиненій. Время отъ 1826 до 1831 г. я жилъ поочередно въ Люнебургѣ, Гамбургѣ и Мюнхенѣ, и въ этомъ послѣднемъ городѣ редактировалъ съ моимъ другомъ Линднеромъ газету «Политическіе Анналы». Въ промежуткахъ я дѣлалъ поѣздки за границу. Уже двѣнадцать лѣтъ я всегда провожу осенніе мѣсяцы на берегу моря, обыкновенно на одномъ изъ маленькихъ острововъ Сѣвернаго моря. Я люблю море, какъ любовницу, и воспѣвалъ ея красоту и ея прихоти. Эти стихотворенія помѣщены въ нѣмецкомъ изданіи «Reisebilder». Изъ французскаго изданія я ихъ исключилъ, исключивъ также полемическую часть, которая касается родового дворянства, тевтомановъ и католической пропаганды. Что касается до дворянства, то объ этомъ вопросѣ я снова говорилъ въ моемъ введеніи къ книгѣ «Кальдорфъ о дворянствѣ», которую написалъ не я, какъ думаетъ нѣмецкая публика. А что касается тевтомановъ, этихъ vielles Allemagnes, патріотизмъ которыхъ состоялъ только въ слѣпой ненависти къ Франціи, то ихъ я неутомимо преслѣдовалъ во всѣхъ моихъ писаніяхъ. Это вражда, начавшаяся еще въ ту пору, когда я принадлежалъ къ корпораціи буршества. Въ то же время я воевалъ противъ католической пропаганды нѣмецкихъ іезуитовъ, дѣлая это какъ для наказанія тѣхъ клеветниковъ, которые первые напали на меня, такъ и для удовлетворенія протестантскимъ склонностямъ. Эти склонности, правда, иногда могли завлекать меня слишкомъ далеко, потому что протестантство было для меня не только либеральною религіею, но и точкою отправленія нѣмецкой революціи, и къ вѣроисповѣданію лютеранскому я принадлежалъ не только по метрическому свидѣтельству, но и по боевому энтузіазму, который заставлялъ ня принимать участіе въ борьбѣ этой воинствующей церкви. цищая соціальные интересы протестантизма, я вмѣстѣ съ тѣмъ когда, однако, не скрывалъ своихъ пантеистическихъ симпатій. за этого меня обвиняли въ атеизмѣ. Соотечественники мало ціе или злонамѣренные давно уже стали распространять

извѣстіе, что я надѣлъ сенъ-симонистскій кафтанъ; другіе жалуютъ меня въ послѣдователя юдаизма. Сожалѣю, что я не всегда имѣю возможность вознаграждать за такія услуги. Я никогда не курилъ; не люблю также пива, а кислую капусту я въ первый разъ поѣлъ только во Франціи. Въ литературѣ я пробовалъ свои силы на всемъ. Я сочинялъ поэмы лирическія, эпическія и драматическія, я писалъ объ искусствѣ, о философіи, о богословіи, о политикѣ... Да проститъ мнѣ Господь! Вотъ уже двѣнадцать лѣтъ, какъ обо мнѣ толкуютъ и спорятъ въ Германіи; хвалятъ меня и бранятъ меня, но всегда страстно и безпрерывно. Тамъ меня любятъ, ненавидятъ, *апофеозируютъ*, поносятъ. Съ мая 1831 г. я живу во Франціи. За четыре года я не слышалъ ни одного нѣмецкаго соловья.

Довольно. Я становлюсь грустенъ. Если вы попросите еще свѣдѣній, дамъ ихъ вамъ очень охотно. Предпочитаю, чтобъ вы ихъ спрашивали лично у меня. Говорите обо мнѣ хорошо, говорите хорошо о вашемъ ближнемъ, какъ учитъ Евангеліе,— и примите увѣреніе въ полномъ уваженіи, съ которымъ я — и проч.

ПУТЕВЫЯ КАРТИНЫ.

Часть первая.

ПУТЕШЕСТВІЕ НА ГАРЦЪ.

(1824 г.)

Ничто не постоянно такъ, какъ непостоянство; ничто не неизмѣнчиво такъ, какъ смерть. Каждое біеніе сердца наноситъ намъ новую рану, и жизнь была бы вѣчнымъ кровопролитіемъ, не будь на свѣтѣ поэзіи. Она даетъ намъ то, въ чемъ намъ отказываетъ природа: золотое время, которое не ржавѣетъ, весну, которая не отцвѣтаетъ, безоблачное небо и вѣчную юность.

Берне.

Черные фраки, чулочки,
Ловко скроенныя платья,
Приторно-сладкія рѣчи,
Ласки, лобзанья, объятья...

Ахъ, кабы души съ любовью,
Съ теплой любовью въ нихъ были!
Звуки ихъ ложныхъ страданій
До смерти мнѣ опостыли!..

Въ горы отъ васъ ухожу я,
Въ горы, гдѣ набожны люди,
Въ горы, гдѣ воздухъ свѣжѣе,
Легче гдѣ дышится груди;

Въ горы, гдѣ шепчутся ели,
Воды прозрачны, гремучи,
Весело птицы щебечутъ,
Гордо проносятся тучи.

Миръ вамъ, блестящія залы,
Гладкія дамы, мужчины!..
Въ горы!.. Оттуда взгляну я
Весело въ ваши долины!..

Городъ Геттингенъ, знаменитый своими колбасами и университетомъ, принадлежитъ королю ганноверскому и имѣетъ 999 домовъ, различныя церкви, повивальное заведеніе, обсерваторію, карцеръ, библіотеку и магистратскій погребъ, въ которомъ продается очень хорошее пиво. Ручей, протекающій здѣсь, называется Леною и лѣтомъ служитъ для купанья. Вода въ немъ очень холодна и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ такъ широка, что Людеру, для того чтобъ перескочить черезъ нее, нужно было хорошенько разбѣжаться. Самый городъ красивъ и больше всего нравится, если повернуться къ нему спиною. По всей вѣроятности, онъ построенъ уже очень давно; я хорошо помню, что когда, пять лѣтъ тому назадъ, получалъ я тамъ матрикулъ, то городъ имѣлъ уже тогда тотъ же самый сѣрый, стариковски-умный видъ и былъ до-полна начиненъ присяжными, педелями, диссертаціями, thés-dansants, прачками, компендіями, жареными голубями, гвельфскими орденами, чубуками съ трубками, гофратами, юстицратами, релегаціонсратами, профаксами и другими различными факсами. Нѣкоторые утверждаютъ даже, что городъ построенъ во время переселенія народовъ и что каждая отрасль германскаго племени оставила здѣсь по одному растрепанному экземпляру своихъ членовъ, откуда и произошли вандалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюринги и т. д., которые до сихъ поръ, различаясь только цвѣтомъ шапокъ и трубокъ, шляются толпами по Вендской улицѣ, вѣчно дерутся между собою на кровавыхъ поляхъ битвы—Разенмюлэ, Ритшенкругѣ и Бовденѣ, руководятся тѣми же нравами и обычаями, какіе были во время переселенія народовъ, и управляются частію вождями, которыхъ они называютъ старшими пѣтухами, частію старымъ сводомъ законовъ, называемымъ Комментомъ и заслуживающимъ имѣть мѣсто въ legibus barbarorum.

Вообще геттингенскіе жители раздѣляются на студентовъ, профессоровъ, филистеровъ и скотовъ; всѣ они немногимъ различаются между собою. Классъ скотовъ самый значительный. Было бы черезчуръ подробно исчислять здѣсь имена всѣхъ студентовъ и ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ; притомъ же, въ настоящую минуту, я не при-

помню именъ всѣхъ студентовъ, а между профессорами есть такіе, которые покамѣстъ не имѣютъ никакого имени. Число геттингенскихъ филистеровъ должно быть очень велико; ихъ такъ много, какъ песку, или, лучше сказать, какъ грязи въ морѣ, и право, когда утромъ я вижу ихъ стоящими передъ дверьми университетскаго суда, съ ихъ грязными лицами и бѣлыми счетами въ рукахъ, то едва понимаю, какъ Богъ могъ сотворить столькихъ бездѣльниковъ.

Подробности о Геттингенѣ можно найти въ топографіи его, составленной К. Ф. Г. Марксомъ. Несмотря на то, что я питаю священнѣйшую признательность къ автору, бывшему моимъ докторомъ и доказавшему мнѣ свою любовь, я все-таки не могу безусловно хвалить его сочиненіе и долженъ порицать его за то, что онъ не достаточно сильно опровергаетъ ложное мнѣніе, будто у геттингенскихъ женщинъ слишкомъ большія ноги. Да, я долго занимался серьезнымъ опроверженіемъ этого мнѣнія, слушалъ для этого сравнительную анатомію, выписывалъ изъ библіотеки самыя рѣдкія сочиненія, по цѣлымъ часамъ стоялъ на Вендской улицѣ, разсматривая дамскія ноги, и въ ученомъ трактатѣ, написанномъ мною, гдѣ будутъ заключаться результаты этихъ изслѣдованій, говорю: во-первыхъ, о ногахъ вообще, во-вторыхъ, о ногахъ у древнихъ, въ-третьихъ, о ногахъ слоновъ, въ-четвертыхъ, о ногахъ у геттингенскихъ женщинъ, въ-пятыхъ, свожу все, что было уже сказано объ этихъ послѣднихъ, въ-шестыхъ, разсматриваю эти ноги въ ихъ связи съ другими членами и по этому случаю распространяюсь объ икрахъ, колѣняхъ и т. д., и наконецъ, въ-седьмыхъ, если только найду достаточно большой листъ бумаги, то приложу гравированныя на мѣди изображенія ногъ геттингенскихъ дамъ.

Было еще очень рано, когда я выѣхалъ изъ Геттингена; ученый *** лежалъ еще, вѣроятно, въ постели и видѣлъ, по обыкновенію, сонъ: что онъ гуляетъ въ прекрасномъ саду, на грядахъ котораго растутъ бѣлыя, исписанныя цитатами, бумажки; весело блестятъ онѣ при солнечномъ свѣтѣ, а онъ срываетъ то ту, то другую и за-
во пересаживаетъ ихъ на новыя грядки, между тѣмъ
соловьи тѣшутъ старое сердце его сладчайшими пѣс-
своими.

Вендскими воротами встрѣтились со мною два
а-туземца, изъ которыхъ одинъ говорилъ другому

«Я не хочу больше быть знакомымъ съ Теодоромъ; онъ негодяй, потому что вчера не зналъ, какъ родительный падежъ отъ mensa». Какъ ни незначительны, кажется, эти слова, я однако помню ихъ и теперь; ихъ можно бы даже написать на выѣздныхъ воротахъ города, какъ девизъ его. Маленькіе вѣдь пищатъ такъ, какъ большіе свистятъ, и эти слова школьника отлично показываютъ узкое, сухое чванство познаніями многоученой georgia Augusta.

На дорогѣ вѣялъ свѣжій, утренній вѣтерокъ, весело распѣвали птицы, и у меня на душѣ становилось свѣжѣе и веселѣе. Такое состояніе пришло очень кстати. Въ послѣднее время я не выходилъ изъ Пандектовъ, римскіе казуисты опутали умъ мой будто сѣрою паутиною, сердце мое точно прищемилось желѣзными параграфами эгоистическихъ системъ права, въ ушахъ то и дѣло звучало: «Трибоніанъ, Юстиніанъ, Гермогеніанъ и Думерьянъ», и нѣжную чету, сидѣвшую подъ деревомъ, я принялъ за экземпляръ Corpus Juris съ скрещенными руками. Дорога стала оживляться. Молодыя молочницы проходили мимо меня, погонщики ословъ шли со своими сѣрыми питомцами. За Вендомъ встрѣтились со мною Шеферъ и Дорисъ. Это не идиллическая пара, воспѣтая Геснеромъ, а два тучныхъ университетскихъ педеля, которыхъ обязанность — заботливо наблюдать, чтобы студенты не дрались на дуэли и чтобы никакія новыя идеи, которыя до сихъ поръ должны по нѣсколько лѣтъ держать карантинъ передъ Геттингеномъ, не провозились контрабандой въ городъ какимъ-нибудь спекулирующимъ приватъ-доцентомъ. Шеферъ поклонился мнѣ, какъ собрату, потому что онъ тоже писатель и часто упоминалъ обо мнѣ въ своихъ полугодичныхъ отчетахъ; да онъ и кромѣ того часто цитировалъ меня и, когда не заставалъ меня дома, то всегда былъ такъ добръ, что писалъ цитату мѣломъ на двери моей комнаты. По временамъ проѣзжала телѣга, нагруженная студентами, которые оставляли городъ: одни—на время каникулъ, другіе—навсегда. Въ такомъ университетскомъ городѣ вѣчный въѣздъ и выѣздъ: каждые три года образуется тамъ новое поколѣніе студентовъ. Это вѣчный потокъ людей, въ которомъ волна одного семестра вытѣсняетъ другую, и только старые профессора стоятъ въ этомъ общемъ движеніи непоколебимо, какъ египетскія пирамиды, съ тою, впрочемъ, разницею, что въ этихъ университетскихъ пирамидахъ не сокрыта никакая мудрость.

Изъ Миртовой рощи выѣхали двое юношей, цвѣтущихъ

здоровьемъ. Женщина, занимающаяся въ этомъ мѣстѣ своимъ горизонтальнымъ ремесломъ, проводила ихъ до дороги, ударила искусной рукой по спинѣ тощихъ лошадей и громко захохотала, когда одинъ изъ всадниковъ оказалъ ей хлыстомъ такую же любезность и по тому же самому мѣсту. Потомъ она пошла по направленію къ Бовдену, а юноши поѣхали къ Нертену, и очень остроумно орали во все горло, и весело распѣвали Россиньевскую пѣсню: «Пей пиво, милая, милая Лиза!» Долго еще слышалъ я замиравшіе въ отдаленіи звуки эти, между тѣмъ какъ скоро совсѣмъ потерялъ изъ виду милыхъ пѣвцовъ, сильно пришпорившихъ и погнавшихъ своихъ лошадей, которыя въ сущности имѣли, повидимому, нѣмецко-вялый характеръ. Нигдѣ не мучатъ этихъ животныхъ такъ, какъ въ Геттингенѣ—и часто, глядя, какъ хромая, обливающаяся потомъ кляча изъ-за клочка корма переноситъ побои отъ нашихъ рыцарей Миртовой рощи или тащитъ цѣлую телѣгу со студентами, я думаю: «О, бѣдное животное, должно-быть, предки твои поѣли въ раю запрещеннаго сѣна!»

Въ Нертенской гостиницѣ я снова встрѣтилъ двухъ юношей. Одинъ изъ нихъ пожиралъ салатъ изъ сельдей, другой бесѣдовалъ съ желтокожею прислужницей, Фузіей Каниной. Онъ сказалъ ей нѣсколько любезностей, а скоро пошли въ ходъ и руки. Чтобъ облегчить мою дорожную ношу, я вытащилъ изъ сумки синіе панталоны, очень замѣчательные въ историческомъ отношеніи, и подарилъ ихъ трактирному мальчику, по имени Колибри. Между тѣмъ, Буссенія, старая трактирщица, принесла мнѣ бутербродъ и изъявила сожалѣніе, что я сталъ такъ рѣдко посѣщать ее, потому что она очень любила меня.

За Нертеномъ солнце стояло ярко и высоко на небѣ. Оно очень любезно обошлось со мною и такъ согрѣло мою голову, что всѣ незрѣлыя мысли мои окончательно созрѣли. Я не хотѣлъ также пренебречь милымъ солнцемъ вывѣски нордгеймской гостиницы: вошелъ туда и засталъ обѣдъ уже готовымъ. Всѣ блюда были очень вкусно изготовлены и гораздо лучше понравились мнѣ, чѣмъ безвкусныя академи-
ушанья—твердыя, какъ кожа, вареныя безъ соли
ъ ихъ старою капустою, которыми угощали меня
генѣ.

въ немного мой желудокъ, я замѣтилъ въ этой
одного господина съ двумя дамами, собирав-
ать. Господинъ этотъ былъ одѣтъ весь въ зеле-

ное; на немъ были даже зеленыя очки, бросавшія на его мѣдно-красный носъ оттѣнокъ яри мѣдянки; онъ походилъ на царя Навуходоносора въ послѣдніе годы его жизни, когда этотъ монархъ, какъ говоритъ преданіе, питался, подобно дикому звѣрю, однимъ только салатомъ. Зеленый господинъ попросилъ меня рекомендовать ему хорошую гостиницу въ Геттингенѣ, и я посовѣтовалъ ему спросить у перваго встрѣчнаго студента адресъ Брюбахскаго отеля. Одна изъ дамъ была супруга его, высокая, объемистая барыня, съ краснымъ лицомъ въ цѣлую квадратную милю, съ ямочками на щекахъ, похожими на плевальницы для боговъ любви; мясистый, отвислый подбородокъ казался сквернымъ продолженіемъ всего лица; полная, очень высокая грудь была, точно башнями и бастіонами, ограждена твердыми кружевами и зубчатыми воротничками и походила на крѣпость, которая конечно, точно такъ же, какъ и тѣ крѣпости, о которыхъ говоритъ Филиппъ Македонскій, не могла бы устоять противъ осла, нагруженнаго золотомъ. Другая дама, сестра первой, представляла съ нею совершенную противоположность. Если первая происходила отъ семи тучныхъ коровъ Фараона, то родоначальники второй были коровы тощія. Все лицо ея составляло одинъ большой ротъ между двумя ушами; грудь была такъ безотрадно пуста, какъ люнебургское поле; вся вывареная фигура напоминала собою даровой обѣдъ бѣдныхъ студентовъ богословія. Обѣ дамы спросили у меня въ одно и то же время: останавливаются ли въ Брюбахскомъ отелѣ порядочные люди. Я съ совершенно спокойною совѣстью отвѣчалъ утвердительно, и когда милое тріо уѣхало, поклонился ему еще разъ изъ окна. Трактирщикъ Солнца лукаво улыбнулся: онъ зналъ, конечно, что Брюбахскимъ отелемъ геттингенскіе студенты называютъ университетскій карцеръ.

За Нордгеймомъ почва дѣлается гористою; тамъ и сямъ выступаютъ передъ глазами живописныя возвышенности. На дорогѣ попадались мнѣ навстрѣчу большею частью купцы, спѣшившіе на ярмарку въ Брауншвейгъ, и много женщинъ, изъ которыхъ каждая несла на спинѣ большую, величиною съ добрый домъ, клѣтку, обтянутую бѣлымъ полотномъ. Въ клѣткахъ сидѣли всяческія пѣвчія птицы, щебетавшія безъ умолку, между тѣмъ какъ сами женщины весело подпрыгивали и болтали. Мнѣ показалось очень смѣшно, что птицы птицъ несутъ на рынокъ.

Ночь была уже совершенно темна, когда я пришелъ въ

Остероде. Ѣсть мнѣ ничего не хотѣлось, и поэтому я сейчасъ же легъ въ постель. Я былъ утомленъ, какъ собака, и спалъ, какъ богъ. Во снѣ я снова перенесся въ Геттингенъ и очутился въ университетской библіотекѣ. Я стоялъ въ углу залы юриспруденціи, перелистывалъ старыя диссертаціи, углубился въ чтеніе, и когда кончилъ, то съ удивленіемъ замѣтилъ, что наступила уже ночь, и свѣчи въ висячихъ хрустальныхъ канделябрахъ освѣщали залу. На часахъ сосѣдней церкви пробило двѣнадцать. Дверь залы медленно отворилась, и въ нее вошла величавая, колоссальная женщина, за которою съ глубокимъ уваженіемъ слѣдовали члены и приверженцы юридическаго факультета. Женщина-исполинъ, хотя уже не молодая, носила еще на лицѣ слѣды строгой красоты, каждый взглядъ ея обличалъ въ ней высокую дочь Титановъ, могущественную Ѳемиду. Въ одной рукѣ она небрежно держала мечъ и вѣсы, въ другой — пергаментный свитокъ. Два молодыхъ доктора правъ несли шлейфъ ея сѣраго, полинявшаго платья, по правой сторонѣ ея живо подпрыгивалъ тощій надворный совѣтникъ Рустикусъ, ганноверскій Ликургъ, и декламировалъ что-то изъ своего новаго законодательнаго проекта; съ лѣвой стороны прихрамывалъ крайне любезно и въ прекрасномъ расположеніи духа, cavaliere servente Ѳемиды, тайный совѣтникъ юстиціи, Куяціусъ; онъ то и дѣло отпускалъ юридическія остроты и самъ такъ сердечно хохоталъ надъ ними, что даже строгая богиня по временамъ съ улыбкою наклонялась къ нему, била его по плечу большимъ пергаментнымъ свиткомъ и привѣтливо шептала: «Ахъ ты, маленькій повѣса, стригущій всѣ деревья наоборотъ!» Прочіе юристы тоже подходили ближе; каждый изъ нихъ имѣлъ что-нибудь замѣтить, надъ чѣмъ-нибудь посмѣяться—какую-нибудь новую выдуманную системочку или гипотезочку, или другой подобный выкидышекъ изъ собственной головки. Въ открытую дверь залы вошли также многіе незнакомцы, объявившіе себя великими людьми, изъ знаменитаго сословія юристовъ; все это были угловатые, подозрительные господа, съ полнымъ самодовольствіемъ опредѣлявшіе, обсуждавшіе и оспаривавшіе малѣйшую какой-нибудь статьи изъ Пандектовъ. И съ минутой появлялись все новыя лица—старые юристы, въ модныхъ платьяхъ, въ бѣлыхъ, длинныхъ парикахъ давно забытыми лицами, на которыхъ было написано глубокое удивленіе, что никто не обращалъ внимания на нихъ—высокознаменитыхъ личностей прошедшаго

столѣтія. И по-своему, они приняли участіе во всеобщемъ говорѣ, пискѣ и крикахъ, которые, точно морскія волны, шумѣли все сильнѣе и оглушили высокую богиню до того, что она потеряла терпѣніе и вдругъ закричала голосомъ страшнѣйшаго исполинскаго отчаянія: «Молчите, молчите! Я слышу голосъ дорогого Прометея: язвительное могущество и нѣмое насиліе приковали невиннаго къ мученическому утесу, и вся ваша болтовня, всѣ ваши споры не освѣжатъ его ранъ, не разобьютъ цѣпей его!» Такъ воскликнула богиня, и ручьи слезъ побѣжали изъ глазъ ея. Все собраніе завыло, точно охваченное страхомъ смерти, своды залы затрещали, книги повалились съ полокъ, старый Мюнхаузенъ, выступивъ изъ своей рамки, напрасно старался возстановить спокойствіе—крики и шумъ становились страшнѣе и страшнѣе, и я убѣжалъ отъ этихъ бѣснующихся безумцевъ и укрылся въ исторической залѣ, на томъ благословенномъ мѣстѣ, гдѣ священныя изображенія Аполлона Бельведерскаго и Венеры Медицейской стоятъ одно возлѣ другого... И я бросился къ ногамъ богини красоты, въ созерцаніи ея я позабылъ тотъ бѣшеный шумъ, отъ котораго только-что спасся, глаза мои съ восторгомъ упивались гармоніею и вѣчною прелестью ея высокочудныхъ формъ, греческое спокойствіе разлилось по душѣ моей, а надъ головою, точно небесное благословеніе, пронеслись сладчайшіе звуки лиры Феба-Аполлона.

Просыпаясь, я продолжалъ слышать привѣтный звонъ: это стада отправлялись на пастбища, и это звенѣли ихъ колокольчики. Милое золотое солнце смотрѣло въ окно и освѣщало картины, висѣвшія по стѣнамъ. Это были изображенія изъ времени войны за освобожденіе, гдѣ очень вѣрно представлялось, какъ всѣ мы въ ту пору были героями; дальше слѣдовали сцены казни изъ времени революціи: Людовикъ XVI на эшафотѣ и другія подобныя головосѣченія, на которыя нельзя смотрѣть безъ того, чтобы не благодарить Бога, что спокойно лежишь въ постели и пьешь хорошій кофе, и чувствуешь, что голова твердо и удобно сидитъ на плечахъ.

Напившись кофе, одѣвшись, прочтя всѣ надписи на окнахъ и разсчитавшись въ гостиницѣ, я оставилъ Остероде.

Этотъ городъ имѣетъ столько-то и столько-то домовъ и различныхъ жителей, въ числѣ которыхъ есть и души, какъ подробнѣе видно изъ Готшальковой «Карманной книги для путешественниковъ по Гарцу». Передъ тѣмъ, какъ выйти

на большую дорогу, я взошелъ на развалины стараго остеродскаго замка. Онѣ состоятъ теперь только изъ половины большой башни, съ толстыми и будто выѣденными ракомъ стѣнами. Клаустальская дорога снова заставила меня подняться на гору, и, стоя на одной изъ первыхъ возвышенностей, я еще нѣсколько времени смотрѣлъ внизъ, въ долину, гдѣ Остероде, со своими красными крышами, выглядываетъ изъ зелени сосноваго лѣса, какъ мшистая роза. Солнце освѣщало его милымъ дѣтскимъ свѣтомъ. Съ уцѣлѣвшей части башни взору представляется величественная задняя сторона города.

Много и другихъ развалинъ замковъ встрѣчается въ этой мѣстности. Лучшая изъ нихъ — Гарденбергъ подлѣ Нёртена. Если у васъ сердце, какъ и слѣдуетъ, помѣщается даже на лѣвой сторонѣ, либеральной, то и тутъ вамъ трудно обойтись безъ всякаго элегическаго чувства при видѣ этихъ гнѣздъ привилегированныхъ хищныхъ птицъ, которыя оставляли въ наслѣдство своимъ слабымъ птенцамъ только сильный аппетитъ. Такое чувство ощутилъ я сегодня утромъ. Чѣмъ болѣе я удалялся отъ Геттингена, тѣмъ болѣе душа моя расплывалась, романтическое настроеніе снова овладѣло мною, и дорогою я написалъ слѣдующую пѣсню:

Подымайтесь, вы, старыя грёзы!
Открывайся сердечная дверь!
Пѣсни сладкія, тихія слезы
Чудно рвутся наружу теперь.

Я пойду по зеленому лѣсу,
Гдѣ бѣжитъ ключевая вода,
Гдѣ олень горделивый гуляетъ
И разносятся пѣсни дрозда.

Я взойду на высокія горы,
На крутые утесы взойду,
Гдѣ развалины сѣрыя замка
Молчаливо стоятъ на виду.

Тамъ безмолвно сажусь я—и въ мысли
Мнѣ приходитъ былая пора,
Жизнь цвѣтущихъ былыхъ поколѣній
И минувшая пышность двора.

Та арена покрыта травою,
На которую смѣло входилъ

Гордый рыцарь и витязямъ лучшимъ
Пораженье въ борьбѣ наносилъ.

Плющъ растетъ на высокомъ балконѣ,
Гдѣ прекрасныя дамы не разъ
Побѣдителей гордыхъ сражали
Красотою и силою глазъ.

Но и тѣмъ, и другимъ смерть умѣла
Нанести пораженіе... Ахъ,
Этотъ рыцарь скелетный съ косою
Всѣхъ людей повергаетъ во прахъ!

Пройдя нѣсколько дальше, я встрѣтился съ молодымъ мастеровымъ, который шелъ изъ Брауншвейга; онъ разсказалъ мнѣ, какъ тамошнюю новость, что молодой герцогъ, на пути въ Палестину, былъ пойманъ турками и что за него требуютъ большой выкупъ. Долгое путешествіе герцога послужило, вѣроятно, основаніемъ этой легендѣ. У народа ходъ мыслей все еще имѣетъ традиціонно-баснословный характеръ, который такъ мило высказывается въ его «Герцогѣ Эрнестѣ». Сообщившій мнѣ теперь эту новость былъ портной, маленькій молодой человѣкъ, до того худощавый, что сквозь тѣло его, какъ сквозь туманные призраки Оссіана, можно было видѣть мерцаніе звѣздъ; вообще странное, въ народномъ духѣ, смѣшеніе веселости и меланхоліи. Это послѣднее свойство особенно высказывалось въ смѣшно-трогательной манерѣ, съ которою онъ напѣвалъ удивительную народную пѣсню: «Жукъ сидѣлъ на заборѣ, зумъ, зумъ». Вотъ чѣмъ хороши мы, нѣмцы: ни одинъ изъ насъ не сумасшедшій до такой степени, чтобы не встрѣтить другого, болѣе сумасшедшаго, который могъ бы его понять. Только нѣмецъ можетъ почувствовать эту пѣсню и, слушая ее, плакать и смѣяться до смерти. Тутъ же я увидѣлъ, какъ глубоко проникло въ жизнь народа слово Гёте. Мой тоненькій спутникъ пѣлъ по временамъ тоже стихи: «Leidvoll und freudvoll, Gedanken sind frei!» Такое извращеніе текста въ народѣ вещь довольно обыкновенная. Пѣлъ онъ также пѣсню, въ которой «Лотхенъ горюетъ у могилы своего Вертера». Портной расплылся отъ сентиментальности при словахъ: «Одинокая, плачу я у того розоваго кустарника, гдѣ такъ часто подслушивалъ насъ поздній мѣсяцъ; печальная, брожу я у серебристаго источника, который на-

шептывалъ намъ сладкое блаженство». Но скоро эта пѣсня надоѣла портному, и онъ сталъ разсказывать мнѣ: «У насъ, въ кассельской артели есть пруссакъ, который самъ такія пѣсни сочиняетъ. Онъ двухъ швовъ порядочныхъ не умѣетъ сдѣлать; чуть у него въ карманѣ грошъ, онъ сейчасъ же чувствуетъ жажду на два гроша, и какъ только напьется, начинаетъ принимать небо за голубой камзолъ, и льется слезами, точно дождевая труба и поетъ пѣсню съ двойною поэзіею!» Я попросилъ его объяснить мнѣ это послѣднее выраженіе, но мой портной только подпрыгивалъ на своихъ козлиныхъ ножкахъ и все повторялъ: «Двойная поэзія — это двойная поэзія!» Наконецъ, я кое-какъ успѣлъ допытаться, что подъ этимъ именемъ онъ понимаетъ стихи съ двойными риѳмами, а именно — стансы. Между тѣмъ, постоянное движеніе и противный вѣтеръ сильно утомили рыцаря иголки. Правда, онъ еще нѣсколько разъ торжественно собирался въ путь и хвасталъ: «вотъ теперь я пойду скороходомъ». Но скоро сталъ онъ жаловаться, что у него на пяткахъ сдѣлались мозоли, и что свѣтъ черезчуръ обширенъ, и наконецъ тихо опустился на землю подъ деревомъ, покачалъ маленькой головой, какъ огорченная овца машетъ хвостомъ, и, грубо улыбаясь, сказалъ: «Экая я бѣдная кляча: опять ноги подкосились»!

Горы въ этомъ мѣстѣ становились круче, подо мною сосновые лѣса плавали, точно зеленое море, а надъ головою, на синемъ небѣ, проносились бѣлыя облачка. Дикость этой стороны была какъ бы укрощена ея однообразіемъ и простотою. Природа, какъ хорошій поэтъ, не любитъ слишкомъ крутыхъ переходовъ. Облака, какъ ни странна часто ихъ форма, носятъ, однако, постоянный бѣлый, или во всякомъ случаѣ мягкій оттѣнокъ, совершенно гармонирующій съ синимъ небомъ и зеленою землею, такъ что всѣ цвѣта пейзажа расплываются одинъ въ другомъ, какъ звуки тихой музыки, и каждый взглядъ на природу дѣйствуетъ живительно и успокоительно на душу и нервы. Покойный Гофманъ окрасилъ бы облака пестрой краской.—Какъ великій поэтъ, природа умѣетъ также, съ самыми ничтожными сред-
производить самые поразительные эффекты. У
гда одно и то же солнце, одни и тѣ же деревья,
да и любовь. Конечно, когда нѣтъ этой послѣдней
созерцающаго ее человѣка, тогда ничтожною ка-
картина: солнце становится ничѣмъ болѣе, какъ
тораго въ діаметрѣ столько-то миль, на деревья

смотришь, какъ на вещь, годную для топлива, цвѣты начинаешь дѣлить на классы по тычинкамъ, въ водѣ видишь только мокроту.

Мальчишка, собиравшій въ лѣсу хворостъ для своего больного дяди, показалъ мнѣ дорогу къ деревнѣ Лербахъ, избушки которой, съ сѣрыми крышами, тянутся въ долинѣ на разстояніи получаса пути. «Тамъ,—сказалъ мнѣ мальчишка,—живутъ зобастые дураки и бѣлые негры!» Этимъ послѣднимъ именемъ народъ называетъ альбиносовъ. Мальчикъ и лѣсныя деревья отлично понимали другъ друга; онъ кланялся имъ, какъ добрымъ знакомымъ, а они, шумя вѣтвями, будто отвѣчали на его привѣтствіе. Онъ свистнулъ, какъ чижикъ, кругомъ защебетали въ отвѣтъ другія птицы— и не успѣлъ я оглянуться, какъ мальчикъ, босоногій и съ пукомъ хвороста, прыжкомъ исчезъ въ лѣсной чащѣ.— Дѣти, думалъ я, моложе насъ: имъ не трудно припомнить то время, когда сами они были деревьями и птицами, и не трудно поэтому понимать тѣхъ и другихъ; а мы уже состарѣлись, и въ нашей головѣ слишкомъ много заботъ юриспруденціи и скверныхъ стиховъ. Когда-то и съ нами было иначе—и я живо припомнилъ это время, подходя къ Клаусталю. Въ этотъ чистенькій городокъ, который увидишь только тогда, когда очутишься передъ его воротами, я вступилъ какъ разъ, когда било двѣнадцать часовъ, и школьники весело высыпали изъ училища. Почти всѣ краснощекіе, съ синими глазами и бѣлыми, какъ ленъ, волосами, милыя дѣти прыгали, рѣзвились, хохотали и пробудили во мнѣ грустно-свѣтлое воспоминаніе о томъ времени, когда и я, маленькій мальчикъ, цѣлое утро проводилъ въ мрачно-католической монастырской школѣ Дюссельдорфа, не вставая съ деревянной скамейки и вынося на себѣ множество латыни, побоевъ и географіи, и точно такъ же безмѣрно радовался, когда на старой францисканской башнѣ било, наконецъ, двѣнадцать часовъ.

Клаустальскіе школьники, по моей дорожной сумкѣ, узнали, что я чужестранецъ, и очень радушно привѣтствовали меня. Одинъ изъ нихъ разсказалъ мнѣ, что у нихъ только-что былъ урокъ изъ Закона Божія, и показалъ мнѣ королевскій ганноверскій катехизисъ, по которому ихъ спрашиваютъ о христіанской религіи. Книжка эта была очень дурно издана, и мнѣ пришло въ голову опасеніе, что догматы религіи, вслѣдствіе этого, сразу производятъ на умы учениковъ непріятное, оберточно-бумажное впечатлѣніе; очень не понра-

вилось мнѣ также и то, что въ катехизисѣ, на послѣдней страницѣ, напечатана таблица умноженія, черезъ что дѣти уже въ такомъ раннемъ возрастѣ могутъ впадать въ грѣховныя сомнѣнія... Въ Пруссіи мы гораздо умнѣе и при нашемъ рвеніи обращать на путь истинный людей, такъ хорошо понимающихъ ариѳметическій счетъ, никогда не печатаемъ въ концѣ катехизиса таблицы умноженія.

Я пообѣдалъ въ гостиницѣ «Короны». Мнѣ подали супъ изъ самой свѣжей петрушки, синюю капусту, жареную телятину, величиною съ Чимборазо въ миніатюрѣ, и особый родъ копченыхъ сельдей, называемыхъ бюкингами, отъ имени Вильгельма Бюкинга, открывшаго ихъ; этотъ Бюкингъ, умершій въ 1447 г., былъ въ такой чести за свое открытіе у Карла V, что этотъ государь въ 1556 г. ѣздилъ изъ Миддельбурга въ Бивлидъ въ Зеландіи, единственно для того, чтобы поклониться гробу этого великаго человѣка. Какъ должно быть вкусно блюдо, когда имѣешь историческія свѣдѣнія о немъ, и оно само поѣдается тобою! Только кофе послѣ обѣда было мнѣ испорчено; ко мнѣ подсѣлъ какой-то молодой человѣкъ и началъ такъ ужасно ораторствовать, что молоко на столѣ скисло. Это былъ молодой commis-voyageur съ двадцатью пятью пестрыми жилетами и столькими же золотыми печатями, перстнями, булавками и т. п. Онъ походилъ на обезьяну, которая нарядилась въ красную куртку и говоритъ сама себѣ: «платье дѣлаетъ человѣка». Зналъ онъ наизусть цѣлую бездну шарадъ и анекдотовъ, которыми сыпалъ именно тогда, когда они менѣе всего были кстати. На вопросъ его, что новаго въ Геттингенѣ, я разсказалъ ему, что передъ моимъ отъѣздомъ тамошній академическій сенатъ издалъ декретъ, которымъ запрещалось отрѣзывать у собакъ хвосты, подъ опасеніемъ штрафа въ три талера, на томъ основаніи, что бѣшеныя собаки носятъ хвостъ между ногами и тѣмъ отличаются отъ небѣшеныхъ, чего не можетъ быть при отсутствіи хвостовъ. Послѣ обѣда я отправился дальше, съ цѣлью осмотрѣть рудники, серебряныя мины и монетный дворъ.

Въ серебряныхъ минахъ, какъ во многихъ случаяхъ моей
мнѣ не удалось видѣть серебра. На монетномъ
мнѣ повезло больше, и я видѣлъ, какъ дѣлали
Правда, дальше дѣло не шло. Въ подобныхъ слу-
л ограничивался только созерцаніемъ, и, кажется,
ъ неба дождемъ серебряные талеры, я и тутъ бы
не получилъ отъ нихъ, кромѣ ушибовъ въ голову,

ное; на немъ были даже зеленыя очки, бросавшія на его мѣдно-красный носъ оттѣнокъ яри мѣдянки; онъ походилъ на царя Навуходоносора въ послѣдніе годы его жизни, когда этотъ монархъ, какъ говоритъ преданіе, питался, подобно дикому звѣрю, однимъ только салатомъ. Зеленый господинъ попросилъ меня рекомендовать ему хорошую гостиницу въ Геттингенѣ, и я посовѣтовалъ ему спросить у перваго встрѣчнаго студента адресъ Брюбахскаго отеля. Одна изъ дамъ была супруга его, высокая, объемистая барыня, съ краснымъ лицомъ въ цѣлую квадратную милю, съ ямочками на щекахъ, похожими на плевальницы для боговъ любви; мясистый, отвислый подбородокъ казался сквернымъ продолженіемъ всего лица; полная, очень высокая грудь была, точно башнями и бастіонами, ограждена твердыми кружевами и зубчатыми воротничками и походила на крѣпость, которая конечно, точно такъ же, какъ и тѣ крѣпости, о которыхъ говоритъ Филиппъ Македонскій, не могла бы устоять противъ осла, нагруженнаго золотомъ. Другая дама, сестра первой, представляла съ нею совершенную противоположность. Если первая происходила отъ семи тучныхъ коровъ Фараона, то родоначальники второй были коровы тощія. Все лицо ея составляло одинъ большой ротъ между двумя ушами; грудь была такъ безотрадно пуста, какъ люнебургское поле; вся вывареная фигура напоминала собою даровой обѣдъ бѣдныхъ студентовъ богословія. Обѣ дамы спросили у меня въ одно и то же время: останавливаются ли въ Брюбахскомъ отелѣ порядочные люди. Я съ совершенно спокойною совѣстью отвѣчалъ утвердительно, и когда милое тріо уѣхало, поклонился ему еще разъ изъ окна. Трактирщикъ Солнца лукаво улыбнулся: онъ зналъ, конечно, что Брюбахскимъ отелемъ геттингенскіе студенты называютъ университетскій карцеръ.

За Нордгеймомъ почва дѣлается гористою; тамъ и сямъ выступаютъ передъ глазами живописныя возвышенности. На дорогѣ попадались мнѣ навстрѣчу большею частью купцы, спѣшившіе на ярмарку въ Брауншвейгъ, и много женщинъ, изъ которыхъ каждая несла на спинѣ большую, величиною съ добрый домъ, клѣтку, обтянутую бѣлымъ полотномъ. Въ клѣткахъ сидѣли всяческія пѣвчія птицы, щебетавшія безъ умолку, между тѣмъ какъ сами женщины весело подпрыгивали и болтали. Мнѣ показалось очень *смѣшно, что птицы* птицъ несутъ на рынокъ.

Ночь была уже совершенно темна, когда я пришелъ въ

Остероде. Ѣсть мнѣ ничего не хотѣлось, и поэтому я сейчасъ же легъ въ постель. Я былъ утомленъ, какъ собака, и спалъ, какъ богъ. Во снѣ я снова перенесся въ Геттингенъ и очутился въ университетской библіотекѣ. Я стоялъ въ углу залы юриспруденціи, перелистывалъ старыя диссертаціи, углубился въ чтеніе, и когда кончилъ, то съ удивленіемъ замѣтилъ, что наступила уже ночь, и свѣчи въ висячихъ хрустальныхъ канделябрахъ освѣщали залу. На часахъ сосѣдней церкви пробило двѣнадцать. Дверь залы медленно отворилась, и въ нее вошла величавая, колоссальная женщина, за которою съ глубокимъ уваженіемъ слѣдовали члены и приверженцы юридическаго факультета. Женщина-исполинъ, хотя уже не молодая, носила еще на лицѣ слѣды строгой красоты, каждый взглядъ ея обличалъ въ ней высокую дочь Титановъ, могущественную Ѳемиду. Въ одной рукѣ она небрежно держала мечъ и вѣсы, въ другой — пергаментный свитокъ. Два молодыхъ доктора правъ несли шлейфъ ея сѣраго, полинявшаго платья, по правой сторонѣ ея живо подпрыгивалъ тощій надворный совѣтникъ Рустикусъ, ганноверскій Ликургъ, и декламировалъ что-то изъ своего новаго законодательнаго проекта; съ лѣвой стороны прихрамывалъ крайне любезно и въ прекрасномъ расположеніи духа, cavaliere servente Ѳемиды, тайный совѣтникъ юстиціи, Куяціусъ; онъ то и дѣло отпускалъ юридическія остроты и самъ такъ сердечно хохоталъ надъ ними, что даже строгая богиня по временамъ съ улыбкою наклонялась къ нему, била его по плечу большимъ пергаментнымъ свиткомъ и привѣтливо шептала: «Ахъ ты, маленькій повѣса, стригущій всѣ деревья наоборотъ!» Прочіе юристы тоже подходили ближе; каждый изъ нихъ имѣлъ что-нибудь замѣтить, надъ чѣмъ-нибудь посмѣяться—какую-нибудь новую выдуманную системочку или гипотезочку, или другой подобный выкидышекъ изъ собственной головки. Въ открытую дверь залы вошли также многіе незнакомцы, объявившіе себя великими людьми, изъ знаменитаго сословія юристовъ; все это были угловатые, подозрительные господа, съ полнымъ самодовольствіемъ опредѣлявшіе, обсуждавшіе и оспаривавшіе малѣй-
словцо какой-нибудь статьи изъ Пандектовъ. И съ
ой минутой появлялись все новыя лица—старые юристы,
аромодныхъ платьяхъ, въ бѣлыхъ, длинныхъ пари-
съ давно забытыми лицами, на которыхъ было на-
глубокое удивленіе, что никто не обращалъ вни-
ла нихъ—*высокознаменитыхъ* личностей прошедшаго

столѣтія. И по-своему, они приняли участіе во всеобщемъ говорѣ, пискѣ и крикахъ, которые, точно морскія волны, шумѣли все сильнѣе и оглушили высокую богиню до того, что она потеряла терпѣніе и вдругъ закричала голосомъ страшнѣйшаго исполинскаго отчаянія: «Молчите, молчите! Я слышу голосъ дорогого Прометея: язвительное могущество и нѣмое насиліе приковали невиннаго къ мученическому утесу, и вся ваша болтовня, всѣ ваши споры не освѣжатъ его ранъ, не разобьютъ цѣпей его!» Такъ воскликнула богиня, и ручьи слезъ побѣжали изъ глазъ ея. Все собраніе завыло, точно охваченное страхомъ смерти, своды залы затрещали, книги повалились съ полокъ, старый Мюнхаузенъ, выступивъ изъ своей рамки, напрасно старался возстановить спокойствіе—крики и шумъ становились страшнѣе и страшнѣе, и я убѣжалъ отъ этихъ бѣснующихся безумцевъ и укрылся въ исторической залѣ, на томъ благословенномъ мѣстѣ, гдѣ священныя изображенія Аполлона Бельведерскаго и Венеры Медицейской стоятъ одно возлѣ другого... И я бросился къ ногамъ богини красоты, въ созерцаніи ея я позабылъ тотъ бѣшеный шумъ, отъ котораго только-что спасся, глаза мои съ восторгомъ упивались гармоніею и вѣчною прелестью ея высокочудныхъ формъ, греческое спокойствіе разлилось по душѣ моей, а надъ головою, точно небесное благословеніе, пронеслись сладчайшіе звуки лиры Феба-Аполлона.

Просыпаясь, я продолжалъ слышать привѣтный звонъ: это стада отправлялись на пастбища, и это звенѣли ихъ колокольчики. Милое золотое солнце смотрѣло въ окно и освѣщало картины, висѣвшія по стѣнамъ. Это были изображенія изъ времени войны за освобожденіе, гдѣ очень вѣрно представлялось, какъ всѣ мы въ ту пору были героями; дальше слѣдовали сцены казни изъ времени революціи: Людовикъ XVI на эшафотѣ и другія подобныя головосѣченія, на которыя нельзя смотрѣть безъ того, чтобы не благодарить Бога, что спокойно лежишь въ постели и пьешь хорошій кофе, и чувствуешь, что голова твердо и удобно сидитъ на плечахъ.

Напившись кофе, одѣвшись, прочтя всѣ надписи на окнахъ и разсчитавшись въ гостиницѣ, я оставилъ Остероде.

Этотъ городъ имѣетъ столько-то и столько-то домовъ и различныхъ жителей, въ числѣ которыхъ есть и души, какъ подробнѣе видно изъ Готшальковой «Карманной книги для путешественниковъ по Гарцу». Передъ тѣмъ, какъ выйти

на большую дорогу, я взошелъ на развалины стараго остеродскаго замка. Онѣ состоятъ теперь только изъ половины большой башни, съ толстыми и будто выѣденными ракомъ стѣнами. Клаустальская дорога снова заставила меня подняться на гору, и, стоя на одной изъ первыхъ возвышенностей, я еще нѣсколько времени смотрѣлъ внизъ, въ долину, гдѣ Остероде, со своими красными крышами, выглядываетъ изъ зелени сосноваго лѣса, какъ мшистая роза. Солнце освѣщало его милымъ дѣтскимъ свѣтомъ. Съ уцѣлѣвшей части башни взору представляется величественная задняя сторона города.

Много и другихъ развалинъ замковъ встрѣчается въ этой мѣстности. Лучшая изъ нихъ — Гарденбергъ подлѣ Нёртена. Если у васъ сердце, какъ и слѣдуетъ, помѣщается даже на лѣвой сторонѣ, либеральной, то и тутъ вамъ трудно обойтись безъ всякаго элегическаго чувства при видѣ этихъ гнѣздъ привилегированныхъ хищныхъ птицъ, которыя оставляли въ наслѣдство своимъ слабымъ птенцамъ только сильный аппетитъ. Такое чувство ощутилъ я сегодня утромъ. Чѣмъ болѣе я удалялся отъ Геттингена, тѣмъ болѣе душа моя расплывалась, романтическое настроеніе снова овладѣло мною, и дорогою я написалъ слѣдующую пѣсню:

Подымайтесь, вы, старыя грёзы!
Открывайся сердечная дверь!
Пѣсни сладкія, тихія слезы
Чудно рвутся наружу теперь.

Я пойду по зеленому лѣсу,
Гдѣ бѣжитъ ключевая вода,
Гдѣ олень горделивый гуляетъ
И разносятся пѣсни дрозда.

Я взойду на высокія горы,
На крутые утесы взойду,
Гдѣ развалины сѣрыя замка
Молчаливо стоятъ на виду.

Тамъ безмолвно сажусь я—и въ мысли
Мнѣ приходитъ былая пора,
Жизнь цвѣтущихъ былыхъ поколѣній
И минувшая пышность двора.

Та арена покрыта травою,
На *которую смѣло* входилъ

Гордый рыцарь и витязямъ лучшимъ
Пораженье въ борьбѣ наносилъ.

Плющъ растетъ на высокомъ балконѣ,
Гдѣ прекрасныя дамы не разъ
Побѣдителей гордыхъ сражали
Красотою и силою глазъ.

Но и тѣмъ, и другимъ смерть умѣла
Нанести пораженіе... Ахъ,
Этотъ рыцарь скелетный съ косою
Всѣхъ людей повергаетъ во прахъ!

Пройдя нѣсколько дальше, я встрѣтился съ молодымъ мастеровымъ, который шелъ изъ Брауншвейга; онъ разсказалъ мнѣ, какъ тамошнюю новость, что молодой герцогъ, на пути въ Палестину, былъ пойманъ турками и что за него требуютъ большой выкупъ. Долгое путешествіе герцога послужило, вѣроятно, основаніемъ этой легендѣ. У народа ходъ мыслей все еще имѣетъ традиціонно-баснословный характеръ, который такъ мило высказывается въ его «Герцогѣ Эрнестѣ». Сообщившій мнѣ теперь эту новость былъ портной, маленькій молодой человѣкъ, до того худощавый, что сквозь тѣло его, какъ сквозь туманные призраки Оссіана, можно было видѣть мерцаніе звѣздъ; вообще странное, въ народномъ духѣ, смѣшеніе веселости и меланхоліи. Это послѣднее свойство особенно высказывалось въ смѣшно-трогательной манерѣ, съ которою онъ напѣвалъ удивительную народную пѣсню: «Жукъ сидѣлъ на заборѣ, зумъ, зумъ». Вотъ чѣмъ хороши мы, нѣмцы: ни одинъ изъ насъ не сумасшедшій до такой степени, чтобы не встрѣтить другого, болѣе сумасшедшаго, который могъ бы его понять. Только нѣмецъ можетъ почувствовать эту пѣсню и, слушая ее, плакать и смѣяться до смерти. Тутъ же я увидѣлъ, какъ глубоко проникло въ жизнь народа слово Гёте. Мой тоненькій спутникъ пѣлъ по временамъ тоже стихи: «Leidvoll und freudvoll, Gedanken sind frei!» Такое извращеніе текста въ народѣ вещь довольно обыкновенная. Пѣлъ онъ также пѣсню, въ которой «Лотхенъ горюетъ у могилы своего Вертера». Портной расплылся отъ сентиментальности при словахъ: «Одинокая, плачу я у того розоваго кустарника, гдѣ такъ часто подслушивалъ насъ поздній мѣсяцъ; печальная, брожу я у серебристаго источника, который на-

шептывалъ намъ сладкое блаженство». Но скоро эта пѣсня надоѣла портному, и онъ сталъ разсказывать мнѣ: «У насъ, въ кассельской артели есть пруссакъ, который самъ такія пѣсни сочиняетъ. Онъ двухъ швовъ порядочныхъ не умѣетъ сдѣлать; чуть у него въ карманѣ грошъ, онъ сейчасъ же чувствуетъ жажду на два гроша, и какъ только напьется, начинаетъ принимать небо за голубой камзолъ, и льется слезами, точно дождевая труба и поетъ пѣсню съ двойною поэзіею!» Я попросилъ его объяснить мнѣ это послѣднее выраженіе, но мой портной только подпрыгивалъ на своихъ козлиныхъ ножкахъ и все повторялъ: «Двойная поэзія — это двойная поэзія!» Наконецъ, я кое-какъ успѣлъ допытаться, что подъ этимъ именемъ онъ понимаетъ стихи съ двойными риѳмами, а именно — стансы. Между тѣмъ, постоянное движеніе и противный вѣтеръ сильно утомили рыцаря иголки. Правда, онъ еще нѣсколько разъ торжественно собирался въ путь и хвасталъ: «вотъ теперь я пойду скороходомъ». Но скоро сталъ онъ жаловаться, что у него на пяткахъ сдѣлались мозоли, и что свѣтъ черезчуръ обширенъ, и наконецъ тихо опустился на землю подъ деревомъ, покачалъ маленькой головой, какъ огорченная овца машетъ хвостомъ, и, грубо улыбаясь, сказалъ: «Экая я бѣдная кляча: опять ноги подкосились»!

Горы въ этомъ мѣстѣ становились круче, подо мною сосновые лѣса плавали, точно зеленое море, а надъ головою, на синемъ небѣ, проносились бѣлыя облачка. Дикость этой стороны была какъ бы укрощена ея однообразіемъ и простотою. Природа, какъ хорошій поэтъ, не любитъ слишкомъ крутыхъ переходовъ. Облака, какъ ни странна часто ихъ форма, носятъ, однако, постоянный бѣлый, или во всякомъ случаѣ мягкій оттѣнокъ, совершенно гармонирующій съ синимъ небомъ и зеленою землею, такъ что всѣ цвѣта пейзажа расплываются одинъ въ другомъ, какъ звуки тихой музыки, и каждый взглядъ на природу дѣйствуетъ живительно и успокоительно на душу и нервы. Покойный Гофманъ окрасилъ бы облака пестрой краской.—Какъ великій поэтъ, природа умѣетъ также, съ самыми ничтожными средствами, производить самые поразительные эффекты. У [illegible]сегда одно и то же солнце, одни и тѣ же деревья, [illegible]вода и любовь. Конечно, когда нѣтъ этой послѣдней [illegible]дѣ созерцающаго ее человѣка, тогда ничтожною ка[illegible]ся картина: солнце становится ничѣмъ болѣе, какъ [illegible]*котораго въ діаметрѣ* столько-то миль, на деревья

смотришь, какъ на вещь, годную для топлива, цвѣты начинаешь дѣлить на классы по тычинкамъ, въ водѣ видишь только мокроту.

Мальчишка, собиравшій въ лѣсу хворостъ для своего больного дяди, показалъ мнѣ дорогу къ деревнѣ Лербахъ, избушки которой, съ сѣрыми крышами, тянутся въ долинѣ на разстояніи получаса пути. «Тамъ,—сказалъ мнѣ мальчишка,—живутъ зобастые дураки и бѣлые негры!» Этимъ послѣднимъ именемъ народъ называетъ альбиносовъ. Мальчикъ и лѣсныя деревья отлично понимали другъ друга; онъ кланялся имъ, какъ добрымъ знакомымъ, а они, шумя вѣтвями, будто отвѣчали на его привѣтствіе. Онъ свистнулъ, какъ чижикъ, кругомъ защебетали въ отвѣтъ другія птицы— и не успѣлъ я оглянуться, какъ мальчикъ, босоногій и съ пукомъ хвороста, прыжкомъ исчезъ въ лѣсной чащѣ.— Дѣти, думалъ я, моложе насъ: имъ не трудно припомнить то время, когда сами они были деревьями и птицами, и не трудно поэтому понимать тѣхъ и другихъ; а мы уже состарѣлись, и въ нашей головѣ слишкомъ много заботъ юриспруденціи и скверныхъ стиховъ. Когда-то и съ нами было иначе—и я живо припомнилъ это время, подходя къ Клаусталю. Въ этотъ чистенькій городокъ, который увидишь только тогда, когда очутишься передъ его воротами, я вступилъ какъ разъ, когда било двѣнадцать часовъ, и школьники весело высыпали изъ училища. Почти всѣ краснощекіе, съ синими глазами и бѣлыми, какъ ленъ, волосами, милыя дѣти прыгали, рѣзвились, хохотали и пробудили во мнѣ грустно-свѣтлое воспоминаніе о томъ времени, когда и я, маленькій мальчикъ, цѣлое утро проводилъ въ мрачно-католической монастырской школѣ Дюссельдорфа, не вставая съ деревянной скамейки и вынося на себѣ множество латыни, побоевъ и географіи, и точно такъ же безмѣрно радовался, когда на старой францисканской башнѣ било, наконецъ, двѣнадцать часовъ.

Клаусталь скіе школьники, по моей дорожной сумкѣ, узнали, что я чужестранецъ, и очень радушно привѣтствовали меня. Одинъ изъ нихъ разсказалъ мнѣ, что у нихъ только-что былъ урокъ изъ Закона Божія, и показалъ мнѣ королевс ганноверскій катехизисъ, по которому ихъ спрашиваютъ христіанской религіи. Книжка эта была очень дурно изда и мнѣ пришло въ голову опасеніе, что догматы рели вслѣдствіе этого, сразу производятъ на умы учениковъ *пріятное*, оберточно-бумажное впечатлѣніе; очень не по

вилось мнѣ также и то, что въ катехизисѣ, на послѣдней страницѣ, напечатана таблица умноженія, черезъ что дѣти уже въ такомъ раннемъ возрастѣ могутъ впадать въ грѣховныя сомнѣнія... Въ Пруссіи мы гораздо умнѣе и при нашемъ рвеніи обращать на путь истинный людей, такъ хорошо понимающихъ ариѳметическій счетъ, никогда не печатаемъ въ концѣ катехизиса таблицы умноженія.

Я пообѣдалъ въ гостиницѣ «Короны». Мнѣ подали супъ изъ самой свѣжей петрушки, синюю капусту, жареную телятину, величиною съ Чимборазо въ миніатюрѣ, и особый родъ копченыхъ сельдей, называемыхъ бюкингами, отъ имени Вильгельма Бюкинга, открывшаго ихъ; этотъ Бюкингъ, умершій въ 1447 г., былъ въ такой чести за свое открытіе у Карла V, что этотъ государь въ 1556 г. ѣздилъ изъ Миддельбурга въ Бивлидъ въ Зеландіи, единственно для того, чтобы поклониться гробу этого великаго человѣка. Какъ должно быть вкусно блюдо, когда имѣешь историческія свѣдѣнія о немъ, и оно само поѣдается тобою! Только кофе послѣ обѣда было мнѣ испорчено; ко мнѣ подсѣлъ какой-то молодой человѣкъ и началъ такъ ужасно ораторствовать, что молоко на столѣ скисло. Это былъ молодой commis-voyageur съ двадцатью пятью пестрыми жилетами и столькими же золотыми печатями, перстнями, булавками и т. п. Онъ походилъ на обезьяну, которая нарядилась въ красную куртку и говоритъ сама себѣ: «платье дѣлаетъ человѣка». Зналъ онъ наизусть цѣлую бездну шарадъ и анекдотовъ, которыми сыпалъ именно тогда, когда они менѣе всего были кстати. На вопросъ его, что новаго въ Геттингенѣ, я разсказалъ ему, что передъ моимъ отъѣздомъ тамошній академическій сенатъ издалъ декретъ, которымъ запрещалось отрѣзывать у собакъ хвосты, подъ опасеніемъ штрафа въ три талера, на томъ основаніи, что бѣшеныя собаки носятъ хвостъ между ногами и тѣмъ отличаются отъ небѣшеныхъ, чего не можетъ быть при отсутствіи хвостовъ. Послѣ обѣда я отправился дальше, съ цѣлью осмотрѣть рудники, серебряныя мины и монетный дворъ.

Въ серебряныхъ минахъ, какъ во многихъ случаяхъ моей
ни, мнѣ не удалось видѣть серебра. На монетномъ
ѣ мнѣ повезло больше, и я видѣлъ, какъ дѣлали
ги. Правда, дальше дѣло не шло. Въ подобныхъ слу-
хъ я ограничивался только созерцаніемъ, и, кажется,
і съ неба дождемъ серебряные талеры, я и тутъ бы
о не получилъ *отъ нихъ*, кромѣ ушибовъ въ голов

между тѣмъ какъ дѣти Израиля весело собирали бы эту серебряную манну. Съ чувствомъ, въ которомъ очень комически смѣшались между собой почтеніе и сладкое волненіе, смотрѣлъ я на эти блестящіе, новорожденные талеры, взялъ въ руки одинъ изъ нихъ, только-что отчеканенный, и сказалъ ему: «О, юный талеръ, какая участь ожидаетъ тебя! сколько хорошаго и сколько дурного создашь ты! какъ будешь ты укрывать порокъ и класть заплаты на добродѣтель! какъ будутъ тебя любить и потомъ снова проклинать! сколько разъ будешь ты помогать оргіямъ, сводничеству, лжи, убійству! сколько столѣтій будешь ты безостановочно проходить черезъ чистыя и грязныя руки, пока, наконецъ, обремененный преступленіями и усталый отъ грѣховъ, присоединишься къ братьямъ своимъ въ лонѣ Авраамлемъ, которое перельетъ тебя, и очиститъ, и передѣлаетъ для новой, лучшей, жизни — можетъ-быть, жизни невинной чайной ложки, которою когда-нибудь мой собственный праправнукъ будетъ мѣшать въ своемъ любимомъ пивномъ супцѣ!»

Спускъ въ два главнѣйшихъ клаустальскихъ рудника: Доротея и Каролина, показался мнѣ крайне интереснымъ, и я считаю не лишнимъ разсказать здѣсь о немъ подробнѣе.

За полчаса ходьбы до города стоятъ два большихъ, черноватыхъ зданія. Здѣсь путешественника сейчасъ же встрѣчаютъ рудокопы. Они одѣты въ темно-синія, широкія, опускающіяся ниже живота куртки и такого же цвѣта панталоны, къ задней части которыхъ пришитъ кусокъ кожи; на головахъ у нихъ маленькія войлоковыя шляпы зеленаго цвѣта и совершенно безъ полей, похожія на кегли. Въ такое же платье, исключая куска кожи, одѣваютъ посѣтителя. Потомъ рудокопъ, засвѣтивъ свою лампочку, ведетъ его къ темному отверстію, похожему на трубу камина, спускается туда по поясъ, даетъ наставленіе, какъ держаться за перила лѣстницы, и приглашаетъ смѣло слѣдовать за нимъ. Путешествіе это совсѣмъ не опасно; но, приготовляясь къ нему, не вѣришь этому, если не знаешь внутренняго устройства рудниковъ. Странное чувство овладѣваетъ вами уже въ то время, когда приходится снимать свое платье и надѣвать точно мрачную одежду преступника. А затѣмъ приходится на четвереньках спускаться въ отверстіе, а оно такъ черно, и Богъ его знаетъ, какъ длинна лѣстница. Скоро, однако, вы замѣчаете, что въ мрачную вѣчность ведетъ не одна лѣстница, а нѣсколько, въ каждой изъ нихъ отъ пятнадцати до двадцати ступеней, и каждая

оканчивается маленькой площадкой, на которой можно отдохнуть и съ которой новое отверстіе ведетъ на новую лѣстницу. Изъ двухъ рудниковъ я прежде началъ спускаться въ Каролину. Это самая грязная и непривѣтная Каролина, какую только мнѣ приходилось видѣть. Ступени лѣстницы влажны до грязности. Съ одной лѣстницы спускаешься на другую, предшествуемый рудокопомъ, который, то и дѣло, увѣряетъ, что опасности нѣтъ никакой: надо только, говоритъ онъ, твердо держаться руками за ступеньки и не смотрѣть подъ ноги, и не поддаваться головокруженію, а пуще всего не становиться на боковую доску, по которой въ настоящую минуту подымается, шумя, веревка для бочекъ, и съ которой, недѣли за двѣ, неосторожный человѣкъ полетѣлъ и свернулъ себѣ, бѣдный, шею. Тамъ, внизу, глухой шумъ и жужжаніе, вы, то и дѣло, толкаетесь о бревна и веревки, по которымъ подымаютъ вверхъ бочки, наполненныя металломъ или просачивающеюся водою. Иногда вы попадаете въ высѣченныя галлереи, называемыя Stollen, гдѣ растетъ желѣзо и гдѣ одинокій рудокопъ сидитъ цѣлый день, съ трудомъ выбивая молоткомъ изъ стѣнъ куски желѣза. Въ самую глубину, туда, гдѣ, по словамъ нѣкоторыхъ, уже слышно, какъ наши антиподы въ Америкѣ кричатъ: «ура, Лафайетъ!»—я не спускался; между нами будь сказано, съ меня довольно было и той глубины, куда я влѣзъ: безпрерывный шумъ и скрипъ, какъ-то непріятно дѣйствующее на душу движеніе машинъ, журчанье подземныхъ источниковъ, со всѣхъ сторонъ струящаяся вода, подземные пары, и лампочка рудокопа, все блѣднѣе и блѣднѣе мерцающая въ пустынной темнотѣ. Дѣйствительно, это производило ошеломляющее дѣйствіе, у меня занималось дыханіе, и я едва держался за скользкія ступени. Я не испытывалъ того, что называютъ испугомъ; но—странное дѣло—въ этой подземной глубинѣ я вспомнилъ, что въ прошедшемъ году, около этого же времени, мнѣ привелось испытать бурю на Сѣверномъ морѣ, и я думалъ теперь, что собственно очень пріятно, когда волны качаютъ корабль, вѣтеръ играетъ въ свои звонкія трубы, среди этихъ звувесело раздаются крики матросовъ—и надъ всѣмъ отрадно вѣетъ милый, свѣжій воздухъ. Да, воздухъ!.. я воздуха, я снова сталъ подыматься по лѣстницамъ, вожатый повелъ меня черезъ длинную, очень узкую, чую въ горѣ, *галлерею*, въ рудникъ Доротея. Здѣсь *е и веселѣе; лѣстницы* чище, но длиннѣе и круче,

чѣмъ въ Каролинѣ. На душѣ у меня стало легче, особенно, когда я снова увидѣлъ слѣды человѣческіе. Въ глубинѣ двигались огоньки; это рудокопы, съ своими лампочками, подымаясь вверхъ, привѣтствовали насъ обычнымъ «Glück auf» и, получивъ отъ насъ то же привѣтствіе, исчезали... И какъ дружественно-спокойное, но въ то же время мучительно-загадочное воспоминаніе — подѣйствовали на меня своими глубокомысленно-ясными взорами серьезно-набожныя, отчасти блѣдныя и таинственно освѣщенныя свѣтомъ рудниковъ, лица этихъ молодыхъ и старыхъ людей, которые цѣлый день работали въ своихъ темныхъ, уединенныхъ подземельяхъ и теперь стремились наверхъ, чтобы увидѣть привѣтный свѣтъ Божій и глаза жены и дѣтей.

Мой чичероне былъ честный, вѣрный, какъ собака, нѣмецъ. Съ глубокою радостью показалъ онъ мнѣ то мѣсто, гдѣ герцогъ Кембриджскій, во время посѣщенія рудниковъ, обѣдалъ со всею своею свитою, и гдѣ до сихъ поръ стоитъ длинный деревянный столъ и большой стулъ изъ руды, на которомъ сидѣлъ герцогъ.—«Это,—сказалъ мнѣ добрый нѣмецъ,—должно остаться здѣсь, какъ вѣчное воспоминаніе!» И потомъ сталъ съ одушевленіемъ разсказывать, сколько празднествъ давались по этому случаю, какъ вся галлерея была убрана свѣчами, цвѣтами, вѣтвями, какъ одинъ рудокопъ пѣлъ и игралъ на цитрѣ, какъ развеселившійся милый, толстый герцогъ много пилъ за разное здоровье, и какъ всѣ рудокопы, а онъ, мой чичероне, въ особенности, охотно готовы умереть за милаго, толстаго герцога и за весь ганноверскій домъ... Глубокое умиленіе овладѣваетъ мною каждый разъ, когда я вижу, какъ это чувство вѣрноподданичества высказывается въ своихъ простыхъ, природныхъ звукахъ. Это такое прекрасное чувство! И такое чисто-нѣмецкое чувство! У другихъ народовъ есть, можетъ-быть, больше и способностей, и остроумія, и веселости, но ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ такой вѣрности, какая есть въ этомъ вѣрномъ нѣмецкомъ народѣ. Если бъ мнѣ не было извѣстно, что вѣрность такъ же стара, какъ и вселенная, то я бы подумалъ, что ее изобрѣло вѣрное нѣмецкое сердце. Нѣмецкая вѣрность! Она не то, что реторическая шумиха новыхъ адресовъ. При вашихъ дворахъ, нѣмецкіе князья, слѣдовало бы пѣть, не переставая, пѣсню о вѣрномъ Экартѣ и зломъ Бургундѣ, который умертвилъ дѣтей перваго и все-таки не поколебалъ его вѣрности. У васъ вѣрнѣйшій народъ въ мірѣ, и вы ошибаетесь, когда думаете, что эта

старая, умная, вѣрная собака вдругъ взбѣсилась и хочетъ укусить васъ за высокопочтенныя икры.

Подобно нѣмецкой вѣрности, лампочка рудокопа, безъ особеннаго блеска, но спокойная и надежная, освѣтила намъ дорогу черезъ лабиринтъ пещеръ и галлерей. Мы вышли изъ душной темноты подземелья, солнце снова блеснуло намъ. Glück auf!

Почти всѣ рудокопы живутъ въ Клаусталѣ и въ сосѣднемъ съ нимъ городѣ Целлерфельдѣ. Я заходилъ ко многимъ изъ этихъ славныхъ людей, смотрѣлъ на ихъ скромную домашнюю обстановку, прислушивался къ ихъ пѣснямъ, которыя они распѣваютъ, прекрасно аккомпанируя себѣ на цитрѣ, своемъ любимомъ инструментѣ; я заставлялъ разсказывать себѣ старыя горныя преданія, повторять молитвы, которыя они произносятъ, сходясь вмѣстѣ передъ тѣмъ, какъ спускаться въ мрачные рудники—и не одну хорошую молитву проговорилъ я съ этими добрыми людьми. Одинъ старый рудокопъ началъ даже доказывать, что мнѣ слѣдовало бы остаться съ ними и сдѣлаться рудокопомъ, и, когда, несмотря на это мнѣніе, я простился съ нимъ, то онъ далъ мнѣ порученіе къ своему брату, живущему около Гослара, и просилъ нѣсколько разъ поцѣловать за него милую племянницу.

Но какъ ни неподвижно-спокойна кажется жизнь этихъ людей, на самомъ дѣлѣ это настоящая, живая жизнь. Въ одной избѣ, за печкою противъ шкапа, сидѣла женщина, почти окаменѣвшая отъ старости—и, можетъ-быть, она сидитъ здѣсь уже цѣлую четверть столѣтія, и ея мысли и чувства, безъ всякаго сомнѣнія, тѣсно срослись со всѣми углами этой печки, со всѣми вырѣзками на этомъ шкапу. И шкапъ, и печки живутъ, потому что человѣкъ вдохнулъ въ нихъ часть своей души.

Только изъ такой глубокой созерцательной жизни, только изъ «непосредственности» возникла нѣмецкая волшебная сказка, особенность которой состоитъ въ томъ, что въ ней живутъ и дѣйствуютъ не только звѣри и растенія, но и предметы, повидимому, совершенно лишенные жизни. Передъ умнымъ, невиннымъ народомъ, въ тихой, безмятеж-нственности его горныхъ и лѣсныхъ хижинъ, откры-ренняя жизнь этихъ неодушевленныхъ предме-приняли въ глазахъ его характеръ чего-то не-, послѣдовательнаго, явились, какъ милая смѣсь фантазіи съ чисто человѣческими чувствами

Вотъ почему встрѣчаемъ мы въ этихъ сказкахъ вещи самыя волшебныя, но какъ бы совершенно естественныя; иголка и булавка приходятъ изъ артели портныхъ и пропадаютъ въ темнотѣ; соломенка и уголь хотятъ перейти черезъ ручей и теряютъ равновѣсіе; лопата и метла, стоя на крыльцѣ, ссорятся и дерутся; зеркало, по спросу вашему, показываетъ образъ прелестнѣйшей женщины; даже капли крови начинаютъ говорить — произносятъ мрачныя слова самаго безпокойнаго состраданія. По такой же самой причинѣ и въ дѣтствѣ нашемъ жизнь имѣетъ для насъ такое необъятное значеніе, въ это время все равно важно для насъ, мы все слушаемъ, на все смотримъ, всѣ наши впечатлѣнія равномѣрны. Но въ послѣдующіе годы, въ нашихъ дѣйствіяхъ больше преднамѣренности, мы исключительнѣе занимаемся тою или другою отдѣльною вещью, съ тяжелымъ трудомъ мѣняемъ чистую золотую монету созерцанія на бумажныя деньги книжныхъ опредѣленій и выигрываемъ въ широтѣ жизни то, что теряемъ въ глубинѣ ея. Тутъ ужъ мы становимся взрослыми, гордыми собою людьми; мы часто мѣняемъ квартиры, горничная наша каждый день мететъ полъ, или по своему усмотрѣнію переставляетъ мебель, которая мало интересуетъ насъ, или потому, что она нова, или потому, что сегодня принадлежитъ Гансу, завтра Исааку; самое платье, въ которомъ мы ходимъ, чужое для насъ; мы едва знаемъ, сколько пуговицъ на сюртукѣ, въ который мы именно въ это время одѣты; вѣдь почти каждый день мѣняемъ мы свою одежду, и ни одна часть ея не остается въ связи съ нашею внутреннею и внѣшнею исторіей; едва-едва удается намъ припомнить, каковъ былъ видъ того коричневаго жилета, надъ которымъ всѣ когда-то такъ смѣялись и къ широкимъ полосамъ котораго прижималась, однако, съ такою любовью милая рука возлюбленной!..

Старая женщина, сидѣвшая за печкой, противъ большого шкапа, была одѣта въ платье съ цвѣтами изъ старомодной матеріи—подвѣнечное платье ея покойной матери. Правнукъ старушки, бѣлокурый и быстроглазый мальчикъ, одѣтый рудокопомъ, сидѣлъ у ногъ ея и считалъ цвѣты на ея платьѣ. Много, можетъ-быть, исторій поразсказала ему старушка объ этомъ платьѣ—умныхъ, прелестныхъ исторій, которыя, конечно, не скоро позабудутся мальчикомъ и будутъ проходить передъ нимъ и въ то время, когда онъ уже сдѣлается взрослымъ человѣкомъ и станетъ рабо-

тать въ темныхъ галлереяхъ Каролины; и будетъ онъ, быть-можетъ, пересказывать ихъ, когда милой бабушки давно уже не будетъ на свѣтѣ, а самъ онъ, сѣдоволосый, угасающій старикъ, усядется въ кругу своихъ внуковъ, противъ большого шкапа, за печкой.

Я и переночевалъ въ гостиницѣ Короны, куда между тѣмъ пріѣхалъ и гофратъ Б. изъ Геттингена. Я имѣлъ удовольствіе засвидѣтельствовать ему свое почтеніе. Записавши свое имя въ книгѣ путешественниковъ, я сталъ перелистывать мѣсяцъ іюль и тутъ встрѣтилъ многолюбезное имя Адальберта Шамиссо, біографа безсмертнаго Шлемиля. Трактирщикъ разсказалъ мнѣ, что этотъ господинъ пріѣхалъ въ невообразимо-скверную погоду и въ такую же погоду уѣхалъ.

Утромъ, сообразивъ, что дорожный мѣшокъ мой будетъ слишкомъ тяжелъ для меня, я выбросилъ изъ него еще пару сапогъ и отправился къ Гослару. Какъ я дошелъ туда, самъ не знаю. Помню только, что я то спускался, то всходилъ на гору, смотрѣлъ оттуда внизъ не на одну прелестную долину; шумѣли тамъ серебристыя воды, щебетали милыя лѣсныя птицы, стада побрякивали колокольчиками, солнце обливало золотомъ зеленыя деревья, а надъ всѣмъ этимъ раскидывался голубой, шелковый сводъ неба, такой прозрачный, что сквозь него можно было видѣть самую Святыню Святынь, гдѣ ангелы сидятъ у ногъ Бога... Но въ моей душѣ былъ живъ еще сонъ прошедшей ночи, и напрасно я старался выгнать его оттуда. Это была старая сказка о рыцарѣ, который спускается въ глубокій колодецъ, гдѣ прелестнѣйшая изъ принцессъ лежитъ, погруженная въ волшебный, непробудный сонъ. Я самъ былъ этотъ рыцарь, а колодецъ — мрачный клаустальскій рудникъ, и вдругъ зажглось множество свѣчей, и изъ всѣхъ боковыхъ отверстій выскочили бодрые карлики; они корчили гнѣвныя гримасы, фехтовали противъ меня своими коротенькими мечами, пронзительно дули въ рога, вызывая этимъ къ себѣ больше и больше товарищей, и страшно трясли своими широкими головами. Я ударилъ въ нихъ, кровь быстро хлынула наружу, и тутъ только я замѣтилъ, что эти головы и тѣ самые красные, длиннобородые волчецы, которыхъ, ень передъ тѣмъ, я сбивалъ палкой на большой дорогѣ. ики вдругъ исчезли; я пошелъ дальше и достигъ свѣт- еликолѣпной залы. Здѣсь, посреди комнаты, подъ бѣ- покрываломъ, неподвижная и нѣмая, какъ статуя,

го сердца; я поцѣловалъ уста ея и,
услышалъ блаженное дыханіе души
алыхъ губъ. У меня на сердцѣ
, я услышалъ воззваніе Бога: «да
ительно сверкнулъ мнѣ въ глаза
въ ту же минуту снова тьма окру-
хаотическомъ безпорядкѣ, ринулось
морю. Дикое, бѣшеное море! Надъ
его, въ испугѣ, летѣли тѣни мертве-
ихъ развѣвались по вѣтру, а за ними,
летѣлъ, травя ихъ, пестрый арлекинъ, и
ль и самъ. И внезапно, изъ темныхъ
морскія чудовища свои безобразныя го-
гивать ко мнѣ широко-раскрытые когти,
кулся.

часто портятъ самыя лучшія сказки! По
, когда рыцарь находитъ спящую прин-
ваетъ изъ ея дорогого покрывала кусокъ
, когда его храбрость уничтожаетъ этотъ
, и красавица снова сидитъ въ своемъ
ромъ тронѣ, то рыцарь подходитъ къ ней и
моя высокопрекрасная принцесса, знаешь ли
на отвѣчаетъ: «мой высокохрабрый рыцарь,
». Тогда онъ показываетъ кусокъ, вырѣ-
покрывала, который оказывается прилипа-
къ мѣрку, они нѣжно обнимаются, ры-
ръ и празднуется свадьба.

-то особенное несчастіе, что мои сны любви
ный прекрасный принцъ.

, что съ вакаціемъ Гесперы сновидѣнія мои
расцвѣтали воспоминаній, я оставалъ встрѣ-
ный большой городъ. Но случилось то, что
, когда смотрѣлъ на знаменитость въ
-нибудь пьесу съ большою частью
, между которыми
, дѣвица. Какъ моей молодости и
, какъ талантъ
-тренній—
-тренняго
. У
, но знаю
, что
, въ которой собирается
общество,

ный лугъ, окруженный высокими горами. Рыночная
щадь не велика; посрединѣ ея стоитъ фонтанъ, выбра-
ющій воду въ большую металлическую лохань. Во время
аровъ, въ эту лохань бьютъ нѣсколько разъ, и она
етъ далеко разносящіеся звуки. О происхожденіи ея
го ничего не знаетъ. Говорятъ, что это чортъ поста-
ъ ее здѣсь разъ ночью. Въ то время люди были еще
ы, чортъ — тоже дуракъ, и они дѣлали другъ другу
рки.

атуша въ Госларѣ похожа на казарму, вымазанную бѣ-
краской. Гильдейскій домъ, стоящій подлѣ нея, немного
сивѣе. Здѣсь, въ почти равномъ разстояніи отъ земли
ъ крыши, отдѣляются статуи нѣмецкихъ императоровъ,
рнѣвшія отъ дыма и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ позоло-
ныя; въ одной рукѣ у нихъ скипетръ, въ другой дер-
а; видомъ онѣ похожи на изжаренныхъ университет-
къ педелей. Одинъ изъ этихъ императоровъ держитъ
сто скипетра мечъ. Я никакъ не могъ догадаться, что
итъ эта замѣна, а какое-нибудь значеніе въ ней не-
мѣнно есть, такъ какъ нѣмцы имѣютъ замѣчательное
кновеніе — при всемъ, что они дѣлаютъ, также что-ни-
, думать.

ъ «Руководителѣ» Готшалка я много читалъ о старомъ
арскомъ соборѣ и знаменитомъ императорскомъ креслѣ.
да же мнѣ захотѣлось осмотрѣть и то, и другое, то я
училъ въ отвѣтъ, что соборъ уже разрушенъ, а импе-
орское кресло перевезено въ Берлинъ. Мы живемъ въ
елое, знаменательное время: тысячелѣтніе соборы раз-
аютъ, а императорскія кресла сваливаютъ въ кладовыя.
Кой-какія диковинки изъ бывшаго собора выставлены
ерь напоказъ въ церкви св. Стефана. Тутъ превосходно-
рисованныя стекла, нѣсколько скверныхъ картинъ, между
орыми, говорятъ, есть одна работа Луки Кранаха, по-
ъ деревянное распятіе и языческій жертвенникъ изъ ка-
о-то неизвѣстнаго металла; онъ похожъ на длинный,
вероугольный ящикъ и поддерживается четырьмя каріа-
дами; согнувъ спину, онѣ держатъ руки надъ головами
аорчатъ непривѣтно-отвратительныя рожи. Но еще болѣе
ное впечатлѣніе производитъ большое деревянное
е, о которомъ я только-что упомянулъ. Это голова
Христа, съ натуральными волосами, въ терновомъ
и съ окровавленнымъ лицомъ, выражаетъ предсмерт-
ыданіе *человѣка, но не Богорожденнаго* Искупителя.

Въ этомъ лицѣ отразилась только матеріальная мука, нѣтъ поэзіи страданія. Такому изображенію приличнѣе быть въ анатомическомъ театрѣ, чѣмъ въ храмѣ божьемъ. Свѣдущая въ искусствѣ жена кистера, водившая меня по церкви, показала мнѣ еще, какъ особенно замѣчательную рѣдкость, четвероугольный, черный, гладко выстроганный, покрытый бѣлыми цифрами кусокъ дерева, висящій въ видѣ лампады посреди церкви. О, въ какомъ ярковъ свѣтѣ выказывается здѣсь духъ изобрѣтательности протестантской церкви! Ибо представьте себѣ! Цифры на этомъ кускѣ дерева обозначаютъ номера псалмовъ, которые обыкновенно пишутся мѣломъ на черной доскѣ и тѣмъ дѣйствуютъ не совсѣмъ благопріятно на эстетическое чувство; теперь же, вслѣдствіе только-что упомянутаго изобрѣтенія, онѣ служатъ даже украшеніемъ церкви и достаточно замѣняютъ такъ часто не достающія здѣсь картины Рафаэля. Такіе успѣхи безконечно радуютъ меня, потому что я, какъ протестантъ и притомъ лютеранинъ, всегда глубоко огорчаюсь, когда католическіе противники начинаютъ издѣваться надъ голымъ, богозабытымъ видомъ протестантскихъ церквей.

Я остановился въ гостиницѣ, подлѣ рыночной площади, гдѣ поданный мнѣ обѣдъ показался бы еще вкуснѣе, если бъ не подсѣлъ ко мнѣ господинъ трактирщикъ со своимъ длиннымъ лицомъ и скучнѣйшими вопросами. Къ счастію, меня освободилъ другой пріѣзжій, который тоже долженъ былъ выдержать тѣ же вопросы и въ томъ же порядкѣ: quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quo modo? quando? Этотъ новый гость былъ старый, усталый, изношенный человѣкъ; судя по его словамъ, онъ объѣхалъ цѣлый свѣтъ, особенно долго жилъ въ Батавіи, заработалъ много денегъ и снова потерялъ ихъ, и теперь, послѣ тридцатилѣтняго отсутствія, возвращался въ Кведлинбургъ, мѣсто своего рожденія, «потому что,—прибавилъ онъ,—тамъ наше фамильное кладбище». На это господинъ трактирщикъ сдѣлалъ очень мудрое замѣчаніе, что для души рѣшительно все равно, гдѣ бы ни было похоронено тѣло. «Имѣете ли вы письменное удостовѣреніе въ этомъ?» спросилъ пріѣзжій, и какія-то хитрыя морщины образовались около его печальныхъ губъ и тухшихъ маленькихъ глазъ. «Впрочемъ,—прибавилъ онъ, этимъ не хотѣлъ сказать ничего дурного о чужихъ гро цахъ. Турки хоронятъ своихъ мертвыхъ гораздо л чѣмъ мы; ихъ кладбища—настоящіе сады, и тамъ с они на бѣлыхъ, увѣнчанныхъ чалмами могильныхъ пль

подъ тѣнью кипариса, гладятъ себя по серьезной бородѣ и спокойно курятъ турецкій табакъ изъ длинныхъ турецкихъ трубокъ. А на китайцевъ такъ просто смотрѣть весело, какъ они жеманно пляшутъ вокругъ гробницъ, и молятся, и пьютъ чай, и играютъ на скрипкѣ, и украшаютъ милыя могилы вызолоченными лаковыми издѣліями, фигурками изъ фарфора, клочками пестрой шелковой матеріи, искусственными цвѣтами, разноцвѣтными фонариками... Все это очень мило! А сколько будетъ отсюда до Кведлинбурга?»

Госларское кладбище мнѣ не совсѣмъ понравилось. Но тѣмъ болѣе понравилась чудная головка, которая, въ то время, какъ я входилъ въ городъ, выглянула, съ веселой улыбкой, изъ довольно высокаго окна въ нижнемъ этажѣ одного дома. Пообѣдавъ, я снова пошелъ къ этому милому окну, но теперь на немъ стоялъ только стаканъ воды съ букетомъ бѣлыхъ колокольчиковъ. Я вскарабкался, вынулъ изъ стакана хорошенькіе цвѣты и спокойно прикололъ ихъ къ шляпѣ, нимало не заботясь о раскрытыхъ ртахъ, окаменѣлыхъ носахъ и выпученныхъ глазахъ, съ которыми проходящіе—и особенно старухи—смотрѣли на это явное воровство. Чрезъ часъ я снова проходилъ мимо того же дома; теперь милая головка была въ окнѣ и, увидѣвъ бѣлые цвѣты на моей шляпѣ, она зардѣлась яркимъ румянцемъ и откинулась назадъ. Теперь я успѣлъ разсмотрѣть еще явственнѣе прелестное лицо ея; это было милое, прозрачное воплощенье дыханья лѣтняго вечера, луннаго свѣта, соловьиной пѣсни и благоуханія розы. Вечеромъ, когда совсѣмъ стемнѣло, она вышла на крыльцо. Я подошелъ ближе; она медленно отступаетъ въ темныя сѣни, я за нею, схватываю ея руку и говорю: «я большой охотникъ до прекрасныхъ цвѣтовъ и поцѣлуевъ, и чего мнѣ не даютъ добровольно, то краду». И тутъ я быстро цѣлую ее, и такъ какъ она хочетъ убѣжать, успокоительно шепчу: «завтра я ѣду и никогда не вернусь сюда». И слышу таинственное пожатіе маленькихъ ручекъ и милыхъ губъ, и, смѣясь, убѣгаю оттуда... Да, мнѣ нельзя не смѣяться, потому
помимо своего вѣдома, произнесъ тѣ волшебныя
оторыми наши красные и синіе мундиры побѣ-
сердца женщинъ чаще, чѣмъ своею бакенбард-
зностью: «завтра я уѣзжаю и никогда не вернусь

оей квартиры открывался прелестный видъ на Ра-

мельсбергъ. Былъ прекрасный вечеръ. Ночь летѣла на своемъ черномъ конѣ, и длинная грива его развѣвалась по вѣтру. Я стоялъ у окна и смотрѣлъ на луну. Дѣйствительно ли живетъ на лунѣ человѣкъ? Славяне говорятъ, что имя этого человѣка—Клотаръ, и что онъ увеличиваетъ объемъ луны, подливая въ нее воды. Когда я былъ еще ребенкомъ, то мнѣ разсказывали, что луна—плодъ, который, чуть поспѣетъ, срывается Богомъ и складывается, вмѣстѣ съ прежними лунами, въ большой шкапъ, стоящій на самомъ концѣ свѣта, гдѣ онъ забитъ досками. Подросши, я сталъ замѣчать, что свѣтъ не заключенъ въ такихъ тѣсныхъ границахъ, что человѣческій духъ ниспровергъ деревянныя преграды и открылъ всѣ семь небесъ исполинскимъ Петровымъ ключомъ—идеею безсмертія. Безсмертіе! Прекрасная мысль! Кто первый вызвалъ тебя? Былъ ли то нюренбергскій бюргеръ, который, сидя въ тихій лѣтній вечеръ на порогѣ своего дома, въ бѣломъ колпакѣ на головѣ и съ бѣлою трубкою въ зубахъ, думалъ, «что какъ бы хорошо было, если бы никогда не нужно было разставаться со своей трубочкой и со своимъ дыханьицемъ жизни, и такъ прозябать милые вѣчные годы!» Или былъ то молодой влюбленный, думавшій о безсмертіи въ объятіяхъ своей возлюбленной, и думавшій о немъ потому, что онъ его чувствовалъ, и въ ту минуту, кромѣ безсмертія, не могъ ничего чувствовать, ничего сознавать! Любовь! Безсмертіе! Въ моей груди стало вдругъ такъ жарко, что мнѣ показалось, будто географы сдвинули экваторъ съ мѣста, и онъ проходилъ какъ разъ въ эти минуты черезъ мое сердце. И изъ моего сердца вылились ощущенія любви, и понеслись они, полныя желаній, въ необозримую темноту. Цвѣты въ саду подъ моимъ окномъ благоухали сильнѣе. Благоуханія—это чувства цвѣтовъ, и какъ сердце человѣка чувствуетъ сильнѣе ночью, когда оно одинако и безъ свидѣтелей, такъ и цвѣты, исполненные умной стыдливости, ждутъ, кажется, ночи, чтобы отдаться безраздѣльно своимъ чувствамъ и испарить ихъ въ сладостныхъ благоуханіяхъ... Разливайтесь, благоуханія моего сердца, и за этими горами отыщите возлюбленную моихъ грёзъ! Въ эту минуту она спитъ уже; у н
стоятъ на колѣняхъ ангелы; и когда она улыбается в
то улыбка ея—молитва, которую повторяютъ ангелы
груди ея заключено небо со всѣмъ своимъ блажен
и когда она дышитъ, сердце мое трепещетъ вдали о
За шелковыми рѣсницами глазъ ея закатилось со

когда она снова откроетъ ихъ, настанетъ день и запоютъ птицы, и зазвучатъ колокольчики стадъ, и горы заблещутъ въ своей изумрудной одеждѣ—и я подвяжу дорожную сумку и отправлюсь дальше.

Среди этихъ философическихъ размышленій и личныхъ ощущеній, меня неожиданно посѣтилъ гофратъ Б., незадолго до того также пріѣхавшій въ Госларъ. Никогда привѣтное благодушіе того человѣка не могло произвести на меня такое глубокое впечатлѣніе, какъ теперь. Я уважаю его за замѣчательную плодотворную остроту ума, но еще болѣе за скромность. Я нашелъ его необыкновенно веселымъ, свѣжимъ и бодрымъ. Бодрость эту онъ еще недавно доказалъ своимъ новымъ сочиненіемъ: «Религія разума»—книгою, которая раціоналистовъ такъ восхищаетъ, мистиковъ бѣситъ, а массу публики приводитъ въ волненіе. Я самъ въ настоящую минуту мистикъ, вслѣдствіе состоянія моего здоровья, потому что докторъ предписалъ мнѣ избѣгать всякихъ поводовъ къ мышленію. Тѣмъ не менѣе, я признаю неоцѣненное достоинство за раціоналистическими трудами Паулуса, Гурлитта, Круга, Эйхгорна, Бутервека, Вегшайдера и др. Мнѣ даже чрезвычайно выгодно, что эти люди стараются уничтожить столько старыхъ золъ, особенно старый мусоръ нашихъ церковныхъ развалинъ, среди котораго такъ много змѣй и вредныхъ испареній. Воздухъ въ Германіи слишкомъ густъ и слишкомъ зноенъ, и я часто боюсь задохнуться или быть задушеннымъ моими любезными собратьями—мистиками въ жару ихъ любви. Поэтому я могу только благодарить добрыхъ раціоналистовъ за то, что они даже черезчуръ сильно освѣжаютъ этотъ воздухъ. Вѣдь въ сущности сама природа установила для раціонализма границу; подъ воздушнымъ насосомъ и у сѣвернаго полюса человѣкъ не имѣетъ возможности существовать.

Въ ту ночь, которую я провелъ въ Госларѣ, со мной случилось нѣчто необыкновенное. До сихъ поръ еще не могу я вспомнить объ этомъ безъ страха. По натурѣ я не робокъ, и Богъ свидѣтель, что я никогда не испытывалъ
нного сжиманія сердца, когда, напримѣръ, отточенный
ікъ старался познакомиться съ моимъ носомъ, или
мнѣ случалось заблудиться ночью въ пользовавшемся
о славою лѣсу, или когда въ концертѣ мнѣ грозила
ость быть проглоченну зѣвающимъ лейтенантомъ; но
я боюсь такъ же, какъ «Австрійскій Наблюда

Что такое страхъ? гдѣ его источникъ: въ умѣ или въ чувствѣ? Объ этомъ предметѣ я часто спорилъ съ докторомъ Сауломъ Ашеромъ, когда мы случайно сходились въ Берлинѣ въ Café-Royal, гдѣ я долго обѣдалъ. Докторъ всегда доказывалъ, что мы боимся чего-нибудь, потому что разумъ нашъ признаетъ это страшнымъ; только разумъ, а никакъ не чувство, есть сила. Между тѣмъ, какъ я вкусно ѣлъ и пилъ, онъ все доказывалъ мнѣ превосходство разума. Въ концѣ своей рѣчи онъ обыкновенно смотрѣлъ на часы и всегда заключалъ словами: «разумъ есть высшій принципъ!» Разумъ! Каждый разъ, какъ я слышу это слово теперь, непремѣнно все еще вспоминаю доктора Саула Ашера съ его абстрактными ногами, узкимъ трансцендентально-сѣрымъ кафтаномъ и крутымъ, леденисто-холоднымъ лицомъ, которое могло бы служить чертежною таблицею въ учебникѣ геометріи. Этотъ человѣкъ, давно уже перешедшій за пятидесятилѣтній возрастъ, былъ олицетворенная прямая линія. Стремясь постоянно къ положительному, бѣднякъ выфилософировалъ изъ своей жизни все прекрасное, всѣ солнечные лучи, всѣ вѣрованія и всѣ цвѣты, и ничего не осталось ему, кромѣ холодной, положительной могилы. Особенную непріязнь питалъ онъ къ Аполлону Бельведерскому и къ христіанству. Противъ этого послѣдняго онъ написалъ даже брошюру, въ которой доказывалъ его неразумность и несостоятельность. Онъ вообще написалъ цѣлую массу книгъ, въ которыхъ разумъ постоянно кичился своимъ собственнымъ превосходствомъ, и такъ какъ бѣдный докторъ серьезно вѣрилъ этому, то въ этомъ отношеніи онъ заслуживалъ полнаго уваженія. Но въ томъ-то и заключалась самая забавная штука, что онъ строилъ такую серьезно-глупую мину, когда не могъ понять то, что понимаетъ каждое дитя, именно потому что оно дитя. Я иногда посѣщалъ доктора разума въ его собственномъ домѣ и не разъ заставалъ у него хорошенькихъ дѣвушекъ, потому что разумъ не запрещаетъ чувственности. Разъ, когда я пришелъ къ нему, слуга его сказалъ мнѣ: «господинъ докторъ только что умеръ». На меня это произвело такое же впечатлѣніе, какъ если бы онъ сказалъ: «господинъ докторъ перемѣнилъ квартиру».

Но вернемся въ Госларъ «Высшій принципъ есть разумъ!»—говорилъ я себѣ въ видѣ успокоенія, ложась въ постель. Однако, это не помогло. Я только-что прочелъ въ «Нѣмецкихъ Разсказахъ» Варнгагена фонъ-Энзе, захвачен-

ныхъ мною въ Клаусталѣ, страшную исторію о томъ, что къ человѣку, котораго хотѣлъ убить собственный отецъ, ночью явилась съ предостереженіемъ его умершая мать. Превосходное изложеніе этого случая такъ волновало меня во время чтенія, что дрожь пробѣгала по моимъ жиламъ. Притомъ, разсказы о привидѣніяхъ возбуждаютъ особенный страхъ, когда читаешь ихъ въ дорогѣ, да еще ночью, въ городѣ, въ домѣ, въ комнатѣ, гдѣ довелось быть въ первый разъ. Тутъ невольно задаешь себѣ вопросъ: какіе, можетъ-быть, ужасы совершались уже на томъ мѣстѣ, гдѣ я теперь лежу? Къ тому же, луна проливала такой двусмысленный свѣтъ въ мою комнату, по стѣнамъ двигались разныя незванныя тѣни, и когда я приподнялся на кровати, чтобы оглянуться вокругъ себя, то увидѣлъ...

Не можетъ быть ничего страшнѣе, какъ при лунномъ свѣтѣ случайно увидѣть свое лицо въ зеркалѣ. Въ ту же минуту раздался тяжеловѣсный скучный звонъ часовъ, и такой продолжительный, что послѣ двѣнадцатаго удара я подумалъ, что во время этого боя прошло полныхъ двѣнадцать часовъ и что сейчасъ начнетъ бить еще двѣнадцать. Между предпослѣднимъ и послѣднимъ ударомъ забили другіе часы, но очень быстро, пронзительно-звонко и, быть-можетъ, сердясь на медленность своего коллеги. Когда замолкли желѣзные языки тѣхъ и другихъ и во всемъ домѣ воцарилось глубокое, мертвое молчаніе, мнѣ вдругъ показалось, что въ коридорѣ, передъ моею комнатою, что-то тащится и шлепаетъ, точно старый человѣкъ приближается нетвердою походкой. Наконецъ дверь отворилась, и въ комнату медленно вошелъ умершій докторъ Саулъ Ашеръ. Холодная лихорадочная дрожь проникла меня до костей, я задрожалъ, какъ осиновый листъ, и едва осмѣлился взглянуть на привидѣніе. Докторъ не измѣнился: тотъ же трансцендентально-сѣрый кафтанъ, тѣ же абстрактныя ноги и то же математическое лицо; только оно немного пожелтѣло, да губы, прежде образовывавшія два угла въ $22^1/_2$ градуса, теперь были точно прищемлены, и радіусъ глазныхъ орбитъ сдѣлался больше. Шатаясь и, какъ бывало, опираясь на свою [illegible]кую тросточку, онъ подошелъ ко мнѣ и своимъ [illegible]овеннымъ цынготнымъ діалектомъ дружески сказалъ: [illegible]ужасайтесь и не воображайте, что я привидѣніе; ду[illegible]акъ, вы поддаетесь обманчивому дѣйствію вашей фан[illegible] Что такое привидѣніе? Дайте мнѣ точное опредѣле[illegible]ведите мнѣ условія возможности существованія

привидѣній. Въ какомъ разумномъ соотношеніи могутъ находиться между собою подобныя явленія и разумъ человѣческій? Разумъ, я говорю, разумъ...» И тутъ привидѣніе пустилось въ анализъ разума, цитировало Кантову «Критику чистаго разума» 2 часть, 1 отдѣленіе, 2 книгу, 3 главу, о различіи феноменовъ и нуменовъ, на этомъ построило проблематическое вѣрованіе въ привидѣнія, громоздило одинъ силлогизмъ на другой и окончило рѣчь свою логическимъ доказательствомъ, что привидѣнія рѣшительно не существуютъ. Я все это время обливался холоднымъ потомъ; зубы мои стучали, точно кастаньеты; изъ боязни я наклоненіемъ головы безусловно соглашался съ каждымъ словомъ, которымъ привидѣніе-докторъ доказывалъ нелѣпость боязни привидѣній. А онъ такъ увлекался своими доказательствами, что разъ въ разсѣянности вынулъ изъ кармана, вмѣсто золотыхъ часовъ, цѣлую пригоршню червей, и когда замѣтилъ ошибку, то съ комически-испуганною поспѣшностью снова спряталъ ихъ. «Разумъ есть высшій...» Но тутъ часы пробили одинъ—и привидѣніе исчезло.

На слѣдующее утро я отправился изъ Гослара, частію чтобы пойти куда глаза глядятъ, частію съ намѣреніемъ посѣтить брата клаустальскаго рудокопа. Была снова отличная, праздничная погода. Я всходилъ на холмы и горы, смотрѣлъ, какъ солнце старалось разогнать туманъ, весело бродилъ по дрожащимъ лѣсамъ... и вокругъ моей грезившей головы звучали госларскіе колокольчики-цвѣты. Горы высились въ своихъ бѣлыхъ ночныхъ плащахъ, ели отряхивали ночной сонъ, свѣжій утренній вѣтеръ завивалъ ихъ повисшіе внизъ зеленые волосы, птицы собрались на молитву, луговая поляна блестѣла, точно золотой покровъ, усыпанный брильянтами, и пастухъ проходилъ по ней со своимъ звенящимъ стадомъ. Мнѣ предстояла опасность заблудиться: всегда берешь боковыя дороги и тропинки, думая такимъ образомъ скорѣе придти къ цѣли. На Гарцѣ то же, что въ жизни вообще. Но всегда найдутся добрые люди, которые выведутъ на прямую дорогу, и дѣлая это, они еще ощущаютъ особенное удовольствіе и съ самодовольнымъ видомъ, благосклоннымъ голосомъ объясняютъ вамъ, какой вы большой крюкъ сдѣлали, въ какія рисковали попасть пропасти и болота и насколько можете назвать себя счастливымъ, что напали во-время на такихъ опытныхъ людей, каковы они. Такого указчика встрѣтилъ я недалеко отъ Гарцбурга. Это былъ дородный госларскій гражданинъ съ лоснящимся

одутловатымъ, глупо-хитрымъ лицомъ; по его виду можно было подумать, что это онъ изобрѣлъ скотскій падежъ. Мы нѣсколько времени шли вмѣстѣ, и онъ разсказалъ мнѣ много исторій съ привидѣніями; и эти разсказы были бы очень хороши, если бъ не оканчивались доказательствомъ, что привидѣній-то на самомъ дѣлѣ не было, а какой-нибудь бѣлый призракъ оказывался лѣснымъ воромъ, волшебные звуки выходили просто изъ только-что родившихся кабанятъ, а шумъ въ погребѣ былъ ничто иное, какъ мяуканье домашней кошки. «Только больной человѣкъ—прибавилъ мой спутникъ—думаетъ, что видитъ привидѣнія. Ну, а я-то рѣдко боленъ, иногда только страдаю накожною болѣзнью, и мнѣ каждый разъ помогаетъ слюна, которую я проглатываю натощакъ». Онъ объяснялъ мнѣ также полезность и цѣлесообразность всего существующаго въ природѣ: деревья зеленаго цвѣта, потому что зеленый цвѣтъ полезенъ для глазъ. Я соглашался съ нимъ и прибавилъ, что рогатая скотина создана Богомъ потому, что мясной бульонъ укрѣпляетъ силы человѣка, ослы—для того, чтобы ихъ можно было сравнивать съ людьми, а сами люди затѣмъ, чтобъ они ѣли мясной бульонъ и не были ослами. Спутникъ мой былъ въ восхищеніи, что нашелъ единомышленника, лицо его залоснилось еще радостнѣе и, разставаясь со мною, онъ былъ взволнованъ.

Пока этотъ человѣкъ оставался подлѣ меня, вся природа, казалось, лишилась своей чарующей силы. Но только-что онъ ушелъ, какъ снова заговорили деревья, и зазвучали солнечные лучи, и заплясали луговые цвѣточки, и синее небо заключило въ объятія зеленую землю. Да, я лучше его знаю: Богъ создалъ человѣка для того, чтобы онъ дивился величію вселенной. Каждый авторъ, какъ онъ ни великъ, хочетъ, чтобъ его произведенія встрѣчались похвалами. И въ Библіи ясно сказано, что Богъ сотворилъ человѣка для своей славы и хвалы.

Послѣ долгихъ ходовъ и переходовъ, я пришелъ, наконецъ, въ избушку брата моего клаустальскаго пріятеля, провелъ тамъ ночь и пережилъ слѣдующую прекрасную поэму:

I.

На горѣ стоитъ избушка,
Въ ней живетъ старикъ сѣдой;
Тамъ шумятъ вѣтвями ели;
Блещетъ мѣсяцъ золотой.

Посреди избушки кресло,
Въ немъ рѣзные всѣ края;
Кто сидитъ на немъ, тотъ счастливъ,
И счастливецъ этотъ—я.

На скамьѣ сидитъ малютка,
Опершись на локотокъ,
Глазки—звѣзды голубыя,
Ротикъ—пурпурный цвѣтокъ.

И въ прекрасныхъ этихъ звѣздахъ
Точно неба глубина;
Вотъ кладетъ лукаво пальчикъ
Къ губкамъ пурпурнымъ она.

Нѣтъ, насъ матушка не видитъ,
Пряжу пристально прядетъ,
А отецъ подъ звуки лютни
Пѣсню старую поетъ.

И малютка шепчетъ тихо,
Тихо, голосъ затая...
Тутъ немало тайнъ завѣтныхъ
Отъ нея услышалъ я:

«Вотъ, какъ тетушки не стало,
Все сижу я взаперти;
Въ нашъ веселый, шумный городъ
Не съ кѣмъ больше мнѣ пойти.

«Здѣсь же холодъ и безлюдье,
Нѣтъ скучнѣе стороны;
А зимой, подъ этимъ снѣгомъ,
Мы совсѣмъ схоронены.

«Ну, а я-то боязлива
И страшуся, какъ дитя,
Духовъ злыхъ, что̀ ночью бродятъ,
Шутки скверныя шутя».

Вдругъ малютка замолчала,
Будто собственныхъ рѣчей
Испугавшись, и закрыла
Глазки ручкою своей.

Ели шепчутся силнѣе,
Прялка быстрая жужжитъ.

И подъ звонъ отцовской лютни
Пѣсня старая звучитъ:

«Не страшись могучей власти
Духовъ злыхъ, ребенокъ мой:
Духи добрые на стражѣ
Днемъ и ночью надъ тобой!»

II.

Ель зелеными руками
Къ намъ въ окошечко стучитъ,
И нескромный, желтый мѣсяцъ
Тихо въ комнату глядитъ.

Ужъ отецъ и мать уснули
Въ спальнѣ маленькой своей,
Мы же въ шопотѣ блаженномъ,
Не смыкаемъ все очей.

— «Нѣтъ, что ты привыкъ молиться,
Мнѣ повѣрить мудрено:
Блѣдныхъ губъ твоихъ дрожанье
Не молитвой рождено.

«Этотъ злой, холодный трепетъ
На меня наводитъ страхъ,
Но смиряешь ты мой ужасъ
Свѣтомъ набожнымъ въ очахъ.

«Ты, мнѣ кажется, не вѣришь,
Въ то, что̀ чистыя сердца
Вѣрой чистой называютъ—
Въ Духа, Сына и Отца?..»

— «Ахъ, дитя, еще ребенкомъ
У родимой на рукахъ,
Вѣрилъ я въ Отца, Который
Добръ и славенъ въ небесахъ;

«Кто такъ чудно человѣка
И вселенную создалъ,
И лунѣ, звѣздамъ и солнцу
Путь по небу указалъ.

«Но, дитя мое, съ лѣтами
Стала крѣпнуть мысль моя,

Понимать я началъ больше
И повѣрилъ въ Сына я—

«Сына Божьяго, Который
Намъ законъ любви открылъ
И, какъ водится, въ награду
Человѣкомъ распятъ былъ.

«А теперь, когда я много
Ѣздилъ, видѣлъ и читалъ,
Безгранично сердцемъ вѣрить
Я въ Святого Духа сталъ.

«Онъ свершилъ большія чуда
И свершаетъ ихъ всегда—
Разорвалъ онъ цѣпи рабства,
Сбилъ тирановъ города.

«Воскресилъ былое право—
Да идетъ изъ вѣка въ вѣкъ:
Нѣтъ неравенства рожденья,
Благороденъ человѣкъ.

«Злую тьму Онъ разсѣваетъ,
Духовъ темныхъ гонитъ прочь,
Что̀ любовь и радость нашу
Отравляютъ день и ночь.

«Чтобъ Его свершалась воля,
Выбравъ рыцарей себѣ,
Далъ имъ гордую отвагу,
Приготовилъ ихъ къ борьбѣ.

«И мечи ихъ ярко блещутъ,
И знамена вѣютъ ихъ...
Что̀, малютка, ты хотѣла-бъ
Видѣть рыцарей такихъ?

«Ну, такъ вскинь свои глазенки
На меня, ребенокъ мой,
И цѣлуй меня смѣлѣе—
Рыцарь Духа предъ тобой!»

III.

За вѣтвями темной сли
Тихо прячется луна;

Наша лампа догораетъ,
Слабо брезжится она.

Но въ моихъ звѣздахъ сіянье
Ярко, весело горитъ,
И цвѣтокъ пурпурный пышетъ,
И малютка говоритъ:

«Ахъ, уродцы домовые
Хлѣбъ воруютъ все у насъ:
Вечеръ въ ящикѣ лежитъ онъ,
Утромъ пусто каждый разъ.

«Съ молока сберутъ всѣ сливки,
Не прикроютъ и горшка,
А за ними наша кошка
Съѣстъ остатки молока.

«Ну, а кошка вѣдь колдунья
Въ бурю, ночью, все бѣжитъ
Къ мѣсту духовъ, гдѣ въ обломкахъ
Башня старая стоитъ.

«А когда-то замокъ пышный
Возвышался гордо тамъ,
Дамы, рыцари и пажи
Въ немъ плясали по ночамъ.

«Злая фея все сгубила
Силой злого колдовства,
И теперь въ обломкахъ замка
Вьетъ гнѣздо свое сова.

«Но отъ тетки я слыхала,
Будто въ свѣтѣ слово есть—
Чуть его въ такомъ-то мѣстѣ,
Въ часъ такой-то произнесть—

«И опять блестящій замокъ
Изъ развалинъ встанетъ тамъ,
Снова рыцари и дамы
Въ немъ запляшутъ по ночамъ;

«Станетъ тотъ, кто скажетъ слово,
Обладателемъ всего;
Звукъ литавръ и трубъ прославитъ
Юность свѣтлую его!»

Такъ на розахъ милыхъ губокъ
Сказки чудныя цвѣтутъ,
И сіянье голубое
Звѣзды глазокъ въ лепетъ льютъ.

Руку свѣтлыми кудрями
Обвиваетъ мнѣ она,
И мои цѣлуетъ пальцы,
И даетъ имъ имена.

На меня глядятъ привѣтно
Стѣны скромнаго жилья,
Столъ и шкапъ, какъ будто съ ними
Мы старинные друзья.

Ходитъ маятникъ радушно,
Тихо лютня на стѣнѣ
Прозвучитъ сама собою—
И сижу я, какъ во снѣ.

Мы теперь въ томъ самомъ мѣстѣ,
И теперь тотъ самый часъ...
Слушай—смѣло я промолвлю
Слово тайное сейчасъ.

И—смотри, дитя... Свѣтлѣетъ,
Недалеко до утра,
Громче шумъ ручьевъ и елей,
Просыпается гора.

Изъ утесовъ звуки лютней,
Пѣсни духовъ пронеслись,
И лѣса цвѣтовъ роскошныхъ
Точно чудомъ разрослись.

Прихотливо, пестрымъ роемъ,
Эти сдвинулись цвѣты,
И трепещутъ сладострастьемъ
Ихъ широкіе листы.

Розы пышутъ, точно пламя,
Лилій гордые стебли,
Какъ хрустальныя колонки,
Къ небу чаши вознесли

Звѣзды съ неба смотрятъ ярко,
Сладострастія полны,

Льются въ чаши гордыхъ лилій
Волны свѣта съ вышины.

Но, дитя, мы сами больше
Измѣнились въ этотъ часъ;
Шелкъ, и золото, и свѣчи,
Блещутъ весело вкругъ насъ.

Ты въ принцессу обратилась,
Замкомъ сдѣлалась изба,
Въ немъ танцуетъ и ликуетъ
Дамъ и рыцарей гурьба!

Я-жъ надъ всѣмъ, что здѣсь явилось,
Обладателемъ стою;
Славятъ трубы и литавры
Юность свѣтлую мою!

Солнце взошло. Туманъ разсѣялся, точно привидѣнія послѣ третьяго крика пѣтуха. Снова пошелъ я внизъ и вверхъ по горамъ, а предо мною катилось прекрасное солнце, освѣщая каждую минуту новыя красоты. Горный духъ видимо благопріятствовалъ мнѣ; онъ хорошо зналъ, что поэтъ можетъ потомъ поразсказать много прекраснаго, и показалъ мнѣ въ это утро свой Гарцъ въ такомъ видѣ, въ какомъ, конечно, видѣлъ его не всякій. Но за то и меня Гарцъ увидѣлъ такимъ, какимъ немногіе видѣли меня: на рѣсницахъ моихъ дрожали такіе же драгоцѣнные перлы, какъ и въ травѣ долины, роса любви увлажала мои щеки, шумящія ели понимали меня и качали вѣтвями, какъ нѣмые люди, доказывающіе радость движеніемъ рукъ; а вдали слышались какіе-то чудно-таинственные звуки — будто звонъ колоколовъ забытой лѣсной часовни... Говорятъ, что это колокольчики стадъ издаютъ на Гарцѣ такой милый, чистый и гармоническій звукъ.

Судя по солнцу, былъ полдень, когда я встрѣтилъ одно изъ такихъ стадъ. Пастухъ привѣтливый бѣлокурый юноша, сказалъ мнѣ, что большая гора, у подошвы которой я стоялъ—старый, знаменитый Брокенъ. Далеко въ окружности [illegible]та нѣтъ никакого жилья, и, поэтому, я съ удо[illegible]мъ принялъ предложеніе пастуха—закусить съ нимъ. [illegible]а déjeuner dinatoire, состоявшій изъ хлѣба и [illegible] обирали крошки, милые чистенькіе телята пры[illegible]насъ, и лукаво побрякивали колокольчиками,

весело смотря на насъ своими большими, довольными глазами. Мы закусили истинно по-царски; вообще мой амфитріонъ показался мнѣ настоящимъ королемъ, и такъ какъ изъ всѣхъ королей онъ единственный, давшій мнѣ хлѣба, то я и хочу воспѣть его по-царски:

Здѣсь царемъ дитя—пастухъ.
Холмъ зеленый вмѣсто трона,
Солнце яркое надъ нимъ—
Вся изъ золота корона.

У монаршихъ ногъ легли
Льстиво овцы въ красныхъ бантахъ;
Гордой важности печать
На телятахъ-адъютантахъ.

Гофъ-актерами—козлы;
И коровы не безъ дѣла,
Какъ и птицы: флейты ихъ,
Позвонки ихъ—гофъ-капелла.

И такъ мило все звучитъ,
И такъ мило отвѣчаетъ
Водопадъ и темный лѣсъ...
И владыка засыпаетъ.

Въ это время край его
Псомъ-министромъ управляемъ;
Неусыпно сторожитъ
Онъ своимъ широкимъ лаемъ.

Дремля, шепчетъ юный царь:
«Ахъ, правленье—трудъ постылый,
Трудъ тяжелый! Поскорѣй
Мнѣ-бъ домой, къ царицѣ милой!

«И державной головой
Тихо къ ней на грудь склониться...
Вѣдь владѣнія мои
Всѣ въ глазахъ твоихъ, царица!..»

Мы дружески разстались, и я весело пошелъ вверхъ по горѣ. Скоро принялъ меня подъ свою тѣнь лѣсъ высокихъ упиравшихся въ облака, елей, къ которымъ я вообще питаю большое уваженіе. Этимъ деревьямъ не совсѣмъ легко

бываетъ расти, и юность ихъ проходитъ въ порядочныхъ мукахъ. Почва здѣсь усѣяна большими обломками гранита, и большинству деревьевъ приходилось выворачивать ихъ корнями для того, чтобы отыскать себѣ какую-нибудь пищу. Тамъ и сямъ камни, лежа одинъ на другомъ, образуютъ родъ арки, а на ней стоятъ деревья, опуская внизъ съ этихъ каменныхъ воротъ свои обнаженные корни, которые только у подошвы ея трогаютъ землю, такъ что они кажутся растущими въ воздухѣ. А между тѣмъ, они сами вознеслись до могучей высоты, и какъ будто срѐсшись съ этими камнями, стоятъ здѣсь тверже, чѣмъ ихъ комфортные собратья въ спокойныхъ лѣсахъ долинъ. Такъ и въ жизни держатся великіе люди, окрѣпшіе и закалившіеся только благодаря преодолѣнью раннихъ препятствій и мученій. По вѣтвямъ елей прыгали маленькія бѣлки, а въ тѣни деревьевъ прогуливались желтые олени. Когда я вижу это милое, благородное животное, то не могу понять, какъ образованнымъ людямъ доставляетъ удовольствіе травить и убивать его. Это животное превзошло людей великодушіемъ: своимъ молокомъ оно утоляло томительную жажду сына св. Женевьевы.

Прелестно пробивались золотые лучи солнца сквозь зеленую чащу елей. Корни деревьевъ образовывали натуральную лѣстницу. На каждомъ шагу мягкія мшистыя скамейки, потому что камни покрыты прелестнѣйшими породами мха, точно свѣтло-зелеными бархатными подушками. Отрадная прохлада и таинственное журчанье источниковъ. Тамъ и сямъ видно, какъ вода серебристою струею вьется подъ каменьями и увлажаетъ обнаженные корни и жилки деревьевъ. Когда наклонишься къ этому движенію, то будто слышишь тайную исторію образованія растеній и спокойное сердцебіеніе горы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вода сильнѣе пробивается изъ-подъ камней и корней и образуетъ маленькіе каскады. Славно сидѣть въ этихъ мѣстахъ! Кругомъ чудно-таинственный шумъ и жужжанье, птицы разливаются въ прерывистыхъ, полныхъ тоскливыхъ желаній, звукахъ, деревья шепчутъ точно тысяча молодыхъ дѣвичьихъ голосовъ, [illegible]ные горные цвѣты смотрятъ вамъ въ лицо точно [illegible] молодыхъ дѣвичьихъ глазъ, они простираютъ къ [illegible] широкіе, странно вырѣзанные листья; прихотливо [illegible] веселые лучи солнца, умныя травки разсказы[illegible] другу зеленыя сказки, вся природа точно окол[illegible]твеннѣе и таинственнѣе становятся въ ней.

старыя грёзы воскресаютъ въ душѣ, образъ милой является... ахъ, отчего такъ быстро снова исчезъ онъ!

Чѣмъ выше подымаешься въ гору, тѣмъ ниже, карликообразнѣе становятся ели; кажется, будто онѣ все больше и больше уходятъ въ землю, на почвѣ остаются, наконецъ, только черника, красная смородина и горная трава. Здѣсь и воздухъ значительно холоднѣе. Только въ этихъ мѣстахъ впервые въ ясномъ видѣ являются удивительныя группы гранитныхъ обломковъ, часто онѣ поразительной величины. Очень можетъ быть, что это мячи, которыми злые духи играютъ въ Вальпургіеву ночь, когда вѣдьмы съѣзжаются сюда на метлахъ и вилахъ, и когда, судя по заслуживающимъ вѣроятія разсказамъ няни и прекраснымъ картинамъ мейстера Ретша къ «Фаусту», начинается здѣсь проклятое веселье. Да, одному молодому поэту, который проѣздомъ изъ Берлина въ Геттингенъ былъ на Брокенѣ въ первую майскую ночь, довелось даже увидѣть, какъ нѣсколько беллетристическихъ дамъ эстетически распивали чай на одномъ горномъ выступѣ, спокойно читали «Вечернюю Газету», признавали всемірными геніями своихъ поэтическихъ козлятъ, съ блеяніемъ прыгавшихъ вокругъ чайнаго стола, и произносили окончательный приговоръ надъ всѣми явленіями нѣмецкой литературы; но когда онѣ заговорили о «Ратклифѣ» и «Алманзорѣ» и начали отвергать въ авторѣ всякую набожность и всякое христіанское чувство, тогда волосы встали дыбомъ на головѣ молодого человѣка, ужасъ охватилъ его—я пришпорилъ лошадь и поскакалъ дальше.

Въ самомъ дѣлѣ, когда взойдешь на верхнюю половину Брокена, то поневолѣ вспомнишь забавныя блоксбергскія исторіи и особенно великую, мистическую національную нѣмецкую трагедію доктора Фауста. Мнѣ все казалось, что около меня стучитъ конское копыто и вѣетъ чье-то юмористическое дыханье. Я думаю, что и Мефистофелю тяжело дышать, когда онъ взлѣзетъ на свою любимую гору; дорога здѣсь ужасно трудна, и я былъ очень радъ, когда, наконецъ, достигъ давно желанной Брокенской гостиницы.

Этотъ домъ, какъ извѣстно изъ многихъ рисунковъ, состоитъ изъ одного этажа и лежитъ на самой вершинѣ гор онъ основанъ въ 1800 г. графомъ Штольбергъ-Вернигеро на счетъ котораго содержится и гостиница. Стѣны здѣ поразительной толщины; по причинѣ зимнихъ вѣтровъ холода; крыша низка, посрединѣ ея возвышается павильо въ родѣ башни, а подлѣ дома стоятъ еще два маленьк

флигеля, изъ которыхъ одинъ въ былое время служилъ убѣжищемъ для посѣтителей Брокена.

Вступленіе въ этотъ домъ вызвало во мнѣ какое-то необыкновенное, волшебное ощущеніе. Послѣ долгаго, одинокаго пути посреди елей и утесовъ, вдругъ видишь себя въ подоблачной комнатѣ; города, горы и лѣса остаются подъ твоими ногами, а здѣсь встрѣчаешь чужое, странно собранное общество, которое принимаетъ тебя почти какъ жданнаго товарища, полулюбопытно, полуравнодушно, какъ это естественно бываетъ въ подобныхъ мѣстахъ. Домъ былъ полонъ народу, и я, какъ благоразумный человѣкъ, сейчасъ же подумалъ о ночлегѣ, о неудобствѣ сна на соломѣ. Умирающимъ голосомъ спросилъ я себѣ чаю, и тогда господинъ трактирщикъ сейчасъ же умѣлъ сообразить, что такому больному человѣку нужна хорошая постель. Ее онъ предоставилъ мнѣ въ узкой комнатѣ, въ которой уже расположился какой-то молодой купецъ—долговязый рвотный порошокъ въ коричневомъ сюртукѣ.

Въ общей комнатѣ я засталъ шумъ и движеніе: здѣсь сошлись студенты разныхъ университетовъ. Одни изъ нихъ только-что пришли и закусываютъ, другіе собираются уходить, подвязываютъ дорожную сумку, записываютъ свои имена въ памятную книгу, получаютъ отъ трактирныхъ прислужницъ вѣтки съ брокенскихъ деревьевъ; тутъ щипанье щекъ, пѣсни, прыжки, вопросы, отвѣты, пожеланья хорошаго пути, хорошей погоды. Нѣкоторые изъ уходящихъ порядочно нагрузились, и имъ прекрасныя картины природы доставляютъ двойное наслажденіе, такъ какъ пьяному все кажется въ двойномъ свѣтѣ.

Отдохнувъ, какъ слѣдуетъ, я взошелъ на башню и засталъ тамъ маленькаго господина съ двумя дамами—молодою и пожилою. Молодая была очень хороша. Великолѣпная фигура, на кудрявой головкѣ черная атласная шляпа въ формѣ шлема, бѣлыя перья которой развѣвались по вѣтру, стройные члены такъ плотно охвачены чернымъ шелковымъ плащемъ, что подъ нимъ ясно обозначались благородныя формы, а большіе, свободные глаза спокойно смо-
въ свободную, широкую даль.
въ дѣтствѣ я только и думалъ, что о волшебныхъ
сказкахъ, и каждую красивую даму, съ страусо-
рьями на шляпѣ, принималъ за королеву эльфъ; а
ѣчалъ мокроту на шлейфѣ ея платья, сейчасъ же
что она водяная фея. Теперь я иныхъ мыслей съ

тѣхъ поръ, какъ узналъ изъ естественной исторіи, что эти символическія перья принадлежатъ глупѣйшимъ птицамъ, и что дамскій шлейфъ можетъ замочиться отъ очень натуральныхъ причинъ. Взгляни я на вышеупомянутую красавицу, стоявшую въ вышеупомянутомъ видѣ на брокенской башнѣ, своими дѣтскими глазами—конечно, я подумалъ бы, что это горная фея и что именно по ея чарующему слову все внизу приняло такой чудный видъ. Да, въ истинно волшебномъ свѣтѣ являются всѣ предметы, когда въ первый разъ смотришь на нихъ съ вершины Брокена, новыя впечатлѣнія наполняютъ всѣ стороны нашего духа, и рѣзко различаясь между собою, даже противорѣча другъ другу, сплетаются въ душѣ въ одно великое, еще непонятное, смутное чувство. Но кому удается дать себѣ ясный отчетъ въ этомъ чувствѣ, тотъ получаетъ понятіе о характерѣ горы. Этотъ характеръ—совершенно нѣмецкій, по отношенію какъ къ недостаткамъ его, такъ и къ достоинствамъ. Брокенъ—нѣмецъ. Съ нѣмецкою основательностью показываетъ онъ намъ очень явственно, точно въ исполинской панорамѣ, сотни городовъ, городковъ и деревень, большею частью лежащихъ къ сѣверу, а вокругъ—всѣ горы, лѣса, рѣки, равнины, раскинувшіеся на необозримое пространство. Но именно вслѣдствіе этого все кажется рѣзко нарисованною, часто раскрашенною спеціальною картою; нигдѣ зрѣніе не услаждается красивыми ландшафтами въ собственномъ смыслѣ этого слова; всегда вѣдь бываетъ такъ, что мы, нѣмецкіе компиляторы, заботясь о добросовѣстной передачѣ всѣхъ подробностей вмѣстѣ, никогда не подумаемъ выставить каждую подробность отдѣльно въ прекрасномъ свѣтѣ. Въ Брокенѣ есть также что-то нѣмецко-спокойное, разумное, терпѣливое, и это именно потому, что онъ можетъ такъ далеко и ясно видѣть вещи. А когда такая гора раскрываетъ свои исполинскіе глаза, то конечно она видитъ гораздо больше, чѣмъ мы, карлики, вползающіе на нее со своими слабыми глазенками. Многіе утверждаютъ, правда, что въ Брокенѣ много филистерскаго духу, и Клаудіусъ пѣлъ: «Блоксбергъ—длинный господинъ филистеръ!» Но это несправедливо. Правда, его лысая голова, которую онъ иногда прикрываетъ бѣлой туманной шапкой, придаетъ ему филистерскій видъ; но, подобно многимъ великимъ нѣмцамъ, онъ дѣлаетъ это изъ чистой ироніи. Извѣстно даже, что у Брокена бываютъ свои буршескія фантастическія минуты, напр., въ первую майскую ночь. Тогда онъ ликуя, бросаетъ въ воздухъ свою туманную

шапку и, точно такъ же, какъ всѣ нѣмцы, становится чисто нѣмецки, романтически сумасшедшимъ.

Я сейчасъ же постарался вступить въ разговоръ съ красавицей, потому что наслажденіе красотами природы тогда только полно, когда можешь его высказать на мѣстѣ наслажденія. Она не блистала умомъ, но умѣла слушать съ разумнымъ вниманіемъ. Манеры истинно хорошаго тона. Я говорю здѣсь не о томъ обыкновенномъ, неповоротливомъ, отрицательномъ хорошемъ тонѣ, который знаетъ только, чего не слѣдуетъ дѣлать; но о томъ, рѣдкомъ, свободномъ, положительномъ, который опредѣлительно указываетъ намъ, что̀ именно мы должны дѣлать, и прогоняя всякое стѣсненіе, является вмѣстѣ съ тѣмъ высшимъ ручательствомъ за сохраненіе всѣхъ общественныхъ приличій. Къ моему собственному удивленію, я выказалъ въ разговорѣ съ любознательной красавицей большія географическія познанія, назвалъ всѣ города, лежавшіе передъ нами, отыскалъ и показалъ ихъ на своей картѣ, которую, съ лицомъ настоящаго профессора, я развернулъ на каменномъ столѣ, стоявшемъ посреди площадки. Нѣкоторыхъ городовъ я не могъ отыскать, можетъ-быть потому, что искалъ ихъ больше пальцами, чѣмъ глазами, которые въ то время путешествовали по лицу красавицы и отыскивали тамъ очень живописныя мѣста. Лицо это принадлежало къ числу тѣхъ, которыя никогда не разжигаютъ страстей, рѣдко чаруютъ и всегда нравятся. Я люблю подобныя лица, потому что они успокоительно дѣйствуютъ на мое мятежное сердце. Женщина эта была еще не замужемъ, хотя находилась въ томъ цвѣтущемъ возрастѣ, который даетъ полное право на вступленіе въ бракъ. Но это явленіе повторяется каждый день: именно красивѣйшимъ дѣвушкамъ очень трудно находить себѣ мужа. Это было уже въ древности, и, какъ извѣстно, три граціи такъ и остались въ дѣвушкахъ.

Что касается до маленькаго господина, сопровождавшаго этихъ женщинъ, то я не могъ догадаться, въ какихъ отношеніяхъ находился онъ съ ними. Это была тощая странная фигура. Маленькая головка, скудно покрытая сѣдыми воло-
ами, падавшими по узкому лбу на зеленоватые стре-
и глаза; круглый носъ, выступившій далеко наружу, и
ивъ того ротъ и подбородокъ, боязливо ушедшіе къ
Это личико, казалось, было сдѣлано изъ той хрупкой,
той глины, изъ которой скульпторы лѣпятъ первые
и своихъ статуй, а когда тонкія губы сжимались, то

на щекахъ образовывались тысячи полукруглыхъ тонкихъ морщинъ. Маленькій человѣкъ не говорилъ ни слова, и только по временамъ, когда молодая дама обращалась къ нему съ дружескимъ шопотомъ, улыбался, какъ монахъ, у котораго насморкъ.

Эта пожилая дама была матерью молодой, и у ней тоже были манеры самаго лучшаго тона. Въ глазахъ ея просвѣчивалась болѣзненная, мечтательная задумчивость, на губахъ лежала строгая набожность, но мнѣ показалось, что когда-то губы эти были прекрасны, и много смѣялись, и много поцѣлуевъ получали, и многими отвѣчали сами. Лицо ея напоминало какой-нибудь Codex Palympsestus, въ которомъ, подъ новыми монашескими письменами текста св. отцовъ, виднѣются еще полустертые стихи древне-греческаго эротическаго поэта. Обѣ дамы были въ этомъ году со своимъ спутникомъ въ Италіи и разсказали мнѣ много прекраснаго о Римѣ, Флоренціи и Венеціи. Мать много толковала о картинахъ Рафаэля въ церкви св. Петра, дочь больше говорила объ оперѣ въ театрѣ Фениче. Обѣ онѣ были въ восторгѣ отъ искусства импровизаторовъ. Мѣсторожденіемъ обѣихъ былъ Нюрнбергъ, но о древнемъ величіи этого города онѣ могли разсказать мнѣ не особенно много. Милое мейстерзингерство, послѣдніе звуки котораго сохранилъ намъ добрый Вагензейль, отжило свой вѣкъ, и нюрнбергскія гражданки услаждаются итальянскими безсмысленными импровизаціями и пѣніемъ каплуновъ. О, святой Себальдъ, какимъ жалкимъ патрономъ сдѣлался ты теперь.

Между тѣмъ, какъ мы бесѣдовали, стало смеркаться; воздухъ свѣжѣлъ, солнце склонилось ниже, и наша площадка наполнилась студентами, мастеровыми и нѣсколькими почтенными бюргерами, съ ихъ супругами и дочерьми; всѣ они хотѣли видѣть захожденіе солнца. Это возвышенная картина, настраивающая душу къ молитвѣ. Цѣлую четверть часа стояли всѣ въ серьезномъ молчаніи и смотрѣли, какъ великолѣпный огненный шаръ мало-по-малу исчезалъ на западѣ; лица озолотились вечерней зарей, руки невольно скрестились—мы будто стояли, какъ набожная община, въ стѣнахъ исполинской церкви, между тѣмъ какъ священникъ воздымалъ надъ головою тѣло Спасителя, а изъ органа лились звуки безсмертнаго хорала Палестрины.

Я совсѣмъ погрузился въ набожное молчаніе, какъ вдругъ услышалъ подлѣ себя восклицаніе: «Какъ однако, прекрасна

природа вообще!» Слова эти вырвались изъ переполненной груди молодого купца, моего товарища по комнатѣ. Они «разомъ вернули меня въ будничное настроеніе, и я увидѣлъ себя въ возможности наговорить дамамъ моимъ много интереснаго о захожденіи солнца, и потомъ спокойно, какъ будто ничего необыкновеннаго не произошло, проводить ихъ въ комнату. Тутъ онѣ позволили мнѣ еще съ часъ остаться съ ними. Какъ и вся земля, разговоръ нашъ вертѣлся вокругъ солнца. Мать утверждала, что закатившееся въ туманѣ свѣтило было похоже на пылающую розу, которую галантное небо бросило въ широко-раскинутый, бѣлый подвѣнечный вуаль своей возлюбленной земли. Дочь улыбнулась и замѣтила, что часто созерцаніе такихъ явленій ослабляетъ впечатлѣніе, производимое ими. Мать опровергнула это ложное мнѣніе, приведя одно мѣсто изъ путевыхъ писемъ Гёте, и спросила меня—читалъ ли я Вертера? Если я не ошибаюсь, мы говорили тоже объ ангорскихъ кошкахъ, этрусскихъ вазахъ, турецкихъ шаляхъ, макаронахъ и лордѣ Байронѣ, изъ стихотвореній котораго пожилая дама очень мило и вздыхая пролепетала нѣсколько отрывковъ, касающихся захожденія солнца. Дочери, не знавшей по-англійски и выразившей желаніе познакомиться съ этими стихотвореніями, я рекомендовалъ переводы моей прекрасной и умной соотечественницы, баронессы Элизы фонъ-Гогенгаузенъ, и тутъ — какъ обыкновенно я поступаю съ молодыми женщинами — не упустилъ случая горячо возстать противъ безбожія Байрона, его черствости въ любви, мрачности и Богъ знаетъ чего еще.

Окончивъ это дѣло, я еще разъ пошелъ прогуляться по Брокену, потому что на немъ никогда не бываетъ совершенно темно. Сквозь негустой туманъ я могъ различить очерки двухъ холмовъ, изъ которыхъ одинъ называется алтаремъ вѣдьмъ, а другой — каѳедрою чертей. Я выстрѣлилъ изъ пистолета, но эхо не отозвалось. Вдругъ слышу я подлѣ себя знакомые голоса, кто-то обнимаетъ меня и цѣлуетъ. Это мои земляки, оставившіе Геттингенъ четыре дня послѣ меня и съ крайнимъ изумленіемъ встрѣтившіе [illegible]овершенно одинокимъ на Блоксбергѣ. Пошли раз[illegible] вопросы и отвѣты, хохотъ и вспоминанія, и мысл[illegible] снова перенеслись въ нашу ученую Сибирь, гдѣ [illegible]ность стоитъ на такой высокой степени, что мед[illegible] вязываютъ въ трактирахъ, а собаки говорятъ [illegible] «*добрый вечеръ*».

Въ общей комнатѣ всѣ сошлись ужинать. За длиннымъ столомъ, въ два ряда голодные студенты. Прежде всего разговоръ на обыкновенную студенческую тему: дуэли, дуэли и опять дуэли. Такъ какъ большая часть общества состояла изъ студентовъ университета Галлэ, то этотъ городъ сдѣлался главнымъ предметомъ бесѣды. Стекла въ окнахъ гофрата Шюца были экзегетически освѣщены. Тутъ же разсказали, что послѣдній пріемъ при дворѣ кипрскаго короля отличался особеннымъ блескомъ, что этотъ монархъ хочетъ вступить въ морганатическій бракъ съ принцессою лихтенштейнскаго дома, что онъ далъ отставку своей офиціальной фавориткѣ, и что по этому случаю все растроганное министерство, по предписанію правительства, плакало. Мнѣ нѣтъ нужды объяснять здѣсь, что всѣ эти обстоятельства относились къ сановникамъ галлэскаго пивного погребка. Послѣ того разговоръ зашелъ о двухъ китайцахъ, которые, за два года до этого, показывали себя за деньги въ Берлинѣ, а теперь въ Галлэ состоятъ приватъ-доцентами китайской эстетики. Тутъ-то пошли остроты. Кто-то пустилъ въ ходъ предположеніе, что нѣмецъ показываетъ себя за деньги въ Китаѣ, и по этому случаю сейчасъ же составили афишу, въ которой мандарины Тшингъ-Тшангъ-Тшунгъ и Ги-Га-Го удостовѣряли, что это настоящій нѣмецъ, и исчисляя всѣ выдѣлывавшіяся имъ штуки, которыя состояли преимущественно въ умѣніи философствовать, курить табакъ и быть терпѣливымъ, а въ концѣ афиши было еще объявлено, чтобы всѣ приходящіе смотрѣть на него въ двѣнадцать часовъ—время его кормленія—не приводили съ собой собакъ, такъ какъ собаки отымаютъ всегда у бѣднаго нѣмца его лучшій кусокъ.

Одинъ молодой буршъ, недавно ѣздившій для очищенія себя въ Берлинъ, много разсказывалъ объ этомъ городѣ, но сужденія его были крайне односторонни. Онъ былъ въ танцклассѣ Высоцкаго и въ театрѣ; но о томъ и другомъ заведеніи судилъ фальшиво. «Молодость скора на слова» и т. д. Нашъ буршъ разсказывалъ о роскоши театральныхъ костюмовъ, о скандалахъ съ актерами и акрисами и т. д. Молодой человѣкъ не зналъ, что такъ какъ внѣшній блескъ вообще играетъ самую важную роль въ Берлинѣ, то онъ долженъ прежде всего утвердиться на подмосткахъ и что на этомъ основаніи театральному управленію приходится болѣе всего заботиться «о цвѣтѣ бороды въ такой или другой роли» и о томъ, чтобы костюмы ради вѣрности были

сшиты ученымъ портнымъ по рисункамъ присяжныхъ исто-
риковъ. И это необходимо. Потому что, надѣнь Марія Сто-
артъ передникъ временъ королевы Анны, банкиръ Христіанъ
Гумпель справедливо бы могъ жаловаться, что у него отъ-
маютъ этимъ всякую иллюзію; а явись по недосмотру лордъ
Бёрлей въ панталонахъ Генриха IV — конечно, г-жа со-
вѣтница фонъ-Штейнцопфъ, урожденная Лиліентау, весь
вечеръ не упустила бы изъ виду такого анахронизма. Но
такія иллюзіонныя заботы театральной дирекціи простира-
ются не только на передники и панталоны, а и на обле-
ченныхъ ими дѣйствующихъ лицъ. Такъ, говорятъ, скоро
роль Отелло будетъ исполняться настоящимъ мавромъ, ко-
тораго профессоръ Лихтенштейнъ нарочно выписываетъ для
этого изъ Африки; въ драмѣ: «Ненависть къ людямъ и рас-
каяніе», роль Элаліи будетъ играть дѣйствительно погиб-
шая женщина, Петра—настоящій дуракъ, а незнакомца—
въ самомъ дѣлѣ скрытый рогоносецъ—все лица, которыхъ
не зачѣмъ выписывать изъ Африки. Въ «Силѣ обстоя-
тельствъ» роль героя будетъ отдана настоящему писателю,
который уже получилъ разъ пару пощечинъ; въ «Бабушкѣ»
роль Яромира будетъ играть человѣкъ, который на самомъ
дѣлѣ уже хоть одинъ разъ ограбилъ или по крайней мѣрѣ
укралъ; леди Макбетъ изобразитъ женщина, которая, какъ
требуетъ Тикъ, по своей натурѣ, правда, очень мила, но
вмѣстѣ съ тѣмъ отчасти знакома съ кровавою картиной
гнуснаго убійства; наконецъ, для изображенія особенно пу-
стыхъ, глупыхъ и грубыхъ людей будетъ приглашенъ ве-
ликій Вурмъ, тотъ великій Вурмъ, который такъ восхи-
щаетъ своихъ единоплеменниковъ каждый разъ, какъ яв-
ляется въ своемъ истинномъ величіи. Такъ вотъ, если нашъ
буршъ дурно понялъ условія берлинскаго театра, то еще
менѣе уразумѣлъ онъ, что Спонтиньевскія янычарныя оперы
съ ихъ трубами, слонами, литаврами и тамъ-тамомъ суть
героическое средство для возбужденія воинственнаго духа
въ нашемъ уснувшемъ народѣ — средство, которое предла-
гали съ хитрыми государственными цѣлями Платонъ и Ци-
церонъ. Меньше всего понялъ молодой человѣкъ дипломa-
тическое значеніе балета. Едва-едва растолковалъ я ему,
что въ ногахъ Гоге больше политики, чѣмъ въ головѣ Бух-
гольца, что всѣ пируэты его обозначаютъ дипломатическіе
и каждое движеніе имѣетъ политическое значе-
напримѣръ, когда, тоскливо наклонивъ впередъ
широко разставляетъ руки, то этимъ намекаетъ

на нашъ кабинетъ; сто разъ повернувшись на одной ногѣ и при этомъ не дѣлая ни шага впередъ, онъ изображаетъ союзный сеймъ; сѣменя по полу, точно съ связанными ногами, онъ имѣетъ въ виду мелкихъ владѣтельныхъ особъ; качаясь точно пьяный, онъ изображаетъ европейское равновѣсіе; сжавши руки въ клубокъ, представляетъ конгрессъ; и наконецъ, мало-по-малу возносясь на высоту, нѣсколько времени покойно оставаясь въ этомъ положеніи и въ заключеніе пускаясь въ самые страшные прыжки, представляетъ нашего черезчуръ близкаго друга на востокѣ. Повязка спала съ глазъ молодого бурша, и теперь понялъ онъ, почему танцорамъ платятъ болѣе, чѣмъ великимъ писателямъ, почему балетъ служитъ неистощимою темою разговора въ дипломатическомъ корпусѣ, и почему часто хорошенькая танцовщица содержится еще частнымъ образомъ на счетъ министра, который конечно день и ночь старается, чтобы она восприняла его политическую системочку. Клянусь Аписомъ! велико число экзотериковъ между посѣтителями театра, и очень мало среди нихъ эзотериковъ. Глупая толпа стоитъ, и зѣваетъ, и дивится прыжкамъ и пируэтамъ, и изучаетъ анатомію въ позахъ г-жи Лемьеръ, и хлопаетъ при антраша дѣвицы Ренишъ, и толкуетъ о граціи, гармоніи и бедрахъ, а никому невдомекъ то, что въ этихъ плясовыхъ движеніяхъ является передъ нимъ судьба нѣмецкаго народа.

Между такими разговорами не забывалось, однако, полезное, и надъ большими блюдами, добросовѣстно наполненными мясомъ, картофелемъ и т. п., происходила прилежная работа. Кушанье, однако, было скверное. Я замѣтилъ это моему сосѣду, но онъ, оказавшійся, по произношенію, швейцарцемъ, грубо отвѣчалъ мнѣ, что намъ, нѣмцамъ, незнакома какъ истинная свобода, такъ и истинное довольство малымъ. Я пожалъ плечами и возразилъ, что лучшіе княжескіе лакеи и пирожники—всюду изъ швейцарцевъ и носятъ большею частью названіе швейцаровъ, что вообще нынѣшніе швейцарскіе герои свободы, выбалтывающіе въ публикѣ столько смѣло политическаго, напоминаютъ мнѣ зайцевъ, которые въ ярмарочныхъ балаганахъ стрѣляютъ изъ пистолетовъ, поражаютъ всѣхъ дѣтей и крестьянъ своей неустрашимостью и все-таки остаются зайцами.

Сынъ Альповъ, безъ сомнѣнія, не имѣлъ намѣренія обидѣть меня: онъ, какъ говоритъ Сервантесъ, «былъ толстый человѣкъ, а слѣдовательно, и добрый человѣкъ». Но сосѣд

мой съ другой стороны, грейфвальдецъ, ужасно обидѣлся его замѣчаніемъ; онъ началъ доказывать, что нѣмецкая сила и простота еще не угасли, при этомъ шумно колотилъ себя въ грудь и осушилъ огромную кружку бѣлаго пива. Швейцарецъ говорилъ: «Ну, полно, полно!» Но чѣмъ успокоительнѣе говорилъ онъ это, тѣмъ сильнѣе ярился грейфвальдецъ. Это былъ человѣкъ того времени, когда вшамъ было полное раздолье и парикмахеры рисковали умереть съ голоду. Онъ носилъ длинные, висячіе волосы, рыцарскій беретъ, черный старо-германскій сюртукъ, грязную рубашку которая въ то же время исполняла должность жилета, а подъ нею медальонъ съ волосами отъ лошади Блюхера. Видомъ онъ былъ дуракъ въ натуральную величину. Я люблю дѣлать нѣкоторый моціонъ за ужиномъ, и потому вступилъ въ патріотическій споръ съ грейфвальдцемъ. Онъ высказалъ мнѣніе, что Германія должна быть раздѣлена на 33 округа. Я, напротивъ,доказывалъ, что нужно изъ нея сдѣлать 48 округовъ, потому что въ такомъ случаѣ можно будетъ составить систематическое описаніе Германіи, а вѣдь необходимо связывать жизнь съ наукой. Мой грейфвальдскій пріятель былъ въ то же время германскій бардъ и сообщилъ мнѣ по секрету, что въ настоящее время онъ пишетъ героическую поэму для прославленія Арминія и тевтобургской битвы. Я далъ ему много полезныхъ совѣтовъ для созданія этого эпоса. Такъ, я обратилъ его вниманіе на то, что онъ очень образно можетъ представить болота и утесистыя тропинки тевтобургскаго лѣса водянистыми и ухабистыми стихами и что со стороны его было бы патріотическою тонкостью, если бы въ его поэмѣ Варъ и прочіе римляне говорили только чепуху. Надѣюсь, что эта штука удастся ему, какъ и другимъ берлинскимъ поэтамъ, до такой степени, что произведетъ полнѣйшую иллюзію.

Шумъ и откровенная бесѣда за нашимъ столомъ усиливалась все больше и больше, пиво было вытѣснено виномъ, пуншевыя чаши задымились, пошли попойка, чоканье, пѣнье. Зазвучали старый Landesvater и чудесныя пѣсни В. Мюллера, Рюккерта, Уланда и др. Все на прекрасныя ›діи Метфесселя. Лучше всего звучали нѣмецкія слова ›его Арндта: «Богъ, желѣзо сотворившій, рабства не хо- ›. А на дворѣ шумѣло, точно старая гора подпѣвала и нѣкоторые покачивавшіеся друзья утверждали даже, ›на весело трясла своею лысой головой и что отъ этого комната не стояла на мѣстѣ. Бутылки становились

пустѣе, головы полнѣе. Одинъ мычалъ, другой пѣлъ фистулою, третій декламировалъ изъ «Вины», четвертый говорилъ по-латыни, пятый проповѣдывалъ о трезвости, а шестой взлѣзъ на стулъ и ораторствовалъ: «Милостивые государи! Земля есть круглый цилиндръ, люди — отдѣльные штифтики на ней, насаженные, повидимому, безъ всякаго умысла; но цилиндръ вертится, штифтики цѣпляются то тамъ, то сямъ, и издаютъ звуки одни часто, другіе рѣдко, и все это производитъ удивительную, сложную музыку, которая называется всемірною исторіей. Итакъ, мы будемъ говорить сперва о музыкѣ, потомъ о вселенной и наконецъ объ исторіи; но эту послѣднюю мы раздѣлимъ на положительную и шпанскія мушки»... И такъ далѣе говорилъ онъ, то остроумно, то какъ сумасшедшій.

Одинъ сентиментальный мекленбуржецъ, уткнувшій носъ въ пуншевый стаканъ и съ улыбкой блаженства вдыхавшій въ себя паръ, замѣтилъ, что у него на душѣ такъ, какъ будто онъ снова стоитъ передъ театральнымъ буфетомъ въ Шверинѣ. Другой держалъ стаканъ съ виномъ передъ глазами и внимательно смотрѣлъ на насъ въ него, точно въ зрительную трубу, между тѣмъ какъ красное вино лилось по щекамъ его въ выступившій впередъ ротъ. Грейфвальдецъ, вдругъ воодушевившись, бросился ко мнѣ на грудь и съ энтузіазмомъ началъ кричать: «О, если бы ты могъ понять меня! Я влюбленъ, я счастливъ, я снова любимъ, и клянусь Богомъ, она образованная дѣвушка, потому что у ней хорошо развитая грудь, и она ходитъ въ бѣломъ платьѣ и играетъ на фортепьяно». Но швейцарецъ плакалъ, и нѣжно цѣловалъ мои руки, и все жалобно пищалъ: «О, Бэбэли! о, Бэбэли!»

Среди всей этой шумной безтолковщины, когда тарелки учились танцовать, а стаканы летать, противъ меня сидѣли два молодыхъ человѣка, оба прекрасные и блѣдные, какъ мраморныя статуи, одинъ больше походилъ на Адониса, другой — больше на Аполлона. Легкій оттѣнокъ, кинутый виномъ на ихъ щеки, былъ едва замѣтенъ. Съ безконечной любовью смотрѣли они другъ на друга точно одинъ могъ читать въ глазахъ другого,—и эти глаза блестѣли, какъ будто въ нихъ попало нѣсколько свѣтлыхъ капель изъ той переполненной пылающею любовью чаши, которую чистый ангелъ переноситъ отъ одной звѣзды къ другой. Молодые люди говорили тихо, тоскливо-дрожащимъ голосомъ, и то были печальныя исторіи, изъ которыхъ вырывались дивно болѣзненные звуки.

«Лора тоже умерла теперь!» сказалъ одинъ и вздохнулъ— и, помолчавъ немного, разсказалъ про одну дѣвушку изъ Галле, которая была влюблена въ студента, а когда тотъ уѣхалъ, совсѣмъ перестала говорить, и мало ѣла, и плакала день и ночь, и все смотрѣла на канарейку, которую нѣкогда подарилъ ей возлюбленный. «Птица умерла, а скоро умерла и сама Лора!» такъ заключилъ разсказчикъ, и оба они снова замолчали и стали вздыхать такъ сильно, какъ будто сердце ихъ хотѣло разорваться. Наконецъ одинъ снова заговорилъ: «Душа моя печальна! Пойдемъ со мною въ ночную темноту! Мнѣ хочется вдохнуть въ себя дыханіе тучъ и лучи мѣсяца. Товарищъ моего горя! Я люблю тебя! Слова твои звучатъ, какъ шелестъ тростника, какъ журчанье источника; они отдаются въ груди моей, но душа моя печальна!»

Тутъ юноши встали. Одинъ обвилъ рукою шею другого, и оба вышли изъ шумной комнаты. Я послѣдовалъ за ними и увидѣлъ, что они вошли въ темную каморку, что одинъ, вмѣсто окна, раскрылъ большой шкапъ съ платьемъ, и оба, стоя передъ нимъ съ грустно-распротертыми руками, стали говорить поочередно. «О, вы,—воскликнулъ первый—вы, вѣянья сумрачной ночи! Какъ отрадно освѣжаете вы щеки! Какъ прелестно играете моими развѣвающимися кудрями! Я стою на облачной вершинѣ горы, подо мной лежатъ спящіе города людей и блещутъ синія воды... Чу! тамъ, въ долинѣ, зашумѣли сосны! Тамъ по холмамъ скользятъ въ туманныхъ образахъ духи отцовъ. О, если бы могъ я понестись съ вами на конѣ-тучѣ черезъ бурную ночь, черезъ волнующееся море—туда, къ высокимъ звѣздамъ! Но увы! я удрученъ страданіемъ, и душа моя печальна!» Другой юноша точно такъ же съ глубокой тоской протянулъ руки къ раскрытому шкапу, слезы брызнули изъ глазъ его и, принявъ за луну панталоны изъ желтой кожи, онъ заговорилъ къ нимъ грустнымъ голосомъ: «Хороша ты, дочь неба! Много блаженства въ спокойствіи твоего лика! Ты идешь, полная очарованія! Звѣзды слѣдуютъ къ востоку по твоимъ синеватымъ слѣдамъ! Встрѣчая тебя, радуются тучи и оза-
я свѣтомъ ихъ мрачные образы. Кто сравнится въ
ъ тобою, о, дочь ночи? Звѣзды смущаются стыдомъ
емъ присутствіи и отворачиваютъ свои зеленые бле-
глаза. Куда убѣгаешь ты со своей дороги, когда
блѣднѣетъ ликъ твой? Есть ли у тебя, какъ у меня,
къ? Или живешь ты въ тѣни горя? А сестры

твои, неужели онѣ упали съ неба—онѣ, которыя такъ радостно проводили ночь съ тобою, неужели ихъ нѣтъ больше? Да, онѣ упали, о, прекрасное свѣтило, и ты часто прячешься, чтобы оплакивать ихъ! Но когда-нибудь настанетъ ночь, и ты тоже исчезнешь, и оставишь свои синеватыя тропинки. Тогда подымутъ свои зеленыя головы звѣзды, которыхъ такъ стыдило твое присутствіе—и весело станетъ имъ. И теперь ты еще ходишь въ своемъ лучистомъ одѣяніи и смотришь на землю изъ небесныхъ вратъ. О, вѣтры, разорвите тучи, чтобы дочь ночи свободно засіяла, и лѣсистыя горы заблестѣли, и пѣнистое море покатило волны при свѣтѣ ея!»

Въ эту минуту одинъ хорошо извѣстный пріятель, порядочный толстякъ, больше выпившій, чѣмъ съѣвшій, хотя и въ этотъ вечеръ онъ проглотилъ по обыкновенію такую порцію мяса, какою насытились бы шесть гвардейскихъ офицеровъ и одинъ невинный младенецъ, вбѣжалъ въ комнату въ слишкомъ веселомъ расположеніи духа, т. е. совершенно какъ свинья, толкнулъ не совсѣмъ деликатно обоихъ элегическихъ друзей внутрь шкапа, снова выбѣжалъ и поднялъ убійственный шумъ. Гамъ въ общей залѣ дѣлался все сильнѣе и смѣшнѣе. Юноши въ шкапу стонали и визжали, что они повержены во прахъ у подножія горы; благородное красное вино выливалось у нихъ обратно изъ горла, они щедро обдавали другъ друга, и одинъ сказалъ другому: «Прости! Я чувствую, что истекаю кровью. Для чего ты будишь меня, дыханіе весны? Ты ласкаешься ко мнѣ, какъ любовница, и говоришь: «я орошаю тебя небесными каплями». Но близокъ часъ, когда я увяну, близка буря, которая разнесетъ мои листья! Завтра придетъ странникъ—придетъ тотъ, кто видѣлъ меня въ цвѣтѣ красоты, глаза его будутъ искать по полю и не найдутъ меня!» Но всѣ перекрикивалъ знакомый басъ, который на дворѣ передъ воротами съ проклятіями и ликованіями богохульно жаловался, что на всей темной Вендской улидѣ не зажженъ ни одинъ фонарь и что поэтому нельзя даже видѣть, у кого вымазали грязью окна.

Я много могу выпить — скромность не позволяетъ мнѣ сказать, сколько именно бутылокъ—и порядочно нагруженный, я пробрался въ спальню. Молодой купецъ лежалъ уже въ постели, въ своемъ бѣломъ, какъ мѣлъ, ночномъ колпакѣ и шафрано-желтой фуфайкѣ изъ гигіенической фланели. Онъ еще не спалъ и пытался завязать со мною разговоръ.

Это былъ уроженецъ Франкфурта-на-Майнѣ, вслѣдствіе чего онъ сейчасъ же заговорилъ о евреяхъ, которые потеряли всякое чувство прекраснаго и благороднаго и продавали англійскіе товары двадцатью пятью процентами ниже фабричной цѣны. Мнѣ захотѣлось помистифировать его, и я сказалъ ему, что я лунатикъ и заранѣе прошу его извиненія на случай, если потревожу его сонъ. На другое утро бѣднякъ сознался мнѣ, что онъ не спалъ всю ночь, боясь, чтобы я въ лунатизмѣ не произвелъ несчастія пистолетами, которые лежали передъ моею постелью. Впрочемъ, и я не лучше провелъ ночь, потому что рѣшительно не спалъ. Дикія, страшныя фантастическія видѣнія... Клавираусцугъ изъ Дантова «Ада». Наконецъ мнѣ пригрезилось даже, что я присутствую при представленіи юридической оперы «Фальцидіи» — текстъ Ганса согласно теоріи наслѣдственнаго права, музыка Спонтини. Безумная грёза! Римскій форумъ великолѣпно сіялъ, Сервиліусъ Азиніусъ Гешенусъ, сидя на преторскомъ стулѣ, гордо драпируясь въ тогу, разливался въ бурныхъ речитативахъ; Маркусъ Тулліусъ Элверзусъ, какъ primadonna legataria, во всей красотѣ своей милой женственности, спѣлъ полную любовной нѣги бравурную арію quicumque civis romanus; референдаріи, нарумяненные точно кирпичной краской, мычали, какъ хоръ несовершеннолѣтнихъ; приватъ-доценты, въ видѣ геніевъ, одѣтые въ трико тѣлеснаго цвѣта, протанцовали до-юстиніановскій балетъ и увѣнчали цвѣтами двѣнадцать таблицъ; среди грома и молніи вышелъ изъ-подъ земли оскорбленный богъ римскаго законодательства—и за этимъ трубы, тамъ-тамы, полился огненный дождь cum omni causa.

Отъ этой шумной кутерьмы освободилъ меня хозяинъ гостиницы, разбудившій меня, чтобы идти смотрѣть на восхожденіе солнца. На площадкѣ засталъ я уже нѣсколько ожидающихъ, которые терли замерзшія руки; другіе, еще сонные, взбирались наверхъ нетвердымъ шагомъ. Наконецъ, вся набожная община собралась, какъ наканунѣ вечеромъ, и въ молчаніи смотрѣли мы, какъ на горизонтѣ показался маленькій ярко-красный шаръ, по небу разлился -сумрачный оттѣнокъ, горы точно плавали въ волнисто- ъ морѣ, и только вершины ихъ явственно выступали такъ что намъ казалось, что мы стоимъ на ма- ъ холмѣ, среди залитой водою равнины, на которой е-гдѣ видны сухія кочки. Чтобы закрѣпить въ па-

мяти словами все видѣнное и прочувствованное, я написалъ слѣдующее стихотвореніе:

Ужъ стало свѣтлѣй на востокѣ
При первомъ мерцаніи солнца,
И горныя выси далеко
Плывутъ въ океанѣ туманномъ.

Когда-бъ сапоги скороходы
Имѣлъ я, то съ силою вѣтра
Помчался-бъ чрезъ горныя выси
Къ жилищу моей ненаглядной.

Въ постелькѣ, гдѣ милая дремлетъ,
Открылъ бы я тихо гардины,
И тихо бы въ лобъ цѣловалъ я,
И тихо въ рубиновый ротикъ.

И тише еще прошепталъ бы
Въ ушко бѣлоснѣжное милой:
«Пусть снится тебѣ, что другъ друга
Мы любимъ и вѣчно не кинемъ».

Между тѣмъ, я точно такъ же страстно желалъ видѣть завтракъ и, сказавъ моимъ дамамъ нѣсколько любезностей, поспѣшилъ внизъ, чтобы въ теплой комнатѣ напиться кофе. Да и пора было сдѣлать это: въ желудкѣ моемъ было такъ пусто, какъ въ госларской церкви св. Стефана. Но вмѣстѣ съ аравійскимъ напиткомъ пролился по моимъ членамъ теплый востокъ, восточныя розы повѣяли на меня своимъ благоуханіемъ, зазвучали милыя пѣсни восточнаго соловья, студенты превратились въ верблюдовъ, трактирныя прислужницы со своими конгревовскими глазами показались мнѣ гуріями, изъ филистерскихъ носовъ сдѣлались минареты и т. д.

Но книга, лежавшая передо мною, была не Коранъ. Чепухи въ ней было, правда, немало. Это была такъ-называемая брокенская книга, въ которой всѣ путешественники, взобравшіеся на гору, вписываютъ свои имена, а бо̀льшая часть тутъ же записываютъ и свои мысли, или, за неимѣніемъ ихъ, свои чувства. Многіе выражаются даже въ стихахъ. Изъ этой книги можно видѣть, какія страшныя вещи совершаются, когда сбродъ филистеровъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, какъ, напримѣръ, при посѣщеніи

Брокена, рѣшается удариться въ поэзію. Во дворцѣ паллагонійскаго принца нѣтъ такихъ большихъ пошлостей, какъ въ этой книгѣ, гдѣ особенно ярко блещутъ господа акцизные надзиратели со своими заплесневѣлыми высокими чувствованіями, юные конторщики со своими патетическими душевными изліяніями, старонѣмецкіе диллетаны революціонеры съ ихъ общими мѣстами, берлинскіе школьные учителя съ ихъ неудавшимися восторженными фразами и т. д. Господинъ Іоганъ Гагель тоже хочетъ показать иногда, что и онъ сочинитель. Тутъ описывается величественное великолѣпіе восходящаго солнца; тамъ жалуются на дурную погоду, на обманутыя ожиданія, на туманъ, закрывающій всѣ хорошія картины. «Взобрался въ туманѣ и въ туманѣ спустился»—это стоячая острота, которую повторяютъ здѣсь сотни людей. Какая-то Каролина пишетъ, что, взбираясь на гору, она замочила себѣ ноги. Какая-то наивная Анхенъ запомнила эту жалобу и лаконически записываетъ: «И я во время этой исторіи замочилась». Отъ всей книги несетъ сыромъ, пивомъ и табакомъ; точно читаешь романъ Клаурена.

Между тѣмъ, какъ я такимъ образомъ пилъ кофе и перелистывалъ брокенскую книгу, въ комнату вошелъ швейцарецъ съ сильно раскраснѣвшимися щеками, и съ большимъ воодушевленіемъ сталъ разсказывать о возвышенномъ зрѣлищѣ, которымъ онъ только-что наслаждался на башнѣ, когда спокойный, чистый свѣтъ солнца—символъ истины—сражался съ массами ночного тумана; это походило на какую-то битву духовъ, въ которой разгнѣванные исполины обнажали свои длинные мечи, рыцари въ полномъ вооруженіи мчались на бѣшеныхъ коняхъ, развѣвались знамена, неслись колесницы, изъ дикаго хаоса выплывали наружу диковинные звѣриные образы, и, наконецъ, все это, послѣ круженія въ какихъ-то безумнѣйшихъ усложненіяхъ, становилось блѣднѣе и блѣднѣе и исчезло безъ слѣда. Этого демагогическаго явленія природы я, стало-быть, не видѣлъ, и если бы меня призвали къ слѣдственному допросу, я могъ бы подъ присягой сказать, что знаю только одно: вкусъ
аго кофе. Ахъ, оно было даже причиною того, что
лъ мою прекрасную даму, а въ эту минуту она готоуже сѣсть въ экипажъ съ матерью и спутникомъ.
успѣлъ подойти къ ней и увѣрить, что холодно.
ась недовольною тѣмъ, что я не пришелъ раньше,
разогналъ сердитыя морщины на ея прекрасномъ

лбу, подаривъ ей удивительный цвѣтокъ, сорванный мною наканунѣ съ опасностью жизни, на крутомъ утесѣ. Мать захотѣла узнать названіе этого цвѣтка, какъ будто находя неприличнымъ, чтобы дочь ея приколола незнакомое растеніе къ груди,—а цвѣтокъ дѣйствительно занялъ это завидное мѣсто, чего конечно ему и не снилось вчера на его уединенной высотѣ. На этотъ разъ молчаливый спутникъ вдругъ открылъ ротъ, счелъ тычинки цвѣтка и весьма сухо объявилъ, что онъ принадлежитъ къ восьмому классу.

Мнѣ становится досадно каждый разъ, какъ я вижу, что и милые божьи цвѣты, также какъ и людей, раздѣляютъ на касты, и соображаясь въ этомъ тоже съ внѣшними отличіями ихъ, именно съ различнаго рода тычинками. Ужъ если необходимо такое дѣленіе, такъ лучше слѣдовать системѣ Теофраста, который раздѣлялъ цвѣты больше по ихъ духовнымъ отличіямъ, именно по запаху. Что касается до меня, то я въ естественныхъ наукахъ слѣдую своей собственной системѣ и согласно ей дѣлю все на такіе предметы, которые можно ѣсть, и такіе, которыхъ ѣсть нельзя.

Впрочемъ, старшей дамѣ таинственная натура цвѣтовъ была очень знакома, и она невольно высказала мнѣ, что цвѣты, когда они еще растутъ въ саду или въ горшкахъ, очень радуютъ ее, но что, напротивъ того, каждый разъ, какъ она видитъ оторванный цвѣтокъ, тихое болѣзненное чувство наполняетъ ея сердце мечтательностью и боязливымъ трепетомъ, потому что такой цвѣтокъ вѣдь собственно трупъ, печально опускающій свою увядшую головку, словно умершее дитя. Дама почти испугалась мрачнаго оттѣнка своего замѣчанія, и я счелъ долгомъ прогнать его нѣсколькими стихами изъ Вольтера. Какъ, однако, два-три французскихъ слова могутъ вдругъ возвратить къ надлежащему приличному настроенію! Мы стали смѣяться, я поцѣловалъ руки, мнѣ благосклонно улыбнулись, лошади заржали, и экипажъ медленно и съ трудомъ потащился внизъ съ горы.

Студенты тоже стали сбираться въ дорогу, дорожныя сумки были подвязаны, счеты, оказавшіеся сверхъ ожиданія умѣренными, заплачены, воспріимчивыя прислужницы, съ съ слѣдами счастливой любви на лицѣ, принесли по обыкновенію вѣтки съ брокенскихъ деревьевъ, прикололи ихъ къ нашимъ шляпамъ, получивъ за это нѣсколько поцѣлуевъ или нѣсколько грошей—и всѣ мы двинулись внизъ съ горы, причемъ одни, между которыми былъ швейцарецъ и грейфвальдецъ, пошли по дорогѣ къ Ширке, а другіе—человѣкъ

двадцать, въ числѣ которыхъ были мои земляки и я самъ, направились, предшествуемые проводникомъ, чрезъ такъ-называемыя «Снѣжныя Дыры», къ Ильзенбургу.

Шли мы, чуть не сломя голову. Галласкіе студенты маршируютъ скорѣе австрійскаго ополченія. Я еще не успѣлъ оглянуться, какъ обнаженная часть горы, съ разсѣянными по ней каменистыми группами, уже осталась позади насъ, и мы вступили въ еловый лѣсъ, какимъ я видѣлъ его за день передъ этимъ. Солнце лило уже на землю свои праздничные лучи и освѣщало юмористически пестро одѣтыхъ буршей, которые весело проникали въ чащу, то пропадали, то снова показывались, въ болотистыхъ мѣстахъ перебѣгали по переложеннымъ на нихъ древеснымъ пнямъ, на крутыхъ спускахъ цѣплялись за висячіе корни, пѣли на самые забавные мотивы и тутъ же получали веселые отвѣты отъ щебечущихъ птицъ, шумящихъ елей, невидимо журчащихъ источниковъ и далеко разносящагося эхо. Когда встрѣчаются веселая молодость и цвѣтущая природа—онѣ обмѣниваются своими восторгами.

Чѣмъ ниже спускались мы, тѣмъ милѣе шумѣли подземные источники, только изрѣдка какой-нибудь изъ нихъ сверкалъ между каменьями и кустарниками, будто тайно высматривая—не опасно ли ему выйти на свѣтъ божій, и, наконецъ, рѣшившись, выскакивалъ небольшой волной. Тутъ имѣетъ мѣсто обыкновенное явленіе: одинъ смѣльчакъ подаетъ примѣръ, и все стадо трусовъ, къ своему собственному удивленію, вдругъ воодушевляется и спѣшитъ присоединиться къ первому. Множество другихъ источниковъ ринулось изъ своихъ уголковъ, соединилось съ выскочившими прежде и скоро образовало уже значительный ручеекъ, катящійся въ горную долину безчисленными водопадами и причудливыми излучинами. Это Ильза, милая, прелестная Ильза. Она льется черезъ благословенную Ильзовую долину, окаймленную по обѣимъ сторонамъ горами, которыя постепенно становятся выше и выше и покрыты вплоть до подошвы уже не елями и другими хвойными растеніями, а по большей части ясенями, дубами и обыкновенными лиственными
ями. Эти породы преобладаютъ на «Нижнемъ Гарцѣ»,
азываютъ восточную сторону Брокена, въ противо-
ость западной сторонѣ его, называющейся «Верхнимъ
», который дѣйствительно гораздо выше и потому
благопріятнѣе для произрастанія хвойныхъ породъ.
ожно описать веселость, наивность и грацію, с

которыми Ильза перебѣгаетъ по причудливымъ утесамъ, встрѣчаемымъ ею на пути, такъ что вода ея то съ дикимъ свистомъ бьетъ вверхъ или разливается пѣнистыми струями, то чистой дугой льется сквозь трещины камней, какъ изъ полныхъ кувшиновъ, и внизу снова бѣжитъ по камешкамъ, точно рѣзвая дѣвушка. Да, правду говоритъ народное преданье, что Ильза—принцесса, которая, смѣясь и полная цвѣтущей красоты, сбѣгаетъ съ горы. Какъ блеститъ на солнцѣ ея бѣлая, пѣнистая одежда! Какъ развѣваются по вѣтру серебряныя ленты на груди ея! Какъ искрятся и сверкаютъ ея алмазы! А высокіе ясени стоятъ подлѣ, словно серьезные отцы, которые съ скрытой улыбкой смотрятъ на рѣзвыя шалости милой дочери; бѣлыя березы качаютъ головами съ удовольствіемъ добрыхъ тетушекъ и въ то же время боятся за слишкомъ отважные прыжки; гордый дубъ смотритъ, какъ сердитый дядя, которому придется заплатить за это удовольствіе; птички въ воздухѣ съ восторгомъ заявляютъ свое одобреніе; цвѣты на берегу нѣжно шепчутъ: «о, возьми насъ съ собою, возьми, милая сестрица!»—но веселая дѣвушка неудержимо прыгаетъ дальше, и вдругъ схватываетъ мечтающаго поэта, и льется на меня цвѣточный дождь звучащихъ лучей и лучезарныхъ звуковъ, и душа моя замираетъ отъ всего этого великолѣпія, и слышу я только сладкозвучный, какъ флейта, голосъ:

Я зовусь принцессой Ильзой,
Въ Ильзенштейнѣ замокъ мой;
Приходи ко мнѣ — и будемъ
Мы блаженствовать съ тобой.

Я чело твое омою
Чистой, свѣжею волной,
И забудешь ты печали,
Другъ мой грустный и больной.

У меня на бѣлой груди,
Между бѣлыхъ рукъ моихъ,
Будешь ты лежать и грезить
О блаженствѣ дней былыхъ.

Зацѣлую, заласкаю,
Какъ уже заласканъ мной
Императоръ милый Генрихъ,
Нынче спящій подъ землей.

Мертвецы лежатъ въ могилахъ,
Все живущее живетъ;
Молода я и прекрасна,
Сердце весело цвѣтетъ.

Приходи-жъ скорѣй въ мой зàмокъ,
Въ мой хрустальный зàмокъ! Тамъ
Дамы, рыцари и пажи
Шумно пляшутъ по ночамъ.

Шпоры звонко раздаются,
Платья шелкомъ шелестятъ,
Гномы громко бьютъ въ литавры,
Барабанятъ и трубятъ,

Но, какъ Генриха, тебя я
Крѣпко, жарко обниму
И при звукѣ трубномъ уши,
Какъ и Генриху, зажму.

Безконечное ощущается блаженство, когда внѣшняя природа сливается съ нашимъ внутреннимъ міромъ, когда зеленыя деревья, мысли, пѣнье птицъ, тихая грусть, синева неба, воспоминанія и благоуханія травъ переплетаются въ плѣнительныхъ арабескахъ. Женщинамъ лучше всѣхъ знакомо это ощущеніе — и вотъ почему можетъ мелькать на губахъ ихъ такая милая улыбка невѣрія въ то время, когда мы съ школьною гордостью прославляемъ наши логическія дѣйствія, хвалимся тѣмъ, что мы такъ отлично раздѣлили все на объективное и субъективное и уставили голову свою, точно въ аптекѣ, тысячью ящиковъ, гдѣ въ одномъ лежитъ умъ, въ другомъ—разумъ, въ третьемъ—остроуміе, въ четвертомъ—тупоуміе, а въ пятомъ—ничего, т. е. идея.

Погруженный въ грёзы, я почти не замѣтилъ, что мы уже вышли изъ глубины долины и снова подымались въ гору. Дорога эта оказалась очень крутою и трудною, и не одинъ изъ насъ едва переводилъ дыханіе, подвигаясь впередъ. Но подобно нашему покойному дядюшкѣ, похороненному въ Мельнѣ, мы заранѣе воображали себѣ удовольствіе [illegible]ка, и это только усугубляло нашу веселость. Наконецъ, [illegible]ступили въ Ильзенштейнъ.

[illegible]о—огромный гранитный утесъ, смѣло и высоко поды[illegible]ся изъ бездны. Съ трехъ сторонъ окружаютъ его [illegible] покрытыя лѣсомъ, горы, но четвертая, сѣверная

сторона открыта, и съ нея виденъ лежащій внизу Ильзенбургъ съ Ильзой, пропадающей далеко въ долинѣ. На башнеобразной вершинѣ утеса воздвигнутъ большой желѣзный крестъ, и на случай нужды оставлено еще мѣсто для четырехъ человѣческихъ ногъ.

Какъ природа окружила Ильзенштейнъ относительно его положенія и формы фантастическими красотами, такъ и преданіе пролило на него свой розовый свѣтъ. Вотъ что мы читаемъ у Готшалка: «Разсказываютъ, что здѣсь стоялъ очарованный замокъ, въ которомъ жила богатая, прекрасная принцесса Ильза. Еще теперь по утрамъ она купается въ Ильзѣ, и кому выпадетъ на долю счастье увидѣть ее въ эту минуту, того она ведетъ въ утесъ, гдѣ стоитъ ее замокъ, и награждаетъ по-царски». Другіе разсказываютъ прелестную исторію о любви принцессы Ильзы и рыцаря фонъ-Вестенберга, которую одинъ изъ нашихъ извѣстнѣйшихъ поэтовъ романтически воспѣлъ въ «Вечерней Газетѣ». Третьи опять говорятъ иначе: что съ Ильзою, прекрасною феею водъ, въ ея очарованномъ замкѣ наслаждался истинно по-царски старосаксонскій императоръ Генрихъ. Одинъ изъ новыхъ писателей, его высокородіе г. Ниманъ, написавшій путеводитель по Гарцу, гдѣ онъ исчисляетъ съ похвальнымъ прилежаніемъ и точными цифрами горныя высоты, уклоненія магнитной стрѣлки, городскіе долги и т. п., утверждаетъ однако: «Что касается преданій, существующихъ о прекрасной принцессѣ Ильзѣ, то всѣ они принадлежатъ къ области баснословія». Такъ говорятъ всѣ эти люди, которымъ никогда не являлась такая принцесса; но намъ, особенно покровительствуемымъ красавицами, это лучше извѣстно. И императоръ Генрихъ зналъ ее. Не даромъ же старосаксонскіе императоры такъ любили свой родной Гарцъ. Стоитъ только перелистать прелестную люнебургскую хронику, въ которой на странныхъ, добродушныхъ рисункахъ изображены старые добрые государи, въ полномъ вооруженіи, на своихъ боевыхъ коняхъ, со священною императорской короной на дорогой головѣ, со скипетромъ и мечомъ въ мощныхъ рукахъ; и на добрыхъ бородатыхъ лицахъ можно ясно прочесть, какъ часто тосковали они по милымъ сердцамъ своихъ гарцскихъ принцессъ и задушевному шуму гарцскихъ лѣсовъ будучи на чужбинѣ, даже въ богатой померанцами и ядами Италіи, куда такъ часто влекло ихъ и ихъ наслѣдниковъ желаніе назваться римскими императорами—чисто германская страсть къ титуламъ, погубившая и императора, и имперію.

Я, однакоже, совѣтую каждому, стоящему на вершинѣ Ильзенштейна, не думать ни объ императорѣ и имперіи, ни о прекрасной Ильзѣ, а только о своихъ собственныхъ ногахъ. Потому что, когда я стоялъ тамъ, погруженный въ грёзы, мнѣ вдругъ послышалась подземная музыка очарованнаго замка, и я увидѣлъ, что горы вокругъ меня стали вверхъ ногами, и красныя черепичныя крыши Ильзенбурга заплясали, и зеленыя деревья закружились въ синемъ воздухѣ, такъ что посинѣло и позеленѣло въ глазахъ моихъ, голова закружилась, и конечно я полетѣлъ бы въ пропасть, если бы въ испугѣ не удержался за желѣзный крестъ. Безъ сомнѣнія, никто не обвинитъ меня, что я прибѣгнулъ къ этому послѣднему средству въ такомъ опасномъ положеніи.

«Путешествіе на Гарцъ» есть и останется отрывкомъ, и пестрыя нити, которыя такъ прекрасно переплелись въ немъ для составленія гармоническаго цѣлаго, вдругъ перерѣзываются здѣсь, точно ножницами неумолимой Парки. Можетъ-быть, когда-нибудь сплету я ихъ съ моими будущими пѣснями, и то, о чемъ теперь я скупо умолчалъ, тогда выскажется во всей полнотѣ. Во всякомъ случаѣ, вѣдь все равно, гдѣ и когда выскажешь что-нибудь, лишь бы оно высказалось. Пусть отдѣльныя произведенія остаются отрывками, если только въ своемъ соединеніи они образуютъ одно цѣлое. Этимъ соединеніемъ пополняются недостатки, сглаживаются неровности и смягчаются слишкомъ рѣзкія мѣста. Это самое можетъ случиться при чтеніи уже первыхъ страницъ «Путешествія на Гарцъ», и онѣ, конечно, произвели бы менѣе кислое впечатлѣніе, если бы читатель увидѣлъ гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, что непріязнь, которую я питаю къ Геттингену вообще, хотя она теперь еще сильнѣе, чѣмъ въ то время, когда я ее высказалъ, все-таки не такъ велика, какъ почтеніе, которое я чувствую къ нѣкоторымъ отдѣльнымъ личностямъ его. И къ чему скрываться, что здѣсь я подразумѣваю, главнымъ образомъ, того дорогого человѣка, который уже въ годы моей юности принималъ во мнѣ такое дружеское участіе, уже тогда все-
ъ меня глубокую любовь къ изученію исторіи, потомъ
эту страсть, и черезъ это повелъ духъ мой по
окойному пути, далъ моей жизненной отвагѣ болѣе
ьное направленіе и вообще приготовилъ мнѣ тѣ
кія утѣшенія, безъ которыхъ я никакъ бы не могъ
повседневныя печальныя явленія. Этотъ чело-

вѣкъ—Георгъ Сарторіусъ, великій изслѣдователь исторіи и людей, глазъ котораго свѣтитъ, какъ яркая звѣзда, въ наше мрачное время, а радушное сердце открыто для всѣхъ чужихъ радостей и страданій, для тревожныхъ чувствъ нищаго и короля и для послѣднихъ стоновъ погибающихъ народовъ и ихъ боговъ.

Здѣсь я долженъ замѣтить также, что Верхній Гарцъ, описанный мною до начала долины Ильзы, далеко не имѣетъ того веселаго вида, какъ романтически-живописный Гарцъ Нижній и своею дико-суровою красотою, красотою своихъ темныхъ елей, представляетъ съ нимъ рѣзкую противоположность. Точно такъ же граціозно противоположны между собою три долины, образуемыя Ильзою, Бодэ и Зельке, если олицетворить характеръ каждой изъ нихъ. Это—три женщины, которыхъ не такъ легко отличить одну отъ другой, чтобы рѣшить, какая красивѣе.

О милой, привѣтной Ильзѣ и о томъ, какъ она мило и радушно приняла меня, я уже говорилъ и пѣлъ. Мрачная красавица Бодэ приняла меня не такъ милостиво, и когда я въ первый разъ увидѣлъ ее въ мрачномъ, какъ кузница, Рюбеландѣ, она казалась очень сердитою и завернулась въ серебристый дождевой покровъ. Но на вершинѣ Ространы она съ быстрымъ порывомъ любви сбросила его, лицо ея блеснуло мнѣ навстрѣчу въ лучезарнѣйшемъ великолѣпіи, всѣ черты задышали исполинскою нѣжностью, и изъ утесистой груди ея вырвались наружу будто вздохи вожделѣнія и расплывающіеся звуки тихой скорби. Не такою нѣжною, но болѣе веселою, явилась мнѣ красавица Зельке, прекрасная, милая дама, благородная простота и ясное спокойствіе которой отгоняютъ всякую сентиментальную фамильярность, но которая, однако, полускрытой улыбкой обличаетъ шаловливую натуру; и этому послѣднему обстоятельству я готовъ приписать маленькія непріятности, которымъ я подвергся въ долинѣ Зельке; такъ, захотѣвши перепрыгнуть черезъ воду, я шлепнулся какъ-разъ въ середину ея, потомъ, когда я вмѣсто замочившейся обуви надѣлъ туфли, у меня пропала одна изъ нихъ, вѣтеръ снесъ фуражку, колючій тростникъ исцарапалъ ноги и, къ сожалѣнію, такъ далѣе. Но всѣ эти непріятности я охотно прощаю прекрасной дамѣ, потому что она прекрасна. И в эту минуту она является въ моемъ воображеніи со все своею спокойною прелестью и будто говоритъ мнѣ: «вѣ сжели я и смѣюсь, то безъ злого намѣренія; будьте та

добры, воспойте меня». Великолѣпная Бодэ тоже встаетъ въ моемъ воспоминаніи, и мрачный взоръ ея говоритъ мнѣ: «ты сходенъ со мною въ гордости и страданіи; я хочу, чтобъ ты любилъ меня». И красавица Ильза прибѣжала сюда, кокетничая и чаруя лицомъ, осанкою и движеніями. Она удивительно похожа на чудное существо, наполняющее блаженствомъ мои грёзы и точно такъ же, какъ вы, смотритъ на меня съ неодолимымъ равнодушіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ глубоко, такъ безконечно, такъ прозрачно-истинно... И вотъ я Парисъ, передо мною стоятъ три богини, и я отдаю яблоко прекрасной Ильзѣ.

Сегодня первое мая, какъ море жизни разливается весна по землѣ, бѣлая пѣна цвѣтовъ виситъ на деревьяхъ, теплый, блестящій туманъ широко стелется повсюду, въ городѣ весело блестятъ стекла въ окошкахъ, на крышахъ воробьи снова вьютъ гнѣзда, по улицамъ гуляютъ люди и дивятся, что воздухъ такъ поразительно хорошъ и что у нихъ самихъ такъ чудно на душѣ, пестрыя крестьянки несутъ букеты фіалокъ, дѣти-найденыши, въ синихъ курточкахъ и съ милыми незаконнорожденными личиками, проходятъ черезъ Юнгфернштигъ и радуются, какъ будто нынче они отыщутъ своихъ родителей, нищій на мосту смотритъ такъ весело, точно онъ выигралъ въ лотерею большую сумму, даже чернаго, еще неповѣшеннаго маклера, бѣгающаго по городу со своимъ мошенническимъ, мануфактурно-товарнымъ лицомъ, солнце освѣщаетъ толерантнѣйшими лучами... я пойду за городъ.

Сегодня первое мая, и я думаю о тебѣ, красавица Ильза— или не назвать ли тебя Агнеса, такъ какъ это имя мнѣ нравится больше другихъ?—я думаю о тебѣ, и хотѣлось бы мнѣ снова взглянуть какъ ты, сверкая, сбѣгаешь съ горы. Но особенно хотѣлось бы мнѣ стоять внизу, въ долинѣ и схватить тебя въ мои объятія... Чудный день! Вездѣ передъ моими глазами зеленый цвѣтъ, цвѣтъ надежды. Вездѣ, какъ милое чудо, распускаются цвѣты, и сердцу моему тоже хочется зацвѣсти. Это сердце тоже цвѣтокъ, и цвѣтокъ удивительный. Оно не скромная фіалка, не смѣющаяся роза, [illegible]тая лилія, не другой какой-нибудь цвѣточекъ, ра[illegible] своею миловидностью сердце дѣвушки, прикалываю[illegible]ъ прекрасной груди, нынче вянущій и завтра снова [illegible]. Это сердце больше похоже на тотъ причудливый, [illegible]цвѣтокъ изъ лѣсовъ Бразиліи, который, по пре[illegible]етъ разъ въ сто лѣтъ. Я помню, что еще ре-

бенкомъ видѣлъ я такой цвѣтокъ. Ночью мы слышали выстрѣлъ, какъ изъ пистолета, а утромъ дѣти сосѣда разсказали мнѣ, что это ихъ алоэ внезапно распустилось съ такимъ трескомъ. Они повели меня въ свой садъ, и тамъ я съ удивленіемъ увидѣлъ, что это низкое, твердое растеніе со странно широкими, колючими листьями вдругъ вознеслось высоко, а надъ нимъ, точно золотая корона, распустился прелестнѣйшій цвѣтокъ. Мы, дѣти, не могли видѣть такъ высоко, и тогда любившій насъ старый, всегда улыбающійся Христіанъ приставилъ къ цвѣтку деревянную лѣстничку, и точно кошки вскарабкались мы наверхъ, и съ любопытствомъ смотрѣли на раскрытую чашечку цвѣтка, изъ которой, какъ лучи, золотистые лучи-нити, какое-то дикое, знакомое благоуханіе выходило съ неслыханнымъ великолѣпіемъ.

Да, Агнеса, не часто и не легко цвѣтетъ это сердце; сколько я помню, только одинъ разъ цвѣло оно, и это было давно, не меньше, какъ лѣтъ за сто. Какъ ни великолѣпно распустилось оно въ то время, но, вѣроятно, недостатокъ солнечнаго свѣта и теплоты привелъ его въ жалкое положеніе, если только не совсѣмъ уничтожила мрачная зимняя буря. Но теперь снова растетъ и движется оно въ моей груди—и если ты услышишь выстрѣлъ, дѣвушка, не пугайся: это не застрѣлился я, это любовь моя разорвала свою почку и разразилась лучезарными пѣснями, вѣчными дифирамбами, ликующей гармоніей!

А если эта высокая любовь слишкомъ высока для тебя, дѣвушка, поставь деревянную лѣстничку, и взлѣзь по ней, и смотри съ нея въ мое цвѣтущее сердце.

Еще рано, солнце совершило только половину своего пути, а мое сердце благоухаетъ уже такъ сильно, что голова моя пьянѣетъ, и я не могу понять, гдѣ оканчивается иронія и начинается небо, я населяю воздухъ своими вздохами, и хотѣлось бы мнѣ самому расплыться въ чудные атомы, слиться съ несотвореннымъ божествомъ... А что же будетъ, когда настанетъ ночь, и на небѣ появятся звѣзды, «тѣ несчастныя звѣзды, которыя могутъ сказать тебѣ...»

Сегодня первое мая, самый ничтожный лавочный приказчикъ имѣетъ сегодня право сентиментальничать—тал неужели откажешь ты въ этомъ правѣ поэту?..

Часть вторая.

I. СѢВЕРНОЕ МОРЕ.

(1826 г.).

(ПИСАНО НА ОСТРОВѢ НОРДЕРНЕЙ).

...Туземцы большею частію страшные бѣдняки и живутъ рыбною ловлей, которая начинается только въ слѣдующемъ мѣсяцѣ, въ октябрѣ, въ бурную погоду. Многіе изъ этихъ островитянъ служатъ также матросами на иностранныхъ купеческихъ судахъ и по цѣлымъ годамъ живутъ внѣ дома, не посылая своимъ близкимъ никакой вѣсти о себѣ. Нерѣдко они и погибаютъ въ морѣ. Я нашелъ на островѣ нѣсколькихъ бѣдныхъ женщинъ, у которыхъ всѣ мужчины семьи погибли такимъ образомъ; это случается часто, такъ какъ обыкновенно отецъ ѣдетъ въ море на одномъ и томъ же кораблѣ со своими сыновьями.

Плаваніе по морю имѣетъ для этихъ людей большую прелесть, но, несмотря на это, у всѣхъ нихъ, я думаю, на душѣ лучше всего тогда, когда они дома. Если и случится имъ заѣхать даже въ тѣ южныя страны, гдѣ солнце свѣтитъ ярче, а луна—романтичнѣе, то всѣ тамошніе цвѣты все-таки не въ состояніи заткнуть щель въ ихъ сердцѣ, и среди ароматной родины весны они томятся желаніемъ вернуться на свой песчаный островъ, въ свои маленькія хижины, къ пылающимъ очагамъ, вокругъ которыхъ ихъ ближніе плотно укутанные въ шерстяныя куртки, сидятъ на [illegible]чкахъ и пьютъ чай, отличающійся отъ кипяченой морводы только названіемъ, и болтаютъ на языкѣ, слушая [illegible] почти не постигаешь, какъ сами они могутъ по[illegible] его.

Такъ твердо и близко соединяютъ этихъ людей не столько задушевно-мистическое чувство любви, сколько привычка, естественность жизни другъ съ другомъ и другъ въ другѣ, общая всѣмъ имъ непосредственность. Тутъ одинаковая духовная высота, или—лучше сказать—духовная низменность, и вслѣдствіе этого—одинаковыя потребности и стремленія, одинаковые результаты, опыты и взгляды, и вслѣдствіе этого—легкое взаимное пониманіе и соглашеніе. И сидятъ они уживчиво у огня въ маленькихъ хижинахъ, сдвигаются въ тѣсный кружокъ, когда становится холодно, по глазамъ видятъ, что̀ кто думаетъ, читаютъ на губахъ другъ у друга слова прежде, чѣмъ они произнесены, хорошо помнятъ всѣ общія имъ житейскія отношенія и какимъ-нибудь единственнымъ звукомъ, единственною миной, единственнымъ нѣмымъ движеніемъ возбуждаютъ одинъ въ другомъ столько смѣха, или плача, или набожнаго настроенія, сколько мы въ равныхъ себѣ можемъ вызвать только длинными экспозиціями, экспетораціями и декламаціями. Потому что мы въ сущности живемъ въ духовномъ отношеніи одиноко; благодаря особой методѣ воспитанія, или случайно выбранному особому матеріалу для чтенія, каждый изъ насъ получаетъ особое направленіе характера; каждый изъ насъ, нравственно замаскированный, думаетъ, чувствуетъ и стремится иначе, чѣмъ другіе, и такъ много возникаетъ недоразумѣній, и даже въ очень просторныхъ домахъ совмѣстно жить такъ трудно, и повсюду намъ тѣсно, повсюду мы между собою чужіе, повсюду на чужой сторонѣ.

Въ томъ состояніи одинаковости мысли и чувства, въ которомъ находимъ мы нашихъ островитянъ, жили часто— и часто въ продолженіе цѣлыхъ столѣтій — цѣлые народы. Римско-христіанская средневѣковая церковь желала, быть-можетъ, внѣдрить такое состояніе въ корпораціяхъ всей Европы и съ этою цѣлью взяла подъ свою опеку всѣ житейскія отношенія, всѣ силы и явленія, всего физическаго и нравственнаго человѣка. Нельзя отрицать, что этимъ образомъ дѣйствій было основано много спокойнаго счастья, и жизнь стала цвѣсти теплѣе и интимнѣе, и искусство, какъ въ тиши выращенные цвѣты, развернул въ той великолѣпной красотѣ, которой мы изумляемся е теперь и не можемъ достигнуть со всѣмъ нашимъ торопливымъ знаніемъ. Но духъ человѣческій имѣетъ свои вѣч права, его нельзя сковать никакими правилами и поста *вленіями, нельзя* убаюкать никакимъ колокольнымъ звон

Онъ разбилъ стѣны своей тюрьмы и разорвалъ желѣзныя помочи, на которыхъ его водило родное духовенство, и опьяненный освобожденіемъ, понесся по всей землѣ, взбирался на высочайшія вершины горъ, ликовалъ въ гордомъ сознаніи своей силы, снова вспоминалъ о старыхъ сомнѣніяхъ, пытливо размышлялъ о чудесахъ дня и считалъ звѣзды ночи. Число звѣздъ намъ до сихъ поръ еще неизвѣстно, чудеса дня нами еще не разгаданы, старыя сомнѣнія усилились въ нашей душѣ—больше ли въ ней счастья теперь, чѣмъ прежде? Мы знаемъ, что на этотъ вопросъ, когда онъ касается массъ, отвѣчать утвердительно не легко; но мы знаемъ также, что счастье, которымъ мы одолжены лжи—не истинное счастье, и что за нѣсколько отдѣльныхъ, отрывочныхъ минутъ болѣе благороднаго состоянія, болѣе высокаго духовнаго подъема нами, можетъ-быть, испытано больше счастья, чѣмъ за цѣлые годы прозябанія въ слѣпыхъ, неподвижныхъ убѣжденіяхъ.

Во всякомъ случаѣ это господство средневѣковой церкви было гнетомъ самаго вреднаго свойства. Кто поручится намъ за добрыя намѣренія, о которыхъ я только-что говорилъ? Кто можетъ доказать, что тутъ порою не примѣшивался злой умыселъ? Римъ хотѣлъ господствовать постоянно, и когда пали его легіоны, онъ началъ посылать по провинціямъ догматы. Исполиномъ-паукомъ сидѣлъ Римъ въ средоточіи латинскаго міра и затягивалъ его своею безконечной паутиной. Поколѣнія народовъ жили подъ нею одно за другимъ спокойной жизнью, потому что принимали за близкое небо то, что было на самомъ дѣлѣ римская ткань; только стремившійся выше духъ, различавшій эту ткань, чувствовалъ себя стѣсненнымъ и несчастнымъ, и каждый разъ, какъ онъ пытался прорвать ее, хитрый ткачъ безъ труда схватывалъ его и высасывалъ смѣлую кровь изъ его сердца;—и не слишкомъ ли дорогою цѣною покупала такая кровь воображаемое счастье тупоумной массы? Дни рабства духа прошли; ослабѣвъ отъ старости, сидитъ старый паукъ между разбитыми колоннами своего Колизея и все еще прядетъ прежнюю ткань, но она уже ничтожна и гнила и въ
даются уже только бабочки и летучія мыши, но
е сѣверные орлы.

но, право: въ то время, какъ я съ такой благо-
о распространяюсь о намѣреніяхъ римской цер-
вдругъ охватываетъ привычное протестантское
ое *всегда приписываетъ* ей все, что есть худ-

шаго; и именно этотъ разладъ воззрѣній во мнѣ самомъ снова создаетъ мнѣ картину умственной разорванности нашего времени. Чему мы удивлялись вчера, то ненавидимъ сегодня, а завтра, быть-можетъ, будемъ равнодушно осмѣивать.

Съ извѣстной точки зрѣнія все одинаково велико и одинаково мелко, и наблюденіе надъ мелкою жизнью нашихъ бѣдныхъ островитянъ приводитъ мнѣ на память великіе европейскіе перевороты. И эти бѣдняки тоже стоятъ на границѣ такого новаго времени, и ихъ старое единеніе, старая простота нарушаются процвѣтаніемъ здѣсь морскихъ купаній, такъ какъ они ежедневно заимствуютъ у пріѣзжающихъ гостей что-нибудь новое, чего не умѣютъ согласить со своимъ исконнымъ образомъ жизни. Стояніе по вечерамъ передъ освѣщенными окнами кургауза и созерцаніе бесѣдъ кавалеровъ и дамъ, многозначительныхъ взглядовъ, гримасъ вожделѣнія, похотливыхъ танцевъ, веселаго обжорства, корыстной игры и т. п. не остаются для этихъ людей безъ дурныхъ послѣдствій, отнюдь не возмѣщаемыхъ денежными барышами, которые приноситъ съѣздъ на купанье. Этихъ денегъ не хватаетъ на вторгающіяся новыя потребности, и отсюда нарушеніе внутренней жизни, пагубный соблазнъ, большая скорбь. Еще въ дѣтскомъ возрастѣ я ощущалъ жгучую тоску всякій разъ, какъ мимо меня проносили открытыми прекрасно испеченные, вкусно пахнущіе пироги, изъ которыхъ мнѣ не суждено было получить ни крошки; позже кололо меня то же чувство, когда я видѣлъ на прогулкѣ по модѣ полуобнаженныхъ красавицъ, и вотъ теперь мнѣ думается, что бѣднымъ островитянамъ, живущимъ еще въ состояніи дѣтства, часто представляются поводы къ подобнымъ ощущеніямъ и что было бы недурно, если бы владѣльцы красивыхъ пироговъ и женщинъ сколько-нибудь прикрывали ихъ. Эти незакрытыя лакомства, которыми бѣдные рыбаки могутъ насыщать только глаза свои, несомнѣнно возбуждаютъ въ очень сильной степени ихъ аппетитъ, и если бы островитянки въ пору своей беременности ощущали всяческія сладкоиспеченныя желанья и стали бы даже рожать дѣтей, похожихъ на пріѣзжихъ посѣтителей, то это было бы нисколько не удивительно. этимъ отнюдь не намекаю на какія-нибудь безнравствен отношенія. Добродѣтель островитянокъ вполнѣ огражд ихъ безобразіемъ, и особенно ихъ рыбнымъ запахомъ, торый, по крайней мѣрѣ, для меня былъ невыносимъ. I *томъ же сюда* на время купаній пересадили съ матер

одну персону, которая должна воспринимать въ себя всѣ грѣхи пріѣзжихъ и этимъ гарантировать островитянокъ отъ всѣхъ пагубныхъ вліяній. Но это мѣра дурная, которая пригодна не для маленькаго острова, а во всякомъ случаѣ для большого приморскаго города, гдѣ общественныя лица служатъ какъ бы крѣпостями и громоотводами, чѣмъ гарантируется нравственность бюргерскихъ дочерей; и мнѣ, дѣйствительно, показывали въ Гамбургѣ широкую женскую фигуру, которая такимъ образомъ закрываетъ полстѣны, а равно и длинный, тощій громоотводъ женскаго рода, которымъ бываетъ защищена лѣтомъ большая Іоаннова улица.

Какъ сказано выше, добродѣтель островитянокъ покамѣстъ ограждена, и если бы ихъ дѣти стали являться на свѣтъ похожими на пріѣзжихъ гостей, я усмотрѣлъ бы въ этомъ скорѣе психологическій феноменъ и объяснилъ бы его тѣми матеріалистически-мистическими законами, которые такъ прекрасно развиваетъ Гете въ «Избирательномъ Сродствѣ».

Какое громадное число загадочныхъ явленій природы можно объяснить этими законами—изумительно. Въ прошедшемъ году морская буря перебросила меня на другой восточный фридландскій островъ; и тамъ, на стѣнѣ одной рыбачьей хижины, я увидѣлъ дрянную гравюру, съ подписью «La tentation du viellard», изображавшую старика, который среди своихъ занятій смущенъ появленіемъ голой по самыя бедра женщины, вынырнувшей изъ облака. И странно: у дочери хозяина-рыбака было такое же похотливое лицо моськи, какъ у женщины на этой картинѣ. Приведу и другой примѣръ: въ домѣ одного мѣнялы, жена котораго, управлявшая конторой, всегда самымъ старательнымъ образомъ разсматривала чеканку на монетахъ, я нашелъ, что дѣти были поразительно похожи на нѣкоторыхъ величайшихъ государей Европы, и когда они собирались всѣ вмѣстѣ и начинали спорить и ссориться между собою, мнѣ казалось, что передо мною маленькій конгрессъ.

Вотъ почему изображенія на монетахъ—предметъ, далеко не лишенный значенія для политиковъ. Такъ какъ люди любятъ деньги отъ всей души и конечно всегда смотрятъ а нихъ съ нѣжностью, то дѣти очень часто пріобрѣтаютъ ерты лица того государя, который вычеканенъ на той или гой монетѣ, и на бѣднаго государя падаетъ подозрѣніе, онъ отецъ своихъ подданныхъ. У бурбоновъ есть особо овательныя причины переливать наполеондоры въ другія

монеты: они не желаютъ больше видѣть между своими французами столько Наполеоновыхъ головъ. Пруссія въ монетной политикѣ ушла дальше всѣхъ другихъ странъ; тамъ, благодаря умному примѣшиванію мѣди къ другому металлу, умѣютъ устраивать дѣло такъ, что щеки короля на новоотчеканенной монетѣ тотчасъ же становятся красными—и поэтому у дѣтей въ Пруссіи съ нѣкотораго времени видъ гораздо здоровѣе, чѣмъ прежде, такъ что истинно радуется душа, когда смотришь на ихъ цвѣтущія зильбергрошевыя личики.

Сказавъ объ испорченности нравовъ, которая грозитъ здѣшнимъ островитянамъ, я не упомянулъ о ихъ духовномъ оплотѣ—пасторѣ и церкви. Пасторъ—здоровенный мужчина, съ большой головой, который, повидимому, не изобрѣлъ ни раціонализма, ни мистицизма, и его важнѣйшая заслуга въ томъ, что въ его домѣ квартировала одна изъ первыхъ красавицъ здѣшняго міра. Какой видъ у его церкви—я сообщить не могу, потому что еще не былъ тамъ. Богу извѣстно, что я хорошій христіанинъ, и часто намѣреваюсь сходить въ Его домъ,—но по какой-то фатальности каждый разъ кто-нибудь помѣшаетъ мнѣ, найдется обыкновенно болѣзнь, которая задержитъ меня на дорогѣ, и если ужъ и удастся дойти до дверей храма, то вдругъ овладѣваетъ мною почему-то смѣшливое настроеніе, и тутъ ужъ я считаю за грѣхъ войти въ середину. Прошедшимъ лѣтомъ случилось со мною нѣчто въ этомъ родѣ: передъ дверьми церкви пришло мнѣ въ голову то мѣсто изъ Гетевскаго «Фауста», гдѣ Фаустъ, проходя съ Мефистофелемъ мимо креста, спрашиваетъ его:

«Заторопился ты чего!
Передъ крестомъ зачѣмъ поникъ глазами?»

а Мефистофель отвѣчаетъ ему на это:

«Да, это предразсудокъ—я согласенъ съ вами;
Но мнѣ противенъ видъ его».

Эти стихи, сколько мнѣ извѣстно, не были напечатаны ни въ одномъ изданіи «Фауста», и только покойный гофратъ Морицъ, знавшій ихъ изъ рукописи Гете, приводитъ ихъ въ своемъ «Филиппѣ Странникѣ». Это—уже забытый романъ, гдѣ разсказывается исторія самого автора, или вѣрнѣе—исторія нѣсколькихъ сотъ талеровъ, которыхъ не было у автора, вслѣдствіе чего его жизнь сдѣлалась цѣпью лишеній и страданій. А между тѣмъ желанія у него были самыя скромныя; напримѣръ, желаніе отправиться въ Вей-

маръ и поступить въ услуженіе къ автору «Вертера» на какихъ бы то ни было условіяхъ, лишь бы только жить около того, кто изъ всѣхъ людей на свѣтѣ произвелъ на его душу сильнѣйшее впечатлѣніе.

Удивительно! Уже въ ту пору Гете вызывалъ такое восторженное чувство, а вѣдь только «наше третье подростающее поколѣніе» въ состояніи понять его истинное величіе.

Но это самое поколѣніе произвело также и людей, въ чьихъ сердцахъ сочится только гнилая вода и которые поэтому желали бы въ сердцѣ другихъ изсушить всѣ родники свѣжей крови; людей съ изсякнувшею способностью къ наслажденію, которые клевещутъ на жизнь и желаютъ сдѣлать всѣ прелести этого міра противными и для другихъ людей, для чего изображаютъ ихъ только какъ соблазнительныя приманки, разставленныя злымъ духомъ для нашего искушенія — подобно тому, какъ хитрая ключница оставляетъ въ свое отсутствіе открытою сахарницу съ сосчитанными кусками, чтобы испытать воздержность горничной. И эти люди собрали вокругъ себя добродѣтельную чернь, и проповѣдуютъ ей крестовый походъ противъ великаго язычника и противъ его голыхъ боговъ, которыхъ имъ такъ хотѣлось бы замѣнить своими замаскированными глупыми чертями.

Замаскированіе — это ихъ высшая цѣль, божественная нагота приводитъ ихъ въ ужасъ, и у Сатира всегда найдется основательная причина надѣть штаны и настаивать, чтобы надѣлъ штаны и Аполлонъ. Тогда люди называютъ его добродѣтельнымъ человѣкомъ и не знаютъ, что въ Клауреновой улыбкѣ замаскированнаго Сатира больше неприличнаго, чѣмъ во всей наготѣ Вольфганга Аполлона, и что именно въ тѣ времена, когда человѣчество носило такіе широкіе штаны, что на нихъ потребно было шестьдесятъ аршинъ матеріи, нравы не были приличнѣе, чѣмъ теперь.

Не разсердятся ли, однако, на меня дамы за то, что я говорю штаны, вмѣсто панталоны? О, какое тонкое чувство у этихъ дамъ! Въ концѣ-концовъ писать для нихъ возможно будетъ только евнухамъ, и духовнымъ служителямъ ихъ на [illegible] придется быть такими же безвредными, какъ слу[illegible]ъ ихъ тѣла на востокѣ.

[illegible] приходитъ мнѣ на память одно мѣсто изъ «Дневн[illegible]ртгольда»:

[illegible] разсудить, какъ слѣдуетъ, то выходитъ, что вѣдь [illegible]имъ голые въ своихъ платьяхъ, — сказалъ док-

торъ М. одной дамѣ, которая разсердилась на него за довольно безцеремонное выраженіе».

Ганноверское дворянство очень недовольно Гете и утверждаетъ, что онъ распространяетъ антирелигіозность, а она можетъ легко порождать и фальшивыя политическія воззрѣнія; между тѣмъ народъ вѣдь необходимо возвратить посредствомъ старой вѣры къ старой скромности и умѣренности. Слышалъ я также въ послѣднее время многіе споры о томъ—Гете ли выше Шиллера, или наоборотъ. Недавно случилось мнѣ стоять за стуломъ одной дамы, глядя на которую уже сзади можно было получить представленіе о ея шестидесяти четырехъ предкахъ, и тутъ я присутствовалъ при жаркомъ преніи на вышеупомянутую тему между нею и двумя ганноверскими nobilis, предки коихъ изображены уже на дендерскомъ зодіакѣ и изъ которыхъ одинъ, длинно-тощій, меркуріемъ начиненный юноша, наружностью похожій на барометръ, прославлялъ добродѣтель и чистоту Шиллера, тогда какъ другой, тоже долговязый юноша, шепелявилъ нѣсколько стиховъ изъ «Достоинства женщинъ» и при этомъ улыбался такъ сладко, какъ оселъ, уткнувшій морду въ бочку съ сиропомъ и съ наслажденіемъ облизывающійся. Оба юнца постоянно подкрѣпляли свои мнѣнія увѣрительнымъ припѣвомъ: «Онъ выше, онъ конечно выше, дѣйствительно онъ выше, честью завѣряю васъ, что онъ выше». Дама была такъ добра, что вовлекла меня въ эту эстетическую бесѣду и спросила: «Докторъ, какого вы мнѣнія о Гете?» Я же сложилъ крестообразно на груди руки, набожно склонилъ голову и сказалъ: «Ла иллахъ илль аллахъ, ва Магомедъ рафуль аллахъ!»

Дама, помимо своего вѣдома, предложила самый хитрый вопросъ. Вѣдь нельзя же спросить человѣка прямо: «какого вы мнѣнія о небѣ и землѣ? что ты думаешь о людяхъ и человѣческой жизни? разумное ты созданіе или болванъ?» Но всѣ эти щекотливые вопросы заключены въ немудреныхъ словахъ: «какого вы мнѣнія о Гете?» Такъ какъ сочиненія Гете у всѣхъ насъ передъ глазами, то мы имѣемъ возможность—произносимое о нихъ кѣмъ-нибудь сужденіе тутъ же сравнить съ нашимъ собственнымъ, получаемъ прочный масштабъ, которымъ можемъ смѣрить всѣ его мысли и чувства—и такимъ о безсознательно самъ произнесъ надъ собой пр если этимъ путемъ Гете, будучи общимъ для крытымъ для созерцанія каждаго міромъ, ст

насъ лучшимъ средствомъ узнавать людей, то, въ свою очередь, лучше всего узнавать Гете мы можемъ по его собственнымъ сужденіямъ о предметахъ, которые у всѣхъ насъ предъ глазами и мнѣнія о которыхъ были уже высказаны намъ самыми значительными людьми. Въ этомъ отношеніи мнѣ пріятнѣе всего указать на «Путешествіе по Италіи» Гете: всѣ мы—или по собственнымъ наблюденіямъ, или по наслышкѣ отъ другихъ—знаемъ Италію, и намъ легко замѣтить, какъ каждый смотритъ на нее субъективными глазами: этотъ—недовольными глазами Архенгольца, видящими только дурное, тотъ — восторженными глазами Коринны, усматривающими всюду только великолѣпное; тогда какъ Гете видитъ своимъ свѣтлымъ греческимъ окомъ все—темное и свѣтлое, не окрашиваетъ ни одной вещи своимъ душевнымъ настроеніемъ и рисуетъ намъ страну и людей тѣми истинными чертами и истинными красками, которыми надѣлилъ ихъ Богъ.

Это—заслуга Гете, которую признаютъ только позднѣйшія времена; потому что мы—бо́льшею частью люди больные—слишкомъ застряли въ нашихъ больныхъ, разорванныхъ романтическихъ чувствахъ, набранныхъ нами изо всѣхъ странъ и вѣковъ, слишкомъ для того, чтобы намъ можно было непосредственно увидѣть, какъ здорово, цѣлостно и пластично является Гете въ своихъ произведеніяхъ. Онъ самъ замѣчаетъ это также мало; въ наивномъ невѣдѣніи своей силы онъ удивляется, когда ему приписываютъ «объективное мышленіе», и желая намъ дать своею автобіографіей критическое пособіе для оцѣнки его произведеній, не даетъ, однако, никакого масштаба для этой оцѣнки самой по себѣ, а только сообщаетъ новые факты, по которымъ можно судить о немъ; это вѣдь и естественно, такъ какъ ни одна птица не можетъ опередить на-лету самое себя.

Позднѣйшія времена откроютъ въ Гете, кромѣ этой способности пластическаго созерцанія, чувствованія и мышленія, еще многое такое, о чемъ мы въ настоящую пору не имѣемъ никакого представленія. Творенія духа вѣчно нерушимы, но критика есть нѣчто измѣняющееся, она имѣетъ
[illegible]комъ воззрѣніе своего времени, сохраняетъ свое зна-
[illegible]олько для него, и если не принадлежитъ сама по
[illegible]ь области художественнаго, какова, напр., критика
[illegible]левская, то умираетъ вмѣстѣ со своимъ временемъ.
[illegible]й вѣкъ, пріобрѣтая *новыя* идеи, пріобрѣтаетъ и но-
[illegible]. *и отъ этого усматриваетъ* весьма много новаго

въ старыхъ созданіяхъ человѣческаго духа. Какой-нибудь Шубартъ вычитываетъ теперь въ «Иліадѣ» нѣчто иное и гораздо больше, чѣмъ находили въ ней всѣ александрійскіе ученые; точно такъ же явятся нѣкогда критики, которые увидятъ въ Гете гораздо больше, чѣмъ видитъ въ немъ Шубартъ.

Какъ заболтался я, однако, о Гете! Но подобныя отступленія очень естественны, когда, какъ на этомъ островѣ, у васъ въ ушахъ постоянно шумитъ и настраиваетъ вашу душу по своей прихоти море.

Дуетъ сильный сѣверо-восточный вѣтеръ, и вѣдьмы снова замыслили много злого. Здѣсь именно ходятъ любопытныя легенды о вѣдьмахъ, умѣющихъ заклинать бурю—какъ и вообще на сѣверныхъ моряхъ очень много суевѣрія. Моряки утверждаютъ, что нѣкоторые острова находятся подъ тайнымъ владычествомъ совершенно особыхъ вѣдьмъ и что ихъ злоба виной, когда съ проѣзжающими мимо кораблями случаются всяческія невзгоды. Въ прошедшемъ году я провелъ нѣкоторое время на морѣ, и шкиперъ нашего корабля разсказалъ мнѣ, что вѣдьмы особенно могущественны на островѣ Уайтѣ и стараются каждое судно, желавшее проѣхать въ этомъ мѣстѣ днемъ, задерживать до ночи, чтобы въ эту пору прибить его къ утесамъ или самому острову; въ такихъ случаяхъ онѣ будто бы проносятся по воздуху съ такимъ шумомъ и такъ страшно воютъ вокругъ корабля, что хлопотуну стоитъ огромнаго труда сопротивляться имъ. На мой вопросъ—кто этотъ хлопотунъ, разсказчикъ отвѣчалъ очень серьезно: «Это добрый, невидимый защитникъ кораблей, оберегающій вѣрныхъ и добропорядочныхъ моряковъ отъ несчастій, самъ за всѣмъ и вездѣ наблюдающій и заботящійся какъ о порядкѣ, такъ и о благополучномъ плаваніи». Мой славный кормчій увѣрялъ нѣсколько таинственнѣе, что я самъ могу очень хорошо услышать этого хлопотуна въ корабельномъ трюмѣ, гдѣ онъ старается установить грузъ какъ возможно получше, отчего и происходитъ скрипъ бочекъ и ящиковъ, когда на морѣ волны, отчего по временамъ и стучатъ, и трещатъ бревна и доски; часто хлопотунъ постукиваетъ и въ наружную сторону корабля, и это относится уже къ плотнику, которому дается тѣмъ знак что надо немедленно починить поврежденное мѣсто; больш же всего любитъ онъ сидѣть на брамзегелѣ въ зна того, что попутный вѣтеръ дуетъ или приближается. мой вопросъ—нельзя ли и увидѣть его, я получилъ въ отв

нѣтъ, нельзя, да и нежелательно никому его увидѣть, потому что показывается онъ только тогда, когда ужъ нѣтъ никакого спасенія. Такого случая мой добрый шкиперъ, правда, не пережилъ еще самъ, но отъ другихъ знаетъ онъ, что въ подобныя минуты слышно, какъ хлопотунъ сперва переговаривается съ брамзегеля съ подданными ему и находящимися подъ водою духами; когда же буря усилится до крайности и кораблекрушеніе оказывается неизбѣжнымъ, онъ садится на руль, становясь тутъ видимымъ въ первый разъ, ломаетъ его и затѣмъ исчезаетъ; тѣ же, которые увидѣли его въ эту страшную минуту, немедленно вслѣдъ затѣмъ находятъ смерть въ волнахъ.

У капитана корабля, слушавшаго этотъ разсказъ вмѣстѣ со мною, появилась такая тонкая улыбка, какую я не ожидалъ бы встрѣтить на его загрубѣломъ, вѣтру и бурямъ покорномъ лицѣ; а потомъ онъ увѣрялъ меня, что лѣтъ за пятьдесятъ или даже за сто, вѣра въ хлопотуна была такъ сильна, что за столомъ на кораблѣ всегда ставили для него особый приборъ и отъ каждаго кушанья откладывали на его тарелку чуть ли не лучшій кусокъ; на нѣкоторыхъ корабляхъ это дѣлается даже до сихъ поръ...

Я здѣсь часто гуляю по берегу и вспоминаю подобныя морскія легенды. Привлекательнѣйшая изъ нихъ, конечно, исторія о летучемъ голландцѣ, котораго въ бурю видятъ несущимся съ распущенными парусами, и который иногда спускаетъ со своего корабля лодку, чтобы вручить встрѣтившимся ему морякамъ разныя письма; но съ ними не знаютъ потомъ, что дѣлать, такъ какъ они адресованы къ давно умершимъ людямъ. Припоминаю я иногда и старую, милую сказку о мальчикѣ-рыбакѣ, который однажды на берегу подслушалъ ночной хороводъ морскихъ русалокъ и потомъ сталъ ходить со своею скрипкой по всему свѣту и околдовывалъ восторгомъ всѣхъ, кому игралъ мелодію вальса русалокъ. Эту легенду разсказалъ мнѣ одинъ близкій другъ, когда мы въ Берлинѣ слушали въ концертѣ игру такого чародѣя-юноши, Феликса Мендельсона-Бартольди.

Особеннаго рода прелесть заключается въ крейсированіи
гъ острова. Но для этого надо, чтобы погода была
хороша, чтобы тучи принимали необычайные образы
ы вы лежали на палубѣ вверхъ лицомъ и смотрѣли
и при этомъ, конечно, имѣли кусочекъ неба и
ердцѣ. Въ такія минуты волны журчаньемъ с
эптываютъ вамъ много чудныхъ вещей, мн

словъ, въ которыхъ порхаютъ сладостныя воспоминанія, много именъ, отзвукъ которыхъ падаетъ въ душу, какъ сладостное предчувствіе... «Эвелина!..» Тутъ же проплываютъ мимо васъ корабли, и вы раскланиваетесь другъ съ другомъ, точно можете видѣться каждый день. Только ночью встрѣча въ морѣ съ чужими кораблями имѣетъ въ себѣ нѣчто зловѣще-тяжелое; кажется, что мимо тебя безмолвно проплываютъ лучшіе друзья твои, которыхъ ты не видѣлъ уже много лѣтъ, и что въ эту минуту ты теряешь ихъ уже навсегда.

Я люблю море, какъ мою душу.

Часто представляется мнѣ даже, что море и есть собственно моя душа, и какъ въ морѣ есть скрытыя водяныя растенія, которыя только въ мигъ своего расцвѣта выплываютъ на поверхность и въ мигъ отцвѣта снова уходятъ на дно, такъ и изъ глубины моей души по временамъ выплываютъ наружу чудные цвѣты, и благоухаютъ они, и блещутъ, и снова исчезаютъ... «Эвелина!»

Говорятъ, что недалеко отъ этого острова, гдѣ теперь нѣтъ ничего, кромѣ воды, находились нѣкогда прекраснѣйшія деревни и города, но что море внезапно затопило ихъ всѣ, и въ ясную погоду пловцы до сихъ еще поръ видятъ сверкающіе шпили затонувшихъ колоколенъ, а иные слышали тамъ даже въ утренній воскресный часъ звуки благовѣста. Этотъ разсказъ справедливъ, потому что море— моя душа...

Прекрасный міръ тамъ схороненъ на днѣ,
Развалины его я вижу въ грезахъ.

(В. Мюллеръ).

И пробуждаясь, я слышу замирающіе вдалекѣ звуки колокола и пѣніе священныхъ голосовъ... «Эвелина!»

Гуляя по берегу, находишь въ мимо плывущихъ судахъ очень красивое зрѣлище. Когда они распустятъ ослѣпительно-бѣлые паруса, то похожи на пролетающихъ большихъ лебедей. Особенно красива эта картина, когда солнце опускается за несущимся на парусахъ кораблемъ и озаряетъ его какъ бы исполинскимъ сіяніемъ.

Охота по берегу тоже, вѣроятно, доставляетъ большое удовольствіе. Что касается меня, то я не очень-то цѣню это занятіе. Склонность къ благородному, прекрасному и доброму часто поселяется въ человѣкѣ воспитаніемъ, склонность къ охотѣ лежитъ въ крови. Если дѣды уже

незапамятныхъ временъ упражнялись въ стрѣляніи дикихъ козъ, то и внукъ находитъ удовольствіе въ этомъ наслѣдственномъ занятіи. Мои же предки принадлежали не къ охотящимся, а гораздо больше—къ тѣмъ, за которыми охотятся, и пожелай я стрѣлять въ потомковъ ихъ бывшихъ товарищей, моя кровь возмутилась бы противъ этого. Знаю я даже по опыту, что измѣривъ разстояніе, мнѣ легче выстрѣлить въ того охотника, который желаетъ возвращенія временъ, когда и люди служили матеріаломъ для высокихъ охотъ. Эти времена, славу Богу, миновали! Если подобнымъ охотникамъ и приходитъ въ настоящую пору желаніе поохотиться на человѣка, то они должны заплатить ему за это, какъ было, напримѣръ, съ скороходомъ, котораго я видѣлъ два года назадъ въ Геттингенѣ. Бѣднякъ въ удушливый зной воскреснаго дня добѣгался уже до порядочной устали, когда нѣсколько ганноверскихъ дворянчиковъ, изучившихъ тамъ humaniora, предложили ему пару талеровъ, если онъ еще разъ пробѣжитъ то же самое пространство; и онъ бѣжалъ, и былъ блѣденъ какъ смерть, и одѣтъ въ красную куртку, и слѣдомъ за нимъ въ клубахъ пыли галопировали упитанные, высокородные юноши на статныхъ коняхъ, копыта которыхъ задѣвали по временамъ задыхавшагося въ травлѣ человѣка—и это былъ человѣкъ.

Ради опыта—ибо надо мнѣ получше пріучать свою кровь—я пошелъ вчера на охоту. Выстрѣлилъ я въ нѣсколькихъ чаекъ, черезчуръ ужъ безпечно летавшихъ вокругъ меня, хотя онѣ и не могли знать опредѣлительно, что я скверно стрѣляю. Я не намѣревался попасть въ нихъ, а хотѣлъ только предостеречь, чтобы онѣ въ другой разъ береглись людей съ ружьями въ рукахъ; но далъ промахъ и имѣлъ несчастіе убить на смерть одну молодую чайку. Хорошо, что то была не старая; потому что въ этомъ случаѣ что̀ сталось бы съ бѣдными маленькими чаечками, которыя, еще не оперенныя лежатъ въ песчаныхъ гнѣздахъ большой дюны и безъ матери умерли бы съ голоду! У меня уже заранѣе было предчувствіе, что на охотѣ мнѣ не повезетъ: заяцъ перебѣжалъ дорогу.

Особенно чудно̀ становится у меня на душѣ, когда въ
ı я брожу по берегу одинъ—позади меня плоскія
ередо мною волнующееся, неизмѣримое море, надо
, какъ исполинскій куполъ... въ эти минуты
ось самому себѣ крошечнымъ, какъ муравей
ая душа такъ безконечно расширяется. I
природы, какою окруженъ я здѣсь, смиря

и возвышаетъ меня въ одно и то же время и притомъ въ болѣе сильной степени, чѣмъ дѣлала это когда-либо другая величественная обстановка. Ни одинъ соборъ не былъ достаточно просторенъ для меня; моя душа, съ ея старою титанической молитвой, всегда стремилась выше готическихъ колоннъ и всегда хотѣла прорваться сквозь крышу. На вершинѣ Ростраппе колоссальныя скалы въ ихъ смѣлыхъ группировкахъ въ первыя минуты внушили мнѣ нѣкоторое почтительное изумленіе; но это впечатлѣніе длилось недолго, душа моя была только потрясена, но не побѣждена, и эти громадныя каменныя массы постепенно дѣлались въ моихъ глазахъ все меньше и меньше, и, наконецъ, представились мнѣ только ничтожными развалинами разбитаго исполинскаго дворца, въ которомъ моя душа, быть-можетъ, и помѣстилась бы съ комфортомъ.

Какъ ни смѣшно можетъ это показаться, а я все-таки не скрою, что отсутствіе пропорціональности между тѣломъ и душою отчасти мучитъ меня; здѣсь, у моря, среди величественной природы, оно по временамъ дѣлается для меня совершенно явственнымъ, и метемпсихоза часто составляетъ предметъ моего размышленія. Кому знакома та великая иронія божества, которая обыкновенно обнаруживаетъ всяческія противорѣчія между душою и тѣломъ? Кто можетъ знать, въ какомъ портномъ живетъ теперь душа Платона, и въ какомъ школьномъ учителѣ душа Цезаря? Кто скажетъ—не помѣщается ли душа Григорія VII въ тѣлѣ турецкаго султана, и подъ ласками тысячи женскихъ ручекъ не живется ли ей гораздо пріятнѣе, чѣмъ нѣкогда въ пурпурной мантіи холостяка? И напротивъ того—сколько душъ правовѣрныхъ мусульманъ времени Али находятся, быть-можетъ, въ настоящую пору, въ нашихъ антиэллинскихъ кабинетахъ! Души двухъ разбойниковъ, распятыхъ по обѣимъ сторонамъ Спасителя, помѣстились, быть-можетъ, теперь въ толстыхъ консисторіальныхъ животахъ и пламенно радѣютъ о нравственности и добродѣтели. Душа Чингисхана, быть-можетъ, живетъ въ рецензентѣ, который ежедневно, самъ того не зная, рубитъ саблею въ критическомъ журналѣ своихъ вѣрнѣйшихъ калмыковъ и башкировъ. Какъ знать! какъ знать! Душа Пиѳагора перешла, можетъ-б[illegible] въ бѣднаго кандитата, который провалился на экзам[illegible] потому что не могъ доказать Пиѳагорову теорему, м[illegible] тѣмъ какъ въ его господахъ экзаменаторахъ живутъ [illegible] тѣхъ быковъ, которыхъ нѣкогда Пиѳагоръ, въ радост[illegible]

открылъ свою теорему, принесъ въ жертву вѣчнымъ богамъ. Индѣйцы не такіе дураки, какими считаютъ ихъ наши миссіонеры; они чтутъ животныхъ за человѣческія души, присутствіе которыхъ предполагаютъ въ нихъ, и если ими основываются лазареты для инвалидовъ-обезьянъ, въ родѣ нашихъ академій, то весьма возможно, что въ этихъ обезьянахъ живутъ души великихъ ученыхъ, тогда какъ, напротивъ, у насъ совершенно очевидно, что въ нѣкоторыхъ великихъ ученыхъ заключены только обезьяньи души.

Если бы кто-нибудь могъ со всевѣдѣніемъ прошедшаго взглянуть съ заоблачныхъ высотъ на земную жизнь и суету! Когда въ ночные часы, бродя по берегу, я слышу пѣніе волнъ, и пробуждаются во мнѣ всяческія предчувствія и воспоминанія, то становится у меня на душѣ такъ, какъ будто я нѣкогда дѣйствительно смотрѣлъ именно такимъ образомъ сверху внизъ, и отъ страха у меня такъ закружилась голова, что я упалъ на землю; кажется мнѣ также въ подобныя минуты, будто глаза мои пріобрѣли такую телескопическую зоркость, что я могъ разсмотрѣть звѣзды на небѣ во весь ихъ ростъ и отъ этого клубящагося блеска ослѣпъ... Точно изъ глубины тысячелѣтій подымаются тогда въ мою душу самыя разнообразныя мысли—мысли древней мудрости, но онѣ такъ туманны, что я не могу понять, чего онѣ хотятъ. Одно я знаю—что всѣ наши многоумныя знанія, стремленія и произведенія всякому высшему духу должны казаться такими же маленькими и ничтожными, какимъ показался мнѣ паукъ, на котораго я такъ часто смотрѣлъ въ геттингенской библіотекѣ. Усердно занимаясь своимъ тканьемъ, сидѣлъ онъ на фоліантахъ всемірной исторіи, и смотрѣлъ съ такою философскою самоувѣренностью на все окружающее, и былъ пропитанъ ученымъ геттингенскимъ самомнѣніемъ и, казалось, былъ гордъ своими математическими познаніями, своей художественной работой, своимъ одинокимъ размышленіемъ... а между тѣмъ ровно ничего не зналъ онъ изъ всѣхъ тѣхъ чудесъ, что заключены въ книгѣ, на которой онъ родился, и на которой провелъ всю жизнь, и на которой умретъ, если библіоте-
д-ръ Л., подкравшись, не сгонитъ его оттуда. А кто
этотъ подкрадывающійся д-ръ Л.? Его душа, быть
, жила нѣкогда именно въ такомъ паукѣ, и теп
режетъ тѣ фоліанты, на которыхъ нѣкогда сидѣ
ке читаетъ ихъ, то все-таки истинная суть
му непонятна.

Что въ былыя времена происходило на той землѣ, по которой я гуляю въ настоящую пору? Одинъ археологъ, пріѣхавшій сюда купаться, утверждаетъ, что нѣкогда тутъ совершалось то поклоненіе Гертѣ, или, лучше сказать, Форсетѣ, о которомъ такъ таинственно говоритъ Тацитъ. Если только разсказчики, со словъ которыхъ сообщалъ эти свѣдѣнія Тацитъ, не ошибались и не приняли купальную будочку на колесахъ за священную колесницу богини!

Въ 1819 г. въ Боннѣ я слушалъ въ одномъ и томъ же семестрѣ четыре курса, въ которыхъ излагались большею частью нѣмецкія древности изъ самаго голубого времени—именно: 1) исторію нѣмецкаго языка у Шлегеля, который почти три мѣсяца сряду развивалъ самыя дикія гипотезы о происхожденіи нѣмецкаго народа, 2) «Германію» Тацита у Арндта, отыскивавшаго въ древне-германскихъ лѣсахъ тѣ добродѣтели, которыхъ онъ не находилъ въ современныхъ гостиныхъ, 3) германское государственное право у Гюльмана, историческія воззрѣнія котораго еще наименѣе смутны сравнительно съ другими, и 4) первобытную исторію Германіи у Радлова, который въ концѣ семестра успѣлъ добраться только до времени Сезостриса;—и вотъ въ ту пору легенды о старой Гертѣ, конечно, должны были интересовать меня больше, чѣмъ теперь. Я никакъ не хотѣлъ допустить, что ея мѣстопребываніе на Рюгенѣ и, напротивъ, переносилъ его на одинъ изъ восточно-фрисландскихъ острововъ. Молодому ученому очень пріятно придумывать свои частныя гипотезы. Но ужъ ни въ какомъ случаѣ не могло мнѣ тогда придти въ голову, что когда-нибудь буду я гулять по берегу Сѣвернаго моря, не размышляя о старой богинѣ съ патріотическимъ одушевленіемъ. А это дѣйствительно такъ вышло, и я думаю здѣсь о совершенно иныхъ, болѣе молодыхъ богиняхъ; особенно когда прохожу по тому таинственному мѣсту на берегу, около котораго еще только-что самыя красивыя женщины плавали подобно русалкамъ. Ибо здѣсь ни мужчины, ни дамы не купаются подъ какимъ-нибудь прикрытіемъ, а прогуливаются себѣ просто въ открытомъ морѣ. Оттого-то купальни обоихъ половъ отдѣлены одна отъ другой, но не слишкомъ далекимъ разстояніемъ, и у кого хорошая зрительная трубка, тотъ можетъ всюду въ свѣтѣ видѣть очень много. Существуетъ легенда, что одинъ новый Актеонъ увидѣлъ такимъ манеромъ одну купающуюся Діану, и чудное дѣло! не онъ, а мужъ красавицы очутился вслѣдствіе этого съ рогами.

Купальныя телѣжки, эти дрожки Сѣвернаго моря, здѣсь только подъѣзжаютъ къ водѣ и состоятъ большею частью изъ четыреугольныхъ деревянныхъ будочекъ, обтянутыхъ твердымъ полотномъ. На зимнюю пору онѣ устанавливаются въ залѣ кургауза и несомнѣнно ведутъ тамъ между собой разговоры такіе же деревянные и накрахмаленные, какъ то знатное общество, которое еще недавно вращалось въ этихъ стѣнахъ.

Говоря, однако, «знатное общество», я не имѣю въ виду добрыхъ гражданъ восточной Фрисландіи—народъ, который такъ же плоскъ и трезвъ, какъ почва, гдѣ онъ живетъ, который не умѣетъ ни пѣть, ни свистать, но за то обладаетъ талантомъ получше, чѣмъ выдѣлываніе всякихъ трелей и всякое высвистываніе—талантомъ, облагораживающимъ человѣка и возвышающимъ его надъ тѣми легонькими холопскими душами, которые признаютъ только себя благородными, именно талантомъ свободы. Когда сердце бьется для свободы,то такое біеніе сердца такъ же почетно, какъ ударъ шпагой, посвящающій въ рыцари; и свободные фризы знаютъ это, и они заслуживаютъ свой народный эпитетъ; если не считать періода вождей, аристократія въ восточной Фрисландіи никогда не преобладала, жили тамъ только очень немногія дворянскія фамиліи, и распространяющееся теперь по странѣ, въ административной и военной сферахъ, вліяніе ганноверскаго дворянства омрачаетъ не одно свободное фрисландское сердце, и повсюду обнаруживается сочувственное отношеніе къ прежнему прусскому управленію.

Что касается, однако, общихъ германскихъ жалобъ на ганноверскую дворянскую спѣсь, то я не могу безусловно согласиться съ ними. Ганноверское офицерское сословіе подаетъ наименѣе поводовъ къ подобнымъ жалобамъ. Правда, какъ въ Мадагаскарѣ только дворяне имѣютъ право быть мясниками, такъ и въ прежнее время ганноверское дворянство пользовалось подобною же привилегію, ибо только дворяне могли дослуживаться до офицерскаго чина. Но съ тѣхъ поръ, какъ въ нѣмецкомъ легіонѣ отличилось и заняло офицерскія должности столько лицъ изъ бюргерскаго сса, это дурное, привычкою освященное право уничто-лось. Да, весь составъ нѣмецкаго легіона сильно содѣй-овалъ къ смягченію старыхъ предразсудковъ, эти люди ли далеко по свѣту, а въ свѣтѣ видишь много, осо-ъ въ Англіи, и они многому выучились, и сердце ра-, слушая, какъ они разсказываютъ о Португа

Испаніи, Сициліи, Іоническихъ островахъ, Ирландіи и другихъ отдаленныхъ странахъ, гдѣ они сражались и «многихъ людей, города видѣли, разные нравы узнали»,—такъ что кажется, что слышишь новую Одиссею, для которой, къ сожалѣнію, не найдется своего Гомера. Сохранилось также между офицерами этого корпуса много англійской свободы въ нравахъ, которая традиціоннымъ ганноверскимъ обычаямъ противоположна болѣе, чѣмъ думаемъ мы въ остальной Германіи, такъ какъ обыкновенно приписываемъ примѣру Англіи сильное вліяніе на Ганноверъ. Въ этой ганноверской странѣ только и видишь, что родословныя деревья, къ которымъ привязаны лошади, и отъ такого множества деревьевъ все государство въ темнотѣ, и, несмотря на всѣхъ этихъ лошадей, впередъ не подвигается. Нѣтъ, сквозь этотъ ганноверскій дворянскій лѣсъ никогда не проникалъ ни одинъ солнечный лучъ британской свободы, и никогда ни одного британскаго звука свободы нельзя было услышать среди шумнаго ржанья ганноверскихъ коней. А что такое звукъ британской свободы—я узналъ только недавно, когда въ страшнѣйшую морскую бурю увидѣлъ несшійся на парусахъ англійскій корабль, гдѣ на палубѣ стояло много людей, которые съ почти преступною строптивостью ревѣли громче волнъ и вѣтра свое старое: «Rule Britannia, rule the waves, Britons never shall be slaves!»

Всеобщія жалобы на ганноверскую дворянскую спѣсь большею частью обрушиваются на милую молодежь извѣстныхъ фамилій, которыя или управляютъ Ганноверомъ, или намѣрены посредственно управлять имъ. Но и эти благородные юноши скоро освободились бы отъ недостатковъ этого рода, если бы тоже потолкались немного по свѣту, или получили лучшее воспитаніе. Правда, ихъ посылаютъ въ Геттингенъ, но тамъ они сидятъ на корточкахъ въ своемъ кружкѣ, и говорятъ только о своихъ собакахъ, лошадяхъ и орденахъ, и почти не слушаютъ лекцій новой исторіи, а коли приходится имъ слушать, то въ это время умъ ихъ поглощенъ созерцаніемъ «графскаго стола», который, будучи эбмлемою Геттингена, назначенъ только для высокородныхъ студентовъ. Да, несомнѣнно, что давайся молодо[illegible] ганноверскому дворянству лучшее воспитаніе, не было поводовъ для многихъ, нынѣ раздающихся жалобъ. [illegible] юноши ничѣмъ не отличаются отъ стариковъ. То же ки[illegible]ливое представленіе, что они цвѣты міра, тогда какъ в[illegible] остальные—только трава; то же глупое стремленіе прикр[illegible]

ь заслугами предковъ свое собственное ничтожество; то
невѣдѣніе проблематичности этихъ заслугъ, такъ какъ
ти никто изъ нихъ не сообразитъ, что властители рѣдко
стоивали одворяниваюгцею милостью своихъ вѣрнѣйшихъ
обродѣтельнѣйшихъ слугъ, но очень часто—сводника,
теца и тому подобныхъ любимцевъ-негодяевъ. Почти ни-
изъ этихъ кичащихся своими предками не можетъ съ
ностью опредѣлить, что именно сдѣлали ихъ предки—
всѣ указываютъ только, что имена этихъ послѣднихъ упо-
наются въ «книгѣ о турнирахъ» Рюкснера. Да если бы
же они и могли доказать, что эти предки, напримѣръ,
исутствовали въ качествѣ крестоносцевъ при завоеваніи
усалима, то слѣдовало бы имъ, прежде чѣмъ ставить это
преимущество себѣ, доказать также, что эти рыцари
нестно сражались въ числѣ другихъ воиновъ, что желѣз-
е панталоны ихъ не были подбиты желтой трусостью, и
подъ ихъ краснымъ крестомъ билось сердце честнаго
овѣка. Не будь «Иліады», а существуй только списокъ
нъ героевъ, стоявшихъ передъ стѣнами Трои, и сохра-
ь эти имена до сихъ поръ—какъ бы раздувалось родо-
тщеславіе потомковъ Терсита! О чистотѣ крови я ужъ
не хочу говорить: у философовъ и конюшихъ на этотъ
тъ совсѣмъ странныя идеи.

Мое порицаніе, какъ я уже сказалъ, касается главнымъ
разомъ дурного воспитанія ганноверскаго дворянства и
но запечатлѣвающагося въ немъ нелѣпаго представленія
важности нѣкоторыхъ, дрессировкою освященныхъ формъ.
какъ часто приходилось мнѣ смѣяться, когда я замѣчалъ,
къ моего значенія придавали этимъ формамъ! Точно та-
я ужъ крайняя трудность выучиться всему этому—этой
презентаціи, этой презентаціи, этой улыбкѣ, ничего не
ворящей, этому говоренью, никакой мысли въ себѣ не
ключающему, всѣмъ этимъ дворянскимъ штукамъ, на ко-
рыя добрый бюргеръ дивится точно на чудо морское,
жду тѣмъ какъ всякій французскій танцмейстеръ въ нихъ
льнѣе нѣмецкаго дворянина, который съ трудомъ выучи-
ется имъ въ прилизывающей медвѣдей Лютеціи и затѣмъ
ихъ съ нѣмецкою основательностью и неповорот-
своимъ потомкамъ. Это напоминаетъ мнѣ басню
, который плясалъ на рынкахъ, убѣжалъ отъ сво-
-учителя, вернулся къ своимъ собратьямъ-медвѣ-
ъ и сталъ хвастать—какое трудное искусство
ие успѣхи сдѣлалъ онъ въ немъ; и дѣйстви-

тельно, образцамъ этого искусства, которые онъ представилъ тутъ, бѣдные звѣри не могли отказать въ удивленіи. Эта нація, какъ называетъ ее Вертеръ, составляла знатное общество, которое въ нынѣшнемъ году блестѣло здѣсь на водѣ и сушѣ, и всѣ они были милые, милые люди, и всѣ хорошо играли.

Были здѣсь и владѣтельныя особы, и я долженъ сознаться, что онѣ въ своихъ притязаніяхъ держались скромнѣе стоявшей ниже нихъ знати. Но лежитъ ли эта скромность уже въ сердцахъ сихъ высокопоставленныхъ лицъ, или она вызывается ихъ внѣшнимъ положеніемъ—этотъ вопросъ оставляю нерѣшеннымъ. Говорю это только относительно нѣмецкихъ медіатизированныхъ князей. Съ этими людьми въ послѣднее время поступили очень несправедливо, отнявъ у нихъ верховную власть, на которую они имѣли не меньше права, чѣмъ и самые крупные государи, если только не быть, подобно моему единовѣрцу Спинозѣ, того мнѣнія, что все, неспособное держаться собственною силою, не имѣетъ и права на существованіе. Но для раздробленной на клочки Германіи было благодѣяніемъ, что вся эта многочисленная компанія деспотиковъ въ шестнадцатую долю листа была принуждена отказаться отъ правленія. Вѣдь просто страшно подумать, какое множество этихъ особъ приходится кормить намъ, бѣднымъ нѣмцамъ. Если у этихъ медіатизированныхъ нѣтъ больше въ рукахъ скиптра, то руки ихъ все-таки продолжаютъ держать ложку, ножъ и вилку, и питаются они не овсомъ, да и овесъ обходится не дешево. Я полагаю, что отъ этого времени освободитъ насъ Америка. Рано или поздно президенты тамошнихъ свободныхъ штатовъ превратятся въ государей, и тогда у этихъ господъ окажется недостатокъ въ супругахъ, которыя имѣли бы уже законно-владѣтельную окраску; вотъ они и будутъ рады за предоставленіе нами имъ нашихъ принцессъ, и на каждыхъ шесть таковыхъ, которыхъ они будутъ брать у насъ, мы будемъ имъ давать седьмую gratis, а сверхъ того впослѣдствіи и наши молоденькіе принцы пригодятся имъ для ихъ дочерей... Вотъ почему медіатизированные князья поступили очень политично, удер собою, по крайней мѣрѣ, право одноправности ре цѣнятъ свои родословныя деревья такъ же высо арабы—родословныя деревья своихъ лошадей...

На всѣхъ «водахъ» давно уже освящено привы остающихся гостей нѣсколько сильно критиков

шихъ; и такъ какъ я здѣсь послѣдній оставшійся гость, то могу, конечно, воспользоваться этимъ правомъ въ полной степени.

Но на островѣ въ настоящее время такъ пусто, что я представляюсь себѣ Наполеономъ на Св. Еленѣ, съ тою только разницей, что я нашелъ себѣ здѣсь развлеченіе, котораго тотъ тамъ не имѣлъ. Это именно самъ великій императоръ; имъ я занимаюсь здѣсь. Одинъ молодой англичанинъ снабдилъ меня только-что вышедшимъ сочиненіемъ Майтланда. Этотъ морякъ разсказываетъ, какимъ образомъ Наполеонъ сдался ему и какъ онъ велъ себя на «Беллерофонѣ» до перехода на «Нортемберлендъ» по приказанію англійскаго министерства. Изъ этой книги становится ясно, какъ день, что императоръ, съ романтическою увѣренностью въ британскомъ великодушіи и чтобы дать, наконецъ, міру отдыхъ и спокойствіе, отправился къ англичанамъ скорѣе какъ гость, чѣмъ плѣнникъ. Это была ошибка, которую, конечно, не сдѣлалъ бы никто другой, и всего менѣе — Веллингтонъ. Но исторія скажетъ, что эта ошибка такъ прекрасна, такъ высока, такъ великолѣпна, что на нее потребно было больше величія души, чѣмъ можемъ мы проявить при всѣхъ нашихъ доблестныхъ подвигахъ.

Причина, по которой капитанъ Майтландъ издаетъ свою книгу теперь, повидимому, есть не что иное, какъ нравственная потребность самоочищенія, которую чувствуетъ каждый честный человѣкъ, впутанный злою судьбой въ двусмысленное дѣло. Но сама книга—драгоцѣннѣйшее пріобрѣтеніе для исторіи плѣна Наполеона, которая образуетъ послѣдній актъ его жизни, чудесно разрѣшаетъ всѣ загадки актовъ предшествовавшихъ и — какъ должна поступать истинная трагедія — потрясаетъ, очищаетъ и умиротворяетъ душу. Различіе въ характерѣ четырехъ главныхъ писателей, разсказывающихъ намъ объ этомъ плѣнѣ, особенно поскольку оно проявляется въ стилѣ и способѣ воззрѣнія, вполнѣ уясняется только при сопоставленіи ихъ между собою.

Майтландъ, холодный, какъ буря, англійскій морякъ, записываетъ событія безпристрастно и опредѣлительно, точно они — явленія природы, которыя онъ заноситъ въ свой су-
журналъ; Ласъ-Казъ, энтузіастъ-камергеръ, въ каждой
ной имъ строкѣ лежитъ у ногъ императора не какъ
рабъ, а какъ свободный французъ, у котораго не-
клоняются колѣни благоговѣйнымъ изумленіемъ не-
геройскому величію и безпредѣльной славѣ;

О'Меара, врачъ, хотя и рожденный въ Ирландіи, но все-таки истый англичанинъ и, какъ таковой, прежде бывшій врагомъ императора, а теперь признающій августѣйшія права несчастія, пишетъ свободно, безъ прикрасъ, фактически, почти лапидарнымъ стилемъ; напротивъ того, не стиль, а стилетъ — острая, пронизывающая манера писанія французскаго врача Антомархи, итальянца, который совершенно обдуманно упоенъ скорбнымъ чувствомъ и поэзіей своей страны.

Оба народа—французы и англичане—представили, каждый со своей стороны, по два человѣка обыкновеннаго ума и неподкупленныхъ господствующею властью, и эти присяжные засѣдатели судили императора и приговорили его: вѣчно жить, вѣчно вызывать удивленіе, вѣчно быть предметомъ сожалѣнія.

Много уже великихъ людей прошло по этой землѣ, здѣсь и тамъ усматриваемъ мы блистающіе слѣды ихъ шаговъ, и въ священные часы они туманными образами встаютъ предъ нашею душою; но такой же великій человѣкъ видитъ своихъ предшественниковъ гораздо явственнѣе; по отдѣльнымъ искрамъ ихъ свѣтящихся земныхъ слѣдовъ онъ узнаетъ ихъ сокровеннѣйшія дѣйствія, одно оставленное ими слово открываетъ ему всѣ изгибы ихъ сердца, и такимъ образомъ живутъ въ таинственномъ общеніи великіе люди всѣхъ временъ, на разстояніи тысячелѣтій кланяются они другъ другу, и смотрятъ знаменательно другъ на друга, и взгляды ихъ встрѣтятся между собой на могилахъ отжившихъ поколѣній, которыя проталкивались между ними, и они понимаютъ и любятъ другъ друга. Но для насъ, маленькихъ, лишенныхъ возможности быть въ такихъ интимныхъ отношеніяхъ съ великими людьми прошедшаго, которыхъ только слѣды и туманныя формы изрѣдка становятся намъ видны—для насъ въ высшей степени дорого, когда мы о такой великой личности узнаемъ настолько много, что намъ становится легко воспринять ее въ нашу душу во всей ея ясной жизненности и черезъ это расширить нашу душу. Такая личность—Наполеонъ Бонапарте. О немъ, о его жизни и стремленіяхъ мы знаемъ больше, чѣмъ о другихъ великихъ людяхъ этой земли, и ежедневно узнаемъ еще все больше и больше. На нашихъ глазахъ медленно выкапывается изъ могилы засыпанный божественный образъ, и съ каждой лопатой глины скидываемой съ него, растетъ наше радостное изумленіе пропорціональности и великолѣпію обнаруживающихся бл

городныхъ формъ, и духовные громы враговъ, пытающихся разбить великое созданіе, служатъ только къ еще болѣе блистательному освѣщенію его. Именно это дѣйствіе производятъ замѣчанія мадамъ Сталь, которыя, однако, при всей ихъ рѣзкости сводятся только къ одному — что императоръ былъ совсѣмъ не такой человѣкъ, какъ другіе, и что его духъ нельзя измѣрять никакимъ существующимъ у насъ масштабомъ.

Это одинъ изъ тѣхъ духовъ, на которые указываетъ Кантъ, когда говоритъ, что мы можемъ себѣ представить разумъ, который, будучи не дискурсивнымъ, какъ нашъ, а интуитивнымъ, вслѣдствіе этого идетъ отъ синтетически-общаго, отъ созерцанія цѣлаго, какъ таковаго, къ особенному, т. е. отъ цѣлаго къ частямъ. Да, то, что мы познаемъ аналитическимъ размышленіемъ и длинными умозаключеніями—этотъ духъ усматривалъ и глубоко понималъ въ одно и то же мгновеніе. Тутъ источникъ его способности понимать свое время, потворствовать его духу, никогда не оскорблять его и всегда пользоваться имъ для своихъ цѣлей.

Но такъ какъ этотъ духъ времени не исключительно революціонный, а образовался сліяніемъ обоихъ направленій— революціоннаго и консервативнаго, то Наполеонъ никогда не дѣйствовалъ вполнѣ революціонно и никогда — вполнѣ консервативно, а постоянно — въ духѣ обоихъ воззрѣній, обоихъ принциповъ, обоихъ стремленій, которые соединились въ немъ; и сообразно этому онъ поступалъ всегда естественно, просто, велико, ни въ какомъ случаѣ не судорожно рѣзко, постоянно съ спокойной кротостью. Оттого и не интриговалъ онъ никогда мелкими частностями, и удары его всегда исходили изъ его искусства понимать массы и руководить ими. Къ запутаннымъ, медленнымъ интригамъ склонны многіе аналитическіе умы; умы же синтетическіе, интуитивные, напротивъ того, умѣютъ съ удивительной геніальностью соединять между собой представляемыя имъ настоящимъ временемъ средства такимъ образомъ, что быстро могутъ употреблять ихъ въ пользу для своихъ цѣлей. Первые очень часто терпятъ неудачи, потому что никакая человѣческая [illegible]рость не можетъ предвидѣть всѣ случайности жизни и [illegible]кія человѣческія отношенія никогда не отличаются [illegible]временною прочностью; напротивъ того, вторымъ — [illegible]ъ интуитивнымъ, ихъ планы удаются какъ нельзя [illegible] ибо они нуждаются только въ правильномъ расчетѣ [illegible]что даетъ имъ настоящее, и дѣйствуютъ такъ быстро,

что работа ихъ не можетъ потерпѣть никакого внезапнаго, непредвидѣннаго измѣненія отъ движенія житейскихъ волнъ.

Счастливо совпали обстоятельства въ томъ отношеніи, что Наполеонъ жилъ именно въ такое время, когда особенно развилось пониманіе исторіи, склонность къ изслѣдованію и литературному воспроизведенію ея хода. Вслѣдствіе этого, благодаря мемуарамъ современниковъ, у насъ останется неизвѣстнымъ о Наполеонѣ немногое, и съ каждымъ днемъ увеличивается число историческихъ сочиненій, желающихъ изобразить намъ его болѣе или менѣе въ связи съ остальнымъ міромъ. Объявленіе о предстоящемъ выходѣ въ свѣтъ подобной книги, принадлежащей перу Вальтеръ-Скотта, возбудило поэтому самое живое любопытство.

Всѣмъ почитателямъ Вальтеръ-Скотта слѣдуетъ трепетать за него, ибо такая книга можетъ легко сдѣлаться русскимъ походомъ для той славы, которую онъ съ трудомъ пріобрѣлъ себѣ рядомъ историческихъ романовъ, взволновавшихъ всѣ сердца Европы больше своею темой, чѣмъ поэтическою силой. Но эта тема не есть только элегическое сѣтованіе о народномъ величіи Шотландіи, мало-по-малу вытѣсненномъ чуждыми нравами, чуждымъ господствомъ и чуждымъ образомъ мыслей; нѣтъ, она—великая скорбь объ утратѣ національныхъ особенностей, теряющихся во всеобщности новой культуры, скорбь, судорожно шевелящаяся теперь въ сердцахъ всѣхъ народовъ. Ибо національныя воспоминанія лежатъ въ груди глубже, чѣмъ обыкновенно кажется. Рискните выкопать изъ земли старыя произведенія искусства—и въ одну ночь расцвѣтетъ вновь и старая любовь съ ея цвѣтами. Это—не фигуральный оборотъ рѣчи, это—фактъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ Буллахъ въ Мексикѣ откопалъ древнеязыческую каменную статую и на другой день увидѣлъ, что она за ночь увѣнчалась цвѣтами; а между тѣмъ Испанія разрушила огнемъ и мечомъ старую вѣру мексиканцевъ и въ теченіе трехъ столѣтій сильно проходила сохою и плугомъ по мексиканскимъ умамъ и засѣвала ихъ христіанствомъ. Но такіе цвѣты цвѣтутъ и въ произведеніяхъ Вальтеръ-Скотта, сами произведенія эти будятъ старыя чувства, и какъ нѣкогда въ Гренадѣ мужчины и женщины съ воплями отчаянія выбѣгали изъ своихъ домовъ, когда на улицахъ раздавалась пѣсня о въѣздѣ мавританскаго короля, вслѣдствіе чего пѣть ее было запрещено подъ страхомъ смертной казни, такъ тонъ, господствующій во всѣхъ созданіяхъ Скотта, болѣзненно потрясъ весь міръ. Этотъ тонъ

снова звучитъ въ сердцахъ нашего дворянства, видящаго разрушеніе своихъ замковъ и гербовъ; звучитъ онъ въ сердцѣ бюргера, у котораго уютно-тѣсный стародавній бытъ вытѣсняется широкою, неизвѣстною жизнью новаго времени; звучитъ онъ въ католическихъ соборахъ, откуда бѣжала вѣра, и въ раввинскихъ синагогахъ, откуда бѣжали даже вѣрующіе, звучитъ по всей землѣ, до самыхъ банановыхъ лѣсовъ Индостана, гдѣ вздыхающій браминъ предвидитъ вымираніе своихъ боговъ, разрушеніе искони созданнаго ими мірового порядка и полную побѣду англичанъ.

Этотъ тонъ, однако, могущественнѣйшій между всѣми, какіе умѣетъ шотландскій бардъ извлекать изъ своей исполинской арфы, не подходитъ къ императорской пѣснѣ о Наполеонѣ— новомъ человѣкѣ, человѣкѣ новаго времени, человѣкѣ, въ которомъ это новое время отражается такъ ярко, что мы почти ослѣплены имъ и подъ этимъ блескомъ даже и не думаемъ вспоминать объ отжившемъ прошедшемъ и его поблекшей славѣ. По всей вѣроятности Скоттъ, сообразно свойственной ему склонности, выдвинетъ главнымъ образомъ впередъ вышеупомянутый консервативный элементъ въ характерѣ Наполеона, контръ-революціонную сторону его духа, тогда какъ другіе писатели признаютъ въ немъ исключительно принципъ революціонный. Съ этой послѣдней стороны изобразилъ бы его Байронъ, который во всей сущности своихъ стремленій составлялъ полную противоположность Скотту и вмѣсто того, чтобы подобно ему скорбѣть о гибели старыхъ формъ, чувствовалъ себя досадливо стѣсненнымъ даже тѣми, которыя еще уцѣлѣли, пытался снести ихъ съ лица земли революціоннымъ смѣхомъ и зубоскальствомъ, въ этомъ негодованіи отравлялъ священнѣйшіе цвѣты жизни своимъ мелодическимъ ядомъ и точно помѣшанный арлекинъ вонзалъ ножъ себѣ въ сердце, чтобы въ видѣ забавной шутки обрызгать хлынувшею оттуда черною кровью присутствующихъ на представленіи господъ и дамъ.

Но, право, въ эту минуту мнѣ очень живо чувствуется, что я не иду по стопамъ этого преступника Байрона, моя кровь не такъ сплинно-черна, моя горечь исходитъ только
орѣшекъ моихъ чернилъ и если есть во мнѣ ядъ, то
самомъ дѣлѣ онъ только противоядіе—противоядіе тѣмъ
ямъ, которыя такъ угрожающе таятся въ развалинахъ
ыхъ соборовъ и замковъ. Изъ всѣхъ великихъ писате-
Байронъ именно тотъ, чтеніе котораго дѣйствуетъ на
амымъ непріятно-болѣзненнымъ образомъ, между тѣмъ

какъ Скоттъ, напротивъ того, каждымъ изъ своихъ сочиненій радуетъ, успокоиваетъ и укрѣпляетъ мое сердце. Мнѣ доставляетъ удовольствіе даже подражаніе ему, какое мы находимъ у Виллибальда Алексиса, Брониковскаго и Купера; изъ нихъ первый, въ своемъ ироническомъ «Валладморѣ», ближе всѣхъ къ своему образцу и кромѣ того въ одномъ изъ позднѣйшихъ сочиненій обнаружилъ столько богатства образовъ и идей, что, конечно, былъ бы въ состояніи съ поэтическою самобытностью, которая пользуется только внѣшнею формою Скотта, провести передъ нашею душою драгоцѣннѣйшіе моменты нѣмецкой исторіи въ цѣломъ рядѣ историческихъ новеллъ.

Но никакому истинному генію нельзя предписывать опредѣленные пути, они лежатъ внѣ всякаго критическаго расчета, и поэтому пусть смотрятъ, какъ на безвредную игру мысли, на высказанное мною здѣсь предубѣжденіе противъ Вальтеръ-Скоттовой исторіи императора. Слово «предубѣжденіе» употреблено здѣсь въ самомъ обширномъ смыслѣ. Одно только можно сказать съ опредѣлительностью: книга будетъ читаться отъ восхода до захода, и мы, нѣмцы, переведемъ ее *).

Мы перевели и Сегюра. Не правда ли, это прекрасная эпическая поэма? Мы, нѣмцы, тоже пишемъ эпическія поэмы, но герои ихъ существуютъ только въ нашей головѣ. Напротивъ того, герои французскаго эпоса—дѣйствительные герои, свершившіе такіе великіе подвиги и вынесшіе такія великія страданія, какихъ мы не въ состояніи придумать на своихъ чердакахъ. А вѣдь у насъ, однако, фантазіи въ волю, тогда

---

*) Предшествующія страницы были написаны въ 1826 г., а въ 1828 г. появилась «Исторія Наполеона Бонапарте», соч. Вальтеръ-Скотта, и я, къ великому моему прискорбію, увидѣлъ, что мое предсказаніе объ этой книгѣ исполнилось; за то же и потерпѣла она полное фіаско, и со времени этого печальнаго происшествія литературная звѣзда великаго незнакомца погасла. Чрезмѣрное количество работы, взваленной имъ на себя, чтобы удовлетворить требованіямъ своихъ кредиторовъ, подорвало здоровье Вальтеръ-Скотта; тѣмъ не менѣе онъ съ трудомъ написалъ еще нѣсколько скучныхъ, почти нелѣпыхъ романовъ—и скоро послѣ того умеръ. Въ то время, когда появилась его книга о Наполеонѣ, это богохульство въ двѣнадцати томахъ, я находился въ Мюнхенѣ, гдѣ редактировалъ ежемѣсячный журналъ «Politische Annalen», и для этого изданія написана была мною рецензія этой книги, которую я впослѣдствіи, въ 1830 году, перепечаталъ въ 4 томѣ «Путевыхъ Картинъ» («Отрывки объ Англіи», V).

Примѣчаніе Гейне къ французскому изданію «Путевыхъ Картинъ».

какъ у французовъ ея мало. Можетъ-быть, поэтому Богъ и пришелъ на помощь французамъ инымъ способомъ: имъ стоитъ только вѣрно разсказывать, что̀ они видѣли и дѣлали въ теченіе послѣднихъ тридцати лѣтъ, и у нихъ составится такая пережитая литература, какой еще не создали никакой народъ и никакое время. Эти мемуары государственныхъ людей, солдатъ и благородныхъ женщинъ, ежедневно появляющіеся во Франціи, образуютъ легендарный циклъ, который даетъ потомству достаточно матеріала для размышленія и пѣнія и гдѣ средоточіемъ возвысится, какъ исполинское дерево, жизнь великаго императора. Сегюрова исторія русскаго похода есть пѣсня, французская народная пѣсня, принадлежащая къ этому циклу и по своему тону и содержанію стоящая наравнѣ съ эпическими произведеніями всѣхъ временъ. Поколѣніе героевъ, которое вызвали на свѣтъ изъ нѣдръ французской земли магическія слова «свобода и равенство», проходитъ въ тріумфальномъ шествіи, упоенное славою и предводительствуемое самимъ богомъ славы, по свѣту, приводитъ его въ ужасъ и озаряетъ своими лучами, въ заключеніе пускается въ бурную боевую пляску на ледяныхъ поляхъ сѣвера, но ледъ ломается, и сыны огня и свободы гибнутъ отъ холода и сыновъ неволи.

Подобное описаніе или пророческое предсказаніе гибели героическаго міра составляетъ основной тонъ и содержаніе эпическихъ произведеній всѣхъ народовъ. На утесахъ Эллоры и другихъ индійскихъ священныхъ гротовъ такая эпическая катастрофа высѣчена исполинскими гіероглифами, ключъ къ которымъ находится въ Магабгаратѣ; сѣверъ выразилъ эту гибель боговъ въ неменѣе каменныхъ словахъ — въ своей Эддѣ; пѣснь о Нибелунгахъ воспѣваетъ такую же трагическую судьбу, а конецъ ея имѣетъ еще совершенно особенное сходство съ Сегюровымъ описаніемъ пожара Москвы; пѣснь Роланда о Ронсевальскомъ сраженіи, слова которой забыты, но само сказаніе не умерло и еще недавно магически вызвано на свѣтъ однимъ изъ величайшихъ поэтовъ нашего отечества, Иммерманомъ, есть тоже старая пѣснь бѣдствія; наконецъ, даже самая пѣснь объ Иліонѣ прекрас- всѣхъ освѣщаетъ старую тему, но все-таки не прево- ить величавостью и болѣзненнымъ чувствомъ француз- о народную пѣснь, въ которой Сегюръ воспѣлъ погибель о героическаго міра. Да, это—истинный эпосъ, герой- молодежь Франціи—прекрасный герой, рано погибаю- ъ погибли уже прежде Балдуръ, Зигфридъ, Роланд

и Ахиллесъ, тоже павшіе жертвой несчастья и измѣны; и тѣхъ героевъ, которымъ мы удивлялись въ «Иліадѣ», встрѣчаемъ мы снова въ пѣснѣ Сегюра, встрѣчаемъ ихъ совѣтующимися между собою, ссорящимися и воюющими, какъ было нѣкогда передъ скайскими воротами; если куртка короля неаполитанскаго и представляется слишкомъ современно-пестрою, то боевой отвагой и энергіей онъ нисколько не уступаетъ Пелиду; Гекторомъ по кротости и храбрости выступаетъ предъ нами принцъ Евгеній, благородный рыцарь; Ней сражается, какъ Аяксъ, Бертье — Несторъ безъ мудрости, въ Даву, Дарю, Колинкурѣ и т. д. живутъ души Менелая, Одиссея, Діомеда... только самъ императоръ не находитъ себѣ равнаго, въ его головѣ Олимпъ поэмы, и если я по царственной внѣшности сравню его съ Агамемнономъ, то это потому, что ему точно такъ же, какъ и большей части доблестныхъ его соратниковъ, предстояла трагическая участь и что его Орестъ еще живъ.

Подобно произведеніямъ Скотта, въ эпосѣ Сегюра проходитъ тонъ, обаятельно дѣйствующій на наше сердце. Но онъ не пробуждаетъ любви къ давно минувшимъ днямъ былого; это тонъ, въ которомъ громче всего звучитъ настоящее, тонъ, воодушевляющій насъ сочувствіемъ именно къ этому настоящему.

Мы, нѣмцы, вѣдь настоящіе Петры Шлемили! Намъ тоже въ послѣднее время привелось много видѣть, много перенести, напр., воинскій постой и дворянскую спѣсь; и мы тоже отдавали нашу благороднѣйшую кровь, напримѣръ, Англіи, которая до сихъ поръ еще уплачиваетъ ежегодно порядочную сумму за отстрѣленныя нѣмецкія руки и ноги ихъ прежнимъ владѣльцамъ; и мы тоже маленькими долями сдѣлали столько великаго, что если бы эти доли сложить вмѣстѣ, вышли бы величайшіе подвиги, напр., въ Тиролѣ; и у насъ тоже пропало многое, напр., наша тѣнь, титулъ милой священной римской имперіи... А между тѣмъ, при всѣхъ этихъ утратахъ, жертвахъ, лишеніяхъ, бѣдствіяхъ и великихъ подвигахъ наша литература не создала ни одного такого памятника славы, какіе ежедневно возводятся у нашихъ сосѣдей, подобно вѣчнымъ трофеямъ. Нашимъ лейпцигскимъ книжнымъ ярмаркамъ мало приносила пользы лейпцигская битва. Слышу я, что одинъ гражданинъ Г намѣревается воспѣть ее въ эпической формѣ; но такъ ка ему еще неизвѣстно, къ какимъ душамъ онъ принадлежи къ тѣмъ ли 100 т., что̀ достанутся Гильдбургаузену, и

тѣмъ 150 т., что достанутся Мейнингену, или тѣмъ 160 т., что получитъ Альтенбургъ, то и не можетъ онъ приступить къ своему эпосу, такъ какъ пришлось бы ему начать словами: «Воспой, безсмертная душа, гильдбургаузенская душа, мейнингенская душа,—или, пожалуй, альтенбургская душа,—все равно,—воспой грѣшной Германіи искупленіе!» Это торгашество, избравшее себѣ мѣстомъ сердце нашей родины, и ея кровавая раздробленность подавляютъ всякое гордое чувство, а еще болѣе всякое гордое слово, прекраснѣйшіе подвиги наши становятся смѣшными отъ ихъ глупыхъ послѣдствій, и въ то самое время, когда мы сердито укутываемся въ пурпурный плащъ нѣмецкой геройской крови, является какой-нибудь политическій шутникъ и надѣваетъ намъ на голову колпакъ съ погремушками.

Именно для того, чтобы понять скудость и ничтожество нашей пустячной жизни, нужно сравнить литературы нашихъ сосѣдей по ту сторону Рейна и канала съ нашей пустячной литературой. Часто, прочтя «Morning-Chronicle» и находя въ каждой строкѣ его англійскій народъ съ его національностью, его конскими скачками, боксомъ, пѣтушиными боями, судомъ присяжныхъ, парламентскими преніями и т. п., я съ печальнымъ сердцемъ беру въ руки нѣмецкую газету, и отыскиваю тамъ моменты народной жизни и не нахожу ничего, кромѣ литературной бабской болтовни и театральныхъ сплетенъ.

Но ничего иного и ожидать нельзя. Когда въ народѣ подавлена всякая общественная жизнь, онъ все-таки ищетъ предметовъ для общаго обсужденія, и тутъ къ услугамъ его въ Германіи являются писатели и комедьянты. Вмѣсто конскихъ скачекъ у насъ есть книжная скачка на лейпцигскую ярмарку. Вмѣсто боксовъ мы имѣемъ мистиковъ и раціоналистовъ, которые колотятъ другъ друга въ своихъ памфлетахъ до тѣхъ поръ, пока первые начнутъ признавать разумъ, а вторые потеряютъ способность слуха и зрѣнія и впустятъ въ свои умы вѣру. Вмѣсто пѣтушьихъ боевъ есть у насъ газеты, гдѣ горемыки, которыхъ за то кормятъ, пачкаютъ другъ у друга доброе имя, въ то время, какъ фили-
радостно восклицаетъ: «Смотри, это главный пѣтухъ!
у того оторвали гребешокъ! А у этого какой острый
! Этому молодому пѣтушку слѣдуетъ сперва поупраж-
исаніи свои перья, надо его пришпорить» и т. д.
ь же родѣ обладаемъ мы и судомъ присяжныхъ,
кспапирныя саксонскія литературныя газеты, гдѣ

каждый дуракъ судится себѣ равными по законамъ литературнаго уголовнаго права, которое держится теоріи устрашенія и всякую книгу наказываетъ, какъ преступленіе. Если у автора ея окажется нѣсколько ума, степень преступленія увеличивается. Если же онъ можетъ доказать alibi ума, то наказаніе смягчается. Конечно, при этомъ литературномъ уголовномъ судопроизводствѣ огромнымъ недостаткомъ является и то, что судейскому усмотрѣнію предоставленъ такой просторъ, тѣмъ болѣе, что наши книжные судьи, совершенно, какъ Фальстафъ, не обязаны представлять основанія своихъ рѣшеній, а иногда даже они сами тайные грѣшники, и предвидятъ, что завтра будутъ судимы тѣми же, надъ которыми сегодня произнесли приговоръ. Молодость по нашему литературному уголовному кодексу—значительно смягчающее обстоятельство, и не одного стараго писателя присуждаютъ къ легкому наказанію въ силу того, что признаютъ его за ребенка. Даже добытое въ послѣднее время опытомъ открытіе, что молодыми людьми, въ пору развитія ихъ физической зрѣлости, овладѣваетъ болѣзненная страсть къ подлогамъ, тоже оказало вліяніе на эстетику, и вслѣдствіе этого стали снисходительнѣе судить разныя огненныя трагедіи, напр., трагедію того пламеннаго юноши, который—шутка сказать!—поджегъ царскій дворецъ въ Персеполисѣ. Имѣемъ мы—чтобъ продолжать сравненія—въ нѣкоторой степени парламентскія пренія, и тутъ я имѣю въ виду наши театральныя рецензіи; да и самъ нашъ театръ можно основательно назвать нижнею палатой, благодаря многому низменному, въ немъ процвѣтающему, благодаря кучамъ французскаго дерьма, которое наша публика поѣдаетъ совершенно спокойно, даже если ей въ тотъ же самый вечеръ дали комедію Раупаха — подобно мухѣ, которая, будучи согнана съ горшка съ медомъ, тотчасъ же садится на скверность и съ наилучшимъ аппетитомъ заканчиваетъ ею свою трапезу. Тутъ я намекаю главнымъ образомъ на «Обращенныхъ» Раупаха, которыхъ видѣлъ я прошедшею зимою въ Гамбургѣ, въ исполненіи превосходнѣйшихъ актеровъ, имѣвшихъ точно такой же большой успѣхъ, какъ «Проказы школьниковъ», раздушенное дрянцо, данное въ заключ того же спектакля. На нашемъ театрѣ, однако, процвѣта не только навозъ, но и ядъ. Дѣйствительно, когда я слы какъ въ нашихъ комедіяхъ священнѣйшіе обычаи и чувс выводятся такимъ безнравственнымъ тономъ и съ та легкомысленною увѣренностью, что, въ концѣ-концовъ, с

привыкаешь смотрѣть на нихъ, какъ на лишенныя всякаго значенія вещи, когда слышу я всѣ эти лакейскія объясненія въ любви, сентиментальные дружескіе союзы съ цѣлью совмѣстнаго надувательства, веселые планы обманыванія родителей или супруговъ, и всяческіе другіе стереотипные мотивы комедіи—ахъ, тогда овладѣваетъ мною внутренній ужасъ и безпредѣльная скорбь, и съ боязливой печалью смотрю я на бѣдныя, невинныя ангельскія головки, которымъ, конечно не безъ успѣха, преподносятся въ театрѣ подобныя вещи.

Жалобные вздохи объ упадкѣ и искренности нѣмецкой комедіи, вылетающіе изъ честныхъ сердецъ, критическое рвеніе Тика и Циммермана, которымъ очищеніе нашего театра стоитъ больше труда, чѣмъ Геркулесу—работа въ конюшняхъ Авгія, потому что наши театральныя конюшни приходится очищать въ то время, когда быки еще находятся тамъ, стремленія высокодаровитыхъ людей основать романтическую комедію, превосходнѣйшая и въ высшей степени мѣткая сатира, какова, напр., «Райская птица», Роберта—ничто не помогаетъ; вздохи, совѣты, попытки, удары бича — все это шевелитъ только воздухъ, и каждое слово, на этотъ счетъ произносимое, дѣйствительно произносится на вѣтеръ.

Наша верхняя палата—трагедія, выказывается въ болѣе благопріятномъ свѣтѣ — именно относительно кулисъ, декорацій и костюмовъ. Но и тутъ имѣется своя цѣль. Въ римскомъ театрѣ слоны плясали на канатѣ и высоко прыгали; дальше, однако, человѣкъ въ придумываніи штукъ пойти не могъ, и римская имперія погибла, а при этомъ случаѣ погибъ и римскій театръ. На нашихъ сценахъ трагедіи также не терпятъ недостатка въ пляскахъ и прыжкахъ, но и то и другое исполняется здѣсь самими молодыми драматургами, и такъ какъ бывали случаи, что женщины вслѣдствіе большихъ прыжковъ внезапно превращались въ мужчинъ, то и женщина-поэтикъ поступаетъ въ самомъ дѣлѣ хитро, когда своими хромыми ямбами пытается дѣлать большіе алексан-
прыжки.

ѣдствіи я распространюсь подробнѣе на эту тему—
ную нищету Германіи...

каждый дуракъ судится себѣ равными по законамъ литературнаго уголовнаго права, которое держится теоріи устрашенія и всякую книгу наказываетъ, какъ преступленіе. Если у автора ея окажется нѣсколько ума, степень преступленія увеличивается. Если же онъ можетъ доказать alibi ума, то наказаніе смягчается. Конечно, при этомъ литературномъ уголовномъ судопроизводствѣ огромнымъ недостаткомъ является и то, что судейскому усмотрѣнію предоставленъ такой просторъ, тѣмъ болѣе, что наши книжные судьи, совершенно, какъ Фальстафъ, не обязаны представлять основанія своихъ рѣшеній, а иногда даже они сами тайные грѣшники, и предвидятъ, что завтра будутъ судимы тѣми же, надъ которыми сегодня произнесли приговоръ. Молодость по нашему литературному уголовному кодексу—значительно смягчающее обстоятельство, и не одного стараго писателя присуждаютъ къ легкому наказанію въ силу того, что признаютъ его за ребенка. Даже добытое въ послѣднее время опытомъ открытіе, что молодыми людьми, въ пору развитія ихъ физической зрѣлости, овладѣваетъ болѣзненная страсть къ подлогамъ, тоже оказало вліяніе на эстетику, и вслѣдствіе этого стали снисходительнѣе судить разныя огненныя трагедіи, напр., трагедію того пламеннаго юноши, который—шутка сказать!—поджегъ царскій дворецъ въ Персеполисѣ. Имѣемъ мы—чтобъ продолжать сравненія—въ нѣкоторой степени парламентскія пренія, и тутъ я имѣю въ виду наши театральныя рецензіи; да и самъ нашъ театръ можно основательно назвать нижнею палатой, благодаря многому низменному, въ немъ процвѣтающему, благодаря кучамъ французскаго дерьма, которое наша публика поѣдаетъ совершенно спокойно, даже если ей въ тотъ же самый вечеръ дали комедію Раупаха — подобно мухѣ, которая, будучи согнана съ горшка съ медомъ, тотчасъ же садится на скверность и съ наилучшимъ аппетитомъ заканчиваетъ ею свою трапезу. Тутъ я намекаю главнымъ образомъ на «Обращенныхъ» Раупаха, которыхъ видѣлъ я прошедшею зимою въ Гамбургѣ, въ исполненіи превосходнѣйшихъ актеровъ, имѣвшихъ точно такой же большой успѣхъ, какъ «Проказы школьниковъ», раздушенное дрянцо, данное въ зак[illegible] того же спектакля. На нашемъ театрѣ, однако, проц[illegible] не только навозъ, но и ядъ. Дѣйствительно, когда я [illegible] какъ въ нашихъ комедіяхъ священнѣйшіе обычаи и [illegible] выводятся такимъ безнравственнымъ тономъ и съ [illegible] легкомысленною увѣренностью, что, въ концѣ-кон[illegible]

привыкаешь смотрѣть на нихъ, какъ на лишенныя всякаго значенія вещи, когда слышу я всѣ эти лакейскія объясненія въ любви, сентиментальные дружескіе союзы съ цѣлью совмѣстнаго надувательства, веселые планы обманыванія родителей или супруговъ, и всяческіе другіе стереотипные мотивы комедіи—ахъ, тогда овладѣваетъ мною внутренній ужасъ и безпредѣльная скорбь, и съ боязливой печалью смотрю я на бѣдныя, невинныя ангельскія головки, которымъ, конечно не безъ успѣха, преподносятся въ театрѣ подобныя вещи.

Жалобные вздохи объ упадкѣ и искренности нѣмецкой комедіи, вылетающіе изъ честныхъ сердецъ, критическое рвеніе Тика и Циммермана, которымъ очищеніе нашего театра стоитъ больше труда, чѣмъ Геркулесу—работа въ конюшняхъ Авгія, потому что наши театральныя конюшни приходится очищать въ то время, когда быки еще находятся тамъ, стремленія высокодаровитыхъ людей основать романтическую комедію, превосходнѣйшая и въ высшей степени мѣткая сатира, какова, напр., «Райская птица», Роберта—ничто не помогаетъ; вздохи, совѣты, попытки, удары бича — все это шевелитъ только воздухъ, и каждое слово, на этотъ счетъ произносимое, дѣйствительно произносится на вѣтеръ.

Наша верхняя палата—трагедія, выказывается въ болѣе благопріятномъ свѣтѣ — именно относительно кулисъ, декорацій и костюмовъ. Но и тутъ имѣется своя цѣль. Въ римскомъ театрѣ слоны плясали на канатѣ и высоко прыгали; дальше, однако, человѣкъ въ придумываніи штукъ пойти не могъ, и римская имперія погибла, а при этомъ случаѣ погибъ и римскій театръ. На нашихъ сценахъ трагедіи также не терпятъ недостатка въ пляскахъ и прыжкахъ, но и то и другое исполняется здѣсь самими молодыми драматургами, и такъ какъ бывали случаи, что женщины вслѣдствіе большихъ прыжковъ внезапно превращались въ мужчинъ, то и женщина-поэтикъ поступаетъ въ самомъ дѣлѣ хитро, когда своими хромыми ямбами пытается дѣлать большіе алексан-

прыжки.

дствіи я распространюсь подробнѣе на эту тему—

ную нищету Германіи...

II. ИДЕИ.

КНИГА ЛЕ-ГРАНЪ.

(1826 г.).

Das Geschlecht der Orindur,
Unsres Thrones feste Säule,
Soll bestehn, ob die Natur
Auch damit zu Ende eile.
Müllner.

ЭВЕЛИНѢ

посвящаетъ эти страницы въ знакъ дружбы
и любви
Авторъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Она была достойна любви, и онъ любилъ ее: но онъ не былъ достоинъ любви, и она не любила его.

(Старая пьеса).

Сударыня, знаете ли вы старую пьесу? Это удивительная пьеса, только слишкомъ меланхолическая. Я игралъ въ ней однажды главную роль, и всѣ дамы плакали; не плакала только одна, ни одной слезинки не выронила она, и въ этомъ-то именно заключалась соль пьесы, главная катастрофа.

О, эта единственная слезинка! Она до сихъ поръ еще мучительно стоитъ въ головѣ моей; когда сатана хочетъ погубить мою душу, онъ нашептываетъ мнѣ въ ухо пѣсню объ этой невыплаканной слезинкѣ, роковую пѣсню съ еще болѣе роковою мелодіей... ахъ, только въ аду можн
шать такія мелодіи! . . . . . .

. . . . . .

Какъ живутъ въ елисейскихъ поляхъ—объ этом

жете составить себѣ ясное понятіе уже потому, что вы замужемъ. Тамъ проводятъ время совсѣмъ великолѣпно, тамъ всевозможныя развлеченія, тамъ живется среди безпредѣльныхъ радостей и удовольствій... Съ утра до вечера кушаютъ, и кухня не хуже, чѣмъ въ ресторанѣ Ягора, жареные гуси летаютъ всюду, держа въ клювѣ чашечки съ соусомъ, и чувствуютъ себя польщенными, когда ихъ поѣдаютъ, блестящіе отъ масла сладкіе пирожки растутъ на свободѣ, точно подсолнечники, вездѣ протекаютъ ручьи съ бульономъ и шампанскимъ, вездѣ деревья, на которыхъ развѣваются салфетки, и всѣ кушаютъ, и вытираютъ ротъ, и снова кушаютъ, не разстраивая себѣ желудка, и поютъ набожныя пѣсни, или шутятъ и забавляются съ милыми, нѣжными духами, или гуляютъ по зеленымъ полямъ, и въ широкихъ бѣлыхъ одеждахъ такъ привольно и хорошо, и ничто не нарушаетъ чувства блаженства; никакой боли, никакихъ неудобствъ, до того даже, что когда кто-нибудь случайно наступитъ другому на мозоль и скажетъ «excusez!», то этотъ другой улыбается неземною улыбкой и увѣряетъ: «отъ твоего натиска, братъ мой, совсѣмъ небольно—au contraire, мое сердце наполняется вслѣдствіе его еще болѣе сладостнымъ небеснымъ блаженствомъ».

Но за то, сударыня, объ адѣ вы рѣшительно не имѣете понятія. Изъ всѣхъ чертей вы знаете, можетъ-быть, самаго маленькаго—Вельзевульчика Амура, милаго крупье ада, а самый адъ вы только и видали, что въ оперѣ «Донъ-Жуанъ». Но для этого обманщика женщинъ, подающаго такой скверный примѣръ, адъ—конечно всегда кажется вамъ недостаточно жаркимъ, несмотря на то, что наши почтеннѣйшія театральныя дирекціи употребляютъ на изображеніе его столько огней, огненныхъ дождей, пороху и колофоніума, сколько можетъ пожелать для настоящаго ада истинный христіанинъ.

Но, между тѣмъ, въ аду дѣло ведется гораздо хуже, чѣмъ думаютъ наши директора театровъ (иначе, они не позволяли бы давать столько скверныхъ пьесъ). Въ аду просто адская жара, и когда я однажды, въ каникулярную пору, [illegible] туда, то едва могъ выдержать. Вы, сударыня, рѣ[illegible]но не имѣете понятія объ адѣ. Мы получаемъ оттуда [illegible] офиціальныхъ извѣстій. Что бѣдныя души должны [illegible]ть тамъ цѣлый день скверныя проповѣди — это кле[illegible] этого адское мученіе еще не дошло, такихъ утон[illegible]ь никогда не придумаетъ Сатана. Напротивъ

того, описаніе Данте немного умѣренно и въ цѣломъ черезчуръ поэтично. На мои глаза адъ представился огромною мѣщанскою кухнею съ безконечно длинною печью, на которой стояли три ряда желѣзныхъ горшковъ, а въ нихъ сидѣли и жарились грѣшники. Въ первомъ ряду сидѣли грѣшники изъ христіанъ, и представьте себѣ—число ихъ было совсѣмъ не мало, и черти раздували подъ ними огонь съ особеннымъ рвеніемъ. Во второмъ ряду сидѣли евреи, которые постоянно кричали и которыхъ черти по временамъ поддразнивали, и выходило очень смѣшно, когда, напримѣръ, одинъ толстый ростовщикъ жаловался на черезчуръ сильную жару, а одинъ чертенокъ вылилъ ему на голову нѣсколько ведеръ воды, чтобы показать, что употребляемое въ нѣкоторомъ случаѣ обливаніе водой дѣйствуетъ весьма благотворно освѣжающимъ образомъ. Въ третьемъ ряду мучились язычники, которые, какъ и евреи, не могутъ принять участія въ небесномъ блаженствѣ и должны вѣчно жариться. Я слышалъ, какъ одинъ изъ нихъ, въ ту минуту, какъ дюжій чортъ подкладывалъ подъ него новые уголья, завопилъ изъ своего горшка: «Умилосердуйся надо мною! Я былъ Сократъ, мудрѣйшій изъ смертныхъ; я училъ истинѣ и справедливости и пожертвовалъ жизнью за добродѣтель». Но дюжій, глупый чортъ не переставалъ работать и только проворчалъ: «Толкуй тамъ! всѣ язычники должны жариться, и намъ для кого-нибудь одного нельзя дѣлать исключенія».— Могу васъ увѣрить, сударыня, что жара была страшная, а съ нею крики, вздохи, стоны, скрежетъ, вой—и среди всего этого ужаснаго шума явственно звучалъ роковой напѣвъ пѣсни о невыплаканной слезѣ...

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Сударыня! Старая пьеса—трагедія, несмотря на то, что героя ея никто не убиваетъ, самъ онъ не убиваетъ себя. Глаза героини прекрасны, удивительно прекрасны — сударыня, не слышите ли вы запаха фіалки?—удивительно прекрасны и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ остро выточены, что проникли въ сердце мое, какъ стеклянные кинжалы и
ятно, пронзали мое тѣло насквозь — но я не умер
этихъ коварно-убійственныхъ глазъ. Голосъ героини
прекрасенъ—сударыня, не правда ли, только что п
соловей?—это чудный, шелковый голосъ, это—восх
ное сплетеніе лучезарнѣйшихъ звуковъ, и серд

путалось въ нихъ, и сдавилось, и мучилось... Я самъ (это говоритъ теперь графъ Гангесскій, и дѣйствіе происходитъ въ Венеціи), я самъ усталъ отъ этихъ мученій и хотѣлъ уже въ первомъ дѣйствіи положить конецъ пьесѣ и сорвать выстрѣломъ голову мою вмѣстѣ съ дурацкимъ колпакомъ... И пошелъ я въ галантерейную лавку на улицѣ Via Bursta, гдѣ нашелъ пару отличныхъ пистолетовъ въ ящикѣ; я помню до сихъ поръ очень хорошо, что подлѣ нихъ стояло много веселыхъ игрушекъ изъ перламутра и золота, желѣзныхъ сердецъ на золотыхъ цѣпочкахъ, фарфоровыхъ чашечекъ съ нѣжными девизами, табакерокъ съ красивыми картинами, каковы, напр., чудесная исторія Сусанны, лебединая пѣснь Леды, похищеніе сабинянокъ, Лукреція, толстая добродѣтель съ обнаженною грудью, въ которую она вонзаетъ кинжалъ, покойная Бетманъ, la belle ferroniére— все такія заманчивыя лица; но я все-таки купилъ пистолеты безъ всякаго торгу, купилъ потомъ пуль, пороху, отправился въ таверну и тамъ велѣлъ подать себѣ устрицъ и стаканъ рейнвейну.

Ѣсть я не могъ, а пить тѣмъ менѣе. Горячія капли капали въ стаканъ, и въ стаканѣ увидѣлъ я милую отчизну, голубой, священный Гангесъ, вѣчно сверкающій Гималай, исполинскіе банановые лѣса, въ широкихъ вѣтвистыхъ аллеяхъ котораго спокойно прохаживались умные слоны и бѣлые пилигримы, странно-мечтательные цвѣты глядѣли на меня съ тайнымъ состраданіемъ, золотыя, сказочныя птицы дико ликовали, сверкающіе лучи солнца и мило-дурацкіе голоса смѣющихся обезьянъ поддразнивали меня, изъ отдаленныхъ капищъ неслись молитвы набожныхъ жрецовъ, и среди всего этого звучалъ жалобный, изнывающій голосъ делійской султанши... Она порывисто бѣгала по коврамъ своего покоя, раздирала свой серебряный покровъ, опрокидывала на полъ черную рабу съ опахаломъ, плакала, кричала, неистовствовала... Но я не могъ понять ее: таверна, гдѣ я сидѣлъ, отстоитъ на три тысячи миль отъ делійскаго гарема, да къ тому же и прекрасная султанша уже три тысячи лѣтъ какъ умерла... И я пилъ, не останавливаясь,
свѣтлое, радушное вино, но въ душѣ моей ста-
все мрачнѣе и печальнѣе... Я былъ осужденъ на
. . . . . .
. . . . . .
нова вышелъ на улицу, то услышалъ коло-
, толпа мчалась мимо; но я остановился

на углу улицы Санъ-Джіовани и произнесъ слѣдующій монологъ:

Въ старинныхъ сказкахъ есть и замки золотые,
И звуки арфы въ нихъ, и пляски юныхъ дѣвъ,
И яркій блескъ ливрей, и всюду милый запахъ,
Жасмина, миртъ и розъ... Но слово пусть одно,
Одно лишь скажется, сымающее чары—
И распадется въ прахъ мгновенно этотъ блескъ.
И старыя развалины въ болотахъ
Останутся на мѣстѣ томъ, а въ нихъ
Закаркаютъ однѣ ночныя птицы...
Вотъ такъ и я, своимъ единымъ словомъ,
Снялъ чары всѣ съ природы молодой...
Лежитъ она безжизненна, недвижна,
И холодна—лежитъ, какъ пышный трупъ,
Разряженный, раскрашенный красиво...
Но на устахъ ни жизни нѣтъ, ни краски,
И по носу гуляетъ рой мышей,
И тѣшится надъ позлащеннымъ платьемъ...

Вообще принято, сударыня, произносить монологи, передъ тѣмъ, какъ стрѣляться. Большая часть людей прибѣгаетъ при этомъ случаѣ къ Гамлетовскому: «быть или не быть?» Это очень хорошій монологъ, и я бы охотно произнесъ его; но своя рубашка ближе къ тѣлу, и тому, кто самъ писалъ трагедіи, въ которыхъ тоже есть прощальные монологи, какова, напримѣръ, безсмертный «Алманзоръ», очень натурально отдавать предпочтеніе своимъ собственнымъ словамъ, даже передъ Шекспировскими. Во всякомъ случаѣ, подобные монологи очень полезная вещь, потому что черезъ нихъ выигрывается, по крайней мѣрѣ, время. Отъ этого именно случилось и теперь, что я довольно долго простоялъ на углу улицы Санъ-Джіовани—и, стоя тутъ, какъ человѣкъ обреченный на смерть, вдругъ увидѣлъ ее!

Она была въ своемъ шелковомъ голубомъ платьѣ и розово-красной шляпкѣ, и смотрѣла на меня такимъ кроткимъ, смерть покоряющимъ, жизнь дарующимъ взглядомъ! Сударыня, вы конечно знаете изъ римской исторіи, когда древнія весталки встрѣчали на своемъ пути пре пика, ведомаго на казнь, то имѣли право освобождат и бѣднякъ оставался въ живыхъ. Однимъ взглядомъ с она спасла меня отъ смерти, и я стоялъ передъ нею. исполненный новой жизни, какъ ослѣпленный соле

сіяніемъ ея красоты, а она прошла мимо—и оставила меня въ живыхъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

И оставила меня въ живыхъ, и я живу, а это самое главное.

Пусть другіе утѣшаются надеждой, что возлюбленная увѣнчаетъ гробницу ихъ цвѣтами и оросить прахъ слезами вѣрности... О, женщины! ненавидьте меня, смѣйтесь надо мною, обманывайте—но не отнимайте у меня жизни! Жизнь слишкомъ сладостна, и въ мірѣ все такъ восхитительно перепутано, этотъ міръ—грёза упившагося языческаго бога, который ускользнулъ à la française изъ пирующаго собранія боговъ, и улегся спать на одинокой звѣздѣ, и самъ не знаетъ, что все то, о чемъ онъ грезитъ во снѣ, также и создается имъ—и сновидѣнія его часто принимаютъ пестрые, безумные образы, а часто и сливаются въ разумную гармонію... Иліада, Платонъ, Мараѳонская битва, Моисей, медицейская Венера, страсбургскій соборъ, французская революція, Гегель, пароходы и т. п. — все это хорошія отдѣльныя мысли въ этомъ творящемъ сновидѣніи бога... Но это не долго продолжается, богъ просыпается, и протираетъ глаза, и улыбается—и нашъ міръ расплылся въ ничто, онъ никогда не существовалъ.

Но все равно, я живу! Будь я даже эта тѣнь, являющаяся въ сновидѣніи—все-таки это лучше, чѣмъ холодное, черное, пустое небытіе смерти. Жизнь есть высшее изъ благъ, смерть — ужаснѣйшее изъ золъ. Пусть берлинскіе гвардейскіе офицеры насмѣшливо называютъ трусливымъ малодушіемъ испугъ, который ощущаетъ принцъ гомбургскій при видѣ своего открытаго гроба—у Генриха Клейста было тѣмъ не менѣе столько же мужества, сколько у его высокогрудыхъ, туго зашнурованныхъ коллегъ—и онъ, къ сожалѣнію, доказалъ это на дѣлѣ. Но всѣ сильные люди любятъ жизнь. Эгмонтъ Гете неохотно разстается съ «милою привычкою къ существованію и дѣятельности». Эдвинъ Иммермана держится за жизнь, какъ «дитя за грудь мате-
[illegible]ть тяжело ему существовать по милости другого,
[illegible]аки проситъ помилованія:

[illegible]ъ, что жить, дышать—есть высшее изъ благъ».

[illegible]ссей видитъ въ аду Ахиллеса во главѣ над-

на углу улицы Санъ-Джіовани и произнесъ слѣдующій монологъ:

Въ старинныхъ сказкахъ есть и замки золотые,
И звуки арфы въ нихъ, и пляски юныхъ дѣвъ,
И яркій блескъ ливрей, и всюду милый запахъ,
Жасмина, миртъ и розъ... Но слово пусть одно,
Одно лишь скажется, сымающее чары—
И распадется въ прахъ мгновенно этотъ блескъ.
И старыя развалины въ болотахъ
Останутся на мѣстѣ томъ, а въ нихъ
Закаркаютъ однѣ ночныя птицы...
Вотъ такъ и я, своимъ единымъ словомъ,
Снялъ чары всѣ съ природы молодой...
Лежитъ она безжизненна, недвижна,
И холодна—лежитъ, какъ пышный трупъ,
Разряженный, раскрашенный красиво...
Но на устахъ ни жизни нѣтъ, ни краски,
И по носу гуляетъ рой мышей,
И тѣшится надъ позлащеннымъ платьемъ...

Вообще принято, сударыня, произносить монологи, передъ тѣмъ, какъ стрѣляться. Большая часть людей прибѣгаетъ при этомъ случаѣ къ Гамлетовскому: «быть или не быть?» Это очень хорошій монологъ, и я бы охотно произнесъ его; но своя рубашка ближе къ тѣлу, и тому, кто самъ писалъ трагедіи, въ которыхъ тоже есть прощальные монологи, какова, напримѣръ, безсмертный «Алманзоръ», очень натурально отдавать предпочтеніе своимъ собственнымъ словамъ, даже передъ Шекспировскими. Во всякомъ случаѣ, подобные монологи очень полезная вещь, потому что черезъ нихъ выигрывается, по крайней мѣрѣ, время. Отъ этого именно случилось и теперь, что я довольно долго простоялъ на углу улицы Санъ-Джіовани—и, стоя тутъ, какъ человѣкъ обреченный на смерть, вдругъ увидѣлъ ее!

Она была въ своемъ шелковомъ голубомъ платьѣ и розово-красной шляпкѣ, и смотрѣла на меня такимъ кроткимъ, смерть покоряющимъ, жизнь дарующимъ взглядомъ! Сударыня, вы конечно знаете изъ римской исторіи, когда древнія весталки встрѣчали на своемъ пути пре пика, ведомаго на казнь, то имѣли право освобождат и бѣднякъ оставался въ живыхъ. Однимъ взглядомъ с она спасла меня отъ смерти, и я стоялъ передъ нею *исполненный* новой жизни, какъ ослѣпленный сол

сіяніемъ ея красоты, а она прошла мимо—и оставила меня въ живыхъ.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

И оставила меня въ живыхъ, и я живу, а это самое главное.

Пусть другіе утѣшаются надеждой, что возлюбленная увѣнчаетъ гробницу ихъ цвѣтами и оросить прахъ слезами вѣрности... О, женщины! ненавидьте меня, смѣйтесь надо мною, обманывайте—но не отнимайте у меня жизни! Жизнь слишкомъ сладостна, и въ мірѣ все такъ восхитительно перепутано, этотъ міръ—грёза упившагося языческаго бога, который ускользнулъ à la française изъ пирующаго собранія боговъ, и улегся спать на одинокой звѣздѣ, и самъ не знаетъ, что все то, о чемъ онъ грезитъ во снѣ, также и создается имъ—и сновидѣнія его часто принимаютъ пестрые, безумные образы, а часто и сливаются въ разумную гармонію... Иліада, Платонъ, Мараѳонская битва, Моисей, медицейская Венера, страсбургскій соборъ, французская революція, Гегель, пароходы и т. п. — все это хорошія отдѣльныя мысли въ этомъ творящемъ сновидѣніи бога... Но это не долго продолжается, богъ просыпается, и протираетъ глаза, и улыбается—и нашъ міръ расплылся въ ничто, онъ никогда не существовалъ.

Но все равно, я живу! Будь я даже эта тѣнь, являющаяся въ сновидѣніи—все-таки это лучше, чѣмъ холодное, черное, пустое небытіе смерти. Жизнь есть высшее изъ благъ, смерть — ужаснѣйшее изъ золъ. Пусть берлинскіе гвардейскіе офицеры насмѣшливо называютъ трусливымъ малодушіемъ испугъ, который ощущаетъ принцъ гомбургскій при видѣ своего открытаго гроба—у Генриха Клейста было тѣмъ не менѣе столько же мужества, сколько у его высокогрудыхъ, туго зашнурованныхъ коллегъ—и онъ, къ сожалѣнію, доказалъ это на дѣлѣ. Но всѣ сильные люди любятъ жизнь. Эгмонтъ Гете неохотно разстается съ «милою привычкою къ существованію и дѣятельности». Эдвинъ Иммермана держится за жизнь, какъ «дитя за грудь мате-
и хоть тяжело ему существовать по милости другого,
се-таки проситъ помилованія:

«Затѣмъ, что жить, дышать—есть высшее изъ благъ».

Одиссей видитъ въ аду Ахиллеса во главѣ над-

шихъ героевъ и восхваляетъ его славу не только между живыми, но и между мертвыми, то Ахиллесъ отвѣчаетъ ему:

«Нѣтъ, Одиссей благородный, напрасно со мною о смерти
Ты говоришь, утѣшая меня; я готовъ бы скорѣе
Въ полѣ работать, какъ бѣдный поденщикъ, и быть человѣкомъ,
Вовсе лишеннымъ довольства, наслѣдства отъ предковъ лишеннымъ
Чѣмъ повелителемъ цѣлаго сонма исчезнувшихъ мертвыхъ».

... Слава Богу! я живу! Въ жилахъ моихъ кипитъ красная жизнь, подъ ногами моими дрожитъ земля, въ упоеніи любви обнимаю я деревья и мраморныя статуи, и тѣ и другія оживаютъ въ моихъ объятіяхъ. Каждая женщина—цѣлый міръ, подаренный мнѣ; я расплываюсь въ мелодіяхъ лица ея, и черезъ каждый взглядъ своего глаза получаю больше наслажденія, чѣмъ другіе, со всѣми своими членами, въ продолженіе всей своей жизни. Каждая минута для меня вѣдь безконечность; я не мѣряю времени брабантскимъ или гамбургскимъ маленькимъ аршиномъ, и мнѣ не нужны никакія обѣщанія второй жизни, потому что уже въ здѣшней жизни могу я пережить много, живя назадъ жизнью предковъ и завоевывая себѣ вѣчность въ царствѣ прошедшаго.

И я живу! Біеніе великаго пульса природы отдается и въ моей груди, и когда я ликую, тысяча голосовъ вторитъ мнѣ. Я слышу пѣсни тысячи соловьевъ. Весна послала ихъ сюда, чтобы пробудить землю отъ ея утренняго сна, и земля вздрагиваетъ отъ наслажденія; ея цвѣты—гимны, которые она въ своемъ вдохновеніи поетъ навстрѣчу солнцу... А солнце движется слишкомъ медленно; мнѣ бы хотѣлось стегнуть огненныхъ коней его, чтобы они мчались шибче... Но когда оно, шипя, опускается въ море, и встаетъ великая ночь со своими большими, полными сладострастныхъ желаній, глазами—о, тутъ только охватываетъ меня истинное блаженство, вечерній воздухъ ложится на бурноволнующееся сердце мое, словно ласкающаяся дѣвушка, и звѣзды киваютъ съ неба, и я подымаюсь, и лечу высоко надъ маленькою землею и маленькими мыслями человѣческими!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Но когда-нибудь настанетъ день — и пламень потухнетъ въ моихъ жилыхъ, въ груди моей поселится зима, бѣлыя клочья ея скудно прикроютъ мою голову и туманъ ея омрачитъ взоръ мой. Друзья мои будутъ лежать въ полусгнившихъ гробахъ, и останусь я одинъ, какъ одинокій ко.

забытый жнецомъ, среди новаго поколѣнія, которое расцвѣтетъ вокругъ меня, съ новыми желаніями и новыми мыслями, съ глубокимъ изумленіемъ буду я слышать новыя имена и новыя пѣсни, забудутся имена старыя и забудусь я самъ, чтимый, можетъ-быть, немногими, ненавидимый многими, нелюбимый никѣмъ! И подбѣгутъ ко мнѣ юноши съ розовыми щеками, и положатъ въ дрожащія руки мои старую арфу и, смѣясь, скажутъ мнѣ: «Долго ты молчалъ, ты, лѣнивая сѣдая голова, спой-ка намъ снова пѣсни о грёзахъ своей юности».

Тогда схвачу я арфу, и проснутся старыя радости и скорби, разсѣется туманъ, слезы снова зацвѣтутъ въ мертвыхъ глазахъ моихъ, снова воскреснетъ весна въ груди моей, сладкіе звуки грусти задрожатъ на струнахъ арфы, снова увижу я синюю рѣку, и мраморные дворцы, и прекрасныя лица женъ и дѣвъ — и спою пѣсню про цвѣты Бренты.

То будетъ послѣдняя пѣсня моя, звѣзды будутъ глядѣть на меня, какъ въ ночи моей юности, влюбленный мѣсяцъ снова станетъ цѣловать щеки мои, призрачные хоры умершихъ соловьевъ зазвучатъ издалека, глаза мои сомкнутся въ опьяненіи, душа моя замолкнетъ, какъ струны моей арфы, въ воздухѣ разносится благоуханіе цвѣтовъ Бренты.

Дерево осѣнитъ мою гробницу. Хотѣлось бы мнѣ, чтобы это была пальма, да ей не растется на сѣверѣ. Вѣрно, то будетъ липа, и подъ нею въ лѣтній вечеръ будутъ сидѣть и шептаться влюбленные; чижикъ, качаясь надъ ними на вѣткѣ и прислушиваясь, смолкъ, и моя липа привѣтно шелститъ надъ головами счастливцевъ, которые такъ счастливы, что не имѣютъ времени прочитать, что̀ написано на бѣломъ гробовомъ камнѣ. Но когда потомъ влюбленный потеряетъ свою милую, тогда снова придетъ онъ къ знакомой липѣ, и станетъ стонать и плакать, и долго и часто будетъ смотрѣть на гробовой камень и прочтетъ на немъ надпись: «Онъ любилъ цвѣты Бренты».

ГЛАВА ПЯТАЯ.

арыня! я обманулъ васъ. Я не графъ Гангесскій.
да въ жизни не видѣлъ я священной рѣки, никогда
ѣлъ цвѣтовъ лотоса, глядящихся въ его святыя волны.
не лежалъ я въ грёзахъ подъ индійскими паль-
никогда не преклонялся съ молитвою передъ ягер-
брильянтовымъ идоломъ, отъ котораго, однако, я

легко бы получилъ облегченіе и помощь. Я точно такъ же былъ въ Калькуттѣ, какъ калькутское жаркое, которое мнѣ подавали вчера за обѣдомъ. Но я веду свой родъ изъ Индостана, и оттого-то мнѣ такъ привольно въ широкихъ лѣсахъ Валмикіевыхъ, героическія страданія божественнаго Рамы шевелятъ мое сердце, какъ знакомая тоска, изъ цвѣточныхъ пѣсней Калидаса расцвѣтаютъ для меня самыя сладостныя воспоминанія, и когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ одна почтенная дама показывала мнѣ прекрасныя картины, привезенныя изъ Индіи ея отцомъ, бывшимъ тамъ долгое время губернаторомъ, то эти нѣжно нарисованныя, священно спокойныя лица показались мнѣ такими знакомыми, и на душѣ у меня стало такъ, какъ будто я разсматривалъ галлерею своихъ собственныхъ фамильныхъ портретовъ.

Францъ Боппъ—сударыня, вы конечно читали его «Налусъ» и его систему санскритскихъ спряженій — сообщилъ мнѣ много свѣдѣній о моихъ предкахъ и теперь мнѣ достовѣрно извѣстно, что я произошелъ изъ головы Брамы, а не изъ его мозолей; я даже думаю, что вся «Махабарата» со своими 200.000 стиховъ — не что иное, какъ аллегорическое любовное письмо, которое мой прапрадѣдъ писалъ моей прапрабабушкѣ... О, они страстно любили другъ друга, души ихъ сливались въ поцѣлуяхъ, они цѣловались глазами, они оба составляли одинъ поцѣлуй...

Заколдованный соловей сидитъ на одномъ изъ красныхъ коралловыхъ деревьевъ среди безмолвнаго океана, и поетъ пѣсню о любви моихъ предковъ; жемчуги съ любопытствомъ выглядываютъ изъ своихъ раковинъ, удивительные водяные цвѣты вздрагиваютъ отъ тоски, умныя морскія улитки, неся на спинѣ свои пестрыя фарфоровыя башенки, выползаютъ наружу, морскія розы покрываются румянцемъ стыдливости, желтыя, остроконечныя морскія звѣзды и тысячецвѣтные стеклянные голоцастики движутся и вытягиваются, и все суетится и слушаетъ...

Но, сударыня, эта соловьиная пѣснь слишкомъ велика для того, чтобы ее можно было привести здѣсь; она велика, какъ вселенная, уже одно посвященіе Анангасу, богу любви, не короче всѣхъ романовъ Вальтеръ-Скотта вмѣстѣ, и къ нему относится одно мѣсто изъ Аристофана, слѣдующимъ образомъ переведенное на нѣмецкій языкъ Фоссомъ:

Tiotio, tiotio, tiotinx,
Totototo, totototo, tototinx.

Нѣтъ, я не родился въ Индіи! Свѣтъ Божій увидѣлъ я

на берегахъ той прекрасной рѣки, гдѣ на зеленыхъ горахъ растетъ безуміе, которое осенью срываютъ, выдавливаютъ, наливаютъ въ бочки и посылаютъ за границу. Увѣряю васъ, что вчера кто-то сказалъ при мнѣ глупость, сидѣвшую еще въ 1811 году въ одной виноградинѣ, которая въ то время росла на Іоганисбергѣ, гдѣ я самъ ее видѣлъ. Много, впрочемъ, этого безумія потребляется и самими туземцами, и здѣсь люди такіе же, какъ и въ другихъ мѣстахъ: они рождаются, ѣдятъ, пьютъ, спятъ, смѣются, плачутъ, злословятъ, дѣятельно хлопочутъ о распространеніи своей породы, стараются казаться не тѣмъ, что они есть, и дѣлать то, чего не могутъ сдѣлать, не брѣются до тѣхъ поръ, пока не вырастетъ у нихъ борода, и часто получаютъ бороду прежде разсудка, а когда получаютъ разсудокъ, то снова упиваются бѣлымъ и краснымъ безуміемъ.

Mon Dieu! Если бъ я имѣлъ вѣру, способную сдвигать горы съ мѣстъ своихъ, то Іоганнисбергъ была бы именно гора, которую я заставилъ бы всегда слѣдовать за собою. Но такъ какъ у меня нѣтъ такой сильной вѣры, то я долженъ призвать на помощь фантазію, и она-то переноситъ меня самого на берега прекраснаго Рейна.

О, то прелестная страна, полная любви и солнечнаго свѣта. Въ зеркалѣ голубой рѣки отражаются гористые берега со своими развалинами замковъ и лѣсами, и древними городами. Тамъ, въ лѣтній вечеръ, горожане сидятъ передъ порогами домовъ своихъ, и пьютъ изъ большихъ кружекъ, и дружески болтаютъ о томъ, что вино, слава Богу, удалось, и что въ судахъ дѣла непремѣнно должны вестись гласно, и что Маріи-Антуанетѣ ни за что, ни про что отрубили голову, и что отъ введенія бандеролей табакъ вздорожалъ и что всѣ люди равны, и что Герресъ ужасная каналья.

Я никогда не интересовался подобными разговорами и больше сидѣлъ съ дѣвушками у высокосводчатыхъ окошекъ, смѣялся ихъ смѣху, и позволялъ имъ бить меня цвѣтами по лицу, и притворялся сердитымъ до тѣхъ поръ, пока онѣ не разсказывали мнѣ свои тайны или какую-нибудь важную исторію. Прекрасная Гертруда до безумія радовалась, когда . садился подлѣ нея. Это была дѣвушка, похожая на пламенную розу, и когда она разъ повисла у меня на шеѣ, то я подумалъ, что она сгоритъ и испарится благоуханіями рукахъ моихъ. Прекрасная Катерина расплыв свой кротости, разговаривая со мною, а глаза ея кого чистаго, глубокаго, синяго цвѣта, какого я не в

чалъ ни у людей, ни у звѣрей, и только изрѣдка у цвѣтовъ; въ нихъ такъ славно было смотрѣться и при этомъ мечтать о такихъ отрадныхъ вещахъ! Но прекрасная Гедвига любила меня, потому что когда я подходилъ къ ней, она склоняла голову къ землѣ, такъ что черные локоны ниспадали на разрумянившееся лицо, и блестящіе глаза свѣтили, какъ звѣзды на темномъ небѣ. Цѣломудренныя уста ея не произносили ни слова, и я также не могъ ничего сказать ей. Я кашлялъ, а она дрожала. Иногда она, черезъ сестру свою, просила меня не взбѣгать слишкомъ быстро на утесы и не купаться въ Рейнѣ послѣ бѣганья и послѣ питья. Разъ я слышалъ ея благочестивую молитву предъ стоявшимъ въ нишѣ ея дома образомъ Богоматери въ золотыхъ блесткахъ и съ зажженною подъ нимъ лампадкою, и явственно долетало до моего слуха, какъ она молила Матерь Божью: запретить ему лазить, пить и купаться. Я непремѣнно влюбился бы въ эту прекрасную дѣвушку, если бъ она не обращала на меня никакого вниманія; а такъ какъ я зналъ, что она меня любитъ, то я былъ равнодушенъ къ ней. Сударыня! кто хочетъ пріобрѣсть мою любовь, тотъ долженъ обращаться со мною en canaille.

Прекрасная Іоганна была тетка этихъ трехъ сестеръ, и я очень любилъ сидѣть подлѣ нея. Она знала самыя прелестныя сказки, и когда указывала бѣлою рукою черезъ окошко на горы, гдѣ происходило все, что̀ она разсказывала, то со мной самимъ совершалось что-то волшебное, старые рыцари явственно вставали изъ развалинъ за̀мковъ и били другъ друга въ желѣзную броню, Лорелея снова стояла на вершинѣ горы и пѣла свою очаровательно-губительную пѣсню, Рейнъ шумѣлъ такъ умно-успокоительно и въ то же время дразня до дрожи—и прекрасная Іоганна смотрѣла на меня такъ странно, такъ таинственно, такъ загадочно-привѣтно, какъ будто сама она принадлежала къ сказочному міру, о которомъ говорила мнѣ. То была стройная, блѣдная дѣвушка; смертельно больная, она всегда задумывалась, глаза ея были чисты, какъ сама истина, губы скруглялись съ набожнымъ выраженіемъ, въ чертахъ лица ея лежала большая исторія, но то была исторія священная... Быть-можетъ, какая-нибудь любовная легенда? Не знаю, да у меня и не было никогда духу распросить ее объ этомъ. Когда я долго смотрѣлъ на нее, то становился спокоенъ и веселъ; на душѣ моей дѣлалось такъ, какъ будто въ ней праздновался тихій воскресный день, и ангелы служили обѣдню.

Въ эти славные часы я разсказывалъ Іоганнѣ исторіи изъ моего дѣтства, и она всегда серьезно слушала ихъ, и—чудное дѣло!—когда я не могъ вспомнить какого-нибудь имени, она сейчасъ же напоминала мнѣ его. Съ удивленіемъ спрашивалъ я ее: откуда она знаетъ эти имена? и, смѣясь, отвѣчала она мнѣ, что узнала ихъ отъ птицъ, вившихъ гнѣзда подъ окошкомъ ея; и при этомъ хотѣла непремѣнно увѣрить меня, что это тѣ самыя птицы, которыхъ я еще въ дѣтствѣ покупалъ у злыхъ мальчиковъ-поселянъ и потомъ выпускалъ на волю. Я же думаю, что Іоганна знала все, потому что была такъ блѣдна, и дѣйствительно, она скоро умерла. Она предвидѣла также время своей смерти и желала, чтобы я за день до этого уѣхалъ изъ Андернаха. При прощаніи она подала мнѣ обѣ руки—это были бѣлыя, милыя и чистыя, какъ святыня, руки—и сказала: «Ты очень добръ, а когда сдѣлаешься злымъ, то думай снова о маленькой, умершей Вероникѣ».

Неужели болтушки-птицы разсказали ей и это имя? А я въ часы воспоминаній такъ долго ломалъ себѣ голову и никогда не могъ припомнить это милое имя.

Теперь, когда оно снова въ памяти моей, въ ней расцвѣтаетъ также время моего дѣтства, и я снова дитя и играю съ другими дѣтьми на замковой площади въ Дюссельдорфѣ на Рейнѣ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Да, сударыня, тутъ я родился, и упоминаю объ этомъ обстоятельствѣ собственно на случай, если по смерти моей семь городовъ: Шильда, Кревинкель, Польквицъ, Бокумъ, Дюлькенъ, Геттингенъ и Шеппенштадтъ будутъ спорить о чести моего мѣсторожденія. Дюссельдорфъ—городъ на Рейнѣ, въ немъ живутъ 16.000 человѣкъ, да кромѣ того, похоронено нѣсколько сотъ тысячъ. И между этими послѣдними есть много такихъ, о которыхъ моя мать говоритъ, что лучше бы имъ до сихъ поръ жить на свѣтѣ; напримѣръ, мой дѣдушка и мой дядя, старый баронъ фонъ-Гельдернъ и молодой баронъ фонъ-Гельдернъ, которые были такими ными докторами и вылѣчили столькихъ людей отъ смерти лесмотря на это, сами все-таки умерли. И набожная а, носившая еще меня на рукахъ, тоже похоронена и надъ гробницею ея растетъ розовый кустъ — она любила розы при жизни своей, и все серце ея было ханіе розы и доброта! Лежитъ тамъ и старый, умный

капоникъ... Боже мой, какой жалкій видъ былъ у него, когда я встрѣтился съ нимъ въ послѣдній разъ! Только и осталось у него, что духъ и пластыри, и несмотря на это, онъ занимался науками день и ночь, будто боясь, что черви найдутъ не довольно много идей въ его головѣ. [И маленькій Вильгельмъ похороненъ тамъ, и я виною тому. Мы были школьными товарищами въ францисканскомъ монастырѣ и часто играли по ту сторону монастыря, гдѣ Дюссель протекаетъ между двумя каменными стѣнами, и разъ я сказалъ ему: «Вильгельмъ, достань-ка кошечку, которая туда упала»,—и онъ весело взбѣжалъ на доску, переложенную черезъ ручей, сталъ звать изъ воды кошечку, но самъ упалъ туда, и когда его вытащили, онъ былъ мокръ и мертвъ. А кошечка жила еще долго послѣ того.

Городъ Дюссельдорфъ очень красивъ, и тому, кто думаетъ о немъ на чужой сторонѣ, или кто случайно родился въ немъ, чудно становится на душѣ. Я родился въ немъ, и мнѣ все кажется, что я сейчасъ долженъ идти домой. И когда я говорю «идти домой», то подъ этимъ понимаю Болкереву улицу и домъ, въ которомъ я родился. Этотъ домъ когда-нибудь сдѣлается очень замѣчательнымъ, и старой женщинѣ, владѣющей имъ, я послалъ сказать, чтобы она ни подъ какимъ видомъ не продавала его, такъ какъ за весь домъ, конечно, она не получитъ теперь того, что со временемъ передадутъ «на чай» ея служанкамъ знатныя, подъ зелеными вуалями, англичанки, которымъ будутъ показывать комнату, гдѣ я увидѣлъ свѣтъ Божій, и курятникъ, куда отецъ обыкновенно запиралъ меня, когда я кралъ виноградъ, и коричневую дверь, на которой мать моя учила меня писать буквы мѣломъ... Ахъ, Боже мой, сударыня, если бы я сдѣлался когда-нибудь знаменитымъ писателемъ, такъ это стоило порядочнаго труда моей бѣдной матери.

Но слава моя спитъ еще въ каррарскихъ мраморомломняхъ; макулатурный лавровый вѣнокъ, которымъ увѣнчали мою голову, не распространилъ еще своего благоуханія по всей вселенной, и когда знатныя, подъ зелеными вуалями, англичанки пріѣзжаютъ теперь въ Дюссельдорфъ, то еще не обращаютъ никакого вниманія на знаменитый домъ, а идутъ прямо къ рыночной площади и разсматриваютъ стоящую посрединѣ ея колоссальную конную статую чернаго цвѣта. Статуя эта представляетъ курфирста Іоганна-Вильгельма. Онъ въ черной бронѣ и длинноволосомъ парикѣ съ

ою... Еще ребенкомъ слышалъ я преданіе, будто скульп-
ъ, отливавшій ее, съ испугомъ замѣтилъ въ самое время
итія, что у него не станетъ металла, и тогда всѣ гра-
не Дюссельдорфа прибѣжали и принесли ему всѣ свои
ебряныя ложки. И по цѣлымъ часамъ стоялъ я передъ
о статуею и ломалъ себѣ голову, высчитывая, сколько
ь пошло серебряныхъ ложекъ и сколько пирожковъ съ
оками можно было купить на все это серебро? Пирожки
яблоками были въ то время моею страстью—теперь ихъ
Внили любовь, истина, свобода и раковый супъ—а какъ
ь недалеко отъ статуи, у театральнаго угла, обыкно-
но стоялъ курьезно испеченный, съ саблеобразными но-
и парень въ бѣломъ фартукѣ и съ корзиною, полною
азнительно горячихъ яблочныхъ пирожковъ, которые
хвалилъ тонкимъ дискантомъ, оказывавшимъ непреодо-
ое вліяніе: «Вотъ яблочные пирожки, совсѣмъ свѣжіе,
ько-что изъ печки, и какой деликатный запахъ!» Право,
да въ позднѣйшіе годы искуситель хотѣлъ вводить меня
грѣхъ, то бралъ такой же точно заманивающій, дискан-
ый тонъ, и у Синьоры Джульетты я никакъ не пробылъ
двѣнадцать часовъ сряду, еслибъ она не говорила со
ою этимъ милымъ, ароматнымъ яблочно-пирожнымъ голо-
мъ. И, сознаюсь, никогда эти пирожки не имѣли бы для
ня такой прелести, если бъ кривоногій Германъ не при-
ывалъ ихъ такъ таинственно своимъ бѣлымъ фартукомъ...
эти фартуки... Но фартуки отвлекутъ меня слишкомъ да-
ко: я вѣдь началъ говорить о конной статуѣ, у которой
животѣ столько серебряныхъ ложекъ и ни капли супу,
которая изображаетъ курфирста Іоганна-Вильгельма.

То былъ, по всему вѣроятію, славный человѣкъ, и очень
бившій искусство, и самъ очень искусный. Онъ основалъ
ртинную галлерею въ Дюссельдорфѣ, и въ тамошней
серваторіи до сихъ поръ показываютъ удивительно сдѣ-
нный изъ дерева кубокъ, который курфирстъ самъ вырѣ-
ъ въ свои свободные часы—ихъ было у него двадцать
тыре въ день.

Въ то время у властителей не было столько мучитель-
заботъ, сколько въ настоящее время, и корона плотно
на головѣ ихъ, а ночью они еще натягивали на
тальный колпакъ и спали спокойно и у ногъ ихъ
спали народы, и когда эти послѣдніе утромъ про-
то говорили: «добраго утра, отецъ!» и получали
: «добраго утра, милыя дѣти!».

Но вдругъ все перемѣнилось. Разъ, проснувшись утромъ, мы только что хотѣли сказать: «добраго утра, отецъ», какъ узнали, что-отецъ уѣхалъ, и на всемъ городѣ лежало глухое унынье, и все приняло точно похоронный видъ, и люди молчаливо проходили по площади и читали длинное объявленіе, прибитое на дверяхъ ратуши. Была сумрачная погода, а тощій портной Киліанъ, несмотря на это, стоялъ въ нанковой курткѣ, которую онъ прежде носилъ только дома, и синіе шерстяные чулки опустились на немъ, такъ что обнаженныя ноженки его грустно выглядывали оттуда, и тонкія губы его дрожали, между тѣмъ, какъ онъ мурлыкалъ себѣ подъ носъ прибитое объявленіе. Одинъ старый инвалидъ читалъ ту же бумагу немного громче, и при нѣкоторыхъ словахъ ея чистая слеза падала на его сѣдые, честные усы. Я стоялъ подлѣ него, и плакалъ вмѣстѣ съ нимъ, и спрашивалъ его: «о чемъ мы плачемъ», и онъ отвѣчалъ мнѣ: «курфирстъ благодаритъ своихъ подданныхъ». И сталъ читать дальше, и когда произнесъ слова «за ихъ испытанную вѣрность», «и освобождаетъ ихъ отъ данной присяги», то заплакалъ еще сильнѣе. Чудная вещь — видѣть, какъ старый человѣкъ, въ полинявшемъ мундирѣ, съ израненнымъ солдатскимъ лицомъ, плачетъ такъ сильно! Между тѣмъ, какъ мы читали, съ ратуши сняли гербъ курфирста, все приняло суровый, мрачный видъ, точно городъ ожидалъ солнечнаго затменія, гг. совѣтники съ такимъ отставнымъ видомъ медленно проходили взадъ и впередъ, даже всемогущій полицейскій комиссаръ, казалось, не намѣренъ былъ давать никакихъ приказаній и стоялъ совершенно равнодушно и спокойно, несмотря на то, что сумасшедшій Алоизій опять плясалъ на одной ногѣ и съ глупыми гримасами гнусилъ имена французскихъ генераловъ, а пьяный, кривоногій Гумперцъ валялся въ лужѣ и пѣлъ: «Ça ira, ça ira».

А я отправился домой, и плакалъ, и жалобно повторялъ: «курфирстъ благодаритъ своихъ подданныхъ». Мать моя стала нѣжно успокаивать меня, но я зналъ, что зналъ, не хотѣлъ ничего слушать, плача, отправился въ постель, и ночью увидѣлъ сонъ: снилось мнѣ, что свѣтъ кончился; прекрасные цвѣточные сады и зеленые луга были сняты земли, какъ ковры съ поля, и лежали свернутыми; полицейскій комиссаръ взлѣзалъ по лѣстницѣ и сымалъ съ солнце; портной Киліанъ стоялъ тутъ же и говорилъ съ собою: «надо мнѣ пойти домой и получше одѣться потому что я умеръ и сегодня долженъ быть похоро

А въ природѣ становилось темнѣе и темнѣе, скудно свѣтили на небѣ нѣсколько оставшихся звѣздъ, да и тѣ упали внизъ, какъ пожелтѣвшіе листья осенью, постепенно исчезали люди, а я, бѣдное дитя, тоскливо ходилъ туда и сюда и, наконецъ, остановился, передъ плетенымъ заборомъ какой-то опустѣвшей мызы, и тутъ увидѣлъ человѣка, ворочавшаго лопатою землю, а подлѣ него отвратительную женщину, которая держала въ фартукѣ что-то похожее на отрубленную человѣческую голову; это была луна, и женщина заботливо уложила ее въ открытую могилу, а позади меня стоялъ старый инвалидъ, и рыдалъ, и читалъ по складамъ: «курфирстъ благодаритъ своихъ подданныхъ».

Когда я проснулся, солнце, по обыкновенію, смотрѣло ко мнѣ въ окошко, по улицамъ раздавались звуки барабана, и когда я пошелъ пожелать добраго утра отцу моему, то засталъ его сидящимъ въ бѣломъ пудеръ-мантелѣ, передъ легконогимъ парикмахеромъ, который завивая его, разсказывалъ: что сегодня въ ратушѣ будетъ произноситься присяга новому великому герцогу Іоахиму, который происходитъ изъ лучшей фамиліи и получилъ въ замужество сестру императора Наполеона; что у него очень представительная наружность и отличныя черныя кудри; что онъ скоро совершитъ въѣздъ въ городъ и безъ всякаго сомнѣнія понравится всѣмъ женщинамъ. Между тѣмъ, грохотъ барабана продолжалъ раздаваться по улицамъ, я вышелъ на крыльцо и увидѣлъ марширующее французское войско — этотъ веселый народъ славы, исходившій міръ съ пѣснями и музыкой — эти весело-серьезныя лица гренадеровъ, медвѣжьи шапки, трехцвѣтныя кокарды, сверкающіе штыки—отряды вольтижеровъ, полныхъ веселости и point d'honneur, и всемогущевысокаго, вышитаго серебромъ тамбуръ-мажора, который умѣлъ подбрасывать булаву свою съ позолоченной верхушкой до первыхъ этажей, а глаза и до вторыхъ, гдѣ у окошекъ сидѣли хорошенькія дѣвушки. Я порадовался, что въ домѣ нашемъ будетъ постой—чему мать моя вовсе не радовалась—и поспѣшилъ на площадь. Теперь она приняла совершенно иной видъ, казалось, что вселенную за-
сили, на ратушѣ красовался новый гербъ, же-
рила ея балкона покрыли вышитыми бархатными
французскіе гренадеры стояли на часахъ, старые
вѣтники надѣли новыя лица, и нарядились въ
платья, и смотрѣли другъ на друга по-фран-
орили другъ другу: «bonjour!», изъ всѣхъ оконъ

выглядывали дамы, площадь была полна любопытными бюргерами и блестящими солдатами, и я, вмѣстѣ съ другими мальчиками, взлѣзъ на большую лошадь курфирстовой статуи и оттуда смотрѣлъ внизъ на пеструю толпу.

Питеръ, сынъ нашего сосѣда, и длинный Курцъ чуть не сломали себѣ шеи при этомъ случаѣ, и жалко, что имъ это не удалось, потому что одинъ изъ нихъ впослѣдствіи времени убѣжалъ отъ своихъ родителей, поступилъ въ солдаты, дезертировалъ и былъ разстрѣлянъ въ Майнцѣ; а другой занялся географическими изслѣдованіями въ чужихъ карманахъ, за это былъ сдѣланъ дѣйствительнымъ членомъ одного исправительнаго заведенія, разорвалъ въ одно утро желѣзныя цѣпи, связывавшія его съ этимъ заведеніемъ и съ отчизною, счастливо переплылъ море и умеръ въ Лондонѣ отъ черезчуръ узкаго галстука, который затянулся самъ собою въ ту минуту, какъ одинъ изъ королевскихъ чиновниковъ выдернулъ доску изъ-подъ ногъ этого малаго.

Длинный Курцъ сказалъ намъ, что по случаю присяги въ этотъ день не будетъ ученья. До начала присяги намъ пришлось долго ждать. Наконецъ, балконъ ратуши наполнился пестрыми господами, знаменами и трубами, и господинъ бургомистръ, въ своемъ знаменитомъ красномъ кафтанѣ, произнесъ рѣчь, которая все растягивалась больше и больше, какъ гуммиластикъ или какъ вязаный спальный колпакъ, когда въ него бросятъ камень... только не философскій, и до меня явственно долетали нѣкоторыя фразы, напримѣръ, та, что «насъ хотятъ сдѣлать счастливыми», и при этихъ словахъ зазвучали трубы, замахали флагами, застучали въ барабаны и закричали «виватъ!» Я тоже кричалъ «виватъ» — и въ это время твердо держался за стараго курфирста; это было совсѣмъ не лишнее, потому что голова моя сильно кружилась, мнѣ казалось уже, что всѣ люди ходили на головахъ, потому что свѣтъ сталъ вверхъ ногами, а курфирстъ кивалъ мнѣ изъ-подъ своего длиннаго парика и шепталъ: «держись за меня крѣпче!» и только отъ грохота пушекъ, стрѣлявшихъ въ крѣпости, я пришелъ въ себя и осторожно слѣзъ съ лошади курфирста.

Идя домой, я снова увидѣлъ, какъ сумасшедшій Алои плясалъ на одной ногѣ, гнуся имена французскихъ ге раловъ, а пьяный, кривоногій Гумперцъ валялся въ л и мычалъ: «Ça ira, ça ira»,—и придя къ матери, я сказ ей: «насъ хотятъ сдѣлать счастливыми, и отъ этого сего нѣтъ ученья!»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

На другой день въ мірѣ снова возстановился порядокъ, и снова попрежнему началось ученье, и снова стали мы учить наизусть, какъ прежде, римскихъ королей, хронологію, имена существительныя на im, неправильные глаголы, греческій языкъ, языкъ еврейскій, географію, нѣмецкую грамматику, ариѳметику... Боже мой! до сихъ поръ у меня голова кружится, и все это надо было учить наизусть! И многое изъ этого принесло мнѣ пользу впослѣдствіи. Потому что, еслибъ я не выучилъ наизусть исторіи римскихъ царей, то мнѣ было бы рѣшительно все рано — доказалъ Нибуръ или не доказалъ, что они никогда не существовали. А если бъ я не зналъ хронологіи, то какъ бы впослѣдствіи нашелся я въ Берлинѣ, гдѣ одинъ домъ похожъ на другой, какъ двѣ капли воды или какъ два гренадера, и гдѣ нельзя отыскать своихъ знакомыхъ, если не помнишь твердо номера ихъ дома? Теперь же, при посѣщеніи каждаго знакомаго, я вспоминалъ историческое событіе, годъ котораго совпадалъ съ номеромъ дома этого знакомаго, такъ что припоминая одно, легко припоминалъ и другой, и, вслѣдствіе этого также, при встрѣчѣ съ тѣмъ или другимъ знакомымъ, мнѣ приходило въ голову то или другое историческое событіе. Напримѣръ, встрѣчая своего портного, я сейчасъ же вспоминалъ Мараѳонскую битву; попадался мнѣ навстрѣчу щеголь-банкиръ Христіанъ Гумпель—онъ приводилъ мнѣ на память разрушеніе Іерусалима; сталкивался я съ португальскимъ другомъ своимъ, задолжавшимъ по уши—въ памяти моей воскресало бѣгство Магомета; сходился со мною университетскій судья, строгая справедливость котораго извѣстна каждому—я вспоминалъ смерть Амана... Да, хронологія вещь необходимая; я знаю людей, у которыхъ въ головѣ нѣтъ ничего, кромѣ двухъ-трехъ хронологическихъ цифръ, и съ ними эти люди отлично умѣли отыскивать въ Берлинѣ дома, а теперь сдѣлались уже ординарными профессорами. Что касается до меня, то хронологія была моимъ мученьемъ въ школѣ! Съ ариѳме-
ло шло еще хуже. Лучше всего я понималъ вычи-
ь которомъ есть очень практическое правило: «че-
трехъ—нельзя; слѣдуетъ занять десятокъ...» Я
вѣтую каждому въ подобномъ случаѣ занимать
грошами больше, потому что нельзя знать, что
ься.

Что касается до латинскаго, то вы, сударыня, не имѣете понятія, какая это сложная штука. Римлянамъ, конечно, не стало бы времени покорить вселенную, если бъ имъ сначала пришлось учиться по-латыни. Эти счастливцы знали уже въ колыбели, какія имена существительныя кончаются въ винительномъ падежѣ на im. А я долженъ былъ учить это наизусть, въ потѣ лица моего; но все-таки доволенъ, что узналъ ихъ. Потому что, скажи я, напримѣръ, 20 іюля 1825 года, когда мнѣ довелось защищать въ Геттингенѣ диссертацію на латинскомъ языкѣ—это стоило послушать, сударыня—такъ скажи я тогда «sinapem» вмѣсто «sinapim», быть-можетъ, присутствовавшіе фуксы замѣтили бы это, и я покрылся бы вѣчнымъ позоромъ... Vis, buris, sitis tussis, cucumis, amussis, cannabis, sinapis... Эти слова, произведшія въ свѣтѣ такое вліяніе, одолжены имъ тому, что они принадлежатъ къ одному опредѣленному классу и при этомъ все-таки остаются исключеніемъ; за это я глубоко уважаю ихъ, и то обстоятельство, что они всегда у меня подъ рукою въ случаѣ нужды, наполняетъ мрачные часы моей жизни внутреннимъ спокойствіемъ и утѣшеніемъ. Но verba irregularia—они отличаются отъ verbis regularibus тѣмъ, что за нихъ больше сѣкутъ—страшно трудны. Въ темныхъ коридорахъ францисканскаго монастыря, недалеко отъ классной комнаты, висѣло въ то время большое распятіе изъ сѣраго дерева — грустный образъ, который еще и теперь является мнѣ порою во снѣ и смотритъ на меня неподвижными, кровавыми глазами... Передъ этимъ распятіемъ часто стоялъ я и молился: «О, Господи, Ты, испытавшій также столько страданій, если возможно, сдѣлай такъ, чтобъ я могъ удержать въ памяти verba irregularia!»

О греческомъ я и говорить не хочу, потому что чувствую, что слишкомъ сильно разстрою себя. Средневѣковые монахи были не совсѣмъ неправы, утверждая, что греческій языкъ—изобрѣтеніе дьявола. Одному Богу извѣстны муки, которыя я вытерпѣлъ, учась по-гречески. Еврейскій легче давался мнѣ, потому что я всегда очень любилъ евреевъ, несмотря на то, что они до сихъ поръ распинаютъ мое доброе имя. Но все-таки съ еврейскимъ я не могъ сладить такъ, ка сладили съ нимъ мои карманные часы, которые им много тайныхъ сношеній съ ростовщиками и оттого усв разные еврейскіе обычаи; напримѣръ, они не шли по с тамъ, и знали библейскій языкъ, и впослѣдствіи тоже матически разработывали его; часто въ безсонныя

мои я съ изумленіемъ слушалъ, какъ они то и дѣло повторяли: «каталъ, каталта, каталти, китталта, киттела, кит-талти, покотъ, покадети, пикатъ, пикъ, пикъ...»

Гораздо лучше усвоилъ я себѣ нѣмецкій языкъ, а онъ тоже не дѣтская игрушка, потому что намъ, бѣднымъ нѣмцамъ, достаточно уже мучимымъ разными военными постоями, повинностями, личными налогами и всевозможными податями, приходится еще возиться съ Аделунгомъ и мучить другъ друга винительнымъ и дательнымъ падежами. Значительной части нѣмецкаго языка меня выучилъ старый ректоръ Шальмейеръ, славный человѣкъ, еще съ дѣтства моего интересовавшійся мною. Кое-что преподалъ мнѣ и профессоръ Шраммъ—человѣкъ, который написалъ сочиненіе о вѣчномъ мирѣ и въ классѣ котораго мои товарищи-мальчики больше всего бѣсновались.

Я такъ расписался, что незамѣтно для самого себя выболталъ здѣсь свои школьныя воспоминанія; пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы сказать вамъ, сударыня, что не моя вина, если я такъ мало выучился географіи, что впослѣдствіи времени не умѣлъ найтись въ свѣтѣ. Дѣло въ томъ, что въ то время французы перепутали всѣ границы; каждый день на ландкартахъ государства окрашивались новой краской: то, что̀ сегодня было голубымъ, вдругъ становилось зеленымъ, а нѣкоторыя являлись даже красно-кровяными; опредѣляемыя учебникомъ души такъ мѣнялись и смѣшивались, что самъ чортъ не отыскалъ бы тутъ толку; измѣнялись также и произведенія земли: тамъ, гдѣ сегодня можно было видѣть только зайцевъ и охотниковъ-дворянчиковъ, завтра росла цикорія и свекла; то же дѣлалось и съ характеромъ народовъ: нѣмцы становились сообщительными, французы перестали говорить комплименты, англичане не выбрасывали за окно денегъ, венеціанцы утрачивали свое пронырство, государи получали значительныя повышенія, старымъ королямъ давали новые мундиры, новыя королевства испекались и расходились, какъ свѣжія булки, многихъ властителей, напротивъ того, выгоняли изъ ихъ владѣній и заставляли заработывать хлѣбъ инымъ способомъ, и нѣкоторые
ихъ занялись ремеслами, напримѣръ, изготовленіемъ
чу или...—сударыня, надо же окончить этотъ періодъ
что я началъ уже задыхаться—словомъ сказать, въ
время трудно хорошо выучиться географіи.
атуральной исторіей справиться легче, тамъ такихъ
не можетъ быть; тутъ есть гравюры, на которыхъ

очень опредѣлительно изображены обезьяны, кенгуру, зебр
носороги и т. п. У меня эти картины остались твердо
памяти, и оттого впослѣдствіи времени мнѣ случалось оче
часто, при первой встрѣчѣ съ человѣкомъ, принимать
за стараго знакомаго.

Миѳологія тоже не стоила мнѣ большого труда. Я ужас
любилъ этихъ голыхъ боговъ, которые такъ весело упр
вляли вселенною. Не думаю, чтобы какой-нибудь учени
въ древнемъ Римѣ выучилъ наизусть лучше меня как
бы то ни было главу изъ курса миѳологіи, хоть напр
мѣръ о любовныхъ интригахъ Венеры... И надо сказа
правду, миѳологія эта въ сущности совсѣмъ не такъ бе
нравственна, какъ о ней прокричали: напримѣръ, Гоме
поступилъ очень цѣломудренно, давъ Венерѣ, у котор
было столько любовниковъ, мужа.

Привольнѣе всего мнѣ было во французскомъ клас
аббата д'Олнуа, эмигранта-француза, написавшаго безчи
ленное множество французскихъ грамматикъ, носивша
рыжій парикъ и уморительно подпрыгивавшаго въ то врем
какъ онъ объяснилъ намъ свой „Art poétique" и сво
Histoire allemande". Во всей гимназіи это былъ единствен
ный человѣкъ, преподававшій исторію Германіи. Впрочем
и французскій языкъ имѣетъ свои трудности, и съ изуче
ніемъ его сопряжено много военныхъ постоевъ, много бар
баннаго боя, много apprendre par coeur, а главное, д
этого надо быть bête allemande. Я помню до сихъ пор
какъ будто это случилось только вчера, сколько непрія
ностей доставила мнѣ la religion. Разъ шесть ко мнѣ обр
щались съ вопросомъ: «Henry, какъ по-французски вѣра
И всѣ шесть разъ я отвѣчалъ со слезами: „Le crédi
Но при седьмомъ разѣ экзаменаторъ побагровѣлъ и бѣше
закричалъ: «Вѣра — по-французски religion» — и тутъ
меня посыпались побои, и всѣ товарищи стали смѣяться
Съ тѣхъ поръ я не могу слышать это слово безъ то
чтобы спина моя не блѣднѣла отъ ужаса, а щеки не кра
нѣли отъ стыда. И долженъ сознаться, что la crédit пр
несъ мнѣ въ жизни больше пользы, чѣмъ la religion... I
эту минуту я вспоминаю, что долженъ еще пять тал
трактирщику «Льва» въ Болоньѣ...

Parbleu, madame, я отлично изучилъ французскій
Я знаю не только нарѣчіе простого народа (patois)
французскій языкъ нѣмецкой аристократіи. Еще н
въ одномъ благородномъ обществѣ, я понялъ почт

вину французскаго разговора двухъ нѣмецкихъ графинь, изъ которыхъ каждая считала себѣ сверхъ шестидесяти четырехъ лѣтъ и почти столько же предковъ. А въ Café-Royal Берлина я разъ слышалъ французскую рѣчь господина Ганса Михеля Мартенса и понялъ каждое слово, хотя ни въ одномъ изъ нихъ не было здраваго смысла. Главное дѣло узнать духъ языка, а онъ лучше всего познается съ помощью барабана. Parbleu! я много благодаренъ французскому барабанщику, долго стоявшему у насъ въ квартирѣ— человѣку съ дьявольской наружностью, но съ ангельскою душою и удивительно хорошо барабанившему.

Это была маленькая, подвижная фигурка съ страшными черными усами, изъ-подъ которыхъ сердито выглядывали красныя губы, между тѣмъ какъ огненные глаза стрѣляли во всѣ стороны.

Я, маленькій мальчикъ, не отставалъ отъ него, точно ренейникъ, и помогалъ ему чистить до яркаго блеска пуговицы и вытирать мѣломъ камзолъ — потому что Monsieur Le Grand желалъ нравиться,—и сопровождалъ его на часы, на сборъ, на парадъ... тутъ не было ничего, кромѣ блеска оружія и веселости... les jours de fête sont passés!—Monsieur Le Grand зналъ очень мало по-нѣмецки—всего нѣсколько общеупотребительныхъ выраженій: «хлѣба, поцѣловать, честь»—но за то онъ отлично умѣлъ заставить понимать себя барабаннымъ боемъ. Напримѣръ, когда я не зналъ, что значитъ слово „liberté", онъ барабанилъ марсельскій маршъ—и я понималъ его. Когда я не зналъ значенія слова „égalité", онъ барабанилъ маршъ: „ça ira, ça ira... les aristocrates à la lanterne!"—и я понималъ его. Когда я не зналъ, что значитъ слово „bêtise", онъ билъ дессаускій маршъ, который мы, нѣмцы, какъ сообщаетъ и Гете, барабанили въ Шампаньи—и я понималъ его. Разъ онъ захотѣлъ разъяснить мнѣ слово „l'Allemagne"—и для этого сталъ барабанить ту слишкомъ однообразную исконную мелодію, которую на ярмаркахъ играютъ танцующимъ собакамъ, именно: «думъ, думъ, думъ». Я разсердился, но понялъ.

Такимъ же точно способомъ училъ онъ меня новой исто-
ютъ и не понималъ словъ, которыя онъ произно-
такъ какъ онъ во время разсказа не переставалъ
, то я тутъ же обо всемъ догадывался. Надо
что это самая лучшая метода обученья. Исторію
Бастиліи, Тюильри и т. п. только тогда можно

хорошо понять, когда знаешь, какъ при этихъ обстоятельствахъ барабанили . . . . . .

. . . . . .

Была ли игра на барабанѣ моею врожденною способностью, или я съ дѣтства много упражнялся въ ней, только страсть къ ней лежитъ во всѣхъ членахъ моихъ, въ рукахъ и ногахъ, и невольно вырывается наружу. Разъ въ Берлинѣ сидѣлъ я на лекціи тайнаго совѣтника Шмальца—человѣка, который спасъ государство сочиненіемъ «объ опасности отъ черныхъ и красныхъ плащей». Вы должны помнить, сударыня, изъ исторіи Павзанія, что въ древности одинъ сильный заговоръ былъ открытъ крикомъ осла; вы знаете также изъ Ливія или изъ всемірной исторіи Беккера, что гуси спасли Капитолій, а Саллустій очень обстоятельно разсказалъ вамъ, что развратница-болтунья Фульвія вывела наружу страшный заговоръ Катилины... Но возвращаюсь къ начатому. Итакъ, сидя на лекціи тайнаго совѣтника Шмальца, я слушалъ народное право. Былъ скучный лѣтній вечеръ, я сидѣлъ на скамьѣ, и слушалъ все меньше и меньше, и, наконецъ, заснулъ... но вдругъ разбудилъ меня шумъ моихъ собственныхъ ногъ, которыя не спали и вѣроятно слышали, что лекція говорила вещи, составляющія совершенную противоположность народному праву и бранила конституціонный образъ мыслей; и тогда эти ноги, которыя смотрятъ на ходъ міровыхъ событій своими маленькими мозолями яснѣе, чѣмъ г. тайный совѣтникъ своими большими, Юноновыми глазами—эти бѣдныя нѣмыя ноги, не умѣющія высказывать свое мнѣніе словами, захотѣли выразить его барабаннымъ боемъ и забарабанили такъ сильно, что я чуть не попался въ большую бѣду.

Проклятыя, вѣтреныя ноги! Онѣ сыграли со мною такую же штуку, когда я однажды въ Геттингенѣ сидѣлъ на лекціи профессора Зальфельда, который съ своею угловатою подвижностью подпрыгивалъ на каѳедрѣ и ужасно горячился, стараясь въ пухъ и прахъ разбранить императора Наполеона. Какъ вы забарабанили тогда, ноги мои! И я не сержусь на васъ за это, не разсердился бы и въ томъ случаѣ, если бы вы въ вашей нѣмой наивности высказались бы еще явственнѣе на своемъ ножномъ языкѣ! Могъ ли я, ученикъ Ле-Грана, слушать оскорбленіе императора! Императора! императора! великаго императора!

Чуть вспомню я о великомъ императорѣ, въ душѣ снова воскрессаютъ зеленые, какъ лѣто, золотые о

Встаетъ передо мною, расцвѣтая, длинная липовая аллея, на сплетающихся вѣтвяхъ сидятъ поющіе соловьи, шумитъ водопадъ, на круглыхъ грядкахъ растутъ цвѣты и задумчиво качаютъ прелестными головками... Между мною и ими было какое-то чудное сродство, накрашенные тюльпаны кланялись мнѣ спѣсиво-покровительственно, нервно-больныя лиліи кивали съ нѣжною грустью, ярко-красныя розы уже издалека улыбались мнѣ навстрѣчу, ночныя фіалки вздыхали... съ миртами и лаврами я еще не былъ въ это время знакомъ, потому что они не привлекали къ себѣ яркимъ цвѣтомъ, но съ резедою, съ которою мы теперь въ такихъ дурныхъ отношеніяхъ, я былъ особенно интименъ... Я говорю здѣсь о придворномъ дюссельдорфскомъ садѣ, гдѣ я часто лежалъ на травѣ, благоговѣйно слушая, какъ Monsieur Le Grand разсказывалъ о военныхъ дѣяніяхъ великаго императора и при этомъ билъ маршъ, который барабанили во время этихъ дѣяній,—такъ что я точно на яву видѣлъ и слышалъ все это... Мнѣ видѣлся переходъ черезъ Симплонъ, императоръ впереди, а за нимъ ползущіе вверхъ храбрые гренадеры при крикахъ испуганныхъ птицъ и гулѣ ледниковъ въ отдаленіи. Видѣлъ я императора съ знаменемъ въ рукѣ на Лодійскомъ мосту; видѣлъ я императора въ сѣромъ плащѣ при Маренго; видѣлъ я императора на конѣ, въ битвѣ при пирамидахъ... ничего, кромѣ запаха пороха и мамелюковъ; видѣлъ я императора въ аустерлицкой битвѣ... у, какъ пули свистѣли на ледяной равнинѣ!.. Видѣлъ я и слышалъ битвы при Эйлау, Ваграмѣ... Нѣтъ, больше я не могъ выдержать!.. Monsieur Le Grand барабанилъ такъ, что едва не прорвалась моя собственная барабанная полость...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Но что сталось со мною, когда я увидѣлъ въ первый разъ, увидѣлъ своими собственными, высокоблаженными глазами—его самого, осанна! императора!

Это случилось въ той же самой аллеѣ придворнаго дюссельдорфскаго сада. Пробираясь сквозь зѣвающую толпу, я думалъ о дѣяніяхъ, о битвахъ, о которыхъ пробарабанилъ мнѣ Monsieur Le Grand, и сердце мое било генеральный маршъ; но въ то же время я думалъ о приказаніи полиціи запрещавшемъ, подъ опасеніемъ пяти талеровъ штрафу, ѣздить посрединѣ аллеи. А императоръ со своею свитою ѣхалъ какъ разъ посрединѣ аллеи; деревья вздрагивали, преклонялись при его приближеніи, солнечные лучи с

боязливымъ любопытствомъ проглядывали сквозь зеленыя вѣтви, а по голубому небу явственно плыла золотая звѣзда. Императоръ былъ въ своемъ простомъ зеленомъ мундирѣ и маленькой, всемірно-исторической шляпѣ. Онъ ѣхалъ на бѣленькой лошадкѣ, и она шла такъ спокойно-гордо, такъ увѣренно, такъ изящно... будь я въ то время королевскимъ прусскимъ принцемъ, я бы позавидовалъ этой лошадкѣ. Небрежно, почти повиснувъ, сидѣлъ императоръ, одною рукою высоко держа поводъ, другою добродушно трепля по шеѣ лошадки... То была лучезарно-мраморная рука—могучая рука, одна изъ двухъ рукъ, которыя связали многоголовое чудовище анархіи и прекратили поединокъ народовъ,—и она добродушно трепала по шеѣ лошади. И лицо его было тоже того цвѣта, который мы находимъ въ мраморныхъ головахъ греческихъ и римскихъ статуй. Черты этого лица были такія же благородно-пропорціональныя, какъ и у античныхъ фигуръ, и на лицѣ этомъ было написано: «Ты никакому богу не долженъ поклоняться, кромѣ меня». Улыбка, согрѣвавшая и успокоивавшая каждое сердце, мелькала на губахъ его, а между тѣмъ, всѣ знали, что стоило этимъ губамъ свиснуть—et la Prusse n'èxistait plus; стоило этимъ губамъ свиснуть—и вся священная имперія заплясала бы. А эти губы улыбались, и глаза тоже улыбались... То были глаза чистые, какъ небо; они умѣли читать въ сердцахъ людей, они разомъ понимали всѣ вещи міра сего, между тѣмъ какъ мы узнаемъ ихъ постепенно и видимъ только окрашенныя ихъ тѣни... Лобъ его не былъ такъ чистъ: тутъ гнѣздились духи будущихъ битвъ, и по временамъ этотъ лобъ точно вздрагивалъ—то были творческія мысли, великія мысли въ сапогахъ-скороходахъ, съ которыми духъ императора незримо пробѣгалъ по вселенной, и я увѣренъ, что каждая изъ нихъ дала бы нѣмецкому писателю обильный сюжетъ для сочиненій на всю жизнь.

Императоръ ѣхалъ спокойно посрединѣ аллеи, ни одинъ полицейскій чиновникъ не дѣлалъ ему замѣчанія; позади его, гордо сидя на вспѣненныхъ коняхъ, вся залитая золотомъ, ѣхала свита, барабаны били, трубы звучали, подлѣ меня вертѣлся сумасшедшій Алоизій и гнусилъ имена французскихъ генераловъ, невдалекѣ мычалъ пьяный Гумперцъ, а народъ кричалъ тысячью голосовъ: «да здравствуетъ императоръ!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Императоръ умеръ. На пустомъ островѣ Атлантическаго океана одинокая могила его, а онъ, для котораго вся земля была слишкомъ тѣсна, лежитъ спокойно подъ маленькой насыпью, гдѣ пять плакучихъ ивъ печально свѣсили внизъ свои зеленые волосы, и набожно ручеекъ пробѣгаетъ съ тоскливымъ журчаньемъ. На гробовомъ камнѣ нѣтъ никакой надписи; но Кліо карандашомъ справедливости начертала на немъ невидимыя слова, которыя будутъ звучать цѣлыя столѣтія, какъ голоса таинственныхъ духовъ.

Британія! тебѣ принадлежитъ море. Но въ этомъ морѣ мало воды для того, чтобы смыть позоръ, который завѣщалъ тебѣ, умирая, великій мертвецъ... А вѣдь онъ былъ твоимъ гостемъ, онъ садился у очага твоего!..

До позднѣйшихъ временъ будутъ дѣти Франціи пѣть и говорить о страшномъ гостепріимствѣ «Беллерофона», и если эти пѣсни, полныя насмѣшки и слезъ, проникнутъ за проливъ—тогда покраснѣютъ щеки всѣхъ честныхъ англичанъ! Но когда-нибудь эта пѣсня непремѣнно проникнетъ туда—и тогда не станетъ Британіи, падетъ во прахъ гордый народъ, обратятся въ развалины вестминстерскія гробницы, и царственный прахъ, заключающійся въ нихъ, забудется. А святая Елена сдѣлается священнымъ мѣстомъ, куда народы Запада и Востока будутъ стекаться на поклоненіе на судахъ, изукрашенныхъ флагами, и укрѣпятъ свои сердца великимъ воспоминаніемъ о дѣяніяхъ великаго человѣка, пострадавшаго при Гудсонѣ Ло, какъ сказано въ писаніи Ласъ-Каза, О'Меара и Антомархи!..

Странно! Трехъ величайшихъ противниковъ императора постигнула страшная участь: Лондондерри перерѣзалъ себѣ горло, Людовикъ XVIII сгнилъ на своемъ тронѣ, а профессоръ Заальфельдъ все еще профессоромъ въ Геттингенѣ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Былъ ясный, холодный осенній день, когда молодой человѣкъ, съ виду похожій на студента, медленно проходилъ по аллеѣ придворнаго дюссельдорфскаго сада, порою, какъ шалунъ-ребенокъ, подбрасывалъ ногами листья, покрывавшіе землю; но порою также тоскливо смотрѣлъ на

обнаженныя деревья, на которыхъ висѣло еще только немного золотыхъ листьевъ. Глядя на нихъ, онъ вспоминалъ слова Главка:

«Такъ, какъ древесные листья, проходятъ людей поколѣнья:
Листья древесные вѣтеръ разноситъ и снова другіе
Съ каждою новой весною въ цвѣтущемъ лѣсу зеленѣютъ;
Такъ и людей поколѣнья: тѣ падаютъ, эти родятся!»

Въ прежніе годы, молодой человѣкъ съ совсѣмъ иными мыслями смотрѣлъ на эти самыя деревья: въ то время онъ былъ ребенкомъ, отыскивалъ птичьи гнѣзда или лѣтнихъ жучковъ, которые забавляли его, когда весело жужжали, наслаждались прелестнымъ міромъ и довольствовались сочно-зеленымъ листочкомъ, каплею росы, теплымъ лучомъ солнца, милымъ благоуханіемъ травъ. Тогда и въ сердцѣ мальчика было такъ свѣтло, какъ въ сердцѣ летучихъ насѣкомыхъ. Но теперь это сердце постарѣло, потухли въ немъ маленькіе солнечные лучи, завяли всѣ цвѣты, исчезнула даже прекрасная грёза любви, и только и осталось въ бѣдномъ сердцѣ, что мужество и печаль, и—что грустнѣе всего—это было мое сердце.

Именно въ тотъ день я вернулся въ свой родимый городъ, но не хотѣлъ ночевать въ немъ и стремился въ Годесбергъ, чтобы сѣсть у ногъ моей подруги и поговорить о маленькой Вероникѣ. Я ходилъ на могилы милыхъ. Изъ всѣхъ живыхъ друзей и родственниковъ у меня не осталось здѣсь никого, кромѣ дяди и тетки. Если и попадались мнѣ на улицахъ знакомыя лица, то никто не узнавалъ меня—и самъ городъ смотрѣлъ на меня чуждыми глазами, въ это время много домовъ выкрасили за-ново, изъ окошекъ выглядывали незнакомыя лица, вокругъ старыхъ трубъ летали тощіе воробьи, все имѣло такой мертвенный и вмѣстѣ свѣжій видъ, какъ салатъ, растущій на кладбищѣ; гдѣ прежде говорили по-французски, теперь слышался прусскій языкъ, успѣлъ даже устроиться здѣсь маленькій прусскій дворикъ и люди носили придворные титулы, прежняя парикмахерша моей матери сдѣлалась гофъ-парикмахершею, и были тутъ гофъ-портные, гофъ-сапожники, гофъ-истребители клоповъ, гофъ-цѣловальники, и весь городъ казал гофъ-лазаретомъ для гофъ-умалишенныхъ. Только ста курфирстъ узналъ меня; онъ все стоялъ на старомъ мѣс только, казалось, похудѣлъ. Вѣдь постоянно, стоя посреди площади, онъ видѣлъ всю современную misère, а отъ эт

зрѣлища не потолстѣешь. Я былъ точно какъ во снѣ и думалъ о сказкѣ объ околдованныхъ городахъ, и быстро пошелъ къ городскимъ воротамъ, чтобы не проснуться слишкомъ рано. Въ придворномъ саду многихъ деревьевъ не доставало, многія сгнили, а четыре большихъ тополя, казавшихся мнѣ когда-то зелеными великанами, теперь сдѣлались маленькими. Нѣсколько красивыхъ, разряженныхъ дѣвушекъ гуляли по саду, точно ходячіе тюльпаны. И этихъ тюльпановъ зналъ я, когда они были еще луковицами; это вѣдь были наши сосѣди, и съ ними когда-то игралъ я въ «Принцессину башню». Зато прекрасныя дѣвушки, которыхъ я зналъ цвѣтущими розами, теперь оказались розами поблеклыми, и не по одному челу, гордое выраженіе котораго восхищало меня въ былые дни, Сатурнъ провелъ косою глубокія морщины. Только теперь, но— увы!—слишкомъ поздно, открылъ я, что значили взгляды, которые онѣ нѣкогда бросали на уже становившагося юношею мальчика. Глубоко потрясъ меня низкій и смиренный поклонъ человѣка, котораго я прежде видѣлъ богатымъ и знатнымъ, и который теперь впалъ въ нищету, какъ и вообще всюду люди, когда разъ начинаютъ падать, то, слѣдуя Ньютонову закону, падаютъ все съ большею и большею, страшною быстротою. Но въ комъ я не нашелъ никакой перемѣны, такъ это въ маленькомъ барабанѣ, который, какъ прежде, весело припрыгивалъ по дорожкѣ придворнаго сада, одной рукою приподнявъ лѣвую полу сюртука, а другою помахивая своею тонкою, камышевою тросточкой. Это было то же привѣтливое личико, котораго румянецъ сосредоточился на носѣ; это была та же конусообразная шляпенка, это была та же самая косичка, только изъ нея выглядывало нѣсколько сѣдыхъ волосковъ, на мѣсто прежнихъ черныхъ. Но какъ ни весело смотрѣлъ онъ, я все-таки зналъ, что бѣдный баронъ перенесъ въ это время много горя, личико его хотѣло скрыть это отъ меня, но сѣдые волосенки косички выдали его сзади. Но и сама косичка, казалось, хотѣла опровергнуть мое заключеніе и качалась очень весело.

былъ утомленъ, но мнѣ захотѣлось посидѣть еще ь деревянной скамейкѣ, на которой я когда-то выимя моей милой. Я едва могъ отыскать его, потому скамьѣ было вырѣзано много новыхъ именъ. Ахъ! я спалъ на этой скамьѣ и грезилъ о счастьѣ любви.) же, что *пѣна морская*!» Вспомнилъ я и былыя

дѣтскія игры, и былыя чудныя сказки!—Но новая, фальшивая игра и новая, отвратительная сказка все путались въ эти воспоминанія, и то была исторія двухъ сердецъ, которыя измѣнили другъ другу и потомъ такъ далеко простерли свое вѣроломство, что стали обманывать самого Бога. Это скверная исторія, и когда нечего лучше дѣлать, можно плакать надъ нею. О, Господи! Когда-то міръ былъ такъ прекрасенъ, и птицы пѣли вѣчную хвалу Твою, и маленькая Вероника смотрѣла на меня спокойными глазами, и мы сидѣли передъ мраморною статуею на площади замка... по одной сторонѣ ея стоитъ старый опустѣлый замокъ, гдѣ ходятъ привидѣнія и по ночамъ прохаживается женщина безъ головы, въ черномъ шелковомъ платьѣ съ длиннымъ, шелестящимъ шлейфомъ; по другой—возвышается бѣлое зданіе, въ верхнихъ комнатахъ котораго чудно блестятъ пестрыя картины въ золотыхъ рамахъ, а въ нижнихъ помѣщалось нѣсколько тысячъ огромныхъ книгъ, на которыя я и маленькая Вероника часто смотрѣли съ любопытствомъ, когда набожная Урсула подымала насъ къ большому окошку... Послѣ, сдѣлавшись взрослымъ мальчикомъ, я каждый день взбирался въ этихъ комнатахъ по самымъ высокимъ лѣстницамъ, вынималъ самыя высокія книги и читалъ такъ много, что пересталъ бояться чего бы то ни было, тѣмъ болѣе женщинъ безъ головы, и, наконецъ, сталъ такимъ ученымъ, что позабылъ всѣ старыя дѣтскія игры и сказки, и картинки, и маленькую Веронику, и самое имя ея.

Но между тѣмъ, какъ я сидѣлъ на старой скамьѣ придворнаго сада, погруженный въ грёзы о прошломъ, сзади послышался смѣшанный шумъ человѣческихъ голосовъ, оплакивавшихъ судьбу бѣдныхъ французовъ, которые во время русской войны были взяты въ плѣнъ, сосланы въ Сибирь, продержаны тамъ нѣсколько лѣтъ, несмотря на то, что миръ былъ уже заключенъ, и только теперь возвратились на родину. Я поднялъ глаза и дѣйствительно увидѣлъ этихъ осиротѣлыхъ дѣтей славы; сквозь дыры ихъ изодранныхъ мундировъ проглядывала обнаженная нищета, на измученныхъ лицахъ лежали впалые, скорбящіе глаза; но и истомленные, изувѣченные и большею частью хромые, они все-таки сохраняли военный шагъ, и—странное дѣло—впереди ихъ ковылялъ барабанщикъ со своимъ барабаномъ... Внутреннимъ ужасомъ охватило меня воспоминаніе преданія о солдатахъ, которые, павъ днемъ въ битвѣ, ночью снова встаютъ съ поля сраженія и, предводительствуемые бара

банщикомъ, идутъ къ своей родинѣ, и о которыхъ поется въ старой народной пѣснѣ:

Въ барабанъ онъ бьетъ и бьетъ—
Вотъ они ужъ у воротъ,
Уличкой пошли знакомой,
Траллери, треллерей, траллера,
Мимо дорогой подружки дома.

Утромъ кости ихъ стоятъ,
Какъ надгробныхъ камней рядъ,
Барабанщикъ барабанитъ—
Траллери, траллерей, траллера,
Дѣвица на милаго пусть взглянетъ.

Дѣйствительно, бѣдный французскій барабанщикъ казался полуистлѣвшимъ выходцемъ изъ могилы; это была какая-то маленькая тѣнь въ выпачканной, изорванной сѣрой шинели, мертвенное, желтое лицо, съ большими усами, грустно ниспадавшими на поблѣднѣвшія губы, глаза были похожи на потухшія головешки, въ которыхъ осталось еще нѣсколько искръ... и несмотря на то, по одной только изъ этихъ искръ я узналъ Monsieur Le Grand.

И онъ узналъ меня, и усадилъ меня съ собой на траву, и такъ сидѣли мы, какъ бывало, когда онъ на барабанѣ преподавалъ мнѣ французскій языкъ и новую исторію. У него былъ тотъ же знакомый старый барабанъ, и я не могъ достаточно надивиться, какъ онъ спасъ этотъ инструментъ отъ русскаго корыстолюбія. Онъ сталъ опять барабанить, какъ прежде, но уже ничего не говорилъ при этомъ. Зато, если губы его были мрачно сжаты, то тѣмъ больше высказывали глаза, побѣдоносно сверкавшіе въ то время, какъ онъ барабанилъ старые марши. Тополи около насъ задрожали, когда онъ снова заигралъ красный маршъ. И барабанилъ онъ такъ же опять, какъ прежде, про старыя битвы за свободу, про старыя сраженія, про дѣянія императора; и казалось, что барабанъ—самъ живое существо, радовавшееся, что можетъ высказать свое внутреннее наслажденіе. Снова услышалъ я грохотъ пушекъ, свистъ пуль, шумъ сраженія, снова увидѣлъ геройское мужество гвардіи, увидѣлъ развѣвающіяся знамена, снова увидѣлъ импе-
на конѣ... Но мало-по-малу въ веселые звуки эти
ся унылый тонъ, изъ барабана вылетѣли звуки, въ
къ самое дикое ликованіе зловѣще смѣшивалось съ
страшнымъ отчаяньемъ: точно побѣдный маршъ
вмѣстѣ съ похороннымъ, глаза Ле-Грана раскры-

лись широко, какъ у привидѣнія, и я увидѣлъ въ нихъ только широкую, снѣжную равнину, усѣянную трупами... то было сраженіе подъ Москвою...

Никогда я не думалъ, чтобъ старый, жесткій барабанъ могъ издавать такіе болѣзненные звуки, какіе вызывалъ теперь изъ него Monsieur Le Grand. То были выбарабаненныя слезы, и онѣ звучали все тише и тише, и какъ мрачное эхо вырвались глубокіе вздохи изъ груди Ле-Грана. А онъ становился все блѣднѣе и призрачнѣе, тощія руки его дрожали отъ холода, онъ сидѣлъ, какъ во снѣ, и водилъ своими палочками только по воздуху, и какъ будто прислушивался къ отдаленнымъ голосамъ, и, наконецъ, посмотрѣлъ на меня глубокимъ, неизмѣримо глубокимъ, умоляющимъ взоромъ... я понялъ его... и тогда голова его скатилась на барабанъ.

Monsieur Le Grand не барабанилъ больше въ этой жизни. И барабанъ его съ тѣхъ поръ не издалъ ни одного звука; онъ не долженъ былъ служить рабскимъ инструментомъ въ рукахъ враговъ свободы... я очень хорошо понялъ послѣдній, умоляющій взоръ Ле-Грана, вынулъ шпагу изъ моей палки и прокололъ барабанъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!

Но жизнь человѣческая въ сущности такъ фатально серьезна, что ее нельзя было бы перенести безъ такого соединенія патетическаго съ комическимъ. Наши поэты знаютъ это. Самыя страшныя картины человѣческаго безумія Аристофанъ показываетъ намъ только въ смѣющемся зеркалѣ остроумія; великую скорбь мыслителя, сознающаго свое ничтожество, Гёте осмѣливается высказать только въ дубоватыхъ стихахъ театра маріонетокъ; отчаяннѣйшія жалобы о бѣдствіяхъ вселенной Шекспиръ влагаетъ въ уста шута и печально трясетъ въ это время погремушками его дурацкаго колпака.

Всѣ они взяли примѣръ съ великаго родоначальника поэтовъ, который въ своей тысячеактной всемірной трагедіи умѣетъ доводить юморъ до высочайшей степени, какъ это мы видимъ каждый день: послѣ ухода героевъ всегда являются на сцену клоуны и «граціозо» со своими дурацкими колпаками и дубинками, послѣ кровавыхъ сценъ революціи и дѣяній императора снова выскакиваютъ толстые Бурбоны со своими старыми, отжившими шуточками

нѣжно-легитимистскими остротами, и подлѣ нихъ граціозно припрыгиваетъ старая ноблесса со своею проголодавшеюся улыбкою, а позади шествуютъ въ процессіи набожные капуцины. Даже въ высшій паѳосъ всемірной трагедіи вкрадываются комическія черты: отчаянный республиканецъ, поражающій себя, какъ Брутъ, ножомъ въ сердце, прежде, можетъ-быть, понюхаетъ, не рѣзали ли этимъ ножомъ тоже селедку, и на этой великой всемірной сценѣ все дѣлается, кромѣ того такъ, какъ и на нашихъ жалкихъ театральныхъ подмосткахъ; и тутъ есть пьяные герои, государи, забывающіе свои роли, кулисы, висящія въ воздухѣ, громко раздающійся голосъ суфлера, танцорки, производящія эффектъ поэзіею своихъ ляшекъ, костюмы, блестящіе, какъ главная вещь... А въ это время, наверху, въ царствѣ боговъ, сидятъ въ первомъ ряду безсмертные и смотрятъ въ бинокль внизъ, на насъ, комедіантовъ, а Юпитеръ сидитъ серьезно въ своей большой ложѣ и, быть-можетъ, скучаетъ, или разсчитываетъ, что этому театру нельзя долго продержаться, потому что одинъ актеръ получаетъ слишкомъ большое жалованье, а другой—слишкомъ маленькое, и всѣ играютъ очень ужъ плохо.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame! Въ то время, какъ я оканчивалъ предыдущую главу и разсказывалъ вамъ, какъ Monsieur Le Grand умеръ и какъ я добросовѣстно исполнилъ testamentum militaire, написанное въ его послѣднемъ взглядѣ, постучались ко мнѣ въ дверь, и въ комнату вошла бѣдная старуха, дружески спросившая меня: докторъ ли я? Я отвѣчалъ утвердительно, и тогда она очень дружески попросила меня пойти къ ней въ домъ и вырѣзать ея мужу мозоли.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Нѣмецкіе цензоры . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . глупыя головы . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

лись широко, какъ у привидѣнія, и я увидѣлъ въ нихъ только широкую, снѣжную равнину, усѣянную трупами... то было сраженіе подъ Москвою...

Никогда я не думалъ, чтобъ старый, жесткій барабанъ могъ издавать такіе болѣзненные звуки, какіе вызывалъ теперь изъ него Monsieur Le Grand. То были выбарабаненныя слезы, и онѣ звучали все тише и тише, и какъ мрачное эхо вырвались глубокіе вздохи изъ груди Ле-Грана. А онъ становился все блѣднѣе и призрачнѣе, тощія руки его дрожали отъ холода, онъ сидѣлъ, какъ во снѣ, и водилъ своими палочками только по воздуху, и какъ будто прислушивался къ отдаленнымъ голосамъ, и, наконецъ, посмотрѣлъ на меня глубокимъ, неизмѣримо глубокимъ, умоляющимъ взоромъ... я понялъ его... и тогда голова его скатилась на барабанъ.

Monsieur Le Grand не барабанилъ больше въ этой жизни. И барабанъ его съ тѣхъ поръ не издалъ ни одного звука; онъ не долженъ былъ служить рабскимъ инструментомъ въ рукахъ враговъ свободы... я очень хорошо понялъ послѣдній, умоляющій взоръ Ле-Грана, вынулъ шпагу изъ моей палки и прокололъ барабанъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!

Но жизнь человѣческая въ сущности такъ фатально серьезна, что ее нельзя было бы перенести безъ такого соединенія патетическаго съ комическимъ. Наши поэты знаютъ это. Самыя страшныя картины человѣческаго безумія Аристофанъ показываетъ намъ только въ смѣющемся зеркалѣ остроумія; великую скорбь мыслителя, сознающаго свое ничтожество, Гёте осмѣливается высказать только въ дубоватыхъ стихахъ театра маріонетокъ; отчаяннѣйшія жалобы о бѣдствіяхъ вселенной Шекспиръ влагаетъ въ уста шута и печально трясетъ въ это время погремушками его дурацкаго колпака.

Всѣ они взяли примѣръ съ великаго родоначальника поэтовъ, который въ своей тысячеактной всемірной трагедіи умѣетъ доводить юморъ до высочайшей степени, какъ э мы видимъ каждый день: послѣ ухода героевъ всег являются на сцену клоуны и «граціозо» со своими дура кими колпаками и дубинками, послѣ кровавыхъ сценъ р волюціи и дѣяній императора снова выскакиваютъ толсть *Бурбоны со* своими старыми, отжившими шуточками

нѣжно-легитимистскими остротами, и подлѣ нихъ граціозно припрыгиваетъ старая ноблесса со своею проголодавшеюся улыбкою, а позади шествуютъ въ процессіи набожные капуцины. Даже въ высшій паѳосъ всемірной трагедіи вкрадываются комическія черты: отчаянный республиканецъ, поражающій себя, какъ Брутъ, ножомъ въ сердце, прежде, можетъ-быть, понюхаетъ, не рѣзали ли этимъ ножомъ тоже селедку, и на этой великой всемірной сценѣ все дѣлается, кромѣ того такъ, какъ и на нашихъ жалкихъ театральныхъ подмосткахъ; и тутъ есть пьяные герои, государи, забывающіе свои роли, кулисы, висящія въ воздухѣ, громко раздающійся голосъ суфлера, танцорки, производящія эффектъ поэзіею своихъ ляшекъ, костюмы, блестящіе, какъ главная вещь... А въ это время, наверху, въ царствѣ боговъ, сидятъ въ первомъ ряду безсмертные и смотрятъ въ бинокль внизъ, на насъ, комедіантовъ, а Юпитеръ сидитъ серьезно въ своей большой ложѣ и, быть-можетъ, скучаетъ, или разсчитываетъ, что этому театру нельзя долго продержаться, потому что одинъ актеръ получаетъ слишкомъ большое жалованье, а другой—слишкомъ маленькое, и всѣ играютъ очень ужъ плохо.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame! Въ то время, какъ я оканчивалъ предыдущую главу и разсказывалъ вамъ, какъ Monsieur Le Grand умеръ и какъ я добросовѣстно исполнилъ testamentum militaire, написанное въ его послѣднемъ взглядѣ, постучались ко мнѣ въ дверь, и въ комнату вошла бѣдная старуха, дружески спросившая меня: докторъ ли я? Я отвѣчалъ утвердительно, и тогда она очень дружески попросила меня пойти къ ней въ домъ и вырѣзать ея мужу мозоли.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Нѣмецкіе цензоры . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . глупыя головы . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Сударыня! Подъ высиживавшими полушаріями Леды лежала уже цѣлая троянская война, и вы никакъ не поняли бы знаменитыхъ слезъ Пріама, если бы я не разсказалъ вамъ сперва о древнихъ лебединыхъ яйцахъ. Поэтому не сердитесь на меня за мои отступленія. Во всѣхъ предыдущихъ главахъ нѣтъ ни одной строчки, которая не шла бы къ дѣлу, я пишу сжато, избѣгаю всего излишняго, а иногда даже пропускаю необходимое: напримѣръ, до сихъ поръ я ни разу не цитировалъ, какъ слѣдуетъ, ни одного писателя, а между тѣмъ цитаты изъ старыхъ и новыхъ сочиненій составляютъ главное удовольствіе молодого литератора, и двѣ-три ученыя цитаты такъ хорошо украшаютъ самого человѣка. Только, пожалуйста, не подумайте, сударыня, что я поступаю такъ по недостатку знакомства съ заглавіями сочиненій. Я, кромѣ того, знаю ловкій пріемъ великихъ ученыхъ, которые отлично умѣютъ выковыривать изюминки изъ булокъ и цитаты изъ университетскихъ записокъ; я знаю также, откуда Бартель почерпаетъ виноградный сокъ. Въ случаѣ нужды я могъ бы дѣлать заемъ цитатъ у моихъ ученыхъ друзей. Мой берлинскій другъ Г., такъ сказать, маленькій Ротшильдъ по отношенію къ цитатамъ и охотно дастъ мнѣ взаймы нѣсколько милліоновъ ихъ; а не будетъ у него такого количества въ наличности, такъ онъ легко перехватитъ ихъ у какихъ-нибудь другихъ космополитическихъ умственныхъ банкировъ.—Кстати, сударыня, съ трехпроцентными Беками вяло, но пятипроцентные Гегели поднялись въ гору.—Но мнѣ въ настоящее время нѣтъ еще никакой нужды дѣлать заемъ; я очень хорошо обезпеченъ на этотъ счетъ и могу проживать десять тысячъ цитатъ въ годъ; я даже изобрѣлъ, какъ фальшивыя цитаты выдавать за истинныя. Если бы какой-нибудь великій и богатый ученый, напримѣръ, Михель Беръ, захотѣлъ купить у меня это открытіе, я бы охотно продалъ его за 10.000 талеровъ; впрочемъ, согласенъ и поторговаться. Сдѣлалъ я и другое открытіе, о которомъ не хочу умолчать для спасенія литературы и сообщу его здѣсь даромъ.

Именно, по моему мнѣнію, полезно цитировать всѣхъ вѣдомыхъ авторовъ нумерами ихъ домовъ.

У этихъ «добрыхъ людей и скверныхъ музыкантовъ» такъ обращается къ оркестру Понсъ-де-Леонъ—у эт невѣдомыхъ авторовъ всегда остается какой-нибудь экземп

чикъ ихъ давно-забытой книжечки, и чтобы найти ее, нужно, слѣдовательно, знать нумеръ дома сочинителя. Такъ, напримѣръ, если бы я цитировалъ «маленькій пѣсенникъ для ремесленниковъ, сочиненіе Спитты»—гдѣ бы вы отыскали его, милая Madame? А напиши я: «смотри маленькій пѣсенникъ для ремесленниковъ, сочиненіе П. Спитты, въ Люнебургѣ, въ Люнеровой улицѣ, № 2, на правомъ углу»—вы, если бы сочли, что стоитъ потрудиться отыскать эту книжонку, нашли бы ее. Только трудиться не стоитъ.

Впрочемъ, сударыня, вы не имѣете понятія о томъ, съ какою легкостью я могу цитировать. Вездѣ я нахожу удобный случай выказать мою глубокую ученость. Такъ, напримѣръ, заговорю я объ ѣдѣ, то сейчасъ же замѣчаю въ выноскѣ, что римляне, греки и евреи тоже ѣли, при этомъ вычисляю всѣ вкусныя кушанья, которыя изготовляла кухарка Лукулла (о, горе, что я родился полутора столѣтіями позже!), и тутъ же замѣчаю, что общественные обѣды у грековъ назывались такъ-то и такъ-то, и что спартанцы ѣли скверный черный супъ... Хорошо, что я въ то время еще не жилъ: мнѣ ужасно подумать даже, что я, бѣдный человѣкъ, могъ сдѣлаться спартанцемъ, потому что супъ—мое любимое кушанье... Я думаю, сударыня, въ скоромъ времени съѣздить въ Лондонъ; но если дѣйствительно справедливо, что тамъ нельзя достать супу, то тоска сейчасъ же заставитъ меня вернуться къ милымъ суповымъ чашкамъ моей родины. О кухнѣ древнихъ евреевъ я бы могъ распространиться очень подробно и дойти до іудейской кухни новѣйшаго времени; по этому случаю я цитирую всего Штейнвега... Могъ бы я также разсказать, какъ гуманно многіе берлинскіе ученые разсуждали объ іудейской ѣдѣ; потомъ я перешелъ бы къ другимъ превосходствамъ и преимуществамъ евреевъ, къ открытіямъ, которыми мы одолжены имъ, каковы, напримѣръ, заемныя письма. . . . . .

. . . . . .

Заговоривъ объ евреяхъ, я при этомъ случаѣ могъ бы цитировать Тацита, который говоритъ, что евреи поклонялись ослу въ своихъ храмахъ; а по поводу ословъ, какое широ- для цитатъ открылось бы предо мною! Сколько ьнаго можно бы сказать о древнихъ ослахъ, въ с новыми! Какъ умны были первые и, ахъ! послѣдніе! Какъ разумно, напр., разсуждаетъ ма, vid. Pentat. lib... сударыня, у меня нѣтъ дъ рукой, и я оставлю тутъ пробѣлъ. Напро-

тивъ того, чтобъ доказать нелѣпость новыхъ ословъ, я цитирую:

Vid. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Нѣтъ, и здѣсь я оставлю пробѣлъ, а то меня потребуютъ въ судъ за оскорбленіе. Новые ослы — большіе ослы. Древніе ослы, которые были такъ высоко образованы—vid. Gesneri De antiqua honestate asinorum, in comment. Gotting. T. II, p. 32,—повернулись бы въ могилахъ, если бъ услыхали, какъ говорятъ объ ихъ потомкахъ. Въ былое время слово «оселъ» было почетнымъ названіемъ: оно означало то же, что теперь гофратъ, баронъ, докторъ философіи. Іаковъ сравниваетъ съ осломъ своего сына Исахара, Гомеръ—своего героя Аяска, а теперь сравниваютъ съ нимъ господина фонъ ***! По поводу подобныхъ ословъ, сударыня, я бы могъ зайти далеко въ исторію литературы и цитировать всѣхъ великихъ людей, бывшихъ влюбленными, напримѣръ, Абелардуса, Пикуса Мирандольскаго, Борбоніуса, Куртезіуса, Ангелуса Полиціануса, Раймундуса, Луллуса и Гейнрихуса Гейнеуса. Заговоривъ о любви, я бы цитировалъ всѣхъ людей, не курившихъ табаку, какъ, напримѣръ: Цицерона, Юстиніана, Гете, Гуго, себя—случайно мы всѣ пятеро отчасти юристы. Мабильонъ не могъ переносить даже запаха чужой трубки; въ своемъ «Intinere germanico», онъ, говоря о нѣмецкихъ трактирахъ, жалуется «quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor». Напротивъ того, другимъ великимъ людямъ приписываютъ любовь къ табаку. Рафаэль Торусъ написалъ гимнъ въ честь табака—сударыня, вы, можетъ-быть, еще не знаете, что Исаакъ Элзевиріусъ издалъ этотъ гимнъ въ Лейденѣ, въ 1628 году, въ форматѣ in quarto,—а Людовикъ Кипшотъ написалъ къ нему предисловіе въ стихахъ. Гревіусъ сочинилъ даже сонетъ о табакѣ. И великій Боксгор тоже любилъ табакъ. Бейль въ своемъ «Dict. hist. e tique» разсказываетъ о немъ, что великій Боксгорніу время куренія носилъ на головѣ большую шляпу съ на переднемъ полѣ, въ которую онъ часто вставлялъ трубку, чтобъ она не мѣшала ему заниматься. Кстати,

мянувъ о великомъ Бокстерніусѣ, я могъ бы цитировать всѣхъ великихъ ученыхъ, которыхъ легко бывало заставить струсить и обратить въ бѣгство. Но я ссылаюсь только на сочиненіе Іогана Георга Марціуса: «De fuga literatorum», etc, etc, etc. Просматривая исторію, сударыня, мы видимъ, что всѣ великіе люди должны были хоть разъ въ жизни бѣжать: Лотъ, Тарквиній, Юпитеръ, мадамъ Сталь, Навуходоносоръ, Беньовскій, Магометъ, вся прусская армія, Григорій VII, раввинъ Ицхакъ-Абарбанель, Руссо—я могъ бы привести еще много именъ, напримѣръ тѣхъ, которыя записаны на биржѣ на черную доску.

Вы видите, сударыня, что я обладаю немалою ученостью и глубиною соображенія. Только систематизированіе еще не совсѣмъ далось мнѣ. Какъ истинный нѣмецъ, я долженъ бы начать эту книгу объясненіемъ ея заглавія, какъ всегда водилось въ священной римской имперіи. Правда, что Фидій не дѣлалъ никакого предисловія къ своему Юпитеру, точно такъ же, какъ на Венерѣ Медицейской—я ее осматривалъ со всѣхъ сторонъ—нѣтъ ни одной цитаты... Но древніе греки были греки, а нашъ братъ честный нѣмецъ не имѣетъ права совершенно отвергнуть нѣмецкую натуру, и потому я долженъ объясниться насчетъ слова «идеи», которое я выставилъ въ заглавіи этой книги.

Итакъ, сударыня, я говорю:

I. Объ идеяхъ.

А) Объ идеяхъ вообще.

а) Объ идеяхъ разумныхъ.

б) Объ идеяхъ неразумныхъ.

аа) Объ идеяхъ обыкновенныхъ.

бб) Объ идеяхъ, переплетенныхъ въ зеленый сафьянъ.

Эти послѣднія будутъ подраздѣляться на... но все это вы увидите въ свое время.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сударыня, имѣете ли вы вообще понятіе о словѣ «идея?» Что такое идея? «Въ этомъ сюртукѣ есть нѣсколько хоро-
», говорилъ мой портной, осматривая съ серьез-
ъ знатока мой оберрокъ, ведущій свое начало
ей моего берлинскаго щегольства и изъ котораго
о бы сдѣлать почтенный халатъ. Прачка моя
то пасторъ С... поселилъ въ головѣ ея дочери
ть этого поглупѣла и не хочетъ теперь слу-

обнаженныя деревья, на которыхъ висѣло еще только немного золотыхъ листьевъ. Глядя на нихъ, онъ вспоминалъ слова Главка:

«Такъ, какъ древесные листья, проходятъ людей поколѣнья:
Листья древесные вѣтеръ разноситъ и снова другіе
Съ каждою новой весною въ цвѣтущемъ лѣсу зеленѣютъ;
Такъ и людей поколѣнья: тѣ падаютъ, эти родятся!»

Въ прежніе годы, молодой человѣкъ съ совсѣмъ иными мыслями смотрѣлъ на эти самыя деревья: въ то время онъ былъ ребенкомъ, отыскивалъ птичьи гнѣзда или лѣтнихъ жучковъ, которые забавляли его, когда весело жужжали, наслаждались прелестнымъ міромъ и довольствовались сочно-зеленымъ листочкомъ, каплею росы, теплымъ лучомъ солнца, милымъ благоуханіемъ травъ. Тогда и въ сердцѣ мальчика было такъ свѣтло, какъ въ сердцѣ летучихъ насѣкомыхъ. Но теперь это сердце постарѣло, потухли въ немъ маленькіе солнечные лучи, завяли всѣ цвѣты, исчезнула даже прекрасная грёза любви, и только и осталось въ бѣдномъ сердцѣ, что мужество и печаль, и—что грустнѣе всего—это было мое сердце.

Именно въ тотъ день я вернулся въ свой родимый городъ, но не хотѣлъ ночевать въ немъ и стремился въ Годесбергъ, чтобы сѣсть у ногъ моей подруги и поговорить о маленькой Вероникѣ. Я ходилъ на могилы милыхъ. Изъ всѣхъ живыхъ друзей и родственниковъ у меня не осталось здѣсь никого, кромѣ дяди и тетки. Если и попадались мнѣ на улицахъ знакомыя лица, то никто не узнавалъ меня—и самъ городъ смотрѣлъ на меня чуждыми глазами, въ это время много домовъ выкрасили за-ново, изъ окошекъ выглядывали незнакомыя лица, вокругъ старыхъ трубъ летали тощіе воробьи, все имѣло такой мертвенный и вмѣстѣ свѣжій видъ, какъ салатъ, растущій на кладбищѣ; гдѣ прежде говорили по-французски, теперь слышался прусскій языкъ, успѣлъ даже устроиться здѣсь маленькій прусскій дворикъ и люди носили придворные титулы, прежняя парикмахерша моей матери сдѣлалась гофъ-парикмахершею, и были тутъ гофъ-портные, гофъ-сапожники, гофъ-истреб тели клоповъ, гофъ-цѣловальники, и весь городъ каза гофъ-лазаретомъ для гофъ-умалишенныхъ. Только стар курфирстъ узналъ меня; онъ все стоялъ на старомъ мѣс только, казалось, похудѣлъ. Вѣдь постоянно, стоя посреди. площади, онъ видѣлъ всю современную misère, а отъ эт

зрѣлища не потолстѣешь. Я былъ точно какъ во снѣ и думалъ о сказкѣ объ околдованныхъ городахъ, и быстро пошелъ къ городскимъ воротамъ, чтобы не проснуться слишкомъ рано. Въ придворномъ саду многихъ деревьевъ не доставало, многія сгнили, а четыре большихъ тополя, казавшихся мнѣ когда-то зелеными великанами, теперь сдѣлались маленькими. Нѣсколько красивыхъ, разряженныхъ дѣвушекъ гуляли по саду, точно ходячіе тюльпаны. И этихъ тюльпановъ зналъ я, когда они были еще луковицами; это вѣдь были наши сосѣди, и съ ними когда-то игралъ я въ «Принцессину башню». Зато прекрасныя дѣвушки, которыхъ я зналъ цвѣтущими розами, теперь оказались розами поблеклыми, и не по одному челу, гордое выраженіе котораго восхищало меня въ былые дни, Сатурнъ провелъ косою глубокія морщины. Только теперь, но— увы!—слишкомъ поздно, открылъ я, что значили взгляды, которые онѣ нѣкогда бросали на уже становившагося юношею мальчика. Глубоко потрясъ меня низкій и смиренный поклонъ человѣка, котораго я прежде видѣлъ богатымъ и знатнымъ, и который теперь впалъ въ нищету, какъ и вообще всюду люди, когда разъ начинаютъ падать, то, слѣдуя Ньютонову закону, падаютъ все съ большею и большею, страшною быстротою. Но въ комъ я не нашелъ никакой перемѣны, такъ это въ маленькомъ барабанѣ, который, какъ прежде, весело припрыгивалъ по дорожкѣ придворнаго сада, одной рукою приподнявъ лѣвую полу сюртука, а другою помахивая своею тонкою, камышевою тросточкой. Это было то же привѣтливое личико, котораго румянецъ сосредоточился на носѣ; это была та же конусообразная шляпенка, это была та же самая косичка, только изъ нея выглядывало нѣсколько сѣдыхъ волосковъ, на мѣсто прежнихъ черныхъ. Но какъ ни весело смотрѣлъ онъ, я все-таки зналъ, что бѣдный баронъ перенесъ въ это время много горя, личико его хотѣло скрыть это отъ меня, но сѣдые волосенки косички выдали его сзади. Но и сама косичка, казалось, хотѣла опровергнуть мое заключеніе и качалась очень весело.

[illegible] былъ утомленъ, но мнѣ захотѣлось посидѣть еще [illegible] деревянной скамейкѣ, на которой я когда-то вы[illegible] имя моей милой. Я едва могъ отыскать его, потому [illegible] скамьѣ было вырѣзано много новыхъ именъ. Ахъ! [illegible] я спалъ на этой скамьѣ и грезилъ о счастьѣ любви. [illegible] то же, что пѣна морская!» Вспомнилъ я и былыя

дѣтскія игры, и былыя чудныя сказки!—Но новая, фальшивая игра и новая, отвратительная сказка все путались въ эти воспоминанія, и то была исторія двухъ сердецъ, которыя измѣнили другъ другу и потомъ такъ далеко простерли свое вѣроломство, что стали обманывать самого Бога. Это скверная исторія, и когда нечего лучше дѣлать, можно плакать надъ нею. О, Господи! Когда-то міръ былъ такъ прекрасенъ, и птицы пѣли вѣчную хвалу Твою, и маленькая Вероника смотрѣла на меня спокойными глазами, и мы сидѣли передъ мраморною статуею на площади замка... по одной сторонѣ ея стоитъ старый опустѣлый замокъ, гдѣ ходятъ привидѣнія и по ночамъ прохаживается женщина безъ головы, въ черномъ шелковомъ платьѣ съ длиннымъ, шелестящимъ шлейфомъ; по другой—возвышается бѣлое зданіе, въ верхнихъ комнатахъ котораго чудно блестятъ пестрыя картины въ золотыхъ рамахъ, а въ нижнихъ помѣщалось нѣсколько тысячъ огромныхъ книгъ, на которыя я и маленькая Вероника часто смотрѣли съ любопытствомъ, когда набожная Урсула подымала насъ къ большому окошку... Послѣ, сдѣлавшись взрослымъ мальчикомъ, я каждый день взбирался въ этихъ комнатахъ по самымъ высокимъ лѣстницамъ, вынималъ самыя высокія книги и читалъ такъ много, что пересталъ бояться чего бы то ни было, тѣмъ болѣе женщинъ безъ головы, и, наконецъ, сталъ такимъ ученымъ, что позабылъ всѣ старыя дѣтскія игры и сказки, и картинки, и маленькую Веронику, и самое имя ея.

Но между тѣмъ, какъ я сидѣлъ на старой скамьѣ придворнаго сада, погруженный въ грёзы о прошломъ, сзади послышался смѣшанный шумъ человѣческихъ голосовъ, оплакивавшихъ судьбу бѣдныхъ французовъ, которые во время русской войны были взяты въ плѣнъ, сосланы въ Сибирь, продержаны тамъ нѣсколько лѣтъ, несмотря на то, что миръ былъ уже заключенъ, и только теперь возвратились на родину. Я поднялъ глаза и дѣйствительно увидѣлъ этихъ осиротѣлыхъ дѣтей славы; сквозь дыры ихъ изодранныхъ мундировъ проглядывала обнаженная нищета, на измученныхъ лицахъ лежали впалые, скорбящіе глаза; но и истомленные, изувѣченные и большею частью хромые, они все таки сохраняли военный шагъ, и—странное дѣло—впереди ихъ ковылялъ барабанщикъ со своимъ барабаномъ... Внутреннимъ ужасомъ охватило меня воспоминаніе преданія о солдатахъ, которые, павъ днемъ въ битвѣ, ночью снова встаютъ съ поля сраженія и, предводительствуемые бара

банщикомъ, идутъ къ своей родинѣ, и о которыхъ поется въ старой народной пѣснѣ:

Въ барабанъ онъ бьетъ и бьетъ—
Вотъ они ужъ у воротъ,
Уличкой пошли знакомой,
Траллери, треллерей, траллера,
Мимо дорогой подружки дома.

Утромъ кости ихъ стоятъ,
Какъ надгробныхъ камней рядъ,
Барабанщикъ барабанитъ—
Траллери, траллерей, траллера,
Дѣвица на милаго пусть взглянетъ.

Дѣйствительно, бѣдный французскій барабанщикъ казался полуистлѣвшимъ выходцемъ изъ могилы; это была какая-то маленькая тѣнь въ выпачканной, изорванной сѣрой шинели, мертвенное, желтое лицо, съ большими усами, грустно ниспадавшими на поблѣднѣвшія губы, глаза были похожи на потухшія головешки, въ которыхъ осталось еще нѣсколько искръ... и несмотря на то, по одной только изъ этихъ искръ я узналъ Monsieur Le Grand.

И онъ узналъ меня, и усадилъ меня съ собой на траву, и такъ сидѣли мы, какъ бывало, когда онъ на барабанѣ преподавалъ мнѣ французскій языкъ и новую исторію. У него былъ тотъ же знакомый старый барабанъ, и я не могъ достаточно надивиться, какъ онъ спасъ этотъ инструментъ отъ русскаго корыстолюбія. Онъ сталъ опять барабанить, какъ прежде, но уже ничего не говорилъ при этомъ. Зато, если губы его были мрачно сжаты, то тѣмъ больше высказывали глаза, побѣдоносно сверкавшіе въ то время, какъ онъ барабанилъ старые марши. Тополи около насъ задрожали, когда онъ снова заигралъ красный маршъ. И барабанилъ онъ такъ же опять, какъ прежде, про старыя битвы за свободу, про старыя сраженія, про дѣянія императора; и казалось, что барабанъ—самъ живое существо, радовавшееся, что можетъ высказать свое внутреннее наслажденіе. Снова услышалъ я грохотъ пушекъ, свистъ пуль, шумъ сраженія, снова увидѣлъ геройское мужество гвардіи, и увидѣлъ развѣвающіяся знамена, снова увидѣлъ импера на конѣ... Но мало-по-малу въ веселые звуки эти лся унылый тонъ, изъ барабана вылетѣли звуки, въ хъ самое дикое ликованіе зловѣще смѣшивалось съ страшнымъ отчаяньемъ: точно побѣдный маршъ вмѣстѣ съ похороннымъ, глаза Ле-Грана раскры-

лись широко, какъ у привидѣнія, и я увидѣлъ въ нихъ только широкую, снѣжную равнину, усѣянную трупами... то было сраженіе подъ Москвою...

Никогда я не думалъ, чтобъ старый, жесткій барабанъ могъ издавать такіе болѣзненные звуки, какіе вызывалъ теперь изъ него Monsieur Le Grand. То были выбарабаненныя слезы, и онѣ звучали все тише и тише, и какъ мрачное эхо вырвались глубокіе вздохи изъ груди Ле-Грана. А онъ становился все блѣднѣе и призрачнѣе, тощія руки его дрожали отъ холода, онъ сидѣлъ, какъ во снѣ, и водилъ своими палочками только по воздуху, и какъ будто прислушивался къ отдаленнымъ голосамъ, и, наконецъ, посмотрѣлъ на меня глубокимъ, неизмѣримо глубокимъ, умоляющимъ взоромъ... я понялъ его... и тогда голова его скатилась на барабанъ.

Monsieur Le Grand не барабанилъ больше въ этой жизни. И барабанъ его съ тѣхъ поръ не издалъ ни одного звука; онъ не долженъ былъ служить рабскимъ инструментомъ въ рукахъ враговъ свободы... я очень хорошо понялъ послѣдній, умоляющій взоръ Ле-Грана, вынулъ шпагу изъ моей палки и прокололъ барабанъ.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!

Но жизнь человѣческая въ сущности такъ фатально серьезна, что ее нельзя было бы перенести безъ такого соединенія патетическаго съ комическимъ. Наши поэты знаютъ это. Самыя страшныя картины человѣческаго безумія Аристофанъ показываетъ намъ только въ смѣющемся зеркалѣ остроумія; великую скорбь мыслителя, сознающаго свое ничтожество, Гёте осмѣливается высказать только въ дубоватыхъ стихахъ театра маріонетокъ; отчаяннѣйшія жалобы о бѣдствіяхъ вселенной Шекспиръ влагаетъ въ уста шута и печально трясетъ въ это время погремушками его дурацкаго колпака.

Всѣ они взяли примѣръ съ великаго родоначальника поэтовъ, который въ своей тысячеактной всемірной трагедіи умѣетъ доводить юморъ до высочайшей степени, какъ это мы видимъ каждый день: послѣ ухода героевъ всегда являются на сцену клоуны и «граціозо» со своими дурацкими колпаками и дубинками, послѣ кровавыхъ сценъ революціи и дѣяній императора снова выскакиваютъ толстые Бурбоны со своими старыми, отжившими шуточками и

нѣжно-легитимистскими остротами, и подлѣ нихъ граціозно припрыгиваетъ старая ноблесса со своею проголодавшеюся улыбкою, а позади шествуютъ въ процессіи набожные капуцины. Даже въ высшій паѳосъ всемірной трагедіи вкрадываются комическія черты: отчаянный республиканецъ, поражающій себя, какъ Брутъ, ножомъ въ сердце, прежде, можетъ-быть, понюхаетъ, не рѣзали ли этимъ ножомъ тоже селедку, и на этой великой всемірной сценѣ все дѣлается, кромѣ того такъ, какъ и на нашихъ жалкихъ театральныхъ подмосткахъ; и тутъ есть пьяные герои, государи, забывающіе свои роли, кулисы, висящія въ воздухѣ, громко раздающійся голосъ суфлера, танцорки, производящія эффектъ поэзіею своихъ ляшекъ, костюмы, блестящіе, какъ главная вещь... А въ это время, наверху, въ царствѣ боговъ, сидятъ въ первомъ ряду безсмертные и смотрятъ въ бинокль внизъ, на насъ, комедіантовъ, а Юпитеръ сидитъ серьезно въ своей большой ложѣ и, быть-можетъ, скучаетъ, или разсчитываетъ, что этому театру нельзя долго продержаться, потому что одинъ актеръ получаетъ слишкомъ большое жалованье, а другой—слишкомъ маленькое, и всѣ играютъ очень ужъ плохо.

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame! Въ то время, какъ я оканчивалъ предыдущую главу и разсказывалъ вамъ, какъ Monsieur Le Grand умеръ и какъ я добросовѣстно исполнилъ testamentum militaire, написанное въ его послѣднемъ взглядѣ, постучались ко мнѣ въ дверь, и въ комнату вошла бѣдная старуха, дружески спросившая меня: докторъ ли я? Я отвѣчалъ утвердительно, и тогда она очень дружески попросила меня пойти къ ней въ домъ и вырѣзать ея мужу мозоли.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Нѣмецкіе цензоры . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . глупыя головы . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Сударыня! Подъ высиживавшими полушаріями Леды лежала уже цѣлая троянская война, и вы никакъ не поняли бы знаменитыхъ слезъ Пріама, если бы я не разсказалъ вамъ сперва о древнихъ лебединыхъ яйцахъ. Поэтому не сердитесь на меня за мои отступленія. Во всѣхъ предыдущихъ главахъ нѣтъ ни одной строчки, которая не шла бы къ дѣлу, я пишу сжато, избѣгаю всего излишняго, а иногда даже пропускаю необходимое: напримѣръ, до сихъ поръ я ни разу не цитировалъ, какъ слѣдуетъ, ни одного писателя, а между тѣмъ цитаты изъ старыхъ и новыхъ сочиненій составляютъ главное удовольствіе молодого литератора, и двѣ-три ученыя цитаты такъ хорошо украшаютъ самого человѣка. Только, пожалуйста, не подумайте, сударыня, что я поступаю такъ по недостатку знакомства съ заглавіями сочиненій. Я, кромѣ того, знаю ловкій пріемъ великихъ ученыхъ, которые отлично умѣютъ выковыривать изюминки изъ булокъ и цитаты изъ университетскихъ записокъ; я знаю также, откуда Бартель почерпаетъ виноградный сокъ. Въ случаѣ нужды я могъ бы дѣлать заемъ цитатъ у моихъ ученыхъ друзей. Мой берлинскій другъ Г., такъ сказать, маленькій Ротшильдъ по отношенію къ цитатамъ и охотно дастъ мнѣ взаймы нѣсколько милліоновъ ихъ; а не будетъ у него такого количества въ наличности, такъ онъ легко перехватитъ ихъ у какихъ-нибудь другихъ космополитическихъ умственныхъ банкировъ.—Кстати, сударыня, съ трехпроцентными Беками вяло, но пятипроцентные Гегели поднялись въ гору.—Но мнѣ въ настоящее время нѣтъ еще никакой нужды дѣлать заемъ; я очень хорошо обезпеченъ на этотъ счетъ и могу проживать десять тысячъ цитатъ въ годъ; я даже изобрѣлъ, какъ фальшивыя цитаты выдавать за истинныя. Если бы какой-нибудь великій и богатый ученый, напримѣръ, Михель Беръ, захотѣлъ купить у меня это открытіе, я бы охотно продалъ его за 10.000 талеровъ; впрочемъ, согласенъ и поторговаться. Сдѣлалъ я и другое открытіе, о которомъ не хочу умолчать для спасенія литературы и сообщу его здѣсь даромъ.

Именно, по моему мнѣнію, полезно цитировать всѣхъ невѣдомыхъ авторовъ нумерами ихъ домовъ.

У этихъ «добрыхъ людей и скверныхъ музыкантовъ» такъ обращается къ оркестру Понсъ-де-Леонъ—у эт невѣдомыхъ авторовъ всегда остается какой-нибудь экземпл

чикъ ихъ давно-забытой книжечки, и чтобы найти ее, нужно, слѣдовательно, знать нумеръ дома сочинителя. Такъ, напримѣръ, если бы я цитировалъ «маленькій пѣсенникъ для ремесленниковъ, сочиненіе Спитты»—гдѣ бы вы отыскали его, милая Madame? А напиши я: «смотри маленькій пѣсенникъ для ремесленниковъ, сочиненіе П. Спитты, въ Люнебургѣ, въ Люнеровой улицѣ, № 2, на правомъ углу»—вы, если бы сочли, что стоитъ потрудиться отыскать эту книжонку, нашли бы ее. Только трудиться не стоитъ.

Впрочемъ, сударыня, вы не имѣете понятія о томъ, съ какою легкостью я могу цитировать. Вездѣ я нахожу удобный случай выказать мою глубокую ученость. Такъ, напримѣръ, заговорю я объ ѣдѣ, то сейчасъ же замѣчаю въ выноскѣ, что римляне, греки и евреи тоже ѣли, при этомъ вычисляю всѣ вкусныя кушанья, которыя изготовляла кухарка Лукулла (о, горе, что я родился полутора столѣтіями позже!), и тутъ же замѣчаю, что общественные обѣды у грековъ назывались такъ-то и такъ-то, и что спартанцы ѣли скверный черный супъ... Хорошо, что я въ то время еще не жилъ: мнѣ ужасно подумать даже, что я, бѣдный человѣкъ, могъ сдѣлаться спартанцемъ, потому что супъ—мое любимое кушанье... Я думаю, сударыня, въ скоромъ времени съѣздить въ Лондонъ; но если дѣйствительно справедливо, что тамъ нельзя достать супу, то тоска сейчасъ же заставитъ меня вернуться къ милымъ суповымъ чашкамъ моей родины. О кухнѣ древнихъ евреевъ я бы могъ распространиться очень подробно и дойти до іудейской кухни новѣйшаго времени; по этому случаю я цитирую всего Штейнвега... Могъ бы я также разсказать, какъ гуманно многіе берлинскіе ученые разсуждали объ іудейской ѣдѣ; потомъ я перешелъ бы къ другимъ превосходствамъ и преимуществамъ евреевъ, къ открытіямъ, которыми мы одолжены имъ, каковы, напримѣръ, заемныя письма. . . . . .

. . . . . .

Заговоривъ объ евреяхъ, я при этомъ случаѣ могъ бы цитировать Тацита, который говоритъ, что евреи поклонялись ослу въ своихъ храмахъ; а по поводу ословъ, какое широ-
для цитатъ открылось бы предо мною! Сколько
наго можно бы сказать о древнихъ ослахъ, въ
съ новыми! Какъ умны были первые и, ахъ!
послѣдніе! Какъ разумно, напр., разсуждаетъ
ма, vid. Pentat. lib... сударыня, у меня нѣтъ
дъ рукой, и я оставлю тутъ пробѣлъ. Напро-

тивъ того, чтобъ доказать нелѣпость новыхъ ословъ, я цитирую:

Vid. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Нѣтъ, и здѣсь я оставлю пробѣлъ, а то меня потребуютъ въ судъ за оскорбленіе. Новые ослы — большіе ослы. Древніе ослы, которые были такъ высоко образованы—vid. Gesneri De antiqua honestate asinorum, in comment. Götting. T. II, p. 32,—повернулись бы въ могилахъ, если бъ услыхали, какъ говорятъ объ ихъ потомкахъ. Въ былое время слово «оселъ» было почетнымъ названіемъ: оно означало то же, что теперь гофратъ, баронъ, докторъ философіи. Іаковъ сравниваетъ съ осломъ своего сына Исахара, Гомеръ—своего героя Аяска, а теперь сравниваютъ съ нимъ господина фонъ ***! По поводу подобныхъ ословъ, сударыня, я бы могъ зайти далеко въ исторію литературы и цитировать всѣхъ великихъ людей, бывшихъ влюбленными, напримѣръ, Абелардуса, Пикуса Мирандольскаго, Борбоніуса, Куртезіуса, Ангелуса Полиціануса, Раймундуса, Луллуса и Гейнрихуса Гейнеуса. Заговоривъ о любви, я бы цитировалъ всѣхъ людей, не курившихъ табаку, какъ, напримѣръ: Цицерона, Юстиніана, Гете, Гуго, себя—случайно мы всѣ пятеро отчасти юристы. Мабильонъ не могъ переносить даже запаха чужой трубки; въ своемъ «Itinere germanico», онъ, говоря о нѣмецкихъ трактирахъ, жалуется «quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor». Напротивъ того, другимъ великимъ людямъ приписываютъ любовь къ табаку. Рафаэль Торусъ написалъ гимнъ въ честь табака—сударыня, вы, можетъ-быть, еще не знаете, что Исаакъ Элзевиріусъ издалъ этотъ гимнъ въ Лейденѣ, въ 1628 году, въ форматѣ in quarto,—а Людовикъ Кипшотъ написалъ къ нему предисловіе въ стихахъ. Гревіусъ сочинилъ даже сонетъ о табакѣ. И великій Боксгорніусъ тоже любилъ табакъ. Бейль въ своемъ «Dict. hist. et
tique» разсказываетъ о немъ, что великій Боксгорніус
время куренія носилъ на головѣ большую шляпу съ
на переднемъ полѣ, въ которую онъ часто вставлялъ
трубку, чтобъ она не мѣшала ему заниматься. Кстати,

мянувъ о великомъ Боксгорніусѣ, я могъ бы цитировать всѣхъ великихъ ученыхъ, которыхъ легко бывало заставить струсить и обратить въ бѣгство. Но я ссылаюсь только на сочиненіе Іогана Георга Марціуса: «De fuga literatorum», etc, etc, etc. Просматривая исторію, сударыня, мы видимъ, что всѣ великіе люди должны были хоть разъ въ жизни бѣжать: Лотъ, Тарквиній, Юпитеръ, мадамъ Сталь, Навуходоносоръ, Беньовскій, Магометъ, вся прусская армія, Григорій VII, раввинъ Ицхакъ-Абарбанель, Руссо—я могъ бы привести еще много именъ, напримѣръ тѣхъ, которыя записаны на биржѣ на черную доску.

Вы видите, сударыня, что я обладаю немалою ученостью и глубиною соображенія. Только систематизированіе еще не совсѣмъ далось мнѣ. Какъ истинный нѣмецъ, я долженъ бы начать эту книгу объясненіемъ ея заглавія, какъ всегда водилось въ священной римской имперіи. Правда, что Фидій не дѣлалъ никакого предисловія къ своему Юпитеру, точно такъ же, какъ на Венерѣ Медицейской—я ее осматривалъ со всѣхъ сторонъ—нѣтъ ни одной цитаты... Но древніе греки были греки, а нашъ братъ честный нѣмецъ не имѣетъ права совершенно отвергнуть нѣмецкую натуру, и потому я долженъ объясниться насчетъ слова «идеи», которое я выставилъ въ заглавіи этой книги.

Итакъ, сударыня, я говорю:

I. Объ идеяхъ.

А) Объ идеяхъ вообще.

а) Объ идеяхъ разумныхъ.

б) Объ идеяхъ неразумныхъ.

аа) Объ идеяхъ обыкновенныхъ.

бб) Объ идеяхъ, переплетенныхъ въ зеленый сафьянъ.

Эти послѣднія будутъ подраздѣляться на... но все это вы увидите въ свое время.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

Сударыня, имѣете ли вы вообще понятіе о словѣ «идея?» Что такое идея? «Въ этомъ сюртукѣ есть нѣсколько хоро-
». говорилъ мой портной, осматривая съ серьез-
, знатока мой оберрокъ, ведущій свое начало
ой моего берлинскаго щегольства и изъ котораго
о бы сдѣлать почтенный халатъ. Прачка моя
то пасторъ С... поселилъ въ головѣ ея дочери
тъ этого поглупѣла и не хочетъ теперь слу-

шать никакихъ разумныхъ убѣжденій». Кучеръ Паттензенъ ворчитъ при каждомъ случаѣ: «вотъ идея! вотъ идея!» Но вчера, когда я спросилъ его, что онъ понимаетъ подъ словомъ «идея», онъ сильно разсердился и сердито проворчалъ: «Ну, ну, идея—это идея!.. Идея—всякая глупость, которую человѣкъ вообразитъ себѣ»... Въ такомъ же значеніи это слово употреблено гофратомъ Гереномъ, въ Геттингенѣ, въ заглавіи его сочиненія.

Кучеръ Паттензенъ—человѣкъ, который и ночью, и въ туманъ, не собьется съ дороги въ широкихъ люнебургскихъ степяхъ; гофратъ Геренъ—человѣкъ, который такъ же, умнымъ инстинктомъ своимъ, отыскиваетъ старыя караванныя дороги Востока и уже много лѣтъ бродитъ по нимъ такъ самоувѣренно и терпѣливо, какъ нѣкогда—верблюдъ древняго времени. На такихъ людей можно положиться, за такими людьми можно безбоязненно слѣдовать—и вотъ почему я назвалъ мою книгу: «Идеи».

Вслѣдствіе этого, титулъ книги имѣетъ такъ же мало значенія, какъ и титулъ автора; онъ выбранъ этимъ послѣднимъ не изъ ученаго высокомѣрія и ни въ какомъ случаѣ не долженъ быть приписанъ его тщеславію. Сударыня, примите самое грустное увѣреніе въ томъ, что я не тщеславенъ. Замѣчаніе это необходимо, какъ вы увидите впослѣдствіи. Я не тщеславенъ. И расти на моей головѣ цѣлый лѣсъ лавровъ, и разливайся въ моемъ молодомъ сердцѣ цѣлое море ѳиміама—я все-таки не сдѣлался бы тщеславенъ. Мои друзья и остальные товарищи по мѣсту и времени старательно позаботились объ этомъ. Вы знаете, сударыня, что старыя бабы, когда при нихъ восхищаются красотою ихъ ребятъ, плюютъ на этихъ послѣднихъ, для того, чтобъ похвала не сглазила милыхъ малютокъ. Вы знаете, сударыня, что въ древнемъ Римѣ, когда тріумфаторъ, увѣнчанный славой и украшенный пурпуромъ, въѣзжалъ въ городъ черезъ Марсово поле на золотой колесницѣ, влекомой бѣлыми конями, и точно богъ возвышался надъ торжественною процессіею ликторовъ, музыкантовъ, танцоровъ, жрецовъ, рабовъ, слоновъ, знаменосцевъ, консуловъ, сенаторовъ, солдатъ, тогда чернь бѣжала позади его и пѣла всевозмож насмѣшливыя пѣсни. И вы знаете, сударыня, что въ 1 маніи много старыхъ бабъ и черни.

Итакъ, сударыня, идеи, о которыхъ здѣсь идетъ р такъ же далеки отъ идей Платоновыхъ, какъ Аѳины отъ тингена, и отъ книги моей вы должны ожидать такъ же м

какъ и отъ самого сочинителя ея. Право, какимъ родомъ этотъ сочинитель вообще могъ возбудить столько надеждъ, непонятно мнѣ такъ же, какъ и друзьямъ моимъ... Графиня Юлія объясняетъ это и увѣряетъ, что когда означенный сочинитель иногда дѣйствительно скажетъ что-нибудь новое и умное, такъ это онъ притворяется, а въ сущности онъ такъ же глупъ, какъ и другіе. Графиня не права: я никогда не притворяюсь, у меня на умѣ то, что̀ на языкѣ; я пишу совершенно невинно и просто, что̀ придетъ въ голову, и не виноватъ, если скажу что-нибудь неглупое... Но въ литературѣ мнѣ везетъ больше, чѣмъ въ альтонской лотереѣ—желалъ бы я, чтобъ это было наоборотъ—и изъ-подъ моего пера часто выходитъ сердечная квинта или умственная кватерна—и этимъ я обязанъ Богу, ибо Онъ, отказывающій набожнѣйшимъ и добродѣтельнѣйшимъ поэтамъ во всѣхъ прекрасныхъ мысляхъ и въ пользованіи какою бы то ни было славою въ литературѣ, съ тою цѣлью, чтобъ они не были черезчуръ захваливаемы своими земными сотварями и черезъ это не забывали неба, гдѣ имъ уже уготованы хорошія мѣстечки,—Онъ тѣмъ щедрѣе надѣляетъ превосходными мыслями и земною славой нашего брата — грѣшныхъ, еретическихъ писателей, для которыхъ небо вѣдь точно заколочено гвоздями, и поступаетъ, такимъ образомъ, по божественному милосердію и состраданію, чтобы бѣдная душа, разъ что она создана, не оставалась совсѣмъ уже безъ всякой прибыли и по крайней мѣрѣ здѣсь на землѣ насладилась долею того блаженства, въ которомъ отказано ей на небѣ.

Vid. Гете и авторы трактатцевъ.

Изъ этого вы увидите, сударыня, что вамъ должно читать мои сочиненія, доказывающія милосердіе и благодать Божію, я пишу съ слѣпою вѣрою въ Его всемогущество, въ этомъ отношеніи я совершенно христіанскій писатель и, говоря словами Губица, начиная писать настоящій періодъ, не знаю, какъ я его закончу и что собственно скажу, и полагаюсь въ этомъ отношеніи на волю Божью. И какъ бы я могъ писать иначе безъ этого набожнаго настроенія—въ моей комнатѣ стоитъ въ настоящую минуту разсыльный изъ Лангтофа и ожидаетъ рукописи, едва родившееся зляется, еще теплое и влажное, въ станокъ, и чувствую и мыслю въ эту минуту, завтра въ ъ, быть уже макулатурою.

сударыня, напомнить мнѣ правило Горація:

«nonum prematur in annum». Это правило, какъ и многія другія, можетъ быть очень хорошо въ теоріи, но въ практикѣ оно никуда не годится. Когда Горацій давалъ авторамъ этотъ знаменитый совѣтъ «оставлять сочиненія на девять лѣтъ въ портфелѣ»—слѣдовало ему также дать при этомъ наставленіе, какъ пробыть девять лѣтъ безъ пищи. Въ то время, какъ Горацій сочинялъ это правило, онъ, быть-можетъ, сидѣлъ за столомъ Мецената и ѣлъ каплуновъ съ трюфелями, пудингъ изъ фазановъ съ соусомъ изъ дичи, жаворонковыя котлеты съ тельтовскою морковью, павлиньи языки, индійскія птичьи гнѣзда и Богъ знаетъ что еще—и все это даромъ! А мы, несчастные, послѣ рожденные, мы живемъ въ другое время, у нашихъ меценатовъ совсѣмъ иныя правила, они думаютъ, что писатели и кизиловыя ягоды всего лучше созрѣваютъ, когда полежатъ нѣкоторое время на соломѣ, они думаютъ, что собаки не годятся для охоты за образами и идеями, когда онѣ слишкомъ жирно выкормлены,—и—увы!—когда случится имъ въ кои вѣки покормить бѣдную собаку, такъ такую, которая меньше всего заслуживаетъ пищи, напримѣръ, моську, лижущую руки, или крошечную болонку, умѣющую проскользнуть на грудь раздушенной дамы, или терпѣливаго пуделя, который знаетъ приноску и умѣетъ плясать и барабанить... Въ ту минуту, какъ я пишу эти строки, мой маленькій мопсъ начинаетъ лаять позади меня... Молчи, молчи, другъ мой, я не намекалъ на тебя, потому что ты любишь меня и слѣдуешь за своимъ господиномъ въ нуждѣ и опасности, и умрешь на могилѣ его съ такою же вѣрностью, какъ и нѣкоторыя другія нѣмецкія собаки, которыя, будучи изгнаны изъ отечества, ложатся передъ воротами Германіи и голодаютъ, и стонутъ... Простите, сударыня, за это отступленіе, сдѣланное для того, чтобы дать моей бѣдной собакѣ удовлетвореніе; я снова возвращаюсь къ правилу Горація и его несостоятельности въ XIX столѣтіи, когда поэты не могутъ обойтись безъ стипендіи своей музѣ... Ma foi, madame, я не въ состояніи выдержать 24 часа, а тѣмъ менѣе девять лѣтъ, желудокъ мой не слишкомъ уважаетъ безсмертіе; обсудивъ дѣло, я предпочитаю быть безсмертнымъ только въ пол
и сытымъ вполнѣ, и если Вольтеръ соглашался о
триста лѣтъ своей посмертной славы за хорошее пи
реніе, такъ я предлагаю вдвое за самую пищу. А
какія отличныя, цвѣтущія кушанья бываютъ на свѣ
лософъ Панглосъ правъ: нашъ міръ—самый лучші

Но въ этомъ самомъ лучшемъ мірѣ надо имѣть деньги— деньги въ карманѣ, а не рукописи въ портфелѣ. Хозяинъ гостиницы «Англійскій Король», г. Маръ, самъ писатель и тоже знаетъ правило Горація, но я не думаю, чтобъ онъ давалъ мнѣ ѣсть въ продолженіе девяти лѣтъ, если бъ я захотѣлъ приложить это правило на дѣлѣ.

Впрочемъ, и то сказать, для чего мнѣ прикладывать его? У меня такъ много хорошихъ сюжетовъ для сочиненій, что нечего долго выбирать. Пока мое сердце полно любовью, а головы моихъ ближнихъ—глупостями, до тѣхъ поръ никогда не будетъ у меня недостатка въ сюжетахъ. А сердце мое будетъ вѣчно любить,—любить, пока будутъ на свѣтѣ женщины: охолодѣетъ оно къ одной, сейчасъ же воспламенится къ другой; какъ во Франціи король никогда не умираетъ, такъ не умретъ никогда королева въ моемъ сердцѣ, и постоянный крикъ его: «La reine est morte, vive la reine!» Такимъ же точно образомъ не вымретъ никогда и глупость моихъ ближнихъ, потому что мудрость существуетъ только въ единственномъ числѣ и имѣетъ свои опредѣленныя границы, а глупостей и тысяча, и всѣ онѣ безграничны. Ученый казуистъ душеспаситель Шуппъ говоритъ даже, что «на свѣтѣ дураковъ больше, чѣмъ людей» (vid. Sluppü lehrreiche-Schriften, стр. 1121). Когда вспомнишь, что великій Шуппіусъ жилъ въ Гамбургѣ, то находишь это статистическое свѣдѣніе отнюдь не преувеличеннымъ. Я живу въ томъ же городѣ и могу сказать, что ощущаю истинное удовольствіе, когда подумаю, что всѣхъ дураковъ, которыхъ я вижу, я могу употребить для своихъ сочиненій: это чистый гонораръ, наличныя деньги. Теперь у меня обильная жатва. Богъ благословилъ меня, дураки особенно хорошо уродились въ этомъ году, и я, какъ хорошій хозяинъ, потребляю ихъ только въ небольшомъ числѣ, отбираю самыхъ лучшихъ и откладываю на будущее время. Меня часто можно встрѣтить теперь на гуляньѣ—радостнаго и веселаго. Какъ богатый купецъ, потирая отъ удовольствія руки, ходитъ между ящиками, бочками и тюками своихъ товаровъ, такъ я прохаживаюсь посреди моего народа. Всѣ вы мнѣ принадлежите, [illegible]ы одинаково дороги мнѣ, и я люблю васъ, какъ вы [illegible] любите свои деньги,—а это много значитъ. Недавно я [illegible]ши смѣялся, услыхавъ, какъ одинъ изъ моихъ дура- [illegible] безпокойствомъ увѣрялъ, что онъ не знаетъ, чѣмъ [illegible] временемъ жить; а между тѣмъ, самъ онъ такой [illegible]й дуракъ, что я однимъ имъ могу жить, какъ

дѣйствительнымъ капиталомъ. Но мало того, что многіе дураки составляютъ для меня наличныя деньги; я даже назначилъ уже для извѣстныхъ цѣлей деньги, которыя могу изъ нихъ выписать. Такъ, напримѣръ, за одного мягконабитаго, толстаго милліонера я куплю себѣ одинъ съ мягкой подушкой стулъ, который француженки называютъ chaise percée. За его толстую милліонершу я куплю себѣ лошадь. И когда я встрѣчаю на прогулкѣ этого толстяка—скорѣе верблюдъ пройдетъ въ царство небесное, чѣмъ этотъ человѣкъ сквозь игольное ушко—мною овладѣваетъ странное настроеніе; хотя онъ совсѣмъ не знаетъ меня, я кланяюсь ему невольно, и онъ тоже кланяется мнѣ такъ радушно, такъ заманчиво, что я хоть сейчасъ бы сдѣлалъ употребленіе изъ его доброты, если бъ не мѣшали мнѣ разряженные люди, проходящіе именно въ эту минуту мимо насъ. Супруга его совсѣмъ недурная женщина; правда, у нея только одинъ глазъ, но тѣмъ ярче выдается его зеленый цвѣтъ; носъ ея точно башня, смотрящая въ сторону Дамаска, грудь велика, какъ море, и по ней развѣваются всевозможныя ленты, точно флаги судовъ, вошедшихъ въ это море—уже отъ одного взгляда на нихъ можно получить морскую болѣзнь; спина ея очень красива и округлена, какъ—предметъ сравненія можно отыскать немного пониже—а для того, чтобы выткать ту фіолетово-голубую гардину, которая закрываетъ этотъ «предметъ сравненія», несомнѣнно работали всю свою жизнь тысячи и тысячи шелковичныхъ червячковъ. Изъ этого вы видите, сударыня, какую лошадь я куплю себѣ! Когда я встрѣчаю эту даму на прогулкѣ, сердце мое начинаетъ биться, мнѣ кажется, что я уже готовъ вскочить на коня, я хлопаю хлыстикомъ, щелкаю пальцами и языкомъ, дѣлаю ногами всевозможныя движенія—гопъ! гопъ! И милая женщина смотритъ на меня такъ задушевно, такъ разумно, она ржетъ глазомъ, раздуваетъ ноздри, кокетливо вертитъ спиной, дѣлаетъ курбеты и вдругъ пускается мелкою рысью. А я стою съ скрещенными руками и благосклонно смотрю ей вслѣдъ, и раздумываю:—на чемъ ее водить, на уздечкѣ или мундштукѣ? какимъ сѣдломъ осѣдлать ее—англійскимъ или польскимъ т. д. Люди, смотрящіе на меня въ это время, не по маютъ, что̀ привлекаетъ меня такъ сильно къ этой щинѣ. Злые люди хотѣли уже встревожить ея супр *намекали ему*, что я смотрю на его половину глаза *локиты. Но* моя честная мягкосафьянная chaise

говорятъ, отвѣчала, что считаетъ меня невиннымъ, дажо отчасти робкимъ молодымъ человѣкомъ, который смотритъ на нее съ особеннымъ вниманіемъ, какъ человѣкъ, чувствующій потребность войти въ болѣе близкія сношенія, но удерживаемый отъ этого стыдливымъ тупоуміемъ. Напротивъ того, моя благородная лошадь утверждала, что у меня свободный, безкорыстный, рыцарскій характеръ, и что моя предупредительная вѣжливость въ отношеніи къ ней выражала только желаніе—быть когда-нибудь приглашеннымъ къ ихъ обѣду.

Вы видите, сударыня, что я могу дѣлать употребленіе изъ всѣхъ людей, и адресъ-календарь не что иное, какъ опись моего движимаго имущества. Вслѣдствіе этого тоже я никогда не могу сдѣлаться банкротомъ, потому что даже своихъ кредиторовъ могу превратить въ источники пріобрѣтенія. Притомъ же, какъ я уже сказалъ, я живу очень экономно, дьявольски экономно. Такъ, напримѣръ, въ то время, какъ я пишу эти строки, я сижу въ темной, непривѣтной комнатѣ Дюстернской улицы, но не чувствую отъ этого ни малѣйшаго стѣсненія; вѣдь захоти я только, я могъ бы, точно такъ же, какъ мои друзья и милые, сидѣть въ прекраснѣйшемъ саду: мнѣ стоило бы только для этого реализировать моихъ водочныхъ кліентовъ. Эти послѣдніе, сударыня, состоятъ изъ испортившихся парикмахеровъ, разорившихся сводниковъ, трактирщиковъ, которымъ самимъ ѣсть нечего, бездѣльниковъ, умѣющихъ отыскать мою квартиру и за деньги, даваемыя имъ на водку, разсказывающихъ мнѣ скандальную хронику своего квартала. Сударыня, вы удивляетесь, что я не выталкиваю этихъ людей разъ навсегда за двери?—что вы, сударыня? Вѣдь эти люди мои цвѣты. Когда-нибудь я опишу ихъ въ прекрасной книгѣ, и на деньги, вырученныя отъ нея, куплю себѣ садъ, и уже теперь ихъ красныя, желтыя, синія и пестрыя лица кажутся мнѣ цвѣтами этого сада. Пусть чужіе носы утверждаютъ, что эти цвѣты пахнутъ только водкой, табакомъ, сыромъ и порокомъ—мнѣ что за дѣло? Мой собственный носъ — эта труба моей головы, въ которой фантазія ходитъ внизъ и вверхъ, какъ трубочистъ,—утверждаетъ противное и слы-
въ этихъ людяхъ только запахъ розъ, жасминовъ,
ь, гвоздикъ, левкоевъ. О, какое наслажденіе буду я
зать когда-нибудь, сидя утромъ въ моемъ саду и
чѣнье птицъ, и грѣя члены на солнцѣ, и вдыхая
свѣжій запахъ зелени, и видомъ цвѣтовъ напоми-
о старыхъ негодяяхъ!

Но покамѣстъ я сижу еще въ темной Дюстерской улицѣ, въ темной комнатѣ, и довольствуюсь тѣмъ, что для освѣщенія ея вѣшаю посрединѣ самаго большого обскуранта всей Германіи. «Mais y verrez vous plus clair alors?» Очевидно, сударыня,—но поймите меня какъ слѣдуетъ: я вѣшаю не самаго этого человѣка, а только хрустальную лампу, которую куплю себѣ на гонораръ, заработанный на немъ. Впрочемъ, я думаю, во всемъ государствѣ вдругъ стало бы свѣтлѣе, если бы обскурантовъ вѣшали in natura. Но если ужъ этихъ людей нельзя вѣшать, то слѣдуетъ накладывать на нихъ клеймо. Я опять-таки говорю фигурально — клеймить en effigie. Правда, г. фонъ-Вейсъ—онъ бѣлъ и невиненъ, какъ лилія,—повѣрилъ, что я разсказывалъ въ Берлинѣ, будто онъ дѣйствительно клейменъ; вслѣдствіе этого дуракъ попросилъ начальство осмотрѣть его и взялъ письменное удостовѣреніе, что на его спинѣ не выжжено никакого герба; на это отрицательное свидѣтельство онъ смотрѣлъ, какъ на дипломъ, долженствовавшій дать ему доступъ въ лучшее общество; когда же, несмотря на это, его продолжали выталкивать отовсюду, онъ пришелъ въ изумленіе и теперь мечетъ громъ и молнію на меня бѣднаго, и хочетъ, при встрѣчѣ со мною, застрѣлить меня изъ заряженнаго пистолета. А я, сударыня, знаете, что сдѣлаю? Сударыня, на этого дурака, то-есть на гонораръ, который я получу за него, я куплю себѣ хорошую бочку рейнвейна. Упоминаю объ этомъ для того, чтобы вы не думали, что если я при встрѣчѣ съ г. фонъ-Вейсомъ становлюсь очень веселъ, то это происходитъ отъ злобной радости. Увѣряю васъ, сударыня, я вижу въ немъ только мой милый рейнвейнъ; какъ только я взгляну на него, на душѣ у меня становится пріятно и привольно, и я невольно напѣваю пѣсню: «На Рейнѣ, на Рейнѣ растутъ наши лозы», «О, какъ прелестенъ этотъ образъ!» «О, бѣлая женщина!..» Въ это время мой рейнвейнъ смотритъ очень кисло, и можно подумать, что онъ состоитъ только изъ яда и желчи; но увѣряю васъ, сударыня, что это не поддѣльное вино. Если на немъ и нѣтъ удостовѣрительнаго герба, то знатокъ все-таки сейчасъ оцѣнитъ его достоинство, я откупорю этотъ бочонокъ съ большимъ удовольствіемъ, и если тамъ начнется слишкомъ сильное броженіе и будетъ грозить опасным взрывомъ, то начальство скуетъ его нѣсколькими желѣзны обручами.

Изъ всего этого вы видите, сударыня, что вамъ неч

безпокоиться обо мнѣ. Я могу смотрѣть спокойно на все въ этомъ свѣтѣ. Богъ благословилъ меня земными благами, и если Онъ не снабдилъ моего погреба большимъ количествомъ вина, то позволяетъ мнѣ работать въ своемъ виноградникѣ: я долженъ только выбирать виноградъ, чистить его, выдавливать, и у меня готовъ прозрачный Божій даръ... И если дураки и не летятъ мнѣ въ ротъ жареными, а напротивъ того, являются ко мнѣ сырыми и безвкусными, то я такъ долго умѣю вертѣть ихъ на вертелѣ, поджаривать, посыпать перцемъ и т. д., что они становятся мягкими и вкусными. Вы будете очень довольны, сударыня, въ тотъ день, когда я дамъ большой обѣдъ. Сударыня, я увѣренъ, что вы похвалите мою кухню. Вы сознаетесь, что я умѣю угощать моихъ сатраповъ такъ же роскошно, какъ нѣкогда великій Агасферъ, владѣвшій ста двадцатью провинціями отъ Индіи до мавританскаго королевства. Я приготовлю цѣлыя гекатомбы дураковъ. Этотъ толстый пьяница, который, какъ нѣкогда Юпитеръ, принялъ видъ быка и хлопочетъ объ одобреніи его Европою, будетъ бычачьимъ жаркимъ; этотъ печальный драматическій писатель, который на сценическихъ подмосткахъ, изображавшихъ печальное персидское царство, показывалъ намъ печальнаго Александра Великаго, въ образованіи котораго не принималъ участія никакой Аристотель, дастъ для моего стола отличную свиную голову, по обыкновенію кисло-сладко улыбающуюся, съ кускомъ лимона между зубами и съ лавровыми листьями, которыми искусная и опытная кухарка украситъ ее; пѣвецъ коралловыхъ губокъ, лебединыхъ шеекъ, волнующихся бѣлоснѣжныхъ холмиковъ, ляжечекъ, поцѣлуйчиковъ, именно г. Клауренъ, или, какъ его называютъ набожныя бернардинки на Фридриховой улицѣ, «отецъ Клауренъ! нашъ Клауренъ!», доставитъ всѣ тѣ кушанья, которыя онъ, съ фантазіей лакомки-кухарки, описываетъ такъ аппетитно въ своемъ ежегодно выпускаемомъ Карманномъ публичномъ домѣ—и кромѣ того, дастъ намъ особенное блюдо селерея, «при видѣ котораго сердечко человѣка прыгаетъ отъ любви!»; умная, тощая придворная дама, у которой только голова
, явится въ видѣ аналогическаго блюда, именно
... И не будетъ никакого недостатка въ геттингенколбасахъ, гамбургской копченой говядинѣ, померанусиной грудинкѣ, бычачьихъ языкахъ, телятинѣ, трессевозможныхъ желе, берлинскихъ пирожкахъ, вѣнскихъ вареньяхъ...

Сударыня, уже одна мысль обо всемъ этомъ разстроила мой желудокъ! Чортъ побери такіе пиры! Я не могу много выносить. У меня пищевареніе нехорошее. Свиная голова дѣйствуетъ на меня, какъ на остальную нѣмецкую публику... мнѣ нужно принять Вилибальдъ-Алексисовскій салатъ, имѣющій слабительное дѣйствіе. О, несчастная свиная голова съ еще болѣе несчастнымъ соусомъ, не говорящая ни по-гречески, ни по-персидски, но имѣющая вкусъ чая съ зеленымъ мыломъ! Позовите ко мнѣ моего толстаго милліонера.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Сударыня, я замѣчаю на вашемъ прекрасномъ лбу легкое облако неудовольствія, и вы, повидимому, спрашиваете, не поступаю ли я несправедливо, стряпая такимъ образомъ дураковъ, сажая ихъ на вертелъ, разрубливая, шпигуя и даже убивая такихъ, которыхъ я долженъ оставлять не съѣденными и которые служатъ только добычею острымъ клювамъ шутниковъ, между тѣмъ какъ дѣти и сироты ихъ воютъ и стонутъ.

Madame c'est la guerre! Я теперь разъясню вамъ всю загадку: я самъ, правда, не изъ числа умныхъ людей, но примкнулъ къ этой партіи и уже 5.588 лѣтъ мы ведемъ войну съ дураками. Дураки считаютъ себя обиженными нами; именно они утверждаютъ, что въ мірѣ есть только одна извѣстная доза разума, и этой всей дозой умные люди завладѣли Богъ вѣсть какъ, и въ высшей степени возмутительно, что часто одинъ человѣкъ завладѣваетъ такимъ количествомъ ума, что всѣ его сограждане и вся страна остаются во мракѣ. Въ этомъ-то заключается главная причина войны, и это истинно истребительная война. Умные, по обыкновенію, оказываются спокойнѣйшими, умѣреннѣйшими и умнѣйшими; они сидятъ, плотно запершись въ своихъ старо-аристотельскихъ сочиненіяхъ, имѣютъ много орудій, имѣютъ и огнестрѣльные снаряды, потому что вѣдь сами они изобрѣли порохъ, и по временамъ кидаютъ въ своихъ враговъ хорошо испытанныя бомбы. Но, къ сожалѣнію, эти враги слишкомъ многочисленны и умѣютъ сильно кричать, и каждый день совершаютъ преступленіе, потому что вѣдь, дѣйствительно, каждая глупость—для умныхъ преступл
Ихъ военныя хитрости часто очень лукаваго свойства.
которые изъ предводителей огромной арміи остерега
ваться въ тайной причинѣ войны. Они слышали

одинъ извѣстный фальшивый человѣкъ, который до того довелъ фальшь, что, наконецъ, написалъ даже фальшивые мемуары—именно, Фуше, сказалъ: «Les paroles sont faites pour cacher nos pensées». Вотъ и начали они сочинять много словъ, чтобы скрыть, что вообще у нихъ нѣтъ никакихъ мыслей, и держатъ они длинныя рѣчи, и пишутъ толстыя книги, и восхваляютъ единственно-благодѣтельный источникъ мыслей, именно разумъ, занимаются математикой, логикой, статистикой, улучшеніемъ машинъ, гражданскимъ чувствомъ, кормомъ лошадей и т. п.—и какъ обезьяна тѣмъ смѣшнѣе, чѣмъ въ ней болѣе видимаго сходства съ человѣкомъ, такъ и эти дураки тѣмъ смѣшнѣе, чѣмъ болѣе стараются они походить на умныхъ. Другіе предводители этой огромной арміи—люди болѣе откровенные и сознаются, что на ихъ долю выпало очень мало ума, что, можетъ-быть, они и совсѣмъ не получили его, но не могутъ не замѣтить, что въ сущности умъ очень киселъ и не стòитъ, чтобы о немъ особенно заботились. Оно, можетъ-быть, и правда, но къ несчастью они не настолько умны, чтобъ умѣть доказать это. Вслѣдствіе этого они прибѣгаютъ къ всевозможнымъ уловкамъ, открываютъ въ себѣ новыя силы, объявляютъ, что эти силы дѣйствуютъ такъ же, какъ и разумъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и сильнѣе, какъ, напримѣръ, добродушіе, вѣра, вдохновеніе и т. д., и утѣшаютъ себя этимъ суррогатомъ разума, этимъ свекловичнымъ разумомъ. Но меня, бѣднаго, они ненавидятъ особенно сильно, утверждая, что я прирожденный членъ именно ихъ партіи, что я отступникъ, дезертиръ, разорвавшій самыя священныя узы, что я даже шпіонъ, тайно вывѣдывающій, чтò они, дураки, дѣлаютъ, и потомъ отдающій ихъ на посмѣшище своимъ новымъ товарищамъ, что я, наконецъ, такъ глупъ, что не замѣчаю, какъ эти новые товарищи въ то же время смѣются надо мною и никогда не считаютъ меня равнымъ себѣ... И въ этомъ послѣднемъ случаѣ дураки совершенно правы.

Да, правда, что умные не считаютъ меня равнымъ себѣ, и я часто служу предметомъ ихъ скрытаго хихиканья.
нь хорошо знаю это, но дѣлаю видъ, что не замѣ-
Сердце мое тайно обливается кровью, и когда я
ь одинъ, то начинаю плакать. Я очень хорошо знаю,
положеніе неестественно; все, чтò я дѣлаю, умнымъ
глупостью, а дуракамъ — преступленіемъ. Они не-
меня, и я чувствую справедливость поговорки:

«Камень тяжелъ и песокъ есть бремя, но гнѣвъ дураковъ тяжеле того и другого». И они не безъ основанія ненавидятъ меня. Совершенно справедливо, что я разорвалъ самыя священныя узы, потому что по божескимъ и по человѣческимъ законамъ мнѣ слѣдовало жить и умереть между дураками. И ахъ, какъ привольно жилось бы мнѣ между этими людьми! Захоти я вернуться къ нимъ, они и теперь приняли бы меня съ распростертыми объятіями. Они бы въ глазахъ моихъ вычитывали, что̀ бы такое сдѣлать въ угоду мнѣ. Они бы каждый день приглашали меня на обѣдъ, а по вечерамъ водили въ свои чайныя общества и клубы, и я могъ бы играть съ ними въ вистъ, курить табакъ, толковать о политикѣ, и если бы сталъ зѣвать при этомъ, то за спиной моей говорили бы: «какая прекрасная душа! полная вѣры душа!» — позвольте мнѣ, сударыня, выронить слезу трогательнаго волненія — ахъ, и я пилъ бы съ ними пуншъ до тѣхъ поръ, пока меня не посѣщало бы вдохновеніе, и тогда они относили бы меня въ порт-шезѣ домой, старательно заботясь, чтобъ я не простудился, и одинъ спѣшилъ бы подать мнѣ туфли, другой — шелковый халатъ, третій — бѣлый ночной колпакъ, и затѣмъ они сдѣлали бы меня экстраординарнымъ профессоромъ или президентомъ какого-нибудь миссіонерскаго общества, или директоромъ музея римскихъ раскопокъ, — потому что я былъ бы человѣкомъ способнымъ на всякаго рода занятія, тѣмъ больше, что очень хорошо умѣю отличать латинскія склоненія отъ спряженій и не такъ легко, какъ другіе, приму салогъ прусскаго почтальона за этрусскую вазу. Мое добродушіе, моя вѣра, мое вдохновеніе могли бы, сверхъ того, приносить много пользы въ молитвенные часы, именно для меня самого; наконецъ, мое отличное поэтическое дарованіе оказывало бы мнѣ большія услуги въ дни рожденій и свадебъ знатныхъ особъ, а было бы совсѣмъ не дурно, если бы въ большомъ національномъ эпосѣ я воспѣлъ всѣхъ тѣхъ героевъ, о которыхъ мы совершенно положительно знаемъ, что изъ ихъ истлѣвшихъ труповъ выползли черви, выдающіе себя за ихъ потомковъ.

Мнѣніе, не родившіеся дураками и никогда имѣвшіе умъ, перешли къ дуракамъ именно изъ-за всѣхъ этихъ выгодъ, живутъ между ними настоящими сиѣаритами; глупости, и одолѣніе которыхъ стоило имъ сначала нѣкотораго тру обратились теперь для нихъ во вторую натуру, и на нихъ надо смотрѣть уже не какъ на лицемѣровъ, а какъ на по—

тинно вѣрующихъ. Одинъ изъ такихъ людей, въ головѣ котораго еще не совершилось полное солнечное затменіе, очень любитъ меня, и недавно, когда мы были съ нимъ одни, онъ заперъ двери и серьезно сказалъ мнѣ: «О, дуракъ, притворяющійся умнымъ, но имѣющій столько же ума, сколько рекрутъ во чревѣ матери! Развѣ ты не знаешь, что сильные міра въ нашей странѣ возвышаютъ только того, кто самъ унижаетъ себя и говоритъ, что ихъ кровь лучше его собственной. А ты ссоришься съ нашими набожными! Неужели же такъ трудно придавать глазамъ богобоязненное выраженіе, смиренно скрещивать руки, униженно опускать голову и шептать выученныя наизусть библейскія изреченія? Вѣрь мнѣ, никакое высокопревосходительство не заплатитъ тебѣ за твое безбожіе, люди любви будутъ ненавидѣть тебя, осыпать клеветами и преслѣдовать, и ты не составишь себѣ никакой карьеры ни на небѣ, ни на землѣ».

Ахъ, все это правда! Но что же мнѣ дѣлать, когда у меня эта несчастная страсть къ разуму? Я люблю его, несмотря на то, что онъ не отвѣчаетъ мнѣ тѣмъ же. Я даю ему все, а онъ мнѣ — ничего. Я не могу оторваться отъ него. И какъ нѣкогда еврейскій царь Соломонъ, воспѣвая въ «Пѣснѣ Пѣсней» христіанскую церковь, облекалъ ее въ образъ черной страстной дѣвушки, для того, чтобы евреи ничего не замѣтили—такъ я, въ безчисленномъ множествѣ пѣсенъ, воспѣвалъ разумъ подъ видомъ бѣлой холодной дѣвушки, которая привлекаетъ и отталкиваетъ меня, то улыбается, то сердится и, наконецъ, поворачивается ко мнѣ спиною. Эта тайна моей несчастной любви—тайна, которую я не открываю никому,—можетъ служить для васъ, сударыня, масштабомъ для оцѣнки моей глупости; вы видите, что эта глупость необыкновеннаго свойства, величаво возвышающаяся надъ обыкновенною глупостью людей. Прочтите моего «Ратклифа», моего «Алманзора», мое «Лирическое Intermezzo» — разумъ! разумъ! ничего, кромѣ разума!—прочтите, и васъ испугаетъ вышина моей глупости. Высоко въ воздухѣ подымается дубовый лѣсъ, высоко надъ дубовымъ лѣсомъ пролетаетъ орелъ, высоко надъ орломъ
ится тучи, высоко надъ тучами сверкаютъ звѣзды —
ня, не слишкомъ ли это высоко для васъ? — eh
высоко надъ звѣздами сидятъ ангелы, высоко надъ
вздымается—нѣтъ, сударыня, выше этого моя глу-
можетъ подняться. Она и безъ того достаточно
У нея *самой голова* кружится отъ своей собствен-

ной вышины. Она дѣлаетъ изъ меня исполина въ сапогахъ-скороходахъ. Во время обѣда у меня на душѣ такъ, какъ будто я могъ бы съѣсть всѣхъ слоновъ Индостана и поковырять въ зубахъ страсбургскимъ соборомъ; вечеромъ я становлюсь до такой степени сентиментальнымъ, что получаю желаніе выпить весь млечный путь, забывая, что маленькія неподвижныя звѣзды могутъ остаться въ желудкѣ несваренными; а ночью штука ужъ въ полномъ разгарѣ: въ моей головѣ появляется конгрессъ всѣхъ народовъ настоящаго и прошедшаго времени—приходятъ ассиріяне, египтяне, мидяне, персы, евреи, филистимляне, франкфуртцы, вавилоняне, карѳагеняне, берлинцы, римляне, спартанцы, турки... Сударыня, описаніе этихъ всѣхъ народовъ заняло бы здѣсь слишкомъ много мѣста; прочтите сами Геродота, Ливія, нѣмецкія газеты, Курція, Корнелія Непота, газету «Gesellschafter». А я, между тѣмъ, пойду завтракать, сегодня утромъ мнѣ не совсѣмъ весело пишется, я замѣчаю, что Господь Богъ оставляетъ меня — сударыня, я боюсь даже, что вы замѣтили это раньше меня,—да, я замѣчаю, что истинная Божья помощь сегодня совсѣмъ еще не приходила ко мнѣ.—Сударыня, я начну новую главу и разскажу вамъ, какъ послѣ смерти Ле-Грана я пришелъ въ Годесбергъ

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Пришедши въ Годесбергъ, я сѣлъ у ногъ моей прекрасной подруги, и подлѣ меня легла ея коричневая собака—и оба мы смотрѣли въ ея глаза.

Боже всемогущій! Въ этихъ глазахъ лежало все великолѣпіе земли съ цѣлымъ небомъ надъ нею!.. Глядя въ нихъ, я могъ бы умереть отъ блаженства, и если бъ умеръ, то душа моя прямо полетѣла бы въ эти глаза. О, я не въ состояніи описать ихъ! Я хочу позвать изъ дома сумасшедшихъ одного поэта, помѣшавшагося отъ любви,—и пусть онъ вызоветъ изъ бездны своего безумія образъ, съ которымъ я могъ бы сравнить эти глаза... Между нами будь сказано, я самъ достаточно помѣшанъ для того, чтобы не требовать себѣ помощника въ этомъ дѣлѣ. «Goddem!—сказалъ разъ про нихъ одинъ англичанинъ:—когда они смотрятъ на васъ съ ногъ до головы такъ глубоко-спокойно—мѣдныя пуговицы на фракѣ расплываются, а съ ними и сердце». «F...e!—замѣтилъ французъ:—у нея глаза огром*нѣйшаго калибра*, и когда она выстрѣлитъ такимъ трид

цати-фунтовымъ взглядомъ — кракъ: человѣкъ влюбленъ». Тутъ же былъ одинъ рыжеголовый адвокатъ изъ Майнца, выразившійся такъ: «ея глаза похожи на двѣ чашки чернаго кофе». Этимъ онъ хотѣлъ сказать что-то очень сладкое, потому что самъ всегда накладывалъ безчеловѣчное количество сахару въ свое кофе... Скверныя сравненія!

Я и коричневая собака безмолвно лежали у ногъ прекрасной женщины и смотрѣли, и слушали. Она сидѣла подлѣ стараго, сѣдого солдата—рыцарской фигуры и съ шрамами на морщинистомъ лбу. Оба говорили о семи горахъ, блестѣвшихъ при свѣтѣ прекрасной вечерней зари, о голубомъ Рейнѣ, протекавшемъ невдалекѣ, величественно и спокойно... Но что намъ было за дѣло до семигорія и до вечерней зари, и голубого Рейна, и челноковъ съ бѣлыми парусами на немъ, и до музыки, несшейся изъ одной ладьи, и до бараньей головы студента, который пѣлъ тамъ такъ тоскливо и нѣжно? Я и коричневая собака смотрѣли въ глаза подруги, въ лицо ея, блестѣвшее розово-блѣднымъ свѣтомъ между черными косами и кудрями, какъ мѣсяцъ посреди темныхъ тучъ... То были высокія, греческія черты, смѣло округленныя губы, на которыхъ играли тоска, блаженство и дѣтская беззаботность... И когда она говорила, слова ея звучали какъ-то глубоко, точно вздохи, и вмѣстѣ съ тѣмъ вырывались съ какимъ-то быстрымъ нетерпѣніемъ, и когда она говорила, и рѣчь ея летѣла изъ прелестныхъ устъ, какъ теплый и свѣтлый цвѣточный дождь,—о, тогда вечерняя заря ложилась на мою душу, воспоминанія дѣтства проходили по ней, звонко играя, но громче всѣхъ, точно колокольчикъ, звучалъ во мнѣ голосъ маленькой Вероники... И я схватилъ прелестную руку подруги, и прижалъ ее къ глазамъ, и держалъ ее такъ, пока не пронеслись мимо души моей эти звуки... И тогда вскочилъ я на ноги, и сталъ смѣяться; а собака лаяла, по лбу стараго генерала прошли болѣе серьезныя морщины, и я снова сѣлъ на мѣсто, и снова схватилъ прекрасную руку, и цѣловалъ ее, и говорилъ, и разсказывалъ о маленькой Вероникѣ...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

ырыня, вы желаете, чтобы я описалъ вамъ наружность ой Вероники. Но я не хочу этого. Васъ нельзя за-*итать больше, чѣмъ* вамъ самимъ угодно; точно *я имѣю право* писать только то, что желаю. Но

мнѣ хочется теперь описать вамъ прекрасную руку, которую я цѣловалъ въ предыдущей главѣ.

Прежде всего я долженъ сознаться, что не былъ достоинъ цѣловать эту руку. То была прекрасная рука, такая нѣжная, прозрачная, блестящая, сладкая, благоуханная, кроткая, милая... право, мнѣ нужно послать въ аптеку—купить прилагательныхъ на двадцать грошей.

На среднемъ пальцѣ было надѣто кольцо съ жемчугомъ—я никогда не видалъ жемчуга, который игралъ бы болѣе жалкую роль, на безымянномъ носила она кольцо съ голубымъ антикомъ—я по цѣлымъ часамъ изучалъ на немъ археологію, на указательномъ пальцѣ помѣщался брильянтъ—то былъ какой-то талисманъ, и пока я смотрѣлъ на него, до тѣхъ поръ блаженствовалъ, потому что гдѣ былъ онъ, тамъ былъ и палецъ со своими четырьмя товарищами, и всѣми пятью пальцами она часто била меня по губамъ. Съ тѣхъ поръ, какъ я былъ подвергнутъ такой манипуляціи, я твердо вѣрю въ магнетизмъ. Но она била не крѣпко, и дѣлала это, когда я заслуживалъ наказаніе какою-нибудь атеистическою выходкою, а ударивъ, сейчасъ же раскаивалась, брала пирожокъ, разламывала его надвое и подавала одну половину мнѣ, другую—коричневой собакѣ, и, улыбаясь, говорила: «у васъ обоихъ нѣтъ вѣры, и надо васъ на этомъ свѣтѣ кормить пирожками, потому что на томъ свѣтѣ не будутъ для васъ накрывать столъ». Отчасти она была права, въ то время я дѣйствительно былъ большой атеистъ, читалъ Томаса Пейна, «Systeme de la nature», «Вестфальскій указатель» и Шлейермахера, и отрощалъ себѣ бороду и разсудокъ, и хотѣлъ поступить въ партію раціоналистовъ. Но когда прекрасная рука проходила по лбу моему, разсудокъ мой останавливался, и сладкія грёзы наполняли голову, и мнѣ слышались снова набожныя церковныя пѣсни, и я думалъ о маленькой Вероникѣ.

Вы не можете себѣ представить, сударыня, какъ хороша была маленькая Вероника, когда она лежала въ своемъ гробикѣ. Свѣчи, горѣвшія вокругъ, бросали мерцающій блескъ на блѣдное, смѣющееся личико, на шелковыя розетки и золотыя блестки, которыми украсили ея головку и бѣлую рубашечку... Набожная Урсула повела меня вечеромъ въ безмолвную комнату, и когда я увидѣлъ маленькій трупъ, выставленный на столѣ, посреди свѣчей и цвѣтовъ, то подумалъ сначала, что это какой-нибудь священный образъ изъ воска; но скоро узналъ милое лицо и спросил

смѣясь, отчего маленькая Вероника такъ безмолвна? И Урсула отвѣчала мнѣ: «Это дѣлаетъ смерть».

И когда она сказала: «это дѣлаетъ смерть...» Но я не хочу разсказывать сегодня эту исторію — она затянулась бы слишкомъ далеко, мнѣ пришлось бы говорить сначала о хромой сорокѣ, которая ковыляла на площади замка и которой было триста лѣтъ отъ роду,—а это повергнуло бы меня въ меланхолію... Мнѣ вдругъ захотѣлось разсказать вамъ другую исторію, веселую и совершенно идущую сюда, потому что она-то и есть та исторія, которую я долженъ былъ разсказать въ этой книгѣ.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Въ груди рыцаря не было ничего, кромѣ тьмы и скорби. Кинжалы клеветы попали прямо въ цѣль, и когда онъ проходилъ по площади св. Марка, на душѣ его было такъ, какъ будто сердце хотѣло разорваться и истечь кровью. Ноги его подгибались отъ усталости—благородное животное травили цѣлый день, а день былъ лѣтній, жаркій,—съ лица его катился потъ, и садясь въ гондолу, онъ вздохнулъ глубоко. И сидѣлъ онъ безъ всякихъ мыслей въ темной комнатѣ гондолы, безъ мыслей качали его мягкія волны и несли по давно знакомому пути въ Бренту, и когда онъ остановился и вышелъ передъ знакомымъ дворцомъ, то ему сказали, что синьора Лаура теперь въ саду.

Она стояла, прислонясь къ статуѣ Лаокоона подлѣ пурпурнаго куста розъ, въ концѣ террасы, недалеко отъ плакучихъ ивъ, тоскливо склонявшихся надъ мимо текущею рѣкою. Она стояла съ улыбкой, какъ нѣжный образъ любви, благоухая розами. А онъ точно очнулся отъ мрачнаго сна и внезапно будто превратился въ кротость и сладкую тоску. «Синьора Лаура! — сказалъ онъ:— я несчастенъ, меня мучатъ ненависть, нужда и ложь...» Тутъ онъ запнулся и потомъ прошепталъ: «Но я люблю васъ...» И радостная слеза сверкнула въ глазахъ его, и съ влажными глазами, пылающими устами, воскликнулъ онъ: «Будь моею, дѣвушка, полюби меня!»

ственно-темный покровъ лежитъ надъ этимъ часомъ,
ъ смертный не знаетъ, что отвѣчала синьора Лаура,
спрашиваютъ объ этомъ ея ангела-хранителя въ
ъ закрываетъ лицо и вздыхаетъ, и молчитъ.

ще стоялъ одинокій рыцарь подлѣ статуи Лаокоона,
ыло такъ же блѣдно и измучено, какъ эта ста-

туя, безсознательно сорвалъ онъ всѣ листья розъ, раздерпулъ даже молодыя почки—кустъ не цвѣлъ никогда больше послѣ этого — въ отдаленіи тосковалъ безумный соловей, плакучія ивы жалобно шептались, глухо журчали прохладныя волны Бренты, ночь наступила со своимъ мѣсяцемъ и звѣздами, и одна прекрасная звѣзда, прекраснѣе всѣхъ другихъ, скатилась съ неба.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Vous pleurez, madame?

О, да освѣщаютъ долго еще вселенную своими лучами эти глаза, проливающіе такія прекрасныя слезы, и да закроетъ ихъ въ минуту смерти теплая, дружеская рука! Мягкая подушка тоже недурная вещь въ минуту смерти, и дай вамъ Богъ имѣть ее, сударыня! И когда прекрасная усталая головка ваша упадетъ на эту подушку, и черные локоны раскинутся по поблѣднѣвшему лицу—о, въ эту минуту да воздастъ вамъ Богъ за слезы, которыя вы пролили обо мнѣ, потому что я тотъ рыцарь, о которомъ вы плакали, я самъ тотъ странствующій рыцарь любви, рыцарь скатившейся звѣзды.

Vous pleurez, madame?

О, я знаю эти слезы! Къ чему долѣе притворяться? Вѣдь вы, сударыня, та самая прекрасная женщина, которая такъ мило плакала въ Годесбергѣ, когда я разсказывалъ печальную сказку моей жизни. Какъ жемчуги на розахъ, текли прекрасныя слезы по прекраснымъ щекамъ... Собака молчала, смолкъ доносившійся изъ Кенигсвинтера вечерній звонъ, Рейнъ журчалъ все тише и тише, ночь покрывала землю своимъ зеленымъ плащемъ, а я сидѣлъ у вашихъ ногъ, сударыня, и смотрѣлъ въ вышину, на звѣздное небо. Сначала я принялъ и ваши глаза за двѣ звѣзды. Но можно ли смѣшать со звѣздами такіе прекрасные глаза? Эти холодныя свѣтила небесныя не могутъ плакать о несчастіи человѣка, который до того несчастенъ, что не въ состояніи больше плакать.

А у меня были еще особенныя причины сразу узнать эти глаза: въ нихъ жила душа маленькой Вероники.

Я разсчелъ, сударыня, что вы родились какъ разъ тотъ день, какъ маленькая Вероника умерла. Іоганна Андернахѣ предсказала мнѣ, что я снова найду въ Го*бергѣ маленькую* Веронику, и я сейчасъ же узналъ ее. *скверно поступили*, умерши какъ разъ въ то время,

наши прелестныя забавы только-что пошли такъ хорошо. Съ тѣхъ поръ, какъ набожная Урсула сказала мнѣ: «это дѣлаетъ смерть», я бродилъ, одинокій и задумчивый, по большой картинной галлереѣ; картины уже не нравились мнѣ такъ, какъ прежде, мнѣ казалось, что онѣ вдругъ поблѣднѣли, и только въ одной сохранились краски и блескъ— вы знаете, сударыня, о какой картинѣ я говорю.

Это—изображеніе делійскаго султана и султанши его.

Помните, сударыня, какъ мы по цѣлымъ часамъ стояли предъ нею, и какъ набожная Урсула странно подсмѣивалась, когда люди замѣчали, что лица на этой картинѣ очень похожи на мое и ваше лицо? Я нахожу, что вы были тутъ дѣйствительно очень похожи, и не понимаю, какъ живописецъ представилъ васъ даже въ томъ платьѣ, въ которомъ вы въ то время ходили. Говорятъ, что онъ былъ сумасшедшій и что ему пригрезился вашъ образъ. Или, можетъ-быть, его душа сидѣла въ той большой обезьянѣ, которая въ то время служила вамъ жокеемъ? Въ такомъ случаѣ, онъ, конечно, долженъ былъ хорошо помнить серебристый покровъ, который онъ разъ испортилъ, выливъ на него красное вино. Я былъ очень радъ, что вы перестали носить этотъ покровъ; онъ не особенно хорошо шелъ къ вамъ, какъ и вообще европейскій костюмъ гораздо лучше идетъ къ женщинамъ, чѣмъ индійскій. Впрочемъ, красавица хороша въ каждомъ костюмѣ. Помните, сударыня, какъ одинъ любезный браминъ, походившій на Ганезу, бога съ слоновымъ хоботомъ, ѣдущаго верхомъ на мыши, сказалъ вамъ такой комплиментъ: «божественная Манека, когда она сошла съ золотого дворца Индры къ королю Висвамитрѣ, не была, конечно, такъ хороша, какъ вы, сударыня!»

Вы, можетъ-быть, забыли это? Вѣдь всего три тысячи лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а красавицы не забываютъ такъ скоро нѣжной лести.

Что касается до мужчинъ, то индійское платье идетъ къ нимъ гораздо лучше европейскаго. О, мои розово-красные, вышитые цвѣтами лотоса, панталоны делійскіе! Будь вы на мнѣ въ то время, какъ я стоялъ передъ синьорой Лаурою и умолялъ ее о любви — въ предыдущей главѣ не ыло бы написано! Но—увы!—На мнѣ были тогда желе какъ солома, панталоны, вытканные однимъ скучнымъ йцемъ въ Нанкинѣ... И моя погибель тутъ же была ана—и я сдѣлался несчастнымъ.

сидитъ *молодой* человѣкъ въ маленькой комнатѣ

нѣмецкой кофейни и спокойно пьетъ кофе, а между тѣмъ въ широкомъ, отдаленномъ Китаѣ растетъ и цвѣтетъ его погибель, и тамъ она прядется и ткется, и, несмотря на высокія стѣны китайскія, умѣетъ найти дорогу къ молодому человѣку, который принимаетъ ее за пару нанковыхъ панталонъ, беззаботно надѣваетъ ихъ и дѣлается несчастнымъ... А въ маленькой груди человѣка можетъ спрятаться много страданій, и спрятаться такъ хорошо, что самъ бѣднякъ долго не чувствуетъ ихъ, и веселъ, и танцуетъ, и свиститъ, и напѣваетъ: лалара, лала, ла, ла, ла...

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Она была достойна любви, и онъ любилъ ее; но онъ не былъ достоинъ любви, и она не любила его.

(Старая пьеса.)

— И изъ-за такой глупой исторіи вы хотѣли застрѣлиться?

Сударыня, когда человѣкъ хочетъ стрѣляться, то у него всегда есть достаточное основаніе для этого — вѣрьте мнѣ. Но знаетъ ли онъ самъ это основаніе—другой вопросъ. До послѣдней минуты мы играемъ комедію сами съ собою, мы маскируемъ даже свое страданіе и, умирая отъ раны въ груди, жалуемся на зубную боль.

Вы, сударыня, знаете, безъ сомнѣнія, какое-нибудь средство противъ зубной боли?

А у меня была зубная боль въ сердцѣ. Это скверная боль, и ей очень хорошо помогаютъ свинецъ съ тѣмъ зубнымъ порошкомъ, который изобрѣтенъ Бертольдомъ Шварцомъ.

Какъ червякъ, грызло страданіе мое сердце, и въ томъ не виноватъ бѣдный китаецъ; я самъ принесъ это страданіе съ собою на свѣтъ. Оно лежало со мною уже въ колыбели, и мать моя, качая меня, укачивала вмѣстѣ и его, и когда я засыпалъ подъ ея пѣсни, оно тоже засыпало, и пробуждалось, чуть я открывалъ глаза. По мѣрѣ того, какъ я подросталъ, росло и мое страданіе, и сдѣлалось, наконецъ, очень большимъ и разбило мое...

Поговоримъ лучше о другихъ вещахъ, о вѣнкахъ невѣстъ о маскарадныхъ балахъ, о весельѣ и свадебныхъ пирахъ тра-ла-ла-ла, тра-ла, ла-ла-ла.

Часть третья.

ИТАЛІЯ.

(1828 г.).

Haf's auch und Ulrich Hutten
Mussten ganz bestimmt sich rüsten
Wider braun und blaue Kutten,
Meine gehn wie andre Christen!

Goethe.

Благородную душу вы никогда не принимаете въ расчетъ—и объ это разбивается ваша мудрость. *(Онъ открываетъ ящикъ въ письменномъ столѣ, вынимаетъ оттуда два пистолета, изъ которыхъ одинъ кладетъ на столъ, а другой заряжаетъ).*

«Сила Обстоятельствъ» Роберта.

I. Отъ Мюнхена до Генуи.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Я самый вѣжливый человѣкъ въ мірѣ. Я ставлю себѣ въ заслугу то, что никогда не былъ грубъ на этой землѣ, гдѣ такъ много невыносимыхъ болвановъ, которые подсядутъ къ вамъ и начнутъ разсказывать про свои страданія, или даже декламировать свои стихи; съ истинно христіанскимъ терпѣніемъ я всегда спокойно выслушивалъ подобную дрянь, ыдавая даже взглядомъ, какую ужасную скуку терпѣла душа. Подобно кающемуся брамину, который отдаетъ тѣло на жертву всякимъ гадамъ, чтобы и эти Божьи ı были сыты, *я часто по* цѣлымъ днямъ выдержи-

галъ натискъ самыхъ фатальныхъ человѣческихъ отбросковъ и спокойно выслушивалъ ихъ, — и внутренніе вздохи мои слышалъ только Онъ, награждающій добродѣтель.

Но и житейская мудрость повелѣваетъ намъ быть вѣжливымъ и не молчать сердито, а ужъ подавно не возражать сердито, когда какой-нибудь губчатый коммерціи совѣтникъ или тощій торговецъ сыромъ подсаживается къ намъ и заводитъ обще-европейскій разговоръ словами: «сегодня прекрасная погода». Нельзя вѣдь знать, при какихъ обстоятельствахъ снова встрѣтишься съ подобнымъ филистеромъ, и тогда, пожалуй, горько раскаешься, что не отвѣчалъ ему вѣжливо: «погода очень хороша». Можетъ даже случиться, любезный читатель, что въ Касселѣ за table d'hôte тебѣ придется сидѣть рядомъ съ упомянутымъ филистеромъ, и притомъ по лѣвую сторону отъ него, и онъ окажется тѣмъ человѣкомъ, предъ которымъ поставятъ блюдо съ жаренымъ карпомъ и который будетъ весело раздавать его обѣдающимъ. Такъ вотъ, если останется у него зубъ противъ тебя, то онъ все будетъ передавать тарелки направо, такъ что ты не получишь уже и кончика хвоста. Ибо,—увы!—ты именно тринадцатый за столомъ, а это всегда опасно, когда сидишь отъ раздающаго влѣво, тарелки же передаются вправо. А не получить ни кусочка карпа — большое бѣдствіе; послѣ потери національной кокарды — можетъ-быть, самое большое. Филистеръ, причиняющій тебѣ это бѣдствіе, сверхъ того, еще издѣвается надъ тобой и предлагаетъ тебѣ лавровый листъ, оставшійся въ красномъ соусѣ... ахъ! что проку въ лавровыхъ листьяхъ, когда при нихъ нѣтъ карповъ!.. Филистеръ же прищуриваетъ глазки, и хихикаетъ, и лепечетъ: «Сегодня прекрасная погода».

Ахъ, милый другъ, можетъ случиться даже и такъ, что ты на какомъ-нибудь кладбищѣ очутишься въ могилѣ рядомъ съ этимъ самымъ филистеромъ, и когда въ судный день услышишь звукъ трубы и скажешь своему сосѣду: «Добрый другъ, потрудитесь протянуть мнѣ руку, чтобы я могъ встать, у меня лѣвая нога замерла отъ проклятаго долгаго лежанья» — то вдругъ увидишь хорошо знакомую филистерскую улыбку и услышишь язвительный г «Сегодня прекрасная погода»

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Сегодня прекрасная погода»...

Если бы, любезный читатель, ты слышалъ тонъ,

пенный фистульно-басовый тонъ, которымъ были произнесены эти слова, да еще вдобавокъ увидѣлъ, самого произносителя, это архипрозаическое, вдовью кассу напоминающее, лицо, глупо проворные глазенки, приподнятый хитрый носъ ищейки—то сейчасъ бы узналъ, что этотъ цвѣтокъ выросъ не на какомъ-нибудь обыкновенномъ пескѣ и что эти звуки—языкъ Шарлотенбурга, гдѣ по-берлински говорятъ еще лучше, чѣмъ въ самомъ Берлинѣ.

Я самый вѣжливый человѣкъ въ мірѣ и очень люблю карповъ въ красномъ соусѣ, и вѣрю въ возможность вышесказанной сцены на кладбищѣ,— и я отвѣчалъ: «Дѣйствительно, погода очень хороша».

Прогоготавъ такимъ образомъ, сынъ Шпре теперь ужъ плотно насѣлъ на меня, и я никакъ не могъ освободиться отъ его вопросовъ и собственныхъ на нихъ отвѣтовъ, въ особенности же отъ его параллелей между Берлиномъ и Мюнхеномъ—новыми Аѳинами, въ которыхъ онъ не оставилъ ни одного живого мѣста.

Но я принялся усердно защищать новыя Аѳины, какъ и вообще всегда защищаю мѣсто, гдѣ нахожусь въ данное время. Что на этотъ разъ страдалъ отъ меня Берлинъ— ты охотно простишь мнѣ, любезный читатель, когда я, между нами, сознаюсь тебѣ, что поступаю такъ по большей части чисто изъ политики; ибо я знаю, что какъ только начну хвалить моихъ добрыхъ берлинцевъ, тутъ и конецъ моей славѣ у нихъ; начнутъ пожимать плечами и шептать одинъ другому: «совсѣмъ пошлымъ становится этотъ человѣкъ, насъ даже хвалитъ». Дѣло въ томъ, что нѣтъ города, у котораго было бы меньше мѣстнаго патріотизма, чѣмъ у Берлина. Тысячи жалкихъ писателей уже прославили Берлинъ и въ прозѣ, и въ стихахъ, а хоть бы одинъ пѣтухъ въ странѣ прокричалъ объ этомъ, и хоть бы одну курицу имъ сварили за это, и «Подъ Липами» продолжали ихъ попрежнему считать жалкими поэтами. Съ другой стороны, обращалось такъ же мало вниманія, когда какой-нибудь кропатель-поэтъ въ своихъ парабазахъ принимался бранить Берлинъ. Но рискни кто-нибудь написать что-либо недоброжелательное противъ Польквица, Инспрука, Шильды, Кревинкеля и другихъ столицъ! Какъ зашевелился бы [illegible]ный патріотизмъ! Причина тому слѣдующая. Берлинъ [illegible] не городъ; Берлинъ только даетъ для города мѣсто, [illegible]бирается масса людей, и между ними много людей [illegible] для которыхъ рѣшительно все равно, въ какомъ

временамъ подавляемъ желаніе смѣяться, точно боясь вдругъ получить ударъ по спинѣ тросточкой стараго Фрица. Но такой страхъ никогда не нападаетъ на насъ въ Берлинѣ; тутъ мы чувствуемъ, что старый Фрицъ и его тросточка не имѣютъ никакой силы, потому что иначе изъ старыхъ, просвѣщенныхъ оконъ города здраваго разсудка не выглядывало бы такъ много больныхъ обскурантныхъ лицъ, и между старыми скептически-философскими домами не поселилось бы столько глупыхъ суевѣрныхъ зданій. Я не хочу быть понятымъ невѣрно и потому положительно замѣчаю, что въ этомъ случаѣ отнюдь не намекаю на новую Вердеровскую церковь, этотъ готическій соборъ въ обновленномъ масштабѣ, который поставленъ между новыми зданіями изъ ироніи, чтобы аллегорически показать намъ, какъ пошло и нелѣпо выходило бы, если бы хотѣли снова строить старыя, давно погибшія учрежденія среднихъ вѣковъ среди новыхъ созданій новаго времени.

Вышесказанное касается только внѣшности Берлина, и если въ этомъ отношеніи сравнить съ нимъ Мюнхенъ, то можно безошибочно утверждать, что этотъ послѣдній составляетъ противоположность Берлину. Мюнхенъ именно городъ, построенный самимъ народомъ, и притомъ слѣдовавшими одно за другимъ поколѣніями, духъ которыхъ до сихъ поръ еще остается видимъ въ ихъ строеніяхъ, такъ что тамъ, какъ въ сценѣ вѣдьмъ «Макбета», передъ нами проходитъ хронологическій рядъ духовъ, начиная багровымъ духомъ среднихъ вѣковъ, выступающимъ въ вооруженіи изъ готическихъ дверей храма, и кончая образованно-свѣтскимъ духомъ нашего собственнаго времени, держащимъ передъ нами зеркало, въ которомъ каждый съ удовольствіемъ видитъ самого себя. Въ этомъ послѣдовательномъ рядѣ и заключается примирительное; варварское больше не возмущаетъ насъ, а безвкусное больше не оскорбляетъ, когда мы смотримъ на нихъ, какъ на начала и необходимые переходы. Мы серьезны, но не сердиты, когда глядимъ на этотъ соборъ варварской поры, который все еще продолжаетъ возвышаться надъ всѣмъ городомъ и хранитъ въ своихъ нѣдхъ средневѣковыя тѣни и привидѣнія. Съ такимъ же утствіемъ неудовольствія, даже съ забавнымъ умиленіемъ ащаемъ мы взоры на гладко причесанные замки поздаго періода, неуклюже нѣмецкое обезьянство гладенькФранцузской неестественности, эти великолѣпныя эраобразцы безвкусицы, съ дурацкими завитками

они мѣстѣ находятся; эти люди составляютъ умственный Берлинъ. Проѣзжій иностранецъ видитъ только вытянувшіеся въ длинный рядъ, однообразные дома, длинныя, широкія улицы, проложенныя по шнурку и большей частью по благоусмотрѣнію одного лица и не дающія никакого понятія объ образѣ мыслей массы. Только счастливцамъ удается угадывать кое-что изъ частныхъ мыслей обитателей, когда они смотрятъ на длинные ряды домовъ, которые, какъ и сами люди, стараются держаться подальше другъ отъ друга, каменѣя во взаимной непріязни. Только однажды, въ лунную ночь, возвращаясь довольно поздно домой отъ Луттера и Вегенера, я видѣлъ, какъ это жесткое настроеніе перешло въ кроткую грусть, какъ дома, относившіеся одинъ къ другому столь враждебно, обмѣнивались между собой умиленно христіанскими взглядами и намѣревались примирительно кинуться въ объятія другъ къ другу, такъ что я, бѣдный человѣкъ, проходившій посрединѣ улицы, боялся быть раздавленнымъ. Многіе найдутъ эту боязнь смѣшною, и самъ я улыбался, когда на слѣдующее утро уже съ трезвыми глазами проходилъ по этой самой улицѣ, и дома снова такъ прозаически зѣвали, глядя другъ на друга. Нужно, право, имѣть много бутылокъ поэзіи, если хочешь въ Берлинѣ видѣть что-нибудь, кромѣ мертвыхъ домовъ и берлинцевъ. Тутъ трудно видѣть духовъ. Въ городѣ такъ мало древностей, и онъ такъ новъ; а между тѣмъ это новое уже такъ старо, такъ завяло и такъ вымерло! Ибо, какъ я уже сказалъ, городъ возникъ по мысли не массы, а отдѣльныхъ лицъ. Великій Фрицъ между этими немногими, конечно, самый лучшій; то, что́ онъ засталъ здѣсь, было только прочный фундаментъ, только отъ него городъ получилъ свой истинный характеръ, и не будь съ его смерти построено въ городѣ больше ничего, Берлинъ остался бы историческимъ памятникомъ духа того прозаически-удивительнаго героя, который съ настоящею нѣмецкою храбростью выработалъ въ себѣ рафинированное безвкусіе и цвѣтущую свободу разума, все пошлое и все хорошее своего времени. Потсдамъ, напримѣръ, является намъ именно такимъ памятникомъ, по его пустымъ улицамъ мы ходимъ, какъ и дошедшимъ до насъ сочиненіямъ философа Санъ-Суси, онъ принадлежитъ къ его oeuvres posthumes и хотя въ настоящее время представляетъ собою только каменную макулатуру и заключаетъ въ себѣ довольно смѣшного, но мы, все-таки, смотримъ на него съ серьезнымъ интересомъ и

временамъ подавляемъ желаніе смѣяться, точно боясь вдругъ получить ударъ по спинѣ тросточкой стараго Фрица. Но такой страхъ никогда не нападаетъ на насъ въ Берлинѣ; тутъ мы чувствуемъ, что старый Фрицъ и его тросточка не имѣютъ никакой силы, потому что иначе изъ старыхъ, просвѣщенныхъ оконъ города здраваго разсудка не выглядывало бы такъ много больныхъ обскурантныхъ лицъ, и между старыми скептически-философскими домами не поселилось бы столько глупыхъ суевѣрныхъ зданій. Я не хочу быть понятымъ невѣрно и потому положительно замѣчаю, что въ этомъ случаѣ отнюдь не намекаю на новую Вердеровскую церковь, этотъ готическій соборъ въ обновленномъ масштабѣ, который поставленъ между новыми зданіями изъ ироніи, чтобы аллегорически показать намъ, какъ пошло и нелѣпо выходило бы, если бы хотѣли снова строить старыя, давно погибшія учрежденія среднихъ вѣковъ среди новыхъ созданій новаго времени.

Вышесказанное касается только внѣшности Берлина, и если въ этомъ отношеніи сравнить съ нимъ Мюнхенъ, то можно безошибочно утверждать, что этотъ послѣдній составляетъ противоположность Берлину. Мюнхенъ именно городъ, построенный самимъ народомъ, и притомъ слѣдовавшими одно за другимъ поколѣніями, духъ которыхъ до сихъ поръ еще остается видимъ въ ихъ строеніяхъ, такъ что тамъ, какъ въ сценѣ вѣдьмъ «Макбета», передъ нами проходитъ хронологическій рядъ духовъ, начиная багровымъ духомъ среднихъ вѣковъ, выступающимъ въ вооруженіи изъ готическихъ дверей храма, и кончая образованно-свѣтскимъ духомъ нашего собственнаго времени, держащимъ передъ нами зеркало, въ которомъ каждый съ удовольствіемъ видитъ самого себя. Въ этомъ послѣдовательномъ рядѣ и заключается примирительное; варварское больше не возмущаетъ насъ, а безвкусное больше не оскорбляетъ, когда мы смотримъ на нихъ, какъ на начала и необходимые переходы. Мы серьезны, но не сердиты, когда глядимъ на этотъ соборъ варварской поры, который все еще продолжаетъ возвышаться надъ всѣмъ городомъ и хранитъ въ своихъ нѣд- средневѣковыя тѣни и привидѣнія. Съ такимъ же гствіемъ неудовольствія, даже съ забавнымъ умиленіемъ аемъ мы взоры на гладко причесанные замки позд- о періода, неуклюже нѣмецкое обезьянство гладень- пузской *неестественности*, эти великолѣпныя зда- *щы безвкусицы*, съ дурацкими завитками сна-

ружи, а внутри еще наряднѣе украшенныя крикливо пестрыми аллегоріями, позолоченными арабесками, лѣпными фигурами и картинами, на которыхъ изображены покойные знатные господа: кавалеры съ красными, пьяно-трезвыми лицами подъ длинными париками, ниспадающими, какъ напудренныя львиныя гривы, дамы съ стоячими туше, въ стальныхъ корсетахъ, крѣпко стянувшихъ у нихъ сердце, и громадныхъ фижмахъ, тѣмъ прозаичнѣе увеличивавшихъ ихъ объемъ. Какъ уже сказано, это зрѣлище не сердитъ насъ, оно, напротивъ, способствуетъ живому пониманію нами настоящаго и его свѣтлыхъ сторонъ, и когда мы смотримъ на произведенія новаго времени, возвышающіяся рядомъ со старыми, то испытываемъ такое ощущеніе, какъ будто съ нашей головы сняли тяжелый парикъ, а сердце освободилось отъ стальныхъ оковъ. Я говорю здѣсь о свѣтлыхъ храмахъ искусства и благородныхъ дворцахъ, которые въ смѣломъ изобиліи возникаютъ изъ духа Кленце, великаго художника.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Но что весь городъ называютъ новыми Аѳинами—это, между нами будь сказано, смѣшновато, и защищать его въ качествѣ таковыхъ мнѣ весьма трудно. Это я самымъ глубокимъ образомъ почувствовалъ въ разговорѣ съ берлинскимъ филистеромъ, который, хотя проговорилъ со мной нѣкоторое время, былъ достаточно невѣжливъ, чтобы отрицать въ новыхъ Аѳинахъ всякое присутствіе аттической соли.

— Она,—вскричалъ онъ довольно громко:—есть только въ Берлинѣ. Только тамъ найдете и остроуміе, и иронію. Здѣсь имѣется хорошее бѣлое пиво, но, право, никакой ироніи.

— Ироніи у насъ нѣтъ, — сказала Наннерль, стройная кельнерша, пробѣгавшая мимо насъ въ эту минуту:—но всякаго другого пива сколько угодно.

Что Наннерль приняла иронію за одинъ изъ сортовъ пива, можетъ-быть, за лучшее штетинское—это было для меня очень прискорбно, и для того, чтобы она, по крайней мѣрѣ, впередъ не дѣлала подобныхъ промаховъ, я на слѣдующимъ образомъ поучать ее: «Прекрасная Нан иронія не пиво, а изобрѣтеніе берлинцевъ, умнѣйших дей на свѣтѣ, которые очень сердились, что родил *свѣтъ слишкомъ* поздно для того, чтобы изобрѣсть

и потому старались сдѣлать изобрѣтеніе не менѣе важное и очень полезное именно для тѣхъ, кто не изобрѣлъ пороха. Въ прежнее время, любезное дитя, когда кто-нибудь совершалъ глупость, что̀ тутъ было дѣлать? Совершившагося вѣдь не уничтожишь, и люди говорили: «Малый глупъ, какъ животное». Это было непріятно. Въ Берлинѣ, гдѣ живутъ люди самые умные, и гдѣ дѣлается наибольше глупостей, эта непріятность чувствовалась глубже, чѣмъ гдѣ бы то ни было. Министерство старалось принять противъ нея серьезныя мѣры; печатать было дозволено только крупныя глупости, маленькія же разрѣшалось употреблять только въ разговорахъ, и это дозволеніе распространили только на профессоровъ и высшихъ сановниковъ; люди же менѣе важные могли говорить свои глупости только по секрету. Но всѣ эти мѣры оказались безполезными: придавленныя глупости выступали тѣмъ сильнѣе по всякому необыкновенному поводу, имъ даже стали тайно покровительствовать свыше, онѣ гласно подымались снизу вверхъ, положеніе сдѣлалось весьма критическимъ, и вотъ, наконецъ, нашли средство дѣлать всякую появившуюся глупость какъ бы не появлявшеюся и даже превращать ее въ мудрость. Средство это совершенно простое и заключается въ томъ, что данную глупость надо объявить сказанною или совершенною только изъ ироніи. Такъ, милое дитя, все въ этомъ мірѣ идетъ впередъ, глупость становится ироніей, неудавшееся любопытство—сатирой, дѣйствительное безуміе—юморомъ, невѣжество—блестящимъ остроуміемъ, и ты еще въ концѣ концовъ станешь Асназіею новыхъ Аѳинъ».

Я сказалъ бы еще больше, если бъ красавица Наннерль, которую я во время своей рѣчи держалъ за кончикъ передника, не вырвалась, когда со всѣхъ сторонъ стали ужъ черезчуръ бурно требовать «пива, пива!» Берлинецъ же былъ сама иронія, когда замѣтилъ, съ какимъ энтузіазмомъ получались высокія пѣнистыя кружки, и, указывая мнѣ на группу пившихъ, которые отъ всего сердца наслаждались хмельнымъ нектаромъ и диспутировали о его превосходныхъ качествахъ, съ улыбкой сказалъ: «Такъ вотъ это [illegible]пяне?»

[illegible]Замѣчанія, сдѣланныя имъ при этомъ случаѣ, причинили [illegible]в порядочную боль, такъ какъ я питаю совсѣмъ немалую [illegible]занность къ нашимъ новымъ Аѳинамъ, и потому я [illegible]я объяснить *легкомысленному* порицателю, что мы [illegible]*давно пришли къ* мысли создать изъ себя новыя

Аѳины, что мы только начинающіе новички и что наши великіе умы, даже вся наша образованная публика еще не совсѣмъ готовы для того, чтобы показывать себя вблизи. Все еще организуется, и мы не въ полномъ комплектѣ. «Только самыя низшія должности, любезный другъ,—прибавилъ я: — покамѣстъ заняты, и вы, вѣроятно, замѣтили что, напримѣръ, въ совахъ, сикофантахъ и Фринахъ у насъ нѣтъ недостатка. Недостатокъ ощущается только въ высшемъ персоналѣ, и многимъ приходится одновременно играть нѣсколько ролей. Напримѣръ, нашъ поэтъ, воспѣвающій нѣжную греческую любовь особаго рода, долженъ былъ принять на себя и Аристофановскую грубость; но онъ можетъ дѣлать все, что угодно, у него есть все нужное, чтобы быть великимъ поэтомъ, кромѣ развѣ фантазіи и остроумія, и будь у него много денегъ, онъ былъ бы великій человѣкъ. Но чего недостаетъ намъ въ количествѣ, то возмѣщаемъ мы въ качествѣ. У насъ только одинъ великій ваятель— но это «Левъ»! У насъ только одинъ великій ораторъ, но я убѣжденъ, что Демосѳенъ не могъ бы гремѣть такъ прекрасно въ Аттикѣ противъ налога на солодъ. Если мы до сихъ поръ не отравили еще ни одного Сократа, то это, право, не потому, что у насъ яда не было. И если мы еще не имѣемъ настоящаго демоса, цѣлаго народа демагоговъ, то можемъ преподнести роскошный экземпляръ этого класса, демагога по профессіи, который одинъ стоитъ цѣлаго демоса, цѣлой кучи крикуновъ, болтуновъ, трусовъ и всякой другой сволочи,—и вотъ передъ вами онъ самъ».

Я не могу преодолѣть искушеніе нѣсколько подробнѣе изобразить фигуру, представившуюся намъ въ эту минуту. Справедливо ли эта фигура утверждаетъ, что ея голова имѣетъ въ себѣ нѣчто человѣческое, и что она поэтому юридически въ правѣ выдавать себя за человѣка—этотъ вопросъ я оставляю открытымъ. Голову эту я скорѣе бы принялъ за голову обезьяны; только изъ любезности не мѣшаю ей сходить за человѣческую. Покровъ ея состоялъ изъ суконной фуражки, по формѣ похожей на шлемъ Мамбрина, жесткіе черные волосы падали низко, будучи спереди причесаны à l'enfant. На этой передней сторонѣ головы, выдавшей себя за лицо, богиня пошлости приложила ся печать, и притомъ такъ сильно, что находящійся тамъ н почти совсѣмъ расплюснулся; опущенные внизъ глаза, *видимому*, тщетно отыскивали этотъ носъ и поэтому с*трѣли очень* печально; вонючая улыбка играла на губ

которыя были необычайно прелестны и поразительнымъ сходствомъ своимъ съ одною изъ частей тѣла могли вдохновить нашего греческаго поэта на самыя нѣжныя газели. Одѣяніе составлялъ древне-нѣмецкій кафтанъ, правда, уже нѣсколько измѣненный согласно настоятельнѣйшимъ требованіямъ ново-европейской цивилизаціи, но покроемъ все еще напоминавшій тотъ, который былъ на Арминіи въ Тевтобургскомъ лѣсу и первобытная форма котораго сохранилась такъ же таинственно традиціонно въ патріотическомъ обществѣ портныхъ, какъ нѣкогда готическое зодчество въ мистическомъ цехѣ каменщиковъ. Вымытая бѣлая тряпка, представлявшая глубоко-знаменательный контрастъ съ открытой древней нѣмецкой шеей, покрывала воротникъ этого удивительнаго кафтана, изъ длинныхъ рукавовъ его вывѣшивались длинныя грязныя руки, между ними обнаруживалось скучное туловище, подъ которымъ болтались двѣ короткія ноги,—вся фигура была жалко-смѣшная пародія на Аполлона Бельведерскаго.

— И это демагогъ новыхъ Аѳинъ? — спросилъ съ насмѣшливой улыбкой берлинецъ.—Ахъ, ты, Господи, да вѣдь это мой землякъ! Не вѣрю собственнымъ глазамъ. Вѣдь это тотъ, который!.. Нѣтъ, неужели?..

— Да, ослѣпленные берлинцы,—сказалъ я не безъ увлеченія:—вы не признаете вашихъ туземныхъ геніевъ и побиваете камнями вашихъ пророковъ. Мы же можемъ потреблять все!

— Но для чего пригодится вамъ эта несчастная муха?

— Она пригодна для всего, гдѣ требуется прыганье, ползанье, чувствительность, жранье, набожность, много древне-германскаго, немного латинскаго и совсѣмъ не нужно греческаго. Онъ дѣйствительно очень хорошо прыгаетъ черезъ палку, составляетъ также таблицы всевозможныхъ прыжковъ и списки всевозможныхъ варіантовъ древне-нѣмецкихъ стихотвореній. Вдобавокъ къ этому онъ представитель любви къ отечеству, не будучи нисколько опаснымъ. Ибо всѣмъ очень хорошо извѣстно, что отъ древне-нѣмецкихъ демагоговъ, въ общество которыхъ ему пришлось случайно попасть, онъ отсту-
во-время, когда ихъ дѣло стало нѣсколько опасно и
у уже не согласовалось съ христіанскими чувство-
и его мягкаго сердца. Но съ тѣхъ поръ, какъ опас-
ошла, какъ мученики пострадали за свой образъ
какъ *почти всѣ сами* отказались отъ него и даже
ые пламенные цырюльники сняли свои нѣмецкіе

кафтаны—съ тѣхъ собственно поръ и началось цвѣтущее время нашего осторожнаго спасителя отечества; онъ одинъ только удержалъ костюмъ демагога и принадлежащій къ нему способъ выражаться; онъ все еще продолжаетъ прославлять херуска Арминія и госпожу Туснельду, точно онъ ихъ бѣлокурый внукъ; онъ все еще сохраняетъ свою германско-патріотическую ненависть къ французскому вавилонству, къ изобрѣтателю мыла, къ языческо-греческой грамматикѣ Тирша, къ Квинтилію Вару, къ перчаткамъ и ко всѣмъ тѣмъ людямъ, у кого приличный носъ. И такимъ образомъ живетъ онъ, какъ ходячій памятникъ погибшаго времени, и подобно послѣднему могикану уцѣлѣлъ онъ, одинъ изъ всей мужественной орды, онъ, послѣдній демагогъ! Вы видите, такимъ образомъ, что въ новыхъ Аѳинахъ, гдѣ еще совсѣмъ нѣтъ демагоговъ, этотъ человѣкъ можетъ вамъ пригодиться, мы имѣемъ въ немъ отличнаго демагога, который вмѣстѣ съ тѣмъ такой ручной, что облизываетъ всѣ плевательницы и жретъ изъ руки, жретъ орѣхи, каштаны, сыръ, сосиськи, словомъ, все, что̀ ему ни дадутъ; а такъ какъ онъ въ настоящее время единственный въ своемъ родѣ, то у насъ еще та особенная выгода, что впослѣдствіи, когда онъ издохнетъ, сдѣлаемъ изъ него чучело и можемъ сохранять его для потомства, со шкурой и волосами, какъ послѣдняго демагога. Я васъ прошу, однако, не говорить этого профессору Лихтенштейну въ Берлинѣ, иначе тотъ потребуетъ его для зоологическаго музея, а это могло бы послужить поводомъ къ войнѣ между Пруссіею и Баваріею, такъ какъ мы не выдадимъ его ни въ какомъ случаѣ. Англичане уже точатъ на него зубы и предлагали за него двѣ тысячи семьсотъ семьдесятъ семь гиней, австрійцы тоже хотятъ вымѣнять его на жирафа, но наше министерство отвѣтило: послѣдняго демагога мы не продадимъ ни за какія деньги, онъ будетъ нѣкогда гордостью нашего кабинета рѣдкостей природы и украшеніемъ нашего города.

Берлинецъ слушалъ меня, повидимому, нѣсколько разсѣянно, болѣе привлекательные предметы заняли его вниманіе, и онъ, наконецъ, остановилъ мою рѣчь словами:

— Позвольте, пожалуйста, перебить васъ, но скажите-что̀ это за собака бѣжитъ тамъ?

— Это ужъ другая собака.

— Ахъ, вы меня не поняли; я говорю вонъ о той бо*лой бѣлой собакѣ* безъ хвоста.

— *Это, почтеннѣйшій*, собака новаго Алкивіада.

— Но,—замѣтилъ берлинецъ: — скажите, гдѣ же самъ новый Алкивіадъ?

— Правду говоря,—отвѣчалъ я:—эта должность еще не занята, и покамѣстъ у насъ есть только собака.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Мѣсто, гдѣ происходилъ этотъ разговоръ, называется Богенгаузенъ, или Нейбургсгаузенъ, или вилла Гомпешъ, или Монгеласгартенъ, или Шлессель; впрочемъ, нѣтъ надобности и называть его, когда хочешь поѣхать туда изъ Мюнхена, извозчикъ пойметъ васъ уже по извѣстному подмигиванью, указывающему на желаніе выпить, по извѣстному заранѣе блаженному киванью головой и тому подобнымъ пояснительнымъ гримасамъ. Тысячи выраженій имѣетъ арабъ для меча, французъ для любви, англичанинъ для вѣшанья, нѣмецъ для питья, а новый аѳинянинъ даже для мѣстъ, въ которыхъ онъ пьетъ. Пиво въ вышеупомянутомъ мѣстѣ дѣйствительно очень хорошо, даже въ Пританеѣ (vulgo Боккелеръ) оно не лучше, вкусъ у него совсѣмъ превосходный, особенно на той высокой террасѣ, откуда видишь Тирольскія Альпы. Я часто сиживалъ тамъ прошедшею зимой и смотрѣлъ на покрытыя снѣгомъ горы, которыя, блестя при солнечномъ освѣщеніи, казались вылитыми изъ чистаго серебра.

Въ то время и въ моей душѣ была зима, мысли и чувства были точно занесены снѣгомъ, сердце засохло и умерло, а къ этому еще присоединились несносная политика, скорбь объ одномъ умершемъ миломъ дитяти, остатокъ стараго раздраженія и насморкъ. Кромѣ того, я пилъ много пива, потому что меня увѣряли, что пиво уничтожаетъ густоту крови. Но и самый лучшій аттическій сортъ не приносилъ пользы мнѣ, уже въ Англіи пріучившемуся къ портеру.

Наконецъ, насталъ день, когда все совершенно измѣнилось. Солнце появилось на небѣ и напоило землю, стараго ребенка, своимъ лучистымъ молокомъ, горы трепетали отъ радости, и обильно текли ихъ снѣжныя слезы, трещали и ломались ледяные покровы озеръ, земля раскрыла свои го-
ые глаза, изъ ея груди выступили любящіе цвѣты и зву-
щіе лѣса,—зеленые чертоги соловьевъ, вся природа улы-
лась, и эта улыбка называлась весна. Тутъ и во мнѣ
чалась новая весна, новые цвѣты выросли изъ сердца,
ство свободы расцвѣло, какъ розы, расцвѣло и тайное
стное томленіе, какъ *молодыя* фіалки, между которыми,

конечно, было и немало безполезной крапивы. Могилы моихъ желаній надежда снова покрыла своею радостною зеленью, вернулись и мелодіи поэзіи, какъ перелетныя птицы, которыя зиму провели на тепломъ югѣ и снова отыскиваютъ оставленное гнѣздо на сѣверѣ, и оставленное сѣверное сердце снова зазвучало и зацвѣло, какъ прежде,—только я не знаю, какъ все это сдѣлалось. Черноволосое или бѣлокурое солнце опять пробудило весну въ моемъ сердцѣ и поцѣлуями вновь вызвало къ жизни всѣ, спавшіе въ этомъ сердцѣ цвѣты, и улыбкой снова привлекло туда соловьевъ? Не сама ли это родственная со мной природа искала отголоска въ моей груди и радостно отражалась въ ней со своимъ новымъ весеннимъ блескомъ? Не знаю, но думаю, что на террасѣ въ Богенгаузенѣ, въ виду Тирольскихъ Альпъ, подпало мое сердце подъ эти новыя чары. Часто въ тѣ часы, когда я сидѣлъ тамъ, погруженный въ мысли, мнѣ представлялось, что изъ-за этихъ горъ съ любопытствомъ выглядываетъ молодое лицо чудной красоты, и я желалъ имѣть крылья, чтобъ полетѣть въ его резиденцію—Италію. Часто тоже я чувствовалъ на себѣ вѣяніе запаха лимоновъ и апельсиновъ, несшееся съ горъ, лаская и много обѣщая, чтобы приманить меня въ Италію. Однажды даже, въ золотыхъ вечернихъ сумеркахъ, я на вершинѣ одной горы увидѣлъ этотъ образъ совершенно ясно, во весь ростъ — увидѣлъ молодого бога весны; цвѣты и лавры вѣнчали его радостную голову, и улыбающимися глазами, и цвѣтущими устами онъ говорилъ: «Я люблю тебя, приди ко мнѣ въ Италію!»

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Естественно поэтому, что во взглядѣ моемъ свѣтилось грустное томленіе въ то время, какъ я, придя въ отчаяніе отъ обѣщавшаго быть безконечнымъ филистерскаго разговора, смотрѣлъ на чудесныя тирольскія горы и глубоко вздыхалъ. Но мой берлинскій филистеръ принялъ именно этотъ взглядъ и этотъ вздохъ за новыя разговорныя нити, и сталъ тоже вздыхать: «Ахъ, да, мнѣ тоже хотѣлось бы быть теперь въ Константинополѣ! Ахъ! Видѣть Константинополь было всегда единственнымъ желаніемъ моей жи. а въ настоящее время русскіе навѣрно заняли уже, а Константинополь! Видѣли вы Петербургъ?» Я отвѣчалъ о цательно и попросилъ разсказать мнѣ о Петербургѣ. не онъ самъ, а его зять, г. камергерихтсратъ, былъ *прошедшимъ* лѣтомъ, и оказывается, что это совсѣмъ

ственный городъ.—«А были вы въ Копенгагенѣ?» Когда я и на этотъ вопросъ отвѣчалъ отрицательно и попросилъ у него описанія этого города, онъ весьма хитро улыбнулся и съ очень довольнымъ видомъ покачалъ головкой, и сталъ честью увѣрять меня, что я не могу составить себѣ о Копенгагенѣ никакого представленія, если не побывалъ въ немъ самъ. «Это,—замѣтилъ я:—не сдѣлается такъ скоро; въ настоящее время я хочу предпринять другое путешествіе, которое задумалъ уже нынѣшней весной—именно, въ Италію».

Когда мой собесѣдникъ услышалъ эти слова, онъ внезапно вскочилъ со стула, три раза повернулся на одной ногѣ и запѣлъ: «Тирили! Тирили!»

Это послужило мнѣ послѣднимъ толчкомъ. «Ѣду завтра»—тутъ же рѣшилъ я. Не хочу больше медлить, хочу какъ можно скорѣе увидѣть страну, которая можетъ самаго сухого филистера привести въ такое восторженное состояніе, что онъ при упоминаніи ея вдругъ начинаетъ пѣть перепеломъ. Укладывая дома мои вещи въ чемоданъ, я все продолжалъ слышать звуки этого тирили, и мой братъ Максимиліанъ Гейне, провожавшій меня на слѣдующій день до Тироля, не могъ понять, почему я во всю дорогу не сказалъ ни одного разумнаго слова и безпрерывно тирилиривалъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

«Тирили, тирили!» Я живу, я чувствую сладкую скорбь существованія, я чувствую всѣ радости и муки міра, я страдаю за благо всего человѣчества, я искупаю его грѣхи, но я и наслаждаюсь ими.

И не только съ людьми, но и съ растеніями чувствую я ихъ; тысячи зеленыхъ языковъ разсказываютъ мнѣ прелестнѣйшія исторіи, они знаютъ, что я чуждъ человѣческой гордости, и съ самыми маленькими полевыми цвѣточками говорю я такъ же охотно, какъ съ высочайшими елями. Ахъ, я вѣдь знаю, что̀ творится съ такими елями! Изъ глубины долинъ онѣ поднимаются высоко къ небу, превосхо- же самые смѣлые утесы... Но долго ли длится это ѣніе? Много-много два-три жалкихъ столѣтія, а онѣ валятся, уставши отъ старости, и сгниваютъ ѣ. А ночью изъ расщелинъ утесовъ выползаютъ сычи и вдобавокъ еще издѣваются надъ ними: сильныя *ели, вы* думаете, что можете мѣряться

съ горами, а теперь лежите на землѣ сломанныя, между тѣмъ какъ горы все еще стоятъ несокрушимыя».

Орлу, сидящему на своемъ любимомъ утесѣ, становится очень грустно на душѣ, когда онъ слышитъ подобныя издѣвательства. Онъ думаетъ въ эти минуты о своей собственной судьбѣ. И онъ тоже не знаетъ, на какой глубинѣ придется ему лежать гдѣ-нибудь. Но звѣзды сверкаютъ такъ умиротворяюще, лѣсныя воды шумятъ такъ утѣшительно, и собственная душа своимъ біеніемъ такъ гордо заглушаетъ всѣ малодушныя мысли, что онъ скоро забываетъ ихъ. А когда еще покажется солнце, то онъ снова чувствуетъ себя такимъ, какъ прежде, и взлетаетъ къ этому солнцу, и когда уже совсѣмъ близко отъ него, то поетъ ему про свою радость и про свои муки. Его собратья, животныя, особенно люди, думаютъ, что орелъ не можетъ пѣть, но они не знаютъ, что онъ поетъ только тогда, когда улетитъ изъ ихъ области, что изъ гордости онъ хочетъ, чтобы его слышало только солнце. И онъ правъ: вѣдь кому-нибудь изъ его пернатой родни могла бы вдругъ придти охота рецензировать его пѣніе. Я испыталъ на себѣ, каковы эти критики: пѣтухъ становится на одну ногу и кудахтаетъ, что у пѣвца совсѣмъ нѣтъ души; индюкъ клохчетъ, что у него нѣтъ истинной серьезности; голубка воркуетъ, что онъ не знаетъ истинной любви; гусь гогочетъ, что онъ не имѣетъ научныхъ познаній; каплунъ кричитъ, что онъ безстрастенъ; снигирь свиститъ, что онъ, къ сожалѣнію, чуждъ всякой религіи; воробей чирикаетъ, что онъ недостаточно производителенъ... Удавы, сороки, филины — все это кричитъ, стонетъ и скрипитъ... Только соловей стоитъ въ сторонѣ отъ этихъ критикъ, ему нѣтъ дѣла ни до кого въ мірѣ, только пурпурная роза его единственная мысль, единственная пѣснь, съ страстнымъ желаніемъ порхаетъ онъ вокругъ пурпурной розы и вдохновенно бросается въ возлюбленные шипы и истекаетъ кровью, и поетъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Есть въ нѣмецкой отчизнѣ одинъ орелъ, солнечная пѣснь котораго звучитъ такъ могущественно, что ее с
здѣсь внизу, и даже соловьи прислушиваются к
бывая всѣ свои мелодическія скорби. Это ты, Ка
манъ, и о тебѣ очень часто вспоминалъ я въ
которую ты такъ прекрасно воспѣлъ. Какъ
ѣзжать *черезъ* Тироль, не думая о твоей «Тра

собою разумѣется, что я видѣлъ вещи совсѣмъ въ другомъ освѣщеніи; но, тѣмъ не менѣе, я удивлялся поэту, который изъ глубины своей души съ такой вѣрностью дѣйствительности возсоздалъ то, чего онъ никогда не видалъ. Болѣе всего забавляло меня, что «Трагедія въ Тиролѣ» запрещена въ Тиролѣ. Я вспоминалъ слова, которыя писалъ мнѣ мой другъ Мозеръ, когда извѣщалъ меня, что запрещена вторая часть моихъ «Путевыхъ Картинъ»: «Но правительству нѣтъ никакой надобности запрещать эту книгу, потому что ее и безъ этого будутъ читать».

Въ Инспрукѣ, въ гостиницѣ «Золотого Орла», гдѣ жилъ когда-то Андрей Гоферъ, гдѣ еще каждый уголъ оклеенъ его портретами и воспоминаніями о немъ, я спросилъ хозяина, г. Нидеркирхнера, много ли еще можетъ онъ разсказать мнѣ о знаменитомъ постояльцѣ. Тутъ старикъ весь разлился въ краснорѣчіи и, умно подмигивая глазами, подъ секретомъ сообщилъ, что теперь эта вся исторія уже напечатана, но очень запрещена; и когда послѣ этого онъ повелъ меня въ темную комнатку, гдѣ у него хранятся его реликвіи изъ тирольской войны, то вынулъ изъ грязной синей бумаги уже значительную зеленую книжку, въ которой я, къ моему удивленію, призналъ «Трагедію въ Тиролѣ» Иммермана. Не безъ справедливой гордости сообщилъ я ему, что человѣкъ, написавшій эту книгу, — мой другъ. Тутъ г. Нидеркирхнеръ выразилъ желаніе узнать объ этомъ человѣкѣ какъ можно больше. Я разсказалъ ему, что это человѣкъ заслуженный, крѣпкаго тѣлосложенія, очень честный и очень искусный въ писательствѣ, такъ что въ этомъ отношеніи найдется ему мало равныхъ. Но что Иммерманъ пруссакъ, этому г. Нидеркирхнеръ ни за что не хотѣлъ вѣрить, и съ улыбкой состраданія вскричалъ: «Невозможно, невозможно!» Онъ твердо стоялъ на томъ, что Иммерманъ тиролецъ и участвовалъ въ тирольской войнѣ — «иначе какъ бы онъ могъ знать все это?»

Странная причуда народа! Онъ желаетъ получать свою исторію изъ рукъ поэта, а не историка. Онъ не требуетъ вѣрнаго изложенія голыхъ фактовъ, но хочетъ, чтобы эти факты снова переработались въ ту первобытную поэзію, они возникли. Это знаютъ поэты, и не безъ тайнаго тва передѣлываютъ они по своему произволу народ- споминанія, можетъ-быть, для того, чтобы подсмѣяться рдо сухими исторіографами и пергаментными храни- государственныхъ архивовъ. Немало позабавило

меня, когда на послѣдней ярмаркѣ я увидѣлъ въ лавкѣ исторію Велизарія, изображенную въ яркихъ раскрашенныхъ картинахъ, и притомъ не по исторіи Прокопія, а совершенно точно по трагедіи Шенка. «Вотъ такъ-то поддѣлываютъ исторію,—сказалъ мой ученый другъ, сопровождавшій меня: — въ ней и рѣчи нѣтъ о мщеніи оскорбленной жены, о взятомъ въ плѣнъ сынѣ, о любви дочери и т. п. новыхъ порожденіяхъ сердечнаго чувства.» Но дѣйствительно ли это недостатокъ? Дѣйствительно ли нужно возбуждать противъ поэтовъ тяжбу за такія поддѣлки? Нѣтъ, я отвергаю обвиненіе. Исторія поэтами не поддѣлывается. Они передаютъ смыслъ ея совершенно вѣрно, хотя бы посредствомъ ими же изобрѣтенныхъ фигуръ и обстоятельствъ. Есть народы, которымъ ихъ исторія можетъ быть передана только этимъ поэтическимъ способомъ, напримѣръ, индійцы.

А между тѣмъ, такія пѣсни, какъ Махабарата, передаютъ смыслъ индійской исторіи гораздо правильнѣе, чѣмъ любой сочинитель учебниковъ со всей своей хронологіей. Въ этомъ же отношеніи я смѣю утверждать, что романы Вальтеръ-Скотта иногда вѣрнѣе передавали духъ англійской исторіи, чѣмъ Юмъ; по крайней мѣрѣ, Сарторій совершенно правъ, когда онъ, въ своихъ дополненіяхъ къ Шпитлеру, причисляетъ эти романы къ источникамъ англійской исторіи.

Съ поэтами бываетъ то же, что съ ясновидящими, которые внутреннее чувство, испытываемое ихъ душой отъ дѣйствительно внѣшнихъ причинъ, какъ бы маскируютъ, выдумывая на мѣсто этихъ причинъ совершенно другія, внѣшнія, которыя, однако, настолько равносильны первымъ, что вызываютъ то же самое чувство. Такъ и въ «Трагедіи» Иммермана многія внѣшнія частности созданы совершенно произвольно, но самъ герой, средоточіе чувства, выдуманъ тождественно. И если эта созданная фигура кажется чѣмъ-то въ родѣ сновидѣнія, то и тутъ нѣтъ отступленія отъ правды. Баронъ Гормайеръ, который въ этомъ отношеніи можетъ быть самымъ компетентнымъ судьей, недавно, когда я имѣлъ удовольствіе говорить съ нимъ, обратилъ мое вниманіе на это обстоятельство. Мистическая внутренняя жизнь, суевѣрная религіозность, эпическій элементъ Анд
Иммерманъ воспроизвелъ совершенно вѣрно. Он
точностью возсоздалъ этого вѣрнаго голубя, кото
стящимъ мечомъ въ клювѣ, какъ воинственная
героически леталъ по горамъ Тироля, пока
пуля не поразила его вѣрное сердце.

Но болѣе всего дѣлаетъ честь поэту такое же вѣрное изображеніе противника Гофера, изъ котораго онъ не сдѣлалъ бѣшенаго Геслера, чтобъ этимъ еще болѣе возвысить своего любимаго героя: какъ Гоферъ является у него голубемъ съ мечомъ, такъ Геслеръ выступаетъ, какъ орелъ съ масличной вѣтвью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Въ гостиницѣ г. Нидеркирхнера, въ Инспрукѣ, висятъ въ полномъ согласіи, рядомъ одинъ съ другимъ, портреты Андрея Гофера, Наполеона Бонапарта и Людвига Баварскаго.

Самый Инспрукъ неудобообитаемый, мизерный городъ. Можетъ-быть, видъ у него нѣсколько болѣе умный и комфортный зимою, когда высокія горы, въ которыя онъ замкнутъ, покрыты снѣгомъ, и повсюду слышенъ грохотъ лавинъ, и повсюду трещитъ и блещетъ ледъ.

Когда я увидѣлъ эти горы, ихъ вершины были окутаны тучами, какъ зелеными чалмами. Тутъ видна Мартинова стѣна, мѣсто дѣйствія самой прелестной изъ имперскихъ легендъ, какъ и вообще воспоминаніе о рыцарственномъ Максѣ до сихъ поръ еще цвѣтетъ и звучитъ въ Тиролѣ.

Въ придворной церкви стоятъ извѣстныя статуи государей и государынь изъ австрійскаго дома и ихъ предковъ, между которыми многія такія, которыя, конечно, до нынѣшняго дня не могутъ понять, какимъ образомъ онѣ удостоились этой чести. Онѣ стоятъ во весь свой ростъ, вылитыя изъ желѣза, вокругъ гробницы Максимиліана; но такъ какъ церковь мала, и потолокъ низокъ, то вамъ кажется, что вы видите черныя восковыя фигуры въ ярмарочной лавчонкѣ. На пьедесталѣ большею частію прописаны имена тѣхъ высокихъ особъ, которыхъ онѣ представляютъ. Въ то время, когда я разсматривалъ эти статуи, въ церковь вошли англичане: тощій господинъ съ вытянутымъ лицомъ, съ заложенными подъ мышки широкаго жилета пальцами и держа въ пасти кожаный Guide des Voyageurs; вслѣдъ за нимъ— его долговязая подруга жизни, уже не совсѣмъ молодая, но достаточно красивая дама, а позади—красная портер- рожа съ бѣлыми, какъ пудра, обшлагами сюртука того же краснаго цвѣта и держа на деревянныхъ рукахъ ый грузъ перчатокъ миледи, альпійскихъ цвѣтовъ и са.

отъ тріумвиратъ *прошелъ* гуськомъ къ верхнему концу

церкви, гдѣ сынъ Альбіона сталъ объяснять своей супругѣ статуи, исполняя это по своему Guide des Voyageurs, въ которомъ подробно прописано: первая статуя—король Хлодовикъ французскій, вторая — король Артуръ англійскій, третья—Рудольфъ габсбургскій и т. д. Но такъ какъ бѣдный англичанинъ началъ читать не снизу вверхъ, какъ предполагалъ путеводитель, а сверху внизъ, то онъ впадалъ въ самыя забавныя ошибки, которыя становились еще комичнѣе, когда онъ доходилъ до какой-нибудь женской статуи, которую принималъ за мужскую, или наоборотъ, вслѣдствіе чего не понималъ, почему Рудольфъ габсбургскій изображенъ въ женскомъ платьѣ, а королева Марія, напротивъ, въ желѣзныхъ панталонахъ и съ слишкомъ длинной бородой. Я, охотно помогающій всякому моими познаніями, замѣтилъ, что подобныя вещи требовались, вѣроятно, тогдашнимъ костюмомъ, а можетъ-быть, это была и особенная воля высокихъ особъ—быть вылитыми именно въ такомъ видѣ, отнюдь ни въ какомъ-нибудь другомъ. Вѣдь могла бы точно такъ же придти и теперешнему императору охота изобразить себя въ старомодномъ кафтанѣ или даже въ пеленкахъ. Кто сталъ бы ему возражать противъ этого?

Мопсъ критически залаялъ, лакей вытаращилъ глаза, его господинъ высморкался, а миледи сказала: «A fine exhilition, very fine indeed!»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Бриксенъ былъ второй большой тирольскій городъ, гдѣ я остановился. Онъ лежитъ въ долинѣ, и когда я пріѣхалъ, онъ былъ весь залитъ туманомъ и вечерними тѣнями. Сумеречная тишина, меланхолическое позваниваніе колоколовъ, овцы шли въ свои стойла, люди—въ церковь, повсюду тяжелый запахъ ладана и высушеннаго сѣна.

«Іезуиты въ настоящее время въ Бриксенѣ»,—прочелъ я незадолго передъ тѣмъ въ газетѣ «Гесперусъ».—На всѣхъ улицахъ я оглядывался, ища ихъ, но не увидѣлъ ни одного человѣка, похожаго на іезуита, за исключеніемъ развѣ толстяка, въ треугольной священнической шляпѣ и по-священнически выкроенномъ черномъ сюртукѣ, который б старъ и изношенъ и представлялъ разительную противоложность съ блестящими новыми черными панталонами.

«Это, впрочемъ, не можетъ быть іезуитъ», — сказал наконецъ, самъ себѣ, потому что всегда представлялъ *іезуитовъ* нѣсколько худощавѣе. Но дѣйствительно ли с

ствуютъ еще іезуиты? Иногда мнѣ кажется, что ихъ существованіе ничто иное, какъ химера, что они являются привидѣніями въ нашихъ головахъ только потому, что мы все еще боимся ихъ, между тѣмъ какъ опасность давно прошла, и всѣ усердныя нападки на іезуитовъ напоминаютъ мнѣ людей, которые, когда дождь давно уже пересталъ, все еще идутъ по улицѣ съ раскрытыми зонтиками. Да, мнѣ кажется иногда, что чортъ, дворянство и іезуиты существуютъ только до тѣхъ поръ, пока въ нихъ вѣрятъ. Относительно чорта мы можемъ утверждать это вполнѣ положительно, потому что только люди, слѣпо вѣрующіе, видѣли его до сихъ поръ. Точно такъ же и относительно дворянства, мы черезъ нѣсколько времени убѣдимся на опытѣ, что bonne société перестаетъ быть bonne société, какъ скоро добрый бюргеръ перестанетъ быть настолько добръ, чтобы считать его за bonne société. Но іезуиты? По крайней мѣрѣ, они уже не носятъ своихъ старыхъ панталонъ. Старые іезуиты лежатъ въ гробу, со своими старыми панталонами, желаніями, міровыми планами, интригами, отличіями, ядами, и то, что мы видимъ теперь крадущимся по свѣту, въ новыхъ блестящихъ панталонахъ, есть не столько ихъ духъ, сколько ихъ привидѣніе, нелѣпое привидѣніе, которое ежедневно словомъ и дѣломъ старается доказать намъ, какъ мало страшно оно; и дѣйствительно, оно напоминаетъ намъ исторію подобнаго же привидѣнія въ Тюрингенскомъ лѣсу, которое людей, боявшихся его, освободило отъ этого страха тѣмъ, что на глазахъ у всѣхъ сняло свой черепъ съ плечъ и показывало всякому, что внутри его совершенно пусто.

Не могу не разсказать здѣсь, что я нашелъ случай внимательнѣе разсмотрѣть толстяка въ блестящихъ новыхъ панталонахъ, чтобы убѣдиться, что онъ не іезуитъ, а совершенно обыкновенная Божья тварь. Именно, я засталъ его въ столовой моей гостиницы, гдѣ онъ ужиналъ въ компаніи длиннаго, тощаго, называвшагося превосходительствомъ, человѣка, который такъ былъ похожъ на стараго холостяка-дворянина, изображеннаго Шекспиромъ, что казалось, будто природа совершила плагіатъ. Оба приправляли свою тра-
...скими, которыя они расточали прислужницѣ и отъ
...ъ совершенно тошнило эту милую, чудно-красивую
...такъ что она стремительно вырвалась, когда одинъ
...ее по задней части, а другой постарался даже
...*этомъ они отпускали* свои грубѣйшія сально-
...*ъ дѣвушка, какъ* имъ было извѣстно, не могла

не слышать, такъ какъ ей нужно было оставаться въ комнатѣ, чтобы прислуживать гостямъ, а также и для того чтобы накрыть на столъ для меня. Но когда циничность сдѣлалась уже совершенно невыносимой, молодая дѣвушка вдругъ оставила все, выбѣжала изъ комнаты и только черезъ нѣсколько минутъ вернулась, держа на рукахъ ребенка, котораго она и не выпускала все послѣдующее время своей работы, несмотря на то, что этимъ очень затрудняла себя. Но зато оба сотрапезника—духовное лицо и дворянинъ—теперь уже не позволяли себѣ никакого приставанья къ дѣвушкѣ, которая продолжала имъ служить безъ суровости, но съ какой-то странной серьезностью; разговоръ принялъ другой оборотъ, оба пустились теперь въ обычную болтовню о крупномъ заговорѣ противъ трона и алтаря. Они соглашались другъ съ другомъ касательно необходимости принятія строгихъ мѣръ и нѣсколько разъ протягивали другъ другу руки священнаго союза.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Для исторіи Тироля сочиненія Іосифа фонъ-Гоймайера необходимы. Для новѣйшей исторіи они даже самый лучшій, часто единственный, источникъ. Для Тироля онъ то же, что Іоганнъ Миллеръ для Швейцаріи; параллель между этими двумя источниками напрашивается къ намъ сама собою. Они какъ бы сосѣди по комнатѣ, оба въ своей молодости съ одинаковымъ одушевленіемъ любящіе свои родныя Альпы, оба прилежные, пытливые, обладающіе историческимъ образомъ мыслей и направленіемъ чувствъ—Іоганнъ Миллеръ, настроенный больше эпически, погруженный духомъ въ исторію прошедшаго, Іосифъ Гоймайеръ, чувствующій быстрѣе, увлекаемый больше въ настоящее, безкорыстно жертвующій жизнью за то, что ему было дорого.

Сочиненіе Бертольди «Война тирольскихъ поселянъ въ 1810 году»—умно и прекрасно написанная книга, и если есть въ ней недостатки, то они возникли отъ того, что авторъ, какъ свойственно благороднымъ умамъ, питалъ очевидное сочувствіе къ угнетенной партіи, и потому что событія, въ то время, когда онъ ихъ описывалъ, были окружены пороховымъ дымомъ.

Многія замѣчательныя событія того времени совсѣмъ не записаны и живутъ только въ памяти народа, который теперь ужъ не охотно говоритъ о нихъ, такъ какъ при этомъ выплываютъ воспоминанія о многихъ несбывшихся и

дахъ. Бѣднымъ тирольцамъ пришлось тоже испытать очень много, и когда въ настоящее время вы спрашиваете ихъ, получили ли они въ награду за свою вѣрность все, что обѣщали имъ въ тяжелую пору, то они добродушно пожимаютъ плечами и наивно говорятъ: «Можетъ-быть, это обѣщали не такъ ужъ серьезно; императору приходится слишкомъ о многомъ думать, такъ что тутъ многое и позабудешь».

Утѣшьтесь, бѣдняки, вы не единственные, которымъ было обѣщано что-нибудь. Вѣдь случается же на большихъ корабляхъ торговцевъ неграми, что во время большихъ бурь, когда корабль въ опасности, прибѣгаютъ къ помощи тѣхъ черныхъ людей, которые валяются тамъ внизу, въ темныхъ корабельныхъ люкахъ; тутъ разбиваютъ ихъ желѣзныя цѣпи и клятвенно обѣщаютъ имъ подарить свободу, какъ только, благодаря ихъ работѣ, будетъ спасенъ корабль. И тутъ черные идіоты съ ликованіемъ выбѣгаютъ на свѣтъ Божій, и съ криками «ура!» спѣшатъ къ насосамъ, накачиваютъ воду и изо всѣхъ силъ помогаютъ, гдѣ только можно помочь; взлѣзаютъ на мачты, прыгаютъ, сворачиваютъ канаты, однимъ словомъ, работаютъ до тѣхъ поръ, пока не прошла опасность. Но послѣ того, само собою разумѣется, ихъ снова отводятъ въ люкъ, снова совершенно удобно сковываютъ цѣпями, и въ своемъ мрачномъ бѣдствіи они предаются демагогическимъ размышленіямъ насчетъ обѣщаній этихъ торговцевъ человѣческими душами, вся забота которыхъ послѣ минувшей опасности состоитъ въ томъ, чтобы выгоднѣе вымѣнять еще нѣсколько душъ...

O, navis, referent in mare te novi
Fluctus—etc.

Когда мой старый учитель объяснялъ намъ эту оду Горація, въ которой сенатъ сравнивается съ кораблемъ, онъ дѣлалъ разныя политическія соображенія, которыя потомъ прекратилъ, когда совершилось лейпцигское сраженіе, и весь нашъ классъ былъ распущенъ.

Мой старый учитель зналъ все заранѣе, и когда мы получили первое извѣстіе объ этомъ сраженіи, онъ покачалъ [illegible]ою головой. Теперь я знаю, что означало это качаніе. [illegible]то пришли болѣе точныя свѣдѣнія, и всѣ украдкой по[illegible]али другъ другу картины, на которыхъ пестро и на[illegible]льно было изображено, какъ высокопоставленные пол[illegible] на полѣ битвы преклоняли колѣни и благодарили

[illegible]

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Тирольцы простые, веселые, честные, храбрые и неистощимо гостеприимные. Они здоровые человѣческие типы, можетъ-быть, потому, что они слишкомъ глупы для того, чтобы имѣть возможность быть больными. Я нашелъ бы ихъ и благороднымъ племенемъ, потому что въ представленіи своего достоинства они очень разборчивы, а въ привычкахъ очень чистоплотны, только нѣтъ въ нихъ и тѣни сознанія достоинства личности. Тирольцы обладаютъ какимъ-то улыбающимся, юмористическимъ рабствомъ, которое имѣетъ почти ироническую окраску, но совершенно искренно въ нихъ.

Женщины въ Тиролѣ такъ привѣтливо встрѣчаютъ васъ, мужчины такъ крѣпко жмутъ вамъ руку и при этомъ у нихъ такой сердечно-нарядный видъ, что можно подумать— они принимаютъ васъ за своего близкаго родственника, по крайней мѣрѣ, за своего равнаго. Но на самомъ дѣлѣ чего этого нѣтъ: они при этомъ никогда не забываютъ, они только простые люди, а вы знатный господинъ, к[illegible] рому, конечно, нравится, когда простые люди подходят[illegible] ному безъ особенной робости. И въ этомъ случаѣ он[illegible] кажутся правильнымъ природнымъ инстинктомъ.

ые аристократы довольны, когда у нихъ являются
исходить къ младшимъ братьямъ, ибо, именно бла-
ому, они чувствуютъ, какъ высоко поставлены они
себя дома тирольцы практикуютъ это рабство без-
а чужбинѣ они стараются кое-что заработать этимъ.
ают свою личность, продаютъ свою національ-
и пестро одѣтые продавцы одѣялъ, эти бодрые ти-
уа, странствующіе по свѣту въ своихъ національ-
гюмахъ, охотно позволяютъ вамъ сыграть съ ними
удь шуточку, но взамѣнъ того вы должны что-ни-
ть у нихъ.

во Райнеръ, бывшее въ Англіи, понимало это
лучше, да у нихъ притомъ еще былъ хорошій
, прекрасно знавшій духъ англійской аристократіи.
орошій пріемъ, которымъ они пользовались въ
европейской знати, въ the west end of the town.
ошедшимъ лѣтомъ въ блестящихъ концертныхъ
ондонскаго фешенебельнаго свѣта я увидѣлъ на
хъ тирольскихъ пѣвцовъ, одѣтыхъ въ ихъ націо-
латье, и услышалъ тѣ пѣсни, которыя такъ на-
абожно распѣваются въ тирольскихъ Альпахъ и
о отзываются и въ нашемъ сѣверо-нѣмецкомъ
тогда все въ моей душѣ извратилось въ горькое
ствіе, одобрительная улыбка аристократическихъ
ола меня въ сердце, какъ змѣя, и стало у меня
такъ, какъ будто я увидѣлъ грубѣйшее оскорбле-
удрія нѣмецкаго слова и профанацію чужеземной
екраснѣйшихъ мистерій нѣмецкой духовной жизни.
ъ аплодировать вмѣстѣ съ другими этому без-
торгашеству самымъ сокровеннымъ, стыдливымъ,
швейцарецъ, вышедшій изъ залы точно съ такимъ
омъ, какъ мое, замѣтилъ совершенно правильно:
ейцарцы, тоже отдаемъ много за деньги — наши
ры и нашу лучшую кровь, но звукъ альпійскаго
ышать на чужбинѣ намъ очень тяжело, а ужъ
немъ за деньги еще тяжелѣе».

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

очень красивъ, но самые красивые пейзажи не
иводить насъ въ восторгъ при мрачной погодѣ и
е душевномъ настроеніи. Это настроеніе у меня
ѣдствіе погоды, и такъ какъ на дворѣ шелъ дождь,
ри меня была скверная погода. Только по време-

намъ рѣшался я высовывать голову изъ коляски, и тутъ видѣлъ высочайшія горы, смотрѣвшія на меня очень серьезно и кивавшія мнѣ съ желаніемъ добраго пути своими громадными головами и длинными облачными бородами. Мѣстами усматривалъ я вдали синеватую горку, которая, какъ будто, становилась на цыпочки и съ большимъ любопытствомъ смотрѣла черезъ плечи другихъ горъ, вѣроятно для того, чтобы увидѣть меня. При этомъ повсюду шумѣли лѣсные источники, какъ сумасшедшіе кидались они внизъ съ высотъ и собирались въ темныхъ ложбинахъ долинъ. Люди сидѣли въ своихъ красивенькихъ, чистыхъ домикахъ, разсѣянныхъ на самыхъ крутыхъ склонахъ и даже на вершинахъ горъ, — милыхъ чистыхъ домикахъ, обыкновенно украшенныхъ длинной балконообразной галлереей, которая, въ свою очередь, украшена бѣльемъ, образками, цвѣточными горшками и дѣвичьими лицами. Домики эти и раскрашены красиво, большею частію въ бѣлый и зеленый цвѣтъ, точно и они одѣты въ тирольское туземное платье съ зелеными подтяжками на бѣлой рубашкѣ. Когда я смотрѣлъ на такіе домики подъ безпрерывнымъ дождемъ, сердце мое часто хотѣло выйти изъ груди и отправиться къ этимъ людямъ, которые, конечно, сидѣли тамъ совершенно сухіе и довольные. «Тамъ,—думалъ я,—живется, вѣроятно, очень пріятно и задушевно, и старая бабушка разсказываетъ самыя таинственныя исторіи.» Между тѣмъ, какъ мой экипажъ неумолимо проѣзжалъ мимо, я еще не разъ оглядывался назадъ, чтобы увидѣть, какъ изъ маленькихъ трубъ поднимали синеватые столбы дыма, а дождь шелъ все сильнѣе и сильнѣе, какъ внѣ меня, такъ и во мнѣ—до такой степени, что изъ глазъ моихъ почти выходили капли воды.

Часто также вздымалось мое сердце и, несмотря на дурную погоду, взлѣзало наверхъ къ людямъ, жившимъ тамъ на горахъ и, можетъ-быть, только разъ-другой за всю свою жизнь сходившихъ внизъ и мало знающихъ о томъ, что совершается здѣсь, внизу. Вотъ отчего они всегда остаются набожными и счастливыми. Изъ политики знаютъ они только что у нихъ есть императоръ, носящій бѣлый мундиръ и красныя панталоны; это разсказалъ имъ старый дядя, слышавшій это въ Инспрукѣ отъ смуглаго Сеперля, бывшаго въ Вѣнѣ. Когда патріоты забрались къ нимъ наверхъ, краснорѣчиво сообщили имъ, что теперь у нихъ государь, который ходитъ въ синемъ мундирѣ и бѣлыхъ панталонахъ, тогда они схватились за свои ружья и поцѣловали же

дѣтей, и спустились съ горъ, и стали умирать на полѣ битвы за бѣлый мундиръ и за милые красные панталоны.

Въ сущности одно и то же—за что мы умираемъ, лишь бы за что-нибудь милое намъ, и такая теплая, вѣрная смерть лучше холодной, лишенной всякой вѣрности жизни. Уже однѣ пѣсни о такой смерти, милыя рифмы и свѣтлыя слова согрѣваютъ наше сердце, когда хотятъ омрачить его влажные туманы и назойливыя заботы.

Много подобныхъ пѣсенъ звучало въ моемъ сердцѣ, когда я проѣзжалъ тирольскія горы. Привѣтливые сосновые лѣса навѣвали мнѣ въ память многія забытыя слова любви. Особенно въ тѣ минуты, когда съ такой непостижимой грустью смотрѣли на меня большія синія горныя озера, думалъ я снова о двухъ дѣтяхъ, которыя такъ любили другъ друга и вмѣстѣ умерли. Это устарѣвшая исторія, въ которую теперь и не вѣритъ никто, и которую я самъ знаю только по нѣсколькимъ строкамъ пѣсни:

Было двое дѣтей королевскихъ,
Но сойтись не могли никогда,
Хоть и сильно другъ друга любили:
Глубока была слишкомъ вода!

Эти слова сами собою снова звучали во мнѣ, когда я на одномъ берегу одного изъ этихъ синихъ озеръ увидѣлъ маленькаго мальчика, а на другомъ маленькую дѣвочку, обоихъ въ пестромъ туземномъ платьѣ, въ зеленыхъ, украшенныхъ ленточками шляпкахъ на головахъ, и они привѣтливо кланялись другъ другу...

Но сойтись не могли никогда,
. . . . . .
Глубока была слишкомъ вода!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Въ южномъ Тиролѣ погода прояснилась, итальянское солнце давало уже чувствовать свою близость. Горы становились все теплѣе и все болѣе блестѣли. Я видѣлъ уже виноградныя лозы, вившіяся по нимъ, и могъ уже чаще высовываться изъ экипажа. Но когда я высовываюсь, то [illegible]ывается вмѣстѣ со мною и мое сердце, а съ серд[illegible]вся его любовь, его грусть, его безуміе. Часто слу[illegible] что отъ этого бѣдное сердце разрывали шипы, когда [illegible]агивалось до кустовъ розъ, стоявшихъ на пути, а [illegible] *розы совсѣмъ недурны*. Проѣзжая черезъ Штей[illegible] *ѣхали на площадь*, на которой Иммерманъ за-

ставляетъ дѣйствовать своего Гофера съ его товарищами, я нашелъ, что площадь для собраній инсургентовъ слишкомъ мала, но для того, чтобы влюбляться на ней, все еще достаточно велика. Тутъ стоятъ всего два-три бѣлыхъ домика, и изъ одного окошка выглядывала маленькая мѣщаночка и цѣлилась, и стрѣляла въ меня своими большими глазами. Не прокатись мой экипажъ быстро и останься у нея время зарядить еще разъ, я бы, конечно, былъ убитъ выстрѣломъ. Я закричалъ, кучеру: «Ступай скорѣй, съ такой красавицей Эльзи шутить нельзя, тутъ совсѣмъ лишишься головы!» Какъ основательный путешественникъ, я долженъ также сообщить, что госпожа трактирщица въ Штерцингѣ весьма, правда, старая женщина, но за то имѣетъ двухъ молодыхъ дочурокъ, которыя весьма пріятно согрѣваютъ сердце у всякаго входящаго въ ихъ домъ. Но тебя не могу я забыть, о, прекраснѣйшая изъ всѣхъ, красавица-пряха, на границѣ Италіи! О! если бы ты дала мнѣ нить своей пряжи, какъ сдѣлала Аріадна съ Тезеемъ, чтобы провести меня сквозь лабиринтъ этой жизни, минотавръ былъ бы теперь ужъ побѣжденъ, я любилъ бы тебя и цѣловалъ бы, и никогда бы не покинулъ!

«Когда женщина улыбается, это хорошій знакъ»,—говоритъ одинъ китайскій писатель; а одинъ нѣмецкій писатель былъ такого же мнѣнія, когда въ южномъ Тиролѣ, гдѣ начинается Италія, онъ проѣзжалъ мимо горы, у подошвы которой, на не очень высокой каменной плотинѣ стоялъ одинъ изъ тѣхъ домиковъ, которые такъ ласково смотрятъ на насъ своими милыми балконами и наивной живописью. По одной сторонѣ его стояло большое деревянное распятіе, служившее опорой молодой виноградной лозѣ, такъ что получалось какое-то мрачно-радостное впечатлѣніе, глядя, какъ жизнь обнимала смерть, и какъ зеленые сочные гроздья обвивали окровавленное тѣло и распятыя руки и ноги Спасителя. Съ другой стороны домика стояла круглая голубятня, пернатое населеніе которой летало взадъ и впередъ, и одинъ особенно граціонный бѣлый голубь сидѣлъ на красивой верхушкѣ крыши, возвышавшейся точно набожный каменный вѣнецъ священной ниши надъ головой красавицы-пряхи. Она сидѣла на маленькомъ балконѣ и пряла не по нѣмецкому методѣ, но тѣмъ старымъ способомъ, по которому обвитальномъ гребень держится подъ рукою, а выпряденная нить *бѣжитъ по* свободно движущемуся веретену. Такъ пряли *дочери царей* въ Греціи, такъ прядутъ еще теперь на

и всѣ итальянки. Она пряла и улыбалась, неподвижно сидѣлъ голубь, позади самаго дома возвышались высокія горы, синѣвшія вершины которыхъ освѣщались солнцемъ такъ, что онѣ походили на серьезную охранительную стражу изъ великановъ съ блестящими шлемами на головахъ.

Она пряла и улыбалась и, кажется, крѣпко запряла мое сердце въ то время, какъ экипажъ нѣсколько медленнѣе проѣзжалъ мимо, сдерживаемый широкимъ теченіемъ Эйзаха, стремившагося по другой сторонѣ дороги. Милыя черты цѣлый день не выходили у меня изъ памяти. Повсюду видѣлъ я это милое лицо, которое, казалось, было изваяно греческимъ скульпторомъ изъ благоуханій бѣлой розы. Лицо такое воздушно-нѣжное, такое блаженно-благородное, какое, можетъ-быть, грезилось этому художнику въ его юношескіе годы, въ цвѣтущую весеннюю ночь. Глаза ея, конечно, не могъ себѣ представить въ грезахъ никакой грекъ, и еще менѣе могъ бы онъ понять ихъ, но я видѣлъ ихъ и понималъ, понималъ эти романтическія звѣзды, которыя такъ волшебно освѣщали древнее великолѣпіе. Цѣлый день я видѣлъ эти глаза, и снились мнѣ они и въ слѣдующую ночь. Тутъ снова сидѣла она и улыбалась, голуби летали вокругъ нея, какъ ангелы любви, и бѣлый голубь тоже мистически шевелилъ надъ ея головою своими крыльями, позади ея поднимались еще величественнѣе стражи въ своихъ шлемахъ, предъ ней несся источникъ все бурнѣе и неукротимѣе, виноградныя лозы обвивались съ тревожной поспѣшностью вокругъ деревяннаго распятія, которое болѣзненно шевелилось и открывало страждущіе глаза, истекало кровью изо всѣхъ ранъ... А она все пряла и улыбалась, и на ниткѣ ея пряжи, подобно пляшущему веретену, висѣло мое собственное сердце.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

По мѣрѣ того, какъ солнце расцвѣтало на небѣ все прекраснѣе и великолѣпнѣе и накидывало на горы и замки золотые покровы, въ моемъ сердцѣ тоже становилось все жарче и свѣтлѣе. Грудь моя снова вся наполнилась цвѣтами, и выходили наружу, разростались высоко надъ моей ой, и сквозь цвѣты моего сердца снова улыбалась мнѣ асная пряха. Погруженный въ такія грезы, самъ сдѣсь грезой, я пріѣхалъ въ Италію, и такъ какъ во воего путешествія отчасти забылъ, что ѣду туда, то пугался, когда на меня взглянули всѣ эти большіе

итальянскіе глаза и пестро суетливая итальянская жизнь хлынула мнѣ навстрѣчу, горячая и жужжащая.

Это случилось въ городѣ Тріентѣ, куда я прибылъ въ одно прекрасное воскресенье послѣ обѣда, въ ту пору, когда жаръ стихаетъ, и итальянцы встаютъ и начинаютъ гулять по улицѣ. Этотъ городъ, уже старый и полуразрушенный, лежитъ въ широкомъ кругу цвѣтущихъ зеленыхъ горъ, которыя, какъ вѣчно юные боги, смотрятъ на гнилое созданіе человѣческихъ рукъ. Полуразрушенный и гнилой лежитъ тутъ же и старый замокъ, который нѣкогда господствовалъ надъ городомъ—причудливое строеніе причудливыхъ временъ, съ выступами, остроконечными верхушками, зубцами и широкою круглою башнею, въ которой теперь живутъ только совы и австрійскіе инвалиды. Самъ городъ построенъ тоже очень причудливо, и какъ-то странно становится на душѣ при первомъ взглядѣ, который вы кидаете на эти старообразные дома съ ихъ потускнѣвшими фресками, съ ихъ изломанными статуями святыхъ, съ ихъ башенками, уголками, рѣшетчатыми окошечками и тѣми выдающимися впередъ фронтонами, которые въ формѣ эстрады покоятся на сѣрыхъ, одряхлѣвщихъ отъ старости столбахъ, тоже нуждающихся въ подпоркахъ. Зрѣлище это было бы черезчуръ печально, если бы природа не освѣжала эти вымершіе камни новою жизнью, если бы милыя виноградныя лозы не обвивались нѣжно и любовно вокругъ этихъ полуразрушенныхъ колоннъ, какъ юность вокругъ старости, если бы изъ этихъ мрачныхъ сводчатыхъ оконъ не выглядывали еще болѣе милыя лица дѣвушекъ, улыбающихся при видѣ нѣмецкаго чужеземца, который бродитъ по этимъ цвѣтущимъ руинамъ какъ лунатикъ.

Я былъ, дѣйствительно, какъ во снѣ, въ такомъ снѣ, когда хочешь вспомнить что-нибудь, о чемъ тоже когда-нибудь грезилъ. Я поочередно смотрѣлъ то на дома, то на людей, и мнѣ почти казалось, что эти дома видѣлъ я нѣкогда въ ихъ лучшіе дни, когда ихъ прекрасная живопись блестѣла еще яркими красками, когда золотыя украшенія на карнизахъ оконъ еще не такъ почернѣли и когда мраморная Мадонна съ ребенкомъ на рукахъ не была еще лише
чудно красивой головы которую теперь нечестив
такъ грубо сбросило на землю. И лица старыхъ
казались мнѣ такъ знакомыми, мнѣ чудилось, чт
рѣзаны изъ тѣхъ старыхъ итальянскихъ картин
я нѣкогда ребенкомъ видѣлъ въ дюссельдорфс

Точно такъ же и старики представлялись мнѣ хорошо знакомыми изъ давно забытыхъ временъ, и они смотрѣли на меня серьезными глазами, точно изъ глубины цѣлаго тысячелѣтія. Даже у смѣлыхъ молодыхъ дѣвушекъ былъ какой-то тысячелѣтній вымершій видъ и въ то же самое время нѣчто цвѣтущее, живое, нагонявшее на меня даже ужасъ, отрадный ужасъ, какой я чувствовалъ нѣкогда, когда въ одинокую полночь прижалъ губы свои къ губамъ Маріи, чудной женщины, у которой въ то время не было никакого недостатка и порока, кромѣ того, что она была мертвая. Но тутъ пришлось мнѣ посмѣяться надъ самимъ собою, и теперь мнѣ показалось, будто весь этотъ городъ ничто иное, какъ прекрасная повѣсть, которую я нѣкогда прочелъ, даже которую самъ сочинилъ, и что я теперь колдовствомъ превращенъ въ мое собственное стихотвореніе и пугаюсь образовъ моего собственнаго созданія. «А можетъ-быть,—думалъ я,—все это, дѣйствительно, только сонъ»,—и охотно заплатилъ бы я талеръ за то, чтобы кто-нибудь далъ мнѣ пощечину только для того, чтобы я могъ узнать, бодрствую я или сплю.

Очень могло, однако, случиться, что я за этотъ товаръ заплатилъ бы еще дешевле, когда на углу площади натолкнулся на толстую торговку овощами; но она удовольствовалась тѣмъ, что бросила мнѣ въ лицо нѣсколько дѣйствительныхъ винныхъ ягодъ, чѣмъ убѣдила меня, что я нахожусь въ самой дѣйствительной дѣйствительности, на рыночной площади въ Тріентѣ подлѣ большого фонтана, изъ мѣдныхъ драконовъ и дельфиновъ котораго привѣтливо и ободрительно била серебряно-прозрачная вода. Влѣво стояло старое палаццо, стѣны котораго были раскрашены пестро аллегорическими фигурами, а на террасѣ его нѣсколько сѣрыхъ австрійскихъ солдатъ дрессировались въ будущіе герои. Справа стоялъ готическій ломбардскій капризный домикъ, внутри котораго чудесный легкій голосъ дѣвушки распѣвалъ такъ смѣло и весело, что старыя стѣны дрожали отъ радости и дряхлости, между тѣмъ какъ наверху, изъ остроконечнаго окошка, выглядывала черная, лабиринтски завитая комедьянтская прическа, подъ которой находилось рѣзко очерченное тощее лицо, нарумяненное только съ [illegible]ой щеки и походившее поэтому на пирожокъ, поджа[illegible]ный только съ одной стороны. А передо мной, въ сре[illegible] стоялъ старый соборъ, ни большой, ни мрачный, но [illegible]кій на веселаго старика, который радушно пригла[illegible]еня войти въ него.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Когда я откинулъ зеленый шелковый занавѣсъ, закрывавшій входъ въ соборъ, и вошелъ въ Божій домъ, то сердце и тѣло мое пріятно освѣжились отраднымъ воздухомъ, наполнявшимъ его, и миротворно волшебнымъ свѣтомъ, который пробивался на молящихся сквозь пестро-разрисованныя окна. То были большею частью женщины, длинными рядами стоявшія на колѣняхъ предъ низкими скамейками. Онѣ молились только неслышнымъ движеніемъ губъ и при этомъ постоянно обмахивались большими зелеными вѣерами, такъ что не было слышно ничего, кромѣ безпрерывнаго таинственнаго шопота, и ничего не видно, кромѣ движенія вѣеровъ и развѣвающихся вуалей. Скрипъ моихъ шаговъ нарушилъ много набожныхъ размышленій, и большіе католическіе глаза смотрѣли на меня полулюбопытно, полупривѣтливо, какъ будто совѣтовали мнѣ тоже преклонить колѣна и тоже дать набожное отдохновеніе моей душѣ. Дѣйствительно, такой соборъ съ его полусвѣтомъ и отрадной прохладой есть очень пріятное мѣстопребываніе, когда на улицѣ ярко свѣтитъ солнце и очень жарко. Объ этомъ не имѣютъ никакого понятія въ нашей протестантской сѣверной Германіи, гдѣ церкви не построены такъ комфортабельно, гдѣ свѣтъ такъ нагло прорывается сквозь неразрисованныя сухоразсудочныя окна, и даже холодныя проповѣди недостаточно защищаютъ отъ жары. Говорите, что хотите, но католицизмъ хорошая лѣтняя религія. Такъ хорошо садишься на скамьяхъ этихъ старыхъ соборовъ, такъ наслаждаешься тамъ прохладной набожностью, священнымъ dolce far niente, молишься и грѣшишь въ мысляхъ, Мадонны съ такимъ прощеніемъ киваютъ тебѣ изъ своихъ нишъ и, по-женски чувствуя, прощаютъ тебѣ даже тогда, когда въ свои грѣшныя мысли ты вплетаешь ихъ собственныя прекрасныя черты. А вдобавокъ ко всему этому, въ каждомъ углу стоитъ еще коричневая будочка совѣсти, въ которой можно освобождаться отъ своихъ грѣховъ.

Въ одной изъ такихъ будочекъ сидѣлъ молодой монахъ съ серьезнымъ лицомъ. Лицо дамы, исповѣдывавшейся ему своихъ грѣхахъ, было закрыто отъ меня частью ея бі вуалью, частью боковыми досками исповѣдальни, но отт все-таки, высовывалась рука, которая какъ бы прико меня къ себѣ. Я не могъ перестать смотрѣть на эту р синеватыя жилки и аристократическій блескъ бѣлыхъ і

цевъ были такъ странно знакомы мнѣ, что вся сила грезъ моей души пришла въ движеніе, чтобы представить себѣ лицо, которое могло бы принадлежать этой рукѣ. То была прекрасная рука, и не такая, какую находятъ у молодыхъ дѣвушекъ, которыя, будучи полуовечками, полурозами, имѣютъ только лишенныя всякой мысли, растительно-животныя руки. Въ той же рукѣ было нѣчто духовное, нѣчто исторически прелестное, какъ въ рукахъ тѣхъ красивыхъ мужчинъ, которые или очень образованы, или много страдали. Эта рука имѣла притомъ въ себѣ что-то до такой степени трогательно-невинное, что казалось, какъ будто ей не было надобности исповѣдываться вмѣстѣ со всѣмъ остальнымъ тѣломъ и какъ будто она не хотѣла слышать, что̀ говорила ея обладательница, и ожидала внѣ исповѣдальни, когда та окончитъ исповѣдь. Но это длилось долго, вѣроятно, дамѣ пришлось каяться во многихъ грѣхахъ. Я не могъ ждать дольше, душа моя напечатлѣла невидимо прощальный поцѣлуй на прекрасной рукѣ, рука вздрогнула въ ту же минуту, и притомъ такъ странно, какъ вздрогнула рука мертвой Маріи, когда я прикасался къ ней. «Боже мой!—подумалъя,—зачѣмъ мертвая Марія въ Тріентѣ»?—и поспѣшилъ уйти изъ собора.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Когда я снова пошелъ по рыночной площади, вышеупомянутая овощная торговка поклонилась мнѣ очень дружески и очень интимно, какъ будто мы были старые знакомые. «Все равно,—подумалъ я,—какъ завязывать знакомства, лишь бы только быть знакомымъ». Нѣсколько брошенныхъ въ лицо винныхъ ягодъ, конечно, не всегда могутъ быть очень хорошею рекомендаціей, но я и торговка смотрѣли теперь другъ на друга такъ привѣтливо, какъ будто мы обмѣнялись самыми лучшими рекомендательными письмами. Впрочемъ, наружность этой женщины была совсѣмъ недурна. Правда, она была уже того возраста, когда время отмѣчаетъ наши служебные годы роковыми черточками на лбу; но это дѣлало ее еще корпулентнѣй, и то, что̀ потеряла она на годахъ, то выиграла въ вѣсѣ. При этомъ лицо ея продолжало ѣды большой красоты, и, какъ на старыхъ горшкахъ, чемъ написано: «Любить и быть любимымъ—велистье на землѣ». Но самую большую прелесть й прическа: завитые локоны, сильно напудренутучненные помадой и идиллически перевить

бѣлыми цвѣтами-колокольчиками. Я смотрѣлъ на эту женщину съ такой внимательностью, съ какою антикварій разглядываетъ выкопанные имъ мраморные торсы, на этой живой человѣческой развалинѣ я могъ еще изучить очень много, я могъ открыть на ней слѣды всѣхъ цивилизацій Италіи: этрусской, римской, готической, ломбардской, вплоть до напудренной новой, и крайне интереснымъ представлялся мнѣ цивилизованный видъ этой женщины въ противоположность съ ея промысломъ и ея страстными движеніями. Не менѣе интересны были для меня предметы ея торговли: свѣжій миндаль, который я никогда не видѣлъ въ его зеленой шелухѣ, и ароматно-свѣжія винныя ягоды, лежавшія большими грудами, какъ у насъ груши. Заняли меня и большія корзины съ свѣжими лимонами и апельсинами и—чудесное зрѣлище!—въ одной изъ большихъ корзинъ лежалъ тутъ же удивительно красивый ребенокъ, державшій въ рукахъ бѣлый колокольчикъ и звонившій въ него въ каждомъ промежуткѣ между раздававшимися въ это время ударами большого соборнаго колокола; при этомъ дитя съ такой блаженной и беззаботной улыбкой смотрѣло вверхъ на синее небо, что и въ моей душѣ воскресли вновь самыя смѣшныя дѣтскія прихоти, и я, какъ ребенокъ, остановился передъ веселыми корзинами и сталъ лакомиться, и пустился въ разсужденіе съ торговкой.

По моему ломаному итальянскому говору она приняла меня сначала за англичанина, но я сознался ей, что я только нѣмецъ. Она тотчасъ же стала задавать мнѣ географическіе, экономическіе, гортологическіе, климатическіе вопросы насчетъ Германіи и удивлялась, когда я тоже сознался ей, что у насъ совсѣмъ не растутъ лимоны, что тѣ немногіе лимоны, которые мы получаемъ изъ Италіи, намъ приходится сильно выжимать, когда мы желаемъ сдѣлать себѣ пуншъ, и что съ отчаянія мы подливаемъ въ него какъ можно больше рома.

— Ахъ, милая женщина,—сказалъ я ей:—въ нашей сторонѣ очень холодно и сыро, наше лѣто ничто иное, какъ выкрашенная зеленой краской зима, даже солнце у насъ должно носить фланелевую фуфайку, если не хочетъ студиться; при этомъ желтомъ фланелевомъ солнечномъ с нашимъ плодамъ невозможно созрѣвать. Видъ у нихъ дитый и зеленый и, между нами сказать, единственно лые плоды, какіе мы имѣемъ, это печеные яблоки. Ч сается винныхъ ягодъ, то и ихъ, какъ лимоны и апель

мы должны выписывать изъ чужихъ странъ, а вслѣдствіе длиннаго путешествія, онѣ становятся глупы и мучнисты; только самый скверный сортъ можемъ мы получать изъ первыхъ рукъ, и онъ такъ горекъ, что тотъ, кто ихъ получаетъ даромъ, долженъ сверхъ того возбуждать процессъ за оскорбленіе его личности. Миндаль у насъ только засушенный. Однимъ словомъ, не имѣемъ мы никакихъ благородныхъ фруктовъ, есть у насъ только крыжовникъ, груши, орѣхи, сливы, да тому подобная чернь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Я дѣйствительно былъ радъ, что тотчасъ же по прибытіи моемъ въ Италію завязалъ хорошее знакомство, и если бы важныя чувства не тянули меня къ югу, то я покамѣстъ остался бы въ Тріентѣ, у доброй торговки, около добрыхъ винныхъ ягодъ и миндаля, у маленькаго звонаря и, если говорить правду, у красавицъ дѣвушекъ, плавно проплывавшихъ мимо меня. Не знаю, одобрятъ ли другіе путешественники употребленный здѣсь эпитетъ «красавицъ», но мнѣ тріентинки очень и очень понравились. Это былъ именно тотъ сортъ, который я люблю, — а люблю я эти блѣдныя, элегическія лица, на которыхъ большіе черные глаза сверкаютъ съ такой милой болѣзненностью; я люблю и смуглый цвѣтъ этихъ гордыхъ шей, которыя любилъ и цѣловалъ уже Фебъ; я люблю даже эти перезрѣлые затылки съ ихъ пурпурными точечками, точно тамъ клевали сладострастныя птицы, но болѣе всего люблю я эту геніальную походку, эту нѣмую музыку тѣла, эти члены, которые двигаются въ самыхъ сладкозвучныхъ ритмахъ, роскошные, гибкіе, божественно-сладострастные, до смерти лѣнивые, но тутъ же и воздушно величавые, и всегда высоко поэтическіе. Я люблю все это, какъ люблю и самую поэзію, и эти мелодически двигающіяся фигуры, этотъ удивительный человѣческій концертъ, шелестившій около меня, нашелъ отголосокъ въ моемъ сердцѣ и пробудилъ въ немъ родственные звуки.

Теперь это не была уже волшебная сила перваго потря- сказочность дико чуждаго зрѣлища; тутъ уже спокой- ухъ разсматривалъ эти женскіе образы восторженно- ельными глазами, какъ читаетъ истинный критикъ ое стихотвореніе. А при такомъ созерцаніи откры- ого, *много печальнаго*, богатство прошедшаго, бѣд- *гоящаго и оставшуюся* не разрушенною гордость

Очень бы хотѣли дочери Тріента наряжаться такъ, какъ наряжались тутъ во время вселенскаго собора, когда весь городъ цвѣлъ въ бархатѣ и шелку. Но изъ собора вышло мало проку, бархатъ полинялъ, шелкъ растрепался, а у бѣдныхъ дѣтей не осталось ничего, кромѣ жалкой мишуры, которую въ будніе дни они старательно берегутъ и въ которую наряжаются только по воскресеньямъ. Но у многихъ нѣтъ и этихъ остатковъ былой роскоши, и они должны довольствоваться всяческими обыкновенными и дешевыми фабрикаціями нашего столѣтія. И вотъ тутъ являются многіе трогательные контрасты между тѣломъ и одеждой: точно очерченный ротъ, повидимому, имѣетъ право повелѣвать по-царски, а между тѣмъ на него бросаетъ язвительную тѣнь жалкая кисейная шляпенка съ изорванными бумажными цвѣтами; самая гордая грудь вздымается подъ пелеринкой изъ дешевыхъ фальшивыхъ кружевъ, и самыя умныя бедра облегаетъ глупѣйшій ситецъ. О, скорбь! твое названіе—ситецъ, и притомъ коричнево-полосатый ситецъ! Потому что—увы!—ничто не дѣйствовало на меня такъ грустно, какъ видъ одной тріентинки, которая фигурой и цвѣтомъ лица походила на мраморную богиню, а это антично-благородное тѣло было одѣто въ платье изъ коричнево-полосатаго ситца, такъ что казалось, какъ будто каменная Ніобея вдругъ развеселилась и переодѣлась въ наше новое мѣщанское платье и съ нищенской гордостью и величавой безпомощностью ходить по улицамъ Тріента.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Когда я вернулся въ трактиръ dell Grand Europa, гд заказалъ себѣ хорошій pranzo, то у меня на душѣ ста дѣйствительно такъ печально, что я не могъ уже ѣсть, это много значитъ. Я сѣлъ предъ дверью сосѣдней ботег освѣжиться мороженымъ и говорилъ самъ съ собою:

«Причудливое сердце! Ну, вотъ, ты теперь въ Италі отчего же ты не тирилируешь? Быть-можетъ, старыя н мецкія скорби и маленькія змѣи, такъ глубоко заползп въ тебя, теперь пріѣхали вмѣстѣ съ тобою въ Италію радуются, и именно ихъ ликованіе вызываетъ въ тв груди ту живописную скорбь, которая такъ странно кол тамъ, и прыгаетъ, и шипитъ? Да отчего и не радоват этимъ старымъ печалямъ? Здѣсь въ Италіи вѣдь такъ рошо, даже самое страданіе здѣсь такъ прекрасно, въ э мраморныхъ дряхлыхъ дворцахъ вздохи звучатъ то

романтичнѣе, чѣмъ въ нашихъ чистенькихъ домикахъ съ черепичными крышами. Подъ этими лавровыми деревьями плачешь гораздо сладострастнѣе, чѣмъ подъ нашими брюзгливо зубчатыми елями, и подъ идеальными тучками голубого неба Италіи томишься гораздо отраднѣе, чѣмъ подъ пепельно-сѣрымъ нѣмецкимъ будничнымъ небомъ, на которомъ даже облака строятъ честныя мѣщанскія рожи и зѣваютъ необыкновенно скучно! Оставайтесь въ моей груди, вы, скорби, нигдѣ вы не найдете такого хорошаго пріюта. Вы милы и дороги мнѣ, и нигдѣ не умѣютъ лучше меня холить васъ и ухаживать за вами, и я сознаюсь, что вы доставляете мнѣ много удовольствія. Но вообще, что такое удовольствіе? Удовольствіе ничто иное, какъ въ высшей степени пріятная боль!»

Этому монологу мелодраматически аккомпанировала раздававшаяся передъ ботегой и привлекшая сюда цѣлый кружокъ слушателей музыка. То было странное тріо, состоявшее изъ двухъ мужчинъ и одной молодой дѣвушки, игравшей на арфѣ. Одинъ изъ этихъ двухъ мужчинъ, одѣтый по зимнему, въ бѣлый байковый сюртукъ, былъ коренастый мужчина съ толстымъ и краснымъ лицомъ бандита, горѣвшимъ среди черныхъ волосъ головы и бороды, какъ угрожающая комета. А между ногъ его помѣщался громадный контрабасъ, по которому онъ бѣшено водилъ смычкомъ, какъ будто только-что въ Абруцкихъ горахъ повалилъ бѣднаго путешественника и намѣревался какъ можно скорѣе перерѣзать ему горло. Другой былъ старикъ, длинный, худощавый, дряхлыя ноги котораго болтались въ износившемся черномъ платьѣ, а бѣлые, какъ снѣгъ, волосы представляли очень жалкую противоположность съ его комическимъ пѣніемъ и дурацкими прыжками. Печально уже видѣть, когда старый человѣкъ изъ нужды принужденъ пускаться на шутовство и продавать за деньги то почтеніе, которое должны люди питать къ его годамъ; но еще печальнѣе, когда онъ продѣлываетъ такія вещи въ присутствіи или даже въ сообществѣ своего ребенка. А эта дѣвушка была дочь стараго буффо, и она аккомпанировала [illegible]рфѣ неприличнѣйшимъ шуткамъ сѣдого отца, или от[illegible]тяла арфу въ сторону и пѣла комическій дуэтъ, гдѣ [illegible]изображалъ влюбленнаго стараго щеголя, а она — его [illegible], капризную любовницу. При этомъ дѣвушка была [illegible]бенокъ, *казалось* даже, какъ будто здѣсь дитя, не [illegible] *еще полнаго дѣвическаго* возраста, сдѣлали жен-

щиной, и притомъ, женщиной совсѣмъ не нравственной. Въ этомъ и заключается источникъ блѣдно-немощной вялости и вздрагивающаго недовольства этого прекраснаго лица, гордыя черты котораго какъ бы издѣвались надъ всякимъ состраданіемъ; отсюда скрытая печаль глазъ, блестѣвшихъ такъ вызывающе подъ своими черными тріумфальными арками; отсюда глубокіе звуки скорби, такъ зловѣще противоположные улыбающимся прекраснымъ губамъ, изъ которыхъ они излетали; отсюда болѣзненность крайне нѣжныхъ членовъ, которые были едва-едва прикрыты коротенькимъ полинявшимъ платьицемъ фіолетоваго цвѣта. При этомъ на старой соломенной шляпѣ развѣвались рѣзко пестрыя атласныя ленты, а грудь украшала весьма символически открытая почка розы, которая, казалось, была насильственно раскрыта, а не естественно распустилась изъ своей зеленой оболочки. И надъ этой несчастной дѣвушкой, надъ этой весной, на которую уже губительно повѣяла смерть, была распростерта неописуемая прелесть, грація, обнаруживавшаяся въ каждомъ взглядѣ, въ каждомъ движеніи, въ каждомъ звукѣ, и не совсѣмъ исчезавшая даже тогда, когда она съ выгнутымъ впередъ тѣльцемъ и иронической похотливостью танцовала навстрѣчу старому отцу, который точно такъ же безнравственно, съ выпяченнымъ толстымъ животомъ, подвигался къ ней. Чѣмъ наглѣе были ея движенія, тѣмъ болѣе глубокое состраданіе внушала она мнѣ, и когда вслѣдъ затѣмъ ея пѣніе вылетѣло изъ груди мягко и чудно, какъ будто просило прощенія, тогда въ моей груди заликовали маленькія змѣи и отъ удовольствія закусили себѣ хвосты. Показалось мнѣ, что и роза смотритъ съ мольбой на меня, разъ даже я увидѣлъ, какъ она задрожала, поблѣднѣла — но въ ту же самую минуту трели дѣвушки тѣмъ веселѣе понеслись въ воздухѣ, старикъ заблеялъ по-козлиному еще влюбленнѣе, и красная громадная рожа стала терзать свой контрабасъ съ такой злобой, что онъ испустилъ ужасающе комическіе звуки, и слушатели заликовали еще бѣшенѣе.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

То была чисто итальянская музыкальная пьеса изъ к кой-нибудь любимой оперы-буффо, того удивительнаго ро оперы, который даетъ самый свободный просторъ юмору гдѣ юморъ можетъ предаться всей своей скачущей весе *сти, своей бѣшеной* воспріимчивости, своей смѣющейся то *и всему одушевленію* смерти, соединенному съ страст

любовью къ жизни. То была пьеса совершенно въ манерѣ Россини, какая самымъ прелестнымъ образомъ обнаруживается въ «Севильскомъ Цырюльникѣ».

Люди, презирающіе итальянскую музыку и произносящіе осужденіе этому роду оперы, когда-нибудь понесутъ за это заслуженное наказаніе и, быть-можетъ, осуждены всю вѣчность не слышать ничего, кромѣ фугъ Себастіана Баха. Въ этомъ отношеніи я очень скорблю о многихъ изъ моихъ коллегъ, напримѣръ, о Релльштабѣ, который тоже не избѣгнетъ этой кары, если до своей смерти еще не обратится къ Россини. Россини, divino maestro, солнце Италіи, ты, распространяющій свои звучащіе лучи по всему міру, прости моимъ соотечественникамъ, которые поносятъ тебя на писчей бумагѣ и на кляксъ-папирѣ! Но я наслаждаюсь твоими золотыми звуками, твоими мелодическими свѣтилами, твоими искрящимися бабочкиными грезами, которыя такъ чудесно летаютъ вокругъ меня и цѣлуютъ мое сердце, какъ будто бы губами грацій! Divino maestro, прости моимъ бѣднымъ соотечественникамъ, которые не видятъ твоей глубины, потому что ты прикрываешь ее розами, и для которыхъ ты недостаточно основателенъ, недостаточно тяжелъ мыслями, потому что ты летаешь такъ легко, потому что у тебя такія божественныя крылья!.. Право, чтобы любить теперешнюю итальянскую музыку и понимать ее любовью, нужно имѣть передъ глазами самый народъ, его небо, его характеръ, его выраженіе лица, его страданія, его радости, словомъ, всю его исторію, начиная отъ Ромула, основавшаго священно-римскую имперію, до новѣйшаго времени, когда она совершенно погибла въ царствованіе Ромула Августула II-го. Въ этой бѣдной, порабощенной Италіи вѣдь запрещено говорить, и она можетъ обнаруживать свои чувства только посредствомъ музыки. Все ея негодованіе противъ чужеземнаго господства, ея восторженное сочувствіе къ свободѣ, ея отчаяніе въ сознаніи своего безсилія, ея грусть при воспоминаніи о прошедшемъ великолѣпіи, при этомъ тайныя надежды ея, ея жадное ожиданіе помощи—все это маскируется въ тѣ мелодіи, которыя скользятъ отъ карикатурнаго упоенія жизни до элеческой мягкости, и въ тѣ пантомимы, которыя переходъ отъ льстивыхъ ласкъ до угрожающаго гнѣва.

го экзотерическій смыслъ оперы-буффо. Экзотерическіе е. въ присутствіи которыхъ она поется и предста- и *понятія не имѣютъ* о значеніи этихъ веселыхъ *хъ исторій, любовныхъ* страданій и любовныхъ по-

дозрѣваній, подъ которыми итальянецъ скрываетъ свои смертоноснѣйшія мысли объ освобожденіи, какъ Гармодій и Аристогитонъ скрывали свои кинжалы въ миртовыхъ вѣнкахъ. Это все вздорныя дурачества, говоритъ экзотерическій часовой—и хорошо, что онъ ничего не замѣчаетъ. Потому что иначе импрессаріо вмѣстѣ со своей примадонной и примо удомо скоро перешли бы на тѣ подмостки, которые представляютъ крѣпость; была бы наряжена слѣдственная комиссія; всѣ опасныя для государства трели и революціонныя колоратуры были бы записаны въ протоколъ; множество арлекиновъ, запутанныхъ въ различныя развѣтвленія преступныхъ происковъ, точно такъ же, какъ Тарталія, Бригелла, даже старый осторожный Панталоне были бы арестованы; у болонскаго доктора опечатали бы бумаги, онъ самъ былъ бы оставленъ въ сильномъ подозрѣніи, и Коломбина совсѣмъ бы выплакала глаза отъ этого семейнаго несчастія. По моему же мнѣнію, такое бѣдствіе не обрушится еще на этихъ добрыхъ людей, потому что итальянскіе демагоги хитрѣе бѣдныхъ нѣмцевъ, которые, имѣя точно такіе же замыслы, замаскировывались черными дураками въ черныхъ дурацкихъ колпакахъ, и при этомъ имѣли такой поразительно печальный видъ, а дѣлая свои основательно дурацкіе прыжки, которые они называли гимнастическими упражненіями, принимали такія опасныя позы и строили такія серьезныя физіономіи, что правительства, наконецъ, обратили на это вниманіе и должны были посадить ихъ въ тюрьму.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Маленькая арфистка, по всей вѣроятности, замѣтила, что въ то время, когда она пѣла и играла, я часто смотрѣлъ на розу, приколотую у нея на груди, и когда послѣ того я бросилъ не совсѣмъ маленькую монету на оловянную тарелку, въ которую она собирала свой гонораръ, она плутовски улыбнулась и украдкой спросила меня, не желаю ли я получить ея розу? Я же самый вѣжливый человѣкъ въ мірѣ и ни за что на свѣтѣ не хотѣлъ бы обидѣть розу, хотя бы даже такую, благоуханіе которой уже отчасти испарилось. Если, думалъ я, она уже не совсѣмъ свѣжо пахнетъ и имѣетъ уже запаха добродѣтели, какъ роза саронская, то что мнѣ до этого за дѣло, когда у меня такой сильный сморкъ! Притомъ же, только люди такъ придирчивы въ этомъ отношеніи. Мотылекъ же не спрашиваетъ сначала: цѣловалъ ужъ тебя кто-нибудь другой? А цв

не спрашиваетъ у мотылька: леталъ ли ты уже вокругъ какого-нибудь другого цвѣтка? Къ этому присоединилось еще то, что наступила ночь, а ночью, думалъ я, всѣ цвѣты сѣры—самая грѣшная роза точно такъ же, какъ и самая добродѣтельная петрушка. Однимъ словомъ, безъ особенно большого колебанія я отвѣчалъ маленькой арфисткѣ «Si, signora...»

Не думай только ничего дурного, любезный читатель. Стемнѣло, и звѣзды смотрѣли такъ ясно и такъ набожно въ мое сердце. Но въ этомъ сердцѣ дрожало воспоминаніе о мертвой Маріи. Я снова думалъ о той ночи, когда я стоялъ предъ постелью, на которой лежало прекрасное блѣдное тѣло съ кроткими нѣмыми губами... Я снова думалъ о странномъ взглядѣ, который бросила на меня старуха, сторожившая у гроба и передавшая мнѣ свою должность. Я снова думалъ о ночной фіалкѣ, стоявшей на столѣ въ стаканѣ и такъ странно пахнувшей...

Снова заставило меня вздрогнуть сомнѣніе, дѣйствительно ли вѣтеръ потушилъ лампу? Дѣйствительно ли въ комнатѣ не было никого третьяго?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Вскорѣ послѣ того я легъ, скоро заснулъ и погрузился въ причудливыя грезы. Я снова увидѣлъ себя за нѣсколько часовъ назадъ, снова пріѣхалъ въ Тріентъ, снова изумлялся, какъ прежде, и теперь тѣмъ болѣе, такъ какъ по улицамъ вмѣсто людей прохаживались только цвѣты. Гуляли тутъ пылающія, сладострастно обмахивавшіяся вѣерами, гвоздики, кокетничающіе бальзамины, гіацинты съ красивыми густыми колокольчиками, а вслѣдъ за ними множество усатыхъ нарцисовъ и неуклюжихъ рыцарскихъ шпоръ. На углу улицы ссорились двѣ маргаритки. Изъ окна одного стараго дома болѣзненной наружности выглядывалъ крапленый левкой въ весьма странной пестрой одеждѣ, а позади его раздавался мило благоухающій голосъ фіалки. На балконѣ большого дворца на площади собралось все дворянство, высокая знать, именно тѣ лиліи, которыя не работаютъ и не [illegible] и, однакоже, мнятъ себя столько же великолѣпными, [illegible]ръ Соломонъ во всемъ своемъ великолѣпіи. Показа- [illegible] что я увидѣлъ тамъ и толстую торговку, но когда [illegible]лся ближе, то оказалась только спрятанная на [illegible]вица, которая тотчасъ же на меня накинулась: [illegible] нужно здѣсь, незрѣлое растеніе, кислый огурешъ,

дрянной простой цвѣтокъ объ одной тычинкѣ? Вотъ погоди, я полью тебя!» Отъ страха я укрылся въ соборъ и чуть не раздавилъ старую хромающую старуху, за которою несли молитвенникъ анютины глазки. Въ соборѣ же было снова очень пріятно, длинными рядами стояли тюльпаны всѣхъ цвѣтовъ и набожно шевелили головами. Въ исповѣдальнѣ сидѣлъ черный хрѣнъ, и предъ нимъ стоялъ на колѣняхъ цвѣтокъ, лица котораго не было видно, но оно издавало такое знакомое, повергающее въ трепетъ, благоуханіе, что я снова вспомнилъ о ночной фіалкѣ, стоявшей въ той комнатѣ, гдѣ лежала мертвая Марія.

Когда я снова вышелъ изъ собора, меня встрѣтила похоронная процессія исключительно изъ розъ съ черными вуалями и бѣлыми носовыми платками и, ахъ! на носилкахъ лежала рано уничтоженная роза, съ которой я познакомился на груди маленькой арфистки. Теперь она была еще граціознѣе, чѣмъ прежде, но бѣла, какъ мѣлъ—бѣлый трупъ розы. Гробъ опустили въ землю около маленькой часовни, много тутъ было плача и рыданій, наконецъ, вышелъ старый полевой макъ и произнесъ длинную проповѣдь, въ которой онъ много болталъ о добродѣтеляхъ покойной, о земной юдоли, скорби, о лучшемъ существованіи за гробомъ, о любви, надеждѣ и вѣрѣ—и все это гнусливо-пѣвучимъ тономъ—длинная, водянистая рѣчь, такая длинная и скучная, что я отъ нея проснулся

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Мой веттурино запрягъ своихъ клячъ раньше Геліоса, и уже въ полдень мы пріѣхали въ Алу. Тутъ извозчики останавливаются обыкновенно на нѣсколько часовъ, чтобы перемѣнить экипажъ.

Ала уже чисто итальянское гнѣздо. Положеніе ея живописно: на склонѣ горы, мимо протекаетъ рѣка, весело зеленыя виноградныя лозы обвиваютъ тутъ и тамъ нищенскіе заплатанные и чуть не падающіе другъ на друга дворцы. На углу косой площади, которая не больше птичьяго двора, написано огромными, гигантскими буквами: Piazza di San Marco. На каменномъ обломкѣ большого старо-итальянскаго герба сидѣлъ маленькій мальчикъ и просилъ милостыню. Яркое солнце освѣщало его наивную спину, въ рукахъ держалъ онъ бумажный образокъ, который по временамъ съ

Маленькая, чудно-красивая дѣвочка

думчивомъ созерцаніи и по временамъ

аккомпанировала мальчику на деревянной дѣтской трубѣ. Гостиница, гдѣ я остановился и пообѣдалъ, была тоже чисто итальянскаго рода. Вверху, у перваго этажа, открытая эстрада съ видомъ на дворъ, гдѣ стояли разбитыя телѣги и лежали кучи навоза, гуляли индюки съ глупо-красными мѣшками подъ клювами и прогуливались гордые павлины, а полдюжины оборванныхъ загорѣлыхъ мальчишекъ искали другъ у друга въ головѣ по методѣ Бэлля и Ланкастера. По этой эстрадѣ, вдоль изломанныхъ желѣзныхъ перилъ, проходятъ въ широкую, высокую комнату. Полъ изъ мрамора, въ срединѣ широкая постель, на которой играютъ свадьбу блохи; повсюду грандіозная грязь. Хозяинъ прыгалъ взадъ и впередъ, чтобы узнавать мои желанія. Онъ былъ въ зеленомъ сюртукѣ и съ крайне подвижнымъ лицомъ, на которомъ помѣщался длинный горбатый носъ съ красной волосатой бородавкой, сидѣвшей по серединѣ, какъ обезьяна въ красной курткѣ на спинѣ верблюда. Онъ прыгалъ взадъ и впередъ, и при этомъ казалось, что красная обезьяна на его носу тоже прыгала. Но прошелъ цѣлый часъ прежде чѣмъ онъ принесъ мнѣ хоть что-нибудь, и когда я бранился за это, то онъ клялся, что я уже прекрасно говорю по-итальянски.

Мнѣ пришлось долго довольствоваться отраднымъ запахомъ жаркого, доносившимся до меня изъ кухни безъ дверей, находившейся противъ моей комнаты, и гдѣ мать и дочь сидѣли рядомъ и пѣли, ощипывая курицъ. Первая была замѣчательно корпулентна; груди необычайно роскошно выступали впередъ, но были все-таки малы въ сравненіи съ колоссальною заднею частью, такъ что онѣ казались только Институтами Юстиніана, а задняя часть—ихъ распространеннымъ толкованіемъ, т. е. Пандектами. Дочь, не очень высокая, но плотно сформированная особа, повидимому, тоже имѣла наклонность къ корпулентности, но ея цвѣтущій жиръ ни въ какомъ случаѣ нельзя было сравнить съ старымъ саломъ матери. Черты ея лица были не кроткія, не юношески очаровательныя, но прекрасно пропорціональны, благородно античны; волоса и глаза жгуче-черные. У матери, ь, черты лица были плоскія, тупыя, розово-красный е глаза, точно фіалки, вываренныя въ молокѣ, и къ лиліи, напудренные волосы. По временамъ ся хозяинъ il signor padre, спрашивалъ какую-ину или другую вещь, на что ему спокойнымъ отвѣчали, чтобы онъ поискалъ самъ. Тогда

онъ, щелкнувъ языкомъ, начиналъ рыться въ шкапахъ, пробовалъ изъ горшковъ, въ которыхъ варилось кушанье, обжигалъ себѣ ротъ и снова упрыгивалъ изъ кухни, а съ нимъ—его носовой верблюдъ и красная обезьянка. Вслѣдъ ему раздавались веселыя трели, какъ дружескія издѣвательства и семейныя шуточки.

Но это мирное, почти идиллическое хозяйничанье вдругъ прервалъ ударъ грома: угловатый парень съ разбойничьимъ лицомъ ворвался въ кухню и прокричалъ что-то такое, чего я не понялъ. Когда обѣ женщины отрицательно покачали головой, онъ впалъ въ самое безумное бѣшенство и сталъ изрыгать огонь и пламень, какъ маленькій разсердившійся Везувій. Хозяйка, повидимому, испугалась и начала шептать успокоительныя слова, но они произвели совершенно противоположное дѣйствіе, такъ что бѣшеный человѣкъ схватилъ желѣзную лопату, разбилъ нѣсколько несчастныхъ тарелокъ и бутылокъ и ударилъ бы также бѣдную женщину, не схвати дочь длиннаго кухоннаго ножа и не пригрози убить его тотчасъ же, если онъ не уберется. Прекрасное было зрѣлище, когда эта дѣвушка, блѣдная, какъ смерть, и онѣмѣвшая отъ гнѣва, стояла, точно мраморное изваяніе, съ губами, такими же блѣдными, глазами глубокими и убійственными, вздувшейся синей жилой поперекъ лба, черными кудрями, развѣвавшимися, какъ змѣи, въ рукахъ со своимъ окровавленнымъ ножомъ. Меня охватилъ трепетъ восторга, потому что я видѣлъ передъ собою живую Медею, такую, какая грезилась мнѣ въ мои молодыя ночи, когда я засыпалъ на милой груди Мельпомены, мрачно прекрасной богини.

Во время всей этой сцены signor padre ни на шагъ не вышелъ изъ своей колеи, съ дѣловымъ спокойствіемъ подымалъ онъ осколки съ пола, собиралъ тарелки, которыя еще остались въ живыхъ, и вслѣдъ затѣмъ принесъ мнѣ супъ съ пармезаномъ, жаркое твердое и крѣпкое, какъ нѣмецкая вѣрность, раки красные, какъ любовь, и на десертъ — тушеный лукъ, вызвавшій у меня изъ глазъ слезы умиленія. — «Это ничего не значитъ, это обыкновенная метода Пьетро», сказалъ онъ, когда я съ удивленіемъ указ ему на кухню; и дѣйствительно, послѣ того, какъ виновн ссоры удалился, казалось, что тамъ ровно ничего не изошло; и мать, и дочь снова сидѣли рядомъ, пѣли и пывали курицъ.

Счетъ убѣдилъ меня, что и signor padre тоже х

понималъ науку ощипыванія, и когда я, несмотря на это, сверхъ уплаты, далъ ему еще на водку, то онъ отъ удовольствія чихнулъ такъ сильно, что обезьянка чуть-чуть не свалилась со своего мѣста. Послѣ этого я привѣтливо кивнулъ головой въ кухню, привѣтливо отвѣчали мнѣ оттуда, и скоро я сидѣлъ въ замѣненномъ экипажѣ и быстро катился по ломбардской равнинѣ, а вечеромъ пріѣхалъ въ старый знаменитый городъ Верону.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Пестрая сила новыхъ явленій подѣйствовала на меня въ Тріентѣ только сумрачно и смутно, какъ что-то сказочное; но въ Веронѣ она охватила меня, какъ сильное лихорадочное сновидѣніе, полное жаркихъ красокъ, рѣзко очерченныхъ формъ, призрачныхъ звуковъ трубы и отдаленнаго стука оружія. Тутъ было много дряхлыхъ дворцовъ, которые смотрѣли на меня такъ пристально, какъ будто хотѣли довѣрить мнѣ старую тайну и только робѣли предъ шумомъ толпившихся людей и просили меня вернуться сюда снова ночью. Но, несмотря на шумъ и несмотря на яростное солнце, лившее на землю свой багровый свѣтъ, нѣсколько старыхъ темныхъ башенъ все-таки успѣли сказать мнѣ два-три значительныхъ слова. Тутъ и тамъ слышалъ я шопотъ разбитыхъ колоннъ, а когда взошелъ на маленькую лѣстницу, которая вела къ Piazza de'Signori, то камни разсказали мнѣ страшно кровавую исторію, и я прочелъ на углу площадки слова: «Scala Ammazzati».

Верона, древній всемірно-знаменитый городъ, расположенный по обѣимъ сторонамъ Этча, была всегда какъ бы первой станціей для германскихъ переселенцевъ, народовъ, которые оставляли свои холодные сѣверные лѣса и переходили черезъ Альпы, чтобы повеселиться подъ чужими солнечными лучами милой Италіи. Нѣкоторые изъ нихъ шли дальше, а другимъ достаточно нравилось уже здѣсь, и они устраивали тутъ себѣ родину и надѣвали шелковыя домашнія платья, и мирно гуляли между цвѣтами и кипарисами до тѣхъ поръ, пока новые пришлецы, которые еще не сня-
о свѣжаго желѣзнаго платья, не приходили изъ-за
вытѣсняли ихъ—исторія, повторявшаяся часто и
историки называютъ переселеніемъ народовъ. Гуляя
щее время по улицамъ Вероны, повсюду находишь
ле слѣды тѣхъ дней, точно такъ же, какъ слѣды
ихъ и болѣе позднихъ временъ. Римлянъ осо-

бенно напоминаютъ амфитеатръ и тріумфальныя арки; о времени Теодориха, Дитриха Бернскаго, о которомъ нѣмцы до сихъ поръ еще поютъ и разсказываютъ, вспоминаешь, глядя на баснословные остатки столькихъ византійски доготическихъ зданій; очень странныя развалины напоминаютъ короля Албоина и его бѣшеныхъ лонгобардовъ; богатые легендами памятники—Карла Великаго, паладины котораго стоятъ у дверей собора, высѣченные изъ камня, такими же франкски-грубыми, какими они были, конечно, при жизни... Городъ кажется какой-то большой гостиницей народовъ, и точно такъ же, какъ, пріѣзжая въ гостиницу, обыкновенно пишешь свое имя на стѣнахъ и окнахъ, точно такъ же тамъ каждый народъ оставилъ слѣды своего присутствія, часто, правда, письменами совершенно непонятными, такъ какъ многія нѣмецкія племена въ то время еще не умѣли писать и должны были ограничиваться разрушеніемъ чего-нибудь на память—что̀ было также достаточно, такъ какъ эти развалины говорятъ еще явственнѣе, чѣмъ красивыя буквы. Варвары, поселившіеся теперь въ старой гостиницѣ, не преминутъ оставить такіе же памятники своего милаго пребыванія, такъ какъ у нихъ нѣтъ ни скульпторовъ, ни поэтовъ, съ помощью которыхъ они могли бы удержаться въ памяти людей болѣе кроткими средствами.

Я въ Веронѣ остался только одинъ день, безпрерывно дивясь никогда не виданному, сегодня смотря на древнія зданія, завтра на людей, кишавшихъ между ними съ таинственной поспѣшностью, и затѣмъ снова на божественно голубое небо, которое охватывало все это странное цѣлое, какъ драгоцѣнная рамка, и черезъ это сдѣлало изъ него какъ бы огромную картину. Но очень своеобразно, когда видишь самого себя въ картинѣ, на которую только-что смотрѣлъ и когда улыбаются въ ней тебѣ разныя фигуры, особенно женскія—какъ случилось со мною на Piazza delle Erbe. Это именно овощный рынокъ, и тутъ было весьма много забавныхъ фигуръ женщинъ и дѣвушекъ, полныя нѣги лица съ большими глазами, чудесныя тѣла, очаровательно желтыя, наивно-грязныя, созданныя гораздо больше для ночи, чѣмъ для дня. Бѣлый или черный вуаль, кото[illegible] носятъ на головѣ городскія женщины, былъ такъ кова[illegible] повязанъ на груди, что скорѣе обнаруживалъ, чѣмъ ск[illegible] валъ прекрасныя формы. Дѣвушки носили шиньоны, [illegible] *колотые одной* или нѣсколькими золотыми стрѣлами, а ин[illegible] *и серебряной* палочкой съ головкой въ формѣ жолуд[illegible]

крестьянкахъ были большею частью тарелкообразныя соломенныя шляпочки съ привязанными на одной сторонѣ головы кокетливыми цвѣтами. Костюмъ мужчинъ былъ менѣе отличенъ отъ нашего, и только громадныя черныя бороды, выглядывавшія изъ-за галстуковъ, нѣсколько поразили меня здѣсь, когда я впервые увидѣлъ эту моду. Но когда вглядываешься пристально въ этихъ людей, какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, тогда на ихъ лицахъ и во всемъ ихъ существѣ открываешь слѣды цивилизаціи, которая отъ нашей отличается тѣмъ, что не вышла изъ средневѣкового варварства, а имѣетъ начало еще во время римлянъ, никогда не была совершенно уничтожена и только видоизмѣнялась каждый разъ сообразно характеру властителя страны. Цивилизація у этихъ людей отнюдь не имѣетъ той поразительно новой политуры, которая существуетъ у насъ, гдѣ стволы дубовъ только вчера вырублены и обтесаны и все еще пахнутъ свѣжимъ лакомъ. Такъ и кажется, что вся эта людская толпа на Piazza delle Erbe съ теченіемъ времени только постепенно перемѣняла свои одежды и манеру говорить, и что духъ и нравы измѣнились тамъ очень мало. Но зданія, окружающія эту площадь, не имѣли возможности также легко идти впередъ вмѣстѣ съ временемъ; отъ этого, однако, видъ ихъ не менѣе пріятенъ, и, глядя на нихъ, душа наша испытываетъ странное волненіе. Тутъ стоятъ высокіе дворцы въ венеціанско-ломбардскомъ стилѣ съ безчисленнымъ количествомъ балконовъ и веселыхъ фресокъ; въ срединѣ возвышается единственная колонна, стоитъ фонтанъ и каменная святая; здѣсь вы видите расписаннаго красными и бѣлыми полосами Подесту, возвышающагося за величественными стрѣльчатыми воротами; тамъ снова старая четырехугольная колокольня, наверху которой стрѣлки и циферблатъ часовъ наполовину разрушены, такъ что кажется, что время хотѣло уничтожить самое себя... Надъ всей площадью лежатъ тѣ романтическія чары, которыя такъ прелестно вѣютъ на насъ изъ фантастическихъ стихотвореній Людовика Аріосто и Людовика Тика. Близко отъ этой площади стоитъ домъ, который считаютъ дворцомъ [illegible]-товъ, потому что надъ внутренними воротами его [illegible]на изъ камня шляпа. Это теперь грязная харчевня [illegible]озчиковъ и кучеровъ, и надъ ней въ видѣ вывѣски [illegible]красная жестяная шляпа, вся въ дырьяхъ. Недалеко [illegible]ъ церкви, показываютъ часовню, въ которой, по [illegible] *была обвѣнчана* несчастная чета. Поэтъ охотно

посѣщаетъ эти мѣста, хотя и самъ смѣется надъ легковѣрностью своего сердца. Я засталъ въ этой часовнѣ одну только женщину, жалко поблекшее существо, которая, послѣ долгаго колѣнопреклоненія и молитвы, встала съ тяжелымъ вздохомъ, съ удивленіемъ посмотрѣла на меня большими безмолвными глазами и, наконецъ, поплелась на улицу съ какъ бы разбитыми членами.

Недалеко отъ этой площади находятся и гробницы Скалигеровъ. Онѣ такъ же странно великолѣпны, какъ и эта гордая фамилія, и жаль, что онѣ стоятъ въ углу, гдѣ должны какъ бы тѣсниться одна къ другой, чтобы занимать какъ можно меньше мѣста, и гдѣ для посѣтителей тоже остается немного мѣста, чтобы разсмотрѣть ихъ, какъ слѣдуетъ. Тутъ намъ кажется, что мы видимъ въ символическомъ изображеніи историческую судьбу этой фамиліи; она тоже занимаетъ маленькій уголокъ въ общей итальянской исторіи, но этотъ уголокъ биткомъ набитъ блескомъ подвиговъ, пышностью нравовъ и надменнымъ великолѣпіемъ. И какъ въ исторіи, такъ и на этихъ памятникахъ, видишь гордыхъ желѣзныхъ рыцарей на желѣзныхъ коняхъ, и между ними великолѣпнѣе всѣхъ—Канъ Гранде, дядя, и Мастино, племянникъ.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

О веронскомъ амфитеатрѣ говорили много, тамъ достаточно мѣста для наблюденій, и нѣтъ такихъ наблюденій, которыхъ нельзя было бы вмѣстить въ кругъ этого знаменитаго зданія. Оно выстроено совершенно въ томъ серьезномъ стилѣ, красота котораго состоитъ въ законченной прочности, и какъ всѣ общественныя строенія римлянъ, выражаетъ собою духъ, который есть ничто иное, какъ духъ самого Рима. А Римъ? Есть ли человѣкъ, до такой степени здорово-невѣжественный, чтобы у него при этомъ имени тайно не задрожало сердце, и чтобы по крайней мѣрѣ традиціонный страхъ не потрясъ его мыслительную силу? Что касается меня, то сознаюсь, что я ощущалъ больше тревожное чувство чѣмъ радость, когда думалъ, что скоро буду ходить по почвѣ стараго Рима. Старый Римъ вѣдь теп умеръ,—такъ успокоивалъ я робѣвшую душу,—и ты сча ливъ тѣмъ, что можешь смотрѣть на его прекрасный тр безъ всякой отвѣтственности для себя. Но вслѣдъ за эт снова возникало во мнѣ Фальстафовское опасеніе: а что, е онъ еще не совсѣмъ умеръ и только притворяется у

шимъ и вдругъ встанетъ предо мною—это было бы ужасно!

Въ то время, когда я посѣтилъ амфитеатръ, тамъ разыгрывалась комедія. Въ срединѣ его была построена маленькая деревянная палатка, и въ ней представлялся итальянскій фарсъ, и зрители сидѣли подъ открытымъ небомъ, частью на маленькихъ стульчикахъ, частью на высокихъ каменныхъ скамейкахъ стараго амфитеатра. Сидѣлъ тутъ и я, и смотрѣлъ на штуки и ссоры Бригеллы, Тарталіи, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ сидѣлъ нѣкогда римлянинъ и смотрѣлъ на своихъ гладіаторовъ и травлю звѣрей. Разстилавшееся надо мною небо, голубая хрустальная чаша, было такое же, какъ и въ то время. Постепенно темнѣло, звѣзды начинали мерцать на небѣ, Труфальдино смѣялся, Смеральдина плакала, наконецъ, явился Панталоне и соединилъ ихъ руки. Публика зааплодировала и весело отправилась по домамъ. Вся эта игра не стоила ни капли крови но за то была только игра. Игры римлянъ, напротивъ, совсѣмъ не были игры, этихъ людей никогда не забавляло то, что дѣлалось только притворно, для этого имъ не доставало дѣтской безмятежности души, и насколько они были серьезны сами, настолько же и въ ихъ играхъ высказывалась самая кровавая, самая неподкрашенная серьезность. Они не были великіе люди, но благодаря своему положенію, были больше, чѣмъ остальныя дѣти земли, потому что жили въ высокомъ Римѣ. Какъ только они сходили со своихъ семи холмовъ, тотчасъ же становились маленькими. Отсюда та мелкость, которую мы открываемъ тамъ, гдѣ дѣйствуетъ ихъ частная жизнь. Геркуланъ и Помпея, эти палимпсесты природы, на которыхъ теперь снова откапывается древній каменный текстъ, показываютъ путешественнику римскую частную жизнь въ маленькихъ домишкахъ, съ крохотными комнатками, которыя представляютъ такую разительную противоположность съ колоссальными зданіями, служащими выраженіемъ общественной жизни, этими театрами, водопроводами, фонтанами, большими дорогами, мостами, развалины которыхъ вызываютъ до сихъ поръ наше изумленіе. Но въ томъ именно и дѣло: какъ грекъ великъ идеей искусства, еврей—идеей священнѣйшаго духа, такъ римляне ки идеей ихъ вѣчнаго Рима, велики всюду, гдѣ они въ вовлеченномъ увлеченіи этой идеей сражались, писали и ли. Чѣмъ больше становился Римъ, тѣмъ больше расши- эта идея. Отдѣльныя личности терялись въ ней, вели- и, еще продолжающіе выдаваться, подняты только

этой идеей, и она дѣлаетъ мелкоту маленькихъ еще замѣтнѣе. Римляне поэтому были въ одно и то же время величай шими героями и величайшими сатириками; героями, когд они дѣйствовали, между тѣмъ какъ думали о Римѣ, сат риками—когда они думали о Римѣ въ то время, какъ обс ждали дѣйствія своихъ товарищей. Смѣриваемая такимъ гр маднымъ масштабомъ, какъ идея Рима, даже самая кру ная личность должна была казаться карликомъ и вслѣдств этого дѣлаться жертвой насмѣшки. Тацитъ самый жестокі мастеръ въ этой сатирѣ именно потому, что онъ глуб всякаго другого чувствовалъ величіе Рима и мелкость л дей. Совершенно въ своей стихіи онъ тогда, когда может разсказать, какъ злые языки на форумѣ разсуждали о ка комъ-нибудь позорномъ поступкѣ императора; совершенн злобно счастливъ онъ тогда, когда можетъ сообщить о ка кой-нибудь сенаторской бѣдѣ, напримѣръ, о неудавшейс лести.

Я долго еще гулялъ между высокими скамейками амфи театра, погруженный мыслями въ прошедшее. Какъ всѣ зда нія при вечернемъ свѣтѣ всего нагляднѣе обнаруживают живущій въ нихъ духъ, такъ и эти стѣны разсказывал мнѣ своимъ отрывочнымъ лапидарнымъ стилемъ глубок серьезныя вещи; онѣ говорили о людяхъ стараго времени и мнѣ казалось при этомъ, что я вижу передъ собою их самихъ, вижу бѣлыя тѣни надо мною въ темномъ цирк У меня на душѣ было такъ, какъ будто бы я видѣлъ Грак ховъ съ ихъ вдохновенными мученическими глазами. «Тиве рій Семпроній!—крикнулъ я внизъ:—я буду вмѣстѣ съ то бою подавать голосъ за аграрный законъ!» Видѣлъ я Цезаря, онъ шелъ подъ руку съ Маркомъ Брутомъ. «Так вы снова примирились?»—сказалъ я. «Мы думали,—со смѣ хомъ отвѣчалъ мнѣ Цезарь:—что оба правы, я не зналъ что былъ еще одинъ римлянинъ, кромѣ меня—и считал себя поэтому въ правѣ спрятать Римъ въ карманъ, и так какъ этотъ римлянинъ былъ именно мой сынъ, Маркъ, т онъ счелъ себя въ правѣ умертвить меня за это!» За ними обоими крался Тиверій Неронъ на туманныхъ ногахъ и с неопредѣленнымъ выраженіемъ лица. Видѣлъ я тутъ и женщинъ, между ними и Агриппину съ ея прекраснымъ властолюбивымъ лицомъ, которое вызывало какое-то странное состраданіе, какъ старая мраморная статуя, въ чертах которой скорбь какъ бы окаменѣла. Кого ищешь ты, Германика? Я уже слышалъ ея жалобы... Какъ вдругъ

дался глухой звонъ колокола и фатальный барабанный бой вечерней зари. Гордые римскіе духи исчезли, и я снова очутился въ христіанско-австрійской современности.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

На площади La Bra, какъ только стемнѣетъ изящный свѣтъ Вероны прогуливается или сидитъ на маленькихъ стульчикахъ предъ кофейнями и глотаетъ шербетъ, вечернюю прохладу и музыку. Тутъ сидится такъ хорошо, мечтающее сердце убаюкиваетъ себя сладостными звуками и само звучитъ въ отвѣтъ на нихъ. По временамъ, когда загремятъ трубы, оно закачается, точно опьянѣвшее, и вторитъ этимъ звукамъ, какъ полный оркестръ. А затѣмъ душа снова ярко освѣщена веселымъ солнцемъ, цвѣточныя чувства и воспоминанія съ черными глубокими глазами пышно распускаются, а надъ ними гордо, и медленно, и вѣчно проходятъ мысли, точно цѣпи облаковъ.

Я гулялъ еще долго послѣ полуночи по улицамъ Вероны, которыя постепенно пустѣли и какъ-то странно звучали. Въ полусвѣтѣ луны едва высились зданія и статуи и блѣдно и болѣзненно смотрѣли на меня мраморныя лица. Я поспѣшилъ пройти мимо гробницъ Скалигеровъ, потому что мнѣ казалось, будто Can Grande съ тою вѣжливостью, которую онъ всегда оказывалъ поэтамъ, собирается слѣзть со своего коня и сдѣлаться моимъ проводникомъ. «Сиди, сиди,—крикнулъ я ему:—мнѣ не нужно тебя, мое сердце лучшій чичероне и разсказываетъ мнѣ всѣ исторіи, происходившія въ этихъ домахъ, и разсказываетъ во всей подробности, называя даже имена и числа годовъ и мѣсяцевъ».

Въ ту минуту, какъ я подошелъ къ римскимъ тріумфальнымъ аркамъ, оттуда выскользнулъ черный монахъ, и вдалекѣ раздалось нѣмецкое ворчливое: «кто идетъ?» «Другъ»— провизжалъ чей-то веселый дискантъ.

Но какой женщинѣ принадлежалъ голосъ, проникшій съ такой зловѣщей сладостью мнѣ въ душу въ то время, когда я всходилъ на лѣстницу Аммацати? То было пѣніе, какъ [illegible]ыходившее изъ груди умирающей ласточки, пѣніе [illegible]ьно нѣжное, какъ бы взывающее о помощи, находя [illegible] въ каменныхъ домахъ. На этомъ самомъ мѣстѣ [illegible]елла-Скала убилъ своего брата, Бартоломео, какъ [illegible] время, какъ Бартоломео шелъ къ своей воз- [illegible] Мое сердце сказало мнѣ, что она все еще си-

дитъ въ своей комнатѣ, и ожидаетъ своего возлюбленнаго, и поетъ только для того, чтобы заглушить свои грустныя предчувствія. Но скоро и пѣсни, и голосъ показались мнѣ такъ близко знакомыми, я уже раньше слышалъ эти шелковые, ужасающіе, истекающіе кровью звуки, они опутывали меня, какъ мягкія, умоляющія воспоминанія и... О ты, глупое сердце,—сказалъ я самому себѣ:—неужели ты забыло уже пѣсню о больномъ мавританскомъ царѣ, которую такъ часто пѣла мертвая Марія? И этотъ самый голосъ—неужели ты не знаешь голоса мертвой Маріи?

Медленные звуки преслѣдовали меня по всѣмъ улицамъ до гостинницы Due Torre до моей спальни, даже во снѣ... И тутъ я снова увидѣлъ мою милую умершую жизнь, увидѣлъ ее, прекрасною и неподвижною, старая прачка снова удалилась съ загадочнымъ косвеннымъ взглядомъ, ночная фіалка благоухала, я снова поцѣловалъ милыя губы, и дорогой трупъ медленно поднялся для того, чтобы отдать мнѣ поцѣлуй.

Знай я только, кто загасилъ огонь!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

«Ты знаешь ли страну, гдѣ померанцъ цвѣтетъ?»

Знаешь ли ты эту пѣсню? Вся Италія изображена въ ней, но изображена вздыхающими красками тоски. Въ своемъ «Итальянскомъ Путешествіи» Гете описалъ Италію нѣсколько подробнѣе, и когда онъ рисуетъ, то у него всегда оригиналъ передъ глазами, и на вѣрность очерковъ и красокъ можно вполнѣ положиться. Я считаю поэтому удобнымъ здѣсь разъ навсегда указать на «Итальянское Путешествіе» Гете, тѣмъ болѣе, что онъ до Вероны доѣхал тѣмъ же путемъ, черезъ Тироль. Я говорилъ объ этой книгѣ уже раньше, прежде чѣмъ познакомился съ матеріаломъ, который онъ обработалъ, и нахожу теперь мнѣніе высказанное мною по чутью, вполнѣ подтвержденнымъ Дѣйствительно, мы видимъ всюду въ этой книгѣ основанное на фактахъ пониманіе природы. Гете держитъ передъ ней зеркало, или, лучше сказать, онъ самъ зеркало природы Природа хотѣла узнать, какой у нея видъ, и для этого здала Гете. Даже мысли, намѣренія природы онъ имѣ способность отражать, и горячаго гетеніанца, особенно жаркіе каникулярные дни, не слѣдуетъ упрекать, когда *ждество отраженія* зеркала съ самими предметами, кот *оно отражаетъ*, такъ поражаетъ его, что онъ признае

этимъ зеркаломъ даже творческую силу, силу создавать подобные предметы. Нѣкій господинъ Эккерманъ написалъ однажды книгу о Гете, въ которой онъ совершенно серьезно увѣряетъ: Если бы Господь Богъ при созданіи міра сказалъ Гете: «милый Гете, Я свое дѣло кончилъ, Я теперь все создалъ, исключая птицъ и деревьевъ; Я былъ бы тебѣ признателенъ, если бы вмѣсто Меня ты создалъ еще эти пустячки»,—то Гете создалъ бы этихъ животныхъ и эти растенія совершенно въ духѣ остального творенія, именно создалъ бы птицъ съ перьями, а деревья зеленаго цвѣта.

Въ этихъ словахъ есть правда, и я даже того мнѣнія, что Гете исполнилъ бы свое дѣло даже еще лучше, чѣмъ самъ Создатель вселенной, и что онъ, напримѣръ, сотворилъ бы господина Эккермана гораздо правильнѣе, и именно съ перьями и зеленаго цвѣта. Дѣйствительно, большая ошибка, что на головѣ господина Эккермана не растетъ никакихъ зеленыхъ перьевъ, и Гете постарался устранить этотъ недостатокъ тѣмъ, что выписалъ изъ Іены докторскую шляпу и собственноручно надѣлъ ее на эту голову.

Кромѣ «Итальянскаго Путешествія» Гете слѣдуетъ рекомендовать еще «Италію» леди Морганъ и «Коринну» мадамъ Сталь. Чего недостаетъ этимъ женщинамъ относительно таланта, чтобы не казаться мелкими рядомъ съ Гете, то возмѣщаютъ онѣ мужественнымъ настроеніемъ, котораго не достаетъ поэту, ибо леди Морганъ говорила какъ мужчина, она впускала своими словами скорпіона въ сердца наглыхъ наемниковъ, и мужественны и сладостны были трели этого благоухающаго соловья свободы. Точно такъ же, какъ всѣмъ извѣстно, была мадамъ Сталь весьма милой маркитанткой въ войскѣ либераловъ, и бодро бѣгала она по рядамъ сражающихся со своимъ боченкомъ энтузіазма, и подкрѣпляла усталыхъ и сама участвовала въ битвѣ, сражаясь лучше, чѣмъ самые лучшіе.

Что касается вообще путевыхъ описаній Италіи, то В. Миллеръ недавно сдѣлалъ обозрѣніе ихъ въ журналѣ «Гермесъ». Число этихъ замѣтокъ легіонъ. Между старыми нѣмецкими писателями въ этой области болѣе всѣхъ выдаются мъ или своеобразностью: Морицъ, Архенгольцъ, Барсъ, славный Зейме, Арндтъ, Мейеръ, Бенковицъ и Ре-ъ. Новые знакомы мнѣ меньше, и только немногіе изъ ь доставили мнѣ удовольствіе и пользу. Между ними у сочиненія *безвременно* умершаго В. Мюллера: «Римъ, *не и римлянки*», — ахъ, онъ былъ нѣмецкій поэтъ!—

затѣмъ путешествіе Кефалидеса, немножко суховатое, далѣе, Лесмана «Цизальпинскіе Листы», отчасти слишкомъ пространные, и наконецъ, «Путешествія по Италіи съ 1822 года Фридриха Тирша, Людовика Шорна, Эдуарда Гергада и Лео фонъ-Кленце». Этого сочиненія появилась только одна часть, и оно заключаетъ большею частью статьи моего милаго, благороднаго Тирша, гуманный глазъ котораго выглядываетъ изъ каждой строки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

Kennst du das Land, wo die Citronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorber steht,
Kennst du es wohl?
Dahin, dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

...Но не ѣзди туда только въ началѣ августа, когда днемъ тебя жаритъ солнце, а ночью пожираютъ блохи. Совѣтую тебѣ также, мой милый читатель, не ѣздить изъ Вероны въ Миланъ въ почтовой каретѣ.

Я совершилъ поѣздку въ компаніи шести бандитовъ, въ тяжелой carozza, которая для предохраненія отъ слишкомъ сильной пыли была со всѣхъ сторонъ такъ тщательно закрыта, что я не могъ замѣтить почти ничего изъ красотъ мѣстной природы. Только два раза по пути до Брешіи мой сосѣдъ открылъ немного кожаный фартукъ, чтобы сплюнуть. Въ одинъ изъ этихъ разовъ я не увидѣлъ ничего, кромѣ нѣсколькихъ вспотѣвшихъ елей, которыя, повидимому, очень страдали въ своихъ зеленыхъ зимнихъ одеждахъ отъ душнаго солнечнаго жара; въ другой разъ я увидѣлъ кусочекъ удивительно прозрачнаго голубого моря, въ которомъ отражались солнце и одинъ тощій гренадеръ. Этотъ гренадеръ, австрійскій Нарцисъ, съ дѣтской радостью дивился, какъ зеркальная поверхность озера съ точностью передавала ему всѣ его движенія, когда онъ дѣлалъ на плечо или на караулъ, или прицѣливался къ выстрѣлу.

О самой Брешіи я тоже могу разсказать немногое, потому что воспользовался временемъ моего пребыванія въ этомъ городѣ для того, чтобы хорошо пообѣдать. Нельзя обвинять бѣднаго путешественника, если онъ удовлетворяетъ голодъ тѣлесный прежде, чѣмъ духовный. Но я былъ достаточно добросовѣстенъ для того, чтобы прежде, чѣмъ снова сѣсть въ экипажъ, собрать нѣсколько свѣдѣній о Брешіи у саме

riere гостиницы, и тутъ я узналъ, между прочимъ, что городъ имѣетъ 40 тысячъ жителей, ратушу, 21 кофейню, 20 католическихъ церквей, домъ умалишенныхъ, синагогу, звѣринецъ, острогъ, больницу, такой же хорошій театръ и висѣлицу для тѣхъ воровъ, которые крадутъ суммы ниже ста тысячъ талеровъ.

Въ полночь я пріѣхалъ въ Миланъ и остановился у г. Вейхмана, нѣмца, устроившаго свой отель совсѣмъ на нѣмецкій манеръ. Это лучшая гостиница во всей Италіи, сказали мнѣ нѣсколько знакомыхъ, встрѣченныхъ мною здѣсь и очень дурно отзывавшихся объ итальянскихъ гостиницахъ и блохахъ. Тутъ я только и слышалъ, что гнѣвныя исторійки объ итальянскихъ грабительствахъ, и особенно сэръ Вильямъ ругался и увѣрялъ, что если Европа голова всего міра, то Италія воровская шапка на этой головѣ. Этому бѣдному баронету въ гостиницѣ Croce bianco, въ Падуѣ, пришлось заплатить цѣлыхъ двѣнадцать франковъ за тощій завтракъ, а въ Виченцѣ одинъ человѣкъ потребовалъ у него на водку за то, что поднялъ ему перчатку, которую тотъ уронилъ, влѣзая въ экипажъ. Его дядя Томъ говорилъ, что всѣ итальянцы мошенники, за исключеніемъ единственнаго обстоятельства—что они не воруютъ. Будь у него болѣе привлекательная наружность, то онъ бы сдѣлалъ и другое замѣчаніе, именно, что всѣ итальянки—мошенницы. Третій въ этомъ союзѣ былъ мистеръ Ливеръ, котораго я оставилъ въ Брайтонѣ молодымъ теленкомъ, а теперь снова нашелъ въ Миланѣ въ видѣ boeuf à la mode. Онъ былъ одѣтъ совершенно какъ денди, я никогда еще не видѣлъ человѣка, который лучше его умѣлъ бы производить своей фигурой углы. Когда онъ всовывалъ пальцы въ карманы своего жилета, то кистью руки и каждымъ пальцемъ образовывалъ нѣсколько угловъ. Даже ротъ его былъ раскрытъ въ видѣ четырехъугольника. Къ этому присоединилась угловатая голова, сзади узкая, сверху острая, съ короткимъ лбомъ и очень длиннымъ подбородкомъ. Между англійскими знакомыми, которыхъ я снова увидѣлъ въ Миланѣ, находилась также толстая тетка Ливера; подобно жирной лавинѣ спустилась она съ Альпійскихъ горъ въ компаніи двухъ бѣлоснѣжныхъ, снѣжнохолодныхъ, снѣговыхъ гусенятъ миссъ Полли и миссъ Молли.

Не обвиняй меня въ англоманіи, любезный читатель, [illegible] я въ этой книгѣ слишкомъ часто говорю объ англи[illegible]; *они теперь въ* Италіи слишкомъ многочисленны,

чтобы можно было оставлять ихъ безъ вниманія; они проѣзжаютъ черезъ эту страну цѣлыми роями, пристаютъ во всѣхъ гостиницахъ, бѣгаютъ взадъ и впередъ повсюду, чтобы все увидѣть, и нельзя себѣ представить ни одного итальянскаго лимоннаго дерева безъ англичанки, обнюхивающей его, и ни одной галлереи безъ толпы англичанъ, которые со своимъ «путеводителемъ» въ карманѣ ходятъ по этимъ галлереямъ и удостовѣряются, все ли, упомянутое въ книгѣ, какъ замѣчательное, находится еще на своемъ мѣстѣ. Когда видишь, какъ этотъ бѣлокурый, краснощекій народъ, съ его ярко отполированными экипажами, пестрыми лакеями, ржущими скаковыми лошадьми, барышнями подъ зелеными вуалями, съ любопытствомъ тянется чрезъ Альпы по всей Италіи, то кажется, что передъ вами совершается щегольское переселеніе народовъ. И дѣйствительно, сынъ Альбіона, хотя онъ ходитъ въ бѣломъ бѣльѣ и за все платитъ наличныя деньги, все-таки остается цивилизованнымъ варваромъ въ сравненіи съ итальянцемъ, который, напротивъ, представляетъ собою перешедшую въ варварство цивилизацію. Первый обнаруживаетъ въ своихъ нравахъ и обычаяхъ сдержанную грубость, второй—разнузданную тонкость. И сами эти блѣдныя итальянскія лица съ выраженіемъ страданія въ глазахъ, съ болѣзненно нѣжными губами, насколько аристократичны они въ сравненіи съ неподвижными британскими лицами, пышащими своимъ плебейскимъ здоровьемъ! Весь итальянскій народъ внутренно боленъ, а больные люди всегда аристократичнѣе здоровыхъ, потому что только больной человѣкъ есть человѣкъ, его члены имѣютъ исторію страданія, они одухотворены. Я думаю даже, что посредствомъ страданія животныя могли бы дѣлаться людьми. Я видѣлъ однажды умирающую собаку, которая въ своихъ предсмертныхъ мукахъ смотрѣла на меня почти человѣчески.

Страдальческое выраженіе лица явственнѣе всего у итальянцевъ, когда говоришь съ ними о несчастіи ихъ отечества, а къ этому представляется въ Миланѣ немало случаевъ. Это самая больная рана въ груди итальянцевъ, и они вздрагиваютъ, какъ только слегка коснешься ея. Тутъ происходитъ у нихъ движеніе плечъ, наполняющее насъ страннымъ состраданіемъ. Одинъ изъ моихъ бриттовъ считалъ итальянцевъ равнодушными въ политическомъ отношеніи, потому что они, повидимому, равнодушно слушали, когда мы, иностранцы, политизировали о катол

ской эмансипаціи и итальянской войнѣ; и съ нашей стороны было довольно несправедливо говорить объ этомъ насмѣшливо въ присутствіи блѣднаго итальянца съ черной, какъ смоль, бородой. Вечеромъ, наканунѣ этого дня, мы были на представленіи новой оперы въ театрѣ Scala и слушали страшный шумъ и гвалтъ, который обыкновенно имѣетъ мѣсто въ этихъ случаяхъ. «Вы, итальянцы,—сказалъ мой бриттъ блѣдному человѣку:—повидимому, вымерли для всего, кромѣ музыки, и только музыка можетъ васъ одушевить». «Вы несправедливы къ намъ,—сказалъ блѣдный и повелъ плечами:—ахъ,—со вздохомъ прибавилъ онъ:—Италія сидитъ, элегически мечтая на своихъ развалинахъ, и когда по временамъ, заслышавъ мелодію какой-нибудь пѣсни, она вдругъ просыпается и порывисто вскакиваетъ, то это одушевленіе вызывается не самою пѣснью, а скорѣе старыми воспоминаніями и чувствами, которыя тоже пробудила пѣсня, которыя Италія всегда носила въ своемъ сердцѣ и которыя теперь вдругъ энергически зашумѣли—и вотъ что означаетъ тотъ безумный шумъ, который вы слышали въ театрѣ».

Быть-можетъ, это признаніе нѣсколько разъясняетъ и тотъ энтузіазмъ, который вызываютъ по ту сторону Альпъ оперы Россини или Мейербера. Если видѣлъ я когда-нибудь человѣческое неистовство, то это было при представленіи Crociato in Egitto, когда музыка мѣстами переходила изъ мягкаго, тоскливаго тона въ ликующую скорбь. Это бѣшенство называется въ Италіи furore.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

Хотя мнѣ, милый читатель, уже теперь представляется случай угостить тебя моими художественными воззрѣніями при упоминаніи о Брерѣ и Амброзіанѣ, но я пропущу мимо тебя чашу сію и ограничусь только замѣчаніемъ, что тотъ острый подбородокъ, который придаетъ оттѣнокъ сентиментальности картинамъ ломбардской школы, я видѣлъ и на улицахъ Милана у нѣсколькихъ ломбардскихъ красавицъ. Для меня было всегда чрезвычайно поучительно, когда я могъ сравнивать съ произведеніями той или другой школы и оригиналы ихъ, служившіе имъ моделями; характеръ школы при этомъ лучше уяснялся для меня. Такъ, напримѣръ, на ярмаркѣ въ Ротердамѣ, Янъ Стинъ въ его [illegible]ственнѣйшей веселости сдѣлался для меня вдругъ со[illegible]но понятнымъ; такъ и впослѣдствіи на Лонгъ-Арко

я уяснилъ себѣ правдивость формъ и энергичность духа флорентинцевъ, на площади св. Марка—правдивость красокъ и мечтательную поверхность венеціанцевъ. Поѣзжай въ Римъ, милая душа моя, и, быть-можетъ, ты тамъ подымешься до созерцанія идеальности и до пониманія Рафаэля.

Не могу, однако, оставить неупомянутой одну достопримѣчательность Милана, которая во всѣхъ отношеніяхъ есть величайшая достопримѣчательность—именно, соборъ.

Издали кажется, какъ будто онъ вырѣзанъ изъ бѣлой почтовой бумаги, а вблизи пугаешься, видя, что это рѣзное издѣліе сдѣлано изъ несомнѣннаго мрамора. Безчисленныя статуи святыхъ, покрывающія все зданіе, выглядывающія отовсюду изъ-подъ готическихъ крышекъ и стоящія вверху на всѣхъ остріяхъ, этотъ каменный народъ можетъ почти свести съ ума. Когда же смотришь на все зданіе нѣсколько дольше, то находишь его весьма красивымъ, колоссально милымъ, игрушкой для дѣтей исполиновъ. При полночномъ лунномъ свѣтѣ онъ представляетъ самое лучшее зрѣлище: тогда всѣ бѣлые каменные люди сходятъ со своей высоты и прохаживаются съ вами по площади, и нашептываютъ вамъ на ухо старыя исторіи, совсѣмъ секретныя исторіи Галеаццо Висконти, начавшемъ постройку собора, и Наполеонѣ Бонапартѣ, впослѣдствіи продолжавшемъ ее.

— Знаешь,—сказалъ мнѣ одинъ очень странный святой, который былъ сдѣланъ уже въ новѣйшее время и изъ новѣйшаго мрамора: — знаешь, мои старшіе товарищи не могутъ понять, изъ-за чего императоръ Наполеонъ такъ ревностно заботился о продолженіи постройки. Но я это знаю очень хорошо: онъ понималъ, что этотъ огромный каменный домъ будетъ очень полезнымъ зданіемъ во всякомъ случаѣ и не перестанетъ годиться и тогда, когда католичества уже не будетъ на свѣтѣ.

Когда католичества уже не будетъ... Я почти испугался, услышавъ, что есть въ Италіи святые, которые говорятъ такія рѣчи, и притомъ же на площади, гдѣ стоятъ и ходятъ австрійскіе часовые въ медвѣжьихъ шапкахъ и съ ружьями. А между тѣмъ, мой каменный чудакъ отчасти правъ. Внутренность собора усладительно прохладна лѣтомъ, и сидѣть тутъ очень пріятно, и онъ не утратилъ бы этого достоинства и при измѣнившемся образѣ мыслей.

Окончаніе собора было одной изъ любимыхъ мыслей Наполеона, онъ уже былъ недалекъ отъ своей цѣли, когда его владычество сокрушилось. Австрійцы заканчиваютъ теперь

это дѣло. Продолжается также постройка знаменитой тріумфальной арки, которая должна заключить собою симплонскую дорогу. Конечно, статуя Наполеона не будетъ, какъ это было назначено прежде, стоять на вершинѣ этой арки. Но тѣмъ не менѣе, великій императоръ оставилъ статую, которая гораздо лучше и прочнѣе мрамора, которую не можетъ укрыть отъ нашихъ взоровъ ни одинъ австріецъ. Когда мы всѣ давно уже будемъ скошены косою времени и развѣяны по воздуху, какъ полевая трава, этотъ памятникъ будетъ все еще стоять неприкосновенно, новое поколѣніе выростетъ изъ земли, будетъ съ сокрушеніемъ смотрѣть на этотъ образъ и снова уходить въ землю, и время, неспособное разрушить такой образъ, будетъ стараться окутывать его легендарнымъ туманомъ, и колоссальная исторія его сдѣлается, наконецъ, миѳомъ. Быть-можетъ, черезъ нѣсколько тысячелѣтій какой-нибудь хитроумный ученый неопровержимо докажетъ въ своей глубокомысленной диссертаціи, что Наполеонъ Бонапарте совершенно тождественъ съ тѣмъ, другимъ титаномъ, который похитилъ у боговъ огонь и за это преступленіе былъ прикованъ на одинокомъ утесѣ, стоящемъ посреди моря, и отданъ на произволъ коршуна, который ежедневно клевалъ его сердце.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ.

Прошу тебя, любезный читатель, не считать меня безусловнымъ бонапартистомъ; я поклоняюсь не дѣйствіямъ, а только генію человѣка, какъ бы ни назывался этотъ человѣкъ: Александръ, Цезарь или Наполеонъ. Безусловно люблю я Наполеона только до 18 брюмера — тутъ измѣнилъ онъ свободѣ, и это сдѣлалъ онъ не изъ необходимости, но изъ тайной любви къ аристократизму. Наполеонъ Бонапарте былъ аристократъ, аристократическій врагъ гражданскаго равенства, и колоссальнымъ недоразумѣніемъ было то, что европейская аристократія, въ лицѣ Англіи, воевала противъ него съ такой смертельной враждой; ибо, хотя онъ и намѣревался провести нѣкоторое измѣненіе въ личномъ составѣ этой аристократіи, но все-таки сохранилъ бы неприкосно-
ной большую часть ея и ея основной принципъ, онъ бы
дилъ эту аристократію, тогда какъ теперь она лежитъ
ихѣ, благодаря старческой слабости, потери крови и
сти отъ своей послѣдней, конечно, самой послѣдней

ный читатель, мы согласимся здѣсь съ тобою разъ

навсегда—я восхваляю не подвигъ, но только человѣческій духъ, подвигъ есть только одежда духа, и исторія есть ничто иное, какъ старый гардеробъ человѣческаго духа. Но любовь любитъ иногда и старыя платья, и точно такъ же люблю я плащъ Маренго.

«Мы теперь на полѣ сраженія Маренго». Какъ возликовало мое сердце, когда почтальонъ произнесъ эти слова! Въ компаніи одного очень вѣжливаго лифляндца, который скорѣе разыгрывалъ русскаго, я вечеромъ выѣхалъ изъ Милана и на слѣдующее утро присутствовалъ при восхожденіи солнца надъ знаменитымъ полемъ битвы.

Здѣсь генералъ Бонапарте такъ сильно хлебнулъ изъ чаши славы, что въ опьяненіи сдѣлался консуломъ, императоромъ, завоевателемъ міра, и могъ отрезвиться только на островѣ св. Елены. Съ нами случилось то же самое; мы тоже опьянѣли, мы тоже пережили все это во снѣ, мы тоже проснулись и, отрезвясь, пускаемся во всевозможныя разумныя размышленія. И тутъ намъ по временамъ кажется, что военная слава — устарѣвшее удовольствіе, что войны получили болѣе благородное значеніе, и что Наполеонъ, быть-можетъ, былъ послѣдній завоеватель.

И дѣйствительно, представляется такъ, какъ будто теперь борятся болѣе за духовные интересы, чѣмъ за матеріальные, и какъ будто всемірная исторія,—исторія уже не разбойниковъ, а умовъ. Главный рычагъ, который до сихъ поръ такъ производительно умѣли приводить въ движеніе честолюбивые и корыстолюбивые государи для своихъ частныхъ цѣлей, именно національность съ ея тщеславіемъ, ея ненавистью, теперь износился и сгнилъ. Съ каждымъ днемъ исчезаютъ все болѣе и болѣе глупые національные предразсудки, всѣ рѣзкія отличія погибаютъ въ общности европейской цивилизаціи. Въ Европѣ нѣтъ ужъ никакихъ націй, а существуютъ только партіи, и съ удивленіемъ видишь, какъ эти партіи, несмотря на самыя разнообразныя краски свои, отлично узнаютъ другъ друга и, при многихъ отличіяхъ въ языкѣ, очень хорошо понимаютъ одна другую. Какъ есть матеріальная государственная политика, такъ есть теперь и духовная политика партій, и какъ государственная политика изъ малѣйшей войны, которая вспыхнула бы между двумя ничтожнѣйшими державами, сдѣлала бы сейчасъ же обще-европейскую войну, въ которую должны были бы вмѣшаться всѣ государства болѣе или менѣе усердно, во всякомъ случаѣ, съ интересомъ, точно такъ же теперь не можетъ про

изойти въ мірѣ ни малѣйшей борьбы безъ того, чтобы эта политика партій тотчасъ же не усмотрѣла въ ней общедуховнаго значенія и чтобы самыя отдаленныя и разнородныя партіи не были принуждены принять въ ней участіе за или противъ.

Вслѣдствіе существованія этой политики партій, которую я называю политикой духовной, потому что ея интересы духовнаго свойства и ея *ultimae rationes* сдѣланы не изъ металла, вслѣдствіе этого образуются теперь точно такъ же, какъ чрезъ посредство государственной политики, двѣ большія массы, которыя враждуютъ одна съ другою и сражаются между собою рѣчами и взглядами. Лозунги и представители этихъ двухъ большихъ партійныхъ массъ мѣняются ежедневно; нѣтъ недостатка въ запутанности, часто возникаютъ величайшія недоразумѣнія. Эти недоразумѣнія, благодаря дипломатамъ этой духовной политики, т. е. писателямъ, скорѣе усиливаются, чѣмъ уменьшаются. Но если головы заблуждаются, то сердца тѣмъ не менѣе чувствуютъ, чего они хотятъ, и время настоятельно пробивается впередъ со своей великой задачей. Но въ чемъ заключается великая задача нашего времени?

Это эмансипація. Эмансипація не только ирландцевъ, грековъ, франкфуртскихъ евреевъ, вестъ-индскихъ негровъ и т. п. угнетеннаго народа, но эмансипація всего міра, особенно Европы, которая сдѣлалась совершеннолѣтней и теперь освобождается отъ желѣзныхъ узъ привилегированнаго сословія, аристократіи. Пусть себѣ нѣкоторые философы-ренегаты свободы продолжаютъ ковать тончайшія цѣпи доводовъ, чтобы доказать намъ, что милліоны людей созданы, какъ вьючныя животныя нѣсколькихъ тысячъ привилегированныхъ рыцарей, они все-таки не убѣдятъ насъ въ этомъ до тѣхъ поръ, пока, какъ говоритъ Вольтеръ, не докажутъ намъ, что первые родились на свѣтъ съ сѣдлами на спинахъ, а вторые со шпорами на ногахъ.

Каждое время имѣетъ свою задачу, и путемъ разрѣшенія ея двигается человѣчество все впередъ и впередъ. Прежнее неравенство, основанное въ Европѣ феодальной системой, было, можетъ-быть, необходимо, или составляло необходимое условіе для прогресса цивилизаціи. Но теперь оно останавливаетъ этотъ прогрессъ, теперь оно возмущаетъ образованныя сердца. Французовъ, народъ общественный, это не-
ство, наиболѣе несогласное съ принципами общества,
нно раздражаетъ сильнѣе, чѣмъ кого бы то ни было,

и они постарались насильно добыть себѣ равенство, принявшись рубить головы тѣхъ, которые во что бы то ни стало хотѣли подыматься выше другихъ, и такимъ образомъ революція сдѣлалась сигналомъ для освободительной войны человѣчества.

Восхвалимъ французовъ! Они позаботились о двухъ величайшихъ потребностяхъ человѣческаго общества: о хорошей пищѣ и гражданскомъ равенствѣ. Въ поваренномъ искусствѣ и свободѣ сдѣлали они самые крупные шаги впередъ, и если когда-нибудь всѣ мы, какъ равноправные гости, соберемся на великій пиръ примиренія и будемъ въ хорошемъ расположеніи духа,—ибо что̀ можетъ быть лучше компаніи равныхъ за аппетитнымъ столомъ? — тогда первый тостъ мы провозгласимъ за французовъ. Конечно, пройдетъ еще достаточно времени, пока можно будетъ справить этотъ пиръ, пока эмансипація вступитъ въ свои права; но вѣдь придетъ же, наконецъ, эта пора, соберемся мы, примиренные и равноправные, за однимъ и тѣмъ же столомъ; и тогда мы будемъ соединены и станемъ въ союзѣ сражаться противъ другихъ мірскихъ золъ, быть-можетъ, въ концѣ концовъ, даже противъ смерти, которая своею строгою системою равенства, по крайней мѣрѣ, оскорбляетъ насъ не такъ, какъ аристократизмъ своимъ смѣющимся ученіемъ неравенства.

Не улыбайся, позднѣйшій читатель. Всякое время вѣритъ, что его борьба самая важная изъ всѣхъ остальныхъ. Въ этомъ, собственно, и состоитъ вѣра времени, въ этой вѣрѣ оно живетъ и умираетъ, и будемъ мы также жить и умирать въ этой религіи свободы... Наша священная борьба представляется намъ самой важной изъ всѣхъ, какія когда-нибудь велись на этой землѣ, хотя историческое предчувствіе говоритъ намъ, что нѣкогда наши внуки будутъ, быть-можетъ, смотрѣть на эту борьбу съ такимъ же равнодушіемъ, съ какимъ мы глядимъ теперь на борьбу первыхъ людей, которымъ приходилось сражаться съ такими же жадными чудовищами, драконами и хищниками-великанами.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ.

На полѣ сраженія Маренго размышленія налетаютъ на человѣка такими толпами, что можно подумать—это тѣ самыя мысли, которыя внезапно появились здѣсь у многихъ и бродятъ теперь, какъ потерявшія своихъ хозяевъ собаки. Я люблю поля сраженія, потому что, какъ ни страшна война, она все-таки свидѣтельствуетъ о духовномъ величіи чело-

вѣка, имѣвшаго силу возстать противъ своего могущественнѣйшаго врага — смерти. А тутъ еще это поле сраженія, гдѣ свобода танцовала роскошную свободную пляску на кровавыхъ розахъ! Франція была въ то время женихомъ, она пригласила на свадьбу весь міръ, и какъ поется въ пѣснѣ:

Лихо справили мы сговоръ!
Колотили не горшки,
А дворянскія башки!

Но, увы, каждый шагъ, дѣлаемый впередъ человѣчествомъ, стоитъ цѣлыхъ потоковъ крови. Не слишкомъ ли ужъ это дорого? Развѣ жизнь отдѣльнаго человѣка не стоитъ столько же, сколько жизнь цѣлаго поколѣнія? Ибо каждый отдѣльный человѣкъ есть уже цѣлый міръ, который съ нимъ родился и съ нимъ умираетъ, надъ каждымъ гробовымъ камнемъ лежитъ всемірная исторія... Но будемъ молчать; такъ говорили бы мертвые, павшіе на этомъ полѣ, а мы живемъ, и станемъ и впередъ сражаться въ священной войнѣ за освобожденіе человѣчества.

— Кто думаетъ теперь о Маренго!—сказалъ мой спутникъ, лифляндецъ изъ Россіи, въ то время, когда мы проѣзжали по полю.—Теперь всѣ глаза устремлены на Балканскій полуостровъ, гдѣ мой землякъ Дибичъ приводитъ въ порядокъ чалмы на головахъ турокъ, и въ нынѣшнемъ еще году мы возьмемъ Константинополь. Вы вѣдь расположены къ русскимъ?

Это былъ вопросъ, на который я отвѣтилъ бы всюду охотнѣе, чѣмъ на полѣ сраженія Маренго... Я увидѣлъ въ утреннемъ туманѣ человѣка въ треугольной шляпѣ и сѣромъ боевомъ плащѣ. Онъ мчался быстро, какъ мысль, вдалекѣ слышались какъ бы призрачные звуки: Allons, enfants de la patrie! и, тѣмъ не менѣе, я отвѣчалъ: «да, я расположенъ къ русскимъ».

И дѣйствительно, при постоянной странной смѣнѣ лозунговъ и представителей въ великой борьбѣ, обстоятельства сложились такъ, что самый пламенный другъ революціи видитъ спасеніе міра только въ побѣдѣ Россіи... Странная перемѣна! Еще два года назадъ мы признали знамено- [illegible]емъ свободы англійскаго министра, и вой ненависти [illegible]окородныхъ торіевъ противъ Георга Канинга руко- [illegible]ь въ то время нашимъ выборомъ; въ аристократи- [illegible] неблагородныхъ оскорбленіяхъ, которымъ онъ под- [illegible] мы видѣли гарантію его вѣрности; и когда онъ [illegible]ической смертью, тогда мы облеклись въ трауръ,

и восьмое августа было отмѣчено, какъ святой день въ календарѣ свободы. Но затѣмъ мы снова унесли знамя изъ Англіи и поставили его въ Петербургѣ, и избрали его носителемъ императора Николая, рыцаря Европы, который защищалъ греческихъ вдовъ и сиротъ отъ азіатскихъ варваровъ и заслужилъ свои шпоры въ такой благородной борьбѣ. Снова враги свободы слишкомъ явно выдали себя, мы опять воспользовались рѣзкостью ихъ ненависти, чтобъ увидѣть, въ чемъ наша польза и наше благо. Снова повторилось обыкновенное явленіе, что нашими представителями мы обязаны скорѣе большинству голосовъ нашихъ враговъ, чѣмъ собственному выбору, и разсматривая курьезно составленную общину, которая молилась небу о спасеніи Турціи и гибели Россіи, мы скоро замѣтили, кто собственно нашъ другъ, или, вѣрнѣе говоря, кто составляетъ ужасъ нашихъ враговъ. Какъ, я думаю, смѣялись на небѣ, слыша доносившіяся туда въ одно и то же время изъ устъ Веллингтона, великаго муфтія, папы, Ротшильда перваго, Меттерниха и цѣлой стаи рыцарчиковъ, дворянчиковъ, священниковъ и турокъ, молитвы за одно и то же—за спасеніе полумѣсяца!

Все, что болтали до сихъ поръ алармисты объ опасности, которой мы подвергаемся вслѣдствіе усиленія могущества Россіи, неосновательно и глупо. По крайней мѣрѣ мы, нѣмцы, здѣсь ничѣмъ не рискуемъ, развѣ что нѣкоторымъ увеличеніемъ или уменьшеніемъ порціи нашего рабства; но объ этомъ не стоитъ думать тутъ, гдѣ дѣло идетъ о пріобрѣтеніи величайшаго блага—объ освобожденіи отъ остатковъ феодализма и клерикализма. Намъ угрожаютъ господствомъ желѣзной русской руки, но я охотно почувствую ее на себѣ, если буду увѣренъ, что она схватила и нашихъ враговъ. Пари держу, однако, что они, какъ это было всегда, будутъ вилять хвостами передъ новой силой, граціозно улыбаться, и предлагать свою готовность къ самымъ постыднымъ услугамъ, и за это выпрашивать себѣ—такъ какъ ужъ безъ битья нельзя будетъ обойтись—привилегію битья почетнаго, точно такъ, какъ это бываетъ въ Сіамѣ, гдѣ знатнаго человѣка, присужденнаго къ наказанію, кладутъ въ шелковый мѣшокъ и бьютъ раздушенными палками, тогда какъ обыкновенныхъ смертныхъ наказываютъ въ полотняномъ мѣшкѣ и палками отнюдь не *хорошо* пахнущими. Ну, что же, эту привилегію, такъ *она единственная*, мы имъ, особенно англійской аристо

тіи, уступимъ охотно, лишь бы только ихъ поколотили. Правда, всякій изъ насъ не можетъ забыть, что именно эта аристократія вынудила у деспотизма Великую Хартію и что именно Англія, оставляя неприкосновеннымъ гражданское сословное неравенство, обезпечила, однако, свободу личную; что Англія была убѣжищемъ свободныхъ умовъ въ то время, когда деспотизмъ угнеталъ весь материкъ; но все это tempi possati! Англія со своими аристократами теперь все-таки погибаетъ, свободные умы въ случаѣ нужды находятъ себѣ теперь болѣе надежный пріютъ, и если бы вся Европа превратилась въ одну большую тюрьму, то все-таки осталось бы отверстіе, чтобы уйти оттуда. Это отверстіе—Америка и, слава Богу, оно еще больше, чѣмъ сама тюрьма.

Но все это смѣшныя опасенія. Если въ отношеніи свободы сравнить Англію съ Россіей, то даже у самаго боязливаго человѣка не останется колебанія, къ какой партіи ему примкнуть. Свобода въ Англіи вышла изъ историческихъ событій, въ Россіи изъ принциповъ. Какъ на этихъ событіяхъ, такъ и на ея духовныхъ результатахъ лежитъ печать среднихъ вѣковъ. Вся Англія окаменѣла въ средневѣковыхъ учрежденіяхъ, которымъ нѣтъ обновленія и за которыми аристократія укрылась и ожидаетъ войны на смерть. Но тѣ принципы, изъ которыхъ возникла свобода русская, или, вѣрнѣе говоря, изъ которыхъ она ежедневно развивается все больше и больше—это либеральныя идеи нашего новѣйшаго времени. Русское правительство проникнуто этими идеями, его неограниченный абсолютизмъ есть скорѣе диктатура для непосредственнаго проведенія въ жизнь этихъ идей. Это правительство не имѣетъ своихъ корней въ феодализмѣ и клерикализмѣ; напротивъ, Россія демократическое государство, я назвалъ бы его даже государствомъ христіанскимъ, если бы хотѣлъ примѣнить это, часто злоупотребляемое слово въ его отраднѣйшемъ, самомъ космополитическомъ смыслѣ, потому что русскіе, уже благодаря объему ихъ государства, свободны отъ узкосердечія языческаго національнаго чувства. Они космополиты, или, по крайней мѣрѣ, космополиты на шестую долю, такъ какъ [illegible]я составляетъ почти шестую часть обитаемаго міра.

[illegible] право, когда при мнѣ какой-нибудь русскій нѣмецъ, [illegible]ѣ моего спутника лифляндца, расплывается въ хвастли[illegible]атріотической болтовнѣ и говоритъ о «нашей» Россіи [illegible]мъ» *Дибичѣ, то мнѣ* кажется, что я слышу селедку,

которая выдаетъ океанъ за свое отечество, а кита за своего земляка.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

«Я расположенъ къ русскимъ», сказалъ я на полѣ сраженія Маренго и на нѣсколько минутъ вышелъ изъ экипажа, чтобы предаться утреннимъ набожнымъ размышленіямъ.

Точно подъ тріумфальной аркой изъ колоссальныхъ облачныхъ массъ подымалось солнце побѣдоносное, ясное, спокойное, обѣщая прекрасный день. Но у меня на душѣ было, какъ у бѣднаго мѣсяца, который еще стоялъ на небѣ, постепенно блѣднѣя. Онъ прошелъ свой одинокій путь, прошелъ его въ скучное, ночное время, когда счастіе спало, и жили только призраки, совы и грѣхи; а теперь, когда рождался молодой день съ его ликующими лучами и благоухающей утренней зарей, теперь приходилось ему исчезнуть, и онъ бросилъ послѣдній печальный взоръ на великое всемірное свѣтило и исчезъ, какъ ароматическій туманъ. Чудесный сегодня будетъ день!—крикнулъ мой спутникъ изъ экипажа.—Да, будетъ прекрасный день,—тихо повторило мое молящееся сердце и задрожало отъ тоски и радости. О, да, будетъ прекрасный день; одно солнце свободы согрѣетъ землю блаженнѣе, чѣмъ аристократія всѣхъ звѣздъ вмѣстѣ; расцвѣтетъ новое поколѣніе, которое зачнется въ свободномъ добровольномъ объятіи, а не на ложѣ принужденія и подъ контролемъ умственныхъ надсмотрщиковъ. Вмѣстѣ съ свободнымъ рожденіемъ въ людяхъ явятся на свѣтъ свободныя мысли и чувства, о которыхъ мы, рожденные рабами, не имѣемъ и понятія... О! у нихъ тоже не будетъ и понятія о томъ, какъ страшна была ночь, въ темнотѣ которой намъ приходилось жить, и какъ ужасно было намъ бороться съ отвратительными призраками, тупыми совами и лицемѣрными грѣшниками! Намъ, бѣднымъ бойцамъ, приходилось тратить всю жизнь на подобную борьбу, и теперь, когда разгорается день побѣды, мы такіе блѣдные! Пламя солнечнаго восхода уже не зарумянитъ нашихъ щекъ и не будетъ въ состояніи согрѣть наши сердца. Мы умре. какъ уходящій мѣсяцъ; слишкомъ коротокъ жизненный п человѣка, въ концѣ котораго стоитъ неумолимая могила.

Не знаю, право, заслужилъ ли я, чтобы мой гробъ у сили когда-нибудь лавровымъ вѣнкомъ. Поэзія, какъ я *любилъ* ее, была все-таки для меня только свящ

игрушкой или освященнымъ средствомъ для небесныхъ цѣлей. Я никогда не придавалъ большой цѣны славѣ поэта, и хвалятъ ли или порицаютъ мои пѣсни—до этого мнѣ мало дѣла. Но на мой гробъ вы должны будете положить мечъ, потому что я всегда былъ храбрымъ солдатомъ въ войнѣ за освобожденіе человѣчества.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Во время полуденнаго зноя мы укрылись во францисканскомъ монастырѣ, помѣщавшемся на значительномъ возвышеніи и со своими мрачными кипарисами и бѣлыми монахами смотрѣвшимъ въ весело-зеленыя долины Апенинъ, какъ охотничій замокъ вѣры. Это было прекрасное зданіе, да и вообще мнѣ пришлось увидѣть еще нѣсколько замѣчательныхъ монастырей и церквей, кромѣ картезіанскихъ домовъ въ Монцѣ, которые я видѣлъ только снаружи. Часто не зналъ я, чему болѣе удивляться, красотѣ ли мѣстности, или величію старыхъ церквей, или такому же великому, твердому, какъ камень, настроенію ихъ создателей, которые конечно, могли предвидѣть, что только ихъ позднѣйшіе потомки будутъ въ состояніи окончить такія зданія и которые, несмотря на это, спокойно закладывали фундаментъ и ставили камень на камень, пока смерть не отрывала ихъ отъ работы, и мѣсто ихъ заступали новые строители, тоже въ свое время отправлявшіеся на вѣчный покой—всѣ съ твердой вѣрой въ вѣчность католической религіи и съ твердымъ упованіемъ на такой же образъ мыслей послѣдующихъ поколѣній, которыя будутъ продолжать строить то, чего не докончили предки.

Это была вѣра времени, и старые строители жили и умерли въ этой вѣрѣ. И вотъ теперь лежатъ они предъ дверьми старыхъ церквей, и надо желать, чтобы сонъ ихъ былъ непробудный, и чтобъ смѣхъ новаго времени не потревожилъ ихъ. Желательно это особенно для тѣхъ, что лежатъ предъ однимъ изъ тѣхъ старыхъ соборовъ, которые такъ и остались недоконченными; для нихъ было бы очень дурно, если бы они ночью вдругъ проснулись и при [illegible]мъ свѣтѣ мѣсяца увидѣли свою неоконченную работу, [illegible]ро бы замѣтили, что время дальнѣйшей постройки [illegible]илось, что вся ихъ жизнь была безполезна и глупа. [illegible] говоритъ теперешнее время, имѣющее новую задачу, [illegible]у.

[illegible]*лъ нѣкогда въ Кельнѣ*, какъ одинъ маленькій

мальчикъ спрашивалъ свою мать, почему не доканчиваютъ наполовину отстроенныхъ соборовъ. Это былъ красавецъ мальчикъ, я поцѣловалъ его въ умные глаза, и такъ какъ мать не знала, что̀ отвѣтить ему, то я объяснилъ: теперь у людей есть другія дѣла.

Недалеко отъ Генуи, на вершинѣ Апенинъ, видно море, между зелеными горными вершинами проглядываютъ голубыя воды, и усматриваемые тутъ и тамъ корабли точно хотятъ перенестись на всѣхъ парусахъ черезъ горы. Но когда это зрѣлище является передъ вами при наступленіи сумерекъ, въ тѣ часы, когда послѣдніе солнечные лучи начинаютъ свою причудливую игру съ первыми вечерними тѣнями, и всѣ краски и формы тумана сливаются между собою, тогда вы чувствуете себя совершенно въ сказочномъ мірѣ. Экипажъ со стукомъ катится съ горы, дремлющіе въ душѣ прелестнѣйшіе образы ея пробуждаются и снова привѣтливо киваютъ вамъ, и вамъ снится, наконецъ, что вы въ Генуѣ.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Этотъ городъ старый безъ старины, тѣсный безъ милой уютности и отвратителенъ выше всякой мѣры. Онъ построенъ на утесѣ у подошвы амфитеатральныхъ горъ, которыя какъ бы обнимаютъ прекраснѣйшій морской заливъ. Генуэзцы вслѣдствіе этого получили отъ природы лучшую и безопаснѣйшую гавань. Такъ какъ городъ, какъ выше сказано, стоитъ на единственномъ утесѣ, то, ради сбереженія мѣста, дома пришлось строить очень высокими, а улицы прокладывать очень узкими, вслѣдствіе чего онѣ почти всѣ темны, и только по двумъ изъ нихъ можетъ проѣзжать экипажъ. Но дома служатъ здѣсь жителямъ, большею частію купцамъ, только складомъ товаровъ, а въ ночное время — ночлегомъ, цѣлый же день они торгашествуютъ по городу или сидятъ предъ своими дверьми или, вѣрнѣе, въ дверяхъ, потому что иначе имъ приходилось бы прикасаться колѣнями къ сидящимъ напротивъ.

Со стороны моря, особенно къ вечеру, городъ болѣе красивъ. Въ эти часы онъ лежитъ на берегу моря, какъ блѣднѣвшій скелетъ выброшеннаго гигантскаго живо: темные муравьи, называющіе себя генуэзцами, ползаю кругъ него, синія морскія волны плещутъ на него, какъ бы колыбельную пѣсню, а мѣсяцъ, блѣдный ночи, печально смотритъ сверху.

Въ саду дворца Дорія старый морской герой стоитъ въ видѣ Нептуна въ большомъ водяномъ бассейнѣ. Но статуя обветшала и обезображена, вода высохла, и чайки гнѣздятся въ черныхъ кипарисахъ. Подобно мальчику, у котораго всегда въ головѣ видѣнныя имъ комедіи, я при имени Дорія тотчасъ же вспомнилъ о Фридрихѣ Шиллерѣ, благороднѣйшемъ, если не величайшемъ нѣмецкомъ поэтѣ.

Несмотря на упадокъ большинства дворцовъ прежнихъ властителей Генуи, нобилей, они, однако, очень красивы и полны роскоши. Помѣщаются они большею частію на двухъ большихъ улицахъ, называемыхъ Strada nuova и Бальби. Дворецъ Дураццо самый замѣчательный. Тутъ есть хорошія картины, и между ними Веронезовъ «Христосъ», у котораго Магдалина вытираетъ вымытыя ноги. Она такъ красива, что почти боится, чтобы ее не соблазнили еще разъ. Я долго стоялъ передъ ней, но, ахъ, она не подняла на меня глазъ!.. Тутъ нашелъ я тоже нѣсколькихъ голландцевъ и превосходныя картины Рубенса. Эти послѣднія вполнѣ проникнуты колоссальной веселостью этого нидерландскаго титана, духовныя крылья котораго были такъ могучи, что онъ взлеталъ на небо, несмотря на то, что къ его ногамъ было привѣшано сто центнеровъ голландскаго сыру. Я не могу пройти мимо малѣйшей картинки этого великаго живописца, чтобы не принести ей дань моего изумленія и восторга, тѣмъ болѣе, что теперь становится въ модѣ смотрѣть на него, пожимая плечами, вслѣдствіе отсутствія въ немъ идеальности. Историческая школа въ Мюнхенѣ особенно выдается этой точкой зрѣнія. Посмотрите только, съ какимъ надменнымъ пренебреженіемъ проходитъ длинноволосый корнеліянецъ по залѣ Рубенса. Но, можетъ-быть, заблужденіе молодыхъ можно понять, если принять въ соображеніе громадную противоположность между Петромъ Корнеліемъ и Петромъ-Павломъ Рубенсомъ. Болѣе рѣзкую противоположность нельзя даже выдумать, и, тѣмъ не менѣе, мнѣ иногда кажется, что между ними обоими существуетъ почти сходство, которое я могу больше чувствовать, чѣмъ видѣть. Быть-можетъ, въ нихъ скрыты тѣ соотечественныя особен-
которыя находятъ тихій родной отголосокъ въ третьемъ
отечественникѣ—во мнѣ. Это тайное родство отнюдь
оитъ, однако, въ нидерландской веселой безмятеж-
привязанности къ яркимъ краскамъ, смѣющихся во
отинахъ Рубенса, такъ что кажется, будто онъ ри-
ъ въ веселомъ опьяненіи рейнскимъ виномъ, ме-

жду тѣмъ какъ вокругъ него раздавалась плясовая ярма
рочная музыка. Дѣйствительно, картины Корнеліуса пред
ставляются написанными скорѣе на страстной недѣлѣ в
то время, когда печальное пѣніе процессій раздавалось п
улицамъ и находило отголосокъ въ мастерской и сердц
живописца. Сходство между ними заключается больше в
производительности, въ смѣлости творчества, въ геніально
первобытности; оба—рожденные живописцы и принадлежат
къ циклу тѣхъ великихъ мастеровъ, большинство которых
процвѣтало въ пору Рафаэля, т. е. во время, которое ещ
могло оказывать свое непосредственное вліяніе на Рубенса
но отъ нашего времени отличается такъ сильно, что фигур
Петра Корнеліуса почти пугаетъ насъ, что онъ иногда пред
ставляется намъ какъ бы духомъ одного изъ великихъ жи
вописцевъ рафаэлевскаго періода, вышедшимъ изъ могилы
чтобы нарисовать еще нѣсколько картинъ, мертвымъ твор
цомъ, который самъ себя вызвалъ изъ могилы силою похо
роненнаго вмѣстѣ съ нимъ и продолжающаго жить въ нем
слова жизни. Когда мы смотримъ на его картины, то он
глядятъ на насъ глазами XV столѣтія; призрачны их
одежды, точно шелестятъ онѣ предъ нами въ полночны
часъ, волшебной силой проникнуты тѣла, написанныя с
правильностью сна, глубоко истинныя, только крови нѣт
въ нихъ, нѣтъ пульсирующей жизни, краски. Да, Корне-
ліусъ творецъ, но когда мы глядимъ на его созданія, т
намъ кажется, что они не могутъ долго жить, что всѣ он
нарисованы за часъ до ихъ смерти, что во всѣхъ живет
грустное предчувствіе умиранія. Образы Рубенса, несмотря
на ихъ безмятежную веселость, вызываютъ въ нашей душ
такое же чувство. Они тоже, повидимому, носятъ въ себ
задатки смерти, и намъ чудится, что вотъ-вотъ вдругъ по-
разитъ ихъ ударъ именно вслѣдствіе избытка ихъ жизни,
вслѣдствіе ихъ румянаго полнокровія. Въ этомъ-то, можетъ-
быть, состоитъ то тайное сродство, которое мы такъ странно
чувствуемъ при сравненіи обоихъ мастеровъ. Чрезвычайная
веселость въ нѣкоторыхъ картинахъ Рубенса и глубочай-
шая скорбь въ произведеніяхъ Корнеліуса вызываетъ въ
насъ, можетъ-быть, одно и то же чувство. Но откуда
скорбь у нидерландца? Тутъ, можетъ-быть, дѣйств
именно печальное сознаніе, что онъ принадлежитъ къ д
исчезнувшему времени и что его жизнь — мистическая
смертная миссія, потому что, увы, онъ не только единс
ный великій живописецъ, остающійся теперь въ жи

но, можетъ-быть, и послѣдній, которому придется рисовать на этой землѣ; предъ нимъ, до времени Караччи, продолжительная темнота, а сзади его снова сгущаются тѣни, его рука—свѣтлая одинокая рука духа въ ночи искусства, и картины, которыя она рисуетъ, носятъ на себѣ печальную печать такой суровой, рѣзкой отчужденности. Я никогда не могъ смотрѣть на эту послѣднюю рисующую руку безъ тайнаго содроганія, когда видѣлъ самого живописца, маленькаго, быстраго человѣка съ горящими глазами; и въ то же время, однако, эта рука возбуждала во мнѣ чувство самаго задушевнаго благочестія, такъ какъ я вспоминалъ, что она нѣкогда нѣжно ложилась на мои маленькіе пальцы и помогала мнѣ проводить контуры лица въ ту пору, когда я ребенкомъ учился рисовать въ дюссельдорфской академіи.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Собраніе портретовъ генуэзскихъ красавицъ, показываемое во дворцѣ Дураццо, я никакъ не могу оставить безъ упоминанія. Ничто на свѣтѣ не можетъ настраивать нашу душу печальнѣе, чѣмъ видъ такихъ портретовъ красавицъ, умершихъ уже нѣсколько столѣтій назадъ. Меланхолически проползаютъ въ насъ мысли, что отъ оригиналовъ этихъ портретовъ, отъ всѣхъ этихъ красавицъ, которыя были такъ милы, такъ кокетливы, такъ остроумны, такъ плутоваты и такъ мечтательны, отъ всѣхъ этихъ майскихъ головокъ, съ апрѣльскими причудами, отъ всей этой женской весны не осталось ничего, кромѣ этихъ пестрыхъ тѣней, которыя живописецъ, тоже давно сгнившій, какъ и онѣ, нарисовалъ на гниломъ кусочкѣ полотна, который тоже со временемъ распадается въ прахъ и разсѣется. Такъ проходитъ безслѣдно всякая жизнь, прекрасная точно такъ же, какъ и безобразная; смерть, сухой педантъ, такъ же мало щадитъ розу, какъ и чертополохъ; онъ не забываетъ и одинокую былинку въ отдаленнѣйшей пустынѣ, онъ разрушаетъ основательно и безпрерывно, и повсюду видимъ мы, какъ онъ растаптываетъ растенія и животныхъ, людей и ихъ созданія и даже тѣ египетскія пирамиды, которыя, повидимому, сопротивля- его бѣшеной жаждѣ разрушенія. Онѣ только трофей ущества, памятники прошедшаго, древнія гробницы

це злѣе, чѣмъ это сознаніе вѣчнаго умиранія, же- зіяющаго уничтоженія, охватываетъ насъ мысль, раемъ даже не какъ подлинники, но какъ копіи

давно исчезнувшихъ людей, которые умственно и тѣлесно были похожи на насъ, и что послѣ насъ снова будутъ рождаться люди, которые опять будутъ совершенно похожи на насъ и будутъ чувствовать и мыслить, какъ мы, и которыхъ смерть точно такъ же уничтожитъ—безотрадно-вѣчная повторяющаяся игра, причемъ рождающаяся земля постоянно должна производить на свѣтъ, и производить больше, чѣмъ можетъ уничтожить смерть, такъ что въ этомъ затруднительномъ положеніи ей приходится заботиться больше о сохраненіи породъ, чѣмъ объ оригинальности индивидумовъ.

Чуднымъ образомъ охватилъ меня мистическій трепетъ этой мысли въ то время, какъ я во дворцѣ Дураццо смотрѣлъ на портреты генуэзскихъ красавицъ, и между ними на одинъ, вызвавшій въ моей душѣ сладостную бурю, при воспоминаніи о которой еще теперь дрожатъ у меня вѣки. Это былъ портретъ мертвой Маріи.

Надсмотрщикъ галлереи увѣрялъ, правда, что это портретъ генуэзской герцогини, и прибавилъ цицероновскимъ тономъ: «Онъ нарисованъ Джіорджіо Барбареллидель-Кастель-Франко де-Тревиджіоре, прозваннымъ Джіорджіоне; это былъ одинъ изъ величайшихъ живописцевъ венеціанской школы, родился въ 1477 г., умеръ въ 1511 году».

— Совершенно согласенъ, синьоръ custode, портретъ похожъ, хотя онъ и написанъ за два столѣтія впередъ; но это не бѣда. Рисунокъ правиленъ, краски положены превосходно, складки платья на груди сдѣланы чудесно. Будьте добры, снимите его на нѣсколько минутъ со стѣны, я хочу сдуть только пыль съ губъ, а также прогнать паука, который сидитъ въ углу рамки; Марія всегда питала отвращеніе къ паузамъ.

— Eccelenza, повидимому, знатокъ?

— Можетъ-быть, синьоръ custode. У меня талантъ растрогиваться, глядя на нѣкоторыя картины, и въ эти минуты я чувствую нѣкоторую влажность въ глазахъ. Но что я вижу! Кѣмъ нарисованъ этотъ портретъ человѣка въ черномъ плащѣ?

— Его рисовалъ тоже Джіорджіоне. Образцовое произведеніе!

— Будьте любезны, синьоръ, снимите его тоже со стѣны и подержите съ минуту около зеркала, чтобы мнѣ можно было сравнить, похожъ ли я на него.

— Eccelenza не такъ блѣдны. Этотъ портретъ тоже об-

новое произведеніе Джіорджіоне. Онъ былъ соперникъ Тиціана, родился въ 1477 г., умеръ въ 1511 г.

Милый читатель, Джіорджіоне я люблю гораздо больше, чѣмъ Тиціана, и особенно благодаренъ ему за то, что онъ нарисовалъ Марію. Ты, конечно, поймешь такъ же хорошо, какъ и я, что Джіорджіоне нарисовалъ этотъ портретъ для меня, а не для какого-нибудь стараго генуэзца. И онъ очень похожъ, до молчанія смерти похожъ, не опущено даже болѣзненное чувство въ глазахъ, чувство, которое было вызвано больше воображеніемъ, чѣмъ пережитыми страданіями и которое было очень трудно нарисовать. Весь портретъ точно вздохомъ перенесенъ на полотно. Человѣкъ въ черномъ плащѣ тоже хорошо нарисованъ, и хитро-сентиментальныя губы очень похожи, совсѣмъ какъ живыя, точно собираются разсказать исторію... Это исторія о рыцарѣ, который хотѣлъ воскресить свою возлюбленную поцѣлуемъ, и когда свѣча погасла...

II. Луккскія воды.

КАРЛУ ИММЕРМАНУ,

поэту, посвящаетъ эти страницы въ знакъ радостнѣйшаго почтенія

Авторъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Въ ту минуту, какъ я вошелъ въ комнату къ Матильдѣ, она только-что застегнула послѣднюю пуговицу зеленой амазонки и собиралась надѣть шляпку съ бѣлыми перьями. Увидѣвъ меня, она быстро отбросила шляпку и со своими развѣвающимися золотыми кудрями бросилась ко мнѣ навстрѣчу.

— Докторъ неба и земли!—воскликнула она и по старой привычкѣ схватила меня за оба уха и поцѣловала съ самой забавной сердечностью.—Какъ поживаете, безумнѣйшій изъ смертныхъ? Какъ я счастлива, что снова вижу васъ! Потому что никогда не найду я во всемъ этомъ мірѣ человѣка болѣе помѣшаннаго. Дураковъ и глупцовъ достаточно, и имъ часто оказываютъ честь принимать ихъ за помѣшанныхъ, но истинное помѣшательство такъ же рѣдко, какъ истинная мудрость; оно, можетъ-быть, ничто иное, какъ мудрость, которая съ досады, что она все знаетъ, знаетъ всѣ гнусности этого міра, принимаетъ мудрое рѣшеніе помѣшаться. Жители востока умный народъ, они чтутъ сумасшедшаго точно такъ же, какъ пророка, а мы, напротивъ, принимаемъ каждаго пророка за сумасшедшаго.

— Но, миледи, почему вы мнѣ не написали?

— Увѣряю васъ, докторъ, я написала вамъ дли *письмо и поставила* на адресѣ: «Отдать въ Новомъ *ламѣ». Но* такъ какъ васъ, вопреки всякому ожи

тамъ не оказалось, то письмо отправили въ Санъ-Люце, а такъ какъ и тамъ васъ не нашли, оно было послано въ другое подобное же заведеніе и такимъ образомъ обошло всѣ дома умалишенныхъ Англіи, Шотландіи и Ирландіи, послѣ чего мнѣ его вернули съ отмѣткой, что джентльменъ, обозначенный на адресѣ, еще не засаженъ. И дѣйствительно, какъ это вы устроили, что остаетесь до сихъ поръ на свободѣ.

— Устроилъ искусно, миледи. Повсюду, гдѣ я ни проѣзжалъ, я умѣлъ украдкой пробираться мимо дома умалишенныхъ; надѣюсь, что это мнѣ удастся и въ Италіи.

— О, другъ, здѣсь вы въ полной безопасности, потому что, во-первыхъ, вблизи нѣтъ ни одного такого дома, а во-вторыхъ—здѣсь мы полные господа.

— Мы, миледи? Вы, стало-быть, и себя причисляете къ нашимъ? Позвольте же мнѣ напечатлѣть на вашемъ лбу братскій поцѣлуй.

— Ахъ, я хочу сказать, мы, пріѣхавшіе на воды, и между ними я еще самая здравомыслящая; судя по этому, вы можете легко составить себѣ понятіе о самыхъ помѣшанныхъ, особенно Юліи Максфильдъ, которая постоянно утверждаетъ, что зеленые глаза обозначаютъ весну души. Затѣмъ у насъ есть еще двѣ молодыя красавицы...

— Конечно, англійскія красавицы, миледи?

— Докторъ, что̀ означаетъ этотъ насмѣшливый тонъ? Желто-жирныя, макаронныя лица въ Италіи ужъ не пришлись ли вамъ по вкусу такъ, что вы утратили способность понимать британскія...

— Плюмпуддинги съ коринковыми глазами, ростбифныя груди, украшенныя въ видѣ фестоновъ бѣлыми полосами хрѣна, гордые пастеты?..

— Было время, докторъ, когда вы приходили въ восторгъ каждый разъ, какъ красавица англичанка?..

— Да, это было въ то время! Я еще и теперь не прочь поклоняться вашимъ соотечественницамъ: онѣ прекрасны, какъ солнце, но солнце изъ льда; онѣ бѣлы, какъ мраморъ, но и какъ мраморъ холодны; на ихъ холодныхъ сердцахъ [illegible]ютъ бѣдные...

[illegible]хъ, я знаю одного, который не замерзъ тамъ и пе[illegible]лъ, свѣжій и здоровый, чрезъ море, и это былъ [illegible]кій нѣмецкій, дерзкій...

[illegible] *по крайней мѣрѣ*, такъ сильно простудился на

британскихъ морозныхъ сердцахъ, что до сихъ поръ еще страдаетъ насморкомъ.

Миледи, повидимому, укололъ этотъ отвѣтъ. Она схватила хлыстъ, лежавшій между страницами какого-то романа въ видѣ закладки, хлестнула имъ по ушамъ своей бѣлой охотничьей собаки, тихо заворчавшей, поспѣшно подняла свою шляпку съ полу, быстро надѣла ее на кудрявую головку, самодовольно взглянула раза два въ зеркало и гордо сказала: «Я еще хороша!» Но вдругъ, точно по ней пробѣжалъ трепетъ смутной скорби, она остановилась въ задумчивости, медленно стащила съ руки бѣлую перчатку, протянула мнѣ руку и съ быстротой стрѣлы угадавъ мои мысли, сказала: «Не правда ли, эта рука уже не такъ красива, какъ въ Рамсгетѣ? Матильда за это время много выстрадала...»

Любезный читатель, въ колоколѣ рѣдко можно замѣтить, гдѣ образовалась трещина, и только по тону замѣчаешь ее. Если бы ты слышалъ звукъ голоса, какимъ были произнесены эти слова, то сейчасъ бы узналъ, что сердце миледи—колоколъ изъ лучшаго металла, но что скрытая трещина странно заглушаетъ его самые веселые тоны и какъ бы одѣваетъ ихъ тайной печалью. Но я люблю подобные колокола, они всегда находятъ отголосокъ въ моей собственной груди. Я поцѣловалъ руку миледи почти задушевнѣе, чѣмъ въ былое время, хотя она уже была не такъ цвѣтуща, и нѣсколько жилокъ, выступившихъ слишкомъ голубымъ цвѣтомъ, тоже, повидимому, говорили мнѣ: «Матильда за это время много выстрадала».

Ея глазъ смотрѣлъ на меня, какъ грустная одинокая звѣзда на осеннемъ небѣ и мягко и сердечно сказала она: «Вы, повидимому, меньше любите меня, докторъ, потому что только съ чувствомъ состраданія упала только что ваша слеза на мою руку—почти какъ милостыня».

— Почему вы такъ мизерно истолковываете нѣмой языкъ моихъ словъ? Я пари держу, что бѣлая собака, ласкающаяся къ вамъ, въ настоящую минуту понимаетъ меня лучше: она смотритъ на меня, и потомъ опять на васъ, и повидимому удивляется, что люди, эти гордые властители міра душѣ такъ глубоко жалки. Ахъ, миледи, только родствен скорбь извлекаетъ у насъ слезы, и плачетъ каждый с ственно о самомъ себѣ.

— *Довольно*, довольно, докторъ. Хорошо, по край мѣрѣ, то, что мы съ вами современники и нашли з

друга со своими глупыми слезами въ одномъ и томъ же уголкѣ земли. Большое было бы несчастіе, если бы вы жили двумя-тремя столѣтіями раньше, какъ это случилось съ моимъ другомъ Мигуэлемъ Сервантесомъ Сааведра, или родились бы столѣтіемъ позже, какъ это было съ другимъ близкимъ другомъ моимъ, котораго имени я даже не знаю, именно потому, что онъ получитъ его только при своемъ рожденіи въ 1900 году!.. Разскажите мнѣ, однако, какъ вы жили съ тѣхъ поръ, какъ мы не видѣлись?

— Я занимался своимъ обыкновеннымъ дѣломъ, миледи: все катилъ и катилъ большой камень, и чуть я его докатывалъ до половины горы, онъ вдругъ снова катился внизъ, и я опять долженъ былъ подталкивать и подталкивать его вверхъ. И эта работа будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока я самъ улягусь подъ большимъ камнемъ, и господинъ каменщикъ напишетъ на немъ большими буквами: здѣсь покоится въ Бозѣ...

— Бога ради, докторъ, перестаньте, не будьте меланхоличны; смѣйтесь, или я...

— Нѣтъ, не щекочите; я лучше самъ буду смѣяться.

— Ну, вотъ и прекрасно. Вы еще мнѣ нравитесь точно такъ же, какъ и въ Рамсгетѣ, гдѣ мы въ первый разъ сблизились...—и наконецъ, еще больше, чѣмъ сблизились.

— Да я буду веселъ. Это хорошо, что мы снова свидѣлись, и великій нѣмецкій... снова доставитъ себѣ удовольствіе рисковать у васъ своею жизнью.

Глаза миледи засмѣялись, какъ солнечный свѣтъ послѣ легкаго дождя. Ея хорошее настроеніе снова заблестѣло, когда вошелъ Джонъ, и съ самымъ тупымъ лакейскимъ паѳосомъ доложилъ о приходѣ его превосходительства, маркиза Христофора ди-Гумпелино.

— Милости просимъ. Вы, докторъ, сейчасъ познакомитесь съ однимъ изъ перовъ нашего сумасшедшаго царства. Не смущайтесь его наружностью, особенно его носомъ. Этотъ человѣкъ обладаетъ превосходными свойствами, напр., большимъ количествомъ денегъ, здравымъ разсудкомъ, жаждой воспринимать всѣ глупости нашего времени. При этомъ влюбленъ въ мою зеленоглазую подругу, Юлію Макс-ь, и называетъ ее своею Юліей, а себя—ея Ромео, и ируетъ, и вздыхаетъ... А лордъ Максфильдъ, кузенъ, v Юлія довѣрена ея мужемъ—неусыпный аргусъ...

хотѣлъ *замѣтить*, что Аргусъ сторожилъ корову, *ерь широко раскрылась*, и къ моему величайшему

удивленію ввалился мой старый другъ, банкиръ Христіанъ Гумпель со своей зажиточной улыбкой и благословеннымъ животомъ. Послѣ того, какъ его лоснящіяся, широкія губы достаточно вытерлись объ руку миледи и выпустили изъ себя обычные вопросы о здоровьѣ, онъ узналъ также меня— и друзья кинулись другъ другу въ объятія.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Предостереженіе Матильды, чтобы я не смущался носомъ этого человѣка, было достаточно основательно, и онъ дѣйствительно чуть-чуть не выкололъ мнѣ глазъ. Я не хочу сказать ничего дурного объ этомъ носѣ, напротивъ, онъ былъ самой благородной формы, и именно онъ давалъ моему другу право прибавить къ своей персонѣ, по крайней мѣрѣ, титулъ маркиза. Дѣйствительно, только по носу его было видно, что онъ принадлежалъ къ настоящему дворянству, что онъ происходилъ отъ самой древней фамиліи міра... Съ тѣхъ поръ, правда, фамилія эта нѣсколько опустилась, такъ что со времени Карла Великаго принуждена поддерживать свое существованіе большею частью торговлей старыми панталонами и билетами гамбургской лотереи, нисколько, однако, не ослабляя своей родовой гордости и не отказываясь отъ надежды когда-нибудь снова возвратить себѣ свои старыя имущества, или, по крайней мѣрѣ, получить достаточное эмигрантское вознагражденіе, если исполнится обѣщаніе, которымъ ее водятъ за носъ уже цѣлыхъ два тысячелѣтія. Не сдѣлались ли ея носы такими длинными именно вслѣдствіе того, что ее такъ долго водятъ за носъ? Или, можетъ-быть, эти длинные носы нѣчто въ родѣ мундира, по которому служащіе въ этой арміи узнаются ихъ полководцами даже тогда, когда они оттуда дезертируютъ? Маркизъ Гумпелино былъ одинъ изъ такихъ дезертировъ, онъ продолжалъ носить свой мундиръ, и мундиръ этотъ былъ очень блестящъ, усѣянъ крестиками и звѣздочками изъ рубиновъ, украшенъ орденомъ Краснаго Орла въ миніатюрѣ и другими орденами.

— Видите ли,—сказала миледи:—это мой любимый носъ; я не знаю на этой землѣ цвѣтка прекраснѣе его.

— Этотъ цвѣтокъ, — замѣтилъ, ухмыляясь, Гумпелин я не могу положить на вашу прекрасную грудь безъ чтобы не присоединить къ нему и мое цвѣтущее лиц это приложеніе, можетъ-быть, оказалось бы для вас удобнымъ въ сегодняшнюю жару; но я приношу ва

менѣе драгоцѣнный цвѣтокъ, въ этихъ мѣстахъ очень рѣдкій...

При этихъ словахъ маркизъ развернулъ принесенный имъ свертокъ изъ мягкой бумаги и съ медленной заботливостью вынулъ оттуда удивительно красивый тюльпанъ.

Едва миледи увидѣла этотъ цвѣтокъ, какъ закричала во все горло: «Убійство, убійство! Вы умертвить меня хотите, прочь, прочь, съ этой ужасной вещью!..» При этомъ она дѣлала такія движенія, точно собирались дѣйствительно убить ее: закрывала глаза руками, бѣшено бѣгала по комнатѣ, проклинала носъ и тюльпанъ Гумпелино, звонила, топала ногами, била собаку хлыстомъ такъ, что та громко лаяла, и когда Джонъ вошелъ, она, какъ Кинъ въ «Королѣ Ричардѣ», крикнула: «Коня, коня! царство за коня»! и какъ вихрь вылетѣла изъ комнаты.

— Курьезная женщина! — произнесъ Гумпелино, неподвижный отъ изумленія, все еще держа въ рукѣ тюльпанъ, вслѣдствіе чего, онъ походилъ на одинъ изъ тѣхъ идоловъ, которые изображаются на древнихъ индійскихъ памятникахъ съ цвѣтами лотоса въ рукахъ; я же зналъ эту барыню и ея идіосинкразію гораздо лучше, меня выше всякой мѣры забавляло это зрѣлище, и я раскрылъ окно и крикнулъ: «Миледи, что̀ мнѣ подумать о васъ? Что̀ это такое: разумъ, приличіе, въ особенности же—любовь ли это?»

И тутъ со смѣхомъ долетѣлъ ко мнѣ дикій отвѣтъ:

Когда я на конѣ, то поклянусь,
Что безпредѣльно я люблю тебя!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

«Курьезная женщина!»—повторилъ Гумпелино, когда мы отправились съ визитомъ къ его двумъ пріятельницамъ— синьорѣ Летиціи и синьорѣ Франческѣ, съ которыми онъ хотѣлъ меня познакомить. Такъ какъ квартира этихъ барынь была на довольно отдаленной возвышенности, то я тѣмъ признательнѣе оцѣнилъ доброту моего тучнаго друга, который находилъ восхожденіе на гору довольно затрудни-
, останавливался на каждомъ холмѣ, чтобы пере-
ъ, и воздыхалъ: «О, Іисусе!»
луккскихъ водахъ помѣщаются или внизу, въ
уженной высокими горами, или на одной изъ
недалеко отъ главнаго источника, откуда жи-
па домиковъ глядитъ въ очаровательную до-

лину. Но нѣкоторые изъ нихъ разсѣяны и по одиночкѣ
горныхъ склонахъ, и приходится съ трудомъ взбирать
вверхъ чрезъ виноградники, кусты миртовъ, лавры, олеанд
и другія деревья и растенія—дикій рай! Я никогда не в
дѣлъ болѣе восхитительной картины, особенно когда см
тришь внизъ на деревню съ террасы верхней купальн
гдѣ стоятъ серьезные зеленые кипарисы. Тутъ видн
мостъ, переброшенный чрезъ рѣчку, названіе которой Ли
и которая, раздѣляя деревню на двѣ части, ниспадаетъ
обоихъ концахъ равнымъ каскадомъ по скаламъ и про
водитъ такой шумъ, какъ будто хочетъ разсказывать сам
пріятныя вещи, но не можетъ произнести ни слова всл
ствіе раздающагося со всѣхъ сторонъ эхо.

Главнѣйшее очарованіе этой долины заключается,
нечно, въ томъ обстоятельствѣ, что она не слишкомъ вели
и не слишкомъ мала, что душа глядящаго на нее не
сильственно расширяется, а напротивъ, равномѣрно нас
няется чудеснымъ зрѣлищемъ, что Апенины всюду не об
ображены причудливо готическими возвышенностями,
добно тѣмъ горамъ-карикатурамъ, которыя мы точно такъ
какъ и карикатуры-людей, встрѣчаемъ въ германскихъ
мляхъ, но, напротивъ, своими благородными закругленія
весело-зелеными формами выражаютъ почти художественн
цивилизацію и мелодически звучатъ въ гармоніи съ блѣд
голубымъ небомъ.

— О, Іисусе! — вздыхалъ Гумпелино въ то время, ка
мы, уже достаточно согрѣтые труднымъ восхожденіемъ
утреннимъ солнцемъ, достигли вышеупомянутой возвыше
ности, усаженной кипарисами, и глядя внизъ, въ деревн
смотрѣли, какъ наша агличанка-пріятельница, верхомъ
лошади, точно романтическій, сказочный образъ, несла
черезъ мостъ и, наконецъ, исчезла, тоже съ быстрот
грезы. — О, Іисусе! какая курьезная женщина!—нѣсколь
разъ повторилъ маркизъ.—Въ обыденной жизни я еще н
когда не встрѣчалъ такихъ женщинъ, и только въ ком
діяхъ находишь ихъ, и я полагаю, что, напримѣръ, нав
Гольцбехеръ хорошо бы сыграла такую роль. У нея ес
кое-что русалочное, какъ вы полагаете?

— Я полагаю, что вы правы, Гумпелино. Когда я ѣха
съ ней изъ Лондона въ Роттердамъ, то капитанъ ко
выразился, что она похожа на посыпанную перцемъ
Въ благодарность за это сравненіе она, заставш
однажды въ каютѣ заснувшимъ, высыпала на его

цѣлую перечницу, и послѣ того нельзя было подойти къ этому человѣку безъ того, чтобы не чихнуть.

— Курьезная женщина!—снова повторилъ Гумпелино:— нѣжная, какъ шелкъ, и такая же плотная, и сидитъ верхомъ не хуже меня. Лишь бы только она не разстроила въ конецъ своего здоровья этой верховой скачкой! Видѣли ли вы того длиннаго, тощаго англичанина, который на своей тощей клячѣ несся за нею, какъ галопирующая чахотка? Этотъ народъ ѣздитъ верхомъ слишкомъ страстно, отдаетъ всѣ свои деньги за лошадей. Конь леди Максфильдъ стоитъ 200 золотыхъ живыхъ луидоровъ... Ахъ, а луидоры поднялись такъ теперь высоко, и съ каждымъ днемъ еще все выше и выше подымаются!

— Да, луидоры подымутся, въ концѣ концовъ, такъ, что бѣдный ученый, въ родѣ нашего брата, уже не въ состояніи будетъ достать ихъ.

— Вы себѣ и представить не можете, господинъ докторъ, сколько денегъ приходится мнѣ тратить и при этомъ я еще ограничиваюсь единственнымъ лакеемъ, а когда пріѣзжаю въ Римъ, то нанимаю еще священника для моей домашней капеллы. А вотъ идетъ и мой Гіацинтъ.

Маленькая фигурка, показавшаяся въ эту минуту при поворотѣ холма, заслуживала скорѣе названіе огненной лиліи. Передо мною былъ широкій, развѣвающійся кафтанъ ярко-пурпурнаго цвѣта, весь покрытый золотистыми позументами, блестящими на солнцѣ, и въ этомъ пурпурномъ великолѣпіи потѣла головенка, показавшаяся мнѣ хорошо знакомой. И дѣйствительно, когда я ближе всмотрѣлся въ блѣдновато озабоченное личико и дѣловито мигающіе глазенки, то узналъ человѣка, котораго ожидалъ бы скорѣе встрѣтить на горѣ Синаѣ, чѣмъ на Апенинахъ, и это былъ никто иной, какъ господинъ Гиршъ, гамбургскій гражданинъ, человѣкъ, который не только былъ всегда очень честнымъ лотерейнымъ коллекторомъ, но и понималъ толкъ въ мозоляхъ и драгоцѣнныхъ камняхъ, такъ что онъ не только умѣлъ отличать одни отъ другихъ, но и обладалъ способностью весьма искусно вырѣзывать мозоли и съ большой точностью оцѣнивать драгоцѣнные камни.

— Я надѣюсь, — сказалъ онъ, подойдя ближе: — что вы не забыли меня, хотя я уже не зовусь больше Гиршъ. Мое имя теперь Гіацинтъ, и я камердинеръ г. Гумпеля.

— Гіацинтъ!—воскликнулъ баринъ, пораженный и встрѣченный нескромностью лакея.

— Будьте спокойны, геръ Гумпли, или синьоръ Гумпелино, или синьоръ маркизъ, или ваше превосходительство. Намъ нечего стѣсняться передъ этимъ господиномъ, онъ знаетъ меня, покупалъ у меня не разъ билеты, и я могу даже поклясться, что за послѣднюю покупку онъ еще остался мнѣ долженъ 7 марокъ 9 шиллинговъ... Я дѣйствительно очень радъ, докторъ, что снова вижу васъ. Вы тоже пріѣхали сюда для развлеченія и удовольствія? Иначе, что̀ тутъ дѣлать въ эту жару, и когда притомъ приходится постоянно всходить на горы и спускаться внизъ. По вечерамъ я такъ устаю, какъ будто пробѣжалъ двадцать разъ отъ Альтонскихъ воротъ до Каменныхъ, не заработавъ при этомъ ни гроша.

— О, Іисусе! — воскликнулъ маркизъ: — молчи, молчи, я найму себѣ другого лакея.

— Зачѣмъ молчать!—возразилъ Гиршъ-Гіацинтъ:—вѣдь мнѣ очень пріятно, что я хоть разъ могу снова поговорить, какъ слѣдуетъ, по-нѣмецки съ человѣкомъ, котораго я уже видѣлъ въ Гамбургѣ, а чуть я подумаю о Гамбургѣ...

Здѣсь, при воспоминаніи о маленькой, усыновившей его отчизнѣ, глазенки его увлажились, и онъ со вздохомъ продолжалъ:

— Что такое человѣкъ! Прохаживаешься ты себѣ въ пріятномъ расположеніи духа предъ Альтонскими воротами, на Гамбургской горѣ, и осматриваешь тамъ достопримѣчательности: львовъ, птицъ, попугаевъ, обезьянъ, превосходныхъ людей, и катаешься на каруселяхъ, или электризуешься, и думаешь: а сколько еще я найду пріятнаго въ мѣстности, отстоящей отъ Гамбурга на 200 миль, въ сторонѣ, гдѣ цвѣтутъ померанцы и апельсины, въ Италіи! Что такое человѣкъ! Когда онъ передъ Альтонскими воротами, то ему хотѣлось бы быть въ Италіи, а пріѣхалъ онъ въ Италію, опять тянетъ его къ Альтонскимъ воротамъ! Ахъ, стой я теперь снова тамъ, и будь предо мною опять башня Михаила, и на ней часы съ большими золотыми цифрами на циферблатѣ, тѣми большими золотыми цифрами, на которыя я такъ часто глядѣлъ въ полуденную пору, когда онѣ такъ привѣтливо блестѣли на солнцѣ—я бы такъ част цѣловалъ ихъ! Ахъ, я теперь въ Италіи, гдѣ растутъ м меранцы и апельсины, но когда я вижу, какъ раст померанцы и апельсины, то думаю о Штейнвегѣ, въ Г бургѣ, гдѣ они обыкновенно большими кучами лежатъ лоткахъ, и гдѣ ими можно наслаждаться совершенно

йно, не имѣя надобности для этого подыматься на олько опасныхъ горъ и выносить такую жару. Божусь мъ, синьоръ маркизъ, что не будь это ради чести и ди образованія, я бы не послѣдовалъ сюда за вами. о въ этомъ надо отдать вамъ справедливость: служить у съ большая честь, и вмѣстѣ получаешь хорошее образо- ніе.

— Гіацинтъ, — произнесъ Гумпелино, нѣсколько смяг- нный этой лестью:—Гіацинтъ, ступай теперь...

— Знаю, знаю...

— Ничего ты не знаешь, говорю тебѣ, Гіацинтъ.

— А я говорю вамъ, геръ Гумпель, что знаю. Ваше пре- сходительство посылаете меня теперь къ леди Максфильдъ. нѣ не зачѣмъ объяснять. Я знаю ваши мысли, даже тѣ, оторыя у насъ еще не появлялись и, можетъ-быть, никогда е появятся. Такого слугу, какъ я, найти не такъ легко, и дѣлаю это только ради чести и ради образованія. И дѣй- твительно, служить у васъ честь, причемъ и получаешь бразованіе...—При этомъ словѣ онъ высморкался въ очень ѣлый носовой платокъ.

— Гіацинтъ,—сказалъ маркизъ:—ты отправишься теперь ъ леди Юліи Максфильдъ, моей Юліи, и отнесешь ей этотъ юльпанъ... осторожнѣе съ нимъ, потому что онъ стоитъ паоли... и скажешь ей...

— Ужъ знаю...

— Ты ничего не знаешь. Скажи ей: тюльпанъ между вѣтами...

— Ужъ знаю, вы хотите ей сказать что-нибудь посред- твомъ этого цвѣтка. Я самъ въ моей лотерейной конторѣ ѣлалъ для многихъ билетовъ разные девизы.

— Говорю я тебѣ, Гіацинтъ, мнѣ не нужны никакіе вои девизы. Отнеси этотъ цвѣтокъ къ леди Максфильдъ и кажи ей:

Тюльпанъ между цвѣтами тожъ,
Что межъ сыровъ страхино;
Но больше сыра и цвѣтовъ
Тебя чтитъ Гумпелино!

Ей-Богу, это очень хорошо!—воскликнулъ Гіацинтъ.— не мигайте мнѣ, синьоръ маркизъ; что вы знаете, и я, и что знаю я, то знаете вы. До свиданья, пустячномъ долгѣ я вамъ не напоминаю.—Съ и онъ сталъ снова спускаться съ холма и без-

прерывно бормоталъ: — «Гумпелино-страхино, страхино-Гумпелино».

— Это вѣрный человѣкъ, — сказалъ маркизъ: — иначе я давно бы отпустилъ его за отсутствіе въ немъ этикета. Для васъ-то это все равно. Вы понимаете меня. Какъ вамъ нравится его ливрея? На ней на 40 талеровъ позумента больше, чѣмъ на ливреѣ лакеевъ Ротшильда. Я ощущаю въ душѣ большое удовольствіе, видя, какъ онъ у меня совершенствуется. По временамъ я самъ даю ему уроки по образованію, часто говорю ему, что такое деньги. Деньги круглы и укатываются, но образованіе остается. Да, докторъ, если бы мнѣ, чего Боже сохрани, пришлось потерять всѣ свои деньги, то я все-таки останусь большимъ знатокомъ искусства, знатокомъ музыки, живописи и поэзіи. Завяжите вы мнѣ глаза и поводите по флорентинской галлереѣ, и предъ какой бы картиной ни поставили бы меня, я назову вамъ живописца, нарисовавшаго ее, или по крайней мѣрѣ школу, къ которой принадлежитъ этотъ живописецъ. Музыка? Заткните мнѣ уши, и я все-таки буду слышать каждую фальшивую ноту. Поэзія? Я знаю всѣхъ актрисъ Германіи, и поэтовъ знаю наизусть. А ужъ что касается природы! Я ѣхалъ 200—300 миль, день и ночь, чтобы только увидѣть въ Шотландіи одну единственную гору. Но Италія выше всего. Какъ вамъ нравится здѣсь эта мѣстность? Какое созданіе! Взгляните на деревья, на горы, на небо, на воду. Вонъ тамъ, внизу, вѣдь правда, все точно нарисовано! Видѣли ли вы на какой-нибудь сценѣ что-нибудь красивѣе? Тутъ становишься, такъ сказать, поэтомъ. Въ голову сразу приходятъ стихи, и самъ не знаешь, откуда:

«Въ молчаніи подъ сумерекъ покровомъ,
Почіетъ долъ, замолкла пѣснь лѣсовъ,
И только здѣсь, межъ дряхлыми стѣнами,
Меланхолическое трещаніе сверчковъ».

Эти возвышенныя слова маркизъ продекламировалъ съ патетическимъ умиленіемъ, глядя, какъ просвѣтленный, въ смѣющуюся, облитую утреннимъ свѣтомъ долину.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Когда я однажды, въ прекрасный весенній де
подъ берлинскими Липами, предо мною шли двѣ
долго молчавшія, и наконецъ, одна изъ нихъ
томнымъ вздохомъ: «Ахъ, эти зеленыя дере

другая, молодая дѣвушка, спросила съ нѣкоторымъ изумленіемъ: «Мама, что вамъ до зеленыхъ деревьевъ?»

Я не могу не замѣтить, что обѣ онѣ были не въ шелковыхъ платьяхъ, хотя отнюдь не принадлежали къ черни, какъ и вообще въ Берлинѣ черни нѣтъ развѣ только въ высшихъ сословіяхъ. Но что касается того наивнаго вопроса, то онъ никогда не выходитъ у меня изъ памяти. Всюду, гдѣ я встрѣчаю фальшивое восхищеніе природой и тому подобную зеленую ложь, вопросъ этотъ забавно смѣется у меня въ душѣ. Точно такъ же заговорилъ онъ во мнѣ и при декламаціи маркиза, и подмѣтивъ насмѣшку на моихъ губахъ, маркизъ сердито вскричалъ: «Не мѣшайте мнѣ, у васъ нѣтъ никакого чутья чистой естественности... Вы разорванный человѣкъ, разорванное сердце, вы, такъ сказать, Байронъ!»

Любезный читатель, можетъ-быть, ты принадлежишь къ тѣмъ набожнымъ птицамъ, которыя вторятъ пѣснѣ о байроновской разорванности, какую мнѣ насвистываютъ уже десять лѣтъ на всякіе тоны и какая, какъ ты только-что слышалъ, нашла себѣ отголосокъ даже въ черепѣ маркиза. Ахъ, любезный читатель, если ты хочешь сѣтовать о той разорванности, то сѣтуй лучше, что самый міръ разорванъ надвое, ибо такъ какъ сердце поэта есть средоточіе міра, то въ теперешнее время ему, конечно, нельзя не быть разорваннымъ. Кто хвалится, что сердце у него осталось цѣлое, тотъ признается только, что у него прозаическое, куда-то далеко въ уголъ запрятанное сердце. По моему же сердцу прошла великая міровая трещина, и именно поэтому-то я знаю, что великіе боги удостоили меня своей высокой благодати и сочли достойнымъ поэтическаго мученичества.

Нѣкогда, въ древности и средніе вѣка, міръ былъ цѣлостенъ; несмотря на внѣшнія войны, все-таки существовало міровое единство, и были цѣльные поэты. Мы будемъ чтить этихъ поэтовъ и наслаждаться ими; но каждое подражаніе ихъ цѣлостности есть ложь, ложь, которую видитъ каждый здоровый глазъ, которая поэтому не можетъ избѣжать насмѣшки. Недавно я добылъ себѣ съ большимъ трудомъ въ [illegible]чѣ стихотвореніе одного изъ ихъ цѣлостныхъ писа- [illegible]особенно сильно сѣтовавшаго о моей байроновской [illegible]ности, и отъ его фальшивыхъ зеленыхъ красокъ, [illegible]ыхъ изліяній его во хвалу природѣ, въ которыхъ [illegible]ся запахъ какъ бы свѣжаго сѣна; мое бѣдное [illegible] и безъ того достаточно разорванное, чуть-чуть

не лопнуло отъ смѣха, и я невольно воскликнулъ: «Любе ный мой интендантскій совѣтникъ, Вильгельмъ Нейман что вамъ до зеленыхъ деревьевъ!»

— Вы разорванный человѣкъ, такъ сказать, Байронъ,- повторилъ маркизъ, продолжая кидать такіе же просвѣтле ные взоры внизъ, въ долину, и по временамъ щелкая язы комъ отъ благоговѣйнаго изумленія:—Господи, Господи, в какъ нарисовано!

Бѣдный Байронъ! Подобное спокойное наслажденіе не было доступно тебѣ. Неужели сердце твое было испорчен въ такой степени, что природу ты могъ только видѣть, мо даже изображать, но не могъ находить въ ней блаженств Или, быть-можетъ, правъ былъ Шелли, когда сказалъ, что ты подстерегъ природу въ ея цѣломудренной наготѣ и это, какъ Актеонъ, былъ разорванъ ея собаками!

Но довольно объ этомъ, мы подходимъ къ болѣе пріятному предмету, именно къ дому синьоры Летиціи и Фра чески, маленькому бѣлому зданію, которое какъ будто ещ въ утреннемъ неглиже. Спереди у него два большихъ кру лыхъ окошка, предъ которыми высоко поднявшійся вин градъ спустилъ свои длинныя лозы такъ, что кажется, ч роскошные зеленые локоны опустились на глаза дома. У въ дверяхъ несутся къ нимъ навстрѣчу пестрые зву дрожащія трели, аккорды гитары и смѣхъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Синьора Летиція, пятидесятилѣтняя юная роза, лежа въ постели и напѣвала и болтала со своими двумя ухаж вателями, изъ которыхъ одинъ сидѣлъ предъ ней на низен кой скамейкѣ, а другой, развалившись въ большомъ крес игралъ на гитарѣ. Изъ сосѣдней комнаты тоже доносили по временамъ отрывки милой пѣсни, или еще болѣе чудна милаго смѣха. Маркизъ, съ той дешевой ироніей, котор иногда нападала на него, представилъ меня синьорѣ и об имъ мужчинамъ и замѣтилъ при этомъ, что я тотъ сам Іоганъ-Генрихъ Гейне, докторъ правъ, который въ насто щее время знаменитъ въ нѣмецкой юридической литерату Къ несчастію, одинъ изъ мужчинъ былъ болонскій профе соръ и притомъ юристъ, хотя его округленный, тучн животъ указывалъ, что онъ долженъ скорѣе занимать дол ность по сферической тригонометріи. Нѣсколько смуще я замѣтилъ, что пишу не подъ собственнымъ имене подъ именемъ Ярке, и это я сказалъ изъ скромност

какъ мнѣ случайно вспомнилось имя одного изъ самыхъ плачевныхъ насѣкомыхъ нашей юридической литературы. Правда, болонецъ выразилъ сожалѣніе, что еще ни разу не слышалъ этого знаменитаго имени—какъ, вѣроятно, не слышалъ и ты, любезный читатель,—но онъ не сомнѣвался, что оно скоро распространитъ свой блескъ по всей землѣ. При этомъ онъ откинулся къ спинкѣ кресла, взялъ нѣсколько аккордовъ на гитарѣ и пропѣлъ изъ оперы «Ассуръ»:

«О могущественная Брама,
Ахъ, услышь ты этотъ лепетъ
Изъ души невинно чистой—
Этотъ лепетъ, этотъ лепетъ!

Мило дразнящимъ соловьинымъ эхо прозвучала въ сосѣдней комнатѣ такая же мелодія... А между тѣмъ синьора Летиція напѣвала самымъ тонкимъ дискантомъ:

«Для тебя лишь горятъ эти щеки,
Для тебя лишь стучитъ этотъ пульсъ,
И въ отрадномъ любовномъ волненьѣ
Сердце полно тобою однимъ!»

И къ этому самымъ жирнымъ прозаическимъ голосомъ она прибавила:

— Бартоло, подай мнѣ плевательницу!

Тутъ со своей низенькой скамейки, на своихъ тощихъ, деревянныхъ ногахъ поднялся Бартоло и почтительно подалъ не совсѣмъ чистую плевательницу изъ голубого фарфора.

Этотъ второй ухаживатель, какъ шепнулъ мнѣ по-нѣмецки Гумпелино, былъ очень знаменитый писатель, пѣсни котораго, хотя онъ сочинилъ ихъ уже двадцать лѣтъ назадъ, еще теперь звучатъ по всей Италіи, и тѣмъ чудеснымъ любовнымъ огнемъ, который горитъ въ нихъ, опьяняютъ стараго и молодого; а самъ онъ въ настоящее время—бѣдный, состарѣвшійся человѣкъ, съ блѣдными глазами на увядшемъ лицѣ, тощими, бѣлыми волосиками на трясущейся головѣ и холодной бѣдностью въ печальномъ сердцѣ. Такой бѣдный, старый поэтъ, со своей голой деревянностью, похожъ на ту виноградную лозу, которая стоитъ зимой на холодной горѣ, сухая и лишенная вѣтвей, дрожащая отъ вѣтра и покрытая
ъ въ то самое время, когда сладкій сокъ, нѣкогда
ій изъ нея, согрѣваетъ въ самыхъ отдаленныхъ стра-
только бражническихъ сердецъ и вызываетъ изъ нихъ
й. Какъ знать, можетъ-быть, когда типографскій
эти тиски мысли, выдавитъ и меня, а мой старый
духъ можно будетъ найти только въ издательскомъ

погребѣ Гофмана и Кампе, тогда, быть можетъ, самъ я буду сидѣть, такой же тощій и жалкій, какъ бѣдный Бартоло, на скамейкѣ около постели какой-нибудь старой иниморатыи по ея приказанію подавать ей плевательницу.

Синьора Летиція извинилась предо мною, что она лежитъ въ постели и притомъ на животѣ, ибо нарывъ ниже поясницы, выскочившій отъ слишкомъ большого употребленія винныхъ ягодъ, мѣшаетъ ей, какъ прилично порядочной женщинѣ, лежать на спинѣ. Она дѣйствительно лежала, какъ нѣчто въ родѣ сфинкса; высоко завитую голову она подпирала обѣими руками, а между ними плавала ея грудь, какъ красное море.

— Вы нѣмецъ?—спросила она меня.

— Я слишкомъ честенъ, синьора, чтобы отрицать это,— отвѣчала моя милость.

— Ахъ, нѣмцы довольно честны, — со вздохомъ сказала она:—но что проку въ тѣхъ честныхъ людяхъ, которые насъ грабятъ! Вѣдь они совсѣмъ губятъ Италію! Мои лучшіе друзья сидятъ въ миланскихъ тюрьмахъ; только рабство...

— Нѣтъ, нѣтъ!—воскликнулъ маркизъ: — не обвиняйте нѣмцевъ; мы становимся покоренными покорителями, побѣжденными побѣдителями, какъ только пріѣзжаемъ въ Италію; и видѣть васъ, синьора, видѣть васъ и падать къ вашимъ ногамъ—одно и то же.

И разложивъ на полу свой желтый шелковый платокъ, и ставъ на него на колѣни, онъ прибавилъ: — Здѣсь склоняю я колѣни и поклоняюсь вамъ отъ имени всей Германіи.

— Христофоро ди-Гумпелино,—съ томнымъ вздохомъ промолвила синьора, глубоко тронутая:—встаньте и обнимите меня.

Но чтобы нѣжный пастушокъ не попортилъ завивки и румянъ его возлюбленной, она поцѣловала его не въ пламенныя губы, а въ пылающій лобъ, такъ что лицо его опустилось ниже, и руль этого лица—носъ, поплылъ по Красному морю.

— Синьоръ Бартоло!—воскликнулъ я:—позвольте и мнѣ воспользоваться плевательницей.

Синьоръ Бартоло печально улыбнулся, но не пр
ни одного слова, несмотря на то, что онъ послѣ Мец
считался въ Болоньѣ самымъ лучшимъ препода
языковъ. Мы говоримъ неохотно, когда говорить—н
фессія. Онъ служилъ синьорѣ, какъ нѣмой рыцарь
по временамъ приходилось ему по ея приказанію

ватъ стихотвореніе, которое двадцать пять лѣтъ назадъ ъ бросилъ ей на сцену, когда она въ первый разъ выступила въ Болоньѣ въ роли Аріадны. Въ ту пору, вѣроятно, и онъ самъ былъ густоволосъ и пылокъ, быть-можетъ, похожъ на самого Діониса, и его Летиція-Аріадна, безъ сомнѣнія, вакхически бросилась въ его цвѣтущія объятія... Эвоэ, Вакхъ! Въ то время онъ сочинялъ еще много любовныхъ стихотвореній, которыя, какъ выше упомянуто, продолжали сохраняться въ итальянской литературѣ, между тѣмъ какъ самъ поэтъ и его возлюбленная давно сдѣлались макулатурой.

Уже двадцать пять лѣтъ оставалась непоколебимой его вѣрность, и я полагаю, что до самаго своего блаженнаго конца онъ будетъ сидѣть на скамеечкѣ и по приказанію декламировать стихи, или подавать плевательницу. Профессоръ юриспруденціи почти столь же долго влачится въ любовныхъ оковахъ синьоры. Онъ ухаживаетъ за нею до сихъ поръ такъ же усердно, какъ ухаживалъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія, онъ до сихъ поръ еще безжалостно пропускаетъ свои академическія лекціи, когда она требуетъ, чтобы онъ проводилъ ее туда или сюда, и онъ все еще обремененъ всѣми сервитутами истиннаго patito.

Преданная устойчивость этихъ обоихъ обожателей давно разрушившейся красоты есть, можетъ-быть, привычка, можетъ-быть, благоговѣйное почтеніе къ прежнимъ чувствамъ, можетъ-быть, только само чувство, сдѣлавшееся совершенно независимымъ отъ теперешняго состоянія предмета своего прежняго поклоненія и смотрящее на него только глазами воспоминанія. Такъ часто видимъ мы въ католическихъ городахъ стариковъ, преклоняющихъ на улицѣ колѣни предъ изображеніемъ Мадонны, до такой степени уже потускнѣвшимъ и обветшалымъ, что остались лишь немногіе слѣды и черты лица—до такой степени даже, что видишь только углубленіе, въ которомъ стояла картина, и лампу, еще продолжающую висѣть въ немъ. Но старики, такъ набожно стоящіе на колѣняхъ съ четками въ дрожащихъ рукахъ, привыкли дѣлать это съ самыхъ молодыхъ лѣтъ своихъ, и [illegible]вычка продолжаетъ тянуть ихъ въ одинъ и тотъ же [illegible] одно и то же мѣсто, они не замѣчаютъ обветшанія [illegible]образа, да и вѣдь, въ концѣ-концовъ, старость вообще [illegible]людей такими близорукими и слѣпыми, что для [illegible]тельно все равно, видимъ или не видимъ предмет[illegible]поклоненія. Тѣ, которые вѣрятъ, не видя, во вся-

комъ случаѣ счастливѣе людей съ здоровыми глазами, которые тотчасъ же замѣчаютъ малѣйшія морщины на лицѣ своихъ мадоннъ. Ничего нѣтъ ужаснѣе такого усматриванія. Нѣкогда я думалъ, правда, что вѣроломство женщинъ самое ужасное дѣло, и чтобы выразиться какъ можно ужаснѣе, назвалъ ихъ змѣями. Но увы, теперь я знаю, что самое ужасное заключается въ томъ, что онѣ не вполнѣ змѣи, ибо змѣи могутъ каждый годъ сбрасывать съ себя старую кожу и въ новой кожѣ обновляться.

Ревновалъ ли одинъ изъ двухъ античныхъ селадоновъ, видя, что маркизъ, или, вѣрнѣе, его носъ плавалъ такимъ образомъ въ блаженствѣ—этого я не могъ замѣтить. Бартоло сидѣлъ спокойно на своей скамеечкѣ, перекинувъ одну ножонку на другую, и игралъ съ комнатной собачкой синьоры, однимъ изъ тѣхъ красивыхъ животныхъ, родина которыхъ Болонья и которыя поэтому извѣстны у насъ подъ именемъ болонокъ. Профессоръ тоже ненарушимо продолжалъ свое пѣніе, которое по временамъ весело заглушали, пародируя его, милые звуки въ сосѣдней комнатѣ; иногда онъ и самъ прерывалъ свое занятіе и обращался ко мнѣ съ юридическими вопросами. Когда мы не сходились въ своихъ мнѣніяхъ, онъ бралъ поспѣшно аккорды и бренчалъ аргументами. Я же всегда поддерживалъ мое мнѣніе авторитетомъ моего учителя, великаго Гуго, который очень знаменитъ въ Болоньѣ подъ именемъ Угоне, а также Уголино.

— Великій человѣкъ!—воскликнулъ профессоръ, и при этомъ забренчалъ и запѣлъ:

«Его голоса кроткіе звуки
Въ твоемъ сердцѣ живутъ, не смолкая;
Прежде черпалъ ты въ нихъ злыя муки,
Нынче въ нихъ лишь отрада святая.

Очень почитаютъ также въ Болоньѣ Тибо, котораго итальянцы называютъ Тибальдо; но тамъ знакомы не столько съ сочиненіями этихъ людей, сколько съ ихъ главными воззрѣніями и противоположными этимъ послѣднимъ взглядами. Гансъ и Савиньи тоже, какъ оказалось, извѣстны здѣсь только по имени. Савиньи мой болонскій профессоръ талъ ученой женщиной.

— Вотъ что!—сказалъ онъ, когда я вывелъ его изъ легко простительнаго заблужденія:—такъ въ самомъ д женщина? Стало-быть, мнѣ сказали неправду. Мнѣ говорили, что синьоръ Гансъ однажды на балѣ при

эту даму танцовать, получилъ отказъ, и это послужило поводомъ къ литературной враждѣ.

— Вамъ, дѣйствительно, сказали неправду: синьоръ Гансъ никогда не танцуетъ, уже съ той человѣколюбивой цѣлью, чтобы не вызвать землетрясенія. Это приглашеніе танцовать есть, вѣроятно, неправильно истолкованная аллегорія. Историческая школа и философская представлены здѣсь танцорами, и въ такомъ смыслѣ понимается, можетъ-быть, кадриль, составленная изъ Угоне, Тибальдо, Ганса и Савиньи. Можетъ-быть, въ такомъ именно смыслѣ и говорятъ, что синьоръ Угоне, хотя онъ и есть хромой бѣсъ юриспруденціи, выдѣлываетъ, однако, такія же красивыя па, какъ мадамъ Лемьеръ, и что синьоръ Гансъ въ послѣднее время пытался сдѣлать нѣсколько большихъ прыжковъ, благодаря которымъ его признали за танцора Гоге философской школы.

— Синьоръ Гансъ,—поправился профессоръ:—танцуетъ, значитъ, только аллегорически, такъ сказать, метафорически.

Но вдругъ, вмѣсто того, чтобы продолжать, онъ опять ударилъ по струнамъ гитары и подъ самое бѣшеное бренчаніе запѣлъ, какъ бѣшеный:

«Да, для всѣхъ сердецъ блаженство—
Это имя дорогое.
Волны-ль моря бурно воютъ,
Небо-ль скрыто въ грозныхъ тучахъ—
Слышенъ все призывъ къ Тарару,
Словно міръ весь преклонился
Передъ именемъ героя».

Что касается господина Гешена, то профессоръ даже не зналъ о его существованіи. Но это имѣло свои естественныя причины, такъ какъ слава великаго Гешена еще не проникла до Болоньи, а достигла только Поджіо, города, отстоящаго отъ Болоньи еще на четыре мили и въ которомъ нашъ ученый пробудетъ для своего удовольствія еще нѣсколько времени. Самъ Геттингенъ извѣстенъ въ Болоньѣ далеко не такъ, какъ можно бы ожидать въ благодарность уже за то, что онъ обыкновенно называетъ себя нѣмецкой оньей. Справедливо ли это названіе, я изслѣдовать не у, но во всякомъ случаѣ, эти оба университета отли- ся другъ отъ друга тѣмъ простымъ обстоятельствомъ, ъ Болоньѣ самыя маленькія собаки и самые большіе е, а въ Геттингенѣ, напротивъ, самые маленькіе уче- самыя большія собаки.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Когда маркизъ Христофоръ ди-Гумпелино извлекъ свой носъ изъ Краснаго моря, какъ нѣкогда царь Фараонъ, лицо его сіяло въ потѣющемъ самоуслажденіи. Глубоко тронутый, далъ онъ синьорѣ обѣщаніе, что какъ только она будетъ въ состояніи сидѣть, онъ свезетъ ее въ своемъ собственномъ экипажѣ въ Болонью. И тутъ же условились, что профессоръ поѣдетъ впередъ, а Бартоло—въ экипажѣ маркиза, гдѣ онъ очень хорошо можетъ сидѣть на козлахъ и держать на колѣняхъ собачку, и что черезъ двѣ недѣли двинутся во Флоренцію, куда, между тѣмъ, прибудетъ синьора Франческа, отправляющаяся съ миледи въ Пизу. Маркизъ разсчитывалъ на пальцахъ издержки и мурлыкалъ: «Di tanti palpiti», синьора въ это время пускала громчайшія трели, а профессоръ бурно колотилъ по струнамъ гитары и пѣлъ при этомъ такія пламенныя слова, что потъ капалъ у него со лба, а слезы бѣжали изъ глазъ, и все это соединялось на его красномъ лицѣ въ одну широкую рѣку. Среди этого пѣнія и бренчанья дверь сосѣдней комнаты вдругъ распахнулась, и къ намъ влетѣло существо...

Васъ, музы стараго и новаго міра, даже васъ, музы, еще не открытыя, которыхъ будутъ чтить только позднѣйшія поколѣнія и появленія которыхъ я давно уже предчувствую въ лѣсу и на морѣ, васъ заклинаю я дать мнѣ краски для того, чтобы я могъ изобразить существо, которое послѣ добродѣтели есть самое великолѣпное изъ всего созданнаго. Добродѣтель—это понимается само собою—есть первое изъ всѣхъ великолѣпій. Создатель міра украсилъ ее столькими прелестями, что, казалось, не будетъ у Него возможности создать что-нибудь еще болѣе чудное; но Онъ собралъ еще разъ всѣ свои силы и въ хорошій часъ сотворилъ синьору Франческу, прелестную танцовщицу, величайшее произведеніе, появившееся на свѣтъ послѣ созданія добродѣтели, и въ которомъ авторъ его отнюдь не повторился, какъ земные мастера, въ позднѣйшихъ созданіяхъ которыхъ красоты прежнихъ снова выступаютъ, какъ бы взятыя взаймы. Нѣтъ, синьора Франческа вся подлинникъ, она не имѣетъ ни лѣйшаго сходства съ добродѣтелью, и есть знатоки, знающіе ее столь же великолѣпной, какъ и добродѣтел за добродѣтелью, созданною раньше, признаютъ только имущество старшинства. Но развѣ большой недост когда танцовщица моложе тысячъ на шесть лѣтъ?

Ахъ, я снова вижу, какъ она выпорхнула изъ распахнувшейся двери на средину комнаты, въ то же мгновеніе повернулась на одной ногѣ несчетное число разъ, затѣмъ во всю длину протянулась на диванѣ, закрыла обѣими руками глаза и, задыхаясь, вскричала: «Ахъ, я такъ устала отъ спанья!» И вотъ приближается къ ней маркизъ, и произноситъ рѣчь на свой ироническо-широкопочтительный тонъ, совершенно загадочно противорѣчившій его отрывистой лаконичности въ практическихъ дѣловыхъ воспоминаніяхъ и его пошлой расплывчивости при сентиментальномъ настроеніи. Эта манера не была, однако, въ немъ неестественна, она, быть-можетъ, выработалась въ немъ естественно, оттого, что у него не доставало смѣлости открыто высказывать то первенство, на которое онъ, какъ ему казалось, имѣлъ право, благодаря своимъ деньгамъ и уму, вслѣдствіе чего онъ малодушно старался маскировать его словами самаго преувеличеннаго смиренія. Его широкая улыбка въ подобныхъ случаяхъ имѣла въ себѣ нѣчто непріятно забавное, такъ что слушавшіе его не знали—побить или похвалить его слѣдуетъ. Такимъ тономъ произнесъ онъ свою утреннюю рѣчь предъ синьорой Франческой, которая, еще не совсѣмъ очнувшись отъ сна, едва слушала его, и когда онъ въ заключеніе попросилъ позволенія поцѣловать ей ноги, по крайней мѣрѣ лѣвую, и для этого дѣла очень заботливо разостлалъ на полу свой желтый шелковый платокъ, и сталъ на немъ на колѣни, она равнодушно протянула ему лѣвую ногу, обутую въ прелестнѣйшій красный башмакъ, въ противоположность правой ногѣ, покоившейся въ синемъ башмакѣ—забавное кокетство, съ тою цѣлью, чтобы нѣжная и милая форма ногъ становилась еще замѣтнѣе. Почтительно поцѣловавъ маленькую ногу, маркизъ всталъ со своимъ обычнымъ вздохомъ «О, Іисусе!» и попросилъ позволенія представить меня, своего друга, на что также послѣдовало сопровождаемое зѣвотою разрѣшеніе, причемъ онъ разсыпался въ похвалахъ моимъ достоинствамъ и увѣрялъ своимъ кавалерскимъ словомъ, что я превосходно воспѣвалъ несчастную любовь.

Я тоже попросилъ у синьоры милостиваго разрѣшенія поцѣловать лѣвую ногу, и въ ту минуту, когда меня допустили къ этой чести, она какъ бы очнулась отъ полусна, съ улыбкой склонилась ко мнѣ, посмотрѣла на меня большими изумленными глазами, весело выпрыгнула на средину комнаты и снова повернулась безчисленное число разъ на

одной ногѣ. Я странно чувствовалъ, какъ мое сердце тоже постоянно вертѣлось вмѣстѣ съ нею и дошло, наконецъ, почти до обморока, а профессоръ въ это время весело ударялъ по струнамъ гитары и пѣлъ:

«Пѣвица оперы избрала
Меня въ мужья, невѣстой стала,
И бракъ нашъ заключился вскорѣ—
О, горе, бѣдному мнѣ, горе!
«Но оказали мнѣ услугу
Корсары: имъ свою супругу
Успѣлъ продать я очень скоро...
Прекрасно! браво! браво! фора!..

Синьора Франческа снова пристально осмотрѣла меня съ ногъ до головы и затѣмъ, съ довольнымъ выраженіемъ лица, поблагодарила маркиза, точно я былъ подарокъ, который онъ любезно поднесъ ей. Недостатковъ во мнѣ она нашла немного, только волосы мои показались ей слишкомъ свѣтло-коричневыми; ей бы хотѣлось, чтобы они были темнѣе, какъ волоса у аббата Чекко. Глаза мои тоже нашла она слишкомъ маленькими и болѣе зелеными, чѣмъ голубыми. Въ отплату за это мнѣ слѣдовало бы, любезный читатель, изобразить и синьору Франческу тоже съ ея недостатками, но я, право, не нашелъ ни одного въ этой прелестной, почти легкомысленно созданной, граціозной фигурѣ. Лицо тоже было божественно пропорціонально, какъ у греческихъ статуй. Лобъ и носъ составляли одну отвѣсно прямую линію. Чудесный прямой уголъ образовывала съ ней нижняя линія носа, прелестная въ своемъ короткомъ протяженіи. Точно такъ же невелико было разстояніе между носомъ и ртомъ, губы котораго едва сходились по обоимъ концамъ и скрашивались мечтательной улыбкой; подъ ними закруглялся красивый полный подбородокъ, а шея... Ахъ, добродѣтельный читатель, я захожу слишкомъ далеко, и кромѣ того, въ этомъ вступительномъ описаніи не имѣю еще права говорить о двухъ безмолвныхъ цвѣткахъ, которые блестѣли предъ моими глазами, какъ бѣлая поэзія, когда синьора растегивала серебряныя запонки своего чернаго шелковаго платья... Любезный читатель, подымемся лучше къ описанію лица, о которомъ я могу еще въ дополненіе сказат что оно было прозрачное и блѣдно-желтое, какъ янтарь, ч оть черныхъ волосъ, которые блестяще гладкими овала покрывали виски, оно получало дѣтскую округленность, что его освѣщали какъ волшебный свѣтъ, два черны быстрыхъ глаза.

Ты видишь, любезный читатель, что я очень желалъ бы представить тебѣ основательное описаніе моего блаженства, и подобно тому, какъ другіе путешественники прилагаютъ къ своимъ произведеніямъ еще особенныя карты исторически важныхъ или въ другихъ отношеніяхъ замѣчательныхъ мѣстностей, такъ и я желалъ бы вырѣзать Франческу на мѣди. Но, ахъ какой прокъ изъ мертвой копіи внѣшнихъ очертаній тѣхъ формъ, божественнѣйшая прелесть которыхъ состоитъ въ живыхъ движеніяхъ! Даже самый лучшій живописецъ не въ состояніи наглядно передать ихъ, потому что живопись есть вѣдь ничто иное, какъ плоская ложь. Скорѣе могъ бы сдѣлать это скульпторъ; измѣняющимся освѣщеніемъ мы можемъ въ статуяхъ представлять себѣ отчасти движенія формъ, и факелъ, кидающій на нихъ свѣтъ только снаружи, какъ будто оживляетъ ихъ и внутри. Да, есть одна статуя, которая могла бы дать тебѣ, любезный читатель, мраморное понятіе о красотѣ Франчески—и это «Венера» великаго Кановы, которую ты можешь найти въ одной изъ послѣднихъ залъ палаццо Питти во Флоренціи. Я часто думаю теперь объ этой статуѣ, иногда грезится мнѣ, что она лежитъ въ моихъ объятіяхъ, и постепенно оживаетъ и, наконецъ, шепчетъ мнѣ голосомъ Франчески. Но очаровательнѣйшее, безконечнѣйшее значеніе придавалъ каждому изъ ея словъ звукъ этого голоса, и если бы я сталъ передавать тебѣ ея слова, то изъ этого вышелъ бы только сухой гербарій цвѣтовъ, получающихъ свою величайшую цѣнность телько отъ своего благоуханія. При этомъ еще она часто вскакивала и плясала, и, можетъ-быть, пляска и была ея истиннымъ языкомъ. Но сердце мое плясало вмѣстѣ съ нею, и исполняло труднѣйшія па, и при этомъ обнаруживало такое танцовальное волненіе, какого я никогда не ожидалъ отъ него. Такимъ способомъ разсказала мнѣ Франческа и исторію объ аббатѣ Чекко, молодомъ парнѣ, который былъ влюбленъ въ нее въ ту пору, когда она еще плела соломенныя шляпы въ долинѣ Арно, и, по ея словамъ, я имѣлъ счастье быть похожимъ на него. При этомъ она выдѣлывала нѣжнѣйшія пантомимы, нѣсколько разъ при-
а пальцы къ сердцу, затѣмъ какъ бы вынимала ла-
оттуда нѣжнѣйшія чувства и, наконецъ, бросалась всей
на диванъ, прятала лицо въ подушки, протягивала
рхъ и дѣйствовала ими, какъ деревянными куклами.
ага представляла у нея аббата Чекко, а красная—
анческу, и пародируя свою собственную исторію,

она изображала прощаніе обѣихъ влюбленныхъ ногъ; тр-
гательно и вмѣстѣ забавно было зрѣлище, какъ обѣ о-
цѣловались носками и говорили другъ другу нѣжнѣйш
вещи, а при этомъ сумасшедшая дѣвушка проливала за-
бавно хихикающія слезы, которыя, однако, по временам
безсознательно выходили изъ ея души глубже, чѣмъ то
требовала роль. Она вложила также въ уста аббата Чекк
длинную рѣчь, въ которой онъ педантическими метафорам
прославлялъ красоту бѣдной Франчески, и въ манерѣ, ка-
кою она заставила отвѣчать бѣдную Франческу и копиро-
вала свой собственный голосъ въ сентиментальности про-
шедшаго времени, было нѣчто кукольно-печальное, страни
взволновавшее меня. «Прощай, Чекко; прощай, Франческа!»
таковъ былъ постоянный припѣвъ. Влюбленныя ноги ни-
какъ не могли разстаться, и когда, наконецъ, неумолимая
судьба разлучила ихъ, я, обрадовался, между тѣмъ какъ
странное предчувствіе шептало мнѣ, что для меня было бы
несчастіемъ, если бы любящаяся чета постоянно оставалась
вмѣстѣ.

Профессоръ аплодировалъ шутовскимъ бренчаньемъ на
гитарѣ, синьора пускала трели, собачонка лаяла, маркизъ и
я хлопали въ ладоши, какъ бѣшеные, а синьора Франческа
встала и съ благодарностью поклонилась.

— Это, дѣйствительно, прекрасная комедія,—сказала она
мнѣ:—но первое представленіе ея состоялось уже давно, и
я сама теперь также стара... Угадайте, сколько мнѣ лѣтъ?—
Но она не дождалась моего отвѣта, быстро продолжала:
«восемнадцать лѣтъ» и при этомъ повернулась не менѣе
восемнадцати разъ на одной ногѣ.—А сколько лѣтъ вамъ,
dottore?

— Я, синьора, родился въ ночь на новый годъ, 1800 года.

— Да вѣдь я вамъ уже говорилъ,—замѣтилъ маркизъ:—
что онъ одинъ изъ первыхъ людей нынѣшняго столѣтія.

— А сколько лѣтъ дадите вы мнѣ? — вдругъ спросила
синьора Летиція и, забывъ о своемъ Евиномъ костюмѣ, ко-
торый до тѣхъ поръ скрывало одѣяло, такъ стремительно
поднялась, что передъ нами явились не только Красное
море, но и вся Аравія, Сирія и Месопотамія.

Я при этомъ ужасномъ зрѣлищѣ въ испугѣ от
пробормоталъ нѣсколько фразъ о затруднительно
нія такого вопроса, такъ какъ я видѣлъ синьору
только наполовину; но такъ какъ она спраш
лѣе и болѣе настоятельно, то я сказалъ ей п

что не умѣю еще вычислять отношенія между итальянскими годами и нѣмецкими.

— А развѣ разница велика?—спросила синьора Летиція.

— Само собою разумѣется, — отвѣчалъ я: — такъ какъ жара расширяетъ всѣ тѣла, то годы въ теплой Италіи гораздо длиннѣе, чѣмъ въ холодной Германіи.

Маркизъ лучше вывелъ меня изъ затрудненія,—галантно замѣтивъ, что ея красота только теперь развернулась въ самой пышной зрѣлости. «И синьора, — прибавилъ онъ:— какъ померанецъ: чѣмъ она старше, тѣмъ становится желтѣй. Такъ и ваша красота съ каждымъ годомъ дѣлается все зрѣлѣе».

Синьорѣ, повидимому, это сравненіе понравилось, и она тоже созналась, что чувствуетъ себя зрѣлѣе, чѣмъ прежде, особенно сравнительно съ тѣмъ временемъ, когда она еще была худенькою и въ первый разъ выступала на сценѣ въ Болоньѣ, и что ей до сихъ поръ еще не понятно, какъ она въ такомъ видѣ могла производить такой фуроръ. И тутъ она разсказала свой дебютъ въ роли Аріадны, къ чему, какъ я впослѣдствіи открылъ, она возвращалась очень часто, причемъ и синьоръ Бартоло обязанъ былъ каждый разъ декламировать то стихотвореніе, которое онъ ей тогда бросилъ на сцену. Это было хорошее стихотвореніе, полное трогательной скорби о вѣроломствѣ Тезея, полное слѣпого воодушевленія Бахусомъ и цвѣтистаго прославленія Аріадны. «Bella cosa!» — восклицала синьора Летиція при каждой строфѣ. Я тоже хвалилъ образы, стихъ и всю обработку этого миѳа.

— Да, оно очень хорошо, — сказалъ профессоръ:—и въ основаніи его несомнѣнно лежитъ историческая правда, ибо нѣкоторые авторы положительно сообщаютъ намъ, что Эней, одинъ изъ жрецовъ Бахуса, женился на скорбящей Аріаднѣ, когда онъ ее нашелъ покинутою на островѣ Наксосѣ, и какъ часто случается въ легендѣ, жрецъ бога превратился въ самого бога.

Я не могъ согласиться съ этимъ мнѣніемъ, потому что въ миѳологіи склоняюсь больше къ историческому толкованію, и возразилъ:

о всей сказкѣ о томъ, что Аріадна, послѣ того, какъ
юкинулъ ее на Наксосѣ, бросилась въ объятія Ба-
е вижу ничего иного, какъ аллегорію, что она пре-
нству—гипотеза, которую раздѣляютъ со мною
ые моей родины. Вы, синьоръ маркезе, вѣроятно,

знаете, что покойный банкиръ Бетманъ въ смыслѣ этой гі
потезы умѣлъ такъ освѣщать свою Аріадну, что она пре
ставлялась какъ бы съ краснымъ носомъ.

— Да, да, Бетманъ во Франкфуртѣ былъ великій чел
вѣкъ!—вскричалъ маркизъ;—но въ эту самую минуту н
что важное, повидимому, пробѣжало въ его головѣ, и он
со вздохомъ сказалъ себѣ: «Господи, Господи, я забылъ н
писать во Франкфуртъ Ротшильду!» И съ серьезной, дѣл
вой миной, при которой исчезла всякая пародистическа
шутливость, онъ поспѣшно, безъ всякихъ церемоній, пр
стился и обѣщалъ вернуться вечеромъ.

Когда онъ вышелъ, и я, какъ водится обыкновенно в
свѣтѣ, намѣревался высказать мои комментаріи о том
именно человѣкѣ, благодаря добротѣ котораго я пріобрѣл
пріятнѣйшее знакомство, то, къ моему удивленію, увидѣл
что всѣ присутствующіе не могли достаточно нахвалитьс
имъ и что всѣ особенно прославляли въ самыхъ преувел
ченныхъ выраженіяхъ его восторженное служеніе красот
его благородно тонкое поведеніе и его безкорыстіе. Синьор
Франческа также вторила этой хвалебной пѣснѣ, но созна
лась, что его носъ внушаетъ нѣкоторыя опасенія и всегд
напоминаетъ пизанскую башню. Я снова попросилъ мил
стиваго позволенія поцѣловать ея лѣвую ногу, и она, с
улыбающейся серьезностью, сняла красный башмакъ,
также и чулокъ, и когда я сталъ на колѣни, протянул
мнѣ бѣлую цвѣтущую, лилейную ножку, которую я прижал
къ губамъ, можетъ-быть, болѣе почтительно, чѣмъ сдѣлал
бы это съ ногой папы. Само собою разумѣется, что я испол
нилъ также должность горничной и помогъ снова натянут
чулокъ и башмакъ.

— Я вами довольна, — сказала синьора Франческа п
окончаніи этого дѣла, за которымъ я не очень спѣшилъ,
хотя приводилъ въ движеніе всѣ свои десять пальцевъ: — я
вами довольна: вы будете часто надѣвать мнѣ чулки. Се-
годня вы поцѣловали лѣвую ногу, завтра въ ваше распо-
ряженіе будетъ отдана правая, послѣзавтра поцѣлуете вы
мою лѣвую руку, а день спустя и правую. Если будете ве-
сти себя хорошо, то впослѣдствіи я предоставлю вамъ
и т. д. Вы видите, что я охотно даю вамъ ходъ, и
какъ вы еще молоды, то можете далеко пойти впере

И я далеко пошелъ впередъ! Въ этомъ будьте сви
вы, тосканскія ночи, ты, свѣтло-голубое небо съ бо
серебряными звѣздами, вы, дикіе лавровые кусты и

ственныя мирты, и вы, о, нимфы Апенинскихъ горъ, порхавшія вокругъ насъ въ брачныхъ пляскахъ и уносившіяся въ грезахъ въ ту лучшую пору боговъ, когда еще не было никакой готической лжи, которая дозволяетъ только слѣпыя наслажденія, ощупью, въ скрытыхъ мѣстахъ, и на каждое свободное чувство накладываетъ свой лицемѣрный виноградный листъ!

А тутъ не нужно было никакихъ особенныхъ виноградныхъ листьевъ, потому что цѣлый кустъ широко раскинутыми вѣтвями шумѣлъ надъ головами счастливцевъ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Что такое побои—это извѣстно, но что такое любовь—этого еще никто не разъяснилъ. Нѣкоторые натуръ-философы утверждали, что она есть нѣчто въ родѣ электричества. Это возможно потому, что въ ту минуту, какъ влюбляешься, на душѣ у насъ такъ, какъ будто электрическій токъ внезапно прошелъ изъ глазъ возлюбленной въ наше сердце. Ахъ! эти молніи самыя опасныя, и того, кто найдетъ отводъ противъ нихъ, я буду чтить выше, чѣмъ Франклина. Какъ было бы хорошо, если бы существовали маленькіе громоотводы, которые можно было бы носить на сердцѣ и на которыхъ былъ бы устроенъ проводникъ для направленія ужаснаго огня въ какое-нибудь другое мѣсто! Но врядъ ли у маленькаго Амура можно отнять его стрѣлы такъ же легко, какъ у Юпитера его громы и у тирановъ ихъ скипетръ. При томъ же не всякая любовь дѣйствуетъ, какъ молнія, иногда она подстерегаетъ, какъ змѣя подъ розами, и какъ только увидитъ трещинку въ сердцѣ, такъ и проскользнетъ туда. Иногда одно слово, одинъ взглядъ, разсказъ о чемъ-нибудь совершенно незначительномъ, падаетъ въ наше сердце, какъ свѣтлое зерно, лежитъ затѣмъ тамъ всю зиму, пока не наступитъ весна и маленькое зерно не распустится пламеннымъ цвѣткомъ, благоуханіе котораго ошеломляетъ голову. То самое солнце, которое въ долинѣ Нила выводитъ изъ яицъ крокодиловъ, можетъ въ то же время въ Потсдамѣ, на Гавели, дать созрѣть зерну любви [illegible]одомъ сердцѣ—и тогда въ Египтѣ и въ Потсдамѣ [illegible]слезы. Но слезы далеко еще не объясненіе... Что [illegible]бовь? Изслѣдовалъ ли кто-нибудь ея сущность, [illegible]ъ ли кто-нибудь загадку? Быть-можетъ, разрѣшеніе [illegible]етъ больше муки, чѣмъ сама загадка, и сердце [illegible] каменѣетъ предъ ней, какъ предъ взглядомъ

Медузы. Змѣи вьются вокругъ страшнаго слова, разрѣшающаго загадку... О, я не хочу никогда знать это разгадывающее слово; жгучее страданіе въ моемъ сердцѣ для меня еще пріятнѣе холоднаго окаменѣнія. О, не выговаривайте его вы, умершіе образы, безскорбно, какъ камень, но безчувственно, какъ камень, проходящіе по цвѣтущимъ садамъ этого міра и блѣдными губами смѣющіеся надъ глупымъ человѣкомъ, который восхваляетъ благоуханіе розъ и жалуется на шипы.

Но если, любезный читатель, я не могу тебѣ сказать что̀ такое собственно любовь, то могъ бы совершенно подробно разсказать, какъ человѣкъ ведетъ себя и какъ у него на душѣ, когда онъ влюбится на Апенинахъ. Ведетъ онъ себя какъ сумасшедшій, пляшетъ по холмамъ и утесамъ и воображаетъ, что весь міръ пляшетъ вмѣстѣ съ нимъ, а на душѣ у него такъ, какъ будто міръ созданъ только сегодня и онъ первый человѣкъ. Ахъ, какъ прекрасно все!—ликуя, вскричалъ я, когда вышелъ отъ Франчески;—какъ прекрасенъ и драгоцѣненъ этотъ новый міръ! Мнѣ казалось, что я долженъ дать имя всѣмъ растеніямъ и животнымъ. Я называлъ всѣ предметы по ихъ внутреннимъ свойствамъ и по моему собственному чувству, которое такъ чудно сливалось съ внѣшнимъ міромъ. Моя грудь была источникъ откровенія, я понималъ всѣ формы и образы, благоуханіе растеній, пѣнье птицъ, свистъ вѣтра и шумъ водопадовъ. По временамъ слышалъ я и божественный голосъ: «Адамъ, гдѣ ты?» «Здѣсь я, Франческа!—восклицалъ я:—я обожаю тебя, потому что знаю несомнѣнно, что это ты создала солнце, луну и звѣзды, и землю со всѣми ея тварями!» И тутъ въ миртовыхъ кустахъ слышался шаловливый смѣхъ, и я говорилъ про себя съ тайнымъ восторгомъ: О, сладкое безуміе, не покидай меня!

Но только позже, когда наступили сумерки, началось истинное безумное блаженство любви. Деревья на горахъ плясали, качая тяжелыми головами, которыя уходящее солнце озаряло такимъ багровымъ свѣтомъ, что они, казалось, были опьянены своими собственными виноградными гроздьями. Внизу ручей бѣжалъ торопливо и шумѣлъ ро[illegible] какъ будто боялся, чтобъ восторженно шатающіяся [illegible] не повалились на землю. А на небѣ, какъ свѣтлые поц[illegible] мелькали чудесныя зарницы. «Да,—воскликнулъ я:—рад[illegible] смѣющееся небо цѣлуетъ возлюбленную землю! О, [illegible]ческа, прекрасное небо, дай мнѣ быть твоей землей, я

весь земной и жадно рвусь къ тебѣ, мое небо!» Такъ восклицалъ я, и съ мольбой протягивалъ руки, и наталкивался головою на деревья, и вмѣсто того, чтобы браниться, обнималъ ихъ, и душа моя ликовала въ опьяненіи любовью—какъ вдругъ я увидѣлъ блестящую пурпурную фигуру, которая заставила меня разомъ очнуться отъ всѣхъ моихъ грезъ и вернула къ самой освѣжающей дѣйствительности.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

На дерновомъ возвышеніи, подъ широкимъ лавровымъ деревомъ, сидѣлъ Гіацинтъ, слуга маркиза, и около него Аполлонъ, его собака. Собака, впрочемъ, скорѣе стояла, такъ какъ переднія лапы она положила на пурпурныя колѣни маленькаго человѣчка и съ любопытствомъ смотрѣла, какъ онъ, держа въ рукахъ аспидную доску, по временамъ кое-что записывалъ на ней, тоскливо улыбался, покачивая головенкой, глубоко вздыхалъ и затѣмъ съ удовольствіемъ сморкался.

— Гиршъ-Гіацинтусъ!—воскликнулъ я:—за какимъ чортомъ ты здѣсь? Ужъ не стихи ли сочиняешь? Ну, чтожъ, обстановка благопріятная, Аполлонъ рядомъ съ тобою, и лавръ уже теперь виситъ надъ твоею головою.

Но я былъ несправедливъ къ бѣдняку. Онъ съ нѣжной кротостью отвѣчалъ:

— Стихи? Нѣтъ, я люблю стихи, но все-таки не пишу ихъ. Что мнѣ ихъ писать? Мнѣ въ настоящую минуту нечего было дѣлать, и я для своего удовольствія сталъ составлять списокъ тѣхъ друзей, которые нѣкогда брали лотерейные билеты въ моей конторѣ... Нѣкоторые изъ нихъ остались мнѣ даже должны—не думайте только, господинъ докторъ, что я вамъ напоминаю; время терпитъ, въ васъ я увѣренъ. Возьми вы у меня въ послѣдній разъ вмѣсто 1364-го 1365-й номеръ, теперь бы у васъ было сто тысячъ марокъ капиталу, и незачѣмъ вамъ было бы таскаться здѣсь, и могли бы вы спокойно сидѣть въ Гамбургѣ, спокойно и пріятно, и могли бы, сидя на софѣ, слушать раз-
о томъ, каково живется въ Италіи. Богъ мнѣ сви-
, что я сюда поѣхалъ только изъ любви къ господину
ю. Ахъ, сколько жары, и опасностей, и усталости
ся мнѣ выносить! Гдѣ только явится вздорная вы-
и сумасбродное дѣло, господинъ Гумпель ужъ тутъ,
—и я принужденъ не отставать отъ него. Давно

уже разстался бы я съ нимъ, если бы онъ могъ обойтись безъ меня. Ибо кто же разскажетъ потомъ дома, какимъ почетомъ пользовался онъ за границей, сколько образованія получилъ онъ? Я же, коли говорить вамъ правду, я самъ начинаю придавать большую цѣну образованію. Въ Гамбургѣ оно, слава Богу, мнѣ не нужно, но вѣдь не знаешь, что будетъ съ тобою, въ какое другое мѣсто попадешь. Теперь міръ совсѣмъ другой сталъ, и люди правы: немножко образованія все-таки очень украшаетъ человѣка. И какой почетъ отъ него! Напримѣръ, леди Максфильдъ, какъ она приняла меня сегодня и какъ чествовала! Совершенно параллельно какъ своего равнаго, и дала мнѣ одинъ франческоне на водку, хотя цвѣтокъ стоилъ только 5 паоли. Притомъ же большое удовольствіе, когда подержишь въ рукахъ маленькую бѣлую ножку хорошенькой дамской персоны.

Меня немало смутило это послѣднее замѣчаніе, и я подумалъ: ужъ это не колкая ли насмѣшка? Но какъ могъ этотъ бездѣльникъ уже узнать о счастіи, выпавшемъ на мою долю въ тотъ же самый день, въ тотъ же самый часъ, когда онъ былъ на противоположной сторонѣ горы? Ужъ не происходила ли тамъ такая же сцена, ужъ не проявилъ ли великій режиссеръ всемірнаго театра свою иронію въ томъ, что онъ, быть-можетъ, заставлялъ разыгрывать къ удовольствію небесныхъ зрителей еще тысячи подобныхъ сценъ, которыя въ одно и то же время пародировали одна другую? Однако, оба эти предположенія оказались неосновательными, ибо послѣ нѣсколькихъ вопросовъ и моего обѣщанія ничего не выдавать маркизу, бѣднякъ сознался мнѣ, что въ ту минуту, когда онъ подалъ ей тюльпанъ, она еще лежала въ постели; въ то мгновеніе, когда онъ собирался начать свое прекрасное привѣтствіе, одна изъ ея ножекъ вышла изъ-подъ одѣяла, и такъ какъ онъ замѣтилъ на ней мозоль, то тотчасъ же попросилъ позволеніе вырѣзать его, а получивъ разрѣшеніе и исполнивъ это дѣло, получилъ въ награду, равно какъ и за принесеніе цвѣтка, одинъ франческоне.

— Но для меня главное дѣло высокій почетъ,—прибавилъ Гіацинтъ:—я это сказалъ и барону Ротшильду, когда имѣлъ честь вырѣзать у него мозоль. Это происходило его кабинетѣ, онъ сидѣлъ при этомъ на зеленомъ кресл какъ на тронѣ, и говорилъ, какъ король, и вокругъ сто его маклера, и онъ давалъ свои приказанія и отправ

эстафеты ко всѣмъ королямъ, и я, вырѣзывая ему въ это время мозоль, думалъ въ душѣ: ты держишь теперь въ рукахъ ногу человѣка, который самъ держитъ въ рукахъ весь міръ, и ты тоже важный человѣкъ, ибо подрѣжь ты ему мозоль слишкомъ сильно, онъ разсердится и подрѣжетъ самыхъ могущественныхъ королей еще сильнѣе... То была счастливѣйшая минута въ моей жизни!

— Я могу себѣ представить это прекрасное чувство, господинъ Гіацинтъ. Но какого изъ Ротшильдовской династіи вы ампутировали такимъ образомъ? Великодушнаго ли британца, живущаго въ Ломбардной улицѣ, устроившаго заемный банкъ для императоровъ и королей?

— Само собою разумѣется, господинъ докторъ, я разумѣю великаго Ротшильда, великаго Натана Ротшильда. Натана мудраго, у котораго бразильскій императоръ заложилъ свою бриллiантовую корону. Но я имѣлъ также честь познакомиться съ барономъ Соломономъ Ротшильдомъ во Франкфуртѣ, и если не пользовался интимностью его ноги, то все-таки онъ достаточно цѣнилъ меня. Когда господинъ маркизъ сообщилъ ему, что я нѣкогда былъ лотерейнымъ коллекторомъ, то баронъ замѣтилъ очень остроумно: «Я вѣдь тоже нѣчто въ этомъ родѣ: я вѣдь оберъ-коллекторъ Ротшильдовскихъ лотерейныхъ билетовъ, и отнюдь не допущу моего коллегу обѣдать съ прислугой, онъ будетъ обѣдать за моимъ столомъ»... И какъ Богъ святъ, господинъ докторъ, я сидѣлъ рядомъ съ Соломономъ Ротшильдомъ, и онъ обращался со мною, какъ съ своимъ равнымъ, совершенно фамиліонерно. Былъ я у него и на знаменитомъ дѣтскомъ балѣ, описанномъ въ газетахъ. Такой роскоши не увижу я во всю свою жизнь. Вѣдь былъ же я въ Гамбургѣ на одномъ балѣ, который стоилъ 1.500 марокъ и 8 шилинговъ! Но это было то же, что кучка сору въ сравненіи съ большой кучей навоза. Сколько золота и серебра, и брильянтовъ пришлось мнѣ тамъ увидѣть! Сколько звѣздъ и орденовъ! Орденъ Сокола, Золотое Руно, орденъ Льва, орденъ Орла....: даже совсѣмъ маленькій ребенокъ, увѣряю васъ, совсѣмъ маленькій ребенокъ, былъ съ орденомъ Слона. Дѣти были прекрасно маскированы, играли [illegible]мъ и были одѣты королями, съ коронами на голо- [illegible] одинъ былъ одѣтъ совершенно такъ, какъ старый [illegible] Ротшильдъ. Онъ разыгрывалъ свою роль очень [illegible] держалъ обѣ руки въ карманахъ панталонъ, брен- [illegible]гами, сердито отряхивался, когда какой-нибудь [illegible]кихъ королей просилъ у него взаймы, и только

мальчика въ бѣломъ мундирѣ и въ красныхъ панталонахъ привѣтливо трепалъ по щекѣ и хвалилъ его: «Ты мое удовольствіе, мой любимецъ, мое украшеніе, но твой родственникъ Михель пусть убирается отъ меня подальше, я этому дураку не дамъ ни копейки, потому что онъ каждый день тратитъ людей больше, чѣмъ можетъ потратить въ одинъ годъ, и изъ-за него не одно еще несчастіе случится въ мірѣ, мои дѣла пострадаютъ отъ этого». Божусь вамъ, что мальчикъ дѣлалъ свое дѣло очень хорошо, особенно когда поддерживалъ толстое дитя, завернутое въ бѣлый атласъ съ настоящими серебряными лиліями, помогалъ ему ходить и по временамъ говорилъ: «Ну, ну, ну, веди ты себя только хорошо, кормись честно, смотри, чтобы тебя опять не прогнали, а то я потеряю свои деньги». Увѣряю васъ, господинъ докторъ, истинное удовольствіе было слышать этого мальчика. Да и другія дѣти, всѣ очень милыя дѣти, отлично разыгрывали свои роли—до тѣхъ поръ, пока имъ не принесли пирожки,—и вотъ тутъ они начали драться за лучшіе куски, и срывали другъ у друга съ головы короны, и кричали, и плакали, а нѣкоторые даже...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Нѣтъ на этой землѣ ничего скучнѣе чтенія описаній путешествія по Италіи. Скучнѣе развѣ только писать ихъ, и сдѣлать себя сноснымъ авторъ можетъ только въ томъ случаѣ, если какъ можно меньше говорить о самой Италіи. Несмотря на то, что я вполнѣ примѣняю этотъ искусный пріемъ, все-таки не могу обѣщать тебѣ, любезный читатель, въ слѣдующихъ главахъ много занимательнаго. Если при скучныхъ вещахъ, которыя ты встрѣтишь тамъ, станетъ тебѣ очень скучно, то утѣшайся вмѣстѣ со мною, которому выпало на долю даже писать всѣ эти вещи. Совѣтую тебѣ пропускать тутъ и тамъ по нѣсколько страницъ, такимъ образомъ ты скорѣе окончишь книжку...

Ахъ какъ бы мнѣ хотѣлось сдѣлать то же самое! Не думай только, что я шучу. Коли хочешь знать серьезно мое искреннее мнѣніе насчетъ этой книги, то я совѣтую тебѣ закрыть ее уже теперь и совсѣмъ не читать дальше. В близкомъ будущемъ я напишу тебѣ кое-что получше, и если въ слѣдующей книгѣ, въ «Городѣ Луккѣ» мы встрѣтимся опять съ Матильдой и Франческой, то милыя образы придутся тебѣ по сердцу гораздо больше, чѣмъ настоящая *слѣдующія* главы.

Слава Богу! Предъ моимъ окномъ зазвучала шарманка веселыми мелодіями. Для моей мрачной головы необходимо подобное развлеченіе, особенно потому, что мнѣ предстоитъ здѣсь описать мой визитъ къ его превосходительству, маркизу Христофоро ди-Гумпелино. Эту трогательную исторію я опишу тебѣ очень подробно, съ буквальной точностью, въ самой грязной чистотѣ.

Было уже поздно, когда я пришелъ въ квартиру маркиза. Въ ту минуту, какъ я вошелъ въ комнату, Гіацинтъ былъ одинъ и чистилъ золотыя шпоры своего барина, который, какъ я могъ замѣтить сквозь полуотворенную дверь его спальни, стоялъ на колѣняхъ предъ изображеніемъ Мадонны съ Младенцемъ и большимъ распятіемъ.

Тебѣ именно нужно знать, любезный читатель, что маркизъ этотъ знатный человѣкъ, сдѣлался теперь истиннымъ католикомъ, что онъ строго исполняетъ обряды католической церкви, и даже, когда бываетъ въ Римѣ, держитъ при себѣ духовника по той же самой причинѣ, по какой въ Англіи онъ содержитъ лучшихъ скороходовъ, а въ Парижѣ—самую красивую танцовщицу.

— Г. Гумпель въ настоящую минуту молится,—шепнулъ Гіацинтъ съ важной улыбкой и, указавъ пальцемъ на спальню своего господина, прибавилъ еще тише:

— Вотъ такимъ образомъ стоитъ онъ по два часа на колѣняхъ предъ изображеніемъ Мадонны съ Младенцемъ. Это чудеснѣйшая картина и стоитъ ему шестьсотъ франковъ.

— А вы, г. Гіацинтъ, отчего вы не стоите на колѣняхъ позади его? Или, быть-можетъ, вы не приверженецъ католической религіи?

— Я приверженецъ ея и вмѣстѣ съ тѣмъ не приверженецъ,—отвѣчалъ Гіацинтъ, знаменательно покачивая головою. — Это религія, пригодная для знатнаго барона, который цѣлый день можетъ ничего не дѣлать, и для знатока искусствъ. Но это не религія для гамбургца, для человѣка новаго, и ужъ отнюдь не религія для лотерейнаго коллектора. Вѣдь каждый номеръ, выходящій въ лотерею, я долженъ записывать очень точно, а когда при этомъ случится мнѣ вспомнить бумъ, бумъ, бумъ католическаго колокола и услышать запахъ католическаго ладана, то я могу ошибиться и написать не то число, что̀ нужно, а изъ-за этого можетъ произойти величайшее несчастіе. Не разъ я говорилъ г. Гумпелю: «Вы, ваше превосходительство, богатый

человѣкъ и можете быть католикомъ, сколько вамъ угодно. Можете и умнѣть отъ католическаго фиміама и глупѣть, сколько хотите, отъ католическаго колокола — у васъ все-таки будетъ что̀ ѣсть; я же дѣловой человѣкъ и долженъ содержать въ полномъ порядкѣ всѣ мои семь чувствъ, чтобы что-нибудь заработать». Г. Гумпель находитъ, правда, что это необходимо для образованія и что не будь я католикъ, я бы не понималъ картинъ, составляющихъ принадлежность образованности, не понималъ бы ни Корретшіо, ни Корратшіо, ни Карраватшіо. Но я всегда думалъ, что ни Корретшіо, ни Корратшіо, ни Карраватшіо не принесутъ мнѣ никакой помощи, если никто не будетъ брать у меня лотерейныхъ билетовъ. При этомъ я долженъ также сознаться вамъ, г. докторъ, что католическая религія не доставляетъ мнѣ никакого веселаго развлеченія... Повторяю вамъ, что это совсѣмъ не религія для гамбургца.

— Но г. Гіацинтъ, какъ вамъ нравится религія протестантская?

— Она ужъ черезчуръ умна для меня, г. докторъ, и не будь въ протестантской церкви органа, ее и религіей нельзя было бы считать. Между нами будь сказано, эта религія не приноситъ никакого вреда и чиста, какъ стаканъ воды, но вмѣстѣ съ тѣмъ она не приноситъ и никакой пользы . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

— Повидимому, гораздо цѣлесообразнѣе кажется вамъ, милый мой, религія древне-еврейская?

— Г. докторъ, оставьте меня въ покоѣ съ древне-еврейской религіей. Ее я не пожелаю и моему злѣйшему врагу. Отъ нея только и получаешь, что стыдъ и позоръ. Вѣрьте мнѣ, это не религія, а несчастіе. Я избѣгаю всего, что̀ можетъ мнѣ напомнить о ней, и такъ какъ Гиршъ еврейское слово и по-нѣмецки значитъ—гіацинтъ, то я даже кинулъ прежняго Гирша и подписываюсь теперь «Гіацинтъ, коллекторъ, операторъ и таксаторъ». При этомъ для меня выгодно еще и то, что на моей печати уже вырѣзана буква Г и, стало-быть, мнѣ не нужно заказывать новую. Увѣряю в: много въ здѣшнемъ мірѣ зависитъ отъ того, какъ чело называется, имя очень много значитъ. Когда я подп ваюсь: Гіацинтъ, коллекторъ, операторъ и таксаторъ, т звучитъ совсѣмъ не такъ, какъ просто Гиршъ, и со нельзя ужъ обращаться, какъ съ обыкновенной дрянь

— Любезный господинъ Гіацинтъ, кто могъ бы съ вами обращаться подобнымъ образомъ? Вы, повидимому, сдѣлали такъ много для своего образованія, что въ васъ признаешь образованнаго человѣка уже прежде, чѣмъ вы раскрыли ротъ, чтобы заговорить.

— Вы правы, г. докторъ. Въ образованіи я сдѣлалъ исполинскіе успѣхи. Не знаю, въ самомъ дѣлѣ, когда я вернусь въ Гамбургъ, съ кѣмъ мнѣ тамъ водить компанію? А что касается религіи, то я знаю, что дѣлаю. Покамѣстъ, однако, я еще могу обходиться новой еврейской синагогой; я понимаю подъ этимъ чистое Моисеево богослуженіе, съ орѳографическими нѣмецкими пѣснями и трогательными проповѣдями и нѣкоторыми мечтаніями, которыя для религіи необходимы. Богомъ вамъ клянусь, что для себя въ настоящее время я не желаю никакой лучшей религіи, и она заслуживаетъ, чтобъ ее поддерживали. Съ своей стороны я буду все дѣлать для этого, и когда вернусь въ Гамбургъ, то буду каждую субботу, исключая тѣ, въ которыя придется лотерейный тиражъ, ходить въ новую синагогу. Къ сожалѣнію, есть люди, которые этому новому еврейскому богослуженію составляютъ дурную репутацію. Я утверждаю, что они, съ позволенія сказать, подаютъ поводъ къ расколу. Но я васъ могу увѣрить, что эта хорошая, чистая религія, быть-можетъ, отчасти черезчуръ хорошая для простого человѣка, для котораго старая еврейская религія все еще, пожалуй, очень полезна. Простому человѣку нужно какое-нибудь заблужденіе, и онъ чувствуетъ себя счастливымъ въ своемъ заблужденіи. Какой-нибудь старый еврей съ длинной бородой и въ изорванномъ кафтанѣ, который при этомъ не можетъ сказать орѳографически ни одного слова и отчасти даже паршивъ, чувствуетъ себя, можетъ-быть, въ душѣ счастливѣе, чѣмъ я со всей своей образованностью. Въ Гамбургѣ, напримѣръ, живетъ человѣкъ, имя котораго Мозесъ Лумпъ. Цѣлую недѣлю онъ бѣгаетъ по городу во всякую погоду со своимъ тюкомъ на спинѣ, чтобы заработать двѣ-три марки, а когда въ пятницу вечеромъ онъ возвращается домой, то находитъ тамъ зажженную лампу съ [illegible]ю свѣчами, столъ, накрытый бѣлой скатертью,—и сни[illegible]тъ онъ тутъ съ себя свой тюкъ и свои заботы, садится [illegible]столу со своей кривою женою и еще болѣе кривой до[illegible]ю. ѣстъ съ ними рыбу, сваренную въ пріятномъ бѣ[illegible]усѣ съ чеснокомъ, поетъ при этомъ великолѣпнѣй[illegible] царя Давида, радуется отъ всей души исходу

дѣтей Израиля изъ Египта, утѣшается и тѣмъ, что вс злодѣи, причинившіе имъ зло, наконецъ, умерли, что цар Фараонъ, Навуходоносоръ, Гаманъ, Антіохъ, Титъ и вообщ подобные люди ушли на тотъ свѣтъ, а вотъ Лумпъ еще жи ветъ и съ женой и дочкой ѣстъ рыбу... И увѣряю вас г. докторъ, рыба эта очень вкусна, и человѣкъ этотъ счаст ливъ, и нѣтъ ему никакой надобности мучить себя обра зованностью, сидитъ онъ вполнѣ довольный своей религіе и въ своемъ зеленомъ халатѣ, какъ Діогенъ въ своей бочк съ наслажденіемъ смотритъ на свои свѣчи, съ которых снимаетъ даже не онъ, а другой... И вѣрьте мнѣ, когд свѣчи нагорятъ, а женщины, обязанной снимать съ них нѣтъ въ комнатѣ, то приди въ эту минуту самъ великі Ротшильдъ со всѣми своими маклерами, дисконтерами, экс педиторами и начальниками конторъ, съ помощью которых онъ завоевываетъ свѣтъ, и скажи онъ: «Мозесъ Лумп проси себѣ какой-нибудь милости, все, чего ты пожелаеш будетъ исполнено» — г. докторъ, я убѣжденъ, что Мозес Лумпъ спокойно отвѣтилъ бы: «сними у меня со свѣчей! И великій Ротшильдъ съ удивленіемъ сказалъ бы: «Не буд я Ротшильдъ, я желалъ бы быть вотъ такимъ Лумпомъ».

Въ это время, какъ Гіацинтъ со своей эпической про странностью развивалъ такимъ образомъ свои воззрѣнія маркизъ всталъ со своей скамеечки и подошелъ къ намъ все еще продолжая мурлыкать молитву. Тогда Гіацинт задернулъ зеленымъ покровомъ картину, висѣвшую над налоемъ, погасилъ обѣ восковыя свѣчи, горѣвшія перед ней, снялъ мѣдное распятіе, вернулся къ намъ и принялс его чистить съ большимъ усердіемъ. Господинъ его точно рас плылся отъ жара и мягкаго настроенія. Вмѣсто сюртука н немъ было широкое синее шелковое домино съ серебряно бахромой, и носъ его уныло блестѣлъ, какъ влюбленны луидоръ.

— Іисусе!—вздохнулъ онъ, опустившись на подушки ди вана.—Не находите ли вы, г. докторъ, что у меня сегодн очень мечтательный видъ? Я очень взволнованъ. Духъ м какъ будто унесся куда-то, я чувствую присутствіе вы шаго міра...

«Въ отверстое небо мой взоръ устремленъ,
Душа утопаетъ въ блаженствѣ!..»

— Г. Гумпель,—перебилъ Гіацинтъ эту поэтическую д кламацію:—вамъ бы слѣдовало принять... Кровь въ ваших кишкахъ снова застоялась. Я знаю, что вамъ нужно.

— Ты не знаешь!—со вздохомъ отвѣчалъ баринъ.

— Повторяю вамъ, я знаю,—возразилъ слуга и кивнулъ своимъ добродушно-участливымъ личикомъ. — Я знаю васъ насквозь, я знаю, что вы совершенная противоположность мнѣ: когда у васъ жажда, я голоденъ, и когда вы голодны, у меня жажда. Вы слишкомъ корпулентны, а я слишкомъ тощъ. У васъ богатое воображеніе, а у меня тѣмъ болѣе дѣловитости. Я практикъ, а вы діарретикъ. Однимъ словомъ, вы совершенно мой антиподексъ.

— Ахъ, Юлія! — вздыхалъ Гумпелино: — будь я желтая лайковая перчатка, которая облекала бы твою руку и цѣловала бы твою щеку! Скажите, докторъ, видѣли ли вы когда-нибудь Креллингеръ въ «Ромео и Юліи»?

— Конечно. И вся моя душа еще до сихъ поръ въ восторгѣ!

— Ну, въ такомъ случаѣ, — воскликнулъ маркизъ съ воодушевленіемъ, и огонь сверкнулъ изъ его глазъ и освѣтилъ носъ: — въ такомъ случаѣ вы понимаете меня! Вы знаете, что̀ значитъ, когда я вамъ скажу—я люблю. Да, я хочу вполнѣ открыться передъ вами. Гіацинтъ, выйди на время.

— Совсѣмъ не зачѣмъ мнѣ выходить,—сердито отвѣчалъ тотъ. — Вамъ нѣтъ надобности стѣсняться предо мною, я тоже знаю любовь и знаю...

— Ты не знаешь!—воскликнулъ Гумпелино.

— Въ доказательство, г. Гумпелино, что я знаю, мнѣ достаточно произнести имя Юліи Максфильдъ. Успокойтесь, васъ снова любятъ, но отъ этого вамъ мало проку. Зять вашей возлюбленной не выпускаетъ ее изъ глазъ и стережетъ ее день и ночь, какъ брильянтъ.

— О, я несчастный!—жалобно заговорилъ Гумпелино:— я люблю и любимъ взаимно, мы украдкой пожимаемъ другъ другу руки, мы подъ столомъ наступаемъ одинъ другому на ногу, мы подмигиваемъ одинъ другому глазами, и все-таки у насъ не бываетъ никакого удобнаго случая! Какъ часто стою я при свѣтѣ луны на балконѣ, и воображаю себѣ, что я самъ Юлія, и мой Ромео, или мой Гумпелино, назначилъ мнѣ свиданіе, и декламирую совершенно какъ Креллингеръ:

«Приди, о, ночь! Приди, о, Гумпелино,
Ты—свѣтъ во тьмѣ! На крыльяхъ ночи будешь
Покоиться ты такъ, какъ свѣжій снѣгъ
На вóрона спинѣ! Приди скорѣе, ночь
Прекрасная, чарующая! Дай мнѣ
Ромео моего, иль Гумпелино!»

— Но, увы! лордъ Максфильдъ постоянно сторожитъ насъ, и мы оба умираемъ отъ томленія. Я не доживу до того дня, когда наступитъ такая ночь, въ которую каждый готовъ отдать въ залогъ весь цвѣтъ чистой юности, чтобы, выигрывая, проиграть! Ахъ, такая ночь была бы мнѣ милѣе главнаго выигрыша въ гамбургской лотереѣ!

— Какая безумная фантазія!—воскликнулъ Гіацинтъ—главный выигрышъ, сто тысячъ марокъ!

— Да, милѣе главнаго выигрыша,—продолжалъ Гумпелино: — была бы мнѣ такая ночь. И ахъ, она уже часто обѣщала мнѣ такую ночь при первомъ удобномъ случаѣ. Я уже воображалъ себѣ, какъ на слѣдующее утро послѣ того она будетъ декламировать, совершенно какъ Крелингеръ:

«Ужъ ты идешь? Но день еще далёко.
Въ твой робкій слухъ не жаворонка голосъ,
А соловья проникнулъ. Соловей
На томъ вотъ деревѣ гранатномъ ночью
Всегда поетъ. Повѣрь мнѣ, милый мой,
То соловей...»

— Главный выигрышъ за одну ночь!—нѣсколько разъ повторилъ Гіацинтъ и никакъ не могъ успокоиться.—Я высокаго мнѣнія, г. маркизъ, о вашей образованности, но что въ мечтательномъ бреду вы можете зайти такъ далеко, этого я никогда не думалъ. Извольте видѣть, любовь милѣе главнаго выигрыша! Съ тѣхъ поръ, г. маркизъ, какъ я нахожусь въ вашей компаніи въ качествѣ слуги, я дѣйствительно пріобрѣлъ много образованія, но тѣмъ не менѣе убѣжденъ, что даже восьмой доли главнаго выигрыша не отдамъ за любовь, Боже меня сохрани! Вѣдь даже если бъ вычесть пятьсотъ марокъ процента, то все-таки останется двѣнадцать тысячъ марокъ! Любовь! Если сосчитать все, что стоила мнѣ любовь, то выходитъ въ итогѣ только двѣнадцать марокъ и тринадцать шиллинговъ. Любовь? У меня тоже было много дарового счастья въ любви, которое мнѣ не стоило ни одной копейки, только иногда я par complaisance срѣзывалъ у моей возлюбленной мозоль. Истинную, глубоко страстную привязанность я испыталъ только одъ разъ, и это была толстая Гудель изъ Дрекваля. Она б у меня билеты, и когда я приходилъ къ ней возобно ихъ, то она постоянно совала мнѣ въ руку кусокъ пи кусокъ очень хорошаго пирога... А иногда она давал и варенья, и при этомъ немного ликерчику, и к

однажды пожаловался ей, что удрученъ заботами и печалями, то получилъ отъ нея рецептъ порошка, который употребляетъ ея мужъ. Порошокъ этотъ я принимаю и до нынѣшняго часу, онъ мнѣ очень помогаетъ; дальнѣйшихъ послѣдствій наша любовь не имѣла. Мнѣ кажется, г. маркизъ, что вамъ не мѣшало бы тоже попробовать этого порошка. Первымъ дѣломъ, какъ я пріѣхалъ въ Италію, было пойти въ Миланѣ въ аптеку и заказать себѣ эти порошки. Я ихъ ношу постоянно при себѣ. Погодите немного, я ихъ поищу, и коли поищу, то найду, а коли найду, то вашему превосходительству слѣдуетъ непремѣнно принять ихъ.

Вышло бы черезчуръ пространно, если бъ я повторилъ здѣсь тѣ комментаріи, которыми отыскиватель сопровождалъ каждую вещь, вытаскивающуюся имъ изъ кармана. Тутъ появилась на свѣтъ: 1) половина восковой свѣчи, 2) серебряный футляръ, тдѣ лежали инструменты для срѣзыванія мозолей, 3) лимонъ, 4) пистолетъ, который, хотя и не заряженный, былъ завернутъ въ бумагу, можетъ-быть, для того, чтобы видъ его не наводилъ ни на какія опасныя мысли, 5) напечатанный списокъ послѣдняго тиража большой гамбургской лотереи, 6) книжечка изъ черной кожи, гдѣ были записаны псалмы Давида и неуплаченные долги, 7) сухой ивовый прутикъ, завязанный какъ бы узломъ, 8) пакетикъ, обтянутый полинявшей розовой тафтой и заключавшій въ себѣ квитанцію лотерейнаго билета, нѣкогда выигравшаго пятьдесятъ тысячъ марокъ, 9) плоскій кусочекъ хлѣба, въ родѣ корабельнаго сухаря съ маленькой дырочкой посрединѣ, и, наконецъ, 10) вышеупомянутые порошки, на которые маленькій человѣкъ смотрѣлъ съ какимъ-то умиленіемъ, меланхолически покачивая головой.

— Когда я подумаю,—вздыхалъ онъ:—что десять лѣтъ назадъ толстая Гудель дала мнѣ этотъ рецептъ, и что я въ настоящее время въ Италіи, и держу тотъ же рецептъ въ рукахъ, и снова читаю слова: «sal mirabile glauberi», что значитъ по-нѣмецки: самая лучшая и тонкая соль лучшаго сорта—ахъ, тогда становится у меня на душѣ такъ, какъ будто бы я уже принялъ этой соли, и чувствую ея дѣйствіе.

[illegible]акое человѣкъ! Я въ Италіи и думаю о толстой Гудель [illegible]рекваля! Кто бы могъ это подумать! Могу представить [illegible]ъ она сидитъ теперь въ своемъ саду, гдѣ свѣтитъ мѣ[illegible]езъ сомнѣнія, также поетъ соловей или жаворонокъ... [illegible]ловей, а не жаворонокъ! — со вздохомъ перебилъ [illegible] *и продекламировалъ:*

« . . . . . Соловей
На томъ вотъ деревѣ гранатномъ ночью
Всегда поетъ. Повѣрь мнѣ, милый мой,
То соловей...

— Это все равно,—продолжалъ Гіацинтъ:—помоему будь хоть канарейка; птицы, которыхъ держатъ въ саду, стоятъ очень дешево. Главное дѣло теплица, и обои въ павильонѣ, и сановныя фигуры, что стоятъ предъ павильономъ! А тамъ стоятъ, напримѣръ, голый генералъ изъ боговъ, и Венера Уринія, и обѣ эти статуи стоятъ триста марокъ. А посрединѣ сада Гудель устроила фонтенель... И въ эту минуту она, можетъ-быть, стоитъ тамъ, и почесываетъ себѣ носъ, и погрузилась въ мечты, и думаетъ обо мнѣ... Ахъ!

За этимъ вздохомъ послѣдовало грустное молчаніе, которое маркизъ прервалъ, наконецъ, томно сдѣланнымъ вопросомъ:

— Скажи мнѣ по чести, Гіацинтъ, дѣйствительно ты убѣжденъ, что твой порошокъ подѣйствуетъ?

— Честное слово, подѣйствуетъ,—отвѣчалъ тотъ.—И почему ему не дѣйствовать? вѣдь дѣйствовалъ же онъ у меня! А развѣ я не такой же живой человѣкъ, какъ вы! Глауберова соль уравниваетъ всѣхъ людей. И когда Ротшильдъ принимаетъ глауберову соль, то она дѣйствуетъ у него такъ же, какъ и у всякаго мелкаго маклерчика. Я предскажу вамъ все, что будетъ. Всыплю я порошокъ въ стаканъ, налью туда воды, смѣшаю, и какъ только вы проглотите, то сдѣлаете кислую физіономію и скажете бр!.. бр!.. А затѣмъ вы услышите, какъ въ васъ забурчитъ, и странно какъ-то станетъ у васъ на душѣ, и ляжете вы въ постель и, клянусь вамъ честью, встанете, и снова ляжете, и снова встанете и т. д., и на другое утро будете чувствовать себя легко, какъ духъ съ бѣлыми крыльями, и станете плясать отъ здоровья и удовольствія, только лицо у васъ немного поблѣднѣетъ. Но я знаю, что вамъ пріятно, когда у васъ томно-блѣдный видъ, и когда у васъ томно-блѣдный видъ, пріятно на васъ смотрѣть.

Несмотря на такія краснорѣчивыя убѣжденія Гіацинта и на то, что онъ уже приготовлялъ порошокъ, пользы этого вышло бы мало, если бъ маркизу не пришло в запно на мысль то мѣсто, гдѣ Юлія выпиваетъ роко напитокъ.

— Какого вы мнѣнія, докторъ,—вскричалъ онъ:—о М *леръ въ Вѣнѣ*? Я видѣлъ ее въ роли Юліи, и Боже

оже мой, какъ она играетъ! Я вѣдь самый восторженный оклонникъ Креллингеръ, но Мюллеръ, въ ту минуту, когда на пьетъ изъ кубка, совсѣмъ увлекла меня. Видите,—продолжалъ онъ съ трагическимъ жестомъ, взявъ въ руку стаанъ, куда Гіацинтъ всыпалъ порошокъ:—видите, вотъ такъ ржала она кубокъ и съ ужасомъ, который ощущала вмѣстѣ нею вся публика, говорила:

«Холодный трепетъ ужаса по жиламъ
Бѣжитъ моимъ, и жизни теплоту
Почти оледеняетъ...»

И стояла она, вотъ какъ теперь стою я, и держала кутъ у губъ, и со словами:

«. . . . . Повремени, Тибальдъ!
Ромео, я иду!.. Пью за тебя!..»

шила кубокъ...

— На здоровье, г. Гумпель!—произнесъ Гіацинтъ торжественнымъ тономъ, ибо маркизъ въ своемъ увлеченіи подраніемъ актрисѣ, осушилъ стаканъ и, изнеможенный декламаціей, упалъ на диванъ.

Но онъ недолго оставался въ этомъ положеніи. Раздался къ въ дверь, и вошелъ маленькій жокей леди Максльдъ. Съ улыбающимся поклономъ онъ подалъ маркизу писку и тотчасъ же удалился. Поспѣшно схватилъ марръ бумажку, и между тѣмъ, какъ онъ читалъ, его носъ и за сверкали отъ восторга. Но вдругъ смертельная блѣдть покрыла все его лицо, сильное смущеніе задрожало каждомъ мускулѣ, съ движеніемъ полнаго отчаянія вскочъ онъ, гнѣвно расхохотался, сталъ бѣгать по комнатѣ дъ и впередъ и кричалъ:

«Горе мнѣ, посмѣшищу судьбы!»

— Что случилось, что случилось?—спрашивалъ Гіацинтъ жащимъ голосомъ, судорожно сжимая руками распятіе, орое онъ снова принялся чистить.—Не собираются ли насъ напасть сегодня ночью разбойники?

— Что съ вами, г. маркизъ?—спросилъ я, тоже немало мленный.

— Читайте, читайте! — воскликнулъ Гумпелино, кинувъ мъ полученную записку, и не переставая въ отчаяніи гать по комнатѣ, при чемъ его голубое домино развѣвать, какъ бурная туча.—Горе мнѣ, посмѣшищу судьбы!

Въ запискѣ прочли мы слѣдующія слова:

«Сладкій Гумпелино!

разсвѣтѣ я должна ѣхать въ Англію. Мой зять

уже уѣхалъ и ждетъ меня во Флоренціи. Теперь за мною никто не наблюдаетъ, но, къ сожалѣнію, это только на эту единственную ночь. Воспользуемся этимъ, воспользуемся нектаромъ, который подноситъ намъ любовь! Выпьемъ эту чашу до послѣдней капли! Я жду, я дрожу!

Юлія Максфильдъ».

— Горе мнѣ, посмѣшищу судьбы!—восклицалъ Гумпелино.—Любовь хочетъ поднести мнѣ полную чашу нектара, а я, я бѣдное посмѣшище судьбы, осушилъ уже чашу глауберовой соли! Кто извлечетъ у меня изъ желудка это ужасное питье? Помогите, помогите!

— Тутъ уже не поможетъ ни одно земное существо!— со вздохомъ отвѣчалъ Гіацинтъ.

— Я сожалѣю васъ отъ всей души,—сказалъ я.—Вмѣсто чаши съ нектаромъ осушить стаканъ глауберовой соли—это весьма горько! Вмѣсто трона любви ждетъ васъ другое сѣдалище!

— О, Іисусе, Іисусе! — продолжалъ кричать маркизъ.— Я чувствую, какъ это питье пробѣгаетъ по всѣмъ моимъ жиламъ. «О, славный аптекарь, питье твое дѣйствуетъ быстро!» Но это не удержитъ меня! Я поспѣшу къ ней, я упаду къ ея ногамъ, я истеку кровью!

— О крови не можетъ быть тутъ и рѣчи,—утѣшалъ Гіацинтъ:—вѣдь у васъ нѣтъ гомеридъ. Не волнуйтесь только такъ сильно!..

— Нѣтъ, нѣтъ, къ ней, въ ея объятія!.. О, ночь, о, ночь!

— Я повторяю вамъ,—продолжалъ Гіацинтъ съ философскимъ равнодушіемъ:—спокойствіе въ ея объятіяхъ будетъ для васъ невозможно, вамъ придется вставать двадцать разъ. Не волнуйтесь только. Чѣмъ болѣе вы будете бѣгать и прыгать по комнатѣ, тѣмъ быстрѣе подѣйствуетъ глауберова соль. Ваше душевное настроеніе только помогаетъ природѣ. Переносите, какъ мужчина, что̀ вамъ послала судьба. Что случилось такъ, можетъ-быть, хорошо, и хорошо, можетъ-быть, что такъ случилось. Человѣкъ — земное существо и не понимаетъ рѣшенія высшихъ силъ. Человѣку кажется часто, что онъ идетъ навстрѣчу своему счастію, а на его дорогѣ стоитъ, можетъ-быть, несчастіе съ палкой. Ко[illegible] простая мѣщанская палка обрушивается на двор[illegible] спину, тогда, г. маркизъ, человѣку это очень чувстви[illegible]

— Горе мнѣ, посмѣшищу счастія!—все еще прод[illegible] бушевать Гумпелино, а его лакей спокойно говорилъ:

— Человѣкъ ожидаетъ часто чашу съ нектаром[illegible]

лучаетъ супъ изъ розогъ, и если нектаръ сладокъ, то розги тѣмъ горше, и истинное еще счастье, что человѣкъ, бьющій другого, наконецъ, устаетъ, иначе другой никакъ бы не могъ вынести. Но еще опаснѣе, когда несчастіе съ кинжаломъ и ядомъ подстерегаетъ человѣка на дорогѣ любви, такъ что онъ не можетъ быть увѣренъ за свою жизнь. Быть-можетъ, г. маркизъ, дѣйствительно хорошо, что такъ случилось, ибо, можетъ-быть, вы въ жару любви поспѣшили бы къ своей возлюбленной, а на дорогѣ налетѣлъ бы на васъ маленькій итальянецъ съ кинжаломъ въ шесть аршинъ длины, и кольнулъ бы васъ — я не хочу накликать на васъ ничего дурного — кольнулъ бы васъ въ икру. Ибо здѣсь нельзя, какъ въ Гамбургѣ, сейчасъ же позвать стражу, и въ Апенинахъ нѣтъ ночныхъ сторожей. Или, можетъ-быть, даже,—продолжалъ неумолимый утѣшитель, нисколько не смущаясь отчаяніемъ маркиза:—можетъ-быть, даже, въ то время, какъ вы сидѣли бы самымъ удобнымъ и пріятнымъ образомъ у леди Максфильдъ, внезапно вернулся бы изъ путешествія зять, и приставилъ бы вамъ къ груди заряженный пистолетъ, и заставилъ бы васъ подписать вексель въ сто тысячъ марокъ. Не хочу накликать на васъ дурное, но предполагаю, что вы красавецъ, и леди Максфильдъ въ отчаяніи, что должна потерять своего красавца, и съ ревностью, присущею женщинѣ, не хочетъ, чтобы послѣ нея вы блаженствовали съ какой-нибудь другой... Что же она дѣлаетъ? Она беретъ лимонъ или апельсинъ, всыпаетъ туда маленькій бѣленькій порошочекъ и говоритъ: «освѣжись, мой возлюбленный, тебѣ очень жарко отъ быстрой ходьбы», и на слѣдующее утро вы, дѣйствительно, совсѣмъ похолодѣвшій человѣкъ. Былъ у меня знакомый, звали его Пиперъ, и былъ онъ страстно влюбленъ въ одну дѣвицу, которую звали сладко-голосый ангелочекъ, и жила она въ кофейной, а онъ жилъ на улицѣ Фулентвите...

— Я бы желалъ, Гиршъ,—бѣшено воскликнулъ маркизъ, волненіе котораго дошло до крайней степени:—я бы желалъ, чтобы у твоего Пипера изъ Фулентвите, и его ангелочка изъ кофейной, и у тебя, и у Гудели, у всѣхъ васъ была
животѣ моя глауберова соль!

— Чего же вы на меня сердитесь, г. маркизъ! — возра-
, Гіацинтъ не безъ маленькаго раздраженія.—Чѣмъ я
ватъ, что леди Максфильдъ уѣзжаетъ какъ разъ сегодня
и приглашаетъ васъ какъ разъ сегодня? Могъ я
ать это заранѣе? Развѣ я Аристотель? Служу я,

что ли у Промысла? Я только обѣщалъ, что порошокъ подѣйствуетъ, и это такъ же вѣрно, какъ то, что я буду нѣкогда въ жилищѣ блаженныхъ. А вотъ если вы будете продолжать бѣгать по комнатѣ такъ же бѣшено, какъ теперь, то онъ подѣйствуетъ еще скорѣе...

— Ну, такъ я буду сидѣть спокойно!—простоналъ Гумпелино, топнулъ о землю ногою, сердито бросился на диванъ, насильно подавилъ свое бѣшенство, и господинъ и слуга долго и молча смотрѣли другъ на друга, пока, наконецъ, первый, послѣ глубокаго вздоха, чуть слышно произнесъ:

— Но, Гиршъ, что подумаетъ обо мнѣ она, если я не приду? Вѣдь она ждетъ меня, ждетъ нетерпѣливо, она дрожитъ, она пламенѣетъ отъ любви...

— У нея очень красивая нога,—проговорилъ про себя Гіацинтъ и тоскливо покачалъ головенкой. Но въ его груди, повидимому, начало происходить сильное волненіе. Подъ его краснымъ кафтаномъ видимо работала смѣлая мысль.

— Господинъ Гумпель,—вырвалось, наконецъ, изъ него:— пошлите меня!

При этихъ словахъ яркій румянецъ разлился по блѣдноватому дѣловому лицу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Когда Кандидъ пришелъ въ Эльдорадо, онъ увидѣлъ на улицѣ толпу мальчиковъ, игравшихъ, вмѣсто камешковъ, золотыми слитками. Эта роскошь привела его къ заключенію, что это дѣти короля, и онъ немало удивился, когда узналъ, что въ Эльдорадо золотые слитки такъ же дешевы, какъ у насъ простые камни, и что мальчишки играютъ ими. Съ однимъ изъ моихъ друзей, иностранцемъ, случилось почти то же самое, когда онъ пріѣхалъ въ Германію и сталъ впервые читать нѣмецкія книги и пришелъ въ изумленіе отъ богатства мыслей, которыя нашелъ тамъ; но скоро онъ замѣтилъ, что мысли въ Германіи такъ же не рѣдки, какъ золотые слитки въ Эльдорадо, и что тѣ писатели, которыхъ онъ принималъ за царей духа, были обыкновенные школьники.

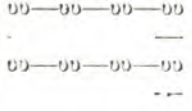
Эта исторія всегда приходитъ мнѣ на мысль, когда намѣреваюсь писать прекраснѣйшія размышленія объ искусствѣ и жизни, и тутъ мною овладѣваетъ смѣхъ, и я предпочитаю удерживать свои мысли въ перѣ, или вмѣсто нихъ нацарапываю на бумагѣ какую-нибудь картинку или фигуру и убѣждаю себя, что такія изображенія въ Германіи, э

умственномъ Эльдорадо, гораздо пригоднѣе самыхъ золотыхъ мыслей.

Въ рисункахъ, которые я предлагаю тебѣ, любезный читатель, теперь, ты снова увидишь знакомыя лица — Гумпелино и его Гирша-Гіацинта, и если первый изображенъ тутъ менѣе опредѣленными чертами, то я, все-таки, надѣюсь, что ты будешь достаточно проницателенъ для того, чтобы понять отрицательный характеръ безъ слишкомъ положительныхъ обозначеній. Эти послѣднія могли бы навлечь на меня процессъ за диффамацію, или нѣчто еще болѣе опасное. Ибо маркизъ очень силенъ, благодаря своимъ деньгамъ и связямъ. При этомъ онъ естественный союзникъ моихъ враговъ, онъ поддерживаетъ ихъ субсидіями, онъ аристократъ, ультрапапистъ, только кое-что недостаетъ ему еще, но онъ, вѣроятно, выучится и этому — учебникъ у него въ рукахъ, какъ ты увидишь изъ моихъ рисунковъ.

Снова вечеръ, на столѣ стоятъ два подсвѣчника съ зажженными восковыми свѣчами, ихъ свѣтъ играетъ на золотыхъ рамкахъ иконъ, которыя, вися на стѣнахъ, кажутся живыми отъ колеблющагося огня и подвижныхъ тѣней. На улицѣ предъ окномъ стоятъ въ серебряномъ сіяніи луны, зловѣще неподвижно, мрачные кипарисы, а въ отдаленіи раздается печальная пѣсенка во славу Маріи, которую поетъ больной дѣтскій голосъ. Въ комнатѣ какъ-то особенно душно. Маркизъ Христофоро и де-Гумпелино снова сидитъ, или, вѣрнѣе, съ небрежной гордостью лежитъ на подушкахъ дивана. Благородное потѣющее тѣло снова облечено въ голубое шелковое домино. Въ рукахъ у него книга, переплетенная въ красный сафьянъ съ золотымъ обрѣзомъ, и онъ громко и томно декламируетъ изъ нея. Въ глазахъ маркиза маслянистый блескъ, какой бываетъ у влюбленныхъ котовъ, и его щеки, даже обѣ ноздри какъ-то болѣзненно блѣдны. Но, любезный читатель, эта блѣдность легко объясняется философски антропологическимъ путемъ, если сообразить, что маркизъ наканунѣ проглотилъ цѣлый стаканъ глауберовой соли.

А Гиршъ-Гіацинтъ сидитъ на полу комнаты и большимъ кускомъ мѣла рисуетъ на темномъ полу, въ большомъ масштабѣ, приблизительно слѣдующіе знаки:



⏑⏑—⏑⏑—⏑⏑—⏑⏑
—
⏑⏑—⏑⏑—⏑⏑
—
⏑⏑
—

Эта работа, повидимому, пришлась далеко не по вкусу маленькому человѣчку; тяжело вздыхая при каждомъ наклоненіи къ полу, онъ сердито ворчитъ: «Спондей, трохей, ямбъ, антиспасъ, анапестъ!» При этомъ, для бо́льшей свободы движеній, онъ снялъ красный кафтанъ, вслѣдствіе чего обнаружились двѣ короткія скромныя ножо́нки въ узкихъ пурпурныхъ панталонахъ и двѣ нѣсколько болѣе длинныя тощія руки въ бѣлыхъ широкихъ рукавахъ рубашки.

— Что это за странныя фигуры? — спросилъ я послѣ нѣсколькихъ минутъ созерцанія.

— Это стопы въ натуральную величину,—вздыхая, отвѣчалъ онъ. — Мнѣ приходится эти стопы удерживать въ головѣ, и рукамъ моимъ очень больно отъ всѣхъ тѣхъ стопъ, которыя я долженъ вырисовывать теперь. Это настоящія, истинныя стопы поэзіи. Не будь это ради моего образованія, я бы къ чорту отправилъ поэзію со всѣми ея стопами. Въ настоящую минуту я беру у господина маркиза частные уроки поэтическаго искусства. Г. маркизъ читаетъ мнѣ стихотворенія и объясняетъ мнѣ, изъ сколькихъ стопъ они состоятъ, я долженъ записывать ихъ и затѣмъ счесть, правильно ли стихотвореніе.

— Вы застаете насъ, — сказалъ маркизъ дидактически-патетическимъ тономъ:—дѣйствительно въ поэтическомъ занятіи. Я хорошо знаю, докторъ, вы принадлежите къ тѣмъ поэтамъ, у которыхъ упрямая голова и которые не хотятъ понять, что стопы въ поэзіи—главное дѣло. Но образованный умъ привлекается только образованной формой. А форму эту мы можемъ узнать только отъ грековъ и тѣхъ новыхъ поэтовъ, которые по-гречески дѣйствуютъ, по-гречески думаютъ, по-гречески чувствуютъ и такимъ способомъ выражаютъ свои чувства людямъ.

— Конечно, мужчинамъ, а не женщинамъ, какъ дѣлаютъ обыкновенно неклассическіе романтическіе поэты, замѣтилъ мое ничтожество.

— Г. Гумпель говоритъ иногда, какъ книга, — шепнулъ мнѣ сбоку Гіацинтъ, сжалъ узкія губы, моргнулъ го

самодовольными глазенками и покачалъ почтительно изумленной головенкой. — Увѣряю васъ, — прибавилъ онъ нѣсколько громче: — какъ книга говоритъ онъ иногда, и въ это время онъ ужъ, такъ сказать, не человѣкъ, а высшее существо, и тутъ, чѣмъ больше я слушаю его, тѣмъ глупѣе становлюсь.

— А что у васъ въ настоящую минуту въ рукахъ? — спросилъ я маркиза.

— Брильянты,—отвѣчалъ онъ и подалъ мнѣ книгу.

При словѣ брильянты, Гіацинтъ вскочилъ, но увидѣвъ, что это только книга, сострадательно улыбнулся. Брильянтовая же книга носила на первой страницѣ слѣдующее заглавіе:

«Стихотворенія Августа графа Платена. Штутгартъ и Тюбингенъ. Изданіе книгопродавческой фирмы Котта, 1828 года».

А на слѣдующей страницѣ было написано красивымъ почеркомъ: «Подарокъ теплой братской дружбы».

При этомъ отъ книги несло тѣмъ страннымъ запахомъ, который съ одеколономъ не имѣетъ ни малѣйшаго сходства, и его, можетъ-быть, слѣдовало приписать тому обстоятельству, что маркизъ читалъ эту книгу всю ночь.

— Я всю ночь не могъ сомкнуть глазъ,—жаловался онъ мнѣ:—я былъ слишкомъ взволнованъ. Чуть не двѣнадцать разъ вскакивалъ я съ постели, и къ счастію, было у меня это превосходное чтеніе, откуда я почерпалъ не только много поучительнаго для поэзіи, но и утѣшеніе для жизни. Вы видите, какъ чту я эту книгу. Въ ней цѣлы всѣ до одной страницы, а между тѣмъ, нынѣшнюю ночь неоднократно чувствовалъ я искушеніе...

— Это со многими случается, г. маркизъ.

— Я клянусь вамъ нашей Лоретской Мадонной и своей честью,—продолжалъ Гумпелино:—что эти стихотворенія не имѣютъ себѣ подобныхъ. Какъ вамъ извѣстно, вчера вечеромъ я былъ въ отчаяніи, такъ сказать, au désespoir, что рокъ не позволилъ мнѣ обладать моей Юліей,—и вотъ я [illegible] читать эти стихотворенія—каждый разъ, какъ мнѣ [illegible]илось вставать, по одному стихотворенію. И то равно- [illegible] которое авторъ пишетъ къ женщинамъ, имѣло слѣд- [illegible] что и мнѣ моя собственная любовная скорбь сдѣ- [illegible]ротивна. То и прекрасно въ этомъ поэтѣ, что онъ [illegible]тъ только къ мужчинамъ, въ одушевленіи горячей

дружбой. Нашему брату онъ оказываетъ предпочтеніе предъ женскимъ поломъ, и уже за эту честь мы должны ему быть благодарны. Въ этомъ онъ болѣе великъ, чѣмъ всѣ остальные поэты. Онъ не льститъ обыкновенному вкусу толпы, онъ излѣчиваетъ насъ отъ страсти къ женщинамъ, причиняющимъ намъ столько несчастія... О, женщины, женщины! Кто освободитъ насъ отъ вашихъ оковъ, тотъ будетъ благодѣтелемъ человѣчества! Вѣчно нужно жалѣть о томъ, что Шекспиръ не употребилъ на это свой прекрасный театральный талантъ, ибо, какъ я впервые узналъ изъ этой книги, онъ чувствовалъ не менѣе благородно, чѣмъ великій графъ Платенъ, который въ своихъ сонетахъ говоритъ о Шекспирѣ:

«Не дѣвушки капризъ покой твой нарушалъ,
Ты къ дружбѣ пламенѣлъ, и въ ней вкушалъ лишь сладость;
Отъ женщины сѣтей твой другъ тебя спасалъ,
И красота его—твоя печаль и радость».

Между тѣмъ какъ маркизъ съ теплотою декламировалъ эти слова, и гладкій навозъ какъ бы таялъ у него на языкѣ, Гіацинтъ корчилъ самыя противоположныя одна другой мины, въ одно и то же время сердитыя и одобрительныя, и, наконецъ, сказалъ:

— Г. маркизъ, вы говорите, какъ книга, и стихи текутъ у васъ снова такъ же легко, какъ сегодня ночью, но ихъ содерженіе мнѣ не нравится. Какъ мужчина, чувствую я себя польщеннымъ, что графъ Платенъ отдаетъ намъ предпочтеніе предъ женщиной, но, съ другой стороны, какъ другъ женщинъ, я противникъ такого мужчины. Таковъ ужъ человѣкъ. Одному нравится лукъ, другому больше по вкусу теплая дружба. Я же, какъ честный человѣкъ, долженъ искренно сознаться, что очень люблю лукъ, и кривая кухарка мнѣ милѣе самаго красиваго друга мужчины. Да, нужно сознаться, въ мужскомъ полѣ я не нахожу столько ужъ красиваго, чтобъ можно было влюбляться въ него.

Эти послѣднія слова Гіацинтъ произнесъ, оглядывая себя въ зеркало, а маркизъ, между тѣмъ, не обращалъ на него вниманія и продолжалъ декламировать:

Der Hoffnung Schaumgebäude bricht zusammen,
Wir mühn uns ach! und kommen nicht zusammen:
Mein Name klingt aus deinem Mund melodisch,
Doch reihst du selten dies Gedicht zusammen;
Wie Sonn'und Mond uns stets getrennt zu halten,
Verschworen Sitte sich und Pflicht zusammen,
Lass Haupt an Haupt uns lehnen, denn es taugen
Dein dunkles Haar, mein hell Gesicht zusammen!

Doch ach'ich träume, denn du ziehst von hinnen
Eh'noch das Glück uns brachte dicht zusammen!
Die Seelen bluten, da getrennt die Leiber,
O, wären's Blumen, die man flicht zusammen!

— Забавная поэзія!—воскликнулъ Гіацинтъ, бормотавшій себѣ подъ носъ рифмы этихъ стиховъ—Sitte sich und Pflicht zusammen, Gesicht zusammen, dicht zusammen, flicht zusammen!.. Забавная поэзія! Мой зять, когда читаетъ стихи, часто для шутки ставитъ въ концѣ каждаго стиха поочередно «спереди» и «сзади», — и я никогда не зналъ, что стихотворенія съ такими риѳмами называются газелями. Надо мнѣ попробовать—не станетъ ли еще красивѣе стихотвореніе, которое продекламировалъ г. маркизъ, если послѣ слова zusammen ставить каждый разъ по очереди «спереди» и «сзади». Поэзія отъ этого навѣрно станетъ сильнѣе на двадцать процентовъ.

Не обращая вниманія на эту болтовню, маркизъ продолжалъ декламировать газели и сонеты, въ которыхъ любящій воспѣваетъ своего красавца-друга, прославляетъ его, сѣтуетъ на него, обвиняетъ его въ холодности, составляетъ планы, какъ бы свидѣться съ нимъ, заигрываетъ съ нимъ, ревнуетъ, томится, проходитъ цѣлую скалу всякихъ нѣжностей, и все это такъ горячо и страстно, что можно подумать, авторъ—безумно влюбленная въ мужчину дѣвушка... Странно кажется при этомъ только то, что эта дѣвушка постоянно жалуется, что любовь ея противна существующему «обычаю», что противъ этого, разлучающаго влюбленныхъ, обычая она раздражена такъ, какъ карманный воръ противъ полиціи, что она хотѣла бы обнять съ любовью «лядвеи» друга, что она жалуется на «завистниковъ, вступающихъ между собою въ коварный заговоръ, чтобы мѣшать намъ и разлучить насъ», что она сѣтуетъ на оскорбленія, которыя приходится переносить ей отъ друга, что она увѣряетъ его въ своемъ желаніи хоть на минуту взглянуть на него, что она клянется: «ни однимъ слогомъ не устрашу я твоего слуха», и наконецъ, сознается:

«Желанью моему противились другіе,
И ты не внялъ ему, но въ то же время
И не отвергъ его о, другъ мой непаглядный!»

Я долженъ засвидѣтельствовать, что маркизъ, декламировалъ эти стихи очень хорошо, при этомъ достаточно вздыхалъ, стоналъ и какъ-то кокетливо ерзалъ взадъ и впередъ по дивану. Гіацинтъ постоянно повторялъ за ними

риомы, хотя и вставлялъ отъ времени до времени совсѣмъ неподобающія замѣчанія. На оды обращалъ онъ самое усиленное вниманіе. «На этомъ родѣ,—говорилъ онъ:—можно научиться гораздо больше, чѣмъ на сонетахъ и газеляхъ: такъ какъ въ одахъ сверху всегда отпечатаны стопы, то можно удобно провѣрить счетъ каждаго стихотворенія. Каждому поэту слѣдовало бы, какъ графу Платену, при самыхъ трудныхъ своихъ стихотвореніяхъ печатать сверху стиховъ стопы и говорить читателю: «Видите, я честный человѣкъ, я не хочу васъ обманывать, эти прямыя и кривыя черточки, которыя я ставлю предъ каждымъ стихотвореніемъ, суть, такъ сказать, conto-finto каждаго стихотворенія, и вы можете вычислить, сколько оно стоило мнѣ труда. Онѣ, такъ сказать, масштабъ всякаго стихотворенія, и вы можете смѣрить его, и если окажется, что не достаетъ хоть одного слога, то, вотъ какъ я честный человѣкъ, можете назвать меня мошенникомъ». Но именно это выставленіе на видъ своей честности и можетъ вводить въ обманъ публику. Именно потому, что предъ стихотвореніемъ поставлены стопы, думаешь: я не хочу быть недовѣрчивымъ, съ какой стати повѣрять мнѣ этого человѣка!— и вотъ вы не считаете, и оказываетесь обманутымъ. Развѣ можно постоянно все считать и считать? Теперь вотъ мы въ Италіи, и у меня достаточно времени писать стопы мѣломъ на полу, и провѣрять каждую оду. Но въ Гамбургѣ, гдѣ у меня свое дѣло, времени на это не хватитъ, мнѣ пришлось бы на слово вѣрить графу Платену, какъ вѣришь въ размѣнныхъ кассахъ тѣмъ мѣшкамъ съ деньгами, на которыхъ написано, сколько въ нихъ сотенъ талеровъ; они переходятъ запечатанные изъ рукъ въ руки, и каждый получающій вѣритъ предшествующему, что тамъ дѣйствительно столько, сколько написано; а между тѣмъ, бывали примѣры, что праздный человѣкъ, у котораго было достаточно времени, распечатывалъ такой мѣшокъ и считалъ, и оказывалось, что пары-другой талеровъ не доставало. Могутъ поэтому мошенничества случаться и въ поэзіи. Особенно становлюсь я недовѣрчивъ, когда думаю о денежныхъ мѣшкахъ. Ибо мой зять разсказалъ мнѣ, что въ тюрьмѣ въ Одензе сидит теперь человѣкъ, который служилъ въ почтовомъ управлен онъ безчестно распечатывалъ денежные мѣшки, проходив черезъ его руки, и безчестно вытаскивалъ оттуда деньги затѣмъ снова запечатывалъ и посылалъ дальше. К слышишь о такихъ штукахъ, то теряешь довѣріе къ

лямъ и становишься недовѣрчивымъ человѣкомъ. Въ настоящее время на свѣтѣ много мошенничества, и несомнѣнно, что въ поэзіи его столько же, какъ и во всякомъ другомъ дѣлѣ.

— Честность,—продолжалъ Гіацинтъ, между тѣмъ какъ маркизъ не переставалъ декламировать, совершенно погрузясь въ чувство:—честность, г. докторъ, главное дѣло, и на всякаго нечестнаго я смотрю, какъ на мошенника, и у того, кто мнѣ представляется мошенникомъ, я не покупаю ничего и не читаю, что̀ онъ пишетъ, однимъ словомъ, не дѣлаю съ нимъ никакого дѣла. Я не изъ тѣхъ людей, г. докторъ, которые всякимъ пустякомъ тщеславятся, но если-бъ я захотѣлъ чѣмъ-нибудь тщеславиться, то тщеславился бы тѣмъ, что я честный человѣкъ. Разскажу вамъ про одну свою благородную черту, и вы изумитесь, говорю вамъ, какъ честный человѣкъ, изумитесь. Живетъ въ Гамбургѣ одинъ человѣкъ, и торгуетъ онъ травами, и зовется онъ Клёцхенъ; то-есть, это я называю его Клёцхенъ, потому что мы близкіе друзья, а на самомъ дѣлѣ зовутъ его геръ Клоцъ. Жену его слѣдуетъ называть мадамъ Клоцъ. И вотъ она терпѣть не можетъ, чтобы мужъ ея бралъ у меня билеты, и когда онъ желалъ играть, то я не смѣлъ приходить къ нему домой съ билетами, а всегда онъ мнѣ говорилъ при встрѣчѣ на улицѣ: «Вотъ такой-то и такой-то номеръ хочу я получить у тебя, и вотъ тебѣ деньги, Гиршъ». И я отвѣчалъ: «Хорошо, Клёцхенъ!» И придя домой, запечатывалъ я этотъ билетъ въ конвертъ и надписывалъ нѣмецкими буквами: «за счетъ г. Христіана Генриха Клоца». Ну, а теперь послушайте и изумляйтесь. Былъ прекрасный весенній день, и деревья на биржѣ были совсѣмъ зеленыя, и зефиръ вѣялъ очень пріятно, и солнце блестѣло на небѣ, и я стоялъ у гамбургскаго банка. Проходитъ Клёцхенъ, мой Клёцхенъ, и подъ руку съ нимъ его толстая мадамъ Клоцъ, и кланяется онъ мнѣ, и заговариваетъ о великолѣпіи Божьей весны, дѣлаетъ затѣмъ нѣсколько патріотическихъ замѣчаній о нашей національной стражѣ и спрашиваетъ меня, какъ идутъ дѣла. Я отвѣчаю
о нѣсколько часовъ назадъ опять стоялъ кто-то у
аго столба. И вотъ въ такой бесѣдѣ, мимиходомъ, я
ему: «Сегодня ночью снилось мнѣ, что номеръ 1538
лъ большой выигрышъ». Въ эту самую минуту,
тѣмъ какъ мадамъ Клоцъ разсматриваетъ импера-
статистовъ при ратушѣ, онъ всовываетъ мнѣ въ

руку 12 полновѣсныхъ луидоровъ—я какъ будто еще то-
перь чувствую ихъ,—и прежде, чѣмъ мадамъ Клоцъ успѣл
снова повернуться къ намъ, я говорю: «Хорошо, Клёцхенъ»
и иду дальше. Иду я прямо въ главную лотерейную кон
тору и беру 1538 номеръ и, возвратясь домой, немедленн
запечатываю его въ конвертъ и пишу на конвертѣ: «З
счетъ г. Христіана-Генриха Клоца». Что-жъ дѣлает
Господь? Двѣ недѣли спустя, чтобы испытать мою честност
онъ вынускаетъ 1538 номеръ съ выигрышемъ въ 50.00
марокъ. Что же дѣлаетъ Гиршъ, тотъ самый Гиршъ, кото
рый въ настоящую минуту стоитъ предъ вами? Этот
Гиршъ надѣваетъ чистое бѣлье, галстукъ, и беретъ извоз
чика, и вынимаетъ изъ главной конторы 50.000 марокъ,
ѣдетъ съ ними къ Клоцу. Увидѣвъ меня, Клёцхенъ, спра
шиваетъ: «Гиршъ, отчего ты сегодня такой нарядный?» И
я не отвѣчаю ни слова, и кладу на столъ большой коше
лекъ съ золотомъ, и говорю весьма торжественно: «Госпо
динъ Генрихъ Клоцъ, номеръ 1538, который вамъ благо
угодно было заказать мнѣ, имѣлъ счастіе выиграть 50.00
марокъ. Въ этомъ кошелькѣ я имѣю честь предложить вам
деньги и беру смѣлость попросить у васъ квитанцію»
Слыша это, онъ начинаетъ плакать, мадамъ Клоцъ тож
начинаетъ плакать, грязная горничная плачетъ, кривой
приказчикъ плачетъ, дѣти плачутъ... А я? Я, такой чувстви
тельный человѣкъ, не могъ, однако, плакать, и сперва упал
въ обморокъ, и только потомъ хлынули у меня изъ глаз
точно водопадъ, слезы, и я проплакалъ три часа сряду.

Голосъ маленькаго человѣчка дрожалъ въ то время, как
онъ разсказывалъ, и затѣмъ торжественно вынулъ онъ из
кармана уже упомянутый мною конвертикъ; снялъ съ него
полинявшую розовую тафту и показалъ мнѣ квитанцію, в
которой Христіанъ Генрихъ Клоцъ удостовѣрялъ получени
имъ 50.000 марокъ.

— Когда я умру, — сказалъ Гіацинтъ со слезами в
глазахъ:—пусть эту квитанцію положатъ со мною въ могилу.
И когда придется мнѣ отдавать въ день страшнаго суда
отчетъ о моихъ земныхъ дѣйствіяхъ, то я предстану с
этой квитанціей въ рукѣ, и когда мой злой духъ исч
злые поступки, совершенные мной на землѣ, а мой
ангелъ захочетъ приступить къ чтенію моихъ добр
ступковъ, то я скажу ему: «Молчи, я хочу только
правильна ли эта квитанція, дѣйствительно ли это
Христіана Германа Клоца?» И тутъ прилетитъ

крошечный ангелъ, и скажетъ, что онъ очень хорошо знаетъ почеркъ Клёцхенъ, и разскажетъ удивительную исторію о моемъ честномъ поступкѣ... И воспоется мнѣ хвала въ присутствіи солнца, луны и звѣздъ, и будетъ вычислено, что если изъ 50.000 марокъ честности вычесть мои злые поступки, то мнѣ все-таки останется еще получить порядочную сумму . . . . . .

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Кто же этотъ графъ Платенъ, съ которымъ мы познакомились въ прошедшей главѣ, какъ съ поэтомъ и горячимъ другомъ? Ахъ, любезный читатель, этотъ вопросъ я давно уже читалъ на твоемъ лицѣ и съ колебаніемъ приступаю къ отвѣту. Въ томъ-то и заключается невзгода нѣмецкихъ писателей, что каждаго добраго или злого дурака, котораго они выводятъ на сцену, приходится имъ сперва опредѣлять сухой характеристикой и описаніемъ личности, для того, чтобы, во-первыхъ, знали, что онъ существуетъ, а во-вторыхъ—сдѣлалось извѣстнымъ мѣсто, куда его ударить такъ, чтобы попало въ цѣль—снизу или сверху, спереди или сзади. У древнихъ это было иначе, иначе оно и теперь у новыхъ народовъ, напримѣръ, англичанъ и французовъ, у которыхъ есть народная жизнь и вслѣдствіе этого public characters. Мы же, нѣмцы, имѣемъ, правда, цѣлый дурацкій народъ, но мало выдающихся дураковъ, которые были бы достаточно извѣстны для того, чтобы ими можно было пользоваться, какъ общепонятными характерами въ прозѣ и стихахъ. Немногіе люди этого рода, какими мы обладаемъ, дѣйствительно правы, когда придаютъ себѣ важность. Ихъ достоинства ничѣмъ неоцѣнимы, и самыя высшія притязанія съ ихъ стороны совершенно основательны. Такъ, напримѣръ, г. тайный совѣтникъ Шмальцъ, профессоръ берлинскаго университета—человѣкъ, за котораго незаплатить никакими деньгами; юмористическій писатель не можетъ безъ него обойтись, и онъ самъ чувствуетъ эту личную важность и незамѣнимость свою въ такой высокой степени, что пользуется каждымъ случаемъ, чтобы давать тическимъ писателямъ матеріалъ для сатиры, что ночь изыскиваетъ онъ средства, какъ бы ему сдѣемѣшнымъ въ качествѣ государственнаго человѣка, ста, декана, автора, гегеліанца и патріота, и такимъ ъ фактически содѣйствовать процвѣтанію литера- которую онъ какъ бы приноситъ себя въ жертву.

Нѣмецкимъ университетамъ вообще надо поставить въ бол
шую заслугу, что они болѣе, чѣмъ всякій другой цех
снабжаютъ нѣмецкихъ писателей всевозможными дураками
и особенно всегда цѣнилъ я въ этомъ отношеніи Геттин
генъ. Въ этомъ обстоятельствѣ заключается также тайна
причина, почему я стою за сохраненіе университетовъ, гд
постоянно проповѣдывали свободу промысла и уничтожені
цехового устройства. При такомъ ощутительномъ недостатк
въ выдающихся дуракахъ, я заслуживаю полнѣйшую бла
годарность, если вывожу на сцену и дѣлаю общеупотреби
тельными новыхъ. Въ интересахъ литературы поговорю
поэтому здѣсь нѣсколько подробнѣе о графѣ Августѣ фонъ
Платенъ-Галлермюнде. Я желаю съ своей стороны содѣй
ствовать, чтобы онъ сдѣлался извѣстнымъ и отчасти зна
менитымъ, я, такъ сказать, литературно выкормлю его
какъ дѣлаютъ ирокезцы съ тѣми плѣнными, которыхъ он
хотятъ съѣсть на предстоящихъ пиршествахъ. Поступлю
въ этомъ случаѣ совершенно честно, крайне вѣжливо, как
подобаетъ бюргеру. Матеріальной стороны, такъ называе
мой личности, я коснусь только потолику, поколику можн
этимъ объяснить явленія духовныя, и постоянно буду в
совершенной точности указывать точку зрѣнія, съ которо
я смотрѣлъ на него, а иногда даже очки, сквозь которы
смотрѣлъ.

Точка зрѣнія, съ которой я увидѣлъ графа Платена в
первый разъ, была Мюнхенъ, арена его стремленій, гд
онъ у всѣхъ, знающихъ его, весьма знаменитъ и гдѣ, пок
ему суждено оставаться въ живыхъ, онъ несомнѣнно будет
безсмертенъ. Очки, сквозь которые я глядѣлъ на него, при
надлежали нѣсколькимъ туземцамъ Мюнхена, которые в
веселые часы кидали то или другое веселое словечко н
счетъ его внѣшности. Самого его я никогда не видалъ,
если хочу представить себѣ его фигуру, то всегда вспоми
наю смѣшное бѣшенство, съ которымъ однажды мой друг
докторъ Лаутенбахенъ, накинулся вообще на глупость по
этовъ, причемъ особенно говорилъ о нѣкоемъ графѣ Пла
тенѣ, который появлялся на общественной прогулкѣ въ
Эрлангенѣ съ лавровымъ вѣнкомъ на головѣ и, уст
въ небо осѣдланный очками носъ, представлялся по
нымъ въ поэтическое вдохновеніе. Другіе лучше отз
о бѣдномъ графѣ и сожалѣли только о его огранич
матеріальныхъ средствахъ, заставлявшихъ его рабо
тать силу при честолюбивыхъ его стремленіяхъ.

по крайней мѣрѣ въ качествѣ поэта. И эти люди говорили въ особенности о его предупредительной привѣтливости къ болѣе молодымъ, относительно которыхъ онъ былъ олицетвореніе скромности, ибо съ очаровательнѣйшимъ смиреніемъ просилъ у нихъ позволенія по временамъ заходить къ нимъ въ комнату, а затѣмъ простиралъ свою доброту такъ далеко, что приходилъ чуть не каждый день даже въ томъ случаѣ, когда ему давали самымъ явственнымъ образомъ замѣтить несносность его посѣщеній. Такіе разсказы до извѣстной степени трогали меня, хотя я находилъ весьма естественнымъ это отсутствіе личнаго одобренія. Напрасно жаловался часто графъ:

«. . . Ахъ, бѣлокурой юности твоей,
Плѣнительный мой мальчикъ, непріятенъ
Меланхолическій товарищъ. Ну, такъ я
Примусь шутить, пущусь охотно въ фарсы,
Вмѣсто того, чтобъ услаждать себя,
Какъ дѣлалъ я до этихъ поръ, слезами.
И небо я рѣшился умолять
Послать мнѣ въ даръ мнѣ чуждую веселость...»

Напрасно увѣрялъ бѣдный графъ, что онъ со временемъ будетъ знаменитѣйшимъ поэтомъ, что ужъ теперь на его челѣ усматривается тѣнь отъ лавроваго листа, что своихъ милыхъ отроковъ онъ также можетъ со временемъ сдѣлать безсмертныхъ, посредствомъ непреходящихъ стихотвореній. Ахъ, именно эта знаменитость не была ни для кого пріятна и дѣйствительно, завидной нельзя ее назвать. Я помню еще, съ какой сдержанной улыбкой смотрѣли на кандидатовъ въ подобныя знаменитости нѣсколько веселыхъ друзей подъ мюнхенскими аркадами. Одинъ злодѣй-прорицатель увѣрялъ даже, что сквозь полы сюртука этого юноши онъ усмотрѣлъ тѣнь лавроваго листа. Что касается меня, любезный читатель, то я не такъ золъ, какъ ты думаешь. Я сожалѣю о бѣдномъ графѣ въ то время, когда другіе осмѣиваютъ его. Я сомнѣваюсь, что онъ дѣйствительно отомстилъ ненавистному «обычаю», хотя онъ и высказываетъ въ своихъ пѣсняхъ томное желаніе предаться такой мести. Я больше вѣрю оробленія, насмѣшки и обидные отказы, о которыхъ мъ поетъ такъ трогательно. Я убѣжденъ, что отно- «обычая» онъ вообще велъ себя похвальнѣе, чѣмъ лалъ, и онъ, я думаю, можетъ, какъ генералъ Тилли, тью сказать о себѣ: «Я никогда не былъ пьянъ, е прикоснулся къ женщинѣ и никогда не поте-

рялъ сраженія». Вотъ почему, безъ сомнѣнія, говоритъ с немъ поэтъ:

«Ты юноша и нравственный, и скромный!»

Бѣдный юноша, или вѣрнѣе, бѣдный старый юноша (ибо въ то время имъ было прожито уже нѣсколько люстровъ) корпѣлъ тогда, если я не ошибаюсь, при эрлангенскомъ университетѣ, гдѣ ему дали кое-какое занятіе; но такъ какъ оно не удовлетворяло высокимъ стремленіямъ его духа, такъ какъ съ годами все болѣе и болѣе увеличивались его честолюбивые замыслы, и такъ какъ графъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе воодушевлялся мыслями о своемъ будущемъ величіи, то онъ отказался отъ вышеупомянутаго занятія и рѣшился жить случайными подаяніями сверху и нѣкоторыми другими заслугами. Графство графа лежитъ на лунѣ, откуда, вслѣдствіе дурныхъ путей сообщенія съ Баваріей, онъ, по вычисленію Груитгуизена, начнетъ получать свои доходы только чрезъ двадцать тысячъ лѣтъ, когда луна болѣе приблизится къ нашей землѣ.

Еще раньше донъ Платенъ де-Калибрадосъ Галермюнде издалъ въ Лейпцигѣ у Брокгауза собраніе стихотвореній подъ заглавіемъ: «Лирическія страницы. № 1», которыя, правда, остались неизвѣстными, несмотря на то, что, какъ онъ увѣрялъ насъ въ предисловіи, семь мудрецовъ выразили свою похвалу автору. Впослѣдствіи, по образцу Тика, онъ издалъ нѣсколько драматизированныхъ сказокъ и повѣстей, на долю которыхъ тоже выпало счастіе остаться неизвѣстными немудрой толпѣ и быть читаемыми только семью мудрецами. Тогда, чтобы пріобрѣсти себѣ нѣсколько читателей и кромѣ семи мудрецовъ, графъ занялся полемикой и написалъ сатиру на знаменитыхъ писателей, преимущественно на Мюльнера, который въ ту пору пользовался уже общей ненавистью и былъ нравственно уничтоженъ, такъ что графъ явился какъ разъ во-время, чтобы мертвому гофрату Эриндуру нанести еще ударъ, не въ голову, но по манерѣ Фальстафа, въ икру. Негодованіе на Мюльнера наполняло тогда всѣ благородныя сердца; полемика графа не могла поэтому не понравиться, и «Ро Вилка» встрѣтила кое-гдѣ удачный пріемъ, не въ публики, но у литераторовъ, и собственно, у шк братіи. У этой послѣдней, главнымъ образомъ, потом сатира его являлась подражаніемъ уже не романтич Тику, а классическому Аристофану. Кажется, что

въ это время графъ поѣхалъ въ Италію: онъ уже не сомнѣвался, что можетъ жить своими стихами. Когда удостоился своей обыкновенной прозаической чести — выдать деньги на счетъ поэзіи, потому что поэзія, дочь неба, высокорожденная, никогда сама не имѣетъ денегъ и при надобности въ нихъ всегда обращается къ Коттѣ. Теперь графъ сталъ слагать стихи день и ночь, онъ не остался подражателемъ Тика, Аристофана, но пошелъ также по слѣдамъ Гете въ пѣснѣ, Горація—въ одѣ, Петрарки—въ сонетахъ, наконецъ, Гафиза — въ прозаическихъ газеляхъ, однимъ словомъ, онъ далъ намъ, такимъ образомъ, выборъ изъ лучшихъ поэтовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ свои собственныя «Лирическія страницы» подъ заглавіемъ: «Стихотворенія графа Платена и проч.»

Никто въ Германіи не относится къ поэтическимъ произведеніямъ благосклоннѣе меня, и я очень охотно предоставляю такому бѣдняку, какъ Платенъ, ту крошечную славу, которую онъ такъ тяжело зарабатываетъ въ потѣ лица своего. Никто не склоненъ больше меня прославлять его стремленія, его прилежаніе и его начитанность въ поэзіи и признавать его силлабическія заслуги. Мои собственныя попытки даютъ мнѣ возможность болѣе, чѣмъ всякому другому, оцѣнить метрическія заслуги графа. Тяжелый трудъ, невыразимая устойчивость, скрежетъ зубовъ въ зимнія ночи, страшныя усилія, съ которыми онъ вырабатываетъ свои стихи—все это нашъ братъ открываетъ гораздо скорѣе, чѣмъ обыкновенный читатель, для котораго гладкость, красивость и политура этихъ стиховъ графа представляются чѣмъ-то легкимъ, которому безъ размышленія пріятно увлекаться гладкой игрой словъ, точно такъ же, какъ мы въ теченіе нѣсколькихъ часовъ забавляемся акробатами, пляшущими на канатѣ и становящимися внизъ головой, не думая, что эти бѣдняки пріобрѣли такое костоломное искусство, такую метрику тѣла тяжелой работой въ продолженіе многихъ лѣтъ и страшнымъ голоданіемъ. Я, не испытывавшій въ сочиненіи стиховъ такихъ мученій и занимавшійся этимъ искусствомъ всегда въ соединеніи съ сытной ѣдой, я тѣмъ болѣе готовъ восхвалять графа Платена,

у это досталось и достается съ такимъ трудомъ; я
свидѣтельствовать, что ни одинъ канатный плясунъ
нѣ не балансируетъ лучше его на слабо натяну-
зеляхъ, ни одинъ не исполняетъ искуснѣе его пляску
цъ на

ᴗᴗ—ᴗᴗ———

ᴗᴗ———ᴗᴗᴗᴗ и т. д.,

ни одинъ не становится такъ хорошо вверхъ ногами. Если музы и неблагосклонны къ нему, то духъ языка все-таки находится въ его полномъ распоряженіи, или, вѣрнѣе, онъ умѣетъ его насиловать, ибо свободной любви этого духа у него нѣтъ, онъ долженъ постоянно бѣгать также за этимъ юношей и умѣетъ онъ схватывать только внѣшнія формы, которыя несмотря на свою прекрасную закругленность, лишены всякаго благородства. Никогда тѣ глубокіе, естественные звуки какіе мы находимъ въ народной пѣснѣ, у дѣтей и другихъ поэтовъ, не выходили изъ души Платена, не расцвѣтали оттуда поэтическимъ откровеніемъ; тяжелыя усилія, къ которымъ ему приходится прибѣгать, чтобы сказать что-нибудь, онъ называетъ «великимъ подвигомъ на словахъ»; до такой степени незнакома ему сущность поэзіи, что онъ не знаетъ даже, что слово есть подвигъ только у ритора, а у истиннаго поэта—оно событіе. Въ противоположность тому, какъ бываетъ у истинныхъ поэтовъ, языкъ у Платена никогда не былъ мастеромъ, напротивъ, онъ самъ сдѣлался мастеромъ въ языкѣ, или, скорѣе, на языкѣ, какъ виртуозъ на инструментѣ. Чѣмъ болѣе уходилъ онъ такимъ образомъ впередъ въ техническомъ отношеніи, тѣмъ болѣе высокаго мнѣнія становился онъ о своей виртуозности: вѣдь умѣлъ онъ играть на всѣ лады, вѣдь перекладывалъ онъ въ стихи труднѣйшіе пассажи, иногда сочинялъ, такъ сказать, только на одной струнѣ, и сердился, если публика не аплодировала. Какъ всѣ виртуозы, выработавшіе у себя такое одностороннее дарованіе, онъ стремился только къ рукоплесканіямъ, сердито смотрѣлъ на славу другихъ, завидовалъ своимъ коллегамъ, напримѣръ, Клаурену, при малѣйшей тѣни порицанія его стихамъ сейчасъ же писалъ пасквиль въ пяти дѣйствіяхъ, контролировалъ всѣ рецензіи, гдѣ хвалили другихъ, и постоянно кричалъ: «меня недостаточно хвалятъ», недостаточно вознаграждаютъ, ибо я поэтъ поэтовъ» и т. д.

Такой жажды похвалъ и подачекъ не обнаруживалъ никогда истинный поэтъ, ни Клопштокъ, ни Гете, къ рымъ графъ Платенъ самъ причисляетъ себя, какъ тре хотя каждому ясно, что онъ составляетъ тріумвиратъ съ Рамлеромъ и развѣ съ Августомъ-Вильгельмомъ лемъ. Великій Рамлеръ, какъ его называли въ его когда онъ, правда, безъ лавроваго вѣнка на головѣ,

тѣмъ болѣе длинной косой, съ устремленными къ небу глазами, съ полотнянымъ большимъ зонтикомъ подъ рукой, гулялъ по берлинскому Тиргартену, скандируя стихи—Рамлеръ считалъ себя въ ту пору представителемъ поэзіи на землѣ. Его стихи были самые образцовые на нѣмецкомъ языкѣ, и почитатели его, къ которымъ по ошибкѣ присталъ даже Лессингъ, думали, что дальше въ поэзіи уже нельзя пойти. Почти то же самое произошло впослѣдствіи по отношенію къ А. В. Шлегелю, поэтическая слабость котораго сдѣлалась, однако, очевидной съ тѣхъ поръ, какъ языкъ получилъ дальнѣйшую разработку, такъ что даже я, который нѣкогда считалъ пѣвца Аріона равносильнымъ дѣйствительному Аріону, теперь вижу въ немъ только заслуженнаго школьнаго учителя. Но имѣетъ ли уже теперь графъ Платенъ право смѣяться надъ нѣкогда знаменитымъ Шлегелемъ, какъ Шлегель смѣялся надъ Рамлеромъ—это для меня вопросъ. Одно знаю я, что въ поэзіи всѣ эти трое равны другъ другу, и какъ ни красиво танцуетъ на канатѣ графъ Платенъ въ своихъ газеляхъ, какъ ни искусно исполняетъ онъ свой яичный танецъ въ одахъ, какъ ни удивительно становится онъ вверхъ ногами въ своихъ комедіяхъ—все-таки онъ не поэтъ. Онъ не поэтъ—говоритъ даже неблагодарная мужская молодежь, которую онъ воспѣваетъ такъ нѣжно. Онъ не поэтъ,—говорятъ женщины, которыя, можетъ-быть (я долженъ замѣтить это въ его защиту), здѣсь не совсѣмъ безпристрастны и, быть-можетъ, благодаря открываемой ими въ немъ склонности, ощущаютъ нѣкоторую ревность, или даже усматриваютъ въ тенденціи его стиховъ опасность для того выгоднаго положенія, которое онѣ до сихъ поръ занимали въ обществѣ. Строгіе критики, снабженные хорошими очками, соглашаются съ этимъ мнѣніемъ, или выражаются съ еще болѣе суровымъ лаконизмомъ.

— Что̀ вы находите въ произведеніяхъ графа Платена?—спросилъ я недавно одного изъ такихъ людей.

— Высиживанье,—отвѣчалъ онъ.

— Это вы говорите въ отношеніи выработанной съ большимъ трудомъ формы?—продолжалъ я.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ тотъ:—высиживанье и относительно
канія.

касается содержанія стихотвореній Платена, то я,
не могу хвалить за него бѣднаго графа, но и не
же безусловно предоставлять его тому цензорскому

бѣшенству, съ которымъ наши Катоны или говорятъ о немъ или умалчиваютъ. Chacun a son goût, — одному нравится быкъ, а другому корова Васиппы. Я порицаю даже ту страшную радамантскую серьезность, съ которой въ «Берлинскомъ Ежегодникѣ» научные критики отзывались о содержаніи Платеновскихъ стихотвореній. Но таковы уж люди, имъ всегда легко воспламеняться, когда они говорятъ о грѣхахъ, которые имъ самимъ не доставили бы никакого удовольствія. Въ газетѣ «Morgenblatt» я прочел недавно статью: «Изъ дневника читателя», гдѣ графъ Платенъ высказывается относительно такихъ строгихъ порицателей его любви къ дружбѣ съ той скромностью, отъ которой онъ никогда не можетъ отречься и которую сохраняет и здѣсь. Когда онъ говоритъ, что «Гегелевскій Еженедѣльникъ» обвиняетъ его въ нѣкоторомъ тайномъ порокѣ «съ комическимъ паѳосомъ», то, какъ легко догадаться, онъ хочетъ только предупредить порицанія другихъ людей, образ мыслей которыхъ узналъ онъ изъ третьихъ рукъ. Но ему доставили невѣрныя свѣдѣнія: я никогда не провинюсь въ этомъ отношеніи никакимъ паѳосомъ, благородный графъ для меня скорѣе забавное явленіе, и въ его сіятельной склонности къ дружбѣ я вижу только нѣчто несвоевременное, только робко-стыдливую пародію на древнее пренебреженіе существующаго «обычая». Въ томъ-то и дѣло, что эта наклонность въ древности не находилась въ противорѣчіи съ общественными нравами и проявлялась съ героическою откровенностью. Когда, напримѣръ, императоръ Неронъ устроилъ на выложенныхъ золотомъ и слоновой костью корабляхъ пиршество, стоившее нѣсколькихъ милліоновъ, то онъ торжественно обвѣнчался здѣсь же съ юношей изъ мужского сераля, Пиѳагоромъ (cuncta denique spectata quae et im in femina nox operit), и затѣмъ зажегъ свадебнымъ факеломъ Римъ, чтобы при пламени пожара тѣмъ лучше воспѣвать погибель Трои. То былъ еще такой сочинитель газелей, о которомъ я могъ бы говорить съ паѳосомъ; но только улыбку можетъ вызывать во мнѣ новый пиѳагореецъ, который боязливо и скучно крадется въ нынѣшнемъ Римѣ по дорожкѣ дружбы, встрѣчаетъ отпоръ стороны нелюбящей его молодежи и затѣмъ со вздох поетъ свои газели при жалкомъ свѣтѣ масляной ла Интересно въ этомъ отношеніи сравненіе стихотво Платена со стихами Петронія. У Петронія рѣзкая, а ная, пластично-языческая откровенность; графъ П

напротивъ того, несмотря на усиленное выставленіе имъ на видъ классичности, трактуетъ свой предметъ скорѣе романтично, со всяческими прикрытіями, съ вздохами тоски и томленія—и, долженъ я прибавить, лицемѣрно. Ибо графъ маскируется иногда въ набожныя чувства, онъ избѣгаетъ точныхъ обозначеній пола, о которомъ говоритъ; ему кажется, что относительно массы онъ достаточно скрылъ себя, когда произнесъ слово «другъ», и съ нимъ бываетъ въ этихъ случаяхъ то же, что съ страусомъ, который считаетъ себя достаточно спрятавшимся, когда уткнулъ въ песокъ голову, такъ что виднымъ остался только хвостъ. Наша сіятельная птица поступила бы лучше, если бы хвостъ упрятала въ песокъ, а намъ показала голову. Дѣйствительно, онъ мужчина больше хвоста, чѣмъ головы, да и названіе мужчина вообще не подходитъ къ нему, его любовь имѣетъ пассивно пиѳагорейскій характеръ, онъ женщина, и притомъ женщина, для которой пріятно женское, онъ какъ бы мужская трибада. Эта боязливо сгибающаяся натура проглядываетъ сквозь всѣ его любовныя стихотворенія, онъ постоянно находитъ себѣ новаго красавца—друга, повсюду въ этихъ стихотвореніяхъ видимъ мы поліандрію... повсюду видимъ птицу страуса, прячущаго только свою голову, тщеславную и безсильную птицу, у которой красивѣйшія перья и которая, однако, не можетъ летать и, сердито брюзжа, прыгаетъ по полемической песчаной пустынѣ литературы. Со своими прекрасными перьями безъ летательной силы, со своими красивыми стихами безъ поэтическаго взмаха, онъ составляетъ противоположность тому орлу пѣснопѣнія, который, обладая менѣе блестящими перьями, возносится, однако, на нихъ къ солнцу... я снова долженъ вернуться къ припѣву: графъ Платенъ не поэтъ.

Отъ поэта мы требуемъ двухъ вещей: въ его лирическихъ стихотвореніяхъ должны быть естественные звуки, въ эпическихъ или драматическихъ—образы. Если онъ не можетъ документально удовлетворить этимъ требованіямъ, титулъ поэта ему не дается даже въ томъ случаѣ, когда его остальныя семейныя бумаги и дворянскіе дипломы въ величай-
ъ порядкѣ. Что этимъ послѣднимъ графъ Платенъ мо-
похвалиться, въ томъ я не сомнѣваюсь, и я убѣжденъ,
ъ ограничился бы улыбкой состраданія, заподозри
будь его графскій титулъ; но чуть только посмѣютъ
одною ксеніею набросить малѣйшую тѣнь на его
поэта, онъ тотчасъ же обнаруживаетъ сердитое

сопротивленіе и печатаетъ на васъ пятиактныя сатиры. Это оттого, что люди тѣмъ ревнивѣе дорожатъ титуломъ, чѣмъ двусмысленнѣе и неизвѣстнѣе право, на которомъ онъ основывается. Но, быть-можетъ, графъ Платенъ и былъ бы поэтъ, живи онъ въ другое время и кромѣ того, будь онъ иной, чѣмъ теперь. Причина отсутствія естественныхъ звуковъ въ стихахъ графа заключается, быть-можетъ, въ томъ, что онъ живетъ въ ту пору, когда ему нельзя открыто называть по имени свои истинныя чувства, когда тотъ самый обычай, который всегда враждебенъ его любви, даже запрещаетъ ему открыто сѣтовать на это, когда онъ долженъ боязливо скрывать свои ощущенія, чтобы не оскорбить ни единымъ словомъ слухъ какъ публики, такъ и «суроваго красавца». Эта боязнь подавляетъ у него всѣ естественные звуки, на какіе онъ былъ бы способенъ, она осуждаетъ его только на метрическую обработку чувствъ другихъ поэтовъ, какъ найденнаго имъ безукоризненнаго матеріала, и въ случаѣ необходимости, на пользованіе ими для маскированія своихъ собственныхъ чувствъ. Быть-можетъ, несправедливы тѣ, которые не принимая во вниманіе его несчастнаго положенія, утверждали, что графъ и въ поэзіи хочетъ оставаться графомъ и выставлять на видъ свое дворянское происхожденіе, и вслѣдствіе этого выражаетъ передъ нами только чувства извѣстной фамиліи, чувства, которыя насчитываютъ у себя уже шестьдесятъ четыре предка. Живи онъ во времена римскаго Пиѳагора, онъ, быть-можетъ, высказывалъ бы свои собственныя чувства свободнѣе и, пожалуй, признавался бы за поэта. По крайней мѣрѣ, въ его лирическихъ стихотвореніяхъ слышались бы естественные звуки; но въ его драмахъ образцы все-таки отсутствовали бы пока не измѣнилась бы и его чувственная натура, и онъ не сдѣлался бы инымъ. Подъ образами я понимаю здѣсь тѣ самостоятельныя созданія, которыя выходятъ изъ творческаго духа поэта вполнѣ законченныя и вооруженныя, какъ Паллада Аѳина изъ головы Кроноса— живыя мечты и грезы, мистическое рожденіе которыхъ находится въ большей, чѣмъ думаютъ, чудной связи съ чувственною натурою автора, такъ что на такіе духовъ роды неспособенъ тотъ, кто самъ, какъ безплотное существо, газелически расплывается въ поверхностной сентиментальности.

Но все это частныя мнѣнія писателя, и цѣнность зависитъ отъ того, насколько хотятъ вѣрить ихъ

тенціи. Не могу не упомянуть о постоянныхъ увѣреніяхъ графа, что самое значительное, такое, какого теперь никто еще себѣ представить не можетъ, онъ создастъ только впослѣдствіи, — мало того, что даже свои Иліады и Одиссеи, классическія трагедіи и разныя другія безсмертныя, колоссальныя стихотворенія онъ напишетъ только тогда, когда послѣ столькихъ-то и столькихъ-то лѣтъ достаточно къ тому приготовится. Тебѣ, любезный читатель, приходилось уже, быть-можетъ, самому читать эти изліянія сознанія собственнаго достоинства въ выработанныхъ съ большими усиліями стихахъ, и перспектива такого прекраснаго будущаго была для тебя, вѣроятно, тѣмъ отраднѣе, что графъ въ то же самое время всѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, за исключеніемъ совсѣмъ стараго Гете, изображалъ, какъ рой скверныхъ писакъ, которые только преграда ему на путяхъ славы, и настолько безстыдны, что сами срываютъ тѣ лавры и награды, на которые одинъ онъ имѣетъ право.

Что я слышалъ на этотъ счетъ въ Мюнхенѣ — умолчу; но ради хронологіи долженъ замѣтить, что въ то время баварскій король выразилъ намѣреніе назначить кому-нибудь изъ нѣмецкихъ поэтовъ жалованье, не связывая съ этимъ никакого служебнаго положенія, каковой необычайный примѣръ могъ имѣть для всей нѣмецкой литературы прекрасныя послѣдствія. Мнѣ говорили...

Но я не хочу отступать отъ моей темы. Я началъ говорить о хвастовствахъ графа Платена, который постоянно восклицалъ: «Я поэтъ, поэтъ поэтовъ! я сочиню Иліады и Одиссеи» и т. д. Не знаю, какъ относится публика къ подобнымъ хвастовствамъ, но мнѣ доподлинно извѣстно, какого мнѣнія о нихъ поэтъ, т. е. поэтъ истинный, который уже ощутилъ въ себѣ стыдливую сладость и тайный трепетъ поэзіи, и какъ счастливый пажъ, пользующійся скрытою благосклонностью принцессы, конечно, не станетъ хвастливо кричать о блаженствѣ этихъ ощущеній на общественныхъ рынкахъ.

Не разъ уже достаточно трунили надъ графомъ Платеномъ за такія фанфаронства, и онъ, какъ Фальстафъ, всегда [illegible]дилъ себѣ оправданія. Въ этихъ оправданіяхъ помо[illegible]ъ ему талантъ, единственный въ своемъ родѣ и заслу[illegible]ющій особеннаго признанія. Графъ Платенъ умѣетъ, [illegible]о, каждому пятнышку, пребывающему въ его собствен[illegible]уди, находить нѣчто соотвѣтствующее, хотя бы и въ [illegible]ной степени, въ томъ или другомъ великомъ чело-

вѣкѣ, и вслѣдствіе этого избирательнаго сродства пятнышекъ, сравнивать себя съ нимъ. Такъ, напримѣръ, о сонетахъ Шекспира ему извѣстно, что они обращены къ молодому человѣку, а не къ женщинѣ, и за этотъ основательный выборъ онъ восхваляетъ Шекспира, сравниваетъ съ нимъ себя—и это все, что̀ можетъ сказать о немъ. Можно было бы написать апологію графа Платена отрицательно и утверждать, что онъ еще не провинился въ такомъ-то и такомъ-то промахѣ, потому что еще не сравнивалъ себя съ такимъ-то и такимъ-то великимъ человѣкомъ, съ чьего голоса сдѣланъ былъ имъ этотъ промахъ. Но всего геніальнѣе и изумительнѣе показалъ онъ себя въ выборѣ лица, въ жизни котораго онъ открылъ нескромныя рѣчи и чьимъ примѣромъ онъ хочетъ скрасить свое хвастовство. Вотъ ужъ для этой цѣли никогда еще не цитировались слова этого Лица, ибо это никто иной, какъ самъ Іисусъ Христосъ, на Котораго мы вѣдь всегда смотрѣли, какъ на высшій образецъ смиренія и скромности!.. Да, то, чего не могло до сихъ поръ и въ голову придти ни одному богослову, то открылъ графъ Платенъ, ибо онъ докладываетъ намъ, что Христосъ, когда стоялъ передъ Пилатомъ, тоже не былъ скроменъ и на вопросъ Пилата: «Ты царь іудейскій?» отвѣтилъ: «Ты сказалъ». И точно такъ же говоритъ и онъ, графъ Платенъ: «Я поэтъ, во истину поэтъ!..» То, чего не могла добиться ненависть всѣхъ враговъ Христа, удается экзегетикѣ влюбленнаго въ самого себя тщеславія.

Точно такъ же, какъ мы знаемъ, что̀ думаютъ о томъ, кто постоянно кричитъ такимъ образомъ о себѣ: «я поэтъ!» точно такъ же намъ извѣстно, каковы будутъ совершенно необычайныя стихотворенія, которыя еще сочинитъ графъ, когда достигнетъ надлежащей зрѣлости, и которыми будутъ такъ неслыханно превзойдены всѣ удивительныя вещи, написанныя имъ до сихъ поръ. Мы знаемъ очень хорошо, что позднѣйшія произведенія всякаго истиннаго поэта отнюдь не бываютъ значительнѣе предшествовавшихъ, какъ у женщины, чѣмъ чаще она рожаетъ, каждое новое дитя совсѣмъ не лучше и совершеннѣе прежнихъ; нѣтъ, первое дитя такъ же хорошо, какъ и второе — только рожать ле Львица не производитъ на свѣтъ сперва кролика, по зайчика, далѣе щенка, и наконецъ уже льва. Мадамъ сразу родила своего львенка, и онъ съ перваго же далъ намъ своего Берлихингенскаго льва. Точно такъ же леръ съ перваго раза родилъ своихъ «Разбойников

лапамъ которыхъ сейчасъ же признали ихъ львиную породу. Впослѣдствіи появились уже политура, сглаживаніе, шлифовка — «Незаконная Дочь» и «Мессинская Невѣста». Не то было съ графомъ Платеномъ, который началъ съ тяжело дававшейся ему искусственной работы и о которомъ поэтъ говоритъ:

«Изъ ничего совсѣмъ готовымъ молодцомъ,
Съ налакированнымъ, прилизаннымъ лицомъ,
Ты выпрыгнулъ, похожій на игрушку
Изъ выточенной пробки...»

Впрочемъ, если нужно мнѣ высказать мою сокровеннѣйшую мысль, то сознаюсь, что не считаю графа Платена такимъ большимъ дуракомъ, какимъ бы слѣдовало его считать, судя по этой хвастливости и постоянному самовоскуренію. Безъ нѣкоторой доли глупости поэзія, само собой разумѣется, обойтись не можетъ; но было бы ужасно, если бы природа наваливала на одного человѣка такую большую порцію глупости, которой хватило бы на сто великихъ поэтовъ, а сама поэзія давала бы ему самую ничтожную долю. Я имѣю основаніе предполагать, что графъ самъ не вѣритъ своему собственному хвастовству и что онъ, будучи бѣднякомъ и въ жизни, и въ литературѣ, былъ принужденъ, для удовлетворенія потребностямъ минуты, сдѣлаться своимъ собственнымъ панегиристомъ и въ литературѣ, и въ жизни. Оттого и тутъ, и тамъ явленія, о которыхъ можно сказать, что они представляютъ больше психологическій, чѣмъ эстетическій интересъ; оттого въ одно и то же время плаксивѣйшее изнеможеніе души и напускная надменность; оттого жалкія причитанья насчетъ скорой смерти и хвастливыя угрозы будущимъ безсмертіемъ; оттого взрывы раздутой спеси и приниженная покорность; оттого постоянныя жалобы, что «Котта моритъ его съ голода», оттого припадки католицизма и т. д.

Серьезно ли относится графъ къ католицизму—въ этомъ я сомнѣваюсь. Вообще, сдѣлался ли онъ католикомъ, какъ нѣсколько изъ его высокородныхъ друзей — не знаю. Что онъ имѣетъ это намѣреніе, объ этомъ я узналъ только изъ [illegible]етъ, которыя даже прибавляли, что графъ идетъ въ мо[illegible]ки и поступаетъ въ монастырь. Злые языки высказывали [illegible]ніе, что обѣтъ нищеты и воздержанія отъ женщинъ для [illegible] не будутъ тяжелы. Само собою разумѣется, что при [illegible]ъ извѣстіяхъ набожные колокольчики производили звонъ [illegible]рдцахъ его друзей. Въ клерикальныхъ журналахъ раз-

давались хвалебныя пѣсни въ честь его стихотвореній; и дѣйствительно, служителямъ безбрачія должны были доставлять удовольствіе стихотворенія, содѣйствовавшія воздержанію отъ женскаго пола. Къ сожалѣнію, у моихъ стихотвореній другая тенденція, и что они не приходятся по вкусу этимъ господамъ — это могло меня огорчать, но не удивлять. Точно такъ же не удивило меня, когда за день до моего отъѣзда въ Италію я узналъ отъ моего друга, доктора Кольба, что графъ Платенъ очень враждебно настроенъ противъ меня и уже уготовилъ мою погибель въ комедіи подъ заглавіемъ «Царь Эдипъ», которая уже представлена въ Аугсбургѣ у нѣсколькихъ князей и графовъ, имена которыхъ я забылъ, или желаю забыть. Разсказывали мнѣ и другіе, что графъ Платенъ меня ненавидитъ и выступаетъ противъ меня врагомъ, и это было для меня во всякомъ случаѣ пріятнѣе, чѣмъ если бы мнѣ сообщили, что графъ стоитъ у меня за спиной, какъ любящій другъ. Что касается святыхъ людей, набожная ярость которыхъ ко мнѣ проявилась въ то же самое время, и не только благодаря моимъ антицелибатнымъ стихотвореніямъ, но и за издававшіяся мною въ ту пору «Политическія Анналы» — то и въ этомъ отношеніи я только выигрывалъ, когда явственно обнаруживалось, что я не изъ ихъ партіи. Если этимъ я намекаю, что о нихъ не говорятъ ничего хорошаго, то изъ этого еще не слѣдуетъ, что я говорю о нихъ дурное. Я даже того мнѣнія, что они только изъ любви къ добру стараются набожнымъ обманомъ и богоугодными клеветами лишить всякой силы слово злыхъ и закрываютъ для него не только духовные, но и матеріальные источники жизни только ради этой благородной цѣли, освящающей всякое средство. Добрыхъ этихъ людей, которые въ Мюнхенѣ выступали весьма публично въ видѣ конгрегаціи, почтили весьма неосновательно именемъ іезуитовъ. Совсѣмъ они не іезуиты, иначе имъ стало бы ясно, что, напр., я, одинъ изъ злыхъ, въ худшемъ случаѣ свѣдущъ въ литературно-алхимистическомъ искусствѣ чеканить изъ моихъ враговъ червонцы—такимъ образомъ, что червонцы достаются мнѣ, а удары отъ чеканки—моимъ врагамъ; имъ стало бы ясно, что подобные удары нисколько не теряютъ своей силы и въ томъ слу[illegible] когда поносится имя ударяющаго, точно такъ же, какъ [illegible] казнимаго грѣшника сила топора не становится менѣе [illegible] *ствительною* отъ того, что палачъ, наносящій этотъ [illegible] *считается* безчестнымъ человѣкомъ; а что самое гл[illegible]

имъ стало бы ясно, что моя симпатія къ антиаристократическому Фоссу и нѣкоторыя безобидныя остроты, за которыя они съ самаго начала пустились осыпать меня грязью и глупостью, имѣли источникомъ совсѣмъ не антикатолическое рвеніе. Да, конечно, они не іезуиты, а ничто иное, какъ смѣсь грязи и глупости, которыхъ я не могу ненавидѣть точно такъ же, какъ телѣгу съ навозомъ и тащащаго ее быка, и которые всѣми усиліями достигаютъ только противоположнаго ихъ цѣли, а меня могутъ довести только до одного — заставить показать имъ, до какой степени я протестантъ, и какъ пользуюсь протестантскимъ правомъ моимъ въ его обширнѣйшихъ размѣрахъ, и какъ весело и бодро пускаю въ дѣло мой добрый протестантскій топоръ. А послѣ этого пусть они, для склоненія на свою сторону черни, заставляютъ своихъ лейбъ-поэтовъ перекладывать въ стихи розсказни старыхъ бабъ о моемъ невѣріи; по знакомымъ ударамъ легко имъ будетъ узнавать въ бьющемъ единомышленника Лютера, Лессинга и Фосса. Само собой разумѣется, что старымъ топоромъ не буду я взмахивать съ серьезностью этихъ героевъ, потому что, глядя на моихъ враговъ, трудно мнѣ удержаться отъ смѣха по моей отчасти Эйленшпигелевской натурѣ и склонности ко всему примѣшивать шутку; но хоть и увѣнчаю я мой топоръ смѣющимися цвѣтами, это не помѣшаетъ мнѣ также сильно колотить по головѣ моихъ навозныхъ быковъ.

Я, однако, слишкомъ отклоняюсь отъ моей темы. Если не ошибаюсь, именно въ это время король баварскій назначилъ графу Платену съ вышеупомянутою цѣлью жалованье въ шестьсотъ гульденовъ—и притомъ не изъ государственной кассы, а изъ частной королевской, согласно желанію графа, видѣвшаго въ этомъ особенную милость. Объ этомъ, характеризующемъ касту, обстоятельствѣ, какъ ни незначительно оно кажется, я упоминаю только въ видѣ указанія для естествоиспытателя, который, быть-можетъ, занимается наблюденіями надъ дворянствомъ. Въ наукѣ все важно. Кто упрекнулъ бы меня, что я придаю графу Платену ужъ слишкомъ большую важность, пусть отправится въ Парижъ и послушаетъ, какъ тщательно тонкій, изящный Кювье изображаетъ въ своихъ лекціяхъ самое нечистое насѣкомое въ мельчайшихъ подробностяхъ. Мнѣ поэтому даже прискорбно, что не могу точнѣе опредѣлить число, когда были назначены эти шестьсотъ гульденовъ; знаю только, что графъ Платенъ изготовилъ своего «Царя Эдипа» раньше того, и что этотъ Эдипъ не показался бы такимъ кусательнымъ, будь у автора больше кусать.

Въ сѣверной Германіи, куда внезапно отозвала меня смерть моего отца, получилъ я, наконецъ, чудовищное произведеніе, вылупившееся, наконецъ, изъ яйца, на которомъ такъ долго сидѣла наша прекрасноперая птица страусъ, и уже задолго до того привѣтствовавшееся набожнымъ карканьемъ ночныхъ совъ конгрегаціи и радостнымъ распусканіемъ хвоста благородныхъ павлиновъ. По ихъ словамъ, на свѣтъ должно было появиться нѣчто, не уступающее въ своей ядовитости василиску. Знакомо тебѣ, любезный читатель, сказаніе о василискѣ? Народъ разсказываетъ, что когда птица-самецъ кладетъ яйцо, какъ самка, то изъ него выходитъ ядовитое созданіе, отравляющее воздухъ, и которое можно убить, только подставивъ ему зеркало, потому что оно издыхаетъ отъ ужаса при видѣ своей собственной отвратительности.

Святая скорбь, которую я не хотѣлъ осквернять, была причиною того, что только два мѣсяца спустя, на островѣ Гельголандѣ, прочелъ я «Царя Эдипа», и тамъ, при высокомъ настроеніи, вызывавшемся во мнѣ постояннымъ созерцаніемъ великаго, смѣлаго моря, сдѣлались для меня совершенно наглядными мелкій образъ мыслей и старческое штопанье высокороднаго автора. Этотъ шедевръ показалъ мнѣ, наконецъ, его совершенно такимъ, каковъ онъ есть, со всею его цвѣтущею увялостью, изобиліемъ скудоумія, самомнѣніемъ безъ силы воображенія; совершенно такимъ, каковъ онъ есть—насилующимъ себя безъ силы, пикирующимъ безъ пикантности, сухою водянистою душою, печальнымъ юношею радости. И этотъ трубадуръ скорбнаго нытья, съ разслабленными тѣломъ и душой, попытался подражать самому могучему, самому богатому фантазіей и самому остроумному поэту юношескаго міра Греціи! Нѣтъ поистинѣ ничего отвратительнѣе этого конвульсивнаго безсилія, старающагося раздуться въ смѣлость, этихъ, съ великимъ трудомъ набранныхъ пасквилей, которые поросли плѣсенью застарѣлаго озлобленія, этого вымученнаго стихотворнаго подражанія духовному опьянѣнію. Понятно, что въ произведеніи графа нѣтъ и слѣда той глубокой міросокрушительной идеи, которая лежитъ въ основаніи всякой Аристофановской комедіи и которая выростаетъ оттуда, какъ фантастически тропическое волшебное дерево, цвѣтуще украшенное мыслями, съ гнѣздами поющихъ соловьевъ и прыгающими по вѣтвямъ обезьянами. Подобную идею, съ ликованіемъ смерти и необходимою принадлежностью ея—

шительнымъ фейерверкомъ, мы, конечно, не могли ожидать отъ бѣднаго графа. Средоточіе всего, первую и послѣднюю идею, основаніе и цѣль его такъ-называемой комедіи составляютъ снова, какъ и въ «Роковой Вилкѣ», ничтожныя литературныя дрязги; Аристофану бѣдный графъ могъ подражать только въ нѣсколькихъ внѣшностяхъ, именно, въ тонкомъ стихѣ и грубыхъ словахъ. Говорю—грубыхъ словахъ, потому что не хочу употребить болѣе грубое выраженіе. Какъ сварливая баба, выливаетъ онъ цѣлые цвѣточные горшки ругательствъ на головы нѣмецкихъ поэтовъ. Я отъ всего сердца прощаю графу его негодованіе, но ему все-таки слѣдовало бы нѣсколько сдержать себя. Слѣдовало бы ему отнестись съ уваженіемъ, по крайней мѣрѣ, къ нашему полу, потому что мы вѣдь не женщины, а мужчины, и слѣдовательно, принадлежимъ къ тому полу, который, по его мнѣнію, прекрасный полъ, и который онъ такъ сильно любитъ. Это во всякомъ случаѣ—отсутствіе деликатности, это заставитъ не одного юношу усумниться въ искренности его поклоненія, такъ какъ всякій чувствуетъ, что истинно любящій чтитъ и весь полъ, къ которому предметъ любви принадлежитъ. Пѣвецъ Фрауэнлобъ, конечно, никогда не обходился грубо ни съ одною женщиной, и поэтому господину Платену надлежало бы выказывать побольше уваженія къ мужчинамъ. А онъ, неделикатный человѣкъ! безъ церемоній разсказываетъ публикѣ, что у насъ, сѣверо-нѣмецкихъ поэтовъ, у всѣхъ «чесотка, для излѣченія отъ которой требуется, къ сожалѣнію, мазь, которую онъ, какъ мефитическую, предпочитаетъ всѣмъ остальнымъ». Жестче всего онъ относится къ Иммерману. Уже въ началѣ своей комедіи заставляетъ онъ Иммермана продѣлывать за ширмами вещи, которыхъ я не смѣю назвать по имени и которыя, однако, неопровержимы. Я даже считаю вѣроятнымъ, что Иммерманъ все это дѣлалъ. Но характеристично, что фантазія графа Платена умѣетъ даже его враговъ подсматривать a posteriori. Онъ не пощадилъ даже Гувальда, эту добрую, кроткую, какъ дѣвушка, душу... ахъ, можетъ-быть, именно изъ-за этой милой женственности ненавидитъ его Пла-
[illegible] Люльнера, котораго нашъ авторъ, по его выраженію,
[illegible]вно «до смерти убилъ дѣйствительнымъ остроуміемъ»—
[illegible]ертвеца онъ снова выкапываетъ изъ могилы. Ни дитя,
[illegible]къ не остаются пощаженными. Раупахъ—жидъ:

«Жиденокъ Раупель,
Теперь, какъ Раупахъ, носъ поднявшій высоко».

«кропаетъ съ похмѣлья трагедіи». Еще сильнѣе достается «выкрещенному Гейне». Да, да, ты не ошибаешься, любезный читатель, это обо мнѣ идетъ рѣчь, въ «Царѣ Эдипѣ» можешь ты прочесть, какой я настоящій жидъ, какъ я, просидѣвъ нѣсколько часовъ за сочиненіемъ любовныхъ пѣсенъ, сейчасъ же послѣ того сажусь обрѣзывать червонцы, какъ я въ шабашъ сижу на корточкахъ съ длиннобородыми рожами и пою Талмудъ, какъ въ пасхальную ночь я убиваю несовершеннолѣтняго христіанина и по злобному коварству всегда выбираю для этого какого-нибудь несчастнаго писателя... Нѣтъ, любезный читатель, не хочу обманывать тебя; такихъ красиво нарисованныхъ картинъ въ «Царѣ Эдипѣ» нѣтъ, и что ихъ нѣтъ тамъ—это-то и ошибка, которую я порицаю. У графа Платена бываютъ иногда самые лучшіе мотивы, и онъ не умѣетъ ими пользоваться. Будь у него только немного больше фантазіи, онъ изобразилъ бы меня, по крайней мѣрѣ, въ видѣ тайнаго ростовщика; какія комическія сцены представились бы ему при этомъ! Мнѣ отъ души больно, когда я вижу, какъ бѣдный графъ пропускаетъ мимо себя всякій случай хорошо сострить! Какъ чудесно могъ бы онъ воспользоваться Раупахомъ для изображенія его Ротшильдомъ трагедій, у котораго дѣлаютъ займы королевскія сцены! Самимъ Эдипомъ, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ его комедіи, онъ тоже могъ бы воспользоваться гораздо лучше, сдѣлавъ нѣкоторыя измѣненія въ фабулѣ пьесы! Вмѣсто того, чтобы дѣлать его убійцею своего отца Лайя и мужемъ своей матери Іоакасты, слѣдовало бы, напротивъ, повернуть дѣло такъ, чтобы Эдипъ убилъ свою мать и женился на своемъ отцѣ. Драматически эффектное въ такомъ произведеніи удалось бы такому поэту, какъ Платенъ, какъ нельзя лучше, ему помогло бы въ этомъ случаѣ направленіе его собственнаго чувства, стоило бы ему только по временамъ, подобно соловью, изливать въ пѣснѣ ощущенія собственной груди—и онъ создалъ бы пьесу, которую, если бы еще былъ живъ газелическій Иффландъ, немедленно разучили бы въ Берлинѣ, а затѣмъ стали бы давать до сихъ поръ на частныхъ сценахъ. Не могу представить себѣ ничего совершеннѣе а Вурма въ роли такого Эдипа. Онъ превзошелъ бы с себя. Затѣмъ, нахожу я неполитичнымъ со стороны г увѣреніе его въ комедіи, что онъ обладаетъ «дѣйстви нымъ остроуміемъ». Или, быть-можетъ, бьетъ онъ въ случаѣ на неожиданный эффектъ, на coup de théatre.

бы заставить публику постоянно ждать остроумія, да такъ и не дождаться его? Или, что еще вѣроятнѣе, не хочетъ ли онъ подстрекнуть публику отыскивать въ пьесѣ дѣйствительное тайное остроуміе, и вся комедія не есть ли только игра въ жмурки, въ которой Платеновское остроуміе прячется такъ хитро, что его никогда не поймаешь? Оттого, можетъ-быть, и публика въ комедіяхъ обыкновенно смѣющаяся, при чтеніи пьесы Платена такъ сердится: не удается ей найти скрывшееся остроуміе; напрасно спрятавшееся остроуміе пищитъ гдѣ-то, и пищитъ все громче и громче: «я здѣсь, я, дѣйствительно, здѣсь!»—напрасно, публика глупа и сохраняетъ серьезное выраженіе лица. Я же, знающій, гдѣ спрятано остроуміе, отъ всего сердца смѣялся, когда читалъ о «сіятельномъ, властолюбивомъ поэтѣ», который укутывается въ аристократическій нимбъ, хвалится, что «каждое дыханіе, проходящее сквозь его зубы, сокрушаетъ» и говоритъ всѣмъ нѣмецкимъ поэтамъ:

«Да, какъ Неронъ, желалъ бы я вамъ всѣмъ
Имѣть одинъ лишь мозгъ, чтобъ остроумья
Единственнымъ ударомъ пополамъ
Разсѣчь его...»

Стихи скверные. Но скрытое остроуміе заключается здѣсь въ томъ, что графъ собственно желаетъ, чтобы мы всѣ были Нероны, а онъ, напротивъ того—нашъ единственный милый другъ Пиѳагоръ.

Быть-можетъ, я въ похвалу графу выискалъ бы у него что-нибудь остроумное, но такъ какъ онъ въ своемъ «Царѣ Эдипѣ» напалъ на самое для меня дорогое—ибо что̀ можетъ быть для меня дороже моего христіанства?—то никто не обвинитъ меня, что я, по человѣческому чувству, отношусь къ «Эдипу», этому «великому подвигу въ словахъ», съ менѣе серьзною оцѣнкой, чѣмъ къ прежнимъ подвигамъ графа.

Истинная заслуга, однако, всегда находила себѣ на граду, и безъ награды не останется и авторъ «Эдипа», хотя онъ и здѣсь, какъ всегда, подчинялся только вліянію своихъ друзей изъ знати и духовенства. Да, существуетъ у народовъ Востока старое сказаніе, что послѣдствія всякаго добраго или злого дѣла отражаются прежде всего на совершившемъ его. И настанетъ день, когда они появятся—готовься, любезный читатель, къ тому, что я вхожу въ гнѣвъ и дѣлаюсь страшнымъ—настанетъ день, когда изъ Тартара выйдутъ ужасныя дщери тьмы—«Эвмениды». Клянусь Стиксомъ—этою рѣкой, мы, боги, никогда не клянемся

лживо — настанетъ день когда появятся онѣ, мрачныя искони праведныя сестры, — появятся онѣ съ багровыми отъ гнѣва лицами, по которымъ спускаются змѣи-кудри, с тѣми самыми змѣиными бичами, которыми онѣ нѣкогда би чевали Ореста, противоестестественнаго грѣшника, умерщ вившаго свою мать, Клитемнестру. Быть-можетъ, графу уже теперь слышитъ шипѣніе змѣй—прошу тебя любезный читатель, вспомнить теперь «волчью долину» и музыку Са міеля,—быть-можетъ, уже теперь охватываетъ графа тай ный ужасъ грѣшника, небо омрачается, кричатъ ночны птицы, въ отдаленіи раскаты грома, сверкаетъ молнія, пах нетъ сѣрой... Горе, горе! Сіятельные предки выходятъ изъ могилъ, они еще три-четыре раза восклицаютъ: горе! горе при видѣ жалкаго внука, они умоляютъ его надѣть ихъ старые желѣзные панталоны, чтобы защитить себя отъ ужасныхъ розогъ, ибо Эвмениды растерзаютъ его имъ змѣиные бичи будутъ иронически доставлять себѣ это на слажденіе, и подобно распутному королю Родриго, когда его заточили въ змѣиную башню, станетъ, наконецъ, бѣдный графъ визжать:

«Ахъ, онѣ пожираютъ, ахъ, онѣ пожираютъ
То, чѣмъ я наибольше грѣшилъ!..»

Не приходи въ ужасъ, любезный читатель, это, вѣдь все шутки. Эти страшныя Эвмениды ничто иное, какъ ве селая комедія, которую я черезъ нѣсколько мѣсяцевъ на пишу подъ этимъ заглавіемъ, и тѣ трагическіе стихи, ко торые только-что напугали тебя, находятся въ самой ра веселой книгѣ въ свѣтѣ—«Донъ Кихотѣ Ламанчскомъ» гдѣ старая, приличная придворная дама декламируетъ их въ присутствіи всего двора. Я вижу—ты снова улыбаешься Простимся же другъ съ другомъ весело и смѣясь. Есл эта глава вышла нѣсколько скучною, то причиною то былъ только предметъ ея; притомъ, я писалъ ее больш ради пользы, чѣмъ удовольствія, и если мнѣ удалось сд лать еще одного дурака годнымъ для литературы, то от чество будетъ мнѣ признательно за это. Скромное сознан этой заслуги—моя прекраснѣйшая награда.

Для тѣхъ королей, которые пожелали бы прислати сверхъ того еще табакерку, замѣчу, что книгопродавч фирмѣ «Гофманъ и ком.» въ Гамбургѣ поручено мать для передачи мнѣ таковыя подношенія.

Писано позднею осенью 1829 г.

'ородъ Лукка.

Смѣшатъ меня всегда англичане, которые объ этомъ второмъ поэтѣ своемъ (ибо послѣ Шекспира пальма принадлежитъ Байрону) судятъ такъ мѣщански-мелко, потому что онъ осмѣивалъ ихъ педантство, не хотѣлъ подчиняться ихъ узкимъ нравамъ и обычаямъ, раздѣлять ихъ ученую вѣру, сухость ихъ была ему отвратительна, ихъ высокомѣріе и лицемѣріе вызывали его негодованіе. Многіе крестятся даже чуть заговорятъ о немъ, и даже женщины, хотя ихъ щеки пылаютъ отъ энтузіазма, когда онѣ читаютъ его—даже онѣ гласно выступаютъ съ рѣзкими нападеніями на своего тайнаго любимца.

«Письма Умершаго: отрывочный дневникъ изъ Англіи» Мюнхенъ, 1830.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

рода дѣйствуетъ на человѣка—отчего же вуетъ на окружающую его природу? Въ ь, какъ народъ, живущій тамъ; у насъ серьезнѣе, осмысленнѣе и терпѣливѣе. будь и природа, какъ люди, болѣе Говорятъ, что сила духа Орфея могла ами приводить въ движеніе деревья и теперь случиться подобное чудо? Люди флегматичны и зѣваютъ, глядя другъ ій прусскій поэтъ никогда не будетъ ми своей лиры заставить танцовать ли берлинскія Липы.

мѣетъ свою исторію, и это совсѣмъ не орія, которой обучаютъ въ школѣ. Ка-

кой-нибудь изъ сѣрыхъ ящерицъ, проживающихъ уже цѣлыя тысячелѣтія въ скалистыхъ ущельяхъ Апеннинскихъ горъ, слѣдовало бы дать въ одномъ изъ нашихъ университетовъ мѣсто совсѣмъ экстраординарной профессоріи—и мы бы услыхали совсѣмъ экстраординарныя вещи. Но гордость нѣкоторыхъ господъ юридическаго факультета возстала бы противъ такого назначенія. Вѣдь завидуетъ же тайно одинъ изъ нихъ бѣдной собакѣ Фидо, боясь, что она когда-нибудь замѣнитъ его въ ученой приноскѣ.

Ящерицы съ ихъ умными хвостиками и острыми глазенками разсказали мнѣ удивительныя вещи въ то время, когда я одиноко взбирался по апеннинскимъ ущельямъ. Въ самомъ дѣлѣ, между небомъ и землею есть вещи, которыхъ не могутъ понять не только наши философы, но и обыкновенные дураки.

Ящерицы разсказывали мнѣ, что между камнями ходитъ легенда, будто богъ захотѣлъ нѣкогда сдѣлаться камнемъ, чтобъ освободить камни отъ неподвижности. Но по мнѣнію одной старой ящерицы это совершится только тогда, когда богъ предварительно превратится во всѣ породы животныхъ и растеній и освободитъ ихъ.

Только немногіе камни имѣютъ чувства, и только при свѣтѣ луны они дышатъ. Но эти немногіе камни, чувствующіе свое положеніе, страшно несчастны. Деревья въ этомъ отношеніи счастливѣе, они могутъ плакать. Но блаженнѣе всѣхъ животныя, потому что они могутъ говорить—каждое по-своему, и человѣкъ лучше всѣхъ. Когда-нибудь, когда весь свѣтъ будетъ освобожденъ, тогда и всѣ другія созданія получатъ даръ слова, какъ въ тѣ первобытныя времена, о которыхъ поютъ поэты.

Ящерицы—ироническое племя и любятъ дурачить другихъ животныхъ. Но въ отношеніи ко мнѣ онѣ выказывали полное смиреніе, онѣ вздыхали такъ честно, онѣ разсказывали мнѣ исторіи объ Атлантидѣ—исторіи, которыя я скор[illegible] напишу для пользы и назиданія міра. Мнѣ было такъ за[illegible] душевно хорошо у этихъ маленькихъ созданій, какъ б[illegible] хранящихъ подъ своимъ надзоромъ тайныя лѣтописи при[illegible]роды. Можетъ-быть, онѣ—заколдованныя семейства [illegible]цовъ, какъ тѣ жрецы древняго Египта, которые жи[illegible] лабиринтныхъ гротахъ своихъ утесовъ, тоже подслуш[illegible] тайны природы? На ихъ головкахъ, тѣльцахъ и хв[illegible]кахъ цвѣтутъ такія же чудныя изображенія, какія ук[illegible] египетскія гіероглифическія шапки и гіерофантскія

Мои маленькіе друзья выучили меня также символическому языку, съ помощью котораго я получилъ возможность говорить съ нѣмою природой. Этотъ разговоръ часто облегчаетъ мнѣ душу, особенно по вечерамъ, когда горы одѣваются призрачно милыми тѣнями, и водопады шумятъ, и всѣ растенія благоухаютъ, и быстрыя молніи сверкаютъ то тутъ, то тамъ...

О, природа, нѣмая дѣвственница! Я хорошо понимаю твое сверканіе, напрасную попытку заговорить, пробѣгающую въ видѣ молніи по твоему прекрасному лицу, и мнѣ такъ жаль тебя, что я плачу. Но тогда и ты понимаешь меня, и проясняешься, и улыбаешься мнѣ золотыми глазами. Прекрасная дѣвственница, я понимаю твои звѣзды, а ты понимаешь мои слезы.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Ничто въ мірѣ не хочетъ идти назадъ,—сказала мнѣ одна ящерица;—все стремится впередъ, и, наконецъ, въ природѣ произойдетъ большое повышеніе по службѣ. Камни сдѣлаются растеніями, растенія—животными, животныя—людьми, а люди богами.

— Но,—вскричалъ я:—чѣмъ же тогда сдѣлаются эти добрые люди—бѣдные старые боги?

— Это ужъ какъ-нибудь уладится, любезный другъ; по всей вѣроятности, они или отрекутся отъ престола, или будутъ какимъ-нибудь другимъ почетнымъ образомъ выпущены въ отставку.

Много еще другихъ тайнъ узналъ я отъ моего гіероглифокожаго натурфилософа, но далъ ему честное слово никому не выдавать ихъ. Теперь я знаю больше, чѣмъ Шеллингъ и Гегель.

— Какого вы мнѣнія объ этихъ обоихъ?—спросила меня старая ящерица съ язвительной улыбкой, когда я однажды произнесъ при ней ихъ имена.

— Когда подумаешь,—отвѣчалъ я:—что они только люди, а не ящерицы, то нельзя не изумляться ихъ учености. Въ сущности ихъ ученіе одинаково, это—хорошо извѣстная философія тождества; только въ способѣ изображенія ихъ идей они различаются между собою. Когда Гегель ставитъ принципы своей философіи, тогда кажется, что тѣ красивыя фигуры, которыя ловкій школьный умѣетъ составлять искуснымъ сопоставленіемъ всѣхъ цифръ, такимъ образомъ, что обыкновенный

наблюдатель видитъ въ нихъ только наружную форму, домикъ, кораблик или солдатиковъ, между тѣмъ какъ размышляющій ученикъ можетъ различить въ этой фигурѣ рѣшеніе глубокой математической задачи. Изображенія же Шеллинга больше похожи на тѣ индѣйскія фигуры, въ которыхъ причудливыми сплетнями соединены между собою всевозможныя животныя, змѣи, птицы, слоны и тому подобные живые ингредіенты. Этотъ способъ изложенія гораздо пріятнѣе, веселѣе, теплѣе; все тутъ живетъ, тогда какъ абстрактныя цифры Гегеля имѣютъ такой сѣрый, холодный и мертвенный видъ.

— Такъ, такъ,—замѣтила старая ящерица:—я понимаю, что̀ вы хотите сказать; но скажите мнѣ, много ли слушателей у этихъ философовъ?

Тутъ я началъ разсказывать, какъ въ ученомъ караванъ-сараѣ Берлина верблюды собираются вокругъ колодца Гегелевой премудрости, становятся на колѣни, навьючиваются драгоцѣнными мѣхами и пускаются въ дальнѣйшій путь по бранденбургскимъ песчанымъ степямъ. Затѣмъ я разсказалъ, какъ новые аѳиняне тѣснятся вокругъ источника умственнаго напитка Шеллинга, какъ будто онъ лучшее пиво, кранъ жизни, напитокъ безсмертія...

Желтая зависть овладѣла маленькимъ натурфилософомъ, когда онъ услышалъ, что у его товарищей такія обширныя аудиторіи, и онъ сердито спросилъ меня:—Какого же изъ этихъ двухъ вы считаете болѣе великимъ?

— Этого я не могу рѣшить,—отвѣчалъ я;—точно такъ же, какъ не могу рѣшить, кто выше: Шехнеръ или Зонтагъ, и думаю...

— Думаю! — вскричала ящерица рѣзкимъ надменнымъ тономъ глубочайшаго пренебреженія:—думаю! Развѣ кто-нибудь изъ васъ думаетъ? Мой мудрый господинъ, уже три тысячи лѣтъ я дѣлаю наблюденія надъ умственными отправленіями животныхъ; главными предметами моего изученія я сдѣлалъ людей, обезьянъ и змѣй, я занимался этими удивительными созданіями такъ же прилежно, какъ Ліонна своими гусеницами, и на основаніи моихъ наблюденій, опытовъ и анатомическихъ сравненій могу васъ положит увѣрить: ни одинъ человѣкъ не думаетъ; иногда толь дямъ приходитъ въ голову кое-что, и эти невольные падки они называютъ мыслями, а нанизываніе этихъ м одна на другую—мышленіемъ. Но отъ моего имени вы м утверждать, что ни одинъ человѣкъ не думаетъ, ни

философъ не думаетъ, ни Шеллингъ, ни Гегель не думаютъ; а что касается ихъ философіи, то она ничто иное, какъ воздухъ и вода, точно такъ же какъ тучи небесныя; уже безчисленное множество такихъ тучъ гордо и самоувѣренно проходило надъ моею головой, а первый солнечный свѣтъ превращалъ ихъ въ первобытное ничто; существуетъ одна истинная философія, и она написана вѣчными гіероглифами на моемъ собственномъ хвостѣ.

При этихъ словахъ, произнесенныхъ съ презрительнымъ паѳосомъ, старая ящерица повернулась ко мнѣ спиною, и въ то время, какъ она медленно уходила, я увидѣлъ на всемъ протяженіи ея хвоста удивительнѣйшія гіероглифическія изображенія.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Разговоръ, приведенный мною въ предыдущей главѣ, происходилъ на дорогѣ между луккскими водами и городомъ Луккою, недалеко отъ большого каштановаго дерева, котораго дико зеленыя вѣтви оттѣняютъ ручей, и въ присутствіи стараго сѣдобородаго козла, отшельнически пасшагося тутъ. Я отправился въ городъ Лукку на свиданье съ Франческой и Матильдой, къ которымъ, согласно нашему условію, долженъ былъ явиться уже за восемь дней до того. Но въ назначенный срокъ я съѣздилъ напрасно, и теперь во второй разъ пустился въ дорогу. Я шелъ пѣшкомъ, вдоль прекрасныхъ горъ и группъ деревьевъ, гдѣ золотые апельсины, точно дневныя звѣзды, выглядывали изъ темной зелени, а гирлянды виноградныхъ вѣтвей нарядными извивами тянулись на цѣлыя мили. Вся эта страна такъ похожа на садъ и разукрашена, какъ у насъ сельскіе пейзажи, представляемые на театрахъ; даже поселяне похожи на тѣ пестрыя фигуры, которыя при этомъ поютъ, смѣются и пляшутъ. Нигдѣ не встрѣчаются филистерскія лица. А если и есть здѣсь филистеры, то это все-таки итальянскіе, апельсинные филистеры, а не неуклюже нѣмецкіе, картофельные. Люди здѣсь такъ же живописны и идеальны, какъ
и, и при этомъ каждый человѣкъ имѣетъ совер-
..дивидуальное выраженіе лица и умѣетъ выдѣлять
ость осанкою, драпировкою плаща, а въ случаѣ
движеніемъ ножа. У насъ же, напротивъ того,
г только люди съ будничными, однообразными
: когда ихъ двѣнадцать, они составляютъ дю-

жину, а если въ это время кто-нибудь нападаетъ на нихъ, они призываютъ полицію.

Въ луккской области, какъ и въ большей части Тосканы, мнѣ бросилось въ глаза, что женщины носятъ большія черныя шляпы изъ войлока съ висячими черными страусовыми перьями; даже на головахъ женщинъ, плетущихъ солому, такіе тяжелые уборы. Напротивъ того, мужчины ходятъ въ легкихъ соломенныхъ шляпахъ, и молодые парни получаютъ ихъ въ подарокъ отъ молодыхъ дѣвушекъ, которыя сами изготовляютъ ихъ и вплетаютъ въ солому свои любовныя мысли и, можетъ-быть, также свои вздохи. Такъ и Франческа сидѣла нѣкогда между дѣвушками и цвѣтами долины Арно, и плела шляпу для саго Сессо, и цѣловала каждую соломинку, и напѣвала свою прелестную арію: Occhie stelle mortale;—но теперь на кудрявой головѣ, которая нѣкогда такъ красиво носила эту красивую шляпу, тонзура, а самая шляпа, старая и износившаяся, виситъ въ углу мрачной аббатской кельи въ Болоньѣ.

Я принадлежу къ числу тѣхъ людей, которые для сокращенія пути любятъ сворачивать съ большой дороги и поэтому нерѣдко блуждаютъ по тропинкамъ скалъ и лѣсовъ, не зная, какъ выйти изъ нихъ. Это случилось со мною и здѣсь, и на свое путешествіе въ Лукку я употребилъ, конечно, вдвое больше времени, чѣмъ употребляютъ люди, идущіе по большой дорогѣ. Воробей, котораго я спросилъ, куда мнѣ слѣдуетъ идти, долго щебеталъ, но не далъ мнѣ никакого удовлетворительнаго отвѣта. Можетъ-быть, онъ и самъ не зналъ. Отъ бабочекъ и стрекозъ, сидѣвшихъ въ большихъ колокольчикахъ, я не могъ добиться ни одного слова; онѣ улетали, прежде чѣмъ я доканчивалъ вопросъ, а цвѣты качали своими беззвучными колокольчатыми головами. Иногда меня звали къ себѣ дикіе мирты, хихикавшіе въ отдаленіи своими тоненькими голосками. Наконецъ, я сталъ стремительно взбираться на высочайшія вершины утесовъ и кричать: «Тучи небесныя! Посланницы воздуха! Скажите мнѣ, гдѣ дорога къ Франческѣ? Въ Луккѣ ли Франческа? Скажите мнѣ, что она дѣлаетъ? Что танцуетъ? Скажите мнѣ все, и когда скажете все, начинайте снова гов

Не удивительно, что при такомъ сильномъ принад умія, серьезный орелъ, котораго уединенныя грезы шилъ моими криками, посмотрѣлъ на меня съ пре нимъ неудовольствіемъ. Но я охотно прощаю ему, что онъ никогда не видѣлъ Франчески и поэтому

величаво-гордо сидѣть на своемъ твердомъ утесѣ, и смотрѣть на небо съ такою свободною душой, или бросать на меня такіе спокойно-надменные взоры. У такого орла невыносимо гордый взглядъ, и когда онъ смотритъ на васъ, то будто говоритъ: «Что ты за птица? Знаешь ли ты, что я и теперь еще царь, какъ въ то героическое время, когда я держалъ въ когтяхъ громы Юпитера и украшалъ знамена Наполеона? Кто ты? Ученый ли попугай, выучившій наизусть старыя пѣсни и педантически повторяющій ихъ? Или домашняя горлица, прекрасно чувствующая и скверно воркующая? Иль альманахный соловей? Или гусь, предки котораго спасли Капитолій? Или, наконецъ, домашній пѣтухъ съ рабскою душой, которому въ насмѣшку повѣсили на шею эмблему смѣлаго полета, т. е. мой портретъ въ миніатюрѣ, и который харахорится, какъ будто онъ въ самомъ дѣлѣ орелъ?» Ты знаешь, любезный читатель, что мнѣ нѣтъ никакой причины обижаться, когда орелъ думаетъ обо мнѣ такія вещи. Взглядъ, которымъ я отвѣчалъ ему, былъ, я полагаю, еще болѣе гордъ, чѣмъ его взглядъ, и если онъ освѣдомился обо мнѣ у перваго лавроваго дерева, то узналъ, кто я такой.

Я, дѣйствительно, заблудился въ горахъ, когда наступили сумерки и лѣсныя пѣсни постепенно замолкли, а деревья начали шептаться все серьезнѣе и серьезнѣе. Возвышенная таинственность и задушевная торжественность разлились, словно дыханье Бога, въ просвѣтленной тишинѣ. Тутъ и тамъ выглядывали на меня изъ земли прекрасные темные глаза, исчезавшіе въ ту же минуту. Нѣжный шопотъ игриво пробѣгалъ по моему сердцу, и незримые поцѣлуи воздушно прикасались къ моимъ щекамъ. Вечерняя заря одѣла горы точно траурнымъ плащомъ, и послѣдніе лучи солнца освѣтили ихъ вершины и сдѣлали ихъ похожими на королей съ золотыми коронами на головахъ. Я же стоялъ, какъ царь вселенной, среди этихъ вѣнчанныхъ вассаловъ, преклонявшихся предо мною въ благоговѣйномъ молчаніи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

[illegible]аю, набожный ли человѣкъ тотъ монахъ, котораго [illegible]лъ недалеко отъ Лукки. Но знаю, что его старое [illegible]дитъ уже многіе годы нищенски и голо въ грубой [illegible]орванныя сандаліи не могутъ достаточно защищать [illegible]ренныя ноги, когда онъ по колючкамъ и камнямъ [illegible] на скалы, чтобы тамъ наверху, въ горныхъ де-

ревняхъ утѣшать больныхъ, или учить дѣтей молиться... И онъ доволенъ, когда ему за это кладутъ въ мѣшокъ кусочекъ хлѣба, или даютъ пучокъ соломы, чтобы уснуть на ней.

«Противъ *этого* человѣка я не стану писать,—сказалъ я себѣ.—Когда вернусь домой въ Германію и, сидя въ своемъ креслѣ, сытый и согрѣтый, у трещащей печки за пріятною чашкой чаю, буду писать противъ католическихъ священниковъ — то противъ *этого* человѣка ничего не напишу...»

Для того, чтобы писать противъ католическихъ священниковъ, надо знать и ихъ лица. Но оригинальныя лица встрѣчаешь только въ Италіи. Нѣмецкіе католическіе священники и монахи—только скверныя подражанія, часто даже пародіи итальянскихъ; сравненіе между тѣми и другими было бы такое же, какъ между римскими и флорентинскими образами и тѣми саранчеобразными набожными физіономіями, которыя обязаны своимъ плачевнымъ существованіемъ мѣщанской кисти нюрнбергскаго городского живописца, или, пожалуй, милому простодушію назидательно настроеннаго рисовальщика изъ длинноволосо-католической ново-нѣмецкой школы.

Священники въ Италіи давно уже не церемонятся съ общественнымъ мнѣніемъ, тамошній народъ давно уже привыкъ отличать достоинство духовнаго лица отъ недостойной личности, привыкъ чтить первое даже въ томъ случаѣ, когда вторая вызываетъ презрѣніе. Именно тотъ контрастъ, который должны порождать идеальныя обязанности и права духовнаго сословія съ одной стороны, и неустранимыя потребности чувственной натуры—съ другой, старое, вѣчное столкновеніе между духомъ и матеріей—именно это дѣлаетъ итальянскихъ священниковъ неизмѣнными фигурами народнаго юмора въ сатирахъ, пѣсняхъ и новеллахъ. Подобныя явленія мы встрѣчаемъ всюду, гдѣ существуетъ и подобное священническое сословіе; наприм., въ Индостанѣ. Въ комедіяхъ этой исконно набожной страны, подтвержденіе чему мы встрѣчали уже въ «Саконталѣ» и встрѣтили снова въ недавно переведенной «Васантасенѣ» — браминъ всегда играетъ комическую роль, такъ сказать жреца — gra нисколько не нарушая этимъ того почтенія, которо дается его жреческимъ служебнымъ отправленіямъ и привилегированной святости, —точно такъ же, какъ и нецъ благоговѣйно слушаетъ обѣдню или исповѣдыва того самаго священника, котораго онъ еще наканунѣ

пьянымъ въ уличной грязи. Въ Германіи не то: тамошній католическій священникъ старается не только о томъ, чтобы его достоинство находило себѣ представителя въ его санѣ, но и о томъ, чтобы его санъ имѣлъ представителя въ его личности. И вслѣдствіе того, что вначалѣ онъ, можетъ-быть, дѣйствительно относился къ своему призванію совершенно серьезно, а впослѣдствіи, когда его обѣтъ цѣломудрія и смиренія испыталъ нѣкоторое столкновеніе съ ветхимъ Адамомъ, все-таки не желаетъ нарушать этотъ обѣтъ публично—вслѣдствіе этого онъ старается, по крайней мѣрѣ, казаться ведущимъ святую жизнь. Отсюда у нѣмецкихъ священниковъ ханжество, лицемѣріе, змѣиная набожность; у итальянцевъ, напротивъ того, гораздо болѣе прозрачности въ маскѣ и какая-то самодовольная, нахальная иронія.

Но какой прокъ въ подобныхъ общихъ размышленіяхъ! Они мало помогли бы тебѣ, любезный читатель, если бы тебѣ захотѣлось писать противъ католическаго духовенства. Для этого, какъ я уже сказалъ, нужно видѣть собственными глазами физіономіи этихъ людей. Увѣряю васъ, что въ этомъ случаѣ не достигнете вы цѣли даже и тогда, когда увидите ихъ въ королевскомъ оперномъ театрѣ въ Берлинѣ. Правда, прежній генералъ-интендантъ оперы дѣлалъ все возможное, чтобы наивѣрнѣе представить на сценѣ коронаціонную процессію въ «Орлеанской Дѣвѣ» и показать своимъ соотечественникамъ священниковъ всѣхъ цвѣтовъ. Но самый вѣрный костюмъ не можетъ замѣнить подлинныя лица, и истрать дирекція хоть еще сверхсмѣтныхъ 100 т. талеровъ на золотыя епископскія митры, узорчатыя рубашки пѣвчихъ и т. п.—цѣль все-таки не была бы достигнута: протестантски разумные носы, протестующе смотрящіе на васъ подъ этими золотыми шапками, тощія анализирующія ноги, выглядывающія изъ бѣлыхъ кружевъ этихъ рубашекъ хора, вкусившіе просвѣщеніе животы, для которыхъ всѣ эти католическія одѣянія слишкомъ широки—все это постоянно напоминало бы нашему брату, что тутъ по сценѣ проходятъ не католическіе духовные, а берлинскіе свѣтскіе люди.

Мнѣ часто приходило на мысль: не поступилъ ли бы оперный генералъ-интендантъ гораздо сообразнѣе съ дѣйствительностью, если бы роли католическихъ священниковъ въ этой пьесѣ онъ поручалъ не обыкновеннымъ статистамъ, а тѣмъ протестантскимъ духовнымъ, которые въ теологическихъ факультетахъ, въ «Клерикальной Газетѣ» и съ каѳедры умѣютъ усерднѣе, чѣмъ кто-либо изъ ихъ собратьевъ,

проповѣдывать противъ разума, свѣтскихъ радостей и чертовщины. Иллюзія вышла бы при этомъ гораздо болѣе полная... Правда, католическіе и протестантскіе священники отличаются другъ отъ друга нѣкоторыми физіономическими оттѣнками, но для партера они вѣдь будутъ незамѣтны. фамильное сходство останется въ главныхъ чертахъ неизмѣненнымъ, и если генералъ-интендантъ будетъ хорошо платить вышеупомянутымъ господамъ, то они, какъ всегда, будутъ своею игрой производить прекрасную иллюзію. Ей будетъ способствовать и ихъ походка,—хотя тонкій привычный глазъ всегда замѣтитъ, что она тоже отличается тонкими оттѣнками отъ походки католическихъ священниковъ и монаховъ.

Католическій священникъ ходитъ такъ, какъ будто небо его собственность; протестантскій, напротивъ того — какъ будто онъ взялъ небо въ аренду.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Наступила уже ночь, когда я пріѣхалъ въ городъ Лукку.

Въ совсѣмъ иномъ видѣ представился онъ мнѣ за недѣлю до того, когда я въ дневную пору ходилъ по пустымъ улицамъ и думалъ, что судьба перенесла меня въ одинъ изъ тѣхъ заколдованныхъ городовъ, о которыхъ нѣкогда столько разсказывала мнѣ моя кормилица. Городъ былъ весь безмолвенъ, какъ могила, все представлялось такимъ поблекшимъ и вымершимъ, солнечные лучи играли на крышахъ, какъ золотая мишура на головѣ трупа, мѣстами изъ окошекъ стараго полуразрушеннаго дома вывѣшивался плющъ, какъ высохшія зеленыя слезы, всюду искрящееся тлѣніе и печально застывшая смерть, городъ казался только призракомъ города, каменнымъ привидѣніемъ среди бѣла дня. Напрасно искалъ я хоть слѣда живого существа. Помню только, что передъ старымъ палаццо лежалъ съ простертою открытою рукой спящій нищій. Помню также, что въ верхнемъ окнѣ почернѣвшаго ветхаго дома я увидѣлъ монаха, совсѣмъ высунувшаго изъ своей сѣрой рясы красную шею съ вспотѣвшею лысою головой, а рядомъ съ нимъ—полногрудую голую женщину; въ нижнемъ этажѣ, въ полуоткрытую дверь дома вошелъ маленькій мальчикъ, одѣтый чернымъ аббатомъ и несшій обѣими руками огромную толстопузую бутыль съ виномъ. Въ ту же самую минуту прозвучалъ невдалекѣ тонкій ироническій колокольчикъ, и въ моей памяти захихикали новеллы Бокаччіо. Но эти звуки

могли разсѣять странный ужасъ, заставившій вздрагивать мою душу. Онъ, можетъ-быть, тѣмъ сильнѣе держалъ меня въ своей власти, что солнце такъ тепло и ярко освѣщало зловѣще мрачныя зданія, а я давно замѣтилъ, что привидѣнія становятся еще страшнѣе, когда они сбрасываютъ съ себя черный плащъ ночи и показываются при яркомъ дневномъ освѣщеніи.

Когда же я снова вернулся въ Лукку теперь, восемь дней спустя, какъ изумилъ меня измѣнившійся видъ этого города! Что это такое!—воскликнулъ я, когда блескъ свѣчей ослѣпилъ мои глаза и толпы людей волнами неслись по улицамъ. Не всталъ ли это изъ гроба, какъ ночное привидѣніе, цѣлый народъ, чтобы въ безумнѣйшемъ маскарадѣ разыграть подобіе жизни? Высокіе, мрачные дома разукрашены лампами, повсюду изъ окошекъ вывѣшены пестрые ковры, почти покрывая сгнившія старыя стѣны, а къ нимъ прислонились милыя дѣвичьи лица, такія свѣжія, такія цвѣтущія, что для меня нѣтъ сомнѣнія — это сама жизнь, празднующая свое бракосочетаніе со смертью и пригласившая сюда красоту молодости. Да, это дѣйствительно былъ живой праздникъ смерти—не знаю, какъ онъ называется въ календарѣ—во всякомъ случаѣ, день поминовенія многострадальнаго мученика, ибо я увидѣлъ вслѣдъ затѣмъ святой черепъ и еще нѣсколько костей, украшенные цвѣтами и драгоцѣнными камнями и несомые при звукахъ свадебной музыки. То была прекрасная процессія.

Впереди шли капуцины, отличавшіеся отъ другихъ монаховъ длинными бородами... За ними слѣдовали капуцины безъ бородъ, и между ними много мужественно благородныхъ лицъ, даже немало лицъ юношески-красивыхъ, къ которымъ очень шла широкая тонзура, потому что, благодаря ей, голова казалась какъ бы обвитою красивымъ волосянымъ вѣнкомъ и вмѣстѣ съ голою шеей весьма граціозно выставлялась изъ коричневой рясы. Далѣе шли рясы другихъ цвѣтовъ—чернаго, желтаго, бѣлаго, тутъ же надвинутыя на лобъ треугольныя шляпы, словомъ всѣ тѣ монастырскіе костюмы, которые давно знакомы намъ, благодаря стараніямъ нашего опернаго генералъ-интенданта. За монашескими орденами слѣдовали собственно священники въ бѣлыхъ рубашкахъ сверхъ черныхъ панталонъ и цвѣтныхъ шапочкахъ, затѣмъ—еще болѣе знатное духовенство, укутанное въ пестрыя шелковыя покрывала, имѣя на головахъ ь высокихъ шапокъ, вѣроятно египетскаго происхожде-

нія... Въ заключеніе несли балдахинъ, подъ которымъ шествовалъ старикъ въ еще болѣе высокой шапкѣ и въ еще болѣе богатомъ покрывалѣ, кисти котораго поддерживали, въ видѣ пажей, два точно такъ же одѣтыхъ старика.

Передніе монахи шли съ скрещенными руками, въ серьезномъ молчаніи; но тѣ, что были въ высокихъ шапкахъ, оглашали воздухъ плачевнѣйшимъ пѣніемъ—такимъ гнусливымъ, рѣзкимъ, фальшивымъ... которое, къ счастью, можно было слышать только наполовину, такъ какъ вслѣдъ за процессіей двигалось нѣсколько отрядовъ военныхъ съ трубами и барабанами, какъ и вообще по обѣ стороны духовенства маршировали по двѣ-три пары гренадеровъ. Солдатъ тутъ было почти больше, чѣмъ священниковъ; но въ настоящее время у насъ для защиты религіи держатъ большое количество штыковъ...

Когда я вижу подобную процессію, въ которой духовенство шествуетъ такъ мрачно и печально подъ гордою военною охраною, меня всегда охватываетъ чувство скорби, и мнѣ представляется, что я вижу самого Спасителя Нашего, идущаго къ мѣсту казни въ сопровожденіи копьеносцевъ. Луккскія звѣзды думали, конечно, то же, что и я, и когда я со вздохомъ поднялъ къ нимъ взоры свои, онѣ взглянули на меня своими набожными глазами такъ сочувственно, такъ свѣтло, такъ ясно. Но въ ихъ свѣтѣ не было надобности, — тысячи и тысячи лампъ, и свѣчей, и дѣвичьихъ лицъ свѣтили изъ всѣхъ оконъ, на углахъ улицъ были водружены пылающіе смоляные вѣнки, и, кромѣ, того еще при каждомъ священникѣ шелъ особый свѣщеносецъ. У большей части капуциновъ эту обязанность исполняли маленькіе мальчики, и ихъ юношески свѣжія личики по временамъ съ радостнымъ любопытствомъ смотрѣли вверхъ на старыя серьезныя бороды; такой бѣднякъ-капуцинъ не имѣетъ средствъ платить взрослому свѣщеносцу, и эту обязанность во время процессій долженъ исполнять для него даромъ мальчикъ, котораго онъ учитъ читать Ave Maria, или чья тетка у него исповѣдывается, отчего, конечно, отнюдь не ослабѣваетъ усердіе исполнителя. При слѣдовавшихъ за капуцинами монахахъ состояли мальчики почти такого же возраста; при нѣкоторыхъ болѣе знатныхъ орденахъ—уже взрослые люди, а свѣчи священниковъ въ высокихъ шапкахъ несли настоящіе горожане. Господинъ же архіепископъ — ибо это именно онъ шествовалъ въ горделивом смиреніи подъ балдахиномъ, въ сопровожденіи поддерж

вавшихъ кисти его одѣянія сѣдыхъ пажей — господинъ архіепископъ имѣлъ по обѣ стороны по лакею, которые красовались въ голубыхъ ливреяхъ съ желтыми шнурками и церемоніально, точно они служили при дворѣ, несли бѣлыя восковыя свѣчи.

Во всякомъ случаѣ это ношеніе свѣчей я нашелъ хорошимъ учрежденіемъ, потому что, благодаря ему, могъ яснѣе разглядѣть лица, принадлежавшія католичеству. И я тамъ дѣйствительно, увидѣлъ ихъ, и притомъ въ самомъ лучшемъ освѣщеніи. Но что же я увидѣлъ? Да, правда, клерикальная печать не отсутствовала ни на одномъ. Но затѣмъ лица отличались одно отъ другого точно такъ же, какъ вообще различаются между собою лица. Одно было блѣдно, другое красно, этотъ носъ гордо вздымался, тотъ былъ смиренно опущенъ внизъ, тутъ искрился черный глазъ, тамъ слабо мерцалъ сѣрый... но всѣ эти лица носили слѣды одной и той же болѣзни, ужасной, неизлѣчимой болѣзни, которая вѣроятно, будетъ причиной, что мой внукъ, если ему случится черезъ сто лѣтъ присутствовать на процессіи въ Луккѣ, не найдетъ уже ни одного изъ этихъ лицъ. Боюсь, что и самъ я заразился этою болѣзнью, и одно изъ послѣдствій ея—та размягченность, которая странно прокрадывается въ мою душу каждый разъ, какъ я смотрю на такое больное монашеское лицо и вижу на немъ признаки страданій, скрытыхъ подъ сѣрою рясой: оскорбленную любовь, подагру, обманутое честолюбіе, сухотку спинного мозга, раскаяніе, геморой, сердечныя раны, нанесенныя намъ неблагодарностью друзей, клеветой враговъ и собственными нашими грѣхами—все это и еще многое другое, такъ легко умѣющее находить себѣ мѣсто и подъ грубой рясой и подъ тонкимъ моднымъ фракомъ. О, никакого преувеличенія нѣтъ въ скорбномъ восклицаніи поэта: «Жизнь — болѣзнь, весь міръ—лазаретъ!»

«А смерть—нашъ врачъ!..» Ахъ, я не хочу говорить ничего дурного о смерти, не хочу подрывать и въ другихъ довѣрія къ ней,—ибо такъ какъ она единственный врачъ, то пусть они остаются въ убѣжденіи, что она и лучшій, и что единственное средство, ею употребляемое, — ея вѣчное лѣченіе землею, тоже самое лучшее. По крайней мѣрѣ этотъ докторъ заслуживаетъ похвалы за то, что онъ всегда подъ рукой и, несмотря на свою большую практику, никогда не ставитъ васъ долго ждать его, чуть вы потребовали его ... ѣ. Иногда онъ даже слѣдуетъ за своими паціентами

въ процессіяхъ и несетъ ихъ свѣчи. Не сомнѣваюсь, что та личность, которую я видѣлъ сопровождавшею одного блѣднаго, печальнаго священника, была сама смерть; въ тощихъ дрожащихъ костяхъ рукъ несла она свѣчу своего монаха, при этомъ добродушно и успокоительно кивала робкою лысой головенкой, и хотя сама отъ слабости едва держалась на ногахъ, но по временамъ еще поддерживала бѣднаго монаха, который съ каждымъ новымъ шагомъ своимъ становился еще блѣднѣе и безсильнѣе. Спутникъ, казалось, одобрялъ его: подожди еще нѣсколько часиковъ—и мы съ тобой будемъ дома, и я загашу свѣчу и положу тебя на постель, и тогда холоднымъ, уставшимъ ногамъ можно будетъ отдохнуть, и ты успешь такъ крѣпко, что не услышишь дребезжащаго колокольчика св. Михаила!..

И противъ *этого* человѣка не стану я писать!—подумалъ я, когда увидѣлъ бѣднаго-блѣднаго священника, которому смерть во плоти и крови свѣтила по дорогѣ домой, въ постель.

Ахъ, собственно ни противъ кого въ этомъ мірѣ не слѣдовало бы писать. Каждый самъ достаточно боленъ въ этомъ огромномъ лазаретѣ, и многія полемическія статьи невольно напоминаютъ мнѣ отвратительную ссору, случайнымъ свидѣтелемъ которой мнѣ привелось быть въ маленькой краковской больницѣ: ужасно было слышать, какъ больные насмѣшливо выставляли на видъ одинъ другому его недуги; какъ высохшій чахоточный издѣвался надъ раздувшимся отъ водянки, какъ одинъ осмѣивалъ ракъ въ носу другого, а этотъ въ свою очередь—искривленіе рта и глазъ своихъ сосѣдей, —пока, наконецъ, горячечные стали выскакивать голыми изъ своихъ постелей и срывать съ другихъ больныхъ одѣяла и повязки на ранахъ, и всюду только и было видно, что отвратительное бѣдствіе и изувѣченіе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Убѣгая отъ шумной толпы, я укрылся въ уединенную церковь и, протянувшись на одной изъ старыхъ молельныхъ скамеекъ, предавался своимъ мыслямъ, открывшимъ ступъ въ мою грудь раздававшимся звукамъ органа. Лежалъ я съ фантазирующей душой, сочиняя къ с

ыкѣ еще болѣе странный текстъ; по временамъ взоры и бродятъ по погружающимся въ сумерки сводчатымъ реходамъ... Кто эта укутанная вуалью женщина, стоящая колѣняхъ предъ образомъ Мадонны? Висящая передъ имъ лампада кидаетъ ужасающій и вмѣстѣ милый блескъ прекрасную Страдалицу-Мать распятаго Воплощенія юбви; но обольстительно таинственный свѣтъ падаетъ по еменамъ, какъ бы украдкой, на красивыя формы моляейся. Она лежитъ, правда, неподвижная на каменныхъ туненяхъ алтаря, но въ мѣняющемся освѣщеніи движется я тѣнь, отъ времени до времени подбѣгаетъ ко мнѣ, потомъ снова поспѣшно удаляется, точно набожный мавръ, боязливый вѣстникъ любви въ гаремѣ — и я понимаю его. Онъ возвѣщаетъ мнѣ присутствіе своей госпожи, султанши моего сердца.

Но въ пустой церкви постепенно становится все темнѣе, мѣстами скользитъ вдоль колоннъ какая-нибудь неопредѣленная фигура, по временамъ доносится до меня шопотъ изъ боковой капелы, и органъ, подобно вздыхающему исполинскому сердцу, стонетъ своими длинными, протяжными звуками...

Казалось, однако, что эти звуки никогда не замолкнутъ, что этотъ предсмертный голосъ, эта живая смерть будетъ продолжаться вѣчно; я ощущалъ такое несказанное стѣненіе въ груди, такую невыразимую тревогу, какъ будто меня похоронили заживо, какъ будто, я давно погребенный, вышелъ изъ могилы, и вмѣстѣ съ зловѣщими ночными товарищами вошелъ въ призрачную церковь, чтобы слушать молитвы мертвыхъ и каяться въ грѣхахъ, совершонныхъ трупами. Иногда мнѣ казалось, что рядомъ со мною, въ таинственныхъ сумеркахъ, дѣйствительно сидитъ отошедшая въ вѣчность община, въ износившихся старофлорентинскихъ одеждахъ, съ длинными блѣдными лицами, держа въ тощихъ рукахъ украшенные золотомъ молитвенники, таинственно шепча что-то и меланхолически кивая другъ другу. Дребезжащій звонъ далекаго надгробнаго колокольчика снова напомнилъ мнѣ о больномъ священникѣ, котораго я видѣлъ ецессіи, и я сказалъ себѣ: онъ въ настоящее время ертвый, и пришелъ сюда, чтобы отслужить первую ую,—и тутъ собственно начинается печальная игра ій... Но въ эту минуту внезапно поднялась со ступтаря прекрасная фигура молящейся подъ вуалью... была она — уже ея живая тѣнь спустилась бѣлы

привидѣнія, я видѣлъ теперь только ее, я быстро послѣдовалъ за нею изъ церкви, и когда она предъ дверью откинула свой вуаль, предо мною явилось смоченное слезами лицо Франчески. Оно походило на грустную бѣлую розу, покрытую, какъ жемчугомъ, ночною росой и освѣщенную лучами мѣсяца, «Франческа, любишь ты меня?» Я спрашивалъ много, она отвѣчала мало. Я приводилъ ее въ отель Croce di Malta, гдѣ остановились она и Матильда. Улицы опустѣли, дома спали съ закрытыми глазами-окнами, только кое-гдѣ сквозь деревянныя рѣсницы пробивался свѣтъ. Но въ вышинѣ на небѣ образовалось между облаками широкое свѣтло-зеленое пространство, и въ немъ плавалъ полумѣсяцъ, какъ серебряная гондола по изумрудному морю. Напрасно просилъ я Франческу хоть одинъ разъ поднять глаза вверхъ, къ нашему старому, милому другу; головка ея оставалась мечтательно опущенной. Походка, обыкновенно такая веселая и быстрая, теперь была набожно мѣрная, шаги—мрачно католическіе, она шла какъ бы въ тактъ торжественнымъ звукамъ органа... По дорогѣ она останавливалась предъ каждымъ изображеніемъ святого и крестила себѣ голову и грудь; но когда мы прошли на площади мимо церкви св. Михаила, гдѣ мраморная мадонна съ позолоченными мечами въ сердцѣ и лампочкой въ видѣ короны на головѣ свѣтилась изъ темной ниши, тогда Франческа обвила рукою мою шею, поцѣловала меня и прошептала: Сессо, Сессо, саго Сессо.

Я принялъ эти поцѣлуи спокойно, хотя хорошо зналъ, что въ сущности они были направлены къ болонскому аббату, служителю римско-католической церкви. Какъ протестантъ, я не стѣснился присвоить себѣ имущество католическаго духовенства, и тутъ же секуляризировалъ набожные поцѣлуи Франчески. Я знаю, что ксендзовъ это взбѣситъ, они, конечно, начнутъ кричать о похищенной церковной собственности и охотно примѣнили бы ко мнѣ французскій законъ о святотатствѣ. Къ сожалѣнію, я долженъ сознаться, что вышеупомянутые поцѣлуи были единственное, чѣмъ мнѣ удалось завладѣть въ этотъ вечеръ. Франческа рѣшилась провести эту ночь только въ заботахъ о спасеніи [illegible] души. Напрасно предлагалъ я раздѣлить съ нею это [illegible] божное занятіе: дойдя до своей комнаты, она захло[illegible] мнѣ передъ носомъ дверь. Напрасно простоялъ я п[illegible] дверью еще цѣлый часъ, и просилъ впустить меня, и [illegible] халъ всевозможными вздохами, и лицемѣрно плак[illegible]

божными слезами, и давалъ самыя торжественныя клятвы— само собой въ душѣ удерживая за собой право нарушить ихъ, я чувствовалъ, какъ постепенно становился іезуитомъ, я сдѣлался совсѣмъ скверным и, наконецъ, даже заявилъ, что готовъ обратиться въ католика за нѣсколько часовъ...

— Франческо! — восклицалъ я:— звѣзда моихъ мыслей, мысль моей души! vita della mia vita! Моя прекрасная, часто лобзаемая, стройная, католическая Франческа! За нѣсколько часовъ, которые ты теперь подаришь мнѣ, я самъ сдѣлаюсь католикомъ — но именно только на нѣсколько часовъ!.. Какъ только я проснусь завтра утромъ, тотчасъ же прогоню изъ глазъ сонъ и католицизмъ, и снова буду ясно смотрѣть на солнце, и снова буду протестантски разсудительнымъ и трезвымъ, какимъ былъ до сихъ поръ.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Когда на слѣдующій день солнце снова сердечно засмѣялось на своемъ небѣ, погасли окончательно мрачныя мысли и чувства, возбужденныя во мнѣ процессіею предшествующаго вечера и заставившія меня представить себѣ жизнь болѣзнью, а міръ—лазаретомъ.

Весь городъ кишѣлъ веселымъ народомъ. Всюду пестро разряженные люди, мѣстами проскакиваетъ какой-нибудь черный попикъ. Все это шумѣло, и смѣялось, и болтало, почти заглушая звонъ колоколовъ, приглашавшій къ большой обѣднѣ въ соборъ. Этотъ соборъ — большая, простая церковь, пестро мраморный фасадъ которой украшенъ тѣми короткими, одна надъ другой построенными колонками, которыя смотрятъ на насъ такъ мрачно и остроумно. Внутри столбы и стѣны были обтянуты краснымъ сукномъ, и радостная музыка разливалась надъ волнами двигавшейся толпы. Я велъ синьору Франческу подъ руку, и когда при входѣ въ церковь подалъ ей святую воду и отъ сладостно влажнаго соприкосновенія нашихъ пальцевъ по нашимъ душамъ пробѣжала электрическая струя, то въ ту же самую минуту ощутилъ я такой электрическій ударъ въ ногу, что съ испуга чуть не повалился на колѣнопреклоненныхъ кренокъ, которыя въ своихъ бѣлыхъ платьяхъ, съ длинными сережками и шейными цѣпочками изъ желтаго золота, ою толпой покрывали полъ. Посмотрѣвъ вокругъ себя, идѣлъ женщину, стоявшую тоже на колѣняхъ и обмавшуюся вѣеромъ, а за вѣеромъ усмотрѣлъ смѣющіеся

глаза миледи. Я наклонился къ ней, и она томно прошептала мнѣ: Delightful!

— Бога ради!— отвѣчалъ я ей тоже шопотомъ:— будьте серьезны, не смѣйтесь, иначе вѣдь насъ выгонятъ отсюда.

Но напрасны были просьбы и мольбы. Къ счастію, никто не понималъ нашего языка, потому что миледи, вставши съ колѣнъ и направившись вслѣдъ за толпой къ главному алтарю, начала дурачиться, не обращая ровно ни на что никакого вниманія, точно мы стояли съ нею одни на Апеннинахъ . . . . . .

. . . . . .

Только старыя фрески, украшавшія стѣны, могли, благодаря присущей имъ серьезной величавости, нѣсколько умѣрить британскую насмѣшливость. На нихъ были изображены фигуры того героическаго періода Лукки, о которомъ такъ много говорится въ историческихъ книгахъ Макіавелли, этого романтическаго Саллюстія, и духъ котораго такъ пламенно вѣетъ на насъ изъ пѣснопѣній Данте, католическаго Гомера. Правда, на этихъ лицахъ отпечатаны строгія чувства и выражены мысли средневѣковой эпохи, хотя, впрочемъ, есть тутъ немало безмолвныхъ юношескихъ устъ, на которыхъ шевелится улыбающееся признаніе, что не всѣ розы были въ ту пору ужъ совсѣмъ каменныя и укутанныя густою вуалью... Во всякомъ случаѣ, однако, отъ этихъ старо-флорентинскихъ картинъ вѣетъ на насъ высшимъ духомъ, точно такъ же, какъ и въ древнихъ мраморныхъ изваяніяхъ боговъ мы находимъ истинно героическое, находимъ то, что, вопреки мнѣнію нашихъ эстетиковъ, состоитъ отнюдь не въ вѣчномъ спокойствіи безъ страсти, а напротивъ — въ вѣчной страсти безъ тревожнаго безпокойства. Тотъ же флорентинскій характеръ, быть-можетъ, какъ традиціонный отголосокъ, имѣютъ нѣсколько позднѣйшихъ масляныхъ картинъ, висящихъ въ Луккскомъ соборѣ. Особенно кинулся мнѣ въ глаза одинъ бракъ въ Канѣ Галилейской—произведеніе одного изъ учениковъ Андре дель Сарто, нѣсколько жестоко нарисованное и рѣзко скомпанованное. Спаситель сидитъ между красавицей невѣстой и фарисеемъ, на каменномъ скрижальномъ лицѣ котораго написано удивленіе видѣ творимыхъ чудесъ... Гораздо мягче, почти съ вене скимъ колоритомъ, картина неизвѣстнаго художника, щая тутъ же рядомъ и на которой веселая игра кр какъ-то чудно умѣряется трепещущею сквозь нее ск *Тутъ изображено*, какъ Марія взяла фунтъ мази и

ценнаго нефальсифицированнаго мира и, умастивъ ею ги Іисуса, вытерла ихъ своими волосами. Христосъ си-ть тутъ въ кругу своихъ учениковъ, полный божествен-й красоты и божественнаго величія, человѣчески печально вствуя набожное почтеніе къ Своему собственному Тѣлу, торому скоро предстоятъ такія мученія и которому теперь ке подобаетъ и воздается та честь миропомазанія, которой остаиваются умирающіе. Съ умиленною улыбкой смотритъ нъ на колѣнопреклоненную женщину, совершающую это ло милосердія, дѣло, которое не забудется никогда, пока перестанутъ существовать страдающіе люди, и всѣ гря-щія тысячелѣтія будетъ благоухать къ усладѣ и успокое-ю всѣхъ страждущихъ людей. Кромѣ ученика, лежавшаго груди Христа и который такъ же записалъ этотъ по-вигъ Маріи, ни одинъ изъ апостоловъ, кажется, не чув-твуетъ его значенія, а вонъ тотъ съ рыжею бородой, по-дидимому, дѣлаетъ даже, какъ сказано въ Писаніи—серди-е замѣчаніе: Почему эта мазь не продана за триста гро-ей, а отдана бѣднымъ? Этотъ экономическій апостолъ — менно тотъ, который завѣдываетъ кассой, привычка къ нежнымъ дѣламъ сдѣлала его нечувствительнымъ ко всѣмъ зкорыстнымъ нардовымъ благоуханіямъ любви, ему бы тѣлось вымѣнять ихъ на гроши для полезной цѣли, и менно онъ, денежный мѣняла, былъ тотъ, кто продалъ пасителя за тридцать сребренниковъ. Такимъ обра-мъ Евангеліе исторіею банкира изъ среды апостоловъ казало символически на злую силу обольщенія, таящуюся ъ денежномъ мѣшкѣ, и сдѣлало предостереженіе касательно ероломства денежныхъ дѣльцовъ. Каждый богачъ — Іуда скаріотъ.

. . . . . .

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

. . . . . .

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Послѣ обѣдни привелось еще много увидѣть и много услы-собенно проповѣдь высокаго коренастаго монаха, ительно смѣлое, древне-римское лицо очень странно ировало съ грубою нищенскою рясой, такъ что рѣлъ какимъ-то императоромъ бѣдности. Онъ про-ъ о небѣ и адѣ и по временамъ впадалъ въ са-ое воодушевленіе. Описаніе неба выходило у него

довольно варварски шаржированное—тутъ было много золота, серебра, драгоцѣнныхъ камней, вкусныхъ блюдъ и винъ лучшихъ урожайныхъ годовъ; при этомъ лицо его принимало аппетитно прихлебывающее выраженіе, и отъ наслажденія онъ покачивался то въ ту, то въ другую сторону, когда, разсказывая объ ангелочкахъ съ бѣлыми крылышками, воображалъ и самого себя ангелочкомъ съ бѣлыми крылышками. Менѣе забавно, даже практически серьезно было его описаніе ада. Здѣсь нашъ проповѣдникъ былъ больше въ своей стихіи. Особенно усердствовалъ онъ противъ тѣхъ грѣшниковъ, которые перестали надлежаще католически вѣрить въ адъ и думаютъ даже, что въ настоящее время тамъ стало нѣсколько прохладнѣе, а въ концѣ-концовъ пламя и совсѣмъ погаснетъ. «Но,—восклицалъ онъ:—если бы, дѣйствительно, адскій огонь сталъ угасать, я принялся бы своимъ дыханіемъ раздувать послѣдніе тлѣющіе угли, чтобы снова вызвать прежнее страшное пламя!» И эта адская угроза не казалась слушателю гиперболою, когда онъ смотрѣлъ при этомъ на багровое лицо проповѣдника, его красную, буйволовую шею, его мощные кулаки, и слушалъ его голосъ, произносившій эти слова съ завываніемъ сѣвернаго вѣтра.

— J like this man,—сказала миледи.

— И вы правы,—отвѣчалъ я:—мнѣ тоже онъ нравится больше многихъ нашихъ кроткихъ, гомеопатическихъ душевныхъ врачей, которые всыпаютъ въ ведро моральной воды $\frac{1}{10000}$ разума и этимъ лѣкарствомъ назидательно призываютъ насъ къ спокойствію.

— Да, докторъ, къ его аду я чувствую почтеніе; но *такое* небо, какимъ *онъ* его изображаетъ, внушаетъ мнѣ мало довѣрія... Я вспоминаю при этомъ, какъ, еще маленькою дѣвочкой, въ Дублинѣ, часто лежала я на спинѣ въ травѣ, и смотрѣла въ небо, и раздумывала—дѣйствительно ли на небѣ столько сокровищъ въ такомъ родѣ, какъ мнѣ разсказывали, точь-въ-точь какъ разсказываетъ вотъ этотъ проповѣдникъ. Но,—соображала я: — почему же въ этомъ случаѣ не падаетъ оттуда ни брильянтовыхъ сереже— ни какого-нибудь жемчужнаго ожерелья, ни по крайней хоть парочки сладкихъ пирожковъ,— а падаетъ толь градъ, или снѣгъ, или совершенно обыкновенный Это что-то странно—думала я...

— Зачѣмъ вы говорите это, миледи? Зачѣмъ ли

умалчивать объ этихъ сомнѣніяхъ? Тѣмъ невѣрующимъ, которые съ такимъ сомнѣніемъ, какъ вы, относитесь къ небу, не слѣдовало бы заниматься прозелитствомъ; менѣе достойно порицанія, даже заслуживаетъ похвалу, прозелитство тѣхъ людей, которые небо наполняютъ всяческими матеріальными великолѣпіями и, не желая наслаждаться этими великолѣпіями эгоистически, для однихъ себя, приглашаютъ и своихъ собратьевъ людей къ этому наслажденію, и только тогда остаются удовлетворенными, когда любезное приглашеніе ихъ оказывается принятымъ.

— Я, однако, всегда удивлялась, докторъ, что многіе богачи изъ этой категоріи, которые въ качествѣ президентовъ, вице-президентовъ, или секретарей миссіонерскихъ обществъ весьма усердно стараются привести на путь истины какого-нибудь изношеннаго нищаго еврея и приготовить ему мѣсто въ небѣ въ ихъ собственной компаніи, никогда не подумаютъ о томъ, чтобы сдѣлать его участникомъ ихъ наслажденій уже на землѣ, и, напримѣръ, никогда не приглашаютъ его лѣтомъ на свои дачи, гдѣ, конечно, есть много лакомствъ, которыя уже теперь доставили бы бѣднягѣ немало наслажденія...

— Это понятно, миледи, наслажденія небесныя не стóятъ этимъ господамъ ни гроша, а вѣдь удовольствіе испытывается нами вдвойнѣ, когда мы можемъ такъ дешево счастливить нашихъ собратьевъ людей. Но къ какимъ же наслажденіямъ можетъ приглашать человѣка невѣрующій?

— Ни къ какимъ, докторъ, кромѣ долгаго спокойнаго сна, который, однако, можетъ быть иногда весьма желателенъ для человѣка несчастнаго, особенно, когда его до тѣхъ поръ слишкомъ ужъ измучили приглашеніями къ счастью въ будущемъ.

Эти слова красавица произнесла съ рѣзкою горечью, и я не совсѣмъ безъ серьезности отвѣчалъ ей:

— Милая Матильда, при моемъ образѣ дѣйствій въ здѣшнемъ мірѣ я слишкомъ широко смотрю на вещи и слишкомъ гордъ для того, чтобы руководиться только жаждою наградъ въ загробной жизни или боязнью наказаній въ аду. Я стре-
ь добру, потому что оно прекрасно и неодолимо вле-
ня къ себѣ, и ненавижу зло, потому что оно отвра-
і для меня противно. Уже мальчикомъ, при чтеніи
,—а я его до сихъ поръ читаю каждый вечеръ въ
ч при *этомъ иногда* мной овладѣваетъ желаніе
и немедленно помчаться съ экстра-почтой, и сдѣ-

латься великимъ человѣкомъ — уже въ то время мнѣ нравился разсказъ о женщинѣ, которая ходила по улицамъ Александріи съ ведромъ воды въ одной рукѣ и зажженнымъ факеломъ въ другой, и кричала, что водой она загаситъ адъ, а факеломъ зажжетъ небо, для того, чтобы впередъ злыя дѣла не оставались неисполняемыми только изъ боязни каръ въ аду, а добрыя не совершались только изъ желанія получить награду въ небѣ. Всѣ наши дѣйствія должны исходить изъ источника безкорыстной любви, безъ соображенія о томъ, продолжается ли жизнь послѣ смерти, или нѣтъ.

— Вы, слѣдовательно, не вѣрите въ безсмертіе?

— О, миледи, вы хитрая! Мнѣ сомнѣваться въ немъ? Мнѣ, чье сердце все глубже и глубже пускаетъ корни въ отдаленнѣйшія столѣтія прошедшаго и будущаго,—мнѣ, который самъ одинъ изъ самыхъ вѣчныхъ людей, у котораго каждое дыханіе — вѣчная жизнь, каждая мысль — вѣчная звѣзда,—мнѣ не вѣрить въ безсмертіе?

— Я думаю, докторъ, что нужно быть достаточно тщеславнымъ и притязательнымъ, чтобы, испытавъ уже на землѣ столько добраго и прекраснаго, требовать себѣ сверхъ того еще безсмертія на томъ свѣтѣ!.. Человѣку, этому аристократу между животными, который мнитъ себя превосходящимъ всѣхъ остальныхъ тварей, хочется добыть себѣ и эту привилегію всяческими «богоугодными» дѣлами... О, я знаю что̀ значитъ эта судорожная улыбка, безсмертный господинъ!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Синьора попросила насъ пойти вмѣстѣ съ нею въ монастырь, гдѣ хранится чудотворный крестъ, самый замѣчательный во всей Тосканѣ.

На площади передъ соборомъ маневрировало много военныхъ, почти всѣ въ австрійскихъ мундирахъ и по команд на нѣмецкомъ языкѣ. По крайней мѣрѣ я слышалъ нѣмецкія слова: Präsentiert's Gewehr! Fuss Geweghr! Schultert Gewehr! Rechtsum! Halt! — Мнѣ кажется, что у всѣхъ итальянцевъ—какъ до сихъ поръ и у нѣкоторыхъ другихъ европейскихъ народовъ—командуютъ по-нѣмецки. Слѣдует ли намъ, нѣмцамъ, гордиться этимъ? Приходится ли въ мірѣ столько повелѣвать, что нѣмецкій языкъ сл даже языкомъ приказаній? Или же нами повел *столько, что* повиновеніе лучше всякихъ другихъ *понимаетъ* нѣмецкій?

Миледи повидимому, не любительница парадовъ и смотровъ. Она увела насъ оттуда съ ироническою боязливостью.

— Не люблю я,—сказала она:—быть вблизи этихъ людей съ саблями и ружьями, особенно, когда они маршируютъ, какъ на большихъ маневрахъ, въ огромномъ количествѣ. Мнѣ все кажется, что вотъ-вотъ какой-нибудь одинъ изъ этихъ тысячъ вдругъ сойдетъ съ ума, и оружіемъ, которое у него въ рукахъ, тутъ же положитъ меня на мѣстѣ... Или вдругъ придетъ ему въ голову такая мысль... «Чѣмъ ты рискуешь? что можешь потерять, даже въ томъ случаѣ, если тебя за это лишатъ жизни? Вѣдь каково бы ни жилось на томъ свѣтѣ—великолѣпно ли, какъ намъ обѣщаютъ, или совсѣмъ нехорошо, но во всякомъ случаѣ менѣе шести крейцеровъ въ день, которые тебѣ выдаются здѣсь, не будешь ты получать тамъ... Поэтому позабавься, да заколи вотъ ту англичаночку съ дерзкимъ носомъ!..» Такъ развѣ тутъ не грозитъ мнѣ величайшая опасность!.. Будь я король, я раздѣлилъ бы своихъ солдатъ на два класса. Въ одномъ я поселилъ бы вѣру въ безсмертіе, для того, чтобы въ битвахъ они были храбры и не боялись смерти, и этотъ классъ я употреблялъ бы въ дѣло только для войны. Другой же я назначилъ бы для парадовъ и смотровъ, и для того, чтобы имъ никогда не приходило въ голову, что они ничѣмъ не рискуютъ, убивая кого-нибудь ради забавы, я запретилъ бы имъ подъ страхомъ смертной казни вѣрить въ безсмертіе, я даже добавлялъ бы къ ихъ хлѣбной порціи немножко масла, чтобы дѣлать для нихъ земную жизнь ужъ совсѣмъ пріятною. А первымъ, этимъ безсмертнымъ героямъ; я, напротивъ того, даже совсѣмъ бы отравлялъ жизнь, чтобы пріучить ихъ вполнѣ презирать ее и смотрѣть на дуло пушекъ, какъ на входъ въ лучшую жизнь.

— Миледи,—сказалъ я:—вы были бы дурнымъ правителемъ. Вы ровно ничего не знаете объ этомъ предметѣ и ничего не понимаете въ политикѣ. Читай вы газету «Политическія Анналы...»

— Я это дѣло понимаю, можетъ-быть, лучше васъ, дорогой докторъ. Уже въ раннихъ лѣтахъ я старалась позна-
ь нимъ. Когда я была еще маленькой, въ Дублинѣ...
ала въ травѣ на спинѣ... и раздумывала... или
ья, какъ въ Ремсгетѣ...
похожій на легкій упрекъ въ неблагодарности,
ъ *миледи,—но* затѣмъ она снова разсмѣялась

— Когда я была еще маленькая, въ Дублинѣ, и могла умѣститься на уголкѣ скамеечки, на которой лежали ноги моей матери, то у меня конца не было всевозможнымъ вопросамъ—какое занятіе у портного, у сапожника, у булочника, словомъ, у всѣхъ людей на свѣтѣ. И мать мнѣ объясняла: портной шьетъ платье, сапожникъ шьетъ сапоги, булочникъ печетъ хлѣбъ... А когда я разъ спросила: а что дѣлаютъ правители? — мать отвѣчала: «они управляютъ». «Знаешь, мама,—сказала я:—будь правитель я, я бы какой-нибудь одинъ день совсѣмъ не управлялъ, только чтобы посмотрѣть, что тогда подѣлалось бы съ міромъ». — «Милое дитя мое,—отвѣчала мать:—такъ многіе правители и поступаютъ, и сообразно съ этимъ и идутъ дѣла въ мірѣ...»

— Ваша матушка, миледи, говорила правду. Особенно здѣсь въ Италіи есть такіе правители, и это очень замѣтно въ Пьемонтѣ и Неаполѣ...

— Но, милый докторъ, вѣдь такого итальянскаго короля несправедливо обвинять, если онъ иные дни проводитъ, совсѣмъ не управляя, вслѣдствіе черезчуръ ужъ сильной жары. Опасно только, что карбонаріи могутъ воспользоваться такими днями: въ послѣднее время я особенно замѣчала, что революціи происходили именно въ тѣ дни, когда страна не управлялась. Когда же случалось, что карбонаріи ошиблись, и въ тотъ день, когда, какъ они думали, управленія не было, оно вдругъ оказывалось на лицо, — они совсѣмъ теряли голову. Поэтому карбонаріямъ слѣдуетъ быть какъ нельзя болѣе осторожными и тщательно убѣждаться, удобное или неудобное время они выбираютъ. Напротивъ того, высшая политика нашихъ правителей должна состоять въ томъ, чтобы держать въ глубокой тайнѣ, въ какіе дни они не управляютъ, и въ такіе дни хоть нѣсколько разъ садиться за свой письменный столъ и или очинивать перья, или запечатывать куверты, или графить чистые листы бумаги — все это для виду, чтобы народъ, стоящій на улицѣ и съ любопытствомъ заглядывающій въ окна аппартаментовъ, оставался въ увѣренности, что страна управляется.

Между тѣмъ, какъ такія замѣчанія шутливо сыпались изъ милаго ротика миледи, улыбающееся довольство плавало полныхъ розовыхъ губкахъ Франчески. Она говорила ма Но походка ея уже не имѣла въ себѣ того вздыхающ самоотреченія въ соединеніи съ мистическимъ блаженств которымъ она отличалась въ предшествующій вечеръ; вица шла теперь какъ-то побѣдоносно, каждый ша

ілъ точно звукъ трубы; но въ движеніяхъ ея проявлялась бѣда скорѣе духовная, чѣмъ свѣтская, сама она представляла собою какъ бы образъ торжествующаго католичества... Напротивъ того, выраженіе ея глазъ, улыбавшихся сквозь слезы, было свѣтски дѣтское, и въ пестрой толпѣ, волнами проносившейся мимо насъ, ни одинъ костюмъ не скрывался отъ ея пытливаго взгляда. «Ессо! — восклицала она: — какая шаль! Вотъ точь-въ-точь такую долженъ мнѣ купить маркизъ, когда я буду танцовать Рокселану. Ахъ, онъ обѣщалъ мнѣ и крестикъ съ брильянтами!..»

Бѣдный Гумпелино! Купить чалму ты согласишься безъ труда; но изъ-за крестика придется тебѣ вынести еще много невеселыхъ часовъ. Синьора, однако, будетъ тебя мучить и подвергать пыткѣ до тѣхъ поръ, пока ты, наконецъ, волей-неволей уступишь ей.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Церковь, въ которой находится чудотворный крестъ, принадлежитъ къ монастырю, названія котораго въ настоящую минуту я не припомню.

Когда мы вошли туда, предъ главнымъ алтаремъ стояло на колѣняхъ около дюжины монаховъ въ безмолвной молитвѣ. Только по временамъ, подобно хору, произносили они нѣсколько отрывочныхъ словъ, разносившихся какимъ-то повѣщимъ отголоскомъ по сводчатымъ переходамъ. Церковь была темна, только чрезъ маленькія разрисованныя окна падалъ пестрый свѣтъ на лысыя головы и коричневыя рясы. Тусклыя мѣдныя лампы скудно освѣщали почернѣлыя фрески образа въ алтарѣ, изъ стѣнъ выступали деревянныя головы святыхъ, ярко раскрашенныя и при сомнительномъ освѣщеніи казавшіяся оскалившими зубы, какъ живыя... Миледи громко вскрикнула и указала на надгробный камень, чутившійся у нашихъ ногъ, на которомъ помѣщалось рельефное изображеніе лежавшаго со скрещенными руками епископа въ митрѣ и съ посохомъ. «Ахъ! — прошептала она:—я нечаянно наступила на его голову, и теперь она приснится мнѣ...»

[illegible]марь, блѣдный молодой монахъ, показалъ намъ чудо-[illegible] крестъ и разсказалъ его исторію... Франческа по-[illegible]а его съ пламеннымъ религіознымъ воодушевленіемъ... [illegible] по-своему шутила, и на меня очень непріятно [illegible]о ея *настроеніе... Нельзя* вѣдь отрицать, что [illegible] *смѣхаться, наслажденіе* противорѣчіемъ заклю-

чаютъ въ себѣ нѣчто злобное, тогда какъ серьезность болѣе родственна съ лучшими чувствами: добродѣтель, свободолюбіе и любовь всегда очень серьезны. Но бываютъ сердца, въ которыхъ шутка и серьезность, злое и святое, пламенность и холодность такъ странно перемѣшаны, что трудно составить себѣ вѣрное понятіе о нихъ. Такое сердце плавало и въ груди Матильды; по временамъ это былъ ледяной островъ, изъ гладкой зеркальной почвы котораго выростали полные истомы и самаго страстнаго пыла пальмовые лѣса, по временамъ оно становилось восторженно огнедышащимъ вулканомъ, который внезапно гасила смѣющаяся снѣжная лавина. Она была совсѣмъ недурная женщина, при всей своей распущенности,—даже не чувственная; мнѣ даже кажется, что у чувственности она взяла только ея остроумную сторону и забавлялась ею, какъ ребяческою игрой въ куклы. То была юмористическая прихоть, милое любопытство посмотрѣть, какъ будетъ вести себя тотъ или другой чудакъ во влюбленномъ состояніи. Какая разница съ Франческой! Въ ея мысляхъ и чувствахъ было католическое единство. Днемъ она являлась изнывающе блѣдною луной, ночью превращалась въ пламенное солнце... Луна моихъ дней! Солнце моихъ ночей! Я никогда больше не увижу тебя!..

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Благодаря ли настроенію, вызванному во мнѣ мѣстомъ, гдѣ мы находились, или потому, что мнѣ захотѣлось как можно рѣзче отстранить шутки миледи, сердившія меня, — я съ надлежащимъ паѳосомъ сказалъ ей:

— Миледи, мнѣ не по сердцу женщины, неуважительно относящіяся къ религіи. Красавицы, у которыхъ нѣтъ ре лигіи, то же, что цвѣты безъ запаха; онѣ похожи на т холодные, безжизненные тюльпаны, которые такъ фарфо образно смотрятъ на насъ изъ своихъ китайскихъ фарфо ровыхъ горшковъ, и если бы могли говорить, навѣрно ста бы намъ объяснять, какъ они совершенно естественно про изошли изъ луковицы, какъ для цвѣтка вполнѣ дос когда онъ пахнетъ лишь бы не скверно, и какъ что касается благоуханія, разумному цвѣтку ни в благоуханіи нѣтъ надобности.

Уже при словѣ тюльпанъ у миледи начались ко *ныя движенія*, а въ дальнѣйшее продолженіе мо

идіосинкразія противъ этого цвѣтка дѣйствовала такъ сильно, что она слушала меня, съ отчаяніемъ заткнувъ уши. Затѣмъ, наполовину притворно, наполовину же серьезно, какъ задѣтая заживо, она кинула на меня взглядъ горькаго укора и съ рѣзкою, выходившею изъ глубины сердца насмѣшливостью, спросила:

— А вы, дорогой цвѣтокъ, вы религіозны?

— Я, миледи, ношу въ своей душѣ всѣ существующія религіи, и благоуханіе моей души обильно возносится въ небо...

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Такъ какъ синьора Франческа не могла понимать нашъ разговоръ, который мы вели большею частью по-англійски, то ей, Богъ вѣсть съ чего, представилось, что мы съ миледи споримъ насчетъ того, кто лучше—ея соотечественники, или мои. И она принялась хвалить англичанъ точно такъ же, какъ нѣмцевъ, хотя въ душѣ считала первыхъ неумѣлыми, а вторыхъ глупыми. Очень дурного мнѣнія была она о пруссакахъ, страна которыхъ, по ея географіи находится очень далеко отъ Германіи и Англіи; особенно же дурного—о королѣ прусскомъ, великомъ Федериго, роль котораго ея врагъ, синьора Серафина, танцовала въ прошедшемъ году въ своемъ бенефисномъ балетѣ,—какъ и вообще, что довольно странно, этотъ король, именно Фридрихъ Великій, до сихъ поръ продолжаетъ жить на итальянскихъ сценахъ и въ памяти итальянскаго народа.

— Нѣтъ,—говорила въ это время обо мнѣ миледи, не обращая вниманія на милую болтовню синьоры:—нѣтъ, этотъ человѣкъ невыносимъ... Онъ не только чуть не на каждомъ шагу мѣняетъ свои убѣжденія и постоянно противорѣчитъ самому себѣ,—онъ теперь превращается даже въ миссіонера, и по моему мнѣнію онъ даже замаскированный іезуитъ. Ахъ, достопочтенный господинъ, совершенно напрасно вы думаете, что я такъ умна, какъ кажусь, я отнюдь не страдаю отсутствіемъ религіи, я не тюльпанъ, ни въ какомъ случаѣ не тюльпанъ, Бога ради только не тюльпанъ!.. многое, очень многое вѣрую... ...И изъ заповѣдей а я всегда исполняла самую важную—любить даже врановъ... потому что, ахъ! тѣ самые люди, кото- наиболѣе любила, всегда были, помимо моего вѣ- оими *злѣйшими врагами*.

Бога, Матильда, не плачьте!» — воскликнулъ я,

когда звукъ самой болѣзненной горечи снова вылетѣлъ изъ самой веселой насмѣшливости, какъ змѣя изъ цвѣточной грядки. Мнѣ вѣдь былъ знакомъ этотъ звукъ, при которомъ остроумное кристальное сердце удивительной женщины всегда вздрагивало, хотя и сильно, но не на долго, и я зналъ, что его можно прогнать такъ же легко, какъ онъ родился, первымъ же веселымъ замѣчаніемъ, высказаннымъ ей другимъ, или пришедшимъ ей самой въ голову. Между тѣмъ какъ она, прислонившись къ воротамъ монастырскаго двора, прижимала горячія щеки къ холоднымъ камнямъ и вытирала слѣды слезъ своими длинными волосами, я старался снова вызвать ея хорошее настроеніе тѣмъ, что по ея же собственной насмѣшливой манерѣ сталъ мистифицировать бѣдную Франческу и сообщать ей важнѣйшія извѣстія о семилѣтней войнѣ, которая, повидимому, такъ сильно интересовала ее и которую она считала до сихъ поръ неоконченною. Я разсказалъ ей много интереснаго о Великомъ Федериго, который изобрѣлъ прусскую монархію и въ юности прекрасно игралъ на флейтѣ, и тоже сочинялъ французскіе стихи. Франческа спросила меня, кто побѣдитъ— пруссаки или нѣмцы? Ибо какъ уже выше замѣчено, она считала первыхъ совершенно отдѣльнымъ народомъ, да и вообще въ Италіи подъ именемъ нѣмцевъ подразумѣваютъ только австрійцевъ. Синьора немало удивилась, когда я сказалъ ей, что самъ долго жилъ въ capitale delle Prussia— именно въ Berlino, городѣ, который по географіи находится совсѣмъ наверху, недалеко отъ сѣвернаго полюса. Она ужаснулась, когда я ей изобразилъ опасности, которымъ тамъ иногда подвергаешься, встрѣтивъ на улицѣ бѣлаго медвѣдя— Ибо, милая Франческа,—объяснилъ я ей—въ Шпицбергенѣ гарнизонъ состоитъ изъ слишкомъ большого количества медвѣдей, и вотъ они, отъ времени до времени, приходятъ въ Берлинъ, чтобы или изъ патріотизма посмотрѣть на «Bär und Bassa», или въ кафе Бейермана хорошо поѣсть и выпить шампанскаго, за что приходится имъ часто платить больше, чѣмъ они принесли съ собой; въ этомъ случаѣ одного изъ медвѣдей привязываютъ и держатъ въ этомъ положеніи до тѣхъ поръ, пока его товарищи не вернутся и не заплатятъ; отсюда и выраженіе «привязать медвѣдя». Многіе медвѣди живутъ въ самомъ городѣ; говорятъ даже что Берлинъ обязанъ своимъ возникновеніемъ медвѣдям и потому слѣдуетъ писать правильно не Berlin, а Bärl

*) *Медвѣдь*—по-нѣмецки—Bär. *Перев.*

Городскіе медвѣди, впрочемъ, очень ручные, и нѣкоторые изъ нихъ такъ образованы, что пишутъ прекраснѣйшія трагедіи и сочиняютъ великолѣпнѣйшую музыку. Волки тамъ также не рѣдкость, и такъ какъ вслѣдствіе холода они ходятъ въ варшавскихъ овечьихъ шубахъ, то ихъ не такъ легко узнать. Сѣверные гуси летаютъ въ воздухѣ и распѣваютъ бравурныя аріи, а олени бѣгаютъ по улицамъ въ качествѣ знатоковъ искусства. Вообще же берлинцы живутъ очень умѣренно и трудолюбиво, а большинство ихъ сидитъ до пупа въ снѣгу и пишетъ догматики, назидательныя книги для дѣвушекъ образованныхъ классовъ и т. п., и при этомъ очень нравственны, потому что сидятъ до пупа въ снѣгу.

— Да развѣ берлинцы христіане?—съ большимъ изумленіемъ воскликнула синьора.

— Ихъ христіанство совсѣмъ особенное. Въ сущности у нихъ нѣтъ ровно никакого христіанства... Но такъ какъ имъ извѣстно, что христіанство въ государствѣ необходимо, то они очень краснорѣчиво стараются, по крайней мѣрѣ, обращать въ христіанство своихъ собратьевъ-людей, чувствуя, что для поддержанія его имъ самимъ съ этою задачей не справиться. Въ этомъ затруднительномъ положеніи они пользуются служебнымъ рвеніемъ бѣдныхъ евреевъ. Ихъ заставляютъ они быть какъ будто христіанами, и такъ какъ этотъ народъ за деньги и ласковыя слова позволитъ сдѣлать изъ себя все, что угодно, то евреевъ вышколили уже такъ отлично въ этомъ отношеніи, что они громко ругаютъ невѣріе, свирѣпствуютъ противъ раціоналистовъ, шляются по всей странѣ въ качествѣ миссіонеровъ и шпіоновъ католичества и распространяютъ назидательные трактатцы, въ церквахъ лучше всякаго другого закатываютъ глаза подъ лобъ, корчатъ самыя ханжествующія физіономіи и имѣютъ въ обществѣ такой успѣхъ, что начинаютъ уже вызывать кое-гдѣ jalousie de métier, и старшіе мастера въ этомъ ремеслѣ уже втихомолку жалуются, что христіанство въ настоящее время перешло совсѣмъ въ руки евреевъ.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

. . . . . .

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

. . . . . .

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

...Огненнымъ исполиномъ шествуетъ время все впередъ и впередъ, шествуетъ спокойно, не обращая вниманія на шипѣніе подъ его ногами католическихъ клерикальчиковъ и нѣмецкихъ дворянчиковъ. Какъ воютъ они каждый разъ, когда обожгутъ себѣ хвостъ о ногу этого исполина или онъ нечаянно наступитъ имъ на голову такъ сильно, что изъ нея брызнетъ мрачный ядъ! Злоба ихъ обрушивается въ этихъ случаяхъ тѣмъ коварнѣе на отдѣльныхъ дѣтей времени, и, будучи безсильными противъ массы, они стараются остудить свою трусливую отвагочку на индивидуумахъ.

Ахъ, надо сознаться, однако, что отъ этого удары, наносимые изъ-за угла этими господами, не становятся менѣе чувствительными для многихъ изъ бѣдныхъ дѣтей времени, и увы! если сіяніе славы и разливается по ранамъ побѣдителя, то онѣ все-таки сочатся кровью, и все-таки болятъ! Мученичество, претерпѣваемое подобными побѣдителями въ наши дни—мученичество странное, оно не оканчивается смѣлымъ сознаніемъ, какъ въ прежнія времена, когда обвиненные находили быстрый эшафотъ или ликующій костеръ. Сущность мученичества, состоящая въ томъ, чтобы жертвовать всѣмъ земнымъ для небесныхъ цѣлей—остается и теперь все та же; но она потеряла много своей внутренней вѣрорадостности, она сдѣлалась скорѣе покорною своей участи выносливостью, упрямымъ терпѣніемъ, пожизненнымъ умираніемъ, и тутъ случается даже, что въ сѣрые, холодные часы даже въ сердце самыхъ святыхъ мучениковъ прокрадывается сомнѣніе. Нѣтъ ничего ужаснѣе тѣхъ часовъ, въ которые Маркъ Брутъ началъ сомнѣваться въ дѣйствительности добродѣтели, за которую онъ пожертвовалъ всѣмъ! И ахъ! онъ былъ римлянинъ и жилъ въ цвѣтущую пору Стои; мы же созданы изъ болѣе мягкаго новаго матеріала, и при этомъ видимъ еще процвѣтаніе философіи, которая за всякимъ энтузіазмомъ признаетъ только относительное значеніе и такимъ образомъ уничтожаетъ его въ себѣ самомъ, или во всякомъ случаѣ нейтрализируетъ въ сознательное донъ-кихотство.

Холодные и умные философы! Какъ сострадательно баются они, глядя со своей высоты на самоистяза безумства бѣднаго донъ-Кихота, и во всей своей шко *мудрости не* замѣчаютъ, что это донъ-кихотство есть, о

амое цѣнное въ жизни, даже сама жизнь, и что этимъ донъ-
ихотствомъ окрыляется для болѣе смѣлаго полета весь міръ, со
сѣмъ, что въ немъ философствуетъ, музицируетъ, пашетъ
емлю и зѣваетъ! Потому что вся народная масса, вмѣстѣ
ъ философами, есть, помимо ихъ вѣдома, ничто иное, какъ
олоссальный Санчо Панса, который, несмотря на свою
резвую боязнь побоевъ и доморощенную разсудочность, слѣ-
уетъ за безумнымъ рыцаремъ во всѣхъ его опасныхъ
приключеніяхъ, соблазняемый обѣщанною наградой, въ ко-
торую онъ вѣритъ, потому что ее жалѣетъ, но еще болѣе
побуждаемый мистическимъ вліяніемъ, которое энтузіазмъ
всегда оказываетъ на толпу — какъ это мы видимъ во
всѣхъ политическихъ и религіозныхъ переворотахъ и мо-
жемъ, пожалуй, усматривать ежедневно въ малѣйшихъ проис-
шествіяхъ.

Такъ, напримѣръ, ты, любезный читатель, ты невольно—
Санча Панса сумасшедшаго поэта, за которымъ ты слѣ-
дуешь въ странствіяхъ и приключеніяхъ этой книги, правда,
сомнительно покачивая головой—но все-таки слѣдуешь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Странно! «Жизнь и подвиги рыцаря донъ-Кихота Ла-
манчскаго, описанные Магуэлемъ де-Сервантесъ Сааведра»—
первая книга, которую я прочелъ послѣ того, какъ уже
ступилъ въ разсуждающій дѣтскій возрастъ и отчасти озна-
комился съ буквеннымъ дѣломъ. Я еще очень хорошо помню
у пору, когда однажды, раннимъ утромъ, тихонько удралъ
зъ дома и поспѣшилъ въ придворный садъ, чтобы тамъ
безпрепятственно приняться за чтеніе «Донъ-Кихота». То
былъ прекрасный майскій день, цвѣтущая весна лежала,
ъ чему-то прислушиваясь, въ тихомъ свѣтѣ утра и пре-
оставила соловью, своему сладкозвучному льстецу, восхва-
лять ее, а онъ пѣлъ свою хвалебную пѣсню такъ ласка-
льно мягко, съ такимъ томно расплывающимся энтузіаз-
омъ, что самыя стыдливыя почки быстро раскрывались, и
падострастныя травки горячѣе цѣловались съ благоухаю-
щими солнечными лучами, и деревья, и цвѣты вздрагивали
орга. Я же усѣлся на старую мшистую скамью въ
іваемой Аллеѣ Вздоховъ, недалеко отъ водопада
алъ мое маленькое сердце большими приключеніями
рыцаря. Въ моей дѣтской искренности я прини-
это за дѣйствительно происходившее; какъ ни
ыли штуки, которыя играла съ бѣднымъ героемъ

судьба, я былъ убѣжденъ, что такъ оно и должно быть, что на долю героя ужъ всегда выпадаетъ какъ осмѣяніе его, такъ и полученіе тѣлесныхъ ранъ, и первое сердило меня такъ же сильно, какъ сильно чувствовалъ я вторыя въ моей собственной душѣ. Я былъ ребенокъ и не зналъ ироніи, которую Богъ создалъ и поселилъ въ мірѣ и которой великій поэтъ подражалъ въ своемъ печатномъ маленькомъ мірѣ,—и горькія слезы проливалъ я, когда благородный рыцарь за всѣ свои доблести получалъ только неблагодарность и удары. И такъ какъ, будучи еще новичкомъ въ процессѣ чтенія, я произносилъ каждое слово вслухъ, то птицы и деревья, ручьи и цвѣты могли тоже слышать все это, а такъ какъ этимъ невиннымъ созданіямъ природы міровая иронія знакома отнюдь не больше, чѣмъ дѣтямъ, то они тоже принимали все за наличную монету и плакали вмѣстѣ со мною о страданіяхъ бѣднаго рыцаря; одинъ старый, выслуживавшій свое время дубъ даже рыдалъ, водопадъ сильнѣе трясъ своею бѣлою бородой и, казалось, бранилъ людей за ихъ скверность. Мы чувствовали, что удивленіе вызываемое геройскимъ духомъ рыцаря, не ослабѣваетъ отъ того, что левъ, не желая съ нимъ сражаться, поворачиваетъ ему спину, и его подвиги представились намъ тѣмъ достохвальнѣе, чѣмъ слабѣе и худощавѣе было его тѣло, чѣмъ дряннѣе защищавшее его вооруженіе и чѣмъ плачевнѣе кляча, носившая его на себѣ. Мы презирали низкую чернь, обращавшуюся съ бѣднымъ героемъ такъ грубо и жестоко, но еще болѣе—чернь высокую, которая, красуясь своими яркими шелковыми плащами, высокопарными фразами и герцогскими титулами, издѣвалась надъ человѣкомъ, такъ много превосходившимъ ее силою духа и благородствомъ чувства. Рыцарь Дульцинеи внушалъ мнѣ все больше и больше уваженія, и я все больше и больше любилъ его по мѣрѣ того, какъ уходилъ дальше въ чтеніи удивительной книги, что происходило ежедневно въ томъ же самомъ саду, такъ что осенью оно было доведено уже до конца—и я никогда не забуду того дня, въ который прочелъ о плачевномъ поединкѣ, окончившемся такимъ постыднымъ пораженіемъ рыцаря!

То былъ мрачный день, отвратительныя туманы тянулись вдоль по сѣрому небу, желтыя листья бо[illegible] падали съ деревьевъ, тяжелыя капли-слезы висѣли [illegible] слѣднихъ цвѣтахъ, печально склонявшихъ увядшія [illegible]щія головки, соловьи давно уже замолчали, со [illegible]

онъ зловѣще смотрѣлъ на меня образъ преходимости всего емного — и сердце мое готово было разорваться, когда я италъ, какъ благородный рыцарь, ошеломленный и избиый, лежалъ на землѣ, и не подымая забрала, точно онъ оворилъ изъ могилы, сказалъ побѣдителю слабымъ, больымъ голосомъ: «Дульцинея — красивѣйшая женщина въ вѣтѣ, а я—несчастнѣйшій рыцарь на землѣ, но неприлично, тобы моя слабость отвергала эту истину—ударяйте копьемъ, ыцарь!»

Ахъ, этотъ свѣтящійся рыцарь серебрянаго мѣсяца, побѣдившій мужественнѣйшаго и благороднѣйшаго человѣка въ мірѣ былъ переодѣтый цырюльникъ!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Давно это было. Много новыхъ вёсенъ прошло съ тѣхъ поръ, но всѣ онѣ были лишены своей обаятельнѣйшей прелести, потому что, увы! я не вѣрю больше въ сладостную ложь соловья, льстеца весны, я знаю, какъ быстро увядаетъ ея великолѣпіе, и когда смотрю на самую юную почку розы, то заранѣе вижу въ душѣ, какъ она распускается, покрытая болѣзненно яркимъ румянцемъ, блѣднѣетъ и развѣвается вѣтромъ. Повсюду видится мнѣ замаскированная зима.

Но въ груди моей все еще цвѣтетъ та же пламенная любовь, которая съ томительнымъ желаніемъ возносится надъ землею, причудливо и мечтательно летаетъ по широкимъ, зіяющимъ пространствамъ неба, тамъ отталкивается холодными звѣздами и снова падаетъ домой, на маленькую землю, и со вздохами и ликованіями должна сознаться, что во всемъ созданіи все-таки нѣтъ ничего прекраснѣе и лучше человѣческаго сердца. Эта любовь — воодушевленіе, натура котораго всегда божественная, какіе бы поступки ни совершало оно, безумные или мудрые... И такимъ образомъ маленькій мальчикъ отнюдь не безполезно тратилъ тѣ слезы, которыя онъ проливалъ надъ страданіями сумасшедшаго рыцаря, точно такъ же какъ не безполезно тратилъ ихъ впослѣдствіи юноша, когда его заставляла плакать смерть благороднѣйшихъ героевъ свободы, заставляли плакать и спар- рь Агисъ, и римляне Каій и Тиберій Гракхъ, и Робеспьеръ и Сенъ - Жюстъ. Теперь, когда я ъ toga virilis и самъ хочу быть мужемъ, плачу конецъ, и пришла пора дѣйствовать, какъ мужу, икимъ предшественникамъ, чтобы, съ Божьею

помощью, въ грядущемъ быть тоже оплакиваемымъ мальчиками и юношами. Да, на нихъ только можно еще разсчитывать въ наше холодное время, ибо ихъ воспламеняетъ еще огненное дыханіе, вѣющее изъ старыхъ книгъ, и потому они понимаютъ также пламенныя сердца настоящаго. Юность безкорыстна въ мысляхъ и чувствахъ, и поэтому глубже всѣхъ мыслитъ и чувствуетъ правду, и не скупится тамъ, гдѣ рѣчь идетъ о смѣломъ участіи въ словѣ и дѣлѣ. Пожилые люди эгоистичны и черствоваты; имъ интересы своихъ капиталовъ дороже интересовъ человѣчества; они предоставляютъ своимъ суденышкамъ спокойно плавать въ водосточныхъ каналахъ жизни и мало заботятся о морякѣ, который въ открытомъ морѣ сражается съ волнами; или же вползаютъ съ клейкимъ упорствомъ на высоту бургомистерства или президентства своего клуба и оттуда пожимаютъ плечами, глядя внизъ на изображенія героевъ, которыхъ буря сбросила съ колонны славы; и при этомъ еще, быть-можетъ, разсказываютъ, что и сами они въ молодости готовы были разбить себѣ голову объ стѣну препятствій, но что затѣмъ помирились со стѣной, потому что стѣна есть абсолютное, разъ навсегда установленное, само по себѣ существующее, то, что, такъ какъ оно есть, разумно, вслѣдствіе чего неразуменъ тотъ, кто не хочетъ выносить деспотично разумный, неопровержимо существующій, разъ навсегда установленный стѣнной абсолютизмъ. Ахъ, эти презрѣнные, старающіеся своею философіею вогнать насъ въ умственное рабство, все-таки почтеннѣе тѣхъ презрѣнныхъ, которые при защитѣ деспотическаго начала не ссылаются даже на разумные доводы разума, но, какъ свѣдущіе въ исторіи, видятъ въ немъ обычное право, къ которому люди съ теченіемъ времени мало-по-малу привыкли и которое, такимъ образомъ, неопровержимо съ точки зрѣнія права и закона.

Ахъ, я не хочу, подобно Хаму, обнажать позоръ моего отечества, но вѣдь ужасно видѣть, до какой степени у насъ сумѣли сдѣлать рабство даже болтливымъ, и какъ нѣмецкіе философы и историки истязаютъ свой мозгъ, чтобы защищать всякій деспотизмъ, какъ бы онъ ни былъ р неуклюжъ, выставляя его разумнымъ или даже за Молчаніе есть честь рабовъ, говоритъ Тацитъ; на софы и историки утверждаютъ противное и указы орденскую ленточку въ петлѣ своего сюртука.

*Впро*чемъ, можетъ-быть, вы правы, и я только

хотъ, и отъ чтенія всяческихъ удивительныхъ книгъ у меня помутилась голова, какъ у бѣднаго ла-манчскаго рыцаря, и Жанъ-Жакъ Руссо былъ моимъ Амадисомъ Гальскимъ, а Мирабо — моимъ Роландомъ или Аграмантомъ, и я слишкомъ ужъ вчитался въ геройскіе подвиги французскихъ паладиновъ и Круглаго Стола Національнаго Конвента. Правда, мое безуміе и тѣ idées fixes, которыя я почерпнулъ изъ этихъ книгъ, иного рода, чѣмъ безуміе и idées fixes донъ-Кихота: онъ стремился возстановить погибающее рыцарство, я же, напротивъ, хочу вполнѣ уничтожить все, что̀ еще уцѣлѣло отъ того времени, и, слѣдовательно, мы дѣйствуемъ съ совершенно различными цѣлями. Мой коллега принимаетъ вѣтряныя мельницы за великановъ, я же, напротивъ, усматриваю въ нынѣшнихъ великанахъ только хвастливыя вѣтряныя мельницы; ему кожаные мѣха для вина представлялись могущественными волшебниками, для меня же наши теперешніе волшебники — только кожаные мѣха для вина; онъ видѣлъ въ нищенскихъ корчмахъ за̀мки, въ погонщикахъ ословъ — рыцарей, въ конюшенныхъ дѣвкахъ — знатныхъ дамъ, я же смотрю на наши за̀мки, какъ на корчмы, гдѣ собирается всякая дрянь, на нашихъ кавалеровъ—какъ на погонщиковъ ословъ, на нашихъ знатныхъ дамъ—какъ на обыкновенныхъ конюшенныхъ дѣвокъ; какъ онъ принималъ кукольную комедію за пьесу изъ государственной жизни, такъ въ моихъ глазахъ наши представленія изъ государственной жизни ничто иное, какъ кукольная комедія — но точно такъ же храбро, какъ храбрый ла-манчецъ, я колочу по деревянной трушнѣ. Ахъ, отъ этого геройскаго подвига мнѣ часто приходится плохо такъ же, какъ ему, и точно такъ же, какъ онъ, много страданій выношу я ради чести дамы моего сердца. Отрекись я отъ нея изъ пустого страха или или постыднаго корыстолюбія, отлично бы жилось мнѣ въ этомъ существующемъ разумномъ мірѣ, и я повелъ бы къ алтарю какую-нибудь красавицу Мариторну, и принялъ бы благословеніе отъ зажиточныхъ волшебниковъ, и пировалъ бы съ благородными погонщиками ословъ. и производилъ бы на свѣтъ безопасныя новеллы и другихъ малютокъ-ра-
Но вмѣсто этого мнѣ, украшенному тремя цвѣтами моей
приходится постоянно драться на поединкахъ, и про-
ся съ оружіемъ сквозь несказанныя бѣдствія, и ни
побѣды не одерживаю я безъ того, чтобы она стоила
скольких капель крови моего сердца. День, и ночь
вогѣ, ибо эти враги такъ коварны, что многіе изъ

нихъ, хотя поражены мною на смерть, все-таки придаютъ себѣ такой видъ, какъ будто они еще живы, и принимая на себя великіе образы, могутъ отравить мнѣ и день и ночь. Сколько ужъ боли причинили мнѣ эти фатальныя привидѣнія: чуть расцвѣтало для меня что-нибудь пріятное и милое, они, эти злобнокровные духи, тайкомъ подкрадывались и растаптывали даже самыя невинныя почки. Всюду, и тамъ, гдѣ я всего менѣе могъ бы ожидать этого, открываю я на землѣ, по которой хожу, слѣды ихъ поганаго яда, и если не остерегусь, то могу пагубно поскользнуться—даже въ домѣ самыхъ близкихъ друзей моихъ. Вы, пожалуй, улыбаетесь и принимаете подобныя опасенія за чисто донъ-кихотскія фантазіи. Но боли воображаемыя все-таки остаются болями, и если человѣку почудится, что онъ проглотилъ отраву, то уже отъ этого представленія высохнешь, какъ щепка, и во всякомъ случаѣ не потолстѣешь. А что я потолстѣлъ — это клевета, по крайней мѣрѣ я не получилъ до сихъ поръ никакой толстой синекуры, хотя и обладалъ нужными для того способностями. Не найдется во мнѣ также ни кусочка жиру выгоднаго родства. Я воображаю себѣ, что были употребляемы всевозможныя средства, чтобы оставить меня тощимъ, что, когда я былъ голоденъ, меня кормили змѣями, когда ощущалъ жажду, меня поили полынью, въ сердце мое вливали ядъ, такъ что я плакалъ ядомъ и вздыхалъ огнемъ, заползали даже въ грёзы моихъ ночей... и тутъ представляются мнѣ всѣ они, эти ужасающія личины, благородныя лакейскія лица съ оскаленными зубами, угрожающіе банкирскіе носы, убійственные глаза, выглядывающіе изъ-подъ капюшоновъ, блѣдныя руки въ манжеткахъ съ блестящими ножами...

Живущая рядомъ со мной старуха, моя комнатная сосѣдка, тоже считаетъ меня сумасшедшимъ и утверждаетъ, что я во снѣ говорю самыя безумныя вещи, и что прошедшею ночью она явственно слышала, какъ я кричалъ: «Дульцинея красивѣйшая женщина въ свѣтѣ, а я—несчастнѣйшій рыцарь на землѣ, но неприлично, чтобы моя слабость отвергала эту истину—ударяйте копьемъ, рыцарь!»

ПОЗДНѢЙШАЯ ПРИПИСКА.

(Ноября 1830 г.).

Не знаю, какое странное благочестіе удержало *малѣйшаго* измѣненія нѣсколькихъ выраженій,

шихся мнѣ при позднѣйшемъ просмотрѣ предшествующихъ страницъ черезчуръ рѣзкими. Рукопись пожелтѣла уже, какъ мертвецъ, и мнѣ было какъ-то страшно уродовать ее. Все, давнымъ-давно написанное, заключаетъ въ себѣ право на неприкосновенность—и особенно эти страницы, принадлежащія въ извѣстной мѣрѣ темному прошедшему. Ибо онѣ написаны почти за годъ до третьей бурбонской геджиры, въ то время, которое было гораздо рѣзче самыхъ рѣзкихъ выраженій, время когда по всему казалось, что побѣда свободы можетъ быть отстрочена еще на цѣлое столѣтіе. По крайней мѣрѣ совсѣмъ не успокоительно было смотрѣть, какъ наши рыцари принимали самоувѣренный видъ, какъ они отдавали окрашивать въ свѣжую яркую краску свои потускнѣвшіе гербы, какъ съ копьемъ и щитомъ выѣзжали на турниры въ Мюнхенѣ и Потсдамѣ, какъ гордо сидѣли на своихъ высокихъ коняхъ, точно собирались ѣхать въ Кведлинбургъ, чтобы ремонтировать себя заново у Готфрида Бассе. Еще невыносимѣе были торжествующіе коварные глазенки нашихъ клерикальчиковъ, которые умѣли такъ хитро прятать свои длинныя уши подъ широкими шляпами, что мы ожидали отъ нихъ самыхъ пагубныхъ штукъ. Никакимъ образомъ нельзя было знать впередъ, что благородные рыцари разстрѣляютъ свои стрѣлы такъ плачевно, и большею частью анонимно, или, по крайней мѣрѣ, удирая быстро, отвернувъ лицо, точно летящіе во всю прыть башкиры. Точно такъ же нельзя было знать впередъ, что змѣиная хитрость нашихъ клерикальчиковъ будетъ до такой степени посрамлена... Ахъ, становится почти жалко ихъ, когда видишь, какъ плохо умѣютъ они пускать въ дѣло свой самый лучшій ядъ, бросая намъ въ голову мышьякъ большими кусками вмѣсто того, чтобы золотниками и любовно всыпать его въ наши супы,—когда видишь, какъ они изъ стараго дѣтскаго бѣлья вытаскиваютъ изношенныя пеленки своихъ враговъ, чтобы вынюхать въ нихъ нечистоты, какъ они даже изъ могилъ выкапываютъ отцовъ своихъ враговъ, чтобы посмотрѣть—не были ли тѣ обрѣзаны... О, глупцы, которымъ вообразилось, что они открыли, [illegible]евъ принадлежитъ собственно къ кошачьей породѣ, и [illegible]ые будутъ до тѣхъ поръ носиться, шипя, съ этимъ [illegible]твеннонаучнымъ открытіемъ, пока великая кошка не [illegible] попробовать ихъ собственному мясу свое ex ungue [illegible] О, негодные обскуранты, которые освѣтятся только [illegible]огда *ихъ самихъ повѣсятъ* на фонарѣ! Хотѣлось

бы натянуть на мою лиру, въ видѣ струнъ, ослиныя кишки чтобы достойно воспѣть васъ, стриженыя глупыя головы!

Мощная радость охватываетъ меня! Въ то время, как я сижу и пишу, подъ моимъ окномъ раздается музыка, по элегическому негодованію медленно тянущейся мелоді я узнаю тотъ марсельскій гимнъ, которымъ Барбару и ей товарищи привѣтствовали Парижъ, ту хороводную пѣсн свободы, при звукахъ которой швейцары въ Тюильри п чувствовали тоску по родинѣ, торжествующую предсмертну пѣснь Жиронды, старую, сладостную колыбельную пѣсню.

Что за пѣсня! Она наполняетъ меня трепетомъ огня радости и зажигаетъ во мнѣ пламенныя звѣзды энтузіазм и ракеты насмѣшки. Да, эти ракеты не должны отсутство вать въ великомъ фейерверкѣ нашихъ дней. Звучащі огненные потоки пѣсни пусть низвергаются съ высотъ упое нія свободой смѣлыми каскадами, какъ низвергается Ган гесъ съ Гималая! А ты, прекрасная Сатира, дочь праведно Ѳемиды и козлоногаго Пана, окажи мнѣ свою помощь,—вѣд ты съ материнской стороны произошла изъ рода титановъ ненавидишь, какъ я, враговъ твоей фамиліи, ничтожных узурпаторовъ Олимпа. Ссуди мнѣ мечъ твоей матери, чтоб я казнилъ это ненавистное племя, и дай мнѣ флейточк твоего отца, чтобы я засвисталъ его до смерти...

И они слышатъ уже смертельный свистъ, и ихъ охва тываетъ паническій страхъ, и они снова убѣгаютъ въ зве риныхъ образахъ, какъ въ ту пору, когда мы громоздил Пеліонъ на Оссу—

Aux armes, citoyens!

Очень несправедливы были къ намъ, бѣднымъ титанам когда порицали ту мрачную дикость, съ которою мы шум штурмовали небо... Ахъ, въ ту пору, въ преисподней Та тара было такъ страшно и темно, и слышали мы толь вой Цербера, да звонъ цѣпей, и намъ простительно, ес мы оказались не совсѣмъ вѣжливыми и приличными сравненіи съ тѣми богами comme il faut, которые, буду изящны и образованы, пьютъ столько милаго нектара услаждаются чудесными концертами музъ въ свѣтлыхъ лонахъ Олимпа.

Я не могу больше писать, потому что отъ музыки окномъ пьянѣетъ моя голова, и все мощнѣе врывае пее припѣвъ:

Aux armes, citoyens!

ОТРЫВОЧНЫЯ ЗАМѢТКИ

объ

АНГЛІИ.

(Englische Fragmente).

(1828 г.).

едисловіе автора къ первому изданію.

Отрывки объ Англіи» написаны частью для журнала gemeine politische Annalen», которыя я издавалъ въ 3 г. съ Линднеромъ;—написаны они сообразно съ по-ностями того времени, и соображеніе о полезности ихъ дило меня присоединить ихъ къ «Путевымъ Карти-ь» въ видѣ дополненія.

нѣ желательно, чтобы благосклонный читатель понялъ сообщенія этихъ отрывковъ. Можетъ-быть, когда по-уетъ время, я дамъ еще нѣсколько извѣстій въ этомъ . Наша литература не особенно богата ими. Хотя нѣ-кіе романисты часто изображали Англію, но Виллидъ Алексисъ—единственный, сумѣвшій передать вѣр-и красками и очерками тамошніе мѣстности и костюмы. ется, онъ никогда не былъ въ самой Англіи и знаетъ изіономію только вслѣдствіе того чуднаго дара Прови-я, который дѣлаетъ для поэта ненужнымъ созерцаніе твительности. Такъ и я, одиннадцать лѣтъ тому на-, написалъ «Вильяма Ратклиффа», на котораго я тѣмъ е могу сослаться здѣсь, что въ немъ заключается не ко вѣрное описаніе Англіи, но и зародышъ моихъ позд-нихъ мнѣній объ этой странѣ, которую я въ то время ни разу не видѣлъ.

го касается до путевыхъ описаній Англіи, то, кромѣ нгольца и Годе, съ тогдашнимъ положеніемъ ея ни книга не познакомитъ такъ наглядно, какъ появив-ся въ нынѣшнемъ году въ Мюнхенѣ сочиненіе подъ авіемъ: «Письма Умершаго: отрывочный дневникъ пу-ствія по Англіи, Уэльсу, Ирландіи и Франціи, писан-въ 1828 и 1829 г.» [1]). Эта книга превосходна и во ихъ другихъ отношеніяхъ и вполнѣ достойна похвалы, которою Гете и Варнгагенъ фонъ-Энзе отозвались о ней Berliner Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik».

Генрихъ Гейне.

Гамбургъ,
15 ноября 1830.

Briefe eines Verstorbenen: ein fragmentarisches Tagebuch aus and, Wales, Irland und Frankreich, geschrieben in den Jahren und 1829.

РАЗГОВОРЪ НА ТЕМЗѢ.

...Желтый человѣкъ стоялъ подлѣ меня на палубѣ въ ту минуту, какъ я увидѣлъ зеленый берегъ Темзы, и во всѣхъ уголкахъ души моей запѣли соловьи. «Страна свободы!— воскликнулъ я:—привѣтствую тебя! Привѣтствую тебя, свобода, молодое солнце обновленнаго міра! Старыя солнца его, любовь и вѣра, завяли и похолодѣли и не могутъ больше свѣтить и согрѣвать. Покинуты старые миртовые лѣса, нѣкогда столь плотно населенные, и только унылыя горлицы вьютъ гнѣзда въ нѣжныхъ кустарникахъ. Падаютъ старые храмы, возведенные нѣкогда до такой исполинской высоты высокомѣрно-набожнымъ поколѣніемъ, хотѣвшимъ утвердить зданіе своей вѣры въ самомъ небѣ, пусты и полуразрушены они, и боги, обитавшіе въ нихъ, не вѣрятъ больше въ самихъ себя. Эти боги отжили свой вѣкъ, а наше время не настолько надѣлено фантазіею, чтобы создавать новыхъ. Вся сила человѣческаго духа устремлена теперь на любовь къ свободѣ, и свобода сдѣлалась, можетъ-быть, религіею новаго времени,—и это опять религія, которую проповѣдуютъ не богатымъ, но бѣднымъ и которая имѣетъ своихъ провозвѣстниковъ, своихъ мучениковъ и своихъ искаріотовъ!»

— Юный энтузіастъ,—возразилъ мнѣ желтый человѣкъ:— вы никогда не найдете того, что̀ ищете. Можетъ-быть, вы и правы, утверждая, что свобода—религія новаго времени, распространившаяся по всей землѣ. Но какъ нѣкогда каждый народъ, принимая христіанство, приноравливалъ его къ своимъ потребностямъ и своему характе[illegible] перь каждый народъ выбираетъ изъ свобо[illegible] что̀ согласно съ его мѣстными нуждами и [illegible]нымъ характеромъ.

«Англичане—народъ, живущій жизнью семейной, замкнутой; въ кругу ближнихъ своихъ ищетъ англичанинъ то душевное наслажденіе, котораго не можетъ онъ найти внѣ дома по своей врожденной безпомощной необщительности. Поэтому англичанинъ довольствуется тою свободою, которая дѣлаетъ неприкосновенными его самыя личныя права и служитъ вѣрною защитой его тѣлу, имуществу, брачнымъ узамъ, религіозному вѣрованію и даже капризамъ. Никто не свободенъ въ своемъ домѣ такъ, какъ англичанинъ; онъ—употребляя здѣсь одно знаменитое выраженіе — въ своихъ четырехъ стѣнахъ король и епископъ, и обычная поговорка его: «my house is my castle» вовсе не лишена основательности.

«Но если у англичанина первая потребность—потребность личной свободы, то французъ можетъ въ случаѣ нужды легко обойтись безъ нея, лишь бы ему позволили наслаждаться хоть частицею той всеобщей свободы, которую мы называемъ равенствомъ. Французы народъ не домашній, но общественный; имъ не нравится то молчаливое препровожденіе времени въ стѣнахъ дома, которое они называютъ une conversation anglaise; болтая безъ умолку, перебѣгаетъ французъ изъ кофейни въ казино, изъ казино въ гостиную; его легкая шампанская кровь и врожденная способность вертѣться между людьми такъ и тянутъ его къ общественной жизни; а первое условіе этой послѣдней, можно сказать, душу ея, составляетъ равенство. Развитіе общественной жизни во Франціи повлекло поэтому за собою и потребность равенства; если существенную причину революціи слѣдуетъ искать въ бюджетѣ, то все-таки право голоса ей дали прежде всего тѣ остроумцы, roturiers, которые въ парижскихъ салонахъ, повидимому, принимались наравнѣ съ высокою знатью, но при этомъ, все-таки какою-нибудь, хотя бы даже едва замѣтною, но тѣмъ болѣе оскорбительною феодальною улыбкой, получили напоминаніе о великомъ, позорномъ неравенствѣ. А когда эта canaille roturière позволила себѣ приняться за сѣченіе головъ высокой знати, то она сдѣлала это, можетъ-быть, не столько для того, чтобы завладѣть имуществомъ этихъ господъ, [illegible]ько для того, чтобы унаслѣдовать ихъ предковъ и вмѣсто [illegible]анскаго неравенства ввести аристократическое равен[illegible]во. Что это стремленіе къ равенству было главнымъ прин[illegible]мъ революціи, явное доказательство этому мы видимъ [illegible]омъ, что французы *скоро* почувствовали себя довольными *и счастливыми* подъ правленіемъ своего великаго

императора, который, принявъ во вниманіе ихъ несовершеннолѣтіе, держалъ ихъ свободу подъ самой строгой опекой и оставилъ имъ только наслажденіе полнѣйшимъ, исполненнымъ громкой славы, равенствомъ.

«Вотъ почему англичанинъ переноситъ гораздо терпѣливѣе француза видъ привилегированной аристократіи; онъ утѣшаетъ себя мыслью, что у него есть свои собственныя права, которыя не позволятъ этой аристократіи тревожить его домашній комфортъ и касаться его домашней жизни. Да и англійская аристократія не такъ выставляетъ на показъ свои права, какъ это дѣлается на материкѣ. На улицахъ и общественныхъ гуляньяхъ Лондона вы увидите пестрыя ленты только на женскихъ чепчикахъ, а золотые и серебряные позументы только на ливреяхъ. То пестрое, красивое платье, которое служитъ у насъ обозначеніемъ привилегированнаго военнаго сословія, въ Англіи нисколько не почетный знакъ отличія. Какъ актеръ, тотчасъ послѣ представленія, стираетъ съ лица своего румяны, такъ англійскій офицеръ, чуть окончилась служебная обязанность его, спѣшитъ освободиться отъ своего краснаго сюртука, и въ простомъ сюртукѣ джентльмена онъ снова джентльменъ. Только на сенджемскомъ театрѣ не исчезаютъ эти украшенія и костюмы, сохранившіеся изъ средневѣкового мусора; тутъ развѣваются орденскія ленты, тутъ блещутъ звѣзды, тутъ шелестятъ шелковые панталоны и атласные шлейфы, тутъ бренчатъ золотыя шпоры и старо-французскія рѣчи, тутъ отдувается рыцарь и топорщится фрейлина. Но что за дѣло свободному англичанину до придворной комедіи, разыгрывающейся на сен-джемскомъ театрѣ. Вѣдь его никогда не безпокоютъ ею, и ему никто не запрещаетъ играть такую же комедію у себя дома, и заставлять своихъ оффиціантовъ преклонять передъ нимъ колѣна, и шалить подвязкою своей кухарки—honny soit, dui mal y pause.

«Что касается нѣмцевъ, то они не нуждаются ни въ свободѣ, ни въ равенствѣ. Нѣмцы—народъ спекулятивный, идеологи, мечтатели, живущіе только въ прошедшемъ и будущемъ и не имѣющіе настоящаго. Англичане и французы имѣютъ настоящее; у нихъ каждый день имѣетъ свою исторію, ознаменовывается какимъ-нибудь боемъ. У нѣмца ни ничего, за что бы онъ долженъ биться, а такъ какъ онъ началъ-было разсуждать, что могутъ же быть вещи, обладаніе которыми было бы очень полезно, то его философы очень мудро научили его сомнѣваться въ существованіи

добныхъ вещей. Нельзя отрицать, что и нѣмцы любятъ свободу, но они любятъ ее иначе, чѣмъ другіе народы. Англичанинъ любитъ свободу, какъ свою законную жену; онъ владѣетъ ею, и если обращается съ нею не особенно нѣжно, то умѣетъ при случаѣ защитить ее, какъ мужчина, и горе тому франту въ красномъ сюртукѣ, который проникнетъ въ ея священную спальню,—будь это волокита или полицейскій служитель. Французъ любитъ свободу, какъ свою невѣсту. Онъ пламенѣетъ за нее, онъ бросается къ ея ногамъ съ самыми пылкими клятвами, онъ дерется за нее на жизнь и смерть, онъ дѣлаетъ для нея тысячу глупостей. Нѣмецъ любитъ свободу, какъ свою старую бабушку».

Странно созданы люди! Въ отчизнѣ мы ворчимъ, каждая тамошняя глупость, каждая фальшь сердитъ насъ, и каждый день хочется намъ, точно дѣтямъ, уйти изъ нея и побѣгать по широкому свѣту. А когда мы придемъ,наконецъ, въ этотъ широкій свѣтъ, онъ покажется намъ слишкомъ широкимъ, и начнемъ мы тайно тосковать по узкимъ глупостямъ и странностямъ нашей родины, и снова хочется намъ усѣсться въ старой, знакомой комнатѣ, и если можно, построить себѣ домъ за печкой, и грѣться въ ней, сидя на корточкахъ, и читать «Всеобщій Указатель Нѣмцевъ». То же самое случилось со мной во время поѣздки въ Англію. Едва скрылся изъ глазъ моихъ нѣмецкій берегъ, какъ пробудилась во мнѣ курьезная любовь къ тѣмъ тевтонскимъ лѣсамъ изъ ночныхъ колпаковъ и париковъ, которые я недавно еще оставилъ съ такою досадой—и когда отчизна ушла отъ глазъ моихъ, я нашелъ ее въ своемъ сердцѣ.

Отъ этого, можетъ-быть, голосъ мой прозвучалъ какъ-то мягко, когда я отвѣчалъ желтому человѣку: «Любезный господинъ, не браните нѣмцевъ! Если они и мечтатели, если они и грезятъ, то у нѣкоторыхъ изъ нихъ были такія прекрасныя грезы, какихъ я не промѣняю на бодрствующую дѣйствительность нашихъ сосѣдей. Такъ какъ мы всѣ спимъ и грезимъ, то, можетъ-быть, намъ легко обойтись безъ свободы — потому что наши тираны тоже спятъ и грезятъ только о своемъ тиранствѣ. Только разъ мы проснулись— когда католическіе римляне отняли у насъ свободу грезить; тогда мы начали дѣйствовать, и побѣдили, и затѣмъ снова [illegible]глись и стали грезить. О, милостивый государь, не смѣй[illegible]ть надъ нашими мечтателями: по временамъ, какъ луна[illegible]и, говорятъ они во снѣ чудныя вещи, и слово ихъ ста[illegible]чится сѣменемъ свободы. Никто не можетъ предвидѣть

поворотъ вещей. Больной сплиномъ англичанинъ, пресытясь своей женой, надѣнетъ ей, можетъ-быть, веревку на шею и поведетъ продавать въ Смитфильдъ. Порхающій французъ, можетъ-быть измѣнитъ своей милой невѣстѣ, и покинетъ ее, и пойдетъ выплясывать и напѣвать передъ придворными дамами (courtisanes) своего королевскаго дворца (Palais rayal). Но нѣмецъ никогда не выгонитъ за дверь свою старую бабушку и всегда оставитъ ей мѣсто у очага, гдѣ она можетъ разсказывать сказки чутко слушающимъ дѣтямъ. Если когда-нибудь, чего Боже сохрани, свобода исчезнетъ въ цѣломъ мірѣ, то нѣмецкій мечтатель снова откроетъ ее въ своихъ грезахъ».

Между тѣмъ пароходъ, а на немъ и нашъ разговоръ, спустились внизъ по рѣкѣ. Солнце сѣло, и послѣдніе лучи его освѣщали гринвичскій госпиталь,—величественное дворцеобразное зданіе, состоящее собственно изъ двухъ флигелей, между которыми находится пустое пространство, а въ немъ открывается глазу зеленая, покрытая лѣсомъ гора, увѣнчанная красивымъ, маленькимъ замкомъ. На водѣ между тѣмъ, шумъ отъ кораблей дѣлался больше и больше, и я удивлялся, какъ искусно эти большія суда проходятъ одно мимо другого, не сталкиваясь между собою. Тутъ кланяешься при встрѣчѣ людямъ съ серьезно привѣтливымъ лицомъ, которыхъ никогда не видѣлъ и, быть-можетъ, никогда тоже не увидишь больше. Ѣдешь такъ близко, что можно протянуть руку, чтобы поздороваться и проститься въ одно и то же время. Сердце бьется при видѣ столькихъ вздымающихся парусовъ, и что-то чудное происходитъ въ немъ, когда съ берега доносятся смутный шумъ, отдаленная плясовая музыка и глухой говоръ матросовъ. Но въ бѣломъ саванѣ вечерняго тумана мало-по-малу исчезаютъ контуры предметовъ, и глазъ видитъ только лѣсъ длинныхъ и обнаженныхъ мачтъ.

Желтый человѣкъ все еще стоялъ подлѣ меня и задумчиво смотрѣлъ въ вышину, какъ будто отыскивалъ въ небесномъ туманѣ блѣдныя звѣзды. Не спуская глазъ съ вышины, онъ положилъ руку ко мнѣ на плечо и такимъ тономъ, какъ будто тайныя мысли невольно дѣлались слов сказалъ: «Свобода и равенство! Нѣтъ ихъ здѣсь внизу, ихъ и тамъ наверху! И тамъ звѣзды неравны межд боы, одна больше и свѣтлѣе, чѣмъ другая; ни одна не свободно, всѣ повинуются предписаннымъ желѣзным намъ. Свободы нѣтъ ни наверху, ни внизу!»

«Вотъ Тоуэръ!» закричалъ вдругъ одинъ изъ нашихъ спутниковъ, указывая на высокое зданіе, которое, какъ призрачный, мрачный сонъ, выступало изъ покрытаго туманомъ Лондона.

II.

ЛОНДОНЪ.

Я видѣлъ удивительнѣйшее явленіе, какое только можетъ показать міръ изумленному уму, я видѣлъ его—и до сихъ поръ изумляюсь;—до сихъ поръ возвышается въ моемъ воспоминаніи этотъ каменный лѣсъ домовъ, а между ними—бурный потокъ живыхъ людей со всѣми ихъ разноцвѣтными страстями, со всѣмъ ихъ ужасающимъ стремленіемъ къ любви, къ голоду и къ ненависти. Я говорю о Лондонѣ.

Посылайте въ Лондонъ философа, но Бога ради, не посылайте туда поэта! Посылайте туда философа и поставьте его на углу Чипъ-сайда; онъ вынесетъ оттуда больше, чѣмъ изъ всѣхъ книгъ, продававшихся на послѣдней лейпцигской ярмаркѣ. И какъ будутъ шумѣть вокругъ него человѣческія волны, такъ развернется передъ нимъ цѣлое море новыхъ мыслей, вѣчный духъ, парящій здѣсь, повѣетъ на него, самыя сокрытыя тайны общественнаго устройства вдругъ раскроются передъ нимъ, онъ явственно услышитъ и увидитъ біеніе пульса вселенной; потому что, если Лондонъ—правая рука вселенной, дѣятельная, могучая правая рука, то улица, ведущая отъ биржи въ Доунинстритъ, можетъ быть названа пульсомъ ея.

Но не посылайте въ Лондонъ поэта! Эта обнаженная серьезность всего окружающаго, это колоссальное однообразіе, это машинное движеніе, эта угрюмость самой радости, этотъ неизмѣримый Лондонъ, подавляютъ фантазію и разрываютъ сердце. А если еще вы пошлете туда поэта нѣмецкаго, этого мечтателя, который останавливается передъ каждымъ предметомъ будь онъ хоть оборванная нищая или блестя- [illegible] магазинъ брильянтщика—о, плохо придется ему, и за- [illegible]каютъ его со всѣхъ сторонъ, или, пожалуй, съ кроткимъ [illegible]комъ: God damn! даже съ ногъ собьютъ. God damn! [illegible]клятые толчки! Я сейчасъ же увидѣлъ, что у этого народа [illegible]ь много дѣла. Онъ живетъ на большую ногу, онъ, не [illegible] на то, что въ его странѣ пища и платье стоятъ

дороже, чѣмъ у насъ, хочетъ быть одѣтымъ и накормленнымъ лучше насъ; какъ прилично знатному человѣку, онъ имѣетъ большіе долги, но за то, изъ хвастовства, часто бросаетъ свои гинеи за окно, платитъ другимъ народамъ, чтобы они боксировали между собою для его удовольствія, даетъ еще при этомъ ихъ государямъ хорошіе подарочки — и чтобы добыть деньги на всѣ эти расходы, Джонъ Буль долженъ день и ночь работать, день и ночь напрягать умъ на изобрѣтеніе новыхъ машинъ; и сидитъ онъ, и считаетъ въ потѣ лица своего, и бѣгаетъ, не оглядываясь вокругъ себя, съ гавани на биржу, съ биржи на берегъ, и поэтому ему очень простительно, если онъ не совсѣмъ вѣжливо толкнетъ загородившаго ему дорогу бѣднаго нѣмецкаго поэта, который стоитъ, зѣвая, на углу Чипъ-сайда, передъ магазиномъ эстамповъ. God damn!

А картина, передъ которою я стоялъ на углу Чипъ-сайда, представляла переходъ французовъ черезъ Березину.

И когда, выведенный толчкомъ изъ этого созерцанія, я снова взглянулъ на бурную улицу, на которой, шумя, крича, охая и стуча, вертѣлся пестрый клубокъ мужчинъ, женщинъ, дѣтей, лошадей, почтовыхъ каретъ, похоронныхъ дрогъ, то и самъ Лондонъ показался мнѣ березинскимъ мостомъ, на который ломится народъ въ безумной тревогѣ, чтобы добывать себѣ средства существованія; мостомъ, гдѣ дерзкій всадникъ топчетъ бѣднаго пѣшехода, гдѣ упавшій на землю погибъ навѣки, гдѣ самые близкіе пріятели равнодушно перелѣзаютъ черезъ трупы другъ друга, гдѣ тысячи людей, окровавленныхъ и покрытыхъ смертною блѣдностью, напрасно стараются уцѣпиться за доски моста и низвергаются въ холодную, ледяную бездну смерти!

Какъ все это не похоже на нашу милую Германію, въ которой такъ свѣтло и привольно! Какъ мечтательно-безмятежно, какъ празднично-спокойно идетъ у насъ жизнь! Спокойно проходитъ городская стража, при спокойномъ свѣтѣ солнца блещутъ мундиры и дома, на карнизахъ щебечутъ ласточки, изъ оконъ улыбаются толстыя юстицъ-ратши, на просторныхъ улицахъ много свободнаго мѣста: собаки могутъ прилично обнюхиваться, люди могутъ стоять и разговаривать о театрѣ, и низко-низко клан когда мимо проходитъ, подпрыгивая и милостиво от на поклонъ, какой-нибудь знатный прохвостикъ или прохвостикъ съ пестрыми ленточками на истерто *тукѣ, или* напудренный, раззолоченный гофмаршал

Отправляясь въ Лондонъ, я напередъ далъ себѣ слово изумляться грандіозности этого города, о которой я такъ ого слышалъ. Но со мною случилось то же самое, что съ нымъ школьникомъ, который далъ себѣ слово не чув- овать ударовъ, которые ему предстояло получить. Все о состояло собственно въ томъ, что онъ ожидалъ обык- енныхъ ударовъ, обыкновенною палкою и по обыкновен- у мѣсту, а получилъ необыкновенное число ихъ, тонень- о тросточкою и по необыкновенному мѣсту. Я ожидалъ дѣть большіе дворцы, и увидѣлъ только небольшіе дома. именно ихъ однообразіе и ихъ необозримое количество изводятъ такое сильное впечатлѣніе.

Эти кирпичные дома, вслѣдствіе сырости воздуха и дыма угля, получаютъ всѣ одинаковый цвѣтъ, и именно ричневато-оливковый; всѣ они построены по одинаковому разцу, обыкновенно въ два или въ три окна шириною, три этажа, съ маленькими красными трубами на верху, кожими на вырванные съ кровью зубы, и такимъ обра- ъ, улицы, которыя они образуютъ, кажутся двумя, без- нечно длинными, казарменновидными, домами. Это проис- дитъ вслѣдствіе того обстоятельства, что каждое англій- ое семейство, будь оно составлено хоть изъ двухъ человѣкъ, четъ занимать цѣлый домъ, жить въ своемъ собственномъ ікѣ, и богатые спекулянты, имѣя въ виду эту потреб- сть, строятъ цѣлыя улицы изъ отдѣльныхъ, и въ то же емя соединенныхъ между собою, домовъ.

Въ главныхъ улицахъ Сити—части Лондона, въ которой редоточены торговля и промышленность, гдѣ древнія нія еще разсѣяны между новыми и гдѣ фасады домовъ крышъ закрыты вывѣсками съ саженными именами и фрами, обыкновенно позолоченными и выпуклыми — это рактеристическое однообразіе домовъ не такъ рельефно дается, тѣмъ болѣе, что глазъ чужестранца безпрестанно ятъ здѣсь чуднымъ видомъ новыхъ роскошныхъ предме- ъ, выставленныхъ въ окнахъ магазиновъ. Но не только предметы производятъ поразительный эффектъ, проис- дящій отъ того, что все, отдѣлываемое англичаниномъ, ѣлано до тонкости, и что каждый предметъ роскоши, ральная лампа и сапогъ, чайница и женское платье стятъ такъ finished и заманчиво — самое искусство вы- вить ихъ, подборъ цвѣтовъ и разнообразіе придаютъ кимъ лавкамъ особенную прелесть. Даже обыденные ные *припасы являются* здѣсь въ поразительномъ,

волшебномъ блескѣ, съѣстные припасы такъ и манятъ своимъ живописнымъ видомъ, даже сырая рыба лежитъ такъ красиво убранная, что веселитъ глазъ радужно-цвѣтнымъ блескомъ своей чешуи, сырое мясо лежитъ, точно нарисованное, на чистыхъ, пестрыхъ тарелочкахъ изъ фарфора, окруженное веселою петрушкою; да и всѣ вообще товары кажутся нарисованными и напоминаютъ собою блестящія, но вмѣстѣ съ тѣмъ столь скромныя, картины Франца Мьериса. Только люди здѣсь не такъ веселы, какъ на произведеніяхъ голландскаго мастера; съ самыми серьёзными лицами продаютъ они самыя веселыя игрушки, и покрой и цвѣтъ ихъ платья также однообразенъ, какъ и дома ихъ.

На противоположной сторонѣ Лондона, называемой «западнымъ концомъ»—the west end of the town—и служащей обиталищемъ болѣе аристократическаго и менѣе дѣловаго общества, это однообразіе еще поразительнѣе. Но здѣсь есть еще очень длинныя и очень широкія улицы, въ которыхъ дома такъ велики, какъ дворцы, но снаружи не представляютъ ничего особеннаго—развѣ только, что окна первыхъ этажей украшены желѣзными рѣшетчатыми балконами, да въ нижнихъ этажахъ тоже устроены черныя рѣшетки для предохраненія устроенныхъ въ землѣ погребовъ. Въ этой же части города находятся большіе скверы, т. е. ряды домовъ, образующіе четвероугольникъ, въ срединѣ котораго помѣщается окруженный черною желѣзною рѣшеткою садъ, иногда съ какою-нибудь статуею. На всѣхъ этихъ мѣстахъ и улицахъ глазъ чужестранца никогда не поражается видомъ ветхихъ пріютовъ нищеты. Вездѣ предъ вами богатство и знатность—и только въ отдаленныхъ переулкахъ и въ темныхъ, сырыхъ переходахъ, укрылась бѣдность со всѣми своими попрошайками и со всѣми своими слезами.

Чужестранецъ, проходящій по большимъ улицамъ Лондона и не попадающій въ кварталы, исключительно обитаемые чернью, не видитъ поэтому здѣсь ничего, или, по крайней мѣрѣ, очень мало, изъ той бѣдности которая такъ сильно распространена въ Лондонѣ. Только тамъ и сямъ, при входѣ въ темный переулокъ молча стоитъ оборванная женщина съ груднымъ ребенкомъ на исхудалой груди и глазами ситъ милостыни. Если эти глаза еще прекрасны, то, мо быть, кто-нибудь взглянетъ въ нихъ — и ужаснется пе цѣлымъ міромъ страданія, заключеннымъ въ этихъ гла *Обыкновенные* нищіе здѣсь—старики, большею частію *они стоятъ* на углахъ улицъ и, что чрезвычайно

въ грязномъ Лондонѣ, прокладываютъ для пѣшеходовъ тропинки за какую-нибудь мѣдную монету. Нищета, въ сообществѣ порока и преступленья, только вечеромъ выползаетъ изъ своихъ мрачныхъ норъ. Она тѣмъ болѣе страшится дневного свѣта, чѣмъ сильнѣе противоположна надменной роскоши, блистающей повсюду; только голодъ иногда вызоветъ ее въ часъ обѣда изъ темнаго переулка, и тутъ стоитъ она съ нѣмыми, но говорящими глазами, и умоляя, смотритъ на богатаго купца, который, суетливо и бренча деньгами, спѣшитъ мимо, или на празднаго лорда, который, какъ сытый богъ, ѣдетъ на высокой лошади и изрѣдка бросаетъ равнодушно-высокомѣрный взглядъ на вертящуюся у ногъ его толпу людей, какъ будто они — ничтожные муравьи или низшаго сорта творенья, которыхъ радость и печаль не имѣютъ ничего общаго съ его собственными чувствами; потому что надъ этою сволочью, плотно приставшею къ землѣ, англійскіе аристократы парятъ, какъ созданія совсѣмъ иного рода, которыя смотрятъ на маленькую Англію, какъ на свою временную квартиру, на Италію — какъ на свой лѣтній садъ, на Парижъ — какъ на свою гостиную, на всю вселенную—какъ на свою собственность. Беззаботно и неограниченно парятъ они надъ черныю, и золото ихъ — талисманъ, осуществляющій ихъ безумнѣйшія желанія.

Несчастная нищета! Какъ страшно-мучителенъ долженъ быть твой голодъ тамъ, гдѣ другіе плаваютъ въ издѣвающейся роскоши! И если равнодушная рука и броситъ тебѣ кусокъ хлѣба, какъ горьки должны быть слезы, которыми ты оросишь его! Ты отравляешь себя своими собственными слезами. Да, ты права, когда берешь себѣ въ сообщники порокъ и преступленье. У клейменаго преступника въ сердцѣ часто больше человѣчности, чѣмъ у этихъ холодныхъ, безукоризненныхъ джентльменовъ, въ сердцахъ которыхъ угасла сила зла, но угасла также и сила добра. Да и порокъ не всегда порокъ. Я видѣлъ женщинъ, у которыхъ на щекахъ былъ красною краскою нарисованъ порокъ, а въ сердцахъ ихъ жила небесная чистота. Я видѣлъ женщинъ... ахъ, если бы мнѣ снова увидѣть ихъ!

III.

АНГЛИЧАНЕ.

Подъ аркадами лондонской биржи каждая нація имѣетъ свое опредѣленное мѣсто, и на высокоприбитыхъ дощечкахъ написаны имена: русскіе, испанцы, шведы, нѣмцы, мальтійцы, евреи, ганзейцы, турки и т. д. Въ былое время каждый купецъ становился подъ дощечкою, на которой было написано названіе его націи. Теперь вы напрасно стали бы искать его тамъ: люди ушли впередъ; гдѣ нѣкогда стояли испанцы, теперь стоятъ голландцы; мѣсто евреевъ заняли ганзейцы; гдѣ были турки, тамъ очутились русскіе; итальянцы стали на томъ мѣстѣ, которое занимали французы; даже нѣмцы ушли дальше.

И въ цѣломъ мірѣ, какъ на лондонской биржѣ, старыя дощечки остались на своихъ мѣстахъ, между тѣмъ какъ одни люди ушли, а другіе заступили ихъ мѣсто — другіе новыя головы которыхъ совсѣмъ не идутъ къ старымъ надписямъ. Старыя стереотипныя характеристики народовъ, встрѣчаемыя нами въ ученыхъ компендіяхъ и пивныхъ погребахъ, не могутъ уже приносить намъ пользу и только вводятъ въ самыя безотрадныя заблужденія. Въ послѣднемъ столѣтіи, на нашихъ глазахъ, мало-по-малу преобразовался характеръ нашихъ западныхъ сосѣдей; такое же точно преобразованіе мы замѣчаемъ и по ту сторону канала, со времени уничтоженія континентальной запретительной системы. Неповоротливые, молчаливые англичане толпами тянутся во Францію, для того, чтобы выучиться тамъ двигаться и говорить—и по возвращеніи ихъ оттуда, съ изумленіемъ видишь, что языкъ у нихъ развязался, что не обѣ ихъ руки лѣвыя, и что они уже недовольны своими бифштексами и плумпуддингами. Я самъ видѣлъ, какъ одинъ изъ такихъ англичанъ, въ тавистокской таверне, потребовалъ сахару къ цвѣтной капустѣ, совершивъ такимъ образомъ ересь въ отношеніи къ строгой англиканской кухнѣ; кельнеръ при этомъ чуть не упалъ навзничь, такъ какъ, конечно, со времени римскаго нашествія, цвѣтная капуста въ Англіи не варилась иначе, какъ въ водѣ, и подъ всякой сладкой приправы. Это былъ тотъ самый нинъ, который, несмотря на то, что я увидѣлъ въ первый разъ въ жизни, подсѣлъ ко мнѣ и на предупредительно-французскую рѣчь, что я не

жаться, чтобы не высказать ему, какъ я обрадовался, встрѣтивъ хоть одинъ разъ англичанина, не смотрящаго враждебно на чужестранцевъ; на что онъ, не улыбаясь и совершенно непринужденно, замѣтилъ мнѣ, что говоритъ со мною для того, чтобы упражняться во французскомъ языкѣ.

Крайне замѣчательно, что французы съ каждымъ днемъ становятся разсудительнѣе, глубокомысленнѣе и серьезнѣе настолько же, насколько англичане стремятся сдѣлаться легкими, поверхностными и веселыми въ литературѣ, какъ и въ жизни. Лондонскіе станки заняты печатаніемъ фешенебельныхъ сочиненій, романовъ, дѣйствіе которыхъ происходитъ въ блестящей сферѣ высшаго свѣта, или которые отражаютъ ее въ себѣ, какъ, напр., Almalks, Vivian Grey, Tremain, The Guards, Flirtation; этотъ послѣдній романъ можетъ служить лучшимъ представителемъ цѣлаго отдѣла, кокетничанья чужеземными манерами и рѣчами, полновѣсной тонкости, тяжелой легкости, кислой сладости, жеманной грубости, словомъ, всего невеселаго движенія этихъ деревянныхъ мотыльковъ, порхающихъ въ лондонскихъ салонахъ.

За то, какія произведенія даетъ намъ пресса французская, эта вѣрная представительница духа и наклонностей французовъ! Какъ великій императоръ ихъ употреблялъ свободное время своего плѣна на то, чтобы диктовать исторію своей жизни, открывать намъ сокровеннѣйшія тайны божественной души своей и превратить скалу св. Елены въ каѳедру исторіи для суда современниковъ и поученія потомковъ — такъ и французы начали употреблять съ возможно большею пользою и славою время своихъ бѣдствій, дни своего политическаго бездѣйствія. И они тоже пишутъ исторію своихъ дѣяній; тѣ самыя руки, которыя такъ долго дѣйствовали мечомъ, снова наводятъ ужасъ на своихъ враговъ, потому что онѣ схватились за перо; вся нація занята, такъ сказать, изданіемъ своихъ мемуаровъ, и если бъ она хотѣла послѣдовать моему совѣту, то выпустила бы одно особое изданіе ad usum Delphini, съ прекрасно раскрашенными изображеніями взятія Бастиліи, штурма тюильрійскаго дворца и т. п.

Выше я замѣтилъ, что англичане съ каждымъ днемъ стараются сдѣлаться легче и пустѣе и влѣзаютъ въ ту обезьянью шкуру, которую французы съ себя сбрасываютъ; но къ этому долженъ прибавить, что такое стремленіе исходитъ болѣе съ аристократіи и дворянства, чѣмъ отъ средняго сословія. Противъ того, вся промышленная и торговая часть націи,

особенно купцы въ фабричныхъ городахъ и почти всѣ шотландцы, носятъ на себѣ наружную печать піетизма, или вѣрнѣе сказать, пуританизма; такъ что эта набожная часть народа представляетъ такую же противоположность съ свѣтски настроенными аристократами, какая существуетъ между кавалерами и круглоголовыми, такъ вѣрно описанными Вальтеръ-Скоттомъ въ его романахъ.

Шотландскому барду оказываютъ слишкомъ много чести, когда говорятъ, что геній его возсоздалъ по исторіи внѣшній обликъ и внутренній образъ мыслей этихъ обѣихъ партій и доказалъ свое поэтическое величіе тѣмъ, что совершенно безпристрастно, какъ судящій Богъ, обѣимъ воздалъ должное и съ обѣими обошелся съ одинаковою любовью. Стоитъ бросить одинъ взглядъ въ ливерпульскія или манчестерскія молельни и потомъ въ аристократическіе салоны Вестъ-Лондона, чтобы ясно видѣть, что Вальтеръ Скоттъ только скопировалъ то время, въ которое самъ жилъ, и одѣлъ въ старые костюмы совершенно новыя фигуры. А если еще не забывать, что, съ одной стороны, онъ, какъ шотландецъ, вслѣдствіе воспитанія и національнаго духа, самъ всосалъ въ себя пуританскій образъ мыслей, а съ другой, какъ тори, считающій себя притомъ отраслью Стюартовъ, былъ настроенъ совершенно монархически и аристократически, вслѣдствіе чего чувства и мысли его съ одинаковою любовью обращались къ тому и другому направленію и въ то же время, вслѣдствіе этой противоположности, нейтрализировались, то легко объяснить себѣ его безпристрастіе при изображеніи аристократовъ и демократовъ Кромвелевой эпохи—безпристрастіе, заставлявшее многихъ ошибочно думать, что онъ, въ исторіи Наполеона, изобразитъ съ такою же вѣрностію героевъ французской революціи.

Кто внимательно изучаетъ Англію, тотъ постоянно находитъ возможность наблюдать оба эти направленія, свѣтское и пуританское, въ ихъ противуположномъ процвѣтаніи и, само собою разумѣется, въ ихъ междоусобной борьбѣ. Такую возможность особенно хорошо представилъ знаменитый процессъ сэра Векфильда, веселаго малаго, который, такъ сказать, экспромптомъ увезъ дочь Турнэра, богатаго ливерпу. скаго богача, и женился на ней въ Гретна-Гринѣ, г живетъ кузнецъ, кующій самыя крѣпкія цѣпи. Всѣ хан родственники, все племя избранниковъ Божіихъ закрич караулъ! при такомъ беззаконіи; въ ливерпульскихъ мол няхъ стали призывать небесную кару на Векфильда

сообщниковъ, которыхъ должна была поглотить земля, какъ поглотила она нечестивыхъ заговорщиковъ Кораха, Датана и Абирама — и въ то же время, чтобы вѣрнѣе обезпечить себя насчетъ небеснаго мщенія, призывали въ лондонскихъ судахъ гнѣвъ королевской скамьи, великаго канцлера и даже верхняго парламента на нарушителей святыхъ заповѣдей; а въ это же время посѣтители аристократическихъ салоновъ очень толерантно шутили и смѣялись надъ смѣлымъ похитителемъ дѣвушки. Этотъ контрастъ того и другого образа мыслей забавнѣйшимъ образомъ обнаружился передо мною однажды, когда я сидѣлъ въ Большой Оперѣ подлѣ двухъ толстыхъ манчестерскихъ дамъ. Онѣ въ первый разъ въ жизни посѣтили это мѣсто собранія высшаго свѣта и пришли въ неописанный ужасъ, когда начался балетъ, и прекрасныя коротко-юбчатыя танцовщицы стали выказывать свои прянно-граціозныя движенія, вытягивать свои длинныя, милыя, порочныя ноги и быстро, какъ вакханки, бросаться въ объятія навстрѣчу имъ прыгавшихъ танцоровъ; теплая музыка, первобытная одежда въ видѣ трико тѣлеснаго цвѣта, прыжки—все это вмѣстѣ выжало изъ бѣдныхъ барынь холодный потъ, и груди ихъ покраснѣли отъ досады. «Schoking! for shame, for shame!» безпрестанно со стономъ повторяли онѣ и такъ были окованы страхомъ, что не могли отнять отъ глазъ зрительной трубки и въ такомъ положеніи просидѣли до послѣдней минуты, когда занавѣсъ опустился.

Но несмотря на эти противоположныя направленія духа и жизни, въ англійскомъ народѣ все-таки существуетъ единство настроенія, состоящее именно въ томъ, что онъ чувствуетъ себя народомъ. Кавалеры и круглоголовые нашего времени, какъ бы ни ненавидѣли и ни презирали другъ друга, все-таки не перестаютъ быть англичанами; какъ таковые, они единичны и вмѣстѣ связаны, какъ растенія, выходящія изъ одной и той же почвы и съ нею чуднымъ образомъ сплетенныя. Отсюда то тайное согласіе всей англійской жизни, которое съ перваго раза кажется намъ сборищемъ путаницы и противорѣчій. Роскошь и нищета, религіозность и безвѣріе, свобода и рабство, жестокость и кротость, честность и плутовство, — всѣ эти противорѣчія въ безумнѣйшихъ крайностяхъ, а къ этому сѣрое туманное со всѣхъ сторонъ шумящія машины, цифры, газовое ценіе, дымящіяся трубы, газеты, кружки съ портесомкнутые рты — все это такъ тѣсно связано другъ гомъ, что одно не можетъ быть мыслимо безъ дру-

гого, и то, что при раздробленіи вызывало бы удивленіе или смѣхъ, при соединеніи кажется совершенно обыкновеннымъ и серьезнымъ.

Я думаю однако, что такое впечатлѣніе мы испытываемъ всюду, и даже въ тѣхъ странахъ, о которыхъ мы имѣемъ еще болѣе странное понятіе и отъ которыхъ ожидаемъ еще болѣе поводовъ къ смѣху и изумленію. Наша страсть къ путешествіямъ, наше желаніе посмотрѣть чужія страны — особенно то желаніе, которое мы испытываемъ въ молодые годы—происходятъ, главнымъ образомъ, отъ ошибочнаго ожиданія необыкновенныхъ контрастовъ, отъ той духовной жажды къ маскарадамъ, вслѣдствіе которой мы представляемъ себѣ людей и образъ мыслей нашей родины въ людяхъ и образѣ мыслей чужихъ странъ и, такимъ образомъ, переряжаемъ нашихъ лучшихъ знакомыхъ въ чужеземные костюмы. Такъ, напр., когда мы думаемъ о готтентотахъ, то въ воображеніи нашемъ проходятъ дамы нашего родного города, вымазанныя черною краской, между тѣмъ какъ наши молодые остряки взлѣзаютъ, какъ разбойники, на пальмовыя деревья; думаемъ мы объ обитателяхъ полярныхъ странъ— и тутъ передъ нами знакомыя лица: тетушка наша катается на собакахъ по льду, толстый господинъ конректоръ лежитъ на медвѣжьей шкурѣ и спокойно попиваетъ рыбій жиръ, госпожа сборщица акциза, госпожа инспекторша и госпожа инфибулаціонратша сидятъ вмѣстѣ на корточкахъ и жуютъ сальныя свѣчи, и т. д. Но когда мы дѣйствительно посѣтимъ эти страны, то сейчасъ же увидимъ, что тамошніе люди, такъ сказать, срослись съ нравами и одеждами, что лица идутъ къ мыслямъ, а платье—къ потребностямъ, что даже растенія, звѣри, люди и самая страна образуютъ одну, согласно настроенную, жизнь.

IV.

THE LIFE OF NAPOLEON BUONAPARTE
by Walter Scott.

Бѣдный Вальтеръ-Скоттъ! Будь ты богатъ, ты не написалъ бы такой книги и не сдѣлался бы Вальтеръ-Скоттомъ! Но кураторы Констебльской ко массы собрались вмѣстѣ, и вычисляли, и вычисля долгихъ вычисленій и дѣленій покачали головами

аго Вальтеръ-Скотта не осталось послѣ этого ничего, кромѣ авровъ и долговъ. Тутъ случилось нѣчто необыкновенное: ѣвецъ великихъ дѣяній захотѣлъ испытать себя и въ геоизмѣ, онъ рѣшался на cessio bonorum, лавры великаго еизвѣстнаго были оцѣнены для покрытія большихъ извѣстыхъ долговъ—и такимъ образомъ появилась на свѣтъ съ олодной поспѣшностью, съ обанкротившимся воодушевлеіемъ «Жизнь Наполеона»—книга, которой предстояло быть орошо оплаченной потребностями любопытной публики ообще и англійскаго министерства въ особенности.

Хвалите его, смѣлаго гражданина! Хвалите его вы, всѣ илистеры всего земного шара! Хвали его и ты, милая оргашеская добродѣтель, которая готова жертвовать всѣмъ, ишь бы только уплатить въ срокъ по векселю—но у меня ѣтъ настолько мужества, чтобы также хвалить его.

Странно! Мертвый императоръ даже и въ гробу пагубенъ нгличанамъ, и теперь черезъ него великій писатель Брианіи потерялъ свои лавры!

Это былъ великій писатель Британіи—пусть говорятъ и озражаютъ, что угодно. Правда, критики его романовъ маляли его величіе и упрекали его въ томъ, что онъ уже ишкомъ растягивается вширь, входитъ въ слишкомъ мелія подробности, создаетъ свои великіе образы только поедствомъ сопоставленія массы мелкихъ чертъ и пользуется зчисленнымъ множествомъ разныхъ обстоятельствъ для зданія сильныхъ эффектовъ. Но, по истинѣ сказать, онъ ходитъ въ этомъ отношеніи на того милліонера, который змѣнялъ все свое состояніе на мелкую монету и каждый зъ долженъ, когда ему приходится уплачивать большую мму, нагружать два или три воза мѣшками съ грошами пфенигами, но несмотря на то, если бы кто сталъ жалоться на такую непріятность и на трудность считать всю у монету, то онъ могъ бы совершенно справедливо возрать, что какъ бы то ни было, но онъ все же уплачиваетъ лжную сумму, онъ же вѣдь отдаетъ ее и въ сущности къ же кредитоспособенъ и такъ же богатъ, какъ и всякій ругой, у котораго деньги лежатъ только въ золотыхъ слитахъ; за то у него даже есть преимущество болѣе легкаго пособа размѣна, такъ какъ тотъ, который отправляется на ынокъ овощей со своими золотыми слитками, которые тамъ е имѣютъ обращенія, не знаетъ, какъ помочь горю, а у того каждая торговка обѣими руками будетъ хватать предагаемые ей зильбергроши или пфениги. Но теперь такому

популярному богатству англійскаго писателя пришелъ конецъ; онъ, чьи монеты когда-то имѣли такое легкое обращеніе, что герцогиня и портниха принимали ихъ съ одинаковымъ интересомъ — онъ теперь сталъ бѣднымъ Вальтеръ-Скоттомъ. Его судьба напоминаетъ легенду о горныхъ эльфахъ, которые, лукаво благодѣтельствуя, дарили бѣднымъ людямъ деньги, ярко блестѣвшія и оказывавшіяся очень пригодными только до тѣхъ поръ, пока имъ давали хорошее употребленіе, но разсыпавшіяся въ рукахъ пылью, лишь только ихъ употребляли для недостойныхъ цѣлей. Мѣшокъ за мѣшкомъ открываемъ мы новый подвозъ Вальтеръ-Скотта, и что же!—вмѣсто блестящихъ веселыхъ грошиковъ, находимъ тамъ только пыль и пыль! Онъ наказанъ горными эльфами Парнаса, музами, которыя, какъ и всѣ женщины съ благороднымъ сердцемъ, страстныя наполеонистки, и поэтому были вдвойнѣ возмущены противъ злоупотребленія довѣреннымъ ему духовнымъ сокровищемъ.

Достоинство и тенденція произведенія Вальтеръ-Скотта были достаточно освѣщены во всѣхъ періодическихъ изданіяхъ Европы. Не только раздраженные французы, но даже и смущенные соотечественники автора высказали обвинительный приговоръ. Это общее всемірное неудовольствіе должны были также раздѣлить и нѣмцы. «Штутгардскій Литературный Листокъ» говорилъ съ трудно сдерживаемымъ пламеннымъ усердіемъ; съ холоднымъ спокойствіемъ выразился берлинскій «Ежегодникъ научной критики»; рецензентъ, которому это холодное спокойствіе далось тѣмъ легче, чѣмъ менѣе былъ ему дорогъ герой книги, характеризуетъ эту послѣднюю превосходными словами:

«Въ этомъ разсказѣ не найти ни содержанія, ни красокъ, ни систематичности, ни живости. Спутанный въ поверхностномъ, но не въ глубокомъ сцѣпленіи событій, безъ всякаго выдѣленія своеобразнаго, лѣниво и нетвердыми шагами тянется богатый матеріалъ; ни одно происшествіе не является въ своемъ опредѣленномъ своеобразіи, нигдѣ не видно выдающихся пунктовъ, нѣтъ ни одного ясно изображеннаго событія, ни одно изъ нихъ не выступаетъ въ своей необходимости, связь только внѣшняя, значеніе фак понимается весьма смутно. Въ такомъ изображеніи долж погаснуть всякій свѣтъ исторіи, а сама она становится чудною, а самою обыкновенною сказкою. Разсужденія ' ображенія, часто вставляемыя въ разсказъ—такого же Нашъ читающій міръ уже давно выросъ изъ такой

ной философской стряпни. Скудная примѣсь касающейся частностей морали нигдѣ не достигаетъ цѣли...».

Тому подобныя и еще худшія вещи, высказываемыя остроумнымъ берлинскимъ рецензентомъ, Варнгагеномъ фонъ-Энзе, я охотно простилъ бы Вальтеръ-Скотту. Всѣ мы люди, и самый лучшій изъ насъ можетъ иногда написать и дурную книгу. Тогда обыкновенно говорятъ, что онъ ниже всякой критики, и дѣло тѣмъ и кончается. Удивительно, правда, то, что въ этомъ новомъ сочиненіи мы не находимъ даже и прекраснаго стиля Вальтеръ-Скотта. Въ безцвѣтной, будничной рѣчи напрасно разсѣяны тутъ и тамъ нѣсколько красныхъ, синихъ и зеленыхъ словечекъ, напрасно тщится авторъ блестящими лоскутками изъ поэтовъ покрыть прозаическую наготу, напрасно обобранъ весь Ноевъ ковчегъ, чтобы добыть сравненія, изъ царства животныхъ, напрасно даже цитируется слово Божіе, чтобы затушевать имъ глупыя мысли. Еще удивительнѣе то, что Вальтеръ-Скотту даже не удалось тутъ примѣнить и свой врожденный талантъ въ рисовкѣ образовъ и представить хотя бы наружнаго Наполеона. Вальтеръ-Скоттъ не научился ничему изъ тѣхъ прекрасныхъ картинъ, которыя изображаютъ императора, окруженнаго своими генералами и придворными, тогда какъ всякій, разсматривающій ихъ безпристрастно, глубоко пораженъ трагическимъ спокойствіемъ и античною соразмѣрностью этихъ чертъ лица, которыя представляютъ такой потрясающе величавый контрастъ возбужденнымъ въ новомъ духѣ живописнымъ будничнымъ лицамъ нашего времени и обнаруживаютъ нѣчто божественное, сошедшее на землю. Но если шотландскій поэтъ не могъ понять образъ императора, то тѣмъ менѣе могъ онъ понять характеръ его, и я охотно прощаю ему неуленіе Бога, Котораго онъ не знаетъ. Долженъ также простить ему, что онъ считаетъ своего Веллингтона богомъ въ апоѳеозѣ этого послѣдняго приходитъ въ такое благоговѣніе, что при всей способности изображать животныхъ, не знаетъ, съ какимъ его сравнить.

Но если я снисходителенъ къ Вальтеръ-Скотту и прощаю ему безсодержательность, ошибки, злословіе и глупости его книги, прощаю даже и наведенную ею на меня скуку, то все же я никакъ не могу простить ему за ея тенденцію. Что ни болѣе, ни менѣе, какъ оправдательный приговоръ англійскому министерству по отношенію къ преступленію на св. Еленѣ. «Въ этомъ судебномъ процессѣ между англій-

скимъ министерствомъ и общественнымъ мнѣніемъ,—какъ выражается берлинскій рецензентъ,—Вальтеръ-Скоттъ изображаетъ изъ себя адвоката», онъ соединяетъ адвокатскія придирки со своимъ поэтическимъ талантомъ, чтобы извращать и факты, и исторію, и его кліентамъ, которые являются въ то же время и его патронами; слѣдовало бы дать ему, кромѣ гонорара, еще на водку.

Англичане только убили императора, но Вальтеръ-Скоттъ его продалъ. Это совершенно шотландская штука, истинно шотландская національная штучка, и видно, что шотландская скаредность до сихъ поръ осталась старою грязною скаредностью и не особенно перемѣнилась со дней битвы при Незби, когда шотландцы своего короля, ввѣрившагося ихъ охранѣ, продали за 400.000 фунтовъ стерлинговъ англійскимъ палачамъ. Этотъ король былъ тотъ самый Карлъ Стюартъ, котораго теперь такъ великолѣпно воспѣваютъ каледонскіе барды—англичанинъ убиваетъ, шотландецъ же продаетъ и воспѣваетъ.

Англійское министерство открыло своему адвокату для вышеупомянутой надобности архивъ foreign office, и Вальтеръ-Скоттъ въ девятомъ томѣ своего сочиненія добросовѣстно воспользовался документами, которые могутъ бросить благопріятный свѣтъ на его партію и неблагопріятную тѣнь на его противниковъ. Вслѣдствіе этого девятый томъ, при всей своей эстетической несостоятельности, въ чемъ онъ нисколько не уступаетъ предыдущимъ томамъ, пріобрѣтаетъ, однако, нѣкоторый интересъ: читатель ожидаетъ важныхъ документовъ, но такъ какъ не находитъ ихъ, то это служитъ доказательствомъ, что вовсе не было такихъ, которые говорили бы въ пользу англійскаго министерства—и это отрицательное содержаніе книги является важнымъ результатомъ.

Все, что только доставилъ англійскій архивъ, ограничивается нѣкоторыми правдоподобными сообщеніями благороднаго сэра Гудсона Лоу и его мирмидоновъ, также нѣкоторыми показаніями генерала Гурко, который, если дѣйствительно сдѣлалъ ихъ, то, какъ безсовѣстный измѣнникъ своего царственнаго господина и благодѣтеля, такж
живаетъ вѣры. Я не стану изслѣдовать фактъ этих
заній; кажется, что они даже вѣрны, такъ какъ
твердилъ баронъ Штюрмеръ, одинъ изъ трехъ с
великой трагедіи; но я не вижу, что можетъ б
доказано, даже въ самомъ благопріятномъ слу

развѣ того, что сэръ Гудсонъ Лоу былъ не единственнымъ негодяемъ на островѣ св. Елены. Съ пособіями такого рода и съ жалкими внушеніями, ему сдѣланными, разсказываетъ Вальтеръ-Скоттъ исторію заточенія Наполеона и старается убѣдить насъ, что эксъ-императоръ—такъ называетъ Наполеона эксъ-поэтъ—не могъ сдѣлать ничего умнѣе, какъ отдаться англичанамъ, хотя онъ и долженъ былъ знать заранѣе, что его отправятъ на св. Елену; что тамъ съ нимъ обращались прелестно, такъ какъ давали ему вдоволь пить и ѣсть; и что, наконецъ, онъ, свѣжій и здоровый, умеръ, какъ хорошій христіанинъ, отъ рака въ желудкѣ.

Вальтеръ-Скоттъ, представляя намъ такимъ образомъ императора предвидѣвшимъ, до какой степени дойдетъ великодушіе англичанъ, именно до св. Елены, снимаетъ съ него обыкновенно дѣлаемый ему упрекъ, что трагическое величіе его несчастія такъ сильно воодушевило его самого, что онъ смотрѣлъ на цивилизованныхъ англичанъ, какъ на персидскихъ варваровъ, а на сенъ-джемскую бифштексную кухню, какъ на очагъ великаго короля—и сдѣлалъ героическую глупость. Вальтеръ-Скоттъ представляетъ также императора величайшимъ писателемъ, какой когда-либо только жилъ на свѣтѣ, совершенно серьезно замѣчая, что всѣ тѣ замѣчательныя сочиненія, въ которыхъ говорится о страданіяхъ Наполеона на св. Еленѣ, диктовалъ онъ самъ.

Я не могу не сдѣлать здѣсь замѣчанія, что эта часть книги Вальтеръ-Скотта, какъ вообще и самыя сочиненія, о которыхъ онъ говоритъ здѣсь, въ особенности мемуары О'Меара, а также разсказъ капитана Мейтленда, напоминаютъ мнѣ иногда самую забавную исторію въ мірѣ, такъ что болѣзненнѣйшее негодованіе моей души внезапно переходитъ въ самый веселый смѣхъ. Эта исторія ничто иное, какъ «Приключенія Лемуэля Гуливера»—книга, которая меня еще въ дѣтствѣ такъ много смѣшила и гдѣ такъ забавно читать, какъ маленькіе лилипуты не знаютъ, что имъ дѣлать съ большимъ плѣнникомъ, какъ они на тысячу ладовъ вскарабкиваются на него и связываютъ его безчисленнымъ количествомъ тонкихъ волосинокъ, какъ они съ большими усиліями строятъ ему собственный большой домъ, они сѣтуютъ, что имъ приходится доставлять ему ежеею множество съѣстныхъ припасовъ, какъ они чернятъ въ государственномъ совѣтѣ и постоянно плачутся, что слишкомъ дорого стоитъ странѣ, какъ имъ хочется ли-

шить его жизни, но боятся его и послѣ смерти, потому что его трупъ могъ бы распространить заразу, какъ, наконецъ, они рѣшаются на достославное великодушіе и оставляютъ ему его титулъ, желая только выколоть ему глаза и т. д. Да, лилипутъ, является всюду, гдѣ только великій человѣкъ попадется между мелкими людьми, которые неустанно и самымъ мелочнымъ образомъ мучатъ его, и, въ свою очередь, сами и терпятъ отъ него довольно мученій и бѣдствій; но если бы деканъ Свифтъ написалъ свою книгу въ наше время, то въ этомъ гладко отшлифованномъ зеркалѣ увидѣли бы только исторію заточенія императора и узнали бы мучившихъ его генераловъ, со всѣми ихъ атрибутами, исключая только цвѣтъ платья и лица.

Только конецъ сказки о св. Еленѣ былъ иной—императоръ умеръ отъ рака въ желудкѣ, и Вальтеръ-Скоттъ увѣряетъ насъ, что эта болѣзнь была единственною причиною его смерти. Но и въ этомъ я не стану ему противорѣчить. Это не невозможно. Возможно, что человѣкъ, пытаемый въ застѣнкѣ, внезапно умираетъ совершенно естественною смертью, отъ удара. Но злые люди станутъ говорить, что его убили палачи. Злые люди разъ навсегда порѣшили смотрѣть на это дѣло совершенно иначе, чѣмъ смотрѣлъ добрый Вальтеръ-Скоттъ. Этотъ добрый человѣкъ, такъ твердо знающій Библію и охотно цитирующій Евангеліе, не видитъ въ этомъ возмущеніи стихій, въ этомъ ураганѣ, который поднялся при смерти Наполеона, ничего иного, какъ событіе, происшедшее также и при смерти Кромвеля; но у свѣта объ этомъ свое собственное мнѣніе. Онъ смотритъ на смерть Наполеона, какъ на ужасное злодѣяніе, чувство скорби, въ своемъ взрывѣ, переходитъ въ набожное поклоненіе; напрасно Вальтеръ-Скоттъ принимаетъ на себя роль advocati diaboli—причтеніе покойнаго императора къ лику святыхъ потокомъ льется изъ всѣхъ благородныхъ сердецъ. Всѣ благородныя сердца европейскаго отечества презираютъ его маленькихъ палачей и великаго барда, который въ своихъ пѣсняхъ сдѣлался ихъ соумышленникомъ, музы, вдохновляютъ лучшихъ пѣвцовъ для прославленія своего любимца. и если нѣкогда онѣмѣютъ люди, то заговорятъ камн мученическая скала св. Елены зловѣще выступитъ изъ скихъ волнъ и станетъ разсказывать тысячелѣтіямъ чудовищную исторію.

V.

ОЛЬДЪ-БЭЛЕЙ.

Уже одно это названіе наполняетъ душу ужасомъ: сейчасъ же представляешь себѣ большое, черное, угрюмое зданіе, дворецъ бѣдствія и преступленія. Лѣвый флигель, образующій собственно тюрьму, служитъ для заключенія уголовныхъ преступниковъ, и тутъ видна только высокая стѣна изъ почернѣвшихъ отъ времени плитъ, въ которой находятся двѣ ниши съ такими же черными аллегорическими фигурами и если я не ошибаюсь, одна изъ нихъ изображаетъ справедливость, потому что, по обыкновенію, рука, держащая вѣсы, сломана, и остается только слѣпая женская фигура съ мечомъ. Почти въ срединѣ зданія помѣщается алтарь богини правосудія, именно окошко, въ которомъ ставятъ висѣлицу, а направо — зала уголовнаго суда, въ которой четыре раза въ годъ происходятъ засѣданія. Здѣсь устроена дверь, на которой слѣдовало бы написать то, что̀ написано на дверяхъ Дантова Ада:

«Per me si va nella citta dolente
Per me si va nel eterno dolore,
Per me si va tra la perduta gente...

Эта дверь ведетъ на маленькій дворъ, въ которомъ собираются подонки черни для того, чтобы смотрѣть на проходящихъ преступниковъ; тутъ же стоятъ друзья и враги этихъ послѣднихъ, родственники, дѣти, нищіе, слабоумные и особенно старухи, занимающіяся обсужденіемъ производящихся процессовъ и дѣлающія это, можетъ-быть, съ большею проницательностью, чѣмъ судьи и присяжные, несмотря на всю забавную торжественность и скучную юриспруденцію этихъ послѣднихъ. Помню я, передъ дверью судилища, одну старую женщину, стоявшую въ кругу своихъ кумушекъ и защищавшую бѣднаго чернаго Вильяма гораздо лучше, чѣмъ дѣлалъ это въ самой залѣ высокоученый адвокатъ обвиняемаго; когда она вытерла изодраннымъ передникомъ своимъ послѣднюю слезу на красныхъ глазахъ—вина Вильяма, ка-
ъ, уничтожилась.

самой залѣ, не особенно большой, внизу, передъ такъ-
ваемою рѣшеткою, для публики оставлено мало мѣста;
о наверху устроены по обѣимъ сторонамъ очень про-
ыя галлереи съ высокими скамейками, на которыхъ
ли тѣснятся, чуть не лежа другъ на другѣ.

Когда я посѣтилъ Ольдъ-Бэлей, то также помѣстился въ одной изъ этихъ галлерей, которую отворила мнѣ старая привратница за одинъ шиллингъ. Я вошелъ въ ту минуту, когда присяжные встали съ своихъ мѣстъ для того, чтобы рѣшить — виноватъ или нѣтъ черный Вильямъ въ преступленіи, взводившемся на него.

И здѣсь, какъ въ другихъ лондонскихъ судилищахъ, судьи сидятъ въ сине-черныхъ тогахъ на свѣтло-фіолетовой подкладкѣ, на головахъ у нихъ напудренные парики, представляющіе часто забавный контрастъ съ черными бровями и черными бакенбардами. Они сидятъ за длиннымъ зеленымъ столомъ, на высокихъ стульяхъ, у верхняго конца залы, гдѣ на стѣнѣ выбито золотыми буквами то мѣсто изъ Библіи, которое запрещаетъ лицепріятный судъ. По обѣимъ сторонамъ стола стоятъ скамейки для присяжныхъ и отведены мѣста для истцовъ и свидѣтелей. Какъ разъ противъ судей помѣщаются обвиненные; они не сидятъ на обыкновенныхъ скамейкахъ подсудимыхъ, какъ это дѣлается въ гласныхъ судахъ Франціи и рейнскихъ странъ, но стоятъ за причудливо сдѣланною перегородкою, наверху которой устроена узкая арка. Тутъ же ставится зеркало, въ которомъ судья можетъ слѣдить за каждымъ измѣненіемъ въ лицѣ обвиненнаго. Передъ обвиненными кладутся также зеленыя травы, для укрѣпленія нервовъ, и это иногда бываетъ необходимо, когда дѣло идетъ о жизни и смерти. На столѣ судей я тоже увидѣлъ такія травы — и между ними даже розу. Не знаю почему, видъ этой розы глубоко потрясъ меня. Красная, цвѣтущая роза, цвѣтокъ любви и весны, лежала на страшномъ судейскомъ столѣ Ольдъ-Бэлея! Въ залѣ было такъ мрачно и душно. Все смотрѣло такъ непривѣтливо-угрюмо, такъ безумно-серьезно. У людей былъ такой видъ, какъ будто по тупымъ лицамъ ползали сѣрые пауки. Желѣзныя чашечки вѣсовъ явственно стучали надъ головою бѣднаго чернаго Вильяма.

На галлереѣ тоже образовался судъ присяжныхъ. Одна толстая дама съ краснымъ обрюзглымъ лицомъ, на которомъ маленькіе глазки блестѣли, словно свѣтящіеся червячки, замѣтила, что черный Вильямъ очень красивый лый. Сосѣдка же ея, нѣжная, пискливая душа въ тѣл скверной почтовой бумаги, утверждала, что онъ слиш отпускаетъ свои черные волосы и рѣшительно не зани *ими*, и что онъ сверкаетъ глазами, какъ господинъ *въ «Отелло»*.—За то,—продолжала она.—Томсонъ

иной человѣкъ, со свѣтлыми и расчесанными по модѣ волосами, и человѣкъ очень даровитый, онъ немного играетъ на флейтѣ, немного рисуетъ, немного говоритъ по-французски...—И немного воруетъ,—перебила толстая дама. — Ну, это еще не большая бѣда,—замѣтила тоненькая сосѣдка;— воровать все-таки не такое варварство, какъ поддѣлывать подписи: вора, хотя бы онъ укралъ только овцу, ссылаютъ въ Ботани-Бей; а мошенника, сдѣлавшаго фальшивую подпись, вѣшаютъ безъ всякой пощады и милосердія. — Безъ пощады и милосердія!—простоналъ подлѣ меня тощій человѣкъ въ истертомъ черномъ сюртукѣ; — вѣшать! ни одинъ человѣкъ не имѣетъ права убивать другого, а христіанамъ менѣе всѣхъ слѣдовало бы произносить смертные приговоры, потому что они не должны забывать, что основатель ихъ религіи, нашъ Спаситель, былъ безвинно осужденъ и распятъ!—Ну, вотъ еще!—снова начала тоненькая дама, и тоненькія губы ея засмѣялись;—да если бъ не вѣшали такихъ поддѣлывателей, такъ ни одинъ богатый человѣкъ не могъ бы быть спокоенъ за свое состояніе; напримѣръ, толстый еврей въ Ломбардъ-стритѣ, или нашъ другъ сэръ Скоттъ, подписи котораго поддѣлывали такъ искусно. А вѣдь сэръ Скоттъ пріобрѣлъ свое состояніе тяжелыми трудами; говорятъ даже, что онъ разбогатѣлъ оттого, что за деньги бралъ на себя болѣзни другихъ. И теперь еще уличные мальчишки бѣгаютъ за нимъ и кричатъ: «я дамъ тебѣ сиксъ-пенсъ, если ты возьмешь мою зубную боль; мы дадимъ тебѣ шиллингъ, если ты возьмешь горбъ Готфрида...—Любопытно,— перебила толстая:—любопытно, что черный Вильямъ и Томсонъ были до сихъ поръ отличными товарищами, вмѣстѣ жили, и ѣли, и пили, а теперь Эдвардъ Томсонъ обвиняетъ своего стараго друга въ поддѣлываніи подписей! Отчего, однако, сестра Томсона не здѣсь? Вѣдь она всюду бѣгаетъ за своимъ милымъ Вильямомъ? — Молодая, красивая женщина, на миломъ лицѣ которой лежало мрачное уныніе, какъ черный вуаль на цвѣтущей розовой вѣткѣ, стала разсказывать шопотомъ длинную плаксивую исторію, изъ которой я понялъ только, что пріятельницу разсказчицы, красавицу Мэри, крѣпко избилъ братъ и что она лежитъ при смерти.—Не называйте ее, пожалуйста, красавицею,—сердито проговорила толстая:— куда такой тощей быть красавицей! А еще какъ повѣсятъ ея Вильяма...

Въ эту минуту въ залу воротились присяжные и объявили, *что обвиненный виновенъ* въ поддѣлкѣ чужой подписи

Чернаго Вильяма повели изъ залы, и выходя, онъ бросилъ долгій, долгій взглядъ на Эдварда Томсона.

По одной сѣверной сагѣ, дьяволъ былъ прежде ангеломъ и жилъ въ небѣ съ другими ангелами до тѣхъ поръ, пока не вздумалъ склонять ихъ къ отпаденію отъ Бога; за это Богъ низвергнулъ его въ вѣчную тьму ада. Но во время паденія онъ все смотрѣлъ въ вышину, все смотрѣлъ на ангела, донесшаго на него, и чѣмъ глубже онъ падалъ, тѣмъ страшнѣе и страшнѣе становился его взглядъ... И, вѣроятно, это былъ недобрый взглядъ, потому что ангелъ, на котораго упалъ онъ, поблѣднѣлъ, и румянецъ не вернулся болѣе на его щеки, и называется онъ съ тѣхъ поръ ангеломъ смерти.

Блѣденъ, какъ ангелъ смерти, сталъ Эдвардъ Томсонъ.

VI.

НОВОЕ МИНИСТЕРСТВО.

Прошедшимъ лѣтомъ я познакомился въ Бедламѣ съ съ однимъ философомъ, который таинственными взглядами и шопотомъ сообщилъ мнѣ много важныхъ свѣдѣній о происхожденіи въ мірѣ зла. Какъ бо̀льшая часть его собратій, онъ также полагалъ, что тутъ, должно-быть, принято историческое основаніе. Что касается до меня, я тоже согласился съ этимъ мнѣніемъ и объявилъ, что главная причина существованія въ мірѣ зла заключается въ томъ, что Богъ создалъ слишкомъ мало денегъ.

— Ты правъ,—отвѣчалъ философъ;—когда создался міръ, на свѣтѣ было очень мало денегъ. Пришлось занимать деньги у чорта и заложить ему всю вселенную. А такъ какъ этотъ залогъ еще до сихъ поръ не выкупленъ, то изъ деликатности чорту не запрещаютъ вмѣшиваться въ управленіе міромъ и творить въ немъ смуты и зло. Но чортъ, съ своей стороны, весьма заинтересованъ въ томъ, чтобы міръ не погибъ и, слѣдовательно, не лишилась всякой цѣны данная ему закладная; вслѣдствіе этого онъ остерегае слишкомъ неосмотрительно, сдерживаетъ себя, для его должниковъ очевидно, что въ корыст заключается тайная гарантія сохраненія вс *довѣряется* иногда даже полное управлені *поручается* составить министерство. Въ

нятно, что̀ дѣлается: Саміель получаетъ начальство надъ скими войсками, Вельзевулъ становится канцлеромъ, Вицпуцли — государственнымъ секретаремъ, старая бабушка лается правительницею колоній и т. п. Эти союзники чинаютъ распоряжаться по-своему, и такъ какъ корыолюбіе заставляетъ ихъ, вопреки своему злому сердцу отрѣть за тѣмъ, чтобы міръ не погибъ, то они вознаградаютъ себя за это принужденіе тѣмъ, что для хорошихъ лей употребляютъ всегда самыя гнусныя средства. Невно они довели эту методу до такой степени, что ихъ огнали и поручили доброму духу составить новое минирство. Около этого духа сгруппировлись такіе же дые. Отрадная теплота снова разлилась по землѣ, сдѣлась свѣтло, и злые духи исчезли. Но они все-таки не жили когтей, тайно работаютъ противъ всего добраго, равляютъ новые цѣлебные источники, злобно разрываютъ ждую розовую почку новой весны, разрушаютъ дерево зни, хаотическая погибель снова грозитъ всему и, пожай, чорту снова поручатъ вступить въ управленіе вселенй, чтобы удержать и сохранить ее хотя бы самыми скверми средствами. Вотъ видишь, каковы вредныя послѣдвія долга».

Эти слова моего бедламскаго пріятеля были, можетъ-быть, ъясненіемъ теперешней перемѣны англійскаго министерва. Пораженіе грозитъ друзьямъ Каннинга, которыхъ я зываю добрыми духами Англіи, потому что противники съ—черти ея; эти послѣдніе, имѣя во главѣ глупаго чорта еллингтона, испускаютъ теперь побѣдные клики. Пусть кто не обвиняетъ бѣднаго Георга—онъ долженъ былъ одчиниться обстоятельствамъ. Нельзя отрицать, что послѣ черти Каннинга виги не были въ состояніи поддерживать покойствіе въ Англіи, потому что мѣры, принимавшіяся ми съ этою цѣлью, постоянно уничтожались торіями. слѣдствіе этого, король, считающій главнымъ дѣломъ сораненіе общественнаго спокойствія, т. е. безопасность своей роны, долженъ былъ снова отдать въ руки торіевъ управленіе государствомъ. И ахъ, теперь они снова, какъ режде, будутъ таскать въ свои мѣшки всѣ плоды народаго трудолюбія; они, подобно правящимъ жидамъ-ростовщикамъ, будутъ повышать цѣну своего хлѣба. Джонъ Булль худѣетъ отъ голода; онъ, наконецъ, чтобы добыть себѣ сочекъ хлѣба, закрѣпоститъ себя великимъ вельможамъ, и *запрягутъ его въ плугъ* и станутъ погонять плетью,

и онъ не посмѣетъ даже мычать, потому что съ одной стороны грозитъ ему герцогъ Веллингтонъ съ мечомъ, а съ другой—бьетъ его по головѣ книгою архіепископъ кентерберійскій—и во всемъ государствѣ водворится спокойствіе.

Источникъ этого зла заключается въ долгѣ, the national debt, или, какъ говоритъ Коббеттъ, the king's debt. Коббеттъ именно справедливо замѣчаетъ: «Между тѣмъ, какъ названію всѣхъ другихъ учрежденій предшествуетъ имя короля, напр., the king's army, the king's navy, the king's courts, the king's prisons и пр., долгъ, собственно образовавшійся вслѣдствіе этихъ учрежденій, никогда не называется the king's debt, и это единственный случай, въ которомъ націи дѣлаютъ честь назвать что-нибудь по ея имени».

Величайшее зло составляетъ долгъ. Правда, въ немъ заключается причина того, что англійское государство не уничтожается и что даже самые злые черти не могутъ его разрушить; но въ то же время онъ причина и того, что вся Англія сдѣлалась большою мельницею, на которой народъ долженъ день и ночь работать, чтобы кормить своихъ кредиторовъ,—что Англія, вслѣдствіе заботъ объ уплатѣ, старѣетъ и сѣдѣетъ и лишается всѣхъ свѣтлыхъ юношескихъ чувствъ,—что Англія, какъ обыкновенно случается съ сильно задолжавшими людьми, дошла до самой тупой покорности и не знаетъ, какъ помочь себѣ, несмотря на то, что въ лондонскомъ Тоуэрѣ хранятся 900.000 ружей и столько же сабель и штыковъ, и что съ сторожами его жирными красносюртучными мясоѣдами, можно было бы легко справиться.

VII.

ДОЛГЪ.

Когда я былъ еще очень молодъ, три вещи особенно интересовали меня въ газетахъ. Во-первыхъ, подъ рубрикою «Великобританія» я сейчасъ же искалъ, не п
чардъ Мартинъ въ парламентъ новую прос
кроткомъ обращеніи съ бѣдными лошадьми,
ослами. Затѣмъ, подъ рубрикою «Франкфур
не вступился ли снова передъ союзнымъ сей
Шрейберъ за покупщиковъ великогерцогски

гѣній. Потомъ я тотчасъ же переходилъ къ Турціи и протывалъ длинный premier—Constantinopole только для го, чтобы узнать, не удушилъ ли себя шелковымъ шнурмъ какой-нибудь новый великій визирь.

Это послѣднее обстоятельство всегда служило мнѣ самою ильною пищею для размышленій. Что деспотъ безъ всяй церемоніи душитъ своихъ рабовъ, это я находилъ весьма тественнымъ. Вѣдь случилось же мнѣ увидѣть однажды звѣринцѣ, какъ царь звѣрей пришелъ въ такой величевенный гнѣвъ, что, конечно, разорвалъ бы многихъ невинхъ зрителей, не будь онъ запертъ въ надежной конститціи, составленной изъ желѣзныхъ прутьевъ. Но сильно ивляло меня то обстоятельство, что послѣ удушенія стараго великаго визиря всегда находился кто-нибудь, имѣвій охоту сдѣлаться визиремъ.

Теперь, когда я сдѣлался немного старше, и занимаюсь ольше англичанами, чѣмъ ихъ друзьями-турками, мною владѣваетъ аналогичное изумленіе, когда я вижу, что ослѣ отставки англійскаго перваго министра, на его мѣсто ейчасъ же старается попасть другой, и этотъ другой—сегда человѣкъ, имѣющій возможность хорошо прожить и езъ этой должности, и притомъ (исключая Веллингтона) овсѣмъ не дуракъ. Удивляетъ это меня потому, что всѣ нглійскіе министры, несущіе эту тяжелую должность дольше дного семестра, погибаютъ страшнѣе, чѣмъ посредствомъ елковаго шнурка. Особенно часто это начало повторяться о времени французской революціи; заботы и лишенія увеичились въ Доунингъ-стритѣ, и бремя дѣлъ сдѣлалось почти евыносимо.

Въ былое время житейскія дѣла были гораздо проще, и строумные поэты сравнивали государство съ кораблемъ, а инистра—съ его кормчимъ. Теперь же все сдѣлалось сложѣе и запутаннѣе, обыкновенный государственный корабль ревратился въ пароходъ, и министру приходится теперь же не управлять простымъ рулемъ, а стоять отвѣтственымъ механикомъ среди множества машинъ, внимательно лѣдить за каждымъ винтикомъ, каждымъ маленькимъ коесомъ, смотрѣть день и ночь въ пылающую печь и пооянно потѣть отъ жары и заботъ; потому что стоитъ олько ему сдѣлать малѣйшую оплошность, и котелъ можетъ ошнуть, и весь корабль съ экипажемъ пойти ко дну. А въ о время капитанъ и пассажиры спокойно прохаживаются палубѣ, спокойно развѣвается флагъ на боковой мачтѣ,

и кто смотритъ на это спокойное плаваніе, тотъ не подозрѣваетъ, какія опасныя машины и какія заботы и опасенія скрыты въ желудкѣ этого корабля.

Преждевременною смертью погибаютъ эти бѣдные отвѣтственные механики англійскаго государственнаго корабля. Трогательна ранняя смерть великаго Питта, еще трогательнѣе смерть болѣе великаго Фокса. Персиваль тоже умеръ бы отъ обыкновенной министерской болѣзни, если бы кинжалъ убійцы не отправилъ его раньше. Эта же самая министерская болѣзнь довела лорда Кестльри до такого отчаянія, что онъ перерѣзалъ себѣ горло въ Нортъ-Крей, мѣстечкѣ графства Кентъ. Лордъ Ливерпуль вслѣдствіе того же сошелъ съ ума. Каннингъ, богоподобный Каннингъ, на нашихъ глазахъ отравленный клеветами высокородныхъ торіевъ, палъ, точно больной Атласъ, подъ своимъ всемірнымъ бременемъ. Одинъ за другимъ собираются на вестминстерскомъ кладбищѣ эти бѣдные министры, обязанные день и ночь думать о короляхъ Англіи, между тѣмъ какъ эти послѣдніе, ни о чемъ не думая и здоровые, доживаютъ до самой глубокой старости.

Какъ называется, однако, великая забота, день и ночь бродящая въ головѣ англійскихъ министровъ и, наконецъ, убивающая ихъ? Она называется: the debt, долгъ.

Долгъ, точно такъ же, какъ патріотизмъ, религія, честь и т. п., принадлежатъ, правда, къ преимуществамъ человѣческаго рода—потому что животныя не имѣютъ долговъ—но въ то же время они составляютъ особое мученіе человѣческаго рода, разоряя и губя какъ отдѣльныхъ личностей, такъ и цѣлыя поколѣнія, какъ будто замѣняя древній fatum въ національныхъ трагедіяхъ нашего времени. Англія не можетъ спастись отъ этого фатума, ея министры видятъ приближеніе грозной опасности и умираютъ въ отчаянномъ сознаніи своего безсилія.

Будь я королевско-прусскій землемѣръ или членъ инженернаго корпуса, я перевелъ бы обычнымъ образомъ на зильбергроши всю сумму англійскаго долга и вычислилъ бы самымъ точнымъ образомъ, сколько разъ этими зильбергрошами можно было бы вымостить бол[illegible]
хову улицу или даже весь земной шаръ. Но [illegible]
я никогда не былъ силенъ, и готовъ лучше [illegible]
кому-нибудь англичанину это фатальное дѣло [illegible]
скихъ долговъ и вычисленія по нимъ минис[illegible]
Это дѣло никто не можетъ сдѣлать такъ [illegible]

рикъ Коббеттъ, и изъ послѣдняго нумера его Register я извлекаю слѣдующія свѣдѣнія:

«Дѣла находятся въ слѣдующемъ положеніи:

1. Это правительство, или, вѣрнѣе сказать, эта аристократія и церковь, или, пожалуй, это правительство взяло взаймы много денегъ, на которыя оно купило множество побѣдъ, какъ сухопутныхъ, такъ и морскихъ—множество побѣдъ всякаго сорта и всякой величины.

2. Но я долженъ сначала объяснить, по какому поводу и съ какою цѣлью были куплены эти побѣды; поводомъ (occasion) послужила французская революція, уничтожившая всѣ *аристократическія привилегіи и десятинную подать духовенству*, цѣлью было предупрежденіе парламентской реформы въ Англіи, которая, вѣроятно, также повлекла бы за собою уничтоженіе всѣхъ аристократическихъ привилегій и десятинныхъ податей.

3. Для того, чтобы не допустить англичанъ послѣдовать примѣру французовъ, было необходимо нападать на французовъ, ставить преграды ихъ прогрессу, угрожать опасностью только-что добытой ими свободѣ, доводить ихъ до отчаянныхъ дѣйствій и, наконецъ, выставить революцію такимъ ужаснымъ дѣломъ, такою язвою народовъ, чтобы подъ именемъ свободы англичане понимали только смѣсь зла, преступленій и крови, и чтобы англійскій народъ въ вызванной ужасомъ экзальтаціи былъ принужденъ, наконецъ, влюбиться въ то отвратительно-деспотическое правленіе, которое нѣкогда процвѣтало во Франціи и къ которому англичане всѣхъ временъ, начиная отъ царствованія Альфреда Великаго до Георга III, питали самое глубокое отвращеніе.

4. Для осуществленія этого плана правительству было необходимо содѣйствіе разныхъ иноземныхъ націй; вслѣдствіе этого означенныя націи получали англійскія субсидіи (subsidized), французскіе эмигранты содержались на англійскія деньги, однимъ словомъ, въ теченіе двадцати двухъ лѣтъ велась война противъ того народа, который возсталъ противъ *аристократическихъ привилегій и десятинныхъ податей.*

5. Такимъ образомъ, наше правительство одержало «*несчетное число побѣдъ*» надъ французами, которые, какъ видно, постоянно терпѣли пораженіе; но эти наши несчетныя побѣды *покупались*, т. е. онѣ одерживались наемниками, которыхъ мы нанимали за деньги для этой цѣли, и на нашемъ жалованьи находились въ одно и тоже время

цѣлыя толпы французовъ, голландцевъ, швейцарцевъ, итальянцевъ, русскихъ, австрійцевъ, баварцевъ, гессенцевъ, ганноверцевъ, пруссаковъ, испанцевъ, португальцевъ, неаполитанцевъ, мальтійцевъ и Богъ вѣсть сколько еще другихъ націй.

6. Съ помощью этихъ наемныхъ воиновъ и нашихъ собственныхъ сухопутныхъ и морскихъ силъ мы *купили* такое множество побѣдъ надъ французами, которые, бѣдняки, не имѣли денегъ, чтобы быть въ возможности сдѣлать тоже самое, что, наконецъ, подавили ихъ революцію, возстановили до нѣкоторой степени ихъ аристократію, но никакими средствами не могли возстановить также десятинныя подати.

7. Счастливо выполнивъ эту великую задачу и вслѣдствіе этого тоже выгнавъ изъ Англіи парламентскую реформу, наше правительство испустило громкое побѣдное мычаніе; при этомъ оно немало напрягало свои легкія и громко поддерживалось всѣми тѣми тварями Англіи, которыя тѣмъ или другимъ способомъ питались общественными налогами.

8. Почти два года чрезмѣрно ликовала эта, въ то время столь счастливая, нація; она торжествовала свои побѣды празднествами, народными играми, тріумфальными арками, кулачными боями и т. п. увеселеніями, стоившими больше четверти милліона ф. ст.—и нижній парламентъ единогласно постановилъ выдать громадную сумму (кажется, 3 м. ф. ст.) на постройку тріумфальныхъ арокъ, колоннъ и другихъ памятниковъ для увѣковѣченья *«славныхъ побѣдъ войны»*.

9. Съ того времени мы имѣли счастіе постоянно жить подъ управленіемъ тѣхъ самыхъ людей, которые вели наши дѣла въ вышеупомянутой славной войнѣ.

10. Съ того времени мы постоянно жили въ ненарушимомъ мирѣ съ цѣлымъ свѣтомъ; можно сказать, что и теперь этотъ миръ продолжается, несмотря на наши маленькія антрактныя драки съ турками. Поэтому нѣтъ, кажется, никакой причины, мѣшающей намъ быть счастливыми: мы вѣдь наслаждаемся миромъ, наша земля отличается большимъ урожаемъ, и судя по признанію всемірныхъ мудрецовъ и законодателей нашего времени, мы—просвѣщеннѣйшая нація на всемъ земномъ шарѣ. Дѣйствитель
повсюду заведены школы для обученія подростаю
лѣнія; въ каждомъ церковномъ округѣ королевства
не только одного ректора, или викарія, или поп
кромѣ того, шесть учителей богословія, изъ кот
дый совсѣмъ иного сорта, чѣмъ его товарищи;

ть, наша страна достаточно снабжена учебными заведе-
ми всякаго рода, и ни одинъ житель этой счастливой
аны не можетъ пребывать въ состояніи невѣжества. Въ
у этого, мы тѣмъ сильнѣе изумляемся, что человѣкъ,
орому предстоитъ сдѣлаться первымъ министромъ этой
стливой страны, смотритъ на свою должность, какъ на
елое и опасное бремя.

11. Ахъ, на нашу долю выпало только одно несчастіе, и
— истинное несчастіе. Какъ выше сказано, мы купили
колько побѣдъ, побѣдъ отличныхъ, эта покупка была
ошая афера, эти побѣды стоили въ три или четыре раза
оже того, что мы заплатили за нихъ—какъ обыкновенно
оритъ г-жа Туицль своему мужу, когда возвращается съ
нка домой—запросъ на побѣды былъ огромный; словомъ,
поступили, какъ нельзя умнѣе тѣмъ, что за такую де-
вую цѣну купили себѣ такую огромную порцію славы.

12. Но—сознаюсь съ сокрушеннымъ сердцемъ—мы, какъ
ногіе другіе люди, *взяли взаймы* тѣ деньги, на которыя
купили эти побѣды, когда нуждались въ этихъ побѣдахъ,
которыхъ теперь не можемъ никакимъ образомъ осво-
иться, какъ не можетъ освободиться отъ жены мужъ,
вшій разъ счастье надѣть на себя милый хомутъ.

13. Вотъ почему каждый министръ, вступающій въ упра-
віе нашими дѣлами, долженъ также заботиться объ уплатѣ
наши побѣды, такъ какъ, собственно говоря, за нихъ
уплачено еще ни одного пенса.

14. Правда, ему не зачѣмъ хлопотать объ уплатѣ всѣхъ
негъ, занятыхъ нами, т.-е. капитала и процентовъ разомъ;
правильно платить *проценты* онъ, къ сожалѣнію, дол-
нъ во что бы то ни стало. А эти проценты, въ соеди-
ніи съ жалованьемъ арміи и другими расходами, проис-
дшими отъ нашихъ *побѣдъ*, такъ значительны, что чело-
къ, принимающій на себя заботу объ уплатѣ этой суммы,
женъ имѣть довольно сильные нервы.

15. Въ прежнее время, когда мы еще не задавали себѣ
дачи покупать побѣды и щедро снабжать себя славой,
нъ долгъ составлялъ уже немного больше *двухсотъ милліо-*
въ; между тѣмъ, всѣ деньги бѣдныхъ въ Англіи и Уэльсѣ
носили ежегодно не больше *двухъ милліоновъ*, и на насъ
лежало еще то бремя, которое намъ взвалили теперь на
чи подъ названіемъ dead-weight и которое одолжено сво-
ъ происхожденіемъ единственно нашей жаждѣ славы.

16. Кромѣ *этихъ денегъ, занятыхъ* у кредиторовъ, кото-

рые ссудили ихъ добровольно, наше правительство, руководимое жаждою *побѣдъ*, сдѣлало также косвенный большой заемъ *у бѣдныхъ*, т. е. оно увеличило обыкновенныя пошлины до такой степени, что бѣдные были поставлены въ болѣе стѣснительное положеніе, чѣмъ когда-либо и что число бѣдныхъ и денегъ бѣдныхъ, приняло громадные размѣры.

17. Вмѣсто прежнихъ *двухъ милліоновъ* деньги бѣдныхъ стали составлять ежегодно *восемь милліоновъ;* но бѣдные также пользуются, такъ сказать, гипотечнымъ правомъ, правомъ закладной; такимъ образомъ, здѣсь снова составляется долгъ въ *шесть милліоновъ*, которые надо причислить къ другимъ долгамъ, порожденнымъ нашею страстью къ славѣ и покупкѣ *нашихъ побѣдъ.*

18. Dead-weight состоитъ изъ пожизненныхъ рентъ, которыя мы, подъ названіемъ пенсій, выдаемъ множеству мужчинъ, женщинъ и дѣтей, въ награду за услуги, которыя эти мужчины оказали или должны были оказать при одержаніи нашихъ побѣдъ.

19. Долгъ, заключенный этимъ правительствомъ для покупки побѣдъ, состоитъ, приблизительно, изъ слѣдующихъ суммъ:

Прибавилось къ національному долгу .	800.000.000 ф. ст.
Прибавилось къ долгу бѣдныхъ . . .	150.000.000 » »
Dead-weight.	175.000.000 » »
Итого	1.125.000.000 ф. ст.

Т. е. *тысяча сто двадцать пять милліоновъ* составляетъ тотъ капиталъ, на который, считая по 5%, должно платиться ежегодно 56 милліоновъ процентовъ. Дѣйствительно, таковъ онъ, приблизительно, въ настоящее время, только долгъ бѣдныхъ не вносится въ счеты, представляемые парламенту, такъ какъ страна немедленно и непосредственно уплачиваетъ его въ различныхъ церковныхъ округахъ. Поэтому, если вычесть изъ пятидесяти шести милліоновъ вышеозначенные шесть, то оказывается, что долгъ государственный и dead-weight поглощаютъ все остальное.

20. Но деньги бѣдныхъ составляютъ такой же *долгъ*, какъ и долгъ государственный, и оба они, очевидно, изъ одного и того же источника. Страшное бре совсѣмъ придавило бѣдныхъ; оно отяготило и гихъ, но всѣ другіе сумѣли такъ или иначе съ своихъ плечъ, и оно обрушилось, наконецъ, *ужасною* тяжестью исключительно на бѣдныхъ.

лись своихъ пивныхъ кружекъ, оловянныхъ тарелокъ, стѣнныхъ часовъ, постелей и даже ремесленныхъ инструментовъ; они лишились платья и должны были ходить въ лохмотьяхъ; они лишились мяса своихъ костей. Дальше нельзя было идти, и изъ того, что у нихъ взяли, имъ отдали нѣкоторую часть, назвавъ эту послѣднюю увеличеннымъ капиталомъ бѣдныхъ. Такимъ образомъ, этотъ капиталъ — *истинный долгъ*, имѣющій полное право на достояніе всего государства, какъ отданное ему въ залогъ. Конечно, уплату процентовъ по этому долгу можно задержать, но если бы это случилось, то лица, которымъ слѣдовало бы получить ихъ, пришли бы всею массой и потребовали бы уплаты всего капитала. Такимъ образомъ, это *дѣйствительный долгъ*, и такой, который уплатятъ до послѣдней копѣеки, да кромѣ того—положительно утверждаю это—ему дадутъ предпочтеніе предъ всѣми другими долгами.

21. Не слѣдуетъ поэтому слишкомъ удивляться, что люди, принимающіе на себя управленіе такими дѣлами, чувствуютъ всю затруднительность своего положенія. Удивляться слѣдуетъ тому, что вообще находятся люди, рѣшающіе браться за эту обузу, когда имъ не предоставляется по собственному усмотрѣнію радикально измѣнить всю систему.

22. Къ этому присоединяется слѣдующее обстоятельство: государственный долгъ и долгъ dead-weight, или, лучше сказать, проценты ихъ прежде платили бумажными деньгами, имѣвшими такой низкій курсъ, что 15 шиллинговъ стоили почти столько же, сколько винчестерская мѣрка пшеницы. Такъ поступали въ продолженіе очень многихъ лѣтъ; но въ 1819 г. одинъ глубокомысленный министръ, сэръ Пиль, сдѣлалъ важное открытіе, что для націи будетъ лучше, если она станетъ платить свои долги настоящими деньгами, дѣйствительными деньгами, которыхъ пять шиллинговъ, вмѣсто пятнадцати шиллинговъ бумажныхъ, стоятъ столько же, сколько винчестерская мѣрка пшеницы.

23. *Номинальная сумма* не была ни разу измѣнена. Она всегда оставалась въ одинаковомъ положеніи, никакой перемѣны не произошло, когда сэръ Пиль и парламентъ *измѣнили стоимость суммы* и потребовали, чтобы долгъ уплачивали такими деньгами, по какимъ пять шиллинговъ стоятъ столько же, сколько пятнадцать шиллинговъ того курса, *по которому былъ заключенъ долгъ и платились проценты въ продолженіе очень многихъ лѣтъ.*

24. Вслѣдствіе этого, отъ 1819 г. до нынѣшняго дня,

нація находилась въ самомъ безотрадномъ положеніи; се поѣдали кредиторы, которые обыкновенно бываютъ изъ евреевъ, или, лучше сказать, изъ христіанъ, поступающихъ какъ евреи, и которыхъ нельзя было заставить не так жадно бросаться на свою добычу.

25. Нѣсколько попытокъ было сдѣлано для того, чтобы нѣкоторымъ образомъ смягчить послѣдствія измѣненія, сдѣланнаго въ 1819 г. въ курсѣ денегъ; но эти попытки не удались и однажды чуть не взорвали на воздухъ вс систему.

26. Помочь затруднительному положенію невозможно стараніемъ понижать ежегодную уплату долговъ государственнаго и dead-weight; для такого пониженія долга, для того, чтобы воспрепятствовать этому пониженію произвести великіе перевороты, для того, чтобы не допустить полмилліона людей въ Лондонѣ и вокругъ него умереть съ голода—необходимо прежде приняться за *другія* пониженія, гораздо болѣе сообразныя съ обстоятельствами, прежде чѣмъ пытаться понизить два вышеупомянутыхъ долга, или платимые на нихъ проценты.

27. Какъ мы уже видѣли, побѣды были куплены съ цѣлью недопущенія въ Англіи парламентской реформы и сохраненія аристократическихъ привилегій и десятинныхъ податей; поэтому было бы страшнымъ злодѣяніемъ, если бы мы отняли законные проценты у тѣхъ людей, которые дали намъ взаймы деньги, или не платили бы ихъ тѣмъ, кто отдалъ намъ въ наймы руки, съ помощью которыхъ мы пріобрѣли побѣды; мы совершили бы злодѣяніе, которое навлекло бы на насъ мщеніе Бога, если бы поступили такимъ образомъ, въ то же время оставивъ неприкосновенными доходныя почетныя должности аристократіи, ея пенсіи, синекуры, королевскія пожалованія, награды военныхъ и, наконецъ, даже десятинныя подати!

28. Такимъ образомъ, *вотъ въ чемъ*, *вотъ въ чемъ* заключается трудность. Кто становится министромъ, тотъ становится министромъ въ странѣ, которая имѣла большую страсть къ *побѣдамъ*, дѣйствительно пріобрѣла значительное число ихъ, а съ ними и неслыханное количество воен но, къ сожалѣнію, по сію пору не заплатила за ликолѣпія и теперь предоставляетъ министру р тогда какъ онъ не знаетъ, откуда ему взять де

Все это вещи, способныя вогнать министра *или, по* крайней мѣрѣ, свести съ ума. У Англіи

говъ, чѣмъ сколько она можетъ заплатить. Пусть только не хвастается она, что владѣетъ Индіею и богатыми колоніями. Изъ послѣднихъ парламентскихъ дебатовъ видно, что англійское государство не только не получаетъ ни гроша дохода изъ своей великой, безмѣрной Индіи, но еще само должно посылать туда по нѣсколько милліоновъ субсидіи. Эта страна приноситъ Англіи пользу только въ томъ отношеніи, что отдѣльные англичане, обогащающіеся въ ней, содѣйствуютъ своими сокровищами развитію промышленности и денежному обращенію метрополіи, а тысяча другихъ заработываютъ хлѣбъ службою въ индійской компаніи. Колоніи тоже не приносятъ государству никакихъ доходовъ, тоже нуждаются въ денежной поддержкѣ и способствуютъ развитію торговли и обогащенію аристократіи, члены которой по непотизму посылаются туда въ качествѣ губернаторовъ и второстепенныхъ чиновниковъ. Вслѣдствіе этого уплата національнаго долга падаетъ исключительно на Великобританію и Ирландію. Но и въ этихъ странахъ доходы ниже суммы долга. Здѣсь мы предоставимъ говорить снова Коббетту:

«Есть люди, которые, желая указать на нѣчто въ родѣ исхода изъ затруднительнаго положенія, толкуютъ о *рессурсахъ государства*. Эти люди—ученики покойнаго Колькгоуна, поимщика воровъ, написавшаго большую книгу, чтобы доказать, что нашъ долгъ не долженъ вызывать въ насъ ни малѣйшаго опасенія, потому что онъ *ничтоженъ* въ сравненіи съ рессурсами націи; для того же, чтобы его умные читатели могли получить ясную идею о неизмѣримости этихъ рессурсовъ, авторъ произвелъ оцѣнку всего существующаго въ государствѣ, не упустилъ изъ виду даже *кроликовъ* и, повидимому, даже сожалѣлъ, что не могъ включить въ этотъ счетъ крысъ и мышей. Онъ *оцѣнялъ* все: лошадей, коровъ, овецъ, дичь, поросятъ, кроликовъ, рыбъ, домашнюю утварь, платье, дрова и свѣчи, пряности; потомъ, сведя итогъ всѣхъ этихъ цѣнностей, прибавивъ къ нимъ стоимость имѣній, деревьевъ, домовъ, родниковъ, доходъ отъ травы и пшеницы, рѣпу и ленъ, выведя, наконецъ, изо всего этого сумму въ Богъ вѣсть сколько тысячъ милліоновъ, захихикалъ на шотландскій лукаво хвастливый манеръ, точно индѣйскій пѣтухъ, и съ язвительной усмѣшкой сталъ спрашивать подобныхъ мнѣ людей: что-жъ, и при такихъ рессурсахъ вы все еще боитесь *національнаго банкротства?*

«Этотъ человѣкъ *не* думалъ о томъ, что дома необходимы *людямъ для того, чтобы въ нихъ жить*, помѣстья—

для того, чтобы они доставляли кормъ, платья—для того, чтобы прикрывать наготу, коровы — для того, чтобы они давали молоко, необходимое для утоленія жажды, рогатый скотъ, овцы, свиньи, птицы и кролики — для того, чтобы ихъ ѣсть. Да, чортъ побери этого безсмысленнаго шотландца — эти вещи существуютъ не для того, чтобы их *продавали* и деньгами отъ продажи платили національныя долги. Онъ вѣдь умудрился причислить къ рессурсамъ націи и поденную плату, получаемую рабочими! Этотъ глупый дьяволъ-сыщикъ, котораго его шотландскіе братья произвели въ доктора за то, что онъ написалъ такую превосходную книгу, повидимому, совершенно забылъ, что рабочіе сами нуждаются въ своей заработной платѣ для того, чтобы добывать себѣ на нее *пищу и питье*. Ужъ ему за-одно оцѣнить и стоимость крови въ нашихъ жилахъ, какъ вещество, изъ котораго во всякомъ случаѣ можно дѣлать кровяныя колбасы».

Такъ говоритъ Коббеттъ. Между тѣмъ, какъ я переводжу на нѣмецкій языкъ его слова, онъ самъ, какъ живой, встаетъ въ моемъ воспоминаніи, и какъ въ прошедшемъ году я видѣлъ его за шумнымъ обѣдомъ въ таверне Crown and Anchor, такъ теперь снова вижу съ его бранчивымъ краснымъ лицомъ и радикальной улыбкой, въ которой самая ядовитая смертельная ненависть ужасающе смѣшана съ язвительною радостью—предчувствіемъ непремѣнной погибели враговъ.

Пусть никто не обвиняетъ меня въ томъ, что я цитирую Коббетта. Если бы и можно было упрекнуть его въ нечестности, жаждѣ злословія и черезчуръ грубомъ характерѣ, то нельзя, однако, согласиться, что онъ обладаетъ большимъ краснорѣчіемъ и часто, а особенно въ приведенныхъ выше строкахъ, говоритъ правду. Онъ—цѣпная собака, нападающая съ одинаковою яростью на всякаго, кого она не знаетъ, часто кусающая за икры самаго близкаго друга дома, безполезно лающая и именно вслѣдствіе этой привычки лаять на встрѣчнаго и поперечнаго оставляемая безъ вниманія даже тогда, когда ея лай направленъ на дѣйствительнаго вора. Потому-то знатные воры Англію, не считаютъ нужнымъ бросать лающей кусокъ хлѣба, чтобъ заткнуть ему пасть. Это сердитъ собаку, и она точитъ голодные зубы.

Старый Коббеттъ! Собака Англіи! Я не люблю *тому что* мнѣ противно все грубое; но мнѣ

убины души, когда я вижу, какъ ты не можешь со-
аться съ цѣпи и схватить этихъ воровъ, которые, смѣясь,
отаскиваютъ мимо тебя свою добычу и издѣваются надъ
оими тщетными прыжками и безсильнымъ воемъ.

VIII.
ОППОЗИЦІОННЫЯ ПАРТІИ.

Одинъ изъ моихъ друзей весьма мѣтко сравнилъ оппози-
онную партію въ парламентѣ съ оппозиціоннымъ экипа-
жемъ. Извѣстно, что оппозиціоннымъ экипажемъ на-
вается общественный дилижансъ, который какая-нибудь
екулирующая компанія устраиваетъ на свой счетъ и пускаетъ
ѣзду по такимъ дешевымъ цѣнамъ, что пассажиры охотно
даютъ новому экипажу преимущество передъ прежними.
гда эти послѣдніе видятъ себя въ необходимости тоже по-
зить свою таксу, чтобы удержать своихъ пассажировъ, но
оро являются новые оппозиціонные экипажи, и старые
зоряются такою конкуренціею и, наконецъ, принуждены
всѣмъ перестать ѣздить. Когда же оппозиціонный экипажъ
ержалъ такимъ образомъ побѣду и останется единственнымъ
ипажемъ на извѣстномъ пространствѣ, то онъ начинаетъ
звышать цѣну, часто даже доводитъ ее выше цѣнъ, суще-
зовавшихъ въ вытѣсненныхъ экипажахъ, и бѣдный пас-
киръ не только нечего не выигралъ, но часто еще и про-
ралъ; и платитъ онъ, и проклинаетъ до тѣхъ поръ, пока
вый оппозиціонный экипажъ возобновляетъ прежнюю так-
ку и являются новыя надежды и новыя разочарованія.

Какое высокомѣріе овладѣло вигами, когда партія Стю-
говъ пала и на англійскій престолъ вступила протестант-
ая династія! Торіи составляли въ то время оппозицію, и
конъ Булль, бѣдный государственный пассажиръ, имѣлъ
нованіе заревѣть отъ радости, когда они снова стали во
авѣ правленія. Но радость его была непродолжительна;
ждый годъ ему приходилось выдавать все больше и больше
негъ за проѣздъ, онъ платилъ много, а ѣздилъ скверно,
возчики, сверхъ того, были очень грубы, пассажиры полу-
ли только толчки, около каждой тумбы экипажъ грозилъ
рокинуться — и бѣдный Джонъ возблагодарилъ Господа,
оего Создателя, когда недавно вожжи государственнаго
ипажа попали въ лучшія руки.

Къ сожалѣнію, и эта радость длилась недолго: новый оппозиціонный кучеръ упалъ мертвый съ козелъ, другой боязливо слѣзъ съ нихъ, когда лошади испугались, и тогда старые кучера, старые всадники съ золотыми шпорами, снова заняли свои прежнія мѣста, и прежній бичъ защелкалъ.

Я не хочу расписывать дальше эту картину и возвращаюсь къ словамъ: виги и торіи, которыя я употребилъ выше для обозначенія оппозиціонныхъ партій; нѣкоторое объясненіе этихъ названій будетъ, можетъ-быть, тѣмъ плодотворнѣе, что они уже давно служатъ къ смѣшенію понятій, заключающихся въ нихъ.

Какъ въ средніе вѣка названіе гвельфовъ и гибеллиновъ получали самыя неопредѣленныя и противоположныя значенія каждый разъ, какъ измѣнялись интересы и событія, такъ впослѣдствіи въ Англіи измѣнялось значеніе словъ виги и торіи, способъ происхожденія которыхъ едва ли можетъ быть опредѣленъ съ точностью. Одни утверждаютъ, что прежде это были насмѣшливыя прозвища, сдѣлавшіяся потомъ честными названіями партій; это, впрочемъ, часто случается; такъ, напримѣръ, гезы сами себя назвали насмѣшливымъ именемъ нищихъ — les gueux, какъ впослѣдствіи якобинцы иногда называли сами себя сан-кюлотами, а нынѣшніе сервилисты и обскуранты, можетъ-быть, впослѣдствіи будутъ прилагать къ себѣ эти названія, какъ совершенно почетныя, чего теперь, конечно, они еще сдѣлать не могутъ. Слово «вигъ», повидимому, означало въ Ирландіи нѣчто непріятное, кислое и было употреблено тамъ въ первый разъ для насмѣшки надъ пресвитеріанами или вообще всякой новой сектою. Слово «тори», сдѣлавшееся въ это же время назнаніемъ партіи, означало въ Ирландіи нѣчто въ родѣ грязненькаго вора. Оба эти прозвища съ теченіемъ времени вошли въ употребленіе при Стюартахъ, во время раздоровъ между сектами и господствующею церковью.

По общепринятому мнѣнію, партія торіевъ стоитъ совершенно на сторонѣ трона и защищаетъ права короны, а виги, напротивъ того, склоняются больше на с[illegible] и защищаютъ его права. Но это опредѣленіе [illegible] и держится только въ книгахъ. На эти назва[illegible] бы смотрѣть скорѣе, какъ на названіе узких[illegible] *кружковъ*. Они обозначаютъ людей, котор[illegible] *извѣстныхъ* спорныхъ вопросахъ, которыхъ

же сходились по тому же поводу и которые, во время
итическихъ бурь, обыкновенно переносятъ сообща ра-
гь и бѣдствія и вражду противной партіи. О принци-
ъ здѣсь нѣтъ и рѣчи, члены партіи соглашаются между
ой не насчетъ извѣстныхъ идей, но насчетъ извѣст-
ъ мѣръ въ государственной администраціи, на счетъ
чтоженія или удержанія извѣстныхъ злоупотребленій, на-
гъ извѣстныхъ биллей, извѣстныхъ наслѣдственныхъ
stions все равно, съ какой точки зрѣнія, большею частью
привычкѣ. Англичане не вводятся въ заблужденіе на-
ніями партій. Когда они говорятъ о вигахъ, то не имѣютъ
нихъ такого опредѣленнаго понятія, какое мы, напр.,
емъ о либералахъ, подъ которыми понимаемъ людей, со-
шенно согласныхъ между собою въ мнѣніи объ извѣст-
ъ свободныхъ правахъ; англичане же, говоря о вигахъ,
дставляютъ себѣ внѣшній союзъ людей, изъ которыхъ
ждый, судя по его образу мыслей, могъ бы самъ по себѣ
азовать какъ бы отдѣльную партію и которые, какъ уже
пе замѣчено, сражаются противъ торіевъ только вслѣд-
іе внѣшнихъ причинъ, случайныхъ интересовъ, пріятель-
хъ и враждебныхъ отношеній. При этомъ мы не должны
же представлять себѣ какую-нибудь борьбу противъ ари-
кратовъ въ нашемъ смыслѣ; такъ какъ торіи, по своимъ
ствамъ, не аристократичнѣе виговъ и часто даже не
истократичнѣе самаго сословія гражданъ, которые счи-
тъ аристократію столь же не измѣняемою, какъ солнце,
яцъ и звѣзды, которое смотритъ на привилегіи дворян-
а и духовенства не только какъ на нѣчто полезное го-
арству, но и какъ на природную необходимость, и го-
о, можетъ-быть, драться за эти привилегіи гораздо энер-
нѣе, чѣмъ сами аристократы, именно потому, что оно
ило въ эти права сильнѣе, чѣмъ аристократія, большею
тію потерявшая вѣру въ самое себя. Въ этомъ отноше-
на духѣ англичанъ все еще лежитъ средневѣковая тьма;
щенная идея о гражданскомъ равенствѣ всѣхъ людей
е не освѣтила эту страну, и поэтому многихъ государ-
вныхъ людей Англіи, съ образомъ мыслей торіевъ, мы
въ какомъ случаѣ не должны называть сервилистами и
числять къ тѣмъ извѣстнымъ рабамъ-собакамъ, которыя
ли быть свободными и, несмотря на это, вернулись въ
ю старую собачью конуру и оттуда лаютъ на солнце
боды.

Слѣдствіе *всего этого*, для уразумѣнія англійской опо-

зиціи названія виговъ и торіевъ совершенно безполезны, и справедливо замѣтилъ въ началѣ засѣданій парламента прошедшаго года Францисъ Бердеттъ, что эти названія утратили теперь всякое значеніе, а Томасъ Летбриджъ, котораго Творецъ міра и разума надѣлилъ не особенно большою долею остроумія, сказалъ, однако, по поводу этого замѣчанія Бердетта остроту, можетъ-быть, единственную въ своей жизни: «He has untoried the tories and unwhigged the whigs».

Больше значенія имѣютъ названія reformers, или radical reformers или просто radicals. Обыкновенно всѣ эти три названія считаются однозначущими; подъ всѣми ими подразумѣваются люди, имѣющіе въ виду одно и то же государственное зло, стремящіеся къ одному и тому же устраненію его и отличающіеся между собою только болѣе или менѣе рѣзкою окраской. Это зло заключается въ извѣстномъ дурномъ способѣ народнаго представительства, по которому такъ-называемые rotten boroughs, забытыя, населенныя мѣстности, или, лучше сказать, олигархи, которымъ онѣ принадлежатъ, имѣютъ право посылать въ парламентъ народныхъ представителей, тогда, какъ большіе, населенные города, и именно многіе новые города фабричные, не могутъ избирать ни одного представителя; спасительное устраненіе этого зла заключается въ такъ-называемой парламентской реформѣ. Конечно, на эту послѣднюю смотрятъ не какъ на цѣль, а какъ на средство. Надѣются, что съ помощью ея народъ получитъ возможность лучше защищать свои интересы, уничтожать аристократическія злоупотребленія и помогать себѣ въ стѣснительныхъ обстоятельствахъ. Понятно, что парламентская реформа, это справедливое, законное дѣло, находитъ защитниковъ и въ средѣ умѣренныхъ людей, нимало не похожихъ на якобинцевъ; и когда этихъ людей называютъ reformers, то этому слову придаютъ совсѣмъ иное выраженіе, и въ этихъ случаяхъ оно совершенно противоположно слову radical, которое произносятъ съ совершенно другимъ удареніемъ, когда примѣняютъ его напр., къ Гёнту или Коббетту, и вообще къ тѣмъ рѣзкимъ революціонерамъ, которые требуютъ парламентс
для того, чтобы ниспровергнуть всѣ гражданск
доставить побѣду корыстолюбію и полному господ
Вслѣдствіе этого оттѣнки въ образѣ мыслей ко
партіи неисчислимы. Но, какъ я уже замѣти
очень хорошо знаютъ, съ кѣмъ имѣютъ д

водятъ въ заблужденіе никого и публика отлично понимаетъ, гдѣ борьба производится только для вида и гдѣ она мѣетъ серьезный характеръ. Чисто парламентскіе раздоры ъ продолженіе многихъ лѣтъ ничто иное, какъ праздная гра, турниръ, на которомъ бьются за цвѣтъ, выбранный о простой прихоти; но чуть только начинается война ерьезная, каждый спѣшитъ стать подъ знамя своей естественной партіи. Это мы видѣли во время Каннинга. Саые сильные противники сошлись вмѣстѣ, когда дѣло зало о борьбѣ за положительнѣйшіе интересы, торіи, виги и адикалы сошлись, точно одна фаланга, вокругъ отважнаго ражданина-министра, старавшагося смирить высокомѣріе ригарховъ. Но я все-таки думаю, что ни одинъ высокоодный вигъ, гордо сидѣвшій позади Каннинга, не премигъ бы вступить въ прежнее Фоксгентовское родство, ли бы внезапно рѣчь зашла объ уничтоженіи всѣхъ двоинскихъ правъ. Я думаю—(да проститъ мнѣ Господь этотъ ѣхъ!) — что даже Францисъ Бердеттъ, принадлежавшій юности къ самымъ рѣзкимъ радикаламъ, да и теперь е не считающійся однимъ изъ кроткихъ reformers, тоже спѣшилъ бы въ этомъ случаѣ занять мѣсто подлѣ сэра омаса Летбриджа. Радикалы-плебеи чувствуютъ это очень хошо и потому-то ненавидятъ такъ-называемыхъ виговъ, ворящихъ въ пользу парламентской реформы—ненавидятъ чти больше, чѣмъ прямо враждебныхъ имъ торіевъ.

Въ настоящую минуту англійская оппозиція состоитъ не олько изъ виговъ, сколько изъ reformers въ собственномъ ыслѣ. Глава оппозиціи въ нижнемъ парламентѣ, the lear of the opposition, безспорно принадлежитъ къ этой ртіи. Я говорю о Брумѣ.

Рѣчи этого мужественнаго парламентскаго героя мы ежеевно читаемъ въ газетахъ и поэтому предполагаемъ, что разъ мыслей его извѣстенъ каждому. Менѣе извѣстны чныя характеристическія особенности, проявляющіяся при оизнесеніи этихъ рѣчей; а между тѣмъ, чтобы вполнѣ нимать эти послѣднія, нужно быть знакомымъ съ перами. Поэтому я считаю умѣстнымъ привести здѣсь описаніе исутствія Брума въ парламентѣ, сдѣланное однимъ остронымъ англичаниномъ:

«На первой скамьѣ, по лѣвую руку оратора, сидитъ фира, глядя на которую подумаешь, что она до тѣхъ поръ рпѣла при свѣтѣ своей кабинетной лампы, пока не только ѣтъ *жизни увянулъ въ ней,* но и самая жизненная сила

начала уничтожаться. А между тѣмъ, именно эта, повидимому безпомощная, фигура привлекаетъ на себя взоры всего парламента; и стоитъ ей сдѣлать механическое, автоматическое движеніе для того, чтобы подняться съ мѣста, какъ всѣ стенографы позади насъ схватываются за карандаши и начинаютъ волноваться, вся галлерея плотно наполняется народомъ, и въ боковыя двери тоже тѣснится съ улицы толпа. Внизу, въ залѣ пробуждается такой же интересъ ибо какъ только эта фигура медленно задвигается въ вертикальномъ изгибѣ своего тѣла, или—вѣрнѣе—въ вертикальномъ зигзагѣ неуклюже и крѣпко сплоченныхъ между собой линій,—парочка-другая рьяныхъ крикуновъ по обѣ стороны залы, старавшихся осадить другъ друга, быстро опускается снова на свои мѣста, точно подъ туникой оратора она замѣтила скрытое тамъ духовое ружье.

«Послѣ этого предварительнаго шума и во время мертвой тишины, наступающей за нимъ, Генрихъ Брумъ медленнымъ и осторожнымъ шагомъ приближается къ столу и останавливается тутъ въ согбенномъ положеніи, съ приподнятыми плечами, съ наклоненною впередъ головой; верхняя губа его и ноздри дрожатъ, какъ будто онъ боится произнести слово. Его видъ, вся его фигура напоминаютъ почти одного изъ тѣхъ проповѣдниковъ, которые ораторствуютъ на воздухѣ—проповѣдника не новаго времени, который привлекаетъ къ себѣ праздную толпу въ воскресенье, а древняго, старавшагося сохранять чистоту вѣры и распространять ее въ пустынѣ въ то время, когда ее изгоняли изъ городовъ и даже церквей. Звуки его голоса полны и мелодичны, но они вылетаютъ медленно, осторожно и, какъ представляется, глядя на него, съ большимъ трудомъ, такъ что не знаешь, духовная ли сила этого человѣка не можетъ совладать со своимъ предметомъ, или его физическая сила не позволяетъ ему свободно высказаться. Первый періодъ его рѣчи, или, вѣрнѣе, первые члены этого періода—(потому что съ самаго начала вы замѣчаете, что у него каждый періодъ, по формѣ и содержанію, богаче цѣлыхъ рѣчей другихъ людей)—холодны и неувѣренны, и вообще такъ далеки отъ предмета, о которомъ идетъ споръ, что слушатель не можетъ понять, какъ ораторъ перейдетъ къ этому предмету. Конечно, каждый изъ этихъ періодовъ глубокъ и ясенъ, очевидно выведенъ съ художественною разборчивостью изъ самыхъ отборныхъ матеріаловъ, и къ какой бы отрасли знанія онъ ни принадлежалъ, въ немъ всегда за

ключается чистѣйшая эссенція ея. Чувствуешь, что всѣ они направлены въ извѣстную сторону, и притомъ направлены съ энергическою силою; но эта сила все еще невидима, какъ вѣтеръ, и какъ неизвѣстно, откуда появляется и куда идетъ вѣтеръ, такъ неизвѣстно ея происхожденіе и направленіе.

«Когда же этихъ предварительныхъ положеній окажется достаточное число; когда ораторъ воспользовался всѣми вспомогательными положеніями, которыя человѣческая наука можетъ дать для упроченія заключительнаго вывода; когда каждое возраженіе побѣдоносно отбито однимъ ударомъ; когда все войско политическихъ и нравственныхъ истинъ стоитъ въ боевомъ порядкѣ—тогда оно подвигается впередъ на пути къ рѣшенію, плотно сомкнутое, какъ македонская фаланга, и непреодолимое, какъ войско горцевъ, идущихъ въ штыки.

«Выигравъ одинъ главный періодъ, при этихъ видимыхъ слабости и неувѣренности, за которыми скрываются дѣйствительная сила и твердость, ораторъ расправляетъ ростъ какъ въ тѣлесномъ, такъ и въ нравственномъ отношеніи, и дѣлая болѣе короткое и болѣе отважное нападеніе, завоевываетъ второе главное положеніе. За вторымъ сдается третье, за третьимъ—четвертое, и такъ далѣе до тѣхъ поръ, пока, такъ-сказать, не покорятся всѣ принципы и вся философія спорнаго вопроса, пока каждый изъ сидящихъ въ парламентѣ, имѣющій уши, чтобъ слышать, и сердце, чтобъ чувствовать, не убѣдится въ справедливости услышанныхъ только-что истинъ также непреложно, какъ въ своемъ собственномъ существованіи, такъ что Брумъ, пожелай онъ остановиться здѣсь, уже ради этого могъ бы быть признанъ за безусловно величайшаго логика капеллы св. Стефана. Умственные рессурсы этого человѣка дѣйствительно изумительны, и онъ почти напоминаетъ ту древнесѣверную сказку, въ которой одинъ человѣкъ убилъ первыхъ знатоковъ въ каждой отрасли человѣческаго знанія и вслѣдствіе этого сдѣлался единственнымъ наслѣдникомъ умственныхъ способностей всѣхъ этихъ людей. Каковъ бы ı былъ характеръ предмета—возвышенный или обыденный, отвлеченный или практическій—Генрихъ Брумъ всегда аетъ предметъ, и знаетъ весьма основательно. Другіе мо- ть съ нимъ состязаться, могутъ даже превосходить его › знаніи внѣшнихъ красотъ древней литературы, но нико- е проникнутъ глубже его тою великолѣпною и пламенн-

философіею, которая, какъ драгоцѣнный брильянтъ, блеститъ наружу изъ красивыхъ коробочекъ, завѣщанныхъ намъ древностью. Брумъ не говоритъ яснымъ, грамматически правильнымъ и при этомъ отчасти этикетнымъ языкомъ Цицерона; точно также его рѣчи не похожи по формѣ на рѣчи Демосѳена, хотя имѣютъ почти такую же окраску; но у него нѣтъ недостатка ни въ строго-логическихъ выводахъ римскаго оратора, ни въ страшныхъ гнѣвныхъ выраженіяхъ грека. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что никто не умѣетъ лучше Брума пользоваться въ своихъ парламентскихъ рѣчахъ современными научными свѣдѣніями, такъ что эти рѣчи, даже независимо своихъ политическихъ тенденцій и политическаго значенія, достойны удивленія уже какъ просто лекціи по философіи, литературѣ и искусству.

«Совершенно невозможно, однако, анализировать характеръ этого человѣка въ то время, какъ онъ говоритъ. Когда онъ, какъ уже сказано выше, построитъ зданіе своей рѣчи на хорошей философской почвѣ и на днѣ разума; когда, еще разъ вернувшись, къ этой работѣ, онъ смѣряетъ все отвѣсомъ и аршиномъ, чтобы убѣдиться, что все въ порядкѣ, и точно щупаетъ зданіе исполинской рукою, чтобы удостовѣриться, что оно не шатается; когда онъ свяжетъ мысли всѣхъ слушателей доводами такими же сильными, какъ канаты, порвать которые никто не въ состояніи,— тогда онъ энергически прыгаетъ на свое зданіе, вся его фигура и звукъ голоса вырастаютъ, онъ вызываетъ страсти изъ ихъ сокровеннѣйшихъ уголковъ, онъ покоряетъ и потрясаетъ разинувшихъ ротъ парламентскихъ членовъ и всю залу парламента. Тотъ голосъ, который былъ сначала такъ тихъ и безпритязателенъ, теперь походитъ на оглушительный шумъ и безконечныя волны моря; та фигура, которая, повидимому, падала подъ своей собственной тяжестью, теперь кажется надѣленною стальными нервами и мѣдными мышцами, точно она также безсмертна и непреходяща, какъ истины, только-что высказанныя ею; то лицо, которое сначала было холодно и блѣдно, какъ камень, теперь полно одушевленія и блеска, какъ будто внутренній
человѣка еще могущественнѣе произнесенныхъ
и изъ тѣхъ глазъ, которые сперва смотрѣли на
синими и спокойными зрачками такъ смирен
умоляли о снисхожденіи и прощеніи, теперь
теорный огонь зажигающій во всѣхъ сердца

ное изумленіе. Такъ заканчивается вторая, страстная или декламаторская часть рѣчи.

«Достигнувъ того, что̀ считается верхомъ ораторскаго искусства, какъ бы оглянувшись кругомъ для того, чтобы посмотрѣть съ насмѣшливой улыбкой на вызванное изумленіе, ораторъ снова съеживается, и голосъ его тоже превращается въ самый странный шопотъ какой когда-либо вылеталъ изъ груди человѣка. Эта странная способность умѣрять, или—вѣрнѣе—совсѣмъ ослаблять силу выраженія, голосъ и движенія—способность, которою Брумъ владѣетъ въ такомъ совершенствѣ, какое не встрѣчается ни у какого другого оратора, производитъ удивительное впечатлѣніе, а глубокознаменательныя, торжественныя и почти сквозь зубы произносимыя въ концѣ слова, которыя, однако, явственно слышны до послѣдняго слога, исполнены силы волшебной, неодолимой даже тогда, когда слышишь ихъ въ первый разъ и еще не узналъ ихъ настоящаго значенія и дѣйствія. Но изъ этого охлажденія не слѣдуетъ заключать, что ораторъ или рѣчь его истощились. Эти болѣе спокойные взгляды, эти болѣе глухіе звуки отнюдь не возвѣщаютъ начала такихъ словъ, которыми ораторъ, какъ будто почувствовавъ, что онъ зашелъ слишкомъ далеко, хочетъ снова успокоить своихъ противниковъ. Напротивъ, тогда это съеживаніе тѣла совсѣмъ не признакъ слабости, это пониженіе голоса совсѣмъ не вѣстникъ страха и покорности: это согнулся гладіаторъ, ищущій случая тѣмъ сильнѣе охватить своего противника, это прыжокъ назадъ тигра, для того, чтобы вѣрнѣе устремиться на свою добычу; это знакъ, что Генрихъ Брумъ надѣлъ на себя полное вооруженіе и взялъ въ руки самое сильное оружіе. Въ своихъ доводахъ онъ былъ ясенъ и убѣдителенъ; вызывая, точно волшебникъ, страсти, онъ явился немного высокомѣрнымъ, но въ то же время могущественнымъ и побѣдоноснымъ; теперь же онъ кладетъ на свой лукъ послѣднюю, громаднѣйшую стрѣлу—теперь онъ будетъ страшенъ въ своихъ нападеніяхъ. Горе человѣку, въ котораго этотъ взглядъ, еще недавно столь спокойный и голубой, ударитъ пламенемъ изъ-подъ таинственной темноты этихъ опущенныхъ рѣсницъ! Горе негодяю, которому эти, шопотомъ произнесенныя слова предскажутъ гибель, носящуюся надъ его головою!

«Кто, какъ иностранецъ, сегодня, быть-можетъ, въ первый разъ пришелъ на галлерею парламента, не знаетъ, что̀ *сейчасъ произойдетъ. Онъ* видитъ только человѣка, кото-

рый убѣдилъ его своими доводами, согрѣлъ его своею страстностью и теперь, повидимому, готовится сдѣлать весьма убогій, слабый выводъ этимъ страннымъ шопотомъ. О, новичокъ! если бы ты былъ знакомъ со всѣми явленіями этого собранія и сидѣлъ на такомъ мѣстѣ, откуда тебѣ можно было бы видѣть всѣхъ членовъ парламента, ты скоро замѣтилъ бы, что эти члены думаютъ совсѣмъ не такъ, какъ ты, о слабомъ, убогомъ выводѣ изъ всей рѣчи; ты бы замѣтилъ, какъ многіе, пустившіеся въ плаваніе по этому бурному морю вслѣдствіе духа партіи или высомѣрія, безъ нужнаго балласта и руля, теперь боязливо осматриваются кругомъ, какъ пловецъ на Китайскомъ морѣ въ ту минуту, когда на одной сторонѣ горизонта онъ видитъ мрачное спокойствіе, несомнѣнно возвѣщающее, что черезъ минуту съ другой стороны поднимется тифонъ со своимъ пагубнымъ дыханіемъ; ты бы замѣтилъ, какъ не одинъ умный человѣкъ чуть не плачетъ и объятъ ужасомъ, точно птичка, которая попала въ магическое сосѣдство гремучей змѣи, чувствуетъ съ ужасомъ всю опасность своего положенія и все-таки не можетъ помочь себѣ и съ жалобно-дурацкимъ видомъ идетъ въ руки врага; ты бы замѣтилъ, какъ длинный антагонистъ оратора цѣпляется трясущимися ногами за скамью для того, чтобы приближающаяся буря не унесла его съ собою; или ты бы замѣтилъ, какъ дородный представитель какого-нибудь жирнаго графства уткнулъ оба кулака въ подушку своей скамьи, твердо рѣшившись, въ случаѣ если бы буря выкинула изъ парламента такого важнаго человѣка, какъ онъ, не выпустить, по крайней мѣрѣ, изъ рукъ своего сѣдалища и вылетѣть вмѣстѣ съ нимъ.

«Но вотъ начинается... Слова, произносившіяся такимъ глубокимъ шопотомъ, становятся, мало-по-малу, столь громкими, что покрываютъ даже восторженные клики приверженцевъ оратора; и когда, наконецъ, какой-нибудь несчастный противникъ уже пронизанъ до костей и изувѣченные члены его пробиты всевозможными оборотами рѣчи, тогда тѣло оратора, точно сокрушенное и разбитое мощью его духа, падаетъ на стулъ — и аплодисменты собран теперь раздаваться съ неудержимою силою».

Мнѣ не посчастливилось ни разу видѣть Брум произнесенія такой рѣчи. При мнѣ онъ гово отрывками и о неважныхъ вещахъ, и мнѣ р лось при этомъ видѣть его самого въ лицо.

аго же разу замѣтилъ, что всегда, чуть только онъ начи-
алъ говорить, наступала глубокая, почти боязливая ти-
шина. Приведенное выше изображеніе его нимало не пре-
величено. Фигура Брума, обыкновеннаго мужского роста,
чень худощава; маленькая голова скудно покрыта черными
волосами, плотно прилегающими къ вискамъ. Отъ этой при-
чески блѣдное, продолговатое лицо кажется еще сухощавѣе,
мускулы его постоянно находятся въ судорожномъ, непріят-
номъ движеніи, и кто смотритъ на нихъ, тотъ читаетъ мысли
ратора еще прежде, чѣмъ онѣ высказаны. Это обстоятель-
ство вредитъ его остроумнымъ выходкамъ, потому что для
остротъ и людей, просящихъ денегъ взаймы, выгодно, когда
онѣ застигаютъ врасплохъ. Хотя его черное платье вплоть
до покроя фрака совершенно джентльменно, но это одѣянье
дѣлаетъ его похожимъ на священника. Можетъ-быть, этому
сходству способствуютъ еще болѣе его частое сгибаніе спины
и точно къ чему-то прислушивающаяся, ироническая гиб-
кость всего тѣла. Одинъ изъ моихъ друзей первый обра-
тилъ мое вниманіе на присутствіе въ фигурѣ Брума этого
«клерикальнаго» характера, и это тонкое замѣчаніе подтвер-
ждается вышеприведеннымъ описаніемъ. Меня же прежде
всего поразилъ въ немъ видъ «адвокатскій», особенно по-
тому, что онъ постоянно вытягиваетъ впередъ указательный
палецъ и при этомъ самодовольно киваетъ наклоненною
впередъ головою.

Изумительнѣе всего неутомимая дѣятельность этого чело-
вѣка. Свои парламентскія рѣчи онъ произноситъ послѣ того,
какъ проведетъ часовъ восемь въ своихъ обыкновенныхъ
профессіональныхъ занятіяхъ — адвокатской практикѣ въ
судахъ, или, можетъ-быть, послѣ того, какъ просидитъ по-
ловину ночи надъ сочиненіемъ статей для «Edinburgh Re-
view», или исправленіемъ законовъ о народномъ образова-
ніи и уголовныхъ. Первый трудъ — по народному образова-
нію, конечно, принесетъ когда-нибудь прекрасные плоды.
Второй — уголовное законодательство, которымъ Брумъ и
Пиль занимаются теперь болѣе всего, можетъ-быть, самое
полезное и, по крайней мѣрѣ, необходимѣйшее дѣло для
Англіи, потому что уголовные законы Англіи еще безчело-
вѣчнѣе, чѣмъ ея олигархи. Началомъ своей знаменитости
Брумъ обязанъ процессу королевы. Онъ сражался, какъ
рыцарь за эту женщину, и, само собою разумѣется, что
Георгъ IV никогда не забудетъ услугъ, оказанныхъ Бру-
омъ его милой женѣ. Потому-то, когда въ прошедшемъ

апрѣлѣ побѣда осталась за оппозиціею, Брумъ, все-таки, не вступилъ въ министерство, хотя въ этомъ случаѣ ему, какъ leader of the opposition, право этого вступленія принадлежало по древнему обычаю.

IX.

ЭМАНСИПАЦІЯ.

Если вы заговорите о политикѣ съ глупѣйшимъ англичаниномъ, онъ всегда сумѣетъ сказать вамъ что-нибудь умное. Но чуть заведется разговоръ о религіи, умнѣйшій англичанинъ не наговоритъ вамъ ничего, кромѣ глупостей. Оттого, чуть поднимается въ парламентѣ вопросъ объ эмансипаціи католиковъ, спорный вопросъ, въ которомъ политика сталкивается съ религіей, начинается совершенная спутанность понятій, смѣшеніе мудрости и безсмыслицы. Въ парламентскихъ совѣщаніяхъ своихъ англичане рѣдко имѣютъ возможность высказать принципъ; они только обсуживаютъ пользу или вредъ дѣла и приводятъ факты—одни pro, другіе contra.

Но фактами можно только сражаться, а не побѣждать, тутъ происходитъ только матеріальная битва, и зрѣлище подобнаго боя приводитъ намъ на память извѣстныя битвы pro patria нѣмецкихъ студентовъ, имѣющія результатомъ только то, что было сдѣлано столько-то и столько ходовъ, нанесено столько-то квартъ и терцъ, и все-таки, ничего ими не доказано.

Въ 1827 году, что̀ понятно само собою, возобновилась въ Вестминстерѣ битва между эманципасіонистами и оранскою партіею и, что̀ также само собою понятно, изъ этого ничего не вышло. Лучшими бойцами эмансипаціи были: Бердеттъ, Пленкетъ, Брумъ и Каннингъ. Противники ихъ, исключая сэра Пиля, были снова извѣстные или, лучше сказать, неизвѣстные охотники за лисицами.

Искони умнѣйшіе государственные люди Англіи стояли за гражданское равенство католиковъ, какъ по в чувству справедливости, такъ и по политическо Самъ Питтъ, изобрѣтатель стабилитарной сист сторону католиковъ. Точно также Беркъ, вели *свободы*, не могъ до такой степени подавить *сердца*, чтобы дѣйствовать противъ Ирланді

даже и тогда, когда онъ еще былъ рабомъ торіевъ, не могъ смотрѣть безъ волненія на бѣдствія Ирландіи, и на сколько были дороги ему ея интересы, это онъ съ совершенно трогательною наивностью высказалъ въ ту пору, когда его обвиняли въ вяломъ равнодушіи. Несомнѣнно, что великій человѣкъ, для достиженія великихъ цѣлей, можетъ часто дѣйствовать противъ своего убѣжденія и двусмысленно переходить отъ одной партіи къ другой; не надо забывать, что тотъ, кто хочетъ удержаться на извѣстной высотѣ, долженъ точно такъ же подчиняться обстоятельствамъ, какъ пѣтухъ на башнѣ, который, хотя и сдѣланъ изъ желѣза, но можетъ быть сломанъ и сброшенъ внизъ каждымъ сильнымъ вѣтромъ, если будетъ съ упрямствомъ стоять неподвижно и не пойметъ благороднаго искусства вертѣться, куда вѣтеръ дуетъ. Но никогда великій человѣкъ не отречется отъ чувствъ своей души до того, чтобы смотрѣть съ равнодушнымъ спокойствіемъ на бѣдствія своихъ соплеменниковъ и даже стараться усиливать ихъ. Какъ любимъ мы мать свою, такъ любимъ и землю, на которой родились, любимъ цвѣты, запахъ, языкъ и людей, которыхъ произвела эта земля, и никакая религія не на столько дурна, никакая политика не на столько хороша, чтобы уничтожить эту любовь въ сердцахъ своихъ послѣдователей. Беркъ и Каннингъ, хотя были тори и протестанты, но никакъ не могли возстать противъ бѣдной зеленой Ирландіи: ирландцы, распространяющіе страшное бѣдствіе и неописанное горе по всей своей отчизнѣ, люди— какъ Кестльри и Веллингтонъ.

Что масса англійскаго народа настроена противъ католиковъ и ежедневно требуетъ у парламента ограниченія ихъ правъ—это совершенно въ порядкѣ вещей. Въ человѣческой натурѣ лежитъ такая жажда угнетенія, и когда мы сами, что̀ теперь постоянно случается, жалуемся на гражданское неравенство, то взоры наши обращены кверху, и мы видимъ только тѣхъ, которые стоятъ надъ нами и которыхъ преимущества насъ оскорбляютъ. Внизъ при подобныхъ жалобахъ мы никогда не смотримъ, и намъ и въ голову не приходитъ тѣхъ, которые, вслѣдствіе укоренившейся несправедливости, стоятъ еще ниже насъ, поднять до насъ; мы даже злимся, когда они тоже стараются взлѣзть на высоту, и мы бьемъ ихъ по головѣ. Креолъ добивается правъ европейца, но надменно смотритъ на мулата и пылаетъ гнѣвомъ, когда тотъ хочетъ сравняться съ нимъ. Точно также поступаетъ мулатъ съ местицомъ, а этотъ опять съ негромъ.

Франкфуртскаго мѣщанина сердятъ привилегіи дворянства; но онъ сердится еще болѣе, когда его убѣждаютъ согласиться на эмансипацію евреевъ. У меня есть въ Польшѣ другъ, бредящій свободою и равенствомъ, но до сихъ поръ не отпускающій своихъ крестьянъ на волю.

Что касается англійскаго духовенства, то не зачѣмъ объяснять, почему съ этой стороны католики претерпѣваютъ преслѣдованіе. Преслѣдованіе иновѣрцевъ вездѣ составляетъ монополію духовенства, и англиканская церковь тоже строго удерживаетъ за собою это право. Конечно, десятинные сборы для нея главная вещь; чрезъ эмансипацію католиковъ она бы лишилась большей части своихъ доходовъ, а жертвованіе собственными интересами — талантъ, котораго одинаково лишены проповѣдники любви, какъ и грѣшные міряне. Къ этому присоединяется еще то обстоятельство, что та славная революція, которой Англія обязана большею долею своей теперешней свободы, произошла изъ религіознаго, протестантскаго рвенія — обстоятельство, которое налагаетъ на англичанъ какъ бы еще бо̀льшую обязанность быть благодарными господствующей протестантской церкви и считать ее главнымъ оплотомъ своей свободы. Многія боязливыя души изъ числа этихъ людей, можетъ-быть, дѣйствительно боятся католицизма и возстановленія его и вспоминаютъ о смитфильдскихъ кострахъ—а обжегшійся ребенокъ боится огня. Есть также трусливые парламентскіе члены, боящіеся новаго порохового заговора (большею частью пороха боятся тѣ, кто не выдумалъ его), и этимъ людямъ часто кажется, что зеленыя скамейки, на которыхъ они сидятъ въ капеллѣ св. Стефана, мало-по-малу становятся все горячѣе и горячѣе, и когда какой-нибудь ораторъ, что̀ часто случается, произнесетъ имя Гюи Фоукса, они боязливо восклицаютъ: «Hear him, hear him»! Наконецъ, что касается геттингенскаго ректора, занимающаго въ Англіи должность короля, то каждому извѣстна его умѣренная политика: онъ не принимаетъ сторону ни одной партіи, онъ съ удовольствіемъ видитъ, что обѣ онѣ взаимно ослабляютъ себя этою борьбою, онъ улыбается по давнему обычаю, когда онѣ миролюбиво ухаживаютъ за нимъ, онъ знаетъ все
лаетъ ничего, и въ худшемъ случаѣ предоставл
усмотрѣніе своего оберъ-тутора Веллингтона.

Читатели простятъ мнѣ, что я говорю въ
комъ тонѣ о спорномъ вопросѣ, отъ разрѣш
зависитъ благо Англіи, а вслѣдствіе всего

быть, косвенно и благо цѣлаго міра. Но именно, чѣмъ важнѣе предметъ, тѣмъ веселѣе надо разсуждать о немъ: кровавыя сѣчи въ сраженіяхъ, страшное точеніе косы смерти были бы невыносимы, если бы при этомъ не раздавалась оглушающая турецкая музыка съ ея веселыми трубами и литаврами. Англичане понимаютъ это, и оттого ихъ парламентъ представляетъ свѣтлое зрѣлище откровеннѣйшаго остроумія и остроумнѣйшей откровенности. При самыхъ серьезныхъ дебатахъ, въ которыхъ рѣшается вопросъ о жизни тысячи людей и спасеніи цѣлыхъ странъ, никому изъ присутствующихъ, однако, не приходитъ въ мысль состроить нѣмецко-надутую депутатскую физіономію или приняться за французско-патетическую декламацію, и духъ ихъ, какъ и тѣло, двигается тутъ совершенно непринужденно, шутка, самоосмѣяніе, сарказмы, добродушіе и мудрость, лукавство и доброта, логика и стихи — все это ключомъ вырывается наружу въ самыхъ разноцвѣтныхъ краскахъ, такъ что парламентскія лѣтописи и для послѣдующихъ поколѣній представляютъ самое умнѣйшее чтеніе. Какая противоположность съ мрачными, клякспапирными рѣчами нашихъ южногерманскихъ палатъ, скуку которыхъ не можетъ преодолѣть самый терпѣливый чтецъ газетъ, и въ которыхъ даже запахъ можетъ заставить бѣжать здороваго читателя, такъ что поневолѣ думаешь, что эта скука нагнана съ тайнымъ умысломъ, чтобы отвадить большинство публики отъ чтенія отчетовъ въ засѣданіяхъ и такимъ образомъ, несмотря на гласность ихъ, въ сущности держать ихъ въ тайнѣ.

Такимъ образомъ, если способъ обсужденія католическаго спорнаго вопроса англійскимъ парламентомъ и не таковъ, чтобы приводить къ результатамъ, то, все-таки, чтеніе этихъ дебатовъ тѣмъ интереснѣе, что факты всегда занимательнѣе отвлеченностей, и особенно забавно, когда разсказывается выдуманная параллельная исторія, въ которой остроумно осмѣивается какой-нибудь современный, опредѣленный случай и которая, именно этимъ способомъ, счастливѣйшимъ образомъ иллюстрируетъ его. Уже при дебатахъ о тронной рѣчи, 3-го февраля 1825 года, слышали мы въ верхнемъ парламентѣ одну подобную параллельную исторію, какъ я выше назвалъ ихъ, которую я здѣсь буквально перевожу. (См. Parliamentary history and review during the session of 1825—1826):

«Лордъ Кингъ *замѣтилъ*, что если Англія и можетъ на*зваться цвѣтущею и* счастливою, то не надо, однако, забы-

вать, что по ту сторону ирландскаго канала живутъ шесть милліоновъ католиковъ въ совершенно иномъ положеніи и что тамошнее дурное управленіе составляетъ позоръ для нашего столѣтія и для всѣхъ бриттовъ. Весь міръ, сказалъ онъ, теперь слишкомъ уменъ для того, чтобы прощать правительствамъ, которыя изъ-за религіозной нетерпимости угнетаютъ своихъ подданныхъ или лишаютъ ихъ того или другого права. Ирландія и Турція—кажется, единственныя страны Европы, гдѣ цѣлое населеніе угнетено и преслѣдуемо только вслѣдствіе его вѣроисповѣданія. Великій султанъ старался обратить грековъ такимъ же точно способомъ, какимъ англійское правительство обращало ирландскихъ католиковъ, но безъ успѣха. Когда несчастные греки жаловались на свои страданія и униженно просили, чтобъ съ ними обращались хоть немного лучше, чѣмъ съ магометанскими собаками, тогда султанъ позвалъ своего великаго визиря, чтобы посовѣтоваться съ нимъ. Этотъ великій визирь былъ сначала другомъ султанши, а потомъ сталъ врагомъ ея. Вслѣдствіе этого онъ потерялъ въ значительной степени расположеніе своего государя и долженъ былъ не разъ испытывать неповиновеніе даже въ своемъ собственномъ Диванѣ, отъ своихъ собственныхъ чиновниковъ и слугъ *(Смѣхъ)*. Онъ былъ врагъ грековъ. Вторымъ лицомъ въ Диванѣ, по вліянію, былъ Рейсъ-Эффенди, который смотрѣлъ дружелюбно на справедливыя требованія этого несчастнаго народа. Рейсъ-Эффенди занималъ должность министра иностранныхъ дѣлъ, и политика его заслуживала и встрѣчала повсемѣстное одобреніе. На этомъ поприщѣ онъ выказалъ необыкновенный либерализмъ и большія дарованія, сдѣлалъ много добра, придалъ правленію султана большую популярность и совершилъ бы еще больше, если бъ не былъ стѣсняемъ во всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ своими менѣе просвѣщенными сослуживцами. Въ самомъ дѣлѣ, это былъ единственный истинно-геніальный человѣкъ въ цѣломъ Диванѣ *(Смѣхъ)*, и его считали украшеніемъ турецкаго государственнаго управленія, такъ какъ онъ былъ, кромѣ того, одаренъ и поэтическимъ талантомъ. Кіайа-бей, министръ внутреннихъ дѣлъ, и Капу
были опять противниками грековъ; но главою
зиціи противъ притязаній этого народа былъ о
или глава магометанскаго вѣроисповѣданія *(См*
сановникъ былъ врагомъ всякихъ нововведеній.
возставалъ противъ всѣхъ улучшеній въ торговлѣ

пеній юстиціи, всѣхъ улучшеній во внѣшней политикѣ *(Смѣхъ)*. Онъ каждый разъ выказывалъ и объявлялъ себя величайшимъ поборникомъ существующихъ злоупотребленій. Онъ былъ самый совершенный интриганъ въ цѣломъ Диванѣ *(Смѣхъ)*. Въ прежнее время онъ сталъ на сторону султанши, но какъ только замѣтилъ, что можетъ черезъ это потерять свое мѣсто въ Диванѣ, то тотчасъ же обратился противъ нея, даже перешелъ къ ея врагамъ. Однажды было сдѣлано предложеніе — принять нѣсколькихъ грековъ въ составъ регулярныхъ труппъ или янычаровъ; но оберъ-муфти поднялъ противъ этого такой неистовый крикъ — подобно нашему крику: No popery — что тѣ, которые предложили эту мѣру, должны были выйти изъ Дивана. Оберъ-муфти одержалъ верхъ и, какъ только это случилось, объявилъ себя за ту самую вещь, противъ которой до того ревностно ратовалъ *(Смѣхъ)*. Онъ заботился о совѣсти султана и своей собственной; но было замѣчено, что его совѣсть никогда не была въ оппозиціи съ его интересами *(Смѣхъ)*. Изучивъ самымъ основательнымъ образомъ турецкую конституцію, онъ нашелъ, что она, по существу своему, магометанскаго характера *(Смѣхъ)* и поэтому должна быть враждебна всѣмъ преимуществамъ грековъ. Вслѣдствіе этого онъ рѣшился твердо поддерживать дѣло нетерпимости и скоро присоединилъ къ себѣ муллъ, имамовъ и дервишей, которые стали помогать ему въ его благородныхъ дѣйствіяхъ. Чтобы довершить картину этихъ раздоровъ въ Диванѣ, упомянемъ еще, что члены его условились между собою быть согласными въ однихъ спорныхъ вопросахъ и не согласными въ другихъ, не нарушая своего соединенія. Когда же увидѣли все зло, происходившее отъ такого Дивана, когда увидѣли, что мусульманская имперія должна погибнуть именно чрезъ эту нетерпимость къ грекамъ и эти междуусобныя распри, то пришлось молиться небу о сохраненіи отечества отъ такого кабинетнаго раскола».

Не нужно было имѣть особую проницательность, чтобы угадать, какія лица являлись здѣсь скрытыми подъ турецкими именами; еще менѣе нужно объяснять сухими словами мораль этой исторіи. Наваринскія пушки достаточно громко высказали ее, и когда со временемъ падетъ Высокая Порта—а пасть она непремѣнно должна, несмотря на полномоченныхъ лакеевъ Перы, не обращающихъ вниманія на негодованіе народовъ, — тогда Джонъ Буллъ подумаетъ въ *душѣ: «вымышленными* именами о тебѣ говорилъ

сказка». Нѣчто подобное можетъ предчувствовать Англія и теперь, когда лучшіе публицисты ея высказываются противъ войны, вмѣшательства и очень наивно увѣряютъ, что европейскіе народы имѣли бы такое же право вступиться за ирландскихъ католиковъ и заставить англійское правительство лучше обращаться съ ними. Этимъ доводомъ, какъ имъ кажется, они опровергаютъ право вмѣшательства, а на самомъ дѣлѣ только еще явственнѣе иллюстрируютъ его. Конечно, европейскіе народы имѣли бы священнѣйшее право встать вооруженною рукою за бѣдствія Ирландіи, и, конечно, это право осуществилось бы, если бы сила не была на сторонѣ несправедливости. Теперь уже сами народы, а не властители ихъ — герои новаго времени, и эти герои тоже заключили священный союзъ, и не отступаютъ другъ отъ друга тамъ, гдѣ дѣло идетъ объ общемъ правѣ, о правѣ народовъ на религіозную и политическую свободу, и связаны они между собою идеею, за нее поклялись стоять они, за нее истекали кровью, и сами превратились въ идею. И отъ этого такъ одинаково болѣзненно вздрагиваютъ всѣ народныя сердца, когда гдѣ бы то ни было, хоть на крайнемъ концѣ вселенной, оскорбляется идея.

Но я отступаю отъ моей темы. Мнѣ хотѣлось разсказать о старыхъ парламентскихъ шуткахъ — а современная исторія такова, что каждую шутку она сейчасъ же обращаетъ въ серьезное. Выберу штучку еще повеселѣе предъидущей — именно рѣчь, которую Спрингъ Райсъ произнесъ 26 мая того же самаго 1825 г. въ нижнемъ парламентѣ и въ которой онъ забавнѣйшимъ образомъ осмѣялъ боязнь протестантовъ, чтобы католики какъ-нибудь не одержали верхъ надъ ними (См. Parliamentary history and review etc. Pag. 252).

«Anno 1753 — сказалъ онъ,—въ парламентъ былъ внесенъ билль о натурализаціи евреевъ—мѣрѣ, противъ которой въ настоящее время въ нашей странѣ ничего не возразила бы даже любая старая баба, но которая въ ту пору встрѣтила сильнѣйшее противодѣйствіе и имѣла послѣдствіемъ множество прошеній изъ Лондона и другихъ мѣстъ въ такомъ же родѣ, какъ получаемыя теперь при обсужденіи билля о католикахъ. Въ прошеніи лондонскихъ гражданъ говорилось: «Если бы упомянутый билль о евреяхъ *получилъ* законную санкцію, то это породило бы страшную опасность для христіанской религіи, онъ погубилъ бы

государство и нашу святую церковь *(Смѣхъ)* и въ высшей степени повредилъ бы интересамъ торговли вообще и города Лондона въ особенности *(Смѣхъ)*». Несмотря, однако, на этотъ строгій доносъ, канцлеръ казначейства нашелъ, что дѣло обошлось безъ этихъ ужасныхъ послѣдствій, когда евреевъ допустили въ Сити и даже въ Доунингъ-стритъ *(Смѣхъ)*. Журналъ «Энергическій Человѣкъ», указывая на безчисленныя бѣдствія, которыя должна была повлечь за собой вышеупомянутая мѣра, разразился въ своемъ доносѣ слѣдующими словами: «Я долженъ просить позволенія подробно изложить послѣдствія этого билля. У Бога есть милосердіе, но евреямъ всякое милосердіе чуждо, и они отомстятъ намъ за 1700 лѣтъ своего униженія. Если этотъ билль пройдетъ, мы всѣ сдѣлаемся рабами евреевъ — и безъ всякой надежды на спасеніе посредствомъ милости Божьей. Государь станетъ подданнымъ евреевъ и перестанетъ обращать вниманіе на свободныхъ землевладѣльцевъ. Онъ уволитъ въ отставку нашихъ британскихъ солдатъ и образуетъ болѣе многочисленную армію изъ евреевъ, которая принудитъ насъ отречься отъ нашей королевской фамиліи и вмѣстѣ съ тѣмъ натурализоваться подъ скипетромъ еврейскаго короля. Проснитесь же поэтому, мои христіанскіе и протестантскіе братья! Не Аннибалъ предъ вашими воротами, а евреи — и они требуютъ ключей отъ дверей вашихъ храмовъ. *(Громкій и продолжительный смѣхъ)*. При дебатахъ по поводу этого билля въ нижнемъ парламентѣ одинъ западный баронъ *(Смѣхъ)* объявилъ, что если мы допустимъ натурализацію евреевъ, то подвергнемся опасности уступить имъ въ парламентѣ большинство голосовъ. «Они—такъ сказалъ онъ,—распредѣлятъ наши графства между своими племенами и продадутъ наши помѣстья съ аукціона *(Смѣхъ)*. Другой членъ парламента былъ того мнѣнія, что «если билль пройдетъ, то евреи размножатся такъ быстро, что займутъ самую большую часть Англіи и отымутъ отъ народа какъ земли его, такъ и власть». Депутатъ отъ Лондона, сэръ Джонъ Бернардъ, взглянулъ на предметъ съ болѣе глубокой, теологической точки зрѣнія— той, которая нашла себѣ полное повтореніе въ недавнемъ прошеніи изъ Лейчестера, гдѣ подписавшіеся упрекаютъ католиковъ въ томъ, что они потомки людей, сжегшихъ ихъ предковъ,—и такимъ же образомъ,—воскликнулъ нашъ депутатъ,—«евреи *потомки* распявшихъ Спасителя и за это проклятыя *Богомъ во всѣхъ* послѣдующихъ поколѣніяхъ до

послѣдняго внука». По объясненію Спринга Райса, онъ приводитъ эти цитаты, чтобы показать, что всѣ эти старые крики и вопли были столько же основательны, сколько теперешніе по отношенію къ католикамъ. *(Слушайте, слушайте!)* Во время билля о евреяхъ издавалась шуточная «Еврейская Газета», въ которой было, между прочимъ, напечатано слѣдующее сообщеніе: «Послѣ выхода нашего предыдущаго нумера получена здѣсь почта изъ Іерусалима. На прошедшей недѣлѣ въ повивальномъ заведеніи въ Броунлоуской улицѣ было совершено публичное обрѣзаніе двадцати пяти мальчиковъ. Вчера вечеромъ въ Синедріонѣ была отвергнута большинствомъ голосовъ натурализація христіанъ. Слухъ о возмущеніи христіанъ въ Нордъ-Уэльсѣ оказался совершенно неосновательнымъ. Въ прошедшую пятницу ежегодное празднованіе распятія Христа прошло очень весело». Вотъ въ такомъ родѣ и во всѣ времена, при обсужденіи билля о евреяхъ, какъ и при обсужденіи билля о католикахъ, возбуждался самыми безсмысленными средствами въ высшей степени смѣшной оппозиціонный шумъ, и когда мы изслѣдуемъ причины подобнаго оранья, то находимъ, что онѣ всегда были однѣ и тѣ же. Знакомясь съ причинами оппозиціи противъ билля о евреяхъ въ 1753 г., мы встрѣчаемъ заявленіе, сдѣланное въ парламентѣ лордомъ Чатамомъ, какъ первымъ авторитетомъ, что «какъ онъ, такъ и большинство другихъ джентльменовъ убѣждены, что собственно религіи нѣтъ никакого дѣла до этого спорнаго вопроса и только духу преслѣдованія старой высокой церкви (the old high church's persecuting spirit) удалось увѣрить народъ въ противоположномъ». *(Слушайте, слушайте!)* То же самое творится и въ настоящемъ случаѣ, и тутъ снова ничто иное, какъ жажда исключительной власти и обладанія всѣми привилегіями, побуждаютъ старую высокую церковь настраивать народъ противъ католиковъ; Спрингъ Райсъ убѣжденъ, что многіе, пускающіе въ ходъ эти средства, тоже знали очень хорошо, какъ мало принималась во вниманіе религія при спорахъ по поводу послѣдняго билля о католикахъ — конечно, мало на столько же, какъ при билляхъ о регулированіи мѣръ и вѣсовъ, или объ опредѣленіи длины маятника по числу его колебаній. Относительно билля о евреяхъ в тогдашней Гардвикской газетѣ тоже находится письмо д *тора Бирча* къ сэру Филиппу Іорку, гдѣ первый заявл *что весь* этотъ шумъ по поводу билля о евреяхъ и

исключительною цѣлью оказать вліяніе на предстоящіе выборы въ парламентъ. *(Слушайте! Смѣхъ).* Въ то время случилось то, что иногда случается и въ наше время — одинъ разсудительный епископъ, именно норвичскій, выступилъ въ защиту еврейскаго билля. Д-ръ Бирчъ разсказываетъ, что за такое поведеніе этотъ епископъ, по возвращеніи въ свою епархію, подвергнулся публичнымъ оскорбленіямъ; «когда онъ поѣхалъ въ Ипсвичъ, чтобы конфирмовать тамъ нѣсколькихъ юношей, то по дорогѣ его осыпали насмѣшками и требовали, чтобы онъ совершалъ обрѣзанія»; объявили также, что «въ слѣдующую субботу г. епископъ будетъ конфирмовать евреевъ, а день спустя — обрѣзать христіанъ». *(Смѣхъ).* Такимъ образомъ, крики противъ либеральныхъ мѣръ были во всѣ времена одинаково неразумны и грубы *(Слушайте его! Слушайте его!)* Вышеупомянутыя опасенія относительно евреевъ надо сравнить съ тѣмъ шумомъ, который былъ возбужденъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ биллемъ о католикахъ. Боязнь опасности, долженствовавшей, будто бы, появиться въ случаѣ предоставленія большей власти католикамъ, была такая же нелѣпая. Власть дѣлать зло, если бы католики были къ тому склонны, отнюдь не могла быть дана имъ въ такой высокой степени, въ какой они пріобрѣли ее теперь именно вслѣдствіе угнетенія ихъ. Это-то угнетеніе и есть причина, почему такіе люди, какъ О'Коннелль и Шейль, сдѣлались столь вліятельными. Назначеніе этихъ лицъ въ парламентъ устроено не съ цѣлью сдѣлать ихъ подозрительными; напротивъ, ихъ должно уважать, и они оказали услуги отечеству; но, все-таки, было бы лучше, если бы власть находилась въ законахъ, а не въ рукахъ отдѣльныхъ лицъ, какъ бы ни были достойны почтенія эти люди. Настанетъ время, когда на сопротивленіе парламента такому предоставленію правъ будутъ смотрѣть не только съ изумленіемъ, но и съ презрѣніемъ. Религіозная мудрость прежнихъ вѣковъ часто была предметомъ презрѣнія послѣдующихъ поколѣній! *(Слушайте! Слушайте!).*

. . . . . .

. . . . . .

X.

ВЕЛЛИНГТОНЪ.

Человѣкъ этотъ имѣетъ несчастіе быть счастливымъ вездѣ, гдѣ величайшіе люди міра были несчастливы—и это возмущаетъ насъ и заставляетъ ненавидѣть его. Мы видимъ въ немъ только побѣду глупости надъ геніемъ — Артуръ Веллингтонъ торжествуетъ тамъ, гдѣ погибаетъ Наполеонъ Бонапарте! Ни къ одну человѣку фортуна не была такъ иронически благосклонна: поднявъ его на щитъ побѣды, она, какъ будто, хотѣла показать всему міру его пустое ничтожество. Фортуна—женщина, и по женской натурѣ своей она, можетъ-быть, тайно сердится на человѣка, который свергнулъ ея прежняго любимца, хотя это паденіе совершилось по ея собственной волѣ. Теперь, при эмансипаціи католиковъ, она снова даетъ ему побѣду, и еще въ той битвѣ въ которой палъ Георгъ Каннингъ. Можетъ-быть, мы и любили бы Веллингтона, если бъ предшественникомъ его въ министерствѣ былъ жалкій Лондондерри; но теперь онъ былъ преемникомъ благороднаго Каннинга, многооплаканнаго, обожаемаго, великаго Каннинга—и онъ побѣждаетъ тамъ, гдѣ Каннингъ палъ. Безъ такого несчастія счастія Веллингтонъ могъ бы, пожалуй, сойти за великаго человѣка, его бы не ненавидѣли, не мѣряли бы аккуратно, по крайней мѣрѣ не тѣмъ героическимъ масштабомъ, которымъ мѣряютъ Наполеона и Каннинга, и не узнали бы, какой онъ маленькій человѣкъ.

Онъ маленькій человѣкъ, и еще меньше, чѣмъ маленькій. Французы не могли злѣе оскорбить Полиньяка, какъ сказавъ: «онъ Веллингтонъ безъ славы». Въ самомъ дѣлѣ, что останется у Веллингтона, если снять съ него фельдмаршальскій мундиръ славы?

Я представилъ здѣсь лучшую апологію (въ англійскомъ значеніи этого слова) лорда Веллингтона. Но вы удивитесь, конечно, когда я откровенно сознаюсь, что разъ я даже разсыпался въ похвалахъ этому герою. Это хорошая исторія, и я раскажу вамъ ее.

Мой цырюльникъ въ Лондонѣ былъ радикалъ, и мистеръ Уайтъ, маленькій, бѣдный человѣкъ въ по черномъ платьѣ съ бѣлымъ оттѣнкомъ; онъ былъ т что фасъ его лица казался только профилью можно было видѣть въ груди прежде, чѣмъ о

ттуда. Вздыхалъ же онъ о несчастіи старой Англіи и о невозможности когда-нибудь уплатить народный долгъ.

— Ахъ!—говорилъ онъ обыкновенно, вздыхая:—къ чему было англійскому народу заботиться о томъ, кто царствуетъ о Франціи и что французы дѣлаютъ у себя дома? Но высокое дворянство и высокая церковь боялись свободныхъ принциповъ французской революціи, и для того, чтобы подавить эти принципы, Джона Булля заставили отдавать свою кровь и свои деньги, да вдобавокъ еще входить въ долги. Теперь цѣль войны достигнута, революція подавлена, французскихъ орловъ свободы подрѣзаны крылья, высокое дворянство и высокая церковь могутъ быть теперь спокойны, что ни одинъ изъ этихъ орловъ не перелетитъ черезъ каналъ, и высокому дворянству и высокой церкви слѣдовало бы, по крайней мѣрѣ, заплатить долги, которые сдѣланы собственно для нихъ, а не для бѣднаго народа. Ахъ, бѣдный народъ!..

Каждый разъ, какъ мистеръ Уайтъ произносилъ слова: «бѣдный народъ!», онъ вздыхалъ еще глубже, и постояннымъ припѣвомъ къ этимъ словамъ было, что хлѣбъ и порѣзъ сильно вздорожали, и что бѣдный народъ долженъ голодать, чтобы кормить толстыхъ лордовъ, охотничьихъ собакъ и пасторовъ, и что помочь этому есть только одно средство. При этомъ онъ обыкновенно начиналъ точить бритву и, проводя ею по ремню, медленно и сердито повторялъ: «лорды, собаки, пасторы!»

Но радикальный гнѣвъ его разражался съ самою большою силою при воспоминаніи о duke of Wellington; онъ изрыгалъ ядъ и пѣну, чуть начиналъ говорить о немъ, и при этомъ намыливалъ мнѣ щеки съ пѣнистою яростью. Разъ мнѣ даже стало страшно: онъ брилъ меня около самой шеи и, въ то же время разсыпаясь въ ругательствахъ на Веллингтона, постоянно бормоталъ: «будь онъ у меня теперь подъ бритвой, какъ вы, я бы избавилъ его отъ труда самому перерѣзать себѣ горло, какъ сдѣлалъ это его сослуживецъ и землякъ Лондондерри, въ Нортъ-Крей, въ графствѣ Кентъ,—будь онъ проклятъ!»

Я уже чувствовалъ, какъ рука этого человѣка дрожала, и изъ боязни, чтобы онъ не вообразилъ себѣ вдругъ, что я duke of Wellington, сталъ удерживать его порывы и усмирять его. Я затронулъ его національную гордость, представивъ ему, что Веллингтонъ споспѣшествуетъ славѣ англичанъ, что онъ всегда былъ только невинною машиною въ

третьихъ рукахъ, что онъ очень любитъ бифштексъ, и что, наконецъ... Богъ знаетъ, чего я еще не наговорилъ о Веллингтонѣ въ то время, какъ бритва лежала у моего горла.

Что меня больше всего возмущаетъ, такъ это мысль, что Артуръ Веллингтонъ будетъ почти такъ же безсмертенъ, какъ Наполеонъ Бонапарте. Вѣдь осталось же незабвеннымъ имя Понтія Пилата!.. Веллингтонъ и Наполеонъ! Удивительный это феноменъ, что человѣческій умъ можетъ думать объ этихъ двухъ людяхъ въ одно и то же время. Никакія вещи не могутъ быть такъ противоположны, какъ эти два лица, даже во внѣшнемъ ихъ проявленіи. Веллингтонъ, глупый призракъ, съ пепельно-сѣрой душою въ клеенчатомъ тѣлѣ, съ деревянною улыбкою на замороженномъ лицѣ,—и рядомъ съ нимъ образъ Наполеона, божества отъ головы до ногъ!

Этотъ образъ никогда не выходитъ изъ моей памяти. Я все еще вижу его на конѣ, съ вѣчными глазами на мраморномъ императорскомъ лицѣ, спокойно, какъ судьба, смотрящаго на мимо проходящую гвардію... въ то время онъ посылалъ ее въ Россію, и старые гренадеры смотрѣли на него, такъ страшно преданные, такъ сознательно серьезные, такъ мертвенно гордые...

Te, Caesar, morituri salutant!

Иногда прокрадывается въ меня тайное сомнѣніе, дѣйствительно ли я видѣлъ его самого, дѣйствительно ли мы были его современниками, и тогда на душѣ моей становится такъ, какъ будто образъ его, вырванный изъ маленькой рамки настоящаго, все повелительнѣе и гордѣе удаляется въ сумерки прошедшаго. Уже одно имя его звучитъ, какъ вѣсть изъ міра нашихъ предковъ, и въ немъ столько же античнаго и героическаго, сколько въ именахъ Александра и Цезаря. Оно сдѣлалось уже лозунгомъ для народовъ, и когда востокъ и западъ встрѣчаются, то понимаютъ другъ друга только посредствомъ одного этого имени.

Сколько въ немъ можетъ быть знаменательнаго и магическаго, это лучше всего понялъ я, когда однажды, въ лондонской гавани, гдѣ устроены индійскіе доки, взошелъ на палубу остъ-индскаго корабля, только-что пріѣхавшаго изъ Бенгаліи. Это было исполинское судно, нагруженное большимъ числомъ жителей Индостана. Причудливыя фигуры группы, странные пестрые костюмы, загадочныя м[illegible] курьезныя движенія, незнакомый звукъ языка, ликов[illegible]

смѣха и рядомъ съ нимъ—серьезность въ нѣкоторыхъ желтыхъ лицахъ, глаза которыхъ, какъ черные цвѣты, смотрѣли на меня съ странною тоскою—все это точно околдовало меня, я вдругъ перенесся въ сказки Шехерезады, и мнѣ уже казалось, что вотъ выступятъ на сцену и широколиственныя пальмы, и длинношейные верблюды, покрытые золотомъ слоны и другія баснословныя деревья и животныя. Суперкаргъ, находившійся на кораблѣ и такъ же мало понимавшій языкъ своихъ пассажировъ, какъ и я, сталъ мнѣ безъ конца разсказывать съ чисто-британскою ограниченностью, что все это народъ глупый, почти все магометане, собранный со всѣхъ концовъ Азіи, отъ границъ Китая до Аравійскаго моря, съ добавленіемъ нѣсколькихъ черныхъ, какъ смола, съ волосами какъ шерсть, африканцевъ.

Мнѣ въ то время такъ надоѣли западныя страны, я такъ усталъ отъ Европы, что этотъ отрывокъ восточной страны, такъ свѣтло и пестро двигавшійся здѣсь передъ моими глазами, какъ-то весело облегчилъ меня, сердце мое освѣжилось по крайней мѣрѣ нѣсколькими каплями этого напитка, по которомъ я такъ часто тосковалъ въ мрачно-гановерскія или королевско-прусскія зимнія ночи, — и эти чужеземцы могли ясно видѣть, какъ мнѣ пріятно было ихъ появленіе и съ какимъ удовольствіемъ я сказалъ бы имъ нѣсколько привѣтныхъ словъ. Что и я имъ понравился — это было видно изъ глазъ ихъ, и они тоже сказали бы мнѣ что-нибудь привѣтное, и намъ было очень прискорбно, что мы не могли понимать другъ друга. Наконецъ, я нашелъ средство выразить имъ хоть однимъ словомъ мое дружественное расположеніе: почтительно и протянувъ руку, какъ для дружескаго привѣтствія, я воскликнулъ: «Магометъ!»

Радость вдругъ озарила черныя лица чужеземцевъ, они набожно скрестили руки и, отвѣчая на мой привѣтъ, радостно воскликнули: «Бонапарте!»

XI.

ОСВОБОЖДЕНІЕ.

Если когда-нибудь у меня снова будетъ время для праздныхъ изслѣдованій, то я скучнѣйше докажу, что не Индія, а Египетъ — *родина того* кастоваго различія, которое уже

два тысячелѣтія умѣетъ переодѣваться въ платье каждой страны и обманывать каждое время на его собственномъ языкѣ, которое теперь, можетъ-быть, уже умерло, но притворяясь живымъ, все еще бродитъ между нами, пагубное и ядовитое, отравляетъ своимъ мертвечиннымъ запахомъ нашу цвѣтущую жизнь и даже, какъ средневѣковой вампиръ высасываетъ изъ сердецъ народовъ кровь и свѣтъ. Изъ ила рѣки Нила вышли не только крокодилы, умѣющіе такъ искусно плакать, но и двѣ изъ этихъ кастъ, между которыми одна притворяется плачущею еще искуснѣе, а другая превосходитъ крокодиловъ кровожадностью и прожорливостью.

Два глубокомысленныхъ человѣка изъ нѣмецкой націи открыли спасительнѣйшее средство противъ этой злѣйшей изъ всѣхъ египетскихъ язвъ и своимъ некромантическимъ изобрѣтеніемъ — книгопечатаніемъ и порохомъ — ниспровергли господство той свѣтской и духовной іерархіи, которая образовалась изъ соединенія жреческой и военной касты—именно изъ такъ-называемой католической церкви и феодальнаго дворянства, и держала всю Европу подъ свѣтскимъ и духовнымъ игомъ. Типографскій станокъ разрушилъ то догматическое зданіе, въ которомъ римскій папа держалъ въ заточеніи умы, и сѣверная Европа снова вздохнула свободно, освободившись отъ ночного кошмара того католическаго духовенства, которое, правда, по внѣшней формѣ отступило отъ египетской сословной наслѣдственности, но по духу должно было остаться тѣмъ болѣе вѣрнымъ египетской жреческой системѣ, что оно держалось путемъ размноженія изъ рода въ родъ не естественнаго, а противоестественнаго, путемъ мамелюкообразной вербовки, какъ корпорація старыхъ холостяковъ. Точно также видимъ мы, какъ военная каста въ западной Европѣ теряетъ свою силу и власть съ тѣхъ поръ, какъ старая ремесленная рутина уже не приноситъ никакой пользы при новомъ способѣ веденія войны, ибо передъ трубнымъ звукомъ пушекъ въ настоящее время крѣпчайшія крѣпости падаютъ, какъ нѣкогда стѣны іерихонскія, желѣзный панцырь рыцаря предохраняетъ отъ свинцоваго дождя такъ же мало, какъ холщевая рубаха крестьянина; порохъ дѣлаетъ людей равными, ружье бюргера стрѣляетъ также хорошо, какъ и ружье дворянское... Народъ подымается.

Тѣ прежнія движенія, которыя мы видимъ въ истор *ломбардскихъ* и тосканскихъ республикъ, испанскихъ к

мунъ и вольныхъ городовъ въ Германіи и другихъ странахъ, не заслуживаютъ чести быть названы народными возстаніями, тутъ выказывалось стремленіе не къ свободѣ, а къ вольностямъ, тутъ шла борьба не за права, а за справедливость; корпораціи сражались за свои привилегіи, и все оставалось въ ненарушимыхъ границахъ гильдейскаго и ремесленнаго цеховъ. Только во время реформаціи борьба сдѣлалась общею и приняла нравственный характеръ, свободу начали требовать не какъ перешедшее по преданію, но какъ первобытное, не какъ пріобрѣтенное, но какъ прирожденное право. Тутъ выставлялись на видъ уже не старые пергаменты, а принципы; и германскій поселянинъ, и англійскій пуританинъ ссылались на Евангеліе, изреченія которого въ ту пору замѣняли для людей мѣсто разума, даже считались выше его, именно—сообщеннымъ человѣчеству посредствомъ Откровенія разумомъ Бога. Въ немъ было ясно высказано, что всѣ люди одинаково благороднаго рожденія, что высокомѣрное самомнѣніе строго осуждается, что богатство — грѣхъ, и что бѣдные также призваны къ наслажденію въ прекрасномъ саду Бога, общаго Отца людей.

Съ Библіею въ одной рукѣ и съ мечомъ въ другой проходили поселяне по южной Германіи, и богатые граждане высокобашеннаго Нюрнберга услышали отъ нихъ, что впередъ во всемъ государствѣ не должно быть ни одного дома, не похожаго на хижину поселянина. Такъ вѣрно и глубоко поняли они равенство. Еще, теперь, во Франконіи и Швабіи, мы видимъ слѣды этого ученія о равенствѣ, и трепетное благоговѣніе предъ Св. Духомъ охватываетъ душу путника, смотрящаго въ лунную ночь на темныя развалины замковъ—слѣдствіе крестьянской войны. Хорошо тому, кто, въ простотѣ сердца, видитъ въ этихъ развалинахъ только разрушившіяся стѣны; но человѣкъ развитой — а таковъ всякій, знающій исторію—видитъ въ нихъ и охоту нѣмецкаго дворянства, грубѣйшаго изъ всѣхъ дворянствъ въ мірѣ, за побѣжденными, — видитъ, какъ тысячи беззащитныхъ падали убитые, измученные пыткой, изморенные, искалѣченные, — видитъ, какъ окровавленныя головы поселянъ зловѣщественно киваютъ изъ волнующихся хлѣбныхъ полей, надъ которыми свищетъ страшный жаворонокъ, призывая къ мщенію.

Не такую страшную участь испытали англійскіе и шотландскіе братья *этихъ несчастныхъ*; ихъ паденіе было не

такъ позорно и безплодно, и еще теперь въ этихъ странахъ видны плоды ихъ управленія. Но имъ не удалось построить его на прочныхъ основаніяхъ, щеголи «кавалеры» господствуютъ снова, какъ прежде, и забавляются смѣшными исторіями о старыхъ, упрямыхъ «круглоголовыхъ», прекраснымъ описаніемъ которыхъ дружественный бардъ услаждаетъ ихъ досуги. Въ Великобританіи не совершился никакой общественный переворотъ, зданіе гражданскихъ и политическихъ учрежденій осталось неразрушеннымъ, господство кастъ и цеховой элементъ сохранились до нынѣшняго дня, и Англія, хотя и облитая свѣтомъ и теплотою новой цивилизаціи, продолжаетъ упорно оставаться въ средневѣковомъ положеніи, или, скорѣе, въ положеніи фешенебельныхъ среднихъ вѣковъ. Уступки, сдѣланныя въ этой странѣ либеральнымъ идеямъ, только съ трудомъ завоеваны у этой средневѣковой закоснѣлости, и всѣ новыя улучшенія суть слѣдствія не принципа, а фактической необходимости, и на всѣхъ этихъ улучшеніяхъ лежитъ проклятіе полу-мѣръ, которыя непремѣнно влекутъ за собой новыя бѣдствія, новую смертельную борьбу и ея опасности. Религіозная реформація въ Англіи совершилась только наполовину, и въ голыхъ четырехъ темничныхъ стѣнахъ епископской англиканской церкви живется еще хуже, чѣмъ въ просторной, прекрасно выкрашенной и снабженной мягкими подушками, умственной тюрьмѣ католицизма. Политическая реформація имѣла не лучшій исходъ: народное представительство находится въ самомъ неудовлетворительномъ положеніи, и если сословія уже не различаются между собою платьемъ, то продолжаютъ различаться законами, прерогативами, привилегіями и другими фатальными вещами; и если собственность и личность народа зависятъ уже не отъ аристократическаго произвола, а отъ законовъ, то эти законы, все-таки, ничто иное, какъ другой родъ зубовъ, которыми аристократическое племя хватаетъ свою добычу, и другой родъ кинжаловъ, которыми оно убиваетъ народъ. Въ самомъ дѣлѣ, ни одинъ деспотъ на земномъ шарѣ не сталъ бы произвольно выжимать столько налоговъ, сколько англійскій народъ долженъ платить на основаніи законовъ, и ни одинъ деспотъ древняго [illegible] не былъ такъ жестокъ, какъ жестоки англійскіе уг[illegible] законы, ежедневно убивающіе за покражу одного ш[illegible] убивающіе съ холодностью буквы. Правда, съ нѣ[illegible] *времени* это мрачное положеніе начинаетъ улучша[illegible] *рыстолюбію* вельможъ и духовенства ставятся [illegible]

предѣлы, народное представительство перестаетъ, хотя отчасти, быть такою большою ложью, какъ прежде, вслѣдствіе того, что нѣкоторымъ большимъ фабричнымъ мѣстамъ предоставляется право утратившаго силу голоса rotten borough; наконецъ, строгая религіозная нетерпимость смягчается тѣмъ, что даютъ права нѣкоторымъ другимъ сектамъ; но все это только заплаты на старомъ платьѣ, которыя продержатся весьма недолго, и глупѣйшій англійскій портной можетъ предвидѣть, что рано или поздно старое государственное платье распадется на самые жалкіе лохмотья.

«Никто не пришиваетъ заплаты изъ новаго сукна къ старому платью, ибо новое сукно оторвется отъ стараго, и прорѣха сдѣлается еще больше. И никто не вкладываетъ сусла въ старые мѣха, ибо сусло прорветъ мѣха, и вино разольется, и мѣха пропадутъ. Но надо вливать вино въ мѣха новые».

Глубочайшая истина расцвѣтаетъ только изъ глубочайшей любви, и въ этомъ причина согласія мнѣній древняго проповѣдника, говорившаго противъ іерусалимской аристократіи, съ мнѣніями тѣхъ позднѣйшихъ проповѣдниковъ, которые съ высотъ парижскаго Конвента проповѣдывали трехцвѣтную истину, что не только форма государственной жизни, но и вся общественная жизнь должны быть не заплатаны, а совершенно преобразованы на новомъ фундаментѣ, даже вновь рождены.

Я говорю о французской революціи—той міровой эпохѣ, когда ученіе о свободѣ и равенствѣ такъ побѣдоносно вышло изъ того общаго источника познанія, который мы называемъ разумомъ и который есть непрестанное Откровеніе, повторяющееся въ каждой человѣческой головѣ и кладущее основу знанію... Ничто и никогда не могло сражаться съ господствомъ привилегій, съ первенствующими кастами такъ побѣдоносно, какъ сражается съ ними въ настоящее время разумъ, демократическій по своей натурѣ. Исторія революціи есть военная исторія этой борьбы, въ которой всѣ мы участвовали болѣе или менѣе; это война на смерть
ипетствомъ.
ся мечи нашихъ враговъ съ каждымъ днемъ становятся
хотя нами заняты уже лучшія позиціи, но пѣснь
ы мы, все-таки, не можемъ запѣть раньше, чѣмъ дѣло
доведено до конца. Покамѣстъ мы можемъ только въ
суточныя ночи, во время перемирія, выходить съ фо-

нарями на поле битвы, чтобы хоронить нашихъ мертвецовъ... Мало пользы приноситъ короткая надгробная рѣчь! Клевета, этотъ наглый призракъ, садится на благороднѣйшія могилы...

. . . . . .

Какъ клеветали на героевъ революціи, такъ осыпали клеветами и самое революцію. и во всевозможныхъ пасквиляхъ изображали ее, какъ пугало государей и язву народовъ. Въ школахъ заставляли дѣтей выучивать наизусть всѣ такъ-называемые ужасы революціи, а на ярмаркахъ нѣкоторое время только и показывали, что ярко раскрашенныя изображенія гильотины. Нельзя, конечно, отрицать, что эту машину, которую изобрѣлъ французскій врачъ, великій міровой ортопедъ, monsieur Гильотенъ, и которою можно весьма легко отдѣлять глупую голову отъ злого сердца, — что ее примѣняли къ дѣлу слишкомъ ужъ часто, но вѣдь это дѣлали только въ болѣзняхъ неизлечимыхъ, напримѣръ, измѣнѣ, лжи и слабости, и паціентовъ мучили недолго, ихъ не пытали и не колесовали, какъ нѣкогда въ доброе старое время мучили, пытали и колесовали тысячи и тысячи roturiers и vilains, горожанъ и крестьянъ. Что французы этою машиною обезглавили верховнаго главу своего государства—безъ сомнѣнія ужасно, и не знаешь, въ чемъ обвинятъ ихъ за это—въ отцеубійствѣ или самоубійствѣ; но если мы станемъ судить, принимая во вниманіе смягчающія обстоятельства, то найдемъ, что Людовикъ XVI палъ жертвою не столько страстей, сколько событій, и что тѣмъ людямъ, которые побудили народъ къ такому жертвоприношенію и которые сами во всѣ времена проливали кровь государей въ гораздо болѣе обильной мѣрѣ, не слѣдовало бы выступать въ качествѣ лишь обвинителей. Только двухъ королей—и при томъ королей больше дворянства, чѣмъ народа—принесъ народъ въ жертву, не въ мирное время, не изъ-за низменныхъ интересовъ, но въ крайне стѣсненномъ положеніи по случаю войны, когда онъ увидѣлъ, что они измѣняютъ ему, и въ то время, какъ онъ нисколько не щадилъ своей собственной крови; но несомнѣнно, что болѣе тысячи государей пали отъ руки измѣнниковъ и коварнымъ образомъ, ради корыстолюбія или пустыхъ интересовъ, подъ кинжал и ядомъ дворянства и духовенства. Какъ посмо кажется, что эти касты причисляютъ убійств тоже къ своимъ привилегіямъ—и потому тѣмъ оплакивали смерть Людовика XVI и Карла I.

Но клеветали не только на героевъ революціи и самое революцію—клеветали даже на весь нашъ вѣкъ, съ неслыханною дерзостью пародировали всю литургію нашихъ священнѣйшихъ идей, и когда слушаешь или читаешь нашихъ гнусныхъ поносителей, то народъ у нихъ—сволочь, свобода—наглость, и съ воздѣтыми къ небу глазами и набожными вздохами сѣтуютъ и сожалѣютъ они, что мы «фривольны» и что у насъ, къ сожалѣнію, нѣтъ никакой религіи. Лицемѣрные плуты и ханжи, смиренно крадущіеся между нами, согнувшись подъ бременемъ своихъ тайныхъ грѣховъ, осмѣливаются поносить вѣкъ, можетъ-быть, самый священный между всѣми своими предшественниками и преемниками, вѣкъ, приносящій себя въ жертву за грѣхи прошедшаго и счастье будущаго, мессія между столѣтіями, который едва ли былъ бы въ силахъ вынести свои страданія, если бы по временамъ не напѣвалъ веселаго водевиля и не отпускалъ остротъ насчетъ новыхъ фарисеевъ и садукеевъ. Колоссальныя скорби были бы невыносимы безъ такого остроумничанья и зубоскальства! Серьезность дѣйствуетъ особенно сильно тогда, когда о появленіи ея возвѣщаетъ смѣхъ, шутка. Наше время вполнѣ похоже въ этомъ отношеніи на своихъ дѣтей между французами, которые писали ужасающе вѣтреныя книги, но, тѣмъ не менѣе, могутъ быть весьма серьезными и строгими тамъ, гдѣ серьезность и строгость необходимы; таковы, напримѣръ, Лакло и особенно—Луве де-Кувре, которые оба, когда представлялась надобность, со смѣлостью и самопожертвованіемъ мучениковъ сражались за религію, но при этомъ писали очень легкія и скандальныя вещи и, къ сожалѣнію, не имѣли никакой религіи.

Какъ будто свобода не есть та же религія! А такъ какъ она религія — наша, то мы, мѣряя тѣмъ же масштабомъ, могли бы объявить ея поносителей тоже фривольными и не имѣющими религіи.

Да, я повторяю слова, которыми началъ эти страницы: свобода есть религія нашего времени... А французы — ея избранный народъ, на ихъ языкѣ начертаны ея первыя истины и положенія, Парижъ—новая обѣтованная земля, и Рейнъ — рѣка, которая отдѣляетъ обѣтованную землю свободы отъ земли филистеровъ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

(Писано 29 ноября 1830 г.)

Подавленное, остановившееся въ своемъ ходу время было то, когда я писалъ второй томъ «Путевыхъ Картинъ» и вмѣстѣ съ тѣмъ печаталъ его.

Ахъ, вся эта книга, какъ и предшествовавшія ей сочиненія такого же характера, имѣютъ своимъ источникомъ современное бѣдственное положеніе. Близкимъ друзьямъ автора, знакомымъ съ его частными обстоятельствами, хорошо извѣстно, какимъ незначительнымъ побужденіямъ выступать на трибуну служитъ для него собственный личный интересъ и какъ велики жертвы, которыя онъ долженъ приносить за всякое свободное слово, произносившееся имъ съ тѣхъ поръ, и которое, съ Божьею помощью, будетъ онъ произносить и впередъ. Теперь слово стало дѣломъ, послѣдствія котораго неизмѣримы; вѣдь никто не можетъ съ точностью знать, не придется ли ему, въ концѣ-концовъ, выступать въ качествѣ мученика за слово.

Уже много лѣтъ напрасно жду я слова тѣхъ смѣлыхъ ораторовъ, которые нѣкогда въ собраніяхъ нѣмецкаго буршества такъ часто просили слова и такъ часто одерживали верхъ надо мною своими реторическими талантами, и говорили такимъ многообѣщающимъ языкомъ; тогда они такъ громко разглагольствовали, теперь они хранятъ такое ночное молчаніе. Какою бранью обрушивались они въ то время на французовъ, и на новый Вавилонъ, и на анти-нѣмецкихъ фривольныхъ измѣнниковъ отечества, хваливших Францію! Эту похвалу оправдала великая недѣля.

Ахъ, великая парижская недѣля! Мужество, повѣявшее оттуда на Германію, вызвало, правда, нѣсколько пожаровъ... но старые полицейскіе тащатъ уже во всѣ опасныя мѣста гасительныя ведра съ водой, и прислушиваются, и обнюхиваютъ тѣмъ бдительнѣе, и куютъ тѣмъ крѣпче тайныя цѣпи, и я замѣчаю уже, какъ невидимо окружаетъ еще болѣе толстая тюремная стѣна нѣмецкій народъ.

Бѣдный, плѣненный народъ! Не отчаявайся въ своей бѣдѣ... О, если бы я могъ говорить катапультами! О, если б могъ стрѣлять фалариками изъ моего сердца!

На моемъ сердцѣ растаяла гордая ледяная кора е[illegible] странная тоска прокрадывается въ меня... Любовь ли [illegible] *и притомъ* любовь къ нѣмецкому народу? Или это болѣ[illegible] [illegible]я душа трепещетъ, и въ глазахъ у меня горитъ.

е состояніе неблагопріятно для писателя, который дол-
ѣнъ владѣть своимъ матеріаломъ и оставаться прекрасно
ъективнымъ, какъ того требуетъ художественная школа,
какъ поступалъ, между прочимъ, и Гёте... онъ при этомъ
жилъ до восьмидесяти лѣтъ, и былъ министромъ и имѣетъ
рошій достатокъ... Бѣдный нѣмецкій народъ! Это твой
личайшій человѣкъ!

...Хочется мнѣ разсказать здѣсь еще одну исторію—она
ке со вчерашняго дня бродитъ у меня въ головѣ—это
торія изъ жизни императора Максимиліана. Но я слы-
алъ ее уже давно и всѣхъ подробностей не помню въ
чности. Такія вещи забываются легко, когда не полу-
ешь опредѣленнаго жалованья за то, чтобы каждые пол-
да заучивать наизусть старыя исторіи. Но что за важ-
сть, если вы забыли названія мѣстностей и хронологію;
шь бы помнить внутреннее значеніе разсказа, его мораль.
о-то собственно и звучитъ въ моей головѣ въ настоя-
ѣмъ случаѣ и настраиваетъ меня грустно, до слезъ. Боюсь,
къ бы мнѣ не заболѣть.

Бѣдный императоръ былъ взятъ въ плѣнъ своими вра-
ми и сидѣлъ въ тяжеломъ заточеніи. Кажется, это было
Тиролѣ. Сидѣлъ онъ, одинокій и печальный, оставленный
ѣми своими рыцарями и придворными, и никто не при-
дилъ къ нему на помощь. Не знаю, было ли у него уже
то время то желтоватое, какъ сыръ, лицо, которое изо-
ажено на его Гольбейновскихъ портретахъ. Но полная
езрѣнія къ людямъ нижняя губа, несомнѣнно, выступала
ередъ еще рѣзче, чѣмъ на тѣхъ портретахъ. Какъ могъ
ъ не презирать тѣхъ людей, которые при солнечномъ
яніи счастья съ такою преданностью пресмыкались пе-
дъ нимъ, а теперь оставили его одного въ мрачномъ не-
частіи! Но вотъ внезапно отворилась дверь тюрьмы, и во-
елъ укутанный въ плащъ человѣкъ, и когда онъ снялъ
лащъ, императоръ узналъ своего вѣрнаго Кунца фонъ-деръ-
озена, придворнаго шута. Этотъ человѣкъ принесъ ему
ѣшеніе и совѣтъ—и то былъ придворный шутъ.

О, нѣмецкая отчизна! Дорогой нѣмецкій народъ! Я твой
унцъ фонъ-деръ-Розенъ. Человѣкъ, должность котораго
стоитъ, собственно, въ томъ, чтобы развлекать, и который
бязанъ былъ только увеселять тебя въ счастливые дни,—
нъ проникаетъ въ твою тюрьму въ дни скорби и бѣдствія;
одъ этимъ плащомъ приношу я тебѣ твой мощный ски-
етръ *и прекрасную корону*—неужели ты не узнаешь меня,

мой императоръ? Если я не въ силахъ освободить тебя, то буду, по крайней мѣрѣ, утѣшать, и около тебя будетъ кто-нибудь, кто станетъ болтать съ тобою о твоихъ страшнѣйшихъ несчастіяхъ, и ободрять тебя, и любить, и отдавать къ твоимъ услугамъ свои лучшія шутки и свою лучшую кровь... Ибо ты, мой народъ, истинный владыка и повелитель нашей страны... Если ты и лежишь теперь въ оковахъ, то, въ концѣ-концовъ, твое законное, право, все-таки, побѣдитъ; ужъ близокъ день освобожденія, начинается новое время... Мой господинъ, ночь миновала, и загорается утренняя заря.

— Кунцъ фонъ-деръ-Розенъ, мой шутъ, ты ошибаешься: блестящій топоръ ты принимаешь, можетъ-быть, за солнце, и твоя утренняя заря ничто иное, какъ кровь.

— Нѣтъ, мой господинъ, это дѣйствительно солнце, хотя оно и восходитъ съ запада... Вотъ уже шесть тысячъ лѣтъ, какъ оно постоянно восходило съ востока; пора же ему, наконецъ, измѣнить свое направленіе.

— Кунцъ фонъ-деръ-Розенъ, мой шутъ, ты, я замѣчаю, потерялъ позвонки съ твоего краснаго колпака, и такой странный теперь у него видъ.

— Ахъ, мой господинъ, узнавъ о вашемъ несчастіи, я такъ бѣшенс серьезно трясъ головой, что дурацкіе позвонки упали съ колпака; но онъ отъ этого не сталъ хуже.

— Кунцъ фонъ-деръ-Розенъ, мой шутъ, что это тамъ за дверьми ломается и трещитъ?

— Тсс!.. Это пила и топоръ плотника, и скоро разобьется дверь вашей тюрьмы, и вы будете свободны, мой господинъ!

— Да неужели же я дѣйствительно государь? Ахъ, вѣдь это говоритъ мнѣ мой шутъ!

— О, не вздыхайте, милый господинъ мой, это тюремный воздухъ дѣлаетъ васъ такимъ боязливымъ... Чуть только вы освободитесь, какъ снова почувствуете въ жилахъ свою благородную кровь и сдѣлаетесь гордымъ, какъ владыка, и своенравнымъ, и милостивымъ, и несправедливымъ, и улыбающимся, и неблагодарнымъ—какъ наши нѣмецкіе властители.

— Кунцъ фонъ-деръ-Розенъ, мой шутъ,
получу свободу, что станешь дѣлать ты?

— Я пришью новые позвонки къ моему

— А какъ мнѣ наградить твою вѣрность?

— Ахъ, милый господинъ мой, не велите

ЛЮДВИГЪ БЁРНЕ.

(1840 г.).

КНИГА ПЕРВАЯ.

Имя Бёрне я услышалъ въ первый разъ въ лѣто отъ Рождества Христова 1815-е. Я былъ съ моимъ покойнымъ отцомъ на франкфуртской ярмаркѣ, куда онъ повезъ меня для того, чтобы я немного свѣтъ посмотрѣлъ: это дѣло образовательное. Тутъ моимъ глазамъ представилось удивительное зрѣлище. Въ такъ-называемыхъ *хижинахъ*, вверхъ по Цейлѣ, я увидѣлъ восковыя фигуры, дикихъ звѣрей, необычайныя произведенія искусства и природы. Отецъ показалъ мнѣ также большіе, какъ христіанскіе, такъ и еврейскіе магазины, въ которыхъ вы купите товаръ десятью процентами ниже фабричной цѣны и все-таки будете надуты. Показалъ онъ мнѣ также ратушу, Рёмеръ, гдѣ покупались германскіе властители десятью процентами ниже фабричной цѣны. Этотъ товаръ, наконецъ, весь вышелъ. Разъ отецъ повелъ меня въ кабинетъ для чтенія одной изъ △ или □ ложъ, гдѣ онъ часто ужиналъ, пилъ кофе, игралъ въ карты и занимался другими франмасонскими дѣлами. Между тѣмъ, какъ я углубился въ чтеніе газетъ, одинъ молодой человѣкъ, сидѣвшій подлѣ меня, шепнулъ мнѣ на ухо:

— Вотъ докторъ Бёрне, который пишетъ противъ комедьянтовъ!

Я поднялъ глаза и увидѣлъ человѣка, который искалъ какого-то журнала, нѣсколько разъ обошелъ комнату и потомъ вышелъ. Какъ ни кратковременно было это посѣщеніе, но фигура этого человѣка осталась у меня въ памяти, и еще теперь я могъ бы изобразить ее съ дипломатическою точностью. На немъ былъ черный сюртукъ, блестѣвшій какъ *совершенно новый*, и ослѣпительно бѣлое бѣлье, но

онъ носилъ ихъ не какъ щеголь, а съ особенною зажиточною небрежностью, даже, пожалуй, съ сердитымъ равнодушіемъ, достаточно свидѣтельствовавшимъ о томъ, что онъ недолго занимался передъ зеркаломъ повязываньемъ бѣлаго галстука и надѣлъ сюртукъ, какъ только принесъ его портной, недолго изслѣдуя, слишкомъ ли онъ узокъ, или слишкомъ широкъ.

Онъ оказался ни низкимъ, ни высокимъ, ни сухощавымъ, ни толстымъ; лицо его не было ни румяно, ни блѣдно, но румяно-блѣдно, или блѣдно-румяно, и въ лицѣ этомъ прежде всего кидались въ глаза какая-то отталкивающая гордость, какое-то пренебреженіе, свойственное людямъ, чувствующимъ себя выше своего положенія, но сомнѣвающимся въ томъ, что люди признаютъ ихъ. Это не было то тайное величіе, которое можно открыть на лицѣ короля или генія, инкогнито скрывшагося въ толпѣ; это было скорѣе то революціонное, болѣе или менѣе титаническое недовольство, которое замѣчается на лицахъ претендентовъ всякаго рода. Въ его осанкѣ, движеніяхъ, походкѣ было что-то самоувѣренное, опредѣленное, характеристичное. Не изливаются ли тайно на обыкновенныхъ людей лучи ихъ духа? Не чувствуетъ ли наше сердце присутствіе этого сіянія, котораго тѣлесные глаза наши не могутъ видѣть? Можетъ-быть, какъ матеріальная гроза дѣйствуетъ на кошекъ, такъ и моральная въ такомъ необыкновенномъ человѣкѣ дѣйствуетъ электрически на приближающіеся къ нимъ молодые, еще неотупѣвшіе умы? Я самъ не знаю, какимъ образомъ коснулась меня искра, вылетѣвшая изъ глазъ этого человѣка, но я никогда не могъ забыть это прикосновеніе и никогда не могъ забыть доктора Бёрне, который писалъ противъ комедьянтовъ.

Да, въ то время онъ былъ театральнымъ критикомъ и упражнялся на герояхъ закулиснаго міра. Въ боннскомъ университетѣ у меня былъ товарищъ Диффенбахъ, который, гдѣ бы ни встрѣтилъ собаку или кошку, сейчасъ же отрѣзывалъ хвостъ, чисто изъ желанія рѣзать, за что мы, слушая страшный вой несчастныхъ животныхъ, сильно сердились на Диффенбаха, но впослѣдствіи отъ души
ему, такъ какъ эта страсть рѣзать сдѣлала изъ не
чайшаго оператора Германіи. Точно также и Бёрне
упражнялся на комедьянтахъ, и то юношеское же
діе, съ которымъ онъ обращался съ разными I
Вейднерами, Уршпрюнгами и другими невинны

ными, бѣгающими съ тѣхъ поръ безъ хвостовъ, должно-быть прощено ему за лучшія услуги, которыя онъ впослѣдствіи, въ качествѣ великаго политическаго оператора, оказалъ міру своею остроотточенною критикою.

Имя Бёрне напомнилъ мнѣ лѣтъ десять спустя послѣ вышеупомянутой встрѣчи Варнгагенъ-фонъ-Энзе, давшій мнѣ прочитать статьи этого человѣка, именно въ «Вѣсахъ» и «Крыльяхъ Времени». Тонъ, какимъ онъ рекомендовалъ мнѣ эти статьи, былъ значительно настоятеленъ, а улыбка, появившаяся на губахъ находившейся при этомъ Рахили,— эта извѣстная, загадочно тоскливая, разумномистическая улыбка,—придала рекомендаціи еще бо̀льшій вѣсъ. Рахиль, повидимому, знала Бёрне не по однимъ его литературнымъ трудамъ и, сколько я могу припомнить, увѣряла меня при этомъ случаѣ, что существуютъ письма, которыя Бёрне писалъ нѣкогда къ одной любимой женщинѣ и въ которыхъ его страстный, высокій умъ является еще въ болѣе блистательномъ свѣтѣ, чѣмъ въ напечатанныхъ произведеніяхъ. Рахиль говорила также о его стилѣ и выражалась при этомъ такъ, что каждый, незнакомый съ ея языкомъ, могъ истолковать эти выраженія совсѣмъ въ другую сторону; она говорила: «Бёрне точно такъ же не умѣетъ писать, какъ я или Жанъ-Поль». Дѣло въ томъ, что подъ словомъ «писать» она понимала спокойное изложеніе, такъ сказать, редакцію мыслей, логическую связь частей рѣчи, словомъ, то искусство строить періоды, которому она такъ восторженно удивлялась какъ у Гете, такъ и у своего мужа, и по поводу котораго мы въ то время вели почти ежедневно самые плодотворные дебаты. Нынѣшняя проза (замѣчу это мимоходомъ) создалась не безъ многихъ попытокъ, совѣщаній, противорѣчій и труда. Рахиль любила Бёрне, можетъ-быть, тѣмъ болѣе, что она сама принадлежала къ тѣмъ авторамъ, которые, если хотятъ писать хорошо, должны находиться въ нѣкотораго рода умственномъ опьянѣніи; это вакханки мысли, бѣгающія вслѣдъ за богомъ въ священномъ помраченіи ума. Но при всей своей любви къ родственнымъ натурамъ, она, однако, относилась съ величайшимъ удивленіемъ къ тѣмъ разсудительнымъ ваятелямъ слова, которые все свое мышленіе, всѣ свои чувства и воззрѣнія, отрѣшивъ ихъ отъ родившей ихъ души, умѣютъ обрабатывать, какъ готовый матеріалъ, и какъ бы представлять пластически. Въ противоположность этой великой женщинѣ, *Бёрне питалъ* самое узкое отвращеніе къ такому

роду изложенія; въ своей субъективной ограниченности онъ не понималъ объективной свободы Гётевской манеры и художественную форму принималъ за отсутствіе чувства; онъ походилъ на ребенка, который, не понимая пламеннаго смысла греческой статуи, ощупываетъ только мраморныя формы и жалуется на холодъ.

Забѣгая здѣсь впередъ съ указаніемъ на отвращеніе, которое манера Гёте возбуждала въ Бёрне, я этимъ заявляю, что стиль послѣдняго уже въ то время не вызывалъ съ моей стороны безусловнаго одобренія. Не мое дѣло раскрывать недостатки этой манеры писанія; притомъ немногіе правильно поняли бы всякій намекъ на то, что мнѣ больше всего не нравилось въ этомъ стилѣ. Замѣчу только, что для того, чтобы владѣть въ совершенствѣ прозаическимъ языкомъ, нужно, между прочимъ, отлично владѣть и метрическою формой. Безъ этого у прозаика не будетъ извѣстнаго такта, отъ него будетъ ускользать словосочетанія, выраженія, цезуры и обороты, которые имѣютъ мѣсто только въ стихотворной рѣчи, и отъ этого происходитъ скрытая дисгармонія, оскорбляющая только немногія, но очень тонкія, уши.

Но какъ ни сильно я былъ расположенъ порицать внѣшнюю сторону, стиль Бёрне, и особенно смотрѣть, какъ на ребяческую безпомощность, на его короткіе періоды въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ не описываетъ, а разсуждаетъ, я, тѣмъ не менѣе отдавалъ самую щедрую справедливость содержанію, сущности его статей; я чтилъ оригинальность, правду и вообще благородство, всюду отличавшія ихъ, и съ тѣхъ поръ уже никогда не забывалъ автора. Мнѣ сказали, что онъ все еще живетъ во Франкфуртѣ, и когда, нѣсколько лѣтъ спустя, именно въ 1827 г., мнѣ предстояло проѣхать черезъ этотъ городъ по пути въ Мюнхенъ, то я далъ себѣ слово посѣтить доктора Бёрне. Это удалось мнѣ, однако, только послѣ долгихъ разспросовъ и блужданій по городу. Гдѣ я ни освѣдомлялся о мѣстѣ его жительства, вездѣ на меня смотрѣли съ удивленіемъ, и даже въ домѣ, гдѣ онъ жилъ, его или не знали, или нисколько не заботились о немъ. Странное дѣло! Когда передъ нами упоминаютъ о отдаленнаго города, въ которомъ живетъ тотъ или др великій человѣкъ, мы невольно представляемъ себѣ э человѣка средоточіемъ этого города, проливающимъ *своей* славы даже на крыши его. Каково же наше у *ніе, когда* мы пріѣзжаемъ на мѣсто, хотимъ посѣтить

аго человѣка, и только послѣ долгихъ разспросовъ нахо-
имъ его въ толпѣ! Такъ путешественникъ издалека уже
идитъ высокій шпицъ городского собора, но чуть онъ
ъѣхалъ въ самый городъ, какъ шпицъ этотъ внезапно ис-
езаетъ изъ глазъ, и только послѣ странствованія по мно-
имъ кривымъ и узкимъ переулкамъ, высокая башня снова
вляется глазамъ, рядомъ съ обыкновенными домами и лав-
ами, которые едва-едва не закрываютъ ея.

Когда я спросилъ о Бёрне у одного маленькаго оптика,
нъ отвѣчалъ мнѣ, лукаво покачивая головой: «Гдѣ живетъ
-ръ Бёрне, я не знаю, но мадамъ Воль живетъ въ Вол-
рабенѣ». Одна старая рыжеволосая горничная, которую я
оже спросилъ, дала мнѣ, наконецъ, желанное свѣдѣніе, при-
авивъ съ веселымъ смѣхомъ: «Я вѣдь служу у матери ма-
амъ Воль».

Я съ трудомъ узналъ этого человѣка, прежняя фигура
отораго еще живо сохранялась въ моей памяти. Въ немъ
е было теперь и слѣда гордаго недовольства и надменной
уровости. Передо мной стоялъ веселый человѣчекъ, очень
илый, но не больной, съ головкою, покрытой черными,
ригладженными волосенками, съ щеками, на которыхъ былъ
аже кусочекъ румянца, съ свѣтло-коричневыми очень доб-
ыми глазами, съ задушевностью въ каждомъ взглядѣ, каж-
омъ движеніи, даже въ тонѣ. Одѣтъ онъ былъ въ вязаный
амзольчикъ изъ сѣрой шерсти, который плотно, словно
анцырь, прилегалъ къ его тѣлу и придавалъ ему ка-
ой-то смѣшно-сказочный видъ. Онъ принялъ меня съ при-
ѣтливостью и любовью, не прошло и трехъ минутъ, какъ
ы уже вели самый интимный разговоръ. О чемъ прежде
сего заговорили мы? Когда сходятся кухарки, то онѣ сей-
асъ же начинаютъ толковать о своихъ господахъ, а когда
ходятся нѣмецкіе писатели, то первый предметъ ихъ раз-
овора—издатели ихъ сочиненій. Вслѣдствіе этого, бесѣда
аша началась сужденіемъ о Котта и Кампе, и когда я,
ослѣ нѣсколькихъ, обыкновенныхъ въ этихъ случаяхъ, жа-
объ, засвидѣтельствовалъ добрыя качества послѣдняго,
огда Бёрне сообщилъ мнѣ, что онъ хочетъ разрѣшиться
съ бремени изданіемъ полнаго собранія своихъ сочиненій
желалъ бы залучить для этого предпріятія Кампе. Я увѣ-
лъ его, что Юліусъ Кампе не обыкновенный книгопро-
авецъ, который хочетъ только извлекать свою пользу изъ
лагороднаго, прекраснаго и великаго, но, что, напротивъ
, онъ часто *печатаетъ* при самыхъ неблагопріятныхъ

условіяхъ великія, прекрасныя и благородныя вещи, и дѣйствительно терпитъ при этомъ большіе убытки. Эти слова Бёрне слушалъ очень внимательно, и впослѣдствіи они побудили его поѣхать въ Берлинъ и условиться съ издателемъ «Путевыхъ Картинъ» объ изданіи полнаго собранія своихъ сочиненій.

По окончаніи толковъ объ издателяхъ, начинаются взаимные комплименты двухъ писателей, разговаривающихъ между собою въ первый разъ. Я прохожу молчаніемъ то, что Бёрне говорилъ о моемъ превосходствѣ передъ нимъ, и упомяну только о маленькомъ порицаніи, которое онъ по временамъ впускалъ, капля по каплѣ, въ пѣнящуюся чашу восхваленія. Именно, онъ незадолго до того прочелъ вторую часть «Путевыхъ Картинъ» и былъ недоволенъ тѣмъ, что о разныхъ возвышенныхъ предметахъ я говорилъ съ неуваженіемъ, между тѣмъ, какъ къ Наполеону, который все-таки былъ никто иной, какъ смертный деспотъ, относился съ преувеличеннымъ почтеніемъ. Такимъ образомъ, деистъ и либералъ уже теперь ясно явились мнѣ въ лицѣ Бёрне. Повидимому, онъ не совсѣмъ долюбливалъ Наполеона, хотя, помимо своего вѣдома, въ душѣ очень высоко чтилъ его. Онъ возмущался тѣмъ, что иноземные государи такъ великодушно свергнули статую Наполеона съ Вандомской колонны.

— Ахъ!—вскричалъ онъ съ горькимъ вздохомъ:—вы могли спокойно оставить его статую на прежнемъ мѣстѣ; вамъ слѣдовало только прибавить къ ней дощечку съ надписью: «восемнадцатое брюмера»—и Вандомская колонна сдѣлалась бы его заслуженнымъ позорнымъ столбомъ! Какъ любилъ я этого человѣка до восемнадцатаго брюмера! Даже до мира въ Кампо-Форміо я былъ расположенъ къ нему; но съ тѣхъ поръ, какъ онъ вступилъ на престолъ, цѣнность его стала упадать все ниже и ниже.

— Еще сегодня утромъ,—продолжалъ Бёрне:—я удивлялся ему, когда вотъ въ этой книгѣ, лежащей на моемъ столѣ—онъ указалъ на «Исторію революціи» Тьера—читалъ провосходный анекдотъ о томъ, какъ Наполеонъ въ Удино имѣлъ свиданіе съ Кобенцелемъ и, въ жару
вора, разбилъ фарфоръ, который Кобенцель полу
когда въ подарокъ отъ императрицы Екатерины и,
очень любилъ. Этотъ разбитый фарфоръ вызвалъ.
быть, кампо-формійскій миръ. Кобенцель, вѣроятн
при этомъ: «У моего императора очень много ф

если этотъ молодецъ поѣдетъ въ Вѣну и воспламенится во время разговора, то, пожалуй, можетъ случиться несчастіе: заключу-ка я лучше съ нимъ миръ». По всей вѣроятности, въ ту минуту, когда въ Удино фарфоровый сервизъ Кобенцеля летѣлъ на полъ и разбился вдребезги, въ Вѣнѣ дрожалъ весь фарфоръ, и дрожали не только кофейники и чашки, но и китайскія пагоды: можетъ-быть, онѣ кивали головками сильнѣе, чѣмъ когда-либо, и мирный договоръ былъ ратификованъ. На картинахъ, выставленныхъ въ магазинахъ эстамповъ, Наполеонъ изображается обыкновенно или взлетающимъ на быстромъ конѣ на Симплонъ, или вламывающимся на мостъ въ Лоди, съ развѣвающимся знаменемъ, и т. п. Но если бы я былъ живописецъ, то изобразилъ бы его въ ту минуту, какъ онъ разбиваетъ фарфоръ Кобенцеля. Это былъ его богатѣйшій послѣдствіями подвигъ. Съ тѣхъ поръ многіе короли стали бояться за свой фарфоръ, и особенно сильно опасались берлинцы за свою огромную фарфоровую фабрику. Вы не можете себѣ представить, любезнѣйшій Гейне, въ какой уздѣ держитъ человѣка обладаніе дорогимъ фарфоромъ. Посмотрите, напримѣръ, на меня: я былъ совершенно дикій человѣкъ, когда у меня было мало вещей и ни кусочка фарфора. Съ пріобрѣтеніемъ собственности—и въ добавокъ, собственности ломкой—являются страхъ и рабство. Еще недавно я имѣлъ несчастіе пріобрѣсть себѣ отличный чайный сервизъ; чайникъ былъ удивительно красиво вызолоченъ, на сахарницѣ было изображено супружеское счастіе въ видѣ лобызающейся четы, на одной чашкѣ—башня св. Екатерины, на другой—гауптвахта, на остальныхъ — все родные ландшафты. Теперь я постоянно тревожусь мыслью, что по глупости пишу, можетъ-быть, слишкомъ свободно, и мнѣ вдругъ придется бѣжать. Какъ тогда успѣю я упаковать всѣ эти чашки, особенно—большой чайникъ? При поспѣшной упаковкѣ они могутъ разбиться, а оставить ихъ я не желалъ бы ни въ какомъ случаѣ. Да, мы, люди, странные чудаки! Тотъ самый человѣкъ, который, для сохраненія свободы въ мнѣніяхъ, рискнетъ, можетъ-быть, спокойствіемъ и радостью своей жизни, и даже самою жизнью, не захочетъ, однако, потерять какія-нибудь двѣ-три чашки и, чтобы сохранить свой чайникъ, останется безмолвнымъ рабомъ. Право, я чувствую, какъ этотъ проклятый фарфоръ мѣшаетъ мнѣ писать; я становлюсь такимъ кроткимъ, такимъ осторожнымъ, *такимъ боязливымъ*... Въ концѣ концовъ я прихожу

даже къ убѣжденію, что купецъ, продавшій мнѣ этотъ сервизъ, былъ австрійскій полицейскій агентъ, и что Меттернихъ навязалъ мнѣ на шею этотъ фарфоръ, чтобы укротить меня. Да, да, вотъ отчего онъ такъ дешево достался мнѣ, и вотъ отчего купецъ такъ краснорѣчиво уговаривалъ меня купить его. Ахъ, сахарница съ супружескимъ счастіемъ была такая соблазнительная штука! Да, чѣмъ болѣе я смотрю на свой фарфоръ, тѣмъ болѣе убѣждаюсь, что онъ исходитъ отъ Меттерниха! Я совсѣмъ не сердитъ на него за то, что меня стараются соблазнить такимъ путемъ. Когда противъ меня употребляютъ умныя средства, тогда я нимало не злюсь; только неуклюжесть и глупость для меня невыносимы. Нашъ же франкфуртскій сенатъ...

У меня есть свои причины на то, чтобы не передавать дальнѣйшихъ словъ Бёрне; замѣчу только, что въ концѣ своей рѣчи онъ добродушно засмѣялся и воскликнулъ:

— Но я еще достаточно силенъ для того, чтобъ разбить мои фарфоровыя оковы, и пусть только попробуютъ разгорячить меня, красивый вызолоченный чайникъ полетитъ за окно вмѣстѣ съ сахарницей, и супружескимъ счастіемъ, и башней св. Екатерины, и гауптвахтой, и родными ландшафтами, и я снова сдѣлаюсь такимъ же свободнымъ человѣкомъ, какимъ былъ прежде!

Юморъ Бёрне, живой образчикъ котораго я только-что привелъ, отличался отъ юмора Жанъ-Поль-Рихтера тѣмъ, что этотъ послѣдній любилъ касаться самыхъ отдаленныхъ предметовъ, между тѣмъ какъ первый, точно веселое дитя, кидался только на то, что̀ лежало очень близко подлѣ него, и между тѣмъ, какъ фантазія туманнаго байретскаго полигистора рылась по кладовымъ всѣхъ временъ и, обутая въ семимильные сапоги, тащилась по всѣмъ странамъ земного шара, Бёрне обращалъ вниманіе только на настоящій день, и предметы, занимавшіе его, всѣ помѣщались въ пространствѣ его кругозора. Онъ разсуждалъ о книгѣ, только-что прочитанной, о событіи, только-что случившемся, о камнѣ, на который онъ только-что наткнулся, о Ротшильдѣ, мимо дома котораго ежедневно проходилъ, о союзномъ сеймѣ, имѣвшемъ резиденцію на Цейлѣ, который онъ могъ в видѣть также въ двухъ шагахъ отъ себя. И въ зак ніе, мысли его непремѣнно возвращались къ Меттер Его негодованіе противъ Гёте происходило, можетъ *также* изъ мѣстныхъ источниковъ; я говорю: источ *а не причинъ*, ибо если Бёрне обратилъ вниманіе

прежде всего потому, что Франкфуртъ былъ родиною того и другого, то ненависть, которую онъ питалъ къ Гёте и которая разгоралась въ немъ все болѣе и болѣе, была все-таки только необходимымъ слѣдствіемъ глубокаго различія, которое лежало въ природѣ этихъ двухъ людей. Тутъ дѣйствовала не мелочная зависть, а безкорыстная антипатія, повиновавшаяся врожденному влеченію; это была та вражда, которая, будучи стара, какъ самъ міръ, проявляется во всѣхъ исторіяхъ человѣческаго рода и самымъ рѣзкимъ образомъ обнаружилась въ борьбѣ еврейскаго спиритуализма съ эллинскою чувственностью—борьбѣ, которая до сихъ поръ еще не окончилась и, можетъ-быть, никогда не кончится: маленькій назарей ненавидѣлъ великаго грека, который при томъ былъ еще греческій богъ.

Въ это время только-что появилось сочиненіе Вольфганга Менцеля, и Бёрне ребячески радовался тому, что нашелся человѣкъ, отважившійся такъ безстрашно выступить противъ Гёте.

— Уваженіе,—наивно замѣтилъ онъ:—всегда мѣшало мнѣ высказать печатно тоже самое. Вотъ Менцель такъ не поступился, и онъ честный человѣкъ и ученый; съ нимъ вамъ слѣдовало бы познакомиться; онъ доставилъ намъ много радостей; у него много отваги, онъ глубоко честный человѣкъ и великій ученый! Гёте ничтожество, онъ трусъ, льстивый рабъ и дилетантъ.

Къ этой темѣ онъ еще нѣсколько разъ возвращался; я обязанъ былъ дать ему слово, что навѣщу Менцеля въ Штутгартѣ; онъ сейчасъ же написалъ мнѣ рекомендательное письмо къ нему, и я до сихъ поръ слышу, какъ онъ горячо прибавилъ: «Онъ очень храбръ, онъ необыкновенно храбръ; онъ отличный, глубоко честный человѣкъ и великій ученый!»

Какъ въ мнѣніи о Гёте, такъ и въ сужденіи о другихъ писателяхъ, Бёрне выказалъ свою назарейскую ограниченность. Я говорю «назарейскую», чтобы не употреблять терминовъ ни «еврейскій», ни «христіанскій», хотя оба они для меня синонимы и употребляются мною для обозначенія вѣроисповѣданія, а міросозерцанія. Для меня оба они представляютъ противоположность эллинамъ, подъ которыми тоже понимаю не отдѣльный народъ, а столько же врожденное, сколько развитое образованіемъ направленіе ума и воззрѣніе на вещи. Въ этомъ смыслѣ я могъ бы сказать: тѣ люди *или «евреи», или* «эллины», люди или съ побу-

жденіями аскетическими враждебными образности, жадными къ одухотворенію, или съ веселымъ, гордымъ и реалистическимъ характеромъ. Такимъ образомъ «эллины» по временамъ встрѣчались въ нѣмецкихъ пасторскихъ семействахъ, точно такъ же, какъ были евреи, родившіеся въ Афинахъ и, можетъ-быть, происходившіе отъ Тезея. Здѣсь можно справедливо сказать, что не борода дѣлаетъ человѣка евреемъ и не коса дѣлаетъ христіаниномъ. Бёрне былъ вполнѣ назарей: его антипатія къ Гёте непосредственно истекала изъ его назарейскаго духа, его позднѣйшая политическая экзальтація имѣла основаніемъ тотъ рѣзкій аскетизмъ, то стремленіе къ мученичеству, которые вообще встрѣчаются въ республиканцахъ и которые они называютъ республиканскими добродѣтелями. Впослѣдствіи Бёрне обратился даже къ историческому христіанству, онъ впалъ почти въ католицизмъ; онъ братался со священникомъ Ламннэ и заговорилъ въ противнѣйшемъ капуцинскомъ тонѣ, когда, однажды, ему пришлось печатно высказать свое мнѣніе объ одномъ преемникѣ Гёте, пантеистѣ съ радостнымъ воззрѣніемъ на жизнь. Психологически замѣчательно, какъ въ душѣ Бёрне мало-по-малу всплыло наверхъ врожденное христіанство, остававшееся до тѣхъ поръ подавленнымъ его рѣзкимъ умомъ и веселостью. Я говорю: веселостью—gaité, а не радостью—joie; назареи бываютъ иногда въ рѣзвомъ, веселомъ расположеніи духа; это—остроумная рѣзвость бѣлочки, граціозно капризная, милая, даже блестящая, но за которою скоро наступаетъ тупая меланхолія; этимъ людямъ недостаетъ величія въ наслажденіи жизнью, которое можно найти только у сознательныхъ боговъ.

Но если съ нашей точки зрѣнія, между евреями и христіанами нѣтъ большого различія, то оно тѣмъ рѣзче существуетъ въ міросозерцаніи франкфуртскихъ филистеровъ; о невыгодахъ, проистекающихъ изъ этого различія, Бёрне говорилъ очень много и очень часто въ продолженіе трехъ дней, которые я, изъ угожденія къ нему, провелъ въ вольномъ имперскомъ и торговомъ городѣ — Франкфуртъ-на-Майнѣ.

Да, онъ съ комическою добротою вынудилъ у меня щаніе подарить ему три дня изъ моей жизни; онъ пускалъ меня отъ себя, и я долженъ былъ бѣгать с по городу, посѣщать разныхъ пріятелей его, а т пріятельницъ. Напримѣръ, мадамъ Воль на Волграбе

мадамъ Воль на Волграбенѣ—та извѣстная богиня свободы, которой впослѣдствіи были адресованы «Парижскія Письма». Я увидѣлъ тощую особу, которой желтовато-бѣлое, изрытое оспою лицо походило на кусокъ старой мацы. Несмотря на ея наружность и на то, что ея голосъ былъ скрипучъ, какъ дверь, двигающаяся на заржавѣвшихъ петляхъ, мнѣ все-таки нравилось все, что̀ говорила сія особа: говорила она именно съ большимъ энтузіазмомъ о моихъ сочиненіяхъ. Помню, она привела своего друга въ большое смущеніе, когда захотѣла выболтать то, что̀ онъ ей шепнулъ на ухо при нашемъ появленіи; Бёрне покраснѣлъ, какъ дѣвушка, когда она, вопреки его просьбамъ, выдала, что онъ сказалъ, что почтенъ моимъ посѣщеніемъ больше, чѣмъ если бы посѣтилъ его Гёте. Соображая теперь, какого дурного мнѣнія былъ онъ въ то время о Гёте, я не могу принять то заявленіе за слишкомъ ужъ большой комплиментъ.

Объ отношеніяхъ Бёрне къ упомянутой дамѣ я узналъ тогда столь же мало положительнаго, сколько знали и другіе люди. Да мнѣ и было рѣшительно все равно, какія были эти отношенія—теплыя или холодныя, влажныя или сухія. Злые языки каламбурно утверждали, что «Herr Börne sässe bei madame Wohl auf dem Wollgraben so recht in der Wolle», а отъявленные злоязычники шипѣли, что между ими обоими существовалъ только отвлеченный союзъ душъ, что любовь ихъ платоническая.

Меня въ замѣчательныхъ людяхъ интересуетъ не столько предметъ ихъ любви, сколько самое чувство любви. А это послѣднее, какъ мнѣ извѣстно, въ Бёрне было развито въ сильной степени. Какъ впослѣдствіи, при чтеніи полнаго собранія его сочиненій, такъ уже и теперь во Франкфуртѣ, изъ нѣкоторыхъ намековъ я замѣтилъ, что Бёрне, въ разное время своей жизни, былъ не разъ сильно уязвленъ маленькимъ божкомъ. Особенно хорошо были знакомы ему му̀ки ревности, какъ и вообще ревность лежала въ его характерѣ и заставляла его въ жизни, какъ въ политикѣ, смотрѣть на всѣ явленія сквозь желтыя очки недовѣрія. Я только-что упомянулъ, что Бёрне, въ разное время своей жизни, испы-
лъ страданія любви.

— Ахъ!—сказалъ онъ мнѣ разъ, вздохнувъ, какъ бы изъ
убины болѣзненныхъ воспоминаній,—въ зрѣлые годы эта
сть еще гораздо опаснѣе, чѣмъ въ молодые. Этому
о повѣрить, такъ какъ съ годами вѣдь развивается
ловѣкѣ и *разсудокъ*, а онъ могъ бы поддержать насъ

въ борьбѣ со страстью. Жалкая поддержка! Замѣтьте это себѣ: разсудокъ помогаетъ намъ побороть только тѣ маленькія прихоти, которыя мы побороли бы и безъ его вмѣшательства. Но какъ только нашимъ сердцемъ овладѣетъ великая истинная страсть, которую слѣдовало бы одолѣть ради положительнаго вреда, которымъ она грозитъ намъ,— разсудокъ оказываетъ мало помощи; мало того, эта каналья дѣлается даже союзникомъ нашего врага и вмѣсто того, чтобъ защищать наши матеріальные или нравственные интересы, даетъ взаймы врагу, страсти, всю свою логику, всѣ силлогизмы, всѣ свои софизмы, и въ руки нѣмого безумія кладетъ оружіе слова. Разсудокъ, будучи разсудителенъ, всегда становится на сторону сильнаго, на сторону страсти, и тотчасъ же оставляетъ ее, какъ только вліяніе времени или законъ реакціи сломятъ ея силу. И какъ потомъ издѣвается онъ надъ чувствами, которыя незадолго до того оправдывалъ съ такимъ жаромъ! Любезный другъ, никогда не довѣряйте въ страсти голосу разсудка, а когда страсть потухла, тоже не довѣряйте ему и не будьте несправедливы къ вашему сердцу!..

Показавъ мнѣ мадамъ Воль на Волграбенѣ, Бёрне хотѣлъ показать мнѣ и другія достопримѣчательности Франкфурта и бѣгалъ рядомъ со мною по улицамъ самою добродушною рысцой, въ самомъ лучшемъ расположеніи духа. Курьезный видъ придавали ему его коротенькій плащъ и бѣлая шляпенка, наполовину обвитая чернымъ крепомъ. Черный крепъ означалъ смерть его отца, который при жизни поступалъ въ отношеніи къ сыну крайне скаредно, а теперь разомъ оставилъ ему много денегъ. Въ то время Бёрне, повидимому, еще носилъ въ себѣ пріятныя ощущенія такой перемѣны счастія и вообще находился въ зенитѣ комфорта. Онъ жаловался даже на свое здоровье, т. е. жаловался, что съ каждымъ днемъ становится здоровѣе и что съ увеличеніемъ здоровья уменьшаются его умственныя способности. «Я слишкомъ здоровъ и не могу больше ничего писать»,— говорилъ онъ, шутя, а можетъ-быть, и серьезно, потому что у подобныхъ натуръ талантъ зависитъ отъ извѣстнаго болѣзненнаго состоянія, отъ извѣстной раздражите. усиливающей въ нихъ способъ воспринятія и вы ощущеній и исчезающей съ возвращеніемъ здоров долѣчилъ меня до глупости», — сказалъ Бёрне о докторѣ, къ которому онъ свелъ меня и у котора нимъ отобѣдали.

Предметы, съ которыми Бёрне приходилъ въ случайное соприкосновеніе, не только просто занимали его умъ въ данную минуту, но дѣйствовали также непосредственно на расположеніе его духа, и въ непосредственной связи съ ихъ измѣненіемъ находилось хорошее или дурное настроеніе его. Какъ море отражаетъ въ себѣ цвѣтъ проносящихся надъ нимъ облаковъ, такъ на душѣ Бёрне отпечатлѣвалась окраска всѣхъ предметовъ, встрѣчавшихся ему на пути. Видъ красивыхъ садовъ или группы рѣзвыхъ дѣвушекъ, весело проходившихъ мимо насъ, бросалъ на душу Бёрне точно розовый свѣтъ, и отраженіе его проявлялось въ блестящемъ остроуміи. Но когда мы вошли въ еврейскій кварталъ, черные дома его, казалось, бросили свою мрачную тѣнь на расположеніе духа Бёрне.

— Взгляните на эту улицу, — заговорилъ онъ со вздохомъ:—и попробуйте потомъ сказать что-нибудь въ похвалу среднимъ вѣкамъ! Люди, жившіе и плакавшіе на этихъ мѣстахъ, умерли и не могутъ дѣлать возраженій, когда наши сумасшедшіе поэты и еще болѣе сумасшедшіе историки, когда дураки и плуты восторгаются печатно древнимъ великолѣпіемъ; но гдѣ молчатъ мертвые люди, тамъ тѣмъ громче говорятъ живые камни.

Дѣйствительно, дома этой улицы смотрѣли на меня такъ, какъ будто хотѣли разсказать мнѣ мрачныя исторіи—исторіи, которыя хорошо знаешь, но не хочешь знать, или желаешь лучше забыть, чѣмъ возобновлять въ памяти. Такъ, помню я одинъ высокій домъ, углевая чернота котораго выступала тѣмъ рѣзче, что подъ окнами его висѣлъ цѣлый рядъ бѣлыхъ, какъ мѣлъ, сальныхъ свѣчей; входъ, наполовину загороженный заржавѣвшими желѣзными прутьями, велъ въ темный подвалъ, гдѣ сырость, повидимому, ручьями текла по стѣнамъ, а изнутри доносилось къ намъ въ высшей степени странное, гнусливое пѣнье. Разбитый голосъ принадлежалъ, какъ казалось, старику, а мелодія начиналась съ самыхъ кроткихъ жалобныхъ звуковъ и потомъ, мало-по-малу, доходила до страшно-гнѣвныхъ аккордовъ.

— Что это за пѣсня?—спросилъ я у Бёрне.

— Это хорошая пѣсня, — отвѣчалъ онъ съ сердитымъ вздохомъ: — лирическое chef d'oeuvre, подобное которому едва ли найдется въ «Альманахѣ Музъ» на нынѣшній годъ... Вы, можетъ-быть, знаете его по нѣмецкому переводу: «Мы сидѣли на рѣкахъ вавилонскихъ, наши арфы висѣли на *плакучихъ ивахъ*» и т. д. Великолѣпное стихо-

твореніе! И старый рабби Хаймъ очень хорошо поетъ его своимъ дребезжащимъ, истощеннымъ голосомъ; Зонтагъ пропѣла бы, можетъ-быть, звучнѣе его, но у нея не было бы столько выраженія, столько чувства... Потому что этотъ старикъ все еще ненавидитъ вавилонянъ и до сихъ поръ все еще каждый день плачетъ о погибели Іерусалима отъ руки Навуходоносора... Это несчастіе онъ никакъ не можетъ забыть, несмотря на то, что съ тѣхъ поръ случилось столько новаго и что еще недавно второй храмъ былъ разрушенъ злодѣемъ Титомъ. Я долженъ именно вамъ замѣтить, что старый рабби Хаймъ смотритъ на Тита отнюдь не какъ на delicium generis humani, а какъ на злодѣя, котораго также постигло мщеніе Бога... Именно, къ нему въ носъ влетѣлъ маленькій комаръ, который мало-по-малу разросся тамъ, сталъ царапать когтями по мозгу и причинялъ Титу такую безмѣрную боль, что онъ только тогда получалъ нѣкоторое облегченіе, когда нѣсколько сотъ кузнецовъ колотили подлѣ него по наковальнямъ. Удивительно, что всѣхъ враговъ дѣтей Израиля постигаетъ такой плачевный конецъ. Какъ покончилъ Навуходоносоръ—это вы знаете: онъ на старости лѣтъ превратился въ быка и долженъ былъ ѣсть траву. Посмотрите на персидскаго министра Амана—развѣ его, наконецъ, не повѣсили въ Сузѣ, въ столицѣ? А Антіохъ, царь сирійскій, развѣ не сгнилъ заживо отъ вшивой болѣзни? Позднѣйшимъ злодѣямъ, врагамъ евреевъ, это все слѣдовало бы принять во вниманіе. Только что въ этомъ проку! Страшные примѣры не устрашаютъ ихъ, и еще на-дняхъ я читалъ новую брошюру противъ евреевъ, написанную однимъ профессоромъ философіи, который называетъ себя Magis amica. Когда-нибудь будетъ онъ питаться травой, быкъ онъ уже и безъ того, отъ природы; очень можетъ быть, что его и повѣсятъ, если онъ оскорбитъ любимую султаншу короля флаксенфингенскаго, а вшей у него вѣрно и теперь много, какъ у Антіоха. Лучше всего я желалъ бы, чтобъ онъ отправился въ морское путешествіе и потерпѣлъ кораблекрушеніе на сѣверо-африканскомъ берегу. Я именно недавно читалъ, что магометане, живущіе тамъ, считаютъ себя въ правѣ, на о
ваніи своей религіи, третировать, какъ рабовъ, в
христіанъ, которые претерпѣли кораблекрушеніе въ
странѣ и попадаютъ въ ихъ руки. Они распредѣл
между собою этихъ несчастныхъ и употребляютъ ка
изъ нихъ въ дѣло, сообразно съ ихъ способностями.

ще недавно одинъ англичанинъ, посѣтивъ этотъ берегъ, шелъ тамъ одного нѣмецкаго ученаго, который, претер-въ кораблекрушеніе, былъ обращенъ въ раба, но ока-лся годнымъ только на то, чтобы высиживать яйца, под-адывавшіяся подъ него; принадлежалъ онъ къ теологи-скому факультету. Вотъ я и очень бы желалъ, чтобы кторъ Magis amica попалъ въ такое положеніе; заставь о посидѣть, не вставая, недѣли три на яйцахъ (а если утиныхъ яйцахъ, такъ и четыре недѣли), навѣрное у го въ головѣ явились бы совершенно новыя для него сли, и я пари держу, что онъ проклялъ бы религіозный натизмъ, подвергающій униженію въ Европѣ іудеевъ, а Африкѣ—христіанъ, и осмѣливающійся даже превращать ктора теологіи изъ человѣка въ насѣдку... Цыплята, ко-рыхъ онъ высиживаетъ, будутъ имѣть очень толерантный усъ, особенно когда ихъ будутъ подавать съ соусомъ à Marengo.

По легко понятнымъ причинамъ, я пропускаю здѣсь за-чанія, которыми мой собесѣдникъ сыпалъ въ озлобле-йшемъ изобиліи въ то время, когда мы, странствуя по анкфурту, проходили мимо того дома, гдѣ происходятъ ѣданія союзнаго сейма. Часовой спалъ послѣобѣденнымъ омъ въ стоячемъ положеніи, а ласточки, свившія свои рныя гнѣзда на карнизахъ оконъ, безмятежно летали ерхъ и внизъ. Ласточки означаютъ счастье—увѣряла моя бушка; она была очень суевѣрна.

Отъ угла улицы Schnurgasse до биржи намъ пришлось толкаться; тутъ проходитъ золотая жила города, тутъ агородное торговое сословіе собирается, спекулируетъ и ьясняется на своемъ нарѣчіи, которое мы въ сѣверной рманіи называемъ Mauscheln. Это Mauscheln есть ничто ое, какъ собственно франкфуртское туземное нарѣчіе, и обрѣзанное населеніе говоритъ на немъ такъ же превосходно къ и обрѣзанное. Бёрне выражался на этомъ жаргонѣ ень плохо, хотя онъ, какъ и Гёте, никогда не могъ со-ршенно отречься отъ туземнаго діалекта. Я замѣтилъ, что анкфуртцы, державшіеся въ сторонѣ отъ всѣхъ торго-хъ интересовъ, наконецъ, совершенно позабывали то анкфуртское нарѣчіе, которое, какъ я сказалъ, въ сѣвер-й Германіи мы называемъ Mauscheln.

Немного дальше, при выходѣ изъ Saalgasse, насъ пора-вала гораздо болѣе пріятная встрѣча. Именно, мы уви ли группу дѣтей, шедшихъ изъ училища—милыхъ маль-

чиковъ съ розовыми личиками и связками книгъ подъ мышками.

— Къ этимъ ребятамъ,—сказалъ Бёрне,—я питаю гораздо больше уваженія, чѣмъ къ ихъ отцамъ. Вотъ этотъ мальчуганъ съ высокимъ лбомъ думаетъ, можетъ-быть, теперь о второй пунической войнѣ и съ восторгомъ относится къ Аннибалу, и когда ему сегодня разсказывали, какъ великій карфагенянинъ уже въ дѣтствѣ поклялся мстить римлянамъ, то, держу пари, его маленькое сердце повторило эту клятву... Ненависть и погибель злому Риму! Сдержи свою клятву, мой маленькій соратникъ! Такъ бы я и расцѣловалъ этого отличнаго мальчишку! А вонъ тотъ, другой ребенокъ, съ такимъ лукавымъ выраженіемъ на красивомъ личикѣ, думаетъ, можетъ-быть, о Митридатѣ, и желалъ бы когда-нибудь подражать ему... Что-жъ, и это хорошо, очень хорошо, и я тебя одобряю. Только, душа моя, сумѣешь ли и ты проглотить ядъ, подобно старому понтійскому царю? Пріучайся къ этому заранѣе! Кто хочетъ воевать съ Римомъ, тотъ долженъ умѣть переносить всевозможные яды, не только грубый мышьякъ, но и усыпляющій, фантастическій опіумъ, и даже крадущуюся aqua toffana клеветы! А какъ вамъ нравится этотъ мальчикъ съ такими длинными ногами и такъ сердито вздернутымъ носикомъ? Этого, можетъ-быть, такъ и подмываетъ сдѣлаться Катилиной; у него тоже длинные пальцы, и когда-нибудь онъ доставитъ нашимъ Цицеронамъ случай осрамиться длинными, скверными рѣчами. А вотъ тотъ, бѣдный болѣзненный мальчикъ, по всей вѣроятности, гораздо скорѣе согласился бы разыграть роль Брута... Бѣдный ребенокъ! Ты долженъ будешь довольствоваться закалываніемъ словами нѣсколькихъ старыхъ парниковъ и, наконецъ бросишься не на мечъ, а на Шеллингову философію, и сойдешь съ ума! Я питаю уваженіе къ этимъ малюткамъ, которые цѣлый день интересуются самыми благородными исторіями человѣчества, между тѣмъ, какъ ихъ отцы занимаются только повышеніемъ или пониженіемъ курса государственныхъ бумагъ и думаютъ только о кофе, кошенили и мануфактурныхъ товарахъ! Я бы не прочь купить теперь маленькому Бруту сахарныхъ кренделе[illegible] нѣтъ, я лучше опоилъ бы его водкой, чтобы онъ [illegible] маленькимъ... Только до тѣхъ поръ, пока мы не в[illegible] душа наша полна безкорыстія, полна мужества, по[illegible] роизма... По мѣрѣ того, какъ растетъ тѣло, съе[illegible] душа... Я испытываю [illegible] на самомъ себѣ... Ахъ,

великій человѣкъ въ ту пору, когда былъ еще маленькимъ мальчикомъ!

Когда мы вошли на Ремербергъ, Бёрне хотѣлъ ввести меня въ старый императорскій дворецъ и показать мнѣ тамъ золотую буллу.

— Я еще никогда не видалъ ея,—сказалъ онъ со вздохомъ:—а между тѣмъ съ самаго дѣтства питалъ тайное стремленіе къ этой золотой буллѣ. Ребенкомъ, я составлялъ себѣ о ней самое причудливое понятіе и считалъ ее коровой съ золотыми рогами; потомъ я вообразилъ себѣ, что она—теленокъ, и только сдѣлавшись большимъ мальчикомъ, узналъ правду — именно, что она кусокъ старой кожи, никуда негодный кусокъ пергамента, на которомъ написано, какъ императоръ и имперія взаимно продали другъ друга. Нѣтъ, лучше не будемъ смотрѣть на этотъ жалкій контрактъ, погубившій Германію; я хочу умереть, не увидѣвъ золотой буллы.

Здѣсь я также пропускаю нѣкоторыя горькія замѣчанія. Была тема, которую стоило только тронуть, чтобъ вызвать наружу самыя бурныя и болѣзненныя мысли, бродившія въ душѣ Бёрне; эта тема была Германія и политическое состояніе нѣмецкаго народа. Бёрне былъ патріотъ отъ головы до пятокъ, и отечество составляло предметъ всей любви его.

Въ тотъ же самый вечеръ мы снова проходили по еврейской улицѣ, и разговоръ снова зашелъ объ обитателяхъ ея; теперь ключъ Бёрневскаго ума билъ тѣмъ веселѣе, что и эта улица, представлявшая днемъ такой мрачный видъ, была весьма радостно иллюминована, и дѣти Израиля, какъ объяснилъ мнѣ мой чичероне, праздновали въ этотъ вечеръ свой веселый праздникъ лампадъ. Праздникъ этотъ былъ учрежденъ въ вѣчное воспоминаніе побѣды, которую маккавеи такъ геройски одержали надъ царемъ сирійскимъ.

— Видите ли,—сказалъ Бёрне:—это—18-е октября евреевъ, съ тою разницею, что этому маккавейскому 18 октября уже двѣ тысячи лѣтъ, и оно до сихъ поръ празднуется, тогда какъ лейпцигское 18-е октября не прожило еще пятнадцати лѣтъ и уже совсѣмъ забыто. Нѣмцамъ слѣ-
бы ходить въ школу къ старой мадамъ Ротшильдъ,
учиться у ней патріотизму. Видите этотъ маленькій
въ немъ живетъ эта старуха, Летиція, родившая
ихъ финансовыхъ Бонапартовъ, великая мать всѣхъ
ъ, которая, однако, несмотря на всемірное господство
царственныхъ сыновей, не хочетъ покинуть свой

маленькій родовой замокъ въ еврейской улицѣ и сегодня, по случаю большого радостнаго праздника, украсила свои окна бѣлыми занавѣсами. Какъ весело горятъ лампочки, которыя она засвѣтила собственными руками, чтобы отпраздновать тотъ день побѣды, когда Іуда Маккавей и его братья освободили свое отечество такъ же храбро и геройски, какъ въ наши дни Фридрихъ Вильгельмъ, Александръ и Францъ II! Когда добрая старушка смотритъ на эти лампочки, то слезы выступаютъ на ея старыхъ глазахъ, и она съ грустнымъ блаженствомъ вспоминаетъ былое время, когда дорогой мужъ ея, покойный Мейеръ Амшель Ротшильдъ, праздновалъ съ нею этотъ праздникъ, а сыновья ея были еще маленькими дѣтьми и приклеивали къ полу маленькія свѣчки и съ дѣтскою радостью прыгали по комнатѣ, какъ это въ обычаѣ у Израиля!

— Старикъ Ротшильдъ,—продолжалъ Бёрне:—родоначальникъ царствующей династіи, былъ отличный человѣкъ, олицетвореніе набожности добросердечія. У него было кроткое лицо съ острою бородкою, на головѣ всегда треугольная шляпа, а платье, болѣе чѣмъ скромное—почти бѣдное. Въ такомъ видѣ онъ ходилъ по Франкфурту, постоянно окруженный, точно придворнымъ штатомъ, бѣдными людьми, которымъ онъ раздавалъ милостыню или добрые совѣты; когда на улицѣ встрѣчался рядъ нищихъ съ утѣшенными и довольными лицами, то это было знакомъ, что тутъ только-что прошелъ старикъ Ротшильдъ. Когда я былъ еще маленькимъ мальчикомъ и однажды, въ пятницу вечеромъ, шелъ со своимъ отцомъ по еврейской улицѣ, навстрѣчу намъ попался старикъ Ротшильдъ, только-что вышедшій изъ синагоги; я помню, что онъ, поговоривъ съ моимъ отцомъ, сказалъ и мнѣ нѣсколько привѣтливыхъ словъ и потомъ положилъ мнѣ на голову руку, чтобы благословить меня. Я твердо убѣжденъ, что этому благословенію Ротшильда я обязанъ тѣмъ, что впослѣдствіи, не-смотря на то, что я сдѣлался нѣмецкимъ писателемъ, деньги никогда не выходили у меня изъ кармана.

Не могу не вставить здѣсь замѣчанія, что Бёрне всегда жилъ въ довольствѣ и что его позднѣйшій
лизмъ отнюдь нельзя было приписать, ка
тріотовъ, озлобленію, происходящему отъ б
на свое богатство,— я говорю богатство, с
его потребностей,—онъ питалъ непостиж
богатымъ людямъ. Несмотря на то, что

лежало на его головѣ, онъ ненавидѣлъ сыновей — сыновей Мейера Амшеля Ротшильда.

Насколько личныя свойства этихъ людей оправдывали эту ненависть, этого я не стану здѣсь изслѣдовать; подробно я разсмотрю этотъ вопросъ въ другомъ мѣстѣ. Здѣсь же мнѣ хочется только замѣтить, что наши нѣмецкіе проповѣдники свободы поступаютъ столько же несправедливо, сколько глупо, когда такъ озлобленно и кровожадно возстаютъ на домъ Ротшильда за его политическое значеніе, за его вліяніе на интересы революціи, словомъ, за его общественный характеръ. Никто не содѣйствуетъ дѣлу революціи такъ сильно, какъ именно Ротшильды... и, что̀ можетъ показаться еще болѣе страннымъ, Ротшильды, эти банкиры государей, существованіе которыхъ могло бы подвергнуться серьезнѣйшей опасности при переворотѣ въ европейской государственной системѣ, носятъ, однако, въ душѣ сознаніе своей революціонной миссіи. Особенно это замѣтно на человѣкѣ, который извѣстенъ подъ негромкимъ именемъ барона Джемса и въ лицѣ котораго теперь, послѣ смерти его сіятельнаго брата англійскаго, резюмировалось все политическое значеніе дома Ротшильда. Этотъ Неронъ финансоваго міра, построившій себѣ въ улицѣ Лафиттъ золотой дворецъ и, какъ неограниченный императоръ, повелѣвающій оттуда биржами, въ сущности, подобно своему предшественнику, римскому Нерону, является насильственнымъ разрушителемъ привилегированнаго патриціата и основателемъ новой демократіи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, будучи однажды въ хорошемъ расположеніи духа и шляясь со мною по улицамъ Парижа рука объ руку, совершенно фамильонерно, какъ сказалъ бы Гиршъ Гіацинтъ, баронъ Джемсъ довольно ясно растолковалъ мнѣ, какъ именно онъ самъ, своею системою государственныхъ бумагъ, такъ сказать, открылъ дорогу общественному прогрессу Европы.

— Для основанія новаго порядка вещей,—сказалъ онъ мнѣ,—необходимо стеченіе значительныхъ людей, сообща занимающихся этими вещами. Такіе люди въ прежнее время жили доходомъ отъ своихъ имѣній или должностей и вслѣд- [illegible] этого никогда не были совершенно свободны, а на- [illegible] въ того, оставались постоянно прикованными къ какой- [illegible] отдаленной поземельной собственности, или къ ка- [illegible] нибудь мѣстному правительственному учрежденію; теперь [illegible]истема *государственныхъ* бумагъ даетъ этимъ людямъ [illegible]*ность свободно выбирать* для себя мѣсто жительства;

они могутъ, ничего не дѣлая, жить, гдѣ имъ угодно, процентами со своихъ государственныхъ бумагъ, своего карманнаго состоянія, и они сходятся вмѣстѣ и образуютъ то, что составляетъ собственно силу столицъ. А до какой степени важно имѣть такую общую резиденцію самыхъ разнообразныхъ силъ, такую централизацію умственныхъ и соціальныхъ авторитетовъ, это достаточно извѣстно. Безъ Парижа, Франція никогда не совершила бы своей революціи; здѣсь столько отличныхъ умовъ могли найти пути и средства для того, чтобы вести болѣе или менѣе беззаботную жизнь, сообщаться другъ съ другомъ и т. д. Это благопріятное положеніе вещей было вызвано въ Парижѣ мало-по-малу, цѣлыми вѣками. А система рентъ сдѣлала бы Парижъ Парижемъ гораздо скорѣе, и нѣмцамъ, которые очень желали бы имѣть у себя такую же столицу, никакъ не слѣдуетъ жаловаться на систему рентъ: она централизируетъ, она даетъ многимъ возможность жить тамъ, гдѣ они сами пожелаютъ, и оттуда давать человѣчеству полезные толчки...

Съ такой точки зрѣнія смотрѣлъ Ротшильдъ на результаты своей дѣятельности. Я совершенно согласенъ съ его взглядами, я иду даже дальше и вижу въ Ротшильдѣ одного изъ величайшихъ революціонеровъ, основавшихъ новую демократію. Ришелье, Робеспьеръ и Ротшильдъ для меня— три террористическихъ имени и представляютъ собою постепенное исчезновеніе старой аристократіи. Ришелье разрушилъ верховное господство феодальнаго дворянства и подчинилъ его тому королевскому произволу, который или унизилъ его придворною службою, или заставилъ гнить въ провинціяхъ отъ дворянскаго бездѣйствія. Робеспьеръ обезглавилъ, наконецъ, это пресмыкающееся и гнилое дворянство. Но земля осталась, и новый властитель ея, новый землевладѣлецъ, сдѣлался такимъ же аристократомъ, какими были его предшественники, притязанія которыхъ онъ продолжалъ осуществлять подъ другими названіями. Тогда пришелъ Ротшильдъ и разрушилъ верховное господство поземельной собственности возведеніемъ системы государственныхъ бумагъ на высшую степень могущества, мобилизированіемъ большихъ имѣній и доходовъ и, та пожалованіемъ деньгамъ тѣхъ преимуществъ, кот принадлежали поземельной собственности. К вмѣстѣ съ тѣмъ, основалъ и новую аристок какъ основанная на деньгахъ, самой непрос когда не можетъ имѣть такого продолжи

какое имѣла прежняя аристократія, пускавшая корни въ почвѣ, въ самой землѣ. Деньги текучѣе воды, воздушнѣе воздуха, и стóитъ только подумать о непрочности нынѣшней денежной аристократіи, чтобы отъ души простить ей ея дерзкое обращеніе съ людьми. Она расплывется и испарится, прежде, чѣмъ успѣютъ оглянуться.

Между тѣмъ, какъ я сопоставлялъ выше имена Ришелье, Ротшильда и Робеспьера, мнѣ пришло въ голову замѣчаніе, что эти три величайшихъ террориста сходны и во многихъ другихъ отношеніяхъ. Такъ, напр., всѣмъ имъ обща какая-то неестественная любовь къ поэзіи: Ришелье писалъ скверныя трагедіи, Робеспьеръ сочинялъ жалкіе мадригалы, а Джемсъ Ротшильдъ, когда онъ въ хорошемъ расположеніи духа, начинаетъ рифмоплетствовать...

Впрочемъ, все это не идетъ здѣсь къ дѣлу; главнымъ предметомъ этихъ страницъ служитъ террористъ не такого большого размѣра—Людвигъ Бёрне. Этотъ послѣдній, какъ мы уже съ сожалѣніемъ замѣтили, питалъ сильнѣйшую ненависть къ Ротшильдамъ, и когда мы проходили съ нимъ мимо родового дома ихъ, эта ненависть обнаруживалась уже въ его рѣчахъ такъ же рѣзко и ядовито, какъ впослѣдствіи въ его «Парижскихъ Письмахъ». Тѣмъ не менѣе, и онъ отдавалъ нѣкоторую справедливость личнымъ качествамъ этихъ людей и весьма наивно сознавался, что можетъ только ненавидѣть ихъ, но, несмотря на всѣ усилія, не находитъ возможности презирать или находить смѣшными.

— Потому что, видите ли,—говорилъ онъ,—у Ротшильдовъ такъ много денегъ, такая громадная масса денегъ, что они внушаютъ къ себѣ почти ужасающее уваженіе; они, такъ-сказать, отождествляются съ понятіемъ о деньгахъ вообще, а деньги нельзя презирать. Притомъ эти люди употребили самое вѣрное средство избѣжать той смѣшной слабости, которой подпали многія другія баронизированныя и милліонерныя фамиліи еврейскаго міра: они воздерживаются отъ перехода въ христіанскую вѣру. Выкрещиванье вошло теперь у богатыхъ евреевъ въ моду, но такъ какъ оно совершается отнюдь не по убѣжденію, такъ какъ оно есть у нихъ только самообманъ, коли не обманыванье другихъ, и лицемѣрно принятое христіанство иногда представляетъ слишкомъ ужъ рѣзкую противоположность съ ветхимъ Адамомъ, то остро-тію и насмѣшкѣ очень удобно и легко изощряться на нихъ. И, можетъ-быть, вы думаете, что отъ такого рода выкре-*щенья можетъ измѣниться* внутренняя природа человѣка?..

— Нѣтъ, я этого не думаю.

— Я тоже не думаю, и для меня столько же грустно, сколько смѣшно видѣть эти превращенія... Противно мнѣ смотрѣть на ханжествующихъ въ католическомъ духѣ старыхъ дочерей Израиля, которыхъ я встрѣчалъ на берлинскихъ улицахъ... И еще противнѣе для меня тѣ грязные бородатые евреи, которые приходятъ изъ своихъ польскихъ клоакъ, поддаются на выгодныя для нихъ обольщенья миссіонерскаго общества въ Берлинѣ и затѣмъ на своемъ гниломъ діалектѣ сами начинаютъ проповѣдывать христіанство— при чемъ такъ ужасно воняютъ... Ихъ бы прежде всего слѣдовало обливать одеколономъ...

— Любезный докторъ,—перебилъ я эту рѣчь,—въ домѣ повѣшеннаго не слѣдуетъ говорить о веревкѣ. Скажите мнѣ лучше, гдѣ теперь большіе быки, которые, какъ мнѣ когда-то разсказывалъ мой отецъ, бѣгали здѣсь во Франкфуртѣ по еврейскому кладбищу и ночью мычали такъ страшно, что нарушали спокойствіе сосѣдей?

— Вашъ отецъ — отвѣчалъ Бёрне, смѣясь: — не совсѣмъ обманулъ васъ. Въ прежнее время существовалъ обычай, по которому еврейскіе торговцы скотомъ, слѣдуя библейскому предписанію, посвящали Богу первенцевъ мужского пола отъ своихъ коровъ, и съ этою цѣлью привозили ихъ изо всѣхъ странъ Германіи сюда во Франкфуртъ, гдѣ еврейское кладбище отводилось подъ пастбище этимъ быкамъ и гдѣ они бѣгали до своей кончины, и дѣйствительно, часто мычали такъ, что наводили ужасъ. Но старыхъ быковъ теперь уже нѣтъ въ живыхъ и теперешняя скотина уже отреклась отъ прежняго обычая, и ея первенцы спокойно остаются у себя дома... Старые быки умерли.

Не могу не упомянуть при этомъ случаѣ, что во время моего пребыванія во Франкфуртѣ, Бёрне разъ пригласилъ меня обѣдать къ одному изъ своихъ друзей, и это потому, что означенный другъ, въ твердой приверженности къ еврейскимъ обычаямъ, намѣревался угостить меня знаменитымъ блюдомъ шалетъ, и дѣйствительно, я насладился тамъ этимъ кушаньемъ, которое, быть-можетъ, еще египетскаго происхожденія и старо, какъ пирамиды. Меня удивляе
впослѣдствіи, когда онъ, повидимому въ припа
ческаго настроенія, на самомъ же дѣлѣ съ
цѣлями, натравлялъ всяческими измышленія
ціями чернь какъ на вѣнценосцевъ вообще,
вѣнчанную главу поэта,—меня удивляетъ,

ихъ сочиненіяхъ никогда не разсказалъ, съ какимъ аппетитомъ, съ какимъ энтузіазмомъ, съ какимъ благоговѣніемъ, съ какимъ убѣжденіемъ, я нѣкогда, у доктора Шт . . . . , пожиралъ древне-еврейское блюдо шалетъ. Но это кушанье, дѣйствительно, превосходное, и какъ нельзя болѣе прискорбно, что католичество не заимствовало у еврейства, между прочимъ, и шалетъ. Быть-можетъ, оно еще намѣрено это сдѣлать въ будущемъ... и тогда евреи съ убѣжденіемъ примкнутъ къ нему, потому что, какъ ясно видно, старый союзъ ихъ остается сплоченнымъ только посредствомъ шалета. Бёрне увѣрялъ меня даже, что отступникамъ, перешедшимъ изъ этого стараго союза въ новый, стоитъ только услышать запахъ шалета, чтобы ощутить извѣстную тоску по родинѣ—синагогѣ, что шалетъ есть, такъ-сказать, голосъ изъ святыни евреевъ.

Съѣздили мы также вдвоемъ въ субботу въ Борнгеймъ, чтобы тамъ напиться кофе и посмотрѣть на дочерей Израиля... Были тутъ красивыя дѣвушки, и прелестно пахнуло отъ нихъ шалетомъ. Бёрне все мигалъ глазами. Въ этомъ таинственномъ миганьѣ, въ этомъ боязливо-похотливомъ миганьѣ, которое страшится внутренняго голоса, выражалось все различіе между его образомъ чувствъ и моимъ. Бёрне именно былъ, если не по мыслямъ, то тѣмъ болѣе по чувствамъ, рабомъ назарейскаго воздержанія; и какъ всегда бываетъ съ людьми такого рода, которые хотя и признаютъ чувственное воздержаніе за высочайшую добродѣтель, но не могутъ вполнѣ примѣнять его на дѣлѣ, онъ только тайкомъ, дрожа и краснѣя, какъ лакомка-мальчикъ, дерзалъ вкушать отъ запретныхъ яблоковъ Евы. Не знаю, интенсивнѣе ли наслажденіе у этихъ людей, чѣмъ у насъ, лишенныхъ при этомъ прелести тайнаго пользованія, нравственной контрабанды; вѣдь утверждаютъ же, что Магометъ для того запретилъ своимъ туркамъ пить вино, чтобы оно отъ этого казалось имъ еще вкуснѣе.

Въ большомъ обществѣ Бёрне былъ скупъ на слова и дѣлался разговорчивъ только въ бесѣдѣ вдвоемъ, когда думалъ, что съ нимъ бесѣдуетъ человѣкъ одинаковаго съ нимъ образа мыслей. Что Бёрне считалъ меня такимъ человѣкомъ, это было съ его стороны заблужденіемъ, сдѣлавшимся впослѣдствіи для меня источникомъ очень многихъ непріятностей. Уже тогда во Франкфуртѣ мы гармонировали съ нимъ только въ области политики, а отнюдь не въ области *философіи, или* искусства, или природы, которыя *были совершенно чужды* ему. Вообще, характеры наш

были совершенно несходны между собою, и можетъ-быть, что источникъ этого несходства заключается не только въ нашихъ нравственныхъ, но и въ физическихъ свойствахъ.

Собственно говоря, существуетъ только два класса людей, тощій и толстый, или, лучше сказать, классъ людей, которые съ каждымъ днемъ все больше и больше худѣютъ, и такихъ, которые отъ хилаго сложенія постепенно переходятъ къ самой округленной корпуленціи. Первые — опаснѣйшая порода, которой Юлій Цезарь такъ боялся: «я желалъ бы, чтобъ онъ былъ толще», говорилъ онъ о Кассіѣ. Брутъ принадлежалъ къ совершенно противоположной породѣ, и я убѣжденъ, что если бы ему не пришлось проиграть битву при Филиппахъ и по этому случаю заколоться, то онъ растолстѣлъ бы такъ, какъ и авторъ этой книги. «А Брутъ былъ славный человѣкъ».

Такъ какъ я здѣсь припомнилъ Шекспира, то пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы заявить, что я склоняюсь въ пользу того стариннаго варіанта, въ которомъ Гамлетъ называется «толстымъ». — Достойный сожалѣнія принцъ датскій! Природа создала тебя для того, чтобы ты проводилъ жизнь въ самой счастливой тучности, а тутъ міръ вдругъ сорвался съ петель, и тебѣ привелось снова устанавливать его на мѣсто! Бѣдный толстый принцъ датскій!..

Три дня, проведенные мною во Франкфуртѣ въ сообществѣ Бёрне, протекли почти въ идиллической мирной безмятежности. Онъ при всякомъ случаѣ старался угодить мнѣ. Онъ зажигалъ ракеты своего остроумія, какъ только могъ ярче, и подобно тому, какъ въ китайскихъ фейерверкахъ самъ фейерверкеръ, наконецъ, подымается на воздухъ, окруженный трескомъ и пламенемъ, такъ и юмористическія выходки Бёрне всегда заканчивались бѣшенымъ брильянтовымъ огнемъ, въ который онъ самъ бросался съ безграничною смѣлостью. Онъ былъ незлобивъ, какъ дитя. До послѣдней минуты моего пребыванія во Франкфуртѣ, онъ добродушно бѣгалъ рядомъ со мною и засматривалъ мнѣ въ глаза, выпытывая, не можетъ ли онъ еще чѣмъ-нибудь доказать мнѣ свою любовь. Онъ зналъ, что я ѣхалъ въ Мюнхенъ по предложенію стараго барона Котта, чтобъ тамъ принять на себя редакцію «Политическихъ Анналъ» и также посвятить свою дѣятельность нѣкоторымъ заду нымъ литературнымъ предпріятіямъ. Въ то время з лись о томъ, чтобы создать для либеральной прессы с которые впослѣдствіи могли бы имѣть благодѣтельное

заботились посѣять сѣмя будущности, сѣмя, на которое современники смотрѣли только враждебными глазами, такъ что бѣдный сѣятель пожиналъ лишь досаду и оскорбленія. Всѣмъ извѣстны тѣ ядовитыя гадости, которыя ультрамонтано-аристократическая пропаганда въ Мюнхенѣ дѣлала противъ меня и моихъ друзей.

«Берегитесь сходиться въ Мюнхенѣ съ попами!»—таковы были послѣднія слова, которыя Бёрне шепнулъ мнѣ на-ухо, прощаясь со мною. Я уже сидѣлъ въ купэ почтовой кареты, а онъ еще долго смотрѣлъ мнѣ вслѣдъ, печальный, какъ старый морякъ, который навсегда поселился на сушѣ и чувствуетъ состраданіе, когда видитъ молодого удальца, въ первый разъ отправляющагося въ морское плаванье... Старикъ думалъ въ то время, что онъ навсегда распростился съ коварною стихіей и можетъ спокойно провести остатокъ дней въ безопасной гавани. Бѣдный человѣкъ! Боги не хотѣли доставить ему это спокойствіе. Ему снова пришлось пуститься въ открытое море, и тамъ встрѣтились наши корабли въ то время, когда свирѣпствовала страшная буря, погубившая его! Что это былъ за вой! Что это былъ за трескъ! При блескѣ желтыхъ молній, пронизывавшихъ черныя тучи, я могъ ясно видѣть, какъ мужество и безпокойство болѣзненно смѣнялись на лицѣ этого человѣка! Онъ стоялъ у руля своего корабля и шелъ наперекоръ бѣшенымъ волнамъ, которыя то грозили поглотить его, то только слегка испрыскивали,—и это представляю такую горестную и въ то же время комическую картину, что, глядя на нее, можно было плакать и смѣяться. Бѣдный человѣкъ! Корабль его былъ безъ якоря, а сердце—безъ надежды... Я видѣлъ, какъ рухнула мачта, какъ вѣтеръ разорвалъ снасти... Я видѣлъ, какъ онъ протянулъ ко мнѣ руку...

Я не смѣлъ схватить ее, я не смѣлъ отдать на вѣрную погибель драгоцѣнный грузъ мой, священныя сокровища, довѣренныя мнѣ... Я везъ на своемъ кораблѣ боговъ будущности.

КНИГА ВТОРАЯ.

Гельголандъ, 1 іюля 1830 г.

...Я самъ утомленъ этой гверильясской войною и жажду спокойствія—жажду по крайней мѣрѣ такого состоянія, въ которомъ *я могъ бы совершенно свободно предаваться моимъ природнымъ наклонностямъ*, моей мечтательной натурѣ

манерѣ, моей фантастической пытливости. Какая иронія
удьбы, что мнѣ, до такой степени любящему лежать на
уховикахъ тихой, созерцательной жизни духа,—мнѣ именно
ыпало на долю выгонять моихъ бѣдныхъ соотечественни-
овъ изъ ихъ безмятежнаго спокойствія и втравливать въ
виженіе! Я, любящій больше всякихъ другихъ занятій,
лѣдить за грядами тучекъ, угадывать метрическую прелесть
лова, подслушивать тайны стихійныхъ духовъ и погру-
аться въ чудесный міръ старыхъ сказокъ, — я долженъ
ылъ издавать «Политическія Анналы», обсуживать совре-
енные интересы, подстрекать революціонныя желанія и
остоянно дергать за носъ бѣднаго нѣмецкаго Михеля для
ого, чтобы онъ очнулся отъ своего здороваго исполинскаго
на... Правда, это дерганье производило въ храпящемъ ги-
антѣ только легкое чиханье, но никакъ не могло разбу-
ить его... А если порою я сильно трясъ его подушку, то
нъ снова примащивалъ ее себѣ вялою отъ сна рукою...
азъ я съ отчаянія хотѣлъ зажечь его ночной колпакъ;
о онъ былъ такъ влаженъ отъ пота мыслей, что едва
два задымился... И Михель продолжалъ сладко улыбать-
о снѣ...

Я утомленъ и жажду спокойствія. Я тоже закажу се-
ѣмецкій ночной колпакъ и натяну его на уши. Знать
нѣ только, гдѣ теперь я могъ бы приклонить голову. В
ерманіи это невозможно. Каждую минуту ко мнѣ буде-
риходить полицейскій служитель и расталкивать мен-
тобы узнать, дѣйствительно ли я сплю; уже одна эта мысл-
ничтожаетъ все мое спокойствіе. Однакожъ, въ самом-
ѣлѣ, куда мнѣ отправиться? Опять на югъ? Въ стран-
дѣ цвѣтутъ лимоны и золотые апельсины? Ахъ, тамъ пе-
едъ каждымъ лимоннымъ деревомъ стоитъ теперь австрій-
кій часовой, и съ громомъ пускаетъ въ тебя страшное:
кто идетъ?» Какъ лимоны, такъ и золотые апельсины те-
ерь очень кислы. Или на сѣверъ? Быть-можетъ, на сѣ-
еро-востокъ? Ахъ, бѣлые медвѣди теперь опаснѣе, чѣмъ
огда-либо, съ тѣхъ поръ, какъ они цивилизуются и носятъ
айковыя перчатки. Или поѣхать мнѣ снова въ проклятую
нглію, гдѣ я не хотѣлъ бы даже висѣть en effigie, а
одавно жить самому? Нѣтъ, ни за что въ эту презрѣ-
трану, гдѣ машины дѣйствуютъ какъ люди, а люди—
ашины. И шумъ ея, и молчаніе наводятъ такую с
ску! Когда меня представили здѣшнему губерна-
ъ завзятый англичанинъ нѣсколько минутъ с

редо мною неподвижно и не произнося ни одного слова, то мнѣ невольно захотѣлось посмотрѣть на него сзади, увидѣть, не забыли ли какъ-нибудь прицѣпить къ нему машину. Уже одно то обстоятельство, что островъ Гельголандъ находится подъ британскимъ владычествомъ, для меня достаточно фатально. Мнѣ иногда представляется, что я нюхаю ту скуку, которую повсюду выпускаютъ изъ себя сыны Альбіона. Въ самомъ дѣлѣ, изъ каждаго англичанина выдѣляется извѣстный газъ, смертельный, удушливый воздухъ скуки — и это я замѣтилъ собственными глазами, не въ Англіи, гдѣ вся атмосфера совершенно насыщена имъ, но въ южныхъ странахъ, гдѣ туристъ-британецъ шляется въ отдаленіи отъ всѣхъ другихъ людей, и гдѣ сѣрое сіяніе скуки, окружающее его голову, ясно очерчивается въ озаренномъ солнечными лучами синемъ воздухѣ. Англичане конечно, думаютъ, что ихъ скука — мѣстный продуктъ, и, чтобы избѣжать ея, они путешествуютъ по всѣмъ землямъ, скучаютъ повсюду и возвращаются домой съ Diary of an ennuyé. Они въ этомъ случаѣ похожи на того солдата, которому, въ то время, какъ онъ спалъ на койкѣ, товарищи натерли подъ носомъ вонючей грязью; проснувшись, онъ замѣтилъ, что въ комнатѣ скверно пахнетъ, и вышелъ на дворъ, но скоро возвратился и началъ утверждать, что и на дворѣ скверно пахнетъ, что весь свѣтъ воняетъ.

Одинъ изъ моихъ друзей, недавно возвратившійся изъ Франціи, утверждалъ, что англичане путешествуютъ по материку только потому, что грубая кухня ихъ родины приводитъ ихъ въ отчаяніе; что за французскими табль-д'отами сидятъ толстые англичане, которые не пожираютъ ничего, кромѣ воль-о-вановъ, кремовъ, сюпремовъ, рагу, желе и тому подобныхъ воздушныхъ кушаній, и пожираютъ съ тѣмъ колоссальнымъ аппетитомъ, который упражнялся дома на массахъ ростбифа и йоркширскихъ плумпудинговъ, и который долженъ, наконецъ, разорить всѣхъ французскихъ трактирщиковъ. Дѣйствительно ли эксплоатація табль-д'отовъ есть тайная причина, заставляющая англичанъ странствовать по свѣту? Можетъ-быть, въ то самое время, какъ мы смѣемся надъ бѣглостью, съ которою они осматриваютъ повсюду рѣдкости и картинныя галлереи, они сами насъ мистифицируютъ, и забавное для насъ любопытство ихъ есть ничто иное, какъ плутовское прикрытіе ихъ гастрономическихъ цѣлей...

Но какъ ни превосходна французская кухня, однако и

во Франціи теперь, повидимому, очень скверно. Іезуиты процвѣтаютъ въ ней и поютъ тріумфальныя пѣсни... Члены тамошняго правительства —тѣ же самые глупцы, которымъ уже пятьдесятъ лѣтъ назадъ отрубили головы... Какой же изъ этого вышелъ прокъ? Они снова вышли изъ могилъ, и теперь управляютъ глупѣе, чѣмъ прежде, потому что, когда ихъ выпускали изъ царства мертвыхъ на свѣтъ Божій, многіе второпяхъ приставляли себѣ первую попадавшую имъ подъ руки голову, и тутъ происходили весьма пагубныя ошибки: головы иногда не приходились къ туловищамъ и къ сердцамъ, въ нихъ заключавшимся. Вотъ и видишь иного, который на трибунѣ говоритъ, какъ самъ разумъ, вслѣдствіе чего мы дивимся умной головѣ, а между тѣмъ немедленно послѣ этого неисправимо сумасшедшее сердце заставляетъ его же совершать самые дурацкіе поступки... Въ ужасъ приводитъ противорѣчіе между мыслями и чувствами, принципами и страстями, словами и дѣлами этихъ пришлецовъ съ того свѣта!..

Или отправиться мнѣ въ Америку, въ эту необъятную тюрьму свободы, гдѣ невидимыя цѣпи будутъ давить меня еще болѣзненнѣе, чѣмъ видимыя—дома, и гдѣ отвратительнѣйшій изъ всѣхъ тирановъ, чернь, практикуетъ свое грубое господство? Ты знаешь, какъ я думаю объ этой, Богомъ проклятой, странѣ, которую я любилъ, когда еще не зналъ ея... И однакожъ, по долгу моего ремесла, я долженъ гласно восхвалять ее... О, милые нѣмецкіе поселяне! Отправляйтесь въ Америку! Тамъ нѣтъ ни князей, ни дворянства, тамъ всѣ люди равны... за исключеніемъ, конечно, нѣсколькихъ милліоновъ, имѣющихъ черную или коричневую кожу и съ которыми обращаются, какъ съ собаками! Настоящее рабство, уничтоженное въ большей части сѣверо-американскихъ провинцій, возмущаетъ меня не такъ сильно, какъ жестокость, съ которою поступаютъ тамъ въ отношеніи свободныхъ черныхъ и мулатовъ. Каждый, происходящій отъ негра—даже въ самой отдаленной степени, и даже тотъ, кто свидѣтельствуетъ о такомъ происхожденіи своемъ уже не цвѣтомъ, а только строеніемъ лица,—подвергается тамъ страшнѣйшимъ мученіямъ,— мученіямъ, которыя намъ, европейцамъ, кажутся баснословными. При этомъ американцы сильно тщеславятся своимъ христіанствомъ и являются самыми усердными посѣтителями церкви. Такому лицемѣрію они выучились у англичанъ, которые вообще сообщили имъ самыя дурныя свойства свои. Свѣтская выгода состав

ихъ дѣйствительную религію, а деньги—ихъ божество, единственное, всемогущее божество. Конечно, есть тамъ не мало благородныхъ сердецъ, въ тишинѣ оплакивающихъ всеобщее корыстолюбіе и несправедливость. Но стоитъ этимъ людямъ возстать, и ихъ постигаетъ мученичество, превосходящее всѣ европейскія понятія. Если я не ошибаюсь, то именно въ Нью-Іоркѣ случилось, что одинъ протестантскій проповѣдникъ до того возмутился угнетеніемъ цвѣтныхъ людей, что, презрѣвъ жестокій предразсудокъ, выдалъ свою собственную дочь замужъ за негра. Какъ только въ городѣ узнали объ этомъ истинно-христіанскомъ поступкѣ, народъ толпою бросился къ дому проповѣдника, который только бѣгствомъ спасся отъ смерти; но домъ его былъ разрушенъ, а дочь священника, бѣдная жертва, схвачена чернью и удовлетворила ея ярости. She was lynched, то-есть, ее раздѣли до-нага, вымазали смолою, всунули въ разрѣзанную перину, и въ такомъ видѣ волочили по всему городу, ругаясь надъ несчастной...

О, свобода, ты злой сонъ!

Гельголандъ, 8 іюля.

Такъ какъ вчера было воскресенье, и свинцовая скука висѣла надъ всѣмъ островомъ и почти сдавила мою голову, то я съ отчаянія схватился за Библію... И сознаюсь тебѣ, несмотря на то, что я тайный эллинъ, книга эта не только заняла меня, но и подѣйствовала крайне назидательно. Что это за книга! Великая и обширная, какъ міръ, пускающая корни на днѣ созданія и воздымающая вершины къ голубымъ таинствамъ неба... Восходъ и закатъ солнца, обѣщанія и выполненія, рожденіе и смерть, вся драма человѣчества—все есть въ этой книгѣ... Это книга книгъ, Библія. Евреи должны были легко утѣшиться въ томъ, что они потеряли Іерусалимъ, и храмъ, и кивотъ завѣта, и золотые сосуды, и клейноды Соломона... Эта потеря вѣдь ничтожна въ сравненіи съ Библіею, неразрушимымъ сокровищемъ, которое они спасли. Если я не ошибаюсь, то это Магометъ назвалъ евреевъ «народомъ книги»—названіе, которое до сихъ поръ сохранилось за ними на Востокѣ и имѣетъ глубоко знаменательный смыслъ. Книга составляетъ отчизну евреевъ, ихъ владѣніе, ихъ повелителя, ихъ счастье и несчастье. Они живутъ въ мирныхъ областяхъ этой книги, въ ней пользуются они своими неотъемлемыми гражданскими правами, отсюда нельзя ихъ прогнать, тутъ не подвергаются они

презрѣнію, тутъ они сильны и достойны удивленія. Погруженные въ чтеніе этой книги, они почти не замѣчали перемѣнъ, происходившихъ вокругъ нихъ въ дѣйствительномъ мірѣ; народы возвышались и исчезали, государства расцвѣтали и вянули, революціи бурно проходили по земному шару... А они, евреи, лежали, склонясь надъ своею книгой, и вовсе не замѣчали дикой охоты времени, проносившейся надъ ихъ головами!..

Какъ пророкъ Востока назвалъ ихъ «народомъ книги», такъ пророкъ Запада обозначилъ ихъ въ своей философіи исторіи «народомъ духа». Уже въ самые первые дни своего существованія евреи, какъ мы замѣчаемъ въ Пятикнижіи, обнаруживаютъ склонность къ отвлеченному, и вся ихъ религія есть ничто иное, какъ родъ діалектики, посредствомъ которой матерія и духъ разъединяются и абсолютное признается только въ исключительной формѣ духа. Какое мрачно-изолированное положеніе должны они были занять между народами древности, которые, будучи преданы самому радостному служенію природѣ, понимали духъ скорѣе въ явленіяхъ матеріи, въ образѣ и символѣ! Какую ужасную оппозицію составляли поэтому они ярко окрашенному, кишѣвшему гіероглифами Египту, или Финикіи, этому великому храму веселія богини Астарты, или даже прекрасной грѣшницѣ, милому, благоуханному Вавилону, или, наконецъ, Греціи, цвѣтущей отчизнѣ искусства!

Удивительное зрѣлище доставляется созерцаніемъ того, какъ народъ духа, мало-по-малу, совершенно освобождается отъ матеріи, совершенно спиритуализируется. Моисей снабдилъ духъ какъ бы матеріальными оплотами противъ реальнаго натиска сосѣднихъ народовъ: вокругъ поля, на которомъ его руки посѣяли духъ, онъ насадилъ, въ видѣ охраняющаго терноваго забора, неподвижный церемоніальный законъ и эгоистическую національность. Но, когда это растеніе-духъ пустило такіе глубокіе корни и поднялось такъ высоко къ небу, что уже оказывалось невозможнымъ вырвать его изъ земли—тогда пришелъ Іисусъ Христосъ, и сломалъ церемоніальный законъ, утратившій съ этихъ поръ всякое полезное значеніе, и произнесъ даже смертельный
воръ еврейской національности... Онъ призвалъ всѣ
земли къ участію въ царствѣ Божіемъ, которое д
поръ принадлежало только единственному избранн
роду Бога. Онъ далъ всему человѣчеству гражданскія
То былъ великій вопросъ освобожденія... Правда,

тель, освободившій своихъ братьевъ отъ церемоніальнаго закона и узкой національности и создавшій единеніе народовъ, сдѣлался жертвою Своей гуманности, и іерусалимскій городской магистратъ осудилъ Его на распятіе, а чернь издѣвалась надъ Нимъ...

Но только тѣло было распято и осмѣяно, духъ возвеличился, и мученичество Побѣдителя, доставившаго духу всемірное господство, сдѣлалось символомъ этой побѣды, и все человѣчество стало съ тѣхъ поръ, in imitationem Christi, стремиться къ умерщвленію плоти и сверхчувственному самоуничтоженію въ абсолютномъ духѣ...

Когда снова наступитъ гармонія, когда снова выздоровѣетъ міръ отъ односторонняго стремленія къ одухотворенію, бывшаго причиною того, что заболѣли и душа, и тѣло? Весьма цѣлебное средство заключается въ политическомъ движеніи и въ искусствѣ. Наполеонъ и Гёте оказали превосходное вліяніе. Первый — тѣмъ, что заставилъ народы позволять себѣ всевозможный здоровый моціонъ; второй— тѣмъ, что сдѣлалъ насъ снова воспріимчивыми къ греческому искусству и создалъ солидныя произведенія, за которыя мы можемъ крѣпко ухватиться, какъ за мраморныя статуи боговъ, чтобы не погибнуть въ туманномъ морѣ абсолютнаго духа...

Гельголандъ, 18 іюля.

Въ Ветхомъ Завѣтѣ я прочелъ съ начала до конца всю первую книгу Моисея. Точно длинный караванъ, тянулся въ моемъ умѣ этотъ священный древній міръ. Верблюды идутъ медленнымъ шагомъ. На ихъ высокихъ спинахъ сидятъ укутанныя вуалями розы Ханаана. За ними—набожные пастухи, гонящіе быковъ и коровъ. Все это проходитъ по голымъ горамъ, знойнымъ песчанымъ равнинамъ, на которыхъ только мѣстами появляется и навѣваетъ прохладу какая-нибудь группа пальмъ. Слуги копаютъ колодцы. Прекрасный, тихій, лучезарный востокъ! Какъ отрадно находиться подъ твоими шатрами! О, Лаванъ, если бы я могъ пасти твои стада! Я охотно прослужилъ бы тебѣ семь лѣтъ изъ-за Рахили, и затѣмъ еще семь лѣтъ изъ-за Ліи! Я слышу блеяніе овецъ Іоакова, я вижу, какъ онъ держитъ передъ ними оструганныя палочки, когда онѣ въ случную пору идутъ на водопой. Пятнистыя и съ крапинами принадлежатъ въ настоящее время намъ. Между тѣмъ, приходитъ *домой Рувимъ и приноситъ* своей матери букетъ ду-

даимовъ, сорванныхъ имъ въ полѣ. Рахиль требуетъ отдачи ей дудаимовъ, и Лія соглашается, подъ условіемъ, что Іоаковъ за это будетъ спать слѣдующую ночь у нея. Что такое дудаимы? Коментаторы напрасно ломали головы надъ объясненіемъ. Лютеръ не придумалъ ничего лучше, какъ оставить за этими цвѣтами то же названіе дудаимовъ. Это, быть-можетъ, швабскіе желтолиственники. Любовная исторія Дины и молодого Сихема очень тронула меня. Но братья Дины, Симеонъ и Леви, отнеслись къ дѣлу совсѣмъ не такъ сентиментально. Отвратительно то, что они несчастнаго Сихема и всѣхъ его родственниковъ удушили съ злобнымъ коварствомъ, несмотря на то, что бѣдный любовникъ выражалъ готовность жениться на ихъ сестрѣ, ихъ самихъ надѣлить землями и имуществомъ, соединиться съ ними въ одну семью, несмотря и на то, что онъ съ этой цѣлью совершилъ обрѣзаніе надъ собой и всѣмъ своимъ народомъ. Обоимъ парнямъ слѣдовало бы радоваться, что ихъ сестра дѣлаетъ такую блестящую партію, такое родство оказывалось въ высшей степени полезнымъ для ихъ фамиліи, а вдобавокъ къ тому, они, сверхъ драгоцѣннѣйшихъ подарковъ, пріобрѣтали еще такимъ путемъ хорошій кусокъ земли, который въ это именно время былъ имъ какъ нельзя болѣе нуженъ... Невозможно поступить приличнѣе, чѣмъ поступилъ этотъ влюбленный принцъ, который вѣдь въ сущности заранѣе воспользовался брачными правами только по чувству любви... Но дѣло, все-таки, совершилось—онъ обольстилъ сестру; а за такое преступленіе эти гордые и дорожащіе честью братья не знаютъ иного возмездія, кромѣ смерти... И когда отецъ призываетъ ихъ къ отвѣту за кровавое дѣло и исчисляетъ выгоды, которыя доставило бы имъ родство съ Сихемомъ, они отвѣчаютъ: «Ужъ не слѣдовало ли намъ торговать дѣвствомъ нашей сестры?»

Крутыя, жестокія сердца эти братья. Но подъ твердымъ камнемъ благоухаетъ самое нѣжное чувство нравственности. Странно — это чувство нравственности, обнаруживающееся въ жизни праотцевъ и при другихъ случаяхъ, не есть результатъ положительной религіи или политическаго законодательства; нѣтъ, въ то время у предковъ евреевъ не ни положительной религіи, ни политическаго закона; и другое возникло уже въ позднѣйшую пору. Я не рѣшаюсь утверждать, что нравственность независи *догмата и* законодательства, она есть чистый продук *роваго* человѣческаго чувства, и истинная нравств

разумъ сердца, будетъ жить вѣчно, если бы даже погибли церковь и государство.

Мнѣ хотѣлось бы, чтобъ у насъ было какое-нибудь другое слово для обозначенія того, что̀ мы теперь называемъ нравственностью. Иначе мы подвергаемся заблужденію смотрѣть на нравственность, какъ на продуктъ нравовъ. Романскіе народы находятся въ этомъ случаѣ въ такомъ же положеніи, произведя свое слова morale отъ mores. Но истинная нравственность независима отъ нравовъ народа точно такъ же, какъ отъ догмата и законодательства. Нравы— произведенія климата, исторіи, возникшихъ изъ такихъ факторовъ законодательства и догматики. Существуютъ поэтому индійскіе нравы, китайскіе, христіанскіе, но нравственность только одна, именно—человѣческая. Ее нельзя, быть-можетъ, облечь въ понятіе, и тотъ законъ нравственности, который мы называемъ моралью, есть ничто иное, какъ діалектическая игра. Нравственность обнаруживается въ поступкахъ, и только въ мотивахъ этихъ послѣднихъ, а не въ ихъ формѣ и цвѣтѣ, заключается нравственное значеніе. На заглавномъ листѣ «Путешествіе въ Японію» Головина помѣщены эпиграфомъ прекрасныя слова, которыя русскій путешественникъ слышалъ отъ одного знатнаго японца: «Нравы народовъ различны, но хорошіе поступки всюду признаются таковыми».

Съ тѣхъ поръ, какъ я мыслю, я не переставалъ думать объ этомъ предметѣ, то есть о нравственности. Вопросъ о свойствѣ добра и зла, приводящій уже полтора столѣтія въ мучительное движеніе всѣ великіе умы, у меня всегда имѣлъ значеніе только въ вопросѣ о нравственности...

Изъ Ветхаго Завѣта я порою перехожу въ Новый, и здѣсь также охватываетъ меня трепетомъ всемогущество великой книги! На какую священную почву становится здѣсь нога! Приступая къ этому чтенію, нужно снимать обувь, какъ при приближеніи къ святынѣ.

Однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ мѣстъ въ Новомъ Завѣтѣ представляются для меня слова въ Евангеліи отъ Іоанна, гл. 16, ст. 12, 13: «Я имѣю еще много сказать вамъ, но вы не въ состояніи въ настоящее время вынести это. Когда же пріидетъ Онъ, Духъ Истины, то поведетъ васъ въ чистую Истину. Ибо Онъ не будетъ говорить отъ Себя, но что̀ услышитъ, то скажетъ, и что̀ въ грядущемъ, то Онъ возвѣститъ вамъ». Послѣднее слово, слѣдовательно, не сказано, и *тутъ, можетъ-быть,* звено, къ которому можно у

крѣпить новое Откровеніе. Оно начинается освобожденіемъ отъ слова, кладетъ конецъ мученичеству и основываетъ царство вѣчной радости: милленіумъ. Всѣ обѣщанія увѣнчиваются, наконецъ, самымъ щедрымъ исполненіемъ. . .

. . . . . .

Какая великая драма — страданія Христа! И какъ глубоко мотивирована она пророчествами Ветхаго Завѣта! . .

. . . . . .

Какой чудный образъ этотъ Богочеловѣкъ! Какъ мелки кажутся, въ сравненіи съ Нимъ, герои Ветхаго Завѣта! Моисей любитъ свой народъ съ трогательною задушевностью; какъ мать, заботится онъ о будущности этого народа. Христосъ любитъ человѣчество, это солнце согрѣваетъ всю землю теплыми лучами своей любви. Какой цѣлительный бальзамъ для всѣхъ ранъ здѣшняго міра заключается въ Его словахъ! Какой цѣлебный источникъ для всѣхъ страждущихъ—кровь Его, пролившаяся на Голгоѳѣ!.. Бѣлые мраморные боги Греціи были забрызганы этой кровью, и заболѣли отъ внутренняго ужаса, и никогда уже не могли выздоровѣть! Большинство ихъ, правда, уже давно носило въ себѣ изнурительную болѣзнь, и только испугъ ускорилъ ихъ смерть. Прежде всѣхъ умеръ Панъ. Знаешь ли ты сказку объ этомъ, какъ ее разсказываетъ Плутархъ? Эта древняя корабельная сказка замѣчательна въ высшей степени. Вотъ что говоритъ она:

Въ царствованіе Тиверія одинъ корабль проѣзжалъ однажды вечеромъ подлѣ островов Перэ, лежащихъ на берегу Этоліи. Люди, находившіеся на этомъ кораблѣ, еще не спали, и многіе изъ нихъ, только-что поужинавъ, сидѣли и пили; вдругъ, съ берега послышался голосъ, который такъ громко назвалъ по имени Фамуса (такъ назывался кормчій), что всѣ пришли въ величайшее удивленіе. На первый и на второй зовъ Фамусъ ничего не отвѣтилъ, на третій онъ отозвался; тогда голосъ еще громче сказалъ ему слѣдующія слова: «Когда ты пристанешь къ вершинѣ Палодеса, то возвѣсти, что великій Панъ умеръ!» Достигнувъ этой вершины, Фамусъ исполнилъ порученіе, съ палубы корабля воскликнулъ, обращаясь къ берегу: «Великій Панъ уме Въ отвѣтъ на это восклицаніе послышались оттуда ст ные звуки скорби, смѣсь стоновъ и криковъ удивленія, будто бы вылетавшихъ въ одно время изъ груди мног Очевидцы разсказывали объ этомъ событіи въ Римѣ, *сказъ вызвалъ* тамъ самыя удивительныя мнѣнія. Т

велѣлъ ближе разслѣдовать это дѣло и не сомнѣвался въ правдивости его».

Гельголандъ, 29 іюля.

Я опять читалъ Ветхій Завѣтъ. Какая великая книга! Меня поражаетъ еще больше, чѣмъ содержаніе, изложеніе, гдѣ слово является какъ бы продуктомъ природы, подобно дереву, цвѣтку, морю, звѣздамъ, самому человѣку. Слово растетъ, течетъ, искрится, улыбается неизвѣстно какъ, неизвѣстно почему, все кажется совершенно естественнымъ. Это, дѣйствительно, слово Божіе, тогда какъ другія книги свидѣтельствуютъ только о человѣческомъ остроуміи. Въ Гомерѣ, другой великой книгѣ, изложеніе есть продуктъ искусства, и если содержаніе, точно такъ же, какъ въ Библіи, взято изъ дѣйствительности, то проявляется оно въ поэтическихъ образахъ, такъ сказать, переплавливается въ горнилѣ человѣческаго духа; оно очищается духовнымъ процессомъ, который мы называемъ искусствомъ. Въ Библіи нѣтъ и слѣда искусства; стиль ея—стиль записной книжки, въ которую абсолютный духъ, какъ бы безъ всякой индивидуальной человѣческой помощи, заноситъ происшествіе каждаго дня съ фактической точностью... Объ этомъ стилѣ нельзя произносить никакого приговора, можно только констатировать дѣйствіе на нашу душу, и велико, по всей вѣроятности, было затрудненіе греческихъ грамматиковъ, когда они хотѣли опредѣлять установленными эстетическими понятіями многія поразительныя красоты Библіи. Лонгинъ говоритъ о возвышенности. Новые эстетики толкуютъ о наивности. Ахъ! какъ я уже сказалъ, всѣ критическіе масштабы оказываются здѣсь недостаточными... Библія есть слово Божье.

Только у одного писателя нахожу я нѣчто, напоминающее этотъ непосредственный стиль. Это Шекспиръ. И у него слово выступаетъ иногда въ страшной наготѣ, пугающей и потрясающей насъ; въ Шекспировскихъ произведеніяхъ мы видимъ иногда живую истину безъ одежды искусства. Но это случается только въ отдѣльные моменты; геній искусства, можетъ-быть, чувствуя свое безсиліе, уступаетъ здѣсь на нѣсколько минутъ свою обязанность природѣ, но потомъ тѣмъ ревнивѣе удерживаетъ свое господство въ пластическомъ изображеніи и остроумномъ усложненіи драмы. Шекспиръ—въ одно и то же время еврей и грекъ, или, *вѣрнѣе сказать, оба* элемента—спиритуализмъ и искус-

ство, примирительно сливаются въ немъ и образуютъ одно высокое цѣлое.

Такое гармоническое сліяніе обоихъ элементовъ не есть ли, быть-можетъ, задача всей европейской цивилизаціи? Мы еще слишкомъ далеки отъ такого результата. Грекъ Гёте, а съ нимъ и вся поэтическая партія, еще недавно выказали страстную антипатію къ Іерусалиму. Противная партія, во главѣ которой не стоитъ ни одно великое имя, а находится только нѣсколько крикуновъ, какъ, напримѣръ, Пусткухенъ, еврей Вольфангъ Менцель, еврей Генгстенбергъ, подымаетъ тѣмъ крикливѣе свои фарисейскія нападки противъ Афинъ и великаго язычника.

Мой сосѣдъ по комнатѣ, какой-то юстицратъ изъ Кенигсберга, пріѣхавшій сюда для купанья, считаетъ меня піэтистомъ, такъ какъ каждый разъ, когда онъ удостоиваетъ меня визитомъ, застаетъ меня за Библіею. Ему бы очень хотѣлось за это немного поострить надо мною, и каждый разъ, когда онъ разговариваетъ со мною о религіи, язвительная восточно-прусская улыбка мерцаетъ на его тощемъ холостомъ лицѣ...

Другой сосѣдъ мой, живущій подо мною—ни піэтистъ, ни раціоналистъ, а просто голландецъ, небрежный и масляпистый, какъ сыръ, которымъ онъ торгуетъ. Ничто не можетъ привести его въ движеніе; онъ—образъ самаго трезваго спокойствія, и голосъ его не теряетъ своей плоскости даже тогда, когда онъ разговариваетъ съ моей хозяйкой о своемъ любимомъ предметѣ—соленіи рыбы. Къ сожалѣнію, доски моего пола такъ тонки, что я долженъ иногда слышать подобные разговоры, и въ то время, какъ вчера я разсуждалъ съ пруссакомъ о религіозныхъ предметахъ, мой голландецъ объяснялъ внизу, что три породы трески—кабельгау, лабарданъ и штокфишъ, хотя и различаются между собою, но въ сущности составляютъ одно и то же.

Мой хозяинъ—превосходный морякъ, славящійся на всемъ островѣ своею неустрашимостью во время бурь, но при этомъ добродушный и кроткій, какъ дитя. Онъ только что возвратился изъ большого плаванія, и съ веселою серьезностью разсказалъ мнѣ о феноменѣ, который ему пришл увидѣть вчера, 28 іюля, въ открытомъ морѣ. Разсказъ бавный. Именно, мой хозяинъ утверждалъ, что все пахло только-что испеченными пирожками, и этотъ т *деликатный* запахъ такъ соблазнительно щекоталъ *въ носу*, что его просто стошнило. Это явленіе, ви

то же самое, что дрязнящій миражъ, который въ арабской песчаной пустынѣ обманываетъ жаждущаго путника видомъ освѣжительной водной равнины. Это — испеченная фата-моргана.

Гельголандъ, 1 августа.

...Ты не можешь себѣ представить, какъ успокоительно дѣйствуетъ на меня здѣшнее dolce far niente. Я не взялъ сюда съ собою ни одной книги, занимающейся современными интересами. Вся моя библіотека состоитъ изъ «Исторіи Лонгобардовъ» Павла Варнефрида, Библіи, Гомера и нѣсколькихъ разсужденій о колдуньяхъ. Объ этомъ послѣднемъ предметѣ мнѣ бы хотѣлось написать интересную книжечку. Съ этою цѣлью я занимался недавно изслѣдованіями о послѣднихъ слѣдахъ язычества въ новое, крещеное время. Въ высшей степени удивительно то, что прекрасныя существа баснословнаго міра Греціи удерживались въ Европѣ такъ долго и подъ такими различными масками. А въ сущности, они сохранились и до настоящаго времени, у насъ, поэтовъ. Эти послѣдніе, со времени побѣды христіанской церкви, всегда составляли тихую общину, въ которой веселіе древне-символическаго служенія, ликующая вѣра въ боговъ передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе, посредствомъ традицій, пѣснопѣній... Но увы, ecclesia pressa, чтившая Гомера, какъ своего пророка, съ каждымъ днемъ подвергается бо̀льшимъ и бо̀льшимъ стѣсненіямъ, рвеніе черныхъ фамильяровъ съ каждымъ днемъ раздувается все опаснѣе. Не угрожаетъ ли намъ новое преслѣдованіе боговъ?

Боязнь и надежда смѣняются другъ другомъ въ моемъ умѣ, и на душѣ моей какъ-то очень смутно.

...Я снова примирился съ моремъ (ты знаешь, что мы были en délicatesse), и мы снова сидимъ по вечерамъ вмѣстѣ и ведемъ таинственные разговоры. Да, я хочу совершенно оставить политику и философію и снова предаться созерцанію природы и искусства. Вѣдь, право, всѣ эти мученія и труды совершенно безполезны, и погибни я даже для всеобщаго блага, оно все-таки очень мало подвинется впередъ. Міръ не можетъ стоять на одномъ и томъ же мѣстѣ, но постоянно совершаетъ самое безплодное круговращеніе. Прежде, когда я еще былъ молодъ и неопытенъ, я думалъ, что если въ борьбѣ за освобожденіе человѣчества и погибнутъ отдѣльные бойцы, то великое дѣло

все-таки одержитъ, наконецъ, побѣду... И меня услаждали прекрасные стихи Байрона:

«Волны уходятъ одна за другою, и одна за другою разбиваются и разсыпаются на берегу, но самое море постоянно идетъ впередъ».

Ахъ, кто долго смотритъ на это явленіе природы, тотъ замѣчаетъ, что ушедшее впередъ море, послѣ извѣстнаго срока, снова возвращается въ свое прежнее русло, потомъ снова и также порывисто старается опять уйти впередъ, наконецъ, опять малодушно бросается въ бѣгство и, безпрерывно повторяя этотъ маневръ, все-таки остается на одномъ и томъ же мѣстѣ... Человѣчество также движется по законамъ прилива и отлива, и, быть-можетъ, что и на духовный міръ луна оказываетъ свое планетное вліяніе...

Сегодня новый мѣсяцъ, и несмотря на всю тоскливую жажду сомнѣнія, мучащую мою душу, въ нее прокрадываются странныя предчувствія... Въ эту минуту въ мірѣ происходитъ что-нибудь необыкновенное... Море пахнетъ пирожками, а тучи прошедшею ночью глядѣли такъ печально, такъ сумрачно...

Въ вечернія сумерки я бродилъ одинокій по берегу. Вокругъ царствовала торжественная тишина. Высокосводчатое небо походило на куполъ готической церкви. Словно безчисленное множество лампъ, висѣли на немъ звѣзды, но онѣ горѣли мрачно и трепетно. Какъ водяной органъ, шумѣли волны; бурные хоралы вылетали изъ нихъ то полные болѣзненнаго отчаянія, то торжествующіе. Надо мной проносился воздушный караванъ бѣлыхъ облачныхъ образовъ, которые были похожи на монаховъ, шедшихъ въ печальной процессіи съ преклоненными головами и печальными взорами... Казалось почти, что они слѣдовали за чьимъ-то гробомъ... Кого хоронятъ? Кто умеръ? спрашивалъ я самъ себя. Не великій ли Панъ умеръ?

Гельголандъ, 6 августа.

«Въ то время, какъ войско короля геруловъ сражалось съ лонгобардами, онъ спокойно сидѣлъ въ своей палатѣ и игралъ въ шахматы. Онъ грозилъ смертью каж[illegible] принесетъ ему вѣсть о пораженіи. Часовой, котор[illegible] на деревѣ, слѣдилъ за ходомъ битвы, постоянно [illegible] «Мы побѣждаемъ! Мы побѣждаемъ!» Наконецъ, о[illegible] кимъ стономъ произнесъ: «Несчастный король! [illegible] *народъ герульскій!*» Тутъ король замѣтилъ, что

играна, но было уже поздно, потому что лонгобарды въ то же время проникли въ его палатку и убили его...»

Именно эту исторію читалъ я у Павла Варнефрида, когда съ материка пришелъ толстый пакетъ газетъ съ теплыми, знойно жаркими новостями. То были солнечные лучи, завернутые въ бумагу, и они произвели въ душѣ моей самый дикій пожаръ. Мнѣ казалось, что я могъ зажечь весь океанъ до сѣвернаго полюса тѣмъ огнемъ вдохновенія и безумной радости, который пылалъ во мнѣ. Теперь я знаю, отчего все море пахнуло пирожками. Теченіе Сены вынесло хорошую вѣсть непосредственно въ море, и прекрасныя русалки, искони сочувствующія всякому геройству, тотчасъ же дали въ своихъ хрустальныхъ дворцахъ thé dansant въ честь великихъ событій, и вотъ поэтому все море пахнуло пирожками. Я, какъ сумасшедшій, бѣгалъ по всему дому и поцѣловалъ сначала толстую хозяйку, а потомъ ея привѣтливую зубатку; я обнялъ также прусскаго юстицрата, на губахъ котораго, однако, не совсѣмъ исчезла холодная улыбка невѣрія. Даже голландца прижалъ я къ своему сердцу... Но это равнодушное жирное лицо осталось холоднымъ и спокойнымъ, и если бы само іюльское солнце упало на шею къ мингерру, онъ, я думаю, только немного вспотѣлъ бы, но отнюдь не воспламенился. Эта трезвая сухость среди всеобщаго одушевленія возмутительна. Подобно тому, какъ спартанцы пріучали своихъ дѣтей къ трезвости тѣмъ, что постоянно показывали имъ пьянаго илота, такъ намъ слѣдовало бы откармливать въ нашихъ учебныхъ заведеніяхъ голландцевъ для того, чтобы ихъ безстрастная, рыбья натура поселяла въ дѣтяхъ отвращеніе къ трезвой сухости. Въ самомъ дѣлѣ, эта голландская трезвая сухость—порокъ гораздо болѣе фатальный, чѣмъ пьянство илота. Я съ удовольствіемъ поколотилъ бы мингерра...

Но нѣтъ, прочь всякія крайности! Парижане дали намъ такой блестящій примѣръ умѣренности. Да, вы, французы, вы заслуживаете быть свободными, потому что вы носите свободу въ сердцѣ. Этимъ вы отличаетесь отъ вашихъ бѣдныхъ предковъ, стряхнувшихъ съ себя тысячелѣтнее рабство, но совершавшихъ, рядомъ со своими геройскими подвигами, и тѣ безумныя злодѣянія, которыя заставляли генія человѣчества въ ужасѣ закрывать лицо. Теперь руки народа покрылись кровью не въ бою, но въ свалкѣ законной обороны. Народъ самъ перевязалъ раны своихъ враговъ, и когда дѣло окончилось, снова принялся за свои обыкновен-

ныя занятія, не потребовавъ за великую работу ни копейки на водку:

Страшись раба, когда онъ цѣпи носитъ;
Людей свободныхъ не страшись!

Ты видишь, въ какомъ я упоеніи, какъ я внѣ себя... Я цитирую «Колоколъ» Шиллера.

И стараго ребенка, котораго неисправимое безуміе стоило гражданамъ столько крови, парижане пощадили чрезвычайно трогательно. Онъ такъ же, какъ король геруловъ, сидѣлъ за шахматами, когда побѣдители вторгнулись въ его палатку. Дрожащею рукою онъ подписалъ отреченіе. Онъ никогда не хотѣлъ слушать правду. Онъ преклонялъ слухъ только ко лжи своихъ придворныхъ. Они постоянно восклицали: «Мы побѣждаемъ! Мы побѣждаемъ...» Непостижима была эта увѣренность царственнаго безумца... Съ глубокимъ удивленіемъ посмотрѣлъ онъ вокругъ себя, когда «Journal des Débats», какъ нѣкогда часовой въ битвѣ лонгобардовъ, внезапно воскликнулъ: «Malheureux roi Malheureuse France!»

Съ нимъ, съ Карломъ X, пала, наконецъ, имперія Карла Великаго, какъ имперія Ромула пала съ Ромуломъ-Августуломъ. Какъ нѣкогда начался новый Римъ, тамъ теперь начинается новая Франція.

Я все еще точно во снѣ; особенно имя Лафайета звучитъ для меня, какъ сказка, слышанная въ самомъ раннемъ дѣтствѣ. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ снова сидитъ на конѣ, предводительствуя національной гвардіей? Я почти боюсь, что это неправда, потому что это напечатано. Мнѣ хочется самому отправиться въ Парижъ, чтобы убѣдиться собственными глазами... Какое, вѣроятно, великолѣпное зрѣлище, когда онъ проѣзжаетъ по парижскимъ улицамъ— онъ, гражданинъ обоихъ полушарій, богоподобный старецъ, серебряныя кудри котораго волнами падаютъ на священныя плечи... Старыми, милыми глазами онъ привѣтствуетъ внуковъ тѣхъ дѣдовъ, которые нѣкогда сражались съ нимъ за свободу и равенство... Шестьдесятъ лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ вернулся изъ Америки съ провозглашеніемъ человѣческихъ правъ, этихъ десяти заповѣдей новой міровой вѣры, которыя тамъ были откр
громѣ и молніи пушекъ!.. Теперь снова ра
парижскихъ башняхъ трехцвѣтное знамя, и ра
сельеза!

Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, Марсельез
опьяненіи. Смѣлыя надежды страстно возды

какъ деревья съ золотыми плодами и дикими, все удлиняющимися вѣтвями, которыя доносятъ свою листву до отдаленныхъ облаковъ... Но облака, въ быстромъ полетѣ своемъ вырываютъ съ корнемъ эти исполинскія деревья и бѣгутъ дальше. Небо наполнено звучными скрипками, а море, я слышу снова, пахнетъ свѣжеиспеченными пирожками. Тамъ наверху, въ небесноголубомъ пространствѣ, постоянно раздаются радостные звуки скрипокъ, а въ смарагдовыхъ волнахъ слышится точно веселый хохотъ дѣвушекъ. Но подъ землею трескъ и клокотаніе, земля разверзается, старые боги высовываютъ оттуда головы и съ торопливымъ удивленіемъ спрашиваютъ: «Что̀ означаетъ это ликованіе, проникнувшее въ самую сердцевину земли? Что̀ случилось новаго? Не слѣдуетъ ли намъ снова выйти изъ-подъ земли?» Нѣтъ, оставайтесь въ вашемъ туманномъ царствѣ, куда скоро сойдетъ къ вамъ новый товарищъ... «Какъ зовутъ его?» Вы хорошо знаете его—его, который нѣкогда низвергнулъ васъ въ царство вѣчной ночи...

Панъ умеръ!

Гельголандъ, 10 августа.

Лафайетъ, трехцвѣтное знамя, Марсельеза...

Кончилась моя жажда спокойствія. Теперь я снова знаю, чего я хочу, что̀ долженъ, что̀ обязанъ дѣлать... Я сынъ революціи и снова берусь за оружіе, надъ которымъ моя мать произнесла свое, полное чаръ, благословеніе... Цвѣтовъ! цвѣтовъ! Я увѣнчаю ими свою голову для смертельной битвы! И лиру, дайте мнѣ лиру, чтобы я спѣлъ боевую пѣсню. Слова, подобныя пламеннымъ звѣздамъ, которыя стрѣляютъ внизъ съ небесной высоты, и сожигаютъ чертоги, и освѣщаютъ хижины... Слова, подобныя блестящимъ метательнымъ копьямъ, которыя взлетаютъ въ седьмое небо и поражаютъ набожныхъ лицемѣровъ, прокравшихся туда въ святую святыхъ... Я весь радость и пѣснопѣніе, весь мечъ и огонь!

Можетъ-быть, я и совсѣмъ сошелъ съ ума... Изъ этихъ дикихъ, завернутыхъ въ бумагу солнечныхъ лучей, одинъ попалъ мнѣ въ мозгъ, и всѣ мои мысли горятъ яркимъ пламенемъ. Напрасно я погружаю голову въ море. Никакая вода не можетъ загасить этотъ греческій огонь. Но и съ другими дѣлается почти то же самое. И остальныхъ пріѣзжихъ для купанья поразилъ парижскій солнечный ударъ, особенно *берлинцевъ*, которые въ нынѣшнемъ году собра-

лись здѣсь въ большомъ количествѣ и переѣзжаютъ съ одного острова на другое, такъ что можно сказать, что Сѣверное море все наводнено берлинцами. Даже бѣдные гельголандцы ликуютъ, несмотря на то, что только инстинктомъ понимаютъ эти событія. Рыбакъ, который перевозилъ меня вчера на маленькій песчаный островъ, гдѣ я купаюсь встрѣтилъ меня улыбкой и словами: «бѣдные люди побѣдили!» Да народъ своимъ инстинктомъ понимаетъ событія, можетъ-быть, лучше, чѣмъ мы—всѣми нашими вспомогательными сознаніями. Такъ, г-жа Варнгагенъ разсказывала мнѣ, что когда исходъ лейпцигской битвы былъ еще неизвѣстенъ, то горничная однажды вдругъ вбѣжала въ комнату и съ испугомъ закричала: «дворянство выиграло!»

На этотъ разъ побѣду одержали бѣдные люди. «Но это принесетъ имъ мало пользы, если они не одержатъ также побѣды надъ наслѣдственнымъ правомъ!»—эти слова произнесъ восточно-прусскій юстицратъ такимъ тономъ, который крайне поразилъ меня. Не знаю, почему эти слова, которыхъ я не понимаю, такъ тревожно остаются въ моей памяти. Что̀ хотѣлъ сказать ими этотъ сухой чудакъ?

Сегодня утромъ снова полученъ пакетъ съ газетами. Я проглотилъ ихъ, какъ манну. Такое дитя, какъ я, трогательныя подробности занимаютъ еще болѣе, чѣмъ многознаменательное цѣлое. О, какъ бы я хотѣлъ увидѣть хоть собаку Медора! Она интересуетъ меня больше, чѣмъ другія, которыя въ нѣсколько скачковъ принесли Филиппу Орлеанскому корону. Собака Медоръ принесла своему хозяину ружье и патронташъ, и когда ея хозяинъ палъ и вмѣстѣ съ своими героями-товарищами былъ похороненъ на луврскомъ дворѣ, бѣдная собака, точно каменное изваяніе вѣрности, усѣлась на могилѣ и неподвижно сидѣла дни и ночи, едва дотрогиваясь до предлагавшихся ей кушаньевъ и зарывая большую часть ихъ въ землю, можетъ-быть, для того, чтобы кормить своихъ похороненныхъ хозяевъ!

Я не могу больше спать, и въ моемъ раздраженномъ умѣ пробѣгаютъ самыя странныя фигуры. Недремлющія грезы, которыя толкаютъ одна другую такъ, что образы причудливо смѣшиваются между собою и, какъ въ китайс
то становятся карликами, то вдругъ обращак
товъ; просто съ ума сходи. Въ такомъ положе
кажется, что мои собственные члены также
лоссальные размѣры и что я, на неизмѣрим
ахъ, перебѣгаю изъ Германіи во Францію, в

а, я помню, что прошедшею ночью пробѣгалъ я такимъ
бразомъ по всѣмъ нѣмецкимъ землямъ и землицамъ, и сту-
алъ въ двери моихъ друзей, и будилъ спящихъ... Они
орою смотрѣли на меня удивленными, стеклянными глазами,
ікъ что я самъ пугался и не могъ тотчасъ же объяснить
бѣ, чего я собственно хотѣлъ и для чего я будилъ ихъ.
ногихъ толстыхъ филистеровъ, которые слишкомъ отвра-
тельно храпѣли, я знаменательно толкалъ подъ бока; и
ни, зѣвая, спрашивали: «да который же часъ?» Въ Парижѣ,
обезные друзья, прокричалъ пѣтухъ; вотъ все, что я знаю.—
ъ Аугсбургомъ, по дорогѣ въ Мюнхенъ, я встрѣтилъ мно-
ество готическихъ церквей, которыя, казалось, были готовы
бѣгству и боязливо шатались. Я самъ, уставъ отъ бѣ-
тни, вздумалъ, наконецъ, полетѣть и началъ перелетать отъ
ной звѣзды къ другой. Но эти звѣзды не населенные
ры, какъ полагаютъ другіе, а просто блестящіе каменные
ары, пустые и безплодные. Они не падаютъ внизъ потому,
о не знаютъ, гдѣ имъ можно упасть, и ходятъ въ вышинѣ
адъ и впередъ въ величайшемъ затрудненіи. Былъ я и
небѣ. Ворота были отперты. Длинныя высокія залы, по
торымъ громко разносится эхо, съ старомодными золоче-
ими украшеніями, совершенно пустыя; только кое-гдѣ си-
лъ въ бархатномъ креслѣ и сладко дремалъ старый на-
дреный слуга въ полинявшей красной ливреѣ; во многихъ
мнатахъ двери были сняты съ петель, въ другихъ плотно
перты и вдобавокъ запечатаны тремя большими казен-
ими печатями... Наконецъ, я зашелъ въ одну комнату, гдѣ
дѣлъ за конторкой старый худощавый человѣкъ, переби-
авшій груды бумагъ. Онъ былъ въ черномъ платьѣ, совсѣмъ
дой, съ морщинистымъ дѣловымъ лицомъ, и спросилъ меня
лушопотомъ: что̀ мнѣ нужно? Въ наивности я принялъ его
Юпитера и обратился къ нему въ самомъ довѣрчиво
тимномъ тонѣ: «Ахъ, добрѣйшій г. Юпитеръ, мнѣ бы
отѣлось выучиться гремѣть; сверкать молніями я уже умѣю...
къ, выучите меня и гремѣть!»... Я заговорилъ съ нимъ
омко. «Не говорите такъ громко», рѣзко возразилъ старый
удощавый человѣкъ, повернулся ко мнѣ спиною и снова
алъ рыться въ своихъ бумагахъ. «Это господинъ регистра-
оръ», шепнулъ мнѣ одинъ изъ красныхъ служителей, под-
явшись съ кресла, на которомъ онъ спалъ, и съ зѣваніемъ
отирая себѣ глаза...

Панъ умеръ!

Кургафенъ, 19 августа.

Непріятный переѣздъ, въ открытой лодкѣ противъ вѣтра, вслѣдствіе чего, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, я страдалъ отъ морской болѣзни. Море, какъ и другія существа, платитъ мнѣ за любовь безпокойствомъ и мученіями. Сначала все идетъ хорошо, и я нахожу удовольствіе въ заманчивомъ покачиваніи. Но мало-по-малу голова моя начинаетъ кружиться, и всевозможныя баснословныя лица являются передо мною. Изъ темныхъ водоворотовъ моря выплываютъ старые демоны въ отвратительной наготѣ до пояса, они воютъ скверные, непонятные стихи и брызгаютъ мнѣ въ лицо бѣлою пѣной волнъ. Еще болѣе фатальныя рожи образуются изъ тучъ, которыя опускаются такъ низко, что почти касаются моей головы и своими глупыми фистуловыми голосами насвистываютъ мнѣ въ ухо самыя зловѣщія глупости. Такая морская болѣзнь, правда, не опасна, но тѣмъ не менѣе она вызываетъ самыя ужасныя ощущенія, способныя довести до сумасшествія. Наконецъ, въ этой лихорадочной тоскѣ, мнѣ вообразилось, что я китъ и что въ животѣ у меня сидитъ пророкъ Іона.

Но пророкъ Іона шумѣлъ въ моемъ животѣ и постоянно восклицалъ: «О Ниневія, о Ниневія, ты погибнешь! Въ твоихъ дворцахъ нищіе будутъ искать у себя вшей, а въ твоихъ храмахъ вавилонскіе кирасиры будутъ кормить лошадей. Но васъ, жрецовъ Ваала, васъ схватятъ за уши, и ваши уши приколотятъ гвоздями къ дверямъ храмовъ. Да, къ дверямъ вашихъ лавокъ пригвоздятъ васъ за уши, васъ, лейбъ-хлѣбопековъ Божіихъ; потому что вы держали фальшивые вѣсы и продавали народу пустой, фальшиво взвѣшенный хлѣбъ! О, остриженые плуты! Когда народъ голодалъ, вы давали ему тощую, гомеопатическую, кажущуюся пищу, а когда онъ умиралъ отъ жажды, вы напивались вмѣсто его, въ крайнемъ случаѣ королямъ протягивали вы полную чашу. Но васъ, ассирійскихъ филистеровъ и грубіяновъ, васъ будутъ бить палками и прутьями, и топтать васъ ногами, и давать вамъ пощечины, и это я положительно предсказываю вамъ потому, что, во-первыхъ, я сдѣлаю все возможное, чтобы это случилось, а во-вт
пророкъ, пророкъ Іона, сынъ Амифаи... О, Ниневі
невія, ты погибнешь!»

Такъ почти говорилъ ораторъ, сидѣвшій въ мое
и при этомъ такъ сильно жестикулировалъ и пов
у меня въ кишкахъ, что вся внутренность

лась... Наконецъ, я не могъ долѣе выносить это, и меня вырвало.

Когда я такимъ образомъ облегчился, то услышалъ подлѣ себя голосъ прусскаго юстицрата, говорившаго мнѣ: «Ну, слава Богу, что вамъ стало лучше. Мы сейчасъ пристанемъ къ берегу, и чашка чаю отлично поможетъ вамъ». Я послѣдовалъ его совѣту и совершенно оправился, когда высадился на берегъ и выпилъ въ кургхафенской гостиницѣ хорошую чашку чаю.

Здѣсь кишитъ гамбургцами и ихъ супругами, нуждающимися въ морскомъ купаньѣ. Капитаны кораблей изъ всѣхъ странъ, ожидающіе попутнаго вѣтра, также прохаживаются здѣсь взадъ и впередъ по высокимъ плотинамъ, или сидятъ въ шинкахъ, гдѣ пьютъ очень крѣпкій грогъ и ликуютъ по поводу трехъ іюльскихъ дней. На всѣхъ языкахъ раздался въ честь французовъ заслуженный ими виватъ, и обыкновенно столь скупой на слова британецъ теперь восхваляетъ французовъ такъ же краснорѣчиво, какъ и тотъ болтливый португалецъ, который сожалѣлъ, что не могъ отправить свой грузъ съ апельсинами прямо въ Парижъ, чтобъ освѣжить народъ послѣ жара битвы. Мнѣ разсказывали, что даже въ Гамбургѣ, въ томъ Гамбургѣ, гдѣ ненависть къ французамъ вкоренена глубже, чѣмъ гдѣ бы то ни было, теперь господствуетъ исключительно энтузіазмъ къ французамъ... Все забыто—Даву, ограбленный банкъ, разстрѣленные граждане, старонѣмецкіе кафтаны, скверные стихи въ честь освобожденія, отецъ Блюхеръ, нѣмецкій народный гимнъ — все забыто..: Въ Гамбургѣ развѣвается трехцвѣтное знамя, тамъ звучитъ Марсельеза, даже дамы появляются въ театрахъ съ трехцвѣтными бантами на груди и улыбаются своими синими глазами, пунцовыми ротиками и бѣлыми носиками... Даже богатые банкиры, которые, вслѣдствіе революціоннаго движенія, потеряли очень много денегъ на своихъ государственныхъ бумагахъ, великодушно раздѣляютъ общую радость, и каждый разъ, какъ маклеръ объявляетъ имъ, что курсъ упалъ еще ниже, они высказываютъ тѣмъ больше удовольствія и отвѣчаютъ: «Ну, что-жъ
е! Это ничего не значитъ, ничего не значитъ!»
а, повсюду, во всѣхъ странахъ, люди очень легко по-
значеніе этихъ трехъ іюльскихъ дней и торжествуютъ
немъ тріумфъ собственныхъ интересовъ. Великій по-
гъ французовъ слишкомъ ясенъ для всѣхъ народовъ и
пониманій, какъ высшихъ, такъ и низшихъ, и въ

степяхъ башкировъ онъ потрясаетъ умы точно также, какъ на горахъ Андалузіи... Я вижу отсюда, какъ, при полученіи этого извѣстія, у неаполитанца останавливаются во рту макароны, а у ирландца картофель... Пульчинель способенъ схватиться за мечъ, а Пэдди выкинетъ, можетъ-быть, такую штуку, отъ которой у англичанъ пройдетъ охота смѣяться.

А Германія? Не знаю. Сдѣлаемъ ли мы, наконецъ, изъ нашихъ дубовыхъ лѣсовъ настоящее употребленіе, то-есть, устроимъ ли мы изъ нихъ баррикады для освобожденія міра? Воспользуемся ли мы, наконецъ, мы, которыхъ природа надѣлила такимъ глубокимъ умомъ, такою силою, такою отвагою, воспользуемся ли мы, наконецъ, нашими Божіими дарами, и поймемъ ли, провозгласимъ ли, осуществимъ ли слово великаго Учителя, ученіе о правахъ человѣчества?

Теперь прошло шесть лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я, странствуя пѣшкомъ по отечеству, пришелъ въ Вартбургъ и посѣтилъ келью, въ которой жилъ докторъ Лютеръ. То былъ отличный человѣкъ, котораго я не позволю ни въ чемъ упрекнуть; онъ совершилъ исполинскій подвигъ; и мы должны вѣчно съ благодарностью цѣловать ему руки за то, что онъ сдѣлалъ.

Мы не станемъ сѣтовать на него за то, что онъ ужъ очень невѣжливо обошелся съ нашими друзьями, когда они захотѣли въ толкованіи божественнаго слова пойти нѣсколько дальше его самого, когда они предложили установленіе и земного равенства людей... Такое предложеніе было въ ту пору, конечно, еще несвоевременно, и мейстеръ Гемлингъ, отрубившій голову тебѣ, бѣдный Томасъ Мюнцеръ, имѣлъ въ извѣстномъ отношеніи право на такой проступокъ, потому что въ рукахъ его былъ мечъ, и рука была сильна!

Въ Вартбургѣ посѣтилъ я также арсеналъ, гдѣ висятъ старыя оружія, желѣзный гардеробъ среднихъ вѣковъ. Я задумчиво бродилъ по залѣ съ университетскимъ товарищемъ, молодымъ аристократомъ, отецъ котораго былъ въ то время одинъ изъ могущественнѣйшихъ маленькихъ владѣтельныхъ князей и повелѣвалъ дрожавшимъ передъ нимъ клочкомъ земли. Предки его также были могущественные бароны, и молодой человѣкъ сладостно пог
ральдическія воспоминанія при видѣ доспѣ
которыя, какъ гласила прикрѣпленная надъ
принадлежали одному рыцарю изъ его
Когда онъ снялъ со стѣны длинный мечъ
*и полюбо*пытствовалъ узнать, можетъ ли о

тэ сознался, что мечъ тяжеловатъ для него, и въ унынiи опустилъ руку. Увидѣвъ это, увидѣвъ, что рука внука слишкомъ слаба для меча дѣдовъ, я подумалъ про себя: «Германiя могла бы быть свободною...»

ДЕВЯТЬ ЛѢТЪ СПУСТЯ.

Повсюду царствовало глухое спокойствiе. Солнце бросало элегическiе лучи на широкую спину нѣмецкаго терпѣнiя. Никакой вѣтерокъ не вертѣлъ мирныхъ пѣтуховъ на крышахъ нашихъ набожныхъ церквей. На вершинѣ уединеннаго утеса сидѣла птица — вѣстникъ бури; но она сонливо опустила крылья и, повидимому, сама думала, что ошиблась, и что буря еще не скоро разразится. Печально и въ унынiи сидѣла эта птица, еще незадолго до того съ такимъ шумомъ и могуществомъ пролетавшая по воздуху и возвѣщавшая доброй Германiи всевозможныя бури. Вдругъ на западѣ блеснула молнiя, за нею послѣдовали громовой ударъ и страшный трескъ, какъ будто насталъ конецъ мiру. Дѣйствительно, скоро пришли вѣсти о катастрофѣ, о трехъ дняхъ въ Парижѣ. Многимъ казалось уже, что они слышатъ въ отдаленiи трубу страшнаго суда. Все какъ будто предсказывало то пришествiе кончины мiра, о которомъ нѣкогда пѣли въ трепетѣ и ужасѣ сѣверные скальды; да, многимъ казалось, что исполинскiй волкъ саги приступаетъ къ своему страшному мщенiю и собирается поглотить мiръ, какъ о томъ возвѣщено въ ужасныхъ стихахъ Эдды. Но онъ не поглотилъ его, и добрый нѣмецкiй мѣсяцъ свѣтитъ до сихъ поръ такъ же тихо и нѣжно, какъ во дни Вертера и Шарлотты...

Въ промежуткѣ между моею первою и второю встрѣчею съ Бёрне лежитъ эта iюльская революцiя, какъ бы раздѣляя наше время на двѣ половины. Предлагаемыя здѣсь письма могутъ дать понятiе о настроенiи, въ которомъ оставило меня великое событiе, а въ настоящемъ сочиненiи моемъ они должны служить какъ бы переходнымъ мостомъ отъ первой къ третьей книгѣ. Безъ нихъ этотъ переходъ былъ бы слишкомъ рѣзокъ. Я затруднился привести большее количество этихъ писемъ, такъ какъ въ первыхъ временное упоенiе свободой черезчуръ шумно переступало всѣ полицейскiя постановленiя, въ послѣдующихъ же выступаютъ слишкомъ отрезвленныя размышленiя, и разочарованное сердце погружается въ унылыя и отчаянныя

мысли.—Уже въ первые дни моего прибытія въ Парижъ я замѣтилъ, что на самомъ дѣлѣ вещи явились совсѣмъ не съ тѣмъ цвѣтомъ, который придавали ему издали свѣтовые эффекты моего энтузіазма. Серебряные волосы, которые въ моемъ воображеніи такъ величественно развѣвались по плечамъ Лафайета, героя обоихъ міровъ, превратились, при болѣе близкомъ созерцаніи, въ парикъ коричневаго цвѣта, скудно прикрывавшій узкій черепъ. И даже собака Медоръ, котораго я посѣтилъ на луврскомъ дворѣ и который спокойно принималъ пищу, лежа подъ трехцвѣтными знаменами и трофеями, былъ совсѣмъ не настоящій Медоръ, а очень обыкновенная собака, присвоившая себѣ чужія заслуги, что часто случается съ французами, и, подобно многимъ другимъ, эксплоатировавшая славу іюльской революціи... Она была въ холѣ, въ нѣгѣ, она, можетъ-быть, добилась высшихъ почестей, между тѣмъ какъ настоящій Медоръ, нѣсколько дней спустя послѣ побѣды, скромно ушелъ на задній планъ, какъ истинный народъ, совершившій революцію...

Бѣдный народъ! Бѣдная собака! Sic.

Это уже старая исторія. Не для себя—съ незапамятныхъ временъ—истекалъ кровью и страдалъ этотъ народъ, а для другихъ. Въ іюлѣ 1830 г. онъ одержалъ побѣду для той буржуазіи, которая также негодна, какъ аристократы, чье мѣсто она заняла, и въ которой точно такой же эгоизмъ... Народъ отъ своей побѣды не пріобрѣлъ себѣ ничего, кромѣ раскаянья и усиленія бѣдственнаго положенія. Но будьте увѣрены—когда снова ударятъ въ набатъ, и народъ схватится за ружье, онъ на этотъ разъ будетъ биться уже для себя самого и потребуетъ заслуженную награду. На этотъ разъ будутъ чествовать и кормить уже настоящаго Медора... Богъ вѣсть, гдѣ онъ бѣгаетъ въ настоящую минуту, презираемый, осмѣиваемый и голодающій...

Но тише, мое сердце, ты ужъ слишкомъ измѣняешь себѣ...

КНИГА ТРЕТЬЯ.

...Во второй разъ я увидѣлся съ докторомъ Людвигомъ Бёрне осенью 1831 г., черезъ годъ послѣ іюльской люціи, въ Парижѣ. Я посѣтилъ его въ гостиницѣ Hô Castille, и немало удивился перемѣнѣ, которая про во всемъ его существѣ. То небольшое количество мя торое прежде я замѣтилъ на его тѣлѣ, теперь сове *исчезло;* можетъ-быть, его растопили лучи іюльскаго

ъ сожалѣнію проникнувшіе и въ мозгъ этого человѣка. Глаза его сверкали зловѣщимъ огнемъ. Онъ сидѣлъ, или, ѣрнѣе сказать, жилъ въ широкомъ, пестромъ шелковомъ алатѣ, точно черепаха въ своей скорлупѣ, и когда по вре-енамъ подозрительно покачивалъ своею тощей головенкой, нѣ становилось тяжело и непріятно. Но чувство это уступило мѣсто состраданью, когда онъ высовывалъ изъ широ-аго рукава свою бѣдную, исхудалую руку и протягивалъ е для дружескаго пожатія. Въ голосѣ его дрожала какая-о болѣзненность, а на щекахъ уже появлялись чахоточныя расныя пятна. Рѣзкое недовѣріе, проглядывавшее во всѣхъ го чертахъ и движеніяхъ, было, можетъ-быть, слѣдствіемъ ухоты, которою онъ и прежде страдалъ, но которая съ ѣхъ поръ еще увеличилась и немало способствовала тому, го разговоръ съ нимъ производилъ на меня непріятное печатлѣніе.

— Милости просимъ въ Парижѣ,—сказалъ онъ. — Это чень хорошо съ вашей стороны. Я убѣжденъ, что всѣ хо-оніе, самые благомыслящіе люди скоро соберутся здѣсь... дѣсь конвентъ патріотовъ всей Европы, и для великаго ѣла должны протянуть другъ другу руки всѣ народы. Всѣмъ государямъ надо быть занятыми своимъ дѣломъ въ собственныхъ земляхъ, чтобы не имѣть возможности сообща подавить свободу въ Германіи. Ахъ, Боже мой, ахъ, Германія! Скоро настанетъ въ ней очень мрачное и очень кровавое время. Революціи ужасная вещь, но онѣ такъ же необходимы, какъ ампутація гнилого члена. Тутъ надо отрѣзывать скорѣе и безъ болезливаго колебанія. Всякое замедленіе влечетъ за собою опасность, и кто изъ состраданія или боязни, при видѣ большого количества крови, дѣлаетъ операцію только наполовину, тотъ поступаетъ болѣе жестоко, чѣмъ самый жестокій тиранъ. Чортъ побери всѣхъ мягкосердечныхъ хирурговъ и ихъ полумѣры! Маратъ былъ совершенно правъ — il faut faire saigner le genre humain, и будь отданы въ его распоряженіе тѣ триста тысячъ головъ, которыя онъ требовалъ, не погибли бы милліоны лучшихъ людей, и міръ былъ бы навсегда излѣченъ отъ стараго

еспублика—(я продолжаю предоставлять слово Бёрно, кая нѣкоторые причудливые скачки въ сторону) — ика должна быть во что бы то ни стало установлена. республика можетъ насъ спасти. Пропадай они со-эти такъ-называемыя конституціонныя правленія,

отъ которыхъ наши нѣмецкіе палатные болтуны ожидаютъ всякаго спасенія... Конституціи соотвѣтствуютъ тому политическому положенію, при которомъ привилегированныя сословія отказываются отъ нѣкоторыхъ изъ своихъ правъ, а бѣдные люди, стоявшіе до того совершенно на заднемъ планѣ, вдругъ начинаютъ ликовать отъ того, что и они добились нѣкоторыхъ правъ... Но эта радость проходитъ, когда люди, вслѣдствіе своего, болѣе свободнаго, положенія, усвоиваютъ идею свободы полной, совершенно неограниченной, совершенно равной для всѣхъ; что̀ сегодня кажется намъ драгоцѣннѣйшимъ пріобрѣтеніемъ, будетъ принято нашими внуками за очень жалкую сдѣлку, и малѣйшая привилегія, которую въ то время еще удержитъ за собой прежняя аристократія — быть-можетъ, право украшать петли своихъ сюртуковъ листьями петрушки — будетъ, возбуждать тогда столько же горечи, сколько вызывало се нѣкогда самое жестокое крѣпостное состояніе, можетъ-быть, даже — еще болѣе глубокую горечь, потому что аристократія будетъ тѣмъ высокомѣрнѣе кичиться своею послѣднею петрушковою привилегіею... Только республика можетъ насъ спасти. Но прежде, чѣмъ приступить къ основанію новаго, лучшаго порядка, мы должны уничтожить послѣдніе остатки стараго. Тутъ являются слабые, лѣнивые квіетисты и бормочутъ: «эти революціонеры разрушаютъ все, не будучи въ состояніи замѣнить это разрушаемое чѣмъ-нибудь новымъ!» И при этомъ начинаютъ восхвалять средневѣковыя учрежденія, съ которыми человѣчеству жилось такъ спокойно и безопасно. А теперь, говорятъ они, все такъ скучно, и пусто, и мизерно, и въ жизни главную роль играютъ сомнѣніе и равнодушіе... Прежде меня страшно бѣсили эти панегиристы среднихъ вѣковъ. Но теперь я привыкъ къ этимъ пѣснямъ и сержусь только тогда, когда милые пѣвцы переходятъ въ другой тонъ и постоянно жалуются на нашу страсть къ разрушенію. По ихъ словамъ, мы только и думаемъ о томъ, какъ бы все разрушить. И какъ глупо это обвиненіе! Вѣдь нельзя же приняться за постройку прежде разрушенія стараго зданія, и тотъ, кто ломаетъ, иногда заслуживаетъ столько же, и даже больше похвалы, чѣмъ тотъ, кто ст
такъ какъ трудъ перваго еще важнѣе... Напримѣ
моемъ городѣ, на площади св. Троицы, стояла стара
ковь, пришедшая въ такой упадокъ, что всѣ бояли
она вдругъ разрушится и задавитъ, или изувѣчитъ
ство людей. Поэтому ее снесли и тѣмъ предупредил

шое несчастіе, тогда какъ прежніе строители способствовали только большому счастію... А вѣдь легче обойтись безъ большого счастья, чѣмъ вынести большое несчастье! Правда, нѣкогда въ старыхъ стѣнахъ блистало много великолѣпія, и какъ священная реликвія среднихъ вѣковъ, онѣ представляли поэтическую картину въ лунную ночь... Но кому (какъ, напримѣръ, случилось съ моимъ бѣднымъ дядей, когда онъ проходилъ мимо этого средневѣкового остатка) попадаетъ въ голову нѣсколько камней съ уцѣлѣвшаго остатка среднихъ вѣковъ, тотъ проклинаетъ почитателей старыхъ зданій и благословляетъ храбрыхъ рабочихъ, уничтожающихъ такія опасныя руины... Да, они снесли это зданіе, они сравняли его съ землей, и теперь на томъ мѣстѣ растутъ зеленыя деревья, и дѣти играютъ на солнцѣ...

Въ этихъ рѣчахъ не было и слѣда прежняго незлобія, и юморъ Бёрне, въ которомъ совершенно погасла добродушная веселость, сдѣлался желчнымъ, кровожаднымъ и очень сухимъ. Скачки отъ одного предмета къ другому имѣли теперь источникомъ не безумный капризъ, а капризное безуміе, и ихъ слѣдовало прежде всего приписать чтенію разнообразныхъ газетъ, которымъ Бёрне занимался въ то время день и ночь. Въ жару своихъ террористическихъ наліяній, онъ схватилъ одну изъ этихъ газетъ, лежавшихъ предъ нимъ цѣлыми кучами, и смѣясь, сказалъ:

— Вотъ тутъ вы можете прочитать, тутъ напечатано: «Германія беременна великими дѣлами!» Да, это правда, Германія беременна великими дѣлами, но роды будутъ тяжелые. И тутъ понадобится не акушерка, а акушеръ, и ему придется дѣйствовать желѣзными инструментами. Какъ вы полагаете?

— Я полагаю, что Германія совсѣмъ не беременна.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы ошибаетесь. Можетъ-быть, она родитъ урода, но все-таки родитъ. Только намъ надо избавиться отъ болтливыхъ старухъ, являющихся толпами и предлагающихъ свои акушерскія услуги. Есть между ними, напримѣръ, шлюха Роттекъ. Эта старуха даже не честный человѣкъ. Это жалкій писатель, выказывающій крошечку еральнаго демагогизма и эксплоатирующій современный ѳузіазмъ, чтобы привлечь на свою сторону массу, достать сбытъ своимъ скверным сочиненіямъ, вообще придать ѣ важность. Этотъ человѣкъ полу-лисица, полу-собака, и чется въ *волчью шкуру*, чтобъ выть съ волками по-*ьи. Мнѣ въ тысячу разъ* любезнѣе болванъ Раумеръ—

Письмами» Бёрне. Что касается этихъ послѣднихъ, то я сознаюсь, что два первыхъ тома, прочитанные мной въ то время, не мало напугали меня. Я былъ пораженъ этимъ ультра-радикальнымъ тономъ, котораго меньше всего ожидалъ отъ Бёрне. Человѣкъ, который въ своей приличной, тщательно обработанной манерѣ писанія самъ инспектировалъ и контролировалъ себя, который взвѣшивалъ и вымѣривалъ каждый слогъ, прежде, чѣмъ выписывалъ его; человѣкъ, который въ своемъ стилѣ никогда не отрѣшался вполнѣ отъ привычекъ имперскаго мѣщанства своего города и, пожалуй даже, отъ боязливости, сопряженной съ его прежнею должностью; человѣкъ этотъ—бывшій полицейскій чиновникъ во Франкфуртѣ-на-Майнѣ—теперь ударился въ такой санкюлотизмъ мысли и выраженія, какого еще никогда не видала Германія. Боже мой! какіе страшные обороты рѣчи! какіе преступные глаголы! какіе революціонные винительные падежи! какія повелительныя наклоненія! какіе антиполицейскіе вопросительные знаки! какія метафоры, одна тѣнь которыхъ могла повлечь за собою заточеніе въ крѣпости на двадцать лѣтъ! Но, несмотря на страхъ, поселенный во мнѣ этими письмами, они пробудили во мнѣ одно очень комическое воспоминаніе, развеселившее меня почти до смѣха и о которомъ я никакъ не могу здѣсь умолчать. Да, сознаюсь, что вся личность Бёрне, какою она явилась мнѣ въ этихъ письмахъ, напомнила мнѣ стараго полицейскаго начальника, который еще во время моего дѣтства управлялъ моимъ родимымъ городомъ. Я говорю: управлялъ—потому что онъ, поддерживая общественное спокойствіе съ помощью своей неограниченной палки, поселялъ въ насъ, дѣтяхъ, глубочайшее уваженіе къ себѣ и однимъ своимъ появленіемъ разгонялъ насъ, когда мы ужъ черезчуръ шумно играли на улицѣ. Этотъ полицейскій начальникъ вдругъ сошелъ съ ума и вообразилъ себѣ, что онъ уличный мальчишка, и мы, къ нашему тревожнѣйшему изумленію, увидѣли, что онъ, этотъ всесильный властитель улицъ, вмѣсто того, чтобы устанавливать спокойствіе, сталъ приглашать насъ къ самому шумному безчинству. «Вы слишкомъ скромно держите себя, — кричалъ онъ: — вотъ вамъ покажу, какъ надо шумѣть!» И при этомъ начинал ревѣть по-львиному, или мяукать по-кошачьи, и звонил всѣхъ домовъ такъ сильно, что обрывалъ колокольчик бросалъ камнями въ окна, и при этомъ не перес ричать: «я научу васъ, ребята, какъ надо шумѣть!»

аленькихъ мальчиковъ, очень забавлялъ этотъ старикъ, и ы съ восторгомъ бѣгали за нимъ до тѣхъ поръ, пока его е посадили въ сумасшедшій домъ.

Читая письма Бёрне, я въ самомъ дѣлѣ постоянно думалъ о старомъ полицейскомъ начальникѣ, и мнѣ часто казалось, что я снова слышу его голосъ: «Вотъ я васъ научу, какъ надо шумѣть!»

Въ устномъ разговорѣ Бёрне, усиленіе его политическаго реда было менѣе замѣтно, потому что оно находилось тутъ ъ связи съ страстями, свирѣпствовавшими въ кругу самыхъ близкихъ къ нему людей, постоянно находившихся аготовѣ для битвы, а нерѣдко доказывавшихъ эту готовость и фактически. Когда я посѣтилъ Бёрне во второй азъ, въ улицѣ de Provence, гдѣ онъ окончательно поселился, то въ гостиной его нашелъ такой звѣринецъ людей, акой едва-ли отыщешь даже въ Jardin des Plantes. Въ убинѣ комнаты сидѣло на корточкахъ нѣсколько нѣмецихъ бѣлыхъ медвѣдей, которые курили, почти постоянно олчали и только повременамъ извергали самымъ низкимъ асомъ разныя отечественныя проклятія. Подлѣ нихъ прітился польскій волкъ, въ красной шапкѣ, изрѣдка выпукавшій изъ хриплаго горла сладкоприторнѣйшія замѣчанія. утъ же я встрѣтилъ и французскую обезьяну, принадлежавшую къ уродливѣйшимъ обезьянамъ, какихъ я только огда-нибудь видѣлъ; она постоянно корчила рожи, для ого, чтобы изъ нихъ можно было выбрать самую лучшую. Незначительнѣйшимъ субъектомъ въ этомъ Бёрневскомъ звѣринцѣ былъ господинъ *, сынъ стараго *, виноторговца о Франкфуртѣ-на-Майнѣ, который, вѣроятно, сотворилъ его ъ то время, когда былъ въ очень скучномъ расположеніи уха—длинная, тощая фигура, походившая на тѣнь склянки -де-колона, но пахнувшая далеко не такъ, какъ содержиое этой склянки. Несмотря на свой тощій видъ, онъ, какъ гверждалъ Бёрне, носилъ двѣнадцать фланелевыхъ фуаекъ, потому что безъ нихъ совсѣмъ бы не существовалъ. ёрне постоянно острилъ надъ нимъ.

— Представляю вамъ,—сказалъ онъ мнѣ:—*; онъ * не ервой величины, но все-таки родственникъ солнца, отъ его получаетъ и свѣтъ свой... онъ вѣрноподданный родгвенникъ господина Ротшильда... Представьте себѣ, господинъ *, сегодня ночью мнѣ снилось, что при мнѣ повѣсили ранкфуртскаго *Ротшильда* и его именно вы надѣли ему *етлю на шею.*

Господинъ * испугался при этихъ словахъ и, какъ въ смертельномъ страхѣ, вскричалъ:—Господинъ Бёрне, умоляю васъ не продолжать... у меня есть свои причины... У меня есть на это свои причины, — повторилъ молодой человѣкъ нѣсколько разъ и, обратившись ко мнѣ, шопотомъ попросилъ меня послѣдовать за нимъ въ уголъ комнаты и выслушать объясненіе о его щекотливомъ положеніи.—Видите ли,—таинственно сказалъ онъ:—мое положеніе очень щекотливое. Съ одной стороны, мадамъ Воль на Волграбенѣ—моя тетка, а съ другой стороны, жена господина Ротшильда приходится мнѣ, такъ сказать, тоже теткой. Прошу васъ, не разсказывайте въ домѣ господина барона фонъ-Ротшильда, что вы видѣли меня у Бёрне... Я имѣю на это свои причины...

Бёрне постоянно острилъ надъ этимъ несчастнымъ и особенно нападалъ на него за отвратительное французское произношеніе.

— Любезный мой соотечественникъ, — говорилъ онъ:—французы поступаютъ несправедливо, когда насмѣхаются надъ вами; этимъ они доказываютъ свое невѣжество. Если бы они знали по-нѣмецки, то увидѣли бы, какъ правильно построены обороты вашей рѣчи, именно съ нѣмецкой точки зрѣнія... И съ какой стати вамъ отрекаться отъ вашей національности? Я даже удивляюсь той ловкости, съ которою вы переводите на французское нарѣчіе вашъ родной языкъ, франкфуртское Mauscheln... Французы невѣжественный народъ и никогда не выучатся говорить порядочно по-нѣмецки. У нихъ совсѣмъ нѣтъ терпѣнія... Мы, нѣмцы, терпѣливѣйшій и прилежнѣйшій народъ... Сколько намъ приходится учить уже въ дѣтствѣ! Сколько латыни! сколько греческаго! сколько персидскихъ царей и всѣхъ ихъ родственниковъ, до послѣдняго дѣдушки включительно!.. Я держу пари, что невѣжда-французъ даже въ старости не знаетъ еще, что мать Кира называлась госпожа Мандана и была урожденная Астіагъ. Мы же издали лучшіе учебники по всѣмъ наукамъ. «Церковная Исторія» Неандера и ариѳметика Мейера-Гирша—сочиненія классическія. Мы народъ мыслящій, и вслѣдствіе того, что у насъ было такъ много мыслей, что мы не могли всѣ ихъ написать—мы изо[illegible] книгопечатаніе, а вслѣдствіе того, что отъ вѣчнаго м[illegible]нія и сочиненія книгъ мы часто оставались безъ [illegible] нами изобрѣтенъ картофель.

— *Нѣмецкій* народъ,—промычалъ нѣмецкій пат[illegible] *своего* угла:—изобрѣлъ тоже порохъ.

Бёрне быстро повернулся къ патріоту, перебившему его этимъ замѣчаніемъ, и съ саркастическою улыбкою сказалъ:

— Вы ошибаетесь, другъ мой; нельзя такъ опредѣлительно утверждать, что нѣмецкій народъ изобрѣлъ порохъ. Нѣмецкій народъ состоитъ изъ 30 милліоновъ человѣкъ. Только одинъ изъ нихъ изобрѣлъ порохъ... остальные 29.999.999 нѣмцевъ не изобрѣли пороха. Впрочемъ, порохъ хорошее изобрѣтеніе, почти такое же, какъ и книгопечатаніе; надо только дѣлать изъ него надлежащее употребленіе. Мы же, нѣмцы, пользуемся печатнымъ станкомъ для распространенія глупостей, а порохомъ — для распространенія рабства.

Вслѣдъ за этимъ, какъ будто кто-нибудь опровергалъ это ложное заключеніе, Бёрне продолжалъ:

— Пожалуй, я соглашусь, что нѣмецкая печать сдѣлала очень много добра, но зло, напечатанное ею, гораздо больше. Во всякомъ случаѣ, это справедливо по отношенію къ гражданской свободѣ... Ахъ, когда я просматриваю всю нѣмецкую исторію, то замѣчаю, что нѣмцы мало способны къ гражданской свободѣ, а напротивъ того, всегда легко изучали, какъ теоретически, такъ и практически, холопство и съ успѣхомъ примѣняли эту дисциплину не только у себя дома, но и за границей. Нѣмцы всегда были Ludi magistri рабства, и гдѣ оказывалось нужнымъ вколачивать въ тѣла или умы слѣпое послушаніе, тамъ брали для этого нѣмецкаго экзерцирмейстера. Мы, такимъ образомъ, распространили рабство по всей Европѣ и въ видѣ памятниковъ этого потопа сидятъ на многихъ престолахъ Европы нѣмецкія династіи, подобно тому, какъ послѣ древнихъ наводненій мы находимъ на высочайшихъ горахъ остатки окаменѣлыхъ морскихъ существъ... И до сихъ поръ еще, чуть народъ сдѣлается свободенъ, ему на спину привязываютъ пукъ нѣмецкихъ розогъ... Даже въ священной отчизнѣ Гармодія и Аристогитона, въ освобожденной Греціи, теперь утвердилось нѣмецкое рабство, и въ аѳинскомъ Акрополисѣ течетъ баварское пиво и господствуетъ баварская палка. Да, поистинѣ ужасно, что королю баварскому, этому маленькому тирану и скверному поэту, позволили посадить своего сына на престолъ той страны, гдѣ нѣкогда процвѣтали свобода и поэзія, страны, гдѣ есть равнина, названіе которой Марафонъ, и гора, которая называется Парнасъ! Я не могу подумать объ этомъ безъ того, чтобы не чувствовать дрожи *въ мозгу!.. Прочелъ я въ* сегодняшней газетѣ, что трехъ

молодыхъ людей въ Мюнхенѣ заставили стать на колѣни предъ портретомъ короля Людвига и въ чемъ-то просить прощенія... Преклонять колѣни предъ человѣкомъ, который къ тому же скверный поэтъ! Будь онъ въ моей власти, я заставилъ бы этого сквернаго поэта стать на колѣни предъ статуею музъ и просить у нихъ прощенія за свои скверные стихи, за оскорбленное величіе поэзіи! Что же вы мнѣ толкуете о тѣхъ римскихъ тиранахъ, которые избивали столько тысячъ христіанъ за то, что они не соглашались преклонять колѣни предъ ихъ портретами! Эти тираны были, по крайней мѣрѣ, властителями цѣлаго міра, отъ востока до запада, и, какъ мы можемъ заключать еще теперь по ихъ статуямъ, отличались физическою красотой. Предъ мощью и красотой преклоняться нетрудно. Но передъ безсиліемъ и безобразіемъ...

...Проницательный читатель пойметъ, конечно, безъ особенныхъ указаній, по какимъ причинамъ я не даю продолжать преступному оратору. Приведенныхъ мною фразъ достаточно, полагаю, чтобы дать понятіе о тогдашнемъ настроеніи этого человѣка; оно согласовалось съ горячностью тѣхъ нѣмецкихъ агитаторовъ, которые со времени іюльской революціи начали дикими толпами сходиться въ Парижъ, и тотчасъ же собирались вокругъ Бёрне. Непонятно, какъ этотъ, прежде столь разсудительный человѣкъ, теперь позволилъ оглушить себя самому грубому шуму и увлекся самыми насильственными надеждами! Въ кругъ этого безумія онъ попалъ въ первый разъ тогда, когда средоточіемъ его былъ знаменитый книгопродавецъ Ф. Этотъ Ф., что почти невѣроятно, былъ человѣкъ совершенно по душѣ Бёрне. Красное бѣшенство, кипѣвшее въ груди перваго, трехдневная іюльская горячка, отъ которой тряслись его члены, якобинская пляска св. Витта, заставлявшая прыгать одного— нашли соотвѣтственный отголосокъ въ «Парижскихъ Письмахъ» другого. Этимъ замѣчаніемъ я хочу указать, однако, только на заблужденіе ума, а отнюдь не на заблужденіе сердца, какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ. Потому что и Ф. желалъ добра Германіи, онъ былъ искрененъ, геройски храбръ, способенъ на всякое самопожертвованіе, во комъ случаѣ былъ честный человѣкъ, и засвидѣтель вать это я считаю себя обязаннымъ тѣмъ болѣе, чтѣхъ поръ, какъ строгое тюремное заключеніе заставил *молчать*, рабская клевета грызетъ его доброе имя. Его *обвинять* во многихъ неблагоразумныхъ дѣйствіяхъ

возможно обвинить хоть въ одномъ двусмысленномъ; въ несчастіи онъ выказывалъ большую силу характера; былъ пламенно одушевленъ чистѣйшею гражданскою доблестью, и на дурацкій колпакъ, звенящій на головѣ его, мы должны возложить лавровый вѣнокъ. Этотъ благородный безумецъ былъ мнѣ въ тысячу разъ любезнѣе другого книгопродавца, тоже пріѣхавшаго въ Парижъ для устройства нѣмецкаго перевода французской революціи и вкрадчивостью своею и гуманнымъ пискомъ походившаго на гіену, которую собираются посадить въ клѣтку... Впрочемъ, и его считали честнымъ человѣкомъ, который даже платилъ свои, долги, когда выигрывалъ въ лотерею большой выигрышъ, и за такія честныя дѣйствія предложили сдѣлать его министромъ финансовъ будущей новой нѣмецкой имперіи... Между нами будь сказано, онъ долженъ былъ удовольствоваться этимъ мѣстомъ, потому что мѣсто министра внутреннихъ дѣлъ Ф. уже заранѣе отдалъ Гарнье, точно такъ же, какъ императорскую корону Германіи онъ обѣщалъ капитану Зейбольду. Гарнье, правда, утверждалъ, что книгопродавецъ Ф. хотѣлъ сдѣлать этого капитана нѣмецкимъ императоромъ потому, что этотъ мошенникъ былъ ему долженъ и что иначе съ него невозможно было получить долгъ... Но это неправда и доказываетъ только злоязычіе Гарнье; Ф., быть-можетъ, по республиканскому коварству отдавалъ корону именно самому жалкому субъекту, чтобы этимъ унизить и сдѣлать смѣшною нѣмецкую монархическую власть...

Вліяніе, которымъ пользовался Ф., однако, скоро уничтожилось, когда онъ, какъ мнѣ кажется, въ ноябрѣ, оставилъ Парижъ, и мѣсто знаменитаго агитатора заступили нѣкоторые новые предводители; значительнѣйшими въ числѣ этихъ послѣднихъ были уже упомянутый Гарнье и нѣкто Вольфрумъ. Я позволяю себѣ назвать ихъ по именамъ, потому что одинъ изъ нихъ умеръ, а другому, находящемуся въ безопасной Англіи, я доставлю большое удовольствіе напоминаніемъ важной роли, которую онъ игралъ въ то время; но оба они, Гарнье отчасти, а Вольфрумъ вполнѣ, черпали свое вдохновеніе изъ устъ Бёрне, который съ этихъ поръ началъ считаться душою парижской пропаганды. Безуміе осталось тоже самое, но, говоря словами Полонія, въ немъ появилась метода.

Я только-что употребилъ слово «пропаганда», но употребилъ его не въ томъ смыслѣ, въ которомъ оно принимается нѣкоторыми доносчиками, понимающими подъ этимъ сло-

вомъ тайное братство, заговоръ революціонныхъ умовъ по всей Европѣ, родъ кровожаднаго, атеистическаго и цареубійственнаго масонства. Нѣтъ, парижская пропаганда, о которой я теперь говорю, состояла скорѣе изъ грубыхъ рукъ, чѣмъ изъ тонкихъ головъ; то были сходки нѣмецкихъ ремесленниковъ, которые собирались въ большомъ залѣ пассажа Сомонъ, или въ предмѣстьяхъ, преимущественно для того, чтобы бесѣдовать на миломъ отечественномъ языкѣ объ отечественныхъ предметахъ. Здѣсь страстныя рѣчи въ духѣ рейнско-баварской «Трибуны» доводили многіе умы до фанатизма, и такъ какъ республиканизмъ такое прямое и легче понимаемое дѣло, чѣмъ, напр., конституціонная форма правленія, для уясненія которой необходимы многія другія свѣдѣнія, то прошло немного времени, какъ тысячи нѣмецкихъ ремесленниковъ сдѣлались уже республиканцами и проповѣдывали новыя убѣжденія. Эта пропаганда была гораздо опаснѣе всѣхъ тѣхъ выдуманныхъ пугалъ, которыми вышеупомянутые доносчики пугали наши нѣмецкія правительства, и писанное слово Бёрне, можетъ-быть, много уступало въ могуществѣ его слову устному, съ которымъ онъ обращался къ людямъ, принимавшимъ его съ нѣмецкою вѣрою и распространявшимъ у себя въ отечествѣ съ апостольскимъ рвеніемъ. Чудовищно велико число нѣмецкихъ ремесленниковъ, странствующихъ во Францію и изъ нея. Вслѣдствіе этого, когда я прочелъ, какъ сѣверо-нѣмецкія газеты смѣялись надъ тѣмъ, что Бёрне взошелъ на Монмартъ съ шестьюстами портными подмастерьями и тамъ сказалъ имъ революціонную рѣчь,—то пожалъ плечами отъ состраданія, которое, однако, меньше всего относилось къ Бёрне, кидавшему въ землю сѣмя, которое рано или поздно приноситъ самые страшные плоды. Бёрне говорилъ очень хорошо, связно, убѣдительно, популярно; это была ничѣмъ не прикрытая, безыскусственная рѣчь, совершенно въ тонѣ нагорныхъ проповѣдниковъ. Мнѣ привелось, правда, слышать его только одинъ разъ, именно въ пассажѣ Сомонъ, гдѣ Гарнье предсѣдательствовалъ въ «народномъ собраніи»... Бёрне говорилъ о «союзѣ печати», которому слѣдовало остерегаться аристократической формы, Гарнье гр[illegible] противъ русскаго правительства, а кривоногій сап[illegible] подмастерье тоже выступилъ на каѳедру и началъ [illegible]ждать, что всѣ люди равны... Меня не мало разсерди[illegible] дерзость... Это было мое первое и послѣднее посѣще[illegible] *роднаго* собранія.

Но этого посѣщенія было уже достаточно... Мнѣ хочется, любезный читатель, сдѣлать тебѣ по этому случаю одно признаніе, котораго ты никакъ не ожидаешь. Ты думаешь, можетъ-быть, что высшее честолюбіе мое всегда заключалось въ томъ, чтобы сдѣлаться великимъ писателемъ и, пожалуй даже, быть увѣнчаннымъ въ Капитоліи, какъ нѣкогда мессеръ Франческо Петрарка... Нѣтъ, самую большую зависть возбуждали во мнѣ собственно великіе народные ораторы, и я ничего такъ не желалъ, какъ обращаться къ пестрой толпѣ, собранной на общественной площади, съ великимъ словомъ, которое или разжигаетъ, или успокоиваетъ страсти, и всегда производитъ мгновенное дѣйствіе. Да, сознаюсь тебѣ съ глаза на глазъ, что въ тѣ годы неопытной молодости, когда нами овладѣваютъ комедіантскія желанія, я часто воображалъ себя въ такой роли. Я желалъ во что бы то ни стало сдѣлаться великимъ ораторомъ, и подобно Демосѳену не разъ декламировалъ на пустынномъ берегу моря, подъ шумъ и вой вѣтра и волнъ; такимъ способомъ упражняешь свои легкія и пріучаешься говорить среди сильнѣйшаго шума народнаго собранія. Нерѣдко ораторствовалъ я и на чистомъ полѣ, предъ множествомъ быковъ и коровъ, и мнѣ иногда удавалось перемычать все стадо. Труднѣе держать рѣчь передъ стадомъ барановъ. Что бы вы ни говорили этимъ бараньимъ головамъ, когда увѣщеваете ихъ добыть себѣ свободу, а не продолжать, подобно ихъ предкамъ, безповоротно идти на бойню,—онѣ отвѣчаютъ на каждый вашъ періодъ такимъ непоколебимо спокойнымъ ммээ-ммээ, отъ котораго можно совсѣмъ растеряться. Словомъ, я дѣлалъ все, чтобы быть въ состояніи выступить въ качествѣ нѣмецкаго народнаго оратора въ томъ случаѣ, если бы у насъ когда нибудь могла совершиться революція. Но, ахъ! уже на первой репетиціи я убѣдился, что въ такой пьесѣ никогда не сыграю мою любимую роль. Да если бы были живы сами Демосѳенъ, Цицеронъ, Мирабо—и они не могли бы выступить ораторами въ нѣмецкой революціи, потому что во время нѣмецкой революціи курятъ табакъ. Представьте себѣ мой испугъ, когда я посѣтилъ въ Парижѣ вышеупомянутое собраніе и увидѣлъ, что всѣ спасители отечества сидѣли съ трубками въ зубахъ, а вся зала была до такой степени наполнена дымомъ сквернаго кнастера, что я тотчасъ же почувствовалъ стѣсненіе въ груди и полнѣйшую невозможность произнести малѣйшее слово...

Я не могу выносить табачный дымъ, и убѣдился, что въ нѣмецкомъ революціонномъ движеніи роль оратора въ духѣ Бёрне и его товарищей — не по мнѣ. Вообще я замѣтилъ, что поприще нѣмецкаго оратора не усыпано розами, а тѣмъ менѣе—розами чистыми. Такъ, напримѣръ, всѣмъ этимъ слушателямъ, «милымъ братьямъ и родственникамъ», непремѣнно надо сильно жать руку. Бёрне выражался, можетъ-быть, метафорически, когда говорилъ, что если бы сильный міра сего пожалъ ему руку, онъ положилъ бы ее послѣ этого въ огонь, чтобы очистить; я же говорю отнюдь не аллегорически, а совершенно буквально, что если народъ пожметъ мнѣ руку, я ее потомъ вымою.

Надо собственными глазами видѣть народъ во время дѣйствительной революціи, надо нюхать его собственнымъ носомъ, надо слышать его способъ выраженія собственными ушами, чтобы понять, что хотѣлъ сказать Мирабо словами: «нельзя сдѣлать революцію лаванднымъ масломъ». Пока мы читаемъ о революціяхъ въ книгахъ, все выходитъ очень красиво, и тутъ повторяется та же исторія, что съ пейзажами, которые, будучи художественно выгравированы на бѣлой веленевой бумагѣ, имѣютъ такой чистый, такой привѣтливый видъ, а посмотришь на нихъ въ натурѣ — они, быть можетъ, выигрываютъ въ грандіозности, но въ подробностяхъ представляютъ очень грязное и непривлекательное зрѣлище; вырѣзанный на мѣди навозъ не воняетъ, а черезъ вырѣзанное на мѣди болото легко перейти вбродъ глазами.

Добродѣтель или безуміе побуждали Бёрне съ наслажденіемъ вдыхать въ себя сквернѣйшія зловонія и съ удовольствіемъ кататься въ плебейской грязи? Кто разрѣшитъ намъ загадку этого человѣка, который выросъ въ самомъ мягкомъ шелку, потомъ гордыми порывами выказывалъ свой внутренній аристократизмъ и въ концѣ своей жизни вдругъ перешелъ къ плебейскому тону и банальнымъ манерамъ демагога самаго низшаго класса? Возбуждало ли въ немъ бѣдственное положеніе отечества страшнѣйшій гнѣвъ, или душу его охватила мучительная скорбь о погибшей жизни?.. Да, можетъ быть, это послѣднее предположеніе справедливо; онъ видѣлъ, что за всю эту жизнь ничего не сдѣлалъ своимъ умомъ и всею своею умѣренностью, ни для се для другихъ, и теперь закрылъ голову, или, выражая мѣщански, натянулъ себѣ колпакъ на уши и на чтобы больше ничего не видѣть и не слышать, и к въ воющую бездну... Это всегдашній рессурсъ, оста

намъ тогда, когда мы приходимъ къ тому рубежу, гдѣ впереди насъ нѣтъ уже никакихъ надеждъ, гдѣ всѣ цвѣты завяли, гдѣ тѣло утомлено, а душа полна досады... Я не ручаюсь, что и самъ не стану когда-нибудь въ подобныхъ обстоятельствахъ поступать точно также... Какъ знать? Можетъ-быть, къ концу моей жизни я преодолѣю отвращеніе къ табачному дыму, и выучусь курить, и стану говорить самыя неумытыя рѣчи самой неумытой публикѣ...

Перелистывая недавно «Парижскія Письма» Бёрне, я натолкнулся на одно мѣсто въ нихъ, которое составляетъ странное созвучіе съ тѣмъ, что̀ только-что вырвалось у меня. Вотъ это мѣсто:

«Вы спросите, можетъ-быть, съ удивленіемъ, какъ я, жалкій человѣкъ, дошелъ до того, что сопоставилъ себя съ Байрономъ? Чтобы отвѣчать на это, я долженъ разсказать вамъ то, чего вы еще не знаете. Когда духъ Байрона, въ своемъ путешествіи черезъ чистилище, прилетѣлъ на землю, чтобы переночевать на ней одну ночь, то онъ прежде всего остановился у меня. Но моя квартира рѣшительно не понравилась ему, онъ поспѣшно убрался изъ нея и вернулся въ отель Байрона. Долго это огорчало меня, долго меня мучила мысль, что я сдѣлался такою ничтожностью, рѣшительно ничего не достигнулъ. Но теперь это прошло, я позабылъ про это и спокойно живу въ моей бѣдности. Мое несчастіе въ томъ, что я родился въ среднемъ сословіи, для котораго совсѣмъ не гожусь. Будь мой отецъ владѣтель милліоновъ, или нищій, будь я сынъ знатнаго человѣка или бродяги — я несомнѣнно достигнулъ бы чего-нибудь. Но я сдѣлался маятникомъ мѣщанскихъ стѣнныхъ часовъ, качался вправо, качался влѣво, и долженъ былъ постоянно возвращаться на середину».

Это писалъ Бёрне 20 марта 1831 г. Предсказанія его о самомъ себѣ не сбылись, точно такъ же, какъ не сбывались его предсказанія о другихъ. Мѣщанскіе стѣнные часы сдѣлались набатнымъ колоколомъ, звонъ котораго распространялъ боязнь и ужасъ. Я уже говорилъ, какіе необузданные звонари дергали за веревку этого колокола, я уже намекнулъ, что Бёрне служилъ органомъ современныхъ страстей и что его сочиненія должны быть разсматриваемы не какъ продуктъ ума одного человѣка, а какъ документъ нашего политическаго періода «бури и натиска». Въ этомъ періодѣ стояли на первомъ планѣ и возводили общее волненіе на степень *кипяченія* польскія и рейнско-баварскія

событія; какъ тѣ, такъ и другія на духъ Бёрне имѣли сильнѣйшее вліяніе.

Столько же пламенно, сколько односторонне было восторженное сочувствіе къ дѣлу Польши, и когда эта мужественная страна пала, несмотря на изумительную храбрость ея сыновъ, у Бёрне прорвались всѣ плотины терпѣнія и разсудка. Печальная участь тѣхъ несчастныхъ, которые длинными траурными рядами проходили по Германіи, чтобы затѣмъ собраться въ Парижѣ, была дѣйствительно способна тронуть всякое чувствительное сердце до самой глубины его. Но къ чему, дорогой читатель, напоминать тебѣ объ этихъ печальныхъ вещахъ? Ты собственными плачущими глазами видѣлъ прохожденіе поляковъ черезъ Германію и знаешь, что спокойный, тихій нѣмецкій народъ, такъ терпѣливо переносящій свои собственныя невзгоды, былъ до такой степени потрясенъ состраданіемъ и гнѣвомъ при видѣ этихъ несчастныхъ, что мы были почти готовы сдѣлать для чужеземцевъ то, чего никогда не сдѣлали бы для самихъ себя, именно совершить революцію — въ пользу Польши.

Да, сильнѣе всякихъ начальственныхъ притѣсненій и демагогическихъ происковъ взбунтовало нѣмецкаго Михеля прохожденіе поляковъ, и большою ошибкой подлежащихъ нѣмецкихъ правительствъ было то, что они не препятствовали этому прохожденію. Еще болѣе значительная ошибка заключалась, конечно, въ томъ, что они не позволили полякамъ остаться въ Германіи болѣе продолжительное время,— ибо при болѣе продолжительномъ пребываніи, эти рыцари свободы сами бы разрушили ту, въ высшей степени опасную симпатію, которую они вызвали къ себѣ въ нѣмцахъ. Но они быстро прошли чрезъ Германію, не имѣли времени посредствомъ правды и поэтическаго вымысла дискредитировать одинъ другого, и опасное для государства волненіе улеглось.

Да, мы, нѣмцы, были почти готовы совершить революцію — и это не вслѣдствіе гнѣвнаго негодованія и необходимости, какъ дѣлаютъ другіе народы, а изъ состраданія, изъ сентиментальности, изъ трогательнаго со
нашимъ бѣднымъ гостямъ и друзьямъ полякамъ.

. . . . . .

Всякая революція—несчастіе, но еще больше
революція неудавшаяся; а такою угрожало на
ніе въ Германію этихъ сѣверныхъ друзей, ко

бы въ наши дѣла ту безпорядочность и ту ненадежность, которыми они погубили и самихъ себя. Ихъ вмѣшательство было бы для насъ тѣмъ болѣе пагубно, что нѣмецкая неопытность охотно подчинилась бы совѣтамъ той маленькой польской хитрости, которая выдаетъ себя за политическую мудрость, а нѣмецкая скромность, подкупленная свойственною полякамъ изящною рыцарственностью, отдала бы въ ихъ руки важнѣйшія предводительскія должности... Меня въ ту пору не мало пугала въ этомъ отношеніи популярность поляковъ . . . . . .

. . . . . .

Я сказалъ выше о «маленькой польской хитрости». Полагаю, что это выраженіе не подвергается никакому правильному толкованію; вѣдь оно вышло изъ устъ человѣка, сердце котораго забилось для Польши раньше всѣхъ другихъ и который уже задолго до польской революціи говорилъ и страдалъ за этотъ народъ. Во всякомъ случаѣ, считаю нужнымъ еще болѣе смягчить это выраженіе, прибавивъ, что оно относится къ 1831 и 1832 годамъ, когда поляки не имѣли еще даже элементарныхъ свѣдѣній въ великой наукѣ свободы, и политика представлялась имъ ничѣмъ инымъ, какъ сплетеніемъ бабьихъ хитростей и коварства, однимъ словомъ—манифестаціею той «маленькой польской хитрости», къ которой они находили въ себѣ особенно большое дарованіе.

Эти поляки были какъ бы сынами своей отечественной средневѣковой эпохи, и нося въ своей головѣ цѣлые первобытные лѣса невѣжества, они ринулись въ Парижъ, а здѣсь вошли или въ партіи республиканцевъ, или въ ризницы католической школы, потому что для того, чтобы быть республиканцемъ, не требуется много познаній, а чтобы быть католикомъ, можно ровно ничего не знать—надо только вѣрить. Самые умные и опытные между ними понимали революцію только въ формѣ бунта, и имъ и въ голову не приходило, что именно въ Германіи мало пользы принесешь уличнымъ шумомъ и волненіемъ. На столько же пагубенъ, на сколько забавенъ, былъ маневръ, который одинъ изъ ихъ величайшихъ государственныхъ мужей употребилъ противъ нѣмецкихъ правительствъ. При прохожденіи поляковъ онъ замѣтилъ, что одного поляка было достаточно для того, чтобы привести въ движеніе цѣлый тихій нѣмецкій городъ, и такъ какъ это былъ ученѣйшій литовецъ и отлично знавшій изъ географіи, *что Германія* состоитъ изъ десятковъ трехъ госу-

дарствъ, то онъ сталъ посылать отъ времени до времени по одному поляку въ столицу одного изъ этихъ государствъ... Онъ ставилъ одного поляка на одно изъ этихъ тридцати государствъ, какъ бы на нумеръ рулетки, вѣроятно безъ большой надежды на выигрышъ, но спокойно разочтя, что потерять единаго поляка не бѣда, а вотъ, коли онъ дѣйствительно произведетъ бунтъ, мой нумеръ, стало-быть, выигралъ, и изъ этого, пожалуй, выйдетъ цѣлая революція.

Я говорю о 1831 и 1832 годахъ. Съ тѣхъ поръ протекло восемь лѣтъ, и полякамъ, точно такъ же, какъ героямъ нѣмецкаго нарѣчія, пришлось вынести много горькаго, но и полезнаго опыта, и многіе изъ нихъ могли воспользоваться страшнымъ досугомъ изгнанія для изученія цивилизаціи. Несчастіе заставило ихъ пройти серьезную школу, и они пріобрѣли хорошія познанія . . . . . .

. . . . . .

Польша не погибла... Съ уничтоженіемъ ея политическаго существованія не окончилась ея дѣйствительная жизнь... Этому народу суждены еще, быть-можетъ, подвиги, которые геній человѣчества цѣнитъ выше выигранныхъ битвъ и рыцарскаго бряцанія мечей, вмѣстѣ съ лошадинымъ топотомъ національнаго прошедшаго. Да и безъ этого предстоящаго значенія Польша никогда не погибнетъ вполнѣ... Она будетъ вѣчно жить на самыхъ славныхъ страницахъ исторіи!!!

Кромѣ прохожденія поляковъ, я отмѣтилъ событія въ рейнской Баваріи, какъ ближайшій рычагъ, который послѣ іюльской революціи вызвалъ движеніе въ Германіи и произвелъ также сильнѣйшее вліяніе на нашихъ земляковъ въ Парижѣ. Здѣшнее народное собраніе было въ началѣ ничто иное, какъ филіальное отдѣленіе цвейбрюкенскаго союза печати. Одинъ изъ сильнѣйшихъ бипонтинскихъ ораторовъ пріѣхалъ сюда; я никогда не слышалъ его говорящимъ въ народномъ собраніи, видѣлъ его въ ту пору только случайно одинъ разъ въ кофейнѣ, гдѣ онъ, высоко поднявъ чело, возвѣщалъ новое царство и угрожалъ петлей «умѣреннымъ» измѣнникамъ, именно редакторамъ аугсбургской «Allgemeine Zeitung». (Удивляюсь, какъ въ то время у мен
тало смѣлости дѣйствовать въ качествѣ редакт
meine Zeitung»... Теперь времена не такія оп
тѣхъ поръ прошло восемь лѣтъ, и тогдашній
трибунъ изъ Цвейбрюкена, въ настоящую мин
самыхъ усердныхъ сотрудниковъ «Allgemeine

Изъ рейнско-баварскихъ провинцій должна была выйти нѣмецкая революція... Всѣ были увѣрены, что нѣмецкая революція начнется въ Цвейбрюкенѣ, и все въ немъ созрѣло для взрыва. Но добродушіе нѣкоторыхъ отдѣльныхъ личностей помѣшало осуществленію этого антиполицейскаго предпріятія. Такъ, напримѣръ, между бипонтинскими заговорщиками былъ одинъ горлатый Врамарбасъ, шумѣвшій и бѣсновавшійся больше всѣхъ, изъ котораго ненависть къ тиранамъ лилась черезъ край яростнѣе, чѣмъ изъ кого-либо, и ему поручили, въ видѣ перваго подвига, немедленно убить часового, занимавшаго одинъ изъ главныхъ пунктовъ. — «Какъ! — вскричалъ этотъ человѣкъ, получивъ это порученіе: — мнѣ, мнѣ вы поручаете совершить такое страшное, такое отвратительное, такое кровожадное дѣло? Я, я долженъ убить невиннаго часового? Вѣдь я отецъ семейства! И этотъ часовой, можетъ-быть, тоже отецъ семейства! Одному отцу семейства убить другого отца семейства! Убить! убить!..» Такъ какъ докторъ Писторъ, одинъ изъ цвейбрюкенскихъ героевъ, разсказавшій мнѣ эту исторію, теперь обитаетъ тамъ, гдѣ нѣтъ никакой отвѣтственности, то я могу назвать его по имени, какъ свидѣтеля. Онъ увѣрялъ меня, что нѣмецкая революція была въ то время отсрочена вслѣдствіе этой сентиментальности упомянутаго отца семейства. А между тѣмъ, это время было довольно благопріятное. Только тогда и въ дни гамбахскаго празднества всеобщій переворотъ въ Германіи можно было попытаться совершить съ нѣкоторою надеждою на успѣхъ. Эти гамбахскіе дни были послѣднимъ срокомъ, который намъ дала богиня свободы; звѣзды давали благопріятное указаніе; съ тѣхъ же поръ исчезла всякая возможность удачи. Тамъ собралось очень много людей дѣла, которые сами были воспламенены серьезнымъ желаніемъ и могли разсчитывать на вѣрнѣйшую помощь. Всѣ видѣли, что наступила настоящая минута для великаго риска, и большинство охотно ставило на карту счастье и жизнь... Конечно, не страхъ въ это время развязывалъ только слово и сдерживалъ дѣло... Что же помѣшало гамбахскимъ людямъ начать революцію?

Я едва рѣшаюсь сказать это, такъ оно невѣроятно, но эту исторію я слышалъ изъ достовѣрнаго источника — отъ человѣка, извѣстнаго какъ правдивый республиканецъ и который самъ засѣдалъ въ гамбахскомъ комитетѣ, гдѣ совѣщались о предстоявшей революціи; онъ-то сознался мнѣ съ глаза на глазъ, что когда зашелъ вопросъ о компетенц-

ности, когда въ комитетѣ начали разсуждать о томъ, дѣйствительно ли собравшіеся въ Гамбахѣ патріоты были компетентны начать революцію во имя всей Германіи — тогда тѣ, которые совѣтовали дѣйствовать быстрѣе, должны были уступить большинству, и было постановлено: «некомпетентны».

О, Шильда, мое отечество!

Пусть извинитъ меня Венедей за то, что я разболталъ эту тайную исторію о компетентности и выставилъ его самого поручителемъ въ справедливости моихъ словъ; но это лучшая исторія, какую я только слышалъ на этой землѣ. Когда я думаю о ней, то забываю всѣ скорби этой земной юдоли, и можетъ-быть, когда-нибудь послѣ смерти, въ туманной скукѣ царства тѣней, воспоминаніе объ этой исторіи будетъ развеселять меня... Да, я убѣжденъ, что когда разскажу объ этомъ Прозерпинѣ, ворчливой супругѣ бога ада, она улыбнется, а можетъ-быть, и громко расхохочется...

О, Шильда, мое отечество!

Развѣ эта исторія не стоитъ того, чтобъ вышить ее золотыми буквами на бархатѣ, какъ вышиты стихотворенія Моллакатъ, хранящіяся въ меккской мечети?.. Во всякомъ случаѣ мнѣ хотѣлось бы переложить ее въ стихи и положить на музыку, чтобы затѣмъ пѣть ее въ видѣ колыбельной пѣсни нѣмецкимъ малюткамъ-князьямъ... Вы можете спокойно спать, и въ награду за исцѣляющую страхъ пѣсенку, которую я пропою вамъ, прошу васъ, малютки-князья, отворите тюремныя двери заточеннымъ патріотамъ... Вы тутъ ничѣмъ не рискуете, нѣмецкая революція еще далеко отъ васъ, хорошее дѣло надо дѣлать не спѣша, и вопросъ о компетентности еще не рѣшенъ...

О, Шильда, мое отечество!

Какъ бы то ни было, гамбахское празднество все-таки принадлежитъ къ удивительнѣйшимъ событіямъ въ нѣмецкой исторіи, и если вѣрить Бёрне, присутствовавшему на немъ, все на этомъ съѣздѣ, повидимому, благопріятствовала дѣлу свободы. Я давно уже потерялъ Бёрне изъ виду и снова встрѣтился съ нимъ послѣ его возвращенія изъ Гамбаха; но эта была наша послѣдняя встрѣча въ этой жизни. Мы гуляли съ нимъ по Тюильри, онъ много разсказывалъ мнѣ о Гамбахѣ и былъ еще весь полонъ ликованьемъ этого великаго народнаго праздника. Онъ не могъ достаточно нахвалиться единодушіемъ и приличіемъ, царствовавшими тамъ. Въ этомъ случаѣ онъ говорилъ правду: я узналъ *изъ другихъ* источниковъ, что въ Гамбахѣ не было

кихъ рѣзкихъ крайностей, не было ни пьянаго шума, ни плебейской грубости, и оргія скорѣе происходила въ мысляхъ, чѣмъ въ дѣйствіяхъ. Немало безумныхъ словъ было произнесено въ этихъ рѣчахъ, часть которыхъ впослѣдствіи появилась въ печати. Но дѣйствительное безуміе высказывалось здѣсь только шопотомъ. Бёрне разсказалъ мнѣ, что разъ, когда онъ разговаривалъ съ Зибенпфейферомъ, къ этому послѣднему подошелъ старый поселянинъ и сказалъ нѣсколько словъ на ухо, на что тотъ отрицательно покачалъ головой.—Изъ любопытства,—говорилъ мнѣ Бёрне:—я спросилъ Зибенпфейфера, чего хотѣлъ отъ него поселянинъ, и Зибенпфейферъ сознался мнѣ, что старикъ сказалъ ему: «Г. Зибенпфейферъ, если вы хотите сдѣлаться королемъ, мы вамъ устроимъ это дѣло».

— Я очень хорошо провелъ время въ Гамбахѣ, — продолжалъ Бёрне;—мы всѣ были тогда точно кровные друзья, пожимали другъ другу руки, пили брудершафтъ, и я особенно помню одного старика, съ которымъ я цѣлый часъ плакалъ, самъ не зная о чемъ. Мы, нѣмцы, великолѣпный народъ и совсѣмъ не такъ непрактичны, какъ прежде. Въ Гамбахѣ стояла также все время пріятнѣйшая майская погода, точно молоко и розы, была тамъ и одна прелестная дѣвушка, хотѣвшая цѣловать мнѣ руки, точно старому капуцину; я не допустилъ до этого, и тогда отецъ и мать дѣвушки приказали ей поцѣловать меня въ губы и увѣряли меня, что она съ величайшимъ удовольствіемъ прочла всѣ мои сочиненія. Я очень хорошо провелъ время. Тутъ же у меня украли часы. Но и это мнѣ пріятно; это хорошо, это подаетъ мнѣ надежду. Потому что это значитъ, что и между нами есть мошенники, а вслѣдствіе этого намъ тѣмъ легче будетъ успѣть. Дернулъ чортъ проклятаго Монтескье увѣрить насъ, что добродѣтель есть главный принципъ республиканца, и я очень боялся, что наша партія будетъ состоять исключительно изъ честныхъ людей и поэтому ничего не добьется. Крайне необходимо, чтобы между нами, какъ и между нашими врагами, были мошенники. Я бы очень желалъ узнать, кто именно изъ патріотовъ укралъ у меня въ Гамбахѣ часы: какъ только мы стали бы во главѣ правленія, я поручилъ бы ему полицію и дипломатію. Но я найду средство отыскать этого вора. Именно, я объявлю въ «Гамбургскомъ Корреспондентѣ», что доставившій мои часы получитъ въ награду сто луидоровъ. Часы стоятъ этой суммы уже какъ рѣдкость—это первые часы, украденные нѣмец-

кою свободою. Да, и мы, сыны Германіи, пробуждаемся отъ нашей сонливой честности... Трепещите, тираны, мы тоже умѣемъ воровать!

Бѣдный Бёрне не переставалъ говорить о Гамбахѣ и объ удовольствіи, которое онъ испыталъ тамъ. Онъ, какъ будто предчувствовалъ, что въ послѣдній разъ былъ въ Германіи, въ послѣдній разъ подышалъ нѣмецкимъ воздухомъ, въ послѣдній разъ жадно упился нѣмецкими глупостями.— Ахъ! — говорилъ онъ, вздыхая: — какъ путникъ въ жаркое лѣтнее время тоскуетъ по свѣжей, прохлаждающей водѣ, такъ я часто тоскую по свѣжимъ, прохлаждающимъ глупостямъ, которыя цвѣтутъ только на почвѣ нашей отчизны. Это такія глубокомысленныя, такія меланхолически-веселыя глупости, что сердце ликуетъ при видѣ ихъ. Здѣсь, у французовъ, глупости такъ сухи, такъ поверхностны, такъ разсудительны, что непереваримы для того, кто привыкъ къ лучшему. Вотъ почему во Франціи я съ каждымъ днемъ становлюсь сердитѣе и печальнѣе, и наконецъ умру. Изгнаніе—ужасная вещь. Когда я переселюсь въ елисейскія поля, то, конечно, буду несчастливъ и тамъ, среди духовъ свѣта, которые такъ отлично поютъ и такъ пріятно пахнутъ... вѣдь они не говорятъ по-нѣмецки и не курятъ кнастера... Только въ отечествѣ мнѣ хорошо! Любовь къ отечеству! Мнѣ смѣшно, когда это слово произносятъ люди, никогда не бывшіе изгнанниками... Они могутъ точно такъ же говорить о любви къ молочной кашѣ. Любовь къ молочной кашѣ! Въ африканской песчаной пустынѣ это слово уже имѣетъ значеніе. Если я когда-нибудь буду такъ счастливъ, что возвращусь въ милую Германію, то назовите меня мошенникомъ, если я стану писать противъ какого бы то ни было сочинителя, живущаго въ изгнаніи. Если бъ не боязнь тѣхъ глупостей, которыя люди влагаютъ въ уста сидящаго въ тюрьмѣ, я бы не уѣхалъ изъ Германіи и спокойно сѣлъ бы въ тюрьму, какъ многіе другіе отличные люди, которымъ я предсказалъ ихъ судьбу, предсказалъ даже все на основаніи видѣннаго мною сна...

— Да, это былъ дурацкій сонъ, — вскричалъ Бёрне, вдругъ расхохотавшись и перейдя, по своему изъ мрачнаго тона въ веселый:—это былъ Къ нему подготовили меня разсказы одного побывавшаго въ Америкѣ. Именно, онъ ра *что въ* сѣверо-американскихъ городахъ по ул *очень* большія черепахи, у которыхъ на сп

мѣломъ, въ какой гостиницѣ и въ какой именно день онѣ попадутъ въ супъ à la tortue. Не знаю, почему этотъ разсказъ сильно поразилъ меня, почему я цѣлый день думалъ о несчастныхъ животныхъ, такъ спокойно ползающихъ по улицамъ Бостона и не знающихъ, что на спинѣ у нихъ положительно обозначены день и мѣсто ихъ гибели... И представьте себѣ, что ночью я вдругъ увидѣлъ во снѣ моихъ друзей, нѣмецкихъ патріотовъ, превращенныхъ въ такихъ черепахъ; они спокойно ползали взадъ и впередъ, а на спинѣ у каждаго точно такъ же было большими буквами обозначено, въ какой день и въ какомъ мѣстѣ его вбросятъ въ проклятый суповый котелъ... На слѣдующій день я совѣтовалъ моимъ друзьямъ остерегаться, но не смѣлъ разсказать имъ мой сонъ, потому что они разсердились бы на меня за то, что ихъ, людей движенія, я увидѣлъ въ образѣ неповоротливыхъ черепахъ... Но изгнаніе, изгнаніе, это ужасная вещь!.. Ахъ, какъ я завидую французскимъ республиканцамъ! Они страдаютъ, но въ отечествѣ. До самой минуты смерти нога ихъ стоитъ на дорогой землѣ родины. А каково еще французамъ, которые сражаются здѣсь, въ Парижѣ, и имѣютъ передъ глазами дорогіе памятники, разсказывающіе имъ о подвигахъ ихъ предковъ, и утѣшающіе, и ободряющіе ихъ! Тутъ говорятъ камни и поютъ деревья, и любой камень проникнутъ чувствомъ чести въ большей степени и проповѣдываетъ исторію человѣческаго мученичества гораздо выразительнѣе, чѣмъ всѣ профессора исторической школы въ Берлинѣ и Геттингенѣ. А эти каштановыя деревья въ Тюильри, развѣ они не поютъ тайно Марсельезу тысячами своихъ зеленыхъ языковъ?.. Это священная почва, здѣсь слѣдовало бы прогуливаться не иначе, какъ снявъ обувь... Вотъ тутъ, влѣво, терраса des Feuillants Тамъ вправо, гдѣ тянется теперь улица Риволи, происходили засѣданія якобинскаго клуба... Здѣсь, передъ нами, въ зданіи Тюильри, гремѣлъ конвентъ, собраніе титановъ, въ сравненіи съ которымъ Бонапарте, со своею молніеносной птицей, является только маленькимъ Юпитеромъ... А тамъ, напротивъ, привѣтствуетъ насъ площадь Людовика XVI... И между дворцомъ и площадью, между клубами des Feuillants и якобинскимъ, посрединѣ—лѣсъ, гдѣ каждое дерево есть цвѣтущее дерево свободы...

Но на этихъ старыхъ каштанахъ въ Тюильрійскомъ саду есть много очень гнилыхъ вѣтвей, и какъ разъ въ ту минуту, *когда Бёрне* хотѣлъ закончить послѣднюю фразу

одинъ сукъ съ громкимъ трескомъ полетѣлъ внизъ съ значительной высоты и раздавилъ бы насъ обоихъ, если бъ мы не поспѣшили отскочить въ сторону. Бёрне, отскочившій медленнѣе меня, получилъ небольшой ушибъ въ руку и сердито проворчалъ: «Скверный знакъ!»

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

...И все-таки гамбахское празднество свидѣтельствовало о большомъ шагѣ впередъ, особенно если сравнить его съ другимъ празднествомъ, которое нѣкогда происходило въ Вартбургѣ также съ цѣлью возвеличенія общихъ народныхъ интересовъ. Только по внѣшнимъ явленіямъ, по случайностямъ, оба эти торжества походили другъ на друга, а отнюдь не по своей внутренней сущности. Духъ, высказавшійся въ Гамбахѣ, существенно противоположенъ духу, или, скорѣе, привидѣнію, бродившему въ Вартбургѣ. Тамъ, въ Гамбахѣ, новое время восторженно пѣло свои пѣсни въ честь восхожденія солнца и пило брудершафтъ со всѣмъ человѣчествомъ; здѣсь же, въ Вартбургѣ, прошедшее время гнусило свои мрачныя вороньи пѣсни, и при свѣтѣ факеловъ говорились и дѣлались глупости, достойныя самыхъ тупоумныхъ средневѣковыхъ дней! Въ Гамбахѣ французскій либерализмъ говорилъ восторженнѣйшія рѣчи, и если тутъ высказывалось много неразумнаго, то по крайней мѣрѣ самъ разумъ признавался высшимъ авторитетомъ, связующимъ, разрѣшающимъ и предписывающимъ законамъ свои законы; въ Вартбургѣ, напротивъ того, господствовало ограниченное тевтоманство, много и визгливо говорившее о любви и вѣрѣ, но любовь котораго была ничто иное, какъ ненависть къ чужеземцамъ, а вѣра состояла только въ отсутствіи разума, и который въ своемъ невѣжествѣ не сумѣлъ придумать ничего лучше сожженія книгъ! Я говорю: въ невѣжествѣ, потому что въ этомъ отношеніи та прежняя оппозиція, которая извѣстна намъ подъ именемъ «старонѣмецкой», была еще величественнѣе оппозиціи новой, несмотря на то, что и эта послѣдняя не особенно блещетъ ученостью. Именно тотъ, кто сдѣлалъ въ Вартбург[illegible] ложеніе сжигать книги, былъ въ то же время самы[illegible] шимъ невѣждою, какой только когда-либо гимнас[illegible] на землѣ и издавалъ старонѣмецкіе варіанты. П[illegible] *щему*, этому субъекту слѣдовало бросить въ огон[illegible] *скую* грамматику Бредера!

Странно! Эти, такъ-называемые старогерманцы, несмотря
а свое невѣжество, заняли у нѣмецкой учености извѣстный
эдантизмъ, столько же отвратительный, сколько и смѣш-
ой. Съ какимъ мелочнымъ буквоѣдствомъ они разсуждали
признакахъ нѣмецкой національности: Гдѣ начинается гер-
анецъ? Гдѣ онъ оканчивается? Имѣетъ ли нѣмецъ право
урить табакъ? Нѣтъ, утверждало большинство. Имѣетъ ли
ѣмецъ право носить перчатки? Да, но не иначе, какъ изъ
йволовой кожи. (Грясный Масманъ, конечно, вовсе не
осилъ перчатокъ). Но пиво нѣмецъ всегда можетъ пить, и
лженъ это дѣлать, какъ истинный сынъ Германіи, потому
о Тацитъ очень опредѣлительно говоритъ о германской
revisia. Немало удивился я однажды, когда увидѣлъ, въ
ттингенскомъ пивномъ погребѣ, съ какою основатель-
остью мои старогерманскіе друзья изготовляли опальные
иски къ тому дню, въ который они должны были, по ихъ
исчетамъ, получить верховную власть. Каждый, происхо-
вшій хотя бы въ седьмомъ колѣнѣ отъ француза, еврея
и славянина, приговаривался къ изгнанію. Кто написалъ
лѣйшую замѣтку противъ Яна или вообще старогерм,ан-
ихъ нелѣпостей, могъ готовиться къ смертной казни, и
итомъ—казни топоромъ, а не гильотиной, несмотря на
, что эта послѣдняя—собственно нѣмецкое изобрѣтеніе и
е въ средніе вѣка была извѣстна подъ названіемъ «итал-
ской петли». Я помню, что по этому случаю зашелъ со-
ршенно серьезный споръ о томъ, слѣдуетъ ли помѣстить
вышеупомянутый опальный списокъ одного берлинскаго
исателя, который въ первомъ томѣ своего сочиненія вы-
азался противъ гимнастическаго искусства, потому что
слѣдній томъ сочиненія еще не появился, а въ немъ ав-
ръ могъ вѣдь высказать вещи, которыя могли придать
вершенно другой смыслъ преступнымъ мнѣніямъ, заклю-
ающимся въ первомъ томѣ.

Сошли ли совсѣмъ со сцены эти мрачные дураки, такъ-
азываемые нѣмечники? Нѣтъ. Они только сняли съ себя
вои черные кафтаны, ливрею своего безумія. Большая
асть изъ нихъ перестала даже говорить на своемъ пла-
сиво грубомъ жаргонѣ, и замаскировавшись въ цвѣта и
разы либерализма, они были тѣмъ болѣе опасны для новой
ппозиціи во время политическаго періода бури и натиска,
ѣдовавшаго за іюльскими днями. Да, въ средѣ нѣмецкихъ
волюціонеровъ кишѣлъ цѣлый рой прежнихъ нѣмечниковъ,
оторые кислыми губами лепетали новые пароли и даже

пѣли Марсельезу... при чемъ корочили самыя фатальныя рожи. Между тѣмъ, дѣло шло о единодушной борьбѣ за общіе интересы, за единство Германіи, единственную прогрессивную идею, провозглашенную прежнею оппизиціею. Наше пораженіе, можетъ-быть, счастіе для насъ... Мы бы дрались, не отставая другъ отъ друга, мы дѣйствовали бы очень единодушно во время битвы и даже въ часъ побѣды... но на слѣдующее утро оказалось бы разногласіе, которое можно было бы сгладить только посредствомъ ultima ratio populorum, именно, посредствомъ итальянской петли. Конечно, близорукіе люди въ средѣ нѣмецкихъ революціонеровъ судили обо всемъ по французскимъ масштабамъ, и уже раздѣлялись на конституціонистовъ и республиканцевъ. и потомъ снова на жирондистовъ и монтаньяровъ, и на основаніи этихъ раздѣленій ненавидѣли другъ друга и клеветали одинъ на другого; но знакомые съ дѣломъ знали очень хорошо, что въ войскѣ нѣмецкой революціи были собственно только двѣ, радикально противоположныя между собою, партіи, неспособныя ни на какую мировую сдѣлку и тайно пылавшія другъ къ другу самою кровавою враждою. Какая изъ этихъ двухъ партій казалась болѣе сильною? Свѣдущіе изъ числа либераловъ не скрывали другъ отъ друга, что ихъ партія, стоявшая за принципы французскаго ученія о свободѣ, по количеству членовъ была, правда, сильнѣе, но по фанатизму и вспомогательнымъ средствамъ—слабѣе. Дѣйствительно, эти возрожденные нѣмечники составляли, правда, меньшинство, но ихъ фанатизмъ, имѣвшій скорѣе религіозный характеръ, легко пересиливалъ фанатизмъ, высиженный только разумомъ; затѣмъ, въ ихъ распоряженіи находятся тѣ могущественныя формулы, съ помощію которыхъ можно околдовать грубую чернь; слова: «отчизна, Германія, вѣра отцовъ» и т. д. электризуютъ необразованную массу гораздо сильнѣе, чѣмъ слова: «человѣчество, космополитизмъ, разумъ сыновей, истина!..» Этимъ я хочу сказать, что тѣ представители національности пустили на нѣмецкой почвѣ корни гораздо глубже тѣхъ, которые пущены представителями космополитизма, и что эти послѣдніе, по всей вѣроятности, уступ[illegible] первымъ, если не поспѣшатъ предупредить [illegible] ской петлей.

Въ революціонное время у насъ остается [illegible] *между* убійствомъ и смертью.

Невозможно составить себѣ понятіе о т[illegible]

не испытавъ хоть отчасти горячки, охватывающей въ эту пору людей и поселяющей въ нихъ совершенно особенный образъ мыслей и чувствованій. Невозможно произнести приговоръ надъ словами и дѣлами такого времени, когда живешь въ затишьѣ такой мирной поры, какъ теперешняя.

Не знаю, насколько выше сдѣланные намеки будутъ поняты. Наши потомки унаслѣдуютъ, можетъ-быть, наши тайныя неудачи, и нашъ долгъ—указывать имъ, какія лѣкарства мы считали дѣйствительными. Вмѣстѣ съ тѣмъ я выше далъ понять, насколько должна была существовать извѣстная связь между мною и тѣми революціонерами, которые французское якобинство переносили на нѣмецкіе порядки... Несмотря на то, что ихъ политическія убѣжденія расходились съ моими въ области мысли, я всегда присоединился бы къ нимъ на боевыхъ поляхъ дѣла... Вѣдь у насъ съ ними были общіе враги и общія опасности!

Правда, эти революціонеры, въ своей мрачной ограниченности, никогда не понимали положительныхъ гарантій этого естественнаго союза. Притомъ я такъ далеко ушелъ впередъ ихъ, что они перестали меня видѣть, и въ своей близорукости думали, что я остался позади.

Здѣсь не мѣсто и не время говорить подробнѣе о разногласіяхъ, которыя должны были скоро послѣ іюльской революціи обнаружиться между мною и нѣмецкими революціонерами, собравшимися въ Парижѣ. Главнѣйшимъ представителемъ этихъ послѣднихъ долженъ считаться нашъ Людвигъ Бёрне, особенно въ послѣдніе годы его жизни, когда, вслѣдствіе пораженій республиканской партіи, два дѣятельнѣйшихъ агитатора, Гарнье и Вольфрумъ, сошли со сцены.

О первомъ я уже упоминалъ. Онъ былъ однимъ изъ самыхъ энергичныхъ дѣятелей, и надо отдать ему справедливость—онъ въ самой высокой степени обладалъ всѣми педагогическими талантами. Это былъ человѣкъ очень умный, съ большими познаніями и весьма краснорѣчивый. Но интригантъ. Въ разгарѣ нѣмецкой революціи Гарнье конечно игралъ бы замѣтную роль; но такъ какъ эта пьеса не была разыграна, то ему пришлось плохо. Говорятъ, что онъ долженъ былъ бѣжать изъ Парижа, потому что хозяинъ гостиницы, въ которой онъ жилъ, покушался на его жизнь—не тѣмъ, что грозилъ отравлять его кушанья, но тѣмъ, что не хотѣлъ больше отпускать ему никакихъ блюдъ иначе, какъ на чистыя деньги. Второй изъ этихъ двухъ агитаторовъ, *Вольфрумъ*, былъ молодой человѣкъ изъ старой

Баваріи, кажется, изъ Гофа; онъ служилъ приказчикомъ въ одномъ парижскомъ магазинѣ, но отказался отъ этой должности, чтобы посвятить всю свою дѣятельность идеямъ свободы, которыя овладѣли и имъ. Это былъ славный, безкорыстный, полный чистаго энтузіазма человѣкъ, и я тѣмъ болѣе считаю себя обязаннымъ высказать это, что память его еще не совсѣмъ очищена отъ страшной клеветы. Именно, когда его выслали изъ Парижа, и генералъ Лафайетъ потребовалъ въ палатѣ у графа д'Аргу, тогдашняго министра внутреннихъ дѣлъ, отчета, въ такомъ своевольномъ поступкѣ, то графъ д'Аргу высморкалъ свой длинный носъ и начиналъ утверждать, что Вольфрумъ былъ агентомъ баварскихъ іезуитовъ, и что въ его бумагахъ найдены доказательства тому. Вольфрумъ, бывшій въ это время въ Бельгіи, узнавъ изъ газетъ объ этомъ гнусномъ обвиненіи, рѣшился тотчасъ же возвратиться въ Парижъ; но, за неимѣніемъ денегъ, онъ долженъ былъ отправиться пѣшкомъ, пришелъ въ Парижъ больной отъ усталости и внутренняго волненія и долженъ былъ помѣститься въ больницѣ Hôtel de Dieu; тутъ онъ и умеръ подъ чужимъ именемъ.

Вольфрумъ и Гарнье всегда были вѣрными приверженцами Бёрне, но въ отношеніи къ нему не переставали сохранять извѣстнаго рода независимость и нерѣдко черпали свое вдохновеніе изъ совсѣмъ иныхъ источниковъ. Но послѣ того, какъ оба эти человѣка сошли со сцены, Бёрне лично выступилъ впереди парижскихъ нѣмцевъ-революціонеровъ, съ этихъ поръ управлялъ ими не черезъ посредство агентовъ своей воли, а отъ собственнаго имени, и не было у него недостатка въ придворномъ штатѣ изъ ограниченныхъ и разгоряченныхъ головъ, поклонявшихся ему съ съ слѣпымъ благоговѣніемъ. Среди этихъ милыхъ приверженцевъ сидѣлъ онъ во всемъ величіи своего пестраго шелковаго халата и чинилъ судъ надъ сильными міра сего,— и послѣ русскаго правительства его шумливый гнѣвъ обрушивался съ наибольшею силою на автора настоящей статьи... То, что онъ только намеками высказывалъ въ своихъ сочиненіяхъ, въ устномъ изложеніи дополнялось самымъ рѣзкимъ образомъ, а подозрительная недальновид
шенно овладѣвшая имъ, и какая-то безчестна
которая для служенія святому дѣлу не прен
ложью, короче сказать, ограниченность и с
увлекли этого человѣка даже въ болото клев

Упрекъ, заключающійся въ словахъ: «под

дальновидность», относится здѣсь не столько къ отдѣльной личности, сколько къ цѣлой породѣ, нашедшей полнѣйшаго представителя своего въ Максимиліанѣ Робеспьерѣ, славной памяти. На этого послѣдняго Бёрне былъ въ послѣднее время чрезвычайно похожъ: такое же постоянное недовѣріе на лицѣ, кровожадная сентиментальность въ сердцѣ, сухія понятія въ головѣ... Только въ его распоряженіи не было гильотины, и онъ долженъ былъ прибѣгать къ помощи словъ и только клеветать. И этотъ упрекъ также относится больше къ природѣ, потому что—странное дѣло!—подобно іезуитамъ, якобинцы приняли ложь дозволеннымъ средствомъ войны, можетъ-быть, потому, что тѣ и другіе считали себя служителями великихъ цѣлей; первые ратовали за дѣло Божье, вторые—за дѣло человѣчества... Мы должны поэтому простить имъ за ихъ клеветы!

Но не руководила ли иногда Людвигомъ Бёрне тайная зависть? Онъ вѣдь былъ человѣкъ, и между тѣмъ, какъ ему казалось, что онъ разрушаетъ доброе имя различно мыслящаго съ нимъ человѣка только въ интересѣ республики, между тѣмъ, какъ онъ, можетъ-быть, даже ставилъ себѣ въ заслугу принесеніе этой жертвы—на самомъ дѣлѣ онъ, помимо своего вѣдома, удовлетворялъ скрытымъ наклонностямъ своей злой натуры, какъ нѣкогда Максимиліанъ Робеспьеръ, славной памяти!

И именно въ отношеніи ко мнѣ покойный предавался такимъ личнымъ чувствамъ, и всѣ его нападенія на меня были въ сущности ничто иное, какъ мелкая зависть, которую маленькій барабанщикъ чувствуетъ къ большому тамбуръ-мажору. Онъ завидовалъ моему высокому плюмажу, который такъ смѣло развѣвался по воздуху, моему богатовышитому мундиру, на которомъ было столько серебра, сколько онъ, маленькій барабанщикъ, не могъ бы купить за всѣ свои деньги; завидовалъ ловкости, съ которою я махалъ тамбуръ-мажорскимъ жезломъ, любовнымъ взглядамъ, которые бросали на меня молодыя дѣвушки, и на которые я, можетъ-быть, отвѣчалъ съ нѣкоторымъ кокетствомъ!

Во многихъ изъ заблужденій, на которыя я только-что намекнулъ, были, можетъ-быть, виноваты также люди, окружавшіе Бёрне; эти милые приверженцы подстрекали его къ высказыванію многихъ скверныхъ мнѣній, и высказанное имъ устно раздувалось ими еще злостнѣе и перерабатывалось для удивительнѣйшихъ частныхъ цѣлей. При всей своей подозрительности, онъ легко поддавался обману, ни-

когда не подозрѣвалъ, что служитъ совершенно чужимъ страстямъ, и нерѣдко даже повиновался внушеніямъ своихъ противниковъ. Меня увѣряли, что нѣкоторые изъ шпіоновъ шныряющихъ здѣсь на счетъ извѣстныхъ правительствъ, такъ умѣли прикидываться истинными патріотами, что Бёрне совершенно довѣрялся имъ и дни и ночи водилъ съ ними компанію и строилъ заговоры.

А между тѣмъ, онъ зналъ, что его окружали шпіоны, и разъ сказалъ мнѣ: «За мной постоянно шляется здѣсь одна каналья; онъ преслѣдуетъ меня на всѣхъ улицахъ, останавливается передъ всѣми домами, въ которые я вхожу, и конечно получаетъ за это отъ какого-нибудь правительства большое жалованье. Знай я только, какое это правительство, я бы написалъ ему, что самъ хочу зарабатывать деньги, что самъ я готовъ ежедневно посылать ему добросовѣстное донесеніе о томъ, какъ я провелъ день, съ кѣмъ говорилъ, куда ходилъ; да, я согласенъ доставлять эти донесенія гораздо дешевле, даже вдвое дешевле, чѣмъ эта бестія, постоянно шляющаяся за мною, потому что мнѣ вѣдь и безъ того приходится совершать всѣ эти переходы. Можетъ-быть, я бы жилъ тѣмъ, что былъ бы своимъ собственнымъ шпіономъ.

Также сильно, можетъ-быть, еще сильнѣе, вліяла въ ту пору на Бёрне такъ-называемая мадамъ Воль, уже упоминавшаяся на этихъ страницахъ двусмысленная дама, о которой не знали съ точностью, на какой титулъ даютъ ей право ея отношенія къ Бёрне, что̀ она такое: возлюбленная ли его, или только жена. Ближайшіе друзья долго съ упорствомъ утверждали, что мадамъ Воль тайно съ нимъ обвѣнчана и въ одно прекрасное утро начнетъ принимать у себя въ качествѣ госпожи докторши Бёрне. Другіе думали, что между ними существовала только платоническая любовь, какъ нѣкогда между мессиромъ Франческо и мадонною Лаурою, и конечно находили также большое сходство между сонетами Петрарки и «Парижскими Письмами» Бёрне, такъ какъ эти письма были адресованы не къ вымышленной воздушной личности, но къ мадамъ Воль; это обстоятельство усиливало, конечно, ихъ цѣнность, прид
опредѣленную физіономію и ту индивидуальнос
не можетъ подражать никакое искусство. Если
отражается характеръ не только пишущаго
получающаго, то мадамъ Воль—въ высшей с
ная особа. пламенно стоящая за свободу

права, существо, полное чувства, полное воодушевленія... И дѣйствительно, мы должны вѣрить такому мнѣнію о ней, слыша, съ какою преданностью относилась эта дама къ Бёрне въ тяжелыя времена, какъ она посвящала ему всю свою жизнь, и какъ теперь, послѣ его смерти, она пребываетъ въ безутѣшной горести, занимаясь въ своемъ одиночествѣ только умершимъ. Неоспоримо, что между ними обоими существовала взаимная тѣснѣйшая склонность, но въ то самое время, когда публика находилась въ сомнѣніи—какіе изъ этой склонности могутъ возникнуть осязательные факты, въ то самое время насъ поразило однажды внезапное извѣстіе, что мадамъ Воль вышла не за Бёрне, а за одного молодого купца изъ Франкфурта... Изумленіе по поводу этого обстоятельства было усилено еще тѣмъ, что новобрачная, пріѣхавъ сюда съ мужемъ, поселилась въ одной квартирѣ съ Бёрне, и всѣ трое составили одно общее хозяйство. Мало того—говорили даже, что молодой человѣкъ только для того и женился на этой барынѣ, чтобы войти въ болѣе близкое соприкосновеніе съ Бёрне, и согласился на сохраненіе между Бёрне и его женой существовавшихъ между ними до того времени отношеній. Какъ я слышалъ, онъ игралъ въ домѣ роль слуги, исполнялъ самую грубую работу и сдѣлался для Бёрне очень полезнымъ разсыльнымъ, который ходилъ по домамъ торговать его славой и неумолимо изрыгалъ ядъ и желчь на его противниковъ.

Дѣйствительно, этотъ супругъ мадамъ Воль не принадлежитъ къ тому хорошему сорту, который съ терпимостью въ брачныхъ отношеніяхъ соединяетъ извѣстное добродушіе и тѣмъ обезоруживаетъ всякую насмѣшку. Нѣтъ, онъ напоминалъ скорѣе тотъ дурной сортъ, о которомъ разсказывается въ исторіи Индіи Ктезіаса. Этотъ авторъ именно сообщаетъ, что въ Индіи существуютъ рогатые ослы, и между тѣмъ, какъ у всѣхъ остальныхъ ословъ нѣтъ никакой желчи, эти рогатые ослы обладаютъ такимъ количествомъ ея, что ихъ мясо пріобрѣтаетъ отъ этого совсѣмъ горькій вкусъ.

Надѣюсь, никто не истолкуетъ въ дурную сторону причины, почему я привожу эти подробности изъ частной жизни Бёрне. Этимъ я хочу только показать, что были еще совсѣмъ особыя обстоятельства, побуждавшія меня держаться подальше отъ него. Вся чистоплотность моей души возмущалась при мысли войти въ малѣйшее соприкосновеніе съ его *домашней обстановкой*. Если сказать правду—

въ домашнемъ бытѣ Бёрне я усматривалъ безнравственность, которая была для меня противна.

Это признаніе, можетъ-быть, странно слышать отъ человѣка, который никогда не раздѣлялъ фанатическаго негодованія такъ называемыхъ проповѣдниковъ нравственности и самъ не разъ былъ обвиняемъ ими въ ереси. Дѣйствительно ли я заслуживалъ эти обвиненія? Послѣ глубочайшаго самоизслѣдованія, я могу дать себѣ аттестатъ въ томъ, что мои мысли и дѣйствія никогда не находились въ противорѣчіи съ нравственностью, тою нравственностью, которая врождена моей душѣ и, можетъ-быть, составляетъ всю мою душу, одухотворяющую душу моей жизни. Я почти пассивно повинуюсь нравственной необходимости и поэтому не имѣю никакихъ притязаній на лавровые вѣнки и тому подобныя награды за добродѣтель. Недавно я читалъ книгу, въ которой публику увѣряли, будто я хвастаюсь тѣмъ, что на парижскихъ бульварахъ нѣтъ такой Фрины, прелести которой не были бы знакомы мнѣ. Богъ знаетъ, какъ почтенный корреспондентъ сообщилъ такіе милые анекдоты, но я могу увѣрить автора этой книги, что даже въ самые безумные годы моей молодости я сближался съ женщиной только тогда, когда меня восторгала ея красота, это тѣлесное откровеніе божества, или великая страсть, которая тоже божественнаго происхожденія, потому что освобождаетъ насъ отъ всякихъ эгоистическихъ, мелочныхъ чувствъ и заставляетъ приносить въ жертву суетныя блага жизни, даже самую жизнь!.. Но что касается нашего Людвига Бёрне, то мы можемъ смѣло утверждать, что къ мадамъ Воль его влекло отнюдь не восторженное увлеченіе красотою. Точно такъ же не находятъ себѣ нравственнаго оправданія взаимныя отношенія этихъ двухъ лицъ въ великой страсти. Владѣй имъ великая страсть, они нисколько бы не постѣснились жить вмѣстѣ безъ церковнаго и гражданскаго брака; соображенія насчетъ того, что свѣтъ неодобрительно покачаетъ головой, не удержали бы ихъ отъ этого... А свѣтъ, какъ бы то ни было, справедливъ, и не сердится на пламя, если только пожаръ силенъ и неподдѣленъ, и если оно горитъ долго и красиво... Онъ безпощадно относится то къ пустому, ничтожному горѣнію соломы и издѣвается о этимъ боязливымъ полупламенемъ... Свѣтъ чтитъ вс страсть, оказывающуюся истинною, и время порожда въ этомъ случаѣ извѣстнаго рода законность... Но л Воль укрывалась съ Бёрне подъ покровомъ брака в

смѣшнымъ третьимъ, горькое мясо котораго иногда, быть-можетъ, приходилось ей по вкусу, между тѣмъ, какъ ея духъ насыщался сладкимъ духомъ Бёрне... Даже въ этомъ приличнѣйшемъ случаѣ, даже если дѣйствительно идеальному другу отдавалась только чистая, прекрасная душа, а грубому мужу—не совсѣмъ прекрасная и не совсѣмъ чистая оболочка,—все-таки все это домашнее сожительство имѣло своимъ фундаментомъ самую грязную ложь, оскверненный бракъ и лицемѣріе, словомъ—безнравственность.

Къ перспективѣ отвращенія, грозившая появиться во мнѣ при встрѣчѣ съ домашнею обстановкою Бёрне присоединилось и непріятное чувство, возбуждавшееся его постояннымъ политикантствомъ. Вѣчныя политическія разсужденія и разсужденія; даже за обѣдомъ, который онъ часто раздѣлялъ со мною. За столомъ, когда я съ удовольствіемъ забываю всѣ житейскія непріятности, онъ портилъ мнѣ лучшія кушанья своею патріотическою желчью, которую выбалтывалъ на нихъ, такъ сказать, въ видѣ горькаго соуса. Телячьи ножки á la maitre d'hôtel, бывшія въ то время моимъ любимымъ безвреднымъ кушаньемъ, онъ отравлялъ іереміадами изъ отечества, которыя онъ выудилъ изъ самыхъ ненадежныхъ газетъ. А къ этому еще его проклятыя замѣчанія, отнимавшія всякій аппетитъ. Такъ, напримѣръ, онъ разъ влѣзъ за мною въ ресторанъ улицы Лепельтье, гдѣ въ то время обѣдали только политическіе бѣглецы изъ Италіи, Испаніи, Португаліи и Польши. Бёрне, знавшій ихъ всѣхъ, замѣтилъ, радостно потирая руки, что изъ всего этого общества только мы двое не приговорены своими правительствами къ смерти. «Но,—прибавилъ онъ,—я еще не потерялъ надежды дойти до этого. Рано или поздно мы будемъ всѣ повѣшены, и вы точно такъ же, какъ и я». По этому случаю я высказалъ мнѣніе, что для дѣла нѣмецкой революціи было бы дѣйствительно очень полезно, если бы наши правительства поступали немного быстрѣе и дѣйствительно повѣсили нѣсколькихъ революціонеровъ для того, чтобы остальные увидѣли, что дѣло это совсѣмъ не шутка... «Вы конечно, хотите,—перебилъ меня Бёрне,—чтобы насъ вѣшали по алфавиту, и тогда я былъ бы однимъ изъ первыхъ, и попалъ бы уже въ букву Б, все равно, какъ Бёрне или Барухъ, а вамъ пришлось бы еще довольно долго поджидать, пока очередь дошла бы до Г.»

Все это были застольные разговоры, не очень развеселявшіе меня, и я мстилъ за нихъ тѣмъ, что приторно вы-

казывалъ чрезмѣрное, почти страстное равнодушіе къ предметамъ Бёрневскаго энтузіазма. Напримѣръ, Бёрне сердился на то, что я, по пріѣздѣ въ Парижъ, не нашелъ сдѣлать ничего лучше, какъ написать для нѣмецкихъ газетъ длинную статью о тогдашней художественной выставкѣ. Оставляю въ сторонѣ вопросъ, на сколько художественные интересы, побудившіе меня къ этой работѣ, были несовмѣстимы съ тогдашними революціонными интересами; но Бёрне видѣлъ въ этомъ доказательство моего равнодушія къ священному дѣлу человѣчества, и радость его квасного патріотизма омрачилась также, когда я за столомъ только и говорилъ, что о картинахъ, о «Жнецахъ» Роберта, «Юдиѳи» Ораса Верне, «Фаустѣ» Шеффера. «Что вы дѣлали,—спросилъ онъ меня однажды,—въ первый день вашего пріѣзда въ Парижъ? Куда вы прежде всего пошли?» Онъ ожидалъ, конечно, что я назову ему площадь Людовика XVI, или Пантеонъ, гробницы Руссо и Вольтера—и лицо его приняло странное выраженіе, когда я честно сознался ему, что тотчасъ послѣ пріѣзда отправился въ Bibliothèque Royale и взялъ для просмотра рукопись Манесскаго кодекса пѣсенъ миннезенгеровъ. И это правда: давно уже я горѣлъ желаніемъ взглянуть собственными глазами на дорогіе листы, которые сохранили для насъ, между прочимъ стихотворенія Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде, величайшаго нѣмецкаго лирика. Бёрне и въ этомъ видѣлъ доказательство моего индифферентизма и обвинялъ меня въ противорѣчіи съ моими политическими принципами. Понятно, что я считалъ совершенно лишнимъ разсуждать съ нимъ объ этихъ принципахъ, и когда онъ однажды сталъ доказывать, что открылъ противорѣчія и въ моихъ сочиненіяхъ, то я ограничился ироническимъ отвѣтомъ: «Вы ошибаетесь, любезнѣйшій, противорѣчія въ моихъ сочиненіяхъ нѣтъ, потому что каждый разъ, принимаясь писать, я предварительно пересматриваю политическіе принципы, высказанные въ моихъ прежнихъ статьяхъ, чтобы не впасть въ противорѣчіе съ самимъ собою и чтобы никто не могъ упрекнуть меня въ измѣнѣ моимъ либеральнымъ убѣжденіямъ». Но не только за столомъ, даже и во время отдохновенія, Бёрне надоѣдалъ мнѣ своею полит экзальтаціею. Разъ онъ пришелъ въ полночь ко квартиру, разбудилъ меня отъ самаго сладкаго сн передъ моей постелью и цѣлый часъ разливался дѣзнованіяхъ о бѣдствіяхъ нѣмецкаго народа, и

стяхъ нѣмецкихъ правительствъ, и о томъ, какъ опасны русскіе для Германіи, и какъ онъ готовился писать противъ русскаго правительства и противъ союзнаго сейма...

Съ тѣхъ поръ я говорилъ съ нимъ всего два раза. Первый разъ это было на свадьбѣ одного общаго друга, который пригласилъ насъ обоихъ свидѣтелями, а второй—на прогулкѣ въ Тюильри, о которой я уже упоминалъ. Скоро послѣ того появились третья и четвертая часть его «Парижскихъ Писемъ», и я не только началъ избѣгать встрѣчи съ нимъ, но и старался дать ему замѣтить, что нарочно избѣгаю ея; послѣ этого я встрѣчалъ его два или три раза, но уже не говорилъ съ нимъ ни одного слова. При его сангвинической натурѣ это грызло его до отчаянія, и онъ придумывалъ всевозможныя средства, чтобы снова дружески сблизиться со мною, или по крайней мѣрѣ имѣть со мной объясненіе. Такимъ образомъ ни разу въ жизни я не имѣлъ съ Бёрне устнаго диспута, ни разу мы не нанесли другъ другу тяжелаго словеснаго оскорбленія: только въ томъ, что онъ напечаталъ, замѣтилъ я злобное недоброжелательство ко мнѣ—и не оскорбленное чувство собственнаго достоинства, а болѣе высокія заботы и вѣрность, которую я обязанъ соблюдать въ отношеніи къ моимъ мыслямъ и желаніямъ, побудили меня разойтись съ человѣкомъ, желавшимъ компрометировать мои мысли и стремленія. Но такое упорное отдаленіе совсѣмъ не въ моемъ характерѣ, и я, можетъ-быть, снова согласился бы говорить и быть знакомымъ съ Бёрне, тѣмъ болѣе, что люди, которыхъ я очень люблю, постоянно приставали ко мнѣ съ просьбами объ этомъ и что общіе наши друзья часто были въ затруднительномъ положеніи при приглашеніяхъ, которыя я принималъ только тогда, когда убѣждался, что господинъ Бёрне не приглашенъ... Кромѣ того, мои частные интересы побуждали меня не слишкомъ раздражать такою упорною непріязнью этого злобнаго человѣка... Но стоило мнѣ только взглянуть на окружавшихъ его людей, на его вѣрныхъ приверженцевъ—и отвращеніе удерживало меня отъ всякаго новаго соприкосновенія съ Бёрне.

Такъ прошло три-четыре года, я потерялъ Бёрне изъ виду, пересталъ думать о немъ, не обращалъ даже вниманія на тѣ статьи, которыя онъ писалъ противъ меня во французскихъ газетахъ и которыя честная Германія эксплоатировала для гнусной клеветы,—когда въ одинъ осенній вечеръ получилъ извѣстіе, что Бёрне умеръ.

Какъ мнѣ сказали, смерть его произошла отъ собственнаго упрямства, потому что онъ долго отказывался призвать своего врача, почтеннаго доктора Зихеля. Этотъ, не только знаменитый, но и крайне добросовѣстный врачъ, который, по всей вѣроятности, спасъ бы его, пришелъ слишкомъ поздно, когда больной принялся уже самъ лѣчить себя террористическими средствами и разрушилъ весь свой организмъ.

Въ прежнее время Бёрне немного занимался медициной и зналъ эту науку какъ разъ на столько, на сколько нужно, чтобы умѣть убивать. Въ политикѣ, изученію которой онъ предался впослѣдствіи, познанія его были не особенно значительнѣе.

Я не присутствовалъ на его похоронахъ, о чемъ здѣшніе корреспонденты не преминули сообщить въ Германію и что подало поводъ къ злонамѣреннымъ толкованіямъ. Но ничего не можетъ быть глупѣе, какъ видѣть въ этомъ обстоятельствѣ, которое могло быть чистою случайностью, враждебную злобу. Дураки, они не знаютъ, что нѣтъ ничего пріятнѣе, какъ присутствовать на похоронахъ врага!

Я никогда не былъ другомъ Бёрне, но никогда не былъ и врагомъ его. Неудовольствіе, которое онъ по временамъ могъ возбудить во мнѣ, никогда не было особенно сильно, и онъ достаточно искупилъ его холоднымъ молчаніемъ, которымъ я отвѣчалъ на всѣ его обвиненія и коварныя нападки. Во время его жизни я не написалъ противъ него ни одной строчки, я никогда не думалъ о немъ, я совершенно игнорировалъ его, и это бѣсило его превыше всякой мѣры.

Если я говорю о немъ теперь, то дѣлаю это не изъ энтузіазма, не изъ непріязни; я могу по крайней мѣрѣ, положа руку на сердце, сказать, что мною руководитъ самое холодное безпристрастіе. Я не пишу здѣсь ни апологіи, ни критической статьи, и такъ какъ при изображеніи этого человѣка я исхожу только изъ собственнаго воззрѣнія на него, то на памятникъ, который я здѣсь воздвигаю ему, слѣдуетъ, быть-можетъ, смотрѣть, какъ на статую во весь ростъ.

А онъ заслуживаетъ такого памятника, онъ—воинъ, боецъ, который такъ мужественно бился въ аренѣ политическихъ игръ и стяжалъ себѣ, если не лавровый, ужъ, конечно, дубовый вѣнокъ.

Я воспроизвожу его образъ въ дѣйствительныхъ чертахъ безъ идеализаціи, и чѣмъ больше онъ похожъ, тѣмъ

онъ дѣлаетъ чести его памяти. Онъ вѣдь не былъ ни геній, ни герой, ни олимпійскій богъ. Онъ былъ человѣкъ, гражданинъ земли, онъ былъ хорошій писатель и великій патріотъ.

Называя Людвига Бёрне хорошимъ писателемъ и придавая ему только простой эпитетъ «хорошій», я не хочу ни возвысить, ни умалить его эстетическое достоинство. Вообще, какъ я уже сказалъ, это сочиненіе не апологія и не критика его произведеній; я высказываю здѣсь только мое личное мнѣніе. Этому мнѣнію я стараюсь дать возможно сжатую форму; вотъ почему скажу только нѣсколько словъ о Бёрне въ чисто-литературномъ отношеніи.

Если бы мнѣ нужно было найти въ литературѣ писателя, родственнаго по характеру съ Бёрне, то я прежде всего указалъ бы на Богдана Эфраима Лессинга, съ которымъ Бёрне очень часто сравнивали. Но это сходство основывается только на общихъ обоимъ внутренней энергіи, благородной волѣ, патріотической страсти и восторженномъ сочувствіи къ человѣчеству обоихъ этихъ людей. Одинаково было тоже направленіе ихъ ума. Но тутъ и оканчивается сравненіе. Лессингъ былъ великъ тѣмъ яснымъ пониманіемъ искусства и философской спекулятивности, котораго рѣшительно недоставало бѣдному Бёрне. Въ иностранной литературѣ есть два человѣка, которые гораздо больше похожи на него; это Вильямъ Гацлиттъ и Поль Курье. Оба они, можетъ-быть, ближайшіе литературные родственники Бёрне, съ тою только разницею, что Гацлиттъ также превосходитъ его художественнымъ чувствомъ, а Курье отнюдь не можетъ возвыситься до Бёрневскаго юмора. Извѣстнаго рода esprit общъ этимъ тремъ человѣкамъ, хотя у каждаго изъ нихъ онъ является съ особеннымъ оттѣнкомъ: у англичанина Гацлитта онъ мраченъ и сверкаетъ, какъ солнечные лучи изъ густыхъ англійскихъ тучъ, у француза Курье онъ почти своевольно веселъ, шипитъ и пѣнится, какъ молодое вино Тюрингіи и по временамъ смѣло переливается черезъ край; у нѣмца Бёрне онъ имѣетъ и то, и другое свойство; онъ мраченъ и свѣтелъ, какъ кислосерьезный рейнвейнъ и странный лунный свѣтъ родины нѣмцевъ... Esprit Бёрне становится иногда юморомъ.

Это замѣтно не столько въ первыхъ сочиненіяхъ его, сколько въ «Парижскихъ Письмахъ». Время, мѣсто и сюжетъ здѣсь не только благопріятствовали юмору, но и были собственно причинами его проявленія. Я хочу этимъ сказать, что юморомъ въ «Парижскихъ Письмахъ», мы обя-

заны не столько таланту ихъ автора, сколько обстоятельствамъ того времени. Іюльская революція, это политическое землетрясеніе, до такой степени переломала отношенія во всѣхъ сферахъ жизни и такъ перепутала между собой самыя разнообразныя явленія, что парижскому революціонному корреспонденту стоило только вѣрно передавать то, что онъ видѣлъ и слышалъ,—и получались сами собою высшіе эффекты юмора. Какъ страсть иногда замѣняетъ поэзію, и напр., любовь или смертельный страхъ разражаются такими вдохновенными словами, лучше какихъ не найдетъ истинный поэтъ,—точно такъ же современныя обстоятельства замѣняютъ иногда врожденный юморъ, и совершенно прозаическій, глубокомысленный писатель пишетъ истинно юмористическія сочиненія, когда изображаетъ, какъ въ зеркалѣ, забавныя и печальныя, грязныя и священныя, величественныя и мелкія комбинаціи перевернутаго вверхъ дномъ міроваго порядка. А если при этомъ духъ такого автора еще и самъ находится въ взволнованномъ состояніи, если такое зеркало отуманено или рѣзко окрашено его собственною страстью, тогда наружу выступаютъ безумныя картины, превосходящія даже всѣ порожденія юмористическаго генія... Тутъ рѣшетка, отдѣляющая юморъ отъ дома умалишенныхъ... Въ «Письмахъ» Бёрне нерѣдко проявляются слѣды настоящаго безумія, и навстрѣчу намъ дико кидаются чувства и мысли, которыя слѣдовало бы одѣть въ горячечныя рубашки, поставить подъ холодные души...

Въ стилистическомъ отношеніи «Парижскія Письма» стоятъ гораздо выше, чѣмъ прежнія сочиненія Бёрне, въ которыхъ короткіе періоды, мелкая рысь вызываютъ невыносимое однообразіе и обличаютъ почти ребяческую безпомощность, Эти короткіе періоды больше и больше пропадаютъ въ «Парижскихъ Письмахъ», гдѣ разнузданная страсть порывисто переходитъ въ болѣе обширные, болѣе полные ритмы, и катятся колоссальные, чреватые грозой періоды, постройка которыхъ прекрасна и закончена какъ будто высшимъ искусствомъ.

Но «Парижскія Письма», въ отношеніи къ слогу Бёрне, могутъ считаться только переходною ступенью, ес[illegible] ихъ съ послѣднею статьею его: «Менцель фр[illegible] (Menzel der Franzosenfresser). Тутъ стиль его [illegible] высшей степени развитія, и какъ въ словахъ, [illegible] мысляхъ, господствуетъ гармонія, свидѣтельствуя [illegible] *лѣзненномъ*, но возвышенномъ спокойствіи. [illegible]

свѣтлое озеро, въ которомъ небо отражается со всѣми своими звѣздами, а духъ Бёрне плаваетъ и ныряетъ на немъ, какъ прекрасный лебедь, спокойно стряхивая съ себя оскорбленія, которыми чернь пачкала его чистыя перья. Оттого-то эту статью справедливо называли лебединою пѣснью Бёрне. Въ Германіи съ ней мало знакомы, и разсужденія о ея содержаніи были бы здѣсь, конечно, умѣстны. Но такъ какъ она направлена прямо противъ Вольфганга Менцеля, и мнѣ поэтому случаю пришлось бы подробно говорить объ этомъ писателѣ, то я лучше снова промолчу. Не могу обойтись только безъ одного замѣчанія, и оно, къ счастію, такого рода, что отвлекаетъ отъ личной непріязни и придаетъ той враждѣ, которую питали къ Менцелю Бёрне и такъ-называемые члены такъ-называемой молодой Германіи, общее значеніе, въ которомъ нѣтъ уже рѣчи о достоинствѣ или недостаткахъ отдѣльныхъ личностей. Можетъ-быть даже, что этимъ замѣчаніемъ я представлю оправданіе поведенія Менцеля и его видимаго отступничества.

Да, онъ былъ только видимый отступникъ... только видимый... потому что онъ никогда не принадлежалъ чувствами и мыслями къ революціонной партіи. Вольфгангъ Менцель былъ одинъ изъ тѣхъ тевтомановъ, изъ тѣхъ нѣмечниковъ, которые, вслѣдствіе солнечнаго зноя іюльской революціи, были принуждены снять съ себя свои старонѣмецкіе кафтаны и рѣчи, одѣться, какъ умственно, такъ и физически, въ новое платье, скроенное по французской мѣркѣ. Какъ я уже показалъ въ началѣ этой книги, многіе изъ этихъ тевтомановъ, чтобы принять участіе въ общемъ движеніи и торжествѣ духа времени, вступили въ наши ряды, въ ряды бойцовъ за принципы революціи, и я не сомнѣваюсь, что они мужественно дрались бы въ виду общей опасности. Я боялся, что если они измѣнятъ, то не во время битвы, а послѣ побѣды; старая натура ихъ, подавленное на время нѣмечничество, снова прорвались бы наружу, они скоро начали бы своими мрачными средневѣковыми пѣснями заклинанія возбуждать противъ насъ грубую массу; и эти заклинательныя пѣсни, эта смѣсь стараго суевѣрія и демоническихъ земныхъ силъ подѣйствовали бы сильнѣе, чѣмъ всѣ доводы разума...

Менцель былъ первый, который, какъ только воздухъ сталъ свѣжѣе, снова снялъ съ вѣшалки старо-нѣмецкій мыслительный кафтанъ и съ удовольствіемъ снова началъ дѣлать гимнастическія упражненія въ аренѣ старыхъ идей.

Право, послѣ этой перемѣны у меня точно камень свалился съ сердца, потому что Вольфгангъ Менцель въ своемъ настоящемъ видѣ былъ гораздо менѣе опасенъ, чѣмъ въ своей либеральной замаскировкѣ; я готовъ былъ обнять и расцѣловать его, когда онъ снова началъ ратовать противъ французовъ и бранить евреевъ и снова выступилъ въ бой за Бога и отечество, за вѣру и нѣмецкіе дубы, и ужасающе шумѣлъ и бѣсновался! Сознаюсь, что на сколько мало пугалъ онъ меня въ этомъ видѣ, на столько же внушалъ страхъ въ прежніе годы, когда вдругъ имъ овладѣло восторженное сочувствіе къ іюльской революціи и французамъ, когда онъ началъ говорить свои патетическія, великодушныя, лафаейтовскія эманцинаціонныя рѣчи въ защиту правъ евреевъ, когда онъ сталъ высказывать о судьбѣ міра и людей мнѣнія, въ которыхъ скалило зубы такое безбожіе, какое едва ли можно найти у самаго отчаяннаго матеріалиста, мнѣнія, недостойныя даже тѣхъ животныхъ, которыя питаются плодами нѣмецкихъ дубовъ. Да, въ то время онъ былъ опаснѣе, въ то время, сознаюсь, я дрожалъ предъ Вольфгангомъ Менцелемъ!

Бёрне, въ своей близорукости, никогда не понималъ истинной натуры Менцеля, и такъ какъ ренегаты, наши единомышленники, измѣнившіе свой образъ мыслей, возбуждаютъ въ насъ гораздо болѣе негодованія, чѣмъ старые враги, то самымъ сильнымъ гнѣвомъ онъ пылалъ къ Менцелю. Что касается меня, издавшаго почти въ это же само время сочиненіе противъ Менцеля, то мною руководили совсѣмъ иныя побужденія. Менцель ни разу не обидѣлъ меня, даже самыя грубыя поношенія его не нашли уязвимаго мѣста въ моей душѣ. Впрочемъ, кто читалъ мое сочиненіе, тотъ могъ замѣтить, что тутъ слово желало скорѣе раздразнить, чѣмъ ранить, и имѣло главною цѣлью — вызвать рыцаря нѣмечничества не на литературное, а совсѣмъ на иное поле битвы. Менцель не удовлетворилъ моему честному желанію. Не моя вина, что публика вывела изъ этого всевозможныя непріятныя заключенія... Я самымъ великодушнымъ образомъ давалъ ему случай возстановить себя въ общественномъ мнѣніи единственнымъ поступкомъ, достойнымъ мужчины... Я ставилъ на карту кровь и жизнь... не захотѣлъ этого.

Бѣдный Менцель! Право, я не сержусь на тебя. Ты совсѣмъ не хуже другихъ. Другіе гораздо коварнѣе и дольше ходятъ въ либеральномъ переодѣваньи

сбрасываютъ маску только наполовину... Подъ этими послѣдними я прежде всего подразумѣваю тѣхъ швабскихъ камеръ-пѣвцовъ свободы, которыхъ либеральныя трели звучатъ все тише и тише, и которые скоро снова запоютъ старымъ пивнымъ голосомъ пѣсни 1813 и 1814 годовъ... Да хранитъ васъ Господь для отечества! Вы поступили очень постыдно, когда, желая спасти лохмотья своей популярности, принесли въ жертву Менцеля, одного изъ ближайшихъ вашихъ единомышленниковъ.

И потомъ Менцелю надо отдать справедливость въ томъ отношеніи, что онъ подписывалъ свое настоящее имя подъ всѣми своими ругательствами; онъ не былъ анонимнымъ писакой и всегда вывозилъ на рынокъ свою собственную шкуру. Послѣ каждаго ругательства, которымъ онъ обрызгивалъ насъ, онъ принималъ почти добродушно молчаливый видъ, будто готовясь къ принятію заслуженнаго наказанія. Зато у него и не было недостатка въ нисанныхъ ударахъ, и литературная спина его исполосована до-черна, точно спина зебра. Бѣдный Менцель! Онъ платилъ за многихъ другихъ, которыхъ нельзя было поймать, за анонимныхъ и псевдонимныхъ разбойниковъ, которые, спрятавшись въ самые темные уголки журналистики, пускали оттуда свои трусливыя стрѣлы... Какъ прикажете поймать ихъ и наказать? У нихъ нѣтъ имени, которое вы можете заклеймить позоромъ, а если вамъ и удастся заставить какого-нибудь боязливаго редактора сообщить вамъ пустыя буквы, служащія этимъ людямъ именемъ, то вы отъ этого не особенно много выиграете... Вы узнаете, что авторъ самаго нахальнаго пасквиля на васъ былъ никто иной, какъ тотъ жалкій попрошайка, который, несмотря на всю свою приниженную настойчивость не могъ выпросить у васъ ни одного гроша... Или, что́ еще прискорбнѣе, вы узнаете, что ваше доброе имя оплевывалъ на родинѣ тотъ бездѣльникъ, который надулъ васъ на двѣсти франковъ, которому вы подарили сюртукъ для прикрытія его наготы, но не захотѣли дать ни одной собственноручной строки, съ которою онъ могъ бы появиться въ Германіи въ качествѣ вашего друга и великаго собрата по поэзіи... Ахъ, эта сволочь способна выступить противъ васъ подъ своимъ настоящимъ именемъ, и тогда-то вы будете въ дѣйствительно затруднительномъ положеніи! Если вы отвѣтите, то придадите имъ на всю жизнь важность, которую они сумѣютъ эксплоатировать, и они поставятъ себѣ въ честь, что вы бьете ихъ тою же самой

палкой, которою были биты самые знаменитые люди... Конечно, въ этомъ случаѣ лучше всего было бы, если бы ихъ колотили вовсе не въ фигуральномъ смыслѣ, не умственною, а дѣйствительною, матеріальною палкой, какъ нѣкогда ихъ предка, Терсита...

Да, ты далъ намъ поучительный примѣръ, благородный сынъ Лаэрта, царственный страдалецъ Одиссей! Ты, мастеръ слова, превосходившій всѣхъ смертныхъ въ искусствѣ говорить! Каждому умѣлъ ты возражать и говорилъ столько же охотно, сколько побѣдоносно; только на клейкаго Терсита не хотѣлъ ты тратить ни единаго слова; такого мерзавца ты считалъ недостойнымъ твоихъ словесныхъ возраженій, и когда онъ поносилъ тебя, ты, не говоря ни слова, поколотилъ его...

Если мой дядя въ Люнебургѣ прочтетъ то, что я только что написалъ, онъ вспомнитъ, можетъ-быть, наши тамошнія прогулки, во время которыхъ я давалъ каждому нищему мальчишкѣ грошъ и при этомъ серьезно увѣщевалъ: «Любезный мальчикъ, если ты впослѣдствіи будешь заниматься литературой, и тебѣ придется писать критическія статьи для «Литературной Газеты» Брокгауза—не отдѣлывай меня въ нихъ!» Мой дядя въ то время смѣялся, да я и самъ еще не зналъ, что грошъ, въ которомъ моя мать отказываетъ нищей, можетъ такъ фаталистически дѣйствовать и въ литературѣ.

Я только-что упомянулъ о «Литературной Газетѣ» Брокгауза. Это—пещера, въ которой томятся и стонутъ несчастнѣйшіе изъ всѣхъ нѣмецкихъ писакъ; нисходящіе туда теряютъ свое имя и начинаютъ называться нумерами, подобно каторжникамъ въ русскихъ горныхъ рудникахъ, въ свинцовыхъ минахъ Новгорода; они обязаны, какъ эти преступники, исполнять самыя ужасныя работы — напримѣръ, прославлять г. фонъ-Раумера великимъ историкомъ или Людвига Тика—ученымъ и человѣкомъ съ характеромъ, и т. д... Большая часть умираетъ отъ этихъ работъ, и хоронятъ ихъ безыменно, какъ мертвые нумера. Многіе изъ этихъ несчастныхъ, можетъ-быть даже, почти всѣ—бывшіе тевтоманы, и если они уже не носятъ старо-германскихъ кафтановъ, то попрежнему носятъ старо-германскіе штаны; они отличаются отъ своихъ швабскихъ единомышленниковъ извѣстнымъ маркскимъ акцентомъ и гораздо большею *треностью*. Народничество было всегда въ сѣверной Г*ніи больше* аффектаціею, если не заученною ложью,—осо

въ Пруссіи, гдѣ даже бойцы національности напрасно старались отрекаться отъ своего славянскаго происхожденія. Въ этомъ отношеніи я больше хвалю моихъ швабовъ, которые, по крайней мѣрѣ, дѣйствуютъ честнѣе и имѣютъ больше права напирать на чистое германство расы. Ихъ нынѣшній главный органъ, «Трехмѣсячное Обозрѣніе», издаваемое барономъ Котта, одушевлено этою гордостью, и его редакторъ, дипломатъ Келле (человѣкъ остроумный, но величайшій болтунъ въ мірѣ, вѣроятно не удержавшій въ секретѣ ни одной государственной тайны), пропитанъ насквозь чувствомъ расы, и третье слово у него всегда — германская, романская и семитическая расы... Больше всего на свѣтѣ его огорчаетъ то, что поборникъ нѣмечничества, его любимецъ Вольфгангъ Менцель, носитъ на своемъ лицѣ всѣ признаки монгольскаго происхожденія.

Нахожу нужнымъ замѣтить здѣсь, что скучный, объемистый пасквиль, нацарапанный на меня недавно вышеупомянутымъ «Трехмѣсячнымъ Обозрѣніемъ», я отнюдь не приписываю простой тевтоманіи, даже не личной злобѣ. Я долго думалъ, что авторъ этой статьи, нѣкто Г. Пф., хотѣлъ отомстить ею за своего друга Менцеля. Но любовь къ правдѣ заставляетъ меня сознаться въ моемъ заблужденіи. Я получилъ объ этомъ съ разныхъ сторонъ болѣе вѣрныя свѣдѣнія.—«Дружба,—сказалъ мнѣ недавно одинъ честный швабъ,—между Менцелемъ и вышеупомянутымъ Г. Пф. состоитъ только въ томъ, что послѣдній помогаетъ Менцелю, не знающему по-французски, своимъ знаніемъ этого языка. А что касается нападокъ на васъ, то въ нихъ совсѣмъ нѣтъ такого злого умысла; Г. Пф., былъ прежде величайшимъ поклонникомъ вашихъ произведеній, и если теперь онъ такъ пламенно возстаетъ противъ ихъ безнравственности, то это для того, чтобы придать себѣ видъ строго добродѣтельнаго человѣка и хоть отчасти сбросить съ себя тяготѣвшее надъ нимъ подозрѣніе въ занятіяхъ сократовскою любовью».

Я охотно бы избѣжалъ выраженія «сократовская любовь», но это подлинныя слова доктора Д...ра, сообщившаго мнѣ эту невинную тайну. Докторъ Д....ръ, который, конечно, не обидѣлся бы, если бы я сообщилъ его полную фамилію,— человѣкъ весьма умный и одушевленный любовью къ правдѣ, которая высказывается во всемъ его существѣ. Такъ какъ онъ въ настоящее время въ Лондонѣ, то я, безъ предварительнаго соглашенія съ нимъ, не могъ объявить его фамилію *печатно; но она* къ услугамъ того, кто этого пожелаетъ,

точно такъ же, какъ полная фамилія профессора Д....га, одного изъ почтеннѣйшихъ парижскихъ ученыхъ, въ присутствіи котораго мнѣ было повторено вышеприведенное объясненіе. Для публики же очень полезно узнать, какія побужденія скрываются иногда подъ извѣстнымъ «нравственно-религіозно-патріотическимъ нищенскимъ плащомъ».

Я только, повидимому, отдалился отъ моего предмета. Многія нападенія на покойнаго Бёрне могутъ быть отчасти объяснены вышеприведенными намеками. Это замѣчаніе можно примѣнить къ его статьѣ «Менцель французоѣдъ». Эта статья—защита космополитизма противъ націонализма; но изъ этой защиты видно, что у Бёрне космополитизмъ былъ только въ головѣ, а патріотизмъ пустилъ глубокіе корни въ сердцѣ, тогда какъ у его противника патріотизмъ засѣлъ только въ головѣ, а въ сердцѣ зѣвало самое холодное равнодушіе... Хитрыя слова, которыми Менцель прославляетъ свою нѣмечину, какъ еврей-разнощикъ свой хламъ, его старыя тирады о Херускѣ Арминіѣ, Корсиканцѣ, здоровомъ снѣ растеній, Мартынѣ Лютерѣ, Блюхерѣ, лейпцигской битвѣ, которыми онъ старается пріятно щекотать гордость нѣмецкаго народа, всѣ эти отжившія фразы Бёрне умѣетъ освѣщать такъ, что ихъ комическое ничтожество является въ самомъ забавномъ видѣ; а при этомъ изъ его собственнаго сердца вылетаютъ трогательнѣйшіе, безыскусственные звуки патріотическаго чувства, вылетаютъ точно стыдливыя признанія, которыхъ человѣкъ уже не можетъ удержать въ послѣднюю минуту своей жизни, и которыя скорѣе рыданія, чѣмъ слова. Смерть стоитъ тутъ же и киваетъ головой, какъ неопровержимый свидѣтель правды!

Да, онъ былъ не только хорошій писатель, но и великій патріотъ!

Говоря о литературномъ достоинствѣ сочиненій Бёрне, я долженъ упомянуть здѣсь о его переводѣ «Paroles d'un croyant», который онъ сдѣлалъ также въ послѣдніе годы своей жизни, и который тоже можетъ считаться высшимъ образцомъ стиля. Но я не могу хвалить его за то, что онъ перевелъ именно эту книгу, что вообще увлекся идеями Ламнэ. Вліяніе, которое имѣлъ на него этотъ священн обнаруживалось не только въ этомъ переводѣ «Paroles croyant», но и въ различныхъ французскихъ статьяхъ торыя Бёрне писалъ въ то время для «Reformate «*Balance*», въ этихъ удивительныхъ произведенія: *духа, гдѣ* колебаніе, отчаянное сомнѣніе въ протестан

авторитетѣ разума обнаруживаются съ особенною силою, и наболѣвшее чувство стремится перейти въ католическое міросозерцаніе...

Смерть Бёрне была, можетъ-быть, счастіемъ для него... Еслибъ смерть не спасла его, мы, можетъ-быть, видѣли бы его въ настоящее время римско-католикомъ.

Какъ это возможно? Бёрне сдѣлался бы въ концѣ концовъ католикомъ? Онъ укрылся бы въ лоно католической церкви и старался бы заглушить муки своей головы звуками органа и звономъ колоколовъ? Ну, да, онъ готовъ былъ сдѣлать то, что дѣлали уже многіе честные люди, когда гнѣвъ проникалъ въ ихъ мозгъ и обращалъ въ бѣгство разумъ, и бѣдный разумъ, при прощаніи, еще давалъ имъ совѣтъ: если вы ужъ непремѣнно хотите быть сумасшедшими, то дѣлайтесь католиками, и васъ но, крайней мѣрѣ, не будутъ запирать, какъ другихъ мономановъ.

«Съ досады дѣлаться католикомъ» — гласитъ нѣмецкая поговорка, которой проклятое глубокое значеніе я уяснилъ себѣ только теперь. Вѣдь католицизмъ—самый плѣнительный цвѣтокъ той доктрины отчаянія, быстрое распространеніе которой по землѣ не слѣдуетъ считать слишкомъ большимъ чудомъ, если вспомнить, въ какомъ страшномъ положеніи томился весь римскій міръ... Какъ отдѣльныя личности въ отчаяніи открывали себѣ жилы и искали въ смерти убѣжища отъ тираніи цезарей, такъ масса кидалась въ аскетизмъ, въ ученіе объ умерщвленіи плоти, чтобъ разомъ сбросить съ себя тогдашнія житейскія муки и выступить противъ палачей-служителей господствовавшаго въ то время матеріализма...

Люди, которымъ земля не давала уже ничего, отыскали небо... Слава этому открытію! Слава ученію, влившему въ горькую чашу страждущаго человѣчества нѣсколько сладкихъ успокоительныхъ капель—капель вѣры, надежды и любви!

Людвигъ Бёрне, какъ я уже говорилъ въ первой книгѣ этого сочиненія, былъ по свойству своей натуры христіанинъ, и это спиритуалистическое направленіе должно было перейти въ католицизмъ, когда республиканцы, послѣ самыхъ страшныхъ пораженій, въ отчаяніи соединились съ католическою партіею.—Насколько серьезна эта связь? Не знаю. Многіе, республиканцы, дѣйствительно могли сдѣлаться католиками съ досады. Но большая часть въ душѣ ненавидѣла *своихъ новыхъ* союзниковъ, и съ обѣихъ сторонъ

игралась комедія. Дѣло шло только о томъ, чтобы сражат
съ общимъ врагомъ, и въ самомъ дѣлѣ, соединеніе обо
фанатизмовъ — религіознаго и политическаго — въ выс
степени опасно. Но часто случается, что люди совершен
увлекаются своею ролью, и хитрая игра превращается
неуклюжую серьезность; точно также могло случиться,
не одинъ республиканецъ до тѣхъ поръ игралъ въ кат
цизмъ, пока дѣйствительно не повѣрилъ въ него, и что
одинъ хитрый патеръ до тѣхъ поръ пѣлъ Марсельезу,
она не сдѣлалась его любимою пѣснью, и онъ не могъ
читать свои молитвы безъ того, чтобы не переходить въ мелодію этого боевого пѣснопѣнія.

Мы, бѣдные нѣмцы, къ сожалѣнію не понимающіе никакихъ шутокъ, приняли братанье республиканства съ католичествомъ за совершенно серьезное дѣло, и эта ошибка можетъ когда-нибудь обойтись намъ слишкомъ дорого... Какимъ родомъ многіе изъ нѣмецкихъ патріотовъ, желая бороться съ протестантскими правительствами, дѣйствуютъ заодно съ католическою партіею, этого я не могу понять. Меня, которому, какъ извѣстно, пруссаки причинили столько сердечныхъ огорченій, никто, надѣюсь, не заподозритъ въ слѣпой симпатіи къ Боруссіи; поэтому я могу свободно заявить, что въ борьбѣ Пруссіи съ католическою партіею желаю побѣды первой... И это потому, что необходимымъ слѣдствіемъ пораженія ея было бы отпаденіе отъ Германіи нѣсколькихъ нѣмецкихъ провинцій, рейнскихъ земель.—Но что за дѣло набожнымъ мюнхенцамъ до того, какъ говорятъ на Рейнѣ, по-французски или по-нѣмецки? Съ нихъ довольно и того, что тамъ богослуженіе совершается на латинскомъ языкѣ. У католическихъ поповъ нѣтъ отечества; у нихъ только одинъ отецъ, одинъ папа, въ Римѣ.

А что отпаденіе рейнскихъ земель, ихъ возвращеніе католической Франціи, есть дѣло рѣшенное между героями католической партіи и ихъ французскими союзниками—это извѣстно всякому. Къ числу этихъ союзниковъ принадлежитъ съ нѣкотораго времени одинъ извѣстный эксъ-якобинецъ, который теперь носитъ корону и находится въ сношеніяхъ съ нѣкоторыми коронованными іезуитами І
ніи... Набожное торгашество! Измѣна ханжи отечеств

Само собою понятно, что нашъ бѣдный Бёрне, ко
попался на удочку не только къ сочиненіямъ Ламнне
къ его личности, и помимо своего вѣдома принима
стіе въ проискахъ римско-католическихъ вербовщ

понятно, что нашъ бѣдный Бёрне никогда не подозрѣвалъ, какая опасность грозитъ Германіи отъ соединенія католической и республиканской партій. Онъ не подозрѣвалъ и этой связи, онъ, у котораго нераздѣльность Германіи всегда лежала на сердцѣ такъ же сильно, какъ у пишущаго эти строки. Въ этомъ послѣднемъ отношеніи я могу дать ему самое блестящее свидѣтельство. «Ни одного нѣмецкаго ночного горшка не уступлю я Франціи!» вскричалъ онъ однажды въ пылу разговора, когда кто-то замѣтилъ, что Франція, естественный представитель революціи, должна снова получить въ свое владѣніе рейнскія земли, чтобы чрезъ это пріобрѣсть бо́льшую возможность противодѣйствія аристократически абсолютической Европѣ.

— Не уступлю ни одного ночного горшка! — кричалъ Бёрне, гнѣвно шагая взадъ и впередъ по комнатѣ.

— Понятно, — замѣтилъ третій,—что мы не уступимъ французамъ ни одного дюйма нѣмецкой земли, но намъ слѣдовало бы уступить имъ нѣсколько нашихъ соотечественниковъ, безъ которыхъ мы можемъ во всякомъ случай обойтись. Что̀ бы вы сказали, если бы мы отдали французамъ напр. Раумера и Роттека?

— Нѣтъ, нѣтъ,—вскричалъ Бёрне, переходя отъ сильнѣйшаго гнѣва къ хохоту:—даже Раумера или Роттека я не уступлю, потому что въ такомъ случаѣ наша коллекція была бы неполною; я хочу удержать Германію всю, въ ея настоящемъ видѣ, съ ея цвѣтами и чертополохами, съ ея великанами и карликами... Нѣтъ, даже этихъ двухъ ночныхъ горшковъ я не уступлю французамъ!

Да этотъ Бёрне былъ великій патріотъ, можетъ-быть, самый великій, который сосалъ изъ груди своей мачихи, Германіи, пламеннѣйшую жизнь и горчайшую смерть! Въ душѣ этого человѣка ликовала и сочилась кровью трогательная любовь къ отечеству, которая, будучи стыдливаго характера, какъ всякая любовь, охотно пряталась подъ слова недовольства и порицанія, но въ то время, когда за нею не наблюдали, тѣмъ съ большею силою вырывалась наружу. Когда Германія дѣлала всевозможныя глупости, которыя могли имѣть дурныя послѣдствія, когда у нея не хватало бодрости на то, чтобы принять спасительное лѣкарство, дать себѣ вырѣзать бѣльмо или выдержать другую небольшую операцію, тогда Людвигъ Бёрне шумѣлъ, ругался, топалъ ногами и посылалъ все ко всѣмъ чертямъ; когда же предвидѣнное несчастіе дѣйствительно случалось, когда

Германію начинали топтать или бить до крови, тогда переставалъ бѣсноваться, тогда этотъ бѣдный безумецъ хвалилъ и, рыдая, доказывалъ, что Германія лучшая и прекраснѣйшая страна въ мірѣ, и что нѣмцы—прекраснѣйшій и благороднѣйшій народъ, просто жемчугъ-народъ, и что нѣтъ никого умнѣе нѣмцевъ, и что даже дураки въ Германіи умные люди, и что неотесанность ея ничто иное, какъ глубокое чувство, и при этомъ онъ начиналъ сильно тосковать по милымъ толчкамъ и пинкамъ родины, и иногда являлось у него желаніе покушать сочной нѣмецкой глупости, какъ у беременной женщины—ягодъ. Жить далеко отъ отечества также сдѣлалось для него истиннымъ мученіемъ, и не одно злое слово въ его сочиненіяхъ было вырвано у него этимъ страданіемъ. Кто не знакомъ съ изгнаніемъ, тотъ не понимаетъ, какими рѣзкими красками окрашиваетъ оно наши душевныя муки и какую тьму, и какой ядъ проливаетъ оно въ наши мысли. Данте написалъ свой «Адъ» въ изгнаніи. Только тотъ, кто жилъ въ изгнаніи, знаетъ также, что̀ значитъ любовь къ отечеству, любовь къ отечеству со всѣмъ ея сладкимъ ужасомъ и томительною скорбью! Къ счастью для нашихъ патріотовъ, обязанныхъ жить во Франціи, эта страна представляетъ много сходства съ Германіею: почти тотъ же климатъ, та же растительность, тотъ же образъ жизни. «Какъ должно быть страшно изгнаніе тамъ, гдѣ нѣтъ этого сходства!—сказалъ мнѣ разъ Бёрне во время нашей прогулки по Jardin des Plantes;—какъ ужасно должно быть на душѣ, когда видишь вокругъ себя только пальмы и тропическія растенія и совершенно чуждыхъ, дикихъ животныхъ въ родѣ кэнгуру и зебра... Къ нашему счастью, цвѣты во Франціи тѣ же, что и у насъ дома: фіалки и розы совершенно похожи на нѣмецкія, и такъ же, какъ у насъ, быки, коровы и ослы терпѣливы и неполосаты и птицы покрыты перьями и поютъ во Франціи совершенно такъ же, какъ въ Германіи, и даже смотря на собакъ, бѣгающихъ по Парижу, я переношусь мыслью за Рейнъ, и сердце мое говоритъ мнѣ: да вѣдь это наши нѣмецкія собаки!»

Извѣстнаго рода тупоуміе долго не замѣчало въ сочиненіяхъ Бёрне этой любви къ отечеству. Видя это тупоумі онъ съ большимъ состраданіемъ пожималъ плечами; а старыя бабы, задыхаясь отъ усталости, тащили дров *его костра*, онъ могъ совершенно безмятежно воскл «*sancta simplicitas!*» Но когда іезуитская злоба брос

дозрѣніе на его патріотизмъ, имъ овладѣвало всеистребляющее негодованіе. Въ эти минуты гнѣву его нѣтъ предѣловъ, и какъ оскорбленный титанъ, онъ мечетъ смертельнѣйшими каменными плитами въ шипящихъ змѣй, ползающихъ у его ногъ. Тутъ онъ вступаетъ въ свои полныя права, тутъ мужественный гнѣвъ его пылаетъ самымъ благороднымъ огнемъ. Удивительно хорошо слѣдующее мѣсто изъ «Парижскихъ Писемъ», направленное противъ Ярке, который нѣсколько отличался отъ другихъ противниковъ Бёрне двумя достоинствами: умомъ и приличіемъ:

«Этотъ Ярке удивительный человѣкъ. Его вызвали изъ Берлина въ Вѣну, гдѣ половину жалованья онъ получаетъ отъ Генца. Но онъ не стоилъ и сотой части этой половины, или заслуживалъ во сто разъ больше, смотря по тому, за что надо было платить Генцу—за хорошее или худое. Этого католика и сошедшаго съ ума Ярке я очень люблю, потому что онъ служитъ мнѣ, какъ, вѣроятно, и многимъ другимъ, для полезной игры и пріятнаго препровожденія времени. Годъ назадъ онъ началъ издавать политическій еженедѣльный журналъ. Это—разговорная camera obscura; тутъ передъ читателемъ проходятъ всѣ симпатіи и антипатіи, желанія и проклятія, надежды и опасенія, радости и страданія, опасенія и безумная отвага, всѣ цѣли и средства монархистовъ и аристократовъ, съ ихъ тѣнями. Добрый Ярке! Онъ обличаетъ все, онъ предостерегаетъ всѣхъ. Самыя сокровенныя тайны большого свѣта онъ начертываетъ на стѣнѣ моей маленькой комнаты. Я знаю отъ него и разсказываю теперь вамъ обо всемъ, что эти господа намѣрены сдѣлать съ нами. Они хотятъ истребить не только плоды, и цвѣты, и листья, и вѣтви, и стволы революціи, но и ихъ корни, глубочайшіе, широчайшіе и прочнѣйшіе корни, хотя бы на этихъ корняхъ осталась вся державшая ихъ земля. Придворный садовникъ Ярке переходитъ съ ножомъ, пилой и топоромъ съ одного поля на другое, изъ одной земли въ другую, отъ одного народа къ другому. Вырвавъ изъ земли и предавъ сожженію всѣ революціонные корни, разрушивъ настоящее, онъ возвращается къ прошедшему. Срубивъ революціи голову послѣ того, какъ несчастная обвиненная потерпѣла наказаніе, онъ запрещаетъ ея давно умершей, давно сгнившей бабушкѣ выходить замужъ; онъ дѣлаетъ прошедшее дочерью настоящаго. Развѣ это не безуміе? Нынѣшнимъ лѣтомъ онъ ревностно ратовалъ противъ гамбахскаго празднества. *Невинное* празднество! Волкъ — союзный сеймъ,

Германію начинали топтать или бить до крови, тогда он переставалъ бѣсноваться, тогда этотъ бѣдный безумецъ хн калъ и, рыдая, доказывалъ, что Германія лучшая и пре краснѣйшая страна въ мірѣ, и что нѣмцы—прекраснѣйш и благороднѣйшій народъ, просто жемчугъ-народъ, и что нѣтъ никого умнѣе нѣмцевъ, и что даже дураки въ Германіи умные люди, и что неотесанность ея ничто иное, какъ глубокое чувство, и при этомъ онъ начиналъ сильно тосковать по милымъ толчкамъ и пинкамъ родины, и иногда являлось у него желаніе покушать сочной нѣмецкой глупости, какъ у беременной женщины—ягодъ. Жить далеко отъ отечества также сдѣлалось для него истиннымъ мученіемъ, и не одно злое слово въ его сочиненіяхъ было вырвано у него этимъ страданіемъ. Кто не знакомъ съ изгнаніемъ, тотъ не понимаетъ, какими рѣзкими красками окрашиваетъ оно наши душевныя муки и какую тьму, и какой ядъ проливаетъ оно въ наши мысли. Данте написалъ свой «Адъ» въ изгнаніи. Только тотъ, кто жилъ въ изгнаніи, знаетъ также, что̀ значитъ любовь къ отечеству, любовь къ отечеству со всѣмъ ея сладкимъ ужасомъ и томительною скорбью! Къ счастью для нашихъ патріотовъ, обязанныхъ жить во Франціи, эта страна представляетъ много сходства съ Германіею: почти тотъ же климатъ, та же растительность, тотъ же образъ жизни. «Какъ должно быть страшно изгнаніе тамъ, гдѣ нѣтъ этого сходства!—сказалъ мнѣ разъ Бёрне во время нашей прогулки по Jardin des Plantes;—какъ ужасно должно быть на душѣ, когда видишь вокругъ себя только пальмы и тропическія растенія и совершенно чуждыхъ, дикихъ животныхъ въ родѣ кэнгуру и зебра... Къ нашему счастью, цвѣты во Франціи тѣ же, что и у насъ дома: фіалки и розы совершенно похожи на нѣмецкія, и такъ же, какъ у насъ, быки, коровы и ослы терпѣливы и неполосаты и птицы покрыты перьями и поютъ во Франціи совершенно такъ же, какъ въ Германіи, и смотря на собакъ, бѣгающихъ по Парижу, я [illegible] мыслью за Рейнъ, и сердце мое говоритъ мн[illegible] наши нѣмецкія собаки!»

Извѣстнаго рода тупоуміе долго [illegible] ніяхъ Бёрне этой любви къ отече[illegible] онъ съ большимъ состраданіемъ [illegible] старыя бабы, задыхаясь отъ [illegible] *его костра*, онъ могъ совер[illegible] «*sancta simplicitas!*» Но ко[illegible]

остановившись пить воду въ рѣкѣ, сталъ выговаривать овцѣ—нѣмецкому народу, пившему тутъ же пониже, что она мутитъ его воду и что поэтому онъ долженъ ее съѣсть. Господинъ Ярке—языкъ этого волка. Онъ вырываетъ съ корнемъ революцію въ Баденѣ, рейнской Баваріи, Гессенѣ, Саксоніи, англійскій билль о реформѣ, польскую, бельгійскую и французскую іюльскую революцію; затѣмъ запрещаетъ божественныя права дона Мигуэля. Такъ онъ идетъ все дальше назадъ и назадъ. Въ прошломъ мѣсяцѣ онъ растерзалъ Лафайета, не Лафайета іюльской революціи, но того, который за пять десятковъ лѣтъ передъ тѣмъ сражался за американскую свободу и первую французскую революцію. Ярке, ползающій по сапогамъ Лафайета! Мнѣ казалось, что я вижу собаку, роющую землю у подошвы высочайшей пирамиды, съ мыслью опрокинуть ее! Постоянно назадъ и назадъ! На этихъ дняхъ онъ подкапывался своею лопатой подъ англійскую революцію 1688 г., имѣющую сто пятьдесятъ лѣтъ отъ роду. Скоро дойдетъ очередь до старшаго Брута, выгнавшаго Тарквиніевъ, а потомъ и до другихъ, гораздо повыше... Но пусть г. Ярке не забываетъ, что какъ только онъ справится съ этими послѣдними, дальнѣйшее присутствіе его въ Вѣнѣ будетъ признано излишнимъ. И тогда прощай гофратство, прощай жалованье. Не сомнѣваюсь, что онъ будетъ настолько уменъ, чтобы оставить не вырваннымъ хоть этотъ одинъ корень гамбахскаго празднества.

«Это тотъ самый Ярке, о которомъ я говорилъ вамъ въ прошедшемъ письмѣ, причемъ обѣщалъ сообщить кое-что изъ того, что онъ написалъ обо мнѣ. Это касалось, конечно, не только меня, но и другихъ; несомнѣнно, однако, что, главнымъ образомъ имѣлъ онъ въ виду меня. Прошедшимъ лѣтомъ онъ помѣстилъ въ «Политическомъ Еженедѣльникѣ» статью: «Германія и Революція». Въ ней заключается слѣдующее мѣсто. Трудно рѣшить, чему слѣдуетъ тутъ удивляться больше—вѣжливой злобѣ или величавой глупости.

«Вотъ это мѣсто изъ статьи Ярке:

«Впрочемъ, совершенно справедливо, что тѣ принципы, о которыхъ мы говорили выше, никогда не могутъ перейти творчески въ дѣйствительную жизнь, что Германія никогда не сдѣлается республикою по покрою нынѣшнихъ обольстителей народа, что свобода и равенство, о которыхъ *толкуютъ*, никогда не могутъ быть установлены даже *террора*; я даже почти увѣренъ, что сами отважны

представители дурного направленія только играютъ въ страшную игру съ высшими благами Германіи, что они сами отлично понимаютъ, что этотъ путь ведетъ къ безвозвратной погибели, и только для того съ хитрымъ расчетомъ продолжаютъ вести дѣло обольщенія, чтобы великимъ всемірно-историческимъ актомъ отомстить за гнетъ и позоръ, переносившійся въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій народомъ, къ которому они принадлежатъ по своему происхожденію».

«О, господинъ Ярке, это ужъ слишкомъ нехорошо! И когда вы писали эти строки, то не были еще австрійскимъ совѣтникомъ, а только прусскою противоположностью этого; какъ же вы будете неистовствовать, когда получите должность члена вѣнской государственной канцеляріи? Что вы упрекаете насъ въ нечестивости, съ которою мы будто бы хотимъ сдѣлать нѣмецкій народъ несчастнымъ, потому что онъ сдѣлалъ насъ самихъ несчастными—это мы прощаемъ криминалисту и его прекрасной теоріи вмѣняемости. Что вы приписываете намъ хитрость, съ которою мы, подъ личиною любви, стараемся погубить нашихъ враговъ—этимъ мы должны быть обязаны іезуиту, который думалъ этими словами похвалить насъ. Но что вы считаете насъ настолько глупыми, что мы можемъ отдать синицу въ рукахъ за журавля въ небѣ—за это вы должны дать намъ отвѣтъ, господинъ Ярке! Какъ? Развѣ, если бы мы ненавидѣли нѣмецкій народъ, стали бы мы посвящать всѣ свои силы на то, чтобы вывести его изъ позорнѣйшаго униженія, въ которомъ онъ погрязъ, помочь ему освободиться отъ свинцовой тираніи, лежащей на немъ тяжелымъ бременемъ, отъ высокомѣрія его аристократовъ, надменности его князей, издѣвательства всѣхъ знатныхъ шутовъ, клеветы всѣхъ наемныхъ писателей—и все это для того, чтобы отдать его на произволъ небольшимъ, скоропреходящимъ и столь высокопочтеннымъ опасностямъ свободы? Если бы мы ненавидѣли нѣмцевъ, то писали бы такъ, какъ вы, господинъ Ярке. Но жалованья мы за это не брали бы; потому что и во грѣховномъ мщеніи есть нѣчто, могущее быть оскверненнымъ въ своей святости».

Заподозрѣніе патріотизма Бёрне въ приведенномъ мѣстѣ статьи возбуждало въ немъ неудовольствіе, котораго никогда не могъ вызвать простой упрекъ въ еврейскомъ происхожденіи. Его забавляло даже, когда враги, видя безукоризненность его дѣйствій, только и могли обвинять его что въ

принадлежности къ племени, которое нѣкогда наполняло весь міръ славою и, несмотря на всѣ претерпѣнныя униженія, все еще не утратило своего древняго священнаго характера. Бёрне даже гордился часто этимъ происхожденіемъ, высказывая, правда, эту гордость на свой юмористическій ладъ. Дѣйствительно, евреи сдѣланы изъ того тѣста, изъ котораго лѣпятъ боговъ; сегодня ихъ топчутъ ногами, завтра передъ ними падаютъ на колѣни; между тѣмъ, какъ одни изъ нихъ валяются въ отвратительнѣйшей грязи торгашества, другіе достигаютъ высшей вершины человѣчества... Евреи—народъ духа, и каждый разъ, какъ они возвращаются къ своему основному принципу, они становятся великими и блистательными и пристыживаютъ и побѣждаютъ своихъ неуклюжихъ притѣснителей. Глубокомысленный Розенкранцъ сравниваетъ ихъ съ исполиномъ Антеемъ, съ тою только разницею, что Антей пріобрѣталъ новыя силы каждый разъ, какъ прикасался къ землѣ; съ евреями же это случается тогда, когда они снова приходятъ въ соприкосновеніе съ небомъ. Удивительное соединеніе самыхъ рѣзкихъ крайностей! Между тѣмъ, какъ въ числѣ этихъ людей вы можете встрѣтить всевозможныя уродливыя проявленія пошлой грубости, тутъ же вы найдете идеалы чистѣйшей человѣчественности, и какъ нѣкогда они повели міръ по новымъ путямъ прогресса, точно такъ же, можетъ-быть, что и въ будущемъ міру предстоитъ получить отъ нихъ еще не одно откровеніе...

— Природа,—сказалъ мнѣ однажды Гегель:—крайне причудлива; тѣми самыми орудіями, которыя нужны ей для выполненія возвышенныхъ цѣлей, она пользуется и для самыхъ низкихъ отправленій; такъ, напримѣръ, тотъ членъ, на котораго возложена высочайшая миссія—распространеніе рода человѣческаго, служитъ также для...

Тѣ, которые жалуются на темный смыслъ сочиненій Гегеля, тутъ очень хорошо поймутъ его, и если говоря вышеприведенныя слова, онъ не имѣлъ въ виду именно дѣтей Израиля, то ихъ все-таки можно примѣнить къ этимъ послѣднимъ.

Какъ бы то ни было, очень возможно, что это племя еще не совсѣмъ выполнило свое призваніе, и это замѣчан можетъ-быть, именно отнесено къ судьбѣ Германіи. И Ге манія ждетъ своего освободителя, земного Мессію... коро земли, вооруженнаго скипетромъ и мечомъ, и этотъ осво дитель Германіи, можетъ-быть, тотъ самый, котораго та *жадно ждутъ* сыны Израиля...

О, дорогой, горячо ожидаемый Мессія!

Гдѣ онъ теперь, отчего онъ медлитъ? Можетъ-быть, онъ еще не родился, а можетъ-быть, лежитъ гдѣ-нибудь уже цѣлое тысячелѣтіе, спрятавшись и выжидая, когда ударитъ настоящій великій часъ освобожденія. Кто онъ такой? Старый ли Барбаросса, спящій въ Кифгейзерѣ на своемъ каменномъ стулѣ, и спящій такъ давно, что бѣлая борода его уже проросла сквозь каменный столъ?.. Только по временамъ онъ трясетъ во снѣ головою и сверкаетъ полузакрытыми глазами, иногда хватается за мечъ... и снова погружается въ тяжелый тысячелѣтній сонъ!

Нѣтъ, не императоръ Рыжая-Борода освободитъ Германію, какъ думаетъ народъ нѣмецкій, сонливый, грезящій народъ, который и своего Мессію не можетъ представить себѣ иначе, какъ въ образѣ стараго сонливца.

Вотъ евреи имѣютъ совсѣмъ иное понятіе о своемъ Мессіи, и когда, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я былъ въ Польшѣ и водилъ знакомство съ краковскимъ великимъ раввиномъ, Манассе бенъ-Нафтали, то на сердцѣ у меня становилось очень радостно и привольно каждый разъ, какъ онъ говорилъ о Мессіи... Я уже не помню, въ какой книгѣ Талмуда заключаются подробности, которыя передавалъ мнѣ со всею точностію великій раввинъ, да и вообще я удержалъ въ памяти только главныя черты этого описанія. Мессія, говорилъ мнѣ раввинъ, родился въ тотъ самый день, когда Іерусалимъ былъ разрушенъ тираномъ Титомъ Веспасіаномъ, и съ тѣхъ поръ живетъ онъ въ превосходнѣйшемъ дворцѣ неба, окруженный блескомъ и радостью, съ короною на головѣ, совсѣмъ, какъ король... только руки его скованы золотыми цѣпями!

— Какъ!—спросилъ я съ изумленіемъ:—что же значатъ эти золотыя цѣпи!

— Онѣ необходимы,—отвѣчалъ великій раввинъ, посмотрѣвъ на меня хитрыми глазами и глубоко вздохнувъ;— безъ этихъ цѣпей Мессія, въ тѣ часы, когда онъ выходитъ изъ терпѣнія, можетъ вдругъ поспѣшить на землю и приняться, такимъ образомъ, слишкомъ рано за дѣло освобожденія. А нашъ Мессія не совсѣмъ спокойный ночной колпакъ. Онъ красивый, очень стройный, но необыкновенно сильный человѣкъ; цвѣтущъ, какъ молодость. Впрочемъ, образъ жизни его весьма однообразенъ. Большую часть утра онъ проводитъ въ обычной молитвѣ, или смѣется и шутитъ со своими слугами, переодѣтыми ангелочками, которые

отлично поютъ и играютъ на флейтѣ. Затѣмъ ему расчесываютъ длинные волосы, умащаютъ ихъ разными благовоніями и одѣваютъ его въ царственное пурпурное платье. Цѣлое послѣ-обѣда онъ изучаетъ каббалу. Къ вечеру онъ призываетъ своего стараго канцлера, который такой же переодѣтый духъ, какъ и сопровождающіе его четыре дюжихъ совѣтника. Канцлеръ изъ большой книги читаетъ все, что произошло въ этотъ день... Тутъ попадаются всевозможныя исторіи, слушая которыя Мессія или весело улыбается, или трясетъ головой съ недовольнымъ видомъ... Когда же онъ узнаетъ о притѣсненіяхъ, которымъ подвергаютъ его народъ, имъ овладѣваетъ страшнѣйшій гнѣвъ, и онъ кричитъ такъ, что небо дрожитъ... Тогда четыре дюжихъ совѣтника хватаютъ его за руки, боясь, чтобы онъ не поспѣшилъ на землю, и конечно, имъ бы не справиться съ нимъ, не будь его руки скованы золотыми цѣпями... Его успокоиваютъ также кроткими рѣчами о томъ, что время еще не приспѣло, не пробилъ настоящій часъ освобожденія, и тогда онъ падаетъ, наконецъ, на постель, закрываетъ руками лицо и плачетъ...

Почти въ этихъ выраженіяхъ Манассе бенъ-Нафтали въ Краковѣ объяснилъ мнѣ свое мнѣніе, съ указаніемъ на Талмудъ. Послѣ этого я не разъ вспоминалъ его разсказъ, особенно во время, непосредственно слѣдовавшее за іюльской революціей. Да, въ дурные дни мнѣ казалось даже, что я слышу собственными ушами шумъ золотыхъ цѣпей и вслѣдъ за нимъ отчаянное рыданіе...

О, не отчаявайся, прекрасный Мессія, ты, желающій освободить не только дѣтей Израиля, какъ воображаютъ себѣ суевѣрные евреи, но и все страждущее человѣчество! О, не разрывайтесь, золотыя цѣпи! О, держите его еще нѣкоторое время скованнымъ, чтобы онъ не пришелъ слишкомъ рано, этотъ освободитель!..

КНИГА ПЯТАЯ.

...«Политическія событія того времени (1799 г.) имѣютъ весьма печальное сходство съ послѣдними событіями Германіи, съ тою только разницею, что тогда чувство свободы процвѣтало больше въ сердцахъ ученыхъ, поэтовъ вообще литераторовъ, а теперь оно высказывается гораздо меньше, но съ гораздо большею силою въ дѣйствующей массы, между ремесленниками и промыш

никами. Во время первой революціи свинцовая, чисто нѣмецкая спячка лежала на всемъ народѣ, и во всей Германіи царствовало какое-то грубое спокойствіе, между тѣмъ какъ въ литературномъ мірѣ происходило самое дикое броженіе и волненіе. Самый неизвѣстный писатель, жившій въ какомъ-нибудь отдаленномъ уголкѣ Германіи, принималъ участіе въ этомъ движеніи; почти по инстинктивной симпатіи, не имѣя никакихъ точныхъ свѣдѣній о ходѣ политическихъ дѣлъ, онъ чувствовалъ свое соціальное значеніе и высказывалъ его въ своихъ сочиненіяхъ. Этотъ феноменъ напоминаетъ мнѣ большія морскія раковины, которыя мы употребляемъ иногда въ видѣ украшенія своихъ каминовъ и которыя, находясь даже въ большомъ отдаленіи отъ моря, вдругъ начинаютъ шумѣть, когда тамъ наступаетъ время прилива, и волны ударяются о берегъ. Когда здѣсь, въ Парижѣ, этомъ великомъ человѣческомъ океанѣ, революціонныя волны вышли изъ береговъ, когда здѣсь разразилась буря, тогда по ту сторону Рейна шумѣли и запѣнились нѣмецкія сердца... Но они были такъ отчуждены отъ всѣхъ, ихъ окружали только безчувственный фарфоръ, чайныя чашки и кофейники и китайскія пагоды, которыя механически кивали головами, какъ будто знали, въ чемъ дѣло. Ахъ! нашимъ бѣднымъ предшественникамъ въ Германіи пришлось дорогою цѣною заплатить за свои революціонныя симпатіи... Юнкерство и духовенство изощрялись надъ ними въ грубѣйшихъ и пошлѣйшихъ коварствахъ. Нѣкоторые изъ нихъ бѣжали въ Парижъ и тамъ погибли въ бѣдности и страданіяхъ. Недавно я встрѣтился съ однимъ слѣпымъ соотечественникомъ, который еще съ того времени живетъ въ Парижѣ; я встрѣтился съ нимъ въ Пале-Роялѣ, куда онъ пришелъ погрѣться на солнцѣ. Жалко было смотрѣть на него: такъ онъ былъ блѣденъ и худъ, и такъ безпомощно шелъ, опираясь о стѣны домовъ. Мнѣ сказали, что это старый датскій поэтъ Гейбергъ. Видѣлъ я тоже недавно мансарду, въ которой умеръ гражданинъ Георгъ Форстеръ. Но друзьямъ свободы, оставшимся въ Германіи, пришлось бы еще гораздо хуже, если бы Наполеонъ и его французы не поспѣшили покорить насъ. Наполеонъ, конечно, никогда не подозрѣвалъ, что самъ онъ былъ спасителемъ идеологіи. Безъ него нашихъ философовъ, вмѣстѣ съ идеями, истребили бы висѣлицею и колесованіемъ. Но, несмотря на это, нѣмецкіе друзья свободы, слишкомъ республикански настроенные, чтобы поклоняться Наполеону, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

Но счастливѣе всѣхъ мертвые, лежащіе въ гробахъ на кладбищѣ Лашеза, какъ ты, бѣдный Бёрне!

Да, счастливы томящіеся въ родныхъ темницахъ, счастливы живущіе въ мансардахъ и терпящіе физическія бѣдствія, счастливы сумасшедшіе въ госпиталяхъ, и счастливѣе всѣхъ мертвые! Что касается меня, пишущаго эти строки, то я считаю себя ужъ не совсѣмъ достойнымъ сожалѣнія, потому что нѣкоторымъ образомъ участвую въ счастіи всѣхъ этихъ людей, посредствомъ той удивительной воспріимчивости, той невольной симпатіи, той болѣзни души, которыя свойственны поэтамъ и для которыхъ мы не умѣемъ прибрать настоящаго названія. Если днемъ я и прохожу по шумнымъ улицамъ Вавилона, здоровый тѣломъ и веселый, то вѣрьте мнѣ, какъ только настанетъ вечеръ, въ сердцѣ моемъ начинаютъ звучать меланхолическія арфы, и даже ночью гремятъ въ немъ всѣ литавры и цимбалы скорби, цѣлый янычарскій оркестръ міровой муки, и начинается страшно шумная маскарадная процессія!

О, какія грёзы! Грёзы темницы, нищеты, безумія смерти! Крикливая смѣсь сумасшествія и мудрости, пестрый, отравленный супъ, имѣющій вкусъ кислой капусты и пахнущій апельсинными цвѣтами! Какое ужасное ощущеніе, когда ночныя грёзы издѣваются надъ дневною суетой, когда изъ пламенныхъ маковыхъ головокъ ироническія привидѣнія взглядываютъ наружу и дразнятъ, и горные лавры превращаются въ сѣрые чертополохи, и соловьи начинаютъ пѣть насмѣшливыя пѣсни...

Въ моихъ грёзахъ я обыкновенно сижу на угловой тумбочкѣ улицы Лафиттъ, въ сырой осенній вечеръ когда мѣсяцъ бросаетъ длинныя полосы свѣта на грязную мостовую бульвара, такъ что грязь кажется позолоченною, а иногда даже усыпанною блестящими брильянтами... Люди, проходящіе мимо меня, тоже ничто иное, какъ блестящая грязь; аферисты, игроки, дешевые писаки—фальшивые монетчики мысли, еще болѣе дешевыя женщины, которымъ, правда, приходится лгать только тѣломъ, сытые сибариты, которыхъ кормятъ въ Café de Paris и которые въ этотъ часъ стремятся въ Académie de Musique, въ этотъ храмъ п
Фанни Эльслеръ танцуетъ и улыбается... Тутъ
кареты и прыгаютъ лакеи, пестрые, какъ тк
пошлые, какъ ихъ почтенные господа. И если
баюсь, въ одномъ изъ этихъ дерзкихъ золоты
сидитъ бывшій сигарный фабрикантъ, Агуадо и

ныя лошади обдаютъ сверху до низу грязью мое розово-красное трико... Да, къ моему собственному изумленію, я весь одѣтъ въ розово-красное трико, въ такъ-называемое платье тѣлеснаго цвѣта, потому что осеннее время, да и климатъ не позволяютъ ходить совершенно голымъ, какъ это дѣлалось въ Греціи, при Ѳермопилахъ, гдѣ царь Леонидъ и его триста спартанцевъ, наканунѣ битвы, танцовали совершенно голые, увѣнчавъ головы цвѣтами... Именно такъ, какъ Леонидъ на картинѣ Давида, одѣтъ я въ то время, когда я въ грёзахъ моихъ сижу на тумбочкѣ улицы Лафиттъ, гдѣ проклятый кучеръ господина Агуадо обдаетъ грязью мое трико... Эта каналья кучеръ пачкаетъ даже мой цвѣточный вѣнокъ, прекрасный вѣнокъ, который я ношу на головѣ, но который, между нами будь сказано, уже порядочно высохъ и не имѣетъ больше никакого запаха... Ахъ, эти цвѣты были свѣжи и радостны въ то время, когда я увѣнчалъ себя ими, думая, что на слѣдующій день мнѣ придется участвовать въ битвѣ, въ священной смертельной битвѣ за отечество. Это время давно уже прошло, съ досадою и въ бездѣйствіи сижу я на углу улицы Лафиттъ и жадно ожидаю битвы, а между тѣмъ цвѣты на моей головѣ вянутъ, да и самые волосы покрываются сѣдиною, и сердце заболѣваетъ въ груди... Господи! Какъ долго тянется время въ такомъ праздномъ ожиданіи... а тутъ еще я начинаю приходить въ уныніе... Я вижу, какъ люди, проходящіе мимо, съ состраданіемъ смотрятъ на меня и шепчутъ другъ другу: «бѣдный безумецъ!»

Какъ ночныя грёзы издѣваются надъ моими дневными мыслями, точно такъ же иногда случается, что эти дневныя мысли потѣшаются надъ безумными ночными грёзами—и онѣ правы, потому что во снѣ я часто дѣйствую, какъ настоящій болванъ. Недавно мнѣ снилось, что я совершилъ большое путешествіе по всей Европѣ, только не въ экипажѣ, а на превосходномъ кораблѣ. Это было очень удобно, когда на дорогѣ попадались рѣка или море. Но это случалось рѣдко, а обыкновенно мнѣ приходилось ѣздить по сушѣ, что̀ представляло большія затрудненія, такъ какъ я былъ принужденъ перетаскивать свой корабль черезъ широкія равнины, лѣсныя тропинки, трясины и даже высокія горы, пока опять достигалъ рѣки или моря, гдѣ могъ свободно плавать. Но обыкновенно, какъ я только-что сказалъ, мнѣ приходилось тащить мой корабль, что̀ стоило мнѣ большой потери времени и немаловажныхъ усилій, такъ что отъ

досады и усталости я, наконецъ, проснулся. Утромъ же, спокойно сидя за кофе, я правильно сообразилъ, что совершилъ бы это путешествіе гораздо удобнѣе и скорѣе, если бы не имѣлъ никакого корабля, а шелъ все пѣшкомъ, какъ обыкновенный горемыка.

Впрочемъ, результатъ все одинъ, какъ бы мы ни совершали большое путешествіе—пѣшкомъ, или на лошадяхъ, или на кораблѣ... Въ концѣ концовъ, всѣ мы приходимъ въ одну и ту же гостиницу, въ одинъ и тотъ же скверный шинокъ, гдѣ двери отпираютъ лопатой, гдѣ комната такъ узка, такъ холодна, такъ темна, но гдѣ такъ хорошо, почти слишкомъ хорошо, спится...

Возстанемъ ли мы отъ этого сна? Странно! Мои дневныя мысли отвѣчаютъ на этотъ вопросъ отрицательно, а ночныя грёзы, чисто по духу противорѣчія—утвердительно. Такъ, напримѣръ, мнѣ недавно снилось, что я съ разсвѣтомъ отправился на кладбище и тамъ, къ величайшему моему удивленію, увидѣлъ, что у каждой могилы стояла пара отлично вычищенныхъ сапогъ, точно въ гостиницѣ передъ комнатами постояльцевъ... Это представляло очень странную картину: на всемъ кладбищѣ царствовало кроткое молчаніе, усталые пилигримы земли спали, могила подлѣ могилы, а вычищенные сапоги, стоявшіе длинными рядами, блистали въ свѣжемъ утреннемъ свѣтѣ, такіе богатые надеждами, такіе полные обѣщаній, какъ лучезарное доказательство будущаго пробужденія нашего...

Я не могу съ точностью опредѣлить мѣсто на кладбищѣ Лашеза, гдѣ могила Бёрне. Заявляю это здѣсь положительно, потому что при его жизни меня нерѣдко посѣщали путешествующіе нѣмцы, спрашивая, гдѣ живетъ Бёрне, а теперь меня постоянно спрашиваютъ, гдѣ онъ похороненъ. Сколько мнѣ извѣстно по разсказамъ другихъ, онъ лежитъ на правой сторонѣ кладбища, посреди генераловъ имперіи и актрисъ Théâtre Français... посреди мертвыхъ орловъ и мертвыхъ попугаевъ.

Въ газетѣ «Zeitung für elegante Welt» я прочелъ недавно, что буря опрокинула крестъ на могилѣ Бёрне. Одинъ изъ новыхъ поэтовъ воспѣлъ это происшествіе прекрасномъ стихотвореніи, да и вообще Бёрне, въ кот при жизни такъ часто кидали самыми гнилыми ябло прозы, теперь послѣ смерти окуривается самыми благо *ными стихами*. Народъ любитъ закидывать камнями с *пророковъ*, чтобы имѣть возможность тѣмъ глубже

ихъ останки; собаки, сегодня лаявшія на насъ, завтра съ благоговѣніемъ цѣлуютъ наши кости!..

Какъ я уже сказалъ, я не пишу здѣсь ни апологіи, ни критики человѣка, составляющаго предметъ этого сочиненія. Я рисую только портретъ его, съ точнымъ указаніемъ времени и мѣста, когда и гдѣ онъ позировалъ. При этомъ я не скрываю, какое благопріятное и неблагопріятное настроеніе было во мнѣ во время этихъ сеансовъ. Этимъ я даю лучшій масштабъ для довѣрія, котораго заслуживаютъ мои показанія.

Но если это постоянное констатированіе моей личности есть, съ одной стороны, лучшее средство для того, чтобы читатель самъ произнесъ приговоръ, то, съ другой стороны, я считаю себя обязаннымъ изобразить въ этомъ сочиненіи и мою собственную личность, такъ какъ вслѣдствіе сплетенія самыхъ разнородныхъ обстоятельствъ, какъ друзья, такъ и враги Бёрне, говоря о немъ, непремѣнно заводили болѣе или менѣе доброжелательно или зложелательно рѣчь о моей дѣятельности. Аристократическая партія въ Германіи, хорошо зная, что умѣренность моей рѣчи для нея гораздо опаснѣе кровожадности Бёрне, старалась выставлять меня единомышленникомъ и товарищемъ этого послѣдняго, чтобы взвалить на меня извѣстную солидарность съ его политическимъ безуміемъ. Радикальная партія, вмѣсто того, чтобы разоблачить эту военную хитрость, напротивъ, поддерживала ее, чтобы въ глазахъ массы выставить меня своимъ товарищемъ и черезъ это эксплоатировать авторитетъ моего имени. Гласно выступать противъ подобныхъ интригъ было невозможно; этимъ я только навлекъ бы на себя подозрѣніе, что отрекаюсь отъ Бёрне для того, чтобы пріобрѣсть благосклонность его враговъ. Поэтому Бёрне доставилъ мнѣ истинное удовольствіе, когда не только отрывочными фразами, но и длинными статьями началъ публично нападать на меня и самъ разъяснилъ публикѣ различіе мнѣній, существовавшее между нами. Это нападеніе сдѣлалъ онъ именно въ шестомъ томѣ своихъ «Парижскихъ Писемъ», въ двухъ статьяхъ, перепечатанныхъ имъ во французской газетѣ «Le Réformateur». Эти статьи, на которыя, какъ выше сказано, я никогда не отвѣчалъ, снова подали поводъ говорить обо мнѣ каждый разъ, какъ рѣчь заходила о Бёрне, но теперь, конечно, ужъ совсѣмъ въ другомъ тонѣ. Аристократы осыпали меня самыми коварными похвалами; они почти *до смерти вознесли* меня: я у нихъ снова сдѣлался

великимъ поэтомъ, потому что убѣдился, что не могу долѣе играть мою политическую роль, смѣшной радикализмъ. Напротивъ того, радикалы начали нападать на меня гласно (тайно они всегда это дѣлали), они не оставляли во мнѣ ни одного здороваго мѣста, отвергали во мнѣ всякій характеръ и признавали только, какъ поэта. Да, я, такъ сказать, получилъ политическую отставку и былъ съ пенсіономъ отправленъ на Парнасъ. Кто знакомъ съ двумя вышеупомянутыми партіями, тотъ легко оцѣнитъ великодушіе, съ которымъ онѣ оставили мнѣ титулъ поэта. Одни видятъ въ поэтѣ только мечтательнаго приверженца бездѣйственныхъ идеаловъ. Другіе ничего не видятъ въ поэтѣ; ихъ сухая пустота не откликается на поэзію даже малѣйшимъ звукомъ.

Что̀ составляетъ характеристическое свойство поэта— объ этомъ мы не станемъ здѣсь разсуждать. Но не можемъ не высказать своего мнѣнія о понятіи, которое обыкновенно соединяется съ словомъ «характеръ».

Что̀ понимается подъ словомъ «характеръ»?

Характеръ имѣетъ тотъ человѣкъ, который живетъ и дѣйствуетъ въ опредѣленномъ кругу опредѣленныхъ воззрѣній на жизнь, такъ сказать, отожествляется съ этимъ кругомъ и никогда не впадаетъ въ противорѣчіе со своими мыслями и чувствами. Вслѣдствіе этого, когда дѣло идетъ о геніальныхъ, превосходящихъ свое время, умахъ, тогда масса не можетъ рѣшить, есть ли у нихъ характеръ, или нѣтъ, потому что масса не достаточно дальнозорка для того, чтобы разсмотрѣть кругъ, въ которомъ вращаются эти высокіе умы. Да, такъ какъ масса не знаетъ предѣловъ желаній и потребностей этихъ высшихъ умовъ, то весьма часто случается, что въ ихъ дѣйствіяхъ она не видитъ ни права на эти дѣйствія, ни необходимости въ нихъ, и тогда умственно слѣпые и близорукіе начинаютъ жаловаться на произволъ, непослѣдовательность, безхарактерность. Менѣе даровитые люди, которыхъ болѣе поверхностное и узкое міросозерцаніе доступнѣе для взора и изслѣдованія, и которые, такъ сказать, разъ навсегда провозгласили на общественной площади и популярнымъ языкомъ программу своей жизни — эти люди скорѣе понимаются почтенною публикой: у нея есть м штабъ для всѣхъ дѣйствій ихъ, она при этомъ рад своей собственной понятливости, какъ разрѣшенной заг и съ восторгомъ говоритъ: «вотъ это характеръ!»

ловѣкъ несомнѣнно долженъ быть признанъ

котораго ограниченная толпа легко пону

предѣлительно прославляетъ, какъ «характеръ». Для пи-
елей это легкое пониманіе еще опаснѣе, потому что ихъ
ійствія заключаются собственно въ словахъ, и то, что
блика чтитъ въ ихъ произведеніяхъ, какъ характеръ,
ь ничто иное, какъ рабская преданность данной ми-
тѣ, какъ отсутствіе пластическаго спокойствія, отсутствіе
усства.

Мнѣніе, что характеръ писателя узнается по его писа-
льской манерѣ, не безусловно справедливо, оно примѣ-
ется только къ той массѣ авторовъ, которою руководитъ
лько вдохновеніе данной минуты и которая больше пови-
ется слову, чѣмъ повелѣваетъ имъ. Къ художникамъ это
ѣніе вовсе не можетъ быть примѣнено, потому что они
астители слова, употребляютъ его для какой угодно цѣли,
идаютъ ему какую угодно форму, пишутъ объективно, и
ь характеръ не обнаруживается въ ихъ стилѣ.

На вопросъ: характеръ ли Бёрне, между тѣмъ, какъ
угіе только поэты, — на этотъ безплодный вопросъ мы
жемъ отвѣтить только сострадательнѣйшимъ пожатіемъ
ечъ.

«Только поэты!»... Мы никогда не станемъ настолько
льно порицать нашихъ противниковъ, чтобы подводить
ь подъ одну категорію съ Дантомъ, Мильтономъ, Серван-
омъ, Камоэнсомъ, Филиппомъ Сиднеемъ, Фридрихомъ
иллеромъ, Вольфгангомъ Гёте, которые были только поэты...
жду нами будь сказано, эти поэты, даже послѣдній, иногда
казывали характеръ!

«Они имѣютъ глаза и не видятъ, они имѣютъ уши и не
ышатъ, они имѣютъ даже носъ и не обоняютъ». Эти слова
ень хорошо примѣняются къ грубой массѣ, которая ни-
гда не пойметъ, что безъ внутренняго единства невоз-
жно никакое умственное величіе, и то, что собственно
жно быть названо характеромъ, принадлежитъ къ не-
ходимѣйшимъ атрибутамъ поэта.

Впрочемъ, различіе между характеромъ и поэтомъ было
первый разъ указано самимъ Бёрне, и онъ самъ подго-
вилъ дорогу тѣмъ постыднымъ обвиненіямъ, которыми его
иверженцы сыпали впослѣдствіи на пишущаго эти строки.
ь «Парижскихъ Письмахъ» и вышеупомянутыхъ статьяхъ
урнала «Réformateur» уже достаточно шипѣлось о моемъ
зхарактерномъ поэтизированіи и моей поэтической безха-
актерности, и уже въ нихъ ползаютъ и извиваются самыя
довитыя инсинуаціи. Не опредѣленными словами, но все-

возможными намеками меня заподозрѣваютъ тамъ въ самомъ двусмысленномъ образѣ мыслей, если уже не въ совершенномъ отсутствіи его. Точно такимъ же образомъ обвиняютъ меня не только въ индифферентизмѣ, но и въ противорѣчіи съ самимъ собою. Слышатся тутъ даже такіе шипящіе звуки, которые... (могутъ ли краснѣть мертвецы въ могилахъ?) — да, я не избавлю умершаго отъ этого постыднаго обвиненія: онъ намекалъ даже на мою продажность...

Прекрасное, сладкое спокойствіе, которымъ я наслаждаюсь въ эту минуту въ сокровеннѣйшей глубинѣ души! Ты достаточно награждаешь меня за все, что я сдѣлалъ, и за все, чѣмъ я презрительно пренебрегалъ... Я не стану защищаться ни противъ упрека въ индефферентизмѣ, ни противъ обвиненія въ продажности. Прежде, при жизни инсинуаторовъ, я считалъ это недостойнымъ себя, теперь молчанія требуетъ даже приличіе. Ужаснымъ зрѣлищемъ была бы полемика между смертью и изгнаніемъ! — Ты протягиваешь мнѣ изъ гроба просящую прощенія руку?.. Я безъ злобы протягиваю тебѣ мою... Смотри, какъ она прекрасна и чиста! Ея никогда не марало пожатіе руки ни черни, ни грязнаго золота враговъ народа... Собственно говоря, вѣдь ты ни разу не оскорбилъ меня... Вѣдь во всѣхъ твоихъ инсинуаціяхъ нѣтъ ни на одинъ луидоръ правды!

То мѣсто въ «Парижскихъ Письмахъ», въ которыхъ Бёрне нападаетъ на меня самымъ ярымъ образомъ, въ то же время такъ хорошо характеризуетъ его самого, его стиль, его страстность и его слѣпоту, что я не могу не привести его здѣсь. Несмотря на самое озлобленное желаніе, онъ никогда не былъ въ состояніи ранить меня, и все, что какъ здѣсь, такъ и въ статьяхъ журнала «Réformateur», онъ говорилъ противъ меня, я читалъ такъ равнодушно, какъ будто дѣло касалось не меня, а Навуходоносора, царя вавилонскаго, или калифа Гарунъ-аль-Рашида, или Фридриха Великаго, который всѣ пасквили на себя, прибивавшіеся на берлинскихъ улицахъ слишкомъ высоко, приказывалъ перебивать ниже, чтобы публика могла лучше читать ихъ. Вышеупомянутое мѣсто помѣчено Парижемъ, 24 февраля 1833 года, и гласитъ такъ:

«Попытаться ли мнѣ найти разумное слов
ленія Гейневскихъ «Französische Zustände
на эту попытку. Мухообразное неудовольств
жало вокругъ моей головы при чтеніи этой
лось то на то, то на другое ощущеніе. так

меня, что я не могу ручаться—не говорю, за правильность моего приговора, потому что такого высокомѣрнаго ручательства я никогда не принимаю на себя—но даже за безпристрастіе его. Но при этомъ я остался настолько разсудителенъ, чтобы понять, что въ этомъ непріятномъ настроеніи духа виноватъ не Гейне, а я. Тотъ, кто подобно ему владѣетъ такими большими секретами, какъ умѣньемъ находить въ трехсотлѣтней безчеловѣчности австрійской политики возвышенную устойчивость, а въ королѣ баварскомъ—одного изъ благороднѣйшихъ и умнѣйшихъ государей, какіе только были на престолахъ, или умѣньемъ объявлять короля французовъ, точно его трясетъ лихорадка, сегодня хорошимъ, на слѣдующій день—дурнымъ, на третій—опять хорошимъ, на четвертый — опять дурнымъ; кто находитъ смѣлымъ и величавымъ то, что господа Ротшильды во время холеры спокойно оставались въ Парижѣ, а на безкорыстные труды нѣмецкихъ патріотовъ смотритъ съ комической стороны; и кто, при всемъ этомъ мягкосердечіи, еще смотритъ на себя, какъ на человѣка съ твердымъ характеромъ,—кто, говорю я, владѣетъ такими секретами, у того могутъ быть секреты еще важнѣе, объясняющіе загадочный смыслъ этой книги; мнѣ же они незнакомы. Я могу переносить себя не только въ мысли и чувства другого человѣка, но и въ его кровь и нервы, могу становиться у источниковъ всѣхъ его мыслей и чувствъ и съ неутомимымъ терпѣніемъ слѣдить за ихъ теченіемъ. Но при этомъ я долженъ не приносить въ жертву мое собственное бытіе, а только на время устранять его отъ себя. Я могу снисходительно смотрѣть на дѣтскія игры, на страсти юноши. Но когда, въ минуту самой кровавой битвы, мальчишка, гоняющійся на полѣ сраженія за бабочками, попадаетъ мнѣ подъ ноги; когда, въ минуту величайшаго бѣдствія, между тѣмъ какъ мы горячо молимся Богу, молодой фатъ, стоящій подлѣ насъ въ церкви, только и дѣлаетъ, что глазѣетъ на молодыхъ дѣвушекъ и перемигивается и перешоптывается съ ними, — тогда, не будь сказано въ обиду нашей философіи и гуманности, мы не можемъ не сердиться.

«Гейне—художникъ, поэтъ, и для того, чтобы признаніе его таковымъ было полное, ему не достаетъ только своего собственнаго признанія. Именно потому, что ему часто хочется быть еще кѣмъ-то, кромѣ поэта, онъ часто сбивается съ дороги. Кто, подобно Гейне, выше всего ставитъ форму, тотъ долженъ и держаться только ея, потому что, чуть

только случится ему переступить черезъ край сосуда, какъ онъ погружается въ безграничное и тонетъ на песчаномъ днѣ. Кто признаетъ искусство своимъ божествомъ и тутъ же, смотря по расположенію духа, обращается съ молитвами къ природѣ, тотъ въ одно и то же время является преступникомъ противъ искусства и природы. Гейне выпрашиваетъ у природы ея нектаръ и цвѣточную пыль и строитъ ей ульи изъ воска искусства; но онъ не строитъ улей для того, чтобы хранить въ немъ медъ, а собираетъ медъ для того, чтобы наполнить улей. Оттого-то онъ не трогаетъ, когда плачетъ, потому что вы знаете, что слезами онъ только поливаетъ свои цвѣточныя гряды. Оттого-то онъ не убѣждаетъ даже тогда, когда говоритъ правду, потому что въ правдѣ онъ любитъ только прекрасное. Но правда не всегда прекрасна, она не всегда остается прекрасною. Проходитъ много времени, пока она зацвѣтетъ, а отцвѣтаетъ она прежде, чѣмъ принесетъ плоды. Гейне поклонялся бы нѣмецкой свободѣ, если бъ она была въ полномъ цвѣту; но такъ какъ, по причинѣ холодной зимы, она закрыта навозомъ, то онъ не признаетъ и презираетъ ее. Съ какимъ прекраснымъ одушевленіемъ онъ говорилъ о битвѣ республиканцевъ въ церкви св. Маріи и о ихъ геройской смерти! То была счастливая битва, въ которой бойцы могли выказать прекрасное сопротивленіе тираніи и умереть прекрасною смертью за свободу! Но если бъ въ этой битвѣ не было столько прекраснаго, а для этого потребовалась бы только другая мѣстность, гдѣ республиканцевъ можно было бы разогнать и изловить—Гейне посмѣялся бы надъ нею. То, что сдѣлалъ Брутъ, Гейне могъ возвеличить всею силою своего дарованія; но если бы какой-нибудь портной вытащилъ окровавленный кинжалъ изъ груди обезчещенной молодой швеи и этимъ подстрекнулъ глупыхъ, лѣнивыхъ гражданъ къ самоосвобожденію, Гейне сталъ бы смѣяться надъ этимъ. Если бы въ ту приснопамятную минуту, когда Франція очнулась отъ своего тысячелѣтняго сна и поклялась, что не будетъ больше спать, Гейне посадили въ залу Мяча (Jeu de Paume), онъ сдѣлался бы самымъ отчаяннымъ якобинцемъ, самымъ бѣшенымъ врагомъ аристократизма и съ наслажденіемъ изрезалъ бы въ одинъ день всѣхъ дворянъ и властителей, если замѣть онъ въ карманѣ огнедышащаго Мирабо трубку красно-черно-золотой кисточкой, къ чорту свобода! И ушелъ бы оттуда, и сталъ бы писать прекрасные стихи о *прекрасныхъ* глазъ Маріи-Антуанеты. Если онъ

своей книгѣ славитъ абсолютизмъ, то причина заключалась не только въ томъ, что это былъ простой оборотъ рѣчи, пытавшійся выкинуть самую отчаянную штуку, и не въ томъ также, что авторъ, какъ онъ говоритъ, политически чистъ сердцемъ; нѣтъ, онъ поступилъ такимъ образомъ потому, что хотѣлъ сохранить во рту чистый и пріятный вкусъ, а въ тотъ день, когда писалъ эти строки, вѣроятно, видѣлъ какого-нибудь нѣмецкаго либерала поѣдавшимъ колбасу съ капустой.

«И какъ можно вѣрить тому, кто самъ ни во что не вѣритъ?.. Изнѣженный Гейне, при своей сибаритской натурѣ, можетъ проснуться отъ паденія на него цвѣточнаго листка; какъ же могъ онъ спокойно спать на свободѣ, которая такъ жестка и сучковата? Пусть же онъ и остается въ отдаленіи отъ нея. Кого утомляетъ малѣйшая неровность дороги, кто сбивается съ толку отъ малѣйшаго противорѣчія, тотъ пусть не ходитъ, не думаетъ, ложится въ постель и закрываетъ глаза. Гдѣ такая правда, въ которой не было бы хоть небольшой доли лжи? Гдѣ такая красота, которая не имѣетъ своихъ пятенъ? Гдѣ такая возвышенная вещь, рядомъ съ которой не стоитъ смѣшное? Природа сочиняетъ рѣдко, а стиховъ не пишетъ никогда; кому не нравится ея проза и безрифменность, тотъ пусть обращается къ поэзіи. Природа управляетъ по-республикански, она предоставляетъ каждой вещи дѣйствовать, какъ угодно, до тѣхъ поръ, пока злодѣяніе созрѣетъ, и уже послѣ этого наказываетъ. У кого слабые нервы и кто боится опасностей, тотъ пусть служитъ искусству, абсолютному искусству, которое вычеркиваетъ каждую грубую мысль прежде, чѣмъ она сдѣлается фактомъ, и оттачиваетъ каждое дѣйствіе до тѣхъ поръ, пока оно сдѣлается слишкомъ тонкимъ для того, чтобы быть злодѣяніемъ.

«Гейне имѣетъ въ моихъ глазахъ такое огромное достоинство, что, какъ бы онъ ни высоко цѣнилъ себя, я не всегда найду эту оцѣнку чрезмѣрною. Поэтому я упрекаю его не въ этой чрезмѣрности, а въ томъ, что вообще онъ слишкомъ цѣнитъ дѣятельность отдѣльныхъ людей, хотя въ его собственной книгѣ ясно и прекрасно доказано, что нынче отдѣльныя личности уже ничего не значатъ, что даже Руссо и Вольтеръ не имѣли бы теперь никакого значенія, потому что теперь дѣйствуютъ хоры, а лица только говорятъ. Но что мы такое, когда насъ много? Ничто иное, какъ герольды народа. Когда мы громко и внятно возвѣщаемъ то,

что повѣстить поручено намъ партіями, къ которымъ мы принадлежимъ, тогда насъ хвалятъ и награждаютъ; когда же мы говоримъ не внятно или измѣннически сообщаемъ ложную новость, насъ бранятъ и наказываютъ. Это-то забываетъ Гейне, и такъ какъ, подобно многимъ другимъ, онъ думаетъ, что можетъ погубить какую-нибудь партію или помочь ей, то считаетъ себя очень важнымъ; ему снятся друзья и враги, и такъ какъ онъ не знаетъ, куда идетъ и куда хочетъ идти, то не знаетъ тоже, гдѣ стоятъ его враги, и гдѣ друзья, ищетъ ихъ то тутъ, то тамъ, и нигдѣ не находитъ. Намъ, остальнымъ жалкимъ людямъ, природа дала, къ счастію, только *одну* спину, такъ что ударовъ судьбы мы боимся только съ *одной* стороны; у бѣднаго же Гейне двѣ спины, онъ боится ударовъ аристократовъ и ударовъ демократовъ, и, чтобы избѣжать тѣхъ и другихъ, принужденъ въ одно и то же время идти впередъ и назадъ.

«Чтобы понравиться демократамъ, Гейне говоритъ, что іезуитски-аристократическая партія въ Германіи преслѣдуетъ его и клевещетъ на него, потому что онъ смѣло идетъ противъ абсолютизма. Потомъ, чтобы понравиться аристократамъ, онъ говоритъ, что смѣло бороался съ якобинствомъ, что онъ хорошій роялистъ и будетъ вѣчно монархическаго образа мыслей, что въ одномъ парижскомъ модномъ магазинѣ, гдѣ ему приходилось бывать прошлымъ лѣтомъ, онъ среди восьми модистокъ и ихъ восьми любовниковъ—всѣ шестнадцать съ крайне опаснымъ республиканскимъ образомъ мыслей—оставался единственнымъ роялистомъ, и что поэтому демократы покушаются на его жизнь. Вотъ буквально его слова въ одномъ мѣстѣ: «Клянусь Богомъ, я не республиканецъ; я знаю, что если республиканцы побѣдятъ, то они перерѣжутъ мнѣ горло». И въ другомъ: «Если бъ возмущеніе 5 іюня не окончилось неудачей, имъ бы легко удалось наказать меня смертью, на которую они обрекли меня. Я охотно прощаю имъ эту глупость». А я нѣтъ. Тѣхъ республиканцевъ, которые были бы настолько глупы, что думали бы, что имъ, для достиженія цѣли, надо устранить съ дороги Гейне, слѣдовало бы запереть въ сумасшедшій домъ.

«Такимъ образомъ Гейне думаетъ, что онъ смѣло борет то съ абсолютизмомъ, то съ якобинствомъ. Но какъ мож бороться съ человѣкомъ, отъ котораго отворачиваешь этого я не понимаю...

«*Если* есть на свѣтѣ человѣкъ, которому природа суд

ыть честнымъ человѣкомъ, то это Гейне, и на этой дорогѣ
онъ могъ бы составить свое счастіе. Онъ не можетъ лице-
мѣрить въ продолженіе пяти минутъ, двадцати строкъ, дня,
половины печатнаго листа. Предлагайте ему корону, онъ и
а нее не будетъ въ состояніи удержаться отъ улыбки, отъ
насмѣшки, отъ остроты; а когда, не понимая своего соб-
твеннаго характера, онъ все-таки лжетъ; все-таки лице-
мѣритъ, кажется серьезнымъ, когда ему хочется смѣяться,
смиреннымъ, когда на губахъ его насмѣшка, тогда каж-
ый тотчасъ же замѣчаетъ это, и это притворство доста-
ляетъ ему не прибыль, а только упреки. Ему нравится
грать роль іезуита либерализма. Я уже сказалъ разъ, что
та игра можетъ принести пользу хорошему дѣлу; но такъ
акъ эта роль приноситъ хорошій доходъ, то честный че-
овѣкъ долженъ не брать ея на себя, а предоставлять дру-
имъ. Такимъ-то образомъ, на смѣхъ лучшимъ сторонамъ
воего характера, Гейне находитъ удовольствіе въ томъ,
тобы дипломатизировать и дѣлать свои зубы тюремною
рѣшеткою своихъ мыслей, сквозь которую каждый явственно
видитъ ихъ и при этомъ смѣется. Потому что до умѣнья
скрывать, что у него есть что скрыть, онъ еще не дошелъ
въ искусствѣ притворства. Когда графъ Мольтке старается
вовлечь его въ войну перьями по поводу вопроса о дво-
рянствѣ, онъ проситъ оставить эту войну, «потому что
именно въ то время мнѣ казалось опаснымъ гласно обсу-
ждать такъ, какъ я это обыкновенно дѣлаю, вопросъ, кото-
рый игралъ такую страшную роль въ страстяхъ того вре-
мени». Этой страстности борьбы противъ дворянства, для-
цейся уже въ теченіе помноженныхъ на пятьдесятъ трех-
сотъ шестидесяти пяти дней, ни Мольтке, ни Гейне, никто
другой не могли придать силу страшнѣе той, которую она
и безъ того имѣетъ. Значитъ, чтобъ говорить о чемъ-ни-
будь съ горячностью, надо выжидать, чтобы страсть, кото-
рой это что-нибудь можетъ дать пищу, погасла, и потомъ
снова воспламенить ее? Это, конечно, мудрость дипломатовъ.
Гейне говоритъ, что онъ знаетъ что-то, могущее очистить
Лафайета отъ упрека въ принятіи участія въ іюньскомъ
возмущеніи, но «весьма понятная скромность» мѣшаетъ ему
высказаться явственно. Если Гейне такимъ путемъ сдѣ-
лается министромъ, то будь я проклятъ, если буду въ со-
стояніи занимать должность его тайнаго секретаря и смо-
трѣть на него съ утра до вечера безъ того, чтобы не
смѣяться».

Я отъ души хотѣлъ бы привести здѣсь и двѣ статьи изъ «Réformateur», но три затрудненія мѣшаютъ мнѣ сдѣлать это; во-первыхъ, онѣ заняли бы слишкомъ много мѣста, во-вторыхъ, онѣ написаны по-французски, и поэтому мнѣ пришлось бы самому переводить ихъ, въ-третьихъ, я справлялся въ десяти кабинетахъ для чтенія, и нигдѣ не могъ отыскать ни одного экземпляра «Réformateur», изданіе котораго уже прекратилось. Но содержаніе этихъ статей мнѣ довольно хорошо извѣстно. Онѣ заключали въ себѣ самые хитрые намеки на отступничество и непослѣдовательность, всевозможныя обвиненія въ чувственности, тамъ же брали подъ свою охрану отъ моихъ нападеній и католицизмъ, и т. д.—О защитѣ противъ нихъ здѣсь не можетъ быть и рѣчи; настоящее сочиненіе, которое не должно быть ни апологіей умершаго, ни критикой на него, не имѣетъ также цѣлью оправданія того, кто остался въ живыхъ. Довольно того, что я сознаю честность моихъ желаній и моихъ мнѣній, и когда бросаю взглядъ на свое прошедшее, то въ душѣ моей пробуждается почти радостная гордость при видѣ большого куска дороги, который я уже прошелъ. Будетъ ли мое будущее ознаменовано такими же успѣхами?

Говоря искренно, я сомнѣваюсь въ этомъ. Я чувствую странную умственную усталость; если въ послѣднее время умъ мой и не создавалъ многаго, то все-таки онъ постоянно былъ на ногахъ. Что касается до того, хорошо или худо было то, что я вообще создавалъ въ этой жизни, объ этомъ мы не станемъ спорить. Довольно того, что эти созданія были велики; я замѣчалъ это по болѣзненному расширенію души, изъ которой они выходили... замѣчаю и по ничтожному росту карликовъ, которые стоятъ передъ ними и съ головокруженіемъ смотрятъ на нихъ... Взгляды ихъ не достигаютъ до вершины, и карлики только носами толкаются о пьедесталы памятниковъ, которые я воздвигнулъ въ литературѣ Европы, къ вѣчной славѣ нѣмецкаго духа. Совершенно ли чисты эти памятники? Совершенно ли они безъ недостатковъ и грѣховъ? Сказать правду, и на этотъ вопросъ я не могъ дать вполнѣ опредѣлительный отвѣтъ. Но тѣ недостатки, которые маленькіе люди умѣютъ отыскив въ нихъ, доказываютъ только ихъ собственную чепо ограниченность. Они напоминаютъ мнѣ маленькихъ па скихъ зѣвакъ, которые, при воздвиженіи обелиска на щади Людовика XVI, высказывали свои мнѣнія о д ствѣ или полезности этого памятника. По этому

были обнаружены самыя забавныя филистерскія соображенія. Одинъ чахоточный, тощій портной утверждалъ, что красный камень не довольно твердъ для того, чтобы долго сопротивляться сѣверному климату, и что снѣгъ скоро разломаетъ его, а вѣтеръ опрокинетъ. Имя этого бѣдняка Petit-Jean, онъ шилъ очень скверные сюртуки, изъ которыхъ ни одна тряпка не дойдетъ до потомства, да и самъ онъ лежитъ уже на кладбищѣ Лашеза. А красный камень все еще непоколебимо стоитъ на площади Людовика XVI, и будетъ стоять еще цѣлыя столѣтія, несмотря на снѣга, вѣтеръ и болтовню портныхъ!

Забавнѣйшею вещью при воздвиженіи обелиска было слѣдующее происшествіе.

На томъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ теперь этотъ большой камень, было найдено до того нѣсколько маленькихъ скорпіоновъ, вѣроятно, вышедшихъ изъ скорпіоновыхъ яицъ, которыя были захвачены при упаковкѣ обелиска въ Египтѣ, высиженныхъ въ Парижѣ солнечнымъ зноемъ. Эти скорпіоны вызвали со стороны зѣвакъ страшное негодованіе; они проклинали камень, которому Франція теперь была обязана ядовитыми скорпіонами, новымъ бичомъ, который долженъ быть сдѣлаться источникомъ страданій для дѣтей и внуковъ... И зѣваки уложили маленькихъ чудовищъ въ шкатулку и отнесли ихъ къ полицейскому комиссару квартала Магдалины, гдѣ тотчасъ же былъ составленъ протоколъ... Да и надо было поторопиться, потому что черезъ нѣсколько часовъ бѣдныя животныя издохли...

Точно такъ же при воздвиженіи великихъ умственныхъ обелисковъ также могутъ появляться всякаго рода скорпіоны, маленькія ядовитыя животныя, которыя, можетъ-быть, тоже происходятъ изъ Египта и тоже скоро издохнутъ и будутъ забыты, а великій памятникъ все будетъ стоять величественно и непоколебимо, на удивленіе позднѣйшимъ поколѣніямъ...

Странная исторія, однако, съ этимъ луксорскимъ обелискомъ, который французы перетащили изъ древняго Мицраима и поставили въ видѣ украшенія посреди страшной площади, на которой 21 января 1793 года они торжествовали свой ужасный разрывъ съ прошедшимъ. По присущей французамъ легкомысленности они, быть-можетъ, воздвигнули здѣсь памятникъ, произносящій проклятіе всякому, кто дерзнетъ наложить руку на голову фараона!

Кто разгадаетъ этотъ голосъ былыхъ вѣковъ, эти древніе

гіероглифы? Можетъ-быть, въ нихъ не заключается проклятіе, а рецептъ для излѣченія ранъ нашего времени! О, если бы кто-нибудь разобралъ ихъ! Если бы кто-нибудь произнесъ спасительныя слова, похороненныя въ этихъ изображеніяхъ!.. Можетъ-быть, въ нихъ написано, гдѣ течетъ скрытый источникъ, изъ котораго человѣчество должно пить, чтобы исцѣлиться, гдѣ струится тайная вода жизни, о которой кормилица столько разсказывала намъ въ дѣтскихъ сказкахъ, и по которой мы такъ томимся теперь, сдѣлавшись больными стариками. Гдѣ течетъ вода жизни? Мы ищемъ и ищемъ...

Ахъ, пройдетъ еще много времени прежде, чѣмъ мы отыщемъ великое цѣлебное средство; до тѣхъ поръ еще долго придется намъ сильно хворать, и будутъ появляться всевозможные шарлатаны съ домашними средствами, которыя будутъ только усиливать болѣзнь. Тутъ прежде всего придутъ радикалы, прописывающіе радикальное лѣченіе, которое, однако, дѣйствуетъ только наружнымъ образомъ, потому что развѣ только уничтожаетъ общественную коросту, но не внутреннюю гнилость. А если имъ и удается на короткое время избавить страждущее человѣчество отъ страшнѣйшихъ мукъ, то это дѣлается только въ ущербъ послѣднимъ слѣдамъ красоты, до тѣхъ поръ остававшимся у больного; гадкій, какъ вылѣчившійся филистеръ, встанетъ онъ съ постели и въ отвратительномъ госпитальномъ платьѣ, пепельно-сѣромъ костюмѣ равенства станетъ прозябать со дня на день. Вся переходившая изъ поколѣнія въ поколѣніе безмятежность, вся сладость, все благоуханіе цвѣтовъ, вся поэзія будутъ вычеркнуты изъ жизни, и отъ всего этого останется только Раумфордовъ супъ полезности.— Красота и геній не найдутъ себѣ никакого мѣста въ общественной жизни нашихъ новыхъ пуританъ, и начнутъ подвергаться оскорбленіямъ и угнетеніямъ, еще гораздо плачевнѣе тѣхъ, которыя они испытывали при существованіи стараго порядка... Потому что красота и геній тоже своего рода цари, не могутъ жить въ обществѣ, гдѣ каждый, съ неудовольствіемъ сознавая свою посредственность, старается принизить всякое высшее дарованіе до самаго пошлаг уровня.

Многіе короли уходятъ, а съ ними уходятъ и послѣдн поэты. «Поэтъ долженъ идти рядомъ съ королемъ»—эти *словамъ надо* придать теперь совсѣмъ иное значеніе. *вѣры въ* авторитетъ не можетъ выдвинуться впере

какой великій поэтъ. Какъ скоро его частную жизнь начинаетъ освѣщать безжалостнѣйшій свѣтъ прессы, и повседневная критика точитъ, какъ червякъ, и грызетъ его слова — у пѣсни поэта также отымается возможность внушать людямъ необходимое почтеніе къ ней. Когда Данте проходилъ по улицамъ Вероны, народъ указывалъ на него пальцами и шепталъ: «Онъ былъ въ аду!» Развѣ иначе онъ могъ бы такъ вѣрно изобразить адъ со всѣми его муками? Насколько глубже при такой почтительной вѣрѣ дѣйствовали разсказы Франчески Римини, Уголино и всѣхъ тѣхъ страдальческихъ фигуръ, которыя вышли изъ его духа...

Нѣтъ, онѣ не только вышли изъ его духа, онъ не сочинилъ ихъ, онъ ихъ пережилъ, онъ ихъ чувствовалъ, онъ видѣлъ ихъ, осязалъ, онъ дѣйствительно былъ въ аду, онъ былъ въ городѣ проклятыхъ... онъ былъ въ изгнаніи!..

Сухое будничное настроеніе новыхъ пуританъ распространяется уже по всей Европѣ точно сѣрыя сумерки, предшествующія суровому зимнему времени... Что̀ значатъ бѣдные соловьи, которые въ нѣмецкомъ поэтическомъ лѣсу вдругъ мелодически зарыдали болѣзненнѣе, но и слаще, чѣмъ когда-либо? Они поютъ тоскливое прости! Послѣднія нимфы, которыхъ пощадило христіанство, убѣгаютъ въ самую глухую чащу! Въ какомъ печальномъ положеніи видѣлъ я ихъ тамъ прошедшею ночью!..

Какъ будто отъ того, что муки дѣйствительности недостаточно сильны, меня терзаютъ еще ночныя привидѣнія... Рѣзкими символическими письменами рисуетъ мнѣ сонъ великое страданіе, которое я охотно скрылъ бы отъ себя, и едва смѣю высказывать трезвыми и понятными звуками свѣтлаго дня...

Прошедшею ночью мнѣ снились большой дикій лѣсъ и скверная осенняя ночь. Въ большомъ дикомъ лѣсу, среди высочайшихъ деревьевъ, попадались по мѣстамъ свѣтлыя пространства, но и они были наполнены призрачно бѣлымъ туманомъ. Тутъ и тамъ, сквозь густой туманъ привѣтливо пробивались тихіе лѣсные огоньки. Подойдя къ одному изъ нихъ, я замѣтилъ всевозможныя темныя тѣни, двигавшіяся вокругъ пламени; но только совершенно приблизившись, я съ точностью различилъ стройныя фигуры и ихъ меланхолически милыя лица. То были прекрасныя, нагія женщины, похожія на нимфъ, которыхъ мы видимъ на сладострастныхъ картинахъ Джуліо Романо, и которыя, цвѣтя роскошною молодостью, граціозно лежатъ и веселятся подъ зеле-

ными вѣтвями... Ахъ! теперь моимъ глазамъ представилась далеко не такая веселая картина. Женщины моего сна, хотя все еще украшенныя прелестью вѣчной молодости, носили, однако, на себѣ признаки тайнаго физическаго и нравственнаго разрушенія; члены ихъ все еще очаровывали чудною пропорціональностью, но холодное страданіе отчасти высушило и заморозило ихъ, и даже на лицахъ, несмотря на улыбающуюся вѣтреность, вздрагивали слѣды бездонно глубокой скорби... Вмѣсто того, чтобы лежать, подобно нимфамъ Джуліо, на мягкомъ дернѣ, онѣ сидѣли на твердой землѣ, подъ полуобнаженными дубами, гдѣ вмѣсто влюбленныхъ лучей солнца, на нихъ падалъ мутный паръ сырой осенней ночи... По временамъ одна изъ этихъ красавицъ вставала, выхватывала изъ костра горящую головню, махала ею, точно тирсомъ, надъ головой и старалась стать въ одну изъ тѣхъ невозможныхъ танцовальныхъ позъ, которыя мы видимъ на этрурскихъ вазахъ... Но скоро, съ печальною улыбкой, какъ побѣжденная усталостью и ночнымъ холодомъ, она снова падала къ огню. Особенно одна изъ этихъ женщинъ наполнила мое сердце почти сладострастнымъ состраданіемъ. То была высокая фигура, но руки ея, ноги, грудь и щеки были еще гораздо худощавѣе, чѣмъ у другихъ, что̀, однако, производило не отталкивающее, а скорѣе чарующе-привлекающее впечатлѣніе. Не знаю, какъ это случилось, но прежде, чѣмъ я успѣлъ очнуться, я уже сидѣлъ рядомъ съ нею у огня и согрѣвалъ моими горячими губами ея руки и ноги, дрожавшія отъ холода; въ это же время я игралъ ея черными влажными косами, спадавшими съ греческаго лица съ прямымъ носомъ на трогательно холодную, гречески скудную грудь... Да, ея волосы были почти лучезарнаго чернаго цвѣта, точно такъ же, какъ и ея брови, въ роскошной чернотѣ сходившіяся одна съ другою, что̀ придавало ея взгляду странное выраженіе томной дикости.— Сколько тебѣ лѣтъ, несчастное дитя?—спросилъ я.—Не спрашивай меня о моихъ лѣтахъ,—отвѣчала она съ полутоскливымъ, полупреступнымъ смѣхомъ;—если-бъ даже я сдѣлала себя на тысячу столѣтій моложе, то и тогда оставалась бы довольно старою! Но на дворѣ становится все холод меня одолѣваетъ дремота, и если ты одолжишь мнѣ колѣно въ видѣ подушки, то очень обяжешь твою покор слугу...

Между тѣмъ, какъ она лежала у меня на колѣн *спала*, и по временамъ хрипѣла во снѣ, какъ умир

подруги ея вели шопотомъ всевозможные разговоры, изъ которыхъ я понялъ очень мало, потому что греческій языкъ, на которомъ онѣ говорили, былъ совсѣмъ не тотъ, которому я учился въ школѣ, и потомъ у старика Вольфа... Только и могъ я понять, что онѣ жаловались на дурныя времена, и боялись, что они сдѣлаются еще хуже, и намѣревались уйти еще дальше въ лѣсъ... Вдругъ въ отдаленіи раздались грубые крики черни... Она кричала, не помню уже, что... Тутъ же насмѣшливо звенѣли католическіе колокольчики... а мои лѣсныя красавицы становились все блѣднѣе и худощавѣе, пока, наконецъ, совершенно расплылись въ туманѣ, и самъ я, зѣвая, проснулся.

Примѣчанія

къ 1-му тому.

Къ **стр. 112.** Людеръ былъ геттингенскій студентъ, славившійся своею силою, умѣньемъ драться на рапирахъ и вообще гимнастическою ловкостью.

Къ **стр. 114.** Тутъ у автора непереводимая игра словъ: citiren и Citation означаютъ не только цитировать и цитата, но и призывать къ суду (здѣсь университетскому) и призывъ.

Къ **стр. 117.** Подъ «Рустикусомъ» подразумѣвается геттингенскій профессоръ Антонъ Бауэръ, извѣстный криминалистъ. Подъ «Куяціусомъ»—знаменитѣйшій юристъ своего времени (по римскому праву), пользовавшійся большимъ уваженіемъ и со стороны Гейне — Густавъ Гуго. Куяціусъ (собственно Jacques de Cujas), съ которымъ Гейне здѣсь его сравниваетъ, былъ извѣстный французскій юристъ 16-го ст.— «Стригущій всѣ деревья»—намекъ на объясненіе вышеупомянутымъ Гуго одного спорнаго мѣста въ Corpus Juris насчетъ обрѣзыванія деревьевъ.

Къ **стр. 118.** Баронъ Мюнхгаузенъ, бывшій попечителемъ геттингенскаго университета при основаніи его.

Къ **стр. 120.** Жизнь Эрнеста II, герцога швабскаго (ум. въ 1030 г.), давала нѣмецкой народной поэзіи, начиная съ 12-го в., обильный матеріалъ для сказаній, стихотвореній и т. п.

Къ **стр. 121.** Рѣчь идетъ объ извѣстномъ романтикѣ Гофманѣ, который со способностями писателя соединялъ дарованіе и живописца.

Къ **стр. 125.** Въ то время Лафайетъ жилъ въ Соединенныхъ Штатахъ въ качествѣ «гостя американской націи».

Къ **стр. 136.** Ашеръ — знакомый Гейне, еврей, прилежно занимавшійся философіей и бывшій ревностнымъ послѣдователемъ Канта.— «Австрійскій Наблюдатель»—прежняя офиціальная вѣнская газета, отличавшаяся своею глупостью.

Къ **стр. 148.** «Ратклиффъ» и «Алманзоръ» — двѣ трагедіи Гейне. Гейне въ ту пору обдумывалъ планъ трагедіи о Фаустѣ.

Къ **стр. 150.** Клаудіусъ, современный поэтъ; эти с
менитой рейнской пѣсни.

Къ **стр. 152.** Палимпсестъ—древняя рукопись на п
которой стерты или закрашены, для того чтобы на
было написать новыя слова.

Къ **стр. 154.** Христіанъ Шюцъ, извѣстный филологъ, основатель, вмѣстѣ съ Виландомъ, знаменитой въ то время іенской газеты «Allgemeine Literaturzeitung», профессоръ въ Галлэ.

Къ **стр. 155.** Христіанъ Гумпель—см. 2-ю часть «Путевыхъ Картинъ» (Путешествіе въ Италію). Лихтенштейнъ—профессоръ зоологіи въ Берлинѣ и основатель тамошняго зоологическаго сада. Бухгольцъ—авторъ «Исторіи Наполеона Бонапарте» и издатель нѣсколькихъ историко-политическихъ журналовъ.

Къ **стр. 156.** См. «Донъ-Кихотъ», ч. I, гл. 2.

Къ **стр. 161.** Имѣется въ виду Lex Falcidia—законъ о наслѣдствѣ, изданный въ 40 г. до Р. Х. по предложенію трибуна Фалцидія.—Гансъ—знаменитый юристъ, авторъ сочиненія «Наслѣдственное право въ его историческомъ развитіи».—Имѣется въ виду геттингенскій профессоръ Гешенъ. Подъ Элверзусомъ подразумѣвается геттингенскій профессоръ Элверсъ, ученикъ Гуго.—«Quicumque civis romanus—слова, которыми начинается 2-я глава Lex Falcidia.—Cum omni causa», т. е. со всѣмъ, сюда принадлежащимъ.

Къ **стр. 162.** Конгревъ (англичанинъ) изобрѣлъ названныя по его имени зажигательныя ракеты.

Къ **стр. 163.** Дворецъ принца паллагонійскаго (Pallagonia) описанъ Гёте въ его «Italienische Reise».—Клауренъ (псевдонимъ Карла Гейна—Heun)—авторъ пользовавшихся одно время большою популярностью и отличавшихся слащавою непристойностью разсказовъ, стихотвореній и драмъ.

Къ **стр. 167.** Этимъ «дядюшкой» Гейне называетъ Тилля Эйленшпигеля, знаменитаго народнаго шута, по имени котораго названа не менѣе знаменитая народная книга «Eulenspiegel», собраніе шутовскихъ анекдотовъ, разсказовъ и т. п. Тилль Эйленшпигель ум. въ 1350 г. и похороненъ въ Мёльнѣ, близъ Любека.

Къ **стр. 178.** Неизвѣстно почему Гейне называетъ извѣстный автобіографическій романъ Морица (1790 г.) «Антонъ Странникъ» (Amon Reiser) «Филиппомъ». Морицъ былъ пламенный почитатель и близкій знакомый Гёте; приведенные здѣсь стихи въ настоящее время печатаются во всѣхъ изданіяхъ «Paralipomena zu Faust».

Къ **стр. 179.** «Отрывки изъ дневника Карла Бертольда» — романъ Освальда (псевдонимъ), пользовавшійся въ свое время большою извѣстностью.

Къ **стр. 180.** «Дендерскомъ зодіакѣ». Рѣчь идетъ о храмѣ въ египетской деревнѣ Дендра, построенномъ въ царствованіе Клеопатры и славившемся изображеніемъ зодіака на его крышѣ.

Къ **стр. 181.** Архенгольцъ — извѣстный историкъ и публицистъ, очень неодобрительно отнесшійся къ Италіи въ своемъ сочиненіи «Англія и Италія».—Коринна—героиня романа г-жи Сталь «Corinne ou l'Italie», гдѣ, напротивъ, Италія изображена въ самомъ привлекательномъ свѣтѣ.—«Онъ удивляется». Это удивленіе (по поводу замѣчанія Гейнрота въ его «Антропологіи») Гёте высказываетъ въ своей статьѣ «Bedeutende Fördernis durch ein einziges geistreiches Wort».

Къ **стр. 187.** Во французскомъ переводѣ «Нордерней» (принадлежащемъ, какъ извѣстно, самому Гейне) вмѣсто «д-ра Л.» поставленъ «старый библіотекарь Стифель».

Къ **стр. 189.** «Нѣмецкій легіонъ»—отрядъ, составленный англійскимъ правительствомъ изъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ распущенной въ 1803 г. ганноверской арміи.

Къ **стр. 190.** Скачущая лошадь—ганноверскій государственный гербъ

Къ стр. 195. Г-жа Сталь дѣлаетъ эти замѣчанія въ своей книгѣ «Dix années d'exil».

Къ стр. 203. Въ подлинникѣ послѣ словъ: «я распространюсь подробнѣе на эту тему—литературную нищету Германіи»—слѣдуетъ: «А покамѣстъ, въ видѣ пріятной замѣны ея, привожу здѣсь ксеніи, вышедшія изъ-подъ пера моего высокаго единомышленника, Иммермана. Остальные наши единомышленники, безъ сомнѣнія, поблагодарятъ меня за сообщеніе этихъ стиховъ, которые я, за немногими исключеніями, готовъ охотно признать за мои собственныя мысли».— И затѣмъ напечатанъ рядъ «ксеній», имѣющихъ предметомъ неутѣшительныя явленія современной нѣмецкой литературы.

Къ стр. 207. Via Bursta—улица въ Гамбургѣ.—Бетманъ—знаменитая актриса того времени.

Къ стр. 208. Монологъ этотъ изъ трагедіи Гейне «Алманзоръ», написанный еще въ первой юности.

Къ стр. 209. «Принцъ Гомбургскій»—трагедія Клейста, который служилъ въ военной службѣ, гдѣ ему пришлось перенести много тяжелаго и бѣдственнаго.

Къ стр. 212. Въ комедіи Аристофана «Птицы» слова пѣсни соловья прерываются этими звуками «тіотіо, тіотіо» и т. д.

Къ стр. 213. Герресъ—публицистъ и ученый, ревностный защитникъ ультрамонтанства.

Къ стр. 223. «Каталъ, каталта» и т. д. еврейскія глагольныя формы.

Къ стр. 226. Шмальцъ, ректоръ и профессоръ берлинскаго университета, вызвалъ общее негодованіе своимъ сочиненіемъ «Исправленіе одного мѣста въ Вантуринской хроникѣ на 1808 г.», въ которомъ онъ выставлялъ истинно-патріотическія стремленія тогдашней молодежи пагубно революціонными.

Къ стр. 235. «Докторъ ли я?»—Гейне былъ докторъ юридическихъ наукъ.

Къ стр. 236. Михель Беръ, братъ Мейербера, авторъ драмъ «Парія», «Струэнзе» и др.—«Понсъ де Леонъ»—комедія Клеменса Брентано. Приведенныя здѣсь слова ея взяты изъ разговора двухъ дѣйствующихъ лицъ.

Къ стр. 237. Штейнвегъ—улица въ Гамбургѣ, населенная почти исключительно евреями.

Къ стр. 238. «Потребуютъ въ судъ за оскорбленіе». Здѣсь въ подлинникѣ тотъ же непереводимый каламбуръ со словомъ Citiren, что и на стр. 114.

Къ стр. 239. Здѣсь непереводимая игра словомъ Bockshorn; выраженіе «in's Bockshorn jagen» значитъ устрашить, заставить струсить и т. п.

Къ стр. 241. Губицъ—писатель для народа.

Къ стр. 242. Философъ Панглосъ—въ романѣ Вольтера «Кандидъ или Оптимизмъ».

Къ стр. 247. Подъ «великимъ пьяницей» (въ подлин. Philoschnaps) подразумѣвается, какъ думаютъ, знаменитый философъ Шеллингъ, и реакціонной образъ мыслей котораго Гейне рѣзко напалъ въ своей статьѣ о книгѣ «Кальдорфъ о дворянствѣ».—«Печальный драматическій писатель»—Юхтрицъ, авторъ скверной трагедіи «Александръ Дарій». Слѣдующія затѣмъ слова объ «искусной и опытной кухманнный публичный домъ»—собраніе сочиненій Клаурена, к относятся къ Тику, написавшему предисловіе къ этой драмѣ.—

онъ выпускалъ по одному тому ежегодно въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, подъ заглавіемъ «Шутка и Серьезное».

Къ стр. 254. Томасъ Пейнъ (Paine), англійскій либеральный писатель и политикъ (1737—1809), авторъ сочиненія «The rights of men».—«Système de la nature»—сочиненіе извѣстнаго «энциклопедиста», барона Гольбаха, совмѣстно съ другими его товарищами по «Энциклопедіи», бывшее самымъ полнымъ выраженіемъ матеріализма 18-го ст.—«Вестфальскій (собственно, рейнско-вестфальскій) Указатель»—одинъ изъ либеральнѣйшихъ журналовъ того времени, въ которомъ сотрудничалъ и Гейне въ первую пору своей дѣятельности.

Къ стр. 261. «Кропатель-поэтъ» въ подлинникѣ After-Poet; мы не рѣшились перевести буквально; здѣсь имѣется въ виду Платенъ (см. ниже), нападавшій на Берлинъ въ своемъ «Романтическомъ Эдипѣ»—драмѣ въ древне-греческомъ стилѣ съ Аристофановскими «парабазами».

Къ стр. 262. Луттеръ и Вегенеръ—извѣстная въ то время кофейная въ Берлинѣ, главное мѣсто сборища берлинскихъ beaux-esprits.

Къ стр. 263. «Соборъ варварской поры»—берлинская Frauenkirche.

Къ стр. 264. Кленце—знаменитый архитекторъ, украсившій Мюнхенъ многими превосходными зданіями.

Къ стр. 266. «Поэтъ, воспѣвающій греческую любовь»—Платенъ. См. касающіяся его главы въ этомъ отдѣлѣ «Италіи» и ниже примѣчанія.—«И это—Левъ!» Имя этого скульптора—Lowe, что по нѣмецки значитъ левъ.

Къ стр. 268. Въ изображаемой здѣсь фигурѣ Гейне выводитъ писателя-нѣмечника Масмана, автора многихъ стихотвореній въ древне-германскомъ духѣ и издателя «Памятниковъ нѣмецкаго языка и литературы по рукописямъ 8—16 ст.»—«Греческій поэтъ», о которомъ говорится нѣсколько ниже—тотъ же Платенъ.—О Лихтенштейнѣ см. прим. къ стр. 155.

Къ стр. 272. Заглавіе пьесы Иммермана—«Трагедія въ Тиролѣ» главное дѣйствующее лицо—Андрей Гоферъ.

Къ стр. 274 Сарторій (извѣстный историкъ) редактировалъ и снабдилъ своими замѣчаніями сочиненіе Шпитлера «Очерки исторіи европейскихъ государствъ».—Баронъ Гормейръ—австрійскій исторіографъ, былъ во время тирольскаго возстанія правительственнымъ комиссаромъ въ Тиролѣ и написалъ, между прочимъ, «Исторію Андрея Гофера».

Къ стр. 275. По легендѣ, у Мартиновой стѣны императоръ Максимиліанъ (въ 1493), гонясь за дикою козой, упалъ съ лошади и скатился на край пропасти, но былъ спасенъ появившимся ангеломъ.

Къ стр. 277. Дворянинъ, изображенный Шекспиромъ—Товія въ комедіи «Что вамъ угодно».

Къ стр. 283. «Умирать за бѣлый мундиръ и красные панталоны». По пресбургскому миру (1805) Тироль перешелъ къ Баваріи, чѣмъ въ 1809 г. было вызвано возстаніе тирольцевъ противъ Баваріи и французовъ.

Къ стр. 284. Въ пьесѣ Иммермана «Андрей Гоферъ» Эльзи—имя жены трактирщика Эчмана.

Къ стр. 295. Релльштабъ—писатель и журналистъ, редакторъ «Vossische Zeitung».

Къ стр 296. Тарталія, Бригелла, Панталоне, болонскій докторъ—постоянныя типическія дѣйствующія лица итальянской commedia dell'arte.

Къ **стр. 301.** Кровавая исторія, о которой здѣсь упомянуто, разсказана на стр. 307.

Къ **стр. 304.** «Фальстафовское опасеніе»—см. «Генрихъ IV» Шекспира, ч. I, д. 5, сц. 4.

Къ **стр. 309.** Мысль, выраженную Экерманомъ въ его книгѣ «Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe» Гейне передалъ не буквально, а перефразировалъ по-своему, вполнѣ сохранивъ, впрочемъ, смыслъ.

Къ **стр. 313.** Брера—дворецъ въ Миланѣ. Амброзіана — библіотека тамъ же. Янъ Стинъ—знаменитый голландскій живописецъ XVII в.

Къ **стр. 330.** Бедламъ—домъ умалишенныхъ въ Лондонѣ. С. Люце—другой домъ умалишенныхъ тамъ же.

Къ **стр. 335.** Стихи изъ «Генриха IV» Шекспира.

Къ **стр. 336.** Юлія Гольцбехеръ—извѣстная актриса.

Къ **стр. 340.** Начальные стихи изъ «Элегіи» Маттисона.

Къ **стр. 342.** Нейманъ—военный интендантъ, авторъ разсказовъ и стихотвореній.—Ярке—доцентъ уголовнаго права въ боннскомъ университетѣ; въ политическомъ и религіозномъ отношеніи — ультраконсерваторъ.

Къ **стр. 343.** «Ассуръ» (первоначальное заглавіе—«Тараръ»)—опера Бомарше, музыка Сальери.

Къ **стр. 345.** «Сервитуты истиннаго patito»—т. е. тяжелыя обязанности истиннаго влюбленнаго.

Къ **стр. 372.** Кандидъ въ Эльдорадо—изъ романа Вольтера «Кандидъ».

Къ **стр. 375.** Начинающееся съ этой страницы издѣвательство Гейне надъ Платеномъ (извѣстнымъ нѣмецкимъ поэтомъ) — издѣвательство, въ нѣкоторыхъ частностяхъ слишкомъ ужъ циничное и вообще несправедливое, есть слѣдствіе того чисто личнаго мщенія, которое нерѣдко руководило Гейне въ его литературныхъ нападеніяхъ: оно вызвано насмѣшками—впрочемъ, тоже очень неблаговидными, грубыми и совсѣмъ неостроумными — Платена въ его пьесѣ «Романтическій Эдипъ», надъ Гейне и Иммерманомъ, которыми Платенъ отвѣчалъ на двѣ изъ «ксеній» Иммермана, напечатанныхъ въ концѣ «Нордерней» Гейне (см. примѣч. къ стр. 203) и гдѣ онъ былъ слегка задѣтъ, какъ писатель.

Къ **стр 376—377.** Напечатанные на этой страницѣ стихи Платена (изъ отдѣла «Газели») въ переводѣ не имѣли бы въ настоящемъ случаѣ никакого смысла, вслѣдствіе чего они приведены здѣсь въ подлинникѣ.

Къ **стр. 384.** Стихъ Иммермана въ сонетѣ «Правда и Вымыселъ». Сатира Платена «на знаменитыхъ писателей»—его комедія въ Аристофановскомъ духѣ, «Роковая Вилка» —Гофратъ Эриндуръ—это графъ Гуго Эриндуръ, главное дѣйствующее лицо пьесы Мюльнера «Вина», четыре стиха которой приведены эпиграфомъ къ «Книгѣ Ле-Гранъ».

Къ **стр. 386.** Рамлеръ—авторъ многихъ высокопарныхъ одъ.

Къ **стр 388.** «Одному нравится быкъ» и т. д. По индійскому сказанію, у набожнаго отшельника Васишты была боже
которая могла снабжать человѣка всевозможными бл
вамитра всячески домогался отнять ее у владѣльца.
ла этому послѣднему одержать верхъ надъ Висвам
(ум. въ 67 г. по Р. Х.)—римскій писатель, автор
жающаго въ самомъ рѣзкомъ свѣтѣ безнравст
императоровъ.

Къ **стр. 393.** Стихи Иммермана въ сонетѣ «Раннее Совершенство».— Котта—извѣстный издатель въ то время.

Къ **стр. 395.** Объ Эйленшпигелѣ см. прим. къ стр. 167.

Къ **стр. 397.** Фрауэнлобъ-миннезингеръ 14-го ст. Настоящее имя его Генрихъ фонъ-Мейсенъ; Фрауэнлобъ (Frauenlob—хвалитель женщинъ) — его литературное прозвище, сообразно съ характеромъ его стихотвореній.

Къ **стр. 400.** Приведенные стихи взяты изъ «Донъ Кихота» (Т. 2-й, гл. 33), гдѣ разсказъ объ этомъ королѣ Родриго и его восклицаніи.

Къ **стр. 403.** Въ «честномъ словѣ не выдавать тайнъ»—намекъ на Шеллинга, который придавалъ глубокую таинственность своей «философіи откровенія». Онъ не печаталъ своего ученія, а сообщалъ его только устно, да и то въ недосказанномъ видѣ.

Къ **стр. 404.** Шехнеръ и Зонтагъ — знаменитыя пѣвицы того времени.—Ліоннэ, выдающійся французскій энтомологъ.

Къ **стр. 408** Васантасена—не заглавіе пьесы, а имя главнаго дѣйствующаго лица въ индійской драмѣ «Мриччакати» (во 2-мъ ст. по Р. Х.); Васантасена — баядерка, влюбленная въ брамина и имъ любимая.—Gracioso—шутъ въ испанской старой комедіи; то же, что clown въ англійской.

Къ **стр. 428.** «Bär und Bassa» «Медвѣдь и Паша»—оперетка Карла Блюма, дававшаяся на берлинской сценѣ. — Медвѣдь по-нѣмецки Bär.—«Городскіе медвѣди, впрочемъ, очень ручные» и т. д. Здѣсь опять игра словъ. Рѣчь идетъ о драматургѣ Михаилѣ *Беръ* и его братѣ, знаменитомъ композиторѣ Мейерберѣ (беръ, нѣм. Bär — медвѣдь).

Къ **стр. 429.** Думаютъ, что, говоря объ этихъ лицемѣрахъ-евреяхъ, Гейне имѣлъ въ виду извѣстнаго профессора Неандра, который былъ еврейскаго происхожденія (настоящее имя—Давидъ Мендель).

Къ **стр. 434.** Въ словахъ о томъ, что все существующее разумно— намекъ на философію Гегеля, главное положеніе которой, какъ извѣстно, что все дѣйствительное разумно и все разумное дѣйствительно.

Къ **стр. 435.** «Амадисъ»—одинъ изъ знаменитѣйшихъ рыцарскихъ романовъ. Роландъ и Аграмантъ (правильно Malagys d'Aigremont) — дѣйствующія лица изъ также знаменитаго средневѣкового сказанія «Четыре сына Гаймона»: Роландъ—храбрѣйшій воинъ, Аграмантъ — волшебникъ.

Къ **стр. 437.** Готфридъ Бассе—нѣмецкій книгопродавецъ, издававшій большею частью книги для народа.

Къ **стр. 438.** Барбару, марселецъ, одинъ изъ самыхъ выдающихся жирондистовъ, погибшій на эшафотѣ въ 1794 г. «Марсельеза» (авторъ которой Руже де Лиль) сдѣлалась впервые извѣстна въ Парижѣ чрезъ посредство пріѣхавшихъ въ Парижъ марсельскихъ друзей Барбару, откуда она и получила свое названіе.—«Швейцары въ Тюильри». Извѣстно, что названіе швейцарами (Suisse, Schweizer) привратниковъ произошло оттого, что эту должность въ первое время занимали швейцарцы; въ русскій языкъ слово «швейцаръ» вошло въ этомъ случаѣ въ измѣненной формѣ.

Къ **стр. 444.** Подъ С.-Джемскимъ театромъ понимается здѣсь жизнь англійскаго двора, мѣстопребываніе котораго—С.-Джемсъ.—«Шалить подвязкою»—намекъ на орденъ Подвязки; сюда же относятся слова «honni soit» и т. д., составляющія девизъ этого ордена. — «Народъ спекулятивный»—въ смыслѣ «спекулятивности» философской.

Къ стр. 446. Смитфильдъ—мясной рынокъ въ Лондонѣ.

Къ стр. 447. Чипъ-Сайдъ, одна изъ самыхъ оживленныхъ улицъ въ Лондонѣ.

Къ стр. 454. Гретна-Гринъ—деревушка въ шотландскомъ графствѣ Дёмфри, гдѣ вѣнчались тѣ, которымъ не давали согласія на бракъ ихъ родители. Браки эти считались законными, когда (и безъ благословенія церкви) совершались гражданскимъ порядкомъ, т. е. заявленіемъ о взаимномъ согласіи повѣнчаться передъ оффиціальнымъ свидѣтелемъ; въ Гретна-Гринъ случайно должность мирового судьи долго занималъ кузнецъ. Законность такихъ браковъ уничтожена парламентскимъ актомъ въ 1856 г.

Къ стр. 455. «Королевская скамья» (Kings Bench)—одно изъ высшихъ уголовныхъ судилищъ Англіи въ то время.

Къ стр. 456. «Кураторы Констебльской массы». Рѣчь идетъ о банкротствѣ банкирскаго дома Беллентейнъ и Констебль, причемъ на В. Скотта, бывшаго участникомъ въ этомъ дѣлѣ, обрушился долгъ въ 117 т. ф. ст.

Къ стр. 457. Cessio bonorum—терминъ римскаго законодательства, значитъ уступка имущества.

Къ стр. 460. Foreign office—министерство иностранныхъ дѣлъ.

Къ стр. 463. Ольдъ-Бэлей—одна изъ улицъ лондонскаго Сити, гдѣ находится ньюгетскій смирительный домъ. — «Per me si va» и т. д; т. е. «Черезъ меня (дверь) идутъ въ городъ печали, черезъ меня идутъ въ вѣчную скорбь, черезъ меня идутъ къ погибшимъ людямъ».

Къ стр. 465. Ботани-Бей — мѣсто ссылки англійскихъ преступниковъ (около Южнаго Валлиса).

Къ стр. 466. Бедламъ—главный домъ умалишенныхъ въ Лондонѣ.

Къ стр. 467. Вицлипуцли—мексиканскій богъ войны, духъ зла.—Самісль—одно изъ названій сатаны.—Георгъ Каннингъ—знаменитый государственный дѣятель Англіи (ум. въ 1827 г.), противникъ Веллингтона и аристократической партіи. Слова «бѣдный Георгъ» относятся къ нему же.

Къ стр. 468. Коббетъ — англійскій публицистъ, писавшій въ антироялистскомъ направленіи.

Къ стр. 469. Въ улицѣ Доунингъ-Стритъ помѣщаются главныя правительственныя установленія.

Къ стр. 470. Вильямъ Питтъ (ум. въ 1806), одинъ изъ знаменитѣйшихъ государственныхъ мужей Англіи, держался контра-революціонной политики.—Не менѣе знаменитъ Фоксъ, политическій соперникъ Питта (ум. тоже въ 1806), другъ французской революціи.—Персиваль, министръ, послѣдователь Питта, былъ застрѣленъ однимъ биржевымъ маклеромъ.—Кестльри, маркизъ Лондондерри—одинъ изъ самыхъ заклятыхъ реакціонеровъ, игралъ также главную роль въ паденіи Наполеона.—Ливерпуль—министръ, консервативнаго направленія.

Къ стр. 477. Колькгоунъ—статистикъ и политико-экономистъ, авторъ сочиненія: «О населеніи, богатствѣ, могуществѣ и рессурсахъ британскаго государства»; его практическая дѣятельность выразилась въ принятіи очень успѣшныхъ мѣръ для прекращенія [illegible] которымъ подвергались корабли на Темзѣ.

Къ стр. 482. Бёрдеттъ, радикальный депутатъ, в[illegible] шелъ въ партію тори. Приведенныя здѣсь слова пр[illegible] переводимый каламбуръ.—Лей Гёнтъ (Leigh Hunt) [illegible] ческой дѣятельности своей защитникомъ политичес[illegible] наго радикализма; онъ былъ также и писатель, [illegible]

пріобрѣлъ себѣ извѣстность не столько сочиненіями, сколько отношеніями къ Байрону.

Къ стр. 483. Брумъ (Brougham), знаменитый парламентскій дѣятель и ораторъ (ум. въ 1868), оказалъ много важныхъ услугъ въ законодательной сферѣ.

Къ стр. 489. Георгъ IV, разведшійся со своею женой черезъ годъ послѣ брака, хотѣлъ лишить ее по суду королевскихъ правъ и преимуществъ, но процессъ, благодаря особенно участію Брума, принялъ неблагопріятный для короля оборотъ, устраненный только смертью королевы.

Къ стр. 490. Бёркъ (Burke)—государственный дѣятель и писатель, во время американской войны за освобожденіе былъ ревностнымъ защитникомъ народныхъ правъ, но во время французской революціи сдѣлался самымъ упорнымъ, почти бѣшенымъ противникомъ ея —Робертъ Пиль—государственный дѣятель, которому католическая партія обязана своею эманципаціею.

Къ стр. 492. На смитфильдской базарной площади въ Лондонѣ въ прежнія времена совершались казни, и въ царствованіе Маріи Тюдоръ тамъ было казнено много протестантовъ.—Въ капеллѣ св. Стефана, до пожара 1834 г., происходили засѣданія нижняго парламента.—Гюи Фоуксъ (Fawkes), протестантъ, обратившійся въ фанатическаго католика, ставшій во главѣ извѣстнаго порохового заговора и, по открытіи его, казненный. — «Hear him»—значитъ: «слушайте!» (обычное восклицаніе слушателей во время парламентскихъ рѣчей) — Въ Германіи каждое владѣтельное лицо есть вмѣстѣ съ тѣмъ ректоръ университета своей страны; по личной связи Ганновера и Англіи, англійскій король былъ ректоромъ геттингенскаго университета.—Туторами называются старшіе надзиратели въ университетѣ.

Къ стр. 494. Подъ «великимъ визиремъ» подразумѣвается здѣсь Веллингтонъ, образовавшій въ 1828 г. министерство, главными членами котораго были Элленбороу, Линдгерстъ, Робертъ Пиль и графъ Эбердинъ. Въ словахъ «онъ былъ врагомъ султанши»—намекъ на бракоразводный процессъ короля Георга IV (см. выше, примѣчаніе къ стр. 489).—«Оберъ-муфти»—архіепископъ кентербёрійскій.

Къ стр. 500. Принцъ Полиньякъ, въ бытность свою (въ 1829 г.) министромъ иностранныхъ дѣлъ, содѣйствовалъ своими мѣрами въ значительной степени взрыву іюльской революціи, послѣ котораго онъ былъ приговоренъ къ вѣчному тюремному заключенію и «гражданской смерти».

Къ стр. 505. Послѣ словъ «призывая къ мщенію» опущены у насъ находящіяся съ первыми въ связи слова «подобно свисткамъ Гельфенштейна». Въ 1525 г. послѣ взятія Вейнсберга, крестьяне гнали графа Гельфенштейна сквозь свои пики и косы, сопровождая эту операцію игрою на пронзительныхъ свисткахъ.

Къ стр. 507. О rotten boroughs см. стр. 482.

Къ стр. 509. Лакло—одинъ изъ дѣятельныхъ приверженцевъ первой революціи, авторъ сатиры противъ фаворитки короля, Дюбарри, и знаменитаго романа «Les liaisons dangereuses».—Луве де Кувре, жирондистъ, авторъ романа «Приключенія Фобласа».

Къ стр. 515. Тонъ и характеръ статьи «Людвигъ Бёрне» вызвали, при ея появленіи, негодованіе, во многихъ отношеніяхъ несправедливое и пристрастное, но справедливое относительно тѣхъ, имѣвшихъ характеръ уже чисто личнаго пасквиля, страницъ, гдѣ Гейне говорилъ о г-жѣ Воль. Приготовляя къ печати, уже чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ появленія этой статьи, полное собраніе своихъ сочиненій,

Гейне заявлялъ своему издателю желаніе, чтобы вышеупомянутыя страницы были исключены. Съ этими исключеніями появилось и извѣстное изданіе Шродтмана. Мы послѣдовали примѣру послѣдняго критическаго изданія Эльстера и печатаемъ неприличную выходку автора, потому что, во-1-хъ, она находится въ связи съ остальнымъ, а во-2-хъ, служитъ образчикомъ той личной мстительности, которая составляла одно изъ нехорошихъ свойствъ великаго поэта.

Къ **стр. 516.** Гейгель—театральный антрепренеръ во Франкфуртѣ.—Вейднеръ—актеръ.—Объ Уршпрюнгѣ свѣдѣній нѣтъ.

Къ **стр. 517.** «Вѣсы» (Wage) и «Крылья Времени» (Zeitschwinden)—журналы, которые редактировалъ Бёрне во Франкфуртѣ.—Рахиль—жена Варнгагена фонъ-Энзе, знаменитая своимъ умомъ, литературною дѣятельностью и особенно громаднымъ вліяніемъ, которое она имѣла на тогдашнее умственное движеніе въ Германіи.—«Любимая женщина», о которой говорила Рахиль—жена доктора Герца, Генріета, въ которую Бёрне былъ страстно влюбленъ, будучи студентомъ; (продуктъ этой страсти — «Письма молодого Бёрне къ Генріетѣ Герцъ»).—Жанъ-Поль (Жанъ-Поль Рихтеръ)—знаменитый писатель-юмористъ.

Къ **стр. 520.** Кобенцель, австрійскій дипломатъ, подписавшій кампоформійскій договоръ, былъ заклятый противникъ идей, вызванныхъ и распространенныхъ первою французскою революціей.

Къ **стр. 523.** Упоминаемое здѣсь сочиненіе Менцеля—«Нѣмецкая литература»; въ немъ авторъ выступилъ ожесточеннымъ и смѣшнымъ противникомъ Гёте. Въ одномъ изъ послѣдующихъ томовъ нашего изданія будутъ напечатаны рецензіи Гейне на это сочиненіе. (Замѣтимъ кстати, что этотъ Менцель — тотъ самый, котораго тотъ же Бёрне безпощадно заклеймилъ, нѣсколько лѣтъ спустя, въ своей знаменитой статьѣ «Менцель-французоѣдъ»).

Къ **стр. 524.** Ламнэ (Lamennais), знаменитый проповѣдникъ, авторъ «Paroles d'un croyant», «Essai sur l'indifference en matière de religion» и др. былъ ревностный католикъ, но держался при этомъ чисто демократическихъ и даже соціалистическихъ воззрѣній, чѣмъ оказывалъ сильное вліяніе на умственную жизнь Франціи въ тридцатыхъ годахъ (между прочимъ, на такихъ писателей, какъ Ж. Сандъ).—Подъ «пантеистомъ съ радостнымъ воззрѣніемъ на жизнь» Гейне подразумѣвалъ самого себя.

Къ **стр. 525.** «Маца»—высушенный прѣсный хлѣбъ, употребляемый евреями въ пищу въ праздникъ Пасхи. — Каламбуръ «Herr Berne sässe» и т. д. основанъ на созвучіи словъ Wol (какъ собственное имя) и Wolle—шерсть, хлопчатая бумага; въ переводѣ онъ значитъ: «Бёрне сидится у г-жѣ Воль на Волграбенѣ, какъ въ хлопчатой бумагѣ» (т. е. мягко и тепло).

Къ **стр. 528.** «Брошюра противъ евреевъ». Дѣло идетъ о сочиненіи профессора философіи Фриса: «Объ опасности, грозящей благосостоянію и характеру нѣмцевъ отъ евреевъ».

Къ **стр. 530.** Aqua toffana,—медленно, но смертельно дѣйствующій ядъ, употреблявшійся особенно въ Италіи; изобрѣтат[illegible] считалась итальянка Тоффаніа или Тоффана.

Къ **стр. 531.** Летиція—имя матери Наполеона, кото[illegible] мѣняетъ къ старухѣ Ротшильдъ, какъ къ «родившей [illegible] нансовыхъ Бонапартовъ».

Къ **стр. 533.** О Гиршѣ Гіацинтѣ и выраженіи «ф[illegible] *въ этомъ* томѣ «Путешествіе въ Италію».

Къ **стр. 538.** Юлій Цезарь о Кассіѣ — и слова «а Брутъ былъ славный человѣкъ» см. «Юлій Цезарь» Шекспира.

Къ **стр. 540.** Повѣшеніе (или вообще казнь) en effigie,—казнь чучела осужденнаго человѣка вмѣсто его самого, если онъ находится въ отсутствіи; слѣд. казнь заочная.

Къ **стр. 544.** «Пророкъ запада»—философъ Гегель.

Къ **стр. 546.** Цвѣты «дудаимы» въ русскомъ переводѣ Библіи названы «мандрагоры». Мы оставили «дудаимы» въ виду замѣчанія Гейне тутъ же насчетъ перевода Лютера.

Къ **стр. 550.** Пусткухенъ—евангелическій священникъ, беллетристъ и педагогическій писатель, пріобрѣвшій особенную извѣстность своими пародіями (довольно жалкими) на «Вильгельма Мейстера» Гете. — О Менцелѣ см. выше.—Герстенбергъ, профессоръ богословія, крайній лютеранинъ и противникъ протестантства, авторъ, между прочимъ, рѣзкой критики на романъ Гёте «Избирательное Сродство».—Изъ строкъ, въ связи съ которыми поставлены эти имена, видно, въ какомъ смыслѣ Гейне называлъ ихъ «евреями».

Къ **стр. 551.** «Ecclesia pressa», т. е. угнетенная церковь; такъ называетъ себя католическая церковь въ тѣхъ государствахъ, гдѣ она въ свѣтскихъ дѣлахъ подчинена общимъ государственнымъ законамъ.

Къ **стр. 554.** Стихи «Страшись раба» и т. д. не изъ «Пѣсни о Колоколѣ» Шиллера, а изъ стихотворенія «Слова Вѣры» (Worte des Glaubens). — Впослѣдствіи, во французскомъ изданіи 2-й книги «Людвигъ Бёрне» Гейне замѣнилъ слова: «я цитирую «Колоколъ» Шиллера» поправкою, «я цитирую самые банальные стихи Шиллера».

Къ **стр. 555.** Извѣстно, что такъ-называемый «греческій огонь» имѣетъ ту особенность, что не гаснетъ въ водѣ.

Къ **стр. 559.** «Ограбленный банкъ». Даву потребовалъ отъ города Гамбурга контрибуцію въ 48 милліон. марокъ, и такъ какъ городъ не могъ ее уплатить, то французскій маршалъ наложилъ арестъ на всѣ кассы и денежные запасы банка.

Къ **стр. 560.** Пэдди—прозваніе ирландца, такое же, какъ Джонъ Булль—англичанина.—Томасъ Мюнцеръ—предводитель крестьянскаго возстанія, провозглашавшій свободу и общее равенство людей, казненный въ 1525 г.

Къ **стр. 565.** Роттекъ, извѣстный историкъ, видный дѣятель либеральной партіи.—Раумеръ---знаменитый историкъ, умѣренный либералъ.

Къ **стр. 567.** Сара Аустинъ—англійская писательница, много потрудившаяся въ дѣлѣ ознакомленія англичанъ съ нѣмецкою литературой.—Г-жа Крелингеръ—знаменитая актриса; ея мужъ—крупный негоціантъ.

Къ **стр. 569.** Обозначенный здѣсь «звѣздочкой» человѣкъ носилъ фамилію Штернъ (Stern по-нѣмецки звѣзда; такимъ образомъ слова: «онъ* не первой величины» надо читать: «онъ звѣзда не первой величины»). Этого самаго Штерна Гейне выставилъ въ личности Назенштерна въ «Бахарахскомъ Раввинѣ».

Къ **стр. 573.** Книгопродавецъ Ф. — штутгартскій книгопродавецъ Франкъ, участвовавшій въ нѣсколькихъ вооруженныхъ возстаніяхъ.

Къ **стр. 577.** Рейнско-баварскія событія—послѣдствія гамбахскаго празднества, выразившіяся въ многихъ изгнаніяхъ, арестахъ и т. п.

Къ **стр. 582.** Яковъ Венедей—одинъ изъ главныхъ вожаковъ либеральной партіи, былъ изгнанъ изъ Германіи, а затѣмъ даже изъ *Парижа. Гейне* находился съ нимъ сперва въ дружескихъ отноше-

ніяхъ, потомъ между ними произошелъ разрывъ.—Моллакатъ—стихотворенія семи поэтовъ домагометанскаго времени, вывѣшенныя на стѣнѣ Каабы.

Къ стр. 583. Зибенпфейферъ — либеральный публицистъ. — Воръ, укравшій у Бёрне часы, былъ, дѣйствительно, открытъ: оказалось, что это сдѣлалъ его цырюльникъ.

Къ стр. 585. Клубъ des Feuillants (во время 1-й революціи) старался объ установленіи во Франціи конституціи по образцу англійской; но въ началѣ 1791 г. чернь уничтожила его.

Къ стр. 586. Празднество въ Вартбургѣ происходило въ 1816 г. въ память Лютера, который перевелъ Библію, какъ извѣстно, въ Вартбургѣ. Старонѣмечники воспользовались этимъ случаемъ для самыхъ забавныхъ и нелѣпыхъ проявленій своего квасного патріотизма.— Человѣкъ, «сдѣлавшій въ Вартбургѣ предложеніе сжигать книги»— Масманъ, тотъ самый «нѣмечникъ» Масманъ, котораго Гейне такъ безпощадно осмѣялъ въ своемъ «Путешествіи по Италіи». О «гимнастированіи» упомянуто здѣсь потому, что Масманъ принималъ самое дѣятельное участіе въ распространеніи «Гимнастическихъ обществъ» (Turngesellschafte), которымъ старонѣмецкая партія придавала не только чисто патріотическое, но и политическое значеніе.

Къ стр. 5 7. Надъ тѣлесною нечистоплотностью Масмана (какъ здѣсь «грязный Масманъ») Гейне смѣется неоднократно, видя въ ней одно изъ свойствъ присущихъ вообще этимъ ярымъ тевтоманамъ.

Къ стр. 596. «Манесскій Сборникъ» — устарѣвшее названіе рукописнаго сборника лирическихъ пѣсенъ, до 1848 г. находившагося въ парижской Bibliothèque Nationale. — Вальтеръ Фогельвейде—знаменитѣйшій миннезингеръ.

Къ стр. 599 Гацлитъ—англійскій писатель начала нынѣшняго столѣтія, одинъ изъ лучшихъ истолкователей Шекспира. — Поль-Луи Курье, французскій публицистъ и сатирикъ начала нынѣшняго столѣтія.

Къ стр. 600. О Менцелѣ Гейне писалъ задолго до появленія своего сочиненія о Бёрне, именно въ 1828 г. по поводу книги Менцеля «Нѣмецкая литература». (См. прим. къ стр. 523). Затѣмъ, въ 1837 г. рѣзко написалъ на него въ статьѣ «О доносчикѣ». Обѣ эти статьи будутъ напечатаны въ одномъ изъ послѣдующихъ томовъ нашего изданія.

Къ стр. 604. «Свинцовыя мины Новгорода» мы оставили умышленно, какъ своего рода курьезъ.

Къ стр. 605. Г. П. — Густавъ Пфицеръ, авторъ статьи «Heines Schriften und Tendenz».

Къ стр. 606. Выраженіе «нравственно-религіозно-поэтическій нищенскій плащъ» употребилъ Гёте, высказывая свое мнѣніе (въ 1831 г.) о стихотвореніяхъ того же Густава Пфицера. Гейне, цитируя его, нѣсколько измѣнилъ, поставивъ вмѣсто «поэтическій» — «патріотическій».—«Paroles d'un croyant»—одно изъ самыхъ знаменитыхъ сочиненій Ламнэ (о немъ см. выше, примѣчан[illegible] отличавшееся ультра-демократическимъ характеромъ.

Къ стр. 610. «Sancta simplicitas» — слова, произн[illegible] Гусомъ на кострѣ, когда онъ увидѣлъ, что убогая [illegible] полѣно, чтобы подбавить его въ костеръ.

Къ стр. 611. Ярке—профессоръ и писатель ультра[illegible] *направленія* въ религіозныхъ и политическихъ во[illegible] *Гейне* упоминаетъ и въ главѣ «Лукккія воды» (см[illegible]

Къ **стр. 612.** Донъ-Мигуэль, воевавшій въ 1832—34 г. за португальскій престолъ со своимъ братомъ, бразильскимъ императоромъ Педро I.

Къ **стр. 614.** Розенкранцъ (1879 г.)—очень выдающійся историкъ литературы и эстетикъ.

Къ **стр. 619.** Шарантонъ и Бисетръ—деревни около Парижа, съ большими домами умалишенныхъ.

Къ **стр. 620.** Агуадо, маркизъ дель Гвадалквивиръ, крупный парижскій банкиръ въ сороковыхъ годахъ. Былъ сперва солдатомъ, потомъ занялся торговыми дѣлами и пріобрѣлъ громадныя богатства и значительное политическое вліяніе.

Къ **стр. 628.** «Приснопамятная минута»—20-е іюня 1789 г.

Къ **стр. 634.** Румфордъ, родомъ американецъ, генералъ въ баварской службѣ (ум. въ 1814 г.), изобрѣлъ для войска супъ (по его имени названный) изъ очень дешевыхъ и очень питательныхъ продуктовъ.

Къ **стр. 637.** Фридрихъ Августъ Вольфъ — знаменитый эллинистъ, профессоръ берлинскаго университета.

Оглавленіе

I ТОМА.

стр.

Жизнь Генриха Гейне. Біографич. очеркъ *П. И. Вейнберга.* 3

Добавленіе. Автобіографическій очеркъ. (Письмо Гейне къ Филарету Шалю) 105

Путевыя картины. Переводъ *П. И. Вейнберга.*

I ч. **Путешествіе на Гарцъ.** 111

II ч. I. **Сѣверное море** (1826 г.) 173

II. **Идеи. Книга Ле-Гранъ** (1826 г.). 204

III ч. **Италія.**

I. Отъ Мюнхена до Генуи. 259

II. Лукскія воды 330

III. Городъ Лукка 401

Отрывочныя замѣтки объ Англіи (1828 г.). Переводъ *П. И. Вейнберга* 439

Людвигъ Бёрне. Переводъ *П. И. Вейнберга* 513

Примѣчанія къ I тому 638

Stanford University Libraries
3 6105 010 238 405

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD AUXILIARY LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-9201
All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

DOC FEB 08 1996
DEC 27 1996